Г. В. ПЛЕХАНОВ

ИЗБРАННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

Г. В. ПЛЕХАНОВ

ИЗБРАННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В ПЯТИ ТОМАХ

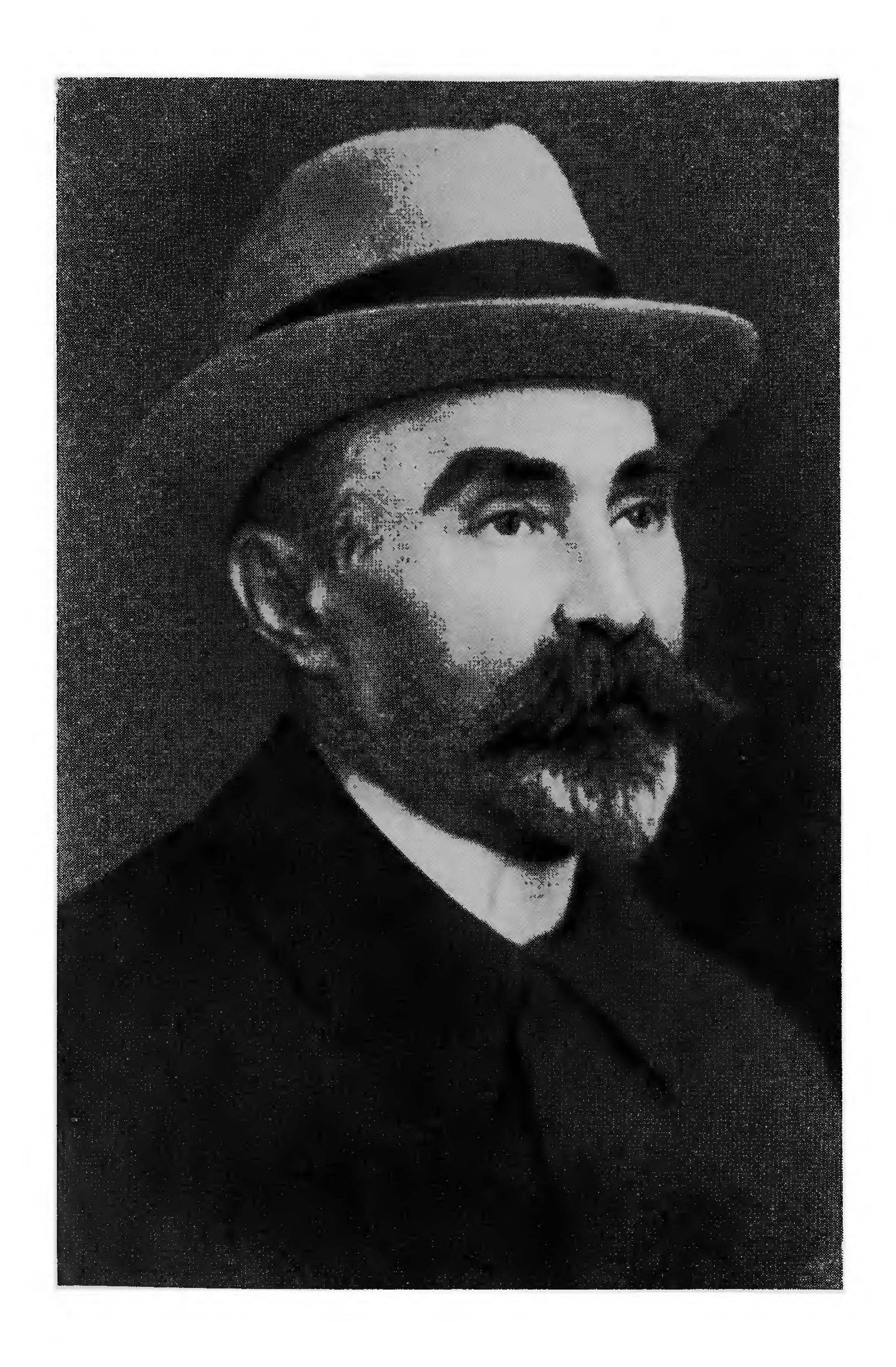
ИЗДАТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1958

Г. В. ПЛЕХАНОВ

ИЗБРАННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ IV

ИЗДАТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1958



Г. В. ПЛЕХАНОВ И ЕГО ТРУДЫ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ

Борец за научное, материалистическое мировоззрение Георгий Валентинович Плеханов был выдающимся марксистским историком философии, глубоким знатоком философской мысли человечества и ценителем ее лучших традиций.

Необычайно широк круг научных интересов Плеханова в сфере истории философии. Его внимание привлекала предыстория философской мысли, заключавшаяся в донаучных представлениях людей в условиях разложения первобытного строя, ранние этапы ее истории — в учениях древних греков. В сочинениях Плеханова содержится анализ философских систем нового времени — английских материалистов XVII—XVIII вв., Декарта и Спинозы, французских материалистов XVIII в., идеалистов Беркли и Юма, классической немецкой философии, особенно Гегеля и Фейербаха. Произведения Плеханова проливают свет марксистской науки на историю социологических учений эпохи капитализма, и прежде всего на социологические воззрения просветителей XVIII—XIX вв., утопистов-социалистов, французских историков времен реставрации.

Перу Плеханова принадлежат многочисленные статьи о философских и социологических учениях конца XIX — начала XX в., в том числе работы, в которых дана острая научная критика мировоззрения народников и анархистов, неокантианцев и махистов, богоискателей и богостроителей, «веховцев» и толстовцев, философских ревизионистов и вульгаризаторов марксизма.

Плеханов как историк философии в своих научных исследованиях никогда не ограничивался прошлым. Обращаясь к истории философской мысли пройденных эпох, он защищал

не только материалистические и диалектические традиции прошлого, но прежде всего отстаивал и проводил передовые философские идеи современности, идеи марксизма.

Пионер марксизма в России и активный деятель международного рабочего движения, Плеханов посвятил многие свои труды анализу как отечественной, так и всемирной истории философии. Плеханов глубоко понимал теоретическую необходимость и политическую актуальность марксистского освещения истории философии и всей общественной мысли в России. Это было тем более необходимо, что вокруг вопросов истории общественной мысли в России шла острая идейно-политическая борьба революционного марксизма против реакционно-монархических, либерально-кадетских, народнически-эсеровских и других враждебных марксизму течений. В связи с этой идейно-политической борьбой Плеханов постоянно обращался к истории русской философской, общественно-политической и эстетической мысли, выдвигая на первый план учения революционных мыслителей XIX в., особенно Белинского, Герцена, Чернышевского, и противопоставляя эти учения реакционной идеологии, либерализму, идеализму, мистике.

Работы Плеханова по истории философии, в том числе и русской, далеко не однородны и не равноценны по своему идейному содержанию.

В первое двадцатилетие своей марксистской деятельности (1883—1903) Плеханов создал выдающиеся научные труды, в которых он с позиций философии марксизма дал глубокий теоретический анализ истории материализма, диалектики и передовых социологических идей.

Будучи меньшевиком-партийцем в 1904—1913 гг., но оставаясь в основном сторонником марксистской философии, Плеханов написал ряд произведений, освещавших проблемы истории всемирной философии. Некоторые из этих произведений содержат ошибки и недостатки принципиального характера, они носят печать того политического грехопадения, которое совершил Плеханов после II съезда РСДРП, когда перешел в стан меньшевиков. Но при всех своих ошибках и недостатках и эти работы Плеханова помогали отстаивать прогрессивные, материалистические традиции, бороться с идейными врагами.

Наследие Плеханова в области истории философии, при всех допущенных им существенных ошибках, особенно в работах меньшевистского периода, является ценным приобретением марксистской теоретической мысли, по праву принадлежит международному рабочему движению и поныне служит делу идейной борьбы марксизма против реакционной буржуазной философии и социологии.

* * *

В трудах Плеханова большое и важное место занимают вопросы истории русской философии и русской общественной мысли вообще. Перу Плеханова принадлежит капитальное исследование о Н. Г. Чернышевском, напечатанное первоначально в заграничном издании «Социал-демократ» в 1890—1892 гг., а затем вышедшее двумя существенно отличающимися друг от друга изданиями — в 1894 г. (на немецком языке) и в 1909 г., и несколько статей об этом славном русском революционере. Плеханов создал ряд ярких и содержательных работ о великом русском мыслителе и критике В. Г. Белинском (в 1897—1898 гг. и в 1909—1911 гг.). В 1911—1912 гг. Плеханов написал статьи, речи и рецензии в связи со 100-летием со дня рождения основателя вольной русской прессы за границей А. И. Герцена, статью «Добролюбов и Островский» и другие произведения о русских революционных мыслителях. Плехановым написан также ряд статей и рецензий на книги о «западниках» — П. Я. Чаадаеве, В. С. Печерине, В. Н. Майкове, идеологе «официальной народности» М. П. Погодине, славянофилах И. В. Киреевском и А. С. Хомякове, русском историке А. П. Щапове, о Н. А. Некрасове, о народниках, о Л. Н. Толстом и других русских мыслителях. При жизни Плеханова вышли в свет три части его обобщающей работы по истории русской общественной мысли от Киевской Руси до начала XIX в.

Опровергая либеральные «теории» о том, что русская революционная мысль XIX в. якобы «беспочвенна» и страдает «доктринерством», Плеханов устанавливает, что русские революционные мыслители, особенно Белинский, Герцен, Чернышевский, были предшественниками марксизма в России, что марксизм является их законным наследником. «Наши нынешние взгляды и стремления представляют собою органический продукт истории русского революционного движения» *, — писал он.

Применяя принципы исторического материализма к русской действительности, Плеханов выступил против религиозно-мистических, славянофильских и тому подобных фальсификаторов истории русской общественной мысли, которые изображали ее преимущественно как идеалистическую и религиозную, отрицали влияние на нее революционных движений и передовых течений общественной мысли Запада. Плеханов доказывал, что передовая философская и общественно-политическая мысль

* *Г. В. Плеханов*, Соч., т. IX, стр. 5.

в России XVIII — XIX вв. развивалась на основе русских общественно-исторических условий не изолированно, а в тесной связи с западноевропейской культурой и революционным движением, испытывая плодотворные влияния прогрессивных течений теоретической мысли Запада.

В книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» и в других своих произведениях Плеханов попытался раскрыть такую закономерность, как некоторую зависимость в развитии идеологии, в том числе и философии, в данной стране от общественной, социально-исторической среды других стран, особенно соседних. «Так как почти каждое общество, — писал он, — подвергается влиянию своих соседей, то можно сказать, что *для каждого общества существует* в свою очередь *известная общественная, историческая среда, влияющая на его развитие*». «Влияние исторической среды, окружающей данное общество, сказывается, конечно, и на развитии его идеологий. Ослабляют ли, — спрашивал Плеханов, — и если да, то в какой мере ослабляют иностранные влияния зависимость этого развития от экономической структуры общества?» *. В конечном счете, как видно из сочинений Плеханова, степень «иностранных влияний» зависит от экономической структуры взаимодействующих обществ и прямо пропорциональна сходству общественных отношений данных стран.

Плеханов освещал проблему о взаимном влиянии политических, философских, эстетических и других идей, развивающихся в тех или иных странах, и положении классов в обществе, классовой борьбы. Он отвергал схематический подход к общественной мысли различных народов, игнорирующий ее исторические особенности, и считал, что каждое литературное течение, каждая философская идея приобретает свой особый оттенок, иногда почти новый смысл, в каждой из отдельных стран.

Правильно подчеркивая, в противовес религиозно-мистическим и народническим теоретикам, идейную общность русской и западноевропейской общественной мысли, роль влияний западноевропейской мысли на русскую мысль, Плеханов в этом отношении несколько увлекся; если употребить его собственное выражение, несколько «перегнул палку» в другую сторону: он не всегда анализировал внутренний процесс развития философской мысли в России, недооценивал преемственность ее различных течений, иногда преувеличивал влияние западноевропейской философии на русскую философию.

Взгляды Плеханова на историю русской философии противоположны славянофильским и либеральным воззрениям, рас-

* Настоящее издание, т. I, Госполитиздат, 1956, стр. 656, 657.

сматривавшим развитие русской философской и общественно-политической мысли как «единый поток», лишенный противоречий и независимый от борьбы классов. Плеханов доказывал, что развитие русской общественной мысли — это история борьбы передовых, просветительных и революционных идей с консервативными и реакционными идеями, а история русской философии — это история борьбы материализма с идеализмом. Он раскрывает нарастание двух тенденций в русской общественной мысли — революционной и либеральной, показывает, что революционная общественная мысль развивалась в борьбе с либерализмом. Характеризуя отношение Чернышевского к либералам, Плеханов пишет в 1890 г.: «Трусость, недальновидность, узость взглядов, бездеятельность и болтливая хвастливость — вот отличительные качества, какие он видел в тогдашних либералах» *.

Не ограничиваясь историей гносеологии, логики и методологии, Плеханов показал, что история социологических, эстетических и этических идей — неотъемлемая часть истории философии. В центре внимания передовой русской философской мысли, в силу потребностей общественной жизни, стояли проблемы социологии, эстетики и этики. Решая эти актуальные для общества проблемы, прогрессивные русские мыслители тем самым двигали вперед теорию познания и логику, развивали диалектический метод и т. д. Расширяя сферу исследования русской философской мысли изучением развития социологических, эстетических и этических идей, Плеханов впервые в историко-философской науке в России научно объяснил процесс развития материалистических учений XVIII—XIX вв., которые в то время, да и позднее, «официальная наука» считала находящимися «за пределами философии». В отличие от некоторых недальновидных и поверхностных исследователей, сомневавшихся в том, можно ли считать Белинского, Герцена, Чернышевского философами и социологами, если они не писали или мало писали специальных трактатов по проблемам теории познания или социологии, Плеханов сумел найти жемчужины философской и социологической мысли, разбросанные в литературно-критических и публицистических работах великих русских мыслителей.

В своих работах Плеханов показывал, что теоретической основой воззрений русских революционных мыслителей XIX в. — Белинского, Герцена, Огарева, Чернышевского, Добролюбова, Писарева и других — был «решительный», т. е. воинствующий, материализм, который, по его мнению, вытекал из материализма Фейербаха и являл собой применение

* Настоящее издание, т. IV, стр. 131.

его на русской почве. Плеханов был прав, когда в своих сочинениях подчеркивал большое и плодотворное влияние фейербаховской философии на русских мыслителей-материалистов в их борьбе против идеализма и мистики. Прав он был, хотя и не во всем, когда отмечал, что в воззрениях русских мыслителей-материалистов, последователей Фейербаха, имелись непреодоленные остатки антропологизма.

Но он был неправ, считая, что в философии Чернышевский и другие русские материалисты были лишь последователями Фейербаха. Он не показал, что они выходили за пределы антропологического материализма, не выяснил, что важным идейным источником формирования философии «шестидесятников» было материалистическое мировоззрение Герцена и Белинского.

В работах Плеханова показано, что Белинский, Чернышевский и Добролюбов теоретически обосновали реализм в искусстве, применили философский материализм в эстетике, рассматривали искусство с исторической точки зрения, вели умелую и непримиримую борьбу против идеалистических теорий «искусства для искусства» и т. д. Плеханов одним из первых раскрыл огромное идейно-воспитательное и революционизирующее влияние литературных произведений и критических трудов русских революционных мыслителей. Он писал, например, о романе Чернышевского «Что делать?»: «Кто не читал и не перечитывал этого знаменитого произведения? Кто не увлекался им, кто не становился под его благотворным влиянием чище, лучше, бодрее и смелее? Кого не поражала нравственная чистота главных действующих лиц? Кто после чтения этого романа не задумывался над собственною жизнью, не подвергал строгой проверке своих собственных стремлений и наклонностей? Все мы черпали из него и нравственную силу, и веру в лучшее будущее...» *.

В работах Плеханова о русской философии, в том числе и в сочинениях периода борьбы с ликвидаторством и контрреволюционным либерализмом, дана марксистская в своей основе, научная концепция взглядов на историю русской философской и общественно-политической мысли, исходившая из марксова материалистического понимания истории. Однако ценность этой марксистской, научной концепции взглядов на историю философии и общественно-политической мысли в России была снижена серьезными методологическими и теоретическими ошибками Плеханова, проявившимися главным образом в его меньшевистский период под влиянием политического оппортунизма. Эти ошибки во взглядах Плеханова на историю русской

* Настоящее издание, т. IV, стр. 159—160.

философии наиболее полно сказались в новом издании книги о Чернышевском (1909), в статьях о Белинском и Герцене, написанных в начале второго десятилетия XX в., и особенно в незаконченной книге «История русской общественной мысли».

В отдельных работах Плеханова ошибочно утверждается, что философская мысль экономически отсталых стран не может оказать сильного влияния на философскую мысль других стран. Факты истории опровергают этот взгляд. Так, например, в XVIII в. сравнительно отсталая в экономическом и политическом отношении Германия явилась родиной классических систем философской мысли, ценнейшим приобретением которой была диалектика, стоявшая несравненно выше философии передовых в то время стран — Англии и Франции, где господствовала метафизика. Неправ Плеханов и в том отношении, что отрицал влияние русской культуры XVIII в. (поскольку Россия была экономически отсталой страной) на культуру Франции и других передовых стран. Испытывая идейные влияния французской, немецкой и других культур, русская культура и в XVIII в., как доказано новейшими научными исследованиями, оказывала положительное влияние на западноевропейскую науку и общественную мысль.

В работах Плеханова по истории русской философии недостаточно прослеживается преемственность материалистических традиций в России.

Он несколько недооценивает русскую философскую традицию. «...Серьезное отношение к методологическим вопросам возможно лишь в обществе, получившем серьезное философское образование, — писал он в «Наших разногласиях». — Русское же общество никогда не могло похвастаться таким образованием. Недостаток философского развития с особенною силою сказался у нас в шестидесятых годах, когда наши «мыслящие реалисты», создавши культ естественных наук, открыли жестокое гонение на философскую «метафизику». Под влиянием этой антифилософской пропаганды последователи Н. Г. Чернышевского не могли усвоить себе приемы его диалектического мышления, а сосредоточивали свое внимание лишь на *результатах* его исследований» *. Если сказанное Плехановым в известной мере справедливо по отношению к народникам, усвоившим преимущественно слабые, ошибочные стороны социальных воззрений Чернышевского, то по отношению к революционным демократам-«шестидесятникам», последователям Чернышевского, это неверно. Борясь против метафизики идеалистического толка, они никогда не занимались гонениями

* Настоящее издание, т. I, стр. 172.

ни на материалистическую, ни на диалектическую (в том числе и гегелевскую) традицию философской мысли, а следовали ей и развивали ее.

Ошибка во взглядах Плеханова на историю русской мысли состоит далее в том, что он не видит, что главную роль в общественно-политических и социологических взглядах революционных русских мыслителей XIX в. играл не утопический социализм, как думал Плеханов, а революционный демократизм, выражавший интересы крестьянских масс. Продолжая считать социально-политические воззрения Белинского, Чернышевского и других революционных русских мыслителей просветительскими, Плеханов не поднялся до единственно правильной точки зрения Ленина, который показал, что революционный демократизм Белинского и Чернышевского носил боевой крестьянский характер, был выражением настроений и чаяний крепостных крестьян.

Плеханов допустил также ряд неточностей в оценке философских взглядов русских мыслителей XIX в., особенно их диалектики. Считая, например, Белинского и Чернышевского диалектиками, он вместе с тем допускал неправильные утверждения, что просветительская точка зрения якобы мешала развитию теоретических суждений Чернышевского и Белинского, особенно их диалектики.

Если просветители XVIII в. с их требованиями перестройки общества сообразно «человеческой природе» были метафизиками в своем подходе к явлениям общественной жизни, к человеку, а немецкие идеалисты-диалектики исторически подходили к общественной жизни, но отказывались от просветительских и революционных идей мыслителей XVIII в., то, согласно логическому приему «антитезы», широко применяемому Плехановым, русские революционные мыслители, например Белинский и Чернышевский, становясь на позиции просветителей, вынуждены были якобы отойти от диалектики. С точки зрения Плеханова, чем последовательнее они выступают как просветители, тем в меньшей мере они остаются сторонниками диалектического метода, и наоборот. В действительности же работы Белинского 1845—1848 гг., когда он был последовательным сторонником «просветительства», были проникнуты революционным методом; а труды Чернышевского 1859—1862 гг., когда он вел линию на крестьянскую революцию в России и идейно ее готовил, проникнуты в гораздо большей мере, чем прежние сочинения, идеями диалектики. В их сочинениях этого времени развиваются идеи революционного отрицания всех старых отживших порядков и учреждений, идеи, направленные против реакционных взглядов «охранителей», славянофилов, консервативных теорий либералов и т. д.

Сам Плеханов справедливо утверждал, что русские революционные мыслители завещали нам «несколько... попыток применения диалектического метода к решению важнейших вопросов русской общественной жизни» *.

Однако Плеханов не разъяснял, что мировоззрение русских революционных демократов, следовавших важнейшим принципам материализма Фейербаха, во многом отличалось от его метафизической, антидиалектической философии. Революционные демократы смотрели на диалектику как на «алгебру революции», они проявляли исторический подход к человеку, защищая не абстрактного «человека вообще», а трудящегося-простолюдина; они были свободны от религиозно-этических наслоений, присущих материализму Фейербаха, признавали большую роль практики в процессе познания и т. д. Плеханов не смог понять, что русские революционные демократы, опираясь на диалектику и новые открытия естествознания, пошли дальше Фейербаха в философии и развивали, по существу, новый вид материалистического мировоззрения, явившийся философским выражением интересов, настроений и чаяний поднимавшегося на революционную борьбу крестьянства.

В меньшевистский период ошибки, допущенные Плехановым в оценке истории русской общественной мысли, были усугублены под влиянием его политического оппортунизма.

Читая книгу Плеханова о Чернышевском в издании 1909 г. и сравнивая ее со статьями о Чернышевском в «Социал-демократе» (1890—1892), Ленин заметил: «Из-за *теорет*[*ического*] различия ид[еалистического] и мат[ериалистического] взгляда на историю Плех[ано]в *просмотрел* практич[ески]-полит[ическое] и *классовое* различие либерала и демократа» **.

В последний период своей жизни — в 1912—1916 гг., работая над трудом «История русской общественной мысли», Плеханов, который в это время был меньшевиком-оппортунистом, а потом стал и социал-шовинистом, испытал в своих взглядах на историю общественной мысли в России влияние либеральных концепций русского исторического процесса. В его незавершенной книге нашла отражение либеральная теория «государственных начал», утверждавшая, что в России всякое начинание шло от верхов, от правительства. В «Истории русской общественной мысли» не принималось во внимание, недооценивалось революционное движение крестьянства, аттестуемое как «анархия», «смута» и т. д. В ней проводился ошибочный взгляд, будто все сословия и классы в России были закрепощены царизмом, что борьба классов в России не

* Настоящее издание, т. I, стр. 173.

** «Ленинский сборник» XXV, 1933, стр. 231.

расшатывала, а якобы укрепляла помещичье-самодержавный строй и т. п. Наконец, в этой книге неправильно утверждалось, что в русской общественной мысли происходило повторение тех же идей и тех же вопросов, что и на Западе, что развитие русской общественной мысли объясняется в последнем счете логикой западноевропейского общественного развития.

Таких ошибочных положений в «Истории русской общественной мысли» у Плеханова немало, и они свидетельствуют об отступлениях его в последние годы жизни от марксистских взглядов на историю, от его воззрений того времени, когда он был революционным марксистом. Поэтому плехановское наследие по истории общественной мысли в России нужно изучать и оценивать не по «Истории русской общественной мысли» (хотя и в ней содержится ценный фактический материал, относящийся к русской истории XVIII в. и более ранним ее периодам), а главным образом по работам на эту тему, написанным в 80—90-х годах XIX в., в начале 900-х годов и в годы реакции.

Сущность и значение взглядов Плеханова на историю русской философии и общественной мысли определяется не ошибками и недостатками, перечисленными выше. На протяжении многих лет Плеханов с позиций марксистского материализма отстаивал русскую передовую общественную мысль и впервые в истории русской науки представил в свете марксизма революционные учения XIX в., особенно идеи Белинского и Чернышевского.

* * *

Более четверти века, начиная с первых своих марксистских работ, Плеханов с неослабевающим интересом обращался к мировоззрению и деятельности Н. Г. Чернышевского, которого считал гордостью, славой и украшением русской литературы. Среди работ Плеханова о Н. Г. Чернышевском на первом месте стоят четыре статьи под общим названием «Н. Г. Чернышевский» в изданном за границей сборнике «Социал-демократ», которые были напечатаны вскоре после смерти великого русского революционера, в 1890—1892 гг.; а также написанные им введение и дополнения к немецкому переводу (отчасти изложению) названных статей «Н. Г. Чернышевский», вышедших отдельной книгой в немецком издании Дитца в 1894 г. В 1897 г. написана ценная работа Плеханова «Эстетическая теория Н. Г. Чернышевского». В 1908 г. Плеханов подготовил новое издание книги «Н. Г. Чернышевский», которая вышла в 1909 г. на русском языке в легальном издательстве «Шиповник»; для этого издания Плеханов заново написал введение и первую часть. В 1909 г. он написал статью «Н. Г. Чернышевский» для

«Истории русской литературы XIX века». В 1910 г. в «Современном мире» напечатана рецензия Плеханова на книгу Ю. Стеклова о Чернышевском под названием «Еще о Чернышевском».

Работы Плеханова о Чернышевском завершаются его статьей «Чернышевский в Сибири», опубликованной в легальном русском журнале «Современник» в 1913г.*; эта статья, посвященная впервые тогда опубликованным письмам и другим произведениям Чернышевского, написанным в годы ссылки в Сибири, вносит существенно новые моменты в плехановскую оценку философских взглядов русского материалиста.

В своих работах о Чернышевском Плеханов с сыновним уважением и признательностью отзывается о великом предшественнике русской социал-демократии. Он говорит о себе: «Мое собственное умственное развитие совершалось под огромнейшим влиянием Чернышевского, разбор его взглядов был целым событием в моей литературной жизни» **.

Труды Плеханова о Чернышевском воссоздают облик великого русского революционера и мыслителя, показывают его как «человека непримиримой политической борьбы», «защитника крестьянских интересов в журналистике», выясняют отношение его взглядов к теории Маркса.

Доказывая применимость принципов марксизма в России и защищая их от нападок народнических идеологов, Плеханов, естественно, должен был критически подходить к учению Чернышевского, особенно к тем слабым и ошибочным его взглядам, которые были восприняты народниками, раздуты ими и противопоставлены марксизму (крестьянский утопический социализм, экономическая теория и т. д.). И хотя Плеханов справедливо считал, что эти взгляды «принадлежат к той эпохе в истории социализма, которая должна теперь считаться уже отжившей» ***, он вместе с тем стремился подойти к ним исторически, как к прогрессивным для своего времени взглядам, но в современную эпоху переставшим отвечать требованиям времени.

---

* В IV томе Настоящего издания печатается, помещенная в № 1 «Социал-демократа» 1890 г., первая статья работы Плеханова «Н. Г. Чернышевский», в которой дается общая характеристика деятельности и мировоззрения Чернышевского, его философских и социологических взглядов (вторая, третья и четвертая статьи из «Социал-демократа», излагающие политические и экономические взгляды Чернышевского, его утопический социализм, не входят в пятитомное издание «Избранных философских произведений» Г. В. Плеханова). Здесь же печатается введение и дополнения, написанные Плехановым в 1894 г. к немецкому изданию книги «Н. Г. Чернышевский». В IV том входят первая часть и введение к книге «Н. Г. Чернышевский», изданной в 1909 г., а также статья «Чернышевский в Сибири».

** Настоящее издание, т. IV, стр. 408.

*** *Г. В. Плеханов,* Соч., т. V, стр. 126.

В. И. Ленин, говоря о первом издании книги Плеханова «Н. Г. Чернышевский» в своей статье «Попятное направление в русской социал-демократии», отметил: «Плеханов в своей книге о Чернышевском (статьи в сборнике «Социал-демократ», изданные отдельно книгой по-немецки) вполне оценил значение Чернышевского и выяснил его отношение к теории Маркса и Энгельса» *.

Читая второе издание книги о Чернышевском, выпущенной Плехановым в 1909 г., Ленин отметил ряд мест (особенно в новом введении к книге), где по сравнению со статьей в № 1 «Социал-демократа» Плеханов делает шаг назад. Многие положения Чернышевского, в которых дана злая и меткая характеристика российского либерализма, были исключены Плехановым в издании 1909 г., так же как исключены и утверждения о том, что Чернышевский предохранял публику от развращающего влияния апологетов буржуазного порядка, т. е. либералов; была опущена и сильная, яркая характеристика борьбы Чернышевского с либерализмом, данная Плехановым в 1890 г. в «Социал-демократе»: «Кто не знает, что либералы... и в политике остаются такими же *эксплуататорами,* какими являются в области экономии, где они принадлежат обыкновенно к классу дельцов и предпринимателей? Вот за эти-то эксплуататорские наклонности и ненавидел их Чернышевский. И эта-то ненависть к *эксплуататорам* и сквозит на каждой странице его политических обозрений». Опущено и то место, где Плеханов в 1890 г. показывал значение критики либерализма Чернышевским для борьбы с либеральными течениями в российском общественном движении конца XIX в.: «Что сказал бы Н. Г. Чернышевский, — спрашивает Плеханов, — тем немалочисленным теперь у нас людям, которые, называя себя революционерами, возлагают все свои упования на либеральное «общество» и всеми правдами и неправдами стараются превратить нашу революционную партию в партию солидных и умеренных либералов?».

Все эти изменения, сделанные Плехановым в работе «Н. Г. Чернышевский» для издания 1909 г., объясняются не только тем, что на этот раз она выходила легально в царской России, но главным образом влиянием политического оппортунизма, соглашательскими тенденциями меньшевизма.

Ленин в своих замечаниях на книгу Плеханова о Чернышевском, изданную в 1909 г., не мог пройти мимо того, что Плеханов обращал главное внимание на слабость теоретических взглядов Чернышевского, на идеализм его исторических взглядов, но не придавал должного значения практически-революционной деятельности Чернышевского. По поводу слов

---

* *В. И. Ленин,* Соч., т. 4, стр. 249.

Плеханова: «Подобно своему учителю, Чернышевский тоже сосредоточивает свое внимание почти исключительно на «теоретической» деятельности человечества» Ленин справедливо заметил: «Таков же недостаток книги Пл[е]х[ано]ва о Чер-н[ышевск]ом» *.

Плеханов утверждал: «Ничего невероятного нет в том предположении, что Чернышевский принадлежал к какому-нибудь революционному обществу» **. Но он не дал в своих произведениях всестороннего анализа деятельности Чернышевского. В сочинениях Плеханова не было показано влияние Чернышевского на революционную молодежь, передовых офицеров, деятелей национально-освободительных движений Польши и других стран. Плеханов, конечно, ошибался, когда на основании критических замечаний Чернышевского по поводу отсталости и забитости народных масс писал, что он якобы «не рассчитывал на народную инициативу ни в России, ни на Западе», что «инициатива прогресса и всяких полезных для народа перемен в общественном устройстве принадлежала, по его мнению, «лучшим людям», т. е. интеллигенции» ***. Правда, Плеханов не раз говорил о вере Чернышевского в народную революцию, о том, что, по его убеждению, «народная масса пробуждается от своей обычной спячки и делает энергичные, хотя нередко малосознательные, попытки к улучшению своей судьбы» ****.

Ленин, излагая в своих трудах с последовательно-марксистской точки зрения учение Чернышевского, видимо, не считал нужным публично критиковать ошибочные моменты в работах Плеханова о Чернышевском, тем более что в целом Плеханов занимал в то время близкую к большевикам позицию в защите революционных и материалистических традиций XIX в.

Несмотря на серьезные ошибки в работах Плеханова о Чернышевском, в целом они сыграли большую положительную роль: в них Чернышевский был показан как революционер, выдающийся мыслитель-материалист, пламенный борец за интересы народных масс и как сторонник утопического социализма, поборник социалистического пути развития через крестьянскую общину и т. д.

В первых своих работах о Чернышевском Плеханов подчеркивает непримиримость русского революционера ко всем видам гнета, в том числе и буржуазного, к либеральному славословию в адрес капитализма. Вместе с тем Плеханов показал Черны-

* «Ленинский сборник» XXV, 1933, стр. 221.
** Настоящее издание, т. IV, стр. 158.
*** Там же, стр. 200.
**** *Г. В. Плеханов*, Соч., т. VI, стр. 58.

шевского как защитника интересов международной демократии, преисполненного горячей симпатии к освободительным движениям, где бы они ни возникали — во Франции или в Америке, в Италии или Венгрии; Чернышевский ненавидел либералов, которые по отношению к этим движениям выступали как эксплуататоры, таскавшие «каштаны из огня» руками народа. Хотя, как верно замечал в первой статье для «Социал-демократа» Плеханов, Чернышевский не идеализировал тогдашний народ, не переоценивал сознательности и революционности крепостного крестьянства, которое было страшно забито и неразвито, он все же возлагал свои надежды, особенно после 1859 г., на крестьянские восстания и вместе с тем на очень быстрый рост «крайней партии», всецело стоявшей на стороне крестьянства, верил в возможность крестьянской революции *.

В работах Плеханова о Чернышевском подробно разбираются социалистические взгляды русского революционера. Критикуя Ю. Стеклова, который чрезмерно сближал в своей книге взгляды Чернышевского на будущее общество с научным социализмом, Плеханов рассматривает эти взгляды как разновидность утопического социализма.

Плеханов был прав, относя Чернышевского к социалистам-утопистам, ибо Чернышевский не связывал социалистического преобразования общества с революционной борьбой пролетариата, да и не мог этого сделать в условиях крепостнической отсталости России.

Вместе с тем Плеханов отмечал, что Чернышевский понимал значение борьбы классов в человеческих обществах, сознавал зависимость понятий людей от окружающей их социальной обстановки, глубоко понимал те общественные условия, под влиянием которых совершается развитие философской и политической мысли и т. д.**, начинал понимать решающее влияние материальной стороны жизни народов на другие стороны этой жизни ***.

«Чернышевский, — писал Плеханов, — умел объяснять развитие философской мысли ходом политической борьбы, т. е. опять-таки развитием общественной среды. Мы знаем также еще из статьи «Антропологический принцип в философии», что всякое данное общество, равно как и всякая данная органическая часть общества, считает полезным и справедливым то, что полезно этому обществу или этой его части. Чернышевскому стоило только последовательно применить этот свой взгляд к истории идейного развития человечества, чтобы ясно увидеть, каким образом это развитие обусловливается столкновением человеческих интересов в обществе, т. е. «экономикой»

* Настоящее издание, т. IV, стр. 128.
** См. там же, стр. 90—93.
*** См. там же, стр. 295.

этого общества. И Чернышевский в самом деле ясно видел это, по крайней мере в некоторых случаях» *.

Разбирая вопрос о социалистических идеях Чернышевского, изложенных им в «Что делать?», Плеханов отмечает шаг вперед, сделанный Чернышевским в сравнении с утопистами прошлого: «В этих снах (речь идет о снах Веры Павловны — героини романа Чернышевского «Что делать?» — *М. И.*), — пишет он, — нас привлекает вполне усвоенное Чернышевским сознание того, что социалистический строй может основываться только на широком применении к производству технических сил, развитых буржуазным периодом... Освобождение пролетариата может совершиться только в силу освобождения человека от *«власти земли»* и вообще природы. А для этого последнего освобождения безусловно необходимы те армии труда и то широкое применение к производству современных производительных сил, о которых говорил в снах Веры Павловны Чернышевский...» **. Этот реалистический и глубокий взгляд Чернышевского на будущее социалистическое общество возвышает его над народническими утопиями, изображавшими это общество в виде федерации крестьянских общин, сохой обрабатывающих свои поля.

Плеханов причислял русского революционера Чернышевского к числу приверженцев новейшего материализма, считал, что Чернышевский, «...одаренный замечательным, из ряда выходящим и очень деятельным умом, мог заметить пробелы и пополнить недостатки во взглядах своего учителя (Фейербаха. — *М. И.*), т. е., другими словами, сделать то, что сделали Маркс и Энгельс» ***. Однако этому, как отмечает Плеханов, помешали неблагоприятные внешние обстоятельства окружавшей его жизни.

Плеханов стремился проследить развитие идей Чернышевского в связи с потребностями общественного развития России. Плеханов был совершенно прав, когда говорил о Чернышевском: «Философия интересовала его главным образом как теоретическая основа известных практических требований» ****, и объяснял исторически обусловленную ограниченность мировоззрения Чернышевского, не поднявшегося до уровня марксизма, отсталостью крепостнической России и неблагоприятно сложившимися условиями его собственной жизни.

Плеханов показывает, что Чернышевский начал свой путь с того же, с чего начинали Маркс и Энгельс, — с перехода от Гегеля к Фейербаху, но в отличие от них он не мог подвергнуть

* Настоящее издание, т. IV, стр. 295—296.

** Там же, стр. 227—228.

*** Там же, стр. 87.

**** Там же, стр. 242.

«антропологическую» философию немецкого материалиста коренной переработке и остался на всю жизнь последователем этой философии. «На Фейербаха, — писал Плеханов, — указывает самое название единственной философской статьи, написанной Чернышевским: об *антропологической* точке зрения в философии заговорил впервые именно Фейербах... Для него Фейербах не ниже Гегеля, а этим сказано очень много, потому что Чернышевский считал Гегеля одним из гениальнейших мыслителей. Итак, философская точка зрения нашего автора найдена. Как последователь Фейербаха, Чернышевский был материалистом» *. Главное внимание Чернышевского в философии, как и внимание Фейербаха, по Плеханову, занимал вопрос об отношении субъекта к объекту, и этот вопрос он решил в материалистическом смысле. Он никогда не опускался до уровня вульгарного материализма, распространенного тогда среди естествоиспытателей.

Показывая роль Фейербаха как учителя Чернышевского в философии, Плеханов, однако, впадает в некоторую односторонность, считая Чернышевского антропологическим материалистом; он не видит, что Чернышевский не только следовал материалистической философии Фейербаха, но продолжал и развивал учения первых русских революционных демократов — Белинского и Герцена, в том числе и их отношение к диалектике как «алгебре революции», их исторический подход к общественной жизни и теоретической мысли человечества, что, как известно, было чуждо метафизической системе Фейербаха. Плеханов не раскрывает в своих работах первых стадий становления философского мировоззрения автора «Эстетических отношений искусства к действительности», не показывает, что первое, настоящее философское крещение он получил от Герцена и Белинского, статьи которых в «Отечественных записках» и «Современнике» уже в семинарские, а затем и в университетские годы стали символом веры молодого Чернышевского.

Плеханов прав, когда выясняет большую роль диалектики Гегеля в формировании мировоззрения Чернышевского; но он не совсем точен, когда полагает, что автор «Очерков гоголевского периода русской литературы» учился диалектике первоначально у Гегеля; от самого Чернышевского известно, что диалектика Гегеля, критически усвоенная и истолкованная в революционном духе Белинским и Герценом, была впервые воспринята Чернышевским из трудов этих русских мыслителей и что в оригинале Гегель понравился ему гораздо менее, чем в интерпретации его русских учеников.

* Настоящее издание, т. IV, стр. 78.

Справедливо считая Чернышевского «решительным материалистом», «выдающимся материалистом новейшего времени», Плеханов указывал, что уровень философских взглядов Чернышевского в условиях крепостнической России таков, что «удивляешься не тому, что Чернышевский отстал от Маркса и Энгельса, а тому, что он так мало отстал от них» *.

Плеханов показывает, что Чернышевский не был «рабом Фейербаха», что он применил «основные теоремы» философии к эстетике, к «нравственным» наукам и т. д. В «Антропологическом принципе в философии» и в своих работах 60—70-х годов Чернышевский, в отличие от Фейербаха, начинает видеть связь между философским идеализмом и интересами эксплуататорских классов. Плеханов писал об этом и в 1909 г.: «Мы имеем право предположить, что и нынешнее состояние философии приводилось им в связь с классовым положением людей, специально ею занимающихся. Иначе сказать, очень вероятно, что Чернышевский ставил широкое теперь распространение философского «иллюзионизма» в причинную связь с упадком того общественного класса, идеологами которого служат, в огромнейшем большинстве своем, философы нашего времени» **.

Плеханов не раскрывает в своих работах ту связь, которая существовала между мировоззрением Чернышевского и естествознанием, в результате которой Чернышевский в общем верно оценил стихийно-диалектические открытия науки и обосновывал в своих трудах, хотя и не всегда последовательно, принцип развития применительно к явлениям природы. Плеханов не обращает должного внимания и на то, что русский материалист, выражая интересы крестьянства, поднимающегося на революционную борьбу с крепостничеством, освобождается от созерцательности старого материализма, начинает вводить критерий практики в теорию познания, не сводит практику, как Фейербах, к чувственно-созерцательной и теоретической деятельности, а включает в практику прежде всего «материальную деятельность людей».

Правда, Плеханов делает некоторое исключение для эстетики Чернышевского. Здесь он, говоря словами Плеханова, «реабилитирует действительность» не только в философии, что сделал и Фейербах, но и в применении к специальной научной отрасли, развивая те принципы, к которым пришел в последние годы своей литературной деятельности Белинский.

В своих статьях в «Социал-демократе» Плеханов показывал, что Чернышевский преследовал идеализм во всех его

---

* *Г. В. Плеханов*, Соч., т. VI, стр. 341.

** Настоящее издание, т. IV, стр. 275.

«эстетических закоулках и убежищах», особенно в решении общих теоретических вопросов о происхождении искусства и его значении в жизни, в понимании эстетических категорий прекрасного, возвышенного, трагического и т. д.

В работах Плеханова мы находим прекрасные доказательства тому, что великий русский критик нанес удары идеализму и метафизике в эстетике, реакционной теории «искусства для искусства», отстоял принципы материализма в литературе и искусстве, доказал, что искусство, вынося свой приговор явлениям жизни, является учителем жизни, — и тем самым проложил новые пути в искусстве.

Плеханов не раз показывал, что Чернышевский (например, в статье «Критика философских предубеждений против общинного владения») выступает блестящим диалектиком. Воспроизводя в своей работе 1909 г. характеристику гегелевского диалектического метода, данную Чернышевским, Плеханов не без основания считал, что «в философских взглядах Чернышевского уже есть жизнеспособный зародыш материалистической диалектики» *. Об этом свидетельствует, по Плеханову, признание Чернышевским вечности и повсеместности закона смены форм, отвержения старых форм и возникновения новых, и т. д. Об этом говорит и тот факт, что «Чернышевский видит, что в общественном бытии есть взаимно противоположные элементы; он видит также, каким образом борьба этих взаимно противоположных общественных элементов вызывает и определяет взаимную борьбу теоретических идей. Но этого мало. Он видит не только то, что развитие всякой данной науки определяется развитием соответствующей категории общественных явлений. Он понимает, что взаимная классовая борьба должна накладывать свою глубокую печать на всю внутреннюю историю общества» **.

В работах Плеханова показано, что, поскольку Чернышевский оставался в основном идеалистом в понимании истории общества, он, естественно, не мог научно раскрыть, обосновать внутреннюю логику, законы развития социальной действительности, с необходимостью ведущие ее к переходу в свою противоположность, т. е. в новую действительность. Поэтому-то он иногда отступал от диалектики: выдвигая, например, в духе «антропологического принципа» положения о «нормальных потребностях человека» и «ненормальных», «неразумных» общественных отношениях, он выводил отсюда «принцип» борьбы между «желанием улучшений» и «силой привычки» и т. д. Историческая ограниченность диалектики Чернышевского ска-

* Настоящее издание, т. IV, стр. 270.
** Там же, стр. 298.

залась и в неудачном применении им в отдельных случаях так называемого «гипотетического метода» в исследовании некоторых экономических явлений в их, так сказать, «чистом виде». В принципе «гипотетический метод» Чернышевского не может быть зачислен по ведомству метафизики. Выдающийся русский экономист при помощи этого метода стремился раскрыть сущность экономических явлений, отвлекаясь от всех и всяких случайностей, с тем чтобы наиболее существенный в этих явлениях, «интересующий нас элемент обнаруживал бы свой характер самым несомненным образом» *. Однако, отвлекаясь от конкретно-исторических условий и особенностей, в которых протекали те или иные общественные явления, Чернышевский подчас отступал от диалектического принципа конкретности истины, в результате чего эти явления рассматривались с точки зрения «потребностей человека», как «хорошие» или «дурные» и т. п. Нельзя, однако, считать, как это иногда делал Плеханов, будто, следуя гипотетическому методу в своих экономических исследованиях, Чернышевский отрицал исторический (т. е. диалектический) метод. Сам Плеханов, показывая блестящее применение диалектики автором «Критики философских предубеждений против общинного владения» — произведения безусловно экономического, по сути дела опроверг этот свой односторонний вывод.

Противоречия в плехановских оценках диалектики Чернышевского объясняются тем, что он нередко видит в русском революционере главным образом последователя Фейербаха и не показывает существенных отличий материалистической философии революционно-демократического направления, виднейшим представителем которого был Чернышевский, от метафизического материализма Фейербаха. А между тем философия революционных демократов включала в себя диалектику как основной метод подхода к познанию мира и рассматривала ее как теоретическое обоснование революционных преобразований («алгебра революции»). Правда, это был незавершенный, не всегда последовательно проводимый, еще не разработанный, особенно в применении к социологии, метод. Но это был не один из возможных, наряду с метафизическим, методов мышления, применяемых Чернышевским, а основной метод революционеров-демократов, пронизывающий все их мировоззрение. Чернышевскому, как революционному демократу, была органически присуща точка зрения классовой борьбы — защита интересов простолюдинов, революционное отрицание всех старых, отживших свой век порядков, и поэтому он вышел за пределы антропологизма и метафизики. Только «неблагоприят-

* См. *Г. В. Плеханов*, Соч., т. VI, стр. 66—67.

ные внешние условия», о которых часто говорил Плеханов, — экономическая отсталость России и отсутствие в ней до 60-х годов XIX в. революционного рабочего движения, а затем вынужденная оторванность Чернышевского, бывшего свыше 20 лет узником царизма, от революционного движения, — помешали ему последовательно распространить диалектику на познание общественной жизни.

Произведения Плеханова о Чернышевском, как мы видим, содержат ряд противоречивых утверждений и спорных суждений. Но в целом, несмотря на некоторую непоследовательность и отдельные ошибки в оценках Чернышевского, особенно в работах меньшевистского периода, Плеханов в своих трудах дал впервые в истории русской общественной мысли марксистское, научное представление о деятельности и мировоззрении великого русского ученого и писателя.

Плеханов с полным основанием считал, что до распространения марксизма в России взгляды Чернышевского «являлись самым важным приобретением русской философской и общественной мысли. И поскольку эта мысль отказывалась от этого своего приобретения (у народников например. — *М. И.*)... постольку она шла назад в своем развитии» *.

* *
*

Из всех революционных мыслителей и деятелей России самую горячую любовь и наибольшее уважение Плеханова снискал, наряду с Чернышевским, Виссарион Григорьевич Белинский. Перу Плеханова принадлежит ряд сочинений о Белинском: «Белинский и разумная действительность» (1897), речь «В. Г. Белинский» (1898), большая статья для «Истории русской литературы XIX века» под названием «Виссарион Григорьевич Белинский» (1909), статьи: «О Белинском» в журнале «Современный мир» (1910) **, «Виссарион Белинский и Валериан Майков» (1911), юбилейная статья к 100-летию со дня рождения Белинского (1911) в журнале «Наш путь». Эстетическим и литературно-критическим взглядам Белинского посвящены статья «Литературные взгляды В. Г. Белинского» (1897) и написанная в том же году рецензия на книгу А. Волынского «Русские критики», а также написанная в 1911 г. рецензия на книгу С. Ашевского «Белинский в оценке его современников».

Белинского Плеханов считал центральной фигурой истории русской общественной мысли. «...Давно уже сле-

* *Г. В. Плеханов*, Соч., т. VI, стр. 337.

** Все эти работы Плеханова о Белинском включены в IV том Настоящего издания.

довало, — писал он в 1897 г., — просмотреть историю его умственного развития и его литературной деятельности с точки зрения *конкретных* взглядов наших дней. Чем внимательнее изучаем мы эту историю, тем глубже проникаемся убеждением, что Белинский был самой замечательной философской организацией, когда-либо выступавшей в нашей литературе» *.

Прослеживая идейно-политический путь Белинского в 30—40-х годах XIX в., Плеханов справедливо отмечал, что как бы резко ни осуждал наш критик «безмолвие» народа перед тогдашней гнусной «российской действительностью», его отнюдь нельзя считать представителем какого-либо антидемократического направления русской общественной мысли; он «глубиной симпатии к угнетенному народу превосходил остальных членов западнического кружка» **, т. е. Герцена, Грановского и других. Справедливо считая Белинского народным заступником, Плеханов, в отличие от Ленина, не считал его выразителем настроений и чаяний крепостных крестьян, а видел в нем представителя разночинной среды и выразителя ее стремлений. Однако Плеханов, в противоположность либералам и идеологам «мещанства нового времени» вроде Иванова-Разумника, отнюдь не считал творчество Белинского беспочвенным и продиктованным лишь его «великим сердцем». Он писал: «...Белинский был не только в высшей степени благородным человеком, великим критиком художественных произведений и в высшей степени чутким публицистом, но также обнаружил изумительную проницательность в постановке — если не в решении — самых глубоких и самых важных вопросов нашего общественного развития ...*И до сих пор каждый новый шаг вперед, делаемый нашей общественной мыслью, является новым вкладом для решения тех основных вопросов общественного развития, наличность которых открыл Белинский чутьем гениального социолога, но которые не могли быть решены им вследствие крайней отсталости современной ему российской «действительности»*» ***.

Плеханов показывает, что даже в период своего временного «примирения с действительностью», т. е. в 1837—1839 гг., Белинский шел не назад, а вперед в теоретическом отношении; отказываясь от романтического «абстрактного идеала», не имевшего реальных оснований в действительности, он вслед за Гегелем провозгласил необходимость исходить из действительности, изучать ее противоречия и тенденции развития. На этой почве Белинский искал более реальное основание для своей

* Настоящее издание, т. IV, стр. 466.
** Там же, стр. 517 (примечание).
*** Там же, стр. 541 — 542.

идеи отрицания, нежели отрицание ее во имя «абстрактного идеала», для того чтобы обосновать «идею отрицания» старой действительности действительностью новой, закономерно и в процессе борьбы вырастающей на почве старой действительности.

Отсталость тогдашней крепостнической действительности не дала Белинскому возможности решить эту чрезвычайно важную теоретическую задачу.

В 40-х годах Белинский не просто просветитель, он — революционер-демократ, критик капитализма и поборник утопического социализма. И защита прав «человеческой личности» в эти годы отнюдь не ущемила диалектики в его сочинениях и не ограничила ее, как ошибочно полагал Плеханов. Напротив, принцип диалектического развития был блестяще применен Белинским (например, в статье «Парижские тайны», в письмах из Франции и Германии) не только к пониманию феодального, но и к оценке капиталистического мира и привел нашего критика к тому выводу, что капиталистический строй, несмотря на свою прогрессивность в сравнении с феодализмом, преходящ и не может считаться идеальным общественным порядком.

Плеханов был неправ, приписывая Белинскому взгляды, близкие славянофильским; так, в своей статье (1909) Плеханов писал, что с точки зрения Белинского, «народу, т. е., собственно, пролетариату, навсегда суждено оставаться пассивным орудием буржуазии» *. Понимая прогрессивность капиталистического развития для России в сравнении с феодализмом, Белинский никогда не возлагал своих надежд на буржуазию, так же как никогда не идеализировал, подобно славянофилам, патриархально-крепостнической отсталости.

Обращаясь к философским взглядам Белинского, Плеханов показывает, что русский критик прошел школу классической немецкой философии, которая открыла перед ним, как и перед другими мыслящими людьми, широкие и отрадные перспективы, показав, что могущество случайности должно будет смениться торжеством разума, необходимость должна будет стать прочной основой свободы. Именно это и вызвало тяготение к классической немецкой философии, особенно к философии Гегеля, со стороны передовых людей России, в том числе и со стороны Белинского.

Если в первые годы своего увлечения Гегелем (1837—1839) Белинский истолковал «действительность» чрезмерно расширительно, отождествив ее с существованием, и это было одной из причин того, что он — правда, на короткое время — пришел к консервативным выводам, то вскоре, уже в 1840 г.,

* Настоящее издание, т. IV, стр. 521.

он восстал против этих выводов. Плеханов объясняет это следующим: «Объявив себя обладателем абсолютной истины и примирясь с существующим, Гегель повернулся спиною ко всякому развитию и признал *разумом ту необходимость,* от которой страдало современное ему человечество. Это было равносильно объявлению себя философским банкротом. И вот это-то банкротство и возмущало Белинского» *.

Восстание Белинского против Гегеля, по Плеханову, было в теоретическом отношении основательным, лишь поскольку оно опиралось на диалектику Гегеля.

Белинский, пережив кратковременное увлечение левогегельянством, пишет Плеханов, пошел, как и западноевропейские мыслители, от Гегеля к Фейербаху. И в этом отношении Плеханов верно схватил суть дела. Но в целом его представление о философско-политической эволюции Белинского является схематичным и во многом неправильным. В статье «Виссарион Григорьевич Белинский» (1909) мы читаем: «Три первые акта умственной драмы Белинского можно озаглавить так: 1) абстрактный идеал и фихтеанство; 2) примирение с «действительностью» под влиянием «абсолютных» выводов гегелевой философии; 3) восстание против «действительности» и переход частью на отвлеченную точку зрения «личности», частью на конкретную точку зрения гегелевой *диалектики.*

Четвертый акт этой драмы начался полным разрывом с *идеализмом* и переходом на *материалистическую* точку зрения Фейербаха. Но рука смерти опустила занавес после первых же сцен этого акта» **.

Действительная история идейно-теоретического развития Белинского существенно отличается от представлений Плехановым о философской эволюции великого критика. Факты, открытые советской наукой, свидетельствуют о том, что Белинский задолго до того, как стал сторонником и последователем немецкой идеалистической философии, в начале 30-х годов, в университетский период был последователем философии французских просветителей и Радищева. Влияние философского учения Фихте с его «абстрактным идеалом» Белинский испытывал весьма непродолжительное время, и это влияние ни в чем существенном у молодого критика не проявилось. Плеханов был прав, когда считал, что в этот период Белинский «с полным и нескрываемым сочувствием относился к французской революции» ***.

И на следующем этапе своего идейно-политического развития русский критик не переставал служить передовым, т. е. про-

* Настоящее издание, т. IV, стр. 452.
** Там же, стр. 539.
*** Там же, стр. 507.

светительским, идеям, направленным против крепостничества и монархии. Сам Плеханов писал, что «Белинский мирился не с действительностью, а с печальной судьбой своего абстрактного идеала» *. Но философское обоснование просветительских воззрений Белинского исходило из объективного идеализма, который признавал действительность творением абсолютного духа; это представление вступало в противоречие с просветительскими устремлениями Белинского.

Став революционным демократом и утопическим социалистом на «третьей стадии» своего развития, после 1840 г., Белинский преодолевал и примерно к 1845 г. преодолел противоречие между передовыми социально-политическими взглядами и сильными остатками философского идеализма в своем мировоззрении; революционная («просветительская») позиция в сфере политической идеологии способствовала усилению элементов диалектики в философских взглядах Белинского, а не вела, как то утверждал Плеханов, к отходу от них.

Плеханов показывает, что «четвертый этап» в идейно-теоретическом развитии Белинского (1844—1848 гг.) характеризуется разрывом с идеализмом и переходом на позиции материализма Фейербаха. В духе материалистического мировоззрения написаны самые крупные и выдающиеся литературно-критические статьи Белинского, в том числе последние статьи о Пушкине, годичные обзоры русской литературы за 1846 и 1847 гг., знаменитое письмо Гоголю, его изумительные по силе рецензии на книги по истории, его острые и разящие статьи против идеализма славянофилов и т. д.

«В статьях Белинского, написанных в последние годы его деятельности, — писал Плеханов, — заключается целая программа, которая до сих пор еще не выполнена нашей литературной критикой и которая только тогда будет выполнена ею, когда она сумеет целиком стать на социологическую точку зрения. Это опять свидетельствует о гениальной силе его мысли» **.

Прав был Плеханов и тогда, когда говорил о большой социологической проницательности Белинского, указывая, что в последние годы своей жизни, расставшись с идеализмом и сблизившись с материализмом Фейербаха, он «видел последнюю инстанцию для критики уже не в развитии абсолютной идеи, а в развитии общественных классов и классовых отношений»***.

Плеханов не раз правильно говорил и о том, что «в эпоху самых жестоких схваток своих со славянофилами Белинский был диалектиком до конца ногтей, тогда как в их миросозер-

* Настоящее издание, т. IV, стр. 438.

** Там же, стр. 537.

*** Там же, стр. 538.

дании диалектический элемент совершенно отсутствовал. Гегель назвал бы их метафизиками чистейшей воды» *.

Однако, отступая от своего правильного вывода, Плеханов ошибочно считает, что Белинский держался диалектического взгляда, лишь когда дело касалось общественного развития Западной Европы, и просветительского взгляда — в тех случаях, когда у него заходила речь о развитии России. А между тем в полемике со славянофилами по вопросам исторического развития России Белинский стоял на точке зрения борьбы классов, которую применял не только к общественной жизни Запада, но и к истории России. Все ее будущее Белинский связывал с надеждами на восстание угнетенного крестьянства.

Отдельные ошибки Плеханова в оценке философских взглядов Белинского, характера его материализма и диалектики, однако, не могут заслонить главного: Плеханов дал высокую оценку Белинского как мыслителя, особенно в области социологии и эстетики. Белинский, говорил Плеханов, «был рожден философом и социологом, обладавшим при этом всеми данными, необходимыми для того, чтобы стать превосходным критиком и блестящим публицистом» **. В рецензии на книгу С. Ашевского «Белинский в оценке его современников» (1911) Плеханов доказывал, что Белинский не только гениальный человек и гениальный критик, но и гениальный социолог. «...У Белинского, — писал он, — не было ни одного *социологического исследования*. Но, по моему твердому убеждению, он, — когда в нем диалектик не умолкал перед просветителем, — ясно сознавал и даже формулировал то, что можно было назвать тогда пролегоменами всякой будущей социологии, которая захочет выступить как наука. В его время таким сознанием мог обладать только гениальный мыслитель, и вот почему я назвал его гениальным социологом» ***.

В работах Плеханова раскрыты важные черты социологических воззрений Белинского, позволяющие считать его гениальным социологом: диалектический подход к действительности, в том числе и социальной, как к внутренне противоречивому и законосообразно развивающемуся процессу, — точка зрения борьбы «сословий», т. е., по сути дела, классов; представление о капитализме как прогрессивном в сравнении с феодализмом общественном строе и о превращении его в строй, чуждый интересам народа; идея «отрицания» всех старых и отживших свой век общественных отношений, учреждений, идей и т. д.

Плеханов нарисовал яркую и в общем верную картину развития эстетических воззрений Белинского. Так, в юбилейной

* Настоящее издание, т. IV, стр. 562.

** Там же, стр. 539.

*** *Г. В. Плеханов*, Соч., т. XXIII, стр. 264.

статье к 100-летию со дня рождения Белинского, помещенной в журнале «Наш путь», Плеханов называет Белинского величайшим русским критиком, в статьях которого мы найдем «самую верную оценку выдающихся произведений русской художественной литературы» *. Плеханов там же показывает, что в последние годы жизни Белинский вырабатывал в результате изучения развития философии научный метод изучения явлений литературы. «Когда Белинский, — пишет Плеханов, — держался гегелевского идеализма, он объяснял смену литературных явлений, равно как и все историческое движение человечества, диалектическим движением абсолютной идеи. А когда он перешел на точку зрения фейербахова материализма, он *стал приурочивать развитие литературы к развитию общественных отношений, к исторической смене различных сословий и классов»* **.

Отбросив от себя «философский колпак» Гегеля, т. е. расставшись с абсолютным идеализмом, Белинский, как правильно замечает Плеханов, более последовательно «...стал применять его диалектический метод. Это особенно заметно на развитии его литературных взглядов: они изменились преимущественно в том смысле, что в них проник элемент диалектики» ***.

Белинский решительно оспаривает теперь так называемую теорию «чистого искусства», доказывает, что искусство есть «воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир». На обязанность художника, по правильному замечанию Плеханова, теперь он смотрит «с точки зрения диалектической и потому понимает, что воспроизводящий действительность художник сам находится под ее влиянием» ****. С другой стороны, Плеханов считал, что в основе литературных суждений Белинского, после того как он восстал против «гнусной российской действительности», лежали отвлеченные понятия, которые всегда были благородны с нравственной стороны и часто неудовлетворительны — с теоретической. В статье «О Белинском» Плеханов видит отступление великого критика от диалектики в том, что он, будучи просветителем, к требованию верного изображения действительности в искусстве «прибавлял, кроме того, что искусство *должно* давать известное направление взгляду читателя на известные стороны жизни» *****.

Но Белинский не навязывал ни действительности, ни искусству каких-либо предвзятых, априорных принципов «долженствования»; не во имя отвлеченных понятий «разума» и не во

* «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI, стр. 139.
** Там же, стр. 143.
*** Настоящее издание, т. IV, стр. 528.
**** Там же, стр. 534.
***** Там же, стр. 590.

имя категорий «должного» искусство выносит свой приговор явлениям жизни; Белинский считал, что в эстетических суждениях выражается точка зрения тех исторически определенных сил общества, которые в силу исторических условий борются за коренные преобразования жизни для того, чтобы старое уступило место новому.

В конечном счете Плеханов высоко ставил научный уровень эстетических воззрений Белинского. Плеханов утверждает, что с точки зрения Белинского эстетика не предписывает искусству идеалов, которые должны осуществляться в искусстве, но эстетика «должна рассматривать искусство как предмет, который существовал давно прежде ее и существованию которого она сама обязана своим существованием». Плеханов отмечает, что эта «великая научная задача, поставленная им эстетике, еще далеко не решена теперь в своем полном объеме и может получить решение только в более или менее отдаленном будущем» *.

Плеханов в общем верно схватил сущность эстетических воззрений Белинского, проявившуюся в материалистическом решении им вопроса о предмете искусства, о реализме и идейности искусства, о единстве содержания и формы в искусстве.

Начиная с написанной Плехановым в 1897 г. статьи об очерках и книге А. Волынского «Русские критики» все работы Плеханова о Белинском направлены в защиту революционных и теоретических традиций великого русского мыслителя и критика.

Несмотря на некоторые ошибки в трудах Плеханова о Белинском, благодаря этим трудам Белинский впервые в истории русской науки и общественной мысли предстал как великий мыслитель, выдающийся представитель революционных разночинцев, славный предшественник марксизма в России.

* *
*

К мировоззрению и деятельности Александра Ивановича Герцена Плеханов в своих работах обращался не раз и в 90-х и в 900-х годах. Но специально его взглядам он посвятил несколько своих работ, написанных в 1909—1912 гг.: «Герцен-эмигрант» — статья, написанная в 1909 г. и опубликованная в III томе «Истории русской литературы XIX века»; «Столетие со дня рождения Александра Герцена» (опубликована в журнале «Будущее» в марте 1911 г.); «А. И. Герцен и крепостное право» (опубликована в «Современном мире» в ноябре и декабре 1911 г.); «Философские взгляды А. И. Герцена»

---

* Настоящее издание, т. IV, стр. 591.

(статья в «Современном мире», помещенная в марте и апреле 1912 г.); речь на могиле А. И. Герцена в Ницце (апрель 1912 г.); рецензия на книгу В. Я. Богучарского «А. И. Герцен» (опубликована в «Современном мире» в июне 1912 г.); неопубликованная при жизни Плеханова лекция «Толстой и Герцен» (прочитана в июне 1912 г.) и незаконченные конспекты лекций о Герцене, прочитанных, видимо, также в 1912 г. *

О социально-политических и философских взглядах Герцена Плеханов писал главным образом в позднейший, меньшевистский период своей деятельности. И это наложило сильный отпечаток на содержание этих работ: в них в гораздо большей степени, нежели в сочинениях о Белинском и Чернышевском, сказались ошибочные моменты в воззрениях Плеханова на русскую революционную мысль XIX в.

В работах о Герцене содержится немало ценного и поучительного. В своих сочинениях, особенно в статье «А. И. Герцен и крепостное право», Плеханов показал роль Герцена как самоотверженного борца против крепостничества и царизма, одного из зачинателей освободительного движения в России. Он правильно отметил, что по мере падения веры в дворянство у Герцена и Огарева росла вера в революционные возможности и силы разночинцев.

Герцен был защитником интересов крепостных крестьян. «Когда человек, принадлежащий к *господствующему* классу, — писал Плеханов о Герцене, — переходит на сторону класса *угнетенного*, тогда он доказывает этим не то, что он освободился от *всякого вообще классового влияния*, а только то, что он вышел из-под влияния *одного* класса и попал под влияние *другого*» **.

В своих сочинениях Плеханов показал, что Герцен, став утопическим социалистом уже в 30-х годах, в университетском кружке, под влиянием идей Сен-Симона, остался социалистом до конца своих дней. Плеханов метко схватил ограниченность утопического социализма, отметив, что «до конца жизни Герцен повторял в своем социализме ту ошибку, которая свойственна была не только учению Сен-Симона, но и всему вообще утопическому социализму. Я имею в виду *неуменье этого социализма свести концы с концами в своем понимании связи между бытием и сознанием, экономикой и политикой*» ***.

Плеханов раскрывает существенное отличие революционных, хотя и непоследовательных, взглядов Герцена уже в

* В настоящий том вошли статьи: «А. И. Герцен и крепостное право», «Философские взгляды А. И. Герцена», «Речь на могиле А. И. Герцена в Ницце» и рецензия на книгу В. Я. Богучарского «А. И. Герцен».

** Настоящее издание, т. IV, стр. 600 — 603.

*** Там же, стр. 613.

50-х годах от воззрений российских и западноевропейских либералов по коренным вопросам общественной жизни. Критикуя либеральных историков Чешихина-Ветринского и Богучарского, изображавших Герцена либералом, Плеханов подчеркивает социалистический характер взглядов Герцена на общество. «Неисправимый социалист Герцен, — писал он, — не мог решать эти вопросы в том смысле, в каком хотелось решить их большинству его временных поклонников. И тогда эти временные поклонники отвернулись от «Колокола»» *.

Плеханов верно замечает, что Огарев и Герцен в своих статьях, начиная примерно с 1862 г., в «Колоколе» и в других изданиях, хотя и обращаются к молодому дворянству, но в то же время призывают его сблизиться с крестьянством и опереться на него. Однако Плеханов, следуя своей ошибочной точке зрения о слабости революционных возможностей крестьянства, неправильно приписывал ее и Герцену и Огареву, отводивших крестьянству, по его мнению, «пассивную роль предмета просвещенного воздействия со стороны образованного меньшинства» **.

Ошибочным является утверждение Плеханова, высказанное им в статье «Герцен-эмигрант», о том, что Герцен якобы из-за недостатка запаса знаний у народа «не верит в историческую самодеятельность народа. Он ждет такой самодеятельности лишь от некоторых слоев высших классов, от так называемой у нас теперь интеллигенции» *** . И уж совершенно неверным был вывод, к которому пришел Плеханов в своей статье «Философские взгляды А. И. Герцена», будто русскому социалисту, пессимистически смотревшему на психологию классовой борьбы крестьянства, ничего другого не оставалось, как стремиться к примирению классов, и потому Герцен вслед за французскими утопистами-социалистами, отвергая классовую борьбу, изменял диалектическому методу своего учителя Гегеля ****.

А между тем именно под конец своей жизни Герцен был более последовательным революционером-демократом, горячим сторонником классовой борьбы, поборником крестьянской революции в России (которую он ошибочно считал социалистической по своему характеру), горячо симпатизировал западноевропейским освободительным движениям и, как показывают письма «К старому товарищу», растущему рабочему движению.

Плеханов не придает должного значения тому факту, на который обратил серьезное внимание Ленин, а именно на то,

---

* Настоящее издание, т. IV, стр. 643—644.

** Там же, стр. 666.

*** *Г. В. Плеханов,* Соч., т. XXIII, стр. 427.

**** См. Настоящее издание, т. IV, стр. 717.

что Герцен незадолго до своей смерти, в письмах «К старому товарищу», обращает свои взоры к промышленному пролетариату Западной Европы, к его революционной борьбе, руководимой I Интернационалом.

И в отношении Герцена Плеханов повторяет ту же ошибку, что и в отношении Белинского: если, по его мнению, Герцен как публицист был сторонником решительной классовой борьбы против помещиков и царизма, то в своей философии истории он якобы придерживался неверного взгляда, будто классовая борьба не играет никакой роли во внутреннем развитии России.

Плеханов ошибочно противопоставлял взгляд Герцена и Огарева взглядам их единомышленника — революционного демократа Белинского, считая, что Герцен и Огарев якобы возлагали надежды на «образованный класс в государстве», т. е. на дворянство, а Белинский — на превращение дворянства в буржуазию. В действительности Герцен и Огарев, несмотря на либеральные колебания в 50-х гг., связывали свои надежды на будущее России с крестьянским движением, рассматривая «образованное меньшинство» — передовых дворян и разночинцев — как «бродило», призванное поднять крестьянство на борьбу против крепостничества. Необоснованным является и утверждение Плеханова, будто Герцен, являясь сторонником «крестьянского социализма», сильно расходился во взглядах с Чернышевским, которого Плеханов считал сторонником «чисто западного социализма». В действительности же между обоими представителями русского революционного демократизма были лишь по преимуществу тактические, а не принципиально-теоретические и политические расхождения.

При всех ошибках в трактовке общественно-политических взглядов Герцена и других русских революционеров-демократов, связанных с недооценкой Плехановым роли крестьянства и его идеологов в истории классовой борьбы, Плеханов высоко оценил роль Герцена в российском освободительном движении. Плеханов в своих сочинениях показал, что Герцен был высокоодаренным человеком, отдавшим свой большой ум, знание, литературный талант делу освобождения русского народа, что «в его лице наша общественная мысль, вынужденная цензурой наряжаться в одежду литературной критики, открыто и смело вошла, наконец, в область публицистики» *. Красочно и убедительно выяснил Плеханов ту роль, которую выполнил Герцен, показавший международному демократическому движению, знакомому с Россией — жандармом Европы, другую Россию — мыслящую, страдающую и борющуюся.

---

* *Г. В. Плеханов*, Соч., т. XXIII, стр. 414.

Социально-политические взгляды Герцена и вся его общественная, революционная деятельность были органически связаны с его философским мировоззрением. «Его философия, — писал Плеханов о Герцене, — была философией человека *деятельного* по преимуществу. Интересно следить по его дневнику за тем впечатлением, которое производило на него чтение великих философов. Их теоретические заслуги определяются им не всегда безошибочно и, пожалуй, слишком бегло, но зато он всегда безошибочно и подробно отмечает то, что можно назвать *деятельной* стороной их теорий» *.

Плеханов проводит в своих сочинениях мысль о том, что философские взгляды Герцена проникнуты диалектикой, усвоенной от Гегеля и истолкованной как «алгебра революции».

Говоря о «Письмах об изучении природы» Герцена, в которых раскрывается диалектический характер явлений природы, Плеханов пишет: «Под впечатлением всех этих отрывков легко можно подумать, что они написаны не в начале 40-х годов, а во второй половине 70-х, и притом не Герценом, а Энгельсом. До такой степени мысли первого похожи на мысли второго. А это поразительное сходство показывает, что ум Герцена работал в том самом направлении, в каком работал ум Энгельса, а стало быть, и Маркса» **.

Плеханов верно оценивает некоторые бесспорные достоинства философских воззрений автора «Писем об изучении природы», решительно восстававшего против теологического учения о сотворении природы богом и гегелевского перевода этого учения на философский язык; Герцен вступил в спор со своим другом Грановским, не желавшим расстаться с религиозными воззрениями и т. д. Плеханов отмечал, что в 60-х годах Герцен «не довольствовался идеалистическим ответом Гегеля и Шеллинга на вопрос об отношении мышления к бытию. Он тогда, наверно, уже хорошо знал и вполне разделял взгляд на этот вопрос материалиста Фейербаха» ***.

Но Плеханов допускает большую ошибку в истолковании философии Герцена, считая, что философские работы Герцена, написанные в 1842—1846 гг., — «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы» — выражают точку зрения абсолютного идеализма. Плеханов не сумел понять, что идеалистическая гегельянская терминология Герцена и отдельные факты его непоследовательности в проведении принципов материализма, а также критика Герценом метафизической ограниченности старого материализма, особенно по вопросу о един-

* Настоящее издание, т. IV, стр. 733.
** Там же, стр. 703.
*** Там же, стр. 729.

стве бытия и мышления, вовсе не характеризуют Герцена как сторонника идеализма и противника философского материализма. Плеханов неправильно считает, что «Письма об изучении природы» направлены лишь против субъективного идеализма, он приходит к неверному выводу, будто «Письма об изучении природы» изобилуют идеалистическими выводами и что «всякий раз, когда их автор принимается за критику *материализма,* он рассуждает, как убежденный *идеалист*».

В действительности же Герцен правильно критиковал старый, метафизический материализм за его эмпиризм и пренебрежение к теоретическому мышлению, за то, что мысль нередко рассматривалась материалистами прошлого лишь как продукт материи, движения вещества, за то, что они не принимали во внимание деятельную сторону мышления, его активное воздействие на бытие. Критикуя, при этом не без преувеличений, метафизических материалистов, решавших антиномию бытия и мышления путем сведѐния мышления к бытию и игнорировавших деятельную сторону мышления, Герцен не впадал в идеалистическую крайность и не пытался решить эту антиномию путем растворения бытия в абсолютном духе, на манер Гегеля. Герцен, исходя в основном из материалистических позиций, доказывал единство мышления и бытия, считал, что «дух, мысль — результаты материи и истории». Вместе с тем он подчеркивал различие между материей и мышлением, видел, что бытие и сознание этого бытия находятся в противоречии и противоречие это преодолевается путем «одействорения», т. е. обратного влияния мышления на бытие. Существо взглядов Герцена в «Письмах... » было материалистическим, хотя ряд его положений и особенно терминология не были свободны от «непереваренной гегельянщины», т. е. от влияний идеализма.

Плеханов не понял этого и пришел к неправильному выводу о том, будто тот монизм, которого держался в «Письмах об изучении природы» Герцен, является идеалистическим по своей природе.

Ошибался Плеханов и тогда, когда считал, что Герцен якобы критиковал не ограниченности той или иной материалистической системы, а материализм как философское течение в целом. Он не видел, что Герцен, называвший свою философию «реализмом» (в чем проявлялась известная непоследовательность в его материалистических воззрениях), критикует не материализм, а метафизичность и созерцательность старого материализма и особенно вульгаризаторское сведѐние мысли к веществу, проявившиеся в сочинениях некоторых естествоиспытателей. Плеханов допускал ошибку и тогда, когда считал, что

Герцен отступал от диалектики, поскольку он был утопистом-социалистом.

Работы Герцена, особенно его письма «К старому товарищу», открытые письма с критикой славянофильских взглядов Ю. Самарина и другие свидетельствуют о том, что революционный демократизм Герцена, освобождаясь от либеральных колебаний 50-х годов, все более основывался на диалектических принципах развития, отрицания и борьбы. И это побуждало его отступать от идеализма в понимании вопросов общественного развития и приближаться к точке зрения исторического материализма, подчеркивать большую роль борьбы классов, революций в истории.

Это заметил и Плеханов, указав, что Герцен, «болезненно почувствовав несостоятельность исторического идеализма в деле выяснения вопроса о связи мышления с бытием в истории человечества,.. естественно, хотя, должно быть, и не вполне сознательно, обратился в сторону исторического материализма» *.

Серьезные ошибки, допущенные Плехановым в анализе философских и особенно социологических воззрений Герцена, не помешали ему сделать в конечном счете правильный вывод о том, что Герцен затратил огромный умственный труд для того, чтобы найти научную основу для социализма, хотя и не смог решить этой задачи в условиях экономической отсталости России.

В статье «Герцен-эмигрант» Плеханов писал: «Герцен был один из самых замечательных людей, выдвинутых замечательной эпохой 40-х годов. Он уступал Белинскому по логической силе ума, но превосходил его разносторонностью знаний и яркостью литературного изложения. Как политический публицист, он до сих пор не имеет у нас себе равного»**. В своей речи на могиле А. И. Герцена в Ницце 7 апреля 1912 г. Плеханов подчеркнул великую роль Герцена в российском и международном освободительном движении, тесную идейную связь между новыми революционными поколениями России и той верой в лучшее будущее России, какую проповедовал в свое время А. И. Герцен.

И хотя только В. И. Ленину удалось дать в своей работе «Памяти Герцена» всестороннюю и глубоко верную оценку деятельности и мировоззрения великого русского мыслителя и революционера, сочинения Плеханова о Герцене, при всех их ошибках и противоречивости суждений, безусловно способствуют уяснению роли Герцена в истории русской революции, в деле борьбы за революционные традиции.

---

* Настоящее издание, т. IV, стр. 728.

** *Г. В. Плеханов,* Соч., т. XXIII, стр. 445.

* *
*

Наряду с исследованиями мировоззрения и деятельности революционных русских мыслителей XIX в. Плеханов обращается в своих сочинениях к работам по истории русской общественной мысли, вышедшим в конце XIX — начале XX в.*

Перу Плеханова принадлежат две статьи о русском просветителе-идеалисте П. Я. Чаадаеве: «Пессимизм как отражение экономической действительности» (1895) и «П. Я. Чаадаев» (рецензия на книгу М. Гершензона, написанная в 1908 г.). Плеханов критикует идеалистические и мистические идеи в мировоззрении Чаадаева и вместе с тем показывает несостоятельность попыток Гершензона и других идеологов буржуазно-веховской контрреволюции сделать учение Чаадаева своим знаменем. Плеханов по достоинству оценивает первое «Философическое письмо» Чаадаева, как яркий и острый памфлет против российской крепостнической отсталости, как высокохудожественное произведение, написанное кровью сердца. Не замалчивая теологической точки зрения Чаадаева, дающей знать себя в этом письме, Плеханов справедливо замечает, что у Чаадаева есть серьезные заслуги перед нашим освободительным движением. «Если, например, Герцен до конца своей жизни относился с большим сочувствием к Чаадаеву, то это происходило, конечно, не потому, что Чаадаев был мистиком»**. Преобладающей чертой в мировоззрении Чаадаева, по Плеханову, является не мистицизм, а отрицательное отношение к крепостнической действительности, свойственное Чаадаеву в такой же мере, как и Герцену; поэтому он справедливо относит Чаадаева, несмотря на его мистицизм, к лагерю участников освободительного движения.

Плеханов дает убедительную критику мистических идей в мировоззрении Чаадаева, отмечая при этом, что этот мистицизм носил социальный характер, родился на почве неудовлетворенного стремления внести осмысленность в окружающую жизнь и что в конечном счете мистицизм не мог дать Чаадаеву то удовлетворение, которое могло быть найдено им только в общественной деятельности. В современных же исторических условиях, отмечал Плеханов, в эпоху революционной борьбы рабочего класса, вооруженного теорией научного социализма,

---

* В IV том Настоящего издания включены наиболее важные рецензии на книги М. Гершензона «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление», «История Молодой России», «Исторические записки» и на книгу В. Я. Богучарского «А. И. Герцен».

** Настоящее издание, т. IV. стр. 749.

революционное движение и сознательная проповедь мистицизма несовместимы.

Плеханов был прав и в том отношении, что решительно возражал Гершензону, утверждавшему, будто вскоре после первого «Философического письма» Чаадаев изменил свои взгляды на Россию и якобы сблизился со славянофилами, говоря о «выгодах нашего изолированного положения». Опубликованная уже в годы Советской власти серия неизданных при жизни Чаадаева «Философических писем» и других его работ показала, что автор первого «Философического письма» не переставал быть решительным противником славянофильства, сторонником распространения в России просвещения, достижений западноевропейской цивилизации и т. д. Подводя общий итог научного анализа деятельности и мировоззрения Чаадаева, Плеханов в своей рецензии на книгу М. Гершензона о Чаадаеве убедительно доказывает превосходство материализма над мистицизмом. Мистицизм, говорит Плеханов, «не пролил ни одного, решительно ни единого луча на тот путь, который может привести к устранению зла. Да и неспособен был пролить! По самой своей природе он мог только затруднить открытие этого пути, отвлекая внимание увлеченного им высокодаровитого человека в сторону, прямо противоположную той, в которую следовало обернуться» *.

Г. В. Плеханов подверг критике либерального публициста В. Богучарского за то, что он, присоединившись к хору мистиков и веховцев, попытался изобразить выдающегося русского революционера и философа А. И. Герцена сторонником религиозно-мистического мировоззрения и либерально-реформистской программы. Либеральные «мудрецы» вроде В. Богучарского, как справедливо отмечал Плеханов, не поняли сути разочарования Герцена в «мещанстве» Западной Европы. Веря в то, что кровавая победа пролетариата над буржуазией приведет к падению «мещанства», Герцен чувствовал неудовлетворительность социалистических утопий и искал научной основы для социализма. Опровергая утверждения Богучарского о том, что, расставшись с существом прежней религиозной веры, Герцен унес нечто от нее и на «тот берег» и на всю жизнь сохранил от нее это нечто, Плеханов показывает, что Герцен под влиянием «Сущности христианства» Фейербаха пришел к критическому отношению к христианству. «Усвоив себе такое отношение к «сущности христианства», — пишет Плеханов, — Герцен, разумеется, не мог «потом», т. е. когда пробудился его разум, находиться под ее влиянием. Совершенно напротив, *он относился к ней отрицательно*»**.

* Настоящее издание, т. IV, стр. 766.

** Там же, стр. 783.

И рецензии Плеханова на книги по истории русской общественной мысли говорят о том, что, несмотря на отдельные ошибки и отступления от положений марксистской философии, он защищал и отстаивал материалистическое мировоззрение.

* *
*

Наряду с изучением развития философской и общественно-политической мысли XIX в., Плеханов в своих трех книгах «Истории русской общественной мысли» исследовал движение философской и общественно-политической мысли России XVII и XVIII веков, вплоть до взглядов Радищева.

Плеханов написал также ряд статей о русской общественной мысли 70—90-х годов XIX в., в том числе и о формировании и развитии марксистской мысли в России в борьбе с народничеством. Статьи Плеханова «Почему и как мы разошлись с редакцией «Вестника Народной Воли»», «Предисловие к русскому изданию книги А. Туна «История революционных движений в России»», статьи «Первые шаги социал-демократического движения в России», «К тридцатилетию группы «Освобождение Труда»» и ряд других свидетельствуют о том, что пионер русского марксизма намеревался осветить историю распространения марксистских идей в России, их идейной борьбы с либерализмом, народничеством и другими немарксистскими учениями.

Многие тома сочинений Плеханова, посвященные истории русской философской и общественной мысли, и многочисленные его работы, где эти вопросы затрагиваются, дают более или менее систематическое, в основе своей марксистское изложение истории русской мысли XVIII—XIX вв.

Однако серьезные ошибки в работах Плеханова по истории русской философии и общественной мысли, ряд которых отмечен выше, снижают идейно-политический и теоретический уровень его научных взглядов на историю русской теоретической мысли.

Сравнение работ Плеханова по истории русской философии и общественной мысли, особенно тех, которые написаны после 1903 г., с работами Ленина («Материализм и эмпириокритицизм», статьи «О «Вехах»», «Из прошлого рабочей печати в России», ««Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция», «Памяти Герцена», «Философские тетради» и другие), показывает, что Ленин, давший классические образцы творческого, марксистского подхода к истории философской мысли, и в этой области превзошел Плеханова, который оставался на уровне марксизма XIX в. и не ре-

шил новых задач, вставших перед философией марксизма в новую историческую эпоху.

Если Плеханов недооценил революционность крестьянства и не понял исторического значения союза рабочего класса с крестьянством, а следовательно, не мог до конца верно оценить мировоззрение идеологов крестьянства, объективно являвшихся предшественниками и союзниками марксизма, то Ленин вполне научно решил эту задачу, определив социальный смысл и значение революционных учений, выражавших интересы крестьянства, их роль в истории передовой мысли.

Если Плеханов не учел всех конкретно-исторических особенностей общественной жизни и классовой борьбы в России и нередко выводил развитие российского освободительного движения и русской общественной мысли главным образом из «логики развития» западноевропейского общества, то Ленин раскрыл в своих сочинениях единство интернациональных и национальных условий развития общественной мысли в России. Ленин неопровержимо доказал, что различные течения русской философской и общественно-политической мысли явились в конечном счете выражением интересов, чаяний и мировоззрения различных классов российского общества.

Если Плеханов не дал философского анализа новых открытий естествознания, их значения для материализма и его борьбы с идеализмом, не распознал хитроумной тактики идеалистов, цеплявшихся за новые открытия науки для того, чтобы «ниспровергнуть» материализм, то Ленин осуществил задачу философского обобщения этих открытий и раскрыл органическую связь философского материализма, в том числе и русского, с достижениями естествознания.

Плеханов, не поняв характера и сущности новой эпохи, эпохи империализма и пролетарских революций, не понял и того, что Россия стала наиболее уязвимым звеном системы империализма, а следовательно, не мог со всей остротой и последовательностью определить роль российского революционного движения и передовой русской мысли в международном революционном движении. В связи с этим он нередко рассуждал о российском революционном движении XX в. по аналогии с XIX в. и рассматривал Россию лишь как страну «отсталую» по сравнению с «передовым» Западом. Ленин же, выяснив сущность и закономерности империализма, доказал возможность прорыва цепи империализма первоначально в одной, отдельно взятой стране, установил, что Россия стала центром мирового революционного движения, а российский пролетариат оказался в роли авангарда международного пролетариата. Тем самым он неопровержимо доказал огромное международное значение российского революционного движения XX в. и

историческую роль его идейных и политических предшественников. Труды Ленина по теории марксизма, в том числе и по истории философии и общественной мысли в России, представляют собой новый, высший этап в развитии марксизма.

Марксистско-ленинская наука не может мириться ни с меньшевистской апологетикой всего того что написано Плехановым, включая и ошибочные его положения по истории философии, ни с нигилистическим отрицанием положительной роли марксистских трудов Плеханова.

Нельзя не признать ошибочными допущенные отдельными авторами перехлестывания и перегибы в оценке взглядов Плеханова на историю русской философии и общественной мысли; эти взгляды иногда объявлялись «вредными», рассматривались как «антинаучная, антимарксистская концепция» и т. п. Разбор работ Плеханова по истории русской философии и общественной мысли говорит о несостоятельности подобных нигилистических искажений исторической правды.

Нельзя изучить историю российского освободительного движения и передовой русской общественной мысли, понять их неразрывные связи с революционным движением и теоретической мыслью Запада, их роль в идейной подготовке марксизма в России, не обращаясь вновь и вновь к ярким и глубоким марксистским трудам Плеханова, в которых запечатлены славные страницы истории духовной жизни русского народа.

М. Иовчук

ИЗБРАННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ IV

I

[РАБОТЫ

О Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ]

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ВВЕДЕНИЕ
[К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ 1894 г.]

Seine Zeit*

Литературная деятельность Чернышевского относится главным образом ко времени пресловутых реформ Александра II.

Русские либералы до сих пор с умилением вспоминают доброго «царя-освободителя», до сих пор читают ему панегирики, вызывающие неудовольствие цензоров нынешнего императора, который считает, как известно, своего отца почти *якобинцем*. Пишущий эти строки не имеет чести принадлежать к русским либералам. С другой стороны, он вовсе не имеет пристрастия к Александру III. Поэтому он может объективно взглянуть на реформы прошлого царствования.

В течение тридцати лет тяжелым гнетом лежала на России политика Николая «незабвенного». Застой возведен был чуть не в церковный догмат. Все живое, все мыслящее, все протестующее тотчас же истреблялось или вынуждено было перерождаться до неузнаваемости. Но Крымская война существенно изменила положение дел. Несостоятельность николаевских порядков была обнаружена, сам творец этих порядков не нашел из своего затруднительного положения другого выхода, кроме самоубийства. Недовольные элементы, робко прятавшиеся до той поры, смело поднимали голову. Реформы, или новое самоубийство, и на этот раз уже не отдельного самодержца, а самого *принципа* самодержавия — такова была альтернатива, поставленная историей перед преемником Николая. Он благоразумно предпочел реформы, важнейшей из которых было *уничтожение крепостного права в России*.

Рабство существовало в этой стране (под именем *холопства*) с самых незапамятных времен. О нем говорят уже древнейшие

* [Его время]

законодательные памятники России. Холопом мог сделаться всякий бедняк, решившийся продать себя своему богатому соотечественнику. Точно так же в холопство обращались военнопленные. Но до поры до времени сфера распространения рабства была очень ограничена. Рабы составляли лишь домашнюю прислугу князей, бояр и богатых землевладельцев. Когда русские владетельные князья жаловали своих слуг населенными имениями, это не значило, что они отдают в крепостную зависимость крестьян, населяющих эти имения. Это значило только, что государство уступало «служилым людям» свое право на причитающиеся с имений доходы. Те повинности, которые крестьяне отправляли прежде в пользу князя, исполнялись ими теперь в пользу помещика. Но сами крестьяне оставались по-прежнему *«вольными людьми»*, имевшими право свободного перехода от одного помещика к другому или из помещичьего имения в свободную (т. е. обязанную повинностями лишь по отношению к государству) общину. Такой порядок дел имел два существенных неудобства.

Во-первых, крупные землевладельцы, сильные своим имуществом и своим положением в государстве, могли обеспечить своим крестьянам более надежную защиту и поставить их в более выгодное материальное положение, чем бедные помещики, жившие иногда немногим лучше, чем их крестьяне. Поэтому крестьяне толпами переходили от бедных помещиков к богатым. Но бедных помещиков было очень много. В них заключалась главная «служилая» сила Московского государства. До конца XVII века главным образом из них вербовалось московское войско. Если государство не хотело подорвать эту силу, оно по необходимости должно было запретить крестьянам покидать имения бедных помещиков. Оно и сделало это, ограничив право крестьянского перехода в конце XVI века.

Во-вторых, крестьянская свобода наносила непосредственный ущерб государственному казначейству. После того как сломлена была сила татар, облегавших Московское государство с юга и востока, для земледельческой колонизации открылись огромные пространства никем не занятой и чрезвычайно плодородной почвы. Пользуясь правом свободного перехода, крестьяне толпами валили в это Эльдорадо. Само собою разумеется, что вслед за ними шли царские чиновники, облагавшие их податями и повинностями. Но для этого нужно было время, и, при тогдашних обстоятельствах, иногда очень немалое время. Проходили десятки лет, прежде чем государство успевало наложить на переселенцев свою тяжелую руку. В течение этого времени переселенцы совсем ничего не платили государству, что, конечно, очень ему не нравилось. Правда, *круговая порука* давала ему *юридическую* возможность взыскивать в полном

размере прежние подати и повинности с крестьян, оставшихся на месте и занесенных в списки плательщиков («тяглых людей»), *присутствующие* платили за *отсутствующих*. Но горький опыт давно уже показал Московскому государству, что понятие об *юридической* возможности взыскания податей далеко не покрывается понятием об *экономической* его возможности: où il n'y a rien, le roi perd ses droits *. Как ни усердно выбивались подати из крестьян царскими чиновниками, все-таки невозможно было взыскать с оставшихся на месте, положим десяти, членов общины такую же сумму денег, продуктов и труда (тогда еще преобладали натуральные повинности), какую она платила в то время, когда в ней фактически (а не только по списку) было, например, *сорок* домохозяев. «Государево дело» несло несомненные убытки в то самое время, когда развивающиеся сношения с Западом настоятельно требовали все более и более старательного пополнения казны. Прикрепление крестьян к земле было единственным возможным в то время выходом из этого положения. Московское государство не упустило его из виду. В течение XVII века свободный переход крестьян был окончательно уничтожен. Крестьяне попали в полную крепостную зависимость по отношению к *помещикам* и *государству*.

Но *крепостные крестьяне* юридически все еще не были сравнены с *рабами*. «Крепкий земле» крестьянин все еще не был таким говорящим инструментом, каким издавна был *холоп*. Честь полного порабощения русского крестьянина принадлежит великому реформатору России Петру I и знаменитой Мессалине Севера — Екатерине II.

Петру нужно было завести в России постоянную армию, обученную по европейскому образцу, преобразовать администрацию, положить начало развитию торговли, купеческого и военного флота, промышленности, образования. Для всего этого необходимы были деньги, деньги и деньги. И Петр ни перед чем не останавливался для приобретения денег. Больше всего за его реформу поплатились, конечно, так называемые податные сословия: крестьянство и бедное городское мещанство. Ближайшим экономическим следствием этой реформы было страшное обеднение народа. Само собою разумеется, что Петр не мог остановиться перед таким пустяком, как окончательное низведение крепостного крестьянина на степень холопа. Упрочение и расширение крепостного права нимало не противоречило его реформаторским планам. Напротив, на устроенных им заводах и мануфактурах трудились именно *крепостные* работники. Крепостное право явилось *неизбежным*

* [где нет ничего, король теряет свои права.]

условием европеизации России. Преемники Петра усердно продолжали его дело. «Просвещенной» Екатерине II оставалось только поставить точку над и. Указом 7 октября 1792 г. она объявила, что «крепостные владельческие люди и крестьяне заключаются и долженствуют заключаться в числе имений, на которых по продажам от одного к другому купчия пишутся и совершаются у крепостных дел, со взятьем в казну пошлин, так как и на прочее недвижимое имение». Крестьянин стал простым instrumentum vocale *, который по самой природе своей относился к *движимой*, а не к *не*движимой собственности. Случалось, что крепостных крестьян стадами продавали, как скот, на ярмарках.

Рядом с этим шло увеличение общего распространения крепостного права. Цари и царицы охотно награждали своих фавориток и фаворитов населенными имениями. Екатерина II ввела крепостное право в *Малороссии.* Дворянство торжествовало, но его торжество омрачалось подчас неожиданным отпором со стороны крестьян.

Как ни терпелив, как ни консервативен русский крестьянин, но он сдался не без боя. Почти каждый шаг правительства на пути к его порабощению ознаменовался более или менее широкими крестьянскими восстаниями. В XVII и XVIII столетиях мы пережили настоящие крестьянские войны («бунты» Степана Разина и Пугачева). Правда, чем более европеизовалось русское государство, тем слабее становилась относительно сила сопротивления народа. В XIX столетии не было уже ни одного крестьянского движения, которое можно было бы сравнить с «бунтами» прежних веков. Но, несмотря на это, восстания крестьян все более и более *учащались.* Особенно много крестьянских бунтов было в царствование Николая, подавлявшего их с истинно зверской жестокостью. Существует официальная статистика крестьянских бунтов, начиная с половины тридцатых годов до Крымской войны. Она показывает, что в эти два десятилетия число крестьянских бунтов ежегодно возрастало почти с математической правильностью. Иногда волновались чуть не целые губернии, и происходили целые сражения крестьян с солдатами. Во время Крымской войны распространился слух, что правительство даст свободу всем тем крестьянам, которые запишутся в ополчение. Этот слух вызвал много «беспорядков», особенно в Малороссии. Заключение мира подало повод к возникновению другого слуха: стали говорить, что Наполеон III не соглашался прекратить войну иначе, как *под условием уничтожения крепостного права.* Правительство хорошо знало настроение крестьян и

* [говорящим инструментом].

N. G. Tschernischewsky

Eine literar-historische Studie

von

G. Plechanow

Mit einem Porträt Tschernischewsky's

Stuttgart
Verlag von J. H. W. Dietz
1894

Титульный лист немецкого издания книги «Н. Г. Чернышевский»

опасалось их общего взрыва. «Лучше освободить крестьян сверху, чем ждать того времени, когда освобождение начнется снизу», — говорил император Александр II.

При таком положении дел правительству естественно было опасаться недовольства, обнаружившегося в «образованном обществе» тотчас по смерти Николая. Лучше дать добровольно то, что возьмут, пожалуй, силой. Так рассуждал коронованный реформатор, так рассуждало большинство его фаворитов.

Рассуждать иначе могли только старые «николаевские солдаты», ничего не признававшие и ничего не знавшие, кроме *палок*. Палка не раз выводила русское правительство из затруднений. Но палка же и привела его в то отчаянное положение, в котором оно очутилось к концу царствования Николая. Хваленые николаевские военные порядки оказались никуда не годными: офицеры, и в особенности генералы, были невежды или трусы, вооружение самое жалкое *, казнокрадство в интендантском, артиллерийском и инженерном ведомствах доходило до самых невероятных размеров и считалось как бы узаконенным. Кроме того, даже и теми военными силами, которые у нее были, Россия не могла хорошо воспользоваться в нужную минуту благодаря отсутствию путей сообщения. Во время Крымской войны доставка *одной бомбы* из Измаила (на Дунае) в Севастополь стоила не менее 5 рублей. Наконец, в финансовом отношении Россия стояла на пороге банкротства. В 1855 г. дефицит достиг 261 850 000 рублей (доходы: 264 119 000; расходы: 525 969 000). В следующем году он возрос еще больше. Правительство поспешило заключить мир. Но этого было мало. Надо было найти новые источники дохода, вызвать к жизни новые производительные силы. Но это было невозможно до тех пор, пока существовало крепостное право. Басня, ходившая в народе, имела свой глубокий смысл: освобождение крестьян было действительно предписано нам «Наполеоном», т. е. ходом и исходом Крымской войны.

Если в эпоху своего зарождения при Петре I русская промышленность не могла обойтись *без* крепостных работников,

* «До чего вахт-парадным николаевским полководцам было мало знакомо военное искусство, видно, например, из действий под Евпаторией генерала Корфа, который в виду неприятеля не расставил аванпостов и потому лишился батареи и многих людей Были среди них и трусы, как ген. Кирьяков, спрятавшийся под Альмой в овраг». («Исторические очерки России со времени Крымской войны до заключения Берлинского договора», без имени автора, Лейпциг 1879, т. II, стр. 33). Несколько лет тому назад в историческом журнале «Русская Старина» были напечатаны воспоминания одного участника Крымской войны, который рассказывает, что, поднимая на полях сражений русские ружья, французы с удивлением восклицали: «посмотрите, чем сражаются эти варвары».

то в половине XIX века дело обстояло уже совсем иначе. Теперь *свободный работник* был необходим для ее *дальнейшего развития*. И не только для ее развития. Уже в половине сороковых годов в нашей литературе стали раздаваться голоса, утверждавшие (правда, робко и осторожно, вследствие строгостей цензуры), что успехи *сельского хозяйства* несовместимы с дальнейшим существованием крепостного права. Удачнее всего доказал это в своей наделавшей много шума записке *чиновник Заблоцкий-Десятовский* [1].

В царствование Николая в России построено было только две железных дороги: из Петербурга в Царское Село (городок, лежащий в 22 километрах к югу от столицы) и из Петербурга в Москву. Здесь не место говорить о том, какие гомерические кражи происходили при постройке этих дорог. Заметим только, что экономическое значение имела только петербургско-московская дорога; царскосельская служила лишь для увеселительных поездок петербургского «общества». Теперь нелегко даже и представить себе, с какими трудностями сопряжена была доставка товаров по грунтовым дорогам из московского фабричного округа, например, на ярмарки Малороссии. Чем больше развивалось производство, тем настоятельнее сказывалась нужда в постройке сети железных дорог, которая охватила бы, по крайней мере, важнейшие города России.

Телеграфное дело обстояло не лучше. До 1853 г. в России был только один оптический телеграф, между Петербургом и Варшавой, служивший для собственного употребления императора. В последующие годы сооружены были электрические телеграфы, но в ничтожном количестве: в 1857 г. телеграфная сеть не превышала 3725 верст. Таким образом, развитие торговли и промышленности требовало самых серьезных «реформ» и с этой стороны.

Николай почти не допускал основания частных акционерных компаний, особенно банковых. Помещики и купцы обращались за деньгами в казенные кредитные учреждения. «Российско-американская компания, два страховых от огня общества, два-три пароходных и промышленных представляли весь акционерный мир России», — говорит автор уже цитированных нами «Исторических очерков России». Начало нового царствования ознаменовалось настоящей акционерной горячкой. Одна за другой возникали компании, сулившие простакам огромные доходы и долженствовавшие охватить самые различные стороны общественно-экономической жизни (была, например, компания *«Гидростат»* для «поднятия из воды затонувших судов», компания *«Улей»* для «улучшения быта рабочих» и т. п.). Многие из этих компаний, разумеется, лопнули, наполнив карманы своих основателей. Но самое существование такой

горячки показывает, до какой степени переросла тогдашняя Россия старые, унаследованные от Николая формы своего экономического быта. Для развития же новых форм прежде всего нужно было свалить с нее *тяжелую гирю крепостного права.*

Наконец, — и для многих царских чиновников это было, вероятно, самое важное — крепостное право мешало правительству свободно запускать руку в крестьянский карман. Подати с крепостного населения взыскивались через посредство помещиков. Само собою понятно, что всякое новое увеличение податей, всякое новое отягощение крепостных крестьян вызывало неудовольствие помещиков, подрывая экономическую устойчивость принадлежавших им «душ». Избавить крестьянина от помещичьей власти значило увеличить власть над ним государства. Непосредственные отношения крестьян к государству давали фантазии министерства финансов гораздо больше простора, и уже по одному этому правительство должно было взяться за «эмансипацию». Выраженный прозаическим языком, вопрос «эмансипации» сводился к вопросу о том, кому должна доставаться главная часть создаваемого крепостным населением *прибавочного продукта* (respective * — прибавочной стоимости): *государству или помещикам.*

Государство стремилось разрешить этот вопрос в свою пользу. Но для этого необходимо было освободить крестьянина *с землею, а не без земли,* как того хотели помещики. Историческое право русских крестьян на обрабатываемую ими землю не подлежало никакому сомнению. Но не этим правом руководствовалось правительство в своих освободительных планах. Оно думало только о том, чтобы поставить крестьянина в условия, позволяющие выжимать из него возможно большее количество труда (при отбывании натуральных повинностей) и денег. Безземельные батраки не годились для этой цели, и вот почему правительство ни в каком случае не могло согласиться на требования помещичьей партии. Но оно всеми силами старалось по возможности лучше позолотить подносимую им этой партии пилюлю. Освобождая крестьян *с землею,* оно заставило их заплатить за нее выкуп, значительно превышающий ее стоимость. Этим оно, во-первых, смягчало помещиков, а во-вторых, являясь посредником в этом деле, оно получало возможность положить в свой собственный карман довольно значительный куш, представляющий собою разность между тем, что было дано помещикам, и тем, что обязывались заплатить крестьяне.

Такими-то обстоятельствами определились начало, ход и исход крестьянской реформы в России. Укажем теперь на

* [то есть]

некоторые другие обстоятельства, вызвавшие некоторые другие реформы Александра II и определившие их направление.

Во-первых, мы уже упомянули о том, что Крымская война воочию показала, до какой степени плохи были русские военные порядки. Одной из отличительных особенностей русской армии был недостаток сколько-нибудь образованных офицеров. Сам Николай сознавал этот недостаток, но устранить его он не мог, так как все его царствование было одной непрерывной войной с образованием. Сообразно духу этого царствования, в военно-учебных заведениях наукам вовсе не придавали значения, все дело было в успехах воспитанника по «*фронтовой части*». Но даже и таких жалких учебных заведений было слишком мало сравнительно с нуждами армии. Необходимость заставляла производить в офицеры так называемых юнкеров, получивших «домашнее образование» (т. е. не получивших никакого образования) и прослуживших в полках некоторое время в качестве нижних чинов. В так называемых гражданских, т. е. невоенных, учебных заведениях порядки были немногим лучше. Там также заботились преимущественно о том, чтобы привить ученикам дух покорности и смирения. Доступ в университеты был в конце царствования Николая очень ограничен. В университетах запрещено было читать *философию* *, но зато студентов обучали... *маршировке!* Нечего и говорить, что когда, после крымского поражения, русское правительство нашло нужным «*se recueillir*» **, оно вынуждено было предоставить несколько больший простор образованию. Учреждались новые мужские гимназии и прогимназии, рядом с «институтами благородных девиц», в которых обучались прежде дочери дворян, заведены были гимназии и прогимназии для девушек всех сословий. Правила, ограничивавшие число университетских студентов, были отменены, высшие технические учебные заведения (которые при Николае представляли собою *кадетские корпуса*) были преобразованы, наконец, в военно-учебные заведения, особенно с тех пор как военным министром сделан был Милютин, началась поистине новая эра: шагистику почти совсем оставили (на нее посвящалось не более 1 часа в неделю), преподавание было осмыслено, программа

* Судьбы философии в России всегда были очень шатки и превратны; иногда преподавание ее даже поощрялось правительством, чтобы пресечь «мечтания равенства и буйной свободы». Иногда же она вовсе изгонялась из университетов, как главный источник мечтаний о «равенстве» и «буйной свободе». Николай запретил ее преподавание в 1850 г. [1] «Положен конец обольстительным мудрованиям философии», — с восторгом восклицал по этому поводу министр народного просвещения Ширинский-Шихматов. Некоторые из профессоров философии сделаны были *цензорами*. Уже отсюда видно, что они очень умеренно мечтали о «*буйной свободе*».

** [поразмыслить]

учебных занятий значительно увеличена; телесные наказания почти совсем выведены из употребления (*совсем* устранить их не решился «царь-освободитель» ни здесь, ни вообще в армии). Главная беда всеми этими мерами все-таки не была поправлена: преобразованные военно-учебные заведения давали сравнительно ничтожное количество офицеров, и по-прежнему приходилось производить в офицеры юнкеров, получивших самое жалкое общее и военное образование. Но во всяком случае эти реформы Александра II повели за собою огромный прилив молодежи в учебные заведения, а учащаяся молодежь сыграла немаловажную роль в общественном движении того времени.

Но как ни значительны были реформы русских учебных заведений, правительство *самодержавного* царя не хотело и не могло сделать последнего шага этой реформы: у нас не было того, что называется академической свободой, власть университетских советов совершенно стушевывалась перед властью попечителей учебных округов, которые часто не имели ровно ничего общего с делом «народного просвещения». Так, например, в медовый месяц Александровского либерализма, в 1861 г., попечителем петербургского учебного округа назначен был *кавказский генерал Филиппсон* (тогда же министром народного просвещения назначен *адмирал* Путятин). Из такого положения дел естественно должны были вытекать студенческие «беспорядки», до сих пор повторяющиеся с правильностью астрономических явлений.

Русские суды издавна славились своею подкупностью, а судьи — полным незнанием тех законов, на основании которых им приходилось постановлять свои решения. Преобразование судебного ведомства было самою безобидною из тех реформ, которые предприняло правительство Александра II. Этой реформе сочувствовали все, кроме старых судей-взяточников. Но провести ее последовательно можно было только при одном условии: надо было ограничить власть полиции и вообще администрации, позволявшей себе по-своему перерешать судебные приговоры. Но и этого не хотело и не могло хотеть правительство самодержавного реформатора. Вот почему преобразованное судебное ведомство осталось у нас экзотическим растением; оно так же подходит к общему складу государственных учреждений России, как атласный цилиндр к эскимосу, одетому в звериные шкуры.

Переходим к последней реформе, подсказанной требованиями того времени и осуществленной «царем-освободителем» [1]. Правительство видело, что у него нет достаточных средств для удовлетворения даже самых насущных нужд государства. Оно решилось свалить некоторые из государственных расходов на плечи местных учреждений. Правительственные чиновники

не справились бы с тяжелой обузой изыскания средств для покрытия местных «обязательных расходов», притом же эти чиновники слишком много крали. Поневоле пришлось обратиться к местному населению и подарить его «самоуправлением», которое всегда оставалось, впрочем, под строгим контролем администрации. В земских учреждениях преобладающая роль принадлежала *крупному землевладению*. А для того, чтобы преобладание этого элемента не вредило интересам буржуазии, которую растили тогда, как в теплице, земства лишены были права облагать по своему произволу промышленные заведения: для такого обложения установлена была правительством особенная норма, в высшей степени выгодная крупным предпринимателям. В конце концов здесь, как и везде, за все платился крестьянин: земства обыкновенно облагали у нас крестьянские земли во много раз больше, чем земли богатых собственников.

Мы не называем реформой некоторое ослабление цензурных строгостей, доходивших в последние годы царствования Николая до невероятнейших абсурдов, до запрещения употреблять выражение «вольный дух» *в поваренных книгах*. Но как бы то ни было, это ослабление дало нашей печати возможность обсуждать такие вопросы, о которых она и заикнуться не смела при жизни «незабвенного». При Николае литературная деятельность Чернышевского ограничилась бы первой же большой статьей, представленной им в цензуру.

Таковы были важнейшие реформы Александра II. Как отозвались на них различные сословия русской империи?

У нас было и есть четыре крупных сословия: духовенство, дворянство, купечество (крупная и средняя буржуазия) и крестьянство. Мелкая городская буржуазия составляет под именем *мещанства* особое, пятое сословие, но при Николае его права почти ничем не отличались от прав тех крестьян, которые не принадлежали помещикам. Мещане, как и «государственные» крестьяне, находились в настоящей крепостной зависимости по отношению к государству.

Ду̀ховенство разделялось и разделяется у нас на черное (монахи) и белое (приходское) духовенство. Высшие сановники церкви назначаются *только* из монахов; лица, принадлежащие к белому духовенству, не идут дальше священнического сана. В руках черного духовенства сосредоточены огромные богатства; белое духовенство очень бедно. В крестьянской реформе ни то, ни другое не было заинтересовано *непосредственно*: в то время духовенство уже не имело права обладать «крепостными душами». Но белое духовенство, вообще говоря, с радостью приветствовало падение тех порядков, при которых сами епископы проникались воинственным духом и насаждали в ду-

ховной среде истинно солдатскую дисциплину. При том же, вызванное реформами оживление общественной жизни открывало перед детьми лиц, принадлежавших к белому духовенству *, совершенно новые дороги. В среде университетской молодежи и даже в литературе того времени «семинаристы» (дети духовных) играли самую выдающуюся и самую радикальную роль.

Интересы дворянства существенно затрагивались «освобождением» крестьян. Собственно, против отмены архаического крепостного права восставали только самые невежественные и отсталые помещики. Но зато решительно для всех их был существенно важен вопрос о том, *при каких условиях* совершится отмена этого права. Помещичья партия добивалась, как уже сказано, освобождения крестьян без земли, на что не могло согласиться правительство. Отсюда оппозиционное настроение дворянства. «Большая корона царя слагается из наших маленьких корон; разбивая *наши* короны, царь тем самым разбивает и свою собственную», — говорили помещики. Большинство повторяло эти слова как злорадное пророчество. Но было в среде дворянства либеральное меньшинство, которое, не восставая против освобождения крестьян по плану правительства, хотело бы привести «весь остальной состав Русского Государства в гармонию с совершившимся переворотом, а для этого, раскрыв беспощадной рукой все безобразия нашей администрации, суда, финансов и т. д., требовать созвания земского собора, как единого спасения России, одним словом, доказать правительству, что оно должно продолжать дело, *им начатое*» **. В феврале 1862 г. за созвание земского собора высказалось тверское губернское дворянское собрание в адресе на имя государя. Проекты подобных адресов ходили между дворянами и в других губерниях. Была даже мысль об общем адресе, подписанном лицами разных сословий. Правительство без труда подавило конституционные вожделения дворянства. Освобожденные им рабы по первому его слову обратили бы в ничто все усилия вчерашних рабовладельцев.

Купечество — средняя и крупная буржуазия — радостно встречало все реформы «освободителя». Оно чувствовало, что теперь настает его время, и не имело ни малейшей склонности к оппозиции.

О настроении крестьянства в эпоху Крымской войны мы уже говорили выше. Пока правительство не приступило к отмене крепостного права, можно было ожидать постоянного

---

* Известно, что в России для белого духовенства не только не обязательно безбрачие, но, наоборот, принадлежащие к нему лица обязаны жениться.

** Из письма И. С. Тургенева к Герцену от 8 октября 1862 г. [1]

умножения и усиления крестьянских волнений. Но когда дело «эмансипации» было *уже начато*, крестьяне терпеливо ждали его окончания. Весь вопрос был в том, как отнесутся они к той «свободе», которую поднесет им правительство. Что, если они потребуют другой, более полной свободы? Этого опасались царь, чиновники и дворяне, на это рассчитывали тогдашние *революционеры*.

Революционная партия того времени вербовалась преимущественно из так называемых *разночинцев*. Что такое разночинец? Чтобы понять происхождение этого слоя, надо помнить, что в России сословные права передаются по наследству только в дворянстве, в мещанстве и в крестьянстве. Известно, что «права» этого последнего до сих пор очень похожи на полное *бесправие*. Но это не изменяет дела. Сын крестьянина, чем бы он ни занимался, остается крестьянином, если только он не получит на государственной службе «*чина*», не «*выпишется*» в купцы, — что может сделать всякий, имеющий достаточно средств для того, чтобы оплатить гильдейское свидетельство, — или не будет «приписан» к мещанскому обществу того или другого города. Точно так же сын дворянина * остается дворянином, хотя бы он пахал землю или сделался лакеем. Не то с лицами духовного и купеческого сословия. Сын купца остается купцом только в том случае, когда он оплачивает гильдейское свидетельство. В противном случае он поступает в разряд разночинцев. В разночинцы же поступают и дети духовных лиц, не пожелавшие идти по отцовской дороге. Бесправие «мещан» так же наследственно, как и права дворянства. Но самое разнообразие мещанских занятий сближает людей этого «сословия» с разночинцами. Разночинцами *de facto становятся все те люди, деятельность которых не укладывается в сословные рамки*.

Слой разночинцев всегда отличался многочисленностью. Без него невозможны были бы многие функции государственной машины и так называемого общественного благоустройства. Но в дореформенное время разночинец был очень принижен и весьма мало образован. Он везде и всегда должен был уступать дорогу лицам, обладающим правами высших сословий. Реформы, последовавшие за Севастопольским разгромом, вызвав к жизни новые общественные отношения, создали положение для разночинца. Теперь он в качестве инженера, адвоката или врача мог обеспечить себе положение, во всяком случае гораздо более завидное, чем положение, например, сельского причетника. Разночинцы толпами повалили в учебные

* В России есть, правда, еще и «личные» дворяне-чиновники. Но самое название показывает, что их права не наследственны.

заведения, куда одновременно с ними устремились дети обедневшего мелкопоместного дворянства.

Образованный разночинец не имел свойственного дворянину светского лоска. Он не знал иностранных языков, его литературное образование оставляло желать очень многого. Но он имел перед обленившимся дворянством, по крайней мере, одно несомненное преимущество: с самой ранней юности вынужденный вести суровую борьбу за существование, он был несравненно энергичнее. От этого свойства разночинца плохо приходилось и приходится подчас русскому народу. Чиновник-разночинец борется с «вольным духом» гораздо настойчивее, чем чиновник из дворянства. Землевладелец-разночинец искуснее эксплуатирует бедняка-крестьянина, чем *«барин»* старого покроя. Но тот же разночинец неизмеримо настойчивее и удачнее борется с правительством в том случае, когда становится в отрицательное к нему отношение. А он очень часто становится в такое отношение. Фигаро говорит у Бомарше, что ему rien que pour exister *, надо было больше ума, чем его требуется для управления всеми Испаниями (pour gouverner toutes les Espagnes) [1]. То же мог бы сказать о себе и русский разночинец, который к тому же имеет дело с правительством, гораздо более деспотическим и бесцеремонным, чем французское правительство доброго старого времени. Человек «свободной профессии», он нуждается прежде всего в свободе и на каждом шагу сталкивается с безграничным полицейским произволом. Неудивительно, что «отрицательное направление» встречает в среде разночинцев самую благодарную почву, и его «отрицание» не ограничивается остроумным, поверхностным злословием, свойственным дворянину. Изящный, разносторонне образованный и либеральный дворянин *Тургенев* недаром назвал его *«нигилистом»*: он действительно ни перед чем не останавливается в своем отрицании, которое от слов быстро переходит к делу. Образованный разночинец — это вестник новой России, провозгласивший войну старому порядку и взявший на себя роль первого застрельщика в этой беспощадной войне не на жизнь, а на смерть.

До конца семидесятых годов история русского революционного движения была преимущественно историей борьбы с царизмом этого *слоя* населения России. Теперь на помощь разночинцу идут новые силы; теперь в борьбу постепенно вовлекается рабочий класс, пролетарии физического труда, становящиеся все более и более многочисленными и уже начинающие сознавать свою политическую задачу**. Но в то время, о котором

* [только для того, чтобы существовать]

** См. превосходную статью П. Аксельрода «Das politische Erwachen» [«Политическое пробуждение»] и т. д. [2]

у нас идет речь, борцы этого рода находились еще в полном смысле слова *in statu nascendi* *. С ними еще нельзя было считаться, на них еще нельзя было рассчитывать. Разночинец должен был начинать и вести борьбу, как мог и как умел, своими собственными силами.

Посмотрим, каков был запас тех идей, под знаменем которых началось освободительное движение в России. В царствование Николая наша литература не смела касаться политических и общественных вопросов. Она по необходимости ограничивалась «изящной словесностью» и ее критикой. И в изящной словесности и в критике она ушла тогда очень далеко. Тогда действовал наш Лессинг — Белинский, писал свои бессмертные произведения Гоголь, выросли и возмужали наши лучшие романисты. До сих пор все, что делается замечательного в нашей беллетристике и критике, является исполнением литературного завещания сороковых годов. Но если наша литературная зрелость уже в то время не могла подлежать сомнению, то наша политическая зрелость являлась еще делом будущего. Общественно-политические вопросы затрагивались тогда почти только в ожесточенном споре славянофилов с западниками о том, должна или не должна Россия идти путем общеевропейского развития. Западники говорили, что — да, славянофилы доказывали, что — нет и что Россия должна создать свою особую цивилизацию под эгидой греко-российского бога и чисто-российского царя. Предмет спора был очень важен; им вызвано было немало блестящих и богатых содержанием статей; но окончательное решение его было невозможно, во-первых, потому, что цензура не позволяла спорящим идти дальше самых неясных намеков, а во-вторых, — и это самое важное, — потому, что ни у той, ни у другой стороны не было фактических данных, необходимых для правильного освещения спорного вопроса.

Передовые русские люди николаевской эпохи исходили в своих литературных и политических суждениях из философии Гегеля. В течение некоторого времени знаменитый немецкий мыслитель был таким же самодержцем в России, как и петербургский император. Разница была лишь в том, что самодержавная власть Гегеля признавалась только в небольших и немногочисленных философских кружках, тогда как власть Николая простиралась «от хладных финских скал до пламенной Колхиды» [1]. И надо сознаться, что от Гегеля россиянам приходилось иногда хуже, чем от Николая. Плохо понятое, лучше сказать, совсем непонятое учение о разумности всего действительного представлялось чем-то вроде учрежденного Николаем корпуса

* [в состоянии зарождения]

жандармов. Но николаевских жандармов можно было ненавидеть, их позволительно было обманывать. А как решился бы русский гегельянец обманывать духовного жандарма, приставленного к нему, как он думал, его добровольно избранным учителем? Это была целая трагедия, закончившаяся восстанием против «метафизики» вообще и против Гегеля в особенности.

Русская «действительность» — крепостное право, деспотизм, всемогущество полиции, цензура и проч. и проч. и проч. — казалась передовым людям николаевского времени гнусной, несправедливой, невыносимой. Они с невольным сочувствием вспоминали о недавней тогда попытке декабристов изменить к лучшему эту действительность. Но они — по крайней мере, самые даровитые из них — уже не довольствовались ни отвлеченным отрицанием XVIII века, ни кичливым, себялюбивым, ограниченным отрицанием романтиков. Благодаря Гегелю они сделались гораздо требовательнее. Они знали, что история есть законосообразный процесс, что отдельное лицо совершенно бессильно в тех случаях, когда приходит в столкновение с законами общественного движения. Они говорили себе: докажи разумность своего отрицания, найди для него оправдание в бессознательном ходе общественного развития, или откажись от него, как от личной прихоти, как от ребяческого каприза. Но теоретически оправдать отрицание русской действительности [1] ⟨внутренними законами развития самой этой действительности значило решить такую задачу, которая не по силам была бы самому Гегелю. Возьмем хоть русское крепостное право. Оправдать отрицание этого права значило показать, что оно *само себя* отрицает, т. е. что оно уже не удовлетворяет тех общественных нужд, в силу которых оно некогда возникло. Каким же общественным нуждам обязано было своим возникновением русское крепостное право? Экономическим нуждам государства, которое умерло бы от истощения, если бы не закрепостило крестьянина. Следовательно, надо было показать, что в XIX веке крепостное право стало уже слишком плохим средством удовлетворения экономических нужд государства, что оно не только не удовлетворяло этих нужд, а прямо мешало их удовлетворению. Все это убедительнейшим образом показала впоследствии Крымская война. Но, повторяем, *показать это теоретически* не в состоянии был бы сам Гегель. По прямому смыслу его философии выходило, что причины исторического движения всякого данного общества коренятся в его внутреннем развитии. Этим правильно указывалась важнейшая задача общественной науки. Но Гегель сам противоречил, да и не мог не противоречить этому глубоко верному взгляду. «Абсолютный» идеалист, он считал логические свойства «*идеи*» основной причиной всякого развития. Свойства идеи оказывались, таким образом, коренной

причиной исторического движения. И всякий раз, когда перед ним вырастал великий исторический вопрос, Гегель ссылался прежде всего на эти свойства. Но ссылаться на них значило покидать историческую почву и добровольно лишать себя всякой возможности найти действительные причины исторического движения. Как человек величайшего, поистине редкого ума, Гегель сам чувствовал, что дело идет не совсем ладно, что его объяснения, собственно говоря, ровно ничего не объясняют. Поэтому, отдав должную дань «*идее*», он торопился спуститься на конкретную историческую почву, ища реальных причин общественных явлений уже не в свойствах идей, а в них самих, в тех самых явлениях, исследованиями которых он занимался в данное время. При этом он высказывал часто самые гениальные догадки (подмечая *экономические* причины исторического движения) [1]. Но гениальные догадки все-таки оставались не более как догадками. Лишенные прочной систематической основы, они не играли серьезной роли в исторических взглядах Гегеля и гегельянцев. Поэтому в то время, когда они высказывались, на них не обращали никакого внимания.

Великая задача, указанная Гегелем общественной науке XIX века, оставалась нерешенной: действительные, внутренние причины исторического движения человечества оставались ненайденными. И само собой понятно, что не в России мог явиться человек, способный найти их. Общественные отношения России были слишком неразвиты, общественный застой был слишком прочен в ней для того, чтобы эти искомые причины могли выступить в ней на поверхность общественных явлений. Они были найдены Марксом и Энгельсом на Западе, при совершенно иной социальной обстановке. Но и это случилось несколько позже, а в то время, о котором идет речь, гегельянцы-отрицатели и там путались еще в противоречиях идеализма. После всего сказанного понятно, почему молодые русские последователи Гегеля начали полным примирением с русской «действительностью», которая, к слову сказать, была так гнусна, что сам Гегель никогда не признал бы ее «действительной»: не оправданное теоретически, их отрицательное отношение к ней лишалось в их глазах всякого разумного права на существование. Отказываясь от него, они самоотверженно и бескорыстно приносили свои общественные стремления в жертву философской добросовестности. Но, с другой стороны, сама действительность заботилась о том, чтобы заставить их взять назад эту жертву. Ежедневно и ежечасно мозоля им глаза своею гнусностью, она *вынудила их* стремиться к отрицанию во что бы то ни стало, т. е. даже к такому отрицанию, которое не имело под собой удовлетворительной теоретической основы. И они, как известно, уступили настояниям действительности〉, они

Н. Г. Чернышевский.

Глава I.

Общий вид.

2

Первая страница русского оригинала введения
к немецкой книге «Н. Г. Чернышевский»

стали во враждебное к ней отношение, не справляясь более о том, согласно или не согласно это с духом гегелевской философии. Русские гегельянцы восстали против своего учителя и принялись осыпать насмешками его еще недавно столь почтенный в их глазах «философский колпак» [1]. Такое восстание, при тогдашних обстоятельствах, было, бесспорно, весьма похвальным делом. Но не надо забывать, что, восставая против Гегеля, наши передовые люди понижали уровень своей *теоретической требовательности*, что они отказались от мысли оправдать свое отрицание объективным ходом общественного развития и довольствовались тем, что оно совпадало с их собственным настроением. Таким образом, противники русской «действительности» стали *на утопическую точку зрения*, которой твердо держались после них многие и многие русские революционеры. Только теперь, под влиянием знакомства с сочинениями Маркса и Энгельса, замечается у нас некоторый поворот к научному социализму. В то же время, о котором у нас идет речь, т. е. в начале царствования Александра II, дальше утопического социализма не шли и не могли пойти даже самые талантливые представители революционной мысли в России.

Утопический социализм совершенно не умел, как известно, поставить сколько-нибудь определенные политические задачи перед пролетариатом, в котором он видел лишь угнетенную и страдающую массу, неспособную взять свое дело в свои собственные руки. Это была самая слабая сторона утопического социализма в политическом отношении, которая резко бросается в глаза в истории всего социалистического движения в домарксистский его период. В России эта слабая сторона утопического социализма проявилась в том, что сторонники его постоянно колебались и до сих пор колеблются в своих отношениях к царизму. Иногда им казалось, что они должны, «предоставив мертвым хоронить своих мертвецов», заботиться лишь об осуществлении своих более или менее социалистических «идеалов», игнорируя все, что хоть немного отзывается «политикой» [2]. Иногда, наоборот, они мечтали о *«чисто политических»* заговорах, успокаивая свою социалистическую совесть тем соображением, что русский «народ» и помимо всякой социалистической пропаганды всегда был и будет «прирожденным коммунистом» [3]. Эта приятная уверенность поддерживалась существованием у нас сельской общины с периодическими переделами полей, которую открыл — впрочем, по указаниям славянофилов — немец Гакстгаузен [4].

«Материалистическое учение о том, что люди представляют собою продукт обстоятельств и воспитания, и что, следовательно, изменившиеся люди являются продуктом изменившихся обстоятельств и другого воспитания, забывает, — писал Маркс

весною 1845 г., — что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно необходимо приводит, поэтому, к разделению общества на две части, из которых одна стоит над обществом (напр., у Роберта Оуэна)» [1]. Русские сторонники утопического социализма постоянно ставили себя в своих программах *над* обществом, отчего и терпели много неудач и разочарований.

Читатель понимает, что цитированные нами слова Маркса относятся не к современному диалектическому материализму, тесно связанному с именем того же Маркса, а к старому, метафизическому материализму, не умевшему взглянуть с *исторической* точки зрения ни на природу, ни на общественные отношения. Этот материализм начал очень распространяться в России в конце пятидесятых годов. Имена Карла Фогта, Бюхнера, Молешотта приобрели тогда весьма почетную известность, между тем как имена немецких философов-идеалистов сделались синонимом всяческой реакции. Гегель в особенности вызывал теперь озлобление «мыслящего пролетариата» России. Однако это была крайность, до которой не доходили наиболее образованные представители названного «пролетариата». Люди, знакомые с историей немецкой философии, продолжали уважать в Гегеле великого мыслителя, хотя и были теперь очень далеки от увлечения его философией. Для таких людей главным авторитетом в философии был тогда Фейербах. Фейербах несравненно выше Фогта или Молешотта. Он инстинктивно чувствовал недостатки того материализма, который проповедовался ими. Но он не умел критически справиться с этими недостатками. Он не дошел до диалектического взгляда на природу и на общество. «За точку отправления он берет человека. Но он ни единым словом не упоминает об окружающем человека мире, и потому его человек остается тем же отвлеченным человеком, который фигурирует в религии. Этот человек не рожден женщиной, он, как из куколки, вылетает из бога монотеистических религий. Поэтому он живет не в действительном, исторически развившемся и исторически определенном мире. Хотя он сносится со своими ближними, но его ближние так же отвлеченны, как и он» *. Ясно, что не философия Фейербаха могла открыть образованным русским разночинцам конца пятидесятых годов слабую сторону утопического социализма. А дальше Фейербаха в России никто не шел в то время. Исторические взгляды Маркса и Энгельса были там еще совершенно неизвестны. Сочинение Дарвина о происхождении видов было переведено на русский язык уже вскоре по выходе английского подлинника [3]. Но «мыслящие пролетарии» пользовались *ею* [теорией Дарвина]

* *Фр. Энгельс*, Людвиг Фейербах, стр. 29 русского перевода [2].

исключительно только как оружием в борьбе с религиозными предрассудками. Она не устранила односторонности метафизического материализма, глубоко и надолго засевшего в головах «мыслящих пролетариев».

Заметим, наконец, что экономические познания не только читающей русской публики, но и самых образованных русских писателей сороковых годов были до крайности ограничены. Белинский никогда не касался экономических вопросов в своих статьях, а Герцен так и умер в том убеждении, что Прудон был великим экономистом. В начале шестидесятых годов политическая экономия сделалась положительно модной наукой в России. Но увлечение не могло заменить положительных сведений, и первые шаги этой науки были по необходимости сделаны в сторону *утопии*.

Энгельс говорит где-то, что немецким социалистам утопического периода «*любовь*» помогала переваливать через всякого рода теоретические трудности. Немало услуг такого рода оказала любовь и русским «мыслящим пролетариям». Там же, где не выручала «любовь», выручал тот отвлеченный «разум», который составляет отличительную черту, свойственную всем периодам просвещения (Aufklärungsperioden). С точки зрения этого разума очень легко и быстро решались самые запутанные общественные вопросы. Пушкин рассказывает, что он знавал одну высокопоставленную старую русскую барыню, которая в молодости видала известного французского революционера Ромма. «C'était une forte tête, — говорила она, — un grand raisonneur; il vous aurait rendu claire l'apocalypse» [1] *. Такими же «fortes têtes» и «grands raisonneurs» были и наши просветители начала царствования Александра II. Они не хуже Ромма объяснили бы апокалипсис и точно так же, как он, не догадались бы взглянуть на него с исторической точки зрения.

* * *

Такова была та историческая среда, в которой пришлось жить и действовать Н. Г. Чернышевскому. Посмотрим же теперь, как он жил, а главное — как он действовал.

---

* [Это был умница, большой философ; он мог объяснить все — даже апокалипсис.]

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

[1890 г.].

«Наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям, и будут вспоминать о них с благодарностью, когда уже не будет тех, кто жил с нами».

(Из письма Чернышевского к жене, писанного в Петропавловской крепости 5 октября 1862 года) [1].

Семнадцатого октября 1889 года скончался Николай Гаврилович Чернышевский. Наши «легальные» издания проводили его в могилу лишь краткими и сухими некрологами [2]. Этими некрологами и окончились литературные поминки по писателе, деятельность которого составила эпоху в истории нашей литературы. Сказав о нем два-три слова робким и заикающимся голосом, наша «независимая» печать — об «охранительной» мы здесь не говорим, — по-видимому, совершенно забыла о нем, как будто бы она торопилась перейти к более интересным темам. Со стороны, например иностранцу, знающему русский язык и знакомому с русской литературой, это, наверное, показалось бы очень странным. Правда, теперь, господу споспешествующу, у нас уже нет ни одного журнала, который мог бы назваться вполне симпатизирующим стремлениям и взглядам покойного Чернышевского. Русская мысль ушла так далеко вперед по сравнению с концом пятидесятых и началом шестидесятых годов, мы стали теперь такими трезвыми, умеренными и благоразумными, что знаменитый автор романа «Что делать?» может казаться нам не более как даровитым, но слишком уже непрактичным и отчасти даже несколько опасным мечтателем. Мы уже знаем теперь, что *делать* нужно совсем не то, что хотел делать Чернышевский. Он рассуждал на социалистические темы, а мы думаем, что достаточно отстоять земское саморазорение и спасти от зубов кулака хвостик сельской общины. Так умиротворились мы, умудренные опытом. Но этого мало. Главное то, что теперь мы *делаем* (когда делаем) совсем не так, *как делал* Чернышевский. Мы поспешаем с медленностью, а он как будто и не слыхал об этом мудром правиле. Он делал иногда такие неосторожные шаги, позволял себе такие необ-

думанно-смелые выражения, от одного воспоминания о которых теперь, по прошествии почти тридцати лет, может заболеть лихорадкой трезвый, благоразумный, либеральный или умеренно-радикальный «имярек». Все это так, все это не подлежит ни малейшему сомнению. Но ведь не нужно вполне разделять взгляды и стремления писателя для того, чтобы посвятить оценке его деятельности несколько печатных листов в журнальной книжке. Для этого достаточно знать, что он, по тем или другим причинам, играл в свое время заметную роль в литературе. Какой же либеральный «имярек» может одобрить взгляды Каткова? А между тем мало ли кричали о нем после его смерти? Или, может быть, деятельность Михаила Никифоровича Каткова заслуживает большего внимания, чем деятельность Николая Гавриловича Чернышевского? Едва ли мы дошли до такой степени благоразумия, чтобы думать подобные вещи.

Дело объясняется гораздо проще. Николай Гаврилович Чернышевский был жертвой самых злых, самых беспощадных преследований со стороны правительства. Говоря о *жертве*, наша «независимая» печать, при всем испытанном благоразумии своем, не может не высказать нескольких горьких истин *палачам*. А так как цензурная ферула [1] находится в руках именно этих палачей, то неудивительно, что наши периодические издания сочли за лучшее совершенно обойти щекотливую тему. «С сильным не борись», — говорит наша народная мудрость, и в этом случае с нею совершенно сходится мудрость русской печати.

А, право, нельзя не пожалеть об этом совпадении двух мудростей. Поучительно было бы сравнить век нынешний и век минувший и воочию, на разборе сочинений Чернышевского, показать читателю, как далеки мы теперь от лжеучений этого социалиста и революционера. Убедившись в этом, читатель лишний раз поблагодарил бы небо за быстрое развитие русской общественной мысли.

Нас, пишущих за границей, цензурная ферула трогает лишь косвенно, через посредство разных дипломатических «давлений». Притом же мы оттого и пишем за границей, что не успели еще проникнуться достаточной степенью благоразумия и до сих пор думаем, что не мешает иногда вступить в борьбу с сильным и напомнить палачам об их жертвах. Вот почему мы сочли своею обязанностью в первой же книжке нашего журнала сделать по возможности полную и беспристрастную оценку литературной деятельности Н. Г. Чернышевского [2].

Как ни приятно было для нас исполнение этой обязанности, но оно в то же время было не легко. Мы уже не говорим о недостаточности наших сил для такого важного дела. Это

разумеется само собою. Но, кроме того, мы просим читателя помнить, что до настоящего времени не существует еще полного собрания сочинений Чернышевского. Изданные за границей (г. Элпидиным и отчасти г. Жемановым) статьи его далеко не составляют и половины всего им написанного [1]. Поэтому мы вынуждены были обратиться к первоначальному источнику, т. е. к журналу «Современник», в котором главным образом писал Николай Гаврилович. Всем известно, легко ли доставать старые русские журналы за границей. Мы только отчасти могли справиться с этой трудностью. Мы не могли достать «Современник» за некоторые из тех годов, к которым относится сотрудничество в нем Чернышевского. При чтении же тех книжек его, которые удалось достать нам, мы встретили новое затруднение. Очень многие статьи Чернышевского — именно все статьи в отделах «новых книг», «политики» и «литературы» (русской и иностранной) — печатались без подписи. Нам пришлось поэтому с работой критика соединить работу библиографа и перечитывать неподписанные статьи с тем, чтобы по языку и приемам изложения определить вероятность их принадлежности Н. Г. Чернышевскому. Понятно, что здесь возможны были сомнения и даже ошибки. Как ни своеобразна литературная манера Чернышевского и как ни легко узнать его слог всякому, кто прочел со вниманием хоть немногие из его произведений, но все-таки относительно некоторых статей мы так и не могли решить, принадлежат ли они ему или кому-нибудь другому. Вообще говоря, мы избегали ссылок на подобные сомнительные статьи. Только в одном случае, на который будет указано в своем месте, мы решились отступить от этого правила, сославшись на статью, может быть, даже вероятно, не принадлежащую нашему автору, но чрезвычайно важную для оценки взглядов кружка «Современника» на социальный вопрос. Все же остальные из цитируемых нами статей несомненно написаны Чернышевским, и в этом легко убедится всякий, кто потрудится прочесть их.

После этой необходимой, но мало интересной оговорки мы могли бы, кажется, перейти к делу. Но нам, как на грех, подвертывается на язык новая оговорка. Мы хотим извиниться перед читателем в том, что наш критический очерк начнется довольно длинной выпиской. Кто не знает, что подобные введения и некрасивы, и педантичны? Но мы миримся с этим обстоятельством, потому что наша выписка хорошо пояснит наше отношение к делу. Когда приятное идет вразрез с полезным, то часто поневоле жертвуешь полезному приятным. Впрочем, выписка эта берется нами из хорошего источника, из того самого автора, о котором пойдет у нас речь, и именно из его *«Очерков Гоголевского периода русской литературы»*.

«Если у каждого из нас, — говорит он в этих очерках, переходя к критике Гоголевского времени, — если у каждого из нас есть предметы столь близкие и дорогие сердцу, что, говоря о них, он старается наложить на себя холодность и спокойствие, старается избежать выражений, в которых бы слышалась его слишком сильная любовь, наперед уверенный, что, при соблюдении всей возможной для него холодности, речь его будет очень горяча, — если, говорим мы, у каждого из нас есть такие дорогие сердцу предметы, то критика Гоголевского периода занимает между ними одно из первых мест, наравне с самим Гоголем... Потому-то будем говорить о критике Гоголевского периода как можно холоднее; в настоящем случае нам не нужны и противны громкие фразы: есть такая степень уважения и сочувствия, когда всякие похвалы отвергаются, как нечто, не выражающее всей полноты чувства» [1]. Мы относимся к гениальному критику Гоголевского периода, В. Г. Белинскому, с таким же глубоким уважением и с такою же горячею любовью, какую питал к нему автор цитируемых очерков. В этом отношении мы ничего не можем ни убавить из сделанной выписки, ни прибавить к ней. Но мы заметим, что в настоящее время для всякого русского социалиста предметом такой же горячей любви и такого же глубокого уважения является сам Н. Г. Чернышевский. Вот почему мы последуем его собственному примеру и, говоря о нем, постараемся остаться как можно более холодными и спокойными, так как, действительно, «есть такая степень уважения и сочувствия, когда всякие похвалы отвергаются, как нечто, не выражающее всей полноты чувства».

I

Мы не имеем в виду писать биографию Н. Г. Чернышевского. Для этого нет еще достаточных материалов. О жизни его мы имеем до сих пор лишь очень скудные сведения. То немногое, что мы знаем о нем с этой стороны, содержится в биографическом очерке, приложенном к заграничному изданию его сочинений (см. брошюру «Лессинг» и второе издание романа «Что делать?» [2]). Очерк этот очень краток. Но в нем есть коекакие хронологические данные, а что еще важнее — в нем напечатаны документы, относящиеся к суду над Чернышевским. Разумеется, мы воспользуемся этими данными, дополняя их некоторыми фактами, заимствованными из собственных сочинений нашего автора. Но всего этого слишком и слишком мало, и потому нельзя не пожелать, чтобы лица, больше нас знающие о Чернышевском, поскорее напечатали свои воспоминания о нем, а также и имеющиеся в их распоряжении письма

его и бумаги. Этим они оказали бы большую услугу и публике, и литературе.

Но в ожидании этого приходится довольствоваться теми сведениями, которые у нас уже есть. А они сводятся вот к чему. Николай Гаврилович был сын священника Саратовского собора и родился в 1829 году [1]. Учился он сначала в Саратовской семинарии, затем — в Петербургском университете, где и окончил в 1850 году курс филологического факультета. Некоторое время после этого он был преподавателем во втором Петербургском кадетском корпусе, потом перевелся учителем гимназии в Саратов. Там, в своем родном городе, он скоро женился, если не ошибаемся, на сестре очень известного теперь ученого писателя Пыпина [2]. Но молодому Чернышевскому, очевидно, трудно было дышать затхлым воздухом провинции, и вот уже в 1853 году мы опять видим его в Петербурге, где он снова находит себе уроки во втором кадетском корпусе, а также занимается переводами и разбором новых книг для «Отечественных Записок», издававшихся тогда Краевским и Дудышкиным. Мы едва ли ошибемся, предположив, что нашему автору пришлось испытать много нужды и лишений в этот переходный период его жизни. Он был тогда простым литературным чернорабочим, а известно, что черный труд далеко не завидно оплачивается в нашей литературе. Других же источников существования у Чернышевского никогда не было. Но он был молод, здоров и не боялся никакого труда, никаких усилий. Кроме литературных работ, необходимых для поддержания жизни, он занимался также своей магистерской диссертацией, об «эстетических отношениях искусства к действительности». Самый выбор темы для диссертации достаточно показывает, какие задачи ставил себе он в своей будущей деятельности. Со своим образованием, способностями, беспримерным трудолюбием и замечательным даром общепонятного изложения самых сухих и трудных предметов, он мог бы рассчитывать на блестящую ученую карьеру. Ему стоило только захотеть — и профессорская кафедра, наверное, была бы за ним обеспечена. Но ему хотелось другого. Его привлекала деятельность критика и публициста. Как ни строга была русская цензура, но у всех в памяти был пример Белинского, который, несмотря на цензурные рогатки, не только сумел пустить в литературное обращение множество самых важных истин, но и поставил нашу критику на совершенно новую теоретическую основу. Мы уже знаем, как горячо любил и как глубоко уважал Чернышевский этого писателя. Неудивительно, что ему хотелось идти по следам Белинского, чтобы по мере сил и возможности продолжать его дело. Притом карьера императора Николая, видимо, близилась к концу, несостоятельность его системы становилась

очевидной для всех, так что при новом царствовании можно было рассчитывать на некоторую политическую оттепель и на некоторое смягчение нравов

Богомольной старой дуры,
Нашей чопорной цензуры [1],

как величал ее Пушкин. Начинающие писатели могли таким образом не без основания рассчитывать на несколько лучшее будущее. Наконец, у Николая Гавриловича были очень своеобразные взгляды на задачи людей, желающих посвятить свои труды благу России. В силу этих взглядов он и не мог придавать большого значения чисто ученой деятельности своих соотечественников. В цитированных уже нами «Очерках Гоголевского периода русской литературы» он очень определенно высказывается на этот счет. «Многие из величайших ученых, поэтов, художников, — говорит он, — имели в виду служение чистой науке или чистому искусству, а не каким-нибудь исключительным потребностям своей родины. Бэкон, Декарт, Галилей, Лейбниц, Ньютон, ныне Гумбольдт и Либих, Кювье и Фаредэ трудились и трудятся, думая о пользе науки вообще, а не о том, что в данное время нужно для блага известной страны, бывшей их родиною... Они, как деятели умственного мира, — космополиты» [2]. Но не в таком положении находятся, по его мнению, деятели умственного мира в России. Им еще нельзя быть космополитами, т. е. нельзя думать об интересах чистой науки или чистого искусства. В этом смысле, по условиям их страны, им приходится быть «патриотами», т. е. думать прежде всего о специальных нуждах своей родины. Идеалом «патриота» в этом смысле является для Чернышевского Петр Великий, человек, задавшийся целью перенести в Россию все блага европейской цивилизации. Он думал, что и в его время цель эта далеко еще не вполне была достигнута. «До сих пор для русского человека единственная возможная заслуга перед высокими идеями правды, искусства, науки — содействие распространению их в его родине. Со временем будут и у нас, как у других народов, мыслители и художники, действующие чисто только в интересах науки или искусства; но пока мы не станем по своему образованию наравне с наиболее успевшими нациями, есть у каждого из нас другое дело, более близкое к сердцу, — содействие, по мере сил, дальнейшему развитию того, что начато Петром Великим. Это дело до сих пор требует и, вероятно, еще долго будет требовать всех умственных и нравственных сил, какими обладают наиболее одаренные сыны нашей родины» *. Чернышевский именно и хотел посвятить свои силы распространению на своей родине высоких идей правды,

* См. «Современник», 1856 г., книгу 4, Отдел критики, стр. 29—31 [3].

искусства, науки *. Как понимал он их, — это, собственно говоря, можно было бы показать при разборе его сочинений. Но, прежде чем перейти к такому разбору, нам хотелось бы охарактеризовать его общую точку зрения и показать отношение его к его литературным предшественникам. Сделав это, мы уже без большого труда сможем оценить тот или другой из его отдельных взглядов. И нам тем удобнее сделать это теперь, что у нас идет пока речь именно о том периоде его жизни, когда он, еще не принимая особенно деятельного участия в литературе, занимался выработкой своих взглядов, усвоением и анализом «высоких идей правды, искусства, науки».

Изо всех своих литературных предшественников Чернышевский с наибольшим уважением относился к В. Г. Белинскому и его кружку [1]. Можно было бы думать поэтому, что он воспитался именно на сочинениях Белинского и его кружка, что он из этого источника почерпнул свое понимание идей правды, науки и искусства. Это, однако, не совсем так. Хотя в своих сочинениях Чернышевский вовсе не касается истории своего умственного развития, но есть у него одна маленькая заметка о Добролюбове, могущая пролить на нее некоторый свет. Мы имеем в виду письмо, написанное им после смерти Добролюбова в ответ на статью некого г. З-на и напечатанное в февральской книжке «Современника» за 1862 год. В своей статье г. З-н сказал, между прочим, что покойный Добролюбов был учеником Чернышевского и находился под сильнейшим его влиянием. Чернышевский горячо и даже очень раздражительно отрицает это, говоря, что Добролюбов совершенно самостоятельно пришел к своим взглядам и был гораздо выше его как по своим умственным силам, так и по литературному таланту. Нам не нужно решать теперь, насколько совпадало с действительностью это скромное заявление. Из всего письма Чернышевского нас интересует теперь лишь следующее место. Напомнив о том, что Добролюбов знал немецкий и французский языки и мог таким образом в подлиннике ознакомиться с наиболее замечательными литературными произведениями Франции и Германии, Чернышевский говорит: «Если же даровитый русский человек в решительные для своего развития годы читает книги наших общих западных великих учителей, то книги и статьи, писанные по-русски, могут ему нравиться, могут восхищать его... но ни в каком случае не могут уже они служить для него важнейшим источником тех знаний и понятий, которые почерпает он из чтения» **. Это совершенно спра-

* [См. ниже дополнение к этому месту для немецкого издания, стр. 168 и след.].

** «В изъявление признательности, письмо к г. З-ну», «Современник», февраль 1862 года [2].

ведливо. Но ведь Чернышевский также знал иностранные языки, также читал в решительные для его развития годы книги наших общих великих западных учителей. Поэтому позволительно думать, что и его могли только восхищать некоторые писанные по-русски статьи и книги, но что вместе с тем и для него они не были первоначальным источником его понятий и знаний [1]. Спрашивается теперь, каков же именно был этот первоначальный источник? В каких именно литературах и в каких отраслях этих литератур следует нам искать его?

В тридцатых и сороковых годах для наших молодых людей, в решительные годы их развития, одним из важнейших пособий являлась, между прочим, немецкая философия. В последующие десятилетия это было уже иначе. В пятидесятых годах к немецкой философии у нас были, как кажется, просто равнодушны. В шестидесятых — к ней стали относиться с враждой и презрением. Немецкая философия была объявлена «метафизикой», на которую «мыслящим реалистам» [2] не стоит тратить времени. Между западноевропейскими философами признаны были заслуживающими снисхождения только позитивисты. Война против немецкой философии ведена была у нас так удачно, что наши «мыслящие реалисты» могут гордиться своей победой над «метафизикой»; они с справедливой гордостью могут сказать, что не имеют о немецкой философии решительно никакого понятия. Но ни Чернышевский, ни его ближайшие друзья не принадлежали к числу этих победоносных реалистов. Они интересовались немецкой философией и внимательно изучали ее историю. Ее развитие и тогдашнее состояние, несомненно, повлияло на них очень сильно, как повлияло оно и на друзей Белинского. Но кем же из немецких философов мог увлекаться Чернышевский?

Конечно, не Фихте, не Шеллингом и не Гегелем. Ими мог увлекаться в свое время Белинский, но уже и для него системы этих философов, во вторую половину его критической деятельности, представляли собою, как говорят немцы, ein überwundener Standpunkt *. Тем более можно сказать это о Чернышевском. В то время, к которому относятся решительные годы его развития, философия уже навсегда распростилась со всеми разновидностями идеализма. Но если это было так, то какой же из немецких философов мог иметь на него наибольшее влияние? Поищем намека на ответ опять-таки в его собственных сочинениях. В своих «Полемических красотах», написанных в ответ «Русскому Вестнику» и «Отечественным Запискам», сильно нападавшим на все его направление вообще и на его статью «Антропологический принцип в философии», Чернышевский

* [устаревшую точку зрения.]

категорически говорит, что он придерживается одной философской системы, «составляющей самое последнее звено в ряду философских систем» и «вышедшей из Гегелевской системы, точно так же, как Гегелевская вышла из Шеллинговой». Люди, знакомые с историей философии, уже отсюда видят, о какой системе говорит он. Тем же, которым дело не ясно, мы приведем еще несколько строк. «Вам, вероятно, хотелось бы узнать, кто же такой этот учитель, о котором я говорю? — спрашивает Чернышевский Дудышкина в той же статье. — Чтобы облегчить вам поиски, я, пожалуй, скажу вам, что он — не русский, не француз, не англичанин, — не Бюхнер, не Макс Штирнер, не Бруно Бауэр, не Молешотт, не Фогт, — кто же он такой? Вы начинаете догадываться?..» [1] И действительно, нельзя не догадаться: Чернышевский говорит о Фейербахе. На Фейербаха указывает самое название единственной философской статьи, написанной Чернышевским: об *антропологической* точке зрения в философии заговорил впервые именно Фейербах. Мы могли бы привести из статей Чернышевского много доказательств того глубочайшего уважения, с которым он относился к Фейербаху. Для него Фейербах не ниже Гегеля, а этим сказано очень много, потому что Чернышевский считал Гегеля одним из гениальнейших мыслителей. Итак, философская точка зрения нашего автора найдена. Как последователь Фейербаха, Чернышевский был материалистом. «Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами, — писал он в названной выше уже статье об «антропологическом принципе в философии», — служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека. Философия видит в нем то, что видят медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет» [2]. Это не нуждается в толкованиях.

II

Но не мешает указать то место, которое принадлежит в истории философии учителю нашего автора. Учение Фейербаха вышло из учения Гегеля. Но Гегель был идеалистом, Фейербах — решительным материалистом. Главная заслуга Фейер-

баха в том и заключается, что в его лице философия навсегда покончила с идеализмом. Однако здесь следует оговориться. Материалисты были и раньше Фейербаха. Чтобы не далеко ходить за примерами, укажем хоть на французских материалистов конца прошлого века. «Système de la Nature» * — совершенно материалистическая книга. Но можно ли сказать, что Фейербах просто-напросто возвратил философию ко взглядам барона Гольбаха и его друзей? Это было бы несправедливо. Новейший материализм весьма значительно отличается от материализма конца прошлого века; различие это заключается главным образом в самом *методе мышления*. Современный материализм — конечно, в лучших, развитых своих представителях — держится особого метода мышления, который называется *диалектическим* и который французским материалистам прошлого века был гораздо менее свойствен, чем, например, деисту Руссо [1]. Нам нет надобности объяснять читателю, в чем заключаются особенности современного диалектического метода мышления, так как это уже сделано лицом, гораздо более нас компетентным. Вот что говорит на этот счет Фридрих Энгельс, человек, который своими трудами много способствовал дальнейшему систематическому развитию взглядов Фейербаха. «Для метафизика вещи и их умственные образы, т.-е. понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз-навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого. Он мыслит законченными, непосредственными противоположениями; речь его состоит из: да—да, нет—нет, что сверх того, то от лукавого. Для него вещь существует или не существует; для него предмет не может быть самим собою и одновременно чем-нибудь другим; положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга, причина и следствие также совершенно противоположны друг другу». Не так мыслит диалектик. Он берет вещи и понятия, т. е. умственные отражения вещей, «в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении». Поэтому в его глазах все явления и все понятия приобретают совершенно другой характер, чем в глазах метафизика. Он не скажет, как это всегда с твердостью, не допускающею возражений, говорит метафизик, что предмет существует или не существует в каждое данное время. В обыденной жизни метафизик, конечно, прав, но при более внимательном, научном исследовании он совершенно сбивается с толку, и тогда начинается торжество диалектика. «Например, мы в обыденной жизни можем с уверенностью сказать, существует данное животное или нет, но при более точном исследовании мы

* [«Система природы»]

убеждаемся, что это иногда в высшей степени запутанный вопрос, что прекрасно известно юристам, так как они тщетно пытались открыть рациональную границу, за которой умерщвление ребенка во чреве матери можно считать убийством. Так же невозможно определить момент смерти, так как физиология показывает, что смерть есть не внезапный, мгновенный акт, а очень медленно совершающееся явление». Далее, для диалектика очевидно, что предмет вполне может быть самим собою и одновременно чем-нибудь другим, так как предметы беспрерывно изменяются, а изменение именно и есть тот процесс, в силу которого предмет перестает быть самим собою и становится чем-то другим. «Всякое органическое существо в каждое данное мгновение есть то же и не то же: в каждое данное мгновение оно перерабатывает получаемую извне материю и выделяет из себя другую, одни клеточки его организма умирают, а другие — нарождаются, так что, спустя известный промежуток времени, материя данного организма вполне обновляется, заменяется другим составом атомов; вот почему всякое органическое существо всегда то же и, однако, не то же». Совершенно подобным образом для диалектика понятия о положительном и отрицательном, о причине и следствии, имеют совершенно иной смысл, чем для метафизика. «При более точном исследовании мы находим, что оба полюса какой-нибудь противоположности, положительный и отрицательный, столь же неразрывны один от другого, как и взаимно противоположны, и что они, несмотря на всю свою противоположность, проникают друг друга. Точно так же мы можем увидеть, что причина и следствие суть представления, имеющие значение, как таковые, лишь в применении к отдельному случаю, но как только этот случай мы станем рассматривать в его общей связи с целым миром, то убеждаемся, что причина и следствие совпадают, что их противоположность исчезает при созерцании всемирного взаимодействия, в котором причина и следствие постоянно меняются местами, и то, что теперь или здесь — следствие, то там или тогда будет причиной, и наоборот» [1].

Если мы, после всего сказанного, взглянем на метод, которого держались французские материалисты конца прошлого века (а нужно помнить, что метод составляет душу всякой философской системы), то тотчас увидим, как мало общего имели они с новейшими материалистами. В противоположность этим последним их придется назвать *метафизиками*. Чтобы убедиться в этом, пусть читатель просмотрит, например, названную выше книгу «Système de la Nature» * и обратит внимание, как обращаются Гольбах и его друзья с вопросами, ими же

* [«Система природы»]

самими выдвинутыми в борьбе с противниками, но не решенными ни ими, ни современной им наукой. Вопросы эти касаются главнейших предметов человеческого знания: развития мироздания, происхождения человека и его различных понятий, наконец, взаимных отношений людей в обществе. В настоящее время наука — естествознание и история — решает все эти вопросы посредством учения об *эволюции*, т. е. в сущности посредством того же диалектического метода, о котором говорят современные материалисты, но о котором часто не имеют ясного понятия даже самые выдающиеся ученые, обязанные ему наиболее блестящими своими открытиями. Гольбах и его друзья как будто задались целью совершенно исключить понятие об эволюции изо всех своих рассуждений. Они рассматривают предметы именно вне их взаимной связи, один после другого и один независимо от другого. Речь их именно состоит из да — да, нет — нет, что сверх того, то кажется им от лукавого. Поэтому им не только не удалось решить многих из ими же поставленных вопросов, но в действительности они не всегда остаются верными даже своей материалистической точке зрения, часто покидая ее для совершенно идеалистических рассуждений. Во всем, что касается взаимных отношений людей и истории человеческой мысли, они — чистые и притом чуждые научных понятий идеалисты. В их глазах история человечества есть не более как история ошибок честных простяков и козней корыстолюбивых злодеев. Человечество страдало и бедствовало, потому что было глупо и необразованно; но в восемнадцатом столетии взошло, наконец, солнце разума, и человечество станет теперь просвещенным, а следовательно, и счастливым, — вот к чему сводится вся их философия истории. Но в подобной философии отсутствует самое элементарное условие научности: *понятие о законосообразности*. Человечество страдало от своего необразования и перестанет страдать благодаря просвещению, принесенному восемнадцатым веком... Это очень хорошо, но, спрашивается, чем же обусловливалась неразвитость человечества в предшествующие века и откуда взялось просвещение в восемнадцатом веке? Ведь не с неба же оно упало. В качестве материалистов мы уже не признаем врожденных идей и говорим, что понятия человека представляют не более, как умственные отражения окружающих его предметов и происходящих перед ним явлений. Но раз мы держимся этого взгляда, то должны уже твердо держаться его и не забывать о нем тотчас же, как только речь зайдет об истории человеческой мысли. В этой истории мы так же мало можем говорить о случайности, как и о божественном провидении. Это совершенно ненаучные и совершенно недостойные материалистов понятия. Для материалиста история человеческой мысли есть такой же законосообразный

и необходимый процесс, как и развитие солнечной системы. Потрудитесь же объяснить ход и условия этого процесса, потому что ведь ссылаться в истории мысли на неразвитость мысли — значит уподобиться тому доктору, который говорил: «ваша дочь сделалась больна по той причине, что заболела» [1]. Но если вы взглянете на историю человеческой мысли, как на законосообразный и необходимый процесс, то успехи ее не будут уже представляться вам первой и главнейшей причиной общественного развития. Вам поневоле придется припомнить тогда диалектическое учение о причине и следствии, и вы скажете себе: да, действительно, причина и следствие постоянно меняются местами; то, что теперь или здесь следствие, там или тогда объявится причиной, и наоборот. Успехи человеческой мысли несомненно и решительно влияют на общественные отношения людей, но в то же время они сами зависят от этих отношений, идя семимильными шагами при одном устройстве общества и часто надолго, если не навсегда, останавливаясь — при другом. И притом те или другие общественные отношения возникают вовсе не потому, что кажутся членам данного общества наиболее разумными и справедливыми. Напротив, уверенность людей в справедливости и разумности их общественных отношений очень часто является простым следствием того обстоятельства, что они привыкли к этим отношениям, воспитались и выросли под их влиянием. Каким же образом возникают и развиваются данные общественные отношения? Возникновение, развитие и исчезновение их в истории представляет собою по большей части бессознательный процесс группировки людей в их борьбе за существование. Изменяются условия борьбы людей за существование — изменяется и их общественная группировка, принимают новый вид их общественные отношения, хотя очень часто люди совсем не замечают подобного изменения или замечают его только отчасти, или, наконец, придумывают для него самые несостоятельные объяснения — например, ссылаются на божественные заповеди, на естественный порядок вещей и тому подобное. Гегель справедливо заметил, что в истории общественных отношений «сова Минервы начинает летать только в полночь» [2], т. е. что люди начинают вдумываться в данный общественный порядок только тогда, когда он уже отжил свой век и становится при новых исторических условиях негодным и вредным. Люди стремятся тогда установить новый порядок, который почти всегда кажется им в таких случаях самым естественным и разумным, но который в действительности имеет лишь одно незаменимое преимущество: он оказывается наиболее подходящим для людей при новых, изменившихся условиях их борьбы за существование.

Теперь естественно спросить себя, от чего зависят и каким образом изменяются условия человеческой борьбы за существование? Они даются, во-первых, природой, во-вторых, создаются людьми, но создаются ими по большей части бессознательно. Влияние географических условий — почвы, климата, фауны, флоры, свойства поверхности, речных систем, очертаний берегов и пр. — на развитие человеческих обществ теперь уже более или менее выяснено наукой и не нуждается для своего пояснения ни в каких примерах. Но характер и природа тех условий борьбы за существование, которые бессознательно создаются самими же людьми, до сих пор еще неясны для многих. Поэтому пример здесь не будет неуместен. Возьмите такое общество, в котором уже исчезло натуральное хозяйство и продукты производятся на сбыт, для обмена их на рынке, т. е., другими словами, становятся товарами. Само собою разумеется, что производители так же мало задумываются над товарным характером своих продуктов, как мольеровский буржуа задумывался над прозаическим характером своей обыкновенной речи [1]. Они производят товары не потому, что товарное производство кажется им самым естественным и разумным: рассуждать об этом они предоставляют особой породе людей, которые называются экономистами. Сами же они делают свои произведения товарами просто потому, что при данных условиях не могут не делать их товарами. Они вывозят их на рынок, потому что им нужно обменять их на другие, необходимые для них произведения. Но эти произведения, смирно и неподвижно лежавшие в мастерской, пока они оставались просто произведениями, начинают чудить и самодурствовать, появившись на рынке и приобретая звание *товаров*. Иногда тот или другой товар оказывается «в цене», и тогда производитель его торжествует. Но иногда вдруг, без всяких причин благовидных, с ним становится «тихо», его мало спрашивают, цена его падает. Производитель опускает голову. А иногда случается так, что данного товара и совсем никто не покупает, и тогда горе его производителю, если ему не удалось отложить деньжонок на черный день! Но такими, по-видимому, случайными колебаниями цен в обществе товаропроизводителей дело не ограничивается. Мало-помалу между ними начинает возникать неравенство: у одного дела идут лучше, чем у другого, и вот один богатеет, а другой разоряется. Постепенно неравенство это — между прочим, и вследствие успехов техники — доходит до такой степени, что на рынке появляется новый товар, называемый рабочею силой. Часть обедневших товаропроизводителей уже не может вести производство на собственный счет и нанимается в работу к хозяевам. Таким образом, у нас оказываются теперь уже хозяева и рабочие, товарное общество становится

капиталистическим. Кто создал это капиталистическое общество? Почему его создали? Потому ли, что его считали самым разумным и «естественным»? Создали его люди, потому что ведь их же взаимные отношения и были теми отношениями товаропроизводителей, из которых развились впоследствии отношения капиталистические. Но создали они его бессознательно: ни Иван, ни Петр, ни Алексей вовсе и не задумывались над теми последствиями, которые вытекают из товарного производства, они не задумывались даже и над тем, что значит товарный характер производства. Однако ни Иван, ни Петр, ни Алексей не имеют, как мы уже признали, врожденных идей. Их образ мыслей создается влиянием окружающей обстановки. Живя в капиталистическом обществе, они начинают думать, что это и хорошо, что они живут в нем, что иначе и нельзя жить людям, что капиталистический порядок самый «естественный» и «справедливый». Да и так думают они только в редких случаях, а большею частью вовсе ничего не думают о своем общественном порядке: они берут его, как он есть, не спрашивая себя, мог ли бы он измениться. Тем не менее влияние капиталистического порядка все-таки сказывается на их образе мыслей, на их чувствах и привычках. Они не приводят своих понятий в систему. Но их несистематические, отрывочные понятия насквозь пропитаны духом капитализма. Им пропитывается все: гражданское и государственное право, искусство и литература, естественные и общественные науки. Что касается общественных наук — это ясно само собою: общественные науки в капиталистическом обществе представляют собою не что иное, как возведение в теорию капиталистических отношений. В применении к естественным наукам наша мысль может показаться на первый раз очень странною. Каким это образом взгляды людей на кислород или на индуктивные токи могут быть пропитаны капиталистическим духом? Но мы и не говорим, что это может быть. Мы хотим только сказать, что ведь не всегда же люди знали о кислороде и об индуктивных токах. Было время, когда они не имели о них ни малейшего понятия. Когда же они стали интересоваться ими? «Ход идей соответствует ходу вещей, все науки выросли из общественных нужд и потребностей народов», — давным-давно сказал один гениальный итальянец [1]. Внимание людей направлялось на те или другие области явлений природы сообразно с нуждами того общества, в котором жили люди. Во всякой науке практика всегда предшествовала теории и никогда не переставала оказывать на нее огромнейшее влияние. Какие же нужды, какая практика существуют в капиталистическом обществе? Ясное дело: нужды и практика капиталистического, а не какого-нибудь другого общества. Эти нужды и эта практика не только вызывают к жизни извест-

ные теории, они кладут на них свою печать, иногда затрудняя, иногда ускоряя их совершенствование. Ведь что ни говорите, а очень характерно то обстоятельство, что мысль об огромном значении борьбы за существование явилась у зоологов уже после того, как ее возвели в принцип теоретики капитализма — экономисты.

Но не вечен и капиталистический строй. Постепенно, под влиянием многих причин, но опять-таки помимо *сознательного* участия людей, в нем является уже очень много неудобств, уже очень много темных и невыгодных сторон. Невыгоды капитализма начинают перевешивать его выгоды. Исторический день его склоняется к концу. Наступает «ночь», — и вот вылетает «сова Минервы»: начинается критика капиталистических отношений. Люди спрашивают себя: да неужели нельзя завести другого порядка? Те из них, на которых в особенности обрушиваются увеличивающиеся неудобства капитализма, вдумываются в этот вопрос внимательней и к своему собственному удивлению открывают, что завести другой порядок не только можно, но и должно. Возникают теории, называемые вредными учениями коммунизма и социализма. Под их знаменем группируются все обездоленные, угнетенные существующим порядком. Но почему же прежде-то ничего этого не было? Неужели теоретики прежнего времени — все эти светила науки, Пэтти, Смиты и Рикардо, — были просто-напросто хитрыми сикофантами, защищавшими дело, выгодное лишь для крошечной горсти счастливцев? Совсем нет, это были честные мыслители, но как же вы хотите, чтобы они открывали то, чего еще и не было в действительности. В их время историческое движение еще не обнаружило или, вернее сказать, еще не создало тех неудобств капитализма, против которых борются теперь социалисты, поэтому они и не подозревали их возможности. Довлеет дневи злоба его — этого никогда не нужно забывать при изучении истории человеческой мысли.

Нас спросят, может быть, не существует ли связи между указанными выше природными, географическими условиями человеческого развития и теми условиями его, которые бессознательно создаются людьми в процессе производства продуктов? Связь эта несомненно существует. Под влиянием географических условий совершается экономическое развитие человечества. Оно происходит с большею или меньшею быстротою, принимает то или другое направление именно благодаря тому или другому характеру географической среды, окружающей данное общество. В Китае и в Аттике, в равнинах Северной Америки и на берегах Нила формы общественных отношений на первых ступенях развития были совершенно одинаковы, можно сказать тождественны. Наука о первобытных

учреждениях повсюду находит, например, родовой быт. Человечество, очевидно, имеет одну точку отправления. Но природные условия борьбы за существование различны, и потому формы человеческого общежития с течением времени принимают различный характер. Одинаковый повсюду родовой быт уступает место самым различным общественным отношениям. Строй афинского общества не похож на строй Китая; ход экономического развития Запада вообще не похож на ход экономического развития Востока. Конечно, много зависит тут и от влияния окружающей данное общество исторической среды, но «географическая подкладка» человеческого развития все-таки несомненно и очень сильно дает себя чувствовать.

Однако к чему все это? А все к тому же, все затем, чтобы показать некоторые особенности новейшего материализма, приверженцем которого был и Н. Г. Чернышевский. Мы хотели только сказать, что новейшие материалисты понимают ход исторического развития так или почти так, как мы изложили, а материалисты конца прошлого века были совершенно чужды такого понимания истории. В их миросозерцании было еще очень много остатков идеализма. В своих исторических взглядах они, как мы сказали, во многом оставались идеалистами. Они отрицали существование врожденных идей в голове отдельного человека, но они признавали, так сказать, самопроизвольное зарождение и развитие идей в человеческом обществе. Они и не подозревали, что историческое развитие человеческой мысли совершается под влиянием причин, не имеющих ничего общего с сознанием и волей человека. Поэтому только с появлением новейшего материализма сделалось возможным научное понимание человеческой истории. С точки зрения новейшего материализма «история человечества перестает казаться нелепой путаницей бессмысленных насилий, которые равно все осуждаются перед судейским креслом теперь лишь созревшего философского разума и которые лучше всего забыть как можно скорее. История людей является процессом развития самого человечества, и задача современной мысли состоит теперь в том, чтобы проследить постепенные ступени этого процесса... и показать внутреннюю его законосообразность, среди всех кажущихся случайностей».

Эта задача в значительной степени уже решена трудами Маркса и Энгельса, великих социалистов, которым выпало на долю продолжать дело развития философской мысли после Гегеля и Фейербаха. Но нужно помнить, что материалистическим, т. е. единственным научным, пониманием истории мы обязаны именно Марксу и Энгельсу (отчасти, впрочем, еще американскому писателю Моргану)[1], а не Фейербаху. В эпоху Фейербаха задача философской мысли была другая. Ей нужно

было прежде всего покончить с идеализмом во всех его видах и разновидностях. На это и были употреблены силы Фейербаха. Таким образом, его философские взгляды приходится считать только первым шагом современного материализма. Он дал только некоторые посылки; другими же необходимыми посылками, равно как и целым рядом самых блестящих выводов из них, мы обязаны уже Марксу и Энгельсу. В миросозерцании Фейербаха еще не была развита та историческая сторона, которая составляет силу и славу современного материализма. Какое значение могло иметь это обстоятельство в истории умственного развития Н. Г. Чернышевского?

Рассуждая отвлеченно, позволительно, пожалуй, думать, что он, как человек одаренный замечательным, из ряда выходящим и очень деятельным умом, мог заметить пробелы и пополнить недостатки во взглядах своего учителя, т. е., другими словами, сделать то, что сделали Маркс и Энгельс. Но, чтобы сделать эпоху в истории науки, недостаточно еще обладать гениальными способностями, нужны еще благоприятные внешние обстоятельства, которые дали бы надлежащее направление этим способностям. Насколько благоприятны были в этом отношении обстоятельства, окружавшие нашего автора? Он жил в стране, не развитой ни в экономическом, ни в политическом смысле слова. Чистая научная и философская мысль также не отличалась в ней большим развитием. Ни одним из русских ученых еще ни разу не было произнесено такое слово, которое имело бы решительное влияние на судьбу европейской мысли и науки [1]. Мы видели, как объяснял это явление Н. Г. Чернышевский и какие задачи ставил он перед наиболее одаренными сынами своей родины. Они сводились к распространению в ней «высоких идей правды, науки, искусства», выработанных в странах, ушедших далее нас по пути цивилизации. Чернышевский был совершенно прав, ставя своим соотечественникам именно эти, а не другие задачи. Но избранный и рекомендуемый им род деятельности имел свою внутреннюю логику, с которой приходится считаться самым богато одаренным людям. Распространитель идей, выработанных другими людьми в других странах, может при больших способностях делать некоторые частные, второстепенные открытия, но переворота в науке он не совершит, потому что вовсе не тем и занят. В таком именно положении был и наш автор. В его сочинениях рассыпано немало важных замечаний, проливающих новый свет на различные вопросы науки. Подобные замечания часто вполне совпадают с важнейшими открытиями, делавшимися тогда в западной науке. Но эти проблески гениальной мысли не разработаны последовательно, не приведены в систему; поэтому рядом с ними мы встречаем у него и такие взгляды,

которые уже и тогда могли считаться устарелыми, а теперь и совсем оставлены наукой. В конце концов оказывается, что недостатки и пробелы философии того мыслителя, который имел на него наибольшее влияние, не были пополнены и исправлены им. В материалистических взглядах Чернышевского осталась неразвитою та самая сторона, которая мало была развита и у его учителя. Говоря вообще, Николай Гаврилович был еще чужд современного материалистического понимания истории, а там, где он силою своего ума приближается к нему, он часто придает ему довольно наивную форму.

III

Материализм Чернышевского заметен гораздо более в его «антропологических», чем в его исторических, воззрениях. Смотря на человека, как на невольный продукт окружающей его среды, Чернышевский относится с величайшей гуманностью даже к таким некрасивым проявлениям испорченной человеческой природы, в которых идеалисты видят лишь «злую волю», заслуживающую строгой кары. «Все зависит от общественных привычек, — рассуждает он, — и от обстоятельств, т. е. в окончательном результате все зависит исключительно от обстоятельств, потому что и общественные привычки произошли, в свою очередь, также из обстоятельств. Вы вините человека, — всмотритесь прежде, он ли в том виноват, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества, — всмотритесь хорошенько, быть может, тут вовсе не вина его, а только беда его». «Охранители» хотели видеть в подобных словах Чернышевского защиту нравственной распущенности, но, разумеется, только доказали этим свое собственное непонимание дела.

Недостаточная выработанность материалистических взглядов Чернышевского сказалась уже в некоторых особенностях его учения о нравственности. Для него, как и для Гельвеция [1], даже наиболее самоотверженные поступки представляют только особый вид разумного эгоизма. По его словам, «надобно бывает только всмотреться попристальнее в поступок или чувство, представляющиеся бескорыстными, и мы увидим, что в основе их все-таки лежит та же мысль о собственной личной пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое эгоизмом». Иногда рассуждения Чернышевского по этому поводу принимают несколько странный характер. «Лукреция закололась, когда ее осквернил Секст Тарквиний: она поступила очень расчетливо». Следуют доказательства верности

сделанного Лукрецией расчета. «Коллатин мог сказать жене: я считаю тебя чистой и люблю тебя по-прежнему; но при тогдашних понятиях, слишком мало изменившихся до сих пор, он не в силах был оправдать своих слов делом: волею или неволею, но он уже потерял очень значительную часть прежнего уважения, прежней любви к жене; он мог прикрывать эту потерю преднамеренным увеличением нежности в обращении с нею; но такого рода нежность обиднее холодности, горьче побоев и ругательств» и т. д. [1] Но весьма сомнительно, чтобы Лукреция перед своим самоубийством могла предаваться таким основательным расчетам. Для них нужно хладнокровие, а хладнокровной она быть не могла. Не вернее ли предположить, что в ее поступке рассудок играл гораздо меньшую роль, чем чувство, сложившееся под влиянием тогдашних общественных привычек и отношений? Человеческие чувства и привычки так приспособляются обыкновенно к существующим общественным отношениям, что совершаемые под их влиянием поступки могут показаться подчас плодом самых основательных расчетов, между тем как в действительности вовсе не были вызваны расчетливостью. Вообще во взглядах Чернышевского на разумный эгоизм заметно свойственное всем «просветительным периодам» (Aufklärungsperiode) стремление искать в рассудке опоры для нравственности и в более или менее основательной расчетливости отдельного лица — объяснения его характера и поступков *. Но уже в вышеприведенных словах Чернышевского заключается опровержение подобных крайностей рассудочности. Поступки отдельного лица представляют собою результат общественных привычек, общественные же привычки складываются не под влиянием расчетов рассудка, а в силу исторического развития общества. При правильной постановке вопроса он должен быть поставлен именно в эти пределы: что такое нравственность отдельного среднего человека? Результат его расчетливости или бессознательный плод общественных отношений? Наконец, следует еще спросить, в силу каких влияний общества на отдельную личность может развиться и развивается в ней интерес к общему благу? Такие вопросы имеют большое общественное значение. Спорить же о том, как назвать подобный интерес к общественному благу — альтруизмом или благородным эгоизмом, — мы не видим надобности.

Сообразно с преувеличенным значением, придаваемым Чернышевским человеческой расчетливости, он и исторические события объясняет иногда сознательным расчетом пользы там, где для объяснения их нужно обращаться к несознанным людьми

---

* [См. ниже примечание к этому месту для немецкого издания, стр. 171.]

силам экономического развития. С первого взгляда подобные объяснения Чернышевского могут навести на мысль о том, что он в своих исторических теориях совершенно стал на точку зрения новейшего материализма. Но при внимательном отношении к делу оказывается совершенно противное. Кто видит в исторической деятельности людей лишь влияние сознательного расчета, тот еще далек от понимания всей силы и всего значения экономии. В действительности ее влияние распространяется даже на такие поступки людей и на такие привычки различных общественных классов, по поводу которых нельзя и заикаться о сознательном расчете. Мы уже видели, что главнейшие, наиболее влиятельные факторы экономического развития до сих пор стоят вне всякого влияния сознательного расчета. Мы видели также, что все общественные отношения, все нравственные привычки и все умственные склонности людей складываются под посредственным или непосредственным действием этих слепых сил экономического развития. Ими определяются, между прочим, и все виды человеческой расчетливости, все проявления человеческого эгоизма. Следовательно, нельзя говорить о сознательном расчете пользы, как о первичном двигателе общественного развития. *Подобный* взгляд на историю противоречит учению новейшего материализма; *подобный* исторический материализм еще очень наивен.

Впрочем, исторические взгляды Чернышевского еще не сведены в систему и часто противоречат один другому. Без большого труда можно выбрать из его сочинений и сопоставить такие взгляды на историю, которые покажутся принадлежащими совершенно различным писателям. И подобных противоречий нельзя объяснить предположением о постепенном изменении образа мыслей нашего автора. Он приступил к литературной деятельности в такую пору своего умственного развития, когда взгляды его в главнейших чертах уже окончательно сложились. Поэтому встречающиеся нам противоречия и непоследовательность его исторических взглядов приходится отнести на счет неясности и шаткости общей точки зрения его на историю человечества.

Вот несколько примеров в подтверждение сказанного. В своих «Очерках политической экономии» Н. Г. Чернышевский, объяснив законы существующего в современных передовых странах «трехчленного распределения продуктов» и делая из своих объяснений краткий заключительный вывод, высказывает следующий чрезвычайно замечательный взгляд на внутренние пружины новейшей истории Европы: «Мы видели, что интересы ренты противоположны интересам прибыли и рабочей платы вместе. *Против сословия, которому выделяется рента, средний класс и простой народ всегда были союзниками.* Мы видели, что

интерес прибыли противоположен интересу рабочей платы. Как только одерживают в своем союзе верх над получающим ренту классом сословие капиталистов и сословие работников, *история страны получает главным своим содержанием борьбу среднего сословия с народом»* *. Под этими строками охотно подписался бы любой из современных материалистов-диалектиков. Тем более охотно, что приведенный взгляд Чернышевского на причину борьбы «среднего сословия» с «народом» в другом месте его «Очерков» поясняется еще указаниями на гибель мелкой промышленности и мелкой поземельной культуры и на неотвратимое торжество крупных капиталистических предприятий как в промышленности, так и в земледелии. Точно так же любой из современных материалистов-диалектиков, с некоторыми только оговорками, признал бы справедливость следующего взгляда Чернышевского на историю политической и философской мысли. «Политические теории, да и всякие вообще философские учения, создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали их основатели [2], и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ. Мы не будем говорить о мыслителях, занимавшихся специально политической стороной жизни. Их принадлежность к политическим партиям слишком заметна для каждого: Гоббс был абсолютист, Локк был виг, Мильтон — республиканец, Монтескье — либерал в английском вкусе, Руссо — революционный демократ, Бентам — просто демократ, революционный или нереволюционный, смотря по надобности; о таких писателях нечего и говорить. Обратимся к тем мыслителям, которые занимались построением теорий более общих, к строителям метафизических систем, к собственно так называемым философам. Кант принадлежал к той партии, которая хотела водворить в Германии свободу революционным путем, но гнушалась террористическими средствами. Фихте пошел несколькими шагами далее: он не боится и террористических средств. Шеллинг — представитель партии, запуганной революцией, искавшей спокойствия в средневековых учреждениях, желавшей восстановить феодальное государство, разрушенное в Германии Наполеоном I и прусскими патриотами, оратором которых был Фихте. Гегель — умеренный либерал, чрезвычайно консервативный в своих выводах, но принимающий для борьбы против крайней реакции революционные принципы, в надежде не допустить до развития революционный дух, служащий ему

---

* Курсив наш. «Очерки политической экономии» (по Миллю), Сочинения *Н. Г. Чернышевского*, т. IV, стр. 205 [1].

орудием к ниспровержению слишком ветхой старины. Мы говорим не то одно, чтобы эти люди держались таких убеждений, как частные люди, — это было бы еще не очень важно, но их философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем» *. Оставляя в стороне частности взглядов на того или другого мыслителя, можно сказать вообще, что в приведенных словах обнаруживается очень глубокое понимание тех общественных условий, под влиянием которых совершается развитие философской и политической мысли. Современный материалист-диалектик прибавил бы к ним только то, что и сама политическая борьба, определявшая собою направление человеческой мысли, велась не во имя каких-нибудь отвлеченных соображений, а под непосредственным влиянием нужд и стремлений тех классов или тех слоев общества, к которым принадлежали борющиеся партии. Против этого едва ли стал бы спорить Чернышевский. В его взглядах на историю экономической науки довольно ясно высказывается сознание зависимости понятий людей от окружающей их социальной обстановки. В своей рецензии на книгу Рошера «Начала народного хозяйства» наш автор указывает на тот «психологический закон», в силу которого «почти у каждого — простого ли человека, оратора ли, писателя, в разговорах ли, в речах ли, в книгах ли, все равно — оказывается теоретически хорошим, несомненным, вечным все то, что практически выгодно для группы людей, представителем которой он служит. Этим психологическим законом надо объяснить и тот факт, что политико-экономам школы Адама Смита казались очень хороши, достойны вечного господства те формы экономического быта, которые господствовали или стремились к господству в конце прошлого и в начале нынешнего века. Писатели этой школы были представителями биржевого или коммерческого сословия в обширном значении этого слова: банкиров, оптовых торговцев и вообще промышленных людей. Нынешние формы экономического устройства выгодны для коммерческого сословия, выгоднее для него всяких иных форм; потому школа, бывшая представительницей его, и находила, что формы эти самые лучшие по теории... Начали думать о вопросах политической экономии люди, бывшие представителями не того сословия, которому как раз пригодны нынешние экономические формы, а представители массы, и явилась в науке другая школа, которую называют, неизвестно на каком основании, партией утопистов»**. Здесь сознание того влияния, которое имеет борьба классов на развитие науки, высказывается с поразительной

* «Антропологический принцип в философии», стр. 2, 3 [1].

** «Современник» 1861 г., апрель, Новые книги, стр. 431—432 [2].

ясностью. Но очень ошибся бы тот, кто заключил бы отсюда, что сознание это никогда не покидало Чернышевского. Между простым пониманием или признанием известного принципа и последовательным проведением его через всю систему взглядов — целая бездна. Прекрасно понимая значение борьбы классов в человеческих обществах, Чернышевский все-таки держался такого взгляда на «прогресс», который гораздо ближе к учению Бокля, чем к учению новейших материалистов. Чтобы дать о нем понятие, мы сделаем довольно большую выписку из чрезвычайно интересной статьи его «О причинах падения Рима», написанной по поводу выхода русского перевода «Истории цивилизации в Европе» Гизо. В этой статье Чернышевский энергически восстает против того очень распространенного мнения, по которому Западная Римская Империя погибла вследствие своей внутренней неспособности к дальнейшему развитию, между тем как варвары принесли с собою новые семена прогресса. Мы не хотим пока рассматривать, прав ли наш автор в своих нападках на это мнение. Для нас теперь важен единственно только взгляд его на ход прогресса. Вот этот взгляд. «Да подумайте только, что такое значит прогресс и что такое значит варвар? — восклицает наш автор. — Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и разлитии знаний... Развивается математика, от этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной механики совершенствуются всякие фабрикации, мастерства и т. д... Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего. Наконец, всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и чем больше людей в стране выучивается читать, получает привычку и охоту читать книги, тем больше становится в ней число людей, способных порядочно вести дела, какие бы то ни было, — значит, улучшается и ход всяких сторон жизни в стране. Стало быть, основная сила прогресса — наука; успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространенности знаний. Вот что такое прогресс: — результат знания. Что же такое варвар? Человек, еще погрязший в глубочайшем невежестве; человек, который занимает средину между диким зверем и человеком сколько-нибудь развитого ума... Какая польза для общественной жизни, если учреждения, дурные или хорошие, но все-таки человеческие, все-таки имеющие в себе хоть что-нибудь, хоть несколько разумное, — заменяются животными обычаями?» [1]

Мы видим, что здесь и речи нет ни о внутренних социальных отношениях Рима, причинивших его слабость и указанных тем

же Гизо в первой статье его «Essais sur l'histoire de France» *, ни о тех формах общежития, которыми обусловливалась сила германских варваров в эпоху завоевания Западной Империи. Чернышевский забыл даже знаменитое изречение: latifundia perdidere Italiam (латифундии погубили Италию). В его формуле прогресса (как стали выражаться у нас впоследствии) нет самостоятельного места для внутренних отношений той или иной «прогрессирующей» страны. Все дело сводится к количеству и распространению знаний, и ему даже в голову не приходит здесь спросить себя, не зависит ли история знаний от истории социальных отношений цивилизованных стран. «Говорят, обществу стеснительны были укоренившиеся формы, — рассуждает он далее, — значит, в обществе была прогрессивная сила, была надобность в прогрессе» [1]. Но ведь иное дело надобность в прогрессе, иное дело — присутствие в обществе «прогрессивной силы», способной удовлетворить этой надобности. Нельзя смешивать этих двух понятий, совершенно различных по своему характеру и содержанию: одно из них есть чисто отрицательное («надобность в прогрессе» указывает лишь на стеснительность существующих форм), другое — положительное, так как присутствие в обществе прогрессивной силы, способной совершить необходимую переделку форм общежития, предполагает известную степень умственного, нравственного и политического развития того класса или тех классов, на которых формы эти обрушиваются своими невыгодными сторонами. Если бы эти понятия были тождественны, то дело человеческого прогресса упрощалось бы до крайности, и мы не встречали бы в истории печального зрелища обществ, падающих под тяжестью таких форм общежития, которые, при всей несомненной своей вредоносности, не могли быть устранены, потому что не было в народе живых сил, способных совершить это дело. Само собою разумеется, что мы не говорим здесь о формах, вредных решительно для всех классов данного общества. Подобные формы устраняются, можно сказать, сами собою. Но чаще всего особенно вредными для дальнейших успехов общества оказываются иные формы, невыгодные для большинства и очень выгодные для привилегированного меньшинства. Устранить подобные формы можно только в том случае, если страдающее большинство обладает хоть некоторою способностью к политической самодеятельности. А оно не всегда обладает этою способностью. Способность эта вовсе не есть необходимое свойство угнетенного большинства. Она сама создается *экономией* данного общества. Казалось бы, не было ничего выгоднее для римских пролетариев, как поддержать законопроекты Гракхов [2]. Но они не поддер-

* [«Очерк истории Франции»]

жали и не могли поддержать их, потому что социальная обстановка, в какую ставило их экономическое развитие Рима, не только не содействовала их политическому развитию, но, напротив, постоянно понижала его уровень. Что же касается высших классов, то, во-первых, смешно было бы ожидать от них политических действий, враждебных их экономическим интересам, а во-вторых, и сами они развращались все более и более под влиянием другой стороны того самого хода экономического развития, который, создавая римский пролетариат, превращал его в кровожадную и тупую чернь. В конце концов дело пришло к тому, что римляне, эти всемирные завоеватели, оказались неспособными к военной службе, и легионы пополнялись теми самыми варварами, которые и положили, наконец, предел существованию заживо разложившейся империи. Таким образом, в падении Рима, вопреки объяснениям Чернышевского, нет ничего случайного, так как оно представляло собою естественный конец давно уже начавшегося историко-экономического движения.

Мы вовсе не хотим утверждать, подобно многим, в особенности немецким писателям, что германцы принесли с собою какой-то особенный дух и особенные склонности, обеспечившие за ними первое место в дальнейшей истории человечества. Мы говорим только, что слабость Рима в борьбе с варварами была причинена и подготовлена ходом его экономического развития, уничтожившего класс мелких землевладельцев, которые некогда составляли его силу. Мелкие крестьянские участки слились в огромные латифундии, населенные толпами рабов. Но рабы — плохая опора для государства: свезенные со всех концов мира, разноплеменные и разноязычные, они не составляли *народа* в собственном смысле слова. Они были и оставались *сбродом* (если только можно назвать так массу людей, сошедшихся не по доброй воле) и, разумеется, вовсе не думали об интересах римского государства. Чернышевский замечает, правда, что рабство постепенно смягчалось в Римской Империи, а под конец стало заменяться колонатом [1]. Но, во-первых, распоряжения императоров относительно колоната означали не более, как стремление государства обеспечить за собою часть *прибавочного продукта*, создаваемого подневольным трудом земледельца. Облегчить его положение переход к колонату решительно не мог в то время, когда все слои римского общества были буквально *раздавлены* государственными податями и поборами *. Во-вторых, само собою ясно, что колоны

* См. упомянутую первую статью Гизо в его «Essais sur l'histoire de France»; см. также «Untersuchungen auf dem Gebiete der National-Oekonomie des klassischen Altertums» [«Исследования из области национальной экономии классической древности»] *Родбертуса* [2].

и адскриптиции [1] не могли заменить собою свободных земледельцев. Наконец, даже в численном отношении рабы и колоны, по крайней мере в деревнях, уступали населению старой Италии свободных земледельцев. Еще Тит Ливий удивлялся, каким образом некоторые округи Италии, в которых в его время встречались только немногие пастухи с их стадами, могли во время своей независимости выставлять многочисленные и храбрые армии для борьбы с Римом. Дело объясняется просто: во время своей независимости округи эти жили при совершенно иных экономических отношениях, которым и были обязаны своим многочисленным, сильным и бодрым населением. Тогда в них еще крепки были родовые учреждения, обеспечивавшие благосостояние всех членов общины и сообщавшие им независимый и воинственный дух. Такие же учреждения существовали и у германцев, и именно им обязаны были варварские орды своею силою и крепостью. Выражаясь короче, можно сказать, что под конец существования Римской Империи в ней господствовали такие экономические отношения, которые доводили до *минимума* силу ее сопротивления. Наоборот, тогдашние учреждения германцев доводили их силу нападения до *максимума*. Вот и все: дело в экономии, а не в духе и не в каких-нибудь таинственных свойствах расы.

Если бы при объяснении исторической судьбы различных стран мы вынуждены были ограничиваться одними отвлеченными соображениями об их «прогрессе» и о количестве накопленных в них знаний, то мы никогда не могли бы понять, например, истории Греции, где наиболее образованные, «прогрессивные» страны одна за другою сходят со сцены, уступая место все менее и менее образованным и «прогрессивным». Чем объяснить такое явление? Ходом развития экономических и главным образом поземельных отношений в Греции. В наиболее «прогрессивных» странах развитие это раньше привело к скоплению поземельной собственности в немногих руках, к страшному увеличению численности рабов, к обессилению и деморализации низшего класса свободных граждан. Прямо пропорционально этому явлению уменьшалась и государственная сила «прогрессивных» греческих стран. В менее «прогрессивных» странах процесс этот начался позже и совершался медленнее, поэтому и государственная сила их падала медленнее, даже возрастала в известных периодах этого процесса (как бывало и в более «прогрессивных» странах); поэтому они и могли играть выдающуюся роль, когда более «прогрессивные» страны уже окончательно ослабели под гибельным влиянием безысходной *в то время* (а не в наше, когда у нее есть выход) борьбы классов. Но и менее «прогрессивные» страны в конце концов слабели благодаря тому же указанному процессу; одна за другой они

допевали свою песенку и также сходили со сцены, пока, наконец, железная рука Рима не положила предела самостоятельному существованию Греции. Когда пришли римляне, то греческих стран, за небольшими исключениями, *буквально некому было защищать*. Это обстоятельство отмечено было еще Полибием и Плутархом.

В исторических взглядах нашего автора *случайности* отводится вообще очень широкое место. Даже современный нам экономический строй, характер, законы и тенденции которого он довольно хорошо выясняет вслед за школой Смита — Рикардо, представляется ему продуктом исторических случайностей. «По истории оказалось, — говорит он в цитированной уже рецензии на книгу Рошера, — что нынешние экономические формы возникли под влиянием отношений, противоречащих требованиям экономической науки, несовместимых ни с успехами труда, ни с расчетливостью потребления, — словом сказать, представляют собою результат причин, враждебных и труду, и благосостоянию. Например, в Западной Европе экономический быт основался на завоевании, на конфискации и монополии» *. Никто не скажет, что завоевания, конфискации и монополии не имели места в истории Западной Европы. Но ведь они имели место и в древней Греции, и в Индии, и в Китае, и, однако, экономический строй этих стран очень существенно отличался или отличается от экономического строя современной Европы. Чем создалось это различие? Не тем ли, что все эти завоевания, конфискации и «монополии», далекие от того, чтобы определить собою направление экономического развития, сами, напротив того, определялись им в своих формах и дальнейших социальных следствиях? Направление и ход экономического развития древней Греции, или Индии, или Китая не похож был на направление и ход экономического развития средневековой и новой Европы, — поэтому и завоевания со всеми их последствиями привели там к другим порядкам, чем в Западной Европе. Ввиду решающего значения, приписываемого Чернышевским завоеванию в деле создания экономического строя современной Европы, нам невольно припоминаются слова Энгельса: «Даже в том случае, если мы исключим всякую возможность грабежа, насилия и обмана, если мы допустим, что всякая частная собственность первоначально основывалась на личном труде ее обладателя и затем, во все дальнейшее время, только равные стоимости обменивались на равные, то, тем не менее, с дальнейшим развитием производства и обмена, мы необходимо придем к современному капиталистическому способу производства, к монополизированию средств

* «Современник», апрель 1861, Новые книги, стр. 434 [1].

производства и существования в руках одного малочисленного класса, к пригнетению другого, составляющего огромнейшее большинство, класса до положения лишенных всякой собственности пролетариев, к периодической смене производственной горячки и торговых кризисов и ко всей современной анархии в производстве» *. Так смотрят на это дело современные материалисты-диалектики. Но Чернышевский смотрел еще совершенно иначе.

Относя различные существовавшие в истории формы экономического быта на счет завоевания и считая их противоречащими «требованиям экономической науки», наш автор, естественно, не мог придавать большой цены их изучению. Знакомый с так называемым историческим методом в экономической науке лишь по трудам таких его представителей, как Вильгельм Рошер и прочие Citaten-Professoren **, он относился к нему очень пренебрежительно и считал его плодом реакции против освободительных стремлений рабочего класса. «Против средневековых учреждений, несогласных с выгодами коммерческого сословия, ратовали... во имя разума; а тут вот как на грех явились люди, начавшие говорить: по разуму действительно следует быть тому, чего желаете вы, только сверх того требуется по разуму еще многое другое, вы произносите только начало формулы, а конец ее вот каков; словом сказать, перед лицом мыслителей непоследовательных явились мыслители последовательные... Что тут делать?.. Если разум говорит против тебя, хватайся за историю, она выручит» [2]. Сообразно с таким происхождением исторического метода теоретическая задача передовых представителей рабочего класса сводилась, в борьбе их против «непоследовательных мыслителей», лишь к тому, чтобы обнаружить возникновение современного экономического строя из «завоевания, конфискаций и монополий». Социалисты и делают это, по мнению Чернышевского. В их руках «история изобличает то, на защиту чего была приглашена» ***. Но еще раньше выступления Чернышевского на путь литературной деятельности, еще в эпоху его предшественников, т. е. Белинского и его кружка, лучшие теоретические представители рабочего класса пользовались историей не для одних только полемических ссылок на завоевания и конфискации. Маркс и Энгельс поставили изучение экономической истории человечества на твердую научную почву, показавши ее внутреннюю необходимость и строгую законосообразность****. Но по

* «Развитие научного социализма», приложение, стр. 58 [1].

** [профессора-любители цитат]

*** «Современник», апрель 1861, Новые книги, стр. 432—433—434 [3].

**** Опираясь на историю, Рошер и его единомышленники являются принципиальными противниками революционного способа действий.

всему видно, что Чернышевский незнаком был с этим направлением, выросшим из теорий его учителя Фейербаха, как теории Фейербаха выросли из системы Гегеля.

Отрицая исторический метод, наш автор пользовался в своих экономических исследованиях другим методом, который он называл *гипотетическим*. Мы характеризуем его собственными словами Чернышевского. «Этот метод состоит в том, — говорит он в своих замечаниях на первую книгу Политической Экономии Милля, — что, когда нам нужно определить характер известного элемента, мы должны на время отлагать в сторону запутанные задачи и приискивать такие задачи, в которых интересующий нас элемент обнаруживал бы свой характер самым несомненным образом, приискивать задачи самого простейшего свойства. Тогда, узнав характер занимающего нас элемента, мы можем уже удобно распознать ту роль, какую играет он и в запутанной задаче, отложенной нами на время. Например, вместо многосложной задачи: были ли войны с Францией в конце прошлого и начале нынешнего века полезны для Англии, берется простейший вопрос [2]: может ли война быть полезна не для какой-нибудь шайки, а для многочисленной нации? Теперь, как же решить этот вопрос? Дело идет о выгоде, то есть о количестве благосостояния или богатства, об уменьшении или об увеличении его, то есть о величинах, которые измеряются цифрами. Откуда же возьмем мы цифры? Никакой исторический факт не дает нам этих цифр в том виде, какой нам нужен, то есть в простейшем виде, так, чтобы они зависели единственно от определяемого нами элемента, от войны... Итак, из области

В их понятиях *эволюция* совершенно исключает *революцию*. Это взгляд столь же ошибочный, как и взгляд некоторых революционеров, восстающих против эволюции. Обе эти крайности совершенно исключают правильное понимание истории. Вооруженные *диалектическим* методом, новейшие социалисты иначе смотрят на дело. Для них эволюция есть такой же необходимый *момент* в процессе исторического развития человечества, как и *революция*. Эволюция подготовляет революцию, революция облегчает дальнейшее течение эволюции. Принятый в особенности германскими учеными «исторический метод» совершенно произвольно ограничивает поле зрения науки одним из этих моментов, эволюцией, и потому должен быть признан *антинаучным*. Об его «ученых» представителях и теперь еще можно с полным правом сказать то, что говорил о них Маркс в 1844 году: они оправдывают низости, совершаемые сегодня, низостями вчерашнего дня; объявляют мятежом всякий протест крепостного против кнута, если только это кнут исторический; история показывает им, как израильский бог Моисею, только «заднюю» свою; при всяком куске, вырезываемом из народного сердца, эти верноподданные Шейлоки ссылаются на исторический вексель и проч. [1] Все это справедливо как нельзя более. Однако революционер Маркс, в таких сильных и метких выражениях разоблачивший сервилизм официальных представителей «исторического метода», не только не игнорировал исторической эволюции, но первый показал ее действующие пружины и ее строгую законосообразность.

исторических событий мы должны перенестись в область отвлеченного мышления, которое вместо статистических данных, представляемых историею, действует над отвлеченными цифрами, значение которых условно и которые назначаются просто по удобству. Например, оно (отвлеченное мышление) поступает так. Предположим, что общество имеет 5.000 человек населения, в том числе 1.000 взрослых мужчин, трудом которых содержится все общество. Предположим, что 200 из них пошли на войну. Спрашивается, каково экономическое отношение этой войны к обществу? Увеличила или уменьшила она благосостояние общества? Лишь только мы произвели такое простейшее построение вопроса, решение становится столь просто и бесспорно, что может быть очень легко отыскано каждым и не может быть опровергнуто никем и ничем... По термину «предположение», «гипотеза», самый метод называется гипотетическим» *.

Такого метода Чернышевский держится во всех своих экономических исследованиях, которые принимают благодаря этому совершенно особенный, до крайности отвлеченный характер [2]. Известно, что главное экономическое сочинение нашего автора представляет собою частью перевод, частью изложение политической экономии Милля, сопровождаемое очень обширными замечаниями и самостоятельными дополнениями. Читая это сочинение, интересно следить за тем, как принятый автором метод исследования постоянно увлекает его из области действительных, существующих экономических отношений в область отвлеченного мышления. В том, что касается существующих отношений, Чернышевский редко оспаривает Милля. Он большею частью довольствуется его анализом, который, как известно, оставляет желать очень многого по своей неясности и непоследовательности. Он не расходится с Миллем даже в таких существенных вопросах, как вопросы о стоимости, о цене, о деньгах, о законе рабочей платы и т. п. Милль совершенно прав в том, что касается существующего, говорит обыкновенно Чернышевский, но посмотрим, так ли должно быть, того ли требует здравая экономическая теория? «Предположим» и т.д. — следует обыкновенно блестящая критика существующих отношений, критика, опирающаяся, однако, исключительно только на совершенно отвлеченные соображения и предположения. Недостатки метода кидаются, таким образом, в глаза, и его, конечно, не одобрит ни один из современных научных противников капитализма, так как противники эти опираются теперь не на требования отвлеченной «теории», а на те внутренние противоречия существующего ныне строя, которые в своем даль-

* Сочинения *Н. Г. Чернышевского*, т. III, стр. 89—90—91 [1].

нейшем развитии необходимо должны повести к его устранению.

Читатели, знакомые с методом той философской школы, последователем которой считал себя Чернышевский, без труда заметят, что наш автор не остался верен ему в своих исследованиях. В самом деле, «гипотетический метод» не имеет ничего общего с диалектическим методом немецких учителей Чернышевского. Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить те характеристические особенности, которые сам Чернышевский видел в системе Гегеля, породившей учение Фейербаха. Указание этих особенностей очень облегчит нам дело изложения и критики взглядов Чернышевского, поэтому мы просим читателя отнестись со всем возможным вниманием к этой материи, пожалуй сухой и скучной, но, право же, не бесполезной.

В глазах новейших материалистов-диалектиков величайшей заслугой системы Гегеля и всей вообще немецкой философии является то, что она, как говорит о ней Энгельс, «впервые представила весь естественный, исторический и духовный мир в виде процесса, т. е. исследовала его в беспрерывном движении, изменении и развитии, и пыталась обнаружить внутреннюю связь этого движения и развития» [1]. Чернышевский, при своем огромном уме и своих основательных сведениях в философии, не мог игнорировать этой стороны дела. Он понимал огромную важность Гегелевского учения о развитии и даже излагал его в энергических, прочувствованных выражениях. «Вечная смена форм, вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием или стремлением, вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же содержания, — восклицает он в своей статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения», — кто понял этот ⟨великий⟩, вечный, повсеместный закон, кто приучился применять его ко всякому явлению, — о, как спокойно призывает он шансы, которыми смущаются другие! Повторяя за поэтом:

Ich hab' mein' Sach auf Nichts gestellt
Und mir gehört die ganze Welt... * [2]

он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и говорит: пусть будет, что будет, а будет все-таки на нашей улице праздник!» **. Но, как видно, не этот «великий, вечный, повсеместный закон» считал он главной заслугой и наиболее выдающейся особенностью философии Гегеля. По крайней мере, в своих «Очерках Гоголевского периода русской литературы» он, подробно говоря о Гегеле по поводу известного увлечения

* [Поставил ставку я на нет
И мне принадлежит весь свет]

** Сочинения *Н. Г. Чернышевского*, т. V, стр. 531 [3].

им кружка Станкевича и Белинского [1], обращает наибольшее внимание на другую сторону его философии. Здесь главною его заслугою выставляется выведение философии из области отвлеченного мышления и внимательное отношение к *действительности*. «Объяснить действительность стало существенной обязанностью философского мышления. Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которой прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее в угодность собственным односторонним предубеждениям... Но в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени, — и потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление, — что эти общие, отвлеченные изречения не удовлетворительны... Отвлеченной истины нет, истина конкретна, т. е. определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит» *. В примечании к цитируемой странице Чернышевский поясняет эту мысль следующим образом: «Например, благо или зло дождь? Это вопрос отвлеченный, определительно ответить на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред; надобно спрашивать определительно: после того как посев хлеба окончен, в продолжение пяти часов шел сильный дождь, — полезен ли он был для хлеба? только тут ответ ясен и имеет смысл: этот дождь был полезен... Пагубна или благотворна война? Вообще нельзя отвечать на это решительным образом: надобно знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств времени и места... Марафонская битва [3] была благодетельнейшим событием в истории человечества» [4] и т. д. Отсюда видно, что при известном внимании к действительности даже такой, по-видимому, простой вопрос, как вопрос о пользе или вреде войны, не может решаться посредством той или другой незамысловатой и совершенно отвлеченной «гипотезы». Все зависит от обстоятельств места и времени. Это совершенно верно. Но, к сожалению, верно и то, что Чернышевский слишком часто забывал об этом как в общих своих исследованиях, так и в спорах о таких конкретных явлениях, как русское общинное землевладение.

Мы увидим ниже, что забываемая им действительность нередко напоминала о себе самым бесцеремонным образом. Но теперь мы должны продолжать характеристику исторических взглядов Чернышевского, которая поможет нам определить место, принадлежащее нашему автору в общем развитии философской мысли Европы.

---

* Современник, 1856, кн. 9, Критика, стр. 12 [2].

IV

Замечательно, что, не придавая цены исторической точке зрения в области политической экономии, он считал ее необходимой в области литературной критики. В одной из самых первых своих статей, именно в статье об известном сочинении Аристотеля «О поэзии», переведенном Б. Ордынским, он ставит эстетике в большую заслугу то, что она у нас никогда не была враждебна истории литературы. «У нас всегда провозглашалась необходимость истории литературы; и люди, особенно занимавшиеся эстетическою критикою, очень много, — больше, нежели кто-нибудь из наших нынешних писателей, — сделали и для истории литературы. У нас эстетика всегда признавала, что должна основываться на точном изучении фактов»... «*История искусства служит основанием теории искусства*» *. Казалось бы, что человек, написавший эти строки, оставаясь верным себе, должен был без всяких оговорок признать, что история экономического развития человечества должна служить основанием экономической «теории». Но мы уже видели, что он не так смотрел на эту «теорию».

Большая правильность взгляда Чернышевского на теорию искусства объясняется, во-первых, благотворным влиянием его предшественников: после «Эстетики» Гегеля и критических работ Белинского (напомним хоть его статьи о Пушкине) совершенно невозможно было игнорировать историческую точку зрения в теории искусства. Прибавьте к этому, что в эстетической теории восставать против исторической точки зрения могли только сторонники так называемого искусства для искусства, т. е. люди, которым хотелось бы поставить «вечное» искусство вне всякой связи с действительностью и ее насущными, жгучими общественными вопросами. Борясь против таких людей, Чернышевский, естественно, должен был склоняться к исторической точке зрения на искусство, так как она давала возможность связать задачи искусства с важнейшими общественными стремлениями данного времени. Еще Шеллинг говорил, что «verschiedenen Zeitaltern wird eine verschiedene Begeisterung zu Theil» **. Развивая эту мысль, нетрудно было наголову разбить сторонников «чистого» искусства. — Иное дело в политической экономии. Там заживо окаменевший Рошер и его братия являлись противниками самых дорогих Чернышевскому стремлений рабочего класса. Они были единственными известными ему представителями

* Сочинения *Н. Г. Чернышевского*, т. I, стр. 3—4 [1].

** [«Разным поколениям свойственны разные увлечения»]. «Ueber das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur». [«Об отношении изобразительных искусств к природе».]

исторической точки зрения в политической экономии. Неудивительно, что из реакции против них он стал в такое отношение к этой точке зрения, ошибочность которого бросилась бы ему в глаза при других условиях.

Впрочем, нельзя сказать, что нашему автору удалось последовательно развить свой взгляд на значение *истории* искусства как необходимой основы для *теории* искусства. Мы уже замечали, что от простого признания известного принципа еще очень далеко до последовательного проведения его в соответствующей отрасли науки. Чернышевскому представлялся прекрасный случай поставить теорию искусства в связь с его историей в диссертации об *«Эстетических отношениях искусства к действительности»*, представленной им филологическому факультету Петербургского университета в начале 1854 года для получения степени магистра. Это сочинение занимает одно из первых мест в ряду других произведений нашего автора; поэтому в нем чрезвычайно ярко выражаются все достоинства и недостатки его взглядов и приемов мышления. Верный своим материалистическим взглядам, Чернышевский задался в своей диссертации целью покончить с идеализмом в эстетике. Он преследует идеализм во всех его эстетических закоулках и убежищах, начиная от общих теоретических вопросов о происхождении искусства и о значении его в жизни и кончая такими частностями, как учение о трагическом и о возвышенном. Мы приведем некоторые из выставленных им тезисов, так как они прекрасно оттеняют именно материалистический взгляд Чернышевского на искусство.

«Истинное определение прекрасного, — говорит он, — таково: прекрасное есть жизнь; прекрасным существом кажется человеку то существо, в котором он видит жизнь, как он ее понимает; прекрасный предмет — тот предмет, который напоминает ему о жизни...

Возвышенное действует на человека вовсе не тем, что пробуждает идею абсолютного; оно почти никогда не пробуждает ее.

Возвышенным кажется человеку то, что гораздо больше предметов или гораздо сильнее явлений, с которыми сравнивается человеком.

Трагическое не имеет существенной связи с идеей судьбы или необходимости. В действительной жизни трагическое большею частью случайно, не вытекает из сущности предшествующих моментов. Форма необходимости, в которую облекается оно искусством, — следствие обыкновенного принципа произведений искусства: развязка должна вытекать из завязки, или неуместное подчинение поэта понятиям о судьбе.

Трагическое по понятиям нового европейского образования есть ужасное в жизни человека...

Действительность не только живее, но и совершеннее фантазии. Образы фантазии — только бледная и почти всегда неудачная переделка действительности.

Прекрасное в объективной действительности вполне прекрасно.

Прекрасное в объективной действительности совершенно удовлетворяет человека.

Искусство рождается вовсе не от потребности человека восполнить недостатки [1] действительности.

Потребность, рождающая искусство в эстетическом смысле слова (изящное искусство), есть та же самая, которая очень ясно выказывается в портретной живописи... Искусство только напоминает нам своими воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни, и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности.

Воспроизведение жизни — общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его: часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни...» [2]

С некоторыми из этих тезисов можно согласиться только с известными оговорками, придающими им более широкий смысл. С одним из них даже вовсе нельзя согласиться, именно: нельзя сказать, что «трагическое по понятиям нового европейского образования есть ужасное в жизни человека». Совершенно верно, что «трагическое не имеет существенной связи с идеей судьбы». Но несомненна связь его с идеей необходимости. Не все ужасное в жизни человека трагично. Ужасна судьба людей, на которых обрушиваются, например, стены строящегося дома; но трагична она может быть только для некоторых из них, именно для тех, в жизни которых были известные обстоятельства (великие замыслы, широкие политические стремления), придающие трагический смысл случайной смерти их от груды кирпичей. Однако во взятом нами примере трагическое все еще тесно связано с случайностью, поэтому оно не есть трагическое в настоящем смысле этого слова. Истинно трагическое основывается на идее об *исторической необходимости*. Истинно трагична судьба Гракхов, планы и сама жизнь которых разбились от неспособности римских пролетариев к политической самодеятельности. Истинно трагична судьба Робеспьера и С.-Жюста, погибших от неотразимых и неизбежных противоречий в их историческом положении между различными классами французского общества, боровшимися за преобладание. Вообще истинный трагизм создается столкновением сознательных стремлений человеческой личности, по необходимости ограниченной и более или менее односторонней, со слепыми

силами исторического движения, действующими подобно законам природы. Чернышевский не обратил и не мог обратить внимания на эту сторону дела, потому что его борьба против материализма ограничивалась еще областью отвлеченных философских положений. В этой борьбе он опять дошел до крайностей рассудочности и просто приравнял трагическое к ужасному. А между тем, если бы он припомнил хоть бы то объяснение трагического, которое Гегель делает на примере Софокловой «Антигоны», он увидел бы, что можно говорить о необходимости, не будучи идеалистом. Гегель указывает в «Антигоне» столкновение двух прав — родового и государственного. Представительницей первого является Антигона, представителем второго — Креон [1]. Борьба этих двух прав, несомненно, играла огромную роль в истории и можно, ни мало не греша идеализмом, поставить трагическое в связь с подобного рода борьбою. Чернышевский не видит этого, потому что он как будто забывает об истории в своем исследовании. Это тем более досадно, что, если бы Чернышевский своевременно вспомнил о своем правиле: теория искусства должна основываться на истории искусства, ему, может быть, удалось бы придать эстетике совершенно новое теоретическое основание. Доказывая свой тезис, что прекрасное есть жизнь, он делает чрезвычайно меткое замечание о том, что различные классы общества имеют различные идеалы красоты в зависимости от экономических условий их существования. Место это так важно, что мы приведем его почти целиком.

«Хорошая жизнь, жизнь, как она должна быть у простого народа, состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя, да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве, при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольна плотна, — это также необходимое условие красавицы сельской; светская, «полувоздушная красавица» кажется поселянину решительно «невзрачной», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не дает разжиреть: если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого» сложения, и народ считает большую полноту недостатком; у сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает — об этих принадлежностях красоты и не

упоминается в наших песнях. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который бы не был выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе. Совершенно другое дело — светская красавица: уже несколько поколений предки ее жили, не работая руками; при бездейственном образе жизни крови льется в конечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют; кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки — они признак такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества — жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не из старинной, хорошей фамилии... Здоровье, правда, никогда не может потерять своей цены в глазах человека; потому что и в довольстве и в роскоши плохо жить без здоровья, — вследствие того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают быть привлекательными и для светских людей; но болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в глазах их достоинство красоты, как скоро кажутся следствием роскошно-бездейственного образа жизни. Бледность, томность, болезненность имеют еще другое значение для светских людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди образованного общества, у которых материальной нужды и физической усталости не бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделья и отсутствия материальных забот, ищут «сильных ощущений, волнений, страстей», которыми придается цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очаровываться томностью, бледностью красавицы, если томность и бледность ее служат признаком, что она «много жила»?» *

Понятия людей о красоте выражаются в произведениях искусства. Понятия о ней различных общественных классов, как мы видели, очень различны, иногда даже противоположны. Тот класс, который господствует в данное время в обществе, господствует также в литературе и в искусстве. Он вносит в них свои взгляды и свои понятия. Но в развивающемся обществе в разное время господствуют разные классы. Притом же всякий данный класс имеет свою историю: он развивается, доходит до процветания и господства и, наконец, клонится к упадку. Сообразно с этим изменяются и его литературные взгляды, и его эстетические понятия. Поэтому в истории мы встречаемся

* Сочинения *Н. Г. Чернышевского*, т. I, стр. 44, 45, 46 [1].

с различными литературными взглядами и с различными эстетическими понятиями людей: понятия и взгляды, господствовавшие в одну эпоху, оказываются устаревшими в другую. Чернышевский показал, что эстетические понятия людей стоят в тесной причинной связи с их экономическим бытом. Это — открытие, гениальное в полном смысле слова. Ему оставалось только проследить действие открытого им принципа через всю историю человечества с ее сменою различных господствующих классов — и он сделал бы величайший переворот в эстетике, тесно связавши теорию искусства с новейшим материалистическим пониманием истории. Но мы знаем, что ему самому в значительной степени чуждо было такое понимание истории. Поэтому он и не мог докончить столь блестяще начатого дела; поэтому же и в его «*Эстетических отношениях искусства к действительности*» мы встречаем гораздо меньше истинно материалистических замечаний об истории искусства, чем, например, в «Эстетике» «абсолютного идеалиста» Гегеля *. В диссертации Чернышевского особенно ярко отражаются, как мы уже сказали, все недостатки и все достоинства его приемов мышления.

V

Левая сторона гегельянской школы, к которой, подобно своим литературным предшественникам, принадлежал Н. Г. Чернышевский, в дальнейшем своем развитии примкнула, как известно, к социализму. Примкнули к нему и русские гегельянцы левой стороны. Известно, как увлекался социализмом Белинский. В его сочинениях есть статьи, обнаруживающие очень глубокое для того времени понимание отношений западного пролетариата к буржуазии **. Чернышевский явился в этом отношении, как и во всех других, прямым и непосредственным продолжателем дела Белинского. Само собою разумеется, что он пошел дальше Белинского. Он не только *увлекался* социализмом, он хорошо изучил доступную ему социалистическую и экономическую литературу. Он говорил о социализме не только тогда, когда это приходилось к слову в статьях, посвященных другим вопросам. Его литературная деятельность была направлена почти исключительно на распространение в русской читаю-

* См., например, замечания Гегеля об истории голландской живописи, с которыми почти безусловно может согласиться любой из современных материалистов-диалектиков («Aesthetik», I Band, 217, 218; B. II, 217—223). Подобных замечаний много рассеяно в его «Эстетике» [1].

** См., например, его статью об Эжене Сю в VII части полного собрания его сочинений [2].

щей публике социалистических учений. Ввиду этого мы обязаны по возможности подробно характеризовать отношение Чернышевского к западноевропейскому социализму.

В настоящее время кто говорит о социализме — говорит об учении Маркса или не говорит ровно ничего, заслуживающего внимания. В то время, к которому относятся решительные годы в развитии Чернышевского (конец 40-х и начало 50-х годов), это было еще не так. Учение Маркса далеко не достигло еще господства, оно еще только слагалось, вырабатывалось и крепло в борьбе с другими социалистическими теориями. Главнейшие произведения школы Маркса еще не появлялись тогда в печати. Тогда еще вполне позволительно было считать себя социалистом и не иметь о Марксе никакого понятия. Тогда еще сильно было влияние так называемых теперь социалистов-утопистов, в особенности Фурье и Оуэна. Даровитые социалисты того времени все испытали на себе это влияние, собственными силами дополняя теории своих учителей и устраняя из них ненаучные, фантастические элементы. Чернышевский находился именно в таком положении. Мы уже говорили, что о произведениях школы Маркса он не имел никакого понятия. Правда, еще Белинский с восторгом читал парижские «Deutsch-Französische Jahrbücher» *, первые и последние два номера которых изданы были Арнольдом Руге в сотрудничестве с Марксом и Энгельсом. Но влияние этого журнала на русскую публику не было настолько сильно, чтобы бесповоротно определить направление русской социалистической мысли. Она еще долго, очень долго, гораздо дольше, чем следовало, развивалась без всякого влияния научных трудов Маркса. Неудивительно, что при выработке своих социалистических воззрений Чернышевский не принимал в расчет новейшего направления социализма, который уже и раньше играл немалую роль в истории немецкого рабочего движения, а со второй половины 60-х годов сделался господствующим среди всего европейского рабочего класса. Как человек, получивший правильное научное образование, Чернышевский был совершенно чужд странных фантазий, перемешанных в учении Фурье с гениальными взглядами на историю и современный быт человечества. К учению Сен-Симона он всегда относился очень критически. Роберт Оуэн, святой старик, как называет его Лопухов в романе «Что делать?», всегда был очень симпатичен Чернышевскому. Но трезвый ум нашего автора редко позволял ему обольщаться надеждами Оуэна на помощь угнетенному большинству со стороны коронованных особ и высшего класса. Изучая западноевропейские общественные отношения, Чернышевский, можно

* [«Немецко-французский ежегодник»]

сказать, невольно приходил к тому выводу, который лег впоследствии в основу программы Интернационала и который гласит, что освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих. Тем не менее взгляд нашего автора на исторические задачи рабочего класса отличается такою неясностью, которая может показаться странною читателю нашего времени. Чернышевский не выделяет пролетариата из общей массы страдающего и угнетенного народа. Для обозначения рабочего класса, долженствующего освободить себя своими собственными усилиями, Чернышевский употребляет выражение, очень характерное для русского писателя и в то же время обнаруживающее всю неясность его представления о роли пролетариата в западноевропейской истории. Чернышевский называет рабочий класс Запада *простонародьем* и представляет себе его нужды и задачи почти совершенно так, как мог представлять себе русский образованный и гуманный человек нужды и задачи русского «простонародья» того времени. В одной из своих статей, написанных, впрочем, в пылу полемики, вызванной вопросом об освобождении крестьян, наш автор доходит даже до следующих странных представлений о взглядах западноевропейских демократов. Он утверждает, что политическая свобода не имеет никакого значения для народной массы и что поэтому защитники народных интересов могут оставаться равнодушными к политике. Вот как определяет он политические взгляды либералов, с одной стороны, и «демократов» — с другой *. «У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве: с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой — дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, *для них почти все равно* **. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия по своей необразованности и материальной скудости равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно к праву свободной речи и конституционному устройству. Для демократа наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду. Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одному — аристократии (но не абсолютизму?); либерал почти всегда находит, что только при известной степени аристо-

* Не нужно забывать, что о социалистах трудно было говорить по цензурным условиям.

** Курсив наш.

кратизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы питают к демократам смертельную неприязнь, говоря, что демократизм ведет к деспотизму и гибелен для свободы» *.

Статья, из которой мы заимствуем эти строки, была написана, как мы уже сказали, в самый разгар полемики по крестьянскому вопросу. Очень возможно, что Чернышевский написал ее, некоторым образом, ad usum delphini **, желая показать русскому правительству, что ему не следует бояться русских демократов, все внимание которых действительно сосредоточилось в течение некоторого времени на экономическом положении освобождаемого крестьянства. Впоследствии, в особенности в своих «Письмах без адреса», Чернышевский высказывал уже новый взгляд на значение политической свободы для народного благосостояния. Но все-таки приведенное мнение остается очень характерным фактом в истории русского политического сознания. Оно несомненно должно было оказать свое влияние на подрастающую русскую демократию, которая до самого конца 70-х годов продолжала питать глубокое презрение к «политике». Конечно, это объясняется не одним только влиянием Чернышевского, — много сделала в этом отношении анархическая пропаганда Бакунина. Но шаткость и неопределенность политических взглядов любимого учителя русской молодежи наверное внесла свою лепту в последующие программные скитания русских революционеров [3]. Что взгляды Чернышевского на политические задачи западноевропейского пролетариата никогда не отличались большой ясностью, лучше всего показывает следующее мнение его о значении всеобщего избирательного права. Мы заимствуем это мнение из статьи «Июльская монархия», написанной уже в 1860 году, т. е. в то время, когда, окончательно разочаровавшись в правительственной постановке крестьянского вопроса, он не мог уже ничего писать ad usum delphini. Чернышевский обращается, между прочим, в этой статье к тем «лучшим людям», которые, увидев, что введением всеобщего избирательного права во Франции воспользовались реакционеры и обскуранты, перестали придавать ему значение. Чернышевский успокаивает их не тем соображением, что реакционеры и обскуранты могли воспользоваться результатом всеобщего избирательного права только после избиения июньских инсургентов [4]. Он не говорит им, что всеобщее избирательное право безусловно необходимо для политического воспитания рабочего класса. Он просто указывает на неразви-

* «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X». Перепечатано в третьем выпуске «Русской Социально-Демократической Библиотеки». Женева 1875, стр. 5, 6 [1].

** [для дофина] [2]

тость «поселян»... «Прямой результат декрета (вводившего названное право во Франции), — говорит он, — противоречил ожиданиям всех честных французов. Но что же из того? Разве все-таки не послужил этот декрет на некоторую пользу французскому обществу? Теперь увидели, что невежество поселян губит Францию. Пока не имели они голоса, никому не было заботы об этой страшной беде. Никто не замечал, что в основе всех событий французской истории всегда лежало невежество поселян. Болезнь была тайная и оставшаяся без лечения; но все-таки она изнуряла весь организм. Когда поселяне явились на выборы, тогда замечено было, наконец, в чем сущность дела. Увидели, что ничего истинно полезного не может быть осуществлено во Франции, пока честные люди не займутся воспитанием поселян. Теперь это делается, и усилия все же не остаются совершенно бесплодными. Раньше или позже поселяне станут рассудительнее, и тогда прогресс для Франции станет легче. Успокоимся же: хотя бы всеобщее избирательство и не удержалось при восстановлении законных учреждений во Франции, хотя бы горькие плоды, принесенные декретом о нем, и заставили общественное мнение на время отвергнуть всеобщее избирательство, все-таки декрет о нем при великом прямом вреде принес косвенным образом несравненно бо̀льшую пользу» *.

Здесь, как видим, нет речи ни о борьбе классов во французском обществе, ни о революционной роли французского пролетариата. Все надежды нашего автора возлагаются на каких-то честных людей, которые займутся воспитанием поселян, вследствие чего «прогресс для Франции станет легче». Это очень странно звучит в настоящее время. Но опять-таки не нужно забывать, что пролетариат был для Чернышевского «простонародием», мало отличавшимся по своим свойствам, стремлениям и задачам от других слоев трудящегося населения. В особенностях экономического положения западноевропейского пролетариата Чернышевский если и видел что-либо революционное, то разве в том смысле, что экономические бедствия вызывают неудовольствие рабочих. Но так как и другие слои трудящегося населения переносят немалые бедствия, то революционное настроение в их среде казалось ему столь же естественным, как и в среде пролетариата. Когда Чернышевский защищал русское общинное землевладение, то в числе выгод, приносимых им, он указывал на то обстоятельство, что оно спасает нас от «язвы пролетариатства». Правда, при этом ему, очевидно, не раз вспоминались слова реакционеров, вроде барона Гакстгаузена или Тенгоборского, утверждавших, что «язва пролетариат-

* «Июльская монархия» в «Русской Социально-Демократической Библиотеке», Женева 1875 г., стр. 58, 59[1].

ства» является источником революционных движений в Западной Европе. И ему приходили сомнения относительно выгод, которые принесет с собою устранение названной «язвы» делу русского прогресса. Но он отвечал себе на эти сомнения такого рода замечанием: «Земледельческий класс, хотя и всегда пользовался у нас землею по общинному порядку, не всегда являлся в русской истории с тем неподвижным характером, какой воображает видеть в нем Тенгоборский, слишком доверившись общей обычной фразе о неподвижности, свойственной земледельцу в Западной Европе, и применив эту бездоказательную фразу к русскому поселянину. Нам здесь нет нужды толковать о том, каков характер западноевропейского поселянина. Напомним только о том, что казаки были большей частью из поселян и что с начала XVII в. почти все драматические эпизоды в истории русского народа были совершены энергией земледельческого населения» [1]. Здесь крестьянские войны ставятся, как видим, по своему значению на одну доску с революционными движениями новейшего пролетариата, — смешение, совершенно невозможное для социалиста настоящего времени.

В глазах современного социалиста революционные движения рабочего класса являются результатом борьбы классов в обществе, сложившемся на основе крупной промышленности. Современный социалист видит залог торжества своего дела в дальнейшем развитии этой самой промышленности. Чернышевский не так смотрел на этот вопрос. Его взгляды на него сильно окрашены самым недвусмысленным идеализмом. Вот как рассуждает он об этом предмете в своей рецензии на книгу Бруно Гильдебранда «Политическая экономия настоящего и будущего». «То, что истинно человечно, истинно разумно, найдет себе симпатию во всех народах... Разум один и тот же под всеми широтами и долготами, у всех чернокожих и светлорусых людей. Конечно, в американских степях живут другие люди, чем в русских деревнях, и на Сандвичевых островах обитают господа, не похожие на английских джентльменов; но ведь и русскому мужику, и дикарю, так же как и высокопочтенному римскому кардиналу, хочется, думаем мы, есть, а затем, чтобы есть, хочется что-нибудь иметь. Стремление к улучшению своего положения составляет существенное свойство всего человечества. Если бы новые теории были противны природе человека, они и не пошли бы дальше той страны и тех людей, которым угодно было выдумать их, не стремились бы к ним все народы образованного мира» *. Едва ли нужно повторять, что народы образованного мира стремятся к социализму не потому, что он согласен с «природой человека» (это еще ничего

* «Современник», март 1861, Новые книги, стр. 71 [2].

не доказывает), а единственно потому, что он согласен с природой экономического состояния современного нам цивилизованного человечества.

При указанных взглядах на социализм как могли представляться Чернышевскому практические задачи социалистической партии? По цензурным условиям ему редко приходилось говорить о них в печати, но он все-таки настолько определенно высказался на этот счет, что сомнение возможно только относительно частностей: общий характер его практических стремлений достаточно ясен.

Заметим прежде всего, что Чернышевский по своему трезвому уму и всегдашнему стремлению к практической деятельности не мог принадлежать к числу тех социалистов, которые требуют, чтобы человечество целиком приняло их утопии, и считают бесплодными или даже прямо вредными все частные экономические реформы. Таковы, например, современные анархисты, если только позволительно называть анархистов социалистами, хотя бы и не в строгом, а только в разговорном смысле слова. Чернышевский едко смеется над подобными фантазерами. «Во имя высших идеалов отвергать какое-нибудь, хотя бы и не вполне совершенное, улучшение действительности — значит слишком уже идеализировать и потешаться бесплодными теориями». По его мнению, у людей, склонных к таким потехам, «дело кончается большею частью тем, что после напряженных усилий подняться до своего идеала они опускаются так, что уже вовсе не имеют перед собою никакого идеала» [1]. Это уже не в бровь, а прямо в глаз современным анархистам. Но дело не в том. Посмотрим, как же смотрел сам Чернышевский на реформы, полезные и возможные с социалистической точки зрения?

Известно, что современные социал-демократы также не только не отрицают значения частных экономических реформ, но очень настойчиво требуют их. Принимаемые ими в разных странах программы частных реформ или так называемых минимальных требований стоят в тесной связи с их конечными стремлениями. Они хотят, чтобы реформы, вытребованные ими у современных правительств, облегчали им приближение к конечной цели, чтобы они были последовательным рядом побед экономии Труда над экономией Капитала. Чернышевский понимал, что требуемые социалистами реформы должны быть сообразованы с их конечной целью. Но конечная цель социализма не представлялась ему с такой ясностью, с какою представляется она новейшим социал-демократам. Само торжество социализма отодвигалось в его представлениях в довольно неопределенную даль, должно было явиться результатом «вековых опытов» человечества. Поэтому и программа желатель-

ных для него частных реформ не могла отличаться определенностью. В общем можно сказать, однако, что, так как социалистический строй представлялся Чернышевскому в виде ассоциаций, то он отстаивал все, в чем видел хоть малейший намек на принцип ассоциации. С точки зрения большей легкости введения ассоциаций Чернышевский отстаивал и русское общинное землевладение. Община представлялась ему готовой исторической подкладкой для земледельческих ассоциаций. Заведение ассоциаций рекомендует он русским социалистам и в романе «Что делать?» [1]. Очень интересен тот исторический факт, что проповедь ассоциаций велась одновременно в России и в Германии. В 1863 году появился роман Чернышевского, с выходом которого начинается у нас целый ряд попыток устройства производительных ассоциаций. В том же 1863 году Лассаль рекомендует немецким рабочим ассоциации как единственное средство хоть некоторого улучшения их быта. Но какая разница в постановке этого вопроса у нас и в Германии! В романе Чернышевского, ставшем на время программой русских социалистов, устройством ассоциаций занимаются отдельные, гуманные, образованные личности: Вера Павловна и ее друзья. К этому делу привлекается даже просвещенный священник Мерцалов, играющий, по его собственному выражению, роль «щита» в устроенных Верой Павловной мастерских. О политической самодеятельности класса, заинтересованного в устройстве таких ассоциаций, роман не говорит ни слова. Не говорили о ней ни слова и те люди 60-х годов, которые пытались осуществить предложенную Чернышевским программу. Напротив, первым словом Лассалевской агитации было указание рабочим на необходимость с их стороны политической самодеятельности. Лассаль требовал, чтобы рабочие, сплотившись в особую политическую партию и приобретя влияние на ход дел в стране, заставили правительство дать им необходимые для заведения ассоциаций деньги. В проекте Лассаля дело заведения ассоциаций имеет широкий общественный характер. Ассоциациям, вводимым усилиями отдельных просвещенных лиц, Лассаль не придавал ровно никакого значения. По сравнению с Лассалем Чернышевский является в своем романе настоящим утопистом. По сравнению с Чернышевским Лассаль является в своей агитации истинным представителем новейшего социализма[2]. Это различие происходит не от того, чтобы Лассаль был в умственном отношении выше Чернышевского. Можно с уверенностью сказать, что по своим умственным силам Чернышевский нимало не уступал Лассалю. Но русский социалист был сыном своей страны, политическая и экономическая отсталость которой придавала всем его практическим планам и даже многим теоретическим взглядам характер утопий. В своих практических

планах заведения ассоциаций он был гораздо ближе к Шульце-Деличу, чем к Лассалю. Но, с другой стороны, заметим, что и Лассаль в своих практических планах является истинным представителем новейшего социализма только по сравнению с Чернышевским. Те люди, которые на самом деле были истинными представителями и основателями новейшего социализма, Маркс и Энгельс, находили, что и Лассалевские планы представляют собою не более как утопию. Они отказались поддерживать знаменитого агитатора именно потому, что не хотели питать в немецком рабочем классе склонности к экономическим утопиям.

Годы, решительные для развития Чернышевского, относятся к тому времени, когда западноевропейский пролетариат, подавленный после революций 1848 года, не подавал никаких признаков политической жизни. Наблюдая его со стороны и не имев возможности по личным наблюдениям познакомиться с движениями пролетариата в предшествующую эпоху, Чернышевский, естественно, не имел повода задуматься об его исторической роли. Даже признавая в принципе, что пролетариат должен освободить себя собственными усилиями, Чернышевский тем не менее склонялся иногда к чрезвычайно странным практическим планам облегчения его участи. Говоря это, мы имеем в виду статью, напечатанную в майской книжке «Современника» за 1861 год, в отделе иностранной литературы. Очень возможно, даже вероятно, что статья эта не принадлежит лично Чернышевскому [1]. Но так как она касается экономических вопросов и так как через руки Чернышевского проходило в «Современнике» все, что имело хоть какое-нибудь отношение к этим вопросам, то, разумеется, она не могла бы быть напечатана, если бы противоречила взглядам нашего автора. Во всяком случае она должна быть признана очень характерной для взглядов кружка «Современника» на социальный вопрос. В начале статьи автор высказывает очень дельные замечания о том, что пролетариат представляет собою явление, свойственное исключительно новой истории. «Только в нынешнем столетии он явился на западе Европы в виде сознательного, самостоятельного целого. До XIX столетия бедных, нуждающихся в общей помощи, было, может быть, больше, чем теперь, но о пролетариате не было речи. Он — плод новой истории» [2]. Далее автор делает справедливое замечание о том, что женский промышленный труд послужит залогом семейного освобождения женщины. Читая это, можно подумать, что имеешь дело с человеком, вполне стоящим на точке зрения современного социализма. Но разочарование является тотчас же, как только речь заходит о практических способах улучшения участи пролетариата. Именно, говоря о лионских ткачах шелковых из-

делий, автор видит спасение их в «децентрализации производства», в заведении мастерских вне города, в соединении ткацкого труда с сельским хозяйством. По мнению автора, соединение занятий ткацким ремеслом с сельским хозяйством сильно увеличит благосостояние рабочего. Другой источник возможного увеличения благосостояния ткачей видит он в дешевизне сырых припасов в деревнях. Вот подлинные слова его: «Для лионского рабочего начало освобождения его от хозяина заключается в устройстве своей собственной мастерской вне города. Но как завести ее? На чьи деньги? На хозяев и на фабрикантов можно надеяться в виде исключения, и вот почему нужно искать поддержки в правительстве, его деньгах. Только при кредите, открытом правительством лионскому пролетарию, он освободится от эксплуатации его труда капиталистом и получит возможность встать на свои ноги». Но автор опасается, что рабочие не захотят переселиться в деревни. «Городская жизнь для многих из них представляет приятные особенности, которых они не найдут в сельской жизни... Но это зло переходное. Нельзя ожидать, разумеется, чтобы все рабочие сразу переселились из Лиона в его окрестности; но и нет никаких оснований думать, чтобы польза такого переселения не входила все более и более в общее сознание рабочих. Несколько удачных примеров, и рабочий увидит выход из своего настоящего печального положения. Для начала будет достаточно, если образуются маленькие хозяйства и мастерские отдельных семейств, а там уж не труден переход к товариществу и к устройству на общий счет фабрик с механическими двигателями» *. Мы нисколько не удивились бы, если бы прочли подобный план в сочинениях г. Успенского или кого-нибудь из «субъективных» русских «социологов» [1]. Но в журнале Чернышевского он производит странное, тяжелое впечатление. Видно, что человеку, придумавшему такой план, равно как и людям, напечатавшим его в своем журнале, совсем еще неясно, каким это образом освобождение рабочих может быть делом самих рабочих. Для современных социал-демократов дело вполне понятно: *экономическое* освобождение пролетариата явится следствием его *политического* господства, захвата им политической власти в свои руки. Автор приведенного плана экономического освобождения лионских ткачей отводит главную роль в этом освобождении правительству Наполеона III. По этому проекту, оно должно было взять на себя почин и постепенно приучить рабочих к мысли о переселении в деревни. Таким образом рабочие явились бы пассивным предметом благодетельного воздействия бонапартовского правительства. Это коренным образом

* «Современник» 1861 г., май, Иностран. литература, стр. 22 и 23.

расходится со взглядами социал-демократов, не говоря уже об экономической стороне проекта, не выдерживающей никакой критики. Но появление таких проектов на страницах «Современника» было, если угодно, понятно и естественно. Мы уже видели, как смотрел Чернышевский на всеобщее избирательное право. Он не считал его необходимым орудием пролетариата в борьбе с буржуазией [1]. Для кого неясно значение всеобщего избирательного права в этой борьбе, для того неясны и вообще все ее политические задачи, неочевидна и необходимость сплочения пролетариата в особую политическую партию с целью захвата власти в будущем. А при таких условиях даже самый искренний сторонник рабочего класса по необходимости будет колебаться, когда речь зайдет о практических мерах для улучшения участи рабочих. Он будет от души сочувствовать их революционному движению; но в мирное время он не откажется передать все дело улучшения их участи в руки существующих правительств: неясно понимая политические задачи рабочих, он не может ясно понять и значения их политической *самодеятельности*. Вообще можно сказать, что понимание современных задач пролетариата лучше всего обнаруживается в суждениях о тактике этого класса *в мирное, спокойное время*. Чтобы сочувствовать революционному взрыву рабочих, нужно только не быть заинтересованным в поддержании буржуазного строя. Но, чтобы составить себе ясное понятие о тактике, которой рабочие должны держаться в то время, когда революций нет и еще не предвидится, нужно хорошо выяснить себе все задачи, все условия и весь ход освободительного движения рабочего класса. Чернышевскому все это было еще не ясно; отсюда и появление на страницах «Современника» проектов, подобных вышеприведенному.

Замечательно, что наш автор, энергически отстаивая государственное вмешательство в экономические отношения различных общественных классов, нигде не упоминает о законодательном ограничении рабочего дня. Этой стороне дела он, по-видимому, не придавал никакого значения или, лучше сказать, вовсе не задумывался над ней.

Теперь мы достаточно выяснили социалистические взгляды Н. Г. Чернышевского. Для читателей, знакомых с западным движением и с западноевропейской социалистической литературой, интересно будет, может быть, отметить здесь то обстоятельство, что наш автор видел в Прудоне «полного представителя умственного положения, до которого возвышается на Западе простолюдин». Чернышевский вовсе не поклонник Прудона. Он замечает его слабые стороны, его колебания, его непоследовательность. «Но во всем этом мы опять видим общие черты того умственного положения, в котором находится теперь

западноевропейский простолюдин. Благодаря своей здоровой натуре, своей суровой житейской опытности, западноевропейский простолюдин в сущности понимает вещи несравненно лучше, вернее и глубже, чем люди более счастливых классов. Но до него не дошли еще те научные понятия, которые наиболее соответствуют его положению, наклонностям, потребностям и сообразны с нынешним положением знаний» *. О каких «простолюдинах» говорит здесь Чернышевский? Имеет ли он в виду крестьян, мелких независимых ремесленников или пролетариев в собственном смысле слова? Он говорит о них вообще, не делая никакого различия между различными слоями трудящегося населения, потому что все они, как мы видели, сливались в его уме в одно общее представление о «простонародье». Не так смотрят на это дело новейшие социалисты. Еще в 1848 году Маркс и Энгельс в своем «Манифесте коммунистической партии» указали на резкое различие между крестьянами и ремесленниками, с одной стороны, и пролетариатом — с другой. Для авторов «Манифеста» крестьяне и мелкие ремесленники в том случае, когда они отстаивают экономические особенности своего положения и не переходят на точку зрения пролетариата, являются *реакционерами, стремящимися повернуть назад колесо истории* [2]. Только в пролетариате видят Маркс и Энгельс истинно революционный класс современного общества. Сообразно с этим и в Прудоне Маркс и Энгельс могли видеть, пожалуй, представителя западноевропейских простолюдинов, но простолюдинов, поставленных в особые условия мелкобуржуазного производства. Социализм Прудона казался Марксу социализмом мелкой буржуазии или, если угодно, крестьян, этих мелких буржуа земледелия. Непоследовательность и шаткость мысли Прудона Маркс объяснял не тем, что до него не дошло последнее слово науки, а тем, что предрассудки и предубеждения, вынесенные им из мелкобуржуазной среды, лишали его возможности понять это слово даже в том случае, если бы оно и дошло до него **. Различие в отношениях к Прудону Маркса и Чернышевского прекрасно рисует различие в их отношении ко всему западноевропейскому рабочему движению.

VI

Мы знаем теперь отношение Чернышевского к тем «нашим общим великим западным учителям», у которых русскому человеку и в настоящее время приходится старательно учиться.

* «Антрополог. принцип в философии», стр. 21, 24 [1].

** См. «Нищету философии» (пятый выпуск «Библиотеки Современного Социализма») [3].

Мы знаем, что на выработку взглядов Чернышевского имела огромное влияние немецкая философия. Мы знаем также, в какой период развития немецкой философии изучал ее наш автор: в период перехода от идеализма к материализму. В этот переходный период новейшие материалистические взгляды далеко еще не дошли до той степени выработанности, ясности и последовательности, на какую возвели их впоследствии труды Маркса и Энгельса. Это очень заметно отразилось на воззрениях Чернышевского. Сравнивая их с учением той самой школы, которая развилась впоследствии из учения Фейербаха, мы находим в них много пробелов, много неясностей и непоследовательностей. Исторические и социалистические взгляды Чернышевского ни в каком случае не могут быть признаны удовлетворительными с точки зрения современной нам европейской науки. Тот, кто вздумал бы держаться их в настоящее время, был бы совершенно отсталым человеком. Но, говоря это, мы вовсе не хотим осуждать великого русского писателя. Его развитию сильно помешало то обстоятельство, что он жил в стране, отсталой во всех отношениях, до которой часто совершенно не доходили новейшие открытия и направления общественной науки. В окружавшей же его обстановке не было никаких материалов для самостоятельных открытий в этом смысле. Кроме того, нужно помнить, что переворот, сделанный в общественной науке Марксом и Энгельсом, не сразу был по достоинству оценен даже самыми даровитыми людьми Западной Европы. Лассаль находился в условиях, очень благоприятных для его общественного и политического развития, он был близко знаком с основателями новейшего социализма, ему, по-видимому, достаточно было только усвоить мысли, выработанные другими и совершенно доступные для него по обстоятельствам его жизни, и однако мы встречаемся в его сочинениях со множеством вопиющих противоречий. В своих больших сочинениях («Philosophie Heracleitos des Dunkeln», «System der erworbenen Rechte» *) он является чистейшим идеалистом и толкует о *саморазвитии понятий* (Selbstentwicklung der Begriffe). В своих агитационных брошюрах он уже гораздо ближе к новейшему материализму, он уже почти целиком признает все его положения, но тем не менее и в этих брошюрах его много неясности и непоследовательности. В скольких поправках нуждается теперь главное его полемическое сочинение «Бастиа-Шульце»! [1] Лассаля приходится признать таким же представителем переходной эпохи в развитии философской социалистической мысли, каким был и Чернышевский. Но пробелы и противоречия во взглядах Лассаля не помешали ему оказать су-

* [«Философия Гераклита Темного», «Система приобретенных прав»]

щественную услугу развитию своей страны. Не помешала в этом и Чернышевскому неполная выработанность его взглядов. В настоящее время, стоя на точке зрения Маркса, мы можем осуждать очень многое в теоретических рассуждениях и практических планах Чернышевского. Но для его времени и для его страны даже те его взгляды, которые мы должны теперь признать ошибочными, все-таки были в высшей степени важными и благотворными, потому что они будили русскую мысль и толкали ее на тот путь, на который ей не удалось выступить в предшествующий период: на путь исследования общественных и экономических вопросов. В политической экономии, в истории, даже в эстетике и литературной критике Чернышевский все-таки высказал множество таких важных мыслей, которые и до сих пор еще не усвоены во всем их объеме и не разработаны как следует русской литературой. Чтобы определить в немногих словах значение всего, что сделал Чернышевский для развития русской мысли, достаточно будет указать на следующий факт, который признает бесспорным всякий, кто знаком с состоянием литературы за последние тридцать лет. Ни русские социалисты в огромнейшем числе своих фракций и направлений, ни легальная русская критика и публицистика не сделали ни шагу, буквально ни шагу вперед с тех пор, как прекратилась литературная деятельность Чернышевского. В его статьях вы найдете все те мысли и взгляды, распространение которых составило славу передовых писателей следующего периода. Писатели эти не сделали никаких поправок ко взглядам Чернышевского, да и не могли сделать их, потому что их миросозерцанию свойственны были еще в гораздо большей степени все те недостатки, какими отличалось миросозерцание Чернышевского [1]. Слабая сторона взглядов Чернышевского обусловливалась тем, что он незнаком был с новейшим направлением философской мысли Западной Европы, с учением Маркса и Энгельса. Но хорошо ли усвоили это учение литературные вожаки последующего периода? Они заговорили о неприменимости к нам западноевропейских теорий, о «субъективном методе» в социологии, об особенностях русского экономического быта, об ошибках Запада — словом, явились более или менее сознательными, более или менее усердными проповедниками того народнического учения, которое, наверное, показалось бы Чернышевскому самой неудобоваримой мистикой *. Раз свихнувши в сторону народничества,

* Аристов в своей книге о Щапове рассказывает, что Чернышевский, заинтересовавшись сочинениями Щапова, искал знакомства с ним и, встретив его у одного общего приятеля, вел с ним длинный спор [2]. Спор этот показал Чернышевскому, что сотрудником «Современника» Щапов быть не может: так сильно расходились их взгляды. Но как относились к Щапову впоследствии те самые люди, которые считали себя горячими

передовые представители русской мысли не могли даже и задуматься о серьезной критике Чернышевского. Напротив, они часто с усердием, достойным лучшей участи, отстаивали именно те его взгляды, которые составляли его ошибки, показывали отсталость его от западноевропейской науки. Удивительна судьба гениальных или просто даже даровитых людей, имевших заметное влияние на умственное развитие своей страны! Их последователи и почитатели часто усваивают именно их ошибки и заблуждения и затем отстаивают их со всем энтузиазмом, возбуждаемым великим именем. Примерами подобного, на первый взгляд очень странного, пристрастия учеников к ошибкам их учителей положительно изобилует история умственного развития человечества. За что ухватилась правая сторона Гегелевской школы? За промахи и непоследовательность гениального философа. Что с особенною настойчивостью пережевывали так называемые позитивисты? Схоластическую часть учения Огюста Конта (да простят нам читатели поистине святотатственное сопоставление Конта с Гегелем). Что мешало немецким лассальянцам соединиться с фракцией Либкнехта — Бебеля? Пристрастие к политическим ошибкам и к экономическим утопиям Лассаля. Положительно, обскуранты оклеветали человеческий ум, приписывая ему вечное движение вперед и вечное недовольство существующим! В действительности он оказывается самым ленивым изо всех консерваторов.

Но возвратимся к нашему автору. Зная теперь общий характер его взглядов, зная достоинства и недостатки свойственного ему понимания «высших идей правды, науки, искусства», мы легко можем дать себе отчет об его литературной деятельности *.

Мы уже сказали, что, готовя свою диссертацию об «эстетических отношениях искусства к действительности», Чернышевский занимался переводами и другими литературными работами, главным образом для «Отечественных Записок». Появление в печати его диссертации обратило на него внимание редакции «Современника», издававшегося с 1847 г. Некрасовым и Панаевым. Чернышевскому предложили постоянное сотрудничество в этом журнале и даже отдали в его заведование весь критический отдел. Впоследствии, когда «Современнику» позволили в 1859 г. писать о политике, Чернышевский заведовал и политическим отделом. За Некрасовым и Панаевым навсегда

поклонниками Чернышевского? Щаповские взгляды на русскую историю явились составною частью народнического учения, и наши народники, продолжая «уважать» Чернышевского, даже не потрудились спросить себя, не существует ли противоречия между его взглядами и Щаповской идеализацией старинной народной жизни?

* [См. ниже дополнение к этому месту для немецкого издания, стр. 171.]

останется та огромная заслуга, что они не сторонились, как это делали многие другие «друзья Белинского», от людей, продолжавших его дело. Само собою разумеется, что редакции не пришлось жалеть о том, что она сошлась с Чернышевским. Уже в декабрьской книжке «Современника» за 1855 год появилась первая статья из того уже много раз упомянутого ряда «*Очерков Гоголевского периода русской литературы*», который представляет собою одно из замечательнейших произведений Чернышевского и до сих пор остается лучшим пособием для всякого, желающего познакомиться с критикой Гоголевского периода. Вторая статья из этого замечательного ряда очерков была напечатана в январской, третья — в февральской, четвертая — в апрельской книжках «Современника» за следующий год. В этих четырех статьях была сделана оценка литературной деятельности Полевого, Сенковского, Шевырева и Надеждина. В июльской книжке автор перешел к Белинскому, которому и посвящены остальные пять очерков. В этих статьях имя Белинского впервые названо в печати после 1848 года [1], когда на Белинского стали смотреть, как на запрещенного писателя. С появлением «Очерков» можно было с отрадной уверенностью, и нимало не преувеличивая дела, сказать, что у Белинского есть достойный преемник. С тех пор как Чернышевский выступил в качестве критика и публициста «Современника», за этим журналом снова было обеспечено преобладающее место между русскими периодическими изданиями, принадлежавшее ему при жизни Белинского. «Современнику» с интересом и уважением внимала передовая часть читающей публики, к нему естественно тяготели все свежие, нарождающиеся литературные силы. Так, в половине 1856 года в нем стал писать молодой Добролюбов. Людям нашего времени трудно даже представить себе, как велико было тогда у нас значение журналистики. Теперь общественное мнение значительно уже переросло журналистику; в 40-х годах оно еще не успело дорасти до нее. Конец же 50-х и начало 60-х годов является эпохой наибольшего согласия между общественным мнением и журналистикой и наибольшего влияния журналистики на общественное мнение. Только при таком условии и возможно было то горячее увлечение литературной деятельностью и та искренняя вера в значение литературной пропаганды, которые замечаются во всех тогдашних выдающихся писателях. Короче, это был золотой век русской журналистики. Несчастный исход Крымской войны заставил правительство сделать несколько уступок образованному обществу и совершить, по крайней мере, самые насущные, давно уже ставшие необходимыми реформы. Вскоре на очередь поставлен был вопрос об освобождении крестьян, самым недвусмысленным образом затрагивающий интересы всех сословий.

Нужно ли говорить, что Николай Гаврилович с жаром принялся за разработку этого вопроса. К 1857—1858 гг. относятся его замечательные статьи о крестьянском деле. Как много написано им по этому поводу, видно из того, что в отдельном заграничном издании статьи эти составляют большой том очень убористой печати [1]. Теперь довольно уже хорошо известно взаимное отношение наших общественных сил в эпоху уничтожения крепостного права. Поэтому мы будем говорить о нем лишь мимоходом, лишь поскольку это нужно для выяснения роли, принятой на себя в этом деле нашей передовой журналистикой, во главе которой стоял тогда Н. Г. Чернышевский. Всем известно, что эта журналистика горячо отстаивала крестьянские интересы. Наш автор писал одну за другой статьи, в которых отстаивал освобождение крестьян с землею и утверждал, что выкуп земель, отходящих в надел крестьянам, не может представить для правительства никакой трудности. Он доказывал это положение и общими теоретическими соображениями, и самыми подробными примерными вычислениями. «Каким это образом выкуп земли может быть в самом деле затруднителен? Как может он превышать силы народа? Это неправдоподобно, — писал он в статье *«Труден ли выкуп земли?»* — Это противоречит основным понятиям народного хозяйства. Политическая экономия прямо говорит, что все те материальные капиталы, какие достаются известному поколению от предшествовавших поколений, составляют ценность не очень значительную по сравнению с тою массою ценностей, какая производится трудом этого поколения. Например, вся земля, принадлежащая французскому народу, со всеми зданиями и всем находящимся в них, всеми кораблями и грузами, всем скотом и всеми деньгами, всеми другими богатствами, принадлежащими этой стране, едва ли представляет стоимость во сто миллиардов франков; а труд французского народа ежегодно производит ценность в пятнадцать или более миллиардов франков, т. е. не более как в семь лет французский народ производит массу ценностей, равную ценности целой Франции, как она есть, от Ламанша до Пиренеев. Стало быть, если бы французам нужно бы было выкупить у когонибудь всю Францию, они могли бы сделать это в продолжение одного поколения, употребляя на выкуп только одну пятую часть своих доходов. А у нас о чем идет дело? Разве целую Россию должны мы выкупить со всеми ее богатствами? Нет, только одну землю. И разве всю русскую землю? Нет, выкуп относится только к тем губерниям одной Европейской России, в которых укоренилось крепостное состояние» и т. д. *. Показав

* См. статью «Труден ли выкуп земли?» в пятом томе заграничного издания Сочинений *Н. Г. Чернышевского* [2].

затем, что земли, подлежащие выкупу, составляли бы не более шестой части пространства, занимаемого Европейской Россией, он предлагает целых восемь планов выкупной операции. По его словам, принявши один из этих планов, правительство могло бы выкупить надельные земли не только без обременения крестьян, но и с большою выгодою для государственного казначейства. В основе всех планов Чернышевского лежало соображение о «*необходимости держаться возможно умеренных цен при определении величины выкупа*». Мы знаем теперь, насколько наше правительство имело в виду интересы крестьянства при уничтожении крепостного права и насколько оно последовало советам Чернышевского относительно умеренности при определении выкупных платежей. Статистика показывает, что в среднем платежи, лежащие на крестьянских землях, значительно превышают их доходность. Она показывает также, что платежами обременены главным образом земли бывших помещичьих крестьян. Отсюда ясно, что если при освобождении крестьян наше правительство ни на минуту не позабыло выгод государственного казначейства, то об интересах крестьян оно думало очень мало. При выкупной операции имелись в виду исключительно только фискальные и помещичьи интересы. И это совершенно понятно, так как никому нет ни нужды, ни охоты думать об интересах того сословия (в данном случае крестьянского), которое само не может энергично и систематически отстаивать их. Но в ту пору, когда еще только шли толки о крестьянском освобождении, самые передовые люди России думали несколько иначе. Им казалось, что само правительство без большого труда могло бы понять, до какой степени его собственные выгоды совпадают с интересами крестьянства. Подобные надежды довольно долго питал, между прочим, Герцен. Питал их и Чернышевский. Отсюда происходила и та настойчивость, с которою он возвращался в своих статьях к крестьянскому вопросу, и то усердие, с которым он выяснял правительству его собственные интересы. Но Чернышевский был первым, по времени, русским писателем, понявшим некрасивую и лицемерную роль русского правительства в деле крестьянского освобождения. Уже в 1858 году появилась его статья «*Критика философских предубеждений против общинного землевладения*» с многозначительным эпиграфом из Фауста: «wie weh', wie weh', wie wehe!»*. Обыкновенно эта прекрасная статья рассматривается как самая энергическая и самая удачная защита общинного землевладения, но мы взглянем на нее со стороны самого принципа освобождения крестьян с землею. Статья эта показывает, что уже в 1858 г. Чернышевский потерял всякую

* [«как больно, как больно, как больно!»]

надежду на удовлетворительное решение правительством крестьянского поземельного вопроса. «Я стыжусь самого себя, — говорит он в начале этой статьи. — Мне совестно вспоминать о безвременной самоуверенности, с которою я поднял вопрос об общинном владении. Этим делом я стал безрассуден, скажу прямо, стал глуп в своих собственных глазах... Трудно объяснить причину моего стыда, но постараюсь сделать это как могу. Как ни важен представляется мне вопрос о сохранении общинного владения, но он все-таки составляет только одну сторону дела, к которому принадлежит. Как высокая гарантия благосостояния людей, до которых относится, этот принцип получает смысл только тогда, когда уже даны другие, низшие гарантии благосостояния, нужные для доставления его действию простора. Такими гарантиями должны считаться два условия. Во-первых, принадлежность ренты тем самым лицам, которые участвуют в общинном владении. Но этого еще мало. Надобно также заметить, что рента только тогда серьезно заслуживает своего имени, когда лицо, ее получающее, не обременено кредитными обязательствами, вытекающими из самого ее получения... Когда человек уже не так счастлив, чтобы получить ренту, чистую от всяких обязательств, то, по крайней мере, предполагается, что уплата по этим обязательствам не очень велика по сравнению с рентою... Только при соблюдении этого второго условия люди, интересующиеся его благосостоянием, могут желать ему получения ренты». Но это условие не могло быть соблюдено в деле освобождаемых крестьян, поэтому Чернышевский и считал бесполезным защищать не только общинное землевладение, но и самое наделение крестьян землею. У кого оставалось бы какое-нибудь сомнение на этот счет, того совершенно убедит следующий пример, приводимый нашим автором. «Предположим, — говорит он, обращаясь к своему любимому способу объяснения посредством «парабол», — предположим, что я был заинтересован принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется ваш обед. Само собою разумеется, что если я это делал из расположения собственно к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия принадлежит вам и что приготовляемый из нее обед здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам и что за каждый обед, приготовленный из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях?.. Как я был глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия! Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверив-

шись прежде, что собственность достанется в эти руки, и достанется на выгодных условиях?.. Лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит только вред любимому мною человеку! Лучше пропадай все дело, которое приносит вам только разорение!» *.

Если бы читатель, не довольствуясь приведенными выписками, захотел составить себе еще более ясное представление о том, до какой степени и как рано Чернышевский разочаровался в крестьянской «эмансипации», то мы указали бы ему на роман «Пролог пролога», изданный в 1877 году редакцией журнала «Вперед!» и написанный Чернышевским, как кажется, значительно раньше романа «Что делать?» [2]. «Пролог пролога» — это, собственно, не роман, а записки автора, относящиеся именно к эпохе уничтожения крепостного права. Под вымышленными именами графа Чаплина, Рязанцева, Савелова, Левицкого, Соколовского и т. д. выступают известные литературные и политические деятели той эпохи [3]. Кроме того, под именем Волгина Чернышевский изобразил самого себя, и это придает большой биографический интерес его роману-запискам. Не задаваясь целью излагать содержание романа, мы укажем лишь на разговоры Волгина с Нивельзиным и Соколовским, касавшиеся освобождения крестьян. «Пусть дело освобождения крестьян будет передано в руки помещичьей партии. Разница невелика», — говорит Волгин Соколовскому, и на замечание его собеседника о том, что, напротив, разница колоссальная, так как помещичья партия против наделения крестьян землею, он решительно отвечает: «Нет, не колоссальная, а ничтожная. Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю без выкупа. Взять у человека вещь или оставить ее человеку — разница, но взять с него плату за нее — все равно. План помещичьей партии разнится от плана прогрессистов только тем, что проще, короче. Поэтому он даже лучше. Меньше проволочек, *вероятно, меньше и обременения для крестьян* **. У кого из крестьян есть деньги — тот купит себе землю. У кого нет — тех нечего и обязывать покупать ее. *Это будет только разорять их*. Выкуп — та же покупка. Если сказать правду, лучше пусть будут освобождены без земли... Вопрос поставлен так, что я не нахожу причин горячиться даже из-за того, будут или не будут освобождены крестьяне; тем меньше из-за того, кто станет освобождать их, либералы или помещики. По-моему, все равно. Или помещики даже лучше» ***.

---

* См. пятый том женевского издания Сочинений *Н.Г.Чернышевского*, стр. 472—478 [1].

** Курсив повсюду в этой выписке наш.

*** «Пролог пролога», стр. 199 [4].

В разговоре с Нивельзиным Волгин выставляет другую сторону своего отношения к тогдашней постановке крестьянского дела. «Толкуют: освободить крестьян! — восклицает он.— Где силы на такое дело? Еще нет сил. Нелепо приниматься за дело, когда нет сил на него. А видите, к чему идет: станут освобождать. Что выйдет, — сами судите, что выходит, когда берешься за дело, которого не можешь сделать... Испортишь дело, выйдет мерзость. Эх, наши господа эмансипаторы [1], все эти ваши Рязанцевы с компаниею! Вот хвастуны-то; вот болтуны-то; вот дурачье-то!..» *

Эти рассуждения Волгина о преждевременности крестьянского освобождения, конечно, ошибочны. Крепостное право было таким огромным злом, оно до такой степени стесняло развитие решительно всех сторон общественной жизни тогдашней России, что уничтожение его ни в каком случае и ни при каких условиях не могло быть преждевременным. Но для правильного понимания взгляда Чернышевского на это дело нужно помнить, что тогдашние события могли представляться ему совсем не в той перспективе, в какой они представляются нам теперь. Он питал, как кажется, некоторую надежду на крестьянские восстания, а в то же самое время он, по-видимому, считал возможным очень быстрый рост крайней партии, всецело стоявшей на стороне крестьянства [4]. Таким образом освобождение могло казаться ему преждевременным в том смысле, что так как оно успокаивало волнения крепостных, то гордиев узел помещичьей власти не мог уже быть разрублен топором крестьянина, а, с другой стороны, крайняя демократическая партия не имела еще силы для серьезного давления на правительство. Приобретение партией достаточной для этого силы могло казаться ему делом лишь нескольких лет, и он мог считать полезной кратковременную отсрочку освобождения ввиду важности сулимых ею результатов. Что революционное движение в тогдашней России представлялось ему вполне возможным — на это есть совершенно ясные намеки в его статьях, намеки, на которых мы еще остановим внимание читателя, так как ими в значительной степени объясняется направление его дальнейшей литературной деятельности.

Наши народники страшно идеализируют теперь русское крестьянство и с поразительной легкостью открывают в нем

* Ibid., стр. 110 [2]. Собственно говоря, по ходу романа видно, что эти рассуждения Волгина относятся ко времени появления статей Чернышевского о выкупе. Но в таком случае самый выход этих статей был бы необъясним: кто станет отстаивать такие проекты, которые сам считает совершенно несбыточными при данных условиях? Нам кажется более вероятным, что когда Чернышевский писал свой роман, то он незаметно для себя приурочил свои позднейшие взгляды на условия крестьянского освобождения к более раннему времени [3].

решительно все те свойства и стремления, какие им хотелось бы в нем видеть. Поэтому мы, не желая ни на минуту уподоблять им Н. Г. Чернышевского, спешим прибавить, что он, несмотря на свою веру в возможность крестьянской революции, в сущности все-таки был далек от ложной идеализации народа. Тогдашняя Россия вообще представлялась ему не в особенно привлекательном виде. Временами же он доходил до самого резкого отрицательного отношения к своим соотечественникам. «Жалкая нация, жалкая нация! — восклицает про себя в «Прологе пролога» Волгин, под именем которого Чернышевский изобразил, как мы сказали, самого себя, — нация рабов, снизу доверху все сплошь рабы» *. Даже и в более спокойные минуты его не покидало сознание страшной неразвитости и забитости русского крестьянства. В этом отношении он был прямым наследником взглядов Белинского, который под конец своей жизни говорил, что споры со славянофилами помогли ему «сбросить с себя мистическое верование в народ» **. Чтобы не быть голословными, укажем на превосходную и очень поучительную статью Чернышевского *«Не начало ли перемены?»*, в ноябрьской книжке «Современника» за 1861 год. Статья написана по поводу выхода отдельного издания «Рассказов» Н. В. Успенского. Автор восстает в ней именно против «непобедимого влечения к прикрашиванию народных нравов и понятий». Подобным влечением отличались, по его словам, повести из народного быта Тургенева и Григоровича. Он сравнивает отношение этих писателей к народу с отношением Гоголя к Акакию Акакиевичу. Гоголь умалчивает о недостатках своего героя, потому что считает его недостатки совершенно непоправимыми. «Акакий Акакиевич был смешной идиот. Но говорить всю правду об Акакии Акакиевиче бесполезно и бессовестно... Сам для себя он ничего не может сделать, будем же склонять других в его пользу... Будем молчать о его недостатках». Совершенно так же относились к народу Григорович, Тургенев и все их подражатели. Все народные недостатки «прячутся, затушевываются, замазываются, налегается только на то, что он несчастен, несчастен» ***. Главной заслугой Н. В. Успенского, в глазах нашего автора, являлось совершенное отсутствие у него подобного отношения к народу. Чернышевский замечает, что Н. В. Успенский «выставил русского простолюдина простофилею», которому «трудно связать в голове две отдельные мысли». Но, по его словам, иначе и быть не может. Не только русские, — и западноевропейские поселяне отличаются страшною неразвитостью. Что же касается

* Стр. 209 [1].

** *Пыпин*, Белинский, его жизнь и переписка, Спб. 1876, т. II, стр. 324—325.

*** См. в указанной книжке, Отдел русской литературы, стр. 83 [2].

до качества «простофили», то он «готов уличить в нем огромное большинство людей всякого сословия». Большинство людей всех сословий и всех стран живет рутиной и обнаруживает крайнюю несообразительность, едва только случится ему выйти из обычного круга представлений. Чтобы давать нам верные действительности изображения народной жизни, литература не должна закрывать глаз на отрицательные стороны народного характера. В рассказах Н. В. Успенского — которые, заметим мы от себя, нередко доходили до шаржа — Чернышевский видит «начало перемены» в отношениях литературы к народу, а в самом авторе этих рассказов он приветствует появление нового слоя образованных русских людей, умеющих обращаться и толковать с крестьянами не в качестве добрых и снисходительных господ, а совершенно запросто, как равные с равными. Он многого ждет от появления этого слоя.

Казалось бы, что взгляд на крестьянство, как на сословие «простофилей», исключает всякую надежду на возможность революционного движения в русском народе. Но Чернышевский нисколько не отказывается от этой надежды. Он категорически заявляет, что крестьяне крайне неразвиты или, попросту говоря, глупы. «Но не спешите выводить из этого никаких заключений о состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если вы желаете улучшения судьбы народа, — говорит он в конце статьи. — Возьмите самого дюжинного... пошлого человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергичных усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого народа» [1].

На такую-то минуту отважных решений и возлагал свои упования Н. Г. Чернышевский. Ему казалось, что уже недалека эта минута, и совершенно так же думали почти все лучшие люди того времени. На этой уверенности основывались возникавшие в начале шестидесятых годов тайные революционные общества [2]. Она поддерживалась частью волнениями освобождаемых крестьян, упорно ожидавших «настоящей воли» [3], частью положением дел на Западе. Итальянские события, Северо-Американская война, сильное политическое брожение в Австрии и Пруссии — все это могло дать повод думать, что реакция, царствовавшая с 1849 г., будет, наконец, побеждена новым освободительным движением. А при этом позволительно было надеяться, что европейские события увлекут и Россию. Ведь так легко верится тому, чему хочется верить! Чернышевский и его единомышленники еще не сознавали того, что политические движения Запада могут служить полезным толчком для внутреннего развития России только при одном необходимом условии: именно, если ее внутренние и прежде всего экономические отношения хотя

до некоторой степени уподобятся отношениям Запада. Теперь это подобие уже существует и, можно сказать, ежечасно увеличивается. Но в начале шестидесятых годов до этого было еще далеко. Поэтому освободительные движения Запада могли тогда усилить скорее русский застой, чем русский прогресс. В начале шестидесятых годов Россия еще могла бы снова попытаться взять на себя роль европейского жандарма, так блистательно исполненную ею в 1848—1849 гг. [1]

VII

Если при всей горячей любви к народу наш автор умел трезвыми глазами взглянуть на его недостатки, то можно представить себе, как относился он к дворянству и к довольно сильно кричавшей тогда либеральной партии. Тут он был совершенно беспощаден. Мы уже привели отзыв Волгина о либеральном Рязанцеве с братией. Подобных отзывов множество в «Прологе пролога». Вообще Чернышевский не упускал случая посмеяться в своих статьях над русскими либералами и печатно заявить, что ни он, ни вся крайняя партия не имеют с ними ничего общего. Трусость, недальновидность, узость взглядов, бездеятельность и болтливая хвастливость — вот отличительные качества, какие он видел в тогдашних либералах. Такая характеристика почти дословно сделана им в статье «Русский человек на rendez-vous» *, напечатанной в «Атенее» 1858 года [2]. Она написана по поводу повести Тургенева «Ася», но так как «Ася» появилась в «Современнике», то Чернышевский и не счел удобным писать о ней в своем журнале. О самой повести в статье говорится очень немного, — лучше сказать, почти ничего. Автор обращает внимание только на сцену любовного объяснения героя повести с Асей и по поводу этой сцены предается своим «размышлениям». Читатели помнят, конечно, что в решительную минуту тургеневский герой струсил и пошел на попятную. Вот это-то обстоятельство и наводит Чернышевского на его «размышления». Он замечает, что нерешительность и трусость составляют отличительное свойство не одного только этого героя, но и большинства героев наших лучших беллетристических произведений. Он вспоминает о Рудине, о Бельтове, о просветителе некрасовской «Саши» [3] и во всех видит то же самое свойство. Он не винит за него беллетристов, так как они отмечали лишь то, что на каждом шагу встречается в действительности. Мужества нет в русских людях, поэтому не имеют его и действующие лица беллетристических произведений. А мужества нет в рус-

* [на свидании]

ских людях потому, что нет у них привычки к участию в общественных делах. «Когда мы входим в общество, мы видим вокруг себя людей в форменных и неформенных сюртуках или фраках; эти люди имеют пять с половиной или шесть, а иные и больше футов роста; они отращивают или бреют волоса на щеках, верхней губе и бороде; и мы воображаем, что видим перед собой мужчин. Это совершенное заблуждение, оптический обман, галлюцинация, не больше. Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувств гражданина ребенок мужского пола, вырастая, делается существом мужского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиною он не становится, или, по крайней мере, не становится мужчиною благородного характера» [1]. «У людей развитых, образованных и *либеральных* недостаток благородного мужества бросается в глаза еще больше, чем у людей темных, потому что развитой и либеральный человек любит поговорить о материях важных. Он говорит с увлечением и красноречием, но лишь до тех пор, пока не начнется речь о переходе от слов к делу». «Пока о деле нет речи, а надобно только наполнить праздное время, праздную голову, или праздное сердце, разговорами и мечтами, герой очень боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства — бо́льшая часть героев начинает уже колебаться и чувствовать неповоротливость в языке. Немногие, самые храбрейшие, кое-как успевают еще собрать все свои силы и коснеющим языком выразить что-то, дающее смутное понятие о их мыслях. Но вздумай кто-нибудь схватиться за их желания, сказать: вы хотите того-то и того-то; мы очень рады; начинайте же действовать, а мы вас поддержим, — при такой реплике одна половина храбрейших героев падает в обморок, другие начинают очень грубо упрекать вас за то, что вы поставили их в неловкое положение, начинают говорить, что они не ожидали от вас таких предложений, что они совершенно теряют голову, не могут ничего сообразить, потому что, как это можно так скоро, и при том они же честные люди, и не только честные, но очень смирные, и не хотят подвергать вас неприятностям, и что вообще разве можно в самом деле хлопотать обо всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше всего — ни за что не приниматься, потому что все соединено с хлопотами и неудобствами, и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как уже сказано, они никак не ждали и не ожидали и проч.» [2].

Нам никогда не случалось читать такой злой и вместе до такой степени меткой характеристики российского либерализма. Что сказал бы Н. Г. Чернышевский тем немалочисленным теперь у нас людям, которые, называя себя революционерами, возлагают все свои упования на либеральное «общество» и всеми правдами и неправдами стараются превратить нашу ре-

волюционную партию в партию солидных и умеренных либералов? Ведь русские либералы мало изменились с того времени, когда «Современник» осыпал их своими сарказмами.

Для беспристрастия нужно, однако, прибавить, что наш автор относился презрительно не к одним только русским либералам. В превосходных политических обозрениях, которые он писал для «Современника» до самого конца своей жизни на свободе, наш автор постоянно обнаруживал самое беспощадное презрение ко всем вообще европейским либералам. В особенности доставалось либералам австрийским (т. е. либеральной партии австрийских немцев), прусским и итальянским. В статьях по истории Франции он, как известно, также не выказал большого уважения к либеральной партии. Все это, разумеется, не могло нравиться представителям российского либерализма, и они в борьбе с ним употребляли тот прием, к которому так часто прибегают либералы всех стран в своих столкновениях с людьми, ушедшими дальше их в политике: они упрекали его в нелюбви к свободе и даже в симпатиях к деспотизму. Конечно, подобные упреки со стороны либералов могли только смешить Чернышевского. Он так мало боялся их, что временами как бы вызывал своих противников на новые упреки, делая вид, что признает их вполне справедливыми. «Для нас нет лучшей забавы, как либерализм, — говорит он в одном из последних своих политических обозрений, — так вот и подмывает нас отыскать где-нибудь либералов, чтобы потешиться над ними» *. И он начинает потешаться над прусскими либералами, которые, по его меткому замечанию, сердились на то, что политическая свобода в Пруссии «не водворяется сама собой» **.

Но такие «потехи» не мешали внимательному читателю понимать, что не недостатком любви к свободе вызывалось презрительное отношение Чернышевского к либерализму. Достаточно было прочесть хоть некоторые из его политических обозрений, чтобы увидеть, как горячо сочувствовал он всяким освободительным движениям, где бы они ни начинались: во Франции или в Италии, в Америке или в Венгрии. Он думал только, что роль либералов в таких движениях бывает обыкновенно очень некрасива. Сами они делают очень мало, часто даже тормозят усилия других, нападая на людей более, чем они, смелых и решительных. Зато впоследствии, когда, благодаря усилиям этих решительных людей, борьба близится к концу и победа кажется несомненной, либералы стараются протискаться на первый план и полакомиться каштанами, вынутыми из огня руками «фанатиков». Кто не знает, что либералы всегда и всюду

* «Современник», 1862 г., март, Политика, стр. 188 [1].
** «Современник», 1862 г., апрель, Политика, стр. 357 [2].

вели себя подобным образом? Кто не знает, что эти люди и в политике остаются такими же *эксплуататорами*, какими являются в области экономии, где они принадлежат обыкновенно к классу дельцов и предпринимателей? Вот за эти-то эксплуататорские наклонности и ненавидел их Чернышевский. И эта-то ненависть к *эксплуататорам* и сквозит на каждой странице его политических обозрений. Мы с своей стороны пожалеем не о том, что Чернышевский высказывался на этот счет ясно и определенно, а разве лишь о том, что после него никто из наших политических обозревателей не высказывался уже с такой ясностью и определенностью. Политические понятия нашей передовой журналистики вообще страшно спутались и измельчали в последние двадцать пять лет. Поэтому уже ни в одном русском журнале не было потом таких прекрасных политических обозрений, какие писал Чернышевский для «Современника». В этих обозрениях с особой силой сказывается его выдающийся ум и его трезвый взгляд на вещи. В них он почти никогда не отступает от того бесспорного положения, что «*ход истории определяется реальными отношениями сил*» *, и, исходя из него, делает точный анализ внутренних пружин современной ему политической жизни цивилизованных стран. Одно только замечание можно сделать по поводу обозрений Чернышевского. Ему случалось, конечно, ошибаться в тех или других своих политических предсказаниях: так, например, он не допускал, что междоусобная война в Северной Америке может затянуться надолго, и еще в начале 1862 г. писал, что эту войну можно считать уже окончившейся полной победой Севера[2]. Но кто же не ошибается в предсказаниях подобного рода? В общем он все-таки обнаружил большую политическую проницательность и замечательно верно оценивал взаимные отношения различных государств и различных политических партий. Не предвидел и не предсказал он только той выдающейся политической роли, которую в самом близком будущем (со времени основания Международного Общества Рабочих в 1864 г.) предстояло взять на себя рабочему классу во всех передовых странах. Этот *революционер по принципу*, утверждавший, что во внутренних делах каждой страны, как и между отдельными государствами, все важные споры решаются в конце концов *войной* **, не видел еще, до какой степени все революционные силы современных цивилизованных обществ соединяются в одном только рабочем классе. Он все еще слишком склонен был возлагать преувели-

* Читатель помнит, вероятно, что Лассаль в своей речи «О сущности конституции» почти теми же самыми словами говорит об *отношениях сил* как о существенной основе политического устройства каждой данной страны [1].

** «Современник», 1862 г., апрель, Политика, стр. 364 [3].

ченные надежды на «лучших людей» из других классов общества. Здесь обычная проницательность его парализовалась неопределенностью его взгляда на пролетариат как на «*простонародье*».

Однако мы замечаем, что, заговорив об отношении нашего автора к либерализму и к либералам, мы уклонились далеко в сторону. Эта интересная тема заставила нас забыть о последовательности в изложении. Поспешим же загладить нашу ошибку.

И прежде всего, опять-таки в видах беспристрастия, скажем, что трусость русских либералов более бросалась в глаза только благодаря их склонности к возвышенным разглагольствованиям. На деле же реакционная «помещичья партия» не отличалась большею храбростью. Чернышевский не имел прямых сношений с нашими «аристократами». «Он никогда не принадлежал и к мелкому светскому обществу, не только к их высокому, важному. Но какой же город или городишко не гремел славою их подвигов? Он с детства знал, что это люди буйные, наглые» *. В эпоху освобождения крестьян было поставлено на карту все то, что эти люди считали своими важнейшими интересами. Они фрондировали и громко кричали: «Не позволим, не допустим! — не хотим, и не посмеют! — Пусть посмеют и увидят, чтó такое значит прогневить русское дворянство!». Но, едва правительство прикрикнуло на них, они тотчас же поджали хвост, — «присмирели, будто были разбиты параличом». Чернышевскому, «как демократу», было и смешно и приятно видеть такое превращение. Он не любил дворянства, но бывали минуты, когда он не имел вражды к нему. Можно ли ненавидеть жалких рабов? **.

VIII

Так относился Чернышевский к различным сословиям и партиям современной ему России. И чем больше проникался он этим отрицательным отношением, тем резче становился тон его статей, тем беспощаднее делались его насмешки, тем чаще бросался он в полемику. Полемизировать он вообще очень любил. По его словам, даже друзья его всегда замечали в нем чрезвычайную, «по их мнению даже излишнюю любовь к разъяснению спорных вопросов горячею полемикой» ***. Полемика

---

* Так говорит в «Прологе пролога» Чернышевский о Волгине [1].

** «Пролог пролога», стр. 208, 209 [2].

*** Соч., т. V, стр. 472 [3]. В «Очерках Гоголевского периода» он оправдывает предшественника Белинского, Надеждина, от упреков, которые многие делали ему за его страсть к резкой полемике. «Зачем Надоумко (псевдоним Надеждина) говорил таким резким тоном? Разве не мог он высказать то же самое в мягких формах? Удивительное дело — наши литературные да и всякие другие понятия! Вечно предлагаются вопросы,

всегда казалась ему очень удобным, а пожалуй, даже необходимым орудием для проведения в общество новых понятий. Тем не менее в начале своей литературной деятельности он как будто избегал полемики. «*Очерки Гоголевского периода русской литературы*» написаны спокойным и примирительным тоном. Только к Шевыреву, известному московскому критику времен Белинского, относится он с едкой иронией, да еще о Сенковском (бароне Брамбеусе) высказывается с презрительным сожалением, как о человеке, затратившем свои огромные силы на бесплодное литературное фиглярство. О других же писателях Гоголевской эпохи он отзывается большею частью с похвалою. Даже в литературной деятельности Погодина, над которым так много смеялся кружок Белинского и которого Щедрин называл потом археологом-чревовещателем, — даже в деятельности Погодина находит он полезные и похвальные черты. О славянофилах же говорит он с неподдельным уважением. Несмотря на все их, очевидные для него, заблуждения, он считает их искренними друзьями «просвещения» и горячо сочувствует их отношению к русской поземельной общине *.

Но уже со времени споров об общинном землевладении он вынужден был покинуть этот спокойный, добродушный тон и выступить во всеоружии своего полемического таланта. Плохо пришлось тогда патентованным представителям либеральной экономии, в особенности редактору «Экономического Указателя» [4] Вернадскому. Чернышевский положительно обессмертил этого «С. С.» (статского советника) и «Д-ра ист. н., пол. эк. и стат.» (т. е. доктора исторических наук, политической экономии и статистики; так подписывался гордый своими дипломами Вернадский). Разбитый наголову ученый не только бежал с поля битвы, но, к довершению комизма, начал уверять в своем

почему земледелец пашет поле грубым железным плугом или сошником! Да чем же иначе можно вспахать плодородную, но тяжелую на подъем почву? Ужели можно не понимать, что без войны не решается ни один важный вопрос, а война ведется огнем и мечом, а не дипломатическими фразами, которые уместны только тогда, когда цель борьбы, веденной оружием, достигнута? Беззаконно нападать только на безоружного и беззащитного, на старцев и калек, а поэты и литераторы, против которых выступил Надеждин, были не таковы...» («Современник», 1856 г., апрель, Критика, стр. 41—42) [1].

* «Понятие о преобладании «мира», общины, над отдельной личностью в древней Руси — одно из самых дорогих убеждений для славянофилов», — говорит он в третьей статье «Очерков». И это учение об отношении личности к обществу составляет, по его мнению, «здоровую часть их системы и вообще достойно всякого уважения по своей справедливости» (см. «Современник», 1856 г., февраль, Критика, стр. 80) [2]. За это же учение об общине он защищал иногда славянофильскую «Русскую Беседу» от нападений со стороны других периодических изданий (см. «Заметки Чернышевского о журналах», март 1857 г., перепечатанные в пятом томе заграничного издания его Сочинений) [3].

уважении того самого Чернышевского, которого он в начале спора позволял себе третировать как дерзкого невежду. Надо признаться, что едва ли возможно вести защиту какого бы то ни было дела искуснее, чем Чернышевский защищал общину. Он сказал в ее пользу решительно все, что можно было сказать, и, может быть, вышел бы победителем из спора даже в том случае, если бы его противники были во много раз сильнее, чем они оказались на деле. Если наша «интеллигенция» до сих пор так крепко держится за общину, то в этом сказывается неизгладимое влияние Чернышевского *.

Мы уже видели, что наш автор очень рано перестал придавать значение наделению крестьян землею. Он стал видеть в нем источник будущего разорения крестьян. В «*Письмах без адреса*» [1] он уже прямо доказывает, что освобожденные с землею крестьяне поставлены в худшее экономическое положение сравнительно с тем, в каком находились они, будучи в крепостной зависимости от помещиков. Поэтому мы вовсе могли бы не разбирать его доводов в пользу общины. Но так как им до сих пор придается у нас большое практическое значение, то мы считаем себя обязанными сделать краткую их оценку. — В своей защите русского общинного землевладения Чернышевский обнаруживает тот же самый недостаток, который характеризует все его экономические исследования. Он вдается в излишнюю *отвлеченность*. Он говорит в сущности не о русской общине с ее действительным положением и возможными условиями ее дальнейшего развития, а об общине an sich **, существующей в теории и удовлетворяющей лишь известным требованиям относительно периодического передела земель. Но таким образом нельзя рассуждать ни об общине, ни о каких бы то ни было других формах народного быта. В статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения» Чернышевский возражает своим противникам, ссылаясь на знаменитое учение Гегеля о том, что третья и конечная фаза в развитии всякого данного явления по своей форме похожа на первую. Народы начали с общинного землевладения, и они снова вернутся к нему в своем дальнейшем развитии. На это можно заметить, что Чернышевский пошел здесь гораздо дальше Гегеля. Гегель говорит о формальном сходстве третьей фазы развития с первой, но он не говорил о полном *тождестве* этих фаз. Чернышевский же как будто предполагает полное тождество. Следуя Гегелю, действительно можно предположить, что народы, начав с *общественной* собственности, возвратятся к ней впоследствии, но нельзя сказать, что народы возвратятся именно к тем формам общин-

* [См. ниже дополнение к этому месту для немецкого издания, стр. 172]

** [в себе]

ного владения, с которых они начали свое развитие. А если можно ожидать этого, то зачем останавливаться на сельской общине с переделами? Надо предполагать в таком случае, что народы вернутся к первобытным родовым учреждениям, так как сама сельская община является их остатком и дальнейшим видоизменением. Но на такое предположение едва ли кто отважится в настоящее время. Ссылаясь на Гегеля, Чернышевский упустил из виду две важнейшие особенности Гегелевской философии. Во-первых, у Гегеля всякое развитие и в логике, и в природе, и в общественных отношениях совершается само из себя, силой своей внутренней, «имманентной» диалектики. Чернышевскому следовало показать, что в русской общине есть именно та внутренняя логика отношений, которая со временем должна привести ее от общинного *владения* землею к общинной ее *обработке* и к общинному *пользованию* ее продуктами. Ведь именно в интересах такой формы общественной собственности и отстаивал он общинное землевладение: ему казалось, что община облегчит переход к ней. Но Чернышевский не сделал этого, так как, вообще возлагая свои надежды главным образом на распространение знаний, он мало обращал внимания на ту *внутреннюю логику общественных отношений, под влиянием которой совершается развитие человечества*. А кроме того, Чернышевский забыл о всегдашнем внимании к действительности, которое, по его собственным словам, характеризовало Гегеля. Припомним, как он излагал взгляды Гегеля в «Очерках Гоголевского периода русской литературы»: «Отвлеченной истины нет, истина конкретна, т. е. определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит. Пагубна или благотворна война? Вообще нельзя отвечать на это решительным образом: надобно знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств времени и места» [1]. Совершенно так же следовало рассуждать и об общине: хорошая или плохая вещь поземельная община? Вообще нельзя отвечать на это решительным образом: надобно знать, о какой общине идет дело; все зависит от обстоятельств времени и места. Но Чернышевский рассуждал не так. Он вдался в отвлеченность и таким образом совершенно изменил духу той самой философии, на которую ссылался в своей главной полемической статье *.

* Кажется, Чернышевский был против круговой поруки. Мы предполагаем это вот почему. В библиографической заметке о брошюре *Гана* «О настоящем быте мещан Саратовской губернии» он без всякой оговорки приводит то мнение разбираемого им автора, что круговая порука вредно отзывается на благосостоянии плательщиков. «Кто исправно платит, на того и накладывают больше», — говорит Ган. Чернышевский, по-видимому, совершенно с ним согласен (См. «Совр.», 1861 г., январь, Русская литература, стр. 64) [2]. Оставляя в стороне мещан, мы спросим, как же современное

Справедливо считая частную собственность лишь промежуточной формой в развитии экономических отношений, Чернышевский сильно напирал на то обстоятельство, что, по мнению Гегеля, промежуточные фазы развития могут, при известных обстоятельствах, значительно сокращаться или даже вовсе не иметь места. За это в особенности ухватились впоследствии наши народники, все программы которых основывались именно на том предположении, что капитализм — эта промежуточная фаза в развитии человечества — не будет иметь места в России. Отвлеченно говоря, подобные сокращения промежуточных фаз вполне возможны. Но от возможности известного явления еще очень далеко до его действительности. Чтобы то или иное, возможное в теории, явление осуществилось в действительной жизни, нужны известные конкретные условия, другими словами, нужна достаточная для этого причина. В то время, когда Чернышевский отстаивал русское общинное землевладение, он мог считать причиной, достаточной для устранения «язвы пролетариатства», добрую волю русского правительства, которому, казалось, нетрудно было бы понять, что его собственная выгода зависит от благосостояния крестьянства. Но правительство не поняло этого, а потому и не было у нас достаточной причины для устранения «язвы пролетариатства» и связанной с ней фазы

государство может без круговой поруки обеспечить себе исправный взнос податей крестьянами-общинниками? Если крестьянские участки составляют собственность общины и потому не могут быть отчуждаемы в случае податной несостоятельности отдельных домохозяев, то вся община должна отвечать за несостоятельность плательщиков. В этом случае круговая порука не только естественна, но и просто необходима. Наоборот, если земельные участки составляют собственность отдельных дворов, то круговая порука теряет всякое основание, но тогда приходится допустить отчуждаемость участков в случае несостоятельности домохозяев. Правда, теория допускает еще и третий выход: говоря отвлеченно, можно уничтожить круговую поруку, а в то же время признать принадлежность земли общине и ее полную неотчуждаемость. Но как сделать это на практике? Как будет поступать государство с несостоятельными плательщиками? Продавать их движимость? Но ведь продажа движимости легко может повести и часто уже теперь ведет за собою полную невозможность для крестьянина обрабатывать доставшуюся ему в надел землю. Или, может быть, скот и все хозяйственные орудия также должны быть признаны неотчуждаемыми? Но много ли останется у среднего русского крестьянина подлежащей продаже движимости, если мы исключим из нее скот и хозяйственные орудия? Опыт показывает, что в таких случаях у крестьян остается одна только движимость: их собственное тело, которое и подвергается истязанию за недоимки. Но ведь истязание недоимщиков не может быть признано удовлетворительным решением вопроса, который необходимо должен быть разрешен, потому что государство, разумеется, не согласится лишить себя всяких гарантий исправного взноса податей. Напомним, однако, читателю, что в то время, когда Чернышевский считал еще нужным защищать общину, он надеялся, что они будут поставлены в довольно благоприятное экономическое положение, при котором вопрос о податях не был бы таким жгучим, каким он стал в настоящее время,

экономического развития. Чернышевский и сам, как мы знаем, очень скоро понял всю естественность подобного непонимания со стороны правительства. Он считал бесполезным защищать не только общинное землевладение, но и самый принцип наделения освобожденных крестьян землею. По его сильному, беспощадно резкому выражению, он «стал глуп в своих собственных глазах» и «стыдился той безвременной самоуверенности», с которой выступил на защиту общинного землевладения. Но того, чего стыдился Чернышевский, не стыдятся современные народники. Они и до сих пор толкуют о вековечных устоях народного быта и о сокращении в фазах развития, — сокращении, для которого они не указывают никакой причины, кроме своих собственных «идеалов». Но эта причина ни в каком случае не может быть признана достаточной. Зато мы можем без труда найти достаточную причину упорства наших народников. Она заключается, между прочим, в том пристрастии маленьких учеников к ошибкам великих учителей, о котором мы уже говорили выше. Впрочем, мы еще увидим, что сам Чернышевский совсем не так смотрел на русскую общину, как современные народники *.

Начавшись с общинного землевладения, спор Чернышевского с нашими либеральными экономистами принял скоро более широкий теоретический характер и перешел к общим вопросам экономической политики. Верные догматам вульгарной экономии, под влиянием которой сложились все их воззрения, наши манчестерцы поспешили выдвинуть на сцену свою главную, научную твердыню: *принцип государственного невмешательства*. Они знали, что на этом принципе основывалось все учение Бастиа и его эпигонов, и наивно полагали, что сильнее Бастиа нет никого на свете. Разумеется, дело приняло такой оборот, что

* Что касается сокращения известных фаз развития, то Чернышевский прекрасно понимал, что не всегда данная фаза при своем сокращении приводит к таким же результатам, к каким приводит она при большей продолжительности. В «Полемических красотах» (Соч., т. I, стр. 373) он указывает на сигары, которые приобретают особенно ценные для курильщиков качества, подвергаясь медленному процессу высыхания и связанных с ним химических изменений. Но попробуйте сократить продолжительность этого процесса высыхания и сразу искусственно высушить свежие сигары. По словам нашего автора, хорошего в таких сигарах будет немного. Что же это значит? Это значит, что иной ход процесса ведет за собой иные химические результаты [1]. Не то ли же и в общественной жизни? Нет ли основания думать, что более или менее продолжительный процесс капиталистического развития создает такие политические, умственные и нравственные качества трудящегося класса, каких мы вовсе не найдем в народе, не покидавшем в течение всей своей истории допотопных «устоев» своего быта? Нельзя ли опасаться, что такой народ откажется не только от промежуточных, но и от всяких других «фаз развития» и станет представлять к начальству людей, рекомендующих ему прямо перейти в последнюю фазу общественного прогресса? Как думают народники?

спор о невмешательстве государства в экономическую жизнь народа послужил поводом лишь для нового торжества Чернышевского. Хорошо знакомый с экономической и социалистической литературой, он без всяких усилий, шутя и посмеиваясь, в пух и прах разбивал всю бастиановскую премудрость. Его статья *«Экономическая деятельность и законодательство»* [1] может считаться одним из самых ловких опровержений теории «laisser faire, laisser passer» * не только в русской экономической литературе, где Чернышевский до сих пор занимает первое место, но и вообще в литературе европейского социализма. Наш автор пускает в ней в дело всю свою диалектическую силу и всю свою полемическую ловкость. Он как бы забавляется этой борьбой, в которой он с такой легкостью отражает удары противников. Он играет с ними, как кошка с мышью; делает им всевозможные уступки, выражает готовность согласиться с любым из их положений, принять любое толкование всякого данного положения — и уж только потом, давши им, по-видимому, все шансы победы, поставив их в самые благоприятные для их торжества условия, переходит в наступление и тремя-четырьмя силлогизмами приводит их к нелепости. Затем начинаются новые уступки, новые, еще более благоприятные истолкования того же положения и — новые доказательства его нелепости. А в конце статьи Чернышевский по своему обыкновению читает своим противникам назидание и дает им почувствовать, до какой степени они не имеют понятия не только о строгих приемах научного мышления, но и о самых первоначальных требованиях простого здравого смысла. Замечательно, что принцип государственного невмешательства, имевший у нас таких горячих сторонников в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов, вскоре был почти совершенно оставлен русскими экономистами. Это в значительной степени объясняется как общим состоянием нашей промышленности и торговли, так и последующим влиянием на наших теоретиков немецкой катедер-социалистической школы [2]. Но, несомненно, много значит в этом случае и то, что названный принцип уже при самом начале его распространения в русской литературе встретил такого могучего противника, как Н. Г. Чернышевский. Раз получивши хороший урок, русские манчестерцы почли благоразумным смолкнуть, стушеваться и сойти со сцены.

IX

Не по одним только экономическим вопросам приходилось Чернышевскому вести ожесточенную полемику. И притом противниками его были не одни только либеральные экономисты.

* [пусть идет, как идет]

Чем влиятельнее становился кружок «Современника» в русской литературе, тем более нападок сыпалось с самых различных сторон и на этот кружок вообще, и на нашего автора в частности. Сотрудников «Современника» считали опасными людьми, готовыми ниспровергнуть все пресловутые «основы». Некоторые из «друзей Белинского», вначале еще считавшие возможным идти рядом с Чернышевским и его единомышленниками (между которыми первое место занимал Н. А. Добролюбов), отшатнулись от «Современника», как от органа «нигилистов», и стали кричать о том, что Белинский никогда не одобрил бы принятого им направления. Так поступил И. С. Тургенев *. Даже сам радикальный Герцен стал ворчать в своем «*Колоколе*» на «желчевиков» и «свистунов», которые отрицают ради отрицания, глумятся ради глумления и которым угодить будто бы решительно ничем невозможно [2]. Читатель знает, конечно, что «свистунами» или, иначе, «рыцарями свистопляски» называли сотрудников «Современника» с тех пор, как при нем стал появляться, в виде особого приложения, «Свисток», занимавшийся беспощадным осмеянием всех литературных и общественных проявлений самодурства, фразерства, обскурантизма и педантизма. Впрочем, большинство статей в «Свистке» принадлежит не Чернышевскому [3]; он только изредка принимал в нем участие, так как был буквально завален другой работой. В последние годы своей литературной деятельности он не только аккуратно писал для каждой книжки «Современника», но почти всегда, в каждой книжке, было по нескольку его статей. Обыкновенно статьи его распределялись по различным отделам журнала таким образом: он давал, во-первых, большую статью по какому-нибудь общему теоретическому вопросу, затем писал политическое обозрение, делал обзор русской, а иногда и иностранной литературы, разбирал несколько новых книг и, наконец, как бы для отдыха и развлечения, охотно предпринимал еще полемические вылазки против своих противников. «Современник» 1861 года особенно богат полемическими статьями Чернышевского. К этому году относятся его известные «Полемические красоты», «Национальная бестактность» (против львовского «Слова»), «Народная бестолковость» (против аксаковского «Дня») и многие полемические заметки в отделе русской и иностранной литературы. На некоторых из этих полемических статей необходимо остановиться.

---

* Чернышевский рассказывает, что Тургенев мог еще выносить его до некоторой степени, но зато уже окончательно не терпел Добролюбова. «Вы — простая змея, а Добролюбов — очковая», — говорил он Чернышевскому (см. уже цитированное письмо «В изъявление признательности») [1].

О «Полемических красотах» мы много говорить не будем. Статьи эти составляют ответ на нападки «Русского Вестника» и «Отечественных Записок». Для историка нашей литературы, конечно, очень интересно будет припомнить, с какими доводами выступали враги «Современника»; для характеристики же Чернышевского нет надобности подробно рассказывать, какие странные и часто решительно ни с чем не сообразные упреки делали ему Катков, Альбертини или Дудышкин [1]. Но в статье, направленной против «Русского Вестника», наш автор высказывает, между прочим, чрезвычайно интересный взгляд на свою собственную литературную деятельность. Мы приведем его здесь. Чернышевский прекрасно знает, что занял в русской литературе выдающееся место. Его противники очень боятся его и временами начинают даже говорить ему комплименты. Но его нимало не радует его возрастающая известность. Он слишком низко ставит русскую литературу, чтобы считать почетным занимаемое им в ней выдающееся место. Он «совершенно мертв к своей литературной репутации». Его интересует только один вопрос: сумеет ли он сохранить свежесть мысли и чувства до той лучшей поры, когда литература наша станет действительно полезной обществу. «Я знаю, что будут лучшие времена литературной деятельности, когда будет она приносить обществу действительную пользу, и будет действительно заслуживать доброе имя тот, у кого есть силы. И вот я думаю: сохранится ли у меня к тому времени способность служить обществу как следует? Для этого нужна свежесть сил, свежесть убеждения. А я вижу, что уже начинаю входить в число «уважаемых» писателей, то есть писателей истаскавшихся, отстающих от движения общественных потребностей. Это горько. Но что делать? Лета берут свое. Дважды молод не будешь. Я могу только чувствовать зависть к людям, которые моложе и свежее меня» [2]. Странно встречаться теперь с этими благородными опасениями нам, знающим, что когда Чернышевский высказывал их, ему оставалось жить на свободе не более года. Приведенные строки были напечатаны в июльской книжке «Современника» за 1861 год, а в июле следующего года он сидел уже в Петропавловской крепости... Но можно представить себе, с каким презрением относился к своим врагам этот человек, который при полном сознании своего огромного превосходства над ними всетаки не придавал цены даже и своим собственным литературным заслугам. И действительно, почти каждая страница «Полемических красот» дышит холодным презрением к порицателям «Современника». Им отличается в особенности ответ «Отечественным Запискам». Чернышевский нисколько не сердится на своих оппонентов из «Отечественных Записок». Он поучает их почти ласково, как поучает добрый педагог провинившегося

школьника. Конечно, добрый педагог, журя своего питомца, говорит ему подчас очень горькие истины и нимало не скрывает своего умственного превосходства над ним. Но он делает это единственно в интересах питомца. Так поступает и Чернышевский. Он не забывает ни одной ошибки, ни одного промаха «Отечественных Записок» и отечески журит редакцию за неловкость. Он досадует на них больше всего за ту неосторожную горячность, с какой они кинулись в борьбу с ним. Куда же вам со мной полемизировать, повторяет он им, показавши полнейшую несостоятельность того или другого из возводимых ими на него обвинений. При случае он прямо говорит, что знает гораздо больше и понимает вещи гораздо глубже их, что они просто не в состоянии оценить тех новых идей, которые он проводит в литературе. «Вы хотите знать, как обширны мои знания? — обращается он к Дудышкину, обвинявшему его, со слов других журналов, в нахальном невежестве. — На это могу отвечать вам только одно: несравненно обширнее ваших. Да это вы и сами знаете. Так зачем же вы добивались получить печатно такой ответ? Нерассудительно, нерассудительно вы подводили себя под него. Да вы, пожалуйста, не примите этого за гордость: есть чем тут гордиться, что знаешь гораздо больше, нежели вы! И опять-таки не примите этого так, что я хочу сказать, будто вы имеете слишком мало знаний. Нет, ничего таки: кое-что знаете, и вообще вы человек образованный. Только зачем же вы так плохо полемизируете?» [1] и т. д. Все это было бы, может быть, слишком резко, если бы не было безусловно справедливо.

Не щадит теперь Чернышевский и славянофилов, о которых прежде отзывался с уважением. Теперь они уже не кажутся ему искренними друзьями просвещения. Тенденции славянофилов настолько уже выяснились к началу шестидесятых годов, что их скорее можно было назвать обскурантами. Конечно, они по-прежнему защищали общину и отстаивали крестьянское землевладение. Но теперь Чернышевский уже не придавал этому значения. А кроме защиты названных принципов в тогдашней славянофильской литературе были только нелепые выходки против гниющего и лукавого Запада да приторные восхваления православия, самодержавия и прочих, подобных этому, прелестей самобытной российской действительности. И вот Чернышевский решается дать им урок. Поводом к этому послужило появление газеты И. Аксакова «День» [2], в первых №№ которой было несколько выходок против «Современника». Чернышевский отвечал в статье «*Народная бестолковость*» [3]. Грубость выбранного им заглавия он объясняет тем, что, проникшись славянофильскими доводами, он решился избегать употребления иностранных слов, которые могли бы, не изменяя названия статьи по существу, придать ему более вежливую форму.

Чернышевский всегда был самым горячим западником. И если сочувствие к общинному землевладению на время и до известной степени сблизило его со славянофилами, то он тем не менее всегда прекрасно понимал нелепость их толков о разложении Запада и об обновлении человечества посредством византийских преданий. Уже в «Очерках Гоголевского периода» высказался он на этот счет хотя и мягко, но очень решительно. Источник мнений славянофильских писателей о гниении Запада и о банкротстве его философии он видит в том, что даже лучшие из них незнакомы с истинным положением западноевропейских дел и с направлением передовой западноевропейской мысли. Для Чернышевского Запад не хилый старик; напротив, это — юноша, и юноша бодрый и свежий, «который (устами своих передовых мыслителей) говорит: кое-что я знаю, но очень многому мне еще остается учиться, я еще горю жаждой большего знания и учусь довольно успешно... Мне еще остается много трудиться, чтобы обеспечить себе прочное, безбедное существование; но трудиться я готов, сил у меня довольно, и, пожалуйста, не отчаивайтесь за мое будущее» *. По вопросу о будущности европейского Запада Чернышевский сильно расходился не только со славянофилами, что понятно само собой, но даже и с Герценом, для которого не прошли бесследно его сношения с московским славянофильским кружком сороковых годов [2] и который нередко высказывал то опасение, что Запад, додумавшись до социализма, уже не в силах будет осуществить его программу, как древний Рим не в силах будто бы был осуществить требований христианства. Само собою разумеется, что ввиду этой мнимой несостоятельности Запада Россия представлялась обетованной страной социализма, призванной к обновлению одряхлевшего человечества. По всей вероятности, именно против этого взгляда Герцена направлена уже цитированная нами статья Чернышевского *«О причинах падения Рима»*. Автор прямо говорит в ней, что с такими «чудаками», как славянофилы, о судьбах Запада не стоит уже и спорить и что он берется за перо, имея в виду других людей, обладающих человеческим смыслом. Этим-то людям со смыслом он и доказывает, что Западная Европа ни в каком случае не могла истощить своих сил, так как ее историческая судьба до самого новейшего времени определялась деятельностью одного только сословия: аристократии. Даже среднее сословие сделалось господствующим на материке Европы лишь в ближайшую к нам эпоху. А за средним сословием стоит еще низший класс, не имевший до сих пор прямого влияния на судьбы Европы. На каком основании думают, спрашивает Чернышевский, что это новое сословие, в свою

* «Современник», 1856 г., февраль, Критика, стр. 73—74 [1].

очередь выступив на историческую арену, не сумеет решить тех общественных задач, которых не могли решить высшие сословия? Думать так нет решительно никакого основания, а следовательно, нет основания и для опасения за судьбу Запада. Бояться же нового пришествия варваров просто смешно ввиду огромного превосходства сил цивилизованного мира. Наконец, что касается России и ее мнимого призвания к обновлению человечества, то Чернышевский беспощадно разоблачает неосновательность подобного патриотического самообольщения. Единственной достойной сочувствия особенностью нашего социального быта он признает общинное землевладение. Но и общинное землевладение не находит пощады перед его критикой. Община могла бы, по мнению Чернышевского, принести свою долю пользы в дальнейшем развитии России; однако гордиться ею все-таки нельзя, потому что она есть признак нашей экономической отсталости. Любя пояснять всякую свою мысль примерами, Чернышевский и здесь приводит пример для пояснения своего взгляда на русскую общину. Европейские инженеры, говорит он, пользуются теперь прикладной механикой для постройки висячих мостов. Но вот оказывается, что в какой-то — он сам хорошенько не помнит в какой — отсталой азиатской стране туземные инженеры давно уже строили висячие мосты в подходящих для этого местностях. Значит ли это, что азиатскую прикладную механику можно поставить на один уровень с европейской? Мост мосту — рознь, и висячий мост азиатских инженеров бесконечно далеко отстоит от европейского висячего моста. Конечно, когда в азиатской стране, издавна знакомой с висячими мостами, явятся европейские техники, то им легче будет убедить иного мандарина в том, что новейшие висячие мосты не представляют собою безбожной затеи. Но и только. Несмотря на свои висячие мосты, азиатская страна все-таки останется отсталой страной, а Европа все-таки будет ее учительницей. То же с русской общиной. Она, может быть, облегчит дело развития нашей родины; но главный толчок для него все-таки придет с Запада, и обновлять человечество нам, даже с помощью общины, все-таки не пристало.

Однако «чудаки» славянофилы не только кричали об обновлении Европы русско-византийским духом, но и выставляли практическую программу подобного обновления. По мнению «Дня» И. Аксакова, Россия должна была начать с преподнесения славянам «дара самостоятельного бытия под сению крыл русского орла» [1]. Чернышевский доказывает, что подобные мысли представляют собою не более как продукт «народной бестолковости». Во-первых, ему кажется, что у могущественного русского орла очень много своих домашних русских дел, которых он не должен забывать ни для каких обновлений. «Если

вы хотите войны, — говорит он, — то рассудите же, дозволяют ли нам думать о войне наши обстоятельства». Во-вторых, он полагает, что наше военное вмешательство вооружило бы против освобождения славян все западные державы: «Ведь турок в Европе только 2 миллиона, а славян 7 или 8 милл. Неужели не могли бы они справиться с турками?.. Им нужна только уверенность, что другие державы не станут мешать их освобождению». Если бы славянофилы действительно желали добра турецким славянам, то они постарались бы внушить западным державам уверенность, что падение турецкой власти в Европе не послужит к поглощению Дунайских княжеств Россией и не поведет к обращению Константинополя в русский губернский город. Если бы славянофилы сделали это, то турецкие славяне освободились бы и без нашей помощи. То же и относительно австрийских славян. «Неужели было бы мило немцам поддерживать Австрию, если бы не опасались они, что при падении этой империи восточная половина ее подпадет под власть России?» [1] Вы восстанавливаете немцев против освобождения австрийских славян, говорит Чернышевский редакции «Дня» и прибавляет, что ее военный задор вызывается не сочувствием к славянам, а стремлением подчинить славянские племена русской власти.

Мимоходом Чернышевский опровергает также и славянофильские разглагольствования о коварном и злостном отношении Запада к России. Помилуйте, говорит он, разве все серьезные органы европейской печати не относились с большим сочувствием к важнейшим реформам в России? И разве сочувствовать успехам русской общественной жизни значит желать зла России?

В следующем году Чернышевскому пришлось еще резче выступить против славянофилов. Корифеи славянофильства возымели странную мысль обратиться к сербам с целым рядом наивнейших поучений. Поучения эти содержатся в брошюре «К Сербам. Послание из Москвы», под которой подписались решительно все выдающиеся представители славянофильской партии. Некоторые из содержащихся в этой брошюре мыслей просто смешны, другие же не только смешны, но еще и донельзя реакционны. Так, например, славянофилы советовали сербам не давать политических прав людям неправославного вероисповедания. Чернышевский отвечал на это «Послание» едкой статьей «*Самозванные старейшины*» [2].

К спорам об отношении России к славянам вообще примешался спор о взаимных отношениях некоторых славянских племен. Известно, что славянофилы очень одобрительно относились к борьбе галицийских русинов против поляков. Чернышевский всегда сочувствовал малороссам. Он видел большую ошибку

в отрицательном отношении Белинского к возникавшей малорусской литературе. В январской книжке «Современника» 1861 г. он поместил очень сочувственную статью по поводу появления малорусского органа «*Основа*» [1]. Но к борьбе галицийских русинов против поляков он не мог относиться с безусловным одобрением. Ему не нравилось, во-первых, что русины искали поддержки у венского правительства. Не нравилась ему также и влиятельная роль духовенства в движении галицийских русинов. «О мирских делах, — писал он, — надобно заботиться мирским людям». Наконец, не нравилась Чернышевскому и исключительно *национальная* постановка того вопроса, в котором Чернышевский видел прежде всего вопрос *экономический*. В статье «*Национальная бестактность*» («Совр.», 1861, июль), направленной против львовского «Слова», Чернышевский резко напал на излишний национализм этого органа. «Очень может быть, что при точнейшем рассмотрении живых отношений, — писал он, — львовское «Слово» увидело бы в основании дела вопрос, совершенно чуждый племенному вопросу, — вопрос сословный. Очень может быть, что оно увидело бы и на той и на другой стороне и русинов и поляков — людей разного племени, но одинакового общественного положения. Мы не полагаем, чтобы польский мужик был враждебен облегчению повинностей и вообще быта русских поселян. Мы не полагаем, чтобы чувства землевладельцев русинского племени по этому делу много отличались от чувств польских землевладельцев. Если мы не ошибаемся, корень галицийского вопроса заключается в сословных, а не в племенных отношениях» [2].

Взаимная вражда народностей, входящих в состав Австрии, тем более должна была казаться Чернышевскому бестактною, что венское правительство тогда, как и прежде, извлекало из нее большие выгоды. «Как подумаешь хорошенько, то и не удивляешься долголетнему существованию Австрийской империи, — писал он в политическом обозрении той же книжки «Современника», где помещена статья «Национальная бестактность», — еще бы не держаться ей при таком отличном политическом такте связанных ее границами национальностей» [3]. Австрийские немцы, чехи, кроаты и, как мы видели, русины одинаково казались Чернышевскому «несообразительными». Он боялся, что в особенности испытанная в 1848—1849 гг. славянская «несообразительность» снова зайдет очень далеко. В начале шестидесятых годов Венгрия вела упорную борьбу с венскими реакционными централистами. Недовольство венгров дошло до такой степени, что одно время можно было ожидать в их стране революционного взрыва. Наш автор не раз высказывал в своих политических обозрениях то опасение, что в случае революционного движения в Венгрии австрийские

славяне опять явятся покорными орудиями реакции. Тогдашняя тактика многих славянских племен Австрии способна была только усилить подобные опасения, так как австрийские славяне позволяли себе хвалиться тою позорною ролью, какую они играли в событиях 1848—1849 гг. Строго осуждая эту тактику, Чернышевский доказывал, что им выгоднее было бы, наоборот, поддерживать врагов венского правительства, от которых они могли бы получить очень существенные уступки. Это говорил он по поводу отношения кроатов к венграм, это же повторял и русинам. «Сословная партия, враждебная русинам, — читаем мы в статье «Национальная бестактность», — готова теперь на уступки... Вот об этом-то и не мешало бы подумать львовскому «Слову»; быть может, уступки, на которые искренно готовы люди, кажущиеся ему врагами, может быть, эти уступки так велики, что совершенно удовлетворили бы русинских поселян, а во всяком случае несомненно то, что эти уступки гораздо больше и гораздо важнее всего, что могут получить русинские поселяне от австрийцев» [1].

Наконец, в то время, когда Чернышевский полемизировал против «Слова», в русской Польше также происходило сильное политическое движение, к которому он относился с большим сочувствием. И уже по этому одному выходки русских подданных Габсбургского дома против поляков не могли казаться ему тактичными и своевременными.

Ветви революционной польской организации существовали и в Петербурге, где почти безвыездно жил Чернышевский. Стоял ли он в каких-нибудь определенных, формальных отношениях к польским революционерам? На это нет пока никаких указаний. Очень может быть, что разъяснению этого вопроса в состоянии были бы способствовать польские историки той эпохи. От русской литературы ждать ничего нельзя по весьма понятным причинам. Со временем скажет, вероятно, кое-что «Русская Старина», но это будет еще не скоро. Не желая пускаться в догадки, мы ограничимся только теми данными для уяснения общих симпатий Чернышевского к польскому делу, какие можно извлечь из его сочинений. Но и таких данных не много.

Мы могли бы совсем не касаться здесь романа «Пролог пролога». Там изображаются дружеские отношения Волгина (Чернышевского) к Соколовскому (Сераковскому). Волгину нравится беззаветная преданность Соколовского своим убеждениям, отсутствие в нем себялюбивой мелочности, умение владеть собою, соединенное с страстной горячностью истинного агитатора. Волгин называет его *настоящим человеком* и думает, что наши либералы могли бы многому у него поучиться. Все это очень интересно, но нимало не разъясняет практических отношений Чернышевского к польскому делу, о котором в романе нет ни

слова [1]. Из статей нашего автора, печатавшихся в подцензурном «Современнике», можно видеть только то, что он при случае всегда высказывался в защиту Польши. Он защищает от нападок официальных русских писателей даже старинный польский государственный строй, которому он, при своих демократических взглядах, не мог сильно сочувствовать. Но он хвалит в нем такие стороны общественных отношений, которым не придавал цены в своих более ранних статьях. Как мы уже знаем, в статье «Борьба партий во Франции» он обнаружил совершенное равнодушие к политическим формам. Когда он писал эту статью (в 1858 г.), ему казалось, что демократ не может помириться *только с одной аристократией* и что, несмотря на политическую свободу Англии, демократ должен предпочесть ей Сибирь, где «простонародье» живет будто бы лучше, чем в Англии. Теперь Чернышевский совсем иначе смотрит на вопросы политического устройства. Старинный быт Польши привлекает его политической свободой. «В польском отсутствии бюрократической централизации, — говорит он, разбирая только что вышедшую тогда вторую часть «*Архива юго-западной России*», — лежит стремление к осуществлению иного порядка общества, чем тот, к которому доходили иные державы (тут, конечно, имеется в виду Московское государство), — порядка, основанного не на принесении личности в жертву отвлеченной идее государства, воплощаемой волею власти, а на соглашении свободных личностей для взаимного благополучия... Тут общественное дело есть результат общественной мысли; тут вечная борьба понятий и убеждений переходит из области размышления и слова прямо в проявления жизни». Положим, что польское общество было совершенно аристократично, «но круг привилегированный мог расширяться более и более и обнять заброшенную, отверженную, лишенную всяких прав массу народа, если бы понятия о гражданственности сделались шире и возросли бы до общечеловеческих идей, не связуемых временными, ограничивающими их полноту предрассудками» *. До таких увлечений в защите старого быта Польши не всегда доходили и польские демократы. Ведь весь вопрос сводился именно к тому, каким образом можно было привести польских магнатов к признанию «общечеловеческих идей».

По вопросу об исторических результатах соединения Великого Княжества Литовского с Польшей Чернышевский также очень сильно расходится с нашими официальными историками. «Неужели состояние Руси во времена Ольгердов, Любартов, Скиригайлов, Свидригайлов было лучше, чем при Сигизмундах в XVI и в XVII веках», — восклицает он в ответ историкам,

* «Совр.», 1861 г., апрель, Новые книги, стр. 443 и сл. [2]

которые соединение с Польшею выставляли единственной причиной всего дурного в Западной России. — «Пора перестать нам быть односторонними, быть несправедливыми к Польше,— продолжает он, — признаем по крайней мере благотворность ее влияния на Русь, хоть по отношению к просвещению. Возьмем степень умственного образования в тех частях русского мира, который соединился с Польшею, и сравним ее с тем, что в этом отношении было в той части нашего общерусского отечества, которая оставалась самобытной — в форме Московского государства. Не из Малороссии ли пошло просвещение в Москву XVII века, и не оно ли приготовило все последующее наше образование? И не под влиянием ли Польши оно возросло в Малороссии?»

В ополячении западной России виноваты, по мнению Чернышевского, также не поляки. Высший класс в западной России имел и права и средства отстоять свою веру и свой язык и спасти от унижения свой народ, впрочем им же самим порабощенный. Если западнорусская аристократия тем не менее совершенно ополячилась, то винить в этом нужно ее и только ее. «Сами не умели себя сохранить, — нечего на других взваливать свою вину», — замечает наш автор [1].

X *

Революционное настроение польского общества совпало с сильным возбуждением крайней партии в России. Волновалась учащаяся молодежь, возникали тайные общества, печатавшие революционные программы и прокламации, ждали восстания недовольного «не настоящей волей» [2] крестьянства. Мы видели, что Чернышевский сам верил в возможность подобного восстания; по вопросу об его отношениях к тогдашним тайным обществам в России мы, к сожалению, знаем так же мало, как и об отношениях его к польским организациям. Здесь мы также можем говорить лишь о настроении Чернышевского, выражавшемся полусловами и намеками в его статьях, напечатанных в «Современнике». Настроение это, несомненно, становилось все более и более революционным. Чернышевский, находивший когда-то возможным и полезным разъяснять правительству его собственные выгоды в деле крестьянского освобождения, теперь уже и не думает обращаться к правительству. Всякие сделки с ним, всякие расчеты на него справедливо кажутся ему вреднейшим самообольщением. В статье *«Русский реформатор»*,

* [См. ниже вариант начала этой главы, написанный для немецкого издания, стр. 175.]

написанной по поводу выхода книги барона М. Корфа *«жизнь графа Сперанского»*, Чернышевский подробно доказывает, что никакой реформатор в деле серьезных общественных реформ не может рассчитывать у нас на правительство. Тем менее могут рассчитывать на него революционеры. Враги называли Сперанского революционером, но такой отзыв о нем кажется Чернышевскому смешным. У Сперанского были действительно очень широкие планы преобразований, но «смешно называть Сперанского революционером по размеру средств, какими он думал пользоваться для исполнения своих проектов». Он держался исключительно только тем, что успел приобресть доверие императора Александра. Опираясь на это доверие, он и думал совершить свои реформы. И именно поэтому он казался Чернышевскому вредным мечтателем. Мечтатели часто бывают просто смешны, а их самообольщения мелочны, но они «могут быть вредны обществу, когда обольщаются в серьезных делах. В своей восторженной хлопотливости на ложном пути они как будто добиваются некоторого успеха и тем сбивают с толку многих, заимствующих из этого мнимого успеха мысль идти тем же ложным путем. С этой стороны деятельность Сперанского можно назвать вредною» *.

Намекая молодежи на необходимость революционного способа действий, Чернышевский в то же время объяснял ей, что революционеру ради достижения его целей часто приходится становиться в такие положения, до каких никогда не может допустить себя честный человек, преследующий чисто личные задачи. Так, еще в январе 1861 г. Чернышевский, разбирая одну книгу американского экономиста Кэри, неожиданно переходит к рассуждениям об известной еврейской героине Юдифи и горячо оправдывает ее поступок [2]. «Исторический путь не тротуар Невского проспекта, — замечает наш автор, — он идет целиком через поля то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она — занятие, благотворное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем опрятное. Правда, впрочем, что нравственную чистоту можно понимать различно: иному, может быть, кажется, что, например, Юдифь не запятнала себя... Расширьте круг ваших соображений, и у вас по многим частным вопросам явятся обязанности, различные от тех, какие следовали бы из изолированного постановления тех же вопросов» [3].

По отношению к русскому правительству тон Чернышевского становится все более и более вызывающим. В начале шестидесятых годов правительство решило несколько ослабить

* «Современник», 1861 г., октябрь, Русская литература, стр. 249—250 [1].

цензурные стеснения. Решено было написать новый цензурный устав, и печати позволили высказаться по вопросу об ее собственном обуздании. Чернышевский не замедлил высказать свое мнение на этот счет — мнение, сильно расходившееся с обычным либеральным взглядом. Правда, Чернышевский сам едко смеется над теми людьми, которые полагают, что типографский станок имеет какую-то специфическую силу вроде белладоны, серной кислоты, гремучего серебра и т. п. «Наше личное мнение не расположено к ожиданию ненатурально-вредоносных результатов от предметов и действий, в которых нет силы производить такие бедствия. Мы думаем, что для произведения общественных бед типографский станок слишком слаб. Ведь нет на нем столько чернил, чтобы, прорвавшись как-нибудь, затопили они страну, и нет в нем таких пружин, чтобы, сорвавшись как-нибудь и хлопнув по литерам, стрельнули они ими, как картечью» [1]. Однако Чернышевский признает, что бывают такие эпохи, когда печать может оказаться опасною для правительства данной страны не менее картечи. Это именно такие эпохи, когда интересы правительства *расходятся с интересами общества* и приближается революционный взрыв. Находясь в подобном положении, правительство имеет все основания стеснять печать, потому что печать наравне с другими общественными силами готовит его падение. В таком положении постоянно находились почти все часто сменявшиеся французские правительства нынешнего века. Все это очень обстоятельно и спокойно изложено Чернышевским. О русском правительстве до самого конца статьи нет и речи. Но в заключение Чернышевский неожиданно спрашивает читателя. — «А что, если бы оказалось, что законы о печати действительно нужны у нас? Тогда мы вновь заслужили бы имя обскурантов, врагов прогресса, ненавистников свободы, панегиристов деспотизма и т. д., как уже много раз подвергали себя такому нареканию». Поэтому он и не хочет исследовать вопроса о надобности или ненадобности специальных законов о печати у нас. «Мы опасаемся, — говорит он, — что добросовестное исследование привело бы нас к ответу: да, они нужны» *. Вывод ясен: нужны потому, что Россия вступила в революционный период своего развития.

В той же мартовской книжке «Современника», в которой была напечатана цитированная статья, появилась также полемическая заметка: «*Научились ли?*» по поводу известных студенческих беспорядков 1861 года [3]. Чернышевский защищает в ней студентов от упрека в нежелании учиться, который делали им наши «охранители», и по пути высказывает также много горьких истин правительству. Ближайшим поводом к этой полемике послужила

* «Совр.», 1862 г., март, статья: «Французские законы по делам печати» [2].

статья неизвестного автора в «С.-Петербургских Академических Ведомостях» под заглавием: «*Учиться или не учиться?*». Чернышевский отвечает, что по отношению к студентам такой вопрос не имеет смысла, так как они всегда хотели учиться, но им мешали стеснительные университетские правила. Студентов — людей, находящихся в том возрасте, когда по нашим законам мужчина может жениться, принимается на государственную службу и «может быть командиром военного отряда», — университетские правила хотели поставить в положение маленьких ребят. Неудивительно, что они протестовали. Им запрещали даже такие совершенно безвредные организации, как товарищества взаимной помощи, безусловно необходимые при материальной необеспеченности большинства учащихся. Студенты не могли не восстать против таких порядков, так как тут дело шло о «куске хлеба и о возможности слушать лекции. Этот хлеб, эта возможность отнимались». Чернышевский прямо заявляет, что составители университетских правил именно хотели отнять возможность учиться у большинства людей, поступающих в студенты университета. «Если автор статьи или его единомышленники считают нужным доказать, что эта цель нисколько не имелась в виду при составлении правил, пусть они напечатают документы, относящиеся к тем совещаниям, из которых произошли правила» [1].

Безыменный автор статьи «Учиться или не учиться?» направил свой упрек в нежелании учиться не только против студентов, но и против всего русского общества. Этим и воспользовался Чернышевский, чтобы свести спор о беспорядках в университете на более общую почву. Противник его допускал, что существуют некоторые признаки желания русского общества учиться. Доказательством этому служили, по его мнению, «сотни» возникающих у нас новых журналов, «десятки» воскресных школ. «*Сотни* новых журналов, да где же это автор насчитал сотни? — восклицает Чернышевский. — А нужны были бы действительно сотни. И хочет ли автор знать, почему не основываются сотни новых журналов, как было бы нужно? Потому, что по нашим цензурным условиям невозможно существовать сколько-нибудь живому периодическому изданию нигде, кроме нескольких больших городов. Каждому богатому торговому городу было бы нужно иметь несколько хотя маленьких газет; в каждой губернии нужно было бы издаваться нескольким местным листкам. Их нет, потому что им нельзя быть... *Десятки воскресных школ*... Вот это не преувеличено, не то что *сотни новых журналов:* воскресные школы в империи, имеющей более 60 миллионов населения, действительно считаются только десятками. А их нужны были бы десятки тысяч, и скоро могли бы точно устроиться десятки тысяч, и теперь же существовать,

по крайней мере, много тысяч. Отчего же их только десятки? Оттого, что они подозреваются, стесняются, пеленаются, так что у самых преданных делу преподавания в них людей отбивается охота преподавать».

Сославшись на существование «сотен» новых журналов и «десятков» воскресных школ, как на кажущиеся признаки желания общества учиться, автор разобранной Чернышевским статьи поспешил прибавить, что признаки эти обманчивы. «Послушаешь крики на улицах, — меланхолически повествовал он, — скажут, что вот там-то случилось то-то, и поневоле повесишь голову и разочаруешься...» «Позвольте, г. автор статьи, — возражает Чернышевский, — какие крики слышите вы на улицах? Крики городовых и квартальных, — эти крики и мы слышим. Про них ли вы говорите? *Скажут, что вот там-то случилось то-то...* — что же такое, например? Там случилось воровство, здесь превышена власть, там сделано притеснение слабому, здесь оказано потворство сильному, — об этом беспрестанно говорят. От этих криков, слышных всем, и от этих ежедневных разговоров, в самом деле, поневоле повесишь голову и разочаруешься...» [1]

Обвинитель студентов нападал на их мнимую нетерпимость к чужим мнениям, на то, что они в своих протестах прибегают к свисткам, моченым яблокам и тому подобным «уличным орудиям». Чернышевский возражает ему, что «свистки и моченые яблоки употребляются не как *уличные орудия:* уличными орудиями служат штыки, приклады, палаши». Он предлагает своему противнику вспомнить, «студентами ли употребляются эти уличные орудия против кого-нибудь, или употреблялись они против студентов... и была ли нужда употреблять их против студентов» [2].

Понятно, какое впечатление должны были производить подобные статьи Чернышевского на русское студенчество. Когда впоследствии студенческие беспорядки повторились в конце шестидесятых годов, то статейка «Научились ли?» читалась на сходках студентов как лучшая защита их справедливых требований. Понятно также, как должны были встречать подобные вызывающие статьи наши предержащие власти. «Опасное» влияние великого писателя на учащуюся молодежь все более и более становилось для них несомненным.

Кроме текущей журнальной работы, Чернышевский усердно занимался также пропагандой основных теоретических положений своего миросозерцания. Полемика с тогдашними представителями русской вульгарной экономии показала ему, как ничтожен запас экономических сведений в русском образованном обществе. Он решился пополнить этот пробел и принялся за перевод и толкование Милля. Длинный ряд его экономических статей печатался в продолжение двух лет (1860—1861) на

страницах «Современника». Мы уже высказали свой взгляд на свойственные Чернышевскому метод и приемы экономического исследования. Во второй статье, которая будет специально посвящена этому предмету, мы сделаем подробный разбор экономического учения нашего автора [1]. Поэтому теперь мы ограничимся только следующим замечанием. Выбора книги Милля как пособия для распространения в русской читающей публике правильных политико-экономических воззрений никак нельзя признать удачным. Экономические взгляды Милля так неясны и непоследовательны, что в голове читателя никак не могло остаться ясных экономических понятий, несмотря на все поправки и дополнения, сделанные Чернышевским. Временами на самом Чернышевском заметно отражается влияние свойственного Миллю «синкретизма» [2]. Торопясь перейти к критике существующих общественных отношений с точки зрения здравой «теории», Чернышевский пропускает без разбора [3] такие взгляды Милля, которых и тогдашняя наука далеко не могла признать правильными. Местами кажется, что и сам Чернышевский разделяет эти ошибочные понятия [4]. Впрочем, теперь мы не станем пускаться в подробности.

Чернышевский мог бы найти в тогдашней западноевропейской экономической литературе писателей, гораздо более достойных серьезного внимания. По вопросу об отношениях труда к капиталу Родбертус является настоящим гигантом в сравнении с Миллем. По другим отделам полезнее было бы перевести, снабдив ее примечаниями и дополнениями, книгу Рикардо. У Рикардо есть чему поучиться даже сведущему читателю, между тем как даже сведущий читатель может сбиться с толку под влиянием Милля. Вредное влияние на нашу читающую публику этого человека, всю жизнь свою старавшегося сесть между двух стульев, сделалось особенно заметным впоследствии, когда примечания и дополнения Чернышевского к его книге были запрещены и в продаже оставался один только перевод ее. Почерпая из Милля свои экономические понятия, русская читающая публика не имела, можно сказать, ровно никаких экономических понятий.

Почти одновременно с популяризацией Милля Чернышевский предпринял перевод на русский язык Шлоссера, очень любимого им и действительно очень достойного уважения историка.

XI

Чернышевскому тогда было около 35 лет. Он находился в полном расцвете своих умственных сил, и до чего не мог бы он дойти в своем развитии! Но уже недолго оставалось ему жить на свободе. Он был признан главою крайней партии, явным

проповедником материализма и социализма. Его считали «коноводом» революционной молодежи, его винили за все ее вспышки и волнения. Как это всегда бывает в таких случаях, молва раздувала дело и приписывала Чернышевскому даже такие намерения и действия, каких у него никогда не было. В «Прологе пролога» Чернышевский сам описывает те сочувственно-либеральные сплетни, которые ходили в Петербурге относительно мнимых сношений Волгина (т. е. его самого) с лондонским кружком русских изгнанников. Сплетни эти возникали по самым ничтожным поводам, не имевшим решительно ничего общего с политикой. И, как водится, сплетнями не ограничивалось дело. «Охранительная» печать давно уже занималась литературными доносами на Чернышевского. В 1862 году «Современник» был на время приостановлен. Потом появились и нелитературные доносы. «Управляющий Третьим отделением собственной е. и. в. канцелярии, — говорится в обвинительном акте по делу Чернышевского, — получил безыменное письмо, коим предостерегают правительство от Чернышевского, «этого коновода юношей, хитрого социалиста»; он сам сказал, что его никогда не уличат; его называют вредным агитатором и просят спасти от такого человека; все бывшие приятели Чернышевского, видя, что его тенденции уже не на словах, а в действиях, люди либеральные, отдалились от него. Если не удалите Чернышевского, — пишет автор письма, — быть беде, будет кровь; эти шайки бешеных демагогов — отчаянные головы... Может быть, перебьют их, но сколько невинной крови прольется из-за них. В Воронеже, в Саратове, в Тамбове — везде есть комитеты из подобных социалистов, везде они разжигают молодежь. Чернышевского отправьте куда хотите, но скорее отнимите от него возможность действовать. Избавьте нас от Чернышевского ради общего спокойствия» [1].

Седьмого июля 1862 года Чернышевского арестовали. Так как, по словам доносчика, он сам сказал, что его никогда не уличат, то синие рыцари 3-го Отделения поспешили состряпать фальшивые улики. Как велось дело Чернышевского, видно из того, что прокурор не постыдился цитировать письмо безыменного доносчика даже в обвинительном акте, между тем как русский закон предписывает «по доносам в безыменных пасквилях и подметных письмах не производить следствия» (ст. 52 кн. II Зак. Уг., т. XV Св. зак., изд. 1857 г.). Еще до ареста Чернышевского схватили какого-то Ветошкина [2], у которого нашли будто бы письмо Герцена к Серно-Соловьевичу, где есть будто бы такая приписка: «Мы здесь или в Женеве намерены с Чернышевским издавать «Современник»». На основании этой приписки и арестовали Чернышевского. А между тем Герцен в номере 193 «Колокола» утверждал, что он ни слова не говорил в письмах

о своих планах литературной деятельности вместе с Чернышевским. «Я никогда не находился в переписке с Чернышевским. Я не мог писать, что мы намерены издавать «Современник» с ним, потому что не имел ни малейшего сведения, хочет он или нет издавать «Современник» вне России... Запрещение «Современника» было объявлено в газетах, мы тотчас предложили громко и открыто издателям «Современника» печатать его на наш счет за границей. На наше предложение никогда не было ни малейшего отзыва. Как же я мог писать об этом положительно и к тому же в Россию? Уж не служу ли после этого и я в тайной полиции?» [1] Но когда же останавливались перед ложью и фальсификациями усердные слуги русского правительства? При обыске у Чернышевского нашли несколько ничего не доказывающих бумаг и писем, привлекли к делу таких, уже всем известных тогда, доносчиков, как Всеволод Костомаров, раскопали даже дневник обвиняемого, в котором он, еще до своей женитьбы, писал, между прочим, что «его каждый день могут взять», — и дельце было обделано. Чернышевского предали суду Сената, обвиняя его: 1) в сношениях с Герценом; 2) в сочинении возмутительного воззвания «К барским крестьянам», переданного будто бы доносчику В. Костомарову для напечатания [2], и 3) в приготовлении к возмущению. Интересно, что единственным доказательством «приготовления к возмущению» было доставленное Костомаровым же письмо к какому-то Алексею Николаевичу, в котором в самых неопределенных выражениях говорится, что времени терять нечего, что «теперь или никогда» и что у неизвестного Алексея Николаевича нет энергии. Чернышевский настойчиво отрицал принадлежность ему этого письма, но если бы оно ему даже и принадлежало, то на основании его можно было бы доказать лишь участие его в заведении тайной типографии. «Вы вот уже около года водите нас своим станком и довели до такой минуты, далее которой откладывать мы не можем, если хотим, чтобы наше дело было выиграно». О каком деле говорится в письме, — это совершенно неизвестно. Упоминается в нем, правда, о печатании какого-то манифеста, но ведь не всякий манифест есть «приготовление к возмущению». Казалось бы, даже третьеотделенские юристы должны были понимать, что от заведения тайной типографии и печатания манифестов еще далеко до приготовления к возмущению. Они, конечно, и понимали это. Но еще лучше понимали они, что Чернышевский представляет собою огромную, незаменимую революционную силу.

Ничего невероятного нет в том предположении, что Чернышевский принадлежал к какому-нибудь революционному обществу. Напротив, такое предположение даже вполне вероятно [3]. Но где же в цивилизованном мире *вероятность* считается *юри-*

дической уликой? Нигде, кроме России, да и в России только в политических процессах.

Неразборчивость прокурорского надзора по отношению к уликам в деле Чернышевского показывает, между прочим, следующий факт. Обвинительный акт цитирует письмо подсудимого к жене, писанное им уже из крепости. «Наша с тобою жизнь принадлежит истории, — говорится в нем, — пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям, и будут вспоминать о них с благодарностью, когда уже не будет тех, кто жил с нами». Кроме этих слов, ясно указывающих на «приготовление к возмущению», обвинительный акт цитирует еще следующие строки из того же письма. Говоря жене о своем намерении составлять «*Энциклопедию знания и жизни*», Чернышевский пишет: «Со времени Аристотеля не было еще делано никем того, что я хочу делать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель» [1]. Что доказывают эти строки? Зачем ссылался на них составитель обвинительного акта? Ясное дело! человек, готовый к изданию энциклопедии, совершенно готов и к «возмущению»!

Около 2 лет тянулось следствие по делу Чернышевского. Он упорно отрицал возводимые на него обвинения и надеялся, по-видимому, что ему скоро удастся вырваться из когтей русского орла. На эту надежду указывает самое намерение издавать «Энциклопедию». Полон самых светлых надежд и роман «Что делать?», написанный им уже в заключении. Впрочем, в романе этом надежды приурочиваются не к юридическим соображениям о невозможности осудить его по недостатку улик, а к скорому торжеству освободительного движения в России. Намеки на близость этого торжества часто встречаются в романе. В эпилоге есть даже какие-то неясные указания на 1866 г. (роман окончен в апреле 1864 г. [2]), в котором должно произойти в России что-то особенное. Одна дама, являвшаяся в последних сценах романа и носившая траур по близком человеке, очевидно находившемся в тюрьме или в ссылке, в 1866 г. едет по улицам Петербурга уже веселая и радостная в сопровождении своего освобожденного друга. Мы, разумеется, можем только догадываться, чтó хотел сказать этим автор.

XII*

Содержания «Что делать?» мы излагать не будем. Кто не читал и не перечитывал этого знаменитого произведения? Кто не увлекался им, кто не становился под его благотворным влиянием

* [См. ниже вариант начала этой главы, написанный для немецкого издания, стр. 177.]

чище, лучше, бодрее и смелее? Кого не поражала нравственная чистота главных действующих лиц? Кто после чтения этого романа не задумывался над собственною жизнью, не подвергал строгой проверке своих собственных стремлений и наклонностей? Все мы черпали из него и нравственную силу, и веру в лучшее будущее,

И доверенность великую
К бескорыстному труду... [1]

Наши обскуранты не раз указывали на отсутствие в романе художественных достоинств, на его очевидную тенденциозность. С внешней стороны упреки эти справедливы: роман действительно очень тенденциозен, художественных достоинств в нем очень мало. Но пусть укажут нам хоть одно из самых замечательных, истинно художественных произведений русской литературы, которое по своему влиянию на нравственное и умственное развитие страны могло бы поспорить с романом «Что делать?»! Никто не укажет такого произведения, потому что его не было, нет и, наверное, не будет. С тех пор как завелись типографские станки в России и вплоть до нашего времени ни одно печатное произведение не имело в России такого успеха, как «Что делать?». Извольте после этого указывать на тенденциозность автора, извольте повторять, что он не художник! Читающая публика очень основательно заметит вам, что ей до этого нет дела, что всякая беллетристика хороша, кроме скучной, — роман же Чернышевского вызывал в ней восторг, а не скуку: этого с нее совершенно достаточно. Наконец, господа обскуранты, ведь вы также не чуждаетесь тенденциозности в своих беллетристических произведениях. Вы также не прочь написать тенденциозный роман или повесть. Вся беда в том, что *ваших* тенденциозных произведений никто не читает, что ими никто не увлекается. Как вы думаете, откуда происходит это различие? Не показывает ли оно, что тенденция тенденции рознь и что бывают такие тенденции, которые нисколько не мешают успеху окрашенных ими произведений?

В чем заключалась тайна колоссального, неслыханного успеха «Что делать?»? Именно в характере его тенденции, в полной своевременности распространения у нас высказанных автором мыслей. Сами по себе мысли эти были не новы, Чернышевский целиком взял их из западноевропейской литературы. Проповедью свободных и, главное, *искренних*, *честных* отношений в любви мужчины к женщине гораздо раньше его занималась Жорж Занд во Франции *. Лукреция Флориани [2] по нрав-

* Заметим кстати, что «Wahlverwandschaften» [«Родство душ»] Гёте и некоторые из его драм также представляют собою слово в защиту свободной любви. Это хорошо понимают многие немецкие историки немец-

ственным требованиям, предъявляемым ею к любви, ничем не отличается от Веры Павловны. Идеи Жорж Занд еще в сороковых годах встречали у нас самое горячее сочувствие. Белинский был страстным поклонником этой писательницы. В своих статьях он не раз проводил ее взгляды на свободу и искренность в любовных отношениях. Известно, как упрекал он пушкинскую Татьяну в том, что, любя Онегина, но в то же время будучи «другому отдана», она не последовала влечению своего сердца и продолжала жить с нелюбимым стариком-мужем. Лучшие из «людей сороковых годов» в своих отношениях к женщине держались тех же принципов, каким следовали Лопухов и Кирсанов [1]. Но до появления романа «Что делать?» эти принципы разделялись только небольшой кучкой «*избранных*», масса читающей публики совсем не понимала их. Даже Герцен не решился высказать их во всей полноте и ясности в своем романе «*Кто виноват?*». С выходом «*Что делать?*» вопрос был поставлен до последней степени ясно и резко. Никакие сомнения не могли более иметь места. Мыслящим людям оставалось: или руководствоваться в любви принципами Лопухова и Кирсанова, или, склоняясь пред святостью брака, прибегать, в случае появления у них нового чувства, к старому испытанному средству тайных амурных похождений, или, наконец, совершенно подавлять в себе всякое любовное чувство ввиду *принадлежности* своей другому, уже нелюбимому человеку. И выбор приходилось делать совершенно сознательно. Чернышевский так разъяснил этот вопрос, что естественная прежде необдуманность и непосредственность любовных отношений сделались совершенно невозможными. На любовь распространился контроль сознания, сознательный взгляд на отношения мужчины к женщине сделался достоянием широкой публики. И это было особенно важно у нас в эпоху шестидесятых годов. Пережитые Россией реформы перевернули вверх дном не только ее общественные, но и семейные отношения. Лучи света проникли в такие закоулки, которые до того времени оставались совершенно темными. Русские люди вынуждены были оглянуться на себя, посмотреть трезвыми глазами на свои отношения к ближним, к обществу и семье. В семейных отношениях, в любви и дружбе стал играть большую роль новый элемент — *убеждения*, которые имелись прежде лишь у самой маленькой кучки «идеалистов». Различие в убеждениях служило поводом к неожиданным разрывам. Женщина, «отданная» известному человеку, нередко с ужасом открывала, что ее законный «обла-

кой литературы, которые, не дерзая хулить такого авторитетного писателя и в то же время не смея согласиться с ним по своему филистерскому благонравию, лепечут обыкновенно нечто совершенно непонятное насчет странных будто бы парадоксов великого немца.

датель» есть обскурант, взяточник, низкопоклонный льстец перед начальством. Мужчина, с наслаждением «обладавший» прежде красавицей женою и неожиданно для него самого затронутый потоком новых идей, часто с отчаянием видел, что его прелестная игрушка интересуется вовсе не «новыми людьми» и не «новыми взглядами», а новыми нарядами да танцами, да еще чинами и жалованьем мужа. Все объяснения и увещания оказываются напрасными, красавица превращается в настоящую мегеру, как только муж попробует заикнуться, что он «служить бы рад», но что «прислуживаться тошно» [1]. Как быть? Что делать? Знаменитый роман показывал, как быть и что делать. Под его влиянием люди, считавшие себя прежде законной собственностью других, начинали повторять вместе с его автором: о грязь, о грязь, кто смеет обладать человеком! — и в них просыпалось сознание человеческого достоинства, и они, часто после жесточайших душевных и семейных бурь, становились на собственные ноги, устраивали свою жизнь сообразно со своими убеждениями и сознательно шли к разумной человеческой цели. Уже ввиду одного этого можно сказать, что имя Чернышевского принадлежит истории, и будет оно мило людям, и будут вспоминать его с благодарностью, когда уже не будет в живых никого из лично знавших *великого русского просветителя* [2].

Обскуранты обвиняли Чернышевского в том, что он проповедовал будто бы в своем романе «*эмансипацию плоти*». Нет ничего нелепее и лицемернее этого обвинения! Возьмите любой роман из великосветской жизни, припомните любовные похождения дворянства и буржуазии во всех странах и у всех народов, — и вы увидите, что Чернышевскому не было никакой надобности проповедовать давно уже совершившуюся эмансипацию плоти. Его роман проповедует, наоборот, *эмансипацию человеческого духа, человеческого разума*. Никто из людей, проникнувшихся направлением этого романа, не будет иметь склонности к будуарным похождениям, без которых жизнь не в жизнь «светским» людям, проникнутым лицемерным уважением к ходячей морали. Гг. обскуранты прекрасно понимают строго-нравственный характер произведения Чернышевского и сердятся на него именно за его нравственную строгость. Они чувствуют, что люди, подобные героям «Что делать?», должны считать их величайшими развратниками и испытывать к ним глубочайшее презрение.

Некоторые замечают также, что хорошо было Лопухову и Вере Павловне проявлять свои возвышенные чувства, когда у них не было детей: будь у них дети, им пришлось бы идти по избитой дороге в своих любовных отношениях. Чернышевский и сам говорит, что если бы у Веры Павловны были дети, то она, может быть, поступила бы иначе. Он прекрасно понимал, что

вопрос об отношениях мужчины к женщине тесно связан с вопросом о семье, без которой люди не могут жить в существующем теперь обществе. Он знал, что для того, чтобы любовь была вполне свободна, нужно перестроить все семейные, а следовательно, и все общественные отношения. Но он не остановился перед этой мыслью, потому что иное дело те любовные отношения, в которые люди будут вступать впоследствии, иное дело та человечность и разумность, которые уже и в настоящее время возможны в браке между развитыми людьми. Если бы потомство Веры Павловны и Лопухова умножилось, как песок морской, то и тогда они остались бы людьми разумными и гуманными, а следовательно, и не отравляли бы друг другу жизни за невольные, не зависевшие от их воли уклонения чувства. Чернышевский, может быть, даже нарочно изобразил в своем романе простейший случай: возникновение нового чувства у замужней бездетной женщины. Уяснив на этом случае взаимные обязанности порядочных людей, он затем мог уже ожидать, что понявшие его читатели сами решат, как должны вести себя в подобных случаях имеющие детей брачные пары: под влиянием различных частных соображений они могут поступать различно; но раз они поняли взгляд Чернышевского, они никогда уже не поведут себя подобно людям старого закала.

XIII

Мы знаем: распространение в России великих идей правды, науки, искусства составляло главную, можно сказать, единственную цель в жизни нашего автора. В интересах такого распространения написал он и роман «Что делать?». Ошибочно было бы рассматривать этот роман исключительно только как проповедь разумных отношений в любви. Любовь Веры Павловны к Лопухову и Кирсанову — это только канва, по которой располагаются другие, более важные мысли автора. Мы уже говорили об ассоциациях, заведенных Верой Павловной. Заставляя ее браться за эту деятельность, автор хотел указать своим последователям на практические задачи социалистов в России. В снах Веры Павловны яркими красками рисуются социалистические идеалы автора. Картина социалистического общежития нарисована им целиком по Фурье. Чернышевский не предлагает читателям ничего нового. Он только знакомит их с теми выводами, к которым давно уже пришла западноевропейская мысль. Здесь опять приходится заметить, что взгляды Фурье уже в сороковых годах известны были в России. За фурьеризм судились и были осуждены «петрашевцы» [1]. Но Чернышевский придал идеям Фурье небывалое до тех пор у нас распространение. Он ознакомил с ними широкую публику. Впо-

следствии у нас даже поклонники Чернышевского пожимали плечами, говоря о снах Веры Павловны. Снившиеся ей фаланстеры казались потом некоторым довольно наивной мечтою. Говорили, что знаменитый писатель мог бы побеседовать с читателем о чем-нибудь более к нам близком и более практичном. Так рассуждали даже люди, называвшие себя социалистами. Признаемся, мы совсем не так смотрим на это дело. В снах Веры Павловны мы видим такую черту социалистических взглядов Чернышевского, на которую, к сожалению, не обращали до сих пор достаточного внимания русские социалисты. В этих снах нас привлекает вполне усвоенное Чернышевским сознание того, что социалистический строй может основываться только на широком применении к производству технических сил, развитых буржуазным периодом. В снах Веры Павловны огромные армии труда занимаются производством сообща, переходя из Средней Азии в Россию, из стран жаркого климата в холодные страны. Все это, конечно, можно было узнать и из Фурье, но что этого не знала русская читающая публика, видно даже из последующей истории так называемого русского социализма. В своих представлениях о социалистическом обществе наши революционеры нередко доходили до того, что воображали его в виде федерации крестьянских общин, обрабатывающих свои поля тою же допотопною сохою, с помощью которой они ковыряли землю еще при Василии Темном *. Но само собою разумеется, что такой «социализм» вовсе не может быть признан социализмом. Освобождение *труда* может совершиться только в силу освобождения человека от «*власти земли*» [1] и вообще *природы*. А для этого последнего освобождения безусловно необходимы те армии труда и то широкое применение к производству современных производительных сил, о которых говорил в снах Веры Павловны Чернышевский и о которых мы в своем стремлении к «практичности» совершенно позабыли.

Что социалистические взгляды Чернышевского не были поняты очень многими из его читателей, видно из прекрасной в литературном отношении статьи Д. И. Писарева: «*Мыслящий пролетариат*» [2], представляющей собою разбор «*Что делать?*» — Писарев в восторге от Веры Павловны, Лопухова и Кирсанова. Для него они являются истинными представителями «базаровского типа», поставленными в наиболее подходящую для них обстановку **. Это новые люди в полном смысле слова. Но как

* [См. ниже дополнение к этому месту для немецкого издания, стр. 179].

** Впрочем, сам Чернышевский едва ли смотрел на своих героев, как на представителей «базаровского типа». «Современник» видел в Базарове карикатуру на «молодое поколение» (см. известную статью *М. А. Антоновича* «Асмодей нашего времени» в мартовской книжке «Современника» 1862 г.) [3].

представляет он себе характер и деятельность новых людей? Он схватывается прежде всего за то, что все они занимаются естественными науками. Естественные науки были, как известно, для Писарева альфой и омегой знания. Занимайся одной из этих *настоящих* наук, трудись, устрой разумно свои отношения к жене и друзьям — и ты тем самым станешь «мыслящим пролетарием», будешь работать на пользу других, пока еще не мыслящих пролетариев, будешь вполне «*солидарен*» с ними. О том, что у «мыслящего» пролетария могут быть иные, более широкие задачи по отношению к остальным пролетариям, в статье нет ни слова. Конечно, хорошо завести, подобно Вере Павловне, ту или другую ассоциацию, но главное не в этом, а в разумном устройстве личной жизни и в занятии естественными науками. Рахметова Писарев даже вовсе не понимает. Он, пожалуй, и не прочь и похвалить Рахметова (нельзя не похвалить его, его хвалит сам Чернышевский), но, не понимая этого типа, он невольно обнаруживает свою антипатию к нему. Настоящими, идеальными «новыми людьми» для Писарева все-таки остаются Вера Павловна, Лопухов и Кирсанов. Между тем, по мнению Чернышевского, Рахметов так же относится к Лопухову и его ближайшим друзьям, как огромный дворец относится к обыкновенному дому. Рахметов и выведен для того, чтобы показать относительную заурядность людей, подобных Лопухову. Лопухов — человек личных отношений. Он очень сочувствует социализму, но занимается общественными делами лишь мимоходом, лишь когда случится. Рахметов посвящает общественному делу все свое время и все свои помышления. Он совсем не знает личных печалей и радостей. Он даже решился никогда не сходиться с женщиной. Поэтому он совершенно застрахован от историй, подобных той, в которой обрисовался характер Лопухова и Кирсанова. Это — человек идеи. Только на служении идее и могут обнаружиться богатые силы этого железного характера. В личных отношениях он тяжел, если хотите — просто невыносим, как это без церемонии говорит ему Вера Павловна. Да он и сам сознает это и нимало не огорчается подобным сознанием. Большому кораблю — большое плавание.

Чернышевский присутствовал при зарождении у нас нового типа «новых людей» — революционера. Он радостно приветствовал появление этого типа и не мог отказать себе в удовольствии нарисовать хотя бы неясный его профиль. Вместе с тем он с грустью предвидел, как много мук и страданий придется пережить русскому революционеру, жизнь которого должна быть жизнью суровой борьбы и тяжелого самоотвержения. И вот Чернышевский выставляет перед нами в Рахметове настоящего аскета. Рахметов положительно мучает себя. Он совсем «без-

жалостный до себя», по выражению его квартирной хозяйки. Он решается даже попробовать, сможет ли вынести пытку, и с этой целью лежит всю ночь на войлоке, утыканном гвоздями. Многие, и в том числе Писарев, видели в этом простое чудачество. Мы согласны, что некоторые частности в характере Рахметова могли быть изображены иначе. Но вся совокупность его характера все-таки остается вполне верной действительности. В каждом из выдающихся русских революционеров была огромная доля рахметовщины.

Теперь революционер из «интеллигентной» среды почти совершенно сыграл свою роль. В нем уже нет оригинальности, он повторяется, мельчает. На смену ему должны прийти — и конечно придут — революционеры из рабочей среды, эти истинные «дети народа». Но он имел свою, полную славы историю, и потому нельзя не подивиться чуткости Чернышевского, который сумел так хорошо подметить и так верно изобразить, по крайней мере, главнейшие черты только что нарождавшегося тогда типа [1].

XIV

Сенат постановил лишить Чернышевского прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на 14 лет, а затем поселить в Сибири навсегда. В окончательном приговоре срок каторжной работы был сокращен до 7 лет. 13 июня 1864 года на Мытнинской площади на Песках происходило чтение приговора над великим русским социалистом. Бледный, исхудалый, измученный, он был выставлен к *«позорному»* столбу и стоял молча, отвернувшись спиной к чиновнику, читавшему приговор. Над осужденным проделан был обряд преломления шпаги, и затем руки его были продеты палачом в кольца, прикованные к эшафотному столбу. В эту минуту на эшафот упал букет, и в толпе, переполнявшей Мытнинскую площадь, раздались крики сочувствия к осужденному... Чернышевского отправили в Сибирь.

Известный Муравьев-Вешатель хотел было притянуть его к Каракозовскому делу, но Александр II почему-то воспротивился этому, и Чернышевский остался в Сибири. Там он пробыл 20 лет, причем по настоянию шефа жандармов, графа Шувалова, его миновали все законы смягчения. По окончании 7-летней каторжной работы он был поселен в Вилюйске, Якутской области, где единственными его собеседниками могли быть только сторожившие его казаки и жандармы. В этом новом заключении в отдаленном и до крайности нездоровом сибирском захолустье Чернышевский прожил до самого 1883 года [2], когда ему позволили переехать на житье в Астрахань. Нужно удивляться, как вынес всю массу обрушившихся на него преследований этот физически бессильный, слабогрудый человек.

Мы не станем говорить здесь о довольно многочисленных попытках освобождения Чернышевского, так как они достаточно известны публике [1].

Тотчас по возвращении из Сибири Чернышевский снова деятельно принялся за литературную работу. Он прилежно переводил «Всемирную историю» Вебера и написал несколько статей для периодических изданий. Замечательно, что одной из последних статей, написанных нашим автором до ссылки, были «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова» и одной из первых больших статей, написанных им по возвращении из ссылки, было продолжение тех же «Материалов». Очевидно, что воспоминание о безвременно умершем, даровитом и любимом товарище никогда не покидало Чернышевского.

О статьях, написанных им после ссылки, мы поговорим во второй статье. Теперь скажем только, что хотя по языку и манере легко было узнать в этих статьях Чернышевского, но в них уже нет прежнего блеска и прежней глубины его мысли. Его статья о Дарвине положительно слаба, слаба до крайности, до того, что производит самое тяжелое впечатление [2]. Читая ее, чувствуешь, что имеешь дело с писателем, уже окончательно разбитым и надломленным. Небольшая доля свободы, предоставленная ему перед смертью, не могла уже воскресить прежнего Чернышевского. Прежний Чернышевский был убит приговором Сената, и никогда русское правительство не совершило большего преступления по отношению к умственному развитию России. Вот почему, заканчивая эту первую статью, мы с величайшим сочувствием повторим слова Герцена, написанные им, как только ему стал известен приговор по делу Чернышевского: «Да падет проклятием это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую подкупную журналистику, которая накликала это гонение, раздула его из личностей. Она приучила правительство к убийствам военнопленных в Польше, а в России — к утверждению сентенций диких невежд Сената и седых злодеев Государственного Совета... А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами!» [3].

[ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ НЕМЕЦКОГО ИЗДАНИЯ КНИГИ «Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ» (*1894 г.*)]

Приложение к стр[анице] 93-й «Соц[иал]-демократа» *

‹Чернышевский именно и хотел посвятить свои силы распространению на своей родине высоких идей правды, искусства, науки› [1].

Он стал писателем, появление в печати его диссертации обратило на него внимание редакции «Современника», издававшегося с 1847 г. Панаевым и поэтом Некрасовым. Чернышевскому предложили постоянное сотрудничество в этом журнале и даже отдали в его заведование весь критический отдел. Впоследствии, когда «Современнику» позволили в 1859 г. писать также и о политике, Чернышевский заведовал и политическим отделом. Работал он поистине неутомимо. Обыкновенно статьи его распределялись по различным отделам журнала таким образом: он давал, во-первых, большую статью по какому-нибудь теоретическому вопросу, затем писал политическое обозрение, делал обзор русской, а иногда иностранной литературы, разбирал несколько новых книг и, наконец, как бы для отдыха и развлечения, предпринимал еще полемические выходки против своих противников. Это упорство в труде поддерживалось в значительной степени тем обстоятельством, что даже между сотрудниками «Современника», особенно в первые годы литературной деятельности Чернышевского, было мало людей, доросших до его взглядов на вещи. В романе «Пролог пролога» писатель Волгин, под именем которого Чернышевский вывел самого себя **, прямо говорит, что вынужден писать много, опасаясь, как бы другие не написали глупостей. Впрочем, с тех пор как Чернышевский сделался главным работ-

---

* [См. настоящий том, стр. 75—76, и нем. изд., стр. 31].

** Родина Чернышевского, Саратов, стоит на реке Волге.

ником в «Современнике», к этому изданию естественно тяготели все свежие, нарождающиеся литературные силы. Так, уже в 1856 г. в нем стал писать скоро сделавшийся знаменитым Добролюбов, которого Чернышевский ставил — однако с излишней скромностью — гораздо выше себя. Значение журналистики было тогда у нас очень велико. Теперь общественное мнение значительно переросло (стесненную цензурой) журналистику; в сороковых годах оно еще не доросло до нее, конец же пятидесятых и начало шестидесятых годов является эпохой наибольшего согласия между общественным мнением и журналистикой и наибольшего влияния журналистики на общественное мнение. Только при таком условии и возможно было то горячее увлечение литературной работой и та искренняя вера в значение литературной пропаганды, которые замечаются во всех тогдашних выдающихся писателях. Все старое, традиционное, от предков унаследованное подвергалось критике, все новое обсуждалось с точки зрения «разума», который был призван, казалось, заново переделать все взгляды русских читателей, начиная с самых общих философских вопросов и кончая вопросами о том, следует ли пеленать детей в колыбели и сечь их в школьном возрасте. Эта эпоха русской жизни чрезвычайно напоминает то время во Франции, когда великий просветитель Вольтер писал решительно обо всем на свете, от теории Ньютона до воспитания молодых девушек включительно.

Журнал Чернышевского стоял во главе тогдашнего литературного движения России. Его жадно читали все «новые люди» [1], его страшно боялись все те, которые, по той или другой причине, хотели бы затормозить это движение. Из страха естественно вырастает ненависть. Чем более росло влияние «Современника», тем более нападок с самых различных сторон сыпалось на этот журнал вообще и на Чернышевского в частности. Сотрудников «Современника» стали считать опасными людьми, ниспровергающими все «основы общества». Некоторые из «передовых людей» сороковых годов, бывшие некогда друзьями влиятельнейшего писателя того времени Белинского, отшатнулись от «Современника», как от органа «нигилистов», и стали кричать, что Белинский никогда не одобрил бы принятого им направления. Так поступил Тургенев *. Почти так же поступил и славянофильски радикальный Герцен, нападавший в своем лондонском «Колоколе» на «желчевиков», которым будто бы ничем угодить невозможно [3]. «Современник» с своей стороны не оставался в долгу. Он отвечал на нападки резкими полемиче-

* Чернышевский рассказывает, что Тургенев мог еще до некоторой степени выносить лично его, но зато уже совсем не терпел Добролюбова: «вы простая змея, а Добролюбов — очковая», — говорил он Чернышевскому [2].

скими статьями и, кроме того, персифлировал [1] их в особом приложении, носившем название «Свисток». В «Свистке» писал иногда и Чернышевский, но главным работником там был Добролюбов, обладавший замечательным талантом писать стихотворные пародии на высокопарные разглагольствования «охранителей». «Охранители» попробовали было бороться с «Современником» тем же оружием, но очень скоро убедились в том, что «les rieurs» (смеющиеся) находятся не на их стороне.

Чернышевский с головой ушел в литературную борьбу, так что писать историю этого периода его жизни — значит писать историю его литературной деятельности. Само собой понятно, что мы не обойдем молчанием этой деятельности, но прежде посмотрим, как же понимал он те идеи «правды, искусства, науки», которые излагались и защищались им в «*Современнике*».

По своим философским взглядам он был последователем Фейербаха, к которому он относился с величайшим уважением, ставя его наряду с Гегелем, чем сказано очень много, так как Чернышевский, вопреки все более и более распространявшемуся предрассудку «мыслящих пролетариев», считал Гегеля одним из гениальнейших мыслителей всех времен и народов *. Как последователь Фейербаха, Чернышевский был противником философского идеализма и дуализма. «Принципом философского воззрения на человеческую жизнь, — писал он в своей статье «Антропологический принцип в философии», — служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов, зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека. Философия видит в нем то, что видят медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет» **. Это довольно ясно. Но из этого еще не следует, что Чернышевский был последовательным материалистом в новейшем смысле этого слова. Сам Фейербах был, как мы знаем, еще очень далек от подобной

* В действительности Фейербах был гораздо ниже и беднее Гегеля, как это прекрасно показано Энгельсом и как на это указывал еще Маркс в письме к редактору берлинского «Социал-Демократа», напечатанном вскоре по смерти Прудона [2].

** Еще раз напоминаем нашим немецким читателям, что Чернышевский должен был выражаться очень осторожно, так как писал в подцензурном русском журнале.

последовательности, и ошибки учителя оставили глубокий след на миросозерцании ученика. Материализм Чернышевского гораздо более заметен в его «антропологических», чем в его исторических воззрениях. Смотря на человека, как на продукт обстоятельств, Чернышевский относится с величайшей гуманностью даже к таким некрасивым проявлениям испорченной человеческой природы, ⟨в которых идеалисты видят лишь «злую волю», заслуживающую строгой кары...⟩.

[Примечание к странице 105] *

⟨Вообще во взглядах Чернышевского на разумный эгоизм заметно свойственное всем «просветительным периодам» стремление искать в рассудке опоры для нравственности и в более или менее основательной расчетливости отдельного лица— объяснения его характера и поступков.⟩

Xenophon в своих Erinnerungen an Socrates ** (6, 27) приводит, между прочим, следующий довод этого мудреца в пользу той мысли, что лучше вести дружбу с честными людьми, чем с плутами: «Es ist aber vortheilhafter, den Rechtschaffenen gutes zu erweisen, da ihre Zahl geringer ist, als den Schlechteren, deren Zahl grösser ist, denn die Schlechten bedürfen weit mehr Wohltaten, als die Rechtschaffenen» ***. Это уже полное торжество и последний предел рассудочности, за которым она тотчас же должна прийти к абсурду.

[Рукописное продолжение страницы 134] ****

⟨Но возвратимся к нашему автору. Зная теперь общий характер его взглядов, зная достоинства и недостатки свойственного ему понимания «высших идей правды, науки, искусства», мы легко можем дать себе отчет об его литературной деятельности.⟩

Первый практический вопрос, с которым пришлось столкнуться Чернышевскому, был вопрос об уничтожении крепостного права. В ту пору, когда этот вопрос был только что поставлен на очередь правительством Александра II, передовые

* [См. настоящий том, стр. 89, и нем. изд., стр. 37.]
** [Ксенофонт... Воспоминаниях о Сократе]
*** [«... гораздо более нужны услуги по отношению к хорошим, но малочисленным гражданам, чем по отношению к дурным, хотя бы многочисленным, так как дурные требуют гораздо более одолжений, чем хорошие».] [1]
**** [См. настоящий том, стр. 122, и нем. изд., стр. 72.]

люди России полагали, что нетрудно показать этому правительству, до какой степени его собственные интересы совпадают с интересами освобожденного крестьянства. Иные думали даже, что правительству это ясно и без пояснений. «Ты победил, Галилеянин!» — писал Герцен, обращаясь к молодому царю [1].

Около того же времени он публично провозглашал тост за царя-освободителя [2]. В течение некоторого времени подобным же иллюзиям поддавался, кажется, и Чернышевский. По крайней мере, он старательно выяснял правительству, в чем заключаются его правильно понятые интересы. Как много написано им по крестьянскому вопросу, видно из того, что в особом заграничном издании его относящиеся сюда статьи составляют большой том очень убористой печати [3]. Он отстаивал, разумеется, освобождение крестьян с землею и утверждал, что выкуп земель, отходящих в надел крестьянам, не может представить для правительства никакого затруднения. Он доказывал эту мысль и общими теоретическими соображениями и самыми подробными примерными вычислениями.

[Рукописное продолжение 148-й страницы] *

⟨Если наша «интеллигенция» до сих пор так крепко держится за общину, то в этом сказывается неизгладимое влияние Чернышевского.⟩

Одним из главных доводов его в пользу общины является указание на то, что община спасет нас от «язвы пролетариатства». При этом ему, по-видимому, не раз вспоминались рассуждения реакционеров, вроде барона Гакстгаузена, видевших в «язве пролетариатства» главный источник революционного движения в Западной Европе. И ему приходили сомнения относительно выгод, которые принесло бы с собою устранение названной язвы делу русского прогресса. Но он скоро прогонял такие сомнения. «Земледельческий класс, хотя и всегда пользовался у нас землею по общинному порядку, не всегда являлся в истории... с неподвижным характером... Нам... нет нужды толковать, каков характер западноевропейского поселянина. Напомним только о том, что казаки были большей частью из поселян и что с начала XVII века почти все драматические эпизоды в истории русского народа были совершены энергией земледельческого населения» [4]. Здесь крестьянские войны ставятся, как мы видим, по своему историческому значению на одну доску с революционными движениями новей-

* [См. настоящий том, стр. 137, и нем. изд., стр. 85.]

шего пролетариата, — смешение, совершенно невозможное для социалиста нашего времени, но совершенно незаметное для русских революционеров эпохи Чернышевского.

Либеральные экономисты третировали общину, как отсталую форму землевладения, свойственную лишь первобытным и варварским народам. Отражая этот довод, Чернышевский ссылался на Гегеля. Третья и конечная фаза развития всякого явления, говорил он, очень похожа на первую его фазу. Народы начали с общинного землевладения и они непременно вернутся к нему в более или менее близком будущем. Правда, западноевропейские народы от первобытного общинного землевладения перешли и должны были перейти на время к частной поземельной собственности. Но этот промежуточный период может быть совершенно обойден другими странами, позже выступившими на путь исторического развития и имеющими перед собою опыт европейского Запада. К числу таких стран принадлежит Россия. Ей нет решительно никакой надобности вводить у себя ту форму землевладения, несостоятельность которой ясно обнаружена уже западноевропейской историей.

Статья, в которой заключается эта аргументация Чернышевского [1], написана так ловко и так, по внешности, убедительно, что либеральные противники сельской общины не нашли против нее никакого возражения. Уже одно это обстоятельство показывает, до какой степени отвлеченны были их собственные взгляды на общественные вопросы. Доводы Чернышевского могли быть убедительны только для людей, ставящих себя «*над обществом*», только для *утопистов* различных направлений. В самом деле, у Гегеля всякое развитие — и в логике, и в природе, и в обществе — совершается *само из себя*, силою своей имманентной диалектики. Если Чернышевский хотел отстаивать общинное землевладение с точки зрения Гегеля, он должен был показать, что внутренние отношения русской сельской общины сами собой ведут к созданию такого общественного порядка, который, во-первых, будет чужд «ошибок» Запада, а во-вторых, близко подойдет к идеалам социалистов (в лице которых западноевропейские народы сознали неудобства и несостоятельность частной поземельной собственности). Но у Чернышевского нет ни слова о *такой* логике общинного землевладения. Эта объективная логика заменяется у него субъективной логикой «передовых» русских людей, знакомых с западноевропейским социализмом (в его утопической форме) и находящих, что Россия должна воспользоваться опытом более передовых стран. Гегель едва ли согласился бы с *подобным* применением его взглядов. Мы не говорим уже о том, что у него третья фаза имеет лишь формальное сходство с первою, между тем как Чернышев-

ский почти отождествляет социалистическое общество — как оно представлялось социалистам-утопистам — с русской сельской [общиной], которая притом очень далека от действительно первобытной формы землевладения.

«Отвлеченной истины нет, истина конкретна... Все зависит от обстоятельств времени и места» [1], — говорил тот же Чернышевский в другой статье, излагая того же Гегеля. Защищая общинное землевладение ссылками на Гегеля, он должен был прежде всего припомнить *эту сторону* гегелевских взглядов. Тогда он рассуждал бы иначе. Хорошая или плохая вещь общинное землевладение? Вообще нельзя отвечать на это решительным образом. Надобно знать, каково ее современное положение и какое положение готовит ей вероятное будущее. «Отвлеченной истины нет, истина конкретна»... но Чернышевскому захотелось найти именно отвлеченную истину, и он пошел вразрез с духом той самой философии, на которую ссылался.

До какой степени Чернышевский не замечал несостоятельности своей отвлеченной точки зрения на общину, показывает следующее замечательное обстоятельство. Статье, доводы которой мы только что изложили, предшествует вступление, в котором наш автор высказывает уже знакомый читателям безотрадный взгляд на будущность русского крестьянского землевладения и «*стыдится*» того, что он легкомысленно выступил на защиту общины. На первый взгляд это кажется совершенно непонятным: с одной стороны, человек говорит, что он стал «безрассуден», даже более — «стал глуп в своих собственных глазах» потому, что защищал общину, а с другой — он опять защищает ее, и защищает несокрушимым, по его мнению, оружием [2]. Что же это значит? Это значит то, что в одном случае Чернышевский говорит о *действительной* русской общине, находящейся в определенном историческом положении. Дело этой общины кажется ему окончательно проигранным. Но, *как утопист*, он считается не с одними только *действительными* общественными отношениями, он не забывает также тех *возможных* отношений, которые играют такую большую роль в миросозерцании всякого утописта. С точки зрения этих возможных отношений община по-прежнему остается прекрасной вещью, и защищать ее не только не стыдно, а, напротив, очень хорошо. Таким образом, возможность оказывается областью, совершенно независимой от действительности. Эта логическая ошибка постоянно повторялась впоследствии у всех русских народников, вплоть до Г. И. Успенского включительно. Впрочем, взгляд Чернышевского на общинное землевладение все-таки очень значительно разнился от народнического взгляда.

[Рукописное продолжение к странице 160] *

Революционное настроение польского общества совпало с крайним возбуждением оппозиционных элементов в России. Волновались студенты, возникали тайные общества, печатавшие прокламации и ожидавшие поголовного восстания крестьян, недовольных условиями их «освобождения». Все эти «беспорядки» имели прямое влияние на судьбу Чернышевского.

«В то время, — говорит в своих воспоминаниях покойный Шелгунов, — прокламации вообще распространялись с большою смелостью и довольно открыто. Случалось встречать знакомых с оттопыренными карманами, и на вопрос: «что это у вас?» получался совершенно спокойный ответ: «прокламации», точно это какое-нибудь дозволенное и даже одобренное произведение печати. Или у вас звонят. Вы отворяете дверь и видите знакомого, который, не говоря ни слова и даже делая вид, что не узнал вас, сует вам в руку пук прокламаций и торопливо уходит с таким же инкогнито. Прокламации раскладывали в театре на кресла, в виде афиш, приклеивали к стенам в концертных залах, совали, как рассказывают, даже в карманы, а про прокламацию «*К молодому поколению*» [1] говорили, что какой-то господин ехал на белом рысаке по Невскому и раскидывал ее направо и налево. Наконец, прокламации рассылались по почте. С особенною смелостью распространялась и прокламация «*К офицерам*» [2]. Она была распространена в христову заутреню ** и, как рассказывали, раздавалась даже в церквах» [5]. Тот же Шелгунов замечает, что все эти прокламации по своему значению «были просто актом смелости и производили

* [См. настоящий том, стр. 151, и нем. изд., стр. 105. Начало X(VIII) главы.]

** То есть в заутреню в день воскресения Христова, на святой. Замечательнее всех других тогдашних воззваний был летучий листок «*Молодая Россия*» [3], приглашавший учащуюся молодежь («нашу главную надежду») готовиться к «кровавой и неумолимой революции» с криком «да здравствует социальная и демократическая республика русская». В листке этом осуждалась на гибель как царская семья, так и вся «*императорская партия*». Либеральные конституционалисты третируются в нем очень враждебно. В пример русским революционерам автор листка ставит великих французских террористов прошлого века. Революционная партия должна захватить политическую власть в свои руки с тем, чтобы «при помощи ее ввести другие основания экономического и общественного быта в наивозможно скорейшем времени». Герцен справедливо заметил по поводу «Молодой России» в своем «Колоколе», что «звать к оружию можно только накануне битвы» и что «всякий преждевременный призыв — намек, весть, поданная врагу, и обличение перед ним своей слабости» [4]. Но в том-то и дело, что тогдашним русским революционерам казалось, будто они находятся уже «накануне битвы». Они не понимали, что о революции не может быть речи до тех пор, пока учащаяся молодежь есть «главная надежда» революционеров.

впечатление хлопающих петард». И это справедливо. Трудящееся население Петербурга наверное ничего не поняло из разбросанной по улицам прокламации «К молодому поколению», прокламации «Молодая Россия». Но уже самая смелость распространителей прокламаций заставляла правительство предполагать, что за ними стоит большая революционная сила. Это давало хороший предлог к принятию тех «мер кротости», с помощью которых русское правительство обыкновенно обращает своих противников на истинный путь. Начались аресты. На другой же день после распространения прокламации «К молодому поколению» (это было осенью 1861 г.) арестовали одного из самых выдающихся сотрудников «Современника» М. И. Михайлова. Это событие вызвало большое волнение в литературном мире Петербурга. Дня через два или три у издателя журнала «Русское Слово» [1], графа Кушелева, собрались почти все петербургские литераторы, чтобы обсудить, что они могут предпринять в пользу арестованного. Решено было подать министру народного просвещения (печать состояла тогда в его ведении) петицию с просьбой принять участие в судьбе Михайлова. Министр (уже упомянутый выше адмирал Путятин) принял петицию, хотя и заметил принесшим ее делегатам, что в России нет *«сословия»* литераторов. С своей стороны либеральный Александр II приказал посадить делегатов на гауптвахту *. Между тем Михайлов сидел в крепости и поражал допрашивавших его следователей резкостью и правдивостью своих ответов [2]. Он признал себя автором одной из прокламаций и объявил, что всей душой ненавидит существующий в России порядок вещей и с нетерпением ждет того времени, когда свергнуто будет царское правительство. Сенат приговорил его к 15 годам каторжной работы в рудниках (самый тяжелый род каторжной работы). Царь уменьшил этот срок до 7 лет. Это было очень grossmütig **, а в то же время и не мешало достижению цели: устранению одного из главных «коноводов» революционного движения. Теперь очередь была за *самым главным* «коноводом», за Чернышевским.

Долго памятные всему Петербургу студенческие волнения 1861 г. вызваны были тем, что даже в медовый месяц своего либерализма правительство Александра II не могло, как уже сказано, вытерпеть даже отдаленного намека на академическую свободу. В 1856 г. попечителем петербургского учебного округа назначен был князь Г. А. Щербатов, изображавший собою нечто вроде либерала. Он разрешил студентам иметь кассу, библиотеку, читальню и издавать свой «сборник». Для заведо-

---

* Впрочем, потом он «простил» их.

** [великодушно]

вания всеми этими отраслями студенческого хозяйства собирались сходки, выбиравшие своих уполномоченных. Студенты стали жить корпоративной жизнью. Вот это-то обстоятельство и не нравилось правительству. В 1860 г. князь Щербатов должен был выйти в отставку и на его место назначен кавказский генерал Филиппсон. Студентов начали «*подтягивать*». Запрещены были студенческие сходки, запрещены публичные лекции, которые читались профессорами для увеличения средств студенческой кассы, самая касса, равно как и библиотека, принадлежавшая студентам, была закрыта. Корпорационной жизни студентов был положен конец, а вместе с тем приняты были меры для ограничения наплыва в университет учащихся (в то время их было в Петербургском университете 1500; в последние годы царствования Николая — всего 300): университетский Совет уже не мог увольнять студентов от платы за слушание лекций. Таков был новый университетский устав, придуманный «просвещенным мореплавателем», министром народного просвещения *адмиралом* Путятиным. Лучшие профессора Петербургского университета поспешили подать в отставку [1], а студенты, несмотря на запрещение, стали собираться на шумные сходки. Произошла даже демонстрация студентов, ходивших объясняться с попечителем Филиппсоном. Верный своим боевым воспоминаниям, Филиппсон обратился к *военной силе*. Произошло уличное столкновение студентов с солдатами, университет был на время закрыт, а студентов было арестовано так много, что для них не нашлось уже места в Петропавловской крепости, их отвезли на пароходах в Кронштадт[2].

Все это происходило в 1861 г., а весною следующего года в Петербурге начались частые и сплошные пожары, которые правительство взваливало на «нигилистов». Реакционная печать вопила о необходимости строгих мер и самым недвусмысленным образом доносила на Чернышевского и его единомышленников.

С своей стороны, Чернышевский придавал своим статьям все более и более революционный характер. Он, находивший когда-то ⟨возможным и полезным разъяснять правительству его собственные выгоды в деле крестьянского освобождения, теперь уже и не думает обращаться к правительству⟩.

*[Рукописное продолжение страницы 168 *]*

Фабула романа «*Что делать?*» очень несложна. Студент петербургской медико-хирургической академии Лопухов встречается с очень небогатой молодой девушкой, Верой Павловной

* [См. наст. том, стр. 159, и нем. изд., стр. 115. Начало XII(X) главы].

Розальской, которую ее родители хотят насильно выдать замуж за пустого и развратного, но очень богатого офицера. Чтобы вывести ее из тяжелого положения, Лопухов предлагает ей тайно вступить с ним в *фиктивный* брак. Вера Павловна соглашается и таким образом избавляется от тяжелой родительской опеки. В течение некоторого времени она остается лишь фиктивною женою Лопухова, но потом влюбляется в него, и он становится ее мужем не только по закону. Лопуховы очень счастливы. Они ведут разумную жизнь *«новых людей»*, окруженные разумными и честными друзьями. Но Вера Павловна недовольна этой жизнью. Ей хочется взяться за практическое осуществление тех социалистических идей, о которых она так много думала и так часто беседовала с друзьями. Лучшим путем осуществления этих идей она и ее друзья считают устройство производительных рабочих ассоциаций. И вот она берет на себя почин организации петербургских швей. Дело это, — которое излагается у Чернышевского по обыкновению с целым рядом подробнейших вычислений, показывающих преимущества нового принципа, — быстро развивается. Вера Павловна может назвать себя совершенно счастливой. Но ее ждет тяжелая драма. Между друзьями Лопуховых был один молодой, подающий блестящие надежды профессор физиологии по имени Кирсанов. Вера Павловна с ужасом замечает в себе любовь к Кирсанову, который, в свою очередь, неожиданно для себя открывает, что он любит Веру Павловну. Оба они настойчиво борются с своим чувством. Но чувство не поддается их усилиям: Лопухов замечает его и находит, что для счастья друга и любимой женщины он должен сойти со сцены. Он исчезает; полиция и почти все его друзья убеждены, что он утопился в Неве. Вера Павловна свободна перед лицом закона. Теперь ничто не мешает ей выйти замуж за Кирсанова. И она действительно выходит за него, узнав, что Лопухов жив и находится в Америке. Когда этот последний видит, что ему удалось преодолеть свое чувство к Вере Павловне, он возвращается в Петербург и женится на одной из приятельниц Кирсановых. Его новая жена тоже занимается организацией швейных мастерских. Обе семьи, Лопуховы и Кирсановы, живут в величайшей дружбе.

Как видит читатель, почти каждое из главных действующих лиц романа ведет себя так, что «охранители» имеют полное право вопить о потрясении священных «основ» семьи, об оскорблении нравственности, о поругании закона и т. д. И охранители действительно вопили и вопят об этом вплоть до настоящего времени. Вместе с тем они кричат, что роман лишен всяких художественных достоинств, что Чернышевский обнаружил в нем полное отсутствие художественного таланта. Этот

второй упрек справедлив только отчасти: комические лица в романе «Что делать?» (например, родители Веры Павловны) хорошо очерчены и полны жизни, но истинные герои романа, Вера Павловна и ее друзья, действительно мало удачны с художественной точки зрения. Однако что же из этого? Пусть укажут нам 〈хоть одно из самых замечательных, истинно художественных произведений русской литературы, которое по своему влиянию на нравственное и умственное развитие страны могло бы поспорить с романом «Что делать?».〉

[Рукописное продолжение страницы 172] *

〈В своих представлениях о социалистическом обществе наши революционеры нередко доходили до того, что воображали его в виде федерации крестьянских общин, обрабатывающих свои поля тою же допотопною сохою, с помощью которой они ковыряли землю еще при Василии Темном.〉

С другой стороны, несомненно, что взгляд на практический путь осуществления социалистических идей, выраженный Чернышевским в его знаменитом романе, должен быть признан отсталым даже для своего времени. Очень замечателен тот исторический факт, что проповедь ассоциаций велась одновременно и в России и в *Германии.* В 1863 г. появился роман Чернышевского. В том же 1863 г. Лассаль рекомендовал немецким рабочим производительные ассоциации как единственное средство хоть некоторого улучшения их быта. Но какая разница в постановке этого вопроса у нас и в Германии? В романе Чернышевского устройством ассоциаций [занимаются] отдельные гуманные и образованные личности: Вера Павловна и ее друзья. К этому делу привлекается даже «просвещенный» священник Мерцалов, играющий, по его собственному выражению, роль *щита* в устроенных Верой Павловной мастерских. О политической самодеятельности рабочего класса в романе нет ни слова. Не говорили о ней ни слова и те русские «люди шестидесятых годов», которые пытались осуществить предложенную Чернышевским программу. Напротив, первым словом лассалевской агитации было указание рабочим на необходимость политического действия с их стороны. В проекте Лассаля дело заведения ассоциаций имеет широкий общегосударственный характер. У Чернышевского оно остается делом частных лиц. Лассаль принял бы Чернышевского за последователя

* [См. настоящий том, стр. 164.]

Шульце — Делича [1]. Разница между практическими планами Лассаля, с одной стороны, и Чернышевского, с другой, — прекрасно показывает, как велико было различие во внутренних отношениях между Германией и Россией. Этим мы не хотим, конечно, сказать, что планы Лассаля, как и более старые планы Луи Блана, не были утопией.

В романе «Что делать?», *против* обыкновения Чернышевского, очень много говорится о любви, которая должна искупить человечество. В этом ясно сказывается влияние *Фейербаха*.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

[1909 г.]

ВВЕДЕНИЕ

Мы не будем излагать здесь, какое значение имеет в истории нашей общественности та великая «эпоха 60-х годов», к которой относится лучшая пора жизни и литературной деятельности Н. Г. Чернышевского: надо надеяться, что значение это известно теперь всем и каждому. Точно так же мы не имеем в виду писать биографию нашего автора. Правда, в настоящее время в печати можно найти уже немало драгоценных материалов для такой биографии. Но за обработку этих драгоценных материалов, естественно, должен взяться тот, кому открыт доступ к еще более драгоценным материалам, т. е. к семейному архиву Чернышевских. Говоря это, мы имеем в виду г. Евг. Ляцкого, уже напечатавшего чрезвычайно интересную статью: «Н. Г. Чернышевский в годы учения и на пути в университет» («Современный Мир», май и июнь 1908 г.). Надо надеяться, что г. Ляцкий будет продолжать свою работу и мало-помалу опишет всю жизнь величайшего представителя эпохи 60-х годов. Наша работа уже печаталась, когда появилось в «Современном Мире» продолжение интересного труда г. Ляцкого, относящееся к университетским годам Н. Г. Чернышевского. Мы же с своей стороны ограничимся здесь немногими, безусловно необходимыми данными.

Николай Гаврилович происходил из духовного звания. Его предки, с незапамятных времен тоже принадлежавшие к духовенству, вели свой род «из великороссиян Чембарского округа, Пензенской губернии», т. е. — заметим мимоходом — из той же местности, откуда происходил и В. Г. Белинский. Но сам он родился (12 июля 1828 г.) в Саратове, где отец его был тогда старшим священником Сергиевской церкви. Г-н Евг. Ляцкий справедливо говорит, что в истории детства и юности

Николая Гавриловича не может не остановить на себе внимания следующая яркая особенность: «Все условия, среди которых развертывалась эта замечательная и своеобразная личность, сложились так естественно и замкнулись в такой цельный круг представлений определенной умственной и моральной культуры, что можно без преувеличения назвать семейную атмосферу Чернышевских редко благоприятной для развития в мальчике независимой мысли и сильной воли, способной управлять здоровым и нормальным чувством. Кажется, все лучшее, что могла дать старорусская жизнь прошлого века, соединилось в этой семье, чтобы уберечь будущего писателя от тех мрачных сторон русской действительности, борьба с которыми унесла столько горячих жизней» *. Тут необходимо сделать только одну оговорку: никакая семья, как бы ни были хороши ее внутренние отношения, не может уберечь ребенка от тех мрачных сторон, которые свойственны окружающему эту семью обществу. Это, впрочем, признает и сам г. Евг. Ляцкий. «Среди занятий и игр подраставшего Николеньки, — говорит он, —не могли ускользнуть от его зоркого сознания и те мрачные стороны окружающей действительности, которые сильно смягчались обстановкой и родительской заботой» **. И он же приводит из воспоминаний Пыпина строки, дающие весьма ясное понятие о том, какие именно стороны тогдашней действительности могли произвести наиболее сильное впечатление на даровитого ребенка. Это были «мрачные картины насилия, жестокости, подавления личного и человеческого достоинства» ***. Но, если это так, то г. Евг. Ляцкий не откажется согласиться с тем, что уже детские и юношеские наблюдения Николая Гавриловича должны были дать ему немало материала для тех самых выводов, на основе которых возникали обыкновенно настроения, уносившие «столько горячих жизней». С этой стороны не было никакого контраста между детством и юностью Чернышевского, с одной стороны, и зрелой порой его жизни — с другой. Несомненно только то, что счастливая семейная обстановка дала молодому Чернышевскому возможность накопить такой запас духовных и даже чисто физических сил, каким чрезвычайно редко располагали «молодые жизни», вступавшие в борьбу с некрасивой действительностью.

Что касается внешних впечатлений, то их беспрерывный приток был обеспечен уже тем простым обстоятельством, что Николай Гаврилович воспитание получил довольно — чтобы не сказать весьма — демократическое. В среде духовенства

* См. упомянутую статью г. *Евг. Ляцкого*, «Совр. Мир», 1908 г., май, стр. 45—46.

** Там же, стр. 57.

*** Там же, та же страница.

его семья считалась очень зажиточной, и мы сейчас увидим, что эта ее относительная зажиточность внушала даже немалую робость саратовской бедноте духовного сословия. Но как скромна была на самом деле степень благосостояния родителей Николая Гавриловича и как демократично было, вследствие ее скромности, его воспитание, показывают его собственные слова. «Мы были очень, очень небогаты, — писал он Ю. П. Пыпиной в письме от 25 февраля 1878 года. — В Петербурге самые бедные из людей, виденных вами, — даже нищие, — не знают теперь, что̀ такое был «гривенник» в нашем — не бедном — семействе. Оно было не бедно. Пищи было много. И одежды. Но денег никогда не было! Поэтому ничего подобного гувернанткам и т. п. не могло нашим старшим и во сне сниться. Не было даже нянек. Прислуги было много. Но она была вся занята хозяйственными делами. Она присматривала за детьми лишь редкими и ничтожными урывками, для отдыха от дел, об этом не стоит и говорить. — А наши старшие? Оба отца * писали с утра до ночи свои должностные бумаги. Они не имели даже времени побывать в гостях. Наши матери с утра до ночи работали. Выбившись из сил, отдыхали, читая книги. Они желали быть и были нашими няньками. Но у них была надобность обшить мужей и детей, присмотреть за хозяйством и хлопотать по всяческим заботам безденежных хозяйств.

Итак, урывками, мы имели нянек — читающих, и слушали иногда; а больше сами читали. Никто нас не «приохочивал». Но мы полюбили читать.

А кроме этого мы жили себе, как нам вздумается. Были постоянные советы нам, чтобы мы не разбили себе лбов. При малейшем приключении такого рода на помощь нам прибегали взрослые люди, — или наши старшие, или прислуга. Но больших бед не могло быть. Опасных игрушек у нас не было: ничего железного, ничего острого. Это потому, что и вовсе не было у нас покупных игрушек. На игрушки нам не было денег. Поранить себя нам было нечем. А наши старшие были люди смирные; шума, беспорядка не было даже у прислуги: вся прислуга — крепостные матери вашего мужа — были люди истинно благородные. Потому и у нас, росших в обществе честном и скромном, формировались скромные, рассудительные нравы в наших играх. Итак, опасности нам от наших забав не было. И росли мы, собственно говоря, как проводят время взрослые люди, то есть: делали все, как нам было угодно»**.

---

* Николай Гаврилович имеет здесь в виду, кроме своего отца, отца А. Н Пыпина, семейство которого жило рядом с семейством Чернышевских.

** «Современный Мир», май, 1908 г., стр. 70—71 [1].

А что же было «угодно» детям? Прежде всего упражнять свои физические силы, играть и резвиться. Ф. В. Духовников в своей статье о жизни Чернышевского в Саратове [1] говорит, что в детстве Николай Гаврилович с увлечением и страстью предавался играм. То же видно из воспоминаний В. Д. Чеснокова [2], бывшего его товарищем по детским забавам. Но в воспоминаниях этого последнего о детских и отроческих играх Николая Гавриловича выступает еще одна черта, достойная замечания.

«Начитавшись о жизни греков и римлян, — говорит он, — Николай Гаврилович еще в детстве (14 лет) сознавал важное значение гимнастических упражнений для укрепления организма (о чем он неоднократно говорил товарищам детских игр) и занимался ими, хотя потихоньку от своих родителей, которые, вероятно, запрещали ему подобные занятия. На своем заднем дворе он вместе с другими мальчиками вырыл яму, через которую и прыгали на призы. Кто перепрыгнет яму, тот получает приз: яблоки, орехи, деньги и проч. Обыкновенно перепрыгивал яму Николай Гаврилович, но он сам, как старший из нас, не брал призов, предоставляя их другим мальчикам, или же делился с ними. Другие наши гимнастические упражнения были: перепрыгивание через разные предметы, взлезание на столб, на деревья, метание камня из праща, бегание взапуски, вперегонку и др.» *.

Кто знает, как справился бы организм Н. Г. Чернышевского с разрушительными для здоровья условиями, окружившими его во второй половине его жизни, если бы он с детства не был закален этой демократической простотой воспитания и этими гимнастическими упражнениями по примеру «греков и римлян»?

С нравственной стороны свобода делать все, что «угодно», была хороша тем, что давала ребенку полную возможность прямо смотреть на жизнь, не отгороженную от него китайской стеной разного рода условностей. И по всему видно, что даже в самой ранней своей юности Чернышевский умел зоркими глазами смотреть на окружавшую его жизнь. В первой части романа «Пролог», несомненно имеющего автобиографическое значение, он так говорит об отношении своего героя Волгина к «аристократии»: «Он никогда не принадлежал и к мелкому светскому обществу, не только к их высокому, важному. Но какой же город или городишко не гремел славою их подвигов? Он с детства знал, что это люди буйные, наглые» **.

---

* *К. М. Федоров*, Жизнь русских великих людей. Н. Г. Чернышевский, Асхабад 1904 г., стр. 5—6.

** Полное собрание сочинений *Н. Г. Чернышевского*, т. X, ч. 1, отд. 2, стр. 171 [3].

И не одну только «аристократию» наблюдал Волгин (Чернышевский) в своем детстве. Наблюдал он и так называемое простонародье.

«Ему вспоминалось, как, бывало, идет по улице его родного города толпа пьяных бурлаков: шум, крик, удалые песни, разбойничьи песни. Чужой подумал бы: «Город в опасности, — вот-вот бросятся грабить лавки и дома, разнесут все по щепочке». Немножко растворяется дверь будки, оттуда просовывается заспанное старческое лицо с седыми, наполовину вылинявшими усами, раскрывается беззубый рот и не то кричит, не то стонет дряхлым хрипом: «Скоты, чего разорались? Вот я вас!» Удалая ватага притихла, передний за заднего прячется; еще бы такой окрик, и разбежались бы удалые молодцы, величавшие себя «не ворами, не разбойничками — Стеньки Разина работничками», обещавшие, «что как они веслом махнут», то и «Москвой тряхнут», разбежались бы, куда глаза глядят, куда ноги понесут, крикни еще раз инвалид в дверь будки; но старый будочник знает, что перед богом грех был бы слишком пугать удалых молодцев: лбы себе перебьют, ноги переломают, навек бедные искалечатся, — будочник, понюхав табаку, говорит: «Идите себе, ребята, с богом, только не будите меня старика, не вводите в сердце». И затворяется в будке, — и ватага удалых молодцов, Стеньки Разина бывших работничков, скромно идет дальше, перешептываясь, что будочник, на счастье им, видно, добрый человек» *.

Чернышевский говорит, что Волгин в детстве приходил в недоумение от таких сцен.

Ввиду автобиографического характера романа «Пролог» (т. е., собственно, первой его части — «Пролог пролога»), можно сказать, что уже детские впечатления наталкивали Чернышевского на такие мысли, в результате которых получались не только юмористические картинки во вкусе только что приведенной. Да и эти юмористические картинки не могли остаться без глубокого влияния на то представление взрослого Чернышевского о «простонародье», о котором нам не раз придется говорить ниже. Теперь же мы только заметим, что наблюдать подобные бытовые сцены и приходить от них в недоумение мог только такой ребенок, которому воспитатели его не мешали подходить вплотную к действительности и задумываться над ее явлениями **.

---

* Там же, та же страница [1].

** Г-н Евг. Ляцкий говорит: «В Саратове — а это было в годы детства и юности — проникся он тем глубоким пониманием народных нужд и стремлений, какое обнаружил он впоследствии в своих статьях по крестьянскому вопросу» («Совр. Мир», 1908 г., май, стр. 57). Нам это кажется совершенно справедливым.

Но как ни демократично было воспитание Н. Г. Чернышевского, в нем был один элемент своеобразного аристократизма, заслуживающий полного нашего внимания. Чтобы понять значение этого элемента, надо принять во внимание, например, вот это свидетельство Н. Г. Чернышевского:

«Теперь, как я слышу, во многих, а быть может, и во всех семинариях уменьшилось или совсем вывелось пьянство. Но в мое время в саратовской семинарии никакое сходбище семинаристов не могло не быть попойкой. Николай Александрович * был настолько моложе своих товарищей, что не годился бы быть соучастником попоек, если б жизнь в семействе и не удерживала его от подобной наклонности» **.

И дальше: «Когда я перешел в реторику, из моих 122 человек товарищей только четверо имели по 14 лет и только один был 13 лет, — и мы смотрели на него, как на ребенка. Этот юноша кутил очень сильно и с необычайным усердием выделывал всякие молодецкие штуки» ***.

Как видите, пьянство было очень соблазнительно для тогдашнего семинариста: оно могло дать ему средство прослыть молодцом в среде товарищей. Но, насколько мы знаем, Чернышевский никогда не поддавался этому соблазну. Почему же? Оставляя в стороне другие возможные здесь предположения, мы напомним читателю о том, что сам Чернышевский говорит о Добролюбове: «По молодости лет Добролюбов не годился бы для участия в семинарских попойках даже в том случае, если бы жизнь в семействе и не удерживала его от них». Эти слова показывают, что, по мнению Чернышевского, жизнь в семействе удерживала молодых людей от наклонности к кутежам. Но семья семье рознь. Чтобы жизнь в семействе избавляла молодых людей от влияния дурных примеров, необходимо, чтобы она сама не давала им таковых. Вот этим-то и хороша была семья Чернышевских. Отец Николая Гавриловича был, конечно, человеком старого закала, но он всегда был трезв, трудолюбив и серьезен. Это было очень большим счастьем для мальчика. Но это еще не все. При более тесном сближении со своими товарищами по семинарии Н. Г. Чернышевский все-таки мог бы заразиться их пьяным «ухарством», если бы этому не мешало то, что мы назвали элементом своеобразного «аристократизма» в его положении. Его сближение с товарищами по семинарии не могло идти дальше известных пределов, благодаря относительной зажиточности его семейства. Н. Г. Чернышевский и сам признает великое значение этого элемента, говоря о жизни Добролюбова. И замечательно,

* Речь идет о Добролюбове.

** Сочинения *Н. Г. Чернышевского*, т. IX, стр. 10—11 [1].

*** Там же, стр. 11 [2].

что значение это он поясняет именно своим собственным примером.

«Николай Александрович, — говорит он, — был сын городского священника, пользовавшегося почетом у епархиального начальства. Чтобы могли понять это люди, незнакомые с семинарским бытом, скажу о своих отношениях с товарищами. Мой отец был также священник губернского города в богатом (!) приходе (доходы моего отца от службы простирались до 1.500 р. ассигнациями, и мы жили безбедно). Все товарищи были мне приятели; человек десять из них были со мной задушевные друзья. Сколько раз мяли мы бока друг другу в шуточной борьбе, — счета нет; словом сказать, в классе и «бурсе» (куда я ходил чуть не каждый день для дружеской беседы) со мной церемонились товарищи так же мало, как и со всяким другим. Но в гости ко мне ходили только двое или трое из товарищей, и то изредка; и надобно сказать, что они вовсе не были из числа ближайших моих друзей: они были не больше как приятели; но они не совестились посещать меня в моем семействе, потому что у них была приличная одежда и обувь. Ничто не может сравниться с бедностью массы семинаристов. Помню, что в мое время из 600 человек в семинарии только у одного была волчья шуба, — и эта необычайная шуба представлялась чем-то даже не совсем приличным ученику семинарии, вроде того, как если бы мужик надел брильянтовый перстень. Помню, как покойный Миша Левицкий, не имевший другого костюма, кроме синего зипуна зимой и желтого нанкового халата летом, — помню, как этот первый мой друг не решался навестить меня, когда я недели три не выходил из дому, будучи болен лихорадкой; а между тем мы с Левицким не могли пробыть двух дней, не видавшись, и когда он не ходил в класс, я каждый день приходил к нему. Короче сказать, как ни умеренна была степень знатности и богатства моей семьи, но почти для всех моих товарищей войти в мой дом казалось так же дико, они чувствовали бы себя в нем такими же бедняками и ничтожными людьми, как я чувствовал бы себя в салоне герцога девонширского» *.

Детская и отроческая жизнь Николая Гавриловича сложилась так, что он мог беспрепятственно наблюдать окружавшую его весьма некрасивую действительность и в то же время имел счастливую возможность не запачкаться в ее грязи. Это не всем выпадает на долю.

Третьим счастливым обстоятельством этого периода его жизни было то, что отец его, человек весьма образованный, подготовил его прямо в семинарию и тем позволил ему миновать

---

* Полн. собр. сочин. *Н. Г. Чернышевского*, т. IX, стр. 10 [1].

«духовное училище», в котором дети за малейший проступок подвергались, по тогдашнему обычаю, «физическому воздействию» со стороны почтенных педагогов. В семинарию он поступил 1 сентября 1844 года, в класс реторики. Здесь его занятия вообще пошли очень успешно. Но особенные успехи обнаружил он, по-видимому, в сочинениях на темы: «должно обуздывать страсти»; «праведник, яко гора Сион, не подвигнется во веки»; «бог всех нас влечет к спасению» и т. п. Будущий критик и публицист «Современника» развивал эти назидательные темы к полному удовольствию своего учителя словесности. «Можно питать надежду, — находил этот последний, — что автор со временем будет мастер хороший своего дела» *.

С переходом в класс философии темы, над которыми упражнялся молодой «автор», становятся еще более глубокомысленными. Наш молодой семинарист пишет рассуждение, в котором доказывается, что «начало премудрости — страх господень»; он пишет также «о начале и значении ветхозаветных приношений», «о сущности мира», «о постепенном превращении Первозданного существа в явления», «о пространстве мира» и т. д. Но интереснее всего, что Николаю Гавриловичу уже в этих своих упражнениях пришлось столкнуться с вопросом, который обратил на себя его серьезное внимание в зрелые годы и которому посвящена одна из статей, написанных им уже по возвращении из Сибири («Характер человеческого знания» [1], о ней речь будет ниже): с вопросом о том, «обманывают ли нас чувственные органы?». Вот что читаем мы об этом у г. Евг. Ляцкого:

«Чернышевский возражал Эккартсгаузену, утверждавшему невозможность определить соответствия наших представлений о предметах самим предметам. Доказательства Эккартсгаузена Чернышевский считал неубедительными. Если у нас нет доказательств a posteriori, опытных, по свойству самого предмета исследования, то можно воспользоваться доказательствами a priori. Для какой же цели в таком случае даны нам чувства, если они только обманывают нас, следовательно, не помогают, а вредят нам, повергая нас в заблуждения? «А кто же был в таком случае виновником обмана, в который повергали бы нас чувства? Без сомнения, тот, кто нам дал их. Но чтобы бог был виновником лжи и причиной обмана, это решительно невозможно. А если невозможно то, чтобы бог был виновником лжи, то мы должны согласиться, что он не дал нам чувственных органов, устроенных так, чтобы они нас обманывали». Учитель оценил сочинение отметкой: «Очень хорошо». Очевидно, ответ

* *Евг. Ляцкий*, назв. статья: «Совр. Мир», июнь, 1908 г., стр. 38.

на вопрос совершенно удовлетворял требованиям учителя, излишние же умствования не допускались» *.

Впоследствии Н. Г. Чернышевский решал этот вопрос, конечно, с помощью других соображений. Но окончательный вывод остался у него, в последнем счете, тот же: он всегда очень пренебрежительно относился к теориям, проповедовавшим непознаваемость внешнего мира.

Однако он не долго радовал семинарское начальство своими успехами в науках. В конце декабря 1845 года он подал прошение об увольнении, а в мае следующего он уже ехал «на долгих» в Петербург для поступления в университет. Сделано было это с полного согласия родителей, у которых на этот счет были свои житейские основания **. Что же касается самого Н. Г. Чернышевского, то у нас есть лишь некоторые косвенные указания на причины, побудившие его к отказу от духовной карьеры. Впрочем, указания эти довольно ясны. Он сам писал о себе: «Петр Никифорович Каракозов, священник церкви при Александровской больнице, первый пожелал мне именно того, желанием чего исполнена вся душа моя: говоря о поездке близкой моей в Петербург, он сказал: «Дай Бог нам с вами свидеться, приезжайте к нам оттуда профессором, великим мужем, а мы уже в то время поседеем». К этому он прибавлял: «Как душа моя вдруг тронулась этим! Как приятно видеть человека, который хотя и нечаянно, без намерения, может быть, но все-таки скажет то, что ты сам думаешь, пожелает тебе того, чего ты жаждешь и чего почти никто не пожелает ни себе, ни тебе, особенно в таких летах, как я, и положении» ***. Встретившись по пути в Петербург с дьяконом М. С. Протасовым, который сказал ему: «Желаю вам, чтобы вы были полезны для просвещения и России», будущий студент опять записывает: «Мне теперь обязанность: быть им с Петром Никифоровичем вечно благодарным за их пожелание: верно эти люди могут понять, что̀ такое значит стремление к славе и служба человечеству. Маменька сказала: это уже слишком много, довольно, если и для отца и матери; нет, этого еще весьма мало скажут о нем; надобно именно быть полезным и для всего отечества. Я вечно должен их помнить» ****. К этому можно прибавить, что уже в одном из своих семинарских сочинений Чернышевский высказался как горячий сторонник «просвещения». Сочинение это было написано на ту тему, что образование человечества зависит от образования молодого поколения. По словам г. Евг. Ляцкого, цитирующего это отроческое сочине-

* Там же, стр. 40—41 [1].
** Там же, стр. 44—45.
*** Там же, стр. 46—47 [2].
**** Там же, стр. 47 [3].

ние, «Чернышевский ясно и последовательно установил связь между задачами, лежащими на молодом поколении, и тем богатством знания культуры, которое это поколение получает от прошлого» *. Он говорил там, что «знание — это неиссякаемый рудник, который доставляет владетелям своим тем большее сокровище, чем глубже будет разработан». Но особенно интересно окончание этого сочинения, в котором юный автор призывал к неутомимой деятельности в области знания. «Подумаем только! — восклицал он, — ход образования целого человечества зависит от нашей деятельности» **. Но в то время, к которому относится эта работа, Чернышевский, по-видимому, еще не делал различия между светским и так называемым духовным просвещением. А потом его молодая мысль очень скоро заметила это различие, и он увидел, что духовная карьера не соответствует его взглядам на вещи и его стремлениям.

В августе 1846 года он был принят в число студентов петербургского университета. О годах его студенчества мы знаем мало. Кажется, нельзя сомневаться в том, что, как говорит г. К. Федоров: «В течение университетского курса Николай Гаврилович занимался древними языками, словесностью, славянскими наречиями, слушал лекции известного философа и археолога Изм. Ив. Срезневского и под его руководством составил словарь к Ипатьевской *** летописи. Словарь этот был напечатан в «Прибавлениях к «Известиям II отд. Акад. Наук»» в 1853 году ****. Но все это слишком неопределенно. Мы не знаем, например, когда именно начались первые литературные опыты Чернышевского. Первый том Полного собрания его сочинений начинается двумя библиографическими заметками (о книгах А. Гильфердинга и Нейкирха), напечатанными в 7-й книжке «Отечественных Записок» за 1853 год [3]. Отсюда можно заключить, что к половине названного года относится начало его литературной деятельности. Но в том же томе, в пространной библиографической заметке о «Справочном Энциклопедическом Словаре» Старчевского мы читаем: «При выходе в свет первого тома этого *Словаря* мы представили («Отеч. Зап.» 1847 года, № 8) подробный разбор его, доказывавший, что предприятия подобного рода, для того чтобы на самом деле принести пользу публике, должны быть составляемы по строго обдуманному плану и выполняемы с большой аккуратностью и что ни тому, ни другому условию *Справочный Словарь* не

* Там же, стр. 40.
** Там же, та же страница [1].
*** Тут у г. Федорова опечатка: вместо «*Ипатьевской*» стоит «*Игнатьевской*». Теперь словарь этот перепечатан во 2-й части X тома полного собрания сочинений *Н. Г. Чернышевского* [2].
**** *К. Федоров*, Н. Г. Чернышевский, Асхабад 1904, стр. 11.

удовлетворяет. Публика, сколько можем судить, была совершенно согласна с нами» *. Что же это значит?

На этот счет можно сделать два предположения, и мы рассмотрим каждое из них в отдельности.

Во-первых, можно предположить — и это предположение, конечно, прежде всего приходит в голову, — что литературная деятельность Н. Г. Чернышевского началась уже в 1847 году *(если не ранее)* и что, следовательно, только по недосмотру издателя Полного собрания его сочинений заметка о первом томе названного словаря не вошла в это собрание. В таком предположении нет ничего невероятного: в 1847 году Чернышевский имел 19 лет, т. е. был в таком возрасте, когда вполне возможно написать дельную библиографическую заметку. Приняв это предположение, мы неизбежно сталкиваемся с двумя вопросами. Была ли указанная заметка, в самом деле, первым появившимся в печати произведением нашего автора? И неужели он, напечатав ее в 1847 г., не печатал ничего вплоть до июля 1853 года, когда появились, как мы знаем, в том же журнале его заметки о книгах Гильфердинга и Нейкирха? Мы не можем решить ни одного из этих вопросов; их могли бы решить, вероятно, только М. Н. Чернышевский или г. Евг. Ляцкий **.

Второе, допустимое здесь, предположение состоит в том, что заметка о «Справочном Энциклопедическом Словаре», напечатанная в I томе сочинений Н. Г. Чернышевского, принадлежит не ему, а какому-нибудь другому сотруднику «Отечественных Записок», которому в таком случае принадлежала бы, разумеется, и появившаяся в 1847 году рецензия о *первом* томе того же словаря. В таком предположении тоже нет ничего невероятного. Рецензии, печатавшиеся тогда в «Отеч. Записках», не подписывались. Правда, о принадлежности данной статьи тому или другому автору можно судить не только по его подписи. На мысль о такой принадлежности обыкновенно наводит также ее содержание и язык. Но, руководствуясь этими

* Полн. собр. сочинений *Н. Г. Чернышевского*, т. I, стр. 14 [1].

** Находясь под следствием, Чернышевский показывал, что он уже в июле или августе 1846 г. отнес в редакцию «Отеч. Записок» перевод одного фельетона «Journal des Débats», а в конце 1847 года или начале 1848 г. вручил Некрасову для напечатания в «Современнике» повесть (содержанием которой были несчастия сироты-девушки, воспитывавшейся в институте и потом попавшей в дурные руки) [2]. Повесть эта не была напечатана (*М. К. Лемке*, Дело Н. Г. Чернышевского. — «Былое», 1906 г., № 4, стр. 161). Вот пока все, что мы знаем. Но эти немногие данные как будто свидетельствуют о том, что других литературных сношений у Чернышевского не было в ту пору ни с Краевским (т. е. с «Отеч. Записками»), ни с Некрасовым (т. е. с «Современником»), иначе он упомянул бы о них, а между тем он в своем показании говорит лишь о том, как он увиделся с названными лицами снова только в 1853 году.

последними признаками, мы находим второе предположение более вероятным, нежели первое.

Мы понимаем, что трудно судить об языке начинающего писателя, каким был бы Чернышевский в 1847 году: начинающие авторы пишут языком еще не установившимся и потому не характерным для них. Но язык рецензии, напечатанной в 1847 г., кажется нам вполне установившимся. Само по себе и это не могло бы иметь решающего значения: прочитав первые печатные произведения Добролюбова, вряд ли кто скажет, что они написаны новичком в литературе. Но дело в том, что Чернышевский, еще в бытность свою на IV университетском курсе, писал языком гораздо менее установившимся, нежели тот, каким написана интересующая нас рецензия. В этом легко убедиться, прочитав его статью о «Бригадире Фон-Визина», впервые напечатанную во 2-й части X тома его сочинений, но — как это видно из предпосланного ей примечания издателя — относящуюся именно ко времени пребывания Чернышевского на IV курсе [1]. Язык этой статьи есть, несомненно, язык писателя, гораздо менее «набившего себе руку», нежели тот, который написал заметку о I томе «Справочного Энциклопедического Словаря».

То же приходится сказать и о содержании этой последней: оно обнаруживает в авторе такую законченность миросозерцания и такое богатство сведений, каких мы не видим в статье о «Бригадире». Между тем статья эта написана Н. Г. Чернышевским, когда он был на IV курсе, а рецензия 1847 года, если бы она принадлежала ему, была бы написана или в конце первого курса, или сейчас же по переходе на второй. Поэтому мы думаем, что издатель его сочинений ошибся, приписав ему заметку, занимающую стр. 14—25 первого тома.

Но и это, к сожалению, все-таки не решает вопроса о том, когда начались первые литературные опыты нашего автора. В ожидании его решения обратимся опять к статье о «Бригадире». На ней очень стоит остановиться.

Почти в самом ее начале молодой автор делает следующую, весьма интересную оговорку:

«О влиянии Фон-Визина на общество я не говорю ничего, потому что если Фон-Визин его и имел, то слишком мало. Нужно, впрочем, согласиться в том, что̀ называть влиянием на общество какого-нибудь литературного произведения: если то, что при появлении нового произведения поговорят о нем, похвалят или осудят автора, то Фон-Визин имел его, и имел особенно «Бригадиром»; он сам говорит в своей Исповеди, как много при дворе говорили о его «Бригадире», как друг перед другом наперерыв приглашали вельможи его читать свою комедию, — но, кажется, этого еще нельзя назвать влиянием

на общество. Оно бывает только тогда, если идеи, лежащие в основании произведения, входят в живое прикосновение с действительною (умственною, нравственною или практическою, это все равно, но непременно с действительною) жизнью общества, так что, прочитавши это произведение, общество станет чувствовать себя не совсем таким, как прежде, почувствует, что его взгляд на вещи прояснился или изменился, почувствует, что дан толчок его умственной или нравственной жизни» *.

В этих словах кратко выражен тот взгляд на задачу литературы, который подробно развивался впоследствии Н. Г. Чернышевским и который был усвоен также Н. А. Добролюбовым**. Тут уже виден будущий автор «Гоголевского периода русской литературы»; но этот автор еще не выработал той оригинальной манеры изложения, которая была так характерна для него впоследствии; он только начинает ее выработку. Точно так же и аргументация его далеко не отличается тем обилием сведений, которым поражают читателя его позднейшие сочинения. Сейчас видно, что перед нами все-таки только «проба пера». Но как интересна эта «проба пера», показывают, кроме только что сделанной нами выписки, еще следующие строки:

«Требование: «характеры, выведенные писателем, особенно писателем драматическим, должны непременно развиваться; если они остаются неподвижными, автор виноват, и произведение лишено художественного достоинства», — это требование слышишь беспрестанно, беспрестанно слышишь упреки тому или другому произведению за невыполнение его. Но кажется, что такого требования нельзя поставить всегда приложимым законом художественной красоты литературного произведения. Законы художественности не могут противоречить тому, что̀ есть в действительности, не могут состоять в том, чтобы действительность изображалась не в своем настоящем виде; как она есть, так и должна она отразиться в художественном произведении. А в действительности мы часто встречаемся с такой неглубокой натурой, с таким немногосложным характером, что с первого же раза видишь такого человека насквозь, и видишь его всего, решительно всего, так что, если и двадцать лет проживешь с ним, не увидишь в нем ничего, кроме того, что выказалось в первом же его слове, в первом же его взгляде. Каким же образом такой человек будет развивать перед вами свой характер в художественном произведении, когда в действительности не развивает его?» ***.

* Полн. собр. сочин. *Н. Г. Чернышевского*, т. X, часть 2, стр. 2 [1].

** По вопросу о значении сатиры см. особенно статью *Добролюбова:* «Русская сатира в век Екатерины» («Современник», 1859 г., № 10), перепечатанную в I томе его сочинений [2].

*** Полное собр. соч. *Н. Г. Чернышевского*, т. X, ч. 2, стр. 7 [3].

Идеи, высказываемые здесь, были идеями Белинского, как они сложились в последнем периоде его литературной деятельности; то же самое внимание к действительности, то же самое убеждение в том, что художник должен изображать действительность, как она есть, без всяких прикрас и недомолвок. С этой стороны статья о «Бригадире» имеет огромное значение для биографа Н. Г. Чернышевского. Она показывает, что к концу своего университетского курса наш автор был убежденным последователем Белинского, к которому он всегда относился впоследствии с восторженным уважением.

Но можно ли сказать, что он воспитался именно на сочинениях Белинского и его кружка? что он именно из этого источника почерпнул свои взгляды? — Нет, это было бы не совсем правильно. Чернышевский был, несомненно, очень многим обязан Белинскому; но надо все-таки признать, что он был обязан ему далеко не всем.

Хотя в своих сочинениях Чернышевский крайне редко касается истории своего умственного развития, но все-таки у него попадаются мимоходом некоторые заметки, проливающие на нее известный свет. К числу этих крайне редких заметок принадлежит письмо, написанное им после смерти Добролюбова, в ответ на статью некоего З-на и напечатанное в февральской книжке «Современника» за 1862 г. В своей статье З-н сказал, между прочим, что покойный Добролюбов был учеником Чернышевского и находился под сильнейшим его влиянием. Чернышевский горячо и даже очень раздражительно отрицает это, говоря, что Добролюбов совершенно самостоятельно пришел к своим взглядам и был гораздо выше его как по своим умственным силам, так и по литературному таланту. Нам не нужно решать теперь, насколько совпадало с истиной это скромное заявление. Говоря по правде, мы, со своей стороны, очень сомневаемся в том, чтобы оно совпадало с нею. Но это нас здесь не касается; из всего письма Н. Г. Чернышевского нас интересует теперь лишь следующее место. Напомнив З-ну, что Добролюбов знал немецкий и французский языки и мог таким образом в подлиннике ознакомиться с наиболее замечательными литературными произведениями Франции и Германии, Чернышевский говорит: «Если же даровитый русский человек в решительные для своего развития годы читает книги наших общих западных великих учителей, то книги и статьи, писанные по-русски, могут ему нравиться, могут восхищать его (как и Добролюбов восхищался тогда некоторыми вещами, писанными по-русски), но ни в каком случае не могут уже они служить для него важнейшим источником тех знаний и понятий, которые почерпает он из чтения. Что же касается влияния моих статей на Добролюбова, этого влияния не могло

быть даже и в той, не очень значительной степени, какую могли иметь статьи Белинского. Я не имел тогда важного влияния в литературе» *. На самом деле в то время, о котором идет здесь у Чернышевского речь — т. е. в 1855—1856 гг., когда уже появились в печати его знаменитые «Очерки Гоголевского периода русской литературы», — его влияние было гораздо сильнее, нежели он утверждает. Но, повторяем, здесь нас это не касается. Для нас здесь важно только то, что он также знал иностранные языки и что он в решительные для своего развития годы также читал книги «наших общих великих западных учителей». Поэтому позволительно думать, что и его могли только восхищать некоторые писанные по-русски статьи и книги, между которыми первое место принадлежало сочинениям Белинского, но что вместе с тем и для него они не были «первоначальным источником его понятий и знаний».

Каков же был этот источник? Статья о «Бригадире Фон-Визина» и на это дает некоторые указания. Ее молодой автор говорит:

«Нельзя читать без отрадного чувства «Маленькой Фадетты», «Франсуа ле-Шампи» и других повестей в этом роде величайшего писателя нашего времени: как отдыхаешь в этой прекрасной чистой сфере! Каждого из этих поселян с удовольствием назвал бы своим другом, без скуки прожил бы годы в их обществе, и не пришло бы, кажется, ни разу в голову, что ты выше их по уму и образованию, хотя бы и в самом деле был много выше их; а между тем, не правда ли, что все они (кроме самой Фадетты) люди ограниченные и по большей части очень и очень ограниченные?» **.

Это в высшей степени интересное место показывает, что Чернышевский зачитывался романами из крестьянской жизни Жорж Занд, бывшими тогда литературной новинкой ***. Он ставил Жорж Занд на самое первое место между писателями своего времени. Но читал и изучал он, конечно, не только французских писателей. Встречающиеся в той же статье отзывы его о французской литературе XVII века дают понять, что он тогда уже находился под очень сильным влиянием Лессинга, которому он несколько лет спустя посвятил целое сочинение ****. Впрочем, надо заметить, что отзывы эти очень пристрастны и

* «В изъявление признательности», письмо к г. З-ну. Сочинения, т. IX, стр. 101 [1].

** Сочинения, т. X, ч. 2, стр. 13 [2].

*** Роман «La Petite Fadette» вышел в 1848 г., а «François le Champi» — в 1850 г.

**** «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» («Современник», 1856 г., №№ 10—12; 1857 г., №№ 1, 3—6. См. полн. собр. соч., т. III) [3].

что если их приходится отнести на счет влияния Лессинга, то лишь с той оговоркой, что молодой русский ученик в своем увлечении слишком преувеличил мысли своего немецкого учителя *.

Минуя Шиллера и Гёте, с которыми Чернышевский познакомился, вероятно, еще в бытность свою в семинарии, скажем, что он, как видно, в ту же доуниверситетскую эпоху начал изучать классиков немецкой философии, особенно Гегеля. Но, по его собственным словам, он знал тогда лишь «русские изложения системы Гегеля, очень неполные». Из его же слов видно, что эти неполные изложения «объясняли систему великого немецкого идеалиста в духе левой стороны Гегелевской школы» ** (Не были ли это «Письма об изучении природы» А. И. Герцена?). Далее, мы, опять на основании свидетельства самого Чернышевского, знаем, что после Гегеля — которого он начал изучать на немецком языке по переезде в Петербург и который в подлиннике понравился ему меньше, нежели в русских изложениях — ему «случайным образом» попалось одно из главных сочинений Людвига Фейербаха. Автор «Сущности христианства» имел на него решительное влияние. Чернышевский сам говорит, что он «стал последователем этого мыслителя» и усердно читал и перечитывал его сочинения.

С Фейербахом он начал знакомиться, как рассказывает он сам, лет за шесть до того, как ему представилась житейская надобность написать ученый трактат, т. е., другими словами, до того, как он сел за свою магистерскую диссертацию по эстетике. А так как диссертация эта была написана им в 1853 году ***, то выходит, что с Фейербахом он стал знакомиться едва ли уже не на 2-м курсе университета [3]. Во всяком случае, он оставался последователем Фейербаха до самого конца своей жизни, и мы позволим себе обратить внимание г. К. Федорова на то обстоятельство, что влияние этого мыслителя на философские взгляды нашего великого писателя было несравненно сильнее, нежели влияние «известного философа Изм. Ив. Срезневского» (см. выше).

---

* См., например (там же, стр. 15), крайне презрительные замечания о французской комедии XVII века и об ее «знаменитом до сих пор представителе» Мольере, «у которого во всех сочинениях едва ли можно найти две страницы сряду естественного разговора, до того все натянуто и пересолено, чтоб выходило смешнее и чтобы «резче» выставлялись характеры» [1].

** См. предисловие к 3-му изд. «Эстетических отношений искусства к действительности», напечатанное во 2 ч. X т. Полн. собр. сочинений [2]. Об этом интересном предисловии см. ниже, в главе «Философские взгляды Н. Г. Чернышевского».

*** См. примечание издателя на 84 стр. 2 ч. X т. Полного собр. сочинений *Н. Г. Чернышевского*.

Фейербах дал философскую основу всему миросозерцанию Н. Г. Чернышевского. Но нам уже известно, что наш автор зачитывался романами Жорж Занд. А романами этими затрагивались многие темы, имевшие непосредственное отношение к общественной и семейной жизни. И мы вряд ли ошибемся, предположив, что уже во время пребывания своего в университете Чернышевский много занимался этими темами. Более чем вероятно, что он тогда же познакомился с важнейшими социалистическими системами и начал изучать политическую экономию *. У нас пока еще нет никаких прямых указаний на то, как шли его занятия этого рода. Одно можем мы сказать почти с самой полной уверенностью. Хотя, собираясь в Петербург, он пришел в восторг от слов священника Каракозова, пожелавшего ему стать мужем науки, но в более зрелом возрасте он уже не имел намерения стать ученым специалистом. Его влекла к себе деятельность литературного критика и публициста. Еще в семинарии он решил посвятить свои силы работе на благо своей страны. И, может быть, он уже в то время находил, что эта работа должна иметь не столько ученый, сколько публицистический характер. В «Очерках Гоголевского периода» он очень определенно высказывается в этом смысле.

«Многие из величайших ученых, поэтов, художников, — говорит он там, — имели в виду служение чистой науке или чистому искусству, а не каким-нибудь исключительным потребностям своей родины. Бэкон, Декарт, Галилей, Лейбниц, Ньютон, ныне Гумбольт и Либих, Кювье и Фаредэ трудились и трудятся, думая о пользе науки вообще, а не о том, что̀ в данное время нужно для блага известной страны, бывшей их родиной. Мы не знаем и не спрашиваем себя, любили ли они родину: так далека их слава от связи с патриотическими заслугами. Они как деятели умственного мира космополиты. То же надобно сказать о многих великих поэтах Западной Европы. Укажем в пример на величайшего из них — Шекспира... Назовем Ариоста, Корнеля, Гёте. О художественных заслугах перед искусством, а не особенных, преимущественных стремлениях действовать во благо родины, напоминают их имена» **. У нас не то. Русские деятели умственного мира находятся, по мнению Чернышевского, в совершенно другом положении. Им еще нельзя быть космополитами, т. е. нельзя думать об интересах чистой науки или чистого искусства. В этом смысле, по условиям своей страны, им приходится быть «патриотами», т. е. думать прежде всего о специальных нуждах своей родины. Идеалом «патриота» в этом смысле является для Чернышевского

* Уже в 1854 г. появляется в «Современнике» (№ 6) очень хорошая заметка его о книге *Львова:* «О земле, как элементе богатства» [1].

** Полн. собр. сочин. *Н. Г. Чернышевского*, т. II, стр. 120—121 [2].

Петр Великий, человек, задавшийся целью перенести в Россию все блага европейской цивилизации. Он думал, что и в его время цель эта далеко еще не вполне была достигнута. «До сих пор для русского человека единственная возможная заслуга перед высокими идеями правды, искусства, науки — содействие распространению их в его родине. Со временем будут и у нас, как у других народов, мыслители и художники, действующие чисто только в интересах науки или искусства; но, пока мы не станем по своему образованию наравне с наиболее успевшими нациями, есть у каждого из нас другое дело, более близкое к сердцу, — содействие, по мере сил, дальнейшему развитию того, что начато Петром Великим. Это дело до сих пор требует и, вероятно, еще долго будет требовать всех умственных и нравственных сил, какими обладают наиболее одаренные сыны нашей родины» *. Чернышевский именно и хотел посвятить свои силы распространению на своей родине высоких идей правды, искусства, науки. И по всему видно, что это намерение сложилось гораздо раньше выступления его на литературное поприще. По всей вероятности, оно окончательно окрепло еще на университетской скамье.

Впоследствии, находясь в заключении и обвиняемый в проповеди социалистических учений, Чернышевский писал:

«Я не социалист в серьезном, ученом смысле слова, по очень простой причине: я не охотник защищать старые теории против новых. Я — кто бы я ни был — стараюсь понимать современное состояние общественной жизни и вытекающие из нее убеждения. Распадение людей, занимающихся политической экономией, на школы социалистов и несоциалистов — такой факт в историческом развитии науки, который отжил свое время. Практическое применение этого внутреннего распадения науки также факт минувшего: в Англии — давно, на континенте Западной Европы — с событий 1848 г. Я знаю, что есть многие отсталые люди, полагающие, что это мое мнение подлежит спору; но это спор уже о том, основательны ли мои ученые убеждения, — предмет, чуждый юридического значения. А между тем он введен в дело» **.

Никакая нравственность не могла требовать от Н. Г. Чернышевского, чтобы он откровенно изложил перед своими обвинителями самые задушевные свои мысли. Поэтому все данные им показания этого рода могут служить материалом для его биографии лишь в том случае, если биограф сумеет отнестись к ним с надлежащей критикой. В данном случае критика должна выяснить, что̀ значит это заявление: «я не социалист

* Там же, стр. 121—122 [1].

** *М. К. Лемке*, Дело Н. Г. Чернышевского («Былое», 1906, № 5, стр. 102).

в серьезном, ученом смысле этого слова». На самом деле оно значит, что, по мнению Чернышевского, совершенно отжило свое время известное старое противоположение социализма политической экономии. А это мнение, в свою очередь, означает, что социализм не только не должен бороться против политической экономии, но, напротив, должен обосновать свои требования с помощью ее главнейших положений. Согласно этому своему убеждению, Чернышевский взялся за перевод и за комментирование *«Оснований политической экономии»* Дж. Ст. Милля. И когда его обвинили в распространении социалистических учений, он сослался на это обстоятельство, как на довод в свою защиту. Это очень хорошо видно из другого места цитированного нами документа.

«В юридическом смысле слова, — говорит там Н. Г. Чернышевский, — в серьезном, ученом смысле, который один имеет юридическое значение, термин «социалист» противоречит фактам моей деятельности. Обширнейшим из моих трудов по политической экономии был перевод трактата Милля, ученика Рикардо; Милль — величайший представитель школы Адама Смита в наше время; он гораздо вернее Адаму Смиту, чем Рошер. Из примечаний, которыми я дополняю перевод, обширнейшее по объему — исследование о Мальтусовом законе. Я принимаю его и стараюсь разбить * Мальтусову формулу. Этот принцип — пробный камень безусловной верности духу Адама Смита» **.

В *юридическом* смысле слова, конечно, странно — ввиду уже упомянутого старого противопоставления социализма политической экономии — обвинять в пропаганде социализма человека, который переводил Милля и требовал от экономической науки безусловной верности духу Адама Смита. Но этим совсем не лишается своего *теоретического* значения вопрос о том, в каком смысле комментировал Чернышевский Милля и не держался ли он того мнения, что безусловно верная духу Адама Смита экономическая наука должна вести к социализму. Ниже мы показываем, что наш автор комментировал Милля именно в социалистическом смысле. Мы показываем там, кроме того, каким образом делал он социалистические выводы из основных положений политической экономии. Впрочем, это вряд ли будет оспариваться кем-нибудь. Вряд ли кто сомневается в том, что Чернышевский был социалистом. Но, как мы уже сказали в предисловии [1], до сих пор многие отказываются признать Чернышевского сторонником *утопического* социализма. Мы надеемся, что наше последующее изложение

* В статье г. Лемке стоит «развить». Но это очевидная опечатка.
** Там же, та же страница.

с достаточной ясностью обнаружит перед читателем неосновательность подобного отказа. Здесь же мы заметим лишь вот что:

Н. Г. Чернышевский в самом деле считал отжившим старое противопоставление социализма политической экономии. Но это у него значило главным образом то, что после опыта 1848 года нельзя уже возлагать надежд на альтруистические чувства людей: сострадание к угнетенным, сочувствие к ближнему и т. п., а нужно апеллировать к их рассудку и защищать социализм с точки зрения выгоды, экономического «расчета». Но, как мы покажем, такая апелляция к расчету совсем не исключала утопической точки зрения на общественную жизнь.

Во второй части написанного Чернышевским в Сибири романа «Пролог» Левицкий (Добролюбов) заносит в свой дневник после свидания с Волгиным (Чернышевским): «Он не верит в народ. По его мнению, народ так же плох и пошл, как общество» *. Если мы не ошибаемся, это значит, что, согласно воспоминаниям самого Чернышевского, его взгляд на народ произвел на Добролюбова впечатление полного «неверия». Ниже мы подробно изложим этот взгляд, и тогда читатель увидит, что Н. Г. Чернышевский в самом деле не рассчитывал на народную инициативу ни в России, ни на Западе. Инициатива прогресса и всяких полезных для народа перемен в общественном устройстве принадлежала, по его мнению, «лучшим людям», т. е. интеллигенции. В этом отношении — правда, едва ли не только в этом — его взгляд очень близко подходил к воззрениям, изложенным впоследствии П. Л. Лавровым в «Исторических письмах». Здесь не место критиковать этот взгляд. Но не мешает напомнить читателю, в какую эпоху сложился он у Н. Г. Чернышевского: это была эпоха разочарований, последовавших за крушением тех надежд, которые приурочивались к движению 1848 года, — эпоха, характеризующаяся, правда, временной, но зато полной подавленностью западноевропейского рабочего класса.

Эта эпоха разочарований, конечно, не благоприятствовала возникновению у Чернышевского каких-нибудь преувеличенных надежд на ближайшее будущее. Этим, вероятно, и нужно объяснить, что вскоре по окончании университетского курса (в 1850 году) он уехал в Саратов, где получил место старшего учителя в гимназии. Но дневник, который он вел в Саратове и который относится к 1852—1853 гг., показывает, что, чуждый всяких преувеличенных надежд на ближайшее будущее, Чернышевский, однако, совсем не принадлежал к числу людей, окончательно потерявших всякую веру в более или менее близ-

* Сочинения, т. X, ч. 1, отд. 2, стр. 215—216 [1].

кое торжество прогрессивных начинаний. Вот пример. Пятого марта 1853 г. он писал: «Наконец, мне должно жениться, чтобы стать осторожнее. Потому что, если я буду продолжать так, как начал, я могу попасться в самом деле. У меня должна быть идея, что я не принадлежу себе, что я не вправе рисковать собою, иначе, почем знать? Разве я не рискну? Должна быть как защита против демократического, против революционного направления, и этою защитою ничто не может быть, кроме мысли о жене» *. Он и в самом деле женился на Ольге Сократовне Васильевой 29 апреля 1853 года. Но следует заметить, что он сам вряд ли серьезно рассчитывал на то, что женитьба будет ему защитой «против демократического, против революционного направления». Он предупреждал свою невесту насчет того, что он может погибнуть. Из первой части романа «Пролог» видно, что беседы на такую тему случалось ему вести с Ольгой Сократовной и после того, как она стала его женою. Как же представлялся ему тот ход событий, в связи с которым ему могла бы угрожать гибель? На это отвечает следующее место в «Дневнике Левицкого» (2-я часть романа «Пролог»). Читая это место, нужно помнить, что в нем рассказ ведется от лица Левицкого (Добролюбова), записывающего слова, сказанные ему Волгиным (Чернышевским):

«Прийдет серьезное время. Когда? — Я молод, потому для вопроса обо мне все равно, когда оно прийдет: во всяком случае оно застанет меня еще в полном цвете сил, если я сберегу себя. Как прийдет? Как пришла маленькая передряга Крымской войны; без наших забот, пусть не хлопочу; никакими хлопотами не оттянешь, не ускоришь вскрытие Невы. Как прийдет? Мы говорим о времени силы, — сильна только сила природы.

По воздуху вихорь свободно шумит;
Кто знает, откуда и как он летит.

Шансы будущего различны. Какой из них осуществится? Не все ли равно? Угодно мне слышать его личное предположение о том, какой шанс вероятнее других? Разочарование общества и от разочарования новое либеральничанье в новом вкусе, по-прежнему мелкое, презренное, отвратительное для всякого умного человека с каким бы то ни было образом мысли; для умного радикала такое же отвратительное, как для умного консерватора пустое, сплетническое, трусливое, подлое и глупое, и будет развиваться, развиваться, все подло и трусливо, пока где-нибудь в Европе — вероятнее всего во Франции—

* Сочинения, т. X, ч. 2, отд. 3, стр. 39 [1]. В другом месте он пишет: «Я должен чем-нибудь сдерживать себя на дороге к Искандеру» (там же, стр. 96).

не подымется буря и не пойдет по остальной Европе, как было в 1848 году.

В 1830 году буря прошумела только по западной Германии; в 1848 году захватила Вену и Берлин. Судя по этому, надобно думать, что в следующий раз захватит Петербург и Москву» *.

По всей вероятности, Чернышевский так рассуждал и о самом себе по окончании университетского курса: «Сейчас невозможно предпринять что-нибудь дельное, но серьезное время непременно прийдет под влиянием тех или иных «передряг» международной жизни. Тогда можно будет взяться за общественную деятельность, а теперь пока надо собираться с силами и работать над самим собою, да над теми немногими, преимущественно молодыми, людьми, с которыми приходишь в непосредственное соприкосновение». И он, конечно, работал. Трудно было бы усомниться в том, что он, состоя преподавателем Саратовской гимназии, упускал случай заронить добрые семена в молодые души. Но это делалось в ожидании более широких задач, это был подготовительный период, «пролог» его общественной деятельности. В каком настроении был он, находясь в Саратове, видно из следующих слов, записанных им в своем дневнике 7 марта 1853 года, после представления «Вильгельма Телля»: «Я был решительно взволнован В. Теллем, даже плакал» **. Эти слова могут, пожалуй, даже произвести преувеличенное впечатление на читателя, внушив ему ту мысль, что Чернышевский был безусловным сторонником революционного способа действий. Чтобы предупредить подобную ошибку, мы опять обратимся к «Дневнику Левицкого» и приведем из него место, непосредственно следующее за только что приведенным. Напоминаем читателю, что Левицкий передает мысль Волгина.

«Верно ли это? (т. е. верно ли то, что будущая европейская буря захватит Петербург и Москву. *Г. П.*) Верного тут ничего нет, только вероятно. Отрадна ли такая вероятность? По его мнению, хорошего тут нет ровно ничего. Чем ровнее и спокойнее ход улучшений, тем лучше. Это общий закон природы: данное количество силы производит наибольшее количество движения, когда действует ровно и постоянно; действие толчками и скачками менее экономно. Политическая экономия раскрыла, что эта истина точно так же непреложна и в общественной жизни. Следует желать, чтобы все обошлось у нас тихо, мирно. Чем спокойнее, тем лучше» ***.

В романе «Пролог» Чернышевский изображает свое настроение, каким оно было в середине 50-х годов. Далее мы покажем,

* Сочинения, т. X, ч. 1, отд. 2, стр. 214—215 [1].
** Сочинения, т. X, ч. 2, отд. 3, стр. 93 [2].
*** Сочинения, т. X, ч. 1, отд. 2, стр. 215 [3].

что впоследствии взгляд его на «толчки» и «скачки» очень значительно изменился. Но у нас нет никаких оснований думать, что в эпоху своего студенчества и в первые годы по окончании университетского курса он смотрел на «толчки» и «скачки» иначе, чем во время первого своего сближения с Добролюбовым. Поэтому мы и полагаем, что молодой Чернышевский далеко не был принципиальным сторонником революции [1].

Чтобы покончить с периодом пребывания нашего автора в Саратове, отметим на основании его собственного дневника две, очень достойные внимания, черты его характера.

Наши «реаки» обыкновенно представляли его себе «вожаком нигилистов», а «нигилисты» являли собою в их глазах не что иное, как

Сброд воришек и грабителей,
Огорчающих родителей... [2]

Дневник дает несколько иное понятие о «вожаке нигилистов». Намереваясь жениться на О. С. Васильевой, Чернышевский писал о своих родителях: «Они не судьи в этом деле, потому что у них понятия о семейной жизни, о качествах, нужных для жены, об отношениях мужа к жене, о хозяйстве, образе жизни, решительно не те, как у меня. Я человек решительно другого мира, чем они, и как странно было бы слушаться их относительно, например, политики и религии, так странно было бы спрашивать их совета о женитьбе. Это вообще. В частности — они решительно не знают моего характера и того, какая жена нужна мне. В этом деле никто, кроме меня самого, не может быть судьею, потому что никто не может войти в мой характер и в мои понятия, кроме меня самого» *. Против этого трудно теперь что-нибудь возразить, и кажется, что 24-летний Чернышевский мог бы со спокойной совестью жениться по своему собственному усмотрению. Однако совесть его была очень неспокойна, и он не переставал мучиться сомнениями насчет того, как поступить ему, если родители не согласятся на его брак. «Я создан для повиновения, для послушания, — писал он, — но это послушание должно быть свободно. А вы слишком деспотически смотрите на меня, как на ребенка. «Ты и в 70 лет будешь моим сыном и тогда ты будешь меня слушаться, как я до 50 лет слушалась маменьки». Кто же виноват, что ваши... ** так велики, что я должен сказать: в пустяках, в том, что все равно, — а раньше этими пустяками были важные вещи, — я был послушным ребенком. Но в этом деле не могу, не вправе, потому что это дело серьезное. Нет-с, тут я уж

* Сочинения, т. X, ч. 2, отд. 3, стр. 47 [3].
** Тут издатель не разобрал одного слова [4].

не тот сын, которого вы держали так: «Милая маменька, позвольте мне съездить к Ник. Ив.» — «Хорошо, ступай!» — «Милая маменька, позвольте мне съездить к Анне Ник.». — «Не смей ездить, это гадкая женщина». Нет, в этом деле я не намерен спрашиваться, и если вы хотите приказывать, с сожалением должен сказать вам, что напрасно вы будете приказывать»*.

Но так как Чернышевский опасался, что приказывать все-таки станут, то он на всякий случай принял такое решение: «Если станете упрямиться, — извольте, спорить не стану, я убью себя. Посмотрим, что тогда будет. И если будет необходимость, я исполню свою угрозу, потому что лучше умереть, чем жить бесчестным в собственных глазах, или рассорившись с теми, кого люблю, с теми, которые, наконец, сами любят тебя, только слишком странны со своей претензией на всезнание и безошибочность своих понятий о людях и о том, что так, а не так должно тут поступить» **.

Правда, несколькими строками ниже сам Чернышевский замечает, что это опасение препятствий браку со стороны родителей есть не более как «дикая фантазия» и что, по всей вероятности, дело уладится легко и скоро. Но все-таки чрезвычайно характерно то беспокойство, в которое его приводила мысль о возможности подобных препятствий, а еще более характерно убеждение о нравственной невозможности для него остаться в живых, «рассорившись» с родителями. Все это так мало похоже на ходячее представление реакционеров о «нигилистах»!

Не более соответствует ему и та черта характера Чернышевского, которая сквозит вот в этих строках его дневника: «Кроме этого, я хочу поступить теперь в обладание своей жене и телом, не принадлежав ни одной женщине, кроме нее. Я хочу жениться девственным и телом, как будет девственна моя невеста» ***. «Реаки» утверждали, что «люди 60-х годов» проповедовали половой разврат ****, многие, даже не из числа «реаков», искренно полагали, что только «чистая» мораль графа Толстого начала отчасти поправлять нравственный вред, причиненный таким разнузданием. Мы видим, насколько это справедливо.

Вскоре после женитьбы Чернышевский переехал в Петербург, где он в течение первого года продолжал свою педагогическую деятельность, занимая во 2-м кадетском корпусе «должность учителя третьего рода», как выражается о нем одна казенная бумага. Тогда же стали появляться его первые — известные нам — печатные произведения. Он писал сначала в

* Там же, стр. 48—49 [1].

** Там же, стр. 49 [2].

*** Там же, стр. 40 [3].

**** См., например, грязный пасквиль проф. *Цитовича:* «Что делали в романе «Что делать?»».

«Отечественных Записках», а потом в «Современнике». Начиная с 1855 г. и вплоть до своего ареста Чернышевский работал почти исключительно в «Современнике». Это, можно сказать, общее правило, из которого мы знаем два исключения: в 1858 г. появилась в «Атенее» (№ 3) его критическая статья: «Русский человек на rendez-vous», и в том же году он состоял некоторое время редактором военного сборника. В течение первого года своего пребывания в Петербурге он работал над своей магистерской диссертацией: «Эстетические отношения искусства к действительности». Рассмотрение этой диссертации университетским начальством затянулось, по словам издателя Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского, до 1855 г. и, насколько мы знаем, кончилось неблагоприятно для молодого ученого: обнаружившееся в его работе направление мысли не понравилось университетскому начальству, и он так и не получил магистерского звания. Но зато именно это злоключение с диссертацией и сблизило, как говорят, ее автора с редакцией «Современника», который скоро попал, по собственным словам Н. Г. Чернышевского, в его полное распоряжение.

О диссертации Н. Г. Чернышевский сообщал своему отцу в письме от 21 сентября 1853 года: «Диссертацию свою пишу об эстетике. Если она пройдет через университет в настоящем своем виде, то будет оригинальна, между прочим, в том отношении, что в ней не будет ни одной цитаты, а всего только *одна* ссылка. Если же найдут это недовольно ученым, то я прибавлю несколько сот цитат в три дня. По секрету можно сказать, что гг. здешние профессора словесности совершенно не занимались тем предметом, который взял я для своей диссертации, и потому едва ли увидят, какое отношение мои мысли имеют к современному образу понятий об эстетических вопросах. Им показалось бы даже, что я приверженец тех философов, которых мнения оспариваю, если бы я не сказал об этом ясно. Поэтому я не думаю, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы, которые я разбираю, если меня не принудят прямо объяснять этого. Вообще у нас очень затмились понятия о философии с тех пор, как умерли или замолкли люди, понимавшие философию и следившие за нею» *.

В письме от 3 мая 1855 г. он писал отцу же: «Диссертация, для сокращения времени и издержек, напечатана мною в большом формате и очень убористым шрифтом; кроме того и для тех же целей я значительно сократил ее (хотя цензура университетская не зачеркнула ни одного слова), когда рукопись была уже одобрена к печати. Потому вышло всего только 6½ печатных листов, вместо 20, которые были бы наполнены ею без

* Сочинения, т. X, ч. 2, отд. 1, стр. 84 [1].

сокращений и при обыкновенном разгонистом печатании... В внешнем отношении она имеет ту особенность, что нет в ней *ни одной* цитаты — наперекор общей замашке шарлатанить этою дешевою ученостью. К числу особенностей принадлежит и то, что она писана мною *прямо набело* — случай, едва ли бывавший с кем-нибудь. Этим всем я хотел себе доставить удовольствие внутренно позабавиться над людьми, которые (не могут) сделать подобного. О содержании пока не пишу — это до другого письма. Заглавие вы знаете: «Эстетические отношения искусства к действительности»...» *

Н. Г. Чернышевский был главным публицистом, а до половины 1856 г. и главным литературным критиком «Современника». За Некрасовым и Панаевым навсегда останется та огромная заслуга, что они не сторонились, как это делали почти все остальные «друзья Белинского», от Чернышевского и его единомышленников. Правда, с точки зрения успеха журнала им не приходилось жалеть о том, что они предоставили его в распоряжение автора «Эстетических отношений». Уже в декабрьской книжке «Современника» за 1855 год появилась первая статья из того, уже не раз упомянутого ряда «Очерков Гоголевского периода русской литературы», который представляет собою одно из замечательнейших произведений Чернышевского и до сих пор остается лучшим пособием для всякого, желающего познакомиться с критикой Гоголевского периода. Вторая статья из этого замечательного ряда очерков была напечатана в январской, третья — в февральской, четвертая — в апрельской книжках «Современника» за следующий год. В этих четырех статьях была сделана оценка литературной деятельности Полевого, Сенковского, Шевырева и Надеждина. В июльской книжке автор перешел к Белинскому, которому и посвящены остальные пять очерков. В этих статьях имя Белинского впервые названо в печати после 1848 года, когда на Белинского стали смотреть, как на запрещенного писателя. С появлением «Очерков» можно было с отрадной уверенностью, и нимало не преувеличивая дела, сказать, что у Белинского есть достойный преемник. С тех пор как Чернышевский выступил в качестве критика и публициста «Современника», за этим журналом снова было обеспечено преобладающее место между русскими периодическими изданиями, принадлежавшее ему при жизни Белинского. «Современнику» с интересом и уважением внимала передовая часть читающей публики, к нему естественно тяготели все свежие, нарождавшиеся литературные силы. Так, с половины 1856 года в нем стал писать молодой Добролюбов. Людям нашего времени трудно даже представить себе, как

---

* Там же, та же страница [1].

велико было тогда у нас значение журналистики. Теперь общественное мнение значительно уже переросло журналистику; в 40-х годах оно еще не успело дорасти до нее. Конец же 50-х и начало 60-х годов является эпохой наибольшего согласия между общественным мнением и журналистикой и наибольшего влияния журналистики на общественное мнение. Только при таком условии и возможно было то горячее увлечение литературной деятельностью и та искренняя вера в значение литературной пропаганды, которые замечаются во всех тогдашних выдающихся писателях. Короче, это был золотой век русской журналистики. Несчастный исход Крымской войны заставил правительство сделать несколько уступок образованному обществу и совершить, по крайней мере, самые насущные, давно уже ставшие необходимыми реформы. Вскоре на очередь поставлен был вопрос об освобождении крестьян, самым недвусмысленным образом затрагивающий интересы всех сословий. Нужно ли говорить, что Николай Гаврилович с жаром принялся за разработку этого вопроса? К 1857—1858 гг. относятся его замечательные статьи о крестьянском деле. Теперь довольно уже хорошо известно взаимное отношение наших общественных сил в эпоху уничтожения крепостного права. Поэтому мы будем говорить о нем лишь мимоходом, лишь поскольку это нужно для выяснения роли, принятой на себя в этом деле нашей передовой журналистикой, во главе которой стоял тогда Н. Г. Чернышевский. Всем известно, что эта журналистика горячо защищала крестьянские интересы. Наш автор писал одну за другой статьи, в которых отстаивал освобождение крестьян с землею и утверждал, что выкуп земель, отходящих в надел крестьянам, не может представить для правительства никакой трудности. Он доказывал это положение и общими теоретическими соображениями, и самыми подробными примерными вычислениями. «Каким это образом выкуп земли может быть в самом деле затруднителен? Как может он превышать силы народа? Это неправдоподобно, — писал он в статье *«Труден ли выкуп земли?»*. — Это противоречит основным понятиям народного хозяйства. Политическая экономия прямо говорит, что все те материальные капиталы, какие достаются известному поколению от предшествовавших поколений, составляют ценность не очень значительную по сравнению с тою массою ценностей, какая производится трудом этого поколения. Например, вся земля, принадлежащая французскому народу, со всеми зданиями и всем, находящимся в них, всеми кораблями и грузами, всем скотом и всеми деньгами и всеми другими богатствами, принадлежащими этой стране, едва ли представляет стоимость во сто миллиардов франков; а труд французского народа ежегодно производит ценность в пятнадцать или более миллиардов

франков, т. е. не более как в семь лет французский народ производит массу ценностей, равную ценности целой Франции, как она есть, от Ламанша до Пиренеев. Стало быть, если бы французам нужно бы было выкупить у кого-нибудь всю Францию, они могли бы сделать это в продолжение одного поколения, употребляя на выкуп только одну пятую часть своих доходов. А у нас о чем идет дело? Разве целую Россию должны мы выкупить со всеми ее богатствами? Нет, только одну землю. И разве всю русскую землю? Нет, выкуп относится только к тем губерниям одной Европейской России, в которых укоренилось крепостное состояние» и т. д. *. Показав затем, что земли, подлежащие выкупу, составляли бы не более шестой части пространства, занимаемого Европейской Россией, он предлагает целых восемь планов выкупной операции. По его словам, принявши один из этих планов, правительство могло бы выкупить надельные земли не только без обременения крестьян, но и с большою выгодою для государственного казначейства. В основе всех планов Чернышевского лежало соображение о «*необходимости держаться возможно умеренных цен при определении величины выкупа*». Мы знаем теперь, насколько наше правительство имело в виду интересы крестьянства при уничтожении крепостного права и насколько оно последовало советам Чернышевского относительно умеренности при определении выкупных платежей. Если при освобождении крестьян наше правительство ни на минуту не позабыло выгод государственного казначейства, то об интересах крестьян оно думало очень мало. При выкупной операции имелись в виду исключительно только фискальные и помещичьи интересы. И это совершенно понятно, так как никому нет ни нужды, ни охоты думать об интересах того сословия (в данном случае крестьянского), которое само не может энергично и систематически отстаивать их. Но в ту пору, когда еще только шли толки о крестьянском освобождении, самые передовые люди России думали несколько иначе. Им казалось, что само правительство без большого труда могло бы понять, до какой степени его собственные выгоды совпадают с интересами крестьянства. Подобные надежды довольно долго питал, между прочим, Герцен. Питал их и Чернышевский. Отсюда происходила и та настойчивость, с которою он возвращался в своих статьях к крестьянскому вопросу, и то усердие, с которым он выяснял правительству его собственные интересы. Но Чернышевский был первым, по времени, русским писателем, понявшим, что он обольщался несбыточной надеждою, и переставшим убеждать тех, которые не обращали ни малейшего внимания на его доводы. Это тоже немалая заслуга.

---

* Сочинения, т. IV, стр. 335—336 [1].

Мы не будем здесь излагать и разбирать взгляд на русскую общину, изложенный Чернышевским в его статьях по крестьянскому вопросу. Ниже он подробно рассматривается нами. Мы только прибавим здесь, что даже в период наибольшего своего увлечения общиной Чернышевский во взгляде на нее оставался чужд тех полуславянофильских крайностей, до которых доходил Герцен или — под очевидным влиянием Герцена — М. Л. Михайлов в своем воззвании «К молодому поколению» (1861 г.) *.

Чернышевский очень скоро приобрел влияние в нашей передовой литературе. Но как ни велико было это влияние, единомышленников, в настоящем смысле этого слова, у него было очень мало. Думать так нам дают повод следующие слова Волгина, обращенные к Нивельзину в первой части романа «Пролог»: «У всех у наших господ просвещателей публики чепуха в голове; пишут ахинею, сбивают с последнего толка русское общество, которое и без того уже находится в полупомешательстве. Нет между ними ни одного, которого бы можно было взять в товарищи. Поневоле принужден один писать все статьи, которыми выражается мнение журнала. И не успеваю. Нет человека с светлою головою, да и кончено!» **. Только Добролюбов был такой светлой головой, на которого мог вполне положиться Чернышевский. Оттого наш автор и любил его такой поистине восторженной любовью ***.

Впоследствии хорошим помощником Чернышевского явился М. А. Антонович, к которому наш «холодный» автор тоже, как видно, привязался очень скоро. Но Добролюбов скоро умер, и эта утрата осталась для «Современника» незаменимой.

Н. Г. Чернышевский очень любил полемизировать. Он признается, что даже друзья его всегда замечали в нем чрезвычайную,

* См. второе приложение к сборникам «Государственные преступления в России». Русская историческая библиотека, № 5 (Paris 1905), стр. 5 и сл.

** Сочинения, т. X, ч. 1, отд. 2, стр. 89 [1].

*** С каким доверием отнесся он с первой же встречи к Добролюбову как писателю, показывает следующая сцена в «Дневнике Левицкого». Левицкий записывает: «После вчерашнего я не мог сомневаться, что кажусь ему (Волгину. *Г. П.*) хорошим сотрудником. Но эти слова удивили меня: «Вы предоставляете мне полную волю в журнале?» — «А разве были бы вы очень нужны мне, если б не так? Сотрудников, которых надобно водить на помочах, можно иметь, пожалуй, хоть сотню, да что в них пользы? Пересматривай, поправляй, — такая скука, что легче писать самому». — «Вы не будете просматривать моих статей?» — «А что будет в них любопытного? Признаться вам сказать, не буду читать и напечатанных, не только до напечатания. И без того приходится читать слишком много пустяков, — ха-ха-ха! — благодарите за комплимент». — «Но я могу делать ошибки». — «А ну вас и с вашими ошибками! Только время теряю с вами — ха-ха-ха! Ну, прощайте. Приходите послезавтра. Поговорим еще, хоть не о чем»» (Сочинения, т. X, ч. 1, отд. 2, стр. 210—211) [2].

«по их мнению, даже излишнюю, любовь к разрешению спорных вопросов горячею полемикой» *. Полемика всегда казалась ему очень удобным, а вернее сказать — необходимым орудием проведения в общество новых понятий **. Тем не менее в начале своей литературной деятельности он как будто избегал полемики. «Очерки Гоголевского периода» написаны спокойным и примирительным тоном. Только к Шевыреву, известному московскому критику времен Белинского, относится он там с едкой иронией, да еще о Сенковском (бароне Брамбеусе) высказывается с презрительным сожалением, как о человеке, затратившем свои огромные силы на бесплодное литературное фиглярство. О других же писателях Гоголевской эпохи он отзывается большей частью с похвалой. Даже в литературной деятельности Погодина — которого так не любил и над которым так смеялся кружок Белинского — находит он полезные и похвальные черты. О славянофилах же он говорит с неподдельным уважением. Несмотря на все их, очевидные для него, ошибки, он считает их искренними друзьями просвещения и горячо сочувствует их отношению к русской поземельной общине.

Не касаясь здесь взгляда его на общину, мы заметим, однако, что уже в спорах об этой форме землевладения он вынужден был покинуть свой спокойный добродушный тон и выступить во всеоружии своего полемического таланта. Плохо пришлось тогда патентованным представителям либеральной экономии, в особенности редактору «Экономического Указателя» Вернадскому. Чернышевский положительно обессмертил этого «С. С.» (статского советника) и «Д-ра ист. н., пол. эк. и стат.» (т. е. доктора исторических наук, политической экономии и статистики; так подписывался гордый своими чинами и дипломами Вернадский). Разбитый наголову ученый не только бежал с поля битвы, но, к довершению комизма, начал уверять в своем уважении того самого Чернышевского, которого он в начале

* Сочинения, т. IV, стр. 304 [1].

** В «Очерках Гоголевского периода» он защищает Надеждина от упреков, которые многие делали ему за его страсть к резкой полемике. «Зачем Надоумко (псевдоним Надеждина) говорил таким резким тоном? Разве не мог он высказать то же самое в мягких формах? Удивительное дело — наши литературные да и всякие другие понятия! Вечно предлагаются вопросы, почему земледелец пашет поле грубым железным плугом или сошником! Да чем же иначе можно вспахать плодородную, но тяжелую на подъем почву? Ужели можно не понимать, что без войны не решается ни один важный вопрос, а война ведется огнем и мечом, а не дипломатическими фразами, которые уместны только тогда, когда цель борьбы, веденной оружием, достигнута? Беззаконно нападать только на безоружного и беззащитного, на старцев и калек, а поэты и литераторы, против которых выступил Надеждин, были не таковы» (Сочинения, т. II, стр. 130) [2].

спора позволял себе третировать как дерзкого невежду. Надо признаться, что едва ли возможно вести защиту какого бы то ни было дела искуснее, чем Чернышевский защищал общину. Он сказал в ее пользу решительно все, что можно было сказать. И если его решение спорного вопроса теперь не может быть признано удовлетворительным, то это объясняется лишь крайней отвлеченностью той точки зрения, с которой он смотрел на этот вопрос. Надо, впрочем, заметить, что, как мы увидим ниже, он защищал русскую поземельную общину лишь весьма условно.

Начавшись с общинного землевладения, спор Чернышевского с нашими либеральными экономистами скоро принял более широкий характер и перешел к общим вопросам экономической политики. Либеральные экономисты отстаивали принцип государственного невмешательства; Чернышевский оспаривал его. И вышло опять так, что спор о невмешательстве государства в экономическую жизнь народа послужил поводом для нового торжества нашего автора. Его статья «Экономическая деятельность и законодательство» * может считаться одним из наиболее блестящих опровержений теории «laisser faire, laisser passer» ** не только в русской, но и во всемирной экономической литературе. Чернышевский пускает в ней в дело всю свою диалектическую силу и всю свою полемическую ловкость. Он как бы забавляется этой борьбой, в которой он с такою легкостью отражает удары противников. Он играет с ними, как кошка с мышью, делает им всевозможные уступки, выражает готовность согласиться с любым из их положений, принять любое толкование всякого данного положения — и уже только потом, давши им, по-видимому, все шансы победы, поставив их в самые благоприятные для их торжества условия, переходит в наступление и тремя-четырьмя силлогизмами приводит их к нелепости. Затем начинаются новые уступки, новые, еще более благоприятные истолкования того же положения и новые доказательства его нелепости. А в конце статьи Чернышевский, по своему обыкновению, читает своим противникам назидание и дает им почувствовать, до какой степени они не имеют понятия не только о строгих приемах научного мышления, но и о самых первоначальных требованиях простого здравого смысла. Замечательно, что принцип государственного невмешательства, имевший у нас таких горячих сторонников в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов, вскоре был почти совершенно оставлен русскими экономистами. Это в значительной степени объясняется как общим состоянием нашей промышленности и торговли, так и последующим влиянием на наших

* Перепечатана в IV томе Полного собр. сочинений, стр. 422—463.
** [пусть идет, как идет]

теоретиков немецкой катедер-социалистической школы. Но, несомненно, много значит в этом случае и то, что названный принцип уже при самом начале его распространения в русской литературе встретил такого могучего противника, как Н. Г. Чернышевский. Раз получивши хороший урок, русские манчестерцы почли благоразумным смолкнуть, стушеваться и сойти со сцены.

Конечно, если бы мы захотели сравнить доводы, выдвинутые Чернышевским в этой полемике, с той аргументацией, которой пользуется Маркс, например, в «Речи о свободе торговли», то мы опять должны были бы признать, что точка зрения нашего автора страдает отвлеченностью. Но это уже общий недостаток его экономических воззрений, о котором речь пойдет во 2-й части нашей работы.

Не по одним только экономическим вопросам приходилось Чернышевскому вести ожесточенную полемику. И притом противниками его были не одни только либеральные экономисты. Чем влиятельнее становился кружок «Современника» в русской литературе, тем более нападок сыпалось с самых различных сторон и на этот кружок вообще, и на нашего автора в частности. Сотрудников «Современника» считали опасными людьми, готовыми ниспровергнуть все пресловутые «основы». Некоторые из «друзей Белинского», вначале еще считавшие возможным идти рядом с Чернышевским и его единомышленниками, отшатнулись от «Современника», как от органа «нигилистов», и стали кричать, что Белинский никогда не одобрил бы принятого им направления. Так поступил И. С. Тургенев *. Даже Герцен заворчал на «паяцев» в своем «Колоколе». Он предупреждал их насчет того, что, «истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно «досвистаться» не только до Булгарина и Греча, но и до Станислава на шею». Герцен утверждал, что в «обличительной литературе», над которой насмехались «паяцы», были превосходные вещи. «Вы воображаете, что все рассказы Щедрина и некоторые другие так и можно теперь огулом бросить с Обломовым на шее в воду? Слишком роскошничаете, господа!» **. Указание на Щедрина было весьма неудачно, так как сам Чернышевский хорошо умел ценить его произведения. Вообще по всему видно, что Герцена ввели в заблуждение его либеральные друзья, вроде Кавелина. «Паяцы» — или «свистуны», как их называли в России — смея-

* Чернышевский рассказывает, что Тургенев мог еще выносить его до некоторой степени, но зато уже окончательно не терпел Добролюбова. «Вы — простая змея, а Добролюбов — очковая», — говорил он Чернышевскому (см. уже цитированное письмо «В изъявление признательности». — Сочинения, т. IX, стр. 103) [1].

** Статья «Very dangerous!!» в № 44 «Колокола».

лись не над обличениями, а над теми наивными людьми, которые не могли и не хотели идти дальше невинных обличений, забывая мораль крыловской басни «Кот и Повар» *.

Герцен сам должен был очень скоро увидеть, как плохи в политическом смысле были те либеральные друзья, которые рассматривали его отношения с Чернышевским. Когда ему пришлось разорвать с К. Д. Кавелиным [1], он, может быть, и сам сказал себе, что «желчевики» были не совсем неправы **.

Впрочем, большинство статей в «Свистке», вызывавшем особенное неудовольствие благовоспитанных либералов, принадлежало не Н. Г. Чернышевскому. Он только изредка принимал в нем участие, так как был завален другой работой. В последние годы своей литературной деятельности он не только аккуратно писал для каждой книжки «Современника», но чаще всего в каждой книжке было несколько его статей. По различным отделам журнала статьи его обыкновенно распределялись так: он давал, во-первых, статью по какому-нибудь общему теоретическому вопросу, затем писал политическое обозрение, разбирал несколько новых книг и, наконец, как бы для отдыха и развлечения, предпринимал еще полемические вылазки против своих противников. «Современник» 1861 года особенно богат его полемическими статьями. К этому году относятся его известные «Полемические красоты», «Национальная бестактность» (против Львовского «Слова»), «Народная бестолковость» (против Аксаковского «Дня»; об этой статье мы еще будем говорить) и многие полемические заметки в отделе русской и иностранной литературы.

В «Полемических красотах» особенно интересен теперь взгляд нашего автора на свою собственную литературную деятельность. Мы приведем его здесь. Чернышевский прекрасно знает, что занял в русской литературе выдающееся место. Его противники очень боятся его и временами начинают даже говорить ему комплименты. Но его нимало не радует его возрастающая известность. Он слишком низко ставит русскую литературу, чтобы считать почетным занимаемое им в ней выдающееся место. Он «совершенно мертв к своей литературной репутации». Его интересует только один вопрос: сумеет ли он сохранить свежесть мысли и чувства до той лучшей поры, когда литература наша станет действительно полезной обществу. «Я знаю, что будут лучшие времена литературной деятельности, когда

* О статье «Very dangerous!!» и об ее более или менее гадательных последствиях см., между прочим, в книге г. *Ветринского:* «Герцен» (Спб. 1908 г., стр. 354).

** Историю этого разрыва можно проследить по письмам К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену, изданным М. Драгомановым в Женеве в 1892 году.

будет она приносить обществу действительную пользу и будет действительно заслуживать доброе имя тот, у кого есть силы. И вот я думаю: сохранится ли у меня к тому времени способность служить обществу как следует? Для этого нужна свежесть сил, свежесть убеждения. А я вижу, что уже начинаю входить в число «уважаемых» писателей, то есть писателей истаскавшихся, отстающих от движения общественных потребностей. Это горько. Но что делать? Лета берут свое. Дважды молод не будешь. Я могу только чувствовать зависть к людям, которые моложе и свежей меня...» *. Как-то странно встречаться теперь с этими благородными опасениями нам, знающим, что когда Чернышевский высказал их, ему оставалось жить на свободе не более года. Приведенные строки были напечатаны в июльской книжке «Современника» за 1861 год, а в июле следующего года он сидел уже в Петропавловской крепости... Но можно представить себе, с каким презрением относился к своим врагам этот человек, который, при полном сознании своего огромного превосходства над ними, все-таки не придавал цены даже и своим собственным литературным заслугам. И действительно, почти каждая страница «Полемических красот» дышит холодным презрением к порицателям «Современника». Им отличается в особенности ответ «Отечественным Запискам». Чернышевский нисколько не сердится на своих оппонентов из «Отечественных Записок». Он поучает их почти ласково, как поучает добрый педагог провинившегося школьника. Конечно, добрый педагог, журя своего питомца, говорит ему подчас очень горькие истины и нимало не скрывает своего умственного превосходства над ним. Но он делает это единственно в интересах питомца. Так поступает и Чернышевский. Он не забывает ни одной ошибки, ни одного промаха «Отечественных Записок» и отечески журит редакцию за неловкость. Он досадует на них больше всего за ту неосторожную горячность, с какой они кинулись в борьбу с ним. Куда же вам со мной полемизировать, повторяет он им, показавши полнейшую несостоятельность того или другого из возводимых ими на него обвинений. При случае он прямо говорит, что знает гораздо больше и понимает вещи гораздо глубже их, что они просто не в состоянии оценить те новые идеи, которые он проводит в литературе. «Вы хотите знать, как обширны мои знания? — обращается он к Дудышкину, обвинявшему его, со слов других журналов, в нахальном невежестве. — На это могу отвечать вам только одно: несравненно обширнее ваших. Да это вы и сами знаете. Так зачем же вы добивались получить печатно такой ответ? Нерассудительно, нерассудительно вы подводили себя под него.

* Сочинения, т. VIII, стр. 231 [1].

Да вы, пожалуйста, не примите этого за гордость: есть чем тут гордиться, что знаешь гораздо больше, нежели вы. И опять-таки не примите этого так, что я хочу сказать, будто вы имеете слишком мало знаний. Нет, ничего-таки: кое-что знаете, и вообще вы человек образованный. Только напрасно вы так плохо полемизируете»* и т. д. — Все это было бы, пожалуй, слишком резко и самонадеянно, если бы не было безусловно справедливо.

Тем временем настроение поднималось, по крайней мере в некоторой части русского «общества». Волновалась учащаяся молодежь, возникали тайные революционные организации, печатавшие свои воззвания и программы и ждавшие близкого восстания крестьянства. Мы уже знаем, что Чернышевский вполне признавал возможность наступления «серьезного времени» в России, и мы еще увидим, как сильно подъем общественного настроения отразился на его публицистической деятельности. Но имел ли он какие-нибудь отношения к тайным обществам? На этот вопрос пока еще нельзя отвечать с уверенностью, да и кто знает, будут ли у нас когда-нибудь данные для его решения? По мнению г. М. Лемке, прекрасно изучившего дело Н. Г. Чернышевского, «можно *предполагать* (курсив его), что этим последним было написано то воззвание «К барским крестьянам», в составлении которого суд признал его виновным». Г-н М. Лемке подтверждает свою догадку указанием на язык и на содержание этой прокламации. Мы находим эти указания не лишенными основательности [2]. Но мы спешим повторить вместе с г. Лемке, что «все это более или менее вероятные соображения, и только» **. Довольно основательным кажется нам и то мнение г. Лемке, что известный листок «Великорусс» был, отчасти, делом рук Чернышевского. Г-н Лемке подтверждает свое предположение словами г. Стахевича, который прожил вместе с Чернышевским несколько лет в Сибири и который пишет: «Я заметил, что Чернышевский с явственным сочувствием относится к листкам, выходившим в неопределенные сроки под заглавием «Великорусс»; вышло, помнится, три номера. Слушая разговоры Николая Гавриловича, я иногда замечал, что и содержание мыслей, и способ их выражения сильнейшим образом напоминают мне листок «Великорусс», и я про себя решил, что он был или автором, или, по меньшей мере, соавтором этих листков, проповедовавших необходимость конституционных преобразований» ***. Мы вполне согласны

* Сочинения, т. VIII, стр. 270 [1].

** *М. К. Лемке*, Дело Н. Г. Чернышевского, — «Былое», 1906 г., № 4, стр. 179.

*** *М. К. Лемке*, Процесс Великоруссцев, — «Былое», 1906 г., № 7, стр. 92. Статья г. Стахевича помещена в «Закаспийском Обозрении» 1905 г., № 143.

с г. Стахевичем: своим языком и содержанием «Великорусс», в самом деле, очень напоминает публицистические статьи Чернышевского. И если Чернышевский в самом деле был его автором, то этим, конечно, и объясняется то обстоятельство, что «Великорусс» был гораздо умнее и тактичнее других подобных ему «листков» того времени [1].

Одновременно с возбуждением крайней партии в России росло и революционное движение в Польше. Находился ли Чернышевский в каких-нибудь формальных отношениях к польским революционерам, которых немало было тогда в Петербурге? На это опять нет никаких указаний. Не желая пускаться в догадки, мы ограничимся только теми данными для уяснения общих симпатий Чернышевского к польскому делу, какие можно извлечь из его сочинений, но и таких данных не много.

Известно, что славянофилы очень одобрительно относились к борьбе галицийских русинов против поляков. Чернышевский всегда сочувствовал малороссам. Он видел большую ошибку в отрицательном отношении Белинского к возникавшей малорусской литературе. В январской книжке «Современника» за 1861 г. он поместил очень сочувственную статью по поводу появления малорусского органа «Основа». Но к борьбе галицийских русинов против поляков он не мог относиться с безусловным одобрением. Ему не нравилось, во-первых, что русины искали поддержки у венского правительства. Не нравилась ему также и влиятельная роль духовенства в движении галицийских русинов. «О мирских делах, — писал он, — надобно заботиться мирским людям». Наконец, не нравилась Чернышевскому и исключительно *национальная* постановка того вопроса, в котором Чернышевский видел прежде всего вопрос *экономический*. В статье «Национальная бестактность» («Современник», 1861 г., июль), направленной против львовского «Слова», Чернышевский резко напал на излишний национализм этого органа. «Очень может быть, что при точнейшем рассмотрении живых отношений, — писал он, — львовское «Слово» увидело бы в основании дела вопрос, совершенно чуждый племенному вопросу, — вопрос сословный. Очень может быть, что оно увидело бы и на той и на другой стороне и русинов, и поляков — людей разного племени, но одинакового общественного положения. Мы не полагаем, чтобы польский мужик был враждебен облегчению повинностей и вообще быта русинских поселян. Мы не полагаем, чтобы чувства землевладельцев русинского племени по этому делу много отличались от чувств польских землевладельцев. Если мы не ошибаемся, корень галицийского вопроса заключается в сословных, а не в племенных отношениях» [2].

Взаимная вражда народностей, входящих в состав Австрии, тем более должна была казаться Чернышевскому бестактною, что венское правительство тогда, как и прежде, извлекало из нее большие выгоды. «Как подумаешь хорошенько, то и не удивляешься долголетнему существованию Австрийской империи, — писал он в политическом обозрении той же книжки «Современника», где помещена статья «Национальная бестактность», — еще бы не держаться ей при таком отличном политическом такте связанных ее границами национальностей» [1]. Австрийские немцы, чехи, кроаты и, как мы видели, русины одинаково казались Чернышевскому «несообразительными». Он боялся, что в особенности испытанная в 1848—1849 гг. славянская «несообразительность» снова зайдет очень далеко. В начале шестидесятых годов Венгрия вела упорную борьбу с венскими реакционными централистами. Недовольство венгров дошло до такой степени, что одно время можно было ожидать в их стране революционного взрыва. Наш автор не раз высказывал в своих политических обозрениях то опасение, что в случае революционного движения в Венгрии австрийские славяне опять явятся покорными орудиями реакции. Тогдашняя тактика многих славянских племен Австрии способна была только усилить подобные опасения, так как австрийские славяне позволяли себе хвалиться тою позорною ролью, какую они играли в событиях 1848—1849 гг. Строго осуждая эту тактику, Чернышевский доказывал, что им выгоднее было бы, наоборот, поддерживать врагов венского правительства, от которых они могли бы получить очень существенные уступки. Это говорил он по поводу отношений кроатов к венграм, это же повторял и русинам. Сословная партия, враждебная русинам, — читаем мы в статье «Национальная бестактность», — готова теперь на уступки... «Вот об этом-то и не мешало бы подумать львовскому «Слову»; быть может, уступки, на которые искренно готовы люди, кажущиеся ему врагами, может быть, эти уступки так велики, что совершенно удовлетворили бы русинских поселян, а во всяком случае несомненно то, что эти уступки гораздо больше и гораздо важнее всего, что могут получить русинские поселяне от австрийцев» [2].

Принципы, высказанные в этой статье, разумеется, имели в глазах Чернышевского не только местное, галицийское значение. Он, очевидно, хотел бы положить их также в основу всех отношений малороссов к полякам, и таким образом его статья «Национальная бестактность» являлась как бы предостережением для малороссов, входящих в состав Российской империи.

В том же году напечатан был в апрельской книжке «Современника» разбор только что вышедшей тогда второй части

«Архива юго-западной России». Автор этого разбора касается, между прочим, вопроса о старинном быте Польши и говорит: «В польском отсутствии бюрократической централизации лежит стремление к осуществлению иного порядка общества, чем тот, к которому доходили иные державы (тут, конечно, имеется в виду Московское государство), — порядка, основанного не на принесении личности в жертву отвлеченной идее государства, воплощаемой волею власти, а на соглашении свободных личностей для взаимного благополучия... Тут общественное дело есть результат общественной мысли; тут вечная борьба понятий и убеждений переходит из области размышления и слова прямо в проявления жизни». Положим, что польское общество было совершенно аристократично, «но круг привилегированный мог расширяться более и более и обнять заброшенную, отверженную, лишенную всяких прав массу народа, если бы понятия о гражданственности сделались шире и возросли бы до общечеловеческих идей, не связуемых временными, ограничивающими их полноту предрассудками» *. До таких увлечений в защите старого быта Польши не всегда доходили и польские демократы. Ведь весь вопрос сводился именно к тому, каким образом можно было привести польских магнатов к признанию «общечеловеческих идей».

По вопросу об исторических результатах соединения Великого Княжества Литовского с Польшей автор разбора также очень сильно расходится с нашими официальными историками. «Неужели состояние Руси во времена Ольгердов, Любартов, Скиригайлов, Свидригайлов было лучше, чем при Сигизмундах в XVI и в XVII веках?» — восклицает он в ответ историкам, которые соединение с Польшею выставляли единственной причиной всего дурного в Западной России. — «Пора перестать нам быть односторонними, быть несправедливыми к Польше, — продолжает он, — признаем, по крайней мере, благотворность ее влияния на Русь хотя по отношению к просвещению. Возьмем степень умственного образования в тех частях русского мира, который соединился с Польшею, и сравним ее с тем, что в этом отношении было в той части нашего общерусского отечества, которая оставалась самобытной — в форме Московского государства. Не из Малороссии ли пошло просвещение в Москву XVII века, и не оно ли приготовило все последующее наше образование? И не под влиянием ли Польши оно возросло в Малороссии?»

В ополячении Западной России виноваты, по мнению автора разбора, тоже не поляки. Высший класс в Западной России имел и права, и средства отстоять свою веру и свой язык и

* «Современник», 1861 г., апрель, Новые книги, стр. 443 и сл. [1]

спасти от унижения свой народ, впрочем им же самим порабощенный. Если западнорусская аристократия тем не менее совершенно ополячилась, то винить в этом нужно ее и только ее. «Сами не умели себя сохранить, — нечего на других взваливать свою вину», — замечает автор.

До выхода в свет Полного собрания сочинений Чернышевского мы были убеждены, что этот разбор вышел из-под его пера. Но он не вошел в Полное собрание. Поэтому надо полагать, что мы ошиблись. Однако мы думаем, что взгляды автора разбора были очень близки к тогдашним взглядам Чернышевского: иначе они вряд ли появились бы в «Современнике».

Наконец, в первой части романа «Пролог» изображается дружеское отношение Волгина к Соколовскому (Сераковскому?). Волгину нравится беззаветная преданность Соколовского своим убеждениям, отсутствие в нем себялюбивой мелочности, умение владеть собою, соединенное с страстной горячностью истинного агитатора. Волгин называет его *настоящим человеком* и думает, что наши либералы могли бы многому у него поучиться. Все это очень интересно *, но и это нисколько не разъясняет практических отношений Чернышевского к польскому делу.

Чернышевскому было тогда около 34 лет. Он находился в полном расцвете своих умственных сил, и, кто знает, до какой высоты он мог бы подняться в своем развитии! Но уже не долго оставалось ему жить на свободе. Он был признанным главою крайней партии, чрезвычайно влиятельным проповедником материализма и социализма. Его считали «коноводом» революционной молодежи, его винили за все ее вспышки и волнения. Как это всегда бывает в таких случаях, молва раздувала дело и приписывала Чернышевскому даже такие намерения и действия, каких у него никогда не было. В «Прологе пролога» Чернышевский сам описывает те сочувственно-либеральные сплетни, которые ходили в Петербурге относительно мнимых сношений Волгина (т. е. его самого) с лондонским кружком русских изгнанников. Сплетни эти возникали по самым ничтожным поводам, не имевшим решительно ничего общего с политикой. И, как водится, сплетнями не ограничилось дело. «Охранительная» печать давно уже занималась литературными доносами на Чернышевского. В 1862 году «Современник» был на время приостановлен. Потом появились и нелитературные доносы. «Управляющий Третьим отделением собственной е. и. в. канцелярии, — говорится в обвинительном акте по

* Волгин особенно ценил в Соколовском его «*рассудительность*», проявившуюся в том, что в 1848 году на Волыни он один, между всеми своими единомышленниками, не потерял головы и совершенно хладнокровно обдумал шансы вооруженного восстания, оказавшиеся близкими к нулю.

делу Чернышевского, — получил безыменное письмо, коим предостерегают правительство от Чернышевского, «этого коновода юношей, хитрого социалиста»; «он сам сказал, что его никогда не уличат»; его называют вредным агитатором и просят спасти от такого человека; «все бывшие приятели Чернышевского, видя, что его тенденции уже не на словах, а в действиях, люди либеральные... отдалились от него. Если не удалите Чернышевского, — пишет автор письма, — быть беде, будет кровь; эта шайка бешеных демагогов — отчаянные головы... Может быть, перебьют их, но сколько невинной крови прольется из-за них... В Воронеже, в Саратове, в Тамбове — везде есть комитеты из подобных социалистов, везде они разжигают молодежь... Чернышевского отправьте куда хотите, но скорее отнимите у него возможность действовать... Избавьте нас от Чернышевского ради общего спокойствия».

7 июля 1862 года Чернышевского арестовали. Мы не станем излагать ход его дела: он очень подробно и очень хорошо изложен у г. Лемке *. Сенат постановил лишить Н. Г. Чернышевского всех прав состояния и сослать в каторжные работы в рудниках на 14 лет и затем поселить в Сибири навсегда. Определение Сената было передано в Государственный Совет, который вполне одобрил его. Император Александр II сократил срок каторжных работ наполовину.

В конце 1864 года Чернышевский уже прибыл в Кадаю, в Забайкалье, куда позволили приехать его супруге, Ольге Сократовне, с малолетним сыном Михаилом для трехдневного свидания с ним. После трехлетнего пребывания в Кадае Чернышевского перевели на Александровский завод Нерчинского округа, а по окончании срока каторги он был поселен в Вилюйске в 450 верстах от Якутска. В Россию Николай Гаврилович вернулся уже в 1883 году, когда ему позволили поселиться в Астрахани. Там он прожил около 6 лет и, наконец, в июне 1889 года он с разрешения начальства переехал в родной город Саратов.

В. Г. Короленко в своих воспоминаниях о Н. Г. Чернышевском говорит: «Поляки, с которыми я встречался и жил в Якутской области, сделали интересное наблюдение. Один из них рассказывал мне, что почти все возвращавшиеся по манифестам прямо на родину, после того как много лет прожили в холодном якутском климате, умирали неожиданно быстро. Поэтому, кто мог, старался смягчить переход, останавливаясь на год, на два или на три в южных областях Сибири и в северо-восточных Европейской России.

* См. уже цитированную статью «Дело Н. Г. Чернышевского», — «Былое», 1906 г., март, апрель, май.

Верно это наблюдение, или эти смерти — простые случайности, но только на Чернышевском оно подтвердилось. Из холодов Якутска Чернышевский приехал в знойную Астрахань здоровым. Мой брат видел его там таким, каков он на портрете. Из Астрахани он переехал в Саратов уже таким, каким мы его увидали, сгорбившимся, с землистым цветом лица, с жестоким недугом в крови, который вел его уже к могиле» *.

Он скончался в том же 1889 году в ночь с 16 на 17 октября в 12 ч. 37 мин. По словам г. К. Федорова, бывшего у него секретарем в последние годы его жизни, «похороны его состоялись на 4-й день после смерти в присутствии многочисленной публики, после отпевания в Сергиевской церкви, на Воскресенском кладбище, где похоронен и отец его, умерший осенью 1861 г. В день похорон, равно как и после, было возложено на могилу покойного масса венков, между которыми в особенности выделялся венок или, вернее, два венка, соединенные между собою связью, — от русских и польских студентов варшавского университета и ветеринарного института» **.

Неутомимый труженик, Чернышевский усердно работал как во время заключения в крепости, так и в Сибири. В крепости им написан, между прочим, знаменитый роман «Что делать?», а то, что уцелело от написанного им в Сибири, составляет большой том в 757 страниц ***. Как усердно трудился он по возвращении из Сибири, видно, между прочим, из воспоминаний г. К. Федорова. «Работал Чернышевский, — говорит он, — в особенности за последние три года до своей смерти, очень много. День обыкновенно начинался следующим образом: в 7 часов утра он уже был на ногах, пил чай и в это же время или читал корректуру, или же просматривал подлинник перевода, затем с 8 час. до 1 ч. дня переводил, диктуя своей «пишущей машине», как он меня шутя называл за скорое писание под диктовку. В 1 ч. дня мы, т. е. супруги Чернышевские и я, обедали. Страдая давнишним недугом — катаром желудка, он во время обеда ел очень мало и питался исключительно молоком и легкой кашицей. После обеда, который продолжался не более 30—40 мин., Чернышевский прочитывал газеты и журналы, а с трех часов до 6 часов вечера, т. е. до вечернего чая, продолжалась работа. И если «пишущая», т. е. я, и «диктующая» (Чернышевский) не уставали, то занятия иногда затягивались далеко за полночь. В особенности это почти всегда

* *В. Короленко*, Отошедшие, Спб., изд. «Русского Богатства», 1908 г., стр. 75 [1].

** *К. М. Федоров*, Н. Г. Чернышевский, стр. 67—68.

*** См. Полное собрание сочинений, т. X, ч. 1.

бывало перед окончанием перевода каждого тома истории Вебера» *.

С 1885 по 1889 год Чернышевский успел перевести одиннадцать томов «Всеобщей истории» Вебера, причем к некоторым томам сделаны были им интересные приложения. Мы рассмотрим их в своем месте, равно как и две статьи его, которые были написаны в тот же период времени и напечатаны — одна в «Русских Ведомостях» (1885 г.), а другая в «Русской Мысли» (1888 г.)[1]. Теперь же мы хотим сказать несколько слов об его беллетристических произведениях.

Находясь под следствием, Н. Г. Чернышевский писал, стараясь разрушить доводы своих обвинителей, ссылавшихся на захваченные у него бумаги:

«Я издавна готовился быть, между прочим, и писателем беллетристическим. Но я имею убеждение, что люди моего характера должны заниматься беллетристикою только уже в немолодых годах — рано им не получить успеха. Если бы не денежная необходимость, возникшая от прекращения моей публицистической деятельности моим арестованием, я не начал бы печатать романа и в 35-летнем возрасте. Руссо ждал до старости. Годвин также [2]. Роман — вещь, назначенная для массы публики, дело самое серьезное, самое стариковское из литературных занятий. Легкость формы должна выкупаться солидностью мыслей, которые внушаются массе. Итак, я готовил себе материалы для стариковского периода моей жизни»**.

Мы уже заметили, что человек, находившийся в тогдашнем положении Чернышевского, имел полное право не быть откровенным и что вследствие этого необходима большая осмотрительность в пользовании его показаниями как материалом для его биографии. Но тому, что он издавна готовился быть беллетристом, поверить можно тем более, что перед ним был пример Лессинга, деятельность которого служила ему идеалом литературной деятельности. И вышло в самом деле так, что наш автор лишь поздно принялся за беллетристику. Но раз принявшись за нее, он занимался ею, как видно, очень усердно. Упомянутая выше 1 часть X тома его сочинений наполнена преимущественно беллетристикой; там есть даже стихи, например «Гимн Деве Неба», появившийся первоначально в «Русской Мысли», в № 7, за 1885 г. В письме к А. Н. Пыпину (без даты, рукою Пыпина помечено: «получено в июле 1870 г.») Чернышевский, сообщая о своих беллетристических произведениях, писал, что у него «много, много наработано», и прибавлял: «талант

* *К. М. Федоров,* Н. Г. Чернышевский, стр. 58—59.

** *М. К. Лемке,* Дело Н. Г. Чернышевского, — «Былое», 1906 г., май, стр. 105.

положительно есть. Вероятно, сильный» *. Это последнее замечание, конечно, надо отнести на счет привычки Н. Г. Чернышевского подшучивать над самим собою. Но даже в ссылке он не стал бы тратить свое время на писание беллетристических произведений, если бы считал себя совсем неспособным к этому. Вероятно, он признавал кое-какие достоинства за этими своими произведениями, а главное — надеялся иметь через них полезное влияние на читателей. Надо признать, что, за исключением романа «Пролог», интересного уже потому, что он представляет собою нечто вроде воспоминаний, облеченных в беллетристическую форму, его сибирская беллетристика вышла неудачной. Едва ли она найдет много читателей. Рассудочность — эта отличительная черта «просветителя», еще с детства в сильнейшей степени свойственная нашему автору, — доходит здесь до самой крайней степени и не только лишает действующих лиц признаков «живой жизни», но отражается даже на их языке, который у всех один и тот же и у всех очень тяжел вследствие их непобедимой склонности подробно анализировать и не менее подробно объяснять собеседнику каждый свой шаг и каждое свое душевное движение: они не живут, а все объясняют, почему им хочется жить так, а не иначе. Если, принимаясь за свои сибирские беллетристические произведения, Чернышевский ставил перед собою цель пропаганды, то цель эта, наверно, останется недостигнутой **.

Совсем другое значение имел написанный в крепости роман «Что делать?». На его долю выпал огромный успех, и он имел поистине колоссальное и в высочайшей степени благотворное влияние на молодых читателей 70-х и 80-х годов. Наши обскуранты и декаденты имели привычку презрительно пожимать плечами по поводу этого знаменитого произведения ввиду будто бы полного отсутствия в нем художественных достоинств. Но замечательно, что даже с этой стороны их приговор не вполне справедлив: характер Марьи Алексеевны Розальской, матери Веры Павловны, очерчен довольно удачно. Кроме того, в романе вообще много наблюдательности, юмора и того неподдельного воодушевления, а лучше сказать, энтузиазма, который захватывает читателя и заставляет его с неослабевающим увлечением следить за судьбой главных действующих лиц, несмотря на несомненную слабость художественного дарования автора. Само собою разумеется, что легко вынести уничтожающий приговор роману «Что делать?», сравнив его, скажем, с «Анной Карениной». Но плох тот критик, который сравнивает одно с другим два совершенно несоизмеримых литературных произведения.

* Сочинения, т. X, ч. 1, стр. 28 [1].

** Повторяем, что это суждение не распространяется на роман «Пролог».

Роман «Что делать?» уместнее было бы сравнить, например, с тем или другим философским романом Вольтера [1]. И если мы подойдем к нему с таким мерилом в руках, то мы немедленно увидим, как неудачно судили о нем строгие судьи, обскуранты и декаденты.

В чем заключалась тайна необычайного успеха «Что делать?»? В том же, в чем вообще заключается тайна успеха литературных произведений, — в том, что роман этот давал живой и общепонятный ответ на вопросы, сильно интересовавшие значительную часть читающей публики. Сами по себе мысли, высказанные в нем, были не новы; Чернышевский целиком взял их из западноевропейской литературы. Проповедью свободных, а главное, искренних, честных отношений в любви мужчины к женщине гораздо раньше его занималась Жорж Занд во Франции *. Лукреция Флориани по нравственным требованиям, предъявляемым ею к любви, ничем не отличается от Веры Павловны Лопуховой-Кирсановой. А что касается романа «Жак», то легко было бы сделать из него довольно длинный ряд выписок, показывающих, что в романе «Что делать?» почти целиком воспроизводятся подчас мысли и рассуждения свободолюбивого и самоотверженного героя Жорж Занд **. Да и не одна Жорж Занд проповедовала свободу в отношениях этого рода. Их проповедовали, как известно, также Роберт Оуэн и Фурье, имевшие решающее влияние на миросозерцание Чернышевского ***. И все эти идеи еще в 40-х

* Заметим, кстати, что «Wahlverwandschaften» Гёте тоже представляет собой слово в защиту таких отношений. Это хорошо понимают некоторые немецкие историки немецкой литературы, которые, не дерзая хулить такого авторитетного писателя и в то же время не смея согласиться с ним по своему филистерскому благонравию, лепечут обыкновенно нечто совершенно непонятное насчет странных будто бы парадоксов великого немца.

** В своем дневнике Чернышевский записал 26 марта 1853 года следующий разговор свой с невестой: «Неужели вы думаете, что я изменю вам?» — «Я этого не думаю, я этого не жду, но я обдумывал и этот случай». — «Что ж бы вы тогда сделали?» — «Я рассказал ей «Жака» Жорж Занд. «Что ж бы вы тоже застрелились?» — «Не думаю»; и я сказал, что постараюсь достать ей Жорж Занд (она не читала его, или, во всяком случае, не помнит его идей)» (Сочинения, т. X, ч. 2, отд. 3, стр. 78). Считаем нелишним отметить еще одно место из разговоров Чернышевского со своей невестой: «А каковы будут эти отношения — она третьего дня сказала: «У нас будут отдельные половины, и вы ко мне не должны являться без позволения». Это я и сам хотел бы так устроить, может быть, думаю об этом серьезнее, чем она; — она понимает, вероятно, только то, что не хочет, чтобы я надоедал ей, а я понимаю под этим то, что и вообще всякий муж должен быть чрезвычайно деликатен в своих супружеских отношениях к жене» (Там же, стр. 82) [2]. Почти буквально такой же разговор ведет Вера Павловна с Лопуховым в романе «Что делать?».

*** Едва ли нужно напоминать, какую энергичную проповедь вел Роберт Оуэн в этом направлении. Что касается Фурье, то мы приведем

годах встречали у нас горячее сочувствие. Белинский не раз с жаром высказывался в своих статьях за свободу и искренность в любовных отношениях. Читатель помнит, конечно, как горько упрекал «неистовый Виссарион» пушкинскую Татьяну в том, что, любя Онегина, но в то же время будучи «другому» отдана, она не последовала влечению своего сердца и продолжала жить с нелюбимым стариком-мужем. Лучшие из людей «40-х годов» в своих отношениях к женщине держались тех же принципов, каким следовали Лопухов и Кирсанов. Но до появления романа «Что делать?» эти принципы разделялись только горстью «избранных»; масса читающей публики их совсем не понимала. Даже Герцен не решился высказать их во всей полноте и ясности в своем романе «Кто виноват?». А. Дружинин в своей повести «Поленька Сакс» * решает вопрос определеннее. Но повесть эта слишком бледна, притом же ее действующие лица, принадлежащие к так называемому высшему — чиновному и титулованному — обществу, были совсем не интересны для «разночинцев», составивших после падения Николаевского режима левое крыло читающей публики. С выходом «Что делать?» все изменилось, все стало ясно, резко и определенно. Никакие сомнения не могли более иметь место. Мыслящим людям оставалось: или руководствоваться в любви принципами Лопухова и Кирсанова, или, склоняясь перед святостью брака, прибегать, в случае появления у них нового чувства, к старому, испытанному средству тайных амурных похождений, или, наконец, совершенно подавлять в себе всякое любовное чувство ввиду *принадлежности* своей другому, уже нелюбимому человеку. И выбор приходилось делать совершенно сознательно. Чернышевский так разъяснил этот вопрос, что естественная прежде необдуманность и непосредственность любовных отношений сделались совершенно невозможными. На любовь распространился контроль сознания, сознательный взгляд на отношения мужчины к женщине сделался достоянием широкой публики. И это было особенно важно у нас в эпоху шестидесятых годов. Пережитые Россией реформы перевернули вверх дном не только наши общественные, но и семейные отношения. Лучи света проникли в такие закоулки, которые до того времени оставались совершенно темными. Русские люди вынуждены были оглянуться на себя, посмотреть трезвыми глазами на свои отношения к ближним, к обществу и семье. В семейных отношениях, в любви и дружбе

здесь следующие его глубокомысленные слова: «les coutumes en amour... ne sont que formes temporaires et variables, et non pas fond immuable» (Oeuvres complètes de *Ch. Fourier*, t. IV, p. 84). [«общепринятое в любви... — это только временные и преходящие формы, а не неизменная сущность» (Полное собрание сочинений Ш. Фурье, т. IV, стр. 84)].

* «Современник», 1847 г., № 12.

стал играть большую роль новый элемент: *убеждения*, которые имелись прежде лишь у самой маленькой кучки «идеалистов». Различие в убеждениях служило поводом к неожиданным разрывам. Женщина, «отданная» известному человеку, нередко с ужасом открывала, что ее законный «обладатель» есть обскурант, взяточник, низкопоклонный льстец перед начальством. Мужчина, с наслаждением «обладавший» прежде красавицей женою и неожиданно для него самого затронутый потоком новых идей, часто с отчаянием видел, что его прелестная игрушка интересуется вовсе не «новыми людьми» и не «новыми взглядами», а новыми нарядами да танцами, да еще чинами и жалованьем мужа. Все объяснения и увещания оказываются напрасными, красавица превращается в настоящую мегеру, как только муж попробует заикнуться, что он «служить бы рад», но что «прислуживаться тошно». Как быть? Что делать? Знаменитый роман показывал, как быть и что делать. Под его влиянием люди, считавшие себя прежде законной собственностью других, начинали повторять вместе с его автором: о грязь, о грязь, кто смеет обладать человеком! — и в них просыпалось сознание человеческого достоинства, и они, часто после жесточайших душевных и семейных бурь, становились на собственные ноги, устраивали свою жизнь сообразно со своими убеждениями и сознательно шли к разумной человеческой цели. Уже ввиду одного этого можно сказать, что имя Чернышевского принадлежит истории, и будет оно мило людям, и будут вспоминать его с благодарностью, когда уже не будет в живых никого из лично знавших *великого русского просветителя*.

Обскуранты обвиняли Чернышевского в том, что он проповедовал будто бы в своем романе «*эмансипацию плоти*». Нет ничего нелепее и лицемернее этого обвинения! Возьмите любой роман из великосветской жизни, припомните любовные похождения дворянства и буржуазии во всех странах и у всех народов — и вы увидите, что Чернышевскому не было никакой надобности проповедовать давно уже совершившуюся эмансипацию плоти. Его роман проповедует, наоборот, *эмансипацию человеческого духа, человеческого разума*. Никто из людей, проникшихся направлением этого романа, не будет иметь склонности к будуарным похождениям, без которых жизнь не в жизнь «светским» людям, проникнутым лицемерным уважением к ходячей морали. Гг. обскуранты прекрасно понимают строго-нравственный характер произведения Чернышевского и сердятся на него именно за его нравственную строгость. Они чувствуют, что люди, подобные героям «Что делать?», должны считать их величайшими развратниками и испытывать к ним глубочайшее презрение.

Мы знаем: распространение в России великих идей правды,

науки, искусства составляло главную, можно сказать, единственную цель в жизни нашего автора. В интересах такого распространения написал он и роман «Что делать?». Ошибочно было бы рассматривать этот роман исключительно только как проповедь разумных отношений в любви. Любовь Веры Павловны к Лопухову и Кирсанову — это только канва, по которой располагаются другие, более важные мысли автора. В снах Веры Павловны яркими красками рисуются социалистические идеалы автора. Картина социалистического общежития нарисована им целиком по Фурье. Чернышевский опять не предлагает читателям ничего нового. Он только знакомит их с теми выводами, к которым давно уже пришла западноевропейская мысль. Здесь опять приходится заметить, что взгляды Фурье уже в сороковых годах известны были в России. За фурьеризм судились и были осуждены «петрашевцы». Но Чернышевский придал идеям Фурье небывалое до тех пор у нас распространение. Он ознакомил с ними широкую публику. Впоследствии у нас даже поклонники Чернышевского пожимали плечами, говоря о снах Веры Павловны. Снившиеся ей фаланстеры казались потом некоторым довольно наивною мечтою. Говорили, что знаменитый писатель мог бы побеседовать с читателем о чем-нибудь более к нам близком и более практичном. Так рассуждали даже люди, называвшие себя социалистами. Признаемся, мы совсем не так смотрим на это дело. В снах Веры Павловны мы видим такую черту социалистических взглядов Чернышевского, на которую, к сожалению, не обращали до последнего времени достаточного внимания русские социалисты. В этих снах нас привлекает вполне усвоенное Чернышевским сознание того, что социалистический строй может основываться только на широком применении к производству технических сил, развитых буржуазным периодом. В снах Веры Павловны огромные армии труда занимаются производством сообща, переходя из Средней Азии в Россию, из стран жаркого климата в холодные страны. Все это, конечно, можно было вообразить и с помощью Фурье, но что этого не знала русская читающая публика, видно даже из последующей истории так называемого русского социализма. В своих представлениях о социалистическом обществе наши революционеры нередко доходили до того, что воображали его в виде федерации крестьянских общин, обрабатывающих свои поля той же допотопной сохой, с помощью которой они ковыряли землю еще при Василии Темном. Но само собою разумеется, что такой «социализм» вовсе не может быть признан социализмом. Освобождение пролетариата может совершиться только в силу освобождения человека от *«власти земли»* и вообще природы. А для этого последнего освобождения безусловно необходимы те армии труда и то

широкое применение к производству современных производительных сил, о которых говорил в снах Веры Павловны Чернышевский и о которых мы, в своем стремлении к «практичности», совершенно позабыли.

Чернышевский присутствовал при зарождении у нас нового типа «новых людей». Этот тип выведен им в лице Рахметова. Наш автор радостно приветствовал появление этого нового типа и не мог отказать себе в удовольствии нарисовать хотя бы неясный его профиль. В то же время он с грустью предвидел, как много мук и страданий придется пережить русскому революционеру, жизнь которого должна быть жизнью суровой борьбы и тяжелого самоотвержения. И вот Чернышевский выставляет перед нами в Рахметове настоящего аскета. Рахметов положительно мучает себя. Он совсем «безжалостный до себя», по выражению его квартирной хозяйки. Он решается даже попробовать, сможет ли вынести пытку, и с этой целью лежит всю ночь на войлоке, утыканном гвоздями. Многие, и в том числе Писарев, видели в этом простое чудачество. Мы согласны, что некоторые частности в характере Рахметова могли быть изображены иначе. Но вся совокупность характера остается все-таки вполне верной действительности: почти в каждом из выдающихся наших социалистов 60-х и 70-х годов была немалая доля рахметовщины [1].

Заканчивая наше введение, мы скажем, что значение Чернышевского в русской литературе до сих пор не нашло себе надлежащей оценки. Как плохо понимают его у нас даже многие из тех, которые относятся к нему весьма благожелательно, показывает воспоминание о нем В. Г. Короленко. Этот талантливый и умный автор изобразил его каким-то «рационалистическим экономистом», который при этом верит «в силу устроительного разума по Конту» *. Если слова насчет «устроительного разума» имеют какой-нибудь смысл, то они означают, что Чернышевский смотрел на общественные явления с идеалистической точки зрения, с какой на них смотрел и сам Конт. Но человек, смотрящий на общественные явления с точки зрения *идеализма*, не может быть назван *экономистом* по той простой причине, что название это применяется — хотя, впрочем, тоже не совсем правильно — к людям, которые, не веря в силу устроительного разума, верят в устроительную силу экономики. «Экономист», верящий в силу устроительного разума, был бы похож на дарвиниста, принимающего моисееву космогонию. Но это не самое важное. Важнее всего здесь то, что «экономизму» Чернышевского г. Короленко противопоставляет социологические взгляды наших «субъективистов». «Перестав быть «рационалистическими экономистами», мы тоже

* *Короленко*, Отошедшие, стр. 78 [2].

не остановились на месте. Вместо схем чисто экономических литературное направление, главным представителем которого является Н. К. Михайловский, раскрыло перед нами целую перспективу законов и параллелей биологического характера, а игре экономических интересов отводилось подчиненное место»*.

Действительно, «*не остались на месте*»! Раскрытая Михайловским «перспектива законов и параллелей биологического характера» *была огромным шагом назад* в сравнении с общественными взглядами Чернышевского **. Н. К. Михайловский был учеником П. Л. Лаврова, который — как это показано нами в книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» — был по своим взглядам на ход общественного развития последователем Бруно Бауэра. Поэтому, кто хочет выяснить себе, как относится миросозерцание Н. Г. Чернышевского к миросозерцанию наших «субъективистов», должен прежде всего постараться понять, как относится ко взглядам Бруно Бауэра философия Фейербаха, которой держался Чернышевский. А тут дело ясно и просто: Фейербах далеко опередил Бруно Бауэра.

Эпиграфом к нашей первой статье о Чернышевском, написанной под свежим впечатлением известия об его смерти и совершенно переработанной в настоящем издании, мы взяли следующие слова нашего автора из его письма к своей жене: «Наша с тобою жизнь принадлежит истории, пройдут сотни лет, а наши имена все будут милы людям, и будут вспоминать о них с благодарностью, когда уже не будет тех, кто жил с нами». Это письмо писано 5 октября 1862 года, т. е. в то время, когда его автор находился уже в заключении. Его обвинители приводили их потом как доказательство его крайнего самомнения. Он возражал им, что они берут всерьез такие строки его письма, которые написаны им совершенно несерьезно ***.

В свою очередь мы совершенно оставляем в стороне вопрос о том, может ли подходить самомнение под какую бы то ни было статью какого бы то ни было уголовного кодекса. И мы вполне верим, что цитированные нами строки письма Чернышевского имели *для их автора* значение простой шутки. Но мы находим, что они имеют теперь другое, вполне серьезное значение. Жизнь Н. Г. Чернышевского в самом деле принадлежит истории, и его имя никогда не перестанут вспоминать с благодарностью все те, которые интересуются судьбами русской литературы и которые умеют ценить ум, талант, знания, мужество и самоотвержение.

---

* Там же, стр. 79—80 [1].

** Неудивительно, что Чернышевский, по свидетельству того же г. Короленко, относился совершенно отрицательно к этим «законам и параллелям».

*** ***М. К. Лемке,*** «Былое», 1906 г., стр. 103.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ФИЛОСОФСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ
ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ФЕЙЕРБАХ

В первом издании этого сочинения, первая статья [1] которого, говорившая, между прочим, о философских взглядах Чернышевского, написана была в конце 1889 года [2], мы высказали то убеждение, что по своим философским взглядам наш автор был последователем Фейербаха. Это наше убеждение основывалось, разумеется, прежде всего на сравнении со взглядами Фейербаха тех мыслей Чернышевского, которые имели более или менее близкое отношение к философии. Мы имели возможность опереться также на собственное свидетельство нашего автора [3]. Правда, применяясь к цензурным условиям того времени, Чернышевский всегда говорил об этом предмете лишь намеками; но для человека, понимавшего дело, его намеки были как нельзя более ясны. Так, например, в споре с Дудышкиным (в статье «Полемические красоты») Чернышевский говорил, что придерживается философской системы, «составляющей самое последнее звено в ряду философских систем» и «вышедшей из Гегелевской системы точно так же, как Гегелевская вышла из Шеллинговой» [4]. Нетрудно было догадаться, что эти слова намекают на Фейербаха. Но Чернышевский не рассчитывал на догадливость своего противника и потому хотел сделать свой намек еще более прозрачным. «Но вам все-таки, может быть, еще не ясно дело? — спрашивает он. — Вам, вероятно, хотелось бы узнать, кто же такой этот учитель, о котором я говорю? Чтобы облегчить вам поиски, я, пожалуй, скажу вам, что он не русский, не француз, не англичанин; не Бюхнер, не Макс Штирнер, не Бруно Бауэр, не Молешотт, не Фохт, — кто же он такой? Вы начинаете догадываться: «Должно быть, Шопенгауэр!» — восклицаете вы, начитавшись статей г. Лаврова. — Он самый и есть, угадали» [5]. Эти строки

не оставляли уже никакого сомнения насчет того, что своим учителем в философии Чернышевский считал именно Фейербаха.

В одной из статей, посвященных «судьбам нашей критики», мы доказывали, что знаменитая диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» представляет собой интересную и единственную в своем роде попытку построить эстетику на основе материалистической философии Фейербаха *. С этим тоже трудно было не согласиться человеку, имевшему понятие о Фейербаховой философии. Но, во-первых, людей, имеющих понятие об этой философии, у нас крайне мало, а во-вторых, как ни основательны были наши соображения о родстве философских взглядов Чернышевского с философскими взглядами автора «Сущности христианства», соображения эти все-таки не опирались тогда ни на одно прямое, ничем не прикрытое показание самого Чернышевского. Теперь такое показание у нас есть, и мы спешим обратить на него внимание читателя.

В уже упомянутом выше предисловии к 3-му изданию «Эстетических отношений искусства к действительности» ** Чернышевский говорит:

«Автор брошюры, к третьему изданию которой пишу я предисловие (т. е. сам Н. Г. Чернышевский. — *Г. П.*), получил возможность пользоваться хорошими библиотеками и употреблять несколько денег на покупку книг в 1846 году. До того времени он читал только такие книги, какие можно доставать в провинциальных городах, где нет порядочных библиотек. Он был знаком с русскими изложениями системы Гегеля, очень неполными. Когда явилась у него возможность ознакомиться с Гегелем в подлиннике, он стал читать эти трактаты. В подлиннике Гегель понравился ему гораздо меньше, нежели ожидал он по русским изложениям. Причина состояла в том, что русские последователи Гегеля излагали его систему в духе левой стороны Гегелевской школы. В подлиннике Гегель оказывался более похож на философов XVII века и даже на схоластиков, чем на того Гегеля, каким он являлся в русских изложениях его системы. Чтение было утомительно по своей явной бесполезности для сформирования научного образа мыслей. В это время случайным образом попалось желавшему сформировать

* Статья эта предназначалась для «Нового Слова», но «по не зависящим от редакции обстоятельствам» напечатана была только одна ее половина. Полностью она появилась в 1905 г. в моем сборнике «За двадцать лет» и перепечатывалась в последующих изданиях [1].

** Издатель сочинений своего отца, М. Н. Чернышевский, сообщает: «Предисловие это не было пропущено цензурою, так как о Фейербахе писать не полагалось. Третье издание «Эстетических отношений» было решено поэтому не печатать». Предисловие помечено 1888 г.

себе такой образ мыслей юноше одно из главных сочинений Фейербаха [1]. Он стал последователем этого мыслителя; и до того времени, когда житейские надобности отвлекли его от ученых занятий, он усердно читал и перечитывал сочинения Фейербаха» [2].

Эти строки, составляющие как бы философский curriculum vitae * Н. Г. Чернышевского, показывают нам, какое огромное значение имела немецкая философия вообще и философия Фейербаха в частности в истории развития его миросозерцания. А строки, непосредственно за ними следующие, обнаруживают перед нами влияние Фейербаха на эстетические воззрения нашего автора.

Чернышевский продолжает, по-прежнему говоря о себе в третьем лице:

«Лет через шесть после начала его знакомства с Фейербахом представилась ему житейская надобность написать ученый трактат. Ему казалось, что он может применять основные идеи Фейербаха к разрешению некоторых вопросов по отраслям знаний, не входившим в круг исследований его учителя.

Предметом трактата, который нужно было ему написать, должно было быть что-нибудь относящееся к литературе. Он вздумал удовлетворить этому условию изложением тех понятий об искусстве и, в частности, о поэзии, которые казались ему выводами из идей Фейербаха. Таким образом, брошюра, предисловие к которой пишу я, — попытка применить идеи Фейербаха к разрешению основных вопросов эстетики.

Автор не имеет ни малейших притязаний сказать что-нибудь новое, принадлежащее лично ему. Он желал только быть истолкователем идей Фейербаха в применении к эстетике» **.

Читатель видит, что мы правильно поняли отношения Чернышевского к Фейербаху. Но какова точка зрения самого Фейербаха? Выше мы назвали его материалистом. И материалистом же считали его те люди, которые ополчались у нас на Чернышевского за его проповедь философских взглядов Фейербаха. Но в настоящее время в философской литературе очень распространено то мнение, что Фейербах никогда не был «настоящим» материалистом. Это мнение, внешним поводом для которого послужили некоторые «афоризмы» и некоторые термины самого Фейербаха, высказано было, между прочим, и в известной «Истории материализма» Ланге [4]. Однако оно совсем неосновательно. Мы сейчас увидим это.

Фейербах говорит в своих «Grundsätze»***: «*Новая* (т. е. его. —

* [жизнеописание]
** Сочинения, т. X, ч. 2, стр. 192 [3].
*** [«Основоположениях»]

Г. П.) философия делает человека со включением природы, как базиса человека, единственным всеобщим и высшим предметом философии, — стало быть, антропологию, со включением физиологии, универсальною наукою» [1].

В этих словах Фейербаха Ланге видит черту, идущую от Гегелевской философии и отделяющую Фейербаха от материалистов в собственном смысле слова. Он замечает, что «природа человека для материалиста есть лишь частный случай в цепи физических процессов жизни». Кроме того, по мнению Ланге, настоящий материалист будет мало склонен придавать — как это делает Фейербах — человеческой природе божеские атрибуты *. Но что значат у Фейербаха эти божеские атрибуты? Он сам говорит, что его «антропология» представляет собой лишь указание на то, что человек принимает за бога свою собственную сущность **. Ввиду этого «божественность» атрибутов человеческой природы утрачивает всякий спиритуалистический смысл: остается лишь известное злоупотребление термином, очень нежелательное в интересах правильного развития философских понятий, но нимало не изменяющее истинного содержания учения Фейербаха. Фейербах никогда не отрицал того, что природа человека «есть лишь частный случай в цепи физических процессов». Это положение лежит в основе всей его философии. И если тем не менее он счел нужным взять за свою точку исхода именно человеческую природу, то это прекрасно объясняется его же собственными словами: «В споре между материализмом и спиритуализмом речь идет о человеческой голове... Раз мы узнали, что̀ представляет собою та материя, из которой состоит мозг, мы скоро придем к ясному взгляду и насчет всякой другой материи, насчет материи вообще» ***. Эти строки показывают, как плохо поняли Фейербаха те люди, которые отказались признать его учение материализмом и окрестили его ничего не говорящим именем *гуманизма*. Правда, сам Фейербах иногда отказывается признать себя материалистом. «Материализм, — говорит он, — есть совсем неподходящее название, которое ведет за собою неправильное представление и может быть оправдано лишь желанием противопоставить нематериальности мысли ее материальность; но для нас существует только органическая жизнь, только органическое действие, только органическое мышление. Поэтому правильнее было бы говорить — *организм*. Последовательный спиритуалист отрицает, что для мышления нужен орган, между тем как при естественном взгляде на дело оказывается, что без органа

---

* «История материализма», перевод Н. Н. Страхова, т. II, стр. 82.
** «Feuerbach's Werke», VI, 249.
*** «Ueber Spiritualismus und Materialismus», Werke, X, 129 [2].

нет и деятельности» *. В тех же афоризмах, откуда мы взяли эти строки, Фейербах заявляет, что он лишь до известного предела идет вместе с материалистами и что материализм составляет только основу человеческой сущности и человеческого знания, но еще не самое знание, как это думают некоторые естествоиспытатели, например Молешотт. Но тут нужно заметить, что на самом деле термин «организм», предлагаемый Фейербахом, выражает совершенно тот же философский взгляд, какой выражается словом «*материализм*». Естествоиспытатели «в узком смысле этого слова» потому не удовлетворяют Фейербаха, что они, по его мнению, все сводят к мозгу, а «мозг есть не более как физиологическая абстракция; он лишь до тех пор является органом мышления, пока соединен с головою и с телом» **. Но кто же из естествоиспытателей отрицал когда-либо, что мозг перестает мыслить, будучи отделен от головы и тела? Никто и никогда. В этом случае Фейербах просто-напросто несправедлив к естествоиспытателям ***. Нельзя оспаривать то, что в лице таких естествоиспытателей, как Молешотт, Бюхнер и Фохт, материализм страдал подчас значительной узостью и делал серьезные теоретические ошибки. Но несправедливо было бы относить на счет материализма вообще — недостатки, свойственные одной из его школ. Это понимал, как видно, и сам Фейербах, который в своем сочинении: «Ueber Spiritualismus und Materialismus, besonders in Beziehung auf die Willensfreiheit» **** относит то, что представлялось ему слабой стороной материализма, собственно на счет *французской* материалистической школы, противопоставляя ей *немецкий* материализм, пользующийся полным его сочувствием. В действительности упреки, делаемые им там французской школе материализма, совсем незаслужены этой последней и с гораздо бо̀льшим основанием могут быть направлены по адресу немецких материалистов вроде Бюхнера или Фохта. Но это — частность, объясняющаяся тем, что Фейербах, воспитанный на немецкой философии, был плохо знаком с французским материализмом. Частность эта не мешала Фейербаху стоять в своей «антропологии»

* «Nachgelassene Aphorismen» [«Посмертные афоризмы»], напечатанные у *Грюна,* Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlass, Zweiter Band, S. S. 307—308. [«Переписка и литературное наследие Фейербаха», т. II, стр. 307—308.]

** Werke, II, 362 [1].

*** О том, как стоит этот вопрос в современном естествознании, дает понятие небольшая, но интересная работа *Феликса Ле Дантека* Le déterminisme biologique et la personnalité consciente. Esquisse d'une théorie chimique des épiphénomènes. [«Биологический детерминизм и сознательная личность. Очерк химической теории эпифеноменов».]

**** [«О спиритуализме и материализме, в особенности в их отношении к свободе воли»]

на чисто материалистической точке зрения. В только что цитированном нами сочинении «Ueber Spiritualismus und Materialismus» * он, сам того не сознавая, высказывается в духе французского материализма, как тот выразился в сочинениях Ламеттри и Дидро **.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП В ФИЛОСОФИИ»

Как бы там ни было, а Н. Г. Чернышевский понимал Фейербаха в *материалистическом* смысле. На этот счет не допускает никаких сомнений его знаменитая философская статья, появившаяся в №№ 4—5 «Современника» за 1860 год. Вот как поясняет он здесь смысл заглавия своей статьи: «*Антропологический принцип в философии*». «Принцип этот состоит в том, что на человека надобно смотреть, как на одно существо, имеющее только одну натуру, чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные половины, принадлежащие разным натурам, чтобы рассматривать каждую сторону деятельности человека как деятельность или всего его организма, от головы до ног включительно, или если она оказывается специальным отправлением какого-нибудь особенного органа в человеческом организме, то рассматривать этот орган в его натуральной связи со всем организмом» [2].

Поясняя антропологический принцип, можно сказать, словами самого Фейербаха, Чернышевский замечает, что до сих пор большинство мыслителей, занимающихся нравственными науками, продолжают работать «по прежнему фантастическому способу ненатурального дробления человека на разные половины, происходящие из разных натур». Но именно потому, что ученые в своем большинстве еще не сознали важного значения антропологического принципа, их труды лишаются всякого серьезного значения. «Пренебрежение к антропологическому принципу отнимает у них всякое достоинство, — говорит он, — исключением служат творения очень немногих прежних мыслителей, следовавших антропологическому принципу, хотя еще и не употреблявших этого термина для характеристики своих воззрений на человека: таковы, например, Аристотель и Спиноза» [3].

---

* [«О спиритуализме и материализме»]

** Подробнее об этом см. у нас в сборнике «За двадцать лет» (ст. «Эстетическая теория» Н. Г. Чернышевского) и в брошюре «Основные вопросы марксизма», стр. 1—25 [1].

Людям, держащимся вульгарного взгляда на сущность материалистического учения, этот отзыв нашего автора об Аристотеле и Спинозе должен представляться совершенно неожиданным и даже смешным. В середине 90-х годов прошлого века г. А. Волынский в своей книге «Русские критики» произнес по поводу этого отзыва следующий величественный приговор: «Из всех мыслителей прошедшего времени Чернышевский, по какой-то странной ассоциации идей и, без сомнения, ошибочных воспоминаний, готов признать только Аристотеля и Спинозу. В своем фантастическом представлении о системах этих двух действительно великих творцов в области человеческой мысли он полагает, что, следуя вышеописанному антропологическому принципу, он является их продолжателем при новых данных положительного знания» (стр. 271).

Этот величественный отзыв о будто бы фантастических представлениях Чернышевского свидетельствует лишь о том, что г. А. Волынский ровно ничего не понял в философских взглядах Н. Г. Чернышевского.

Мы уже знаем, что этот последний стоял на точке зрения Фейербаха. Как же относился Фейербах к Спинозе? В своей истории новой философии он излагал учение Спинозы с величайшим сочувствием, а в своих «Grundsätze» *, относящихся к 1843 году, он высказал ту совершенно справедливую мысль, что пантеизм Спинозы есть теологический материализм, т. е. такое отрицание теологии, которое продолжает стоять на теологической точке зрения. В этом смешении материализма с теологией заключалась, по мнению Фейербаха, непоследовательность Спинозы; но эта его непоследовательность не помешала ему, однако, найти «правильное, по крайней мере для своего времени, выражение для материалистических понятий новейшей эпохи». Поэтому Фейербах называл Спинозу Моисеем новейших свободных мыслителей и материалистов **.

После этого понятно, почему Чернышевский относил Спинозу к числу тех очень немногих прежних мыслителей, которые держались антропологического принципа, хотя еще не употребляли этого термина для характеристики своих философских взглядов: поступая так, он следовал примеру своего учителя, справедливо считавшего Спинозу Моисеем новейшего материализма. Что касается Аристотеля, то Чернышевский в самом деле ошибался, считая его философию родственной с учением Фейербаха. Аристотель гораздо ближе к идеалистам, нежели к материалистам [2], но и тут не следует забывать, что между

---

* [«Основоположениях»]

** Werke, II, 291. Подробнее об этом см. «Основные вопросы марксизма», стр. 9—13 [1].

учениками Аристотеля были люди, истолковывавшие его систему в смысле, очень близком к материализму *. Таковы были Аристоксен, Дикеарх и особенно Стратон. Вероятно, Чернышевский считал их толкование философии Аристотеля правильным и потому объявил их учителя сторонником антропологического принципа. Повторяем, это мнение нельзя признать верным; но нужно все философское невежество г. Волынского, чтоб увидеть в нем доказательство того, что Чернышевский совсем не знал философии **.

Итак, в основе философии Чернышевского лежит идея единства человеческого организма. Чернышевский — решительный противник всякого дуализма. По его словам, философия — т. е. излагаемая и защищаемая им философия Фейербаха — видит в человеческом организме то, что видят в нем естественные науки. «Эти науки доказывают, — говорит он, — что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет». Но единство человеческой природы не мешает существованию в организме человека двух различных родов явлений: явлений так называемого материального порядка и явлений так называемого нравственного порядка. И вот перед Чернышевским встает вопрос: как относятся один к другому эти два порядка явлений? Не опровергается ли их существованием принцип единства человеческой природы? Чернышевский категорически отвечает, что нет: «Делать такую гипотезу мы не имеем основания, потому что нет предмета, который имел бы только одно качество; напротив, каждый предмет обнаруживает бесчисленное множество разных явлений, которые мы для удобства суждений о нем подводим под разные разряды,

---

* Об этом см. *Ed. Zeller*, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, II Th., II Abtheilung, II Auflage, Tübingen 1862, S. S. 717, 719—720, 732, 742. [*Эд. Целлер*, Греческая философия в ее историческом развитии, ч. II, отд. II, изд. 2, Тюбинген 1862, стр. 717, 719—720, 732, 742.] Сравни также *Ueberweg*, Grundriss der Geschichte der Philosophie, I Theil, Berlin 1876, S. S. 218—219. [*Иберәег*, Очерк истории философии, ч. I, Берлин 1876, стр. 218—219.]

** Что в 60-х годах прошлого века не один Чернышевский склонен был преуменьшать значение идеалистического элемента в философии Аристотеля, показывает не лишенная интереса книга *А. Лебле*, Matérialisme et Spiritualisme, входящая в состав «Bibliothèque de philosophie contemporaine» [«Материализм и спиритуализм»... «Библиотеки современной философии»] и снабженная предисловием Литтрэ (см. стр. 48—54). Книга эта вышла в 1865 году.

давая каждому разряду имя качества, так что в каждом предмете очень много разных качеств». Тут опять обнаруживается полное единство его философских взглядов со взглядами Фейербаха. Известно, что, по учению этого последнего, организм есть субъект, а мышление — свойство («предикат») этого субъекта, так что мыслит не то отвлеченное существо, с которым оперировала некогда идеалистическая философия, а существо действительное, *тело*. Но что такое человеческий организм? Это «очень многосложная химическая комбинация, — отвечает Чернышевский, — находящаяся в очень многосложном химическом процессе, называемом жизнью». Некоторые части этого процесса до сих пор остаются довольно плохо разъясненными. Но из этого вовсе не следует, по замечанию Чернышевского, «чтобы мы уже не знали положительным образом очень многого и о тех частях его, исследование которых находится теперь даже в самом несовершенном виде». Знание некоторых сторон жизненного процесса позволяет нам делать, по крайней мере, отрицательные выводы относительно тех сторон, которые пока еще плохо исследованы. Такие отрицательные выводы имеют, по словам Чернышевского, большую важность во всех науках; но особенно важны они в нравственных науках и в метафизике, потому что там они устраняют много вредных ошибок. Чтобы пояснить эту важную мысль, предоставим слово самому Чернышевскому. «Говорят: естественные науки еще не достигли такого развития, чтобы удовлетворительно объяснить все важные явления природы, — пишет он. — Это совершенная правда; но противники научного направления в философии делают из этой правды вывод вовсе не логический, когда говорят, что пробелы, остающиеся в научном объяснении натуральных явлений, допускают сохранение каких-нибудь остатков фантастического миросозерцания. Дело в том, что характер результатов, доставленных анализом объясненных наукою частей и явлений, уже достаточно свидетельствует о характере элементов, сил и законов, действующих в остальных частях и явлениях, которые еще не вполне объяснены: если бы в этих необъясненных частях и явлениях было что-нибудь иное, кроме того, что найдено в объясненных частях, тогда и объясненные части имели бы не такой характер, какой имеют».

Это рассуждение опять направляется против дуализма. Как ни мало исследованы так называемые психические явления, но мы уже теперь можем с достоверностью сказать, что ошибались мыслители, относившие их на счет особой субстанции. Такой особой субстанции не существует. Психические явления представляют собою не более как результат деятельности человеческого организма. Таково положение, красной нитью проходящее через всю статью Чернышевского.

Но тут полезно будет сделать следующую оговорку. В статье Чернышевского есть строки, которые могли подать — и действительно подали — повод к недоразумениям. Вот эти строки: «Мы знаем, в чем состоит, например, питание; из этого мы уже знаем приблизительно, в чем состоит, например, ощущение: питание и ощущение так тесно связаны между собою, что характером одного определяется характер другого». Прочитав эти строки, можно, пожалуй, подумать, что Чернышевский разделял взгляд тех будто бы материалистов, которые утверждали, что мысль, а следовательно, и ощущения есть не более как движение вещества [1]. Но на самом деле он, как и Фейербах, был очень далек от *такого* материализма. *Его* материалистический взгляд лучше всего выражается словами Фейербаха: «Чтó для меня, или субъективно, есть чисто духовный, нематериальный, нечувственный акт, тó само по себе, объективно, есть акт материальный, чувственный» *. Чтобы читатели не заподозрили нас в намерении приписать Чернышевскому такие взгляды, каких у него не было, мы приведем следующие слова самого Чернышевского: «Ощущение по самой натуре своей непременно предполагает существование двух элементов мысли, связанных в одну мысль: во-первых, тут есть внешний предмет, производящий ощущение, во-вторых, существо, чувствующее, что в нем происходит ощущение». Вдумаемся в эти слова. Существо, чувствующее, что в нем происходит ощущение, есть материальное существо, организм, испытывающий на себе действие внешнего предмета. Действие это состоит в том, что так или иначе приходят в движение те или другие части организма. Это движение известных частей организма *вызывает* известное ощущение, но оно *не тождественно* с ощущением: оно представляет собою лишь *объективную сторону* того самого явления, которое *с субъективной стороны, т. е. тому существу, в котором совершается этот процесс движения*, представляется как ощущение. У Чернышевского, как и у Фейербаха, эти две стороны явления — субъективная и объективная — теснейшим образом связаны между собою; но они не отождествляются одна с другой. Напротив, Чернышевский подобно Фейербаху восстал бы против такого отождествления, потому что справедливо увидел бы в нем бессознательное повторение одной из коренных ошибок идеализма — мнимое разрешение антиномии между субъектом и объектом посредством устранения одного из ее элементов **.

Ниже мы увидим, что противники Чернышевского, обрушившиеся на него за статью «Антропологический принцип в философии», крайне плохо выяснили себе взгляд его на отношения

* Werke, II, 350 [2].

** Ср. «Основные вопросы марксизма», стр. 9 [3].

между субъектом и объектом. Но сейчас мы вынуждены ограничиться указанием на то, что Чернышевский не одобрял свойственного позитивистам воздержания от рассмотрения вопроса о взаимном отношении между материей и духом. Так, например, он отказывается признать Дж. Ст. Милля «представителем современной философии» по той причине, что Милль никогда не занимался указанным вопросом: «Он преднамеренно отклоняется, — говорит о нем Чернышевский, — от высказывания всякого мнения о подобных предметах, как будто считая их недоступными точному исследованию». Последние слова показывают, что, по мнению Чернышевского, вопросы этого рода были вполне доступны исследованию.

Идем дальше. Мы знаем, что Чернышевский смотрел на человеческий организм, как на «очень многосложную химическую комбинацию, находящуюся в очень многосложном химическом процессе, называемом жизнью». Сложность этого процесса так велика, что занимающаяся им отрасль химии выделилась в особую науку, получившую название физиологии. Но это обстоятельство нимало не подрывает мысли, что человек составляет лишь часть природы. «Отношение физиологии к химии можно сравнить, — говорит Чернышевский, — с отношением отечественной истории к всеобщей истории. Разумеется, русская история составляет только часть всеобщей; но предмет этой части особенно близок нам, потому она сделана как будто особенною наукою: курс русской истории в учебных заведениях читается отдельно от курса всеобщей, воспитанники получают на экзаменах особенный балл из русской истории; но не следует забывать, что эта внешняя раздельность служит только для практического удобства, а не основана на теоретическом различии характера этой отрасли знания от других частей того же самого знания. Русская история понятна только в связи с всеобщею, объясняется ею и представляет только видоизменение тех же самых сил и явлений, о каких рассказывается во всеобщей истории. Так и физиология только видоизменение химии, а предмет ее только видоизменение предметов, рассматриваемых в химии». К этому надо прибавить, что и физиология не ограничивается исследованием жизненного процесса, совершающегося в человеческом организме. Физиология человеческого организма есть лишь часть одного отдела физиологии — физиологии животных. Между человеком и животным существенной разницы нет ни со стороны материальных процессов организма, ни даже со стороны так называемых духовных процессов. «Действительно научный анализ, — поясняет Чернышевский, — открывает несправедливость голословных фраз, будто животные вовсе лишены разных почетных качеств, как например некоторой способности к прогрессу. Обыкновенно

говорят: животное всю жизнь остается тем, чем родилось, ничему не научается, не идет вперед в умственном развитии. Такое мнение разрушается фактами, известными каждому: медведя научают плясать и выкидывать разные штуки, собак — подавать поноску и танцевать; слонов даже выучивают ходить по канату; даже рыб приучают собираться в данное место по звонку, — этого всего обученные животные не делали без ученья; ученье дает им качества, которых без него не имели бы они. Не только человек учит животных — сами животные учат друг друга; известно, что хищные птицы учат своих детей летать». Не находя нужным слишком распространяться здесь об этом вопросе, мы только прибавим [1], что в своей статье Чернышевский высказал по его поводу много таких соображений, которые можно встретить в вышедшей значительно позже книге Дарвина «Происхождение человека» [2].

Если человеческий организм по существу ничем не отличается от организма животного, то этот последний в свою очередь ничем существенным не отличается от растительного организма. Чернышевский говорит: «В наиболее развитых формах своих животный организм чрезвычайно отличается от растения; но читатель знает, что млекопитающие и птицы связаны с растительным царством множеством переходных форм, по которым можно проследить все степени развития так называемой животной жизни из растительной: есть растения и животные, почти ничем не отличающиеся друг от друга, так что трудно сказать, к какому царству отнести их». Более того. В первое время своего существования все животные почти одинаковы с растениями в первой поре их роста. Чернышевский указывает, что зародышем животного, как зародышем растений, служит «ячейка», и, заметив, что зародыш животного трудно отличить от зародыша растения, он продолжает: «Итак, мы видим, что все животные организмы начинают с того же самого, с чего начинает растение, и только впоследствии некоторые животные организмы приобретают вид очень различный от растений и в очень высокой степени проявляют такие качества, которые в растении так слабы, что открываются только при помощи научных пособий. Так, например, в дереве есть зародыш движения: соки в нем движутся, как в животных; корни и ветви тянутся в разные стороны; правда, это перемещение происходит только в частях, а целый организм растения не переменяет места; но и полип также не переменяет места: полипняк способностью перемещения не превосходит дерево. Но есть даже и такие растения, которые переменяют свое место: сюда принадлежат некоторые виды семейства Mimosa *».

* [Мимоза.]

Мы не скажем, что мысли, высказанные в этом случае Чернышевским, были совсем новы для своего времени: их можно встретить как у Гегеля, так и особенно у некоторых натурфилософов школы Шеллинга. Чернышевский знал немецкую идеалистическую философию; неудивительно, что ему были известны и эти мысли. Но под его пером они до такой степени освободились от всяких метафизических примесей, до такой степени окрасились в материалистический цвет естествознания, что сам собою возникает вопрос: не был ли Чернышевский уже в то время знаком с зоологическими теориями Ламарка и Жоффруа Сент-Илера? Прямых указаний на это мы в его сочинениях не находим, но недаром же он, выступив по своем возвращении из Сибири против «теории благотворности борьбы за жизнь», подписался *«Старым трансформистом»* [1], и недаром он называл тогда Ламарка гениальным биологом. Очень вероятно, что уже и в 60-х годах биологическая теория трансформизма была хорошо знакома ему в трудах некоторых предшественников Дарвина.

Закончим изложение относящихся сюда взглядов Чернышевского напоминанием о том, что в его глазах органическая жизнь вообще есть лишь очень сложный химический процесс. Этим определяется его отношение к витализму. Никакой особой жизненной силы не существует. Химические процессы, совершающиеся в организме, только своею сложностью отличаются от химических процессов, происходящих в так называемой неорганической природе. «Еще не очень давно казалось, — замечает Чернышевский, — что так называемые органические вещества (например, уксусная кислота) существуют только в органических телах; но теперь известно, что при известных условиях они возникают и вне органических тел, так что разница между органическою и неорганическою комбинациею элементов несущественна, и так называемые органические комбинации возникают и существуют по одним и тем же законам, и все они одинаково возникают из неорганических веществ. Например, дерево отличается от какой-нибудь неорганической кислоты, собственно, тем, что кислота — это комбинация немногосложная, а дерево — соединение многих многосложных комбинаций. Это как будто разница между 2 и 200 — разница количественная, не больше».

Чернышевский мало писал о собственно философских вопросах, хотя знал философию несравненно лучше, нежели огромнейшее большинство наших передовых писателей конца 60-х, 70-х и 80-х годов, например Н. К. Михайловский. Философия интересовала его главным образом как теоретическая основа известных практических требований. Вот почему и в своей статье «Антропологический принцип в философии»

он не упускает из виду этих требований, не раз заговаривая о них. И вот почему также он посвящает в ней много внимания тем вопросам философской теории, которые имеют непосредственное отношение к задачам практической жизни. Таков, например, вопрос о философской основе нравственности, а прежде всего о воле.

Чернышевский доказывает, что первым следствием вступления «нравственных знаний» в область точных наук явилось устранение некоторых старых взглядов на поступки людей. «Положительно известно, например, — говорит он, — что все явления нравственного мира проистекают одно из другого или из внешних обстоятельств по закону причинности, и на этом основании признано фальшивым всякое предположение о возникновении какого-нибудь явления, не произведенного предыдущими явлениями и внешними обстоятельствами. Поэтому нынешняя психология не допускает, например, таких предположений: «Человек поступил в данном случае дурно, потому что захотел поступить дурно; а в другом случае — хорошо, потому что захотел поступить хорошо». Она говорит, что дурной поступок или хороший поступок был произведен непременно каким-нибудь нравственным или материальным фактом или сочетанием фактов, а «хотение» было тут только субъективным впечатлением, которым сопровождается в нашем сознании возникновение мыслей или поступков из предшествующих мыслей, поступков или внешних фактов». Иначе сказать, смотря на человека, как на невольный продукт окружающей среды, Чернышевский относился с величайшей гуманностью даже к таким некрасивым сторонам человеческого характера, в которых идеалисты видели лишь злую волю, заслуживающую строгой кары. По мнению Чернышевского, все зависит от общественных привычек и обстоятельств, а так как общественные привычки тоже складываются под влиянием обстоятельств, то этими последними в конце концов и определяются все действия людей. «Вы вините человека, — писал он, — всмотритесь прежде, он ли в том виноват, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества, — всмотритесь хорошенько, быть может, тут вовсе не вина его, а только беда его». «Охранители» хотели видеть в подобных словах Чернышевского защиту нравственной распущенности, но, разумеется, только доказали этим свое собственное непонимание дела. На самом деле Чернышевский и тут лишь излагал и развивал не имеющие ничего общего с распущенностью взгляды своего учителя Фейербаха. Известны афоризмы этого последнего вроде: «Во дворце думается иначе, чем в хижине, низкий потолок которой как бы давит на мозг. На вольном воздухе мы иные люди, чем в комнате; теснота сдавливает, простор расширяет

сердце и голову. Где нет случая проявить талант, там нет и талантов; где нет простора для деятельности, там нет и стремления, по крайней мере истинного стремления к деятельности»; или: «если вы хотите улучшить людей, то сделайте их счастливыми». Но не всем известно, что афоризмы и теория этого рода явились в XIX веке лишь повторением и отчасти применением к изменившимся обстоятельствам учений материалистов XVIII века. Маркс еще в 40-х годах указал на тесную связь между материалистическими учениями, с одной стороны, и социалистическими — с другой. «Если человек, — писал он, — несвободен в материалистическом смысле этого слова, т. е. если его свобода заключается не в отрицательной способности избегать тех или других поступков, а в положительной возможности проявления своих личных свойств, то надо, стало быть, не карать отдельных лиц за их преступления, а уничтожить противообщественные источники преступлений и отвести в обществе свободное место для деятельности каждого отдельного человека. Если человеческий характер создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать эти обстоятельства достойными человека».

В частности, у Чернышевского взгляд на характер человека, как на продукт обстоятельств, выработался не только под влиянием Фейербаха, но также и под влиянием современных ему западноевропейских социалистов, особенно Роберта Оуэна, который, как известно, написал целое исследование об образовании человеческого характера («A New View of Society or Essays on the Principle of the Formation of the Human character) * и который во всей своей практической деятельности всегда исходил из того убеждения, что злые поступки людей составляют не вину их, а их беду.

Но если человеческий характер есть продукт обстоятельств, то легко видеть, как следует отвечать на вопрос о том, добр или зол человек по своей природе. Ни добр, ни зол сам по себе, а становится добрым или злым смотря по обстоятельствам. Чернышевский говорит: «Можно находить, что Иван добр, а Петр зол; но эти суждения прилагаются только к отдельным людям, а не к человеку вообще, как прилагаются только к отдельным людям, а не к человеку вообще понятия о привычке тесать доски, уметь ковать и т. д. Иван — плотник, но нельзя сказать, что такое человек вообще: плотник или неплотник. Петр умеет ковать железо, но нельзя сказать о человеке вообще, кузнец он или не кузнец. Тот факт, что Иван стал плотником, а Петр кузнецом, показывает только, что при известных

* [«Новый взгляд на общество или очерки о принципах образования человеческого характера»] [1].

обстоятельствах, бывших в жизни Ивана, человек становится плотником, а при известных обстоятельствах, бывших в жизни Петра, становится кузнецом. Точно так при известных обстоятельствах человек становится добр, при других — зол».

Отсюда, разумеется, совсем близко до практических выводов в направлении, отмеченном Марксом. Чернышевский для примера ставит пред собой вопрос о том, каким образом люди могли бы стать добрыми, так чтобы недобрые люди сделались на свете чрезвычайной редкостью, и отвечает на него так: «Психология говорит, что самым изобильным источником обнаружения злых качеств служит недостаточность средств к удовлетворению потребностей, что человек поступает дурно, т. е. вредит другим, почти только тогда, когда принужден лишить их чего-нибудь, чтобы не остаться самому без вещи, для него нужной». Если бы общество было организовано так, чтобы порядочным образом удовлетворялась потребность человека в пище, то уже одно это привело бы к устранению по крайней мере $^9/_{10}$ всего того зла, которое существует в нынешнем обществе. Говорят, что это невозможно по несовершенству технических искусств, но если этот довод и был когда-нибудь основательным, то при нынешнем состоянии механики и химии он утратил всякое значение: «земля могла бы производить в каждой стране умеренного пояса несравненно больше пищи, чем сколько нужно для изобильного продовольствия числа жителей, в десять и двадцать раз большего, чем нынешнее население этой страны». Чернышевский не находит возможным разбирать, почему до сих пор ни одно человеческое общество не позаботилось о надлежащем удовлетворении такой настоятельной потребности, как потребность в пище. Но ему казалось, что изложенного им было достаточно для разъяснения того, «в каком положении находятся теперь нравственные науки». И, действительно, этого было совершенно достаточно для того, чтоб дать читателю понятие о точке зрения нашего автора *.

* Здесь, как и везде, Чернышевский вполне верен Фейербаху. Для читателей, незнакомых с сочинениями немецкого мыслителя, полезно будет привести следующее место из предисловия, написанного Фейербахом к собранию своих сочинений, первый том которых вышел в 1846 г.: «Das Uebel sitzt nicht im Kopf oder Herzen, sondern im Magen der Menschheit... Ich fühlte es, sagte eine Verbrecherin, wie mir die bösen Gedanken aus dem Magen aufstiegen. Diese Verbrecherin ist das Bild der heutigen menschlichen Gesellschaft. Die einen haben Alles, was nur immer ihr lüsternder Gaumen begehrt, die Andern haben Nichts, selbst nicht das Nothwendige in ihrem Magen. Daher kommen alle Uebel und Leiden, selbst die Kopf- und Herzenskrankheiten der Menschheit» (Vorwort, XV, изд. 1846 г.). [«Зло гнездится не в голове и не в сердце, а в желудке человека... Я ощущала, говорила одна преступница, как злые мысли поднимались у меня из желудка. Эта преступница олицетворяет современное человеческое общество. Одни имеют все, что только ни пожелает их жадное нутро, другие не имеют

Написанная — в силу необходимости, слишком хорошо знакомой русскими писателями, — эзоповским языком, но все-таки смелая и яркая по своему содержанию статья «Антропологический принцип в философии» должна была произвести очень сильное впечатление как в среде читателей, сочувствовавших направлению Чернышевского, так и, может быть, еще более между людьми, восстававшими против него. Неудивительно, что она вызвала горячую полемику.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОЛЕМИКА С ЮРКЕВИЧЕМ И ДРУГИМИ

Из более или менее видных противников взглядов Чернышевского прежде всего надо отметить профессора Киевской духовной академии П. Юркевича, ополчившегося на него в большой статье «Из науки о человеческом духе», напечатанной в 4-й книге «Трудов Киевской духовной академии» за 1860 год. Статья эта тогда же вызвала горячее одобрение со стороны Каткова в «Русском Вестнике», и даже П. Л. Лавров, который был весьма далек от последовательного образа мыслей Чернышевского, как видно, находил доводы Юркевича довольно убедительными. Впоследствии философский поход почтенного профессора духовной академии против Чернышевского был воспет г. Волынским в его вышеназванном сочинении «Русские критики». Г-н Волынский твердо убежден в том, что Чернышевский был, как говорится, в пух и прах разбит Юркевичем. А так как г. Волынский является как бы предтечей всех тех многочисленных теперь в нашей литературе философских недоучек, которые под самыми разноцветными идеалистическими знаменами ведут атаку против материализма, — всех этих гг. Струве, Трубецких, Ивановых, Луначарских, Базаровых, Юшкевичей, Берманов, Валентиновых, Философовых и проч., и проч., и проч., — то мы довольно подробно рассмотрим, что, собственно, показалось убедительным г. Волынскому в доводах киевского теолога.

Во-первых, г. Волынскому очень нравится та мысль Юркевича, что между фактами внешнего и внутреннего опыта лежит целая бездна и что всякая попытка судить об одном предмете с точки зрения другого должна быть изгнана из науки. Чернышевский упустил это из виду и потому сделал целый ряд ошибок. По его словам, философия видит в человеческом организме то же, что видят в нем естественные науки. Юркевич спрашивал по

ничего, даже самого необходимого для желудка. Отсюда — все зло и все страдания человечества, даже болезни головы и сердца». (Предисловие, XV, изд. 1846 г.).]

этому поводу, какая же в таком случае надобность в философии, «которая еще раз видит то, что уже прежде ее видели другие науки»? Со своей стороны, г. Волынский с совершенно удовлетворенным видом прибавляет: «Такова первая ошибка автора «Антропологического принципа» по простому и ясному объяснению Юркевича» *.

Что объяснение Юркевича было просто — это так. Но ясным оно может казаться в настоящее время только тому, кто незнаком с вопросом.

Чернышевский стоял на точке зрения Фейербаха. А вопрос об отношении философии к естествознанию представлялся Фейербаху в следующем виде. Он считал, что философия должна уступить место естествознанию: «Моя философия, — говорил он, — состоит в том, что не нужно никакой философии» [1]. Но для того, чтобы философия могла с пользой для дела уступить место естественным наукам, необходимо, чтобы сами натуралисты усвоили те выводы философии, которые приводят ее к своему собственному отрицанию. Иначе сказать, необходимо, чтобы естествоиспытатели перестали быть узкими специалистами. Но до этого еще далеко. Огромнейшее большинство естествоиспытателей не выходит в своем мышлении за пределы своей специальной науки, продолжая держаться отживших философских и общественных понятий. Пока не устранен этот их недостаток, философия не может слиться с естествознанием. В этом смысле Фейербах и говорил, что он идет с натуралистами лишь до известного предела. Он вернее выразил бы свою мысль, если бы сказал, что современные ему естествоиспытатели не способны были идти за ним дальше известного предела. Но как бы там ни было, а мысль эта у него была, и в ней заключался ответ на вопрос Юркевича. Чернышевскому эта мысль была, разумеется, хорошо известна. В доказательство сошлюсь на следующие его строки: «Те натуралисты, которые воображают себя строителями всеобъемлющих теорий, на самом деле остаются учениками и обыкновенно слабыми учениками старинных мыслителей, создавших метафизические системы, и обыкновенно мыслителей, системы которых уже были разрушены отчасти Шеллингом и окончательно Гегелем... Когда натуралисты перестанут говорить этот и тому подобный метафизический вздор, они сделаются способны вырабатывать и, вероятно, выработают на основании естествознания систему понятий, более точных и полных, чем те, которые изложены Фейербахом. А пока лучшим изложением научных понятий о так называемых основных вопросах человеческой любознательности остается то, которое сделано Фейербахом». Эти

* «Русские критики», Спб. 1896 г., стр. 282.

строки взяты нами из цитированного уже выше предисловия к предполагавшемуся, но несостоявшемуся третьему изданию «Эстетических отношений искусства к действительности». Предисловие это написано в 1888 году. Но в приведенных нами строках речь идет о взгляде, который высказан был Фейербахом еще в 1845 году и который, конечно, был хорошо известен Чернышевскому, когда он писал статью «Антропологический принцип в философии». Повторяем, в этом взгляде заключается ответ на вопрос о том, какая надобность в философии, еще раз видящей то, что уже видели естественные науки. Этот ответ мог остаться неизвестным Юркевичу, который был, так сказать, ex professo * отсталым человеком. Но каким образом он мог остаться неизвестным г. Волынскому, который захотел выступить в роли мыслителя самоновейшей чеканки? В том-то и беда, что наши мыслители самоновейшей чеканки совсем не знают тех действительно передовых авторов, которых они «критикуют». Они зовут читателя вперед, а сами пятятся назад, разогревая старые философские блюда. Таких людей немало было и в Германии во время Фейербаха. Фейербах называл их Wiederkäuer (жвачными). Но, к сожалению, у нас в настоящее время таких «жвачных» несравненно больше; от них буквально нет проходу в нашей литературе. Это, вероятно, очень весело их предтече — г. Волынскому; но от этого должно тошнить людей, философской жвачкой не занимающихся.

Во-вторых, г. Волынский вслед за Юркевичем находит, что «Чернышевский плохо обрисовал вопрос об единстве человеческой природы». Тут дело вот в чем. Юркевич приписывает Чернышевскому ту мысль, что между материальными и психическими явлениями *нет никакой разницы,* и с победоносным видом вопрошает, каким образом ощущения рождаются в результате движения нерва. Это старый вздор, с которым давно уже пристают к материалистам и из которого следует только то, что люди, желающие «критиковать» материализм, не знают даже его азбуки. Чернышевский нигде не говорит в своей статье, что нет никакой разницы между так называемыми физическими явлениями, с одной стороны, и явлениями психическими — с другой. Напротив, он категорически признает существование этой разницы; но он думает, что она не дает никакого права относить психические явления на счет особого нематериального фактора. Нам уже известно его замечание, согласно которому в каждом предмете очень много разных качеств. Теперь мы изложим его подробнее. «Например, — говорит Чернышевский, — дерево растет, горит; мы говорим, что оно имеет два качества: растительную силу и удобосгораемость. В чем сходство между

* [по профессии]

этими качествами? Они совершенно различны; нет такого понятия, под которое можно было бы подвести оба эти качества, кроме общего понятия — качество; нет такого понятия, под которое можно было бы подвести оба ряда явлений, соответствующих этим качествам, кроме понятия — явление. Или, например, лед тверд и блестящ; что общего между твердостью и блеском? Логическое расстояние от одного из этих качеств до другого безмерно велико, или, лучше сказать, нет между ними никакого, близкого или далекого, логического расстояния, потому что нет между ними никакого логического отношения. Из этого мы видим, что соединение совершенно разнородных качеств в одном предмете есть общий закон вещей». То же и с тем качеством, которое мы называем способностью к ощущению и мышлению. Его расстояние от так называемых физических качеств живого организма безмерно велико [1]. Но это не мешает ему быть качеством того же организма, который в то же время обладает протяженностью и способностью к движению. Тяжкий грех против логики совершает тот, кто полагает, что так как ощущение и мышление совсем не похожи на движение и протяжение, то они должны быть отнесены на счет другой субстанции (духа), совершенно отличной от той (материи), к которой приурочивается протяжение и движение. Такова мысль Чернышевского, и если бы г. Волынский имел «качество», необходимое для ее понимания, то он сразу увидел бы, как несостоятельна, больше того, как жалка была та аргументация Юркевича, вся мнимая сила которой заключалась в умышленном или неумышленном искажении взглядов русского сторонника антропологического принципа. Но в том-то и дело, что «качеств», нужных для понимания Чернышевского, не было у г. Волынского, как не было и нет их у наших нынешних «жвачных» любомудров, наивно, но твердо убежденных в том, что философские взгляды Чернышевского давно уже *«устарели»*.

Еще Дж. Пристлей говорил в своих «Disquisitions», что была бы очень большим злоупотреблением материалистического учения та мысль, что вибрации мозга тождественны с восприятием. «Легко составить себе, — говорил он, — представление о вибрациях, не сопровождающихся восприятием. Но мы предполагаем (it is supposed), что мозг, кроме своей *способности к вибрациям*, имеет также способность *воспринимать или чувствовать;* мы решительно не знаем, почему он не мог бы обладать такой способностью» *. Это и есть точка зрения всех выдающихся материалистов нового времени со включением, разу-

* «Disquisitions relating to Matter and Spirit». By *Joseph Pristley*, Vol. I. The second edition, Birmingham MDCCLXXXII, p. 121. [«Исследования о материи и духе» *Джозефа Пристли*, т. I, изд. 2, Бирмингам 1782, стр. 121.]

меется, Фейербаха и Чернышевского. Противникам материализма — последовательным и непоследовательным, сознательным и бессознательным идеалистам — следовало бы в своей критике этого учения прежде всего убедить нас в том, что они знают на этот счет больше Пристлея, и показать нам, какие именно основания мешают им признать вместе с Пристлеем, что мозг, кроме способности к вибрациям, может обладать еще способностью к восприятию. Такие основания у них, несомненно, существуют. Но они сводятся к тому спиритуалистическому предрассудку, что сама по себе — т. е. не будучи оживотворена духом — материя мертва и не способна не только к восприятию, но даже и к движению. Ссылаться в споре с материалистами на подобные основания — значит совершать очевидную petitio principii *, т. е. опираться на то самое положение, какое именно и нужно доказать. Более или менее смутно чувствуют это сами противники материализма. Поэтому они обыкновенно очень остерегаются выдвигать на вид основания, мешающие им признать способность к восприятию одним из свойств материи, и предпочитают опровергать то, чего ни один видный материалист не говорил, по крайней мере в новое время, т. е., что восприятие есть то же, что движение **. Предоставляем судить читателю о подобной критике, а эта критика у нас теперь в ходу более чем где бы и когда бы то ни было.

Итак, еще раз, — Чернышевский вовсе не отождествляет восприятия с движением, но считает способность к восприятию таким же свойством материи, как и способность ее к движению. Теперь спрашивается, какой характер имеют те условия, при наличности которых материя, имеющая *способность* воспринимать, становится *воспринимающей на самом деле*. Чернышевский отвечает, что эти условия до сих пор плохо еще изучены, но что, во всяком случае, мы теперь уже с полной уверенностью можем приписать им материальный характер. Способность к восприятию обнаруживается лишь в организмах, а мы уж знаем, что, по мнению Чернышевского, жизнь организма есть прежде всего известный химический процесс. Этим и объясняется, по мнению Чернышевского, то обстоятельство, что организмы обнаруживают такую способность, какой мы не замечаем в неорганизованной материи.

Это очень важный вопрос, и мы приглашаем читателя отнестись к нему с полным вниманием. Чернышевский пишет: «Во время химического процесса тела обнаруживают такие

---

* [предвосхищение основания] [1].

** Мы допускаем, что у *античных* материалистов — например, у Демокрита и Эпикура — могли быть известные неясности [2] на этот счет, хотя это далеко еще не доказано: ведь надо помнить, что взгляды этих мыслителей дошли до нас в неполном виде.

качества, каких совершенно незаметно в них при состоянии неподвижного соединения. Например, дерево само по себе не жжет; трут, кремень и огниво также не жгут; но если частичка стали, раскаленная трением (ударом) о кремень и оторванная от огнива, попадает в трут и, чрезвычайно возвысивши температуру некоторой частички этого трута, дает условие, нужное для начала в этой частичке трута химического процесса, называемого горением, то постепенно весь кусок трута, вовлекаясь в этот химический процесс, начинает жечь, чего не делал, когда в нем не было химического процесса; будучи подвинут к дереву во время этого процесса, он также вовлекает его в свой химический процесс горения, и дерево во время этого процесса также жжет, светит и обнаруживает другие качества, каких не замечалось в нем до начала процесса. Возьмем, например, процесс брожения. Пивное сусло стоит спокойно в своем чану; дрожжи также неподвижны в своей кружке. Положите дрожжи в сусло — начинается химический процесс, называемый брожением, — сусло бурлит, пенится, бьется в своем сосуде» [1].

Эти доводы Чернышевского напоминают мнение тех французских и английских материалистов XVIII века, которые полагали, что способность к ощущению и мышлению является как результат известного состояния организованного тела *. Но это мнение не имеет в себе у Чернышевского ровно ничего исключительного. Чернышевский прекрасно понимает, что нет резкой разницы между «химическим процессом», с одной стороны, и «состоянием неподвижного соединения» — с другой. Ввиду огромной важности этого предмета мы опять видим себя вынужденными сделать длинную выписку из статьи «Антропологический принцип в философии».

«Разумеется, — признает Чернышевский, — когда мы говорим о различии состояния тел во время химического процесса и в такое время, когда не находятся они в процессе, мы говорим только о количественной разнице между сильным, быстрым ходом процесса и очень медленным, слабым ходом его. Собственно говоря, каждое тело постоянно находится в состоянии химического процесса; например, бревно, если и не будет зажжено, не сгорит в печи, а будет спокойно, как будто без всяких перемен, лежать в стене дома, все-таки когда-нибудь придет

* К этой мысли склонялся, например, Гольбах, и ее же категорически высказывал Дж. Пристлей. Этот последний говорит: «my idea now is that sensation and thought do necessarily result from the organisation of the brain, when the powers of mere life are given to the system». Loc. cit. p. 150. Ср. весь вообще 13-й отдел Disquisitions: «of the Connection between Sensation and Organisation». [Моя идея заключается в том, что ощущение и мысль необходимо являются результатом организации мозга, когда простейшие силы жизни организованы в систему. Цит. место, стр. 150... Исследования: «О связи между ощущением и организацией».]

к тому же концу, к какому приводит его горение: оно постепенно истлеет, и из него останется тоже только пепел (пыль гнилушки, которая, наконец, оставит от себя на прежнем месте только минеральные частицы пепла). Но если этот процесс, как например при обыкновенном тлении бревна в стене дома, происходит чрезвычайно медленно и слабо, то и качества, свойственные телу, находящемуся в процессе, обнаруживаются с микроскопической слабостью, которая в житейском быту совершенно неуловима. Например, при медленном истлевании дерева, лежащего в стене дома, также развивается теплота; но то количество ее, которое при горении сосредоточилось бы в течение нескольких часов, тут разжижается (если можно так выразиться) на несколько десятков лет, так что не достигает никакого результата, удобоуловимого на практике: существование этой теплоты ничтожно для практических суждений. Это то же самое, как винный вкус в целом пруде воды, в который брошена одна капля вина: с научной точки зрения этот пруд содержит в себе смесь воды с вином; но в практике надобно принимать, что вина в нем как будто вовсе нет».

Эти замечательные строки позволяют думать, что для Чернышевского и с этой стороны не было никакой пропасти между организованной материей, с одной стороны, и неорганизованной — с другой. Конечно, организм животного, а в особенности животного, стоящего на самом верху зоологической лестницы,— человека, обнаруживает в интересующем нас отношении такие свойства, которые совершенно чужды неорганизованной материи. Но ведь и процесс горения дерева сопровождается многими явлениями, несвойственными процессу его медленного тления. Однако существенной разницы между этими двумя процессами нет. Напротив, в сущности это один и тот же процесс; но только в первом случае он совершается очень скоро, а во втором — чрезвычайно медленно. Поэтому качества, свойственные телу, находящемуся в этом процессе, в первом случае имеют большую силу, а во втором отличаются «микроскопической слабостью, которая в житейском быту совершенно неуловима». В применении к вопросу о психических явлениях это значит, что и в неорганизованном виде материя не лишена той основной способности к «ощущению», которая приносит такие богатые «духовные» плоды у высших животных. Но в неорганизованной материи эта способность существует в крайне слабой степени. Поэтому она совершенно неуловима для исследователя, и мы можем, совершенно не рискуя впасть в сколько-нибудь заметную ошибку, приравнивать ее к нулю. Но все-таки не надо забывать, что способность эта вообще свойственна материи и что вследствие этого нет оснований смотреть на нее, как на что-нибудь чудесное там, где она проявляется с особой силой, как это мы

видим, например, у высших животных вообще, а преимущественно у человека. Высказывая — с осторожностью, необходимой при тогдашних условиях нашей печати, — такую мысль, Чернышевский сближался с такими материалистами, как Ламеттри и Дидро, которые в свою очередь стояли на точке зрения спинозизма, освобожденного от ненужных теологических привесок.

Г-н Волынский думает, что Юркевич высказывал бог знает какую мудреную мысль, говоря, что превращения движения воздуха в звук и вибрации эфира в свет непременно предполагают ощущающее существо, умеющее превращать количественные движения в качества звука и света. Но Чернышевский и сам очень хорошо знал это; он только полагал, что таким ощущающим существом является известным образом организованная материя, а против этого предположения ни г. Волынский, ни превозносимый им Юркевич не выдвинули ни одного разумного довода.

Юркевич утверждал также, что количественные различия превращаются в качественные не в самом предмете, а в отношении его к чувствующему субъекту. Но это очень грубая логическая ошибка [1]. Чтобы измениться в своем отношении к чувствующему субъекту, объект должен предварительно измениться в самом себе. Если лед имеет для нас не те свойства, какими обладает водяной пар, то это объясняется тем, что взаимные отношения водяных частиц в первом случае совершенно не таковы, как во втором. Но довольно об этом.

В-третьих, г. Волынский находит, что Юркевич был прав, упрекая Чернышевского в забвении той главной черты, которой человек отличается от других животных и которая состоит в том, что человек проявляет себя «как *личный* дух». Об этом мы совсем не считаем нужным спорить с г. Волынским, отсылая читателя к таким сочинениям, как «Происхождение человека» Дарвина или книге Романеса, посвященной исследованию умственного развития у человека и животных [2]. Стоит только сравнить выводы Дарвина и Романеса с выводами Чернышевского, чтобы видеть, как твердо стоял наш защитник «Антропологического принципа в философии» на точке зрения естествознания.

Известно, как презрительно отнесся Чернышевский к доводам Юркевича. Он не стал — да по цензурным условиям и не имел возможности — разбирать эти доводы, а просто объявил их устарелыми и нимало не убедительными.

«Я сам семинарист, — писал он в своих «Полемических красотах». — Я знаю по опыту положение людей, воспитывающихся, как воспитывался Юркевич. Я видел людей, занимающих такое положение, как он. Потому смеяться над ним мне

тяжело: это значило бы смеяться над невозможностью иметь в руках порядочные книги, над совершенной беспомощностью в деле своего развития, над положением, невообразимо стесненным во всех возможных отношениях.

Я не знаю, каких лет г. Юркевич; если он уже немолодой человек, заботиться о нем поздно. Но если он еще молод, я с удовольствием предлагаю ему тот небольшой запас книг, каким располагаю» [1].

Г-н Волынский до сих пор находит такой ответ до последней степени неудовлетворительным. Ему кажется, что Чернышевский отвечал так единственно вследствие неспособности своей обстоятельно опровергнуть Юркевича. Так же, как видно, рассуждали и некоторые журналисты начала 60-х годов. Вот, например, Дудышкин в «Отечественных Записках», перечислив по пунктам будто бы неопровержимые доводы Юркевича, писал, обращаясь к Чернышевскому:

«Кажется, ясно; дело идет уже не о ком-либо другом, а о вас, не о философии и физиологии вообще, а о вашем незнании этих наук. К чему же тут громоотвод о семинарской философии? Зачем смешивать вещи совершенно разные и говорить, что вы все это знали уже в семинарии и даже теперь помните наизусть?»

На это Чернышевский отвечал, что незнакомство Дудышкина с семинарскими тетрадками не позволило ему понять, в чем дело. «Если бы потрудились вы просмотреть эти тетрадки, — продолжает он, — вы увидели бы, что все недостатки, которые г. Юркевич открывает во мне, открывают эти тетрадки в Аристотеле, Бэконе, Гассенди, Локке и т. д., и т. д., во всех философах, которые не были идеалисты. Следовательно, ко мне, как отдельному писателю, эти упреки вовсе не относятся, они относятся, собственно, к теории, которую популяризировать я считаю полезным делом. Если вы не верите, загляните в принадлежащий тому же, как г. Юркевич, направлению «Философский словарь», издаваемый г. С. Г. [2], — вы увидите, что там про каждого неидеалиста говорится то же самое: и психологии-то он не знает, и естественные-то науки ему неизвестны, и внутренний-то опыт он отвергает, и перед фактами-то он падает во прах, и метафизику-то он с естественными науками смешивает, и человека-то он унижает и т. д. и т. д. Скажите же, какая мне надобность серьезно смотреть на автора ли известной статьи, на людей ли его хвалящих, когда я вижу, что лично против меня они повторяют вещи, испокон века повторяемые про каждого мыслителя школы, которой я держусь? Я должен судить так: или они не знают, или они притворяются незнающими, что эти упреки не против меня, а против целой школы; следовательно, они или люди плохо знакомые с историей философии,

или только действуют по тактике, фальшивость которой сами знают. В том или другом случае такие противники недостойны серьезного спора» [1]. Это было вполне справедливо.

Не менее прав был Чернышевский, когда писал в той же статье, что теория, которую он считал справедливой, составляла самое последнее звено в ряду философских систем и что она вышла из Гегелевской теории так же, как Гегелевская вышла из Шеллинговой. Он с гордостью говорил, что считает свою философскую теорию не только самой новой, но также самой полной и самой справедливой.

Нужно быть г. Волынским или одним из его нынешних многочисленных «жвачных» последователей, чтобы считать доводы Юркевича неопровержимыми. На самом деле эти доводы даже не поколебали — об опровержении нечего уже и говорить — ни одного из основных положений Чернышевского — Фейербаха. Но надо признать, что некоторые выводы, сделанные Чернышевским из основных положений своей материалистической философии, были недостаточно разработаны, а потому односторонни и — в силу своей односторонности — не вполне правильны. Таковы были выводы, относившиеся к учению о нравственности.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

УЧЕНИЕ О НРАВСТВЕННОСТИ

«При внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия». В подтверждение этой своей мысли Чернышевский приводит несколько примеров. Когда жена оплакивает смерть любимого мужа, то мысль о себе составляет основу ее печали: «Что я буду без тебя делать, без тебя мне тошно жить на свете» и т. д. То же мы видим и в скорби матери, потерявшей ребенка: «Погибла в тебе моя надежда, отнята у меня всякая радость» и т. д. Тут очень ясна, по словам Чернышевского, эгоистическая основа чувства. Несколько затруднительнее случаи так называемого самопожертвования. Жители Сагунта перерезались, чтобы не сдаться Аннибалу [2]. Это был геройский поступок; но этот геройский поступок не противоречит эгоистическому расчету: «Они все равно были бы истреблены если не своими, то карфа-

генскими руками, но карфагеняне стали бы долго мучить их варварскими пытками, и здравый расчет их справедливо предпочел легкую и быструю смерть медленной и тяжелой». Или возьмем Лукрецию, которая закололась, подвергшись насилию со стороны Секста Тарквиния [1]. Чернышевский находит, что и она поступила очень расчетливо: «Муж мог бы наговорить ей много успокоительных и ласковых слов, но ведь все подобные слова — чистый вздор, свидетельствующий о благородстве говорящего их, но нисколько не изменяющий непременных последствий дела. Коллатин мог сказать жене: «Я считаю тебя чистой и люблю тебя по-прежнему»; но при тогдашних понятиях, слишком мало изменившихся до сих пор, он не в силах был оправдать своих слов делом: волею или неволею, но он уже потерял очень значительную часть прежнего уважения, прежней любви к жене; он мог прикрывать эту потерю преднамеренным увеличением нежности в обращении с нею; но такого рода нежность обиднее холодности, горьче побоев и ругательств. Лукреция справедливо нашла, что лишиться жизни составляет гораздо меньшую неприятность, чем жить в положении унизительном, по сравнению с тем, к какому она привыкла. Чистоплотный человек охотнее будет терпеть голод, чем прикоснется к пище, оскверненной какой-нибудь гадостью; для человека, привыкшего уважать себя, смерть гораздо легче унижения» *.

Приведя эти доводы, Чернышевский оговаривается. Он вовсе не стремится к уменьшению той великой похвалы, какой заслуживают жители Сагунта и Лукреция. Он только доказывает, что их геройские поступки были также и умными поступками. А доказывать это — вовсе еще не значит, по его мнению, отнимать цену у геройства и благородства. Это совершенно верно, и когда люди, подобные Юркевичу, упрекали его в том, что он не умеет ценить эти чувства, они обнаруживали только свою собственную неспособность понять взгляды нашего автора. Учение Чернышевского о нравственности совсем не отнимало цены у геройства и благородства; наоборот, оно хотело поднять эту цену указанием на то, что путь, избираемый героем, есть именно тот путь, который предписывается правильным расчетом. Но это не устраняет из соображений Чернышевского свойственной им логической ошибки. В самом деле, примерами жителей Сагунта и Лукреции Чернышевский хочет убедить нас в том, что благородные поступки совсем не безрассудны. Мы нимало не сомневаемся в этом. Но мы утверждаем, что иное дело поступок, основанный на расчете, а иное дело тот поступок, последствия которого так же благоприятны для лица его совершившего, как и последствия такого поступка, который был

* Сочинения, VI, стр. 230—231 [2].

бы основан исключительно на расчете. Мы допускаем, что для Лукреции в самом деле было выгоднее лишить себя жизни, но мы очень сомневаемся в том, что она могла перед своим самоубийством предаваться сколько-нибудь основательным расчетам выгоды. Для таких расчетов необходимо хладнокровие, а хладнокровной Лукреция быть не могла. Не вернее ли предположить, что в ее поступке расчет, т. е. *рассудок*, играл гораздо меньшую роль, нежели чувство, сложившееся под влиянием современных ей отношений, привычек и взглядов? Человеческие чувства и привычки так приспособляются обыкновенно к существующим общественным — а также, конечно, и семейным — отношениям, что совершаемые под их влиянием поступки могут показаться подчас плодом самых основательных расчетов, между тем как в действительности они вовсе не были вызваны расчетливостью. Это до такой степени верно, что Чернышевский сам подтверждает это своими соображениями: он говорит, как мы видели, что для человека, привыкшего уважать себя, смерть гораздо легче унижения. И это опять верно. Но ведь нельзя же отождествлять привычку с расчетом, и нельзя сказать, что человек, поступающий в силу известной похвальной привычки, «руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды или большего удовольствия». Вообще во взгляде Чернышевского на разумный эгоизм очень заметно свойственное всем «просветительным периодам» (Aufklärungsperioden) стремление искать в рассудке опоры для нравственности, а в более или менее основательной расчетливости отдельного лица — объяснение его характера и его поступков. Иногда относящиеся сюда рассуждения Чернышевского, как две капли воды, похожи на рассуждения Гельвеция и его единомышленников. Почти так же сильно напоминают они собою рассуждения типичного представителя эпохи просвещения в древней Греции, Сократа, который, выступая защитником дружбы, доказывал, что друзей иметь *выгодно*, так как они могут пригодиться в несчастии. Подобные крайности рассудочности объясняются тем, что просветители обыкновенно не умели стать на *точку зрения развития* *.

Мы знаем, что, согласно теории Чернышевского, человек по своей природе ни добр, ни зол, а делается добрым или злым смотря по обстоятельствам **. Если б мы признали, что чело-

* Подробнее об этом см. в нашей книге: «Beiträge zur Geschichte des Materialismus — Holbach, Helvetius und Karl Marx». Stuttgart 1896. [«Очерки по истории материализма — Гольбах, Гельвеций и Карл Маркс». Штутгарт 1896.] [1]

** Не мешает, впрочем, заметить, что прежде наш автор высказывал другой взгляд на человеческую природу. Согласно этому взгляду, чело-

век в своих поступках всегда руководится расчетом, то мы должны были бы иначе формулировать взгляд Чернышевского на человеческую природу: мы должны были бы сказать, что человек по своей природе ни добр и ни зол, а только расчетлив, причем это его свойство достигает большей или меньшей силы в зависимости от обстоятельств. Но подобная формулировка вряд ли понравилась бы нашему автору.

Что такое добро, что такое зло, по его теории? На этот вопрос отвечает та же — как видит читатель, весьма содержательная — статья «Антропологический принцип в философии». «Отдельный человек, — говорит там Чернышевский, — называет добрыми поступками те дела других людей, которые полезны для него; в мнении общества добром признается то, что полезно для всего общества или для большинства его членов; наконец, люди вообще без различия наций и сословий называют добром то, что полезно для человека вообще». Нередко случается, что интересы разных наций и сословий противоречат друг другу или общечеловеческим интересам; также нередко случается, что интересы одного сословия противоположны интересам целой нации. Как же решить здесь, где добро и где зло? Теоретически решить этот вопрос очень нетрудно: «общечеловеческий интерес стоит выше выгод отдельной нации, общий интерес целой нации стоит выше выгод отдельного сословия, интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного». А как бывает на практике? На практике люди называют полезный для них поступок добрым, а вредный дурным, редко справляясь о том, как относится он к более широким интересам целого. Но Чернышевский убежден, что люди, сословия или нации, предпочитающие свои частные интересы интересам общим, в конце концов сами же и страдают от этой «теоретической лжи». Он говорит: «Те случаи, в которых отдельная нация попирает для своей выгоды общечеловеческие интересы или отдельное сословие — интересы целой нации, всегда оказываются в результате вредными не только для стороны, интересы которой были нарушены, но и для той стороны, которая думала доставить себе выгоды их нарушением: всегда оказывается, что нация губит сама себя, порабощая человечество, что отдельное сословие приводит себя к дурному концу, принося в жертву

век есть «существо, по натуре своей наклонное уважать и любить правду и добро и гнушаться всем дурным, существо, могущее нарушать законы добра и правды только по незнанию, заблуждению или по влиянию обстоятельств сильнейших, нежели его характер и разум, но никогда не могущее добровольно и свободно предпочесть зло добру» (см. статью о «Губернских очерках» Щедрина, — «Современник», 1857 г., № 6; перепечатана в «Полном собрании сочинений», т. III. Цитированные строки находятся на стр. 221—222 этого тома) [1]. Это ближе к Сократу, нежели к нынешнему учению о развитии [2].

себе целый народ». Мы не станем разбирать здесь те исторические и экономические примеры, с помощью которых он хочет подтвердить это свое положение: мы коснемся этого предмета ниже, когда речь пойдет у нас об исторических взглядах Чернышевского. Теперь же мы ограничимся тем замечанием, что, как бы ни было верно или ошибочно это его положение, несомненно, что сказанное им об отношении интересов части к интересам целого дает нам возможность поставить вопрос об эгоизме более правильно, нежели это сделано в его статье. В самом деле, предположим, что мы имеем дело с обществом, не разделенным на сословия или классы. В таком обществе добрыми будут считаться те поступки отдельных лиц, которые совпадают с интересами целого, а дурными те, которые противоречат этим интересам. Стало быть, в основе суждений о добре и зле будет лежать то, что можно назвать эгоизмом целого, *общественным эгоизмом*. Но эгоизм целого отнюдь не исключает альтруизма отдельного лица, *индивидуального альтруизма*. Напротив, он является его источником: общество стремится воспитать отдельных своих членов так, чтобы они ставили общественный интерес выше своего частного; чем более поступки данной личности будут *удовлетворять* этому требованию общества, тем самоотверженнее, нравственнее, альтруистичнее будет эта личность. А чем более ее поступки будут *нарушать* это требование, тем более своекорыстной, безнравственной, эгоистичной она окажется. Это и есть тот критерий, который всегда — с большей или меньшей сознательностью — применялся и применяется людьми при суждении о том, альтруистичен или эгоистичен данный поступок данного лица: вся возможная здесь разница сводится к тому, что́ именно представляет собою то целое, интересы которого ставятся в данном случае выше интересов отдельных лиц.

Но когда общество применяет свой основанный на интересах целого критерий к оценке поступков отдельных лиц, оно хочет, чтобы выгодное для него действие было продиктовано внутренним влечением лица, его совершившего, а не соображениями этого лица о своей собственной пользе. Пока лицо, служащее интересам целого, руководствуется своей личной пользой, оно обнаруживает бо́льшую или меньшую сметливость, бо́льшую или меньшую предусмотрительность, но не бо́льший или меньший альтруизм. Воспитание человека в духе нравственности состоит именно в том, что поступки, полезные обществу, становятся для него инстинктивной потребностью («категорический императив» Канта). И чем сильнее эта потребность, тем нравственнее отдельное лицо. Героями называются такие люди, которые не могут не повиноваться этой своей потребности даже тогда, когда ее удовлетворение решительно идет вразрез с их

самыми существенными интересами, грозя им, например, смертью. Это обыкновенно упускалось из виду «просветителями» и в их числе Чернышевским. Можно, впрочем, прибавить, что не менее «просветителей» ошибался и Кант, утверждавший, что нравственные побуждения не имеют никакого отношения к пользе. Он тоже не умел стать в этом случае на точку зрения развития и вывести *индивидуальный альтруизм* из *общественного эгоизма*.

Замечательно, что Чернышевский, утверждавший, что человек всегда руководствуется соображениями выгоды, в последнем счете думал совершенно то же, что говорим мы, но плохо формулировал свою мысль вследствие указанной неправильности своих логических посылок [1]. Вот посмотрите, как характеризуют себя Лопухов и Кирсанов в романе [2] «Что делать?». Вера Павловна, познакомившись с Кирсановым, спрашивает его, очень ли он любит Лопухова. По этому поводу между ними завязывается следующий разговор:

— Я? Я никого, кроме себя, не люблю, Вера Павловна.

— И его не любите?

— Жили — не ссорились, и того довольно.

— И он вас не любил?

— Не замечал что-то. Впрочем, спросим у него: Ты любил что ли меня, Дмитрий?

— Особенной ненависти к тебе не имел *.

Кирсанов «никого, кроме себя» не любит, а Лопухов ограничивается тем, что не чувствует к своему лучшему другу «особенной ненависти». Как видите, они эгоисты до конца ногтей. И такими же «эгоистами» они остаются... во всех своих разговорах и заявлениях. Лопухов, решившийся отказаться от предстоящей ему ученой карьеры для того, чтобы женитьбой на Вере Павловне, избавить ее от родительской власти, убеждает самого себя в том, что он никакой жертвы не приносит: «И не думал жертвовать. Не был до сих пор так глуп, чтобы приносить жертвы, — надеюсь, и никогда не буду. Как для меня лучше, так и сделал. Не такой человек, чтобы приносить жертвы. Да их и не бывает, никто не приносит; это фальшивое понятие; жертва — сапоги в смятку. Как приятнее, так и поступаешь. Так вот поди ты, растолкуй это. В теории-то оно понятно; а как видит пред собою факт, человек-то и умиляется: вы, говорит, мой благодетель» **.

Как приятнее, так и поступаешь. Кто следует этому правилу? Все люди. Но каждый человек есть «я», и у каждого человека каждое соображение о том или другом своем поступке

* Сочинения, т. IX, отд. 2, стр. 92 [3].
** Там же, стр. 85 [4].

неотделимо от сознания этим человеком своего «я». Это неоспоримое обстоятельство истолковывается Чернышевским — как всегда истолковывалось оно «просветителями» разных стран — в пользу своей теории разумного эгоизма. Убедив себя в том, что ему даже выгодно будет отказаться от ученой карьеры и жениться на Вере Павловне, Лопухов заканчивает свои размышления на этот счет следующим торжествующим замечанием: «Ведь как верно, что Я всегда на первом плане — и начал с себя, и кончил собою. И с чего начал: «жертва» — какое плутовство; будто я от ученой известности отказываюсь, и от кафедры — какой вздор! Не все ли равно, буду так же работать, и так же получу кафедру, и так же послужу медицине. Приятно человеку, как теоретику, замечать, как играет эгоизм его мыслями на практике» *.

Здесь весьма выпукло обнаруживается логическая ошибка Чернышевского. Из того, что сознание своего «я» никогда не покидает человека в его соображениях о своих действиях, вовсе еще не следует, что все его действия эгоистичны. Если данное «я» видит свое счастье в счастье других; если оно имеет «пристрастие» к этому счастью, то такое «я» называется альтруистичным, а не эгоистичным. И стремиться затушевать глубокое различие между эгоизмом и альтруизмом только на том основании, что альтруистические действия также сопровождаются у людей сознанием ими своего «я», — значит желать внести логическую неясность туда, где безусловно необходима полная ясность. А до какой степени она необходима, показывает собственный пример Чернышевского. Приравняв альтруизм к эгоизму, он видит себя вынужденным искать другого критерия для различения тех поступков, которые обыкновенно называются *эгоистичными,* от тех, которым присвоено название *альтруистичных.* И что же он находит?

В своих «*Заметках о журналах*» (январь 1857 года) он говорит, определяя разницу между Печориным и Рудиным: «Один эгоист, не думающий ни о чем, кроме своих личных наслаждений; другой — энтузиаст, совершенно забывающий о себе и весь поглощаемый общими интересами; один живет для своих страстей, а другой для своих идей. Это — люди... составляю-

* Там же, стр. 86 [1]. Подобным же образом Вера Павловна, объясняя швеям свое намерение устроить кооперативную мастерскую, говорит: «Это потому, что у меня нет большого пристрастия к деньгам; ведь вы знаете, что у разных людей разные пристрастия, не у всех же только к деньгам: у иных пристрастие к балам, у других — к нарядам или картам, и все такие люди готовы даже разориться для своего пристрастия, и многие разоряются, и никто этому не дивится, что их пристрастие им дороже денег. А у меня пристрастие вот к тому, чем заняться я с вами пробую» (там же, стр. 117) [2]. У нее то же дело изображается так, что она всегда будто бы ставит свое «я» на первом плане.

щие совершенный контраст один другому» *. Совершенно справедливо! Но именно ввиду возможности подобных контрастов и ошибочно было говорить, что все люди — эгоисты и что они отличаются между собою лишь большею или меньшею расчетливостью. Не по расчету Рудин жил для своих идей, и точно так же не по расчету Печорин жил для своих страстей.

Другой пример. Выйдя замуж за Лопухова, Вера Павловна целых шесть месяцев не видала своих родителей; потом она навестила их, и вот как описывает наш автор впечатление, вынесенное ею из этого визита: «Полгода Вера Павловна дышала чистым воздухом, грудь ее уже совершенно отвыкла от тяжелой атмосферы хитрых слов, из которых каждое произносится по корыстному расчету, от слушания мошеннических мыслей, низких планов, и страшное впечатление произвел на нее ее подвал. Грязь, пошлость, цинизм всякого рода — все это бросалось теперь ей с резкостью новизны.

«Как у меня доставало силы жить в таких гадких стеснениях? Как я могла дышать в этом подвале? И не только жила, даже осталась здорова. Это удивительно, непостижимо. *Как я могла тут вырасти с любовью к добру? Непонятно, невероятно»,* — думала Вера Павловна, возвращаясь домой, и чувствовала себя отдыхающей после удушья» **.

Прежде Вера Павловна жила в «атмосфере хитрых слов, из которых каждое произносится по корыстному расчету». Теперь ей тяжело дышится в этой атмосфере. Почему же тяжело, если люди вообще ничем не руководствуются, кроме расчета? Ей тяжело потому, что расчет, которым руководятся люди, подобные ее родителям, есть нехороший, «*корыстный*» расчет, совершенно чуждый «*любви к добру*». Оказывается, стало быть, что, сведя все к расчету, Чернышевский принужден различать корыстный расчет, «чуждый любви к добру», от бескорыстного, пропитанного этой любовью ***. Иначе сказать: он возвращается к старому различению эгоизма от альтруизма. С ним случилось то же, что гораздо раньше произошло с Гольбахом и другими просветителями XVIII века, тоже сводившими все к расчету и тоже оказавшимися в логической необходимости противопоставить корыстному расчету бескорыстный.

---

* Сочинения, т. III, стр. 66 [1].

** Там же, стр. 108 [2].

*** В другом месте того же романа он обнаруживает большое недовольство людьми, «привыкшими понимать слово «интерес» в слишком узком смысле обыденного расчета» (Сочинения, т. IX, стр. 169) [3]. Теперь оказывается, стало быть, что, кроме обыденного расчета, есть какой-то необыденный. Чем же отличается он от обыденного? Тем, что люди, руководствующиеся им, принимают, между прочим, в соображение интересы своей «совести» (там же).

В цитированной уже выше статье Чернышевского о «Губернских очерках» мы находим следующую как нельзя более верную мысль: «привычки и правила, руководящие обществом, возникают и сохраняются вследствие каких-нибудь фактов, независимых от воли человека, им следующего: на них надобно смотреть непременно с исторической точки зрения» *. Но если привычки и правила, руководящие *обществом,* возникают независимо от воли его членов и если на них непременно надо смотреть с исторической, а не с рационалистической точки зрения, то совершенно так же надо смотреть и на привычки и правила, обусловливающие собою поступки отдельных лиц; они в свою очередь складываются независимо от воли, а следовательно, и от *расчета* человека, и человек нередко повинуется им, несмотря на то, что этим нарушаются его личные интересы.

Но в сущности Чернышевский именно это и хочет сказать, заставляя своих героев уверять нас в том, что они никогда никого не любили, кроме себя. Этому уверению его героев как будто противоречит то, что воображаемая невеста Лопухова — о которой он говорит с Верой Павловной, танцуя с ней в день ее рождения, — называет себя «любовью к людям» **. Но в действительности тут нет никакого противоречия: Чернышевский просто хочет сказать, что любовь к людям совершенно пропитала собою все нравственное существо его героев, вследствие чего поступки, подсказываемые этою любовью, составляют настоятельную потребность их «я». Стремление к бескорыстным действиям до такой степени свойственно Лопухову и Кирсанову, что, уступая этому стремлению, они не переживают никакой внутренней борьбы, а просто следуют своему хорошему инстинкту, вследствие чего и воображают себя людьми, думающими только о самих себе ***.

Их логическая ошибка причиняется именно тем, что они в своих поступках руководствуются не логикой, а чувством. И *у них* такая ошибка, можно сказать, неизбежна. Но, берясь за оценку их характера, мы вовсе не обязаны повторять их логическую ошибку. Мы должны понимать, что на самом деле эти люди вовсе не эгоисты и что тот, кто верит им и считает их эгоистами, смешивает такие понятия, без различения которых невозможно правильное учение о нравственности.

* Сочинения, т. III, стр. 214 [1].

** [Сочинения, т. IX, отд. 2,] стр. 70. «Первый сон Верочки» [2].

*** Обдумывая свое отношение к Вере Павловне, Кирсанов так рассуждает сам с собою: «Если я раз поступлю против всей своей человеческой натуры, я навсегда утрачу возможность спокойствия, возможность довольства собою, отравлю всю свою жизнь» (там же, стр. 151) [3]. Кирсанов забывает только прибавить, что, обладая такой «натурой», нет надобности прибегать к расчету выгоды; такая «натура» не нуждается в расчете для того, чтобы решиться на хороший поступок.

Тот процесс, благодаря которому индивидуальный альтруизм вырастает на почве общественного эгоизма, есть *диалектический процесс,* обыкновенно ускользающий от внимания «просветителей». Как люди, преследующие прежде всего практические цели, «просветители» вообще мало интересуются диалектикой явлений и понятий. Мы сейчас увидим это на примере нашего автора. Теперь же, расставаясь с его учением о нравственности, мы скажем, что, какова бы ни была логическая ошибка, свойственная этому учению, оно все-таки, как небо от земли, далеко от проповеди практического эгоизма. Этого не поняли люди, подобные Юркевичу, в то время, когда появилась статья «Антропологический принцип в философии». Этого не понимают теперь люди, подобные предтече наших «жвачных» любомудров — г. Волынскому. И, обнаруживая это свое непонимание, люди этого разряда сами выдают себе свидетельство об умственной бедности. Чернышевский имел полное право презирать их. И он широко пользовался этим правом. Насмешкам над этими людьми отведены целые страницы в его романе «Что делать?», и эти страницы можно без всякого преувеличения назвать блестящими. Нам хочется отчасти воспроизвести одну из них [1].

Характеризуя отношения Лопухова к Вере Павловне в период, предшествовавший его браку с ней, Чернышевский притворяется возмущенным его бессердечностью и говорит, что не только нельзя оправдать его, но нехорошо даже пытаться его оправдывать. Иные могли бы сказать в его извинение, что он был медик и занимался естественными науками, которые располагают, как известно, к материализму. На это Чернышевский иронически возражает, что к материализму ведут все науки, но что, к счастью, далеко не все ученые — материалисты. «Стало быть, — заключает он, — Лопухов не избавляется от своей вины. Сострадательные люди, не оправдывающие его, могли бы также сказать ему в извинение, что он не совершенно лишен некоторых похвальных признаков: сознательно и твердо решился отказаться от всяких житейских выгод и почетов для работы на пользу другим, находя, что наслаждение такою работою — лучшая выгода для него; на девушку, которая была так хороша, что он влюбился в нее, он смотрел таким чистым взглядом, каким не всякий брат глядит на сестру; но против этого извинения его материализму надобно сказать, что ведь вообще нет ни одного человека, который был бы совершенно без всяких признаков чего-нибудь хорошего, и что материалисты, каковы бы там они ни были, все-таки материалисты, а этим самым уж решено и доказано, что они люди низкие и безнравственные, которых извинять нельзя, потому что извинять их значило бы потворствовать материализму. Итак, не оправ-

дывая Лопухова, извинить его нельзя. А оправдать его тоже не годится, потому что любители прекрасных идей и защитники возвышенных стремлений, объявившие материалистов людьми низкими и безнравственными, в последнее время так отлично зарекомендовали себя со стороны ума, да и со стороны характера, в глазах всех порядочных людей, материалистов ли или нематериалистов, что защищать кого-нибудь от их порицаний стало делом излишним, а обращать внимание на их слова стало делом неприличным» *.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ДИАЛЕКТИКА

В своей работе [2] о Лессинге Чернышевский говорит:

«Если был когда-нибудь человек, по устройству головы предназначенный для философии, то это был Лессинг. А между тем он почти ни одного слова не написал собственно о философии, ни одной страницы не посвятил ей в своих сочинениях и в письмах своих говорит о ней почти только с Мендельсоном, ограничиваясь тем, что нужно было для Мендельсона. Неужели, в самом деле, лично он сам, наперекор своей натуре, так мало интересовался философией? Напротив: он выдал нам, чем была занята лично его мысль, когда чертил на даче Глейма классическое «hen kai pân» (единое и все), а между тем он толковал с Глеймом о его «Песнях Гренадера» и его поэме «Халладат». Дело в том, что не время еще было чистой философии стать средоточием немецкой умственной жизни, — и Лессинг молчал о философии: умы современников были готовы оживиться поэзиею, а не были еще готовы к философии, — и Лессинг писал драмы и толковал о поэзии» **.

Эти слова почти целиком могут быть применены к самому Чернышевскому. Правда, по своей способности проникать в самую глубину философских вопросов он уступал гениальному Белинскому ***. Но все-таки «по устройству головы» он имел много данных для чрезвычайно плодотворного занятия философией, и уж, конечно, он сделал бы в этом отношении несравненно больше, нежели удалось сделать, например, П. Лаврову. И он, как видно, любил философию: недаром он говорил, что в ком есть философский дух, кто раз заинтересовался философией, тому уже трудно оторваться от ее великих вопросов

* Сочинения, т. IX, стр. 63 [1].

** Сочинения, т. III, стр. 755 [3].

*** Чернышевский и сам писал, что Белинского «невозможно не признать гениальным» (Сочинения, т. II, стр. 122) [4].

для мелочных сравнительно с ними вопросов частных наук. Но при составлении программы своих занятий этот «эгоист», так часто говоривший о «расчете», руководился, подобно Лессингу, не своими личными вкусами, а потребностями общественного развития. Современное ему общество очень мало интересовалось философией и сравнительно много интересовалось литературой. Вот почему первые свои труды он посвятил главным образом литературным вопросам, пользуясь своими философскими выводами для освещения вопросов именно этого рода. Так возникли его «Эстетические отношения искусства к действительности». Потом на сцену выступили экономические и отчасти — особенно в том, что касалось иностранных дел, — политические вопросы. И Чернышевский перешел к этим вопросам, взявшим у него даже значительно больше времени, нежели вопросы литературные. Таким образом, он не имел фактической возможности посвящать много времени философии. Памятником его тогдашнего интереса к ней остается лишь статья «Антропологический принцип». Но и в других статьях его встречаются страницы, показывающие, что интерес к философии никогда не умирал в нем и что он хорошо знал этот предмет. В этом отношении с ним не могут выдержать даже отдаленного сравнения наши «передовые» писатели последующего времени — например, Н. Михайловский и его «субъективные» единомышленники *.

Н. Михайловский и его «субъективные» единомышленники умели только презрительно пожимать плечами по поводу «метафизики» Гегеля, о которой они, кстати сказать, не имели ровно никакого понятия. А Чернышевский знал Гегеля и очень высоко ценил его философию. Вот как он сам характеризует свое и своего учителя Фейербаха отношение к Гегелю:

«Часто мы видим, что продолжатели ученого труда восстают против своих предшественников, труды которых служили исходною точкою для их собственных трудов. Так Аристотель враждебно смотрел на Платона, так Сократ безгранично унижал софистов, продолжателем которых был. В новое время этому также найдется много примеров. Но бывают иногда отрадные случаи, что основатели новой системы понимают ясно

* Интерес к философии, столь сильный у нас в 30-х и 40-х годах, был совершенно ничтожен в течение четырех последующих десятилетий. Как относился к этому упадку сам Чернышевский, показывают следующие его строки: «Философские стремления теперь почти забыты нашею литературою и критикою. Мы не хотим решать, насколько литература и критика выиграли от этой забывчивости, — кажется, не выиграли ровно ничего, потеряв очень много» (Сочинения, т. II, стр. 183) [1]. Теперь у нас опять ожил интерес к философским вопросам. Но наша предыдущая и продолжительная беззаботность насчет философии привела к тому, что каждая философская ветошь встречается у нас как важная философская новость.

связь своих мнений с мыслями, которые находятся у их предшественников, и скромно называют себя их учениками; что, обнаруживая недостаточность понятий своих предшественников, они с тем вместе ясно выказывают, как много содействовали эти понятия развитию их собственной мысли. Таково было, например, отношение Спинозы к Декарту. К чести основателей современной науки должно сказать, что они с уважением и почти сыновнею любовью смотрят на своих предшественников, вполне признают величие их гения и благородный характер их учения, в котором показывают зародыши собственных воззрений. Г-н Чернышевский понимает это и следует примеру людей, мысли которых применяет к эстетическим вопросам» *.

После всего сказанного нами выше едва ли нужно повторять, что под основателями [2] современной науки наш автор понимает именно Фейербаха, примеру которого он и следует не только в смысле глубочайшего уважения к Гегелю, но также и в смысле критического отношения к его системе.

То, что он говорит о Гегеле в своих «Очерках Гоголевского периода русской литературы», не всегда правильно, но всегда умно и интересно [3]. Мы находим там, например, вот эти строки, очень напоминающие отзыв Энгельса о двойственном характере философии Гегеля: «Принципы Гегеля были чрезвычайно мощны и широки, выводы — узки и ничтожны: несмотря на всю колоссальность его гения, у великого мыслителя достало силы только на то, чтобы высказать общие идеи, но не достало уже силы неуклонно держаться этих оснований и логически развить из них все необходимые следствия... И не только выводов из своих принципов не мог он сделать, — самые принципы представлялись ему еще не во всей своей ясности, были для него туманны. Следующее поколение мыслителей сделало еще шаг вперед, и принципы, неопределенно, односторонне и отвлеченно высказанные Гегелем, явились во всей своей полноте и ясности: тогда колебаниям не осталось места, двойственность исчезла, фальшивые выводы, внесенные в науку непоследовательностью Гегеля в развитии основных положений, были отстранены, и содержание приведено в гармонию с основными истинами» **.

Тут можно только рукоплескать обнаруживаемой нашим автором ясности взглядов. Но когда он начинает характеризо-

* Мы берем эту выписку из критической статьи, посвященной Чернышевским в 5-м номере «Современника» за 1855 год своей собственной диссертации «Об эстетических отношениях» (Сочинения, т. X, ч. 2, стр. 175) [1].

** Сочинения, т. II, стр. 184—185 [4]. Ср. первую главу переведенной нами на русский язык и изданной г. Львовичем брошюры Энгельса «Людвиг Фейербах» [5].

вать диалектический метод Гегеля, то мы, к сожалению, остаемся неудовлетворенными. Вот что говорит он об этом методе:

«Сущность его состоит в том, что мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд: таким образом мыслитель был принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных противоположных мнений. Этим способом, вместо прежних односторонних понятий о предмете, мало-помалу являлось полное, всестороннее исследование и составлялось живое понятие о всех действительных качествах предмета. Объяснить действительность стало существенною обязанностью философского мышления. Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которою прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее в угодность собственным односторонним предубеждениям. Таким образом, добросовестное, неутомимое изыскание истины стало на место прежних произвольных толкований. Но в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени, — и потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление, — что эти общие, отвлеченные изречения неудовлетворительны: каждый предмет, каждое явление имеет свое собственное значение, и судить о нем должно по соображению той обстановки, среди которой оно существует; это правило выражалось формулою: отвлеченной истины нет; истина конкретна, т. е. определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит» *.

* Сочинения, т. II, стр. 187 [1]. В примечании цитируемой страницы Чернышевский поясняет свою мысль следующим примером: «Например: «благо или зло дождь?». Это вопрос отвлеченный; определительно отвечать на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред; надобно спрашивать определительно: «после того, как посев хлеба окончен, в продолжение пяти часов шел сильный дождь, — полезен ли был он для хлеба?» — только тут ответ ясен и имеет смысл: «этот дождь был очень полезен». — «Но в то же лето, когда настала пора уборки хлеба, целую неделю шел проливной дождь, — хорошо ли было это для хлеба?» Ответ также ясен и также справедлив: «нет, этот дождь был вреден». Точно так же решаются в Гегелевой философии все вопросы. «Пагубна или благотворна война?» — «Вообще нельзя отвечать на это решительным образом, надобно знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств времени и места. Для диких народов вред войны менее чувствителен, польза ощутительнее, для образованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда. Но, например, война 1812 года была спасительна для русского народа; Марафонская битва была благодетельнейшим событием в истории человечества. Таков смысл

Тут очень много справедливого. Диалектический метод в самом деле совершенно непримирим с «общими отвлеченными изречениями», опираясь на которые люди судили — да, к сожалению, до сих пор слишком часто судят — об явлениях, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым они возникают. И Чернышевский, разумеется, совершенно прав, видя в этом огромное преимущество диалектического метода. Но именно потому, что он прав в этом случае, надо признать, что он был неправ, видя *главную* отличительную черту диалектического метода во внимательном отношении к действительности, принуждающем мыслителя обозревать предмет со всех сторон. Внимательное отношение к действительности составляет, конечно, необходимое условие правильного мышления. Но диалектический метод характеризуется прежде всего и главным образом тем, что он в самом явлении, а не в тех или других симпатиях и антипатиях исследователя ищет сил, обусловливающих собой развитие этого явления. К этому сводятся все главные преимущества диалектического метода, а между ними и то, что он не оставляет места «для общих, отвлеченных изречений, опирающихся на субъективное пристрастие исследователя». Диалектический метод материалистичен по своей природе, и под его влиянием даже исследователи, стоящие на идеалистической точке зрения, в своих рассуждениях являются подчас несомненными материалистами. Лучшим примером этого может служить сам Гегель, который в своей философии истории нередко покидает почву идеализма и становится, как выразились бы теперь люди, злоупотребляющие терминологией Маркса, экономическим материалистом *. Но для того, чтобы понять во всей ее полноте материалистическую природу диалектического метода, нужно выяснить себе, что его сила заключается в сознании того, что ход идей определяется ходом вещей и что поэтому субъективная логика мыслителя должна следовать за объективной логикой исследуемого явления. Белинский чувствовал это, когда писал свою статью о Бородинской годовщине и когда — не умея «развить идею отрицания», т. е. не умея найти для этой идеи теоретическое оправдание в объективном ходе общественного развития, — резко осудил оторванные от действительности субъективные стремления. Но именно

аксиомы: «отвлеченной истины нет, истина конкретна»; — конкретно понятие о предмете тогда, когда он представляется со всеми качествами и особенностями и в той обстановке, среди которой существует, а не в отвлечении от этой обстановки и живых своих особенностей (как представляет его отвлеченное мышление, суждения которого поэтому не имеют смысла для действительной жизни)».

* Подробнее об этом см. в моей статье, посвященной философии истории Гегеля и напечатанной в книге «Критика наших критиков» [1].

потому, что Белинский не сумел «развить идею отрицания», он сам в своей критике общественных отношений руководствовался больше своими субъективными — разумеется, *вполне законными* и достойными всякого уважения, но все-таки лишь субъективными — пристрастиями. При этом у него не могла не исчезать из виду указанная нами главная особенность диалектического метода: сознание зависимости хода идей от хода вещей. Исчезала она из виду — и, как мы поясним ниже, по той же причине — и у Чернышевского, который в своей характеристике этого метода сводит его к канону — как выразился бы Кант, — заставляющему мыслителя обозревать предмет со всех сторон. Но сознание необходимости обозревать предмет со всех сторон еще далеко не равносильно сознанию того, что ход такого обозрения должен всецело определяться логикой развития самого предмета. А тот исследователь, который не вполне сознал эту вторую истину, легко может остаться идеалистом даже при самом внимательном отношении к предмету и при всестороннем его изучении. И мы увидим ниже, что Чернышевский, бывший в философии решительным материалистом, оставался идеалистом в своих исторических и общественных взглядах. В философии главное его внимание привлек к себе вопрос об отношении субъекта к объекту. И этот вопрос он решил в материалистическом смысле. Но его сравнительно мало интересовал вопрос о том методе, которого должен держаться исследователь, проникшийся материалистическим взглядом на отношение субъекта к объекту. Поэтому он, сознавая важное значение диалектического метода, все-таки далек был от понимания его главного преимущества [1] и потому не сумел подвергнуть его той переработке, какую он получил у Маркса и Энгельса [2]. Чернышевский был материалистом; но в его философских взглядах замечается лишь зародыш — правда, вполне жизнеспособный зародыш — материалистической диалектики. Это не удивит нас, если мы припомним, что таким же недостатком страдало и миросозерцание его учителя Фейербаха. Только Марксу и Энгельсу, тоже прошедшим в свое время школу Фейербаха, удалось устранить этот недостаток и сделать новейший материализм *учением диалектическим по преимуществу*.

Но скажем еще раз: в философских взглядах Чернышевского уже есть жизнеспособный зародыш материалистической диалектики. Об этом свидетельствуют, например, следующие красноречивые строки в статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения»: «Вечная смена форм, вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием или стремлением, вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же содержания, — кто понял этот великий, вечный, повсеместный закон, кто приучился приме-

нять его ко всякому явлению, — о, как спокойно призывает он шансы, которыми смущаются другие! Повторяя за поэтом:

Ich hab' mein' Sach' — auf Nichts gestellt,
Und mir gehört die ganze Welt... *,

он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и говорит: пусть будет, что будет, а будет все-таки на нашей улице праздник» **.

В своей статье о «Пиитике» Аристотеля [3] Чернышевский, отдав полную справедливость проницательности и многосторонности Аристотелева ума, делает следующую знаменательную оговорку: «Но, при всей своей гениальности, часто он впадает в мелочность от всегдашнего своего стремления найти глубокое философское объяснение не только главным явлениям, но и всем их подробностям. Это стремление, выразившееся в аксиоме одного новейшего философа, соперника Аристотелева: «все действительное разумно, и все разумное действительно», часто заставляло обоих мыслителей придавать важное значение мелочным фактам только потому, что эти факты хорошо подходили под их систему» ***. Новейший философ, Аристотелев соперник, есть не кто иной, как Гегель. Выходит, стало быть, что знаменитое положение Гегеля о разумности всего действительного и о действительности всего разумного представлялось Чернышевскому результатом «мелочности» великого германского мыслителя, заставлявшей его искать глубокого объяснения даже для незначительных частностей. Это лучше всего показывает, что Чернышевский был дальше от понимания Гегеля, нежели Белинский, инстинктом почуявший в Гегелевом учении о разумности всего действительного единственно возможную основу общественной науки.

В статье «Критика философских предубеждений» Чернышевский выступает блестящим диалектиком. Но и здесь его диалектика не вполне материалистична. И только потому, что она не была вполне материалистична, только потому, что Чернышевский считает здесь возможным рассматривать вопрос об общинном землевладении с точки зрения какого-то развития вообще, независимого от условий времени и места, — его блестящая статья была понята читателями как защита *русского* общинного землевладения, на которое наш автор в то время (конец 1858 года), по-видимому, уж совершенно махнул рукой. Но об этом ниже.

---

* [Поставил ставку я на «нет»,
И мне принадлежит весь свет] [1]

** Сочинения, т. IV, стр. 332—333 [2].

*** Сочинения, т. I, стр. 38 [4].

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ [1]

Мы сказали, что различные практические вопросы отвлекали Чернышевского от занятий философией. Попавши в ссылку, он уже не имел возможности посвящать свое время так называемым вопросам дня. Тут он, как видно, отдался теории, насколько можно было отдаться ей при неизбежных в его положении препятствиях [2] и поскольку его сил не привлекала к себе беллетристика. Очерки, приложенные им ко многим томам переведенной им «Всеобщей истории» Вебера, показывают, что он много занимался в Сибири историей и так называемым доисторическим бытом человечества. Но у нас есть прямые указания также на то, что он не переставал заниматься философией и следить за распространением философских взглядов в среде современных ученых. Такими указаниями являются: во-первых, статья «Характер человеческого знания», напечатанная в 1885 году в «Русских Ведомостях» №№ 63, 64, а во-вторых, уже знакомое нам предисловие к предполагавшемуся, но не состоявшемуся третьему изданию «Эстетических отношений искусства к действительности» [3].

Первую из названных статей Чернышевский начинает приведением к абсурду того «критического» взгляда, согласно которому мы знаем только наши представления о предметах, а не самые предметы, вследствие чего нам остается неизвестным, сходны ли с этими предметами наши представления о них. Он доказывает, что этот взгляд должен вести к отрицанию реальности человеческого организма. Мы имеем известное представление о руке; поэтому надо думать, что существует нечто, возбуждающее в нас это представление. Но сходно ли это неизвестное нечто с нашими представлениями о нем? Достоверный ответ на этот вопрос невозможен. Может быть сходно, а может быть нет. Если сходно, то нечто, представляющееся нам в виде руки, есть действительно рука, и в таком случае мы в самом деле имеем руки. Если же не сходно, то, собственно, рук у нас не существует: «вместо рук у нас есть какие-то группы чего-то, какие-то, не похожие на руки группы чего-то неведомого нам, но рук у нас нет; и достоверно об этих группах чего-то лишь то, что их две. То, что их две, достоверно потому, что для каждого из двух наших представлений, каждое из которых — особое представление об особой руке, должно быть особое основание: следовательно, существование двух групп чего-то не подлежит сомнению. Итак, есть у нас руки или нет, — вопрос неразрешимый; мы знаем только, что если у нас есть руки, то у нас, действительно, две руки, а если у нас нет рук, то число

групп чего-то, существующих у нас вместо рук, тоже не какое-нибудь иное число, а число два».

Чернышевский называет иллюзионизмом ту теорию познания, которая в логическом развитии должна привести к отрицанию реальности человеческого организма. Он называет ее новой формой средневековой схоластики и утверждает, что она рассказывает ту же самую фантастическую сказку, какую рассказывала некогда схоластика. С логической стороны происхождение этой теории объясняется у него — совершенно в духе Фейербаха — тем, что вместо человека, т. е. материального организма, берется отвлеченное существо, «Я», о котором нам ничего не известно, кроме того, что оно имеет представление, составляющее содержание нашего мышления. А если мы знаем об этом отвлеченном существе только то, что оно имеет представления, то ясно, что нам вовсе неизвестно, имеет ли оно реальный организм со свойственной ему реальною жизнью. Но защитники этой теории познания не решаются категорически сказать: мы не имеем организма. Поэтому они ограничиваются двусмысленным определением, в котором через схоластический туман проглядывает лишь логическая возможность усомниться в существовании человеческого организма. И этим характеризуется вся эта теория познания. Вся она сводится к уловкам схоластической силлогистики, к софизмам, к обозначению одним и тем же термином разных понятий. В кратком изложении Чернышевского учение иллюзионизма приобретает такой вид:

«Анализируя наши представления о предметах, кажущихся нам существующими вне нашей мысли, мы открываем, что в составе каждого из этих представлений находятся представления о пространстве, о времени, о материи. Анализируя представление о пространстве, мы находим, что понятие о пространстве противоречит самому себе. То же самое показывает нам анализ представлений о времени и о материи: каждое из них противоречит самому себе. Ничего противоречащего самому себе не может существовать на самом деле. Потому не может существовать ничего подобного нашим представлениям о внешних предметах. То, что представляется нам как внешний мир, — галлюцинация нашей мысли, ничего подобного этому призраку не существует вне нашей мысли и не может существовать. Нам кажется, что мы имеем организм, — мы ошибаемся, как теперь видим. Наше представление о существовании нашего организма — галлюцинация, ничего подобного которой нет на самом деле и не может быть».

Но если это так, если эта теория познания есть просто нелепая сказка о несообразной с действительностью умственной жизни небывалого существа, то естественно возникает вопрос: почему же многие естествоиспытатели склоняются в настоящее

время именно к этой теории? Это объясняется влиянием на них ученых, занимающихся специально философией. «Масса образованных людей, — говорит Чернышевский, — вообще расположена считать наиболее соответствующими научной истине те решения вопросов, какие приняты за истинные большинством специалистов по науке, в состав которой входит исследование этих вопросов. И натуралистам, как всем другим образованным людям, мудрено не поддаваться влиянию господствующих между специалистами по философии философских систем».

Большинство специалистов по философии держится иллюзионизма. Чернышевский не хочет винить их за это. Характер философии, господствующей в каждое данное время, определяется общим характером умственной и нравственной жизни передовых наций. Другими словами: специалисты по философии в свою очередь испытывают на себе влияние окружающей их общественной среды. Тут позволительно спросить себя, почему же умственная жизнь передовых наций складывается в настоящее время так, что в них под видом философии все более и более распространяется нелепая сказка иллюзионизма? На этот вопрос Чернышевский не дает в своей статье ответа. А так как он чрезвычайно интересен и так как найти хотя бы только *возможный* ответ на него нашего автора — значит содействовать определению миросозерцания этого последнего, то мы вернемся к статье «Антропологический принцип в философии».

В начале этой статьи Чернышевский, разбирая ту мысль Жюля Симона, что политические теории создаются теперь под влиянием общественной борьбы, говорит, что в этом нет ничего удивительного, так как не только политические теории, но даже философские системы всегда создавались под преобладающим влиянием общественных отношений, и что каждый философ был представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся между собою за преобладание над современным ему обществом. Наш автор не считает нужным указывать на мыслителей, занимавшихся преимущественно философией политики, так как их принадлежность к политическим партиям очевидна и без указания. Гоббс был абсолютист, Локк — виг, Мильтон — республиканец, Монтескьё — либерал в английском вкусе и т. д. Он обращается к философам, собственно так называемым, и утверждает, что они подчинялись тем же влияниям: «Кант, — говорит он, — принадлежал к той партии, которая хотела водворить в Германии свободу революционным путем, но гнушалась террористическими средствами. Фихте пошел несколькими шагами дальше: он не боится и террористических средств. Шеллинг — представитель партии, запуганной революцией, искавшей спокойствия в средневековых учреждениях, желавшей восстановить феодальное государство,

разрушенное в Германии Наполеоном I и прусскими патриотами, оратором которых был Фихте. Гегель — умеренный либерал, чрезвычайно консервативный в своих выводах, но принимающий для борьбы против крайней реакции революционные принципы в надежде не допустить до развития революционный дух, служащий ему орудием к ниспровержению слишком ветхой старины. Мы говорим не то одно, чтобы эти люди держались таких убеждений, как частные люди, — это было бы еще не очень важно, но их философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем. Говорить, будто бы не было и прежде всего того же, что теперь, говорить, будто бы только теперь философы стали писать свои системы под влиянием политических убеждений, — это чрезвычайная наивность...» *.

Оставляя в стороне содержащиеся здесь характеристики отдельных философов, к тому, что сказал здесь Чернышевский, можно сделать только одно добавление: сама политическая борьба, определявшая собою направление философской мысли, велась не в силу каких-нибудь отвлеченных принципов, а под непосредственным влиянием нужд и стремлений тех слоев общества, к которым принадлежали боровшиеся между собой политические партии. Но этого не стал бы оспаривать и Чернышевский. Ниже, излагая его исторические взгляды, мы убедимся, что он умел — по крайней мере, временами — давать себе очень ясный отчет о влиянии классового положения мыслителей на ход их мыслей. А ввиду этого мы имеем право предположить, что и нынешнее состояние философии приводилось им в связь с классовым положением людей, специально ею занимающихся. Иначе сказать, очень вероятно, что Чернышевский ставил широкое теперь распространение философского «иллюзионизма» в причинную связь с упадком того общественного класса, идеологами которого служат, в огромнейшем большинстве своем, философы нашего времени. А если это так, то выходит, что наш автор несравненно лучше понимал зависимость философской мысли от общественной жизни, нежели те наши нынешние «критики Маркса», которые не могут сообразить,

* Сочинения, т. VI, стр. 180 [1]. В статье «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь», о которой у нас речь будет ниже, Чернышевский даже развитие естественнонаучных теорий ставит в связь с развитием общественных отношений и стремлений. В последние годы XVIII и в первые десятилетия XIX века большинство естествоиспытателей отворачивались от учения об изменяемости видов, «подчиняясь духу времени, стремившемуся восстановить предания». Главный тогдашний противник теории трансформизма, Кювье, «был в естествознании представителем того направления мыслей, которому желал дать господство в умственной жизни Наполеон и которое получило владычество над нею при Реставрации» (Сочинения, т. X, ч. 2, стр. 23 и 21) [2].

что идеология пролетариата никак не может срастись в одно органическое целое с философскими доктринами, заимствуемыми из идеологии падающей буржуазии. То правда, что эти «критики» сами принадлежат к числу «иллюзионистов».

Как хорошо понимал Чернышевский нынешнее печальное положение философской мысли, видно из его предисловия к 3-му изданию «Эстетических отношений». Там он, высказав сожаление о том, что большинство нынешних натуралистов повторяет «метафизическую теорию Канта о субъективности нашего знания», прибавляет:

«Когда натуралисты перестанут говорить этот и тому подобный метафизический вздор, они сделаются способными вырабатывать и, вероятно, выработают на основании естествознания систему понятий более точных и полных, чем те, которые изложены Фейербахом. А пока лучшим изложением научных понятий о так называемых основных вопросах человеческой любознательности остается то, которое сделано Фейербахом» *.

Но когда же натуралисты перестанут говорить метафизический вздор? Очевидно, только тогда, когда изменятся те общественные отношения, под влиянием которых «образованные классы» боятся материализма, как философской истины, совершенно несовместимой с их общественными интересами. Чернышевский и сам сознавал, что это будет еще не так скоро. Вот почему предпочитал он «пока» оставаться на точке зрения Фейербаха. И по-своему он был совершенно прав: по сравнению с разными Махами, Авенариусами, Клиффордами и Бергсонами Фейербах до сих пор остается представителем самой глубокой и наиболее современной — т. е. наиболее соответствующей нынешнему состоянию естествознания — философской теории. Правда, философия Фейербаха была подвергнута дальнейшей и в высшей степени плодотворной переработке Марксом и Энгельсом. С этой стороны она в некоторых своих частях является уже «превзойденною ступенью» философского развития. Но эта сторона дела осталась, как это по всему видно, неизвестной нашему автору. Винить за это нужно, разумеется, не его, а те условия, в которых он прожил вторую половину своей жизни.

Однако вернемся к статье «О характере человеческого знания». Чернышевский спрашивает в ней: «но что же такое эта система превращения наших знаний о природе в мираж посредством миражей схоластической силлогистики? Неужели же приверженцы иллюзионизма считают его системой серьезных мыслей?». На это он отвечает, что, конечно, есть между иллюзионистами и такие чудаки, которые берут всерьез свою будто

* Сочинения, т. X, ч. 2, отд. 1, стр. 196 [1].

бы философскую систему. Но в большинстве случаев они и сами не придают ей никакого серьезного значения. Их отношение к своей собственной философской системе могло бы быть выражено приблизительно такими словами: «философская истина — истина собственно философская, а не какая-нибудь другая. С житейской точки зрения она не истина, а с научной точки зрения тоже не истина. То есть им нравится фантазировать. Но они помнят, что они фантазируют» *.

Это как нельзя более метко. Серьезные представители «иллюзионизма» в самом деле так относятся к своим собственным философским воззрениям. Но «чудаков», принимающих эти воззрения всерьез, существует на свете несравненно больше, нежели думал Чернышевский. Кто же скажет, что наши Богдановы, Валентиновы, Юшкевичи, Берманы и tutti frutti ** несерьезно относятся к тому, что представляется им самой передовой философской истиной наших дней? Мы думаем, что они вполне искренно верят в то, что говорят. А как много их теперь в России, да и не в одной России! Нет, чудаков на свете гораздо больше, нежели думал даже Чернышевский, преувеличивавший, как мы знаем, роль расчета в поведении людей.

Расставаясь с «иллюзионистами», Чернышевский формулирует свой собственный взгляд на характер человеческого знания: «Наши знания — человеческие знания. Познавательные силы человека ограничены, как и все его силы. В этом смысле слова характер нашего знания обусловливается характером наших познавательных сил. Будь органы наших чувств более восприимчивы и наш разум более силен, мы знали бы больше, нежели знаем теперь, и, разумеется, некоторые из нынешних наших знаний видоизменились бы, если бы наши знания были обширнее нынешних. Расширение знаний вообще сопровождается видоизменением некоторых из прежнего запаса их. История наук говорит, что очень многие из прежних знаний видоизменились благодаря тому, что теперь мы знаем больше, чем знали прежде» ***.

Но хотя очень многие из наших прежних знаний видоизменились, их существенный характер остался неизменным, поскольку они были, собственно, *фактическими* знаниями. Для примера Чернышевский берет расширение знаний о воде.

Теперь мы знаем благодаря термометру, при какой именно температуре вода закипает и при какой она замерзает. Прежде люди не знали этого. Запас знаний о воде расширился. Но

* Там же, отд. 4, стр. 10 [1].
** [всякая всячина]
*** Там же, стр. 10—11 [2].

в каком смысле изменился он? Лишь в том, что получил такую определенность, какая прежде была ему несвойственна, так как прежде люди знали только то, что вода закипает, нагревшись до некоторой степени, и замерзает при охлаждении. Далее химия открыла нам, что вода есть соединение кислорода с водородом, прежде это было неизвестно людям. Но вода не перестала быть водой оттого, что мы узнали ее химический состав. И все те знания о воде, которые были у людей до открытия ее химического состава, остались верны и после этого открытия. «Видоизменение их ограничилось тем, что к ним присоединилось определение состава воды», — говорит Чернышевский.

Мы — существа, способные ошибаться. Поэтому каждый из нас — как в житейских делах, так и в науке — должен внимательно всматриваться и вдумываться в явления, чтоб не наделать ошибок. Осмотрительность необходима. Но Чернышевский настаивает на том, что и осмотрительности должен быть положен предел. «Разум подвергает проверке все, — говорит он. — Но у каждого образованного человека есть множество знаний, которые уже проверены его разумом и оказались по проверке не могущими подлежать для него ни малейшему сомнению, пока он останется человеком здравого рассудка» *.

Закончим изложение этой статьи указанием на следующее замечание, мимоходом сделанное в ней нашим автором: «схоластика — это по преимуществу диалектика» **. Это замечание очень характерно для мыслителя, в философских взглядах которого был, как мы уже сказали, недостаточно разработан диалектический элемент. Можно подумать, что, по мнению Чернышевского, — и вопреки тому, что говорил он о диалектическом методе в «Очерках Гоголевского периода русской литературы», — диалектика сводилась к простой игре логическими понятиями. Но если схоластика в известном смысле — т. е. в смысле анализа понятий — и являлась диалектикой, то не нужно забывать, что эта диалектика была «служанкой теологии» и именно потому не могла и не хотела звать пред свое судилище те основные положения, на почве которых она совершала свои логические операции. Ее зависимое положение нередко превращало ее в софистику; но по своему существу — как справедливо заметил еще Гегель и как думал, по-видимому, сам Чернышевский, когда писал свои «Очерки Гоголевского периода», — она не имеет с софистикой ничего общего, так как она показывает недостаточность тех отвлеченных рассудочных определе-

* Там же, стр. 15.
** Там же, стр. 9.

ний, на неизбежной односторонности которых опирается всякая софистика *. Мы сейчас увидим, как невыгодно отразилось на некоторых суждениях самого Чернышевского это недостаточно вдумчивое отношение его к природе диалектики.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

БЛАГОТВОРНОСТЬ БОРЬБЫ ЗА ЖИЗНЬ

Как уже сказано выше, Чернышевский по возвращении своем из ссылки писал, между прочим, и по вопросу о трансформизме. Его статья, подписанная: «Старый трансформист» и озаглавленная: «*Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь (Предисловие к некоторым трактатам по ботанике, зоологии и наукам о человеческой жизни)*» [2], не имеет прямого отношения к тому, что называлось у него собственно философией, т. е. к «теории решения самых общих вопросов науки, обыкновенно называемых метафизическими, например вопросов об отношениях духа к материи, о свободе человеческой воли, о бессмертии души и т. д.» **. Автор посвятил ее критике теории Дарвина, и мы могли бы предоставить специалистам по биологии судить о том, насколько удачна эта критика. Но в статье, посвященной тому, что можно назвать философией биологии, не могут не встретиться некоторые общие философские понятия, имеющие большой интерес не для одних биологов. Такие понятия мы находим и в названной статье Чернышевского, а потому мы считаем нелишним ее рассмотрение в этом отделе.

---

* Ср. Гегеля: «Die Dialektik ist nun ferner nicht mit der blossen Sophistik zu verwechseln, deren Wesen gerade darin besteht, einseitige und abstrakte Bestimmungen in ihrer Isolierung für sich geltend zu machen, je nachdem solches das jedesmalige Interesse des Individuums und seiner besondern Lage mit sich bringt... Die Dialektik ist von solchem Thun wesentlich verschieden, denn diese geht gerade darauf aus, die Dinge an und für sich zu betrachten, wobei sich sodann die Endlichkeit der einseitigen Verstandesbestimmungen ergiebt» (*G. Hegel,* «Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften», 1-er Theil, Berlin 1843, S. 153). [«Не следует, далее, смешивать диалектику с софистикой, сущность которой как раз и состоит в том, что она выдвигает те или другие односторонние и абстрактные определения в их изолированности, смотря по тому, какого из этих определений требуют в данный момент интересы индивидуума и то положение, в котором он находится... Диалектика существенно отлична от такого способа рассуждения, ибо она именно и ставит себе целью рассматривать вещи в себе и для себя, т. е. согласно их собственной природе, причем тогда обнаруживается конечность односторонних определений рассудка» (*Г. Гегель,* Энциклопедия философских наук, ч. I, Берлин 1843, стр. 153).] [1]

** Сочинения, т. VI, стр. 193, примечание [3].

Чернышевский называет теорию Дарвина — теориею благотворности борьбы за жизнь и относится к ней с самым резким отрицанием [1]. Это резко отрицательное отношение сказывается уже в самом начале статьи. Чернышевский утверждает там, что названная теория имеет своим основанием «блистательную в логическом отношении мысль»: вредное полезно. Так как мысль эта, по мнению Чернышевского, совершенно нелепа, то нелепы и выводы, из нее вытекающие. «Теория благотворности борьбы за жизнь, — говорит наш автор, — противоречит всем фактам каждого отдела науки, к которому прилагается, и, в частности, с особенною резкостью противоречит всем фактам тех отделов ботаники и зоологии, для которых была придумана и из которых расползлась по наукам о человеческой жизни.

Она противоречит смыслу всех разумных житейских трудов человека и, в частности, с особенною резкостью противоречит смыслу всех фактов сельского хозяйства, начиная с первых забот дикарей об охранении прирученных ими животных от страданий голода и других бедствий и с первых усилий их разрыхлять заостренными палками почву для посева» *.

Основываясь на некоторых словах Дарвина, Чернышевский утверждает, что теория борьбы за жизнь заимствована была знаменитым английским натуралистом у Мальтуса, написавшего свою пресловутую книгу «О народонаселении» в угоду высшим классам английского общества. Однако и Мальтуса плохо понял Дарвин. Мальтус в своей книге старался доказать, что бедствия людей составляют следствие их чрезмерного размножения. Но Мальтусу и в голову не приходило называть происходящие от излишнего размножения бедствия благотворными. Он считал их бедствиями и только бедствиями. Дарвин же, применивши идею Мальтуса к биологии, вообразил, что бедствия, причиняемые в среде живых существ их взаимной борьбой за существование, становятся для них источником блага, т. е. прогресса, состоящего в усовершенствовании их организации. Дарвин вообще держался того образа мыслей, согласно которому бедствия считаются благами или, по крайней мере, источниками благ. «Такой способ понимать вещи называется оптимистическим, — говорит Чернышевский. — Держась этого образа мыслей и не предполагая возможности иного, Дарвин был убежден, что Мальтус думает о бедствиях подобно ему, считает их или благами, или источниками благ. Те бедствия, о которых говорит Мальтус, — голод, болезни и производимые голодом драки из-за пищи, убийства, совершаемые для утоления голода, смерть от голода — сами по себе, очевидно, не блага для подвергающихся им; а так как они,

* Сочинения, т. X, ч. 2, [отдел 4, стр. 16] [2].

очевидно, не блага, то из этого, по понятиям Дарвина, следовало, что их должно считать источниками благ. Таким образом, у него вышло, что бедствия, о которых говорит Мальтус, должны производить хорошие результаты, а коренная причина этих бедствий, чрезмерность размножения, должна считаться коренною причиною всего хорошего в истории органических существ, источником совершенствования организации, тою силой, которая произвела из одноклеточных организмов такие растения, как роза, липа и дуб, таких животных, как ласточка, лебедь и орел, лев, слон и горилла. На основании такой удачной догадки относительно смысла заимствованной у Мальтуса мысли построилась в фантазии Дарвина теория благотворности борьбы за жизнь» *. Дарвин сделал громадную научную ошибку, вообразив, что природа действует подобно хозяину, который сохраняет животных, имеющих нужные ему особенности, а уничтожает особей, такими способностями не обладающих. На самом деле хозяин поступает совсем не так, как поступает природа: «если, например, он бьет обухом по лбу тех коров, которых убивает, он не наносит таких же ударов обуха по лбу тем коровам, которых сохраняет». А что мы видим в природе? «Самая обыкновенная форма естественного отбора — вымирание излишних существ от недостатка пищи; одни ли умирающие существа подвергаются в этом случае голоду? Нет, все. Так ли поступает хозяин со своим стадом? Улучшалось ли бы его стадо, если б он сдерживал размножение, подвергая всех животных голоду? Переживающие животные слабели бы, портились бы, стадо ухудшалось бы» **.

Чернышевский называет Дарвинову теорию борьбы за существование теорией, достойной Торквемады, и говорит, что когда грубые, невежественные, злые мальчики мучат мышонка, они не думают, что действуют на пользу мышам, а Дарвин учит их думать это: «Изволите видеть: мыши бегают от этих мальчиков; благодаря тому в мышах развивается быстрота и ловкость движений, развиваются мускулы, развивается энергия дыхания, совершенствуется вся организация. Да, злые мальчики, кошки, коршуны, совы — благодетели и благодетельницы мышей. Полно, так ли?» ***. Чернышевский говорит, что это совсем не так: от чрезмерного беганья организм мышей слабеет, как слабеет он от того, что мыши стараются избегнуть преследований своих врагов, прячась в душных норах. И такая порча организма, возрастающая из поколения в поколение, ведет к *вырождению*. А так как вырождение есть несомненное зло, то естественный отбор также зло, а вовсе не благо. Насколько

* Там же, стр. 43 [1].
** Там же, стр. 35 [2].
*** Там же, стр. 43—44 [3].

видоизменяются организмы действием естественного отбора, настолько они вырождаются. Если бы этот отбор имел преобладающее влияние в истории органических существ, то не могло бы быть никакого повышения организации, а так как это повышение все-таки имело место, то ясно, что была какая-то сила или комбинация каких-то сил, противоположная действию естественного отбора и перевешивавшая его. Некоторые из этих сил были открыты трансформистами, предшествовавшими Дарвину. Со временем будут открыты еще другие. Но каковы бы ни были сделанные или предстоящие открытия на этот счет, Чернышевский не сомневается в том, что силами, повышающими строение органического существа, могут быть только такие силы, которые содействуют «хорошему ходу функций его организма и, если это существо имеет способность ощущения, возбуждают в нем своим действием ощущение физического и нравственного благосостояния, довольства жизнью и радости» *. Таков окончательный вывод нашего автора. Дарвин замечателен был, по его мнению как «монографист», а не как теоретик трансформизма. Из теоретиков же трансформизма Чернышевский ставил на первое место, по-видимому, Ламарка, сочинение которого «Philosophie zoologique» ** он называет гениальным трудом ***. В числе упреков, выдвигаемых Чернышевским против Дарвина, немалую роль играет упрек в том, что Дарвин не знал учений предшествовавших ему трансформистов, т. е., стало быть, между прочим и того же Ламарка ****.

Тут мы вынуждены сделать прежде всего фактическую поправку. Дарвин говорит с большой похвалой о сочинениях Ламарка в исторической заметке, предшествующей введению в его книгу о происхождении видов. Там же говорит он и о других своих предшественниках. Мы не имеем под рукой первого издания этой книги и потому не можем проверить, была ли уже в этом издании названная заметка. Очень возможно, что ее не было и что ее отсутствием [4] объясняется упрек, делаемый Чернышевским Дарвину за игнорирование им трудов прежних трансформистов. Но, по нашему мнению, отсутствие этой заметки в первом издании еще не доказывало бы, что до выхода этого издания, т. е. до ноября 1859 года, Дарвину оставались неизвестными труды Ламарка и хотя бы некоторых других прежних трансформистов. Правда, в своей заметке Дарвин ссылается на «превосходную историю Изидора Жоффруа Сент-Илера» («Histoire naturelle générale») *****, датированную 1859 годом. Но

* Там же, стр. 46 [1].
** [«Философия зоологии»]
*** Там же, стр. 22 [2].
**** Там же, стр. 41 [3].
***** [«Всеобщая естественная история»]

он не говорит, что ему только из нее стали известны идеи Ламарка: он говорит только то, что из нее заимствовал он сведения о времени выхода первого сочинения Ламарка. Это, конечно, не одно и то же: можно хорошо знать идеи данного писателя, не будучи осведомленным насчет того, когда именно вышло первое его сочинение. Но допустим, что, работая над своей книгой, Дарвин оставался в полной неизвестности по части своих предшественников. Хорошего тут, разумеется, не было бы ничего; но нужно быть справедливым: в подобном грехе, к сожалению, повинны очень многие писатели. Так, например, сам Фейербах, которого так высоко ставил Чернышевский, плохо знал историю материализма, т. е. того самого учения, на почву которого он перешел, разорвав с абсолютным идеализмом Гегеля: он насмехался над «трюфельным паштетом Ламеттри» [1] в том самом сочинении, в котором его материалистические взгляды приняли вид, наиболее близкий к французскому материализму. А меж тем на этом основании Чернышевский едва ли решился бы обвинить своего любимого учителя в легкомыслии. И он был бы прав, потому что как ни достойны сожаления подобные пробелы в знаниях людей, занимающихся широкими теоретическими вопросами, но наличность их все-таки еще не исключает возможности серьезного отношения к делу. Таким отношением отличался Фейербах, и такое же отношение было в не меньшей мере свойственно Дарвину, к которому так несправедлив Чернышевский.

У Чернышевского вопрос о значении естественного отбора в истории развития животных и растительных видов принимает такую формулировку, какой он вовсе не имел у Дарвина. Дарвину и в голову не приходило спрашивать себя, должен или не должен быть признан *«злом»* несомненный естественноисторический факт борьбы за жизнь между живыми существами. И, вероятно, так же мало спрашивал он себя, следует или не следует признавать *«благом»* последствия такой борьбы. Для него вопрос заключался в том, содействует или препятствует естественный отбор приспособлению животных к условиям их существования. А на вопрос, формулированный таким образом, можно было дать только утвердительный ответ: да, естественный отбор необходимо должен содействовать указанному приспособлению. Приводимый Чернышевским пример с мышонком очень мало убедителен. Разумеется, вполне возможны и даже неизбежны такие случаи, когда данные естественные условия вообще совершенно неблагоприятны для существования данного вида. Тогда начинается то, что Чернышевский назвал вырождением и что, пожалуй, вернее было бы назвать исчезновением этого вида. Дарвин совсем не отрицает возможности и неизбежности таких случаев. Но когда естественные условия

недостаточно неблагоприятны, чтобы повести к исчезновению всего вида, но вместе с тем невыносимы для особей, к ним менее приспособленных, тогда выживают, очевидно, только более приспособленные особи. Будет ли процесс такого приспособления процессом усовершенствования данного вида, т. е. усложнением организации принадлежащих к нему особей? Дарвин не говорит ни «да», ни «нет»: для него тут все зависит от обстоятельств. Процесс приспособления паразитов к специальным условиям их существования чаще всего бывает процессом «понижения» организации, т. е. ее *упрощения*. До сих пор условия жизни на земле благоприятствовали появлению видов, отличавшихся все более и более «совершенною» организациею. Но это бесспорное обстоятельство не изменяет собой существенного содержания Дарвиновой теории. Она по существу осталась бы той же, если бы условия жизни — скажем, например, вследствие все большего и большего охлаждения нашей планеты — оказались бы неблагоприятными для сложных организмов. Тогда процесс приспособления к среде был бы процессом упрощения организации живых существ. И только. Понятие: «организм, наиболее приспособленный к среде», вовсе не покрывается у Дарвина понятием: «организм наиболее сложный».

Что Дарвин преувеличил роль естественного отбора в развитии видов, это теперь едва ли может подлежать сомнению. Но, возражая английскому биологу, наш автор все-таки представлял себе эту роль гораздо проще, нежели она представлялась самому Дарвину. Чернышевский говорит, что самой обыкновенной формой естественного отбора является вымирание излишних существ от недостатка пищи. Но Дарвин так не думал. Он говорил: «само собой разумеется, что количество пищи определяет собой крайний предел размножения всякого вида, но среднее число индивидуумов данного вида чаще всего определяется не трудностью добывания пищи, а легкостью, с которой эти индивидуумы становятся добычей других животных» *. Если бы Чернышевский обратил внимание на эти слова Дарвина, то значение естественного отбора, вероятно, представилось бы ему в другом виде. В самом деле, вообразим, что между особями данного вида, подвергающимися постоянным нападениям хищников, стали появляться такие, которые по своей окраске менее заметны для неприятельского взора. У этих особей будет больше шансов избежать когтей хищников. Они будут выживать, между тем как особи, отличающиеся более заметной окраской, будут гибнуть. Наследственность передаст благоприятный признак потомкам сохранившихся особей, и

* «L'origine des espèces. Trad. par E. Barbier, p. 74. [«Происхождение видов». Пер. Е. Барбье, стр. 74.] [1]

таким образом придет такое время, когда все особи данного вида получат окраску, благоприятную для их сохранения. Этот случай не похож на приводимый Чернышевским пример с мышонком: тут отбор не «бьет обухом по голове» всех особей вида, а между тем случаям, подобным указанному нами, Дарвин отводит весьма широкое место в своей теории. Возьмем другой пример. Уоллэс говорит, что на острове Мадейре многие насекомые совсем или почти совсем утратили крылья, между тем как насекомые того же вида, живущие на материке Европы, до сих пор обладают совершенно развитыми крыльями. Уоллэс объясняет это явление тем, что Мадейра, как и многие океанические острова умеренного пояса, часто испытывает на себе действие внезапных ураганов, вследствие которых насекомые, обладающие крыльями и, конечно, пользующиеся ими для летания, подвергались опасности быть унесенными в море. «Таким образом, — говорит Уоллэс, — из года в год особи, обладавшие короткими крыльями или реже пользовавшиеся ими для летания, оказывались сохраненными, и таким образом возник вид, лишенный крыльев или обладающий лишь несовершенными крыльями» *. Тут естественный отбор опять не «бьет обухом по голове» всех особей данного вида, а между тем и тут он содействует их приспособлению к естественным условиям их существования. Таких примеров можно было бы привести великое множество. И если б Чернышевский внимательно отнесся к ним, то он вряд ли решился бы отстаивать ту свою мысль, что Дарвинова теория борьбы за жизнь «противоречит всем фактам тех отделов ботаники и зоологии, для которых была придумана и из которых расползлась по наукам о человеческой жизни».

Совершенно верно то, что «теория борьбы за существование расползлась по наукам о человеческой жизни» далеко не к пользе этих наук. И позволительно думать, что явное раздражение Чернышевского против Дарвина, сказавшееся, между прочим, в замечании о том, что Дарвиновская теория достойна Торквемады, объясняется больше всего вредным влиянием так называемого дарвинизма на развитие общественной науки [1]. Но нельзя делать Дарвина ответственным за промахи дарвинистов. Его теория борьбы за жизнь вовсе не может служить оправданием той «войны всех против всех», которую проповедовали некоторые дарвинисты-социологи. Дарвин находил, что развитие общественных инстинктов «крайне полезно» для сохранения вида в его борьбе за существование. Примените эту его мысль к общественным отношениям, и вы получите нечто прямо противо-

* «Le Darwinisme», par *Alfred Russel Wallace*, Paris 1891, p. 138—139. [«Дарвинизм» *Альфреда Рассела Уоллэса,* Париж 1891, стр. 138—139.]

положное тому крайнему индивидуализму, который составляет неизбежный логический вывод из учений социологов-дарвинистов. Конечно, сам Дарвин плохо разбирался в общественных вопросах. Этим, как заметил еще Энгельс в своем споре с Дюрингом *, объясняется тот факт, что он без всякой критики принял учение Мальтуса о народонаселении. Но его огромный ум предохранял его от тех крайностей, в которые впадали многие из его учеников. Правда и то, что Дарвина можно, пожалуй, принять за обыкновенного манчестерца, когда он, рассуждая о жизни человеческих обществ, говорит: «Для человека должна существовать открытая конкуренция, и закон и обычаи не должны мешать наиболее способным иметь решительный успех в жизни и оставлять наибольшее число потомков» **. И по всему видно, что он в самом деле склонялся к манчестерству [3], которое, кажется, представлялось ему самой передовой общественной теорией. Это было заблуждение; но это заблуждение ничего не говорит против того метода, которым пользовался Дарвин, изучая явления органической жизни. И напрасно стали бы ссылаться на его слова о конкуренции сторонники социальной войны всех против всех. Есть конкуренция и конкуренция. Сенсимонисты тоже стояли за конкуренцию, но именно ради конкуренции они требовали коренного преобразования отношений собственности.

Мы не считаем нужным вдаваться в дальнейший разбор взгляда Чернышевского на теорию Дарвина. После того, что уже сказано нами по поводу этого взгляда, нам достаточно будет обратить внимание читателя на ироническое отношение Чернышевского к Дарвинову оптимизму. Он приписывает Дарвину убеждение в том, что всякое зло непременно ведет ко благу. Этому оптимизму он противопоставляет ту свою мысль, что вредное всегда вредно и никогда не полезно. Мы еще встретимся с этою мыслью, рассматривая исторические взгляды Чернышевского. Тогда мы дольше остановимся на ней и постараемся, между прочим, решить вопрос о том, в какой мере применима она с тем — как мы видели выше, очень одобряемым Чернышевским — положением Гегеля, что *отвлеченной истины нет, что истина всегда конкретна и что все зависит от обстоятельств времени и места.* Здесь же мы пока скажем, что сам Чернышевский не всегда рассуждал по формуле: «вредное всегда вредно; только полезное полезно». Во втором сне Веры Павловны он заставляет ее мать Марью Алексеевну говорить: «Слушай же ты, Верка, что я скажу. Ты ученая — на мои воров-

* «Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft» [«Переворот в науке, произведенный Евгением Дюрингом»], 5-е издание, стр. 60 [1].
** Собрание сочинений, т. II. Пер. Сеченова, Спб. 1899, стр. 420 [2].

ские деньги учена. Ты о добром думаешь, а как бы я не злая была, так бы ты и не знала, что̀ такое добром называется. Понимаешь?» * Из этих слов выходит, что и злое порождает иногда благие последствия. А ведь Чернышевский в данном случае вполне согласен с Марьей Алексеевной. Продолжая свое объяснение с дочерью, Марья Алексеевна повторяет: «Видишь, у нее (Марья Алексеевна говорит здесь о себе в третьем лице. — *Г. П.*) были дурные мысли, но из них выходит польза человеку: ведь тебе вышла польза? А у других злых не так» **. Здесь устами Марьи Алексеевны опять говорит сам Чернышевский. И если то, что он говорит, справедливо — а оно на самом деле справедливо, — то и здесь выходит, что злое не всегда имеет злые последствия. А это противоречит тому отвлеченному положению, во имя которого Чернышевский критиковал Дарвѝна. Впрочем, мы считаем нелишним повторить, что у самого Дарвина вопрос об естественном отборе никогда не переносился на почву соображений о зле и о добре. И это не было, конечно, ошибкой Дарвина.

Но каковы бы ни были в этом частном случае некоторые промахи Чернышевского и каковы бы ни были также некоторые общие недостатки, свойственные его методу, он все-таки был одним из самых замечательных мыслителей, выступавших в нашей литературе. Слабой стороной его философских взглядов была та недостаточная разработанность в них диалектического элемента, который составлял также слабую сторону системы его учителя Фейербаха. Чернышевскому не пришлось ознакомиться с философией Маркса и Энгельса, выросшей из Фейербаховской философии. А так как философия Маркса и Энгельса представляла собою, несомненно, большой шаг вперед сравнительно с системой Фейербаха, то можно сказать, что последнее слово философской мысли осталось, к сожалению, неизвестным нашему автору. Но в то время оно было и на Западе известно лишь немногим. А если не сравнивать взглядов Чернышевского со взглядами Маркса и Энгельса, если сопоставлять с ними лишь взгляды, например, П. Л. Лаврова и других более или менее прогрессивных его современников, то нужно будет признать, что он далеко опередил их и что, когда он сошел со сцены, в нашей литературе начался в философском — да, к сожалению, и не только в философском — отношении *период упадка*. Одним из проявлений этого упадка явился впоследствии пресловутый субъективизм Николая Михайловского, которого многие до сих пор пресерьезно ставят на одну доску с Чернышевским. На самом деле Михайловский, особенно в философии,

* Сочинения, т. IX, стр. 113 [1].
** Там же, стр. 114.

был настоящим карликом по сравнению с автором статьи «Антропологический принцип».

Чернышевского знают у нас как публициста, отчасти как историка литературы, т. е. как автора «Очерков Гоголевского периода» и статей о Лессинге, но его совсем не знают как философа. Это объясняется, во-первых, тем, что он мало писал о философии, а во-вторых, его манерой изложения своих мыслей. Он писал так просто и ясно, что некоторые его читатели наивно отказывались именно по этой причине признать за философию то, что он излагал в статье «Антропологический принцип». Это не предположение, а факт, хотя и смешной факт: такие читатели были в то время. И вот доказательство. Когда появился в 4-й книжке «Современника» за 1861 год разбор философии Лаврова, сделанный Антоновичем [1], «Отечественные Записки» пренебрежительно заметили: «Никакого умственного напряжения не надо, чтобы понять все, что говорит г. Антонович. Ясность этой статьи поразила всех». Цитируя этот отзыв полемизировавшего с ним журнала, Чернышевский со своей стороны писал: «Вы наслушались, что философия — предмет головоломный. Вы пробовали читать философские статьи, вроде произведений г. Лаврова, и ровно ничего не понимали. А г. Лавров был, по вашему мнению, хороший философ. Вот и состроился у вас в уме силлогизм такого рода: «философии я не понимаю; следовательно, то, что я могу понимать, — не философия»» *. В силу этого же силлогизма не считались философскими даже те страницы Чернышевского, которые имели самое прямое отношение к философии: страницы эти отличались слишком ясным изложением. Нечего и прибавлять, что и до сих пор не перевелись у нас «проницательные читатели» [3], судящие о философских статьях на основании указанного Чернышевским силлогизма. Это приводит нам на память анекдот о человеке, который страдал зубною болью и у которого столичный врач легко и скоро вырвал больной зуб. «Сколько с меня следует? — спросил пациент. — Рубль, — отвечал зубной врач. — Как рубль! — возопил больной. — Меня наш уездный дантист целый час таскал по кабинету за больной зуб, да и то взял только четвертак, а вы моментально вырвали, да просите рубль!» Чернышевский напрасно убеждал наивных читателей: «О каком бы предмете ни заговорил человек, образ мыслей которого туманен (здесь имеется в виду Лавров. — *Г. П.*), речь его будет туманная, головоломная. А сама по себе философия, быть может, и не бог знает какая непонятная наука» **. Наивные чита-

---

* Сочинения, т. VIII, стр. 266—267 [2].
** Там же, стр. 267 [4].

тели этому не верили и до сих пор не верят. И до сих пор, если вы спросите среднего русского «интеллигента», были ли философами Лавров и Владимир Соловьев, вы тотчас услышите: конечно, были. А если вы скажете такому «интеллигенту», что Чернышевский тоже был философ и притом гораздо более глубокий, нежели Лавров и Соловьев, то вы приведете его в немалое изумление. Философия Чернышевского была недостаточно туманна...

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

При рассмотрении исторических взглядов Чернышевского полезно будет прежде всего выяснить себе, как представлялось ему состояние современной ему исторической науки. Хорошее понятие об этом дает следующий отрывок из его статьи о Грановском:

«Чем ближе вникаем мы в труды, совершенные поныне для истории, тем более убеждаемся, что ныне мы имеем только идею о том, чем должна быть эта наука, но едва еще видим первые односторонние опыты осуществить эту идею. Не будем рассматривать причин, по которым практика так отстала в этом случае от теории: это завлекло бы нас слишком далеко; скажем только, что, с одной стороны, затруднением служат скудость и необработанность материалов для истории тех элементов жизни, которые до сих пор упускались из виду. С другой стороны, едва ли не важнейшим еще препятствием надо считать узкость и отвлеченность обыкновенного взгляда на человеческую жизнь. Антропология только еще начинает утверждать свое господство над отвлеченною моралью и одностороннею психологиею» *.

Заметьте, что Чернышевский и здесь стремится стать на точку зрения «антропологии». Мы уже знаем, что провозгласившая «антропологический» принцип философия Фейербаха — Чернышевского видела в человеке то же самое, что видят в нем естественные науки. Чернышевский хочет, чтоб история в свою очередь взглянула на человека с точки зрения естествознания. «При той чрезвычайной важности, какую играет в жизни и должна приобрести в истории натуральная сторона человеческого быта, — говорит он, — понятно, что влияние естественных

* Сочинения, т. II, стр. 410 [1].

наук на историю должно со временем сделаться неизмеримо сильным. В настоящее время еще очень немногие историки предчувствуют это. Грановский принадлежит к числу их». Для пояснения своего взгляда на метод исследования исторических явлений Чернышевский указывает на Гизо, который стоит, по его словам, выше других историков нашего времени. Чтения Гизо об истории цивилизации [1] страдали тем недостатком, что предметом их, кроме политической истории, являлась только умственная жизнь народа, да и то не во всей своей полноте. О материальной же стороне жизни программа этих чтений совсем даже не упоминает. Гизо хочет излагать историю внутренней жизни человека и его отношений к другим людям. Он забывает об отношении человека к природе. «А между тем, — говорит Чернышевский, — в природе источники человеческой жизни, и вся жизнь коренным образом определяется отношениями к природе» *.

Тут Чернышевский как будто [2] неправ в своем отзыве о Гизо. Указанные им чтения Гизо по истории цивилизации в самом деле слишком мало обращают внимания на материальную сторону жизни народов; но если бы Чернышевский обратился к другим сочинениям того же историка, например хотя бы к его «Essais sur l'histoire de France» **, то он увидел бы, что Гизо совсем не пренебрегал материальной стороной жизни народов, а, напротив, приписывал ей преобладающее влияние. Гизо говорил: «Чтобы понять политические учреждения, надо изучить различные слои, существующие в обществе, и их взаимные отношения. Чтобы понять эти различные общественные слои, надо знать природу поземельных отношений» ***.

Изучать природу поземельных отношений не значит игнорировать материальную сторону общественной жизни. Но тут необходимо сделать терминологическую оговорку.

У Чернышевского выражение «материальная сторона жизни» употреблено здесь не в том смысле, в каком употребляем его мы, говоря об исторических взглядах Гизо. Существующий в данной стране аграрный строй характеризует собою не отношение людей к природе, а их собственные взаимные отношения в обществе. Между тем Чернышевский под материальной стороной жизни понимает те отношения, которые существуют между человеком и природой. Это очень большая и чрезвычайно существенная разница. Но мы сейчас увидим, что относящиеся

* Там же, примечание.

** [«Этюдам по истории Франции»]

*** «Essais», 2-e édition, Paris 1860, pp. 75—76. [«Этюды», изд. 2, Париж 1860, стр. 75—76.] Об этом см. подробнее во 2-й главе моей книги «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» [3].

к этому предмету дальнейшие рассуждения нашего автора почти совсем сглаживают эту разницу.

Почему Чернышевский приписывает такую большую важность вопросу об отношении между человеком и природой? Он поясняет это длинной цитатой из речи Грановского «О современном состоянии и значении всеобщей истории», произнесенной в торжественном собрании Московского университета 12 января 1852 года. Так как эта цитата весьма важна для характеристики интересующего нас здесь взгляда Чернышевского, то мы со своей стороны воспроизведем, по крайней мере, одну ее часть.

Грановский говорил: «Географические обзоры, о которых мы упомянули, редко соединены органически с дальнейшим изложением. Предпослав труду своему беглый очерк описываемой страны и ее произведений, историк с спокойной совестью переходит к другим, более знакомым ему предметам и думает, что вполне удовлетворил современным требованиям науки. Как будто действие природы на человека не есть постоянное, как будто оно не видоизменяется с каждым великим шагом его на пути образованности? Нам еще далеко не известны все таинственные нити, привязывающие народ к земле, на которой он вырос и из которой заимствует не только средства физического существования, но значительную часть своих нравственных свойств. Распределение произведений природы на поверхности земного шара находится в теснейшей связи с судьбою гражданских обществ. Одно растение условливает иногда целый быт народа. История Ирландии была бы, бесспорно, иная, если бы картофель не составлял главного пропитания для ее жителей. То же можно сказать о некоторых животных для других стран»*.

Далее у Грановского идет очень важная ссылка [1] на статью академика Бера о влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов и историю человечества. Самое заглавие этой статьи показывает, что Бер хотел рассматривать связь между человеком и природой преимущественно со стороны влияния естественных условий на общественные отношения. Совершенно то же влияние имеет в виду сам Грановский, указывая, что вся история некоторых стран зависит от их флоры или фауны. Правда, он говорит еще о некоторых таинственных нитях, «привязывающих народ к земле» и даже определяющих собою его нравственные склонности.

Тут можно подумать, что Грановский признает непосредственное влияние природы на взаимные отношения людей в обществе. И это тем более, что на одной из предыдущих страниц он

* Это место находится на 34-й стр. I тома Сочинений *Грановского*, изд. 1866 г.

не отказывается признать как вывод естествознания «историческое бессилие целых пород, не призванных к благороднейшим формам гражданской жизни» *. Но Чернышевский, впоследствии бывший, как мы увидим ниже, самым решительным противником теории рас, вряд ли и в то время, когда писал свою статью о Грановском, т. е. в 1856 году, хотя бы отчасти склонялся к этой теории **. Всего вернее, что речь Грановского понравилась ему совсем не своей готовностью признать историческое бессилие некоторых человеческих пород, а своим настойчивым указанием на зависимость общественных отношений народов от естественных условий их существования. А если это так, то мысль Чернышевского о влиянии природы на человека совершенно сближается с нашим взглядом на тот же предмет: естественные условия влияют на людей, определяя собою их взаимные отношения в обществе. Этот взгляд был прекрасно формулирован Марксом уже за несколько лет до того, как Грановский произнес в Московском университете свою речь о состоянии и значении всеобщей истории. «Многоразличные отношения, — писал Маркс в своей брошюре «Наемный труд и капитал», — в которые становятся люди при производстве продуктов, не ограничиваются отношением их к природе. Производство возможно лишь при известного рода совместности и обоюдности действий производителей. Чтобы производить, люди вступают в определенные взаимные связи и отношения, и только внутри и через посредство этих общественных связей и отношений возникают воздействия людей на природу, необходимые для производства» ***. Взаимные же отношения людей в процессе производства определяются состоянием их производительных сил, которые в свою очередь находятся в теснейшей зависимости от естественных условий существования данного народа, т. е. от той географической среды, в которой он живет. Таков вывод, к которому приходит наука, исследуя вопрос о влиянии природы на «общественного человека». Этот вывод, по-видимому, был не во всей своей полноте ясен Грановскому. Были, неоспоримо [4], насчет него значительные неясности и у Чернышевского в ту пору, когда он начал применять к истории «антропологический» принцип. Но как бы то ни было, логическое развитие взгляда Грановского и Чернышевского должно было бы вести к только что указанному выводу Маркса.

---

* Там же, стр. 33.

** Еще за год до того, в библиографической заметке об «Архиве историко-юридических сведений» *Н. Калачева*, он указывал на фальшивость «всевозможных [1] тевтономаний, галломаний, англоманий, чехоманий, булгароманий» (Сочин., I, 428) [2]. Отсюда, как говорится, рукой подать до отрицательного отношения вообще ко всей теории рас.

*** См. «Наемный труд и капитал», изд. «Пролетариат», стр. 20 [3].

А так как Гизо со своей стороны приближался к этому выводу, хотя далеко не сделал его во всей полноте, то Чернышевский был неправ, обвинив его в игнорировании материальной стороны жизни. Но для нас здесь важно не то, прав или неправ был Чернышевский в своем взгляде на Гизо, а то, что его справедливый или несправедливый взгляд на Гизо характеризует собою его собственные исторические воззрения. Вот почему мы еще вернемся к рассмотрению этого взгляда. Теперь же мы еще раз подчеркиваем то обстоятельство, что во имя своего «антропологического» принципа наш автор уже в самом начале своей литературной деятельности требовал от историков внимательного отношения к «материальной стороне жизни» народов. Весь вопрос о последующем развитии его исторических взглядов сводится к вопросу о том, какой вид приняло у него самого представление об этой стороне.

ГЛАВА ВТОРАЯ

МАТЕРИАЛИЗМ В ИСТОРИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В 1855 году, в большой критической статье о третьей и четвертой книгах очень известного в свое время сборника Леонтьева «Пропилеи», Чернышевский, оспаривая мнение Куторги, считавшего земледельческий быт первоначальным бытом человечества, писал:

«Предания всех народов свидетельствуют о том, что прежде, нежели узнали они земледелие и сделались оседлыми, они бродили, существуя охотою и скотоводством. Чтобы ограничиваться греческими преданиями и относящимися именно к Аттике, укажем на миф о Церере и Триптолеме, которого научила она земледелию, — очевидно, что по воспоминаниям греческого народа нищенское и грубое состояние дикарей-охотников было первым, а с благоденствием оседлой земледельческой жизни познакомились люди уже впоследствии. Такие общие всем народам предания совершенно подтверждаются для всего европейского отдела индоевропейских племен исследованиями Гримма, которые справедливо считаются безусловно верными в своих главных выводах. То же самое прямым образом доказывают положительные факты, записанные в исторических памятниках: мы не знаем ни одного народа, который, став раз на степень земледельческого, ниспал потом в состояние одичалости, не знающей земледелия; напротив того, у многих из европейских народов достоверная история записала почти с самого начала весь ход распространения земледельческого

быта» *. Европейские путешественники по Африке не раз встречали негритянские племена, которые, будучи вытеснены из своего старого местожительства и попав в новую географическую среду, мало благоприятную для земледелия, покидали земледельческий быт и становились пастухами или охотниками. Поэтому Чернышевский ошибается, полагая, что, раз достигнув ступени земледелия, ни один народ не может спуститься на низшую ступень. Но он совершенно прав, когда говорит, что невозможно считать земледелие первым шагом в истории развития производительных сил. Точно так же прав он, когда объявляет экономическое развитие общества причиной, вызывающей развитие правовых его учреждений. «У пастушеских народов, беспрестанно перекочевывающих с места на место, — говорит он, — личная поземельная собственность недостаточна, стеснительна и потому не нужна. У них только община (племя, род, орда, улус, юрта) хранит границы своей области, которая остается в нераздельном пользовании у всех ее членов, отдельные лица не имеют отдельной собственности. Совершенно не то в земледельческом быте, который делает необходимостью личную поземельную собственность. Потому-то от кочевого состояния ведет начало связь земли с племенными и впоследствии с государственными правами» **. Тут как нельзя более верно указывается решающее влияние материальной стороны жизни народов на другие стороны этой жизни. Но могут заметить, пожалуй, что здесь у Чернышевского речь идет, собственно, только о связи между «экономикой» и «политикой». И это, конечно, так. Однако, когда выяснена эта связь, тогда понято в своих главных чертах то, что называется общественным строем. А когда понят общественный строй как результат экономического развития общества, то уж легко понять и влияние «экономики» на мысли и чувства людей: ведь еще с начала XIX века было признано, что их мысли и чувства находятся в причинной зависимости от общественной среды, т. е. от общественных отношений. И мы уже видели, что Чернышевский умел объяснять развитие философской мысли ходом политической борьбы, т. е. опять-таки развитием общественной среды. Мы знаем также еще из статьи «Антропологический принцип в философии», что всякое данное общество, равно как и всякая данная органическая часть общества, считает полезным и справедливым то, что полезно этому обществу или этой его части. Чернышевскому стоило только последовательно применить этот свой взгляд к истории идейного развития человечества, чтобы ясно увидеть, каким образом это развитие обусловливается столкнове-

* Сочинения, т. I, стр. 389 [1].

** Там же, стр. 389. Ср. стр. 428 того же тома [2].

нием человеческих интересов в обществе, т. е. «экономикой» этого общества. И Чернышевский в самом деле ясно видел это, по крайней мере в некоторых случаях. Вот что пишет он, например, в большой библиографической статье о «Началах народного хозяйства» В. Рошера, напечатанной в 4-й книжке «Современника» за 1861 год:

«Возьмите какую хотите группу людей, ее образ мыслей бывает внушен (верными или ошибочными, как мы заметили, все равно) представлениями об ее интересах. Начнем хоть с классификации людей по народностям. Масса французов полагает, что Англия есть «коварный Альбион», погубивший Наполеона I из ненависти к французскому благосостоянию. Масса французов находит, что рейнская граница—естественная и необходимая граница Франции. Она также находит, что присоединение Савойи с Ниццею — дело прекрасное. Масса англичан находит, что Наполеон I хотел погубить Англию, ничем не виновную, что борьба с ним была ведена Англиею лишь для собственного спасения. Масса немцев находит претензию французов на рейнскую границу несправедливою. Масса итальянцев считает отторжение Савойи с Ниццею от Италии делом несправедливым. Отчего такое различие взглядов? Просто от противоположности (конечно, мнимых, фальшивых, но считаемых у той нации действительными) интересов наций. Или возьмем классификацию людей по экономическому положению. Производители хлеба в каждой стране находят справедливым делом, чтобы другие страны допускали ввоз хлеба этой страны безпошлинно, и столь же справедливым, чтобы ввоз хлеба в их страну был запрещен. Производители мануфактурных товаров в каждой стране находят справедливым, чтобы иностранный хлеб допускался в их страну беспошлинно. Источник этого противоречия опять-таки все тот же: выгода. Производителю хлеба выгодно, чтобы хлеб был дороже. Производителю мануфактурных товаров выгодно, чтобы он был дешевле. Увеличивать число таких примеров было бы напрасно, — каждый может сам набрать их тысячи и десятки тысяч» *.

Если у каждого человека всегда оказывается хорошим, несомненным и вечным все то, что практически выгодно для группы людей, представителем которых он служит, то этим же «психологическим законом» нужно, по мнению Чернышевского, объяснять и смену школ в политической экономии. Писателям школы Адама Смита казались очень хорошими и достойными вечного господства те формы экономического быта, которыми обусловливалось господство среднего класса. «Писатели этой школы были представители стремлений биржевого или ком-

* Сочинения, т. VIII, стр. 137 [1].

мерческого сословия в обширном смысле слова: банкиров, оптовых торговцев, фабрикантов и всех вообще промышленных людей. Нынешние формы экономического устройства выгодны для коммерческого сословия, выгоднее для него всяких иных форм; потому школа, бывшая представительницей его, и находила, что формы эти самые лучшие по теории; натурально, что при господстве такого направления являлись многие писатели, высказывавшие общую мысль еще с большею резкостью, называвшие формы эти вечными, безусловными» *.

Когда о вопросах политической экономии начали задумываться люди, бывшие представителями массы, тогда явилась в науке другая экономическая школа, которую зовут — неизвестно на каком основании, как замечает Чернышевский, — школой утопистов. С появлением этой школы экономисты, представлявшие интересы среднего класса, увидели себя в положении консерваторов. Когда они выступали против средневековых учреждений, противоречащих интересам среднего класса **, они взывали к разуму. А теперь к разуму стали взывать в свою очередь представители массы, не без основания упрекавшие представителей среднего класса в непоследовательности. «Против средневековых учреждений, — говорит Чернышевский, — разум был для школы Адама Смита превосходным оружием, а на борьбу с новыми противниками это оружие не годилось, потому что перешло в их руки и побивало последователей школы Смита, которым прежде было так полезно»***. Вследствие этого ученые представители среднего класса перестали ссылаться на разум и начали ссылаться на историю. Так возникла историческая школа в политической экономии, одним из основателей которой был Вильгельм Рошер.

Чернышевский утверждает, что такое объяснение истории экономической науки несравненно более правильно, нежели обычное ее объяснение с помощью ссылок на больший или меньший запас знаний у той или другой школы. Он насмешливо замечает, что это второе объяснение похоже на тот способ, каким оценивают учеников на экзаменах: такую-то науку данный ученик знает хорошо, такую-то плохо. «Будто в самом деле, — спрашивает Чернышевский, — малое знакомство с историей могло лишать политико-экономов знания о том, что существовали иные формы экономического быта, различные от нынешних, и будто через это отнималась у таких людей возможность чувствовать потребность новых, совершеннейших форм, отнималась возможность признавать нынешние формы не безуслов-

* Там же, стр. 138 [1].

** Имея в виду общественные *классы*, Чернышевский всегда употребляет, однако, термин: *сословие*.

*** Там же, стр. 139 [2].

ными?» *. Дело не в сведениях, а в том, каковы чувства данного мыслителя или той группы людей, которую он представляет. Фурье знал историю не лучше, нежели Сэй, а между тем пришел совсем к другим, нежели он, выводам. «Нет, — заключает Чернышевский, — кому хорошо настоящее, у того нет мысли о переменах; кому оно дурно, у того она есть, независимо от обладания историческими знаниями или хотя бы полнейшего отсутствия их» **.

Нельзя говорить яснее. Не сознание определяет собою бытие, а бытие определяет собою сознание. Это положение, составляющее основу философии Фейербаха, прилагается Чернышевским к объяснению истории экономической науки, политической теории и даже философии. Чернышевский видит, что в общественном бытии есть взаимно противоположные элементы; он видит также, каким образом борьба этих взаимно противоположных общественных элементов вызывает и определяет взаимную борьбу теоретических идей. Но этого мало. Он видит не только то, что развитие всякой данной науки определяется развитием соответствующей категории общественных явлений. Он понимает, что взаимная классовая борьба должна накладывать свою глубокую печать на всю внутреннюю историю общества. Вот интересное доказательство этого.

В своих «Очерках политической экономии» он, объяснив законы существующего в современных передовых странах «трехчленного распределения продуктов» и делая из своих объяснений краткий заключительный вывод, высказывает следующий чрезвычайно замечательный взгляд на внутренние пружины новейшей истории Европы: «Мы видели, что интересы ренты противоположны интересам прибыли и рабочей платы вместе. *Против сословия, которому выделяется рента, средний класс и простой народ всегда были союзниками*. Мы видели, что интерес прибыли противоположен интересу рабочей платы. Как только одерживают в своем союзе верх над получающим ренту классом сословие капиталистов и ⟨сословие⟩ работников, история страны получает главным своим содержанием борьбу среднего сословия с народом» ***.

Тут взгляды нашего автора поразительно совпадают со взглядами Маркса и Энгельса. Да оно и неудивительно. Чернышевский прошел ту же школу, что Маркс и Энгельс: от Гегеля он перешел к Фейербаху. Но Маркс и Энгельс подвергли философию Фейербаха коренной переработке, а Чернышевский на всю жизнь остался последователем этой философии в том ее виде, какой она имела у самого Фейербаха. Фейербаху

* Там же, стр. 138 [1].
** Там же, стр. 138 [2].
*** Курсив наш. Сочинения, т. VII, 415 [3].

принадлежит известное — в свое время вызвавшее много шума и негодования — выражение: Der Mensch ist, was er isst (человек есть то, чем он питается). Выше мы привели некоторые другие положения Фейербаха насчет влияния образа жизни людей на их образ мыслей. Все это совершенно материалистические положения. Однако эти положения остались у Фейербаха в совершенно неразвитом виде даже в его учении о религии. Чернышевский применил взгляды Фейербаха к эстетике, и тут он достиг, как мы увидим ниже, результатов, в известном смысле весьма замечательных. Но и здесь его выводы не были вполне удовлетворительны, потому что совершенно правильное понятие об эстетическом развитии человечества предполагает предварительную выработку общего понимания истории. Что же касается этого общего понимания истории, то Чернышевскому удалось сделать лишь несколько — правда, очень верных — шагов в направлении к его выработке. Примерами таких шагов могут служить только что сделанные нами большие выписки из его сочинений. Эти выписки ясно показывают, что Чернышевский умел давать блестящее приложение материалистическим мыслям своего учителя. Но материалистические мысли его учителя страдали отвлеченностью там, где они касались общественных отношений людей. И эта слабая сторона мыслей Фейербаха привела к тому, что исторические взгляды его русского ученика оказались недостаточно стройными и последовательными. Главный недостаток этих исторических взглядов состоит в том, что материализм чуть не на каждом шагу уступает в них место идеализму, и наоборот, причем окончательная победа все-таки достается идеализму.

Нам хорошо известно, как объясняет историю Чернышевский в тех случаях, когда он остается верным своей материалистической философии. Теперь посмотрим, как объясняет он ее, переходя на идеалистическую точку зрения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ИДЕАЛИЗМ В ИСТОРИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Вот что читаем мы у него в статье, посвященной известной книге В. П. Боткина «Письма об Испании» («Современник», 1857 г., кн. 2):

«Разделение народа на враждебные касты бывает одним из сильнейших препятствий улучшению его будущности, — в Испании нет этого пагубного разделения, нет непримиримой вражды между сословиями, из которых каждое было бы готово пожертвовать самыми драгоценными историческими приобре-

тениями, лишь бы только нанести вред другому сословию, — в Испании вся нация чувствует себя одним целым. Эта особенность так необычайна среди народов Западной Европы, что заслуживает величайшего внимания, и уже одна, сама по себе, может считаться ручательством за счастливую будущность страны» *.

Это не описка, потому что несколькими страницами ниже Чернышевский в той же статье говорит: «Над большею частью цивилизованных наций испанский народ имеет бесспорное преимущество в одном чрезвычайно важном отношении: испанские сословия не разделены между собою ни закоренелою ненавистью, ни существенною противоположностью интересов; они не составляют каст, враждебных одна другой, как это видим во многих других западных европейских землях; напротив, в Испании все сословия могут дружно стремиться к одной цели» **.

В той же статье Чернышевский категорически утверждает: «Невежество — вот коренная язва Испании» ***, и сообразно с этим вся надежда его на возможное в будущем развитие Испании приурочивается к успехам в этой стране просвещения.

Под этими его мнениями охотно подписался бы каждый «просветитель» XVIII века и каждый социалист-утопист XIX столетия, точно так же как под вышеприведенными соображениями его о причинной зависимости общественной мысли от общественной жизни охотно подписался бы каждый марксист наших дней.

Социалисты-утописты, а отчасти также и просветители XVIII века не закрывали глаз на *факт* борьбы классов в цивилизованном обществе. Не закрывает глаз на него и Чернышевский. Но социалисты-утописты, констатируя *факт* борьбы классов, не считали возможным опираться на него для осуществления своей программы. Им казалось, напротив, что борьба классов явится препятствием на пути к осуществлению их программы и что эта последняя гораздо скорее и легче осуществится при дружном содействии всех общественных классов. Поэтому они призывали все классы к объединению под знаменем предстоящей социальной реформы ****. Мы видим, что в своем отзыве

* Сочинения, т. III, стр. 38 [1].

** Там же, стр. 44 [2].

*** Там же, стр. 45 [3].

**** *Буржен* в своей интересной книге «Fourier. Contribution à l'étude du socialisme français», Paris 1905 [«Фурье. Вклад в изучение французского социализма», Париж 1905], говорит, что система Фурье заключает в себе теорию борьбы классов (стр. 596). Но Буржен смешивает *признание факта* борьбы классов с *отношением к этому факту.* Социалисты-утописты видели факт борьбы классов, но не видели того, что «Der Widerspruch ist das Fortleitende» (противоречие ведет вперед), как говорил Ге-

о взаимоотношении классов в Испании Чернышевский очень приближается к точке зрения социалистов-утопистов.

В своем «Манифесте» Маркс и Энгельс очень метко характеризовали эту точку зрения. «Собственно социалистические и коммунистические системы, системы Сен-Симона, Фурье, Оуэна и т. д., появились в первый, неразвитый период борьбы между пролетариатом и буржуазией, о котором мы говорили выше. Творцы этих систем видели уже антагонизм классов, равно как и влияние разрушительных элементов внутри самого господствующего общества. Но они не видели в пролетариате никакой исторической самодеятельности, никакого, свойственного ему, политического движения» [1].

Именно потому, что социалисты-утописты не видели в пролетариате никакой исторической самодеятельности, они обращались безразлично ко всем классам современного общества. И именно потому, что они обращались ко всем классам общества, они в пропаганде своих практических планов указывали не на то, что разъединяет эти классы, а на то, что могло бы их объединить. А так как современное общество построено на антагонизме классов, то главные усилия пропагандистов-утопистов, естественно, направлялись на изображение преимуществ *будущего* общественного порядка, в котором исчезнет классовый антагонизм, уступив место всеобщей солидарности. Чтобы понять преимущества этого будущего общественного порядка, нужно только вдуматься в социальные законы, открытые данным социальным реформатором. Социалистам-утопистам казалось, как говорит уже цитированный нами «Манифест», «что достаточно было понять их системы, чтобы немедленно признать их наилучшими планами наилучшего общественного устройства» [2]. Но если вся дальнейшая история общества сводилась для социалистов-утопистов к пропаганде и практическому осуществлению их реформаторских планов, то она по необходимости представлялась им в свете идеализма. C'est l'opinion qui gouverne le monde (мнения правят миром), говорили французские просветители XVIII века. Социалисты-утописты охотно повторяли это их положение. Так, например, даже Луи Блан, которого покойный Михайловский расположен был считать «экономическим материалистом», писал в своей «Истории десяти лет»: «Истинная история нашего века заключается в истории его идей. Дипломатические подвохи, придворные интриги, шумные споры, уличная борьба — все это не более как волнения об-

---

гель. Они не понимали, что классовая борьба есть именно тот фактор, с помощью которого осуществляется весь прогресс во внутренних отношениях общества, разделенного на классы. Только Бланки понимал историческое значение борьбы классов; но социализм Бланки составляет в этом отношении переход к научному социализму.

ществ (l'agitation des sociétés). Их жизнь не там. Она находится в таинственном развитии общих стремлений, она состоит в этой глухой выработке учений, приготовляющих революции. Ибо всегда есть глубокая причина для всех этих событий, которые, раз совершившись, кажутся нам порожденными случайностью»*. В другом месте он уверяет, что история делается книгами (L'histoire est faite par des livres). Ввиду этого неудивительно, что социалисты-утописты смотрели с идеалистической точки зрения на всю дальнейшую судьбу современного им общества. Они были убеждены, что судьба этого общества будет решена «мнением», т. е. взглядом его членов на план общественного переустройства, предлагаемый тем или другим реформатором. Они не спрашивали себя, отчего же зависит то, что в данном обществе господствуют те, а не другие взгляды. Поэтому у них не было и охоты подвергать дальнейшей разработке те элементы материалистического объяснения истории, которые, несомненно, в бóльшем количестве заключались в их учениях. Напротив, у них являлось предрасположение смотреть с идеалистической точки зрения и на прошлую историю человечества. Вследствие этого мы в их рассуждениях об этой истории очень нередко наталкиваемся на самые несомненные и, казалось бы, самые очевидные противоречия: факты, которые истолковывались, по-видимому, в совершенно материалистическом смысле, вдруг получают совершенно идеалистическое объяснение; и, наоборот, идеалистические объяснения сплошь да рядом прерываются вполне материалистическими отступлениями. Эта неустойчивость, этот постоянный, заметный для современного читателя, но незаметный для автора переход от материализма к идеализму и от идеализма к материализму дают себя чувствовать и в исторических рассуждениях Чернышевского, который в этом отношении очень напоминает великих утопистов Запада. В последнем счете он, подобно им, склоняется, повторяем, к идеализму.

Это хорошо видно из его интересной статьи «О причинах падения Рима (подражание Монтескьё)», напечатанной в «Современнике» 1861 г. (5-я книга). В ней он энергически восстает против того очень распространенного мнения, что Западная Римская империя погибла вследствие своей внутренней неспособности к дальнейшему развитию, между тем как варвары, положившие конец ее существованию, принесли с собою новые семена прогресса. «Да подумайте только, что̀ такое значит прогресс и что̀ такое значит варвар! — восклицает Чернышевский. — Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии зна-

* «Histoire de dix ans», т. III, Paris 1844, p. 89. [«История десяти лет», т. III, Париж, стр. 89.]

ний... Развивается математика, от этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной механики совершенствуются всякие фабрикации, мастерства и т. д... Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего. Наконец, всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и чем больше людей выучивается читать, получает привычку и охоту читать книги, тем больше становится в ней число людей, способных порядочно вести дела, какие бы то ни было, — значит, улучшается и ход всяких сторон жизни в стране. Стало быть, основная сила прогресса — наука; успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространенности знаний. Вот что́ такое прогресс — результат знания. Что же такое варвар? Человек, еще погрязший в глубочайшем невежестве; человек, который занимает средину между диким зверем и человеком сколько-нибудь развитого ума... Какая польза для общественной жизни, если учреждения — дурные или хорошие, но все-таки человеческие, все-таки имеющие в себе хоть что-нибудь, хоть несколько разумное — заменяются животными обычаями?» *.

Здесь и речи нет ни о внутренних социальных отношениях Рима, причинивших его слабость и указанных еще тем же Гизо в первой статье его «Essais sur l'histoire de France» **, ни о тех формах общежития, которыми обусловливалась сила германских варваров в эпоху падения Западной Римской империи. Чернышевский забыл даже знаменитые, им же самим цитируемые в другом месте слова Плиния: latifundia perdidere Italiam (латифундии погубили Италию) [2]. В его «формуле прогресса» — как стали выражаться у нас впоследствии [3] — не оказывается места для внутренних отношений данной страны. Все дело сводится к умственному развитию. Чернышевский решительно заявляет, что прогресс основывается на умственном развитии и что «коренная сторона его прямо и состоит в успехах и разлитии знаний». Ему даже и в голову не приходит, что «успехи и разлитие знаний» могут зависеть от социальных отношений, в иных случаях способствующих этому успеху и этому разлитию, а в других — препятствующих им. Социальные отношения изображаются у него как простое последствие распространения известных мнений. Мы только что прочли это: «Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего». Это очень непохоже

* Сочинения, т. VIII, стр. 158 [1].
** [«Этюдов по истории Франции»]

на то, что говорил наш автор в статье о книге Рошера. Там у него выходило, кроме того, что невозможно и даже смешно судить об ученых, как о школьниках: не знал такой-то науки и потому составил себе ошибочный взгляд. Там у него выходило, кроме того, что дело не в количестве знаний у данного ученого, а в том, каковы интересы той группы, которую он представляет. Словом, там выходило, что общественные взгляды определяются общественными интересами, общественная мысль — общественною жизнью. Теперь выходит наоборот. Теперь оказывается, что общественная жизнь определяется общественною мыслью и что если общественный строй имеет известные недостатки, то это происходит оттого, что общество, подобно школьнику, плохо или мало училось и потому составило себе ошибочные понятия. Нельзя придумать более поразительного противоречия.

И замечательно, что статья «О падении Рима» появилась в 5-й, а статья о книге Рошера в 4-й книжке «Современника» за 1861 год. Так что здесь нельзя сказать, что Чернышевский в разное время держался разных взглядов на интересующий нас здесь вопрос. Нет! Он держался разных взглядов в одно и то же время, и это характерно для него, как для человека, еще не успевшего [1] свести к одному принципу свои исторические взгляды и потому, так сказать, одновременно державшегося и материализма, и идеализма в своих рассуждениях о ходе истории.

«Говорят, обществу стеснительны были укоренившиеся формы, — рассуждает Чернышевский далее, — значит, в обществе была прогрессивная сила, была надобность в прогрессе» *. На это можно возразить — и, конечно, возражали люди, не разделявшие в этом случае идеалистического взгляда Чернышевского, — что иное дело — надобность в прогрессе, а иное дело — наличность в обществе силы, способной дать удовлетворение этой надобности. Нельзя смешивать эти два понятия, совершенно различные по своему содержанию: одно из них есть чисто отрицательное («надобность в прогрессе» указывает лишь на стеснительность существующих форм), другое — положительное, так как присутствие в обществе прогрессивной силы, способной совершить необходимую переделку форм общежития, предполагает известную степень умственного, нравственного и политического развития того класса или тех классов, на которых формы эти обрушиваются своими невыгодными сторонами. Если бы эти понятия были тождественны, то дело человеческого прогресса упрощалось бы до крайности и мы не встречали бы в истории печального зрелища народов, падающих под тяжестью таких форм общежития, которые, при всей своей несомнен-

* Там же, стр. 160 [2].

ной вредоносности, не могли быть устранены, потому что не было в народе живых сил, способных совершить это дело. Само собою разумеется, что мы не говорим здесь о формах, вредных решительно для всех классов данного общества. Подобные формы устраняются, можно сказать, сами собою. Но чаще всего особенно вредными для дальнейших успехов общества оказываются иные формы, невыгодные для большинства и очень выгодные для привилегированного меньшинства. Устранить подобные формы можно только в том случае, если страдающее большинство обладает хоть некоторою способностью к политической самодеятельности. А оно не всегда обладает ею. Способность эта вовсе не есть необходимое свойство угнетенного большинства. Она сама создается *экономией* данного общества. Казалось бы, не было ничего выгоднее для римских пролетариев, как поддержать законопроекты Гракхов. Но они не поддержали и не могли поддержать их, потому что социальная обстановка, в какую ставило их экономическое развитие Рима, не только не содействовала их политическому развитию, но, напротив, постоянно понижала его уровень. Что же касается высших классов, то, во-первых, смешно было бы ожидать от них политических действий, враждебных их экономическим интересам, а во-вторых, и сами они развращались все более и более под влиянием того же хода экономического развития, который, создавая римский пролетариат, превращал его в кровожадную и тупую чернь. В конце концов дело пришло к тому, что римляне, эти всемирные завоеватели, стали мало способны к военной службе и легионы пополнялись теми самыми варварами, которые и положили, наконец, предел существованию заживо разложившейся империи *. Таким образом, в падении Рима, вопреки объяснениям Чернышевского, нет ничего слу-

* *Эдуард Мейер* говорит совершенно справедливо: «Erst als das Reich innerlich bereits völlig zersetzt war, haben die Barbaren, die es selbst hereingerufen, denen es das Schwert in die Hand gegeben hatte, ihm die westlichen Provinzen entrissen» («Die wirtschaftliche Entwickelung des Altertums», Jena 1895, S. 50). [«Только тогда, когда империя внутри уже совершенно разложилась, варвары, которых она сама призвала, которым она вложила меч в руки, отняли у нее западные провинции». («Экономическое развитие древнего мира», Иена 1895, стр. 50).] Ср. также стр. 52—63 [1]. По тому же вопросу см. небольшую, но интересную работу *А. Ф. Секретана:* «La Dépopulation de l'empire romain et les invasions germaniques». Lausanne [«Сокращение населения римской империи и германское вторжение». Лозанна] 1908. Ср. также *Родбертуса* «Zur Geschichte der agrarischen Entwickelung Roms» («Hildebrandts Jahrbücher für Nationalökonomie» [«К истории аграрного развития Рима». («Ежегодник Гильдебранда по национальной экономии»)], II; в русской литературе вопрос о падении Римской империи рассматривается у проф. *Д. Петрушевского*, — «Очерки из истории средневекового общества и государства», издание второе, Москва 1908, стр. 1—189 [2].

чайного, так как оно представляло собою естественный конец давно уже начавшегося историко-экономического движения.

Но Чернышевский совершенно иначе смотрит на вопрос о тех силах, с помощью которых могла бы быть удовлетворена общественная потребность в прогрессе. По его мнению, такие силы всегда находятся налицо там, где они нужны.

Наличность их обеспечивается всякому данному обществу, *во-первых, законами физиологии*. «Отживает свою жизнь организм отдельного человека; но с каждым вновь родившимся человеком является новый организм с новыми свежими силами, и при каждой смене поколений возобновляются силы народа... Пожалуйста, не противоречьте физиологии, не утверждайте, что бывают народы, состоящие из людей безголовых или не имеющих желудка, или исключительно из одних стариков, или исключительно из одних молодых людей, — ведь каждая из этих четырех фраз одинаково нелепа. Что за охота выказывать себя глупцом или лгуном» *.

Во-вторых, Чернышевский доказывает свою мысль еще с помощью следующего *логического соображения*. Он спрашивает себя, чьею силою были созданы те формы общежития, которые стоят на пути прогресса. На этот вопрос он с уверенностью отвечает: силою общества. А отсюда он делает тот вывод, что так как количество сил в обществе не уменьшается, то оно не может стать и бессильным над тем, над чем прежде оно было сильно: «Разве разрушать труднее, чем создавать? Подумайте, что́ вы говорите: каменщики, построившие дом, не в силах разломать его; столяр, сделавший стол, кузнец, сковавший якорь, не в силах разрушить его» **.

Не все силы, существующие в данном обществе, действуют в одном направлении. История показывает, что «каменщики», «столяры» и т. д., принимающиеся за переделку «домов», «столов» и пр., должны преодолеть сопротивление тех общественных групп, которые заинтересованы в том, чтобы «дома» и «столы» сохраняли свой прежний вид. В других случаях, т. е. когда он был верен материалистической точке зрения, Чернышевский сам хорошо сознавал и удачно оттенял это обстоятельство. Но «подражание Монтескьё» увлекло его на точку зрения XVIII века, и он стал рассуждать, как самый чистокровный идеалист.

Окончательный вывод Чернышевского тот, что древний мир был убит исключительно волнением, овладевшим всеми кочевниками от Рейна до Амура. «Тут было ни больше ни меньше как погибель страны от наводнения. Никакой внутренней необ-

* Сочинения, т. VIII, стр. 159 [1].
** Там же, стр. 160 [2].

ходимости в смерти не было. Напротив, жизнь была свежа, прогресс безостановочен. Погибель Римской империи —такая же геологическая катастрофа, как погибель Геркулана и Помпеи, как погибель страны, по которой гуляют теперь волны Зейдер-зе» *.

Обыкновенно считают, что статья Чернышевского «О причинах падения Рима» была направлена против Герцена, который после неудачи революции 1848—1849 годов разочаровался в Западной Европе и ждал осуществления социализма преимущественно от России с ее крестьянскою общиною. В своей недавно вышедшей книге о Герцене г. Ч. Ветринский с уверенностью говорит, что в статье Чернышевского нельзя не признать Герцена в воображаемом противнике, которого автор затрудняется как назвать — глупцом или лгуном **. Г-н Ветринский не совсем точно характеризует полемический прием Чернышевского. Этот последний не говорит, что его воображаемый противник — или дурак, или лгун. Он только советует ему не признавать известных положений, признать которые может только глупец или лгун... Это, конечно, тоже крайне резко; но эта крайняя резкость не имеет того характера личного оскорбления, который она приобретает в изложении г. Ч. Ветринского. Впрочем, само по себе то предположение, что в своей статье Чернышевский оспаривал именно Герцена, и нам кажется более чем вероятным ***. Правда, ввиду того, что Чернышевский ополчается в своей статье против хвастовства российской самобытностью и ликования по ее поводу, можно было бы подумать, что он метит в славянофилов. Но у него на этот счет есть оговорка, заставляющая решительно отвергнуть эту мысль. Вот эта оговорка: «Мы тут говорим, разумеется, не о славянофилах: у славянофилов зрение такого особенного устройства, что на какую у нас дрянь ни посмотрят они, всякая наша дрянь оказывается превосходной и чрезвычайно пригодной для оживления умирающей Европы... Мы говорим не о таких людях: их мало, и спорить с ними не стоит, мы говорим не про чудаков, а про людей, рассуждающих по обыкновенному человеческому смыслу» ****. Уже отсюда видно, что Чернышевский не имел о

* Там же, стр. 167—168 [1].

** *Ч. Ветринский*, Герцен, Спб. 1908, стр. 355.

*** Герцен принял статью «О падении Рима» на свой счет, равно как и Огарев, который в одном из своих писем говорил по ее поводу, что «это стыдно продавать так Христа, т. е. правду и дело, непозволительно. Это то, что христиане называли преступлением против духа» (см. ст. *М. К. Лемке*, Дело Н. Г. Чернышевского, «Былое», 1906 г., № 3). С этим, разумеется, ни в каком случае нельзя согласиться. Восставать против полуславянофильства Герцена и Огарева еще совсем не значило «грешить против духа» [2].

**** Сочинения, т. VIII, стр. 173 [3].

своем воображаемом противнике такого низкого мнения, какое приписывает ему г. Ветринский. Но это мимоходом. Важно здесь то, что, по словам Чернышевского, его «воображаемый противник», кроме общинного землевладения, не видит в России ничего такого, чему полезно было бы распространиться от нас на передовые страны и чем мы могли бы содействовать их оживлению. Это позволяет почти с полной уверенностью сказать, что статья Чернышевского направлялась против известного взгляда Герцена об отношении России к «старому миру». Чернышевский решительно отвергает этот взгляд: Европе нечему учиться у нас, «потому что сама она гораздо лучше нас понимает, какие новые порядки ей нужны, как их устроить и какими способами вводить. Значит — оживлять нам ее ровно уж нечем» *.

Это было совершенно правильно, как правильно было и то, что у нас нет никакого основания хвастаться нашей самобытностью, сводящейся к страшной отсталости. За Чернышевским навсегда останется заслуга борьбы с таким хвастовством, от кого бы оно ни исходило. Взгляд Герцена на отношение России к «старому миру» составился под сильным влиянием славянофилов и был ошибочным. Но и к ошибочному взгляду можно прийти, держась более или менее правильного метода, точно так же как правильный взгляд может получиться в результате употребления более или менее ошибочного метода. Поэтому позволительно спросить себя, как относился тот метод, с помощью которого Герцен выработал свой ошибочный взгляд, к тому методу, который привел Чернышевского к совершенно заслуженному отрицанию и осмеиванию этого взгляда.

Половина ответа на этот вопрос у нас уже готова: мы видели, что в своих рассуждениях о причинах падения Рима Чернышевский держался *чисто идеалистического метода*. А так как мы считаем этот метод ошибочным по существу, то мы скажем, что хотя Чернышевский был прав в своем резко отрицательном отношении к полуславянофильскому взгляду Герцена на судьбы, ожидающие Западную Европу, но этот правильный результат был все-таки получен у него с помощью ошибочного метода. А что можно сказать в этом случае о Герцене?

Ход его мыслей был таков: западные народы живут при одних экономических условиях; русский народ — при совершенно других. На Западе господствует мелкобуржуазная собственность; русский народ склоняется к общинной собственности. Поэтому западные народы насквозь пропитаны мещанским духом, непримиримо враждебным социализму, между тем как русский народ есть едва ли не наиболее антимещанский

* Там же.

народ в мире и вследствие этого едва ли не более всех других народов способен к осуществлению социалистического идеала.

В этих рассуждениях Герцена было очень много фактических ошибок и очень немало логических промахов. Поэтому они и привели его к ошибочным результатам. Но как бы ни были ошибочны те результаты, к которым они привели Герцена, нельзя все-таки не признать, что они отчасти опирались на ту верную, хотя и не продуманную до конца мысль, что *сознание определяется бытием* [1]. И *поскольку* Герцен держался этой совершенно правильной мысли — повторяем, она далеко не достигла у него полной ясности и далеко не была продумана до конца [2], — *постольку* он был ближе, нежели Чернышевский, к тому материалистическому объяснению истории, которое одно только и может открыть нам истинные пружины общественного развития *.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ХОД ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Мы сейчас видели, что статья «О причинах падения Рима» была направлена против полуславянофильского хвастовства российской самобытностью. Теперь пора прибавить, что она направлялась не только против него. Чернышевский восставал в ней также против того, что он считал неосновательным и вредным оптимизмом в теориях западноевропейских историков школы Гизо. Не мешает напомнить читателю, что внешним поводом для появления названной статьи послужил выход в русском переводе г. М. Стасюлевича первой части «*Истории цивилизации во Франции от падения Западной Римской империи*» Гизо. Оспаривая взгляд Герцена, Чернышевский выступает в то же время решительным противником исторического оптимизма. Высказав твердое убеждение в том, что погибель Римской империи была «геологической катастрофой» вроде той, от которой погибли Геркулан и Помпея, он говорит:

«Подобные случаи погибели предмета, погибели дела от внешних разрушительных сил, как бы ни здорово было дело, как бы ни исполнен был жизни предмет, встречаются ежедневно

---

* Герцен писал, что судьба Запада зависит от того, победит или же будет побежден народ в своей борьбе с высшими классами. «Если народ сломится, Новый Китай (Англия. — *Г. П.*) и Новая Персия (Франция. — *Г. П.*) неминуемы. Но если народ сломит, неминуем *социальный переворот*» («Колокол», № 40 и 41, 15 апр. 1859, ст. «Дж. Ст. Милль и его книга «On Liberty»»). Против таких положений нельзя возражать ссылками на «*физиологию*», тут необходимо апеллировать к *общественной экономии*, чего именно здесь-то и не делает Чернышевский.

в частном быту, встречаются бесчисленное число раз в истории, только никогда не происходила эта гибель в известной нам истории в таком огромном размере, как при погибели всего древнего цивилизованного мира. Не толкуйте же о разумности, о благотворности этих катастроф. Лошадь ударила человека подковою по виску, и он умер, — какая тут разумность, какие тут внутренние причины смерти? Лиссабон разрушен землетрясением, виноваты ли в том достоинства или недостатки португальской цивилизации? Поднимается самум, заносит песком караван в сахарской степи, — не доказывайте, что верблюды и лошади были плохи, люди глупы, товары не хороши» *.

В историческом оптимизме Гизо Чернышевского возмущала склонность находить, что победители всегда правы, а побежденные виноваты. Чернышевский называет эту склонность пошлостью и говорит, что на свете всяко бывает: иногда побеждают правые, а иногда и виноватые. Он применяет к истории слова Шиллера в «Торжестве победителей»:

Скольких бодрых жизнь поблекла!
Скольких низких рок щадит!
Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит! [2]

Германские варвары, разрушившие Западную Римскую империю, остаются в изображении Чернышевского [3] чем-то вроде «презрительного Терсита», по крайней мере до тех пор, пока они не покидают своих варварских порядков. Он так характеризует общественный порядок, водворившийся после крушения римского государства: «По завоевании римских провинций каждый человек из племени завоевателей разбойничает, грабит и режет кого ему вздумается, из завоеванного ли населения, из своих ли товарищей, пока кто-нибудь зарежет его, а вождь между тем рубит головы у всех, кто попадется ему в лапы» **. Из этого разбоя, продолжавшегося несколько веков, вышел, наконец, феодализм. Но и феодальный порядок вовсе не был прогрессом сравнительно с тем общественным бытом, какой существовал в Римской империи. В Риме все-таки была некоторая законность, а феодализм был грабежом, возведенным в систему, междоусобицей, подчиненной известным правилам. Конечно, даже и феодализм был шагом вперед по сравнению с VI и VII столетиями. Но, по замечанию Чернышевского, он был шагом вперед лишь в том смысле, в каком старинные итальянские разбойники, бравшие выкуп, были лучше прежних разбойников, резавших без выкупа. Когда феодализм уступил свое место централизованной бюрократии, что случилось не

* Сочинения, т. VIII, стр. 168 [1].
** Там же, стр. 169 [4].

раньше XVII века, в новой Европе утвердилась та форма, которая господствовала в Риме уже в третьем веке.

«Вот теперь и рассуждайте о благодетельном влиянии завоевания римских провинций варварами, — заключает Чернышевский. — Вся благотворность этого события состояла в том, что передовые части человеческого рода низвергнуты были в глубочайшую бездну одичалости, из которой едва успели вылезть до прежнего положения после неимоверных 14-вековых усилий» *. Эти строки показывают, что в исторических взглядах нашего автора отводится чрезвычайно широкое место *случайности*. Можно сказать, что все направление западноевропейской истории в продолжение 14 веков, последовавших за падением Римской империи, определилось, по его мнению, одной колоссальной случайностью или, как выражается он в другом месте, геологической катастрофой: нашествием варваров. Выражение «геологическая катастрофа» приводит нам на память Кювье, у которого геологическими катастрофами объяснялись судьбы фауны и флоры земного шара. Мы уже знаем, что Чернышевский отвергал теорию Кювье, держась точки зрения трансформизма [2]. И вот спрашивается, каким образом трансформизм уживался в его исторических взглядах с учением о случайностях и катастрофах, на целые столетия определяющих собой исторические судьбы народов?

Ставя этот вопрос, мы вовсе не хотим намекнуть на то, что трансформизм несогласим с понятием о катастрофах. Если под катастрофами понимать *перерывы в постепенности развития* — так называемые скачки в природе или в истории, — то непростительно было бы забывать, что еще Гегель очень ясно показал в своей «Логике» полную неизбежность «катастроф» во всякой сколько-нибудь стройной теории развития. Нам много раз случалось высказываться об этом предмете в других своих сочинениях, и мы не считаем нужным возвращаться к нему теперь. Но если «катастрофы» логически неизбежны во всякой сколько-нибудь стройной теории развития, то этим бесспорным обстоятельством вовсе еще не определяется, в какой мере может быть признана стройной данная теория, отводящая место «катастрофам». Когда мы спрашиваем, как уживался трансформизм Чернышевского с его учением о «катастрофах», мы хотим выяснить себе, умел ли он взглянуть на «катастрофы», как на один из моментов развития. Это один из самых важных вопросов, возникающих при оценке всякой данной общественной или исторической теории.

Ответа на этот вопрос надо искать в библиографической заметке Чернышевского о другом сочинении Гизо, тоже посвя-

* Там же, стр. 171 [1].

щенном истории цивилизации, но уже не специально во Франции, а во всей Европе. Русский перевод этого сочинения вышел в 1861 году, и в 9-й книжке «Современника» за тот же год Чернышевский дал о нем свой отзыв [1].

Гизо характеризуется в этой заметке как серьезный ученый, глубоко изучивший те предметы, о которых он говорит. Если у него много несправедливых мыслей, то каждую из этих мыслей Чернышевский все-таки считает заслуживающей внимательного разбора [2]. Главная особенность и главное достоинство исторических трудов Гизо состоят в том, что их автор устраняет из своего плана рассказ об отдельных событиях и сосредоточивает все свое внимание на характеристике общего духа событий, учреждений и понятий в каждую данную эпоху. Главным же недостатком этих трудов, в глазах Чернышевского, является, как мы уже знаем, излишний оптимизм в суждениях об исторических событиях *. Ученым основанием излишнего оптимизма послужило у Гизо одностороннее понятие о прогрессе. Какова бы ни была Западная Европа в XIII веке, но все-таки ее положение было тогда лучше, нежели в X веке. То же можно сказать о XVII столетии: положение Европы было тогда лучше, нежели 400 лет тому назад. Наконец, нынешнее время, каково бы оно ни было само по себе, все-таки лучше XVII столетия. Судьбы европейского человечества постоянно, хотя и медленно улучшаются. Это неоспоримо. Но из этого неоспоримого факта оптимисты, подобные Гизо, делают неправильные выводы.

Причина постоянных хотя и медленных улучшений в быте европейского человечества лежит, по словам Чернышевского, «в натуре самих европейских народов, которые, подобно всем другим народам, не лишены стремлений к просвещению, к правде и ко всему другому хорошему» **. К числу хороших свойств человеческой природы относится также врожденная способность и охота трудиться. Всеми этими хорошими качествами человеческой природы и объясняется постепенное улучшение судеб человечества. «Масса трудится, и понемногу совершенствуются производительные искусства. Она одарена любознательностью или, по крайней мере, любопытством, и постепенно развивается просвещение; благодаря развитию земледелия, промышленности и отвлеченных знаний смягчаются нравы, улучшаются обычаи, потом и учреждения; всему этому причина одна — внутреннее стремление массы к улучшению своего материального и нравственного быта»***.

Но это внутреннее стремление массы к улучшению своего быта осуществляется при условиях — Чернышевский говорит:

* Сочинения, т. VI, стр. 347 [3].
** Там же, стр. 348 [4].
*** Там же.

под влиянием форм, — не всегда для него благоприятных. Условия эти, по словам нашего автора, «происходят из совершенно других начал и поддерживаются совершенно иными средствами». Для примера Чернышевский берет феодализм: «Что общего имел он с трудолюбием или любознательностью? Произошел он из завоевания, целью его было присвоение плодов чужого труда, поддерживался он насилием, ученых стремлений феодалы не имели; они хотели проводить в лености все время, остававшееся у них от войн, турниров и тому подобных занятий» *. Поэтому нельзя утверждать, что феодализм был полезен труду в каком бы то ни было отношении. Если труд достигал каких-либо результатов, то это происходило наперекор феодализму, а не благодаря ему. То же надо сказать и об успехах знаний. Если эти успехи имели место, то опять-таки не благодаря феодализму, а вопреки ему. Этим объясняется медленность прогресса; этим объясняется то, что цивилизация до сих пор остается неудовлетворительною. Чернышевский говорит: «Ни в чем, кроме натуры человека, не находила себе цивилизация поддержки, а люди, трудом и любознательностью которых вырабатывалась она, находились в положении чрезвычайно стесненном, так что деятельность их была очень слаба и беспрестанно подвергалась помехам, уничтожавшим большую часть даже того немногого, что успевала она произвести. Едва приобретает она некоторые успехи в городах верхней Италии, как идут на нее полчища немцев, и результатом борьбы императоров с папами оказывается подчинение ломбардских и тосканских городов игу кондотьеров; едва начинает расцветать трудолюбие и наука в южной Франции, как Иннокентий III указывает полчищам северной Франции эти цветущие области, провозглашая истребление альбигойцев. Так или иначе, та же самая история постоянно повторялась повсюду в Западной Европе»**.

Хотя прогресс совершался *благодаря* человеческой природе и *вопреки* тем формам, при которых ей приходилось осуществлять свои стремления, однако историки, склонные к оптимизму, относили его именно на счет этих форм, повторяя логическую ошибку, выражающуюся в формуле: post hoc, ergo propter hoc***. Они говорили: «прогресс совершился при этой форме— значит, он был вызван ею». Чернышевский замечает, что, следуя такой логике, нужно было считать зиму причиной теплоты, сохраняющейся в жилищах наперекор влиянию внешнего холода. И он находит, что Гизо более всех других историков повинен в таком грехе против логики: у него каждый значи-

* Там же.

** Там же [1].

*** [после этого — значит, вследствие этого.]

тельный факт непременно оказывается содействовавшим прогрессу *.

Не касаясь тех причин, которыми Чернышевский объясняет оптимизм Гизо, мы постараемся анализировать его собственные рассуждения.

Прежде всего мы заметим, что в основе всех его относящихся сюда рассуждений лежит мысль, противоречащая тому, что мы узнали из статьи «Антропологический принцип в философии». Там он говорил, что человек по своей природе не добр, не зол, а делается добрым или злым смотря по обстоятельствам. Теперь оказывается, что человеческая природа стремится «к просвещению, к правде, ко всему хорошему» и что она настойчиво осуществляет это стремление, вопреки неблагоприятным для нее обстоятельствам. А в чем состоят эти обстоятельства? В поступках людей, которые убивают своих ближних, грабят их и прерывают их полезный труд всяческими насилиями. Но если поступки такого рода в свою очередь объясняются природой человека, то неполна делаемая здесь Чернышевским характеристика человеческой природы: тогда надобно сказать, что в природе человека лежит стремление не только ко всему хорошему, но также и ко всему дурному. А раз мы дополнили таким образом характеристику природы человека, перед нами неизбежно возникает вопрос: почему же в одних случаях брали верх свойственные этой природе хорошие стремления, а в других—дурные? Если мы скажем — как это говорит наш автор в статье «Антропологический принцип в философии», — что тут все зависело от обстоятельств, то это будет справедливо. Но тогда перед нами немедленно возникнет вопрос о том, каковы же были обстоятельства, позволившие проявиться тем злым началам человеческой природы, которые привели, например, к возникновению феодализма. На этот вопрос в рассуждениях Чернышевского вовсе нет ответа; но зато в них встречаются замечания, дающие нам повод думать, что он вряд ли согласился бы отнести на счет человеческой природы злые поступки вроде резни, завоеваний, эксплуатации чужого труда и т. п. Он утверждает, как мы видели, что формы быта, при неблагоприятном влиянии которых «вырабатывается прогресс», «происходят из совершенно других начал». Откуда берутся эти начала, остается неизвестным. Но откуда бы ни выводил их здесь наш автор, ясно, что, только покинув ту точку зрения, которая защищалась им в статье «Антропологический принцип в философии», мог он отказаться выводить их из человеческой природы.

Пойдем далее. Формы, при которых совершается прогресс, не всегда благоприятны для него. Хорошо. Какие же это формы?

* Там же, стр. 349 [1].

Чернышевский указывает на феодализм. Но феодализм представляет собою целую и довольно сложную совокупность общественных отношений. Какую же сторону этих отношений имеет в виду Чернышевский? Он больше всего останавливается на войнах, грабежах, завоеваниях и т. п. Всмотримся и мы в эту сторону феодальных отношений.

Конечно, война до известной степени определяет собою общественный строй, но, прежде чем определять его, она сама определяется им. Поэтому — и только поэтому — она имеет различный характер на различных ступенях общественного развития: дикари воюют между собою иначе, нежели варварские племена, а варварские племена иначе, нежели цивилизованные народы. Последствия завоевания также не одинаковы на различных ступенях общественного развития. Когда норманны завоевали Англию, то последствия получились одни, а когда немцы завоевали Эльзас-Лотарингию, то последствия получились совершенно иные. Общественные последствия завоевания всегда зависели от общественных отношений, господствовавших в среде завоевателей, с одной стороны, и в среде завоеванных — с другой. Что касается собственно феодализма, рассматриваемого с интересующей нас здесь стороны, то нужно помнить, что появление особого сословия, на обязанности которого лежало занятие военным делом, предполагало длинный процесс социального развития, состоявший в изменении имущественных, главным образом поземельных, отношений и в обусловленном этим изменением разделении общественного труда *. И этот процесс совершался на известной экономической основе, которая странным образом совершенно упускается из виду нашим автором. Он говорит, что, следуя своему хорошему стремлению, средневековые люди трудились и что их труду мешали такие «формы», как феодализм. Но положим, что не было бы феодализма и других подобных ему неблагоприятных для труда «форм». Спрашивается, какой вид приняла бы тогда общественная группировка? Какие «формы» сложились бы под влиянием не встречающего препятствия стремления к труду? Чернышевский, вероятно, ответил бы, что тогда процвели бы те или другие разновидности общинного быта. Но каковы были бы пределы общин, развивающихся при столь благоприятных обстоятельствах. И нет ли основания предполагать, что возникли бы трения между общинами? А если есть такие основания, то не имеем ли мы право думать, что эти трения привели бы к войнам, к угнетению слабых сильными и ко всем тем явлениям, наличностью которых Чернышевский объяснял медленное развитие цивилизации?

* Ср. названное выше соч. *Д. Петрушевского* «Очерки из истории средневекового общества и государства», стр. 234—256 и 290—309.

Отводя насилию преувеличенную роль в средневековой истории западноевропейских обществ, Чернышевский следовал примеру своих учителей — социалистов утопического периода, со своей стороны следовавших примеру французских историков времен реставрации.

Эти историки очень хорошо умели ценить роль борьбы классов в развитии европейского общества. Гизо говорил, что вся история Франции сделана борьбою классов *. На Великую Французскую революцию французские историки названной эпохи тоже смотрели, как на результат борьбы «третьего сословия» со светской и духовной аристократией. Так как они были идеологами буржуазии, то естественно, что все их симпатии были на стороне «третьего сословия». Как ни склонен был, например, Гизо к оптимизму, но и его оптимизм сводился в сущности к тому убеждению, что вся история Европы со времени падения Западной Римской империи так или иначе подготовляла торжество «третьего сословия», или — как точнее выражался Гизо — средних классов. И поскольку эти ученые смотрели на эту историю, как на закономерный процесс, постольку они видели в ней именно процесс, подготовляющий торжество буржуазии. Достаточно напомнить Огюстэна Тьерри с его превосходной для того времени «Историей третьего сословия». Стоя на точке зрения средних классов, Огюстэн Тьерри и другие современные ему великие французские историки не питали никакой симпатии к феодализму. И хотя они вполне готовы были признать закономерность его исторического появления, однако оно было изучено ими плохо и объяснялось преимущественно завоеванием. Одни из них, например Гизо, очень легко мирились с фактом завоевания и весьма охотно распространялись об его благих последствиях, которые, впрочем, как уже сказано, состояли преимущественно в том, что подготовляли более или менее отдаленное торжество среднего класса. Другие, например Огюстэн Тьерри, относились к факту завоевания с большой и даже почти страстной антипатией. Но, как бы там ни было, все они объясняли возникновение феодализма именно завоеванием, в противность буржуазному порядку, развитие которого объяснялось у них преимущественно экономическими причинами. С точки зрения современной экономической науки, открывшей экономические причины возникновения феодализма, эта особенность, свойственная взглядам французских историков времен реставрации, конечно, должна быть признана слабой стороной этих взглядов. Но социалисты-утописты смотрели на этот вопрос иначе. Слабая сторо-

* Интересно, что эту сторону взглядов Гизо Чернышевский оставил без внимания.

на взглядов французских историков представлялась им, наоборот, сильною их стороною, доставлявшей им новые доводы против основ существующего общественного порядка: собственность, оказывающаяся последствием завоевания, лишалась того священного вида, какой старались придать ей консерваторы. Поэтому социалисты-утописты вовсе не расположены были пополнять указанный пробел во взглядах историков. Не расположен был к этому — как мы только что видели — и Чернышевский. Он, подобно всем социалистам-утопистам, приписывал завоеванию преувеличенное значение. Он не замечал, до какой степени несогласим его взгляд на «формы», подобные феодализму и будто бы противные природе человека, с тем, что говорилось в очень одобренной им речи Грановского о значении истории. Читатель помнит, что в этой речи исторические судьбы народов и даже их социальный быт ставились в причинную зависимость от свойств географической среды. И мы уже отметили, что влияние этой среды самим Чернышевским принималось в смысле облегчения или затруднения *экономического* развития общества, как главнейшей основы его строя.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И МАРКС

Мы уже не раз говорили, что Чернышевский, подобно Марксу, прошел школу Фейербаха. Мы говорили также, что, между тем как Чернышевский продолжал держаться взглядов Фейербаха, применяя их к некоторым отдельным отраслям знания — например, к эстетике, — Маркс в сотрудничестве с Энгельсом подверг эти взгляды коренной переработке, в особенности с той их стороны, которая имела отношение к истории. Интересно сравнить результаты, к которым пришли Маркс и Энгельс в своем объяснении истории, с теми выводами, к которым пришел в той же области наш автор. Материал для весьма наглядного сравнения может дать большая и чрезвычайно содержательная рецензия Маркса на сочинение Гизо: «Pourquoi la révolution d'Angleterre a-t-elle réussi? Discours sur l'histoire de la révolution d'Angleterre», Paris *. 1850, появившаяся первоначально в *журнале* Маркса «Neue Rheinische Zeitung» ** и переизданная Мерингом в III томе «Литературного наследства Маркса, Энгельса и Лассаля» [1].

---

* [«Почему удалась английская революция? Рассуждение об истории английской революции». Париж]

** [«Новая Рейнская газета»]

Главный упрек, делаемый Марксом Гизо в этой рецензии, состоит в том, что французский ученый применяет к объяснению истории Англии обычные фразы, употребляющиеся во французских парламентских спорах, упуская из вида экономическое развитие этой страны и обусловленную его ходом борьбу классов внутри английского общества. Говоря о влиянии религиозных учений на ход английской революции, Гизо забывает, что учения эти стояли в тесной причинной связи с развитием гражданского общества. Изгнание Стюартов из Англии тоже изображается без всякой связи даже с его ближайшими экономическими причинами, например с опасениями поземельной аристократии за те земли, которые достались ей вследствие секуляризации церковных имений и которые, разумеется, были бы отобраны у нее, если бы восторжествовал католицизм, пользовавшийся поддержкой Стюартов, и т. д.* О человеческой природе, о том, как относятся к ней некоторые формы общественного быта, в этой рецензии Маркса нет и речи: очевидно, он уже в то время, к которому она относится, твердо держался принципа, высказанного им потом в «Капитале» и гласящего, что, благодаря воздействию человека на внешнюю природу в процессе производства, изменяется его собственная природа [2]. Короче, Маркс уже в 1850 году, когда была написана им эта рецензия, судит о Гизо, как материалист, между тем как Чернышевский в заметках, написанных 10 лет спустя, противопоставляет рассуждениям французского историка лишь чисто идеалистические соображения.

Заметим мимоходом, что Маркс был не совсем прав в своем отношении к Гизо. Этот последний далеко не так чужд приемов материалистического объяснения исторических событий, как это можно подумать на основании рецензии Маркса. Впоследствии Энгельс гораздо справедливее высказывался о французских историках времен реставрации. Но для Маркса характерно в указанной рецензии даже его слишком строгое отношение к Гизо: оно вызвано было не чем иным, как раздражением при виде элементов идеализма, несомненно занимавших очень большое место в исторических взглядах французского историка. Чернышевский тоже раздражается против Гизо, но он раздражается не тем, что Гизо все-таки оставался в конце концов идеалистом, а тем, что суждения этого ученого не всегда были достаточно пропитаны той разновидностью идеализма, которой придерживались социалисты утопического периода и в силу

* «Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassale», Dritter Band, Stuttgart 1902, S. 412—413. [«Из литературного наследия Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Фердинанда Лассаля». Том третий, Штутгарт 1902, стр. 412—413] [1].

которой они не *объясняли* истории, а только порицали или одобряли те или другие исторические явления.

Характеризуя диалектический метод, Чернышевский говорил, что в действительности все зависит от условий места и времени и что поэтому неудовлетворительны те общие, отвлеченные положения, с помощью которых люди судили прежде (до Гегеля) о добре и зле. Критикуя взгляды Гизо, он сам начинает судить об исторических событиях с точки зрения этих отвлеченных положений. Но в том-то и дело, что ему редко случалось смотреть на историю с диалектической точки зрения.

Маркс и Энгельс никогда не отрицали исторического значения развития идей вообще и научных понятий в частности. Однако они твердо помнили, что не бытие определяется сознанием, а сознание бытием и что, следовательно, не история идеологий объясняет собою историю общества, а, наоборот, история общества объясняет собою историю идеологий. Чернышевский также хорошо видел это в отдельных случаях. Мы уже знаем тому блестящие примеры. Но когда он сводил в одно целое свои отдельные исторические взгляды, он как будто совсем забывал свои материалистические мысли и ставил развитие бытия в причинную зависимость от развития сознания. Самые замечательные в этом отношении страницы его находятся в его рецензии на книгу Новицкого «Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований» («Современник», 1860 год, № 6, перепечатана в Полн. собр. сочин.) [1].

В этой рецензии Чернышевский сравнивает историю человечества с военными походами. При военных походах появляются обыкновенно отсталые, число которых все более и более увеличивается, по мере того как все более и более подвигается вперед армия со своим генеральным штабом. При быстрых наступлениях бывает иногда так, что большинство солдат остается назади. Эти отсталые уже не участвуют в битвах и только обременяют собою своих находящихся в строю товарищей, на плечи которых и падает вся тяжесть борьбы. Но когда их борьба оканчивается победой, когда враги приводятся к покорности, а победители получают возможность отдохнуть, тогда отсталые мало-помалу нагоняют передовых, и в конце концов вся армия опять соединяется под своими знаменами, как это было в начале похода. То же самое замечается и в умственном движении человечества. Сначала все народы идут наравне: древние греки имели некогда такие понятия, какие и теперь свойственны готтентотам. Потом некоторые народы стали уходить вперед, а другие отставать от них. Греки, изображенные Гомером, были уже передовым народом сравнительно с какими-нибудь троглодитами или лестригонами [2]. Далее и между греками стали по-

являться отсталые и передовые. Так, например, уже в эпоху Солона спартанцы далеко отставали от афинян. Потом и в среде самих афинян возникло разделение. «Мудрость Солона, — говорит Чернышевский, — была понятна и доступна каждому афинскому гражданину, а Сократ кажется уже вольнодумцем большинству своих соотечественников» *. То же видим мы и в новой истории. Первоначально вся масса людей, населявшая провинции бывшей Западной Римской империи, имела одинаковый взгляд на вещи: «Папа в VII или VIII веке отличается от самого необразованного французского или ирландского поселянина только тем, что больше его помнит текстов и молитв, а не тем, чтобы иначе разумел смысл их». Через несколько времени дело изменяется: «различие сословий по материальному положению производит разницу и в их умственной жизни»**. Церковные богатства дают возможность образоваться теологам, между которыми самые даровитые принимаются уже за переделку старых понятий. Вместе с этим идет вперед и наука, которая тоже развивает в себе содержание, понятное лишь для специалистов и потому недоступное массе. Эти успехи знаний «основаны на материальных средствах, которыми располагает духовенство и среднее сословие; горожане участвуют и в произведении новой поэзии, уже недоступной всему народу, остающемуся при прежних сказках и песнях: в городских цехах составляются компании мастеров поэзии, мейстерзингеров; но еще больше содействуют этой перемене богатства феодальных баронов, у которых являются придворные поэты-трубадуры»***. Но в средние века расстояние между передовыми людьми и массой было все-таки меньше, нежели оно стало в новое время, когда наука начала развиваться с замечательною быстротою, между тем как огромное большинство населения продолжало оставаться в невежестве, очень близком к тому, в каком оно находилось в IX или X веке. Не менее быстро развивалась и поэзия образованных сословий, между тем как масса оставалась при искаженных клочках общенародной поэзии средних веков. Подобное же отношение существует даже в среде образованных людей. Чернышевский приводит пример Шекспира. «Мы видим, — говорит он, — что очень немногие английские поэты прошлого века понимали Шекспира и очень немногие люди в образованной публике умели ценить этого поэта. Остальные очень долго продолжали держаться надутой реторики или холодной прилизанности, которая принадлежала степени поэтического развития несравненно низшей, чем Шекспировская натуральность. То же самое проис-

* Сочинения, т. VI, 265 [1].
** Там же, стр. 266 [2].
*** Там же, та же стр.

ходило и продолжает происходить повсюду во всех направлениях умственной жизни» *.

Отсталость всегда была до сих пор участью большинства. Так продолжает быть и теперь. Но отсюда еще не следует, что так всегда будет. Завоеванная истина так проста, так понятна каждому, что принять ее гораздо легче, нежели открыть. И она будет принята массой, когда дойдет до ее сведения.

Чернышевский так резюмирует свой взгляд на ход умственного развития человечества: «Дело начинается постепенным выделением людей высшего умственного развития из толпы, которая все дальше и дальше отстает от их быстрого движения. Но по достижении очень высоких степеней развития умственная жизнь передовых людей получает характер, все более и более доступный простым людям, все больше и больше соответствующий простым потребностям массы, и вторая, высшая половина исторической умственной жизни состоит по своему отношению к умственной жизни простолюдинов в постепенном возвращении того единства народной жизни, которое было при самом начале и которое разрушалось в первой половине движения» **.

По словам Чернышевского, завоеванная истина сообразна с потребностями массы. Какая же это истина? Это, очевидно, не математическая и не естественно-научная истина. Математические и естественно-научные истины не имеют непосредственного отношения к интересам массы. А если бы и было у них такое отношение, то все-таки для их понимания нужна была бы известная, более или менее значительная специальная подготовка. Чернышевский намекает на истину, касающуюся взаимных отношений людей в обществе. Он считал, что эта истина уже открыта его западноевропейскими учителями — Фейербахом и великими представителями утопического социализма: Робертом Оуэном, Фурье и другими. Поэтому он полагал, что уже началась или скоро начнется вторая половина исторической умственной жизни человечества, та высшая его половина, в течение которой откроется, наконец, истина и распространится в массе, вследствие чего масса сблизится в своих понятиях с самыми передовыми людьми. Ручательством за возможность усвоения массой открытой, наконец, истины служит, во-первых, ее простота, а во-вторых, ее соответствие с интересами массы. Тот самый расчет, которым обыкновенно руководствуются люди в своих поступках, заставит массу не только усвоить истину, но и воплотить ее в своей общественной жизни. Так представляется Чернышевскому дальнейший ход общественного

* Там же, стр. 267.
** Там же, стр. 268 [1].

развития. Сознание определит собою бытие, и поэтому нет надобности исследовать, в какой мере и какое именно общественное бытие может содействовать усвоению массой социальной истины. Истина эта так проста, что ее поймет всякий человек, способный к самому элементарному расчету. Это представление о дальнейшем ходе общественного развития прямо противоположно тому, который мы находим у основателей научного социализма. Когда Маркс и Энгельс делали свой известный «прогноз», они апеллировали ко внутренним противоречиям капиталистического общества и доказывали, что неизбежное и неотвратимое развитие этих противоречий капитализма приведет[1] огромное большинство производителей к усвоению новых общественных идеалов. Ход развития *сознания* рассматривался здесь как необходимое следствие определенного хода развития *бытия*. Чернышевский не анализирует внутренних противоречий, свойственных общественному бытию. Он довольствуется констатированием того факта, что «форма» этого бытия повсюду неблагоприятна теперь для огромной массы населения. Этого факта достаточно, по его мнению, для того, чтобы масса усвоила социальную истину. Крайняя простота этой истины делает ее доступной для понимания «простолюдинов», живущих при самых различных отношениях производства. Дальнейший ход развития бытия представляется Чернышевскому простым следствием известного завоевания сознания. Маркс и Энгельс смотрели на вопрос с точки зрения материализма. Чернышевский рассматривал этот же вопрос с идеалистической точки зрения. Исторические взгляды Маркса и Энгельса были верны материалистическому духу Фейербаховой философии. Исторические взгляды Чернышевского противоречили этому духу. Конечно, тут безусловно необходимо помнить[2], что в своих исторических взглядах учитель Чернышевского сам был неверен основным положениям своей философии, как это показано Энгельсом в брошюре «Людвиг Фейербах».

Слишком прямолинейный характер понятия Чернышевского о прогрессе ясно обнаруживается в том, что говорится у него о Шекспире. Правда, что только очень немногие образованные англичане XVIII века умели ценить великое достоинство сочинений гениального драматурга, большинство же английской публики того времени смотрело на него довольно пренебрежительно. Но это объясняется вовсе не отсутствием знаний у этого большинства. Факт тот, что в то время, когда огромнейшая часть так называемой образованной публики смотрела на Шекспира сверху вниз, городские «простолюдины», имевшие, конечно, меньше литературных знаний, чем тогдашние «образованные» люди, относились к нему с большою и нередко довольно бурно

выражаемой симпатией. Объяснение этого факта заключается в некоторых особенностях классовой психологии в английском обществе XVIII, а также XVII века. Со времени реставрации, английская аристократия стремилась перенести к себе на родину вкусы блестящего французского дворянства, которым очень мало соответствовал грубоватый и подчас прямо «простонародный» реализм Шекспира. Но за этот-то реализм его и любили «простолюдины». Как видим, история взгляда англичан на Шекспира была на самом деле много сложнее, нежели думал Чернышевский, на этот раз опять позабывший свои собственные прекрасные слова о том, что на историю мнений нельзя смотреть с точки зрения экзамена: люди знали одно, а не знали другого и т. д.

Только что изложенная рецензия еще раз показывает нам, что в своих исторических рассуждениях наш автор часто переходил с идеалистической точки зрения на материалистическую, и наоборот. Заключающееся в ней понимание истории пропитано духом идеализма. Но когда Чернышевский рассматривает отдельные исторические явления, обусловливавшие собою успехи умственной жизни человечества, он нередко рассуждает, как материалист. «Различие сословий по материальному положению производит разницу и в их умственной жизни», — говорит он. Успехи средневекового просвещения основывались, по его словам, на материальных средствах, находившихся в распоряжении духовенства, среднего сословия и феодальных баронов. Таким образом, выходит, что развитие мысли отнюдь не было наиболее глубокой причиной исторического движения. Напротив, оно само определялось экономическим развитием общества. Всякий видит, что материалистические взгляды этого рода находятся в резком противоречии с историческим идеализмом Чернышевского.

Мы уже знаем, что Чернышевский считал феодализм одной из тех «форм», которые своим возникновением и существованием задерживали поступательное движение народов. Этой идеалистической оценке феодализма противоречит только что указанная нами материалистическая его оценка, согласно которой феодализм был «формой», способствующей накоплению знаний, а следовательно, и прогрессивному движению человечества. Чтобы устранить это противоречие, Чернышевскому нужно было бы последовательно держаться или материализма, или идеализма. Но такая последовательность была недостижима для него, как для представителя переходной эпохи в развитии научного понимания истории: той эпохи, когда материализм уже вел борьбу с идеализмом в этой области, но когда он еще был далек от победы и когда последнее слово все еще принадлежало идеализму.

Нам могут напомнить, что, согласно нашему замечанию, разобранные нами рецензии Чернышевского появились уже после того, как исторические взгляды Маркса и Энгельса сложились в стройное целое. Мы и не забываем этого. Но мы думаем, что дело не решается здесь простыми хронологическими справками. Главные сочинения Лассаля тоже явились уже после того, как исторические взгляды Маркса и Энгельса приняли стройный вид, а между тем по своему идейному содержанию сочинения эти тоже принадлежат к эпохе перехода от исторического идеализма к историческому материализму. Дело не в том, когда вышло данное сочинение, а в том, каково было его содержание.

Если в предыдущие исторические эпохи прогресс знаний обусловливался складом экономических отношений, то, переходя к нашей эпохе, Чернышевскому нужно было спросить себя, каковы те ее экономические особенности, которые повели к открытию социальной истины и обеспечивали ее будущее осуществление в жизни. Но для того, чтобы задаться этим вопросом, нужно было решительно порвать с идеализмом и обеими ногами встать на почву материалистического объяснения истории. Мы не станем повторять, что Чернышевский был еще далек от разрыва с идеализмом и что его представление о дальнейшем ходе общественного развития было совершенно идеалистическим. Мы только попросим читателя заметить, что исторический идеализм Чернышевского заставлял его отводить в своих соображениях о будущем первое место «передовым» людям — *интеллигентам,* как выражаются у нас теперь, — которые должны распространить в массе открытую, наконец, социальную истину. Массе отводится у него роль отсталых солдат подвигающейся вперед армии. Конечно, ни один толковый материалист не станет утверждать, будто средний «простолюдин» только потому, что он простолюдин, т. е. «человек массы», знает не меньше среднего «интеллигента». Он знает, конечно, меньше его. Но ведь речь идет не о знаниях «простолюдина», а об его поступках. Поступки же людей не всегда определяются их знаниями и всегда определяются *не только* их знаниями, а также — и самым главным образом — их положением, которое только освещается и осмысливается свойственными им знаниями. Тут опять приходится вспомнить основное положение материализма вообще и материалистического объяснения истории в частности: не бытие определяется сознанием, а сознание бытием. «Сознание» человека из «интеллигенции» более развито, нежели сознание человека из «массы». Но «бытие» человека из массы предписывает ему гораздо более определенный способ действия, нежели тот, который предписывается интеллигенту его общественным положением. Вот

почему материалистический взгляд на историю позволяет лишь в известном и притом очень ограниченном смысле говорить об отсталости человека из «массы» сравнительно с человеком из «интеллигенции»: в известном смысле «простолюдин», несомненно, отстает от «интеллигента», а в другом смысле он, несомненно, опережает его. И именно потому, что это так, сторонник материалистического объяснения истории, отнюдь не повторяя нелепых нападок на интеллигенцию, идущих из черносотенного и синдикалистского лагеря, в то же время никогда не согласится отвести интеллигенции ту роль Демиурга истории, которую отводят ей обыкновенно идеалисты. Есть разные роды аристократизма. Исторический идеализм грешит «аристократизмом знания».

То, что в исторических взглядах Чернышевского было недостатком, вызванным неразработанностью Фейербаховского материализма, стало впоследствии основою нашего субъективизма, не имевшего ничего общего с материализмом и решительно восставшего против него не только в области истории, но также и в области философии. Субъективисты хвастливо называли себя продолжателями лучших традиций 60-х годов. На самом деле они продолжали только слабые стороны свойственного этой эпохе миросозерцания. Сильные стороны миросозерцания той же эпохи легли в основу взглядов материалистических противников «субъективизма». На этом основании нетрудно решить вопрос, кто, собственно, был более верен лучшим традициям 60-х годов.

Заговорив о «субъективистах», мы невольно вспоминаем их некогда частые и многоречивые рассуждения о «роли личности в истории». Правы ли были «субъективисты», утверждая, что в этих рассуждениях повторяются и развиваются взгляды наших великих «просветителей»? И да, и нет. Идеалистический взгляд на историю, как мы уже видели, по необходимости отводит «передовым личностям» страшно преувеличенную роль. И поскольку, например, Чернышевский держался этого идеализма, постольку его взгляд на роль личности в истории был близок ко взгляду «субъективистов». Но мы уже знаем, что в его миросозерцании существовали также зародыши материалистического объяснения истории. И поскольку они существовали, постольку взгляд Чернышевского на интересующий нас здесь предмет был как нельзя более далек от «субъективного» взгляда.

В речи Грановского «О современном состоянии и значении всеобщей истории», о которой с такой безусловной похвалой отзывается Чернышевский, приводятся, между прочим, следующие слова академика Бера: «Ход всемирной истории определяется внешними физическими условиями. Влияние отдель-

ных личностей в сравнении с ними ничтожно. Они всегда почти приводили только в исполнение то, что уже было подготовлено и так или иначе, а должно было совершиться. Стремление установить что-нибудь совершенно новое и неподготовленное остается безуспешным или влечет за собой только разрушение»*. Грановский ничего не возражает против этого взгляда. Не возражает против него и Чернышевский в своей статье о Грановском. Но как же относится этот взгляд ко взгляду сторонников материалистического объяснения истории? Он является намеком на него, первым шагом научной мысли в том направлении, по которому с таким успехом пошли впоследствии Маркс и Энгельс. «Личности», в самом деле, всегда приводили в исполнение только то, что уже было подготовлено. Тут Бер прав. Но он делает большую ошибку, когда сравнивает влияние отдельных личностей с влиянием внешних физических условий. Это последнее влияние редко бывало непосредственным. Чаще всего физические условия влияли на историю лишь косвенно, лишь через посредство тех социальных отношений, которые ими вызывались. Поэтому влияние отдельных личностей нужно было бы сравнивать не с влиянием внешних физических условий, а с влиянием социальных отношений. Однако методологически и это сравнение рискует быть очень неправильным, потому что социальные отношения суть отношения людей, а не каких-то метафизических сущностей, хотя и касающихся людей, но все-таки как будто им противостоящих. В действительности историю делают люди, но делают они ее так, а не иначе, не потому, что они сознательно хотят сделать ее именно так и именно не иначе, а потому, что их действия определяются не зависящими от их воли условиями. В числе этих условий нужно, разумеется, отметить и внешние физические условия; но главное место нужно отвести тем отношениям производства, которые возникают на почве данных производительных сил, в свою очередь немало зависящих от географической среды. У Бера есть ясные намеки на все это: недаром же он говорит о влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов. Но то, что было справедливо в этих ясных намеках, получило надлежащее развитие лишь в историческом материализме Маркса—Энгельса.

В своем сочинении о Лессинге Чернышевский следующим образом формулирует свой взгляд на возможную роль отдельных личностей в истории:

«Ход великих мировых событий неизбежен и неотвратим, как течение великой реки: никакая скала, никакая пропасть не удержит ее, не говоря уже о плотинах, произвольно устро-

* Соч. *Грановского*, стр. 34—35.

иваемых: плотиною ничья сила не пересыплет Рейна или Волги, и всесильная река одним напором выбросит на берег все сваи и весь мусор, которым дерзкая рука безумца хотела преградить ее течение; единственным результатом безрассудной политики будет только то, что берег, который спокойно напоялся бы рекой и зеленел роскошным лугом, будет на время истерзан и обезображен гневом оскорбленной волны, — а река пойдет-таки своим путем, зальет все пропасти, прорвет хребты гор и достигнет океана, к которому стремится. Совершение великих мировых событий не зависит ни от чьей воли, ни от какой личности. Они совершаются по закону столько же непреложному, как закон тяготения или органического возрастания. Но скорее или медленнее совершается мировое событие, тем или другим способом совершится оно — это зависит от обстоятельств, которых нельзя предвидеть и определить наперед. Важнейшее из этих обстоятельств — появление сильных личностей, которые характером своей деятельности дают тот или другой характер неизменному направлению событий, ускоряют или замедляют его ход и сообщают своею преобладающей силою правильность хаотическому волнению сил, приводящих в движение массы»*.

К этим мыслям можно прибавить только два замечания.

Во-первых, появление сильных личностей тоже не случайно. Давно уже было замечено, что сильные личности часто появляются в истории именно тогда, когда есть большой спрос на них. Чем это объясняется? Просто-напросто тем, что сильные личности данного разряда не при всяком общественном строе могут найти приложение для своих способностей. Вот, например, никто не станет оспаривать, что сильная личность Наполеона положила чрезвычайно глубокую печать на известную историческую эпоху. Но нужны были особые исторические условия для того, чтобы сила Наполеона могла развернуться во всей своей полноте. Продержись старый порядок 30-ю годами дольше, и мы не знаем, как сложилась бы жизнь Наполеона. Говорят, что за несколько лет до революции он хотел уехать в Россию, чтобы служить в русской армии. Нечего и говорить, что карьера, которая ждала бы его там, ни в каком случае не привела бы его к мировому господству. А Наполеоновы маршалы? В 1789 году Ней, Мюрат и Сульт были унтер-офицерами. Не случись революции, они, может быть, никогда не увидели бы офицерских эполет. В том же году, т. е. в том году, когда началась революция, Ожеро был простым учителем фехтования, Ланн — красильщиком, Гувион Сен-Сир — актером, Мармон — наборщиком, Жюно — студентом юридического факультета и т. д.

* Сочинения, т. III, 644—645 [1].

Все эти люди имели очень большие военные способности. Но старый порядок не позволил бы этим способностям развернуться; известно, что при Людовике XV только одно лицо не дворянского сословия дослужилось до чина генерал-лейтенанта, а при Людовике XVI еще более была затруднена военная карьера для лиц не дворянского происхождения *. Выходит, стало быть, что общественные отношения, существующие в данное время у данного народа, определяют собою, будет или не будет открыта в данной области дорога для известной категории сильных личностей. А так как всякий данный склад общественных отношений представляет собою нечто вполне закономерное, то ясно, что и в появлении сильных личностей на арене истории есть своя закономерность.

Во-вторых, справедливо то, что, раз появившись на исторической арене, сильная личность ускоряет своею деятельностью ход событий. Но и тут очевидно, что величина ускорения зависит от свойств той социальной среды, в которой приходится действовать сильной личности.

С этими оговорками взгляд Чернышевского вполне приемлем для сторонников современного материалистического объяснения истории. Не нужно много проницательности, чтобы видеть, как далек этот взгляд от учения наших субъективных социологов. Эти господа имели приятное обыкновение обвинять «учеников» Маркса в том, что те отказывались будто бы от наследства 60-х годов. Но если сопоставить их иеремиады с тем, что говорит о роли личности Чернышевский в только что приведенной нами выписке, то будет ясно, что эти иеремиады с таким же основанием — вернее, с таким же полным отсутствием логического основания — могли бы быть направлены по адресу Чернышевского, с каким они направлялись по адресу марксистов. Здесь, как и во всех других отношениях, только марксисты оставались верны лучшим заветам наших великих «просветителей» 60-х годов.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Как уже сказано, Чернышевский по возвращении из Сибири занимался, между прочим, переводом «Всеобщей истории» Вебера и к некоторым томам своего перевода сделал приложения, весьма важные для характеристики его исторических воззрений. Мы рассмотрим здесь некоторые из них.

* Подробнее об этом см. в моей статье «К вопросу о роли личности в истории» в сборнике «За двадцать лет» [1].

Все эти приложения посвящаются изложению «научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории». По весьма понятной причине наибольший интерес имеет для нас приложение, рассматривающее те элементы, которыми производится, по мнению Чернышевского, прогресс.

Для Чернышевского прогресс заключается в улучшении человеческих понятий и привычек. Поэтому и вопрос о причинах, производящих прогресс, сводится для него к вопросу о том, чем вызывается названное улучшение.

Чернышевский говорит, что все те преимущества, какие имеет человеческая жизнь над жизнью животных, представляют собою результаты умственного превосходства человека. Поэтому основной силой, возвышавшей человеческий быт, Чернышевский признает умственное развитие людей. Конечно, умственная сила может производить и часто в самом деле производит вредные результаты; но она производит их, по замечанию Чернышевского, лишь под влиянием сил и обстоятельств, искажающих природный характер ее. «Само по себе умственное развитие, — говорит он, — имеет тенденцию улучшать понятие человека о его обязанностях относительно других людей, делать его более добрым, развивать в нем понятие о справедливости и честности» *.

Это, как видим, тот самый взгляд, который Чернышевский излагал когда-то в своих заметках о книгах Гизо. Нет надобности пояснять, что взгляд, согласно которому умственное развитие является главной движущей силой прогресса, есть идеалистический взгляд.

Утвердившись на своей идеалистической точке зрения, Чернышевский рассуждает по-своему очень логично, говоря, что так как всякая перемена в народной жизни есть сумма перемен в жизни отдельных людей, составляющих нацию, то при рассмотрении тех обстоятельств, которые благоприятны или неблагоприятны улучшению умственной и нравственной жизни народов, нужно выяснить себе, от каких причин улучшается или портится отдельный человек в умственном или нравственном отношении.

Политическая экономия, которая раньше других общественных наук выработала точные понятия об условиях прогресса, установила как незыблемый принцип, что только добровольная деятельность человека производит хорошие результаты, между тем как все, делаемое человеком по внешнему принуждению, выходит очень плохо. Применяя эту истину к вопросу об успешности материального человеческого труда, мы получаем тот вывод, что «все формы недобровольной работы

* Сочинения, т. X, ч. 2, отд. IV, стр. 170 [1].

непроизводительны и что материальным благосостоянием может пользоваться только то общество, в котором люди пашут землю, изготовляют одежду, строят жилища, каждый по собственному убеждению в полезности для него заниматься той же работой, над которой он трудится» *.

Применяя тот же принцип к вопросу о приобретении и сохранении умственных и нравственных благ, мы приходим к тому заключению, что «никакое внешнее принуждение не может поддержать человека ни на умственной, ни на нравственной высоте, когда он сам не желает держаться на ней»**.

Эти выводы, подкрепляемые у Чернышевского рядом педагогических соображений, имеют в его глазах не только теоретическую, но и практическую важность. Образованные нации обыкновенно смотрят на дикие племена, как на детей, воспитание которых может и должно насильственно направляться к определенной благой цели. Так же смотрит образованное сословие цивилизованных наций на невежественные массы своих собственных стран. Чернышевский энергично восстает против этого взгляда. Он говорит, что даже самые грубые из дикарей вовсе не дети, а такие же взрослые люди, как и мы. Но если бы мы даже и признали верным неверное сравнение диких и необразованных людей с детьми, то мы все-таки не имели бы ни малейшего права применять насилие к воспитанию дикарей или «простолюдинов», потому что, как мы уже знаем, насилие ни к чему хорошему никогда не приводит. «Если мы, просвещенные люди какого-нибудь народа, — говорит наш автор, — желаем добра массе наших соплеменников, имеющей дурные, вредные для нее привычки, наша обязанность состоит в том, чтобы знакомить ее с хорошим и заботиться о доставлении ей возможности усвоить его. Прибегать к насилию — дело совершенно неуместное... Те ученые, которые желают, чтобы правительство какой-нибудь цивилизованной страны принимало насильственные меры для преобразования жизни своего народа, — люди менее просвещенных понятий, чем правители турецкого государства» ***.

Тут мы сделаем сравнение, которое, можно сказать, напрашивается само собой. Написанный Марксом устав Интернационала начинается тем знаменитым положением, что «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих» [3]. Это, если хотите, та же самая мысль, которую защищает Чернышевский. Но, формулируя эту мысль, Маркс обращается непосредственно к пролетариату, тогда как Чернышевский имеет в виду тех более или менее благовоспитанных людей, которые захотели

* Там же, стр. 171 [1].
** Там же, стр. 171.
*** Там же, 175—176 [2].

бы заняться улучшением участи рабочего класса. Это коренное различие вполне соответствует той указанной выше особенности исторических взглядов Чернышевского, в силу которой настоящим действующим отрядом в истории ему представлялась собственно интеллигенция, а масса «простолюдинов» напоминала ему отсталые элементы армии. Мы уже сказали, что эта особенность находится в тесной причинной связи с идеалистическим характером исторических воззрений нашего автора.

Вопрос о насилии логически приводит его к вопросу о том, «в каких случаях разум и совесть могут оправдывать завоевание»*. Чернышевский говорит, что все такие случаи подходят под понятие самообороны. Более сильный народ всегда имеет возможность устроить свои отношения к менее сильному так, чтобы жить с ним в мире. Завоевание народа всегда является нарушением справедливости. Но это относится, собственно, к оседлым народам. На номадов [2] Чернышевский смотрит иначе. Некоторые номады отличаются миролюбием; завоевание их несправедливо. Но многие номады занимаются грабежом своих соседей; их завоевание оправдывается разумом и совестью. И вот тут-то возникает вопрос, имеют ли цивилизованные завоеватели право принуждать завоеванных номадов к перемене их обычаев. Чернышевский отвечает, что имеют, насколько это необходимо для предотвращения разбоев. Беда лишь в том, что цивилизованные завоеватели думают обыкновенно лишь о своей собственной пользе, а не о пользе завоеванных. Поэтому они и прибегали к насилию; а если бы они думали о пользе завоеванных, то они помнили бы, что все хорошие результаты производятся не насилием, а кротостью и уменьшением насилия.

Однако существует множество будто бы достоверных исторических свидетельств в пользу того, что насилие улучшало нравы дикарей. Что думать об этих будто бы достоверных свидетельствах? Чернышевский отвечает: «Для историка, знакомого с законами человеческой природы, не может быть сомнения, что всякие рассказы подобного рода — вздорные сказки; задача его относительно их состоит в том, чтобы разъяснить, как возникли они, найти источники ошибок или мотивы преднамеренной лжи, которыми они порождены»**.

Просветители XVIII века, равно как и социалисты-утописты XIX столетия, охотно апеллировали к человеческой природе в своих исторических рассуждениях. Но апелляция к человеческой природе, иногда, может быть, полезная в агитационном смысле, никогда не была благотворна для истории как

* Там же, 176 [1].
** Там же, 178 [3].

для науки. Если человеческая природа неизменна, то она ничего не объясняет в истории, процесс которой сводится к беспрерывным переменам. Если же человеческая природа сама изменяется под влиянием исторических перемен, то очевидно, что эти последние не могут быть объяснены ею. Эти общие соображения вполне применимы и к только что изложенным рассуждениям Чернышевского. Он говорит, что всякое насилие ведет к вредным последствиям. Но какой же народ не повинен в насилии? Славянофилы говорили когда-то, что русское государство, в отличие от государств Западной Европы, основано было на договоре, а не на завоевании. Но эту теорию, вероятно, сам Чернышевский считал не более как фантастической сказкой. Ни один народ не отказывался прибегнуть к насилию в тех многочисленных случаях, когда оно обещало принести ему пользу. А между тем исторические судьбы народов далеко не одинаковы. Чем же объясняется их различие? Тот же вопрос можно поставить и по отношению к внутреннему развитию каждого общества. Нет такого народа, во внутреннем развитии которого не играло бы роль насилие. А между тем и внутреннее развитие тоже различно у различных народов. Чтобы объяснить это, очевидно недостаточно сослаться на насилие. Наконец, самая возможность злоупотребления силой создается такими условиями, которые насилием вовсе не объясняются. Мы уже говорили, что так называемое военное дело имеет на разных стадиях исторического развития различный характер, обусловливаемый в последнем счете экономическими отношениями общества. Чернышевский и сам высказывает иногда подобные соображения. Так, например, в приложениях к IX тому Вебера, озаглавленном «О различиях между народами по национальному характеру», он указывает на те обстоятельства, которые, по его мнению, преобразовали состав римского войска и тем ослабили его силу, подготовив таким образом падение Римской империи. По его словам, по мере того как расширялись пределы римского государства, народ все более разделялся на два класса: большинство граждан покидало военную службу, так как далекие военные походы мешали ему заниматься хозяйством, а меньшинство совсем покинуло всякое хозяйство и стало заниматься военным делом как ремеслом. Это вызвало глубокие изменения в политическом строе Рима, ослабившие силу его сопротивления и т. д. Тут военная сила ставится в тесную причинную зависимость от известных экономических условий. И Чернышевский подчеркивает эту зависимость. «С той поры, как историки считают надобным изучать политическую экономию и толковать о разделении труда, — говорит он, — они в книгах о последних временах римской республики и о Римской империи сами разъясняют, какими экономиче-

скими силами была произведена замена войска, состоящего из граждан домохозяев, войском солдат по ремеслу и потом замена итальянцев на военной службе уроженцами областей, менее цивилизованных, и иноземными варварами. Потому давно пора было бы бросить фантазию о вырождении римлян, следовало бы говорить лишь о том, что масса итальянского населения перестала образовывать главную массу войска, непрерывно ведущего войны на отдаленных границах и живущего там в укрепленных лагерях. Таким образом падение Римской империи, завоевание Италии варварами достаточно объясняется уж одной той переменой, которую произвели в составе войска громадные завоевания римлян» *.

Если бы Чернышевский последовательно развил высказанную здесь мысль, то ему пришлось бы совершенно отказаться от идеалистического взгляда, выраженного им в знакомой уже нам статье о причинах падения Рима. Но в том-то и дело, что подобные мысли высказываются у него лишь мимоходом и не получают дальнейшего развития. Высказывая их, он вовсе не видит надобности отказаться от исторического идеализма, и это происходит не от пристрастия к идеализму как философской теории. К этой теории Чернышевский вообще относится крайне отрицательно. Высказывая идеалистический взгляд на ход исторического развития, он продолжает считать себя последовательным материалистом. Он ошибается. Но его ошибка коренится в одном из главных недостатков материалистической системы Фейербаха. Маркс очень хорошо заметил: «Фейербах хочет иметь дело с конкретными объектами, действительно отличными от объектов, существующих лишь в наших мыслях. Но он не доходит до взгляда на человеческую деятельность, как на *предметную* деятельность. Вот почему, в «Сущности христианства», он рассматривает, как истинно человеческую деятельность, только деятельность теоретическую...»**. Подобно своему учителю, Чернышевский тоже сосредоточивает свое внимание почти исключительно на «теоретической» деятельности человечества, вследствие чего умственное развитие и становится в его глазах самой глубокой причиной исторического движения [3]. Читая его рассуждения о вреде насилия, можно подумать подчас, что он просто хочет дать несколько хороших советов человечеству. И он, конечно, не прочь от того, чтобы дать хороший совет. Но то, что говорится им о насилии, имеет для него также и большое теоретическое значение. Он видит в насилии фактор, искажающий человеческую природу. А мы уже знаем, что человеческая природа была для него главной

* Сочинения, т. X, ч. 2, отд. IV, стр. 143 [1].

** См. его тезисы о Фейербахе, написанные еще весной 1845 г. [2]

инстанцией, к которой он апеллировал в своем объяснении истории.

На человеческую природу, как и на все на свете, можно смотреть с различных точек зрения. Чернышевский смотрел на нее глазами материалиста. Но когда он пытался применить свое материалистическое понимание человеческой природы к объяснению истории, он в огромном большинстве случаев незаметно для себя приходил к идеалистическим выводам. Впрочем, это и раньше его нередко случалось с людьми, державшимися того материализма, который мы назовем *домарксовским*. Материалисты XVIII века тоже были идеалистами в истории.

В своих исторических соображениях Чернышевский исходит из той несомненно материалистической мысли, что человек есть животное, организм которого подчиняется известным законам физиологии. Физиология говорит, что для нормального хода жизни животного необходимо нормальное удовлетворение потребностей его организма: «она строго различает хороший ход функций организма от дурного; аппетит и результат его, своевременное принятие пищи в количестве, соответствующем надобностям организма, она относит к разряду фактов жизни, полезных для организма; голод и его результаты — к разряду фактов, вредящих организму» *. Вот это-то различение хорошего хода функций организма от дурного и применяется Чернышевским к истории. Насилие осуждается им как один их тех факторов, которые мешают хорошему ходу функций человеческого организма. Но каким же образом хороший или дурной ход функций человеческого организма может объяснить нам факт человеческого процесса? Вот каким.

«Физиология доказывает, что если организация человека не понизилась, а повысилась сравнительно с первоначальным своим состоянием, то ход жизни человеческого рода имел больше элементов, благоприятствовавших улучшению его организации, чем имевших тенденцию понижать ее. Исключительно этим преобладанием благоприятных для организма обстоятельств жизни над вредными для него объясняет физиология прогресс человека от первобытного состояния до того сравнительно очень высокого развития умственных сил, когда он уж умел раскалывать кремни для приобретения себе орудий работы. Без сомнения, людям приходилось во времена этого прогресса много страдать от голода, от вредных явлений внешней природы, от ядовитых насекомых и змей, от сильных хищных зверей, от собственных нерассудительных поступков и от взаимных дурных отношений. Но как бы ни была велика сумма этих

* Там же, 217 [1].

бедствий, она была меньше суммы фактов, полезных для человеческого организма. Если бы было иначе, то организация человека не повышалась бы, а портилась бы, он подвергался бы тому, что в зоологии называется деградацией, понижением организации»*.

Уж эти строки ясно показывают нам, каким образом Чернышевский применял физиологические соображения к объяснению фактов человеческого прогресса. Но в этих строках соображения эти применяются лишь к тому периоду, который можно назвать доисторическим, или, вернее, докультурным в самом тесном смысле слова, т. е. периода, заканчивающегося тем, что человек приобретает умение делать себе каменное орудие работы. И тут Чернышевский продолжает оставаться на материалистической точке зрения, хотя и тут материализм его обнаруживает метафизический характер. В самом деле, опираясь на законы физиологии, Чернышевский повторяет уже раньше — при разборе его статьи о теории Дарвина — встречавшееся нам рассуждение о том, что вредное всегда вредно и никогда не может быть полезно **. Эти соображения, теоретическую слабость которых мы обнаружили выше, состоят в тесном родстве с историческим идеализмом; но в них свойственный этому идеализму характер сказывается лишь косвенно и притом преимущественно с методологической стороны. Чтобы понять, каким путем переходит Чернышевский со своей физиологической точки зрения на точку [3] исторического идеализма, нужно принять в соображение ту его мысль, что «хороший ход функций» человеческого организма вел к развитию мозга, который увеличивал умственные силы человека и тем ускорял прогресс его знаний. Дарвин говорит: «человек никогда не достиг бы господствующего положения в мире без употребления рук, этих орудий, столь удивительно послушных его воле»***. Ту же мысль высказывал еще Гельвеций. Встречается она и у Чернышевского. Но у него она сразу приобретает своеобразный характер. «Говорят, и по всей вероятности справедливо, — замечает он, — что умение взять в руку камень или толстую палку и бить этим оружием по врагу увеличило безопасность людей, дало им возможность улучшить свою материальную жизнь и, благодаря ее улучшению, получить большое развитие умственных способностей»****. Умение взять в руку известное оружие увеличивает безопасность человека, дает ему возможность лучше удовлетворять свои материальные потребности и тем обеспечивать развитие *органа мысли* —

* Там же, 224 [1].

** Там же, стр. 217 и след. [2]

*** «La descendance de l'homme» etc., Paris 1881, p. 5. [«Происхождение человека» и т. д., Париж 1881, стр. 5.] [4]

**** Соч., т. X, ч. 2, отд. IV, стр. 183 [5].

мозга. Все дело в том, что у человека, благодаря каким-то особенностям истории его предков, головной мозг приобрел такое развитие, какого он не достиг ни у одного из человекоподобных существ. В чем именно состояли эти особенности, остается неизвестным. Но очень правдоподобно, по мнению Чернышевского, что предки людей по какому-то счастливому обстоятельству приобрели больше безопасности от врагов, чем какую имели другие существа, сходные или одинаковые с ним. «Но каким бы то ни было путем предки людей, по влиянию каких-то благоприятных обстоятельств своей жизни, приобрели такое высокое умственное развитие, что сделались людьми. Только с этого времени начинается та история их жизни, относительно которой возникают вопросы не общего физиологического содержания, а специально относящегося к человеческой жизни» *. Что же касается вопросов этого последнего рода, то они решаются в истории человечества развитием ума и знаний. «Собственно превосходством ума и объясняется,— говорит Чернышевский, — весь дальнейший прогресс человеческой жизни» **. Здесь мы с поразительной ясностью видим, каким образом Чернышевский, так или иначе державшийся материалистической точки зрения в своих рассуждениях о *человеческом организме,* немедленно становится идеалистом, как только речь заходит *об истории человечества.*

Ход его рассуждений таков. Он начинает с того положения Фейербаха, что человек есть то, что он ест. Когда питание человеческого организма совершается надлежащим образом — когда внешние условия обеспечивают ему хороший ход функций, — увеличивается сила мозга, а с увеличением силы мозга растет способность человека к умственному развитию, к выработке правильных *понятий.* А эта способность и есть главная пружина исторического движения. Таким образом, Чернышевский остается последовательным материалистом до тех пор, пока не уходит из области вопросов «общего физиологического содержания». А как только перед ним встают вопросы «специально относящиеся к человеческой жизни», его физиологический материализм настежь открывает дверь для исторического идеализма. Пример Чернышевского едва ли не лучше, нежели какой-либо другой, показывает, как мало еще годился материализм в том виде, какой он имел у Фейербаха, для объяснения исторического развития.

Мы уже не раз говорили, что идеалистический характер исторических взглядов Чернышевского отнюдь не мешал ему давать материалистическое объяснение некоторым отдельным

* Там же, 182 [1].
** Там же, 182—183 [2].

историческим явлениям. И мы не стали бы повторять это здесь, если бы не видели себя вынужденными сделать некоторую, весьма естественную, по нашему мнению, оговорку. Тот, кто стал бы искать в сочинениях нашего автора материалистического объяснения отдельных исторических событий, должен остерегаться ошибки, в которую очень легко бывает иногда впасть вследствие известного *внешнего* сходства идеалистических приемов Чернышевского с приемами материалистического объяснения истории.

Дело в том, что сообразно с преувеличенным значением, придаваемым Чернышевским человеческой расчетливости, он и исторические события объясняет иногда сознательным расчетом пользы там, где для объяснения их нужно обращаться к неподчиненным контролю человека силам экономического развития. С первого взгляда подобные объяснения Чернышевского могут иногда навести на мысль о том, что он в своих исторических теориях совершенно стал на точку зрения новейшего материализма. Но при внимательном отношении к делу оказывается совершенно противное. Кто видит в исторической деятельности людей лишь влияние сознательного расчета, тот еще остается чистым идеалистом и тот еще очень далек от понимания всей силы и всего значения «экономики». В действительности ее влияние распространяется даже на такие поступки людей и на такие привычки различных общественных классов, по поводу которых нельзя и заикаться о сознательном расчете. Главнейшие и наиболее влиятельные факторы экономического развития до сих пор стоят вне всякого контроля сознательного расчета. Все общественные отношения, все нравственные привычки и все умственные склонности людей складываются под посредственным или непосредственным действием этих слепых сил экономического развития. Ими определяются, между прочим, и все виды человеческой расчетливости, все проявления человеческого эгоизма. Следовательно, нельзя говорить о сознательном расчете пользы, как о первичном двигателе общественного развития. *Подобный* взгляд на историю противоречит учению новейшего материализма. В нем сказывается основная черта исторического идеализма: убеждение в том, что «мнения правят миром»*.

Этого убеждения Чернышевский держался в последнем счете до конца жизни. Поэтому мы и относим его к представителям исторического идеализма. И кто знаком с его сочинениями, тот вряд ли откажется признать, что в истории всемирной литературы не много было писателей, у которых историче-

* Кто знает взгляды *Р. Оуэна*, тот знает, что он тоже приписывал преувеличенное значение расчету пользы [1].

ский идеализм имел бы такую яркую окраску, какую он приобрел у Чернышевского. Но интересно, что именно у Чернышевского, восстававшего против оптимизма Гизо, исторический идеализм в свою очередь принял оригинальный оттенок оптимизма. Это хорошо видно в его рассуждениях об исторической роли насилия.

Насилие, как мы знаем, сильно вредит тем племенам и народам, которые ему подвергаются. Но оно вредит не только им: не менее сильно вредит оно и самим насильникам. История показывает, по словам Чернышевского, что совершенно ошибочен был расчет тех наций, которые думали извлечь себе пользу из нанесения вреда человечеству. «Завоевательные народы всегда кончали тем, что истреблялись и порабощались сами»*.

Мы могли бы спросить, много ли надежды на то, что «истребятся и поработятся сами», например, те англичане, которые поселились на Австралийском материке, почти совсем истребив чернокожих туземцев? Нам кажется, что этим англичанам пока еще не грозят ни истребление, ни порабощение. А если и придется им когда-нибудь испытать участь истребляемых и порабощаемых народов, то их несчастье вряд ли будет иметь какую-нибудь связь с теми несправедливыми действиями, какие они позволили себе по отношению к австралийским туземцам. Это так очевидно, что нет нужды распространяться об этом. У Чернышевского выходит, что в истории порок всегда несет заслуженное им наказание. На самом деле известные нам исторические факты не дают никакого основания для этого, может быть, отрадного, но во всяком случае наивного взгляда. Нас может интересовать только вопрос о том, как мог он возникнуть у нашего автора. А на этот вопрос можно ответить указанием на ту эпоху, когда жил Чернышевский. Это была эпоха общественного подъема, имевшая, можно сказать, нравственную потребность в таких взглядах, которые подкрепляли бы веру в неминуемое поражение зла.

В сочинениях, написанных Чернышевским по возвращении из Сибири, тоже встречаются поразительно меткие замечания, насквозь пропитанные духом *материалистического объяснения истории*. Немало таких замечаний найдет читатель, например, в приложении к VII тому Вебера («О расах»), к VIII («О классификации людей по языку») и, наконец, — и особенно — в уже цитированном нами приложении к IX тому («О различиях между народами по национальному характеру»).

---

* Соч., т. VI, 233[1].

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЗНАЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Умственный прогресс человечества служит, по мнению Чернышевского, самой глубокой пружиной исторического движения. Литература является выражением умственной жизни народов. Поэтому можно было бы, пожалуй, ожидать, что Чернышевский припишет литературе главную роль в истории цивилизации. На самом деле это было не так. Главную роль в истории цивилизации Чернышевский отводил не литературе, а науке. Он говорил об этой последней: «творя тихо и медленно, она творит все; создаваемое ею знание ложится в основание всех понятий и потом всей деятельности человечества, дает направление всем его стремлениям, силу всем его способностям»*. Не то с литературой. Ее роль в историческом процессе никогда не бывала совершенно маловажна, но она почти всегда бывала второстепенна.

«Так, например — говорит Чернышевский, — в древнем мире мы не замечаем ни одной эпохи, в которой историческое движение совершалось бы под преобладающим влиянием литературы. Несмотря на все пристрастие греков к поэзии, ход их жизни обусловливался не литературными влияниями, а религиозными, племенными и военными стремлениями, впоследствии, кроме того, политическими и экономическими вопросами. Литература была, подобно искусству, лучшим украшением, но только украшением, а не основною пружиною, не главною двигательницею их жизни Римская жизнь развивалась военною и политическою борьбою и определением юридических

* См. его работу: «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность». Сочинения, т. III, стр. 585 [1].

отношений; литература была для римлян только благородным отдыхом от политической деятельности. В блестящий век Италии, когда она имела Данте, Ариосто и Тассо, также не литература была основным началом жизни, а борьба политических партий и экономические отношения: эти интересы, а не влияние Данте, решали судьбу его родины и при нем, и после него. В Англии, гордящейся величайшим поэтом христианского мира и таким числом первостепенных писателей, какого не найдется, быть может, в литературах всей остальной Европы, вместе взятых, — в Англии от литературы никогда не зависела судьба нации, определявшаяся религиозными, политическими и экономическими отношениями, парламентскими прениями и газетною полемикою: собственно так называемая литература всегда имела только второстепенное влияние на историческое развитие этой страны. Таково же было положение литературы почти всегда, почти у всех исторических народов»*.

Чернышевский знает лишь очень немного случаев, составляющих исключение из указанного им общего порядка. Между этими немногими случаями одно из самых важных мест занимает немецкая литература второй половины XVIII и первых годов XIX века: «От начала деятельности Лессинга до смерти Шиллера,... в течение пятидесяти лет, развитие одной из величайших между европейскими нациями, будущность стран от Балтийского до Средиземного моря, от Рейна до Одера, определялась литературным движением. Участие всех остальных общественных сил и событий в национальном развитии должно назвать незначительным сравнительно с влиянием литературы. Ничто не помогало в то время ее благотворному действию на судьбу немецкой нации; напротив, почти все другие отношения и условия, от которых зависит жизнь, не благоприятствовали развитию народа. Литература одна вела его вперед, борясь с бесчисленными препятствиями»**.

Такой же исключительно важной представлялась, по-видимому, Чернышевскому и роль русской литературы со времени Гоголя. До Гоголя литература эта находилась еще в тех периодах своего развития, которые можно назвать подготовительными: каждый предыдущий период имел в ней значение не столько по безусловному достоинству ознаменовавших его литературных явлений, сколько по тому, что подготовлял собою следующий период. Чтобы пояснить эту его мысль, достаточно будет указать, как понимал он отношение Пушкинского периода нашей литературы к Гоголевскому. На Пушкина он смотрел совершенно так, как смотрел на него Белинский

* Там же, стр. 586 [1].
** Там же, стр. 586—587 [2].

в последний период своей деятельности. Он очень высоко ставил его поэзию, но считал ее преимущественно поэзией *формы*. Выработка совершенной формы и была той исторической задачей, которая выпала на долю Пушкинского периода нашей литературы. Когда задача эта была решена, в нашей литературе начался новый период, ознаменовавшийся тем, что главным делом стало *содержание*, а не форма, как это было прежде. Этот период связывается с именем Гоголя. В течение Гоголевского периода наша литература начала становиться тем, чем она должна быть, т. е. выражением народного самосознания. В том же направлении она развивалась и потом, когда под влиянием Гоголя у нас возникла так называемая натуральная школа. Чернышевский очень высоко ценил это новое направление в нашей литературе. Однако оно далеко не вполне удовлетворяло его. В своих «Очерках Гоголевского периода русской литературы» он оговаривается:

«Чтобы не подать повода к недоразумению, будто мы без меры превозносим новое на счет старого, скажем здесь кстати, что и настоящий период русской литературы, несмотря на все свои неотъемлемые достоинства, имеет существенное значение более всего только потому, что служит приготовлением к дальнейшему будущему развитию нашей словесности. Мы настолько верим в лучшее будущее, что даже о Гоголе, не сомневаясь, говорим: будут у нас писатели, которые станут настолько же выше его, насколько выше своих предшественников стал он. Вопрос только в том, скоро ли придет это время. Хорошо было бы, если б нашему поколению суждено было дождаться этого лучшего будущего»*.

Утверждая, что литература должна быть выражением общественного самосознания, Чернышевский высказывает ту мысль, которая, перейдя к нам из Германии, уже со времен Надеждина и Белинского играла большую роль в нашей литературной критике. Но у него она сразу принимает свойственный всем «просветительным» периодам рассудочный характер. Собственно говоря, нет такой литературы, которая не служила бы выражением самосознания общества или данного слоя общества, ее породившего. Даже в те эпохи, когда безраздельно владычествует так называемая теория искусства для искусства и когда художники, по-видимому, поворачиваются спиною ко всему тому, что имеет какое-нибудь отношение к общественным интересам, литература не перестает выражать вкусы, взгляды и стремления господствующего в обществе класса. Тот факт, что в ней получает преобладание названная теория, свидетельствует лишь о том, что в господствующем классе

* Сочинения, т. II, стр. 172, примечание [1].

или, по крайней мере, в той части его, к которой обращаются художники, царствует индифферентизм по отношению к великим общественным вопросам. Но и такой индифферентизм представляет собою лишь одну из разновидностей общественного (или классового, или группового) настроения, т. е. сознания. В этом смысле несомненно, что наша литература Пушкинского или даже Карамзинского периода выражала собою наше общественное сознание. Но, по Чернышевскому, она начинает выражать его лишь со времен Гоголя. Только с этих пор наши художники перестают, по его словам, заниматься исключительно формою своих произведений и начинают придавать значение их содержанию. Это кажется несправедливым, потому что ведь нельзя же думать, что Пушкин был равнодушен к содержанию, например, своего «Евгения Онегина». Но между «Евгением Онегиным», с одной стороны, и «Ревизором» или «Мертвыми душами» — с другой, есть огромная разница *в отношении художника к изображаемым явлениям*. Пушкин не прочь пожурить своих героев за их светскую пустоту, ограниченность, эгоизм и т. д.; но в его «Онегине» нет даже намека на то коренное отрицание изображаемого им общественного быта, какое находится, хотя и без ведома автора, в названных произведениях Гоголя. Вот этот-то элемент отрицания старых общественных порядков и называется у Чернышевского началом общественного самосознания. Если он ожидал в будущем, как мы только что видели, появления таких писателей, которые станут настолько же выше Гоголя, насколько Гоголь был выше своих предшественников, то это было у него равносильно убеждению в том, что со временем наши великие художники далеко превзойдут автора «Мертвых душ» сознательностью своего отрицательного отношения к устарелым общественным и семейным порядкам. Самой главной обязанностью литературной критики являлось, в его глазах, распространение в среде художников этой сознательности. Чем больше стала бы эта сознательность распространяться между русскими художниками, тем более созревала бы наша литература для той великой роли, которую она должна была, по мнению Чернышевского, сыграть в тогдашнее переходное время.

Впоследствии Писарев приписал Чернышевскому намерение разрушить эстетику. Он ошибся. Как далек был от такого намерения Чернышевский, показывают следующие строки из его статьи о «Пиитике» Аристотеля, вышедшей в 1854 году в русском переводе Ордынского («Отечественные Записки», 1854 год, № 9). «Эстетика — наука мертвая! Мы не говорим, чтоб не было наук живей ее; но хорошо было бы, если б мы думали об этих науках. Нет, мы превозносим другие науки, представляющие гораздо менее живого интереса. Эстетика

наука бесплодная! В ответ на это спросим: помним ли мы еще о Лессинге, Гёте и Шиллере, или уж они потеряли право на наше воспоминание с тех пор, как мы познакомились с Теккереем? Признаем ли мы достоинство немецкой поэзии второй половины прошедшего века?»*.

Задавая порицателям эстетики иронический вопрос о том, признаем ли мы достоинство немецкой поэзии второй половины XVIII столетия, Чернышевский как бы напоминает им, что бывают эпохи, когда литература играет великую общественную роль. Но немецкая литература указанного периода вовсе не была равнодушна к эстетическим вопросам. Напротив, она очень много занималась ими в то время, и только потому, что она много занималась ими, она могла с успехом исполнить великую роль, выпавшую на ее долю. Не надо забывать, что самым замечательным деятелем в немецкой литературе этого времени был, по мнению Чернышевского, Лессинг: «Все значительнейшие из последующих немецких писателей, даже Шиллер, даже сам Гёте в лучшую эпоху своей деятельности, были учениками его»**. А Лессинг был главным образом теоретиком литературы и искусства; область, в которой он сделал больше всего, была областью эстетики.

Чернышевский говорит, что если поэзия, литература, искусство признаются предметами большой важности, то и общие вопросы теории литературы должны иметь огромный интерес. «Словом, — прибавляет он, — нам кажется, что весь спор против эстетики основывается на недоразумении, на ошибочности понятий о том, что такое эстетика и что такое всякая теоретическая наука вообще»***.

Чернышевский спрашивает читателя: «кто, по вашему мнению, выше: Пушкин или Гоголь?». Решение этого вопроса зависит, по его словам, от понятия о сущности и значении искусства. И эти понятия получают правильный вид еще в сочинениях Аристотеля и Платона. Вот почему Чернышевский и находит нужным ознакомить читателя с эстетическими теориями этих мыслителей. В качестве решительного противника философского идеализма наш автор, разумеется, не мог сочувствовать философии Платона, взятой во всей ее совокупности. Но это не мешало ему с горячим сочувствием относиться к той точке зрения, с которой смотрел на искусство великий греческий идеалист.

Чернышевский говорит: «не с ученой или артистической, а с общественной и нравственной точки смотрел он на науку и искусство, как и на все. Не человек живет для того, чтобы

* Сочинения, т. I, стр. 28—29 [1].

** Сочинения, т. III, стр. 589 [2].

*** Сочинения, т. I, стр. 28 [3].

быть артистом или ученым (как думали многие великие философы, между прочим Аристотель), а наука и искусство должны служить для блага человека»*.

И эта точка зрения должна была, по словам нашего автора, привести Платона к отрицательному взгляду на искусство, которое в его время почти исключительно служило забавою, прекрасною и благородною, но все-таки забавою для людей, которые от нечего делать любовались на более или менее сладострастные картины или статуи и упивались более или менее сладострастными стихами. Вопрос об искусстве решался для Платона именно тем фактом, что оно было не более как забава. И когда Платон видел в нем простую забаву, он не клеветал на него. В доказательство этого Чернышевский ссылается на «одного из серьезнейших поэтов», Шиллера, который, конечно, не враждебно относился к искусству. По мнению Шиллера, Кант совершенно справедливо называет искусство игрою (das Spiel), потому что, только играя, человек вполне человек.

Чернышевский находит полемику Платона против искусства чрезвычайно суровою; но он видит в ней много верного. «И легко было бы показать, — замечает он, — что многие из строгих обличений Платоновых продолжают быть справедливыми и в отношении к современному искусству»**. Едва ли нужно прибавлять, что этим обстоятельством в весьма значительной степени объясняется его горячее сочувствие к строгим Платоновым обличениям.

Платон восставал против искусства за его бесполезность для человека. Наш автор не менее Платона готов порицать бесполезное для человека искусство. По его мнению, та мысль, что искусство и не должно быть полезным, что оно существует само для себя, есть такая же странная мысль, как «богатство для богатства», «наука для науки» и т. д. «Все человеческие дела должны служить на пользу человеку, если хотят быть не пустым и праздным занятием: богатство существует для того, чтоб им пользовался человек, наука — для того, чтоб быть руководительницею человека; искусство также должно служить на какую-нибудь существенную пользу, а не на бесплодное удовольствие» ***.

В чем же заключается польза, приносимая человеку искусством?

Обыкновенно говорят, что эстетические наслаждения смягчают сердце и возвышают душу человека. Чернышевский считает эту мысль справедливою, но он не хочет выводить из нее

* Там же, стр. 31 [1].
** Там же, стр. 32 [2].
*** Там же, стр. 33 [3].

серьезное значение искусства. Конечно, он согласен с тем, что, выходя из картинной галереи или из театра, человек чувствует себя добрее и лучше, по крайней мере на то непродолжительное время, пока не изглаживаются полученные им эстетические впечатления; но он напоминает, что ведь сытый человек добрее голодного. Стало быть, с этой стороны нет разницы между влиянием искусства и тем влиянием, которое имеет на человека удовлетворение его физических потребностей. «Благодетельное влияние искусства как искусства (независимо от такого или иного содержания его произведений), — говорит Чернышевский, — состоит почти исключительно в том, что искусство — вещь приятная; подобное же благодетельное качество принадлежит всем другим приятным занятиям, отношениям, предметам, от которых зависит «хорошее расположение духа». Здоровый человек гораздо менее эгоист, гораздо добрее, нежели больной, всегда более или менее раздражительный и недовольный, хорошая квартира также больше располагает человека к доброте, нежели сырая, мрачная, холодная; спокойный человек (т. е. находящийся не в неприятном положении) добрее, нежели раздосадованный, и т. д.» *. При внимательном отношении к делу нетрудно убедиться, что польза, приносимая искусством как одним из источников довольства, хотя и несомненна, но все-таки ничтожна в сравнении с пользою, приносимою другими благоприятными отношениями и условиями жизни. И не в этом заключается великое значение искусства. Оно заключается в том, что искусство распространяет в массе людей, так или иначе заинтересованных им, большое количество сведений; что оно знакомит их с понятиями, вырабатываемыми наукой. Впрочем, говоря это, Чернышевский имеет в виду собственно поэзию, которую он называет самым серьезным из искусств, потому что другие искусства очень мало делают, по его замечанию, в указанном смысле. Без всякого сомнения, только очень немногие беллетристы задаются целью распространять знание между своими читателями. Но так как они по своему образованию все-таки стоят выше, нежели большинство их читателей, то эти последние все-таки узнают многое из их произведений. Чернышевский убежден в том, что даже самые пошлые беллетристические произведения значительно расширяют у своих читателей круг свойственных им знаний. ««Забавляя» читающую публику», поэзия приносит пользу ее умственному развитию. Вот почему она приобретает серьезное значение в глазах мыслителя. И вот почему она, вопреки Платону, имеет это значение даже тогда, когда не заботится о нем.

* Там же, стр. 33.

Итак, Чернышевский вовсе не разрушает эстетики. Напротив, он опирается на нее для того, чтобы выяснить художникам великое значение искусства, заключающееся в распространении тех понятий, которые вырабатываются наукою. Другими словами: наш автор не разрушает эстетики, а только подвергает коренному пересмотру ее теорию. После того, что мы от него слышали о Платоновом взгляде на искусство, мы без труда поймем, почему он нашел нужным и полезным сослаться на своих «великих учителей в деле эстетического суда» — Платона и Аристотеля — при решении вопроса, кто выше: Пушкин или Гоголь. И нас уже совсем не удивят следующие строки: «Если сущность искусства действительно состоит, как нынче говорят, в идеализации; если цель его — доставлять сладостное и возвышенное ощущение прекрасного», то в русской литературе нет поэта равного автору «Полтавы», «Бориса Годунова», «Медного всадника», «Каменного гостя» и всех этих бесчисленных благоуханных стихотворений; если же от искусства требуется еще нечто другое, тогда...» — Чернышевский прерывает эту свою фразу недоумевающим вопросом от имени читателя, предубежденного в пользу старых эстетических понятий: «Но в чем же, кроме этого, может состоять сущность и значение искусства?»*. Мы знаем, в чем состоят они, по мнению Чернышевского, и мы сами можем дополнить прерванную фразу: если цель искусства состоит не только в том, чтобы доставлять сладостные и возвышенные ощущения прекрасного, то «Ревизор» и «Мертвые души» выше «Каменного гостя» и «Полтавы», и Гоголь выше Пушкина, а те писатели, которые превзойдут Гоголя сознательностью своего отношения к жизни, будут еще выше Гоголя. По поводу изложенного здесь взгляда г. Скабичевский писал впоследствии в своей «Истории новейшей русской литературы»:

«Это отождествление искусства с наукой и придание искусству служебной роли иллюстрирования научных, философских и публицистических изысканий было роковою ошибкою, которая повела за собою весьма крупные последствия. Первым делом, она вывела критику из той роли, которая наиболее ей свойственна как ценительнице художественных произведений и которую критика исполнила с таким блестящим успехом в эпоху Белинского... Но затем теория тождества науки и искусства и служебной роли последнего по отношению к первой, воспринятая молодыми и незрелыми умами, последовательно, по наклонной плоскости, должна была дойти до полного отрицания искусства, что мы и видели в публицистах «*Русского слова*», с Писаревым во главе»**.

* Там же, стр. 29 [1].
** Стр. 65—66.

Приписав Чернышевскому *«теорию тождества науки и искусства»*, г. Скабичевский с изумлением спрашивает: «в таком случае, какую же роль должна играть так называемая творческая фантазия?»*. И нельзя не согласиться, что *«в таком случае»* для творческой фантазии в самом деле не было бы места. Но «такой случай» придуман самим г. Скабичевским. Чернышевский вовсе не *«отождествляет»* искусства с наукою. Как человек, знакомый с эстетикою Гегеля, он, подобно Белинскому, прекрасно понимает, что ученый излагает свою мысль с помощью логических доводов, между тем как художник воплощает ее в образах, т. е. прибегает к «творческой фантазии». И г. Скабичевский не сделал бы своей ошибки, если бы он в свою очередь лучше знал те философские источники, из которых почерпали свои эстетические взгляды Белинский и Чернышевский.

Возьмем пример. Роман «Что делать?» более чем на целой половине своих страниц проповедует те же самые мысли, какие излагает статья «Антропологический принцип в философии». Но в романе мысли эти воплощаются в образах, а в статье они доказываются с помощью логических доводов. Ясно, стало быть, что когда Чернышевский взялся за роман, он должен был обратиться к своей творческой фантазии. Мы знаем, что, по мнению многих, Чернышевский обнаружил в своем романе мало творческой силы, но это уж вопрос другой, нас здесь не касающийся и решаемый, мимоходом сказать, большинством читателей крайне легкомысленно: Чернышевский сам заявил, что у него совсем [1] нет никакого художественного таланта, и этому поверили слишком охотно. В действительности его роман не лишен некоторых, правда небольших, художественных достоинств; в нем много юмора и наблюдательности; наконец, он пропитан таким горячим энтузиазмом к истине, что он и до сих пор читается с большим интересом. Нужно много предубеждения, основывающегося на распространенных у нас теперь и в корне ошибочных эстетических теориях, чтобы презрительно пожимать плечами по поводу этого романа, как это делают многие из нынешних, даже «передовых» читателей. Но, повторяем, это вопрос другой. Несомненно то, что в романе Чернышевский апеллировал к своей творческой силе, а в статье — к своей логике. Этого достаточно, чтобы обнаружить перед нами, как грубо ошибся г. Скабичевский.

А впрочем, приведем еще пример. Толстой в таких своих произведениях, как «Смерть Ивана Ильича» или «Хозяин и работник», без всякого сомнения, хотел изложить те самые взгляды, к которым он пришел, размышляя над «смыслом

* Там же, стр. 65.

жизни». Но, излагая эти взгляды, он — подобно тому, как это сделал Чернышевский в своем романе, — прибегал к своей творческой фантазии, а не к тем или другим теоретическим доводам. Ну, и что же? Кто скажет, что Толстой не дал развернуться своей творческой силе в этих своих сочинениях? Кто откажется отнести их к числу самых выдающихся художественных произведений? Г-н Скабичевский видит отождествление там, где отождествления не было и в помине.

Совершенно неудовлетворительна по своей крайней неопределенности и та мысль г. Скабичевского, что мнимая ошибка Чернышевского вывела критику из той роли, которую она играла в эпоху Белинского. Этот последний в самом деле был «ценителем художественных произведений». Но эстетическая теория Чернышевского — *как таковая* — отнюдь не исключает их оценки. Справедливо то, что критики, ее державшиеся, склонны были забывать вопрос о художественных достоинствах разбираемых ими произведений, сосредоточивая главное свое внимание на идеях этих произведений. Справедливо и то, что, например, у Писарева эстетическая теория Чернышевского получила карикатурный вид. Но это объясняется общественными условиями того времени, в которых Чернышевский, разумеется, совершенно не повинен. *Сама по себе*, его эстетическая теория не исключала интереса к эстетическим достоинствам художественных произведений. Этого достаточно для того, чтобы показать нам, как неловко подошел г. Скабичевский к ее критике.

Одной из главных отличительных черт эстетической теории Чернышевского является та мысль, что «прекрасное» не исчерпывает собою содержания искусства. Эту мысль он подробно развивает в своей диссертации об «Эстетических отношениях искусства к действительности» и к ней же не раз возвращается он в своих «Очерках Гоголевского периода русской литературы».

«В каждом человеческом действии, — говорит он там, — принимают участие все стремления человеческой натуры, хотя бы одно из них и являлось преимущественно заинтересованным в этом деле. Потому и искусство производится не отвлеченным стремлением к прекрасному (идеею прекрасного), а совокупным действием всех сил и способностей живого человека. А так как в человеческой жизни потребности, например, правды, любви и улучшения быта гораздо сильнее, нежели стремление к изящному, то искусство не только всегда служит до некоторой степени выражением этих потребностей (а не одной идеи прекрасного), но почти всегда произведения его (произведения человеческой жизни, этого нельзя забывать) создаются под преобладающими влияниями потребностей правды (теоретической или практической), любви и улучшения быта, так что стремление

к прекрасному, по натуральному закону человеческого действования, является служителем этих и других сильных потребностей человеческой натуры. Так всегда производились все создания искусства, замечательные по своему достоинству. Стремления, отвлеченные от действительной жизни, бессильны; потому, если когда стремление к прекрасному и усиливалось действовать отвлеченным образом (разрывая свою связь с другими стремлениями человеческой природы), то не могло произвесть ничего замечательного даже и в художественном отношении. История не знает произведений искусства, которые были бы созданы исключительно идеею прекрасного: если и бывают и бывали такие произведения, то не обращают на себя никакого внимания современников и забываются историею, как слишком слабые, — слабые даже и в художественном отношении»*.

Эта мысль Чернышевского тоже справедлива, хотя она и страдает некоторою отвлеченностью. История действительно не знает таких художественных произведений, которые выражали бы исключительно идею прекрасного. Этим, кстати сказать, опровергается также и та мысль, что Пушкинский период нашей литературы характеризуется стремлением поэзии к одной только совершенной форме. Но дело не в этом. Задача научной эстетики не ограничивается констатированием того факта, что искусство всегда выражает *не только* «идею» прекрасного, но также и другие стремления человека (к правде, любви и т. д.). Ее задача состоит главным образом в обнаружении того, *каким образом эти другие стремления человека находят свое выражение в его понятии о прекрасном* и каким образом они, сами видоизменяясь в процессе общественного развития, видоизменяют также «идею» прекрасного. Так, например, свойственная средним векам идея прекрасного, воплощавшаяся, скажем, в образе Мадонны, сама сложилась под влиянием тех идеалов, которые господствовали в духовенстве, как известно, игравшем огромную роль в тогдашнем обществе. В эпоху Возрождения «идея» прекрасного, воплощаемая в том же образе, приобретает совершенно другой характер, потому что она выражает тогда стремления новых общественных слоев, имеющих совершенно другие идеалы. Это теперь общеизвестно. И Чернышевский, несомненно, принимал во внимание этот факт, когда в своей диссертации определял прекрасное как «*жизнь*». Он писал: «прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям»**. Но если это верно — а это совершенно верно, — то как же происходит дело? Так ли, что искусство, с одной стороны, воплощает нашу идею

* Сочинения, т. II, стр. 213—214 [1].
** Сочинения, т. X, ч. 2, стр. 88 [2].

прекрасного, а с другой — и даже, как это утверждает Чернышевский, главным образом — выражает наши стремления к правде, к доброму, к улучшению своего быта и т. д.? Нет, чаще всего бывает наоборот. Наше понятие о прекрасном само проникается этими стремлениями и само выражает их. Поэтому и не следует разлагать на отдельные элементы то, что в действительности представляет собою нечто органически целое. А Чернышевский, в силу свойственной всем «просветителям» рассудочности, иногда разлагает это органическое целое на его отдельные составные элементы *. Поступая так, он делает теоретическую ошибку. И эта его теоретическая ошибка действительно могла придать и иногда придавала его критике односторонний вид. Если произведение искусства рядом с идеей прекрасного — и, стало быть, независимо от нее — выражает также известные нравственные или практические стремления, то критик имеет право сосредоточить свое главное внимание именно на этих стремлениях, оставляя в стороне вопрос о том, в какой мере они получили в разбираемом произведении свое художественное выражение. Когда критика поступает так, она по необходимости принимает *морализирующий* характер. Таким грехом она много грешила у нас в лице Д. И. Писарева, да и не его одного. По иронии судьбы в том же грехе не раз жестоко провинялся сам г. Скабичевский. Впрочем, это обыкновенно случается с критикой в «просветительные» периоды, характеризующиеся преобладанием рассудочности. В ее оправдание надо сказать, что в такие периоды рассудочность свойственна не только критикам, но даже и художникам **.

Что в отзывах Чернышевского о произведениях искусства иногда бывало слишком много рассудочности, этого нельзя оспаривать. И когда мы читаем его похвалы Платоновым обличениям искусства, мы видим пред собою «просветителя» одной эпохи, естественно склонного сочувствовать тому отношению к искусству, которым отличаются представители всех других

* 17-й тезис его «Эстетических отношений искусства к действительности» гласит: «Воспроизведение жизни — общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни» (Сочинения, т. X, ч. 2, отд. I, стр. 164) [1]. Но весь вопрос заключается в том, как выражается этот приговор и в каком виде дается это объяснение: в виде художественных образов или же в виде отвлеченных положений? Как бы ни были правильны те или другие отвлеченные положения, они не относятся к области искусства. В нашей литературе это хорошо выяснил Белинский.

** Давид говорил о себе: «je n'aime ni je ne sens le merveilleux: je ne puis marcher à l'aise qu'avec le secours d'un fait réel» (*Delecluze*, L. David, son école et son temps. Paris 1895, p. 338) [«я не люблю и не ощущаю чудесного: я чувствую под собой твердую почву, только когда имею дело с реальными фактами» (*Делеклюз,* Л. Давид, его школа и его время. Париж 1895, стр. 338)] (ср. сборник «За двадцать лет», стр. 145 и сл.) [2]. Это

«просветительных» эпох *. В сущности отзыв Чернышевского о современном Платону греческом искусстве был не совсем справедлив. Хотя греческое искусство IV века уже не выражает собою мужественного гражданского идеала, вдохновлявшего Поликлета и Фидия, однако все-таки Чернышевский слишком преувеличивал, говоря, что тогдашние художники не давали ничего, кроме более или менее сладострастных картин, стихов и статуй.

Мы не можем согласиться с Чернышевским и тогда, когда он отвергает ту усвоенную Шиллером идею Канта, что искусство есть игра. Для Чернышевского *понятие «игры»* покрывается понятием *пустой забавы*. Но это совсем не так. На самом деле игра становится пустой забавой только при известных условиях. «Играет» не только человек, «играет» также и животное. Еще Спенсер справедливо говорил, что, например, игра хищных животных состоит из притворной охоты и притворной драки. Это значит, что у животных содержание игры определяется той деятельностью, с помощью которой поддерживается их существование. То же мы видим и у детей. По справедливому замечанию того же Спенсера, детские игры суть не более как театральные представления разного рода деятельности взрослых. Это особенно хорошо видно на играх маленьких дикарей. Словом, *игра есть дитя труда*, как прекрасно выразился В. Вундт в своей «Этике»**. И именно потому, что она есть дитя труда, она далеко не всегда является пустою забавою. Она становится ею только у тех общественных классов или слоев, которые живут без всякого труда и которые поэтому даже в своей *«деятельности»* являются *бездельными*. Однако даже и в таких случаях игра есть в некотором роде побочное «дитя труда», потому что только при наличности известных отношений производства возможно существование в обществе класса или слоя, предающегося безделию.

Если, как это говорит Чернышевский, существенным признаком искусства является воспроизведение жизни, то искусство безусловно должно быть признано родственным игре, которая тоже воспроизводит жизнь не только у человека, но и у животного. Воспроизведение жизни в игре или в искусстве имеет большое социологическое значение. Воспроизводя свою жизнь в созданиях искусства, люди воспитывают себя для

чрезвычайно характерно для французского «просветителя» XVIII века, каким был Давид.

* Что в своих суждениях об искусстве ученик Сократа, Платон, показал себя типичным «просветителем», — это вряд ли нуждается в доказательствах.

** Ср. нашу статью «Еще об искусстве у первобытных народов» в сборнике «Критика наших критиков», стр. 380—399 [1].

своей общественной жизни, приспособляют себя к ней. Различные общественные классы имеют неодинаковые потребности, они живут неодинаковою жизнью; поэтому неодинаковы и их эстетические вкусы. Классы, предающиеся безделью, выражают пустоту своей жизни и в своих произведениях искусства. Их искусство есть в самом деле не более как пустая забава; но оно является пустою забавою не потому, что оно есть совершенно подобное игре воспроизведение жизни, а только потому, что оно воспроизводит пустую жизнь. Дело не в «*игре*», а в том, каково содержание игры.

Взгляд на искусство, как на *игру*, дополняемый взглядом на игру, как на «дитя труда», проливает чрезвычайно яркий свет на сущность и историю искусства. Он впервые позволяет взглянуть на них с материалистической точки зрения. Мы знаем, что при самом начале своей литературной деятельности Чернышевский сделал очень удачную, по-своему, попытку применить материалистическую философию Фейербаха к эстетике. Этой его попытке нами посвящена особая работа*. Поэтому здесь мы только скажем, что хотя и очень удалась, по-своему, эта попытка, на ней точно так же, как и на исторических взглядах Чернышевского, отразился основной недостаток философии Фейербаха: неразработанность ее исторической или, точнее сказать, диалектической стороны. И только потому, что не разработана была эта сторона в усвоенной им философии, Чернышевский мог не обратить внимания на то, как важно понятие игры для материалистического объяснения искусства.

Но зато в эстетике Чернышевского — опять, как и в его исторических взглядах, — мы находим много зачатков совершенно правильного понимания предмета. Вот, например, посмотрите, как удачно выясняет он зависимость понятия о красоте от условий жизни различных общественных классов. Приводим целиком относящееся сюда и в полном смысле слова замечательное место его диссертации:

«Хорошая жизнь, жизнь, как она должна быть, у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя; да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве, при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много,

* См. статью «Эстетическая теория Чернышевского» в сборнике «За двадцать лет» [1].

поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна, — это также необходимое условие красавицы сельской; светская «полувоздушная красавица» кажется поселянину решительно «невзрачной», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не дает разжиреть; если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого» сложения, и народ считает большую полноту недостатком; у сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает — об этих принадлежностях красоты и не упоминается в наших песнях. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной нешуточной, но не чрезмерной работе. Совершенно другое дело — светская красавица; уже несколько поколений предки ее жили, не работая руками; при бездейственном образе жизни крови льется в оконечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки; они — признак такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества, жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, — это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не старинной, хорошей фамилии. По этому же самому у светской красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно, интересная болезнь — и не без причины: от бездействия кровь остается вся в средних органах, приливает к мозгу; нервная система и без того уже раздражительна от всеобщего ослабления в организме; неизбежное следствие всего этого — продолжительные головные боли и разного рода нервические расстройства; что делать, и болезнь интересна, чуть не завидна, когда она следствие того образа жизни, который нам нравится. Здоровье, правда, никогда не может потерять своей цены в глазах человека, потому что и в довольстве, и в роскоши плохо жить без здоровья; вследствие того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают быть привлекательными и для светских людей; но болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в глазах их достоинство красоты, как скоро кажутся следствием роскошно-бездейственного образа жизни. Бледность, томность, болезненность имеют еще другое значение для светских людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди образованного общества, у которых материальной нужды и физической усталости не

бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделья и отсутствия материальных забот, ищут «сильных ощущений, волнений страстей», которыми придается цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очаровываться томностью, бледностью красавицы, если они служат признаком, что она «много жила»?»*.

Понятия людей о красоте выражаются в произведениях искусства. Понятия о ней различных общественных классов, как мы видели, очень различны, иногда даже противоположны. Тот класс, который господствует в данное время в обществе, господствует также в литературе и в искусстве. Он вносит в них свои взгляды и понятия. Но в развивающемся обществе в разное время господствуют разные классы. Притом же всякий данный класс имеет свою историю: он развивается, доходит до процветания и господства и, наконец, клонится к упадку. Сообразно с этим изменяются и его литературные взгляды, и его эстетические понятия. Поэтому в истории мы встречаемся с различными эстетическими понятиями людей [2]: понятия и взгляды, господствовавшие в одну эпоху, оказываются устаревшими в другую. Чернышевский подметил, что эстетические понятия людей определяются в последней инстанции их экономическим бытом. Это свидетельствует об огромной проницательности его взгляда. Чтобы поставить свою эстетическую теорию на прочную материалистическую основу, ему нужно было подробнее изучить подмеченную им причинную связь эстетики с экономикой и проследить эту связь, по крайней мере, через главнейшие фазы исторического развития человечества. Этим он сделал бы величайший переворот в теории эстетики. Но, во-первых, метод, которого он держался в своих исследованиях, был недостаточно разработан для такого теоретического предприятия. А во-вторых, он как «просветитель» интересовался не столько самой теорией, сколько некоторыми ее выводами, имеющими непосредственное отношение к житейской практике. Поэтому он, бросив чрезвычайно проницательный взгляд на вопрос об отношении сознания к бытию в области эстетики, тотчас же отворачивается от этого теоретического вопроса и спешит дать своему читателю разумный практический совет. Он говорит:

«Мила живая свежесть цвета,
Знак юных дней;
Но бледный цвет, тоски примета,
Еще милей» [3].

* Сочинения, т. X, ч. 2, отд. I, стр. 89—90 [1].

«Но если увлечение бледною, болезненною красотою — признак искусственной испорченности вкуса, то всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах; потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек кажется нам прекрасен только потому, что у него прекрасные выразительные глаза!» * .

Это опять верно. Но в этом верном замечании речь идет уже не столько об эстетике, какой она *бывает* в зависимости от экономического положения различных классов, сколько об эстетике, какой она *должна быть* у «образованных людей». Забота о том, что *должно быть*, преобладает в диссертации Чернышевского над теоретическим интересом к тому, отчего иногда *бывает* совершенно иначе. Вот чем объясняется тот, по-видимому, странный факт, что в диссертации этого материалиста встречается меньше истинно материалистических замечаний об истории искусства, чем, например, в «Эстетике» абсолютного идеалиста Гегеля **.

Но вернемся к статье о «Пиитике» Аристотеля: она составляет как бы дополнение к исследованию об «эстетических отношениях искусства к действительности». По мнению Чернышевского, Аристотель уступает Платону в возвышенности требований, предъявляемых им к искусству; его понятия о значении музыки, поэзии не так поучительны, как Платоновы, и даже — как мы это объясняли мимоходом выше, говоря об отношениях Чернышевского к Гегелевой диалектике, — иногда страдают мелочностью. Наш автор не соглашается с Аристотелем, когда тот объясняет происхождение искусства стремлением человека к подражанию. Однако ему очень нравится взгляд Аристотеля на отношение философии к поэзии. Он говорит: «Поэзия, изображающая человеческую жизнь с общей точки зрения, представляющая не случайные и ничтожные мелочи ее, а то, что есть в жизни существенного и характеристического, чрезвычайно много имеет, как думает Аристотель, философского достоинства. Она в этом отношении даже гораздо выше, по его мнению, нежели история, которая без разбора должна описывать и важное, и неважное, и существенное, характеристическое, и случайные, не имеющие никакого внутреннего значения

* Там же, стр. 90 [1].

** См. замечания Гегеля об истории голландской живописи, с которыми почти безусловно может согласиться любой из современных материалистов-диалектиков («Aesthetik», 1-er Band, S. 217, 218; B. II, S. 217—223 [«Эстетика», т. I, стр. 217, 218; т. II, стр. 217—223]) [2]. Подобных замечаний много рассеяно в его «Эстетике».

факты; поэзия гораздо выше истории также и потому, что представляет все во внутренней связи, между тем как история без всякой внутренней связи, по хронологическому порядку рассказывает разнородные факты, не имеющие между собою ничего общего» *.

Как известно, этот взгляд Аристотеля нравился также и Лессингу и по той же причине: он давал теоретическую возможность предъявить к поэзии столь дорогое обоим «просветителям» требование «объяснения жизни» или — чтобы выразиться с полною точностью — произнесения над нею «приговора». Конечно, на самом деле взгляд Аристотеля мог быть объяснен в том чисто теоретическом смысле, какой придал ему Гегель в своей «Эстетике» и какой мы чаще всего встречаем в касающихся этого предмета рассуждениях Белинского. Но Чернышевский, подобно Лессингу, истолковывает его в дорогом для «просветителей» практическом направлении **.

В качестве «просветителя», озабоченного главным образом практическими выводами и потому не очень расположенного ко всестороннему рассмотрению теоретической основы таких выводов, Чернышевский далеко не всегда отдает историческую справедливость отвергаемым им эстетическим теориям.

Чернышевский, подобно Лессингу, не любил «теоретиков псевдоклассической школы» по причинам, которые сами по себе совершенно понятны — и, что касается Лессинга, хорошо разъяснены Ф. Мерингом в его известной книге «Lessings-Legende» ***, — но рассмотрение которых завело бы нас здесь слишком далеко. Он приписывает этим теоретикам подчас такие грехи, в каких они, говоря по правде, совсем не повинны, в чем он и сам мог бы легко убедиться при несколько большем внимании к исторической стороне занимавших его эстетических вопросов. Вот яркий пример. У Платона и Аристотеля изящные искусства называются *подражательными*. По этому поводу Чернышевский считает нужным оттенить, что то «*подражание*», о котором говорят эти философы, имеет очень мало общего с тем «*подражанием природе*», в котором псевдоклассическая школа видела сущность искусства. «Неужели Платон и особенно Аристотель, учитель всех Батте, Буало и Горациев, — говорит он, — поставляют сущность искусства не в подражании *природе,* как привыкли все мы дополнять фразу, говоря о теории

* Сочинения, т. I, стр. 36—37 [1].

** Нелишним будет, пожалуй, напомнить следующую оговорку Чернышевского насчет истории: «Но мнение Аристотеля об истории требует объяснения: оно приложимо только к тому виду истории, который был известен в его время, — это была не собственно история, а летопись» (Сочинения, т. I, стр. 37) [2].

*** [«Легенда о Лессинге»]

подражания? Действительно, и Платон, и Аристотель считают истинным содержанием искусства, в особенности поэзии, вовсе не природу, а *человеческую* жизнь. Им принадлежит великая честь думать о главном содержании искусства именно то самое, что после них высказал уже только Лессинг и чего не могли понять все их последователи. У Аристотеля в «Пиитике» нет ни слова о природе: он говорит о людях, их действиях, событиях с людьми, как о предметах, которым подражает поэзия. Дополнение: «природе» могло быть принято в пиитиках только тогда, когда процветала вялая и фальшивая описательная поэзия... и неразлучная с нею дидактическая поэзия — роды, изгоняемые Аристотелем из поэзии. Подражание *природе* чуждо истинному поэту, главный предмет которого — человек. «Природа» выступает на первый план только в пейзажной живописи, и фраза «подражание *природе*» послышалась в первый раз из уст живописца» *.

Далее Чернышевский поясняет, со слов Плиния, при каких обстоятельствах произнесена была эта фраза: когда Лизипп спросил живописца Эвпомпа, кому из великих художников надо подражать, тот ответил, что подражать надо не художникам, а самой природе. Из этих слов наш автор справедливо заключает, что образцом для художника должна служить живая действительность вообще, а не природа, в узком смысле этого слова. Но дело в том, что слова: «подражание природе» понимались в том же смысле и «теоретиками псевдоклассической школы». В доказательство мы сошлемся на Буало, которого Чернышевский называет в числе писателей, будто бы забывавших о человеке. В третьей песне своего «Art poétique» ** Буало дает следующий совет авторам:

Que la nature donc soit votre étude unique,
Auteurs, qui prétendez aux honneurs du comique.
Quiconque voit bien l'homme, et, d'un esprit profond,
De tant de coeurs cachés a pénétré le fond;
Qui sait bien ce que c'est qu'un prodigue, un avare,
Un honnête homme, un fat, un jaloux, un bizarre,
Sur une scène heureuse il peut les étaler,
Et les faire à nos yeux vive, agir et parler.
Présentez en partout les images naives;
Que chacun y soit peint des couleurs les plus vives.
La nature, féconde en bizarres portraits,
Dans chaque âme est marquée à de différents traits,
Un geste la découvre, un rien la fait paraître.
Mais tout esprit n'a pas des yeux pour la connaître ***.

---

* Сочинения, т. I, стр. 38—39 [1].

** [«Поэтического искусства»].

*** [Чтоб нравиться могла Комедия народу,
Наставницей избрать вам надобно природу.
Кто проникал умом в глубины душ людских
И постигал сердца, читая тайны их, —

Здесь как нельзя более ясно, что под «природой» Буало понимает именно человека. Не менее ясно это и в следующем отрывке:

Aux dépens du bon sens gardez de plaisanter.
Jamais de la nature il ne faut s'écarter.
Contemplez de quel air un père dans Térence
Vient d'un fils amoureux gourmander l'imprudence;
De quel air cet amant écoute ses leçons,
Et court chez sa maîtresse oublier ses chansons.
Ce n'est pas un portrait, une image semblable,
C'est un amant, un fils, un père véritable *.

Когда Буало говорил, что ни в каком случае не следует уклоняться от природы, его слова имели, очевидно, тот смысл, что *человеческая* природа должна быть изображена с возможно большею верностью. Буало ставит в пример Теренция; но Теренций достоин подражания, по его мнению, именно как художник, мастерски воспроизводивший природу человека: отца, сына, любовника и т. д. Да и не мог XVII век предпочитать изображение природы изображению человеческой жизни. Он слишком интересовался этой последней. Она сосредоточивала на себе почти все его внимание, и даже пейзажная живопись этого столетия отодвигает природу на задний план. Внимание пейзажиста обращается во Франции от человека к природе только уже в конце двадцатых годов XIX столетия; да и этот поворот означает, собственно, не то, что художники начали интересоваться природой больше, нежели человеком, а то, что их стали теперь интересовать другие, прежде мало интересные для них стороны душевной жизни человека **. Но, повторяем,

---

Тому понятны фат, скупец и расточитель,
Ревнивец и простак, и ловкий обольститель;
На сцену их легко он поведет толпой,
И будет говорить, и будет жить любой.
В Комедии должны быть образы простыми,
Но нужно написать их красками живыми.
Природа в творчестве причудлива своем
И в сердце каждого горит другим огнем;
Вдруг в жесте, в пустяке она себя являет,
Но не всегда ее, не всякий распознает.
(Перев. *С. Нестеровой*)]

* [Но пусть же здравый смысл над шуткою царит,
Пусть от природы вас ничто не отдалит.
Примером будет вам Теренция картина:
Седой отец бранит влюбившегося сына;
Тот, выслушав урок и тотчас позабыв,
К любовнице спешит, беспечен и игрив.
Нет, это — не портрет, а жизнь. В такой картине
Живет природы дух — в седом отце и сыне.]

** См. статьи, посвященные французскому пейзажу в сборнике «Histoire du paysage en France». Paris [«История пейзажа во Франции». Париж] 1908; там же лекции *Л. Розенталя:* «Le paysage au temps du romantisme» [«Пейзаж в период романтизма»], и статью *Шарля Сонье:* «Jean-François Millet» [«Жан-Франсуа Милье»]. Ср. также *Фромантэна:* «Les maîtres d'autrefois. Belgique — Hollande», 8-e édit., Paris [«Мастера прошлого. Бельгия — Голландия», изд. 8, Париж] 1896, стр. 271 и сл.

для Чернышевского, как для «просветителя», не имели особенного значения эти исторические подробности. Ему важен был тот имевший в его глазах огромное практическое значение вывод, что «называть искусство воспроизведением действительности (заменяя современным термином неудачно передающее смысл греческого mimêsis слово «подражание») было бы вернее, нежели думать, что искусство осуществляет в своих произведениях нашу идею совершенной красоты, которой будто бы нет в действительности» *. Развивая эту свою мысль, Чернышевский утверждает, что напрасно думают, будто бы, признав своим верховным началом воспроизведение человеческой жизни, искусство тем самым вынуждено было бы делать грубые и пошлые снимки с действительности и отказаться от всякой идеализации. Чернышевский признает идеализацию, но он дает свое определение этому понятию. Идеализация, состоящая в так называемом облагорожении изображаемых предметов и характеров, равносильна чопорности, надутости и фальши: «единственная необходимая идеализация должна состоять в исключении из поэтического произведения ненужных для полноты картины подробностей, каковы бы ни были эти подробности». И это, разумеется, безусловно справедливо.

Не касаясь — как уже разобранных нами в другом месте — других эстетических взглядов, высказанных Чернышевским по поводу «Пиитики» Аристотеля и повторенных им в своей диссертации, мы остановимся еще только на одном. Чернышевский отмечает, что Аристотель ставил трагиков выше Гомера и находил, что поэмы этого последнего много уступают трагедиям Софокла и Эврипида в смысле художественной формы. Наш автор вполне согласен с этим взглядом греческого философа и, со своей стороны, считает нужным дополнить его только одним замечанием: он находит, что трагедии Софокла и Эврипида несравненно художественнее поэм Гомера не только по форме, но также и по содержанию. И он спрашивает, не пора ли и нам последовать примеру Аристотеля и взглянуть без ложного подобострастия на Шекспира. Лессингу, находит он, было естественно ставить великого английского драматурга выше всех поэтов, когда-либо существовавших на земле; но теперь, когда уже нет надобности восставать против слишком усердного подражания французским псевдоклассическим писателям и когда у нас есть Лессинг, Гёте, Шиллер, Байрон, вполне позволительно критическое отношение к Шекспиру. «Ведь Гёте признает же «Гамлета» нуждающимся в переделке [2]? И, может быть, Шиллер не выказал неразборчивости вкуса, переделав наравне с Шекспировым «Макбетом» и Расинову «Федру». Мы

* Сочинения, т. I, стр. 39 [1].

беспристрастны к давно прошедшему: зачем же так долго медлить признавать и недавно прошедшее веком высшего, нежели прежнее, развития поэзии? Разве ее развитие не идет рядом с развитием образованности и жизни» *.

Само собою разумеется, что можно и должно относиться с критикою к Шекспиру, как можно и должно относиться с нею, например, к Гёте и Толстому или Гегелю и Спинозе. Но можно ли поставить Лессинга и Шиллера или Байрона выше Шекспира, — это другой вопрос. Мы не имеем возможности разбирать его здесь, но мы все-таки позволим себе сказать, что как драматург Шекспир значительно выше названных Чернышевским писателей. Беспристрастие, конечно, необходимо во всех литературных суждениях; однако оно еще не обязывает нас к признанию той мысли, что успехи поэзии всегда идут рядом с успехами жизни и образованности. Нет, далеко не всегда. Как художники Корнель и Расин несравненно выше Вольтера, а между тем французская образованность и французская жизнь XVIII века далеко опередили образованность и жизнь Франции предыдущего столетия. Или — чтобы взять пример, который показался бы более убедительным Чернышевскому, как решительному противнику французской псевдоклассической школы, — разве не очевидно, что в эпоху того же Шекспира английский театр стоял несравненно выше, нежели в XVIII веке? А ведь английская образованность и жизнь очень далеко подвинулись вперед в промежуток, отделяющий одну от другой эти две эпохи. «Просветители» всех стран очень склонны были думать, что успехам просвещения («образованности») всегда прямо пропорциональны были успехи всех других сторон умственной и общественной жизни народов. Это не так. В действительности историческое движение человечества представляет собою такой процесс, в котором успехи одной из сторон не только не предполагают пропорциональных успехов всех других его сторон, но иногда прямо обусловливают собою отсталость или даже упадок некоторых из них. Так, например, колоссальное развитие западноевропейской экономической жизни, определив собою взаимное отношение между классом производителей и классом присвоителей общественного богатства, привело во второй половине XIX столетия к духовному упадку буржуазии и всех тех искусств и наук, в которых выражаются нравственные понятия и общественные стремления этого класса. Во Франции конца XVIII столетия буржуазия выступила еще как класс, исполненный умственной и нравственной энергии; но это обстоятельство не помешало поэзии, созданной ею в то время, пойти назад сравнительно с тем, чем она была прежде, когда менее

* Там же, стр. 43 [1].

развита была общественная жизнь. Поэзия вообще плохо уживается с рассудочностью, а рассудочность очень нередко является необходимым следствием и верным показателем успехов образованности [1]. Но Чернышевскому, как типичному «просветителю», были совершенно чужды соображения этого рода.

ГЛАВА ВТОРАЯ

БЕЛИНСКИЙ, ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ПИСАРЕВ

В другом месте мы сказали, что если Белинский был *родоначальником* наших «просветителей», то Чернышевский является *самым крупным их представителем* *. Чтобы сделать это понятным, нужно сперва напомнить, в каком смысле мы считаем Белинского родоначальником наших «просветителей».

В эпоху своего знаменитого «примирения с действительностью» он задался целью понять ее как продукт определенного хода исторического развития. Он держался тогда того мнения, что идеал, не оправдываемый самим ходом развития «действительности», т. е. оторванный от нее, представляет собою нечто вроде субъективного каприза, не заслуживающего ни внимания, ни интереса. Его «примирение с действительностью» означало лишь пренебрежение к такому идеалу. Впоследствии, когда он уже проклинал свою статью о Бородинской битве, как недостойную честного писателя, он, продолжая оставаться верным духу Гегелевой философии, возмущался в этой статье, собственно, ее выводами, а не ее основными положениями. «Идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки «Очерки Бородинского сражения», — говорил он, — верна в своих основаниях» [3]. Но он находил теперь, что ему не удалось как следует воспользоваться этими верными основаниями. «Должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого, священного, без которого человечество превратилось бы в стоячее и вонючее болото» [4]. Гегель, поскольку он оставался верен своей диалектике, вполне признавал «историческое право отрицания». Это хорошо видно из его чтений по истории философии, в которых он с таким решительным одобрением говорит об отрицателях, подобных Сократу. Но у Гегеля — опять-таки поскольку он не изменял своему диалектическому методу — отрицание данной «действительности» является закономерным продуктом ее собственного диалектического развития, т. е. развития свойственных ей внутренних противоречий. Чтобы обосновать «идею отрицания» в России,

* «За двадцать лет», 3-е издание, стр. 260 [2].

нужно было открыть и показать, каким образом историческое развитие общественных отношений, составляющих данную российскую «действительность», должно своей собственной, внутренней логикой привести со временем к отрицанию той же «действительности», т. е. к ее замене новой «действительностью», более или менее соответствующей идеалам передовых личностей. Страшная отсталость нашей тогдашней общественной жизни не дала Белинскому возможности решить эту чрезвычайно важную теоретическую задачу. А так как он по всему своему нравственному складу все-таки не мог жить в мире с «действительностью», так как его мир с нею был лишь перемирием, то ему пришлось обосновывать свою «идею отрицания» другим и уже совсем не диалектическим путем: он стал выводить ее из отвлеченного понятия о *человеческой личности*, которую он считал нужным освободить «от гнусных оков неразумной действительности, мнения черни и предания варварских времен». Но поскольку он искал опоры в этом отвлеченном понятии, постольку он из *диалектика* превращался в «*просветителя*».

Просветители, как мы это видим в каждом известном нам периоде «просвещения», в своей критике современных им отношений исходили обыкновенно из тех или других *отвлеченных принципов*.

Со стороны социально-политической это новое направление мысли Белинского — это искание им опоры в отвлеченном понятии личности — привело его к *утопическому социализму*, а со стороны литературной — к реабилитации Шиллера, которого он объявил теперь благородным адвокатом человечества. Но все-таки он недаром прошел школу Гегеля: у него навсегда осталось отвращение от «натянутого, на ходулях стоящего идеализма, махающего мечом картонным, подобно разрумяненному актеру». Если в своей юности, в первый период своего увлечения Шиллером, Белинский увлекался его «Разбойниками», то теперь он уже с пренебрежением относится к тем писателям, которые с легкой руки Марлинского «принялись рисовать то Карлов Мооров в черкесской бурке, то Лиров и Чайльд-Гарольдов в канцелярском вицмундире». Уже в начале 1844 года он — в статье «*Русская литература в 1843 году*» — с удовольствием отмечает, что теперь и «великие и малые таланты, и посредственность и бездарность — все стремятся изображать действительных, не воображаемых людей, но так как действительные люди обитают на земле и в обществе, а не на воздухе, не в облаках, где живут одни призраки, то, естественно, писатели нашего времени вместе с людьми изображают и общество. Общество также — нечто действительное, а не воображаемое, и потому его сущность составляют не одни

костюмы и прически, но и нравы, обычаи, понятия, отношения и т. д.» *. В последующие годы своей жизни Белинский, умственное развитие которого шло в том же направлении, в каком развивалась западноевропейская философская мысль, перешел *от Гегеля к Фейербаху*. Это особенно заметно в его статье «*Взгляд на русскую литературу 1846 года*», где он излагает некоторые основные положения Фейербаховской философии [2]. И в той же статье он в полном согласии со своими новыми философскими убеждениями говорит: «Если бы нас спросили, в чем состоит отличительный характер современной русской литературы, мы отвечали бы: в более и более тесном сближении с жизнью, с действительностью, в большей и большей близости к зрелости и возмужалости» **. В литературном обозрении следующего года, написанном им совсем уже незадолго до своей смерти, он такими словами определяет состояние и задачи нашей литературы:

«Литература наша была плодом сознательной мысли, явилась как нововведение, началась подражательностью. Но она не остановилась на этом, а постоянно стремилась к самобытности, народности, из риторической стремилась сделаться естественною, *натуральною*. Это стремление, ознаменованное заметными и постоянными успехами, и составляет смысл и душу истории нашей литературы. И мы, не обинуясь, скажем, что ни в одном русском писателе это стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло совершиться только через исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов. Для этого нужно было обратить все внимание на толпу, на массу, изображать людей обыкновенных, а не приятные только исключения из общего правила, которые всегда соблазняют поэтов на идеализирование и носят на себе чужой отпечаток. Это великая заслуга со стороны Гоголя... Этим он совершенно изменил взгляд на самое искусство. К сочинениям каждого из поэтов русских можно, хотя и с натяжкою, приложить старое и ветхое определение поэзии как «украшенной природы»; но в отношении к сочинениям Гоголя этого уж невозможно сделать. К ним идет другое определение искусства — как воспроизведения действительности во всей ее истине. Тут все дело в *типах*, а *идеал* тут понимается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые автор становит друг к другу созданные им типы, сообразно с мыслью, которую он хочет развить своим произведением» ***.

Со всем, что высказывал в этих строках Белинский, Чернышевский был безусловно согласен, и эти мысли Белинского легли в основу его взглядов на общие задачи русской литера-

* Сочинения *В. Г. Белинского*, Москва 1880 г., ч. 8, стр. 63 [1].
** Там же, стр. 9—10 [3].
*** Соч. *Белинского*, там же, стр. 344—345 [4].

туры и на ее состояние в различные эпохи ее развития. Автор «Очерков Гоголевского периода русской литературы» имел полное право считать себя продолжателем *дела Белинского*. Когда Тургенев и другие образованные «люди 40-х годов» утверждали, что проповедь Чернышевского и его единомышленников изменяет заветам критики Белинского, они упускали из виду, что сам «неистовый Виссарион» нередко высказывался в последний период своей жизни в духе этой проповеди. Однако это их мнение не было и полной ошибкою. Они были правы в том смысле, что Чернышевский и его единомышленники делали из «просветительных» идей Белинского подчас такие выводы, которые при всей своей логической правильности вряд ли пришлись бы по душе Белинскому, до конца жизни сохранившему в своих взглядах многое из того, что Писарев окрестил впоследствии «шелухой гегелизма».

Что такое та «действительность», о которой говорил Белинский в приведенных нами выписках из его годовых обзоров русской литературы? Совпадает ли понятие о ней с понятием о той «действительности», с которой он некогда «мирился»?

С удовольствием указывая на то, что наши журналы теперь больше всего толкуют о действительности, Белинский замечает: «Понятие о действительности совершенно новое» *. Чернышевский, приводящий это его замечание в 7-й главе своих «Очерков Гоголевского периода», находит его вполне правильным. Он говорит, что понятие о действительности «определилось и вошло в науку очень недавно, именно с того времени, как объяснены были современными нам мыслителями темные намеки трансцендентальной философии, признававшей истину только в конкретном осуществлении» **. И он считает нужным подробно изложить этот новый и простой, но чрезвычайно плодотворный взгляд на действительность.

«Были времена, — говорит он, — когда мечты фантазии ставились гораздо выше того, что представляет жизнь, и когда сила фантазии считалась беспредельною. Но современные мыслители внимательнее прежнего рассмотрели этот вопрос и дошли до результатов, совершенно противоположных прежним мнениям, которые оказались решительно не выдерживающими критики. Сила нашей фантазии чрезвычайно ограничена, и создания ее очень бледны и слабы в сравнении с тем, что представляет действительность. Самое пылкое воображение подавляется представлением о миллионах миль, отделяющих землю от солнца, о чрезвычайной быстроте света и электрического тока; самые идеальные фигуры Рафаэля оказались портретами

---

* Там же, стр. 33 [1].

** Сочинения *Н. Г. Чернышевского*, т. II, стр. 205 [2].

с живых людей; самые уродливые создания мифологии и народных суеверий оказались далеко не столь непохожими на окружающих нас животных, как чудовища, открытые естествоиспытателями; историею и внимательным наблюдением современного быта доказано было, что живые люди, даже вовсе не принадлежащие к числу отъявленных извергов или героев добродетели, совершают преступления, гораздо ужаснейшие, и подвиги, гораздо более возвышенные, нежели все, что было выдумано поэтами. Фантазия должна была смириться перед действительностью; мало того: принуждена была сознаться, что мнимые создания ее — только копии с того, что представляется явлениями действительности» *.

Это совершенно то же самое, что говорится в его диссертации. Далее он разъясняет, что явления действительности очень разнообразны. В ней много такого, что соответствует потребностям человека, и много такого, что противоречит им.

Прежде, когда пренебрегали действительностью, думали, что очень легко переделать ее сообразно фантастическим мечтам. Потом увидели, что это не так. Человек очень слаб. Вся его сила зависит от знания действительной жизни и от уменья пользоваться для своей цели законами природы. Действуя сообразно с этими законами и со свойствами своей собственной природы, человек может постепенно видоизменить действительность и приспособить ее к своим стремлениям. Иначе он ничего не добьется. Однако не все стремления человека сообразны с законами природы, некоторые из них являются их нарушением. И человеку в сущности нет никакой надобности в осуществлении таких стремлений: оно не привело бы ни к чему, кроме недовольства и страданий. Все противоречащее законам природы вообще, и человеческой природе в частности, вредно и тяжело для человека. Поэтому у нравственно здоровых людей и нет стремлений, противоречащих указанным законам. Подобными стремлениями дорожат лишь люди, подчиняющиеся праздным фантазиям. «Прочное наслаждение дается человеку только действительностью; серьезное значение имеют только те желания, которые основанием своим имеют действительность; успеха можно ожидать только в тех надеждах, которые возбуждаются действительностью, и только в тех делах, которые совершаются при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею»**.

Таково было новое понятие о «действительности». Говоря, что оно было выработано современными мыслителями из темных намеков трансцендентальной философии, Чернышевский имел в виду Фейербаха. И он вполне правильно изложил Фейер-

* Там же, стр. 205 [1].
** Там же, стр. 206 [2].

бахово понятие о действительности. Фейербах говорил, что чувственность или действительность тождественна с истиною, т. е. что предмет в его истинном смысле дается лишь ощущением. Умозрительная философия полагала, что представления о предметах, основанные лишь на чувственном опыте, не соответствуют действительной природе предметов и должны проверяться с помощью чистого мышления, т. е. мышления, не основанного на чувственном опыте. Фейербах решительно восстал против этого идеалистического взгляда. Он утверждал, что основанные на нашем чувственном опыте представления о предметах вполне соответствуют природе этих последних. Беда лишь в том, что наша фантазия часто искажает эти представления, которые приходят поэтому в противоречие с нашим чувственным опытом. Философия должна изгнать из наших представлений искажающий их фантастический элемент; она должна привести их в согласие с чувственным опытом. Она должна вернуть человечество к преобладавшему в древней Греции не искаженному фантазией созерцанию действительных предметов. И поскольку человечество переходит к такому созерцанию, оно возвращается к самому себе, потому что люди, подчиняющиеся вымыслам, сами могут быть только фантастическими, а не действительными существами. По словам Фейербаха, сущность человека есть чувственность, т. е. действительность, а не вымысел и не абстракция. Задача философии и науки вообще заключается в реабилитации действительности. Но если это так, то отсюда само собою следует вывод, что и задачи эстетики, как отрасли науки, тоже заключаются в реабилитации действительности и в борьбе с фантастическим элементом человеческих представлений. На этом выводе из философии Фейербаха и были построены эстетические взгляды Чернышевского; он составил главную мысль его диссертации. И несомненно, что тот же самый вывод имел в виду Белинский, называя в своем предпоследнем годовом обзоре литературы понятие о «действительности» новым понятием.

Нужно отдать полную справедливость как Белинскому, так и Чернышевскому: вывод, сделанный ими из философии Фейербаха, был совершенно правилен. Но как относился он к «темным намекам трансцендентальной философии»?

У Гегеля «действительным» признавалось только то, что было «разумно». У Фейербаха «разумно» только то, что «действительно». На первый взгляд кажется, что оба мыслителя говорят одно и то же, и тогда представляется странным, почему же Чернышевский видит лишь темный намек в той Гегелевой мысли, которую он находит совершенно ясною, встретив ее у Фейербаха. Но дело вот в чем.

«Разум» Гегеля есть не что иное, как закономерность объективного развития. Эта закономерность рассматривается Гегелем через идеалистическую призму. Призма эта очень сильно извращает подчас истинное соотношение явлений, — ставит его вверх ногами, по выражению Маркса; но при всем том критерием разумности субъективных стремлений являлось в глазах Гегеля соответствие этих стремлений с закономерным ходом объективного развития общества. И в этом заключалась великая сила его философии, которую инстинктивно чувствовал Белинский, отвращаясь от «абстрактного идеала» во имя «разумной действительности». Когда Фейербах требовал от исследователя внимательного отношения к чувственности, освобожденной от фантастических вымыслов, он только переводил на материалистический язык правильную по существу и чрезвычайно глубокую мысль Гегеля. И когда впоследствии эта переведенная Фейербахом на материалистический язык глубокая мысль Гегеля была надлежащим образом разработана Марксом, она легла в основу материалистического объяснения истории. Но у самого Фейербаха и у его непосредственных последователей, а в том числе у Белинского и у Чернышевского, перевод на материалистический язык этой мысли Гегеля вышел очень сокращенным; мысль эта оставалась у них неразработанной. И в своем неразработанном виде она, несмотря на свою материалистическую сущность, стала источником идеалистического отношения к явлениям. Произошло это потому, что требование, предъявленное Фейербахом исследователям, имело двойственный характер: оно, во-первых, предписывало им внимательное отношение к действительности, а во-вторых, и во имя того же внимательного отношения, оно настойчиво рекомендовало им энергичную борьбу с фантастическими вымыслами. Предположите, что исследователь в силу данных условий времени и места сосредоточит свое главное внимание на борьбе с фантастическими вымыслами, и перед вами окажется не теоретик, старающийся найти материалистическую основу явлений, а «просветитель», ведущий войну с устарелыми предрассудками во имя своего субъективного разума. Необходимые для этого условия времени и места были в России налицо как в то время, когда Белинский, не сумев обосновать идею отрицания, вынужден был удовольствоваться борьбою с действительностью во имя отвлеченных прав личности, так — и еще более — в то время, когда складывалось миросозерцание Чернышевского. Поэтому у Белинского в последний период его литературной деятельности — а у Чернышевского с самого ее начала — публицистические, а в значительной степени и литературные взгляды были проникнуты свойственным «просветителям» идеализмом. И в этом смысле Белинский был совершенно прав, когда в цитированном выше

обозрении литературы называл свое «понятие о действительности» новым. Оно в самом деле было новым сравнительно с тем, что понимал под действительностью тот же Белинский, когда он писал свою статью о Бородинской битве. Тогда это слово означало у него совокупность существовавших в России общественных отношений, и он счел себя обязанным преклониться перед ней по той простой причине, что не сумел обнаружить свойственных ей внутренних противоречий. Теперь у Белинского, а после него и у Чернышевского понятие действительности уже не совпадало с понятием совокупности того, что существует: мы ведь уже слышали от Чернышевского, что существующее нередко является продуктом ложно направленной и несогласной с действительностью фантазии. Стало быть, внимание к действительности означало у них — поскольку они были «просветителями» — прежде всего внимание к тому, что может и должно существовать тогда, когда люди освободятся от фантастических вымыслов и станут подчиняться законам своей собственной природы. А если тем не менее как Белинский, так и Чернышевский настоятельно рекомендуют художественной литературе точное изображение того, что есть, то они делают это, будучи твердо убеждены, что, чем точнее изобразит художественная литература взаимные отношения между людьми, тем скорее увидят люди ненормальность этих отношений и тем скорее сумеют они исправить их сообразно требованиям своей собственной природы, т. е., точнее говоря, сообразно указаниям субъективного разума «просветителей». Неудивительно поэтому, что первой задачей литературной критики, как в глазах Чернышевского, так и в глазах Белинского, являлось разъяснение людям того, что было ненормального в их взаимных отношениях, изображаемых художественной литературой. В другом месте мы, характеризуя взгляды Белинского в последний период его литературной деятельности, подчеркивали то, что он становился «просветителем» в сущности лишь тогда, когда покидал точку зрения диалектики, которая не переставала привлекать его до конца его жизни. Там же мы указывали на то, как удачно подчас давал Белинский диалектическое объяснение литературным явлениям *. Мы напоминаем теперь об этом, так как не хотим, чтоб сказанное нами о Белинском получило одностороннее истолкование. Повторяем: у Белинского очень сильна была диалектическая закваска — сильнее, чем у самого Фейербаха, — и он даже в последний период своей деятельности далеко не всегда рассуждал как «просветитель». Но когда он переходил на точку зрения «просветителя», он

* См. конец нашей статьи «Литературные взгляды В. Г. Белинского» в сборнике «За двадцать лет» [1].

с обычным своим талантом высказывал взгляды, последовательно развитые потом нашей критикой 60-х годов, т. е. главным образом Чернышевским и Добролюбовым. Вот почему мы и назвали его родоначальником наших «просветителей».

Характеризуя и развивая свое «*новое*» понятие о действительности, Белинский высказывался как «просветитель»; Чернышевскому оставалось только дальше идти в том же направлении. Чтобы показать, как последовательно держался Чернышевский этого направления и как верен был он «просветительскому» завету своего великого предшественника, мы приведем его взгляд на Шиллера, заимствуемый нами из его библиографической заметки о сочинениях Шиллера в переводе русских поэтов («Современник», 1857 год, № 1).

Он говорит там: «Его поэзия никогда не умрет, — это не какой-нибудь Соути или Гербель. Люди, гордящиеся своею мнимою положительностью, между тем как имеют только сухость сердца, — своим знанием жизни, между тем как приобрели только знание мелочных интриг, говорят иногда о Шиллере свысока, как об идеалисте-мечтателе, иногда решаются даже намекать, что у него больше было сентиментальности, нежели таланта. Все это может быть справедливо относительно иных поэтов, которых считают у нас сходными по направлению с Шиллером, но не относительно Шиллера. Характер своей поэзии он сам объяснил нам в «Письмах об эстетическом воспитании человеческого рода», излагая свои понятия о существенном значении поэзии вообще. Это сочинение написано в 1795 г., в эпоху французских войн, от результата которых зависела не только политическая самостоятельность или подчиненность Германии, но также решение вопросов внутреннего быта немецких племен. Шиллер хотел доказать в нем, что путь к разрешению общественных вопросов — эстетическая деятельность. По его мнению, необходимо нравственное возрождение человека для того, чтобы изменить к лучшему существующие отношения: устройство их может быть усовершенствовано только тогда, когда облагородится человеческое сердце. Средством такого возрождения должна быть эстетическая деятельность. Она должна давать благородное и твердое настроение умственной жизни. Суровые принципы душевного благородства пугают людей, когда излагаются строгою наукою. Искусство незаметно внушает человеку понятия, достоинство которых не хочет он оценить, когда они являются ему без поэтической одежды. Своими идеалами приводит поэзия лучшую действительность: внушая благородные порывы юноше, готовит она его к благородной практической деятельности.

Такова действительно поэзия Шиллера. Это вовсе не сентиментализм, не игра мечтательной фантазии: пафос этой поэ-

зии — пламенное сочувствие всему, чем благороден и силен человек» *.

Поэзия должна быть средством нравственного возрождения людей. Поэтическая одежда нужна для того, чтобы внушить людям понятия, достоинство которых они не сумели бы оценить, если б увидели их без поэтической одежды. Вот основная мысль Чернышевского. С точки зрения этой мысли он оценивает Шиллера. Шиллер дорог ему как человек, стремившийся к нравственному воспитанию людей с помощью художественных произведений. Замечательнее всего в приведенном отрывке слова: «своими идеалами приводит поэзия лучшую действительность». Тут с особенною выпуклостью выражается новое, свойственное просветителям понятие действительности. Лучшая действительность создается идеалом. Этот взгляд составляет прямую противоположность тому, согласно которому идеалы влияют на действительность только в том случае, когда они выражают собою объективные тенденции ее развития. Поэзия внушает юношам благородные порывы и тем готовит их к благородной деятельности. Критика со своей стороны помогает в этом поэзии и таким образом становится тем, что называлось иногда у нас публицистической критикой.

Что критика 60-х годов, например критика Добролюбова, не раз переходила в публицистику, это всем известно. Поэтому, говоря о Чернышевском, мы будем приводить не столько доказательства этой мысли, сколько ее иллюстрации. В 1858 году в № 3 «Атенея» появилась в отделе критики статья Чернышевского «Русский человек на rendez-vous. Размышления по поводу повести г. Тургенева «Ася»». Статья эта представляет собою один из самых ярких образчиков публицистической критики. О самой повести Тургенева, которую Чернышевский называет «едва ли не единственною хорошею новою повестью», в статье говорится очень немного, почти ничего. Автор обращает внимание только на сцену любовного объяснения героя повести с Асей и по поводу этой сцены предается «размышлениям». Читатели помнят, конечно, что в решительную минуту тургеневский герой струсил и пошел на попятную. Вот это-то обстоятельство и наводит Чернышевского на его «размышления». Он замечает, что нерешительность и трусость составляют отличительное свойство не одного только этого героя, но и большинства героев наших лучших беллетристических произведений. Он вспоминает о Рудине, о Бельтове, о развивателе некрасовской Саши и во всех видит то же самое свойство. Он не винит за него беллетристов, так как они отмечали лишь то, что на каждом шагу встречается в действительности. Мужества нет в русских

* Сочинения, т. III, стр. 5 [1].

людях, поэтому не имеют его и действующие лица беллетристических произведений. А мужества нет в русских людях потому, что нет у них привычки к участию в общественных делах. «Когда мы входим в общество, мы видим вокруг себя людей в форменных и неформенных сюртуках или фраках, эти люди имеют пять с половиною или шесть, а иные и больше футов роста; они отращивают или бреют волоса на щеках, верхней губе и бороде; и мы воображаем, что видим перед собою мужчин. Это совершенное заблуждение, оптический обман, галлюцинация, не больше. Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувств гражданина ребенок мужеского пола, вырастая, делается существом мужеского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиною он не становится или, по крайней мере, не становится мужчиною благородного характера» *. У людей гуманных и образованных недостаток благородного мужества бросается в глаза еще больше, чем у людей темных, потому что гуманный и образованный человек любит поговорить о материях важных. Он говорит с увлечением и красноречием, но лишь до тех пор, пока не начнется речь о переходе от слов к делу. «Пока о деле нет речи, а надобно только наполнить праздное время, праздную голову или праздное сердце разговорами и мечтами, герой очень боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства, — бо̀льшая часть героев начинает уже колебаться и чувствовать уже неповоротливость в языке. Немногие, самые храбрейшие, кое-как успевают еще собрать все свои силы и коснеющим языком выразить что-то, дающее смутное понятие об их мыслях. Но вздумай кто-нибудь схватиться за их желания, сказать: вы хотите того-то; мы очень рады; начинайте же действовать, а мы вас поддержим, — при такой реплике одна половина храбрейших героев падает в обморок, другие начинают очень грубо упрекать вас за то, что вы поставили их в неловкое положение, начинают говорить, что они не ожидали от вас таких предложений, что они совершенно теряют голову, не могут ничего сообразить, потому что как это можно так скоро, и притом они же честные люди, и не только честные, но очень смирные, и не хотят подвергать вас неприятностям, и что вообще разве можно в самом деле хлопотать обо всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше всего — ни за что не приниматься, потому что все соединено с хлопотами и неудобствами, и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как уже сказано, они никак не ждали и не ожидали и пр.» **.

* Сочинения, т. 1, стр. 97—98 [1].
** Там же, стр. 90—91 [2].

Портрет, написанный, можно сказать, рукой мастера. Но мастер, писавший его, был не критиком, а публицистом. И точно так же публицисту принадлежат дальнейшие «размышления» нашего автора по поводу повести Тургенева. Случай, изображенный Тургеневым, заставляет его вспоминать о том, что все зависит исключительно от обстоятельств и что то́, в чем мы видим вину людей, на самом деле есть их беда, требующая помощи через устранение обстоятельств, ее вызвавших. «Нужно не наказание отдельного лица, а изменение условий быта для целого сословия». Герой повести «Ася» не только не дурак, но прямо человек умный, много испытавший и наблюдавший в жизни. Если он тем не менее ведет себя очень глупо, то в этом виноваты два обстоятельства, одно из которых обусловливается другим: «Он не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым он привык. Это первое. Второе — он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск, опять-таки потому, что жизнь приучила его только к бледной мелочности во всем» *. Чтобы изменить человеческий характер, необходимо изменить те условия, под влиянием которых он складывается. Эта справедливая мысль, занимавшая такое важное место в проповеди французских просветителей XVIII столетия, а потом социалистов-утопистов XIX столетия, логически ведет к вопросу: каковы же будут и откуда возьмутся те причины, которые изменят к лучшему обстоятельства, определяющие собою человеческий характер? Этот вопрос Маркс разрешил указанием на экономическое развитие общества и тем произвел целый переворот в общественной науке. Чернышевский, который, подобно всем социалистам-утопистам, обыкновенно не занимается этим вопросом, подходит, однако, очень близко к нему в статье «Русский человек на rendez-vous». В самом деле, если огромное большинство наших «гуманных» и «образованных» людей, как две капли воды, похожи на героя Тургеневской повести; если все они ведут себя неумно и нерешительно, потому что они и не способны к умным и решительным действиям, то как будто выходит, что призывать их к таким действиям и бесполезно и нерасчетливо: если уж интересоваться ими, то следует изменить к лучшему те условия, от которых зависит склад их характера. Чернышевский и сам чувствует, что это так; но ему не хочется решительно признать, что иначе и быть не может. «Мы, — говорит он, — все еще не хотим сказать себе: в настоящее время не способны они понять свое положение; не способны поступить благоразумно и вместе

* Там же, стр. 97 [1].

великодушно, — только их дети и внуки, воспитанные в других понятиях и привычках, будут уметь действовать как честные, благор⟨азум⟩ные граждане... нет, мы все еще хотим полагать их способными к пониманию совершающегося вокруг них и над ними... »*.

В чем же дело? Отчего не хотелось Чернышевскому признать тот вывод, теоретическая правильность которого была для него несомненной? Это тоже зависело от «обстоятельств», и именно от того сочетания «обстоятельств», которое характеризует годы, непосредственно предшествовавшие у нас уничтожению крепостного права.

В герое «Аси» Чернышевский увидел типичного представителя образованной части нашего дворянства. Никакого сословного предубеждения в пользу дворянства он не имел, да и не мог иметь. «Мы не имеем чести быть его родственниками, — говорит он о герое «Аси», намекая на свое недворянское происхождение, — между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех нам близких» **. Но он признается, что имеет некоторые культурные предубеждения в пользу дворянства; ему кажется, — «пустая мечта, но все еще неотразимая для нас мечта», замечает он, — будто бы изображенный в повести Тургенева дворянин оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он является представителем нашего просвещения. Поэтому Чернышевский все еще желает добра «нашему герою и его собратам» и хочет дать им хороший совет. В их историческом положении готовится решительная перемена, и от их собственной воли зависит, как сложится их дальнейшая судьба. «Поймете ли вы требование времени, сумеете ли воспользоваться тем положением, в которое вы поставлены теперь, — говорит Чернышевский, обращаясь к «этим достопочтенным людям», — вот в чем теперь для вас вопрос о счастье или несчастье навеки» ***. Требования же времени заключались, по его мнению, в уступках крестьянству. Чернышевский усовещевает «достопочтенных» господ словами евангелия: «Старайся примириться с твоим противником, пока еще не дошли вы с ним до суда, а иначе отдаст тебя противник судье, а судья отдаст тебя исполнителю приговоров, и будешь ты ввергнут в темницу и не выйдешь из нее, пока не расплатишься за все до последней мелочи» (Матф., гл. V, стих. 25 и 26) ****.

Ясно и без пояснений, что всякий теоретический вывод относительно способности данного общественного класса или слоя к определенному практическому действию всегда нуждается

* Там же, стр. 100—101[1].
** Там же, стр. 100[2].
*** Там же, стр. 101[3].
**** Там же, стр. 102[4].

до известной степени в проверке путем опыта и что вследствие этого он может считаться достоверным a priori * лишь в известных, более или менее широких пределах. Так, например, можно было с полною достоверностью предсказывать, что даже и более образованная часть дворянства не согласится принести свои интересы в жертву крестьянам. Такое предсказание совсем не нуждалось в практической проверке. Но когда нужно было определить, в какой мере[1] способно образованное дворянство сделать крестьянам уступки *в своих собственных* интересах, тогда уж никто не мог с полною достоверностью сказать наперед: оно не перейдет в этом направлении такого-то предела. Тут всегда можно было предположить, что оно при известных обстоятельствах пойдет несколько дальше его, обнаружив несколько более правильное понимание своих собственных выгод. Практику, каким является в интересующем нас случае Чернышевский, не только можно, но и должно было попытаться убедить дворян в том, что их собственные выгоды требуют некоторых уступок освобождаемым крестьянам. Таким образом, то, что могло показаться в его статье противоречием, — требование благоразумного и решительного шага от людей, неспособность которых к решительности и благоразумию тут же признается и объясняется как необходимый продукт обстоятельств, — на самом деле противоречия в себе не заключало. Подобные мнимые противоречия можно найти также и в политической практике людей, стоящих на твердой почве материалистического объяснения истории. Однако тут приходится сделать весьма существенную оговорку. Когда материалист с известной осмотрительностью применяет свои теоретические выводы на практике, он все-таки может поручиться за то, что в этих его выводах есть некоторый элемент самой неоспоримой достоверности. И это потому, что когда он говорит: «все зависит от обстоятельств», он знает, с какой стороны надо ждать появления тех новых обстоятельств, которые изменят волю людей в желательном для него направлении; ему хорошо известно, что их, в последнем счете, надо ждать со стороны «экономики» и что чем вернее его анализ общественно-экономической жизни общества, тем достовернее его предсказание насчет будущего развития общества. Не то с идеалистом, который убежден в том, что «миром правят мнения». Если «мнения» представляют собою наиболее глубокую причину общественного движения, то обстоятельства, от которых зависит дальнейшее развитие общества, приурочиваются главным образом к сознательной деятельности людей, а возможность практического влияния на эту деятельность обусловливается большею или меньшею способностью

* [независимо от опыта]

людей к логическому мышлению и к усвоению новых истин, открываемых философией или наукой. Но эта способность сама зависит от обстоятельств. Таким образом, идеалист, признавший материалистическую истину о том, что характер, а также, конечно, и взгляды человека зависят от обстоятельств, попадает в заколдованный круг: взгляды зависят от обстоятельств, обстоятельства — от взглядов. Из этого заколдованного круга никогда не вырывалась мысль «просветителя» в теории. На практике же противоречие разрешалось обыкновенно усиленным призывом ко всем мыслящим людям, независимо от того, при каких обстоятельствах такие люди жили и действовали. То, что мы говорим теперь, может показаться ненужным, а потому скучным отступлением. Но на самом деле это отступление было для нас необходимо. Оно поможет нам понять характер публицистической критики 60-х годов.

Если практические упования «просветителя» приурочиваются к уму и доброй воле мыслящих людей, т. е. в сущности тех же «просветителей», то очевидно, что критика, желающая поддержать этих людей, потребует от художественной литературы прежде всего *точного* изображения общественной жизни со всеми ее достоинствами, недостатками, «положительными» и «отрицательными» явлениями. Только точное изображение всех сторон жизни может дать «просветителю» необходимый фактический материал для его приговоров над этой жизнью. Но это не все. Известно, что критика 60-х годов требовала от художественной литературы более внимательного отношения к «отрицательным», нежели к «положительным» сторонам жизни. Она обосновывала свое требование тем соображением, что в нашей общественной жизни «отрицательные» явления преобладают над «положительными». Само по себе это соображение было, конечно, верно. Однако оно еще ровно ничего не объясняло. В 70-х годах «отрицательные» явления также преобладали у нас над «положительными», как и в 60-х; а между тем наши народники уже не довольствовались изображением отрицательных сторон нашей общественной жизни, находя, что художники обязаны изображать также положительные стороны ее. Это относилось, по крайней мере, к тем художникам, которые ставили себе целью изображение народной жизни, к так называемым беллетристам-народникам. Многие читатели 70-х годов предпочитали Н. Златовратского Н. Успенскому только потому, что Златовратский, как им казалось, отводил в своих сочинениях много места отрадным для народников явлениям в крестьянской жизни (изображению общинных инстинктов крестьянина), между тем как Н. Успенский останавливался больше на печальных явлениях (на изображении развивающегося в крестьянстве индивидуализма). Поэтому как чита-

тели, так и «передовые» критики 70-х годов были — как мы сейчас увидим это на одном очень ярком примере — несправедливы к той нашей беллетристике предшествовавшего десятилетия, которая занималась народною жизнью. Они находили, что эта беллетристика не только не уважала народа, но даже презирала его. Это было не так, тут было явное недоразумение. Но это недоразумение в высшей степени характерно, и мы должны раскрыть его психологическую причину.

Если народники семидесятых годов требовали от беллетристики изображения отрадных явлений крестьянской жизни, то это можно назвать, выражаясь отчасти языком Писания, началом материалистической премудрости. Народники уже сознавали — очень смутно, но все-таки уже сознавали, по крайней мере начинали сознавать, — что миром правят только те мнения, в которых выражается объективный ход развития этого мира. Этим и объясняется усиленный интерес народников к «отрадным» явлениям крестьянской жизни: они надеялись найти в этих явлениях объективное ручательство за будущее торжество своих идеалов. Потому-то и огорчал их Н. Успенский, показывавший им, что это объективное ручательство далеко не так прочно, как они хотели бы думать. А «просветитель» 60-х годов не искал никаких объективных ручательств за торжество идеала: в его глазах совершенно достаточным ручательством за это торжество являлась сила истины, отвлеченная правильность «мнения». И чем беспощаднее обнажала современная ему беллетристика недостатки народной жизни и народного характера, тем охотнее он рукоплескал ей, потому что тем больше видел он в ней указаний на то, что должно быть исправлено им, «просветителем». Эта черта «просветительской» психологии нашла свое выражение и в критике.

В 1861 году вышло отдельное издание рассказов Н. В. Успенского, о которых Чернышевский написал статью «*Не начало ли перемены?*», помещенную в ноябрьской книжке «Современника» за тот же год. Он хвалил рассказы Н. В. Успенского за то, что в них не было никакого «прикрашиванья народных нравов и понятий». Таким прикрашиваньем грешили, по его словам, Тургенев и Григорович в своих повестях из народного быта. Он сравнивал отношение этих писателей к народу с отношением Гоголя к Акакию Акакиевичу. Гоголь умалчивает о недостатках своего героя, потому что считает его недостатки совершенно непоправимыми. «Акакий Акакиевич был смешной идиот... Но говорить всю правду об Акакии Акакиевиче бесполезно и бессовестно... Сам для себя он ничего не может сделать, будем же склонять других в его пользу. Но если говорить другим о нем все, что можно бы сказать, их сострадание к нему будет ослабляться знанием его недостатков. Будем же молчать о его

недостатках» *. Совершенно так же относились к народу Григорович, Тургенев и все их подражатели. Народ являлся у них в виде Акакия Акакиевича, о котором можно только сожалеть и порицать которого было бы жестоко. Говорится только об его несчастиях: «Посмотрите, как он кроток и безответен, как безропотно переносит он обиды и страдания! Как он должен отказывать себе во всем, на что имеет право человек! Какие у него скромные желания! Какие ничтожные пособия были бы достаточны, чтобы удовлетворить и осчастливить это забитое существо, с таким благоговением смотрящее на нас, столь готовое проникаться беспредельною признательностью к нам за малейшую помощь, за ничтожнейшее внимание, за одно ласковое слово от нас! Читайте повести из народного быта г. Григоровича и г. Тургенева со всеми их подражателями — все это насквозь пропитано запахом «шинели» Акакия Акакиевича **. И все это до чрезвычайности благородно. Но народу пользы от этого не было никакой. Польза была только для нас, наслаждавшихся сознанием своей доброты. В лице Н. В. Успенского Чернышевский приветствовал появление нового слоя образованных русских людей, умеющих относиться к народу уже не так, как относилось к нему чувствительное и снисходительное барство. Чернышевский многого ждал от этого слоя вообще и от литературы, которую он мог бы создать, в частности. Эта литература будет смотреть на крестьянина такими же трезвыми глазами, как и на людей других званий и состояний. Чернышевский старается убедить своих читателей, что так и должно быть. «Забудемте же, — говорит он, — кто светский человек, кто купец или мещанин, кто мужик, будемте всех считать просто людьми и судить о каждом по человеческой психологии, не дозволяя себе утаивать перед самими собою истину ради мужицкого звания» ***.

Чернышевский признает, что Н. Успенский «выставил русского простолюдина простофилею», которому трудно связать в голове две отдельные мысли. «Но какой же мужик превосходит нашего быстротою понимания? — спрашивает он. — О немецком поселянине все говорят то же самое, о французском то же, английский едва ли не стоит еще ниже их. Французские поселяне заслужили всесветную репутацию дикою неповоротливостью ума. Итальянские поселяне прославились совершенным равнодушием к итальянскому делу» ****. Но о крестьянах излишне и говорить: им, по словам Чернышевского, «натурально играть в истории дикую роль», так как они еще «не вышли из

* Сочинения, т. VIII, стр. 342 [1].
** Там же, стр. 342 [2].
*** Там же, стр. 345 [3].
**** Там же, стр. 356 [4].

того исторического периода, от которого сохранились Гомеровы поэмы, Эдда и наши богатырские песни *. Огромное большинство людей всех сословий и всех стран живет рутиною и обнаруживает крайнюю несообразительность, едва только случится ему выйти из круга обычных своих представлений: «После каждого спора спросите у кого хотите из споривших, умные ли вещи говорили его противники и понятливы ли, восприимчивы ли были они к его мыслям. Из тысячи случаев только в одном скажет вам человек, что против его мнений говорили умно, с толком. Значит, в остальных случаях непременно одно из двух: или действительно бестолковы люди, с которыми спорил спрошенный человек, или сам он бестолков. А ведь эта дилемма захватывает всю тысячу, за исключением одного» **.

Тут перед нами тот же самый взгляд на массу, как на отсталую часть действующей армии, с которым мы подробно ознакомились в одном из предыдущих отделов. Действительное участие в движении принимает лишь мыслящее меньшинство — интеллигенция, согласно позднейшей терминологии, — которому необходимо знать все свойственные массе недостатки, чтобы со временем устранить их. Чернышевский ошибался, думая, что в подобном отношении к массе не было ничего высокомерного. В нем несомненно был свой и даже очень сильный элемент высокомерия, совершенно, впрочем, неизбежный для всех тех, которые стоят на точке зрения исторического идеализма.

Но, как бы то ни было, чрезвычайно интересно то, что один из самых выдающихся критиков последующего десятилетия, уже цитированный нами выше, г. Скабичевский, коренным образом разошелся с Чернышевским в оценке рассказов Н. Успенского. Г-н Скабичевский находит, что в них народ представляется в невообразимо безобразном виде. «Забитость, тупоумие, отсутствие всякого человеческого образа и подобия в героях Н. Успенского одуряет вас, — говорит он, — когда вы читаете его очерки. Вы видите перед собою людей, которые в жизни своей ничем более не руководствуются, как только грубою, скотскою чувственностью, ни к чему не стремятся, как лишь нажить копейку или спустить ее в кабак; да и в этих стремлениях что шаг ступят, то сделают какую-нибудь невообразимую глупость» ***.

Этот отзыв г. Скабичевского — подобно очень и очень многим другим его отзывам — совсем неправилен. Произведения

* Там же, стр. 356 [1]. Предлагаем эти слова просвещенному вниманию г. Иванова-Разумника, который считает Чернышевского одним из родоначальников русского народничества.

** Там же, стр. 356 [2].

*** *Скабичевский*, цитир. сочинение, стр. 227.

Н. Успенского не свободны от некоторых преувеличений. Это так. Но отсюда еще далеко до того взгляда на крестьян, какой приписал ему г. Скабичевский. Мы спросили бы его, например, в самом ли деле очень глупа, груба и скотоподобна крестьянка-мать, выведенная Н. Успенским в рассказе «Старуха» *. Мы спросили бы его, действительно ли «невыразимо безобразна» баба, фигурирующая в рассказе «Катерина» **. Удивительно, что г. Скабичевский не заметил некоторых потрясающих и поистине превосходных сцен в длинном рассказе «Саша» ***. Н. Успенский, конечно, не занимает в нашей литературе того места, которое принадлежит в истории голландской живописи Теньеру и Остаду (как это думал П. В. Анненков). Во-первых, он не был равен им по таланту, а во-вторых, он совсем иначе, нежели они, относился к изображаемой им действительности. Это был типичный представитель эпохи 60-х годов, взявшийся за изображение народного быта. Он отнюдь не задавался целью издеваться в своих произведениях над русским крестьянином. Что он по-своему сильно сочувствовал ему, в этом легко убедится всякий, кто даст себе труд внимательно прочитать его сочинения. Но он сочувствовал народу именно по-своему, т. е. как «просветитель», т. е. как человек, не чувствующий никакой надобности в идеализации отсталой массы. Если он видел безобразные черты в характере крестьянина, то он, нисколько не смущаясь, передавал их в своей картине, относя их на счет «обстоятельств», речь о которых так часто идет у Чернышевского. «Понятно, — говорит он в своих «Записках сельского хозяина», — что крестьянин, воспитанный в рабстве, не мог вдруг сделаться свободным в настоящем значении этого слова; лишь только крепостной туман и чад рассеялись, мы увидели нашего мужика обезображенным... крестьянин по-прежнему беден — и ему долго, долго еще нужно поправляться после крепостного разгрома... Да и как поправляться? Начинать с ничего — дело крайне мудреное» ****. Высказать такое мнение вовсе не значит издеваться над народом. Но это мнение не могло быть симпатичным народнику, — или «субъективисту», зараженному всеми предрассудками народников, — который был твердо убежден в том, что крестьянин начинает не «с ничего», а с общины, ждущей только благодетельного толчка со стороны народолюбивой интеллигенции, чтоб начать быстро развиваться в направлении социалистического идеала. Но Н. Успенскому случалось высказываться еще решительнее. Он писал, например: «от теперешних крестьян, недавно бывших жертвами кре-

* Соч. *Н. В. Успенского*, Москва 1881 г., т. I.

** Там же, т. II.

*** Там же, т. I, стр. 417, 512.

**** Сочинения, т. II, стр. 201.

постного состояния, ждать нечего: не воскреснуть им!.. атрофию едва ли когда-нибудь будет лечить медицина, потому что эта болезнь основывается на *органическом* повреждении...» *. С этим уже совсем трудно было согласиться «людям 70-х годов». Отсюда и происходило главным образом недоброжелательное отношение критики этой эпохи к Н. В. Успенскому.

Читатель спросит, пожалуй: а легко ли было согласиться с совершенно безнадежным взглядом Н. В. Успенского на «теперешних крестьян» самому Чернышевскому, который, по-видимому, считал тогда возможным широкое движение в народе, недовольном условиями отмены крепостного права. На это мы ответим, что, разумеется, это было бы не легко для него, если б он счел себя обязанным безусловно согласиться с Н. В. Успенским. Но в том-то и дело, что он с ним не безусловно соглашался [1]. Он считал совершенно правдивыми очерки Н. В. Успенского, но он не делал из них безнадежного вывода. Он говорил: «Рутина господствует над обыкновенным ходом жизни дюжинных людей и в простом народе; как во всех других сословиях, в простом народе рутина так же тупа, пошла, как во всех других сословиях. Заслуга г. Успенского состоит в том, что он отважился без всяких утаек и прикрас изобразить нам рутинные мысли и поступки, чувства и обычаи простолюдинов. Картина выходит вовсе не привлекательная: на каждом шагу вздор и грязь, мелочность и тупость.

Но не спешите выводить из этого никаких заключений о состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если вы желаете улучшения судьбы народа, или ваших описаний, если вы до сих пор находили себе интерес в народной тупости и вялости. Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергических усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого данного народа» **.

Обстоятельства, от которых в последней инстанции все зависит, могут сложиться так, что даже апатичная масса станет способна к энергичным усилиям и отважным решениям. А в ожидании того момента, когда эти обстоятельства примут благоприятный оборот, нужно внимательно изучать отсталую массу. Инициатива отважных решений никогда не будет принадлежать массе простонародья; но необходимо знать свойства людей, составляющих эту массу, «чтобы знать, какими побуждениями может действовать на них инициатива» ***. И чем точнее будет

* Там же, т. II, стр. 202.
** Соч. *Н. Г. Чернышевского*, т. VIII, стр. 357 [2].
*** Там же, стр. 346 [3].

беллетристика воспроизводить свойства народной массы, тем более она облегчит дело тех людей, которым придется при благоприятных обстоятельствах взять на себя инициативу великих решений.

Теперь мы попросим читателя вспомнить, что в одном из тезисов своей диссертации Чернышевский, указав на воспроизведение жизни, как на главный признак искусства, прибавляет: «часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни». То, что приведено нами, хотя бы только из одной статьи «Не начало ли перемены?», ясно показывает, до какой степени литературная критика в лице Чернышевского склонна была дорожить воспроизведением жизни преимущественно как материалом для ее объяснения и для суждения о ней (для составления приговора об явлениях жизни). И та же склонность Чернышевского обнаруживается решительно во всех других его литературных статьях. Вот что говорит он, например, в рецензии на сборник стихотворений А. Н. Плещеева («Современник», 1861 г., № 3) [1].

Он с неудовольствием вспоминает то время, когда наша критика относилась к Плещееву с пренебрежением и даже недоброжелательством. «Дико вспомнить теперь об этом, — говорит он. — Неужто благородные чувства, благородные мысли, которыми веяло от каждой страницы небольшой книжки г. Плещеева, были таким ежедневным явлением в тогдашней русской поэзии, чтобы можно было с пренебрежением отвернуться от них? Да и когда же это бывает можно и позволительно?» У Плещеева, по его словам, не было большой поэтической силы, и его стремления и надежды отличались порядочною неопределенностью. Но в нем было много искренности, а выражать свои надежды с большею точностью он не мог по не зависящим от него условиям. Наконец, все мы вовсе не так высоко и безукоризненно развиты, чтобы можно было назвать бесполезным искренний голос, заступающийся, хотя бы в общих чертах, за лучшую сторону человеческой природы. «Есть много самых обыкновенных понятий, врожденных человеку чувств, — заключает наш автор, — о которых тем не менее надо беспрестанно напоминать, чтобы они не забывались. Это и везде нужно, не говоря уже о нашем не сформировавшемся обществе. Поэты с таким благородным и чистым направлением, как направление г. Плещеева, всегда будут полезными для общественного воспитания и найдут путь к молодым сердцам. Трудно употребить лучше его в дело те поэтические способности, которыми он обладает» *.

---

* Там же, стр. 121 [2].

Поэзия должна воспитывать людей для лучшего будущего, она должна будить в них бодрость и веру в свои силы. Так смотрел Чернышевский. Ввиду этого неудивительно, что он, по его словам, в книжке Плещеева с особенным удовольствием перечитал прекрасный гимн, начинающийся знаменитыми словами:

Вперед, без страха и сомненья,
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я! [1]

Такая поэзия не могла не нравиться «просветителям». Известно, что их пристрастие к ней вызывало насмешку со стороны людей, считавших себя тонкими ценителями художественных произведений. Теперь у нас, по-видимому, опять наступает эпоха пренебрежительного отношения к тем чувствам, которые выражались, между прочим, в гимне Плещеева.

Поэтому мы считаем не лишним сказать несколько слов по поводу обвинений, выдвигавшихся сторонниками чистого искусства против «просветительских» тенденций в нашей литературной критике. Гг. сторонники чистого искусства утверждали — и теперь, кажется, не прочь повторять это, — что наши «просветители» пренебрегали духовными интересами человечества и выше всего ставили интересы желудка. Это, как мы уже сказали в другом месте, просто нелепая неправда. «Просветители» думали, что искусство, содействуя распространению здравых понятий в обществе, принесет прежде всего умственную пользу людям. И этой пользой они дорожили больше всего. Материальная выгода была в их глазах простым результатом умственного развития народа: известно, что щуке не так-то легко проглотить карася, когда он не «дремлет». Чтобы приблизить время пробуждения карасей, «просветители» готовы были на всякие самопожертвования, а их обвиняли в том, что они дорожат только «печными горшками». Эту нелепую неправду могли высказывать только люди, испытывавшие более или менее смутное опасение насчет того, что содержимое их собственных печных горшков будет уж не так вкусно и обильно, когда проснувшиеся караси начнут принимать свои меры против щучьих подвигов. Так было в эпоху Чернышевского; так остается и до сих пор. Люди, осмеивающие теперь гражданские мотивы поэзии, чаще всего — не говорим всегда: есть исключения, вызываемые простым недомыслием, — облекают в «сверхчеловеческий» костюм самые вульгарные эксплуататорские стремления.

Говоря это, мы совсем не хотим, однако, отрицать, что принципы, лежавшие в основе литературной критики 60-х годов и разработанные преимущественно Чернышевским, могли в своем

крайнем развитии привести к весьма односторонним выводам. К таким выводам критика 60-х годов не раз приходила в лице Д. И. Писарева. Но, во-первых, нельзя делать Чернышевского ответственным за Писарева; а во-вторых, даже Писарев был очень далек от того сугубого вздора, который нередко приписывали ему его «эстетические» противники.

Заканчивая первую из своих двух так много нашумевших статей, озаглавленных «Пушкин и Белинский», Писарев говорил: «Расходясь с Белинским в оценке отдельных фактов, замечая в нем излишнюю доверчивость и слишком сильную впечатлительность, мы в то же время гораздо ближе наших противников подходим к его основным убеждениям» *.

В начале второй из этих статей он повторял: «Критика Белинского, критика Добролюбова и критика «Русского Слова» оказываются развитием одной и той же идеи, которая с каждым годом более и более очищается от всяких посторонних примесей» **.

Какие «основные убеждения» Белинского и какие «посторонние примеси» к ним имел он в виду, говоря это? Чтоб ответить на это, необходимо сделать небольшую историческую справку.

В своей статье о Державине Белинский говорил: «Задача истинной эстетики состоит не в том, чтобы решить, чем должно быть искусство, а в том, чтобы определить, что такое искусство. Другими словами: эстетика не должна рассуждать об искусстве, как о чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале, который может осуществиться только по ее теории, нет, она должна рассматривать искусство как предмет, который существовал давно прежде нее и существованию которого она сама обязана своим существованием». Это была поистине гениальная мысль, вполне достойная человека, воспитавшегося на гегелевой диалектике. Однако иное дело — мысль, а иное дело — ее осуществление. Чтобы решить ту задачу, которую Белинский задавал эстетике, нужно было со всех сторон обнаружить связь искусства с общественной жизнью и уметь объяснить эту последнюю с научной, т. е. с материалистической, точки зрения. А этого не мог сделать и сам Гегель. Иронически раскланявшись с Гегелевским колпаком, Белинский в своих литературных суждениях стал иногда отклоняться от золотого правила, высказанного им в статье о Державине; он стал подчас рассуждать уже не столько о том, что такое искусство, сколько о том, чем оно должно быть. Короче: он стал по временам высказываться как «просветитель». И с этой стороны Чернышевский явился самым замечательным продолжателем его дела. В качестве

* Сочинения *Д. И. Писарева*, т. V, стр. 63 [1].

** Там же, стр. 66 [2].

«просветителя» Чернышевский интересовался гораздо меньше теорией искусства, нежели теми практическими выводами, которые из нее могут быть сделаны. Но философия Фейербаха давала, как ему казалось, возможность примирить практику с теорией; поставить практические соображения о том, чем должно быть искусство, на прочную основу теории, открывающей его истинную сущность. Практическая задача эстетики заключается в реабилитации действительности. Это положение, обоснованное Чернышевским с помощью философии Фейербаха, руководило им во всех его критических отзывах. Это положение само по себе — т. е. если отвлечься от той чисто теоретической задачи, которую Белинский задавал когда-то эстетике, — не заключает в себе ровно ничего ошибочного. Но, раз признав это положение, позволительно, не греша против логики, спросить себя: да нужна ли для реабилитации действительности именно эстетика, т. е. наука о прекрасном? Нельзя ли достигнуть той же цели с помощью других наук, например естествознания? И возможна ли эстетика как наука?

Этими вопросами и задался Д. И. Писарев. И он решил их, как известно, совсем не в пользу эстетики. Он объявил, что существование эстетики как науки невозможно и что если Чернышевский посвятил свою диссертацию именно эстетике, то он сделал это «только для того, чтобы радикально уничтожить ее и навсегда отрезвить тех людей, которых морочит философствующее и тунеядствующее филистерство» *.

Против возможности эстетики как науки Писарев выставил следующее соображение, казавшееся ему непоколебимым. «Эстетика, или наука о прекрасном, имеет разумное право существовать только в том случае, если *прекрасное* имеет какое-нибудь самостоятельное значение, независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов. Если же прекрасно только то, что нравится нам, и если вследствие этого все разнообразнейшие понятия о красоте оказываются одинаково законными, тогда эстетика рассыпается в прах. У каждого отдельного человека образуется своя собственная эстетика, и, следовательно, общая эстетика, приводящая личные вкусы к обязательному единству, становится невозможной. Автор «Эстетических отношений» ведет своих читателей именно к этому выводу, хотя и не высказывает его совершенно открыто» **. Идеалисту это соображение в самом деле должно казаться непоколебимым. Если искусство своими произведениями только напоминает нам о том, что интересно для нас в жизни; если прекрасным существом кажется человеку то существо, в котором он видит жизнь, как

* Сочинения *Д. И. Писарева*, Спб. 1894, т. IV, стр. 499 [1].
** Там же, та же стр.

он ее понимает, то совершенно законным представляется идеалисту тот вывод, что понятие о прекрасном зависит в последнем счете только от личных вкусов, бесконечное разнообразие которых не дает возможности взглянуть на них с научной точки зрения, т. е. с точки зрения закономерности их развития. Писарев, рассуждавший в этом случае как чистокровный *идеалист*, упустил из виду только то, что Чернышевский задался целью применить к эстетике материалистическую философию Фейербаха. А для материалиста, поскольку он остается материалистом и не делает в своих взглядах уступок идеализму, «мнение» не есть самая глубокая причина перемен, совершающихся в общественной жизни. Перемена и разнообразие «мнений» сами определяются известными переменами в ней. А это дает возможность взглянуть и на развитие мнений с точки зрения закономерности. Как ни разнообразны вообще человеческие мнения, но ошибочно было бы утверждать, что у каждого человека есть свое особое миросозерцание и свои различные взгляды на все общественные явления. Нет, в каждое данное время люди данного класса имеют одинаковое — в известных пределах — миросозерцание и, опять-таки в известных пределах, одинаково смотрят на общественные явления. А если внутри данного класса данной эпохи и замечается неодинаковость мнений, если в его собственной среде наблюдаются разные оттенки миросозерцания или происходит борьба старого миросозерцания с новым, то и это обстоятельство, очень не редкое в истории, отнюдь не мешает нам смотреть на развитие мнений с точки зрения науки, т. е. закономерности, т. е. необходимости. Сознание людей определяется их бытием, их мнения — их общественными отношениями. Признавая в качестве последователя материалистической философии причинную зависимость сознания от бытия, Чернышевский и доказывает в своей диссертации, что представление о «хорошей жизни», представление о жизни, как она должна быть, лежащее в основе понятия о прекрасном, изменяется у людей сообразно с их классовым положением в обществе. Этим он не только не разрушает эстетики как науки, а, напротив, ставит ее на прочное материалистическое основание и, по крайней мере, намечает в общих чертах, где надо искать решения той задачи, которую еще Белинский поставил перед людьми, интересовавшимися теорией эстетики. Правда, Чернышевский наметил решение этой задачи именно только в самых общих чертах и в своей литературной критике он уже к нему не возвращался, занимаясь борьбою [1] с «фантастическими мечтами» во имя «действительности». В своей литературной критике он до конца ногтей был «просветителем» или, как выражается Писарев, говоря о французских «просветителях» XVIII века, популяризатором отрицательных доктрин. И тут он, как

и в исторических своих рассуждениях, покидал материализм и переходил на идеалистическую точку зрения. Писарев, желавший отстаивать и далее развивать его взгляды, видел в нем *только* «просветителя», т. е. только идеалиста. И потому он в самом деле не мог увидеть в его диссертации ничего, кроме разрушения эстетики. Он не подозревал, да и не мог подозревать, что во взгляде Чернышевского на эстетические отношения искусства к действительности есть своя материалистическая сторона, говорящая в пользу возможности эстетики как науки. Если бы кто-нибудь указал ему на это, то он, вероятно, сказал бы, презрительно пожав плечами, что в этом случае Чернышевский еще не успел отделаться от шелухи гегелизма, как не умел в свое время отделаться от нее Белинский *.

Писарев, несомненно, развивал дальше взгляды Чернышевского, равно как и Белинского; но он развивал их исключительно с той их стороны, с какой они больше всего грешили идеализмом. Вот пример.

Мы уже знаем, что Чернышевский в своих суждениях о жизни общества очень охотно становился на точку зрения человеческой природы. Но так как природа человека еще ничего не объясняет в общественных явлениях, то Чернышевский, державшийся материалистического взгляда на человеческую природу, обыкновенно вынужден был переходить на почву идеализма и рассуждать, руководствуясь тем принципом, что «мнения правят миром». А когда он рассуждал, руководствуясь этим идеалистическим принципом, ему уж не хотелось вспоминать, что сознание общественного человека определяется его бытием, и он находил нужным настаивать на том, что все люди совершенно одинаковы по своей природе. В своей статье о сочинениях Н. В. Успенского он приводит сцену, в которой Успенский заставляет дворовую девушку Алену Герасимовну вести с конторщиком Семеном Петровичем такой разговор:

« — Ну, а что у человека внутре есть, Семен Петрович?

— Внутре-с бывает различно. Это смотря по тому, кто чем питается: иной продовольствуется мякиной, так у него внутре мякина. А у одного сапожника, говорят, даже нашли при вскрытии подошву с лучиной.

— Страсти какие!.. Объясните мне, пожалуйста, что — у штатских и у военных внутре одинаково?

— Ну, насчет этого пункта, Алена Герасимовна, можно вам доложить материю. Во-первых, надобно сказать, ничего одинакового нет.

Конторщик подсел к девке и начал свое объяснение» **.

---

* См. статью «Пушкин и Белинский». Соч., т. V, стр. 78—79 [1].

** Сочинения, т. VIII, 346 [2].

Чернышевский со своей стороны доказывает в той же статье, что «внутре у человека одинаково», и приглашает, как мы уже видели, своих читателей забыть, кто светский человек, кто купец, кто мужик, и о каждом судить по человеческой психологии.

Писарев охотно откликается на это приглашение, но делает из него вот какой вывод:

«Вместо того, чтобы проповедовать голосом вопиющего в пустыне о вопросах народности и гражданской жизни, о которых молчит изящная словесность, обладающая большим тактом, наша критика сделала бы очень хорошо, если бы обратила побольше внимания на общечеловеческие вопросы, на вопросы частной нравственности и житейских отношений. В уяснении этих вопросов нуждается всякий; эти вопросы затемнены и запутаны разным старым хламом, который не мешало бы отодвинуть в сторону, чтобы всем и каждому можно было непредубежденными глазами взглянуть на свет божий и на добрых людей» *.

Это уже чистая «писаревщина», отличительная черта которой состоит в том, что вопросы «частной нравственности» ее интересуют несравненно больше, нежели вопросы «гражданской жизни». «Писаревщину» считают иногда умственным течением, не имеющим ровно ничего общего с направлением Чернышевского и Добролюбова. Это большая ошибка **. На самом деле она представляет собою не что иное, как ряд вполне правильных, хотя и очень крайних выводов из некоторых неправильных посылок, выдвигавшихся Чернышевским в тех

* Сочинения *Д. И. Писарева*, т. I, стр. 347 [1].

** По обыкновению, в деле высказывания ошибочных взглядов на историю нашей мысли рекорд побивает наш историк новейшей русской литературы г. Скабичевский. Он изображает «писаревщину» как сенсуализм, очень похожий на сенсуализм XVIII века. «Подобно тому как во Франции в эпоху регентства версальские щеголи, маркизы и виконты взапуски щеголяли друг перед другом новизною своих идей, зачитываясь Вольтером и энциклопедистами и находя в их сочинениях полное оправдание своего легкомысленного поведения, ведшего их к крайнему разорению, а затем и под нож гильотины, — нечто подобное видим мы и у нас в шестидесятые годы, с той разницей, что Вольтера заменяли Фейербах и Бюхнер, а энциклопедистов — Бокль, Льюис, Фохт, Молешотт и пр. Точно так же масса барских сынков, заявляя себя новыми людьми, все новаторство свое высказывала в цитатах из любимых авторов, эффектном отрицании так называемых «авторитетов», пренебрежении к светским обычаям и приличиям и в полной разнузданности каких бы то ни было похотей и прихотей». (Цитированное сочинение, стр. 88). Само собой разумеется, что бывший присяжный критик «Отечественных Записок» не имеет ровнехонько никакого понятия о том, как близка была к «сенсуализму XVIII века» материалистическая философия самого Чернышевского. Но спорить с ним бесполезно. Достаточно подчеркнуть его ошибку только для того, чтобы показать, как не следует писать историю нашей литературы.

случаях, когда ему изменял его недостаточно разработанный материализм — или, если вам угодно, когда он изменял этому материализму, — и он незаметно для себя переходил на идеалистическую точку зрения. Писарев обладал огромным литературным талантом. Но, как ни велико удовольствие, доставляемое непредубежденному читателю литературным блеском его статей, все-таки приходится признать, что «писаревщина» была чем-то вроде приведения к абсурду идеализма наших «просветителей».

Это лучше всего видно на его отношении к вопросу о том, чем отличается поэт от мыслителя.

Белинский говорил: «Каждое поэтическое произведение есть плод могучей мысли, овладевшей поэтом. Если бы мы допустили, что эта мысль есть только результат деятельности его рассудка, мы убили бы этим не только искусство, но и самую возможность искусства. В самом деле, что мудреного было бы сделаться поэтом и кто бы не в состоянии был сделаться поэтом по нужде, по выгоде или по прихоти, если бы для этого стоило только придумать какую-нибудь мысль, да и втискать ее в придуманную же форму? Нет, не так это делается поэтами по натуре и по призванию! У того, кто не поэт по натуре, — пусть придуманная им мысль глубока, истинна, даже свята, — произведение все-таки выйдет мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, и никого не убедит оно, а скорее разочарует каждого в выраженной им мысли, несмотря на всю ее правдивость! Но между тем так-то именно и понимает толпа искусство, этого-то именно и требует она от поэтов! Придумайте ей на досуге мысль получше, да потом и обделайте ее в какой-нибудь вымысел, словно брильянт в золото. Вот и дело с концом!»

Это его рассуждение представляет собою лишь новую вариацию той основной его темы, по совершенно верному смыслу которой художник мыслит образами, а не силлогизмами. Но Писарев, утверждающий, что он лишь развивает дальше основные убеждения Белинского, видит в этом различении между поэтом и мыслителем лишь «очень богатую дань тому эстетическому мистицизму, который проводит резкую разделительную черту между поэтами и простыми смертными» *. Он находит Белинского глубоко зараженным эстетическим мистицизмом, от которого, по его словам, не совсем уберегся даже Добролюбов. Но он думает, что достаточно одного прикосновения трезвой критики, чтобы рассеять этот «мистический туман». У него выходит, что всякий умный человек, который захочет дать себе труд приобретения известной технической сноровки, может стать поэтом, как может он стать критиком или «вообще сло-

* Сочин. *Д. И. Писарева*, т. V, стр. 75 [1].

весных дел мастером». Он прямо говорит это: «Такой человек, к которому заходят в голову умные мысли, который умеет задерживать и разрабатывать эти мысли в своей голове и который посредством упражнения сделался мастером словесных дел, — такой человек, говорю я, может, если только пожелает, сделаться поэтом, то есть создать несколько произведений, которые подействуют на читателей так точно, как действуют на них произведения, созданные настоящими, патентованными поэтами» *. Что это не так, что не всякий умный человек может сделаться поэтом, этого не нужно доказывать, это очевидно само собой. Но почему же, высказывая эту ошибочную мысль, Писарев думал, что он лишь развивает дальше «основное убеждение» Белинского? Потому что сам Белинский смотрел иногда на искусство с отвлеченной точки зрения «просветителя». Он говорил, например, что «Шекспир все передает через поэзию, но передаваемое им далеко от того, чтобы принадлежать одной поэзии». Это давало повод думать, что есть какая-то особая область, принадлежащая исключительно поэзии и могущая быть противопоставленной другим областям, которые к поэзии не принадлежат, но могут быть «передаваемы через поэзию». Вот это, собственно, и думал Писарев, уверяя своих читателей в том, что каждый умный человек может сделаться поэтом. Он, очевидно, хотел сказать, что если не каждый умный человек может стать мастером в собственно поэтической области, то это не беда, так как, выработав из себя словесных дел мастера, умный человек способен многое «передать через поэзию». Если же при этом он все-таки не обнаружит большой силы в собственно поэтической области, то это ему могут поставить в упрек разве лишь филистеры, воспитавшиеся в старых эстетических понятиях, или «полуэстетики» вроде Белинского, еще не окончательно отделавшиеся от «шелухи гегелизма». Развивая и доказывая эту мысль со свойственным ему жаром и талантом, Писарев имел кажущееся основание думать, что он остается вполне верным критике Белинского. А на самом деле он был, повторяем, верен только слабым сторонам этой критики, только тем ее недостаткам, которые вызывались неразработанностью некоторых ее положений. Так, логическая ошибка, сделанная Белинским в разборе теории чистого искусства, породила то, что представлялось Писареву последним словом отрицательной доктрины.

Если бы Белинский в пылу полемики не изменил своей собственной теории; если бы он помнил, что содержание поэзии — то же, что и содержание философии, и что между поэтом и мыслителем разница лишь в том, что один мыслит образом, а дру-

* Сочин. *Д. И. Писарева,* т. V, стр. 78 [1].

гой силлогизмами, то весь вопрос о теории «чистого искусства» представился бы ему совершенно в другом свете. Он сказал бы тогда, что нет никакой специально поэтической области; что поэзия всегда является отражением общественной жизни и что поэзия, желающая оставаться «чистой», отражает лишь общественный индифферентизм создавшего ее общественного слоя. А если б он пошел дальше и постарался уяснить себе, чем же вызывается подобный индифферентизм, то он увидел бы, что в разные исторические эпохи индифферентизм этот вызывается весьма различными и даже прямо противоположными причинами, но что все они коренятся в общественных отношениях и совсем не имеют непосредственного касательства ни к сущности искусства, ни к его «законам», ни к его технике. Чтобы выяснить все это, Белинскому нужно было бы последовательно применить материалистическую диалектику к изучению эстетического развития человечества. Но при тогдашних русских условиях он не мог сделать это, несмотря на всю свою гениальность. Поэтому мы находим у него лишь элементы материалистического взгляда на искусство. Не будучи в состоянии дать надлежащее развитие этим материалистическим элементам, он в споре с защитниками чистого искусства поневоле хватался за то оружие, какое обыкновенно находится в арсенале «просветителей». А в их арсенале находятся обыкновенно только чисто идеалистические доводы. И эти-то идеалистические доводы, грешившие прежде всего своею отвлеченностью, и легли в основу тех рассуждений Писарева, которые, будучи доведены до своего логического конца, «разрушали» эстетику. Мы сказали выше, что нельзя делать Чернышевского ответственным за Писарева. Теперь мы повторим это в применении к Белинскому: его тоже нельзя винить за поправки, сделанные Писаревым в его литературных взглядах. Но мы пойдем еще дальше и скажем, что не виноват был и сам Писарев, если ему случалось доходить до абсурда (говорим: случалось, потому что он тоже не всегда «разрушал» эстетику): виновата была в этом несостоятельность идеалистического взгляда на искусство, которая в самом деле приводит или к «мистическому туману» теоретиков «чистого искусства», или к более или менее «разрушительным» для эстетики выводам «просветителей». Еще одно слово. Именно потому, что Писарев довел до абсурда некоторые идеалистические посылки наших «просветителей» 60-х годов, он явился отцом нашего пресловутого «субъективного» метода. В статье «Процесс жизни», написанной по поводу книги Карла Фохта «Physiologische Briefe» *, он говорил:

* [«Физиологические письма»]

«Естественные науки не то, что история, совсем не то, хоть Бокль и пытается привести их к одному знаменателю. В истории все дело в воззрении, в гуманной личности самого писателя; в естественных науках все дело в факте... История есть осмысление события с личной точки зрения автора; каждая политическая партия может иметь свою всемирную историю и действительно имеет ее, хотя, конечно, не все эти истории записаны, точно так же как всякая философская школа имеет свой философский лексикон. История есть и всегда будет теоретическим оправданием известных практических убеждений, составившихся путем жизни и имеющих свое положительное значение в настоящем. Об естественных науках этого, конечно, нельзя сказать; природе нет никакого дела до того, как вы о ней думаете; если вы ошиблись, она вас помнет или совсем раздавит, как помнет или раздавит вас колесо огромной машины, к которой вы подошли слишком близко во время ее полного хода» *.

Поставьте в этой выписке слово «социология» вместо слова «история» — и вы получите теоретическое обоснование пресловутого «субъективного» метода. В своем противопоставлении истории естествознанию Писарев повторял ту же теоретическую ошибку, которая привела его к «разрушению эстетики». Он упускал из виду, что сознание определяется бытием и что если история есть и всегда будет теоретическим оправданием известных практических убеждений, то практические убеждения не падают с неба, а обусловливаются известными общественными отношениями, развитие которых так же закономерно, как развитие животных и растительных видов. На этой же теоретической ошибке основывалась вся мнимая социологическая премудрость наших субъективистов во главе с Н. Михайловским. Г-н Скабичевский этого, как водится у него, не заметил и потому, относясь отрицательно к «разрушительным» подвигам Писарева в области эстетики, он с восторгом отзывался о «субъективных» открытиях Михайловского. «Его статьи о Спенсере, о Дарвине и вообще по социологии, — говорит он, — имеют не одно только публицистическое значение, а представляют целый вклад в науку, и если бы их перевести на один из иностранных языков, они не замедлили бы доставить автору их общеевропейскую известность» **.

Некоторые социологические статьи Михайловского переведены теперь на французский и, если не ошибаемся, на немецкий язык. Большой европейской известности они его имени, надо думать, никогда не доставят. Но очень возможно, что они удостоятся похвал со стороны того или другого из тех европейских

* [*Д. И. Писарев,* Соч., т. I], стр. 311.
** Цитированное сочинение, стр. 120.

мыслителей, которые пятятся «назад к Канту»! Из ненависти к марксизму. В таких похвалах, вопреки мнению нашего новейшего историка литературы, не может быть ничего лестного. Но в высшей степени достойна замечания эта ирония истории, превращающей в теоретическое орудие реакции то, что было невинною теоретическою ошибкою в более или менее прогрессивном утопизме.

В заключение мы считаем необходимым сделать следующую, весьма существенную, как нам кажется, оговорку.

Если «люди 60-х годов» смотрели на художественную литературу глазами «просветителей», т. е. требовали от нее прежде всего «приговоров о явлениях жизни», то это еще не значит, что они были лишены художественного чутья. Этого нельзя сказать, по крайней мере, об их наиболее выдающихся и наиболее блестящих представителях, какими были Чернышевский, Добролюбов и Писарев. В сочинениях каждого из них — и иногда именно там, где они дальше всего заходят в своей рассудочности, — можно встретить самые несомненные свидетельства о тонкости их литературного вкуса. Возьмем хотя бы Писарева. В той же самой статье, где он доходит, можно сказать, до Геркулесовых столбов рассудочности, он бросает мимоходом следующий отзыв: ««Подводный камень», роман, стоящий по своему литературному достоинству ниже всякой критики, имеет громкий успех, а «Детство, отрочество и юность» графа Л. Толстого, вещь замечательно хорошая по тонкости и верности психологического анализа, читается холодно и проходит почти незамеченной» *. Этот отзыв о художественном произведении Толстого, т. е. человека совершенно чуждого всех тех общественных и личных вопросов, которые так сильно волновали «людей 60-х годов», показывает, что Писарев мог бы быть хорошим «эстетическим» критиком. Подобные отзывы мы могли бы найти даже в тех его статьях, в которых он так старательно развенчивает Пушкина. Даже и в этих статьях видно, что, решительно восставая против «филистерских» *взглядов* «нашего маленького и миленького Пушкина», Писарев сознавал прелесть *формы* его произведений.

Что «публицистическая критика» Добролюбова была весьма чутка к художественным достоинствам разбираемых произведений, это признают теперь, если мы не ошибаемся, даже люди, очень мало расположенные к нашим «шестидесятникам». Но некоторые из этих людей, отдавая эту справедливость Добролюбову, не видят, однако, даже признаков художественного чутья в критических статьях Чернышевского. Да что говорить о людях, мало расположенных к нашим «шестидесятникам».

* Соч. *Д. И. Писарева*, т. III, стр. 270 [1].

Даже г. Скабичевский, который в качестве присяжного критика «Отечественных Записок» склонен был смотреть на себя, как на писателя, всей душой преданного тому, что называлось у нас лучшими заветами 60-х годов, так судит о критике Чернышевского:

«Что касается до Чернышевского, то он первый подал пример той публицистической критике, которая вытекала из его теории. По правде сказать, критические статьи его далеко уступают статьям Добролюбова. Прежде всего вы видите в них отсутствие того же, чем хромает и диссертация, т. е. эстетического, а следовательно, и критического чутья, и этот недостаток повел за собой ряд вопиющих промахов. Так, например, Чернышевский очень пренебрежительно и враждебно отнесся к драме Островского «Бедность не порок» из чисто партийной вражды и в то же время с большим восторгом приветствовал появление рассказов Николая Успенского, усмотрев в них конец сентиментальной идеализации народа и начало реального и трезвого отношения к нему, не заметивши в то же время всей поверхностности и грубости шаржей Николая Успенского» *.

Мы уже говорили, что «шаржи» Николая Успенского далеко не так плохи, как это думает г. Скабичевский. Теперь мы скажем, что пренебрежительный отзыв Чернышевского о драме «Бедность не порок» не помешал ему отдать должное «прекрасному дарованию» (подлинные его слова) Островского и отнестись с большой похвалой к комедии «Свои люди — сочтемся». Если в отзыве о драме «Бедность не порок» слышится «партийная вражда», то следует помнить, что Чернышевский враждовал в данном случае с тем, что отнюдь не заслуживало сочувствия. Он с насмешкою отнесся к тем критикам, которые ставили «Бедность не порок» выше «Гамлета» и «Отелло». Разве ж не заслуживало насмешки это нелепое увлечение? Он иронизировал над тою славянофильски настроенною частью публики, которая увидела в Любиме Торцове прекрасное выражение «русского духа» и воображала, что, создав этот тип, Островский сказал новое слово. Правда, Чернышевский заходил слишком далеко, говоря, что «Бедность не порок» относится к тому же роду произведений, как «Мельник» Аблесимова, и есть простой сборник народных песен и обычаев **. Но он в конце концов был совершенно прав, когда говорил, что в названной драме Островский впал в приторное прикрашивание того, что не может и не должно быть прикрашено ***. Критика и теперь дол-

* Цит. соч., стр. 66.
** Соч., т. I, стр. 129 [1].
*** Там же, стр. 130 [2].

жна признать это. Точно так же она и теперь должна признать, что Чернышевский сразу и очень верно оценил великое художественное значение произведений Л. Толстого. Но мало того, что он сразу и верно оценил это значение. Не будет преувеличением сказать, что Чернышевский сразу же определил главную отличительную черту художественного таланта Л. Толстого. В библиографической заметке, посвященной «Детству и отрочеству» и «Военным рассказам» Л. Толстого, мы находим следующие строки:

«Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем. Психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого — влияния общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого — анализ страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином» *.

Это до последней степени тонкое критическое замечание. И оно не мимоходом высказывается у нашего автора, а получает у него довольно обстоятельное развитие. Чернышевский говорит, что из других замечательнейших наших поэтов указанная им сторона психологического анализа более всего развита у Лермонтова, но что и у него она все-таки играет слишком второстепенную роль и редко обнаруживается. Очень редко встречается она и у великих иностранных художников, которые по большей части представляют нам не диалектику мыслей и чувств, не переход одного чувства в другое и одной мысли в другую мысль, а только два крайние звена этого психического процесса: только его начало и конец. «Это потому, — опять чрезвычайно тонко замечает Чернышевский, — что большинство поэтов, имеющих драматический элемент в своем таланте, заботятся преимущественно о результатах проявления внутренней жизни, о столкновениях внутренней жизни, о столкновениях между людьми, о действиях, а не о таинственном про-

* Сочинения, II, стр. 639 [1].

цессе, посредством которого вырабатывается мысль или чувство; даже в монологах, которые, по-видимому, чаще всего должны бы служить выражением этого процесса, почти всегда выражается борьба чувств, и шум этой борьбы отвлекает наше внимание от законов и переходов, по которым совершается ассоциация представлений, — мы заняты их контрастом, а не формами их возникновения, — почти всегда монологи, если содержат не простое анатомирование неподвижного чувства, только внешностью отличаются от диалогов: в знаменитых своих рефлексиях Гамлет как бы раздвояется и спорит сам с собой; его монологи в сущности принадлежат к тому же роду сцен, как и диалоги Фауста с Мефистофелем или споры маркиза Позы с Дон-Карлосом» *. Толстой не ограничивается изображением результатов психического процесса готовых чувств; его, как сказано, интересует самый процесс; он является несомненным мастером в его изображении. В этом состоит, по мнению Чернышевского, оригинальная черта таланта Толстого. Чернышевский говорит, что, вероятно, Толстой напишет много такого, что будет поражать каждого читателя другими, более эффектными качествами: глубиною идеи, яркими картинами быта и т. д.; но для истинного знатока всегда будет видно, что истинно силен и прочен его талант именно указанным качеством.

Это как нельзя более справедливо. И весьма достойно замечания то обстоятельство, что, между тем как Толстой — что хорошо видно из недавно опубликованной П. Бирюковым биографии его — относился к Чернышевскому и его единомышленникам с полным отрицанием и столь же полным непониманием, Чернышевский, со своей стороны, сумел не только оценить талант Толстого, но и тонко подметить самую замечательную его черту. Это поистине большая литературная заслуга. Нам кажется, что совершить ее помогла Чернышевскому та самая рассудочность, которая вообще свойственна «просветительным» эпохам и благодаря которой критика 60-х годов иногда бывала недостаточно внимательна к эстетической стороне разбираемых ею произведений. Как ни чужды были Толстому все взгляды и стремления «людей шестидесятых годов», но и он не ушел от влияния своего времени. В нем тоже была чрезвычайно сильно развита рассудочность, но только она приняла у него другое направление: вместо того, чтобы анализировать взаимные отношения людей, Толстой, который был в сущности совершенно равнодушен к этим отношениям и интересовался исключительно собою, анализировал свою собственную психическую жизнь и тем развивал ту свою способность, которая в самом деле состав-

* Сочинения, II, стр. 642 [1].

ляет главную отличительную черту его художественного таланта.

Чернышевский защищает далее Толстого от упреков в том, что в «Детстве и отрочестве» нет картин общественной жизни. Он иронически замечает, что в этих произведениях нет и многого другого, например военных сцен, исторических воспоминаний, картин итальянской природы и т. п. «Автор хочет перенесть нас в жизнь ребенка, — справедливо замечает он, — а разве ребенок понимает общественные вопросы, разве он имеет понятие о жизни общества? Весь этот элемент столь же чужд детской жизни, как лагерная жизнь, и условия художественности были бы точно так же нарушены, если бы в «Детстве» была изображена общественная жизнь, как и тогда, если б изображена была в этой повести военная или историческая жизнь. Мы любим не менее кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон художественности — единство произведения и что потому, изображая «Детство», надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану, не Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями» *.

Чернышевский повторяет, что у Толстого истинный талант, и по этому поводу дает нам понять, какие произведения считает он истинно художественными. Сочинения Толстого художественны, — это значит, что «в каждом из них очень полно осуществляется именно та идея, которую он хотел осуществить в этом произведении. Никогда не говорит он ничего лишнего, потому что это было бы противно условиям художественности, никогда не обезобразил он свои произведения примесью сцен и фигур, чуждых идее произведения. Именно в этом и состоит одно из главных требований художественности» **.

Все это показывает, что в лице Чернышевского критика 60-х годов хотя и отличалась, вообще говоря, преобладанием рассудочности, но все-таки была чрезвычайно далека от той нелепой односторонности, в которой ее уличали ее враги и которую не прочь навязать ей даже ее странный и непонятливый полудруг г. Скабичевский ***. Мы с твердым убеждением говорим, что Чернышевский, ждавший от Толстого в будущем много

* Сочинения, II, стр. 645—646 [1].

** Там же, стр. 647 [2].

*** Надо заметить к тому же, что Чернышевский очень решительно и даже едко оспаривал при этом *общественные взгляды* гр. Л. Толстого. См. его рецензию о «Ясной Поляне». Соч., т. IX, стр. 117 и след [3].

великих произведений, не написал бы о «Войне и Мире» таких действительно и непростительно односторонних страниц — односторонних до высокого комизма, — какие вышли из-под пера г. Скабичевского. Иной читатель скажет нам, может быть, что это само собой понятно ввиду той «дистанции», которая отделяет Чернышевского от г. Скабичевского. Мы спорить и прекословить не станем. Между ними в самом деле «дистанция огромного размера». Но ведь вообразил же г. Скабичевский, что способен *критиковать Чернышевского!*

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В СИБИРИ

[1913]

Чернышевский в Сибири. Переписка с друзьями. Выпуск I (1865—1875). Выпуск II (1876—1877). Статья Е. А. Ляцкого. Примечания М. Н. Чернышевского. Спб. 1912 г. Изд. т-ва «Огни».

Передо мною лежат два тома писем Н. Г. Чернышевского к своим родным — главным образом к жене и детям — из Сибири. Письма, заключающиеся в этих двух томах, доходят до 1877 г. включительно и представляют собою в полном смысле этого слова драгоценные «человеческие документы». Люди, сочувствовавшие литературной деятельности Чернышевского, так безвременно прерванной его арестом и ссылкой, всегда смотрели на него, как на личность, очень выдающуюся не только в умственном, но и в нравственном отношении. Они очень склонны были идеализовать его. Идеализация весьма естественна в подобных случаях. Однако она далеко не безопасна: лучшее знакомство с идеализованной личностью ведет иногда к разочарованию в ней. Но в данном случае о такой опасности не может быть и речи. Письма Чернышевского из Сибири показывают, что его очень трудно было идеализовать в надлежащей степени. И чем больше русская читающая публика будет знакомиться с этими письмами, тем больше станет расти ее уважение к этому изумительно благородному и непоколебимо твердому человеку. Надо только, чтобы она побольше читала их. Но за это «по нонешнему времени» не так легко поручиться.

По закону жена осужденного на каторгу имеет право следовать за ним. Н. Г. Чернышевский очень любил свою жену; разлука с нею, несомненно, была для него источником больших страданий. Но он боялся, что жизнь в далекой и нездоровой окраине будет очень тяжела для нее. И вот, попавши в Сибирь, он начинает придумывать, как бы устроить так, чтобы его жена не только не ехала за ним, но и вообще как можно скорее забыла о нем. В письме к А. Н. Пыпину из Вилюйска от 8 марта

1875 г. он делает на этот счет чрезвычайно поучительное признание.

«Несколько лет тому назад, при свидании за Байкалом [1], я упрашивал Ольгу Сократовну выйти за кого-нибудь из благородных людей, которых было много, не смевших, разумеется, и думать ни о чем подобном, но из которых каждый считал бы себя счастливейшим на свете человеком, если бы услышал от нее то, что я просил ее сказать кому-нибудь из них... [2]

Не мог я убедить ее. — Дал пройти нескольким месяцам и перестал писать ей. Не писал целый год. Она не могла выдержать этого. Как быть? — Я нашел себя в необходимости опять начать переписку с нею» (Выпуск I, стр. 140).

Но, возобновив переписку с женою, Н. Г. Чернышевский не покинул своего плана, а только отсрочил его исполнение. Его задача по отношению к своей жене осталась прежней. «Дело лишь в том, — пишет он к тому же Пыпину, — чтобы не иметь расположения ко мне. Тогда можно жить хорошо, как требует здоровье» (стр. 141), т. е. как *ее* здоровье. В 1875 г. он пытается решить эту задачу посредством притворной ссоры с А. Н. Пыпиным. Дело в том, что у несколько раздражительной по характеру Ольги Сократовны Чернышевской иногда выходили размолвки с семьей Пыпина, не перестававшего заботиться о ней и об ее двух сыновьях после ссылки Н. Г. Чернышевского. Об этих своих размолвках с Пыпиными она доводила до сведения мужа. К ним-то и придрался он, намереваясь сделать так, чтобы Ольга Сократовна утратила всякое расположение к нему. Он сделал вид, что всецело становится на сторону своей жены, и потребовал от своего сына Александра разрыва всяких сношений с Пыпиными, у которых он жил. Затем... Но пусть рассказывает сам Чернышевский.

«Продолжению следовало быть таким:

Когда по расчету времени стало бы резонным, то есть, еще месяца через два после нынешнего, я обратился бы к сыну, Саше, в таком вкусе:

«Ты не разорвал сношений с ними?» — А я знаю, что это невозможно даже и материально, не только нравственно; что, не говоря о чувствах и рассудке самого Саши, не может быть это допущено и Ольгой Сократовной; ...ни Саша не мог бы, я знал, исполнить требования, с которыми я обращался к нему, ни Ольга Сократовна допустить этого. — А в апреле, в мае, я уже имел бы, по расчету времени, резон обратиться к Саше с такими словами:

«Ты не слушаешься? Ты, когда так, не сын мне!» — и это в выражениях еще более грубых, чем обращенные к вам.

Это была вторая часть. А третью, и самую важную для меня, написала бы для меня уж Ольга Сократовна:

«Когда ты стал таким скверным человеком, то ты перестал существовать для меня и для моих детей», — она написала бы так; это верно, как $2 \times 2 = 4$.

А в этом и было для меня самое важное облегчение моей совести. Совесть у меня есть. Хотелось бы перестать быть вредным для близких ко мне» (Выпуск I, стр. 139—140).

Как и следовало ожидать, этот своеобразный макиавеллизм привел вовсе не к тому, чего хотел Чернышевский. А. Н. Пыпин написал ему письмо, в котором старался оправдаться от обвинений со стороны Ольги Сократовны. Письмо это делает ему величайшую честь своим содержанием и благородством тона [1]. Чернышевский ответил ему так:

«Милый Сашенька,

Прошу прощенья у Тебя, у сестер и у Сережи за то, что напрасно огорчил вас.

С каждым словом Твоего письма я совершенно согласен. Все Твои суждения чистая правда. Но я знал, что все это так, когда писал те грубые обиды вам. Я знал, что́ такое пишу. Теперь ясно Тебе? У меня просто-напросто было намерение искоренить из ваших чувств всякое расположение ко мне.

Жалею, что не удалось» (Вып. I, стр. 139) [2].

Как мало вводили его в заблуждение размолвки Ольги Сократовны с Пыпиными, видно из следующих строк:

«Милый друг, ее характер вспыльчив. Но и сама она умеет судить об этих вспышках. — В ее письмах ко мне очень часто бывают «ссоры» с вами, жалобы на вас. — «Это писано было в минуту досады, — говорит она о таких местах своих писем: мне тогда так показалось; но ты знаешь мой характер; я сердилась напрасно». — Милый мой, конечно, я безгранично предан ей. Но это не мешает мне, разумеется, находить ее серьезные чувства к вам и ее серьезные отзывы о ваших отношениях к ней совершенно справедливыми. Ее серьезные чувства к вам — нежные; ее серьезные суждения об отношениях ваших к ней — совершенно те же, как Твои» (Вып. I, стр. 154—155) [3].

Убедившись в том, что его попытка поссориться с А. Н. Пыпиным неосуществима, Н. Г. Чернышевский не знает, как загладить ту неприятность, которую он причинил ему. Глубокое и поистине трогательное впечатление производят следующие строки, обращенные к А. Н. Пыпину:

«Письмо Твое исполнено высокого благородства души. За него стоило бы поцаловать и Твою руку; это неприлично; но я с некоторыми людьми не стеснялся в этом, когда был молод» (Вып. I, стр. 147) [4].

Эти нежные строки почти целиком повторяются в письме к А. Н. Пыпину от 28 марта того же года:

«Твое письмо, мой милый, письмо чрезвычайно благородное.

Я писал Тебе в первом моем ответе на него, что стоило бы поцаловать за него Твою руку. Разумеется, это лишняя церемония. То и забудь, что я, не стесняясь приличиями, в мыслях своих исполнил ее» (Вып. I, стр. 159) [1].

Уже эти немногие отрывки дают полную возможность судить о том, каков был Н. Г. Чернышевский в сношениях со своими близкими.

Как бы кто ни судил о целесообразности делавшихся им попыток заставить их разлюбить его, несомненно одно: Н. Г. Чернышевский, бывший самым ярким представителем тех передовых людей 60-х годов, которых обвиняли, между прочим, в проповеди эгоизма, выступает перед нами в своих письмах преисполненным самого высокого благородства, самых чистых альтруистических чувств. А это лишний раз показывает, что крайне плохо понимали людей 60-х годов те, которые по той или другой причине не разделяли их взглядов.

И не одним альтруизмом пропитаны письма Чернышевского из Сибири. В них сильно слышится также стоическая нота. Свое положение в ссылке он характеризует, например, так:

«Я, по своему прекрасному обычаю, совершенно здоров. Живу очень хорошо. Денег и всяких необходимых вещей у меня много, и ничего мне не нужно. Прошу Тебя и детей: не присылайте мне ничего» (Вып. II, стр. 71) [2].

И это повторяется почти во всех письмах его к жене. Читая его отзывы о своем положении, можно подумать, что его по окончании каторги в самом деле водворили в местности если не благословенной, то, по крайней мере, сносной. Его отзывы о ней изменяются только тогда, когда он начинает убеждать свою жену не приезжать к нему.

«Да, моя Радость,—пишет он ей в письме от 17 мая 1872 г.,— путь сюда далек и очень труден; да, самая почта почти круглый год не в силах идти сюда без страшных опасностей и долгих промедлений. От половины апреля до конца года — восемь с половиной месяцев; переезд от Иркутска до Якутска — тяжелое и очень рискованное предприятие; труднее, чем какие-нибудь путешествия по внутренней Африке. От Иркутска сюда в эти месяцы езда положительно невозможна для людей, непривычных вести якутский образ жизни... пустыня; пищи не найдешь; никакой помощи, в случае какого-нибудь обыкновенного дорожного приключения; станция — громадные расстояния... Прибавь: ужасные якутские юрты вместо станций. В этих юртах несравненно хуже, нежели в порядочных конюшнях» (Вып. I, стр. 38—39).

Такова дорога в Вилюйск. А что говорит теперь Чернышевский о жизни в Вилюйске? Описав жалкое материальное положение вилюйских обывателей, он продолжает:

«Я присмотрелся к нищете; очень присмотрелся. Но к виду этих людей я не могу быть холоден; их нищета мутит и мою заскорузлую душу. Я перестал ходить в город, чтобы не встречать этих несчастных; избегаю тропинок, по которым бродят они на опушке леса» (Вып. I, стр. 39).

Желая дать Ольге Сократовне понятие о вилюйском климате, Н. Г. Чернышевский приводит в своем письме такой диалог:

«Бывают здесь убийства?» — «Нет, народ смирный; но самоубийства часты». — «Отчего же?» — «От солитера; здесь почти у всех солитер, и наводит такую меланхолию, что человек возьмет да повесится» (Вып. I, стр. 41).

Теперь у нашего автора выходит, что «климат Петербурга — идеал здорового климата сравнительно со здешним». А в конце письма ясно сказывается его главная мысль, его лейтмотив:

«Это все я пишу, чтобы Ты, моя Радость, поняла серьезность моей мольбы к Тебе: не приезжай сюда, заклинаю, не приезжай. Подожди, пока переведут меня жить куда-нибудь, где больше возможности жить и Тебе» [1]. При чтении этого письма сами собою приходят на память те слова, которые говорит губернатор княгине Трубецкой в «Русских женщинах» Некрасова:

Тот климат вас убьет;
Я вас обязан убедить:
Не ездите вперед!
Ах! Вам ли жить в стране такой,
Где воздух у людей
Не паром — пылью ледяной
Выходит из ноздрей?
Где мрак и холод круглый год,
А в краткие жары
Непросыхающих болот
Зловредные пары?
Да... страшный край! Оттуда прочь
Бежит и зверь лесной,
Когда стосуточная ночь
Повиснет над страной... [2]*

* В письмах жене ссыльный стоик неизменно повторял, что, собственно, ему совсем не вредит страшный климат Вилюйска. Но в одном из писем к Пыпину он как-то проговорился об истинном состоянии своего здоровья. Оказывается, что у него был ревматизм по всему телу, было малокровие, были остатки скорбута, и, в довершение, рос зоб (См. вып. I, стр. 156—157) [3]. К этому следует прибавить, что совершенно невозможно было рассчитывать в Вилюйске на сколько-нибудь серьезную медицинскую помощь. Да и серьезная медицинская помощь не много значила при страшном вилюйском климате. Так и понимал это Чернышевский. В письме к своему сыну Александру от 14 августа 1877 г. он говорит: «Против ревматизма, поддерживаемого климатом, никакие лекарства не помогут» (Вып. II, стр. 192). В том же письме мы встречаем весьма существенную оговорку: «Не подумай, впрочем, что я чрезмерно слаб; нет, я слаб, это правда; но не очень слаб» (Вып. II, стр. 193) [4].

Чернышевский льстил себя надеждой, что его скоро переведут в такую местность, где Ольга Сократовна могла бы жить, не подвергаясь слишком большим лишениям, и где он сам получил бы возможность заниматься литературным трудом. Этой надежде не суждено было осуществиться. Он оставался в Вилюйске вплоть до 1883 г., когда ему позволили вернуться в Европейскую Россию и поселиться в Астрахани. Но это случилось за несколько лет до смерти. Должно быть, ему не нужно было много времени для того, чтобы понять несбыточность своей надежды: он хорошо понимал своих врагов. Если в письмах к Ольге Сократовне он продолжал высказывать надежду на скорое переселение в более удобную местность, то он делал это, вероятно, только для ее успокоения.

Привычка к труду не покинула его и в Вилюйске. Он очень много читал и писал там, но, лишенный возможности печатать свои произведения, уничтожал написанное. Судьба русского писателя вообще никогда не была завидной. В истории нашей литературы очень мало встречается славных имен, не навлекавших на себя преследования со стороны попечительного начальства [1]. Но во всей истории этой литературы нет ничего трагичнее судьбы Н. Г. Чернышевского. Трудно даже представить себе, сколько тяжелых страданий гордо вынес этот литературный Прометей в течение того длинного времени, когда его так методически терзал полицейский коршун.

В письмах Чернышевского из Сибири находится богатый материал, между прочим, и для суждения об его миросозерцании. Внимательно и не один раз перечитав их, я могу сказать, что они дали мне новое доказательство справедливости той характеристики этого миросозерцания, которая была сделана мною в моей книге «Н. Г. Чернышевский» [2]. Вот яркий пример.

В названной книге я изображал его убежденным последователем Фейербаха. Хотя, как я думаю, и трудно было усомниться в правильности такого изображения, но все-таки мне приятно привести теперь вот эти строки из письма Н. Г. Чернышевского к своим сыновьям от 11 апреля 1877 г.:

«...Если Вы хотите иметь понятие о том, что такое, по-моему мнению, человеческая природа, узнавайте это из единственного мыслителя нашего столетия, у которого были совершенно верные, по-моему, понятия о вещах. Это — Людвиг Фейербах. Вот уж пятнадцать лет я не перечитывал его. И раньше того много лет уже не имел досуга много читать его. И теперь, конечно, забыл все, что знал из него. Но в молодости я знал целые страницы из него наизусть. И, сколько могу судить по моим потускневшим воспоминаниям о нем, остаюсь верным последователем его.

Он устарел? — Он устареет, когда явится другой мыслитель такой же силы. Когда он явился, то устарел Спиноза. Но прошло более полутораста лет прежде, чем явился достойный преемник Спинозе.

Не говоря о нынешней знаменитой мелюзге, вроде Дарвина, Милля, Герберта Спенсера и т. д., тем менее говоря о глупцах, подобных Огюсту Конту, ни Локк, ни Юм (Hume), ни Кант, ни Гольбах, ни Фихте, ни Гегель не имели такой силы мысли, как Спиноза. И до появления Фейербаха надобно было учиться понимать вещи у Спинозы, — устарелого ли или нет, например, в начале нынешнего века, но все равно: единственного надежного учителя. Таково теперь положение Фейербаха: хорош ли он или плох, это как угодно; но он безо всякого сравнения лучше всех» (Вып. II, стр. 126) [1].

Эти строки достойны большого внимания во многих отношениях. И прежде всего интересны и важны для истории мысли сопоставления Фейербаха со Спинозой. Чернышевский видел в Спинозе философского предшественника Фейербаха. И это как нельзя более справедливый взгляд. Но теперь этот как нельзя более справедливый взгляд чаще всего приводит в изумление людей, интересующихся историей философии. Под влиянием господствующей в настоящее время идеалистической реакции на Спинозу смотрят так же неправильно, как и на Фейербаха. Неудивительно, что не понимают и взаимного отношения этих двух мыслителей.

Столь же характерно для Чернышевского и его отношение к Огюсту Конту. В настоящее время в немецкой философской литературе обнаруживается стремление изображать философские взгляды Фейербаха как одну из разновидностей позитивизма *. Но между позитивизмом Конта и материалистическим «антропологизмом» Фейербаха огромная разница. Фейербах отнюдь не отрицал познаваемости мира. А Конт если не совершенно отрицал ее, то слишком суживал представление о ней. Вот почему Чернышевский, в самом деле до конца своих дней остававшийся верным учеником Фейербаха, был весьма невысокого мнения о пресловутом «Cours de philosophie positive» ** Конта.

«В сущности, — говорит он в письме к своим сыновьям от 27 апр. 1876 г., — это какой-то запоздалый выродок «Критики чистого разума» Канта. Творение Канта объясняется тогдашними обстоятельствами положения науки в Германии. Это

* См., напр., «Geschichte der Ethik, als philosophischer Wissenschaft» Фридриха Иодля, 2-е изд., II B., erstes Buch, VIII Kapitel, II Abschnitt: «Deutscher Positivismus». [«История этики как философской науки»... II том, первая книга, VIII глава, II раздел: «Немецкий позитивизм».]

**[«Курсе положительной философии»]

была неизбежная сделка научной мысли с ненаучными условиями жизни. Как быть! Канту нельзя ставить в вину, что он придумал нелепость (т. е. даже и не придумал, а вычитал из Юма, которого — вот смех-то! — воображает он опровергать, перефразируя): надобно же было хоть как-нибудь преподавать хоть что-нибудь не совершенно гадкое. И он решил: «Что ложь и что истина, этого мы не знаем и не можем знать. Мы знаем только наши отношения к чему-то неизвестному. О неизвестном не буду говорить: оно неизвестно». Но во Франции в половине нынешнего века это нелепая уступка — нелепость, совершенно излишняя. А Огюст Конт преусердно твердит: «неизвестно», «неизвестно». — Но для мыслителей, которым не хочется искать или высказывать истину, это решение очень удобное. В этом и разгадка успеха системы Огюста Конта» (Вып. II, стр. 27—28) [1].

Полезно будет отметить, что Чернышевский относит Милля, политическую экономию которого он когда-то переводил и комментировал, к «нынешней знаменитой мелюзге». К той же мелюзге причислены у него Дарвин и Герберт Спенсер. В других своих письмах он признает, однако, колоссальные научные сведения и выдающийся ум Дарвина [2]. Если здесь Дарвин именуется «мелюзгою», то это одно из тех слишком сильных выражений, которые нередко встречаются в письмах Чернышевского и против которых он сам предостерегает своих сыновей. Тем не менее совершенно неоспоримо, что у нашего великого писателя всегда было значительное предубеждение против Дарвина. Мне уже приходилось говорить о нем в своей книге «Н. Г. Чернышевский». Теперь скажу кратко. Чернышевский был неправ по отношению к Дарвину. Но чтобы понять происхождение его неправильного взгляда на Дарвинову теорию, необходимо вспомнить, как нелепо пользовались многие натуралисты в своих рассуждениях об общественной жизни учением Дарвина о борьбе за существование. Справедливое негодование против нелепых ошибок учеников делало Чернышевского несправедливым по отношению к учителю [3].

Читатель заметил, надеюсь, что имя Гольбаха стоит у Чернышевского рядом с именами Локка, Юма, Канта, Фихте и Гегеля. Это опять очень характерно для него, как для материалиста. Восторженный последователь Фейербаха, он не мог пренебрегать теми, которых он считал предшественниками своего учителя. Положим, сам по себе Гольбах не был гениальным философом. Его, конечно, невозможно поставить на одну доску с Гегелем. Но, говоря о Гольбахе, Чернышевский, вероятно, имел в виду автора знаменитого сочинения «Système de la nature» *.

* [«Система природы».]

А сочинение это написано целым кружком наиболее выдающихся материалистов того времени, между которыми был такой яркий светоч, как Дидро. И, конечно, только идеалистическими предрассудками нынешних историков философии может быть объяснено то, что господа эти говорят о «Système de la nature» лишь мимоходом, сопровождая свои краткие замечания о ней презрительным пожатием плеч. Чернышевский, наверно, хорошо понимал «реальные мотивы» столь незаслуженного пренебрежения.

В своих взглядах на природу Н. Г. Чернышевский был и остался последовательным материалистом. «Я с первой молодости был, — говорит он, — твердым приверженцем того строго научного направления, первыми представителями которого были Левкипп, Демокрит и т. д.» (Вып. II, стр. 26) [1]. На Фейербаха он смотрел, как на высшего представителя строго научного, т. е. материалистического, направления в истории человеческой мысли. В письме к своим сыновьям от 21 июля 1876 г. Чернышевский так излагает «в нескольких словах» свои общие понятия о природе:

«То, что существует, называется материей. Взаимодействие частей материи называется проявлением качеств этих разных частей материи. А самый факт существования этих качеств мы выражаем словами «материя имеет силу действовать», или, точнее, «оказывать влияние». Когда мы определяем способ действия качеств, мы говорим, что находим «законы природы». О каждом термине тут ведутся споры. Но реальное значение этих споров — нечто совершенно иное, чем серьезное сомнение относительно фактов, обозначаемых сочетаниями слов, в которые входят эти термины. Это или пустая схоластика, щегольство грамматическими и лексикографическими знаниями и талантами и силлогистическими фокусами; а если не так, то в оспаривающих эти термины и эти сочетания терминов (эти или равнозначительные им) управляет словами какое-нибудь не научное, а житейское желание, обыкновенно своекорыстное; а у защищающих эти термины и их сочетание — охота вести спор об этих терминах не больше как наивность, не догадывающаяся, что спор — или пустословие, или должен быть перенесен от этих терминов и их сочетаний на анализ реальных мотивов, по которым нападают на эти термины и эти их комбинации противники их» (Вып. II, стр. 45—46) [2].

Это замечание о реальных мотивах, вызывающих нападки на материалистические термины и на «их комбинации» (т. е. на обозначаемые ими понятия), не только справедливо, но глубоко продумано и хорошо изложено. Идеологи господствующего класса, в самом деле, восстают теперь против материализма, повинуясь вполне «реальным мотивам»: идеализм представ-

ляется им единственным надежным духовным оружием в борьбе с «разрушительными» стремлениями современного пролетариата. И не подлежит никакому сомнению, что мыслящий человек, который захотел бы понять происхождение нынешней идеалистической реакции в философии, должен был бы начать с анализа тех «реальных мотивов», по которым нынешние буржуазные (и подчинившиеся буржуазному влиянию) любомудры всех стран считают долгом чести презрительно отворачиваться от материализма. Указывая на необходимость такого анализа, Чернышевский становился на точку зрения материалистического объяснения истории. Но, вообще говоря, будучи последовательным материалистом в своем понимании природы, Чернышевский оставался идеалистом в своем взгляде на историю. Его письма из Сибири убедят в этом, вероятно, даже Ю. М. Стеклова [1]. Да и неудивительно, что верный ученик Фейербаха держался идеалистического взгляда на историю: его держался сам Фейербах, и его же держались все немецкие последователи Фейербаха. Взгляд этот весьма характерен для всей домарксовой эпохи в истории материализма.

Сохранился листок с перечнем книг, посланных Чернышевскому в Сибирь в 1872 г. В их числе мы видим и «Капитал» Маркса (см. 182 стр. I выпуска) [2]. Но в тех письмах Чернышевского из Сибири, которые опубликованы до сих пор, нет ни малейшего указания на то, какое впечатление произвела на него знаменитая книга Маркса. Приемы же рассуждений его о ходе исторического развития показывают, что, каково бы ни было это впечатление, оно нисколько не поколебало его исторического идеализма. Таким образом, я на основании писем Чернышевского могу с полным убеждением повторить теперь тот вывод, к которому я в своей книге о нем пришел на основании его сочинений: мысль Чернышевского шла по тому же самому пути, который привел западноевропейскую мысль к марксизму; но неблагоприятные условия русской общественной жизни сделали то, что мысль нашего великого писателя не дошла до конца этого пути, остановившись на предпоследнем этапе, т. е. на философии Фейербаха.

В течение долгого времени русская читающая публика левого лагеря придавала огромнейшее значение политико-экономическим трудам Чернышевского, мало задумываясь, а лучше сказать, совсем не задумываясь о его философских взглядах. В своей книге о нем я указал на то, что философские взгляды Чернышевского до сих пор сохранили несравненно больше значения, нежели его политико-экономические теории. Верность этого указания совершенно неожиданным для меня и вообще весьма своеобразным образом подтверждается письмами Чернышевского из Сибири. Из них видно, что сам Н. Г. Чернышев-

ский, сохраняя непоколебимую уверенность в правильности своих философских взглядов, начал во время пребывания своего в Сибири относиться довольно критически к своей главной политико-экономической работе: к примечаниям на книгу Милля. «Там есть удивительные вещи», — говорит он в письме от 21 апреля 1877 г. к своим сыновьям. Как на одну из таких вещей он указывает на ту свою мысль, что по коренным законам своей фонетики новоперсидский язык занимает середину между верхним немецким и нижним немецким. В эту ошибку он был введен, по его словам, Лейбницем, свидетельство которого было принято им слишком спешно (Вып. II, стр. 140). Но этот промах Н. Г. Чернышевского интересует меня гораздо меньше, нежели другой его недосмотр, имеющий непосредственное отношение к политической экономии. Вот что говорит он сам об этом последнем недосмотре.

«Припоминается мне из тех же заметок на Милля другой курьез. Есть там расчеты о действии земледельческих усовершенствований на урожай хлеба. Целые колонны цифр. Все вычислено посредством логарифмов. Но вот штука! — колонна результатов вычислена по масштабу, который я бросил, вычеркнул, а основная колонна вычислена по другому масштабу. И выходит нечто в таком вкусе:

$$2\times2 = 5$$
$$3\times2 = 7^1/_2$$
$$4\times2 = 9^2/_9.$$

Этот курьез в моих ученых трудах открыл не сам я, а один из моих знакомых, имевший терпение проверять все мои рассуждения по таблицам логарифмов. Он был очень огорчен таким моим недосмотром» (Вып. II, стр. 140—141) [1].

Эту ошибку Чернышевского я тоже отметил в своей книге о нем (см. стр. 508 и следующие). Пусть читатель извинит меня, если я позволю себе обратить его внимание на это. Мое собственное умственное развитие совершалось под огромнейшим влиянием Чернышевского, разбор его взглядов был целым событием в моей литературной жизни, и я не могу оставаться равнодушным к вопросу о том, насколько удался этот разбор. Тем меньше могу, что его с различных сторон называли неудачным и даже пристрастным. Мне как нельзя более приятно было убедиться в том, что истина была не на стороне моих строгих критиков *.

* Один строгий критик — если не ошибаюсь, покойный Антонов — особенно возмущен был моим указанием на арифметические ошибки в критических замечаниях Чернышевского на теорию Мальтуса. Он утверждал, что указание это есть плод самого полного, самого постыдного незнания арифметики [2]. Я надеюсь, что если бы мой беспощадный критик имел возможность прочитать указанные выше страницы II выпуска писем Чернышевского из Сибири, то он бы значительно смягчился и понизил тон.

В письмах от 15 июня 1877 г. к своему сыну Александру Н. Г. Чернышевский, сообщив о получении им «Жизни Белинского» А. Н. Пыпина, «Русской истории в жизнеописаниях» Костомарова и книги Васильчикова «Землевладение и земледелие», прибавляет:

«За третью из них в особенности много благодарен Тебе, потому что присылка ее — дело заботливости Твоей выбрать книгу именно по моему вкусу. Так. Но — прости за невежливую прибавку — это очень давний мой вкус, и давно он прошел у меня. Эти предметы перестали занимать меня. Я увидел, что они мелочны. Важность не в этих специальностях, а в общем характере обычаев. У дикарей, как ни устраивай какую-нибудь сторону быта, быт будет все-таки плохой. У народов, желающих жить, как живут люди, а не дикие животные, всякий частный недостаток бытового устройства исправляется без больших хлопот собственно о его исправлении. Итак: все сводится к вопросам не материального, а нравственного порядка. Не подумай, что я не хвалю книгу князя Васильчикова. Она прекрасна. И автор ее — человек истинно благородной души. Но предмет книги не занимателен для меня» (Вып. II, стр. 181—182) [1].

Едва ли можно найти более яркое выражение для исторического идеализма, чем эти слова «все сводится к вопросам не материального, а нравственного порядка». На самом деле нравственное развитие человечества находится в тесной причинной зависимости от его материального, т. е. экономического, развития. И это гораздо более согласно с философией Фейербаха, по общему и точному смыслу которой не сознание определяет собою бытие, а бытие определяет собою сознание *. Но дело здесь не в этом: излишне повторять, что в своем взгляде на ход развития человечества Чернышевский не был верен философии Фейербаха, как не был ей верен и сам Фейербах. Только что приведенный отрывок заслуживает внимания той горечью, которая так сильно сказывается в нем. «У дикарей, как ни устраивай какую-нибудь сторону быта, быт будет все-таки плохой». Это замечание, очевидно, относится к России и показывает, что он довольно пессимистически смотрел на нашу тогдашнюю общественную жизнь. Но мне кажется несомненным, что оно явилось плодом лишь временного настроения. Вообще говоря, в его исторических взглядах преобладал и в то время здоровый оптимизм. В письме от 11 апреля 1877 г. он

* Не довольствуясь этим общим положением, Фейербах нередко возвращался в последние годы своей жизни к той мысли, что нравственность людей находится в теснейшей зависимости от их материального положения. Да и сам Н. Г. Чернышевский часто повторял эту мысль в своих сочинениях.

признает, что зло имеет громадную силу в общественной жизни людей. «Но что ж из того для нашего миросозерцания? — спрашивает он. — Выбивался же понемножку разум людей из-под ига их слабостей и пороков, и силою разума улучшались же понемножку люди даже в те времена, когда были еще наполовину обезьянами. Тем меньше мы имеем право мрачно смотреть на людей теперь, когда они все-таки уж гораздо разумнее и добрее, чем горилла и орангутанг. Понемножку мы учимся. И научаемся понемножку быть добрыми и жить рассудительно. Тихо идет это дело? — Да. Но мы существа очень слабые. Честь нашим предкам и за то, что они дошли и довели нас хоть до тех результатов труда, которыми пользуемся мы. И наши потомки отдадут нам ту же справедливость; скажут о нас: «они были существа слабые, но все-таки не вовсе без успеха трудились на свою и нашу пользу»» (Вып. II, стр. 131) [1].

Полицейскому коршуну не удалось вырвать из сердца русского литературного Прометея отрадную веру в лучшее будущее человечества. Чернышевский, конечно, так и умер с этой верой.

Огромный интерес представляет также находящаяся в письмах от 11 апреля 1877 г. оценка Чернышевским самого себя как писателя. Обращаясь к своим детям, он пишет:

«Вам известно, я надеюсь, что, собственно, как писатель-стилист — я писатель до крайности плохой. Из сотни плохих писателей разве один так плох, как я. Достоинство моей литературной жизни — совсем иное; оно в том, что я сильный мыслитель» (Вып. II, стр. 123) [2].

Как это само собою разумеется, нет ни малейшей надобности доказывать, что Н. Г. Чернышевский вовсе не был таким плохим стилистом, за какого он себя здесь выдает: его манера изложения не лишена своеобразной прелести; в ней нет блеска, но очень много ясности и редкой простоты. Но совершенно неоспоримо, что он был гораздо сильнее в качестве мыслителя, нежели в качестве стилиста. Что же касается его деятельности как мыслителя, то она во многом напоминает деятельность наиболее выдающихся энциклопедистов XVIII века. Ее главнейшая цель заключалась в просвещении читающей публики. Но для того, чтобы получить возможность просвещать читающую публику, нужно было прежде всего привести в более или менее стройную систему свои собственные взгляды. Каждое отдельное сведение, приобретаемое Чернышевским, было дорого ему только в той мере, в какой оно помогало ему выработать себе цельное миросозерцание. Как и выдающиеся французские энциклопедисты, он имел очень много знаний. Но он никогда не стремился сделаться специалистом. В том же письме он говорит: «только латинскому языку я учился, как учатся юноши или

дети: со вниманием ко всем подробностям данной отрасли знания, без разбора, какие из этих подробностей серьезны, какие пусты. Всему остальному я учился, как человек взрослый, с самостоятельным умом: разбирая, какие факты заслуживают внимания, какие не достойны его. Поэтому во всякой отрасли знаний, которой я занимался, я не хотел втискивать себе в голову многих фактов, которыми щеголяют специалисты: это факты пустые, бессмысленные» (Вып. II, стр. 124)[1]. Читатель помнит, может быть, что по той же системе работал Рахметов в романе «Что делать?». Система эта имеет свои слабые стороны. Но ее сильная сторона заключается в том, что она устраняет ограниченность понятий, столь свойственную огромнейшему большинству специалистов. Чернышевский с полным основанием и с большим неодобрением указывал на господство такой ограниченности как в общественных науках, так и в естествознании. Он пишет: «Вообще естествознание — достойно всякого уважения, сочувствия, одобрения. Но и оно подвержено возможности служить средством к пустой и глупой болтовне. Это случается с ним в очень большом размере, очень часто; потому что огромное большинство натуралистов, как и всяких других ученых, — специалисты, не имеющие порядочного общего ученого образования, и поэтому, когда вздумается им пофилософствовать, философствуют вкривь и вкось, как попало; а философствовать они почти все любят» (Письмо от 15 сент. 1876 г. Вып. II, стр. 57) [2]. Для примера Чернышевский чаще всего указывал на то, как неудачно применяют материалисты понятие о борьбе за существование к учению об общественном развитии. Другим примером служил у него так называемый закон Бэра, гласящий, что степень совершенства организма пропорциональна его дифференциации (так формулирует Чернышевский этот закон) [3]. По мнению нашего автора, думать так — значит без критики применять политико-экономические понятия к биологии. Он утверждает, что не дифференциация должна служить критерием совершенства организма:

«Как скоро в организме есть нервная система, главная норма для определения степени совершенства этого организма — степень развития нервной системы. А степень развития нервной системы — легко ли определить анатомическими или вообще морфологическими способами? Нет, это во многих случаях труд, еще превышающий наши силы. Но функции нервной системы наблюдать легко; и сущность достоинства нервной системы данного животного — в этих функциях. Выше ли дифференцирован организм слона или лошади, чем организм барана или коровы? Нет, я полагаю. Но лошадь умнее барана; лошадь — организм более совершенный. Это — главный критериум. Придаточный критериум: степень способности всего остального ор-

ганизма служить требованиям нервной системы. Из двух пород лошадей, равных по уму, та порода совершеннее, которая имеет мускулы более сильные и неутомимые... Второстепенных критериев много, не одни мускулы: тоже и способность желудка переваривать пищу, и способность органов движения передвигать организм (у лошади это будет степень крепости копыт), и степень здоровости всего организма (это вообще будет, я полагаю, степень устойчивости крови в нормальном своем составе), и т. д., и т. д. Но все это — критериумы физиологические, а не морфологические, которые одни захватываются законом Бэра и которые находятся, правда, в связи с физиологическими, но прямого значения ровно никакого не имеют ни для кого, кроме живописцев и всяческих других любителей артистического созерцания» (Вып. II, стр. 58) [1].

Чернышевский делает при этом ту оговорку, что указанная им норма для определения степени совершенства организма неприменима к ботанике. Очевидно, это потому, что у растений отсутствует нервная система. Но ведь она отсутствует и в весьма значительной части животного царства. Поэтому и в зоологии она могла бы быть применима лишь с весьма немаловажной оговоркой. Но рассмотрение этого вопроса завело бы нас слишком далеко. Я хочу указать лишь на то, что норма, принимаемая Чернышевским для определения степени совершенства организма, имеет в его глазах не только биологическое значение. Она тесно связана с его историческими взглядами. Прогресс заключается в улучшении человеческих понятий и привычек. Улучшение это зависит от роста умственной силы. А рост умственной силы определяется развитием органа мысли, т. е. мозга (см. «Полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского», т. X, ч. 2, отд. IV, стр. 182—183) [2]. Таким образом, указанная норма объединяет собою *историческое* развитие человеческого рода с его *зоологическим* развитием. И есть полное основание думать, что если наш автор был недоволен невниманием зоологов к этой норме, то это происходило оттого, что он особенно дорожил ею в качестве историка.

Недовольный ограниченностью понятий, господствующей в среде натуралистов, Чернышевский резко восстает также против «старых пошлых понятий», в изобилии встречающихся, по его словам, в исторических книгах. «Столько их, — пишет он в письмах от 17 марта 1876 года, — что перечислять их — считать звезды млечного пути, песок на морском берегу. Но общая характеристика их всех, и старых и новых: они противны правилам чести и чувствам добра. Добро и разумность — это два термина, в сущности равнозначащие. Это одно и то же качество одних и тех же фактов, только рассматриваемое с разных точек зрения; что̀ с теоретической точки зрения разумность, то

с практической точки зрения — добро, и наоборот: что̀ добро, то непременно и разумно. Это основная истина всех отраслей знания, относящихся к человеческой жизни; потому это основная истина и всеобщей истории. Это коренной закон природы всех разумных существ. И если на какой-нибудь другой планете живут разумные существа, это непреложный закон и их жизни, все равно, как непреложны наши земные законы механики или химии для движения тел и для сочетания элементов и на той планете. Критериум исторических фактов всех веков и народов — честь и совесть» (Вып. II, стр. 19) [1].

Если бы мы, усвоив эту «основную истину всех отраслей знания, относящихся к человеческой жизни», захотели построить на ней метод исследования общественных явлений, то нам предстояло бы большое разочарование. Задача научного исследования заключается в том, чтобы обнаружить те причины, которыми вызван был данный ход данного прогресса развития. С этой точки зрения добро и разумность, наблюдаемые нами в общественной жизни людей, сами представляются следствиями, которые вызываются причинами, не подлежащими оценке с помощью понятий добра и разумности. Но Чернышевский смотрел на общественные явления преимущественно с практической точки зрения. Его интересовало не столько *то, что было*, — хотя и это очень сильно интересовало его, как чрезвычайно умного человека, — сколько то, *чему следовало бы быть*. Он сам говорит это в последних строках своих «Очерков из политической экономии». «Не успела войти в наши очерки та часть теории, — читаем мы там, — которая, по нашему мнению, наиболее важна в науке». Это взгляд практического реформатора, точка зрения непосредственного действия. А с точки зрения непосредственного действия слова Чернышевского о добре и разумности в общественной жизни приобретают огромное значение. В качестве практического правила, которым должен руководствоваться передовой общественный деятель, мысль Чернышевского почти дословно совпадает с тем, что говорил знаменитый Интернационал в своем первом Манифесте ко всемирному пролетариату. Указывая на международную политику, Манифест утверждал, что пришла пора провозгласить «простые законы нравственности и права» нормами, долженствующими определять взаимные отношения не только отдельных лиц, но и целых народов [2].

Чрезвычайно характерно для Чернышевского его отношение к Некрасову. В письме от 14 августа 1877 г. А. Н. Пыпину он говорил:

«В «Отечеств. Записках» я, разумеется, читал стихи Некрасова, говорившие, что он, хилый и страдающий тяжкой болезнью, ждет смерти. Я видел, что это не прикрасы для поэтичности мыс-

лей, а фактическая истина. Но я желал сохранить надежду и отчасти успел было убедить себя, что он еще поправится: я думал, это просто старческая хилость; она для него еще преждевременна; и, быть может, медикам удастся сладить с нею. Глубоко скорблю, прочитав, что смерть была уже неотвратима и близка, когда Ты писал Твое второе письмо; если, когда Ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за его доброе расположение ко мне, что я цалую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов.

Я рыдаю о нем. Он, действительно, был человек очень высокого благородства души и человек великого ума. И как поэт он, конечно, выше всех русских поэтов» (Вып. II, стр. 200) [1].

А. Н. Пыпин передал умиравшему Некрасову эти слова Чернышевского, и они, конечно, доставили большую отраду этому человеку, навлекшему на себя много несправедливых обвинений. Что касается взгляда на Некрасова, как на величайшего из русских поэтов, то его разделяла в то время вся наша радикальная интеллигенция. Когда Достоевский в своей речи у могилы Некрасова сказал, что он «должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым», то из некоторых групп присутствовавшей на кладбище революционной молодежи закричали: «Он был выше их, да, выше». Пишущий эти строки сам принадлежал к числу кричавших [2].

В заключение еще два слова вот о чем. В последнее время у нас много носились с покойным Л. Н. Толстым, изображая его чем-то вроде неподражаемого «учителя жизни». Но достаточно сравнить письма Чернышевского из Сибири с доступными читающей публике письмами Толстого, чтобы понять, у кого из этих двух писателей надо учиться жизни.

II

[РАБОТЫ О В. Г. БЕЛИНСКОМ]

БЕЛИНСКИЙ И РАЗУМНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

[1897]

Lucifer. Was not thy quest for knowledge?
Cain. Yes, as being the road to happiness.

Byron. «Cain»*

Мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления.

И. С. Тургенев [2]

I

«Коренной вопрос о влиянии Гегеля на миросозерцание Белинского поставлен большинством русских критиков, но никем не разобран с надлежащей обстоятельностью посредством сличения известных взглядов Белинского с их первоисточником, — говорит г. Волынский; — никто не рассмотрел тоже с должным вниманием его эстетических идей в их собственном оригинальном содержании и не подверг их беспристрастному суду на основании определенного теоретического критерия» **.

Все это нисколько не удивительно ввиду того, что до появления г. Волынского у нас не было ни «настоящей» философии, ни «настоящей» критики. Если мы и знали что-нибудь, то знали бестолково и беспорядочно. Зато теперь, благодаря г. Волынскому, мы скоро упорядочим и обогатим бедный запас наших знаний. Г-н Волынский очень надежный руководитель. Посмотрите, например, как удачно решает он «коренной вопрос о влиянии Гегеля на миросозерцание Белинского».

«Вырастая и развиваясь, мысль Белинского, отчасти под влиянием кружка Станкевича, отчасти самостоятельно перерабатывая впечатления, полученные от статей Надеждина, быстро достигла своего высшего подъема. Период Шеллинга окончился для Белинского уже в 1837 г., и философия Гегеля, как она доходила до него в беседах с друзьями и через посредство журнальных статей и переводов, заняла центральное место в его литературных и умственных занятиях. И вот тут-то ярче всего выступает неуменье Белинского делать самостоятельные логические

---

* [*Люцифер.* Не ты ль искал познанья?
Каин. Да, в котором
путь к счастью.
Байрон, Каин] [1]

** *А. Волынский*, «Русские критики» [3], стр. 38.

выводы применительно к вопросам политическим и гражданским из сложных философских теорем. Систематическое мышление не давалось Белинскому. Его поразило учение Гегеля, но у него не хватило сил на то, чтобы продумать это учение во всех частях и выводах. Гегель очаровал его воображение, но не дал толчка его умственному творчеству. Надо было вооружиться терпением для полного разбора основных положений идеализма. Надо было на время приостановить полет фантазии и чувств, чтобы впоследствии дать им новые крылья. Но Белинский не умел спокойно допытываться истины — и все его гегелианство, как и увлечение Шеллингом в изложении Надеждина, должно было в конце концов выродиться в мышление нестройное, полное логических ошибок и странных мечтаний в примирительно-консервативном направлении» *.

Таким образом, г. Волынского очень удивляет временное примирение Белинского с действительностью. Он может объяснить его только тем, что Белинский плохо понял Гегеля. Сказать по правде, такое объяснение не ново. Его можно найти и в «Былом и думах» Герцена, и в воспоминаниях И. С. Тургенева, и даже в одном письме Н. Станкевича к Неверову, написанном почти тотчас по появлении знаменитых статей о Бородине и о Менцеле. Г-ну Волынскому принадлежат, собственно, только ехидные замечания по поводу невежества Белинского и тонкие намеки на неоспоримое и несравненное умственное превосходство *его*, «Промифея наших дней», г. Волынского.

На первый взгляд объяснение, воспроизводимое г. Волынским, — оно имеет несколько вариантов, — кажется совершенно удовлетворительным. Гегель провозгласил: Was wirklich ist, das ist vernünftig **, а Белинский на этом основании поспешил объявить разумной, а потому священной и неприкосновенной всю тогдашнюю очень некрасивую русскую действительность и стал горячо нападать на всех, недовольных ею. Статьи, в которых он высказал эти примирительные взгляды, были «гадкими» статьями, как выразился тогда же умеренно и аккуратно либеральный Грановский. Но Гегель был не виноват в них: у него учение о разумности всего действительного имеет свой особый смысл, не понятый Белинским, который не знал немецкого языка и не имел способности к «чистому мышлению». Впоследствии он, особенно под влиянием переезда в Петербург, увидел, как жестоко он ошибался; познал настоящие свойства нашей действительности и проклял свои роковые заблуждения. Что может быть проще этого? Жаль только, что это простое объяснение ровно ничего не объясняет.

---

* *А. Волынский*, Русские критики, стр. 90.

** [что действительно, то разумно]

Не вдаваясь в рассмотрение всех его вариантов, заметим, что наши нынешние «передовые» patriae patres * (почтенные социологи тож) смотрят на статьи о Бородине и о Менцеле такими же глазами, какими библейский отец должен был смотреть на «ошибки молодости» своего блудного сына: великодушно простив гениальному критику его «метафизические» заблуждения, «передовые» неохотно возвращаются к ним, по пословице: «кто старое помянет, тому глаз вон». Но это не мешает им кстати и некстати намекать на то, что они, «передовые», чуть ли не в пеленках познавшие всю философскую и социологическую истину, прекрасно понимают всю глубину этих заблуждений и весь ужас того «падения», к которому привела Белинского его неуместная и неблагоразумная — к счастью, только временная — страсть к «метафизике». Иногда об этом падении напоминают также молодым писателям, непочтительным Коронатам литературы, осмеливающимся усомниться в правильности нашего «передового» катехизиса и обращающимся к иностранным источникам с целью лучшего уяснения себе вопросов, волнующих современное цивилизованное человечество. Этим молодым писателям говорят: смотрите, вот пример для вас...

И бывают случаи, когда молодые писатели устрашаются этого примера и из непочтительных Коронатов обращаются в почтительных и насмешливо кланяются иностранным «философским колпакам» и благоразумно «прогрессируют» согласно нашим доморощенным «формулам прогресса». Таким образом, пример Белинского служит для упрочения авторитета наших «почтенных социологов».

По словам одного из этих социологов, именно г. Михайловского, Белинский всю жизнь оставался только великомучеником правды. У него был замечательный дар художественного критика. «Пройдет много лет, сменится много критиков и даже критических приемов, но некоторые эстетические приговоры Белинского останутся во всей силе. Но зато только в этой области Белинский и находил для себя почти непрерывный ряд наслаждений. Как только эстетическое явление осложнялось философскими и нравственно-политическими началами, так чутье правды более или менее изменяло ему, между тем как жажда оставалась все та же, и это-то и делало из него того великомученика правды, каким он выступает в своей переписке» **.

Если чутье правды вообще изменяло Белинскому всякий раз, когда эстетическое явление осложнялось философскими и нравственно-политическими началами, то само собою понятно, что период увлечения гегелевской философией вполне подходит под

* [отцы отечества]

** См. статью «Прудон и Белинский», которою г. Павленков украсил свое издание сочинений Белинского [1].

это общее правило. Весь этот период, как видно, не вызывает в г. Михайловском ничего, кроме жалостливого участия к «великомученику правды» да еще, может быть, чувства негодования против «метафизики». Жалостливое участие идет у него рядом с большим уважением. Но уважение относится *только* к правдивости Белинского, а что касается философских и «нравственно-политических» идей, тогда им высказанных, то г. Михайловский не видит в них ничего, кроме «вздора».

По существу этот взгляд на временное примирение Белинского с действительностью одинаков с приведенным нами выше взглядом г. Волынского. Разница лишь в том, что, по мнению г. Михайловского, примирение «навеяно было Гегелем», а по мнению г. Волынского, заимствованному им у Станкевича, Герцена, Грановского, Тургенева и других, Гегель был в этом примирении совершенно ни при чем. Но оба они — и г. Волынский, и г. Михайловский — твердо убеждены в том, что примирительные взгляды Белинского представляют собою одну сплошную ошибку.

Как ни авторитетно мнение этих двух мужей, из которых один столько же силен в социологии, сколько другой в философии, мы позволим себе не согласиться с ними. Мы думаем, что именно в течение примирительного периода своего развития, именно в области «нравственно-политической», Белинский высказал много мыслей, не только вполне достойных мыслящего существа (как выражается где-то Байрон), но до сих пор заслуживающих полного внимания со стороны всех тех, которые хотят найти правильную точку зрения для оценки окружающей нас действительности. Чтобы обосновать этот теоретический взгляд, нам нужно начать несколько издалека.

II

В 1764 г. Вольтер в письме к маркизу Шовелэну предсказывал предстоящее крушение старого общественного порядка во Франции. «Ce sera un beau tapage, — прибавлял он, — les jeunes gens sont heureux: ils verront de belles choses» *. Предсказание Вольтера исполнилось в том смысле, что «tapage» действительно вышел прекрасный; но можно с уверенностью сказать, что он не понравился многим из тех доживших до него людей, которые принадлежали к одному направлению с фернэйским патриархом. Патриарх не жаловал «черни», а она-то

* [Это будет здоровый переполох — счастливая молодежь: она увидит прекрасные вещи].

главным образом и произвела tapage конца прошлого века. Правда, в течение некоторого времени поведение черни вполне соответствовало видам «порядочных людей», т. е. просвещенной и либеральной буржуазии. Но мало-помалу чернь так расходилась, стала так непочтительна, дерзка и задорна, что «порядочные люди» пришли в отчаяние и, почувствовав себя побежденными жалкой и непросвещенной чернью, искренно усомнились в силе того самого разума, во имя которого действовали Вольтер и энциклопедисты и который, казалось бы, должен был поставить во главе событий именно своих носителей и представителей, т. е. тех же просвещенных буржуа. Начиная с 1793 года вера в силу разума значительно ослабляется у всех тех, кто чувствует себя сбитым с позиции и побежденным неожиданным и страшным торжеством «черни». Последующие события с их бесконечными войнами и переворотами, в которых военная сила не раз торжествовала над тем, что все просвещенные люди считали самым бесспорным правом, могли только увеличить раз начавшееся разочарование: они точно насмехались над требованиями разума. И вот мы видим, что к концу XVIII века вера в разум совсем падает, и хотя во время консульства и директории так называемые идеологи по старой памяти превозносят разум и истину (la raison et la vérité), но у них уже совсем нет прежнего одушевления, да и влияние их незначительное; их не слушает публика, которая, как Понтий Пилат, со скептической улыбкой спрашивает теперь: «а что есть истина?». Г-жа Сталь, хорошо знавшая французскую интеллигенцию того времени, говорит, что «большинство» (la plupart des hommes), испуганное страшным ходом событий, потеряло всякое стремление к самосовершенствованию и, «пораженное могуществом случайности, перестало верить в силу человеческих способностей» *.

* De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. Introduction, p. XVIII. На стр. IV того же введения она выражается еще сильнее: «Les contemporains d'une révolution, — говорит она, — perdent souvent tout intérêt à la récherche de la vérité. Tant d'événements décidés par la force, tant de crimes absous par le succès, tant de vertus flétries par le blâme, tant d'infortunes insultées par le pouvoir, tant de sentiments généreux devenus l'objet de la moquerie, tant de vils calculs philosophiquement commentés — tout lasse de l'espérance les hommes les plus fidèles au culte de la raison». [О литературе, рассматриваемой в ее соотношении с социальными учреждениями. Введение, стр. XVIII... «Современники революции... часто утрачивают всякий интерес к поискам истины. Столько событий, развязанных силой, столько преступлений, оправданных удачей, столько добродетелей, заклейменных хулой, столько бедствий, нанесенных властями, столько благородных чувств, ставших предметом насмешки, столько дурных расчетов, философски обоснованных — все лишает надежды людей, наиболее преданных культу разума».]

Это разочарование в силе разума, далеко не ограничившееся пределами Франции, нашло своего выразителя, между прочим, в Байроне. Манфред называет философию:

... Of all our vanities the motliest,
The merest word that ever fool'd the ear
From out the schoolman's jargon *.

Современные ему общественно-политические события кажутся Байрону бессмысленной и жестокой забавой враждебной людям «*Немезиды*», т. е. опять-таки той же *случайности*. И в то же время его гордость возмущается против господства этой слепой силы. Пафос Манфреда, как выразился бы Белинский, составляет именно восстание гордого человеческого духа против слепой «судьбы», стремление его покорить себе темные силы природы и истории. Манфред отчасти разрешает эту задачу посредством волшебства. Но само собою понятно, что таким образом она могла быть разрешена только в области фантазии.

Разум третьего сословия, т. е., точнее говоря, рассудок буржуазии, стремившейся к своему освобождению от гнета старого порядка, не выдержал выпавшего ему на долю строгого исторического испытания; он оказался несостоятельным; в нем разочаровалась сама буржуазия. Но если отдельные, хотя бы и очень многочисленные, личности могли довольствоваться таким разочарованием и даже щеголять им, то для целого класса, для всего ci-devant ** третьего сословия это было совершенно невозможно в его тогдашнем историческом положении. Политические события своей быстротой, крупной и капризной сменой привели общественных деятелей конца XVIII и начала XIX века к сомнению в силе разума. Эти же события в своем дальнейшем движении должны были дать новый толчок развитию общественной мысли, вызвать новые попытки мыслящих людей найти скрытые пружины общественных явлений.

Во Франции во время реставрации многовековая тяжба буржуазии с аристократией (светской и духовной) возобновилась с новою силой и при новых общественно-политических условиях. В этой борьбе каждой из сторон необходима была хоть некоторая способность предвидения событий. И хотя огромное большинство борцов, как водится, уповало в этом отношении лишь на свой «здравый смысл» да на «житейский опыт», но среди буржуазии, тогда еще полной свежих сил, уже в самом начале двадцатых годов появляется немало даровитых людей, стремящихся посредством *научного* предвидения восторжествовать над силой

* [... химерой вздорной
..., пустейшим словом
Школярского жаргона, оглуплявшим
Любое ухо...] [1]

** [бывшего]

слепой случайности. Это стремление вызывает толки о необходимости создания общественной науки; оно же выдвигает многих замечательных деятелей в области исторической науки. Но научное исследование явлений есть именно дело разума. Таким образом, ход общественного развития воскресил веру в разум, хотя и поставил перед ним новые задачи, неизвестные или, по крайней мере, очень мало известные «философам» XVIII века.

Разум того века был разумом «просветителей». Историческая задача просветителей заключалась в оценке данных, исторически унаследованных общественных отношений, учреждений и понятий с точки зрения новых идей, порожденных новыми общественными нуждами и отношениями. Тогда надо было как можно скорее и безошибочнее отделить овец от козлищ — «истину» от «заблуждения». При этом совершенно неважно было знать, откуда явилось, как возникло и развивалось в истории данное «заблуждение»; важно было доказать, что оно есть не более как «заблуждение».

А заблуждением считалось все, что противоречило новым идеям, точно так же как истиной — вечной, неизменной истиной — признавалось все то, что соответствовало им.

Цивилизованное человечество пережило уже не одну просветительную эпоху. Каждая из них имеет, конечно, свои частные особенности, но всем им свойственна эта отличительная родовая черта: усиленная борьба со старыми понятиями во имя новых идей, считающихся вечными истинами, независимыми от каких бы то ни было «случайных» исторических условий. *Разум просветителя* есть не более как *рассудок новатора*, закрывающего глаза на исторический ход развития человечества и объявляющего свою природу человеческой природой вообще, а свою философию — единой истинной философией для всех времен и народов.

Вот этот-то отвлеченный рассудок и потерпел крушение благодаря tapage'у конца XVIII века. Tapage показал, что человечество в своем историческом движении повинуется непонятному для него самого, но тем не менее неотразимому действию каких-то скрытых сил, которые беспощадно разбивают силу «разума» (т. е. отвлеченного рассудка) всякий раз, когда она приходит в противоречие с этими силами.

Изучение этих скрытых сил, представлявшихся сначала в виде сил слепой «случайности», стало теперь более или менее сознанной целью всех ученых и мыслителей, занимавшихся так называемыми нравственными и политическими науками *. Восем-

* Яснее всего это выражено у Сен-Симона: «La science de l'homme n'a été jusqu'à présent qu'une science conjecturale, — говорит он. — L'objet que je me suis proposé dans ce mémoire a été de lui imprimer le cachet de science d'observation» (Mémoire sur la science de l'homme) [«Наука о че-

надцатый век пренебрегал историей. Теперь все набрасываются на историю. Но изучить какое-нибудь явление *исторически* — значит изучать его в *развитии. Точка зрения развития* мало-помалу становится господствующей в философии и в общественной науке девятнадцатого века.

Известно, что точка зрения развития принесла особенно богатые плоды в немецкой философии, т. е. в философии страны, которая *только в теории* (в лице своих мыслителей) была современницей передовых европейских государств и потому могла, не развлекаясь практической борьбою, спокойно усваивать себе все приобретения научной мысли и внимательно исследовать причины и последствия совершавшихся на «Западе» (in den westlichen Ländern, как нередко выражались тогда немцы) общественных движений. События, происходившие во Франции в конце XVIII века, пользовались сильным сочувствием со стороны передовых людей Германии вплоть до девяносто третьего года, перепугавшего огромнейшее большинство этих людей и заставившего их усомниться в силе разума, как это случилось и с просвещенной французской буржуазией. Но немецкая философия, расцветавшая тогда пышным цветом, скоро увидела, каким путем можно прийти к победе над слепой силой случайности. «*В свободе должна быть необходимость*», — писал Шеллинг в своей «System des transcendentalen Idealismus» *, вышедшей как раз в начале XIX века (в 1800 году). Это значит, что свобода может явиться лишь как результат известного *необходимого*, т. е. *законосообразного* исторического развития. А отсюда следует, что изучение хода этого законосообразного развития должно стать первейшей обязанностью всех истинных друзей свободы. Девятнадцатый век богат всякого рода великими открытиями. Одним из самых великих является этот взгляд на *свободу*, как на продукт *необходимости*.

Начатое Шеллингом докончил Гегель, в системе которого идеалистическая немецкая философия нашла свое блестящее завершение. Для Гегеля всемирная история была прогрессом в сознании свободы, но таким прогрессом, который мы *должны понять в его необходимости*. Людям, державшимся этого взгляда, «история человечества перестала казаться нелепой путаницей бессмысленных насилий, которые все одинаково осуждаются перед судейским креслом теперь лишь созревшего философского разума и о которых лучше всего забыть как можно скорее. История людей явилась процессом развития человечества, и задача научной мысли свелась к тому, чтоб проследить последователь-

ловеке до настоящего времени была лишь наукой гадательной... Цель, которую я поставил себе в этом очерке, состояла в том, чтобы возвести ее в ранг наук, основанных на наблюдении» (Очерк науки о человеке)] [1].

* [«Системе трансцендентального идеализма»] [2]

ные ступени этого процесса среди всех его будто бы ложных путей и доказать внутреннюю его законосообразность среди всех кажущихся случайностей» (Энгельс) [1].

Открыть законы, под влиянием которых совершается историческое развитие человечества, — значит обеспечить себе возможность сознательного воздействия на процесс этого развития и из бессильной игрушки «случайности» стать ее господином. Таким образом, немецкий идеализм открывал перед мыслящими людьми чрезвычайно широкие и в высшей степени отрадные перспективы: могущество случайности должно было смениться торжеством разума; необходимость должна была стать прочнейшей основой свободы. Нетрудно представить себе, с каким восторгом эти отрадные перспективы были приветствуемы всеми теми, которых тяготило бесплодное разочарование и которые в глубине измученной души сохраняли и интерес к общественной жизни и «стремление к самоусовершенствованию». Философия Гегеля воскрешала в них веру в силу человеческих способностей, возрождала их к новой умственной деятельности, и в порыве свежего увлечения им казалось, что она скоро даст ответы на все великие вопросы знания и жизни, разрешит все противоречия и начнет новую эпоху сознательной жизни человечества. Ею безраздельно увлекалось все, что было свежего и мыслящего в тогдашней Германии, да, как известно, и не в одной только Германии.

III

«Последняя философия есть результат всех предшествовавших: ничто не пропало, все принципы были сохранены, — говорил Гегель, заканчивая свои чтения об истории философии... — Много времени должно было пройти, прежде чем могла возникнуть современная нам философия... То, что мы быстро обозреваем в воспоминании, медленно совершалось в действительности. Тем не менее всемирный дух никогда не стоит на одном месте. Он постоянно идет вперед, потому что в этом движении вперед и состоит его природа. Иногда кажется, что он останавливается, что он утрачивает свое вечное стремление к самопознанию. Но это только так кажется. На самом деле в нем совершается тогда глубокая внутренняя работа, незаметная до тех пор, пока не обнаружатся достигнутые ею результаты, пока не разлетится в прах кора устарелых взглядов и сам он, вновь помолодевший, не двинется вперед семимильными шагами. Гамлет восклицает, обращаясь к духу своего отца: «крот, ты хорошо роешь!». То же можно сказать и о всемирном духе: «он хорошо роет!» [2].

Автор «Былого и дум» назвал философию Гегеля алгеброй прогресса [1]. Справедливость этого отзыва достаточно подтверждается только что приведенными взглядами великого мыслителя. Идеалистическая философия, восторженно заявлявшая, что природа всемирного духа состоит в вечном движении вперед, не могла быть философией застоя. Но временами Гегель выражался еще решительнее. Для примера укажем хоть на то место в тех же чтениях по истории философии, где он говорит о суде над Сократом.

По мнению Гегеля, распространение взглядов Сократа грозило полным крушением старому порядку афинской жизни. Поэтому нельзя винить афинян, если они, почуяв в преданном их суду мыслителе смертельного врага дорогого им общественного порядка, осудили его на смерть. Этого мало: надо прямо сказать, что они *обязаны были* защищать этот общественный порядок. Но надо также признать и то, что Сократ был прав с своей стороны. Он явился сознательным представителем *нового, высшего* принципа; он был героем, имеющим за себя абсолютное право духа. «Таково во всемирной истории положение героев, которые, создавая своею деятельностью новый мир, приходят в противоречие со старым порядком и разрушают его: они являются нарушителями существующих законов. Поэтому они гибнут, но гибнут как отдельные лица; их наказание не уничтожает представляемого ими принципа... принцип торжествует впоследствии, хотя бы и в другой форме» [2].

Историческое движение нередко представляет нам зрелища враждебного столкновения двух правовых принципов. Одно право есть божественное право существующего общественного порядка, установившихся нравственных отношений; другое есть столь же божественное право самосознания, науки, субъективной свободы. Их столкновение есть трагедия в полном смысле этого слова, — трагедия, в которой есть погибающие, но нет виноватых: каждая сторона права по-своему.

Так говорил Гегель. Читатель видит, что его философия по существу своему в самом деле была настоящей алгеброй прогресса, хотя это не всегда сознавали современные ему прогрессисты. Некоторых смущала его, непонятная для профанов, терминология. Знаменитое положение: *что действительно, то разумно, что разумно, то действительно,* было принято иными за философское выражение самого упрямого консерватизма. Вообще говоря, это была ошибка. По логике Гегеля, далеко не все существующее было действительным. Действительное выше просто существующего («die Wirklichkeit steht höher als die Existenz»). Случайное существование не [3] есть действительное существование. Действительное *необходимо:* «действительность развертывается как необходимость». Но мы уже видели, что,

по Гегелю, необходимо не только то, что уже существует: всемирный дух своей беспрерывной кротовой работой подрывает существующее, превращает его простую, лишенную действительного содержания форму и делает необходимым появление нового, роковым образом сталкивающегося со старым.

Природа всемирного духа состоит в вечном стремлении вперед. Поэтому и в общественной жизни необходимым и разумным оказывается в последнем счете лишь беспрерывное поступательное движение, лишь постоянное, более или менее быстрое крушение всего старого, отживающего. Этот вывод неизбежно подсказывается всем характером и смыслом гегелевой философии как *диалектической* системы.

Но философия Гегеля была *не только диалектической* системой, она объявляла себя *также системой абсолютной истины*. Но если абсолютная истина *уже найдена*, то цель всемирного духа — самопознание — *уже достигнута*, и его движение вперед лишается всякого смысла. Таким образом, претензия на обладание абсолютной истиной должна была привести Гегеля в противоречие с его собственной диалектикой и поставить его во враждебное отношение к дальнейшим успехам философии. Но это еще не все. Она должна была сделать из него консерватора и по отношению к общественной жизни. По его учению, всякая философия есть идеальное выражение своего времени (ihre Zeit in Gedanken erfasst). Если он нашел абсолютную истину, то, значит, он жил в такое время, которому соответствует «абсолютный» общественный порядок, т. е. такой порядок, который является объективным выражением найденной в теории абсолютной истины. А так как абсолютная истина не может устареть и таким образом превратиться в заблуждение, то ясно, что всякое стремление изменить выражающий ее порядок является грубым оскорблением святыни, дерзким восстанием против всемирного духа. Конечно, и в этом «абсолютном» порядке могут быть сделаны кое-какие частные улучшения, устраняющие частные несовершенства, завещанные прошлым. Но в общем этот порядок должен остаться таким же вечным и непоколебимым, как вечна и непоколебима объективно выражаемая им абсолютная[1] истина.

Глубокий мыслитель, гениальнейшая голова первой половины девятнадцатого века, Гегель был все-таки сыном своего времени и своей страны. Если общественное положение Германии было удобно для спокойного теоретического изучения хода всемирных событий, то оно было очень неудобно для *практического* применения добытых теорией результатов. В практическом отношении смелые немецкие теоретики нередко оставались самыми мирными филистерами. Немало филистерства было и

в таких великих людях, как Гёте и Гегель. В молодости Гегель очень сочувствовал великой французской революции, но с летами любовь к свободе у него все ослабевала, а стремление жить в мире с существующим порядком вещей усиливалось, так что июльская революция 1830 года произвела на него тяжелое впечатление. Один из «левых» гегельянцев, известный Арнольд Руге, упрекал впоследствии философию своего учителя в том, что она всегда ограничивалась *созерцанием* явлений, нимало не стремясь перейти к *действию*, и что, провозглашая свободу великой целью исторического развития, она на практике мирно уживалась с самым несомненным рабством. Надо признать, что это справедливые упреки, что в философии Гегеля, действительно, были указанные недостатки [1]. Эти недостатки, выразившиеся, между прочим, в претензии на обладание абсолютной истиной, заметны и в тех самых чтениях по истории философии, в которых содержатся вышеизложенные мысли, полные мужественного и бодрого стремления вперед. Так, Гегель старается доказать, что в новейшем обществе — в противоположность античному — философская деятельность может и должна ограничиться «внутренним миром», миром идей, так как «внешний мир» (общественные отношения) пришел теперь в известный разумный порядок, «успокоился» и «примирился сам с собою» (ist so mit sich versöhnt worden). Но всего резче консервативная сторона гегелевских взглядов сказалась в его «Philosophie des Rechts». Всякий, кто внимательно прочтет это сочинение, будет поражен гениальною глубиной многих из высказанных в нем мыслей. И в то же время всякий заметит, что здесь Гегель более чем где бы то ни было старается примирить свою философию с прусским консерватизмом. Особенно поучительно в этом отношении знаменитое предисловие, в котором учение о разумной действительности получает совсем не тот смысл, какой оно имело в «Логике».

То, что существует, существует в силу необходимости. Понять необходимость данного явления — значит открыть его разумность. Процесс научного познания состоит в том, что дух, стремящийся к самопознанию, узнает в существующем самого себя, свой собственный разум. Философия должна понять то, что есть. В частности, наука права должна понять разумность государства. Гегель очень далек от всякого намерения «*построить государство, как оно должно было бы быть*». Подобные построения нелепы: мира, «как он должен был бы быть», не существует или, вернее, существует только в данном личном мнении, а личное мнение — «мягкий элемент», легко уступающий личному произволу и часто видоизменяющийся под влиянием каприза или тщеславия. Кто понял действительность, кто открыл скрытый в ней разум, тот не восстает против

нее, а мирится с нею * и радуется на нее. Он не отказывается от своей субъективной свободы; но она проявляется *не в разладе, а в согласии* с существующим. Вообще разлад с существующим, разногласие между познающим разумом и разумом, воплотившимся в действительности, вызывается лишь неполным пониманием этой действительности, промахами абстрактной мысли. Человек есть мыслящее существо; в мысли заключается его свобода, его право, основа всей его нравственности. Но есть люди, в глазах которых свободной является только такая мысль, которая расходится со всем общепризнанным. У таких людей само высокое и божественное право мысли превращается в бесправие. Эти люди все готовы принести в жертву произволу своего личного усмотрения. В законе, подчиняющем человека известной *обязанности*, они видят лишь *мертвую*, *холодную букву*, лишь *цепь*, наложенную на субъективное убеждение. Они гордятся своим отрицательным отношением к действительности, между тем как оно свидетельствует только о слабостях мысли и об их полной неспособности пожертвовать капризом личного усмотрения ради общих интересов. Давно уже сказано, что если полузнание ослабляет веру в бога, то истинное знание, напротив, укрепляет ее. То же можно сказать и об отношении людей к окружающей их действительности: полузнание возбуждает их против нее; истинное знание мирит их с нею. Так рассуждает здесь Гегель! [1]**

Совершенно справедливо, что наука права вовсе не должна заниматься «государством, как оно должно было бы быть»; ее задача заключается в понимании того, что есть и что было, в объяснении исторического развития государственных [3] учреждений. Гегель вполне прав, нападая на тех поверхностных либералов (мы сказали бы теперь: субъективистов), которые, не умея связать своих «идеалов» с развитием окружающей действительности, навсегда остаются в области бессильных и несбыточных субъективных мечтаний. Но Гегель нападает не только на подобный либерализм. Он восстает против всякого прогрессивного стремления, исходящего не из официальных сфер. К тому

* Просим читателя заметить, что выражение «примирение с действительностью» (die Versöhnung mit der Wirklichkeit) употреблено самим Гегелем.

** Интересно сопоставить этот взгляд величайшего из немецких идеалистов со взглядом его современника, гениального француза Сен-Симона. «Le philosophe... n'est pas seulement observateur, il est acteur, il est acteur du premier genre dans le monde moral, car ce sont ses opinions sur ce que le monde doit devenir qui règlent la société humaine» (Travail sur la gravitation universelle). [«Философ... не только наблюдатель, он — действующее лицо; он действующее лицо первенствующего значения в моральном мире, потому что его взгляды на то, каким мир должен быть, управляют человеческим обществом» (Труд о всемирном тяготении).] [2]

же здесь у него «то, что существует», уже по одному тому, что оно существует, признается необходимым, а потому и «разумным». Восстание против существующего объявляется восстанием против разума. Все это подкрепляется доводами, которые, как небо от земли, далеки от вышеприведенных рассуждений о судьбе Сократа и о божественном праве самосознания и субъективной свободы. Из мыслителя, внимательно вдумывающегося в историческое развитие человечества и приходящего к тому выводу, что движение вперед составляет природу всемирного духа, Гегель превращается в раздражительного и подозрительного охранителя, готового кричать «караул!» при каждом новом усилии могучего и вечного «крота», неумолимо подкапывающего здание старых понятий и учреждений.

Из этого следует, что если учение Гегеля о разумности всего действительного многими понято было совершенно неправильно, то в этом был виноват прежде всего он сам, придав ему очень странное, *совсем не диалектическое* истолкование и провозгласив воплощенным разумом тогдашний прусский общественный порядок. Вот почему может показаться странным, что философия Гегеля не утратила своего влияния на мыслящих людей того времени. Но как бы ни было это странно, а факт на лицо: восстание против консервативных выводов, сделанных Гегелем из своей — в сущности вполне прогрессивной — философии, началось только гораздо позже; в эпоху же появления «Philosophie des Rechts» против Гегеля были только несколько поверхностных либералов, а все серьезное, молодое и энергичное шло за ним с энтузиазмом, несмотря на его противоречия и даже не замечая их. Это объясняется, конечно, неразвитостью тогдашней общественной жизни Германии. Но в прошлом веке, в эпоху Лессинга, эта жизнь была еще менее развита, а между тем господствовавшие тогда философские понятия были совсем непохожи на гегелевские; если бы Гегель и мог явиться в то время, за ним наверное не пошел бы никто. Почему это? Потому что «довлеет дневи злоба его» и потому что только девятнадцатый век поставил перед мыслящим человечеством ту великую задачу, на которую обещала дать ответ гегелева философия: *научное изучение действительности, научное объяснение исторического развития человечества в социальном, политическом и умственном отношениях как необходимого и потому законосообразного процесса*. Мы уже сказали, что только такое понимание истории могло устранить пессимистический взгляд на нее, как на царство слепой случайности. Поэтому на изучение гегелевской философии должны были с жадностью накинуться молодые умы всюду, где хоть в небольших размерах совершалась подземная работа «всемирного духа», где «крот» подготовлял почву для новых общественных движений. И чем серьезнее были в молодых голо-

вах запросы теоретической мысли, чем сильнее были в молодых сердцах стремления к личному самопожертвованию ради общих интересов, тем решительнее должно было быть и тем решительнее было их увлечение гегелизмом. Начавшееся впоследствии восстание против сделанных Гегелем консервативных выводов было совершенно основательно. Но не надо забывать, что в теоретическом смысле оно было основательно лишь постольку, поскольку оно само опиралось на диалектику Гегеля, т. е. главным образом на объяснение истории как законосообразного процесса и на понимание свободы как результата необходимости.

IV

Теперь мы можем вернуться к Белинскому.

Приступая к истории его умственного развития, заметим прежде всего, что в своей ранней юности он резко восставал против нашей тогдашней действительности. Известно, что трагедия, написанная им в бытность его в университете и причинившая ему так много неприятностей, была пылким, хотя и мало художественным протестом против крепостного права. Белинский целиком становится на сторону крепостных.

«Неужели эти люди для того только родятся на свет, чтобы служить прихотям таких же людей, как и они сами? — восклицает один из его героев. — Кто дал это гибельное право одним людям порабощать своей власти волю других, подобных им существ, отнимать у них священное сокровище — свободу? Кто позволяет им ругаться над правами природы и человечества?.. Милосердный боже, отец человеков, ответствуй мне, твоя ли премудрая рука произвела на свет этих змиев, этих крокодилов, этих тигров, питающихся костями и мясом своих ближних и пьющих, как воду, их кровь и слезы?» [1]

Эта тирада по своей пылкости сделала бы честь самому Карлу Моору. И действительно, Белинский находился под сильнейшим влиянием ранних произведений Шиллера: «Разбойников», «Коварства и любви», «Фиеско» [2]. По его собственным словам, эти драмы наложили на него тогда «дикую вражду с общественным порядком во имя абстрактного идеала общества, оторванного от географических и исторических условий развития, построенного на воздухе» [3]. Впрочем, так влияли на него не одни только вышеперечисленные произведения Шиллера. «Дон Карлос, — говорил он, — бросил меня в абстрактный героизм, вне которого я все презирал... и в котором я очень хорошо, несмотря на свой неестественный и напряженный восторг, сознавал себя нулем... «Орлеанская дева» ринула меня в тот же абстрактный героизм, в то же пустое, безличное, субстан-

циальное, без всякого индивидуального определения—Общее» [1]. Мы очень просим читателя заметить это интересное свидетельство знаменитого критика о самом себе. Его молодое увлечение «*абстрактным идеалом общества*» составляет в высшей степени важную страницу в истории его умственного развития, на которую до сих пор не обратили всего того внимания, какого она заслуживает. Так, никто, насколько нам известно, не подчеркнул того обстоятельства, что даровитый и горячий молодой человек, будучи полон «абстрактного героизма», в то же самое время «*сознавал себя нулем*». Такое сознание крайне мучительно. Оно необходимо должно было вызывать, с одной стороны, не менее мучительные сомнения в годности *абстрактного идеала*, а с другой — попытки найти для своих общественных стремлений *конкретную* почву. Мучительное сознание себя «нулем» было тогда свойственно не одному Белинскому. Стремления передовой интеллигенции двадцатых годов незадолго перед тем потерпели жестокое крушение, и в среде мыслящих людей воцарились грусть и отчаяние *. У нас часто повторяли, что Надеждин имел сильное влияние на развитие взглядов Белинского, по крайней мере в первый период его развития. Но много ли отрадного было во взглядах самого Надеждина? Древняя русская жизнь казалась ему «дремучим лесом безличных имен, толкущихся в пустоте безжизненного хаоса»; он сомневался даже в том, что мы жили в продолжение тысячелетнего существования России. Умственная жизнь начинается у нас только с Петра, а до сих пор «все европейское забрасывается (к нам) рикошетами через тысячи скачков и переломов и потому долетает в слабых, издыхающих отголосках».

«Наша литература была до сих пор, если можно так выразиться, барщиною европейской; она обрабатывалась руками русскими не по-русски; истощала свежие неистощимые соки юного русского духа для воспитания произрастений чужих, не наших» **.

Тут слышатся почти Чаадаевские ноты. В своей знаменитой первой статье «*Литературные мечтания*» Белинский высказал, по-видимому, довольно радужный взгляд на наше будущее, если не на прошедшее и настоящее. Заметив, что нам нужна пока не литература, которая сама явится в свое время, а просвещение, он восклицает:

* См. об этом *Herzen*, Du développement etc., Paris 1851, стр. 97—98. [*Герцен*, О развитии и т. д., Париж 1851, стр. 97—98.] [2]

** Не имея под рукой статей Надеждина, мы вынуждены цитировать по книге г. *Пыпина:* «Белинский, его жизнь и переписка», т. I, стр. 95 [3]. Излишне прибавлять, что из этого же сочинения мы заимствуем большинство данных, относящихся к истории умственного развития Белинского. Мы только иначе группируем эти данные [4].

«И это просвещение не закоснит, благодаря неусыпным попечениям мудрого правительства. Русский народ смышлен и понятлив, усерден и горяч ко всему благому и прекрасному, когда рука царя-отца указывает ему на цель, когда его державный голос призывает его к ней!..» [1]

Одно учреждение сословия домашних наставников должно, по его словам, сделать настоящие чудеса в смысле просвещения. Кроме того, наше дворянство уверилось, наконец, в необходимости давать своим детям прочное образование, а наше купеческое сословие «быстро образуется и сближается в этом отношении с высшим». Словом, дело просвещения идет у нас хорошо: «в настоящем времени зреют семена для будущего».

Все это написано было, конечно, совершенно искренно: в то время, когда Белинский писал свою статью, ему хотелось верить, и он в пылу писательского увлечения верил, что просвещение быстро разольется по Руси. Но в более спокойные минуты, когда остыл жар увлечения, он не мог не увидеть, что основания, на которые опиралась его вера в быстрое развитие просвещения в России, были по меньшей мере шатки. Да и могли ли успехи просвещения — как бы ни были они «быстры» — удовлетворить человека, «враждовавшего с общественным порядком» во имя идеала и проникнутого «абстрактным героизмом»... Такому человеку нужны были не такие перспективы. Словом, восторженный тон «Литературных мечтаний» был плодом минутной вспышки и совсем не исключал в их авторе тяжелого настроения, как результат обидного сознания себя нулем и неразрешенного противоречия между абстрактным идеалом, с одной стороны, и конкретной русской действительностью — с другой.

В июле 1836 г. Белинский поехал в деревню Б—х в Тверской губернии и там с помощью одного из гостеприимных хозяев, известного «дилетанта философии», или «философского друга», М. Б. [2], ознакомился — если не ошибаемся, впервые — с философией Фихте. «Я уцепился за фихтеанский взгляд с энергией, с фанатизмом» [3], — говорит он. И это понятно. По его выражению, в его глазах всегда двоилась жизнь идеальная и жизнь действительная; Фихте убедил его в том, что «идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота» [4]. Таким образом, мучительное противоречие между абстрактным идеалом и конкретной действительностью получало искомое философское решение: оно разрешалось приведением к нулю одной из сторон антиномии.

Объявив действительность призраком, Белинский тем сильнее мог враждовать с нею во имя *идеала*, который оказывался теперь единственною действительностью, заслуживающею этого названия. В этом «фихтеанском» периоде Белинский очень сочувст-

венно относился к французам. «Нам рассказывали из тогдашней жизни Белинского случай, — говорит г. Пыпин, — где он однажды в большом обществе, ему совершенно незнакомом, в разговоре о французских событиях конца прошлого столетия высказал мнение, смутившее хозяина своею крайнею резкостью»*. Впоследствии в письме к одному приятелю Белинский, вспоминая об этом эпизоде, прибавил:

«Я нисколько не раскаиваюсь в этой фразе и нисколько не смущаюсь воспоминанием о ней: ею выразил я совершенно добросовестно и со всею полнотою моей неистовой натуры тогдашнее состояние моего духа. Да, я *так* думал тогда... Искренно и добросовестно выразил я этою фразою напряженное состояние моего духа, через которое *необходимо* должен был пройти» [1].

Казалось бы, теперь Белинский мог отдохнуть от терзавших его сомнений. На самом же деле он страдал теперь едва ли не более, чем прежде.

Во-первых, он усомнился в своей собственной способности к философскому мышлению. «И я узнал о существовании этой конкретной жизни для того, чтобы узнать свое бессилие усвоить ее себе; я узнал рай для того, чтобы удостовериться, что только приближение к его воротам, не наслаждение, но только предощущение его гармонии и его ароматов — единственно возможная моя жизнь» [2]. Во-вторых, отрицание действительности, как видно, не надолго избавило его и от старых *теоретических сомнений*. Действительная жизнь объявлена была призрачной, ничтожной и пустой. Но призрак призраку рознь. Французская действительность была, с новой точки зрения Белинского, такой же призрачной, как и всякая другая, т. е., между прочим, и русская. Но во французской общественной жизни были явления, которым он, как мы уже знаем, горячо сочувствовал, а в России не было ничего подобного. Почему же французские «призраки» не похожи на наши родные?

На этот вопрос «фихтеанство» не отвечало, а между тем он был лишь простым видоизменением старого мучительного вопроса о том, почему конкретная действительность противоречит абстрактному идеалу и как устранить это противоречие. Выходило, что объявление действительности призраком в сущности не помогало ровно ничему, а вследствие этого новая философская точка зрения сама оказывалась сомнительной, если не вовсе «*призрачной*»: ведь она была дорога Белинскому именно только в той мере, в какой она, по-видимому, обещала дать простые и убедительные ответы на осаждавшие его вопросы.

Впоследствии, в одном из своих писем (20 июня 1838 г.), Белинский высказал убеждение в том, что он «*ненавидел мысль*».

---

* «Белинский», т. I, стр. 175.

«Да, я ненавижу [ее], как отвлечение, — писал он. — Но разве она может приобретаться, не будучи отвлеченною, разве мыслить должно всегда только в минуту откровения, а в остальное время ни о чем не мыслить? Я понимаю всю нелепость подобного предположения, но моя природа враждебна мышлению» [1]. Эти простодушные, трогательные строки лучше всего характеризуют отношение Белинского к философии. Он не мог удовольствоваться «отвлечениями». Его могла удовлетворить только такая система, которая, сама вытекая из общественной жизни и сама объясняясь этой жизнью, в свою очередь объясняла бы ее и давала бы возможность широкого и плодотворного на нее воздействия. В этом и состояла его мнимая ненависть к мысли: он ненавидел, разумеется, не философскую мысль вообще, а только такую мысль, которая, довольствуясь философским «созерцанием», поворачивается спиною к жизни. «Мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления» [2], — говорит Тургенев. Это совершенно справедливо, особенно в применении к Белинскому. Он искал в философии пути к счастью, the road to happiness, как выражается байроновский Каин, — и, конечно, не к личному счастью, а к счастью своих ближних, к благу своей родной страны. На этом основании многие вообразили, что он в самом деле не имел «философского таланта», и на него стали посматривать сверху вниз, с некоторым снисходительным одобрением даже такие люди, которые в смысле способности к философскому мышлению недостойны были бы развязать ремень у ног его. Эти самодовольные господа забыли или не знали, что во времена Белинского пути к общественному счастью искала в философии почти вся мыслящая Европа. Потому-то философия и имела тогда такое огромное общественное значение. Теперь, когда путь к счастью указывает *уже не философия*, ее прогрессивное значение равно нулю, и теперь ею могут спокойно заниматься любители «чистого мышления». Мы от всей души желаем им успеха, но это не мешает нам остаться при особом мнении насчет «философского таланта» Белинского. Мы думаем, что у него было *огромное чутье теоретической истины*, к сожалению не развитое систематическим философским образованием, но тем не менее совершенно верно указывавшее ему важнейшие задачи тогдашней общественной науки. «Белинский был одною из высших философских организаций, какие я когда-либо встречал в жизни», — говорил один из образованнейших русских людей того времени, кн. Одоевский [3]. Мы полагаем, что Белинский был одной из высших «философских организаций», когда-либо выступавших у нас на литературное поприще.

Как бы то ни было, а проклятые вопросы не давали покоя Белинскому в течение всего «фихтеанского периода». Это были

как раз те вопросы, на которые требует ответа немецкий поэт в своем прекрасном стихотворении:

Отчего под ношей крестной
Изнывает вечно правый?
Отчего везде богатый
Встречен почестью и славой?
Кто виной? Иль силе правды
На земле не все доступно?
Иль она играет нами?
Это подло и преступно! [1]

Современная общественная наука окончательно разрешила эти вопросы. Она признала, что «силе правды» на земле доступно пока еще далеко не все, и она объяснила, почему «правда» пока еще так мало значит в наших общественных (особенно межклассовых) отношениях. С точки зрения современной общественной науки вопросы, волновавшие и терзавшие Белинского, могут показаться довольно наивными.

Но для его времени они отнюдь не были наивны; ими занимались лучшие умы того времени. Они логически вытекают из коренного вопроса о том, почему случайность так часто оказывается сильнее разума. И нетрудно понять, что Белинский мог удовольствоваться только такой философией, которая дала бы ему «простые» [2] и твердые ответы именно на эти вопросы.

Почему грубая материальная сила может безнаказанно издеваться над самыми лучшими, самыми благородными стремлениями людей? Почему одни народы процветают, а другие гибнут, попадая под власть суровых завоевателей? Потому ли, что завоеватели всегда лучше и выше завоеванных? Едва ли это так. Очень часто это происходит единственно потому, что у завоевателей больше войска, чем у завоеванных. Но в таком случае чем же оправдывается это торжество силы? И какое значение могут иметь «*идеалы*», никогда не покидающие своей надзвездной области и оставляющие нашу бедную практическую жизнь в жертву всякого рода ужасам? Назовите эти идеалы *абстрактными*, а действительность *конкретной*, или наоборот: объявите действительность абстракцией, а идеалы действительностью, — вы во всяком случае вынуждены будете считаться с этими вопросами, если только не обладаете «философским талантом» Вагнера [3], т. е. не погружены в «чистое мышление» и не принадлежите к числу *декадентов*, способных забавляться жалкими, ничего не разрешающими и никому не мешающими «*формулами прогресса*». Белинский не был, как известно, ни Вагнером, ни декадентом. И это, конечно, делает ему большую честь; но за эту честь он заплатил очень дорогою ценою. Свой «фихтеанский период» он называл впоследствии периодом *распадения*. Понятно, что он должен был стремиться выйти из этого тяже-

лого состояния. И не менее понятно, что это стремление должно было привести его к разрыву с философией Фихте.

К сожалению, история этого разрыва, по недостатку данных, до сих пор остается очень мало разъясненной. Известно, впрочем, что в половине 1837 года Белинский находился уже под сильным влиянием Гегеля, хотя успел ознакомиться только с некоторыми частями его системы. Известно также, что в это время он уже примирился с той действительностью, с которой так решительно враждовал прежде. Довольно яркий свет на его тогдашнее настроение проливает письмо из Пятигорска, написанное им 7 августа 1837 г. к одному своему молодому другу. Он горячо советует ему заниматься философией. «Только в ней ты найдешь ответы на вопросы души твоей, только она даст мир и гармонию душе твоей и подарит тебя таким счастьем, какого толпа и не подозревает и какого внешняя жизнь не может ни дать тебе, ни отнять у тебя. Ты будешь не в мире, но весь мир будет в тебе... Пуще всего оставь политику и бойся всякого политического влияния на свой образ мыслей» [1]. В России политика не имеет никакого смысла, потому что для России «назначена совсем другая судьба, нежели для Франции, где политическое направление и наук, и искусств, и характера жителей имеет свой смысл, свою законность и свою хорошую сторону» [2]. Вся надежда России — в распространении просвещения и в нравственном самоусовершенствовании ее граждан. «Если бы каждый из индивидов, составляющих Россию, путем любви дошел до совершенства, тогда Россия без всякой политики сделалась бы счастливейшею страною в мире» [3]. Это, конечно, совсем не гегелевский взгляд, но мы уже сказали, что в то время знакомство Белинского с Гегелем было очень неполно. Для нас важно то, что к примирению с *русской действительностью* Белинский пришел путем хотя бы и неверного и вообще крайне поверхностного *выяснения ее исторического развития*. Почему наша общественная жизнь не похожа на французскую? Потому, что историческая судьба России не похожа на историческую судьбу Франции. Такой ответ делал невозможными какие бы то ни было параллели между Россией и Францией. А такие параллели еще очень недавно должны были приводить Белинского к тяжелым и почти безнадежным выводам. Вместе с тем такой ответ давал возможность примирения не только с нашей русской, но и с французской общественной жизнью — например, с теми событиями конца XVIII века, к которым Белинский еще очень недавно относился с самым горячим сочувствием: все хорошо на своем месте. И мы видели, что он оправдывает «политическое направление» французов. Впрочем, в своем увлечении «абсолютной» истиной немецкой философии он уже не уважает этого направления. У французов «нет вечных истин, но истины дневные,

т. е. на каждый день новые истины. Они все хотят вывести не из вечных законов человеческого разума, а из опыта, из истории» [1]. Это до такой степени возмущает Белинского, что он посылает «к чорту» французов, влияние которых ничего, кроме вреда, нам, по его словам, никогда не приносило, и объявляет Германию Иерусалимом новейшего человечества, на который с надеждой и упованием должны обратиться взоры мыслящей русской молодежи.

Очень ошибся бы, однако, тот, кто принял бы за *охранителя*, «примирившегося» с русской действительностью, Белинского. Он и тогда был еще очень далек от консерватизма. Петр Великий нравится ему именно своим решительным разрывом с существовавшим в его время порядком вещей. «Цари всех народов развивали свои народы, опираясь на прошедшее, на предание; Петр оторвал Россию от прошедшего, разрушив ее традицию» [2]. Согласитесь, что такие речи были бы очень странны в устах охранителя. Точно так же он вовсе не склонен и к идеализации современной ему самому русской жизни; он находит, что в ней много несовершенств, но он объясняет эти несовершенства молодостью России: «Россия еще дитя, для которого еще нужна нянька, в груди которой билось бы сердце, полное любви к своему питомцу, а в руке которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости» [3]. Он мирится теперь даже с крепостным правом, но мирится только до поры до времени, только потому, что считает русский народ еще не созревшим для свободы. По его словам, «правительство исподволь освобождает», и это обстоятельство так же радует его, как то, что, благодаря отсутствию у нас майоратов, наше дворянство «издыхает само собою, без всяких революций и внутренних потрясений» [4]. Настоящие охранители смотрели на вещи совсем иначе, и если бы ктонибудь из них и прочитал цитируемое нами письмо Белинского, то нашел бы, что оно полно самых «завирательных идей», несмотря на свое отрицательное отношение к политике. И это было бы совершенно справедливо с «охранительной» точки зрения. Белинский мирился не с действительностью, а с печальной судьбой своего абстрактного идеала.

Еще недавно он мучился, сознавая, что этот идеал не находит никакого приложения к жизни. Теперь он отказывается от него, убедившись, что он не способен привести ни к чему, кроме «абстрактного героизма», бесплодной вражды с действительностью. Но это не значит, что Белинский поворачивается спиною к прогрессу. Вовсе нет. Это значит только, что теперь он собирается служить ему иначе, чем собирался служить прежде. «Будем подражать апостолам Христа, — восклицает он, — которые не делали заговоров и не основывали ни явных, ни тайных политических обществ, распространяя учение своего божествен-

ного учителя, но которые не отрекались от него перед царями и судьями и не боялись ни огня, ни меча. Не суйся в дела, которые тебя не касаются, но будь верен своему делу, а твое дело — любовь к истине... К чорту политику, да здравствует наука!» [1]

V

Отрицательное отношение к «политике» вовсе не решало, однако, вопроса о том, почему зло так часто торжествует над добром, сила над правом, ложь над истиной. А пока этот вопрос оставался неразрешенным, нравственный выигрыш от «примирения» был еще невелик, так как Белинского по-прежнему осаждали сомнения. Но теперь он был убежден, что система Гегеля поможет ему навсегда разделаться с ними. Дальнейшему знакомству его с этой системой помог тот же «дилетант философии»[2], который изложил ему учение Фихте. Как сильно было действие гегелизма на Белинского и на какие именно его запросы он отвечал ему, показывают следующие строки из его письма к Станкевичу:

«Приезжаю в Москву с Кавказа, приезжает Б. («дилетант философии»), мы живем вместе. Летом просмотрел он философию религии и права Гегеля. Новый мир нам открылся. Сила есть право, и право есть сила, — нет, не могу описать тебе, с каким чувством услышал я эти слова, — это было освобождение. Я понял идею падения царств, законность завоевателей. Я понял, что нет дикой материальной силы, нет владычества штыка и меча, нет произвола, нет случайности, — и кончилась моя опека над родом человеческим, и значение моего отечества предстало мне в новом виде... Перед этим еще К—в (Катков) передал мне, как умел, а я принял в себя, как мог, несколько результатов «Эстетики».—Боже мой! Какой новый, светлый, бесконечный мир!.. Слово «действительность» сделалось для меня равнозначительно слову «бог». И ты напрасно советуешь мне чаще смотреть на синее небо — образ бесконечного, — чтобы не впасть в кухонную действительность: друг, блажен, кто может видеть в образе неба символ бесконечного, но ведь небо часто застилается серыми тучами, потому тот блаженнее, кто и кухню умеет просветлить мыслью бесконечного» [3].

Теперь происходит настоящее примирение Белинского с действительностью. Человек, стремящийся даже кухню просветлить мыслью бесконечного, разумеется, не захочет ничего переделывать в окружающей его жизни. Он будет наслаждаться сознанием и созерцанием ее разумности, и чем более он благоговеет перед разумом, тем больше будет возмущать его всякая критика действительности. Понятно, что страстная натура Бе-

линского должна была завести его очень далеко в этом отношении. Трудно даже поверить теперь, что он наслаждался созерцанием окружающей его действительности, как художник наслаждается зрелищем великого произведения искусства. «Такова моя натура, — говорил он: — с напряжением, *горестно и трудно* принимает мой дух в себя и любовь, и вражду, и знание, и всякую мысль, всякое чувство; но приняв, весь проникается ими, до сокровенных и глубоких изгибов своих. Так в горниле моего духа выработалось самостоятельно [1] значение великого слова *действительность*... Я гляжу на действительность, столь презираемую прежде мною, и трепещу таинственным восторгом, сознавая ее разумность, видя, что из нее ничего нельзя выкинуть и в ней ничего нельзя похулить и отвергнуть... *Действительность!* — твержу я, вставая и ложась спать, днем и ночью, и действительность окружает меня, я чувствую ее везде и во всем, даже в себе, в этой *новой* перемене, которая становится заметнее со дня на день» [2].

Этот «таинственный» восторг перед разумною действительностью напоминает тот восторг, который испытывают в общении с природой люди, умеющие одновременно наслаждаться и ее красотой и сознанием своего неразрывного единства с нею. Человек, любящий природу такою, в одно и то же время философской и поэтической, любовью, с равным удовольствием следит за всеми проявлениями ее жизни. Точно так же и Белинский с одинаковым любовным интересом вглядывается теперь во все его окружающее. «Да, действительность вводит в действительность, — восклицает он. — Смотря на каждого не по ранее заготовленной теории, а по данным, им же самим представленным, я начинаю уметь становиться к нему в настоящих отношениях, и потому мною все довольны и я всеми доволен. Я начинаю находить в разговорах общие интересы с такими людьми, с какими никогда не думал иметь чего-либо общего» [3]. Определившись на службу в межевой институт, он чрезвычайно доволен своей негромкой, но полезной деятельностью учителя. «С ненасытным любопытством вглядываюсь я в эти средства [4], по наружности столь грубые, пошлые и *прозаические*, которыми создается эта польза, неблестящая, незаметная, если не следить за ее развитием во времени, неуловимая для поверхностного взгляда, но великая, благодатная своими последствиями для общества. Пока есть сила, я сам решаюсь на все, чтобы принести на алтарь общественного блага и свою лепту» [5].

От «абстрактного героизма» не остается и следа. Измученный предыдущей работой мысли, Белинский как будто утрачивает даже теоретический интерес к великим общественным вопросам. Он готов удовольствоваться инстинктивным сознанием разумности окружающей его жизни. «Знание действительности со-

стоит в каком-то инстинкте, такте, — говорит он, — вследствие которых всякий шаг человека верен, всякое положение истинно, все отношения к людям безошибочны, не натянуты... Разумеется, кто к этому инстинктуальному проникновению присоединит сознательное, через мысль, тот вдвойне овладеет действительностью, но главное — знать ее, как бы ни знать» [1].

В предыдущем периоде своего развития Белинский старался, как мы видели, разрешить мучившее его противоречие между абстрактным идеалом и конкретной действительностью посредством приравнения к нулю одной из сторон этой антиномии, он объявил *призраком* всякую действительность, противоречащую *идеалу*. Теперь он поступает как раз наоборот: теперь он приравнивает к нулю другую сторону антиномии, т. е. объявляет *призраком* всякий *идеал*, противоречащий *действительности*. Теоретически это новое решение, разумеется, так же неправильно, как и первое: как в том, так и в другом случае для приравнивания к нулю одной из сторон антиномии нет достаточных оснований. И все-таки новая фаза философского развития Белинского представляет собою огромнейший шаг сравнительно с предыдущей.

Чтобы вполне выяснить себе ее значение, мы должны остановиться на статье о Бородинской битве [2].

Главный интерес этой статьи заключается в борьбе с рационалистическим взглядом на общественную жизнь и в выяснении отношения отдельных личностей к обществу, взятому в его целом. Рационалистический взгляд, с которым Белинский, по-видимому, очень хорошо уживался в своем фихтеанском периоде, кажется ему теперь до последней степени вздорным, достойным лишь французских говорунов и либеральных аббатиков. «Начиная от времен, о которых мы знаем только из истории, до нашего времени не было и нет ни одного народа, составившегося и образовавшегося по взаимному и сознательному условию известного числа людей, изъявивших желание войти в его состав, или по мысли одного какого-нибудь, хотя бы гениального, человека» [3]. Возьмем хоть происхождение монархической власти. Либеральный говорун сказал бы, что она явилась результатом испорченности людей, которые, убедившись в своей неспособности к самоуправлению, увидели себя в горькой необходимости подчиниться воле одного лица, ими самими же избранного и облеченного неограниченной властью. «Для поверхностного взгляда *абстрактных* голов, в глазах которых идеи и явления не заключают в самих себе своей причины и необходимости, но вырастают, как грибы после дождя, не только без почвы и корней, а на воздухе, — для таких голов нет ничего проще и удовлетворительнее такого объяснения; но для людей, духовному ясновидению которых открыта глубина и внутренняя сущность вещей, не мо-

жет быть ничего нелепее, смешнее и бессмысленнее. Все, что не имеет причины в самом себе и является из какого-то чуждого ему «вне», а не «изнутри» самого себя, — все такое лишено разумности, а следовательно, и характера священности. Коренные государственные постановления священны потому, что они суть основные идеи не какого-нибудь известного народа, но каждого народа, и еще потому, что они, перешедши в явления, ставши фактом, диалектически развивались в историческом движении, так что самые их изменения суть моменты их же собственной идеи. И потому коренные постановления не бывают законом, изреченным от человека, но являются, так сказать, *довременно* и только выговариваются и сознаются человеком» [1].

Тут заключается некоторая неловкость в употреблении философских терминов. Так, например, из приведенных нами строк выходит, что, по мнению Белинского, философу может быть открыта *внутренняя сущность вещей.* Но что же это за *внутренняя* сущность? Нам кажется, что Гёте был совершенно прав, когда говорил:

Nichts ist innen, nichts ist aussen,
Was ist drinnen, das ist draussen [2].

Но мы не будем останавливаться на частностях. Нам нужно напомнить читателю общий характер тогдашних взглядов Белинского.

Какова с его новой точки зрения роль личностей в диалектическом процессе общественного развития?

«Человек есть частное и случайное по своей личности, но общее и необходимое по духу, выражением которого служит его личность, — говорит Белинский. — Отсюда выходит двойственность его положения и его стремлений: его борьба между своим *я* и тем, что находится вне его *я*, составляет его не-*я*... Чтобы быть действительным человеком, а не призраком, он должен быть *частным выражением общего* или *конечным* проявлением бесконечного. Вследствие этого он должен отрешиться от своей субъективной личности, признав ее ложью и призраком, должен смириться перед мировым, общим, признав только его истиной и действительностью. Но как это *мировое* или *общее* находится не в нем, а в объективном мире, он должен сродниться, слиться с ним, чтобы после, усвоив объективный мир в свою субъективную собственность, стать снова субъективной личностью, но уже действительной, уже выражающей собою не случайную частность, а общее, мировое, — словом, стать духом во плоти» [3].

Чтобы не быть призраком, человек должен стать частным выражением общего. С этим взглядом на личность совместимо самое прогрессивное миросозерцание. Когда Сократ выступал против устарелых понятий афинян, он служил именно «общему,

мировому», его философская проповедь была идеальным выражением нового шага, сделанного Афинами в их историческом развитии. Потому-то Сократ и был *героем*, как назвал его Гегель. Таким образом, разлад личности с окружающею ее действительностью вполне оправдывается в том случае, когда личное, являясь *частным выражением общего*, своим отрицанием подготовляет историческую почву для новой действительности, для действительности завтрашнего дня. Но Белинский рассуждает не так. Он проповедует «смирение» перед существующим. Как в статье о Бородине, так особенно в статье о Менцеле он с негодованием обрушивается на «маленьких великих людей», для которых история есть бессвязная сказка, полная случайных и противоречивых столкновений между обстоятельствами. По его словам, такой взгляд на историю есть печальный продукт *рассудочности*. Рассудок всегда схватывает только одну сторону предмета, между тем как разум рассматривает предмет со всех сторон, хотя они как будто и противоречат одна другой. «И потому разум не создает действительности, а сознает ее, предварительно взяв за аксиому, что все, что есть, все то и необходимо, и законно, и разумно» [1].

«*Действительность* есть положительное жизни, — говорит Белинский в другой статье, — призрачность — ее *отрицание*»[2]. Если это так, то нападки его на отрицающих действительность «маленьких великих людей» становятся совершенно понятны; люди, отрицающие действительность, представляют собой простые призраки. Понятно также, что Белинский впадает в самый крайний оптимизм. Если всякое отрицание действительности есть призрачность, то действительность — безупречна. Интересно следить за тем, как Белинский старается доказать историческими примерами, что «судьбы земнородных» не предоставлены слепому случаю. «Омар сжег Александрийскую библиотеку: проклятие Омару — он навеки погубил просвещение древнего мира! Погодите, милостивые государи, проклинать Омара! Просвещение — чудная вещь; будь оно океаном и высуши этот океан какой-нибудь Омар, все останется под землей невидимый и сокровенный родник живой воды, который не замедлит пробиться наружу светлым ключом и превратиться в океан»... [3] Это, разумеется, очень странный довод: из того, что «Омарам» не удастся высушить все источники просвещения, вовсе не следует, что их деятельность безвредна и что нам следует «погодить проклинать их». В своем оптимизме Белинский доходит до величайших наивностей. Но мы видели, что этот оптимизм совершенно неизбежно вытекал из его нового взгляда на действительность. А этот новый взгляд был обязан своим происхождением не тому, что Белинский будто бы плохо понял Гегеля, а, наоборот, что он вполне усвоил себе дух той гегелевой

философии, которая выразилась в предисловии к «Philosophie des Rechts» *.

Мы подробно изложили взгляды, высказанные Гегелем в этом предисловии. Пусть читатель сравнит их «с примирительными» взглядами Белинского, — его поразит их почти полное тождество. Разница только в том, что «неистовый Виссарион» горячится гораздо больше, чем спокойный немецкий мыслитель, а потому и доходит до таких крайностей, до каких не договаривается Гегель. Белинский говорит, что «Вольтер был подобен сатане, освобожденному высшею волей от адамантовых цепей, которыми он прикован к огненному жилищу вечного мрака, и воспользовавшемуся кратким сроком свободы на пагубу человечества» [1]. Ничего подобного не говорил и не сказал бы Гегель. Таких примеров можно привести немало, но все это частности, не изменяющие сущности дела, которая состоит в том, что, высказывая свои взгляды [2], Белинский был вполне верен духу «абсолютной» философии Гегеля. И если эти примирительные взгляды кажутся г. Волынскому «странными», то это показывает, что он плохо знаком с сочинениями «человека, мысливщего вечность», т. е. Гегеля. Правда, г. Волынский повторяет в этом случае лишь то, что было раньше его высказано Н. Станкевичем, Герценом, Тургеневым и т. д. Но он обещал рассмотреть вопрос о влиянии Гегеля на миросозерцание Белинского «обстоятельно» и посредством «сличения известных взглядов Белинского с их первоисточником». Почему же он ограничился повторением чужих ошибок? Уж не потому ли, что ему самому «первоисточник» известен довольно плохо **.

Белинский полнее, чем кто бы то ни было из его друзей, — например, М. Б. и Н. Станкевич, — усвоил консервативный дух *той* философии Гегеля, которая изъявляла претензию быть *абсолютной истиной*. Вероятно, он и сам чувствовал это, и потому на него плохо действовали дружеские увещания, имевшие целью ослабить его «примирительную» горячность: ведь друзья стояли на точке зрения той же будто бы абсолютной истины, которую проповедовал теперь Белинский вслед за Гегелем, а с этой точки зрения всякие уступки «либеральным говорунам» были лишь жалкой непоследовательностью ***.

---

* [«Философии права».]

** Г-н *А. Станкевич* в своей книге «Т. Н. Грановский и его переписка», Москва 1897 г., подобно г. Волынскому, высказывает то мнение, что примирительные взгляды Белинского были неверными выводами из философии Гегеля (т. I, стр. 107—108). Известно ли г. А. Станкевичу, что «неверные выводы» были сделаны самим Гегелем?

*** В одном из своих писем к Я. М. Неверову Грановский говорит, что Бакунин первый восстал против статей Белинского «О Бородине» и т. д. [3] К сожалению, из письма не видно, на чем основывалось это вос-

Конечно, можно сказать, что если Гегель в эпоху появления «Philosophie des Rechts» * мирился с прусской действительностью, то из этого не следует, что он примирился бы с действительностью русской. Это так. Но отрицание отрицанию рознь. Гегель объявил бы русскую действительность полуазиатской; он вообще полагал, что славянский мир составляет нечто среднее между Европой и Азией. Но азиатская действительность есть тоже «отелесившийся разум», и Гегель, не Гегель-*диалектик*, а Гегель — *глашатай «абсолютной истины»*, едва ли одобрил бы восстание конечного разума отдельных лиц против действительности.

VI

Рассмотрим теперь примирительные взгляды Белинского с другой стороны.

Общественные теории «либеральных говорунов» возмущают его своим поверхностным, антинаучным характером. «Говоруны» воображают, что общественные отношения могут быть изменяемы по прихоти людей, между тем как на самом деле жизнь и развитие общества «условливаются непреложными законами, в его же сущности заключенными». «Говоруны» видят произвол и случайность там, где на самом деле происходит необходимый процесс развития. Общественные явления диалектически развиваются сами из себя, по внутренней необходимости. Все, что не имеет причины в самом себе, а является из какого-то чуждого ему «вне», лишено характера разумности, а то, что неразумно, есть не более как призрак. Таковы те воззрения, которые Белинский противопоставляет завещанному прошлым веком рационалистическому взгляду на общественную жизнь. И они несравненно глубже и серьезнее рационалистического взгляда, не оставлявшего никакого места научному объяснению общественных явлений. Нужно быть очень *почтенным* русским «социологом», чтобы в примирительных взглядах Белинского не заметить ничего, кроме «философского вздора». Точно так же только очень почтенный русский «социолог» мог, ввиду изложенных воззрений Белинского на жизнь и развитие человеческих обществ, сделать то замечательное открытие, что нашему гениальному критику более или менее изменяло «чутье правды» всякий раз, когда «эстетическое явление осложнялось философскими и политико-нравственными началами». Если под чутьем правды понимать чутье теоретической истины, — а только о ней и может быть речь в такого рода вопросах, — то необходимо признать,

стание. Во всяком случае, оно не могло основываться на понимании прогрессивной стороны философии Гегеля, к которому М. Б. пришел позже.

* [«Философии права»]

что Белинский обнаружил огромное чутье правды, когда с восторгом поспешил усвоить себе и с жаром принялся проповедовать взгляд на историю, как на необходимый и потому законосообразный процесс. В этом случае в лице Белинского русская общественная мысль впервые с гениальной смелостью взялась за решение той же великой задачи, которая, как мы видели, влекла к себе лучшие умы девятнадцатого века.

Почему плохо положение рабочего класса? Потому, что «современный экономический порядок в Европе начал складываться еще тогда, когда наука, заведующая этим кругом явлений, не существовала». Так рассуждает г. Михайловский. Белинский узнал бы в этом рассуждении ненавистный ему рационалистический взгляд на общественную жизнь и приравнял бы его, по его внутреннему достоинству, к легкомысленным суждениям *либеральных аббатиков*. «Действительность, как явившийся, отелесившийся разум, — писал он, — всегда предшествует сознанию потому, что прежде, нежели сознавать, надо иметь предмет для сознания. Вот почему естествознание, или учение о природе, явилось гораздо после самой природы, грамматика — после языка, история — после пережитой народами жизни» [1]. На том же самом основании он сказал бы, что наука, «заведующая» данным экономическим порядком, могла явиться уже только после того, как он сложился, но что объяснять ее позднейшим появлением те или другие, положительные или отрицательные свойства этого порядка так же умно, как приписывать существование заразных болезней тому обстоятельству, что во время сотворения мира не было медиков, у которых природа могла бы заимствовать правильные понятия о гигиене. Нечего и говорить, что Белинский был бы совершенно прав с точки зрения современной нам объективной науки. И выходит поэтому, что у Белинского уже в конце тридцатых годов чутье теоретической истины было сильнее, чем у г. Михайловского и подобных ему почтенных социологов в настоящее время. Нельзя сказать, чтобы этот вывод был очень утешителен для друзей нашего отечественного прогресса, но правда прежде всего, и утаить его мы не можем.

Возьмем другой пример. Народники много писали у нас о нашей поземельной общине. Они часто ошибались — более или менее искренно, — говоря об ее истории и об ее современном положении. Но допустим, что они не сделали в этом случае ни одной ошибки, и спросим только: не ошибались ли они, когда кричали, что следует всеми силами «укреплять» общину? Чем руководствовались они при этом? Убеждением в том, что современная община способна перейти в высшую экономическую форму. Но каковы же существующие внутри общины экономические отношения? Может ли их развитие привести к переходу

современной нашей общины с переделами в высшую форму общежития? Нет, развитие их ведет, напротив, к торжеству экономического индивидуализма. С этим не раз соглашались сами народники, по крайней мере наиболее толковые из них. Но в таком случае, на что же они рассчитывали? Они рассчитывали на то, что *внешнее воздействие* на общину со стороны интеллигенции и правительства пересилит *внутреннюю логику* ее собственного развития. Белинский очень пренебрежительно отнесся бы к подобным упованиям. Он и в них справедливо усмотрел бы остаток рационалистического взгляда на общественную жизнь. Он объявил бы их *призрачными* и абстрактными, так как призрачно все то, что не имеет причины в самом себе и является из какого-то чуждого ему «вне», а не «изнутри». И это опять было бы совершенно справедливо. И опять приходится делать тот нелестный для отечественного прогресса вывод, что Белинский уже в конце тридцатых годов был ближе к научному пониманию общественных явлений, чем наши нынешние сторонники старых устоев *.

Коренные государственные постановления «не бывают законом, изреченным от человека, но являются, так сказать, довременно и только выговариваются человеком». Так это или не так? Рассуждения Белинского на эту тему значительно затемнены его тогдашней охранительной горячностью, вследствие которой он выражался подчас с туманной напыщенностью. Однако и в них нетрудно найти совершенно здоровое ядро. С точки зрения нынешней общественной науки не подлежит никакому сомнению, что не только коренные государственные постановления, но и вообще правовые учреждения являются выражением фактических отношений, в которые люди становятся не произвольно, а в силу необходимости. В этом смысле все вообще правовые учреждения «только выговариваются человеком». И поскольку слова Белинского имеют этот смысл, постольку они должны быть признаны безусловно справедливыми. Их и теперь не мешало бы почаще припоминать тем нашим носителям «абстрактного идеала», которые воображают, что правовые нормы создаются прихотью людей и что люди могут поэтому делать из своих правовых учреждений какую им угодно эклектическую кашицу **.

* Надо заметить, однако, что о переходе общины в высшую форму общежития мечтают теперь уже только немногие из народников. Большинство же этих достойных людей, оставив всякие «завиральные» идеи, «хлопочет» лишь о благосостоянии хозяйственного мужичка, в руках которого община становится страшным орудием эксплуатации сельского пролетариата. Нельзя не признать, что такого рода хлопоты не «призрачны» и не имеют ничего общего с «абстрактным идеалом».

** Так, например, многие думают у нас, что Россия с удобством могла бы, с одной стороны, «закрепить общину», а с другой — пересадить

Повторяем, в лице нашего гениального критика русская общественная мысль впервые и смело взялась за решение той великой задачи, которую поставил девятнадцатый век перед всеми мыслящими людьми Европы. Поняв колоссальную важность этой задачи, Белинский вдруг почувствовал под собою надежную почву и, восхищенный открывшимся перед ним необъятным горизонтом, он, как мы видели, в течение некоторого времени глазами эпикурейца посматривал на окружающую его действительность, предвкушая блаженство ее философского познания. И как тут было не сердиться на «маленьких великих людей», которые своими — *пора признать это* — в теоретическом отношении совершенно неосновательными разглагольствованиями мешали предаться спокойному и радостному наслаждению неожиданно открытым сокровищем истины? Как было не нападать на носителей «абстрактного идеала», как было не осыпать их насмешками, когда Белинский по собственному опыту знал всю его практическую негодность, когда он еще так хорошо помнил то тяжелое сознание себя *«нулем»*, которое постоянно сопровождало у него напряженный восторг, вызываемый этим идеалом? Как было не презирать людей, хотя и желающих счастья своим ближним, но по своей близорукости считающих вредной ту самую философию, которая, по убеждению Белинского, одна только и могла осчастливить человеческий род?

Но такое настроение было непродолжительно; примирение с действительностью оказалось непрочным. Уже в октябре 1839 г., уезжая в Петербург и увозя с собою еще не напечатанную тогда статью об «Очерках Бородинского сражения», Белинский был очень далек от того светлого и отрадного взгляда на все окружающее, который явился у него в первое время увлечения гегелевой философией. «Внутренние мои страдания обратились в какое-то сухое ожесточение, — говорит он, — для меня никто не существовал, ибо я сам был мертв»[1]. Правда, это новое тяжелое настроение в значительной степени обусловливалось недостатком личного счастья, но, зная характер Белинского, можно с уверенностью сказать, что он даже не заметил бы этого недостатка, если бы философия Гегеля дала ему хоть часть того, что сулила. «Смешно и досадно, — восклицает он в длинном письме к Боткину, писанном от 16 декабря 1839 г. до первых чисел февраля 1840 года, — любовь Ромео и Юлии есть общее, а потребность любви или любовь читателя есть частное и призрачное. Жизнь в книгах, а в жизни — ничто!»[2] Заметьте эти слова. Они показывают, что он уже тогда плохо уживался с *«абсолютными»* выводами Гегеля. В самом деле, если задача мысля-

на эту «закрепленную» почву, т. е. на почву азиатского землевладения, некоторые учреждения западноевропейского общественного права.

щего человека ограничивается *познанием* окружающей его действительности; если всякая его попытка «творческого» отношения к ней «призрачна» и заранее осуждена на неудачу, то ему в самом деле не остается ничего, кроме «*жизни в книгах*». Далее, мыслящий человек обязан примириться с тем, что есть. Но живет не «*то, что есть*»; «то, что есть», уже окаменело, от него уже отлетело дыхание жизни. Живет то, что *становится* (wird), то, что вырабатывается процессом развития. Что такое жизнь, если не развитие? А в процессе развития необходим элемент отрицания. Кто в своих воззрениях не отводит достаточного места этому необходимому элементу, для того жизнь в самом деле превращается в «*ничто*», так как он в своем примирении с «тем, что есть» имеет дело не с жизнью, а с тем, что когда-то было, но что уже перестало быть ею. «Абсолютная» философия Гегеля, провозглашая современную ей действительность неподлежащею отрицанию, тем самым объявила, что жизнь только и может быть в книгах, а вне книг не должно быть жизни. Она правильно учила, что отдельный человек не должен ставить свои личные прихоти и даже существенные интересы выше интересов «*общего*». Но интересы дорогого этой философии общего были интересами застоя. Белинский почувствовал это инстинктом значительно раньше, чем сознал разумом. Он ждал от философии указания пути к человеческому счастью. Общий вопрос о торжестве случайности над человеческим разумом нередко являлся ему в виде частного вопроса о том: *почему сила торжествует над правом?* Как ответил ему на это Гегель? Мы видели как: «Нет владычества дикой материальной силы; нет владычества штыка и меча; право есть сила, и сила есть право» [1]. Оставляя в стороне несколько парадоксальную форму этого ответа (принадлежащую не Гегелю, а Белинскому), надо признать, что в нем кроется глубокая истина, на которой только и могут основываться упования сторонников поступательного движения. Это странно, но это так. Вот наглядный пример. «Наши феодальные права основываются на завоевании», — кричали Сийесу защитники старого порядка во Франции. «Только-то! — возразил он, — мы станем завоевателями в свою очередь». В этом гордом ответе выразилось сознание того, что третье сословие уже созрело для господства. И когда оно действительно сделалось «завоевателем», в его господстве было не одно только господство материальной силы: его сила была также и его правом, а его право основывалось на исторических нуждах общественного развития Франции. Все, что не соответствует нуждам общества, не имеет за собою никакого права, но зато все, что имеет за собою *подобное* право, рано или поздно будет иметь также и силу. Что может быть отраднее такой уверенности для всех истинных друзей прогресса? А такая уверенность неизбежно внушается

взглядом Гегеля на отношение права к силе, *если только он правильно понят*. Но, чтобы правильно понимать его, надобно было смотреть и на историю и на современную действительность с точки зрения *диалектического развития*, а не с точки зрения «абсолютной истины», знаменующей остановку всякого развития. С точки зрения абсолютной истины право исторического движения превращалось в священное и непререкаемое право прусского юнкерства на эксплуатацию зависимого от него крестьянства, и все угнетенные осуждались на вечное угнетение единственно потому, что «абсолютная истина», при своем появлении в мире сознания, застала их слабыми, а потому и бесправными. C'était un peu fort *, как говорят французы; и это должен был заметить Белинский, едва только он стал разбираться в частностях своего нового миросозерцания. Из его переписки видно, что так называемый в нашей литературе разрыв его с Гегелем вызван был неспособностью *«абсолютной»* гегелевой философии ответить на мучившие его общественные и исторические вопросы. «Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лествицы развития, а споткнешься, — падай, чорт с тобою, таковский и был... Благодарю покорно, Егор Федорович, кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести вам, что если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень лествицы развития, я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр., и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови... Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии»... [1]

Что значит дать отчет в жертвах случайностей, суеверия, инквизиции и т. д.? По мнению г. Волынского, это ровно ничего не значит. «На эти недоумения Белинского, изложенные ради остроумия в форме канцелярского донесения и снабженные ехидным допросом такого компрометарного свойства, — говорит он, — Гегель, с снисходительной улыбкой остановив раззадорившегося противника, мог бы сказать: «Развитие требует жертв от человека, тяжелого подвига самоотречения, могучей скорби о благе людей, без которого нет индивидуального блага, но философия идеализма не освящает случайных жертв, не ми-

* [Это было немножко слишком]

рится с суевериями, с инквизицией. В диалектическом процессе развития есть могучее орудие — *отрицание*, которое выводит людей из подземелий инквизиционных казематов на вольный воздух, на свободу. Случайность есть аномалия, и разумно только то, на чем лежит печать божественной справедливости и мудрости!» *

В этих красноречивых строках по обыкновению царствует вопиющая путаница плохо переваренных понятий, свойственная философскому таланту г. Волынского. Во-первых, Гегель, наверное, ничего не сказал бы Белинскому о тех жертвах и о том самоотречении, которых требует от личности ее собственное умственное и нравственное развитие. Он понял бы, что Белинский говорит совсем не об этих жертвах. Таким образом, немецкий идеалист утратил бы, правда, драгоценный случай состряпать красноречивую фразу согласно риторике г. Волынского, но он скорее подошел бы к делу. А дело заключается здесь именно в вопросе о том: не противоречили ли элементу *отрицания*, не сводили ли на нет этого действительно «*могучего орудия*» те «*абсолютные*» выводы, к которым пришел Гегель, и то примирение с действительностью, которое он проповедовал в предисловии к «Philosophie des Rechts»? Мы уже видели, что — да, что такое противоречие действительно существовало и что оно вытекало из коренного противоречия, свойственного всей вообще философии Гегеля, т. е. из противоречия между *диалектическим* характером этой философии и ее претензией на звание *абсолютной истины*. Г-н Волынский, по-видимому, даже не подозревает этого противоречия. Это не делает чести его «философскому таланту». А вот Белинский, на которого он позволяет себе смотреть сверху вниз, уже в конце тридцатых годов почувствовал, что это противоречие существует. «Я давно уже подозревал, — говорит он в том же письме, — что философия Гегеля только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов никуда не годится **, что лучше умереть, чем помириться с ними» [1]. Русский, «подозревавший» такие вещи, и еще в конце тридцатых годов, в самом деле должен был обладать высокой «философской организацией». И плохи те «философские организации», которые не понимают его до сих пор. Они заслуживают уже не «снисходительной», а самой что ни на есть презрительной улыбки.

Белинский, разумеется, не делает Гегеля ответственным за подвиги инквизиции, за жестокость Филиппа II и т. п. Когда он требует у него отчета во всех жертвах исторического движения

* «Русские критики», стр. 102.

** В примечании г. Пыпин говорит: «Заменяем более резкое выражение письма».

человечества, он обвиняет его в измене своей собственной философии. И это обвинение как нельзя более основательно. По Гегелю *свобода* есть *цель* исторического развития, а *необходимость — средство*, ведущее к этой цели. Философа, смотрящего на историю с этой возвышенной точки зрения, конечно, нельзя обвинять в том, что случилось совершенно независимо от его воли и влияния. Но от него можно требовать указания тех средств, с помощью которых разум восторжествует над слепой случайностью. Эти средства могут быть даны только *процессом развития*. Объявив себя обладателем абсолютной истины и примирясь с существующим, Гегель повернулся спиною ко всякому развитию и признал *разумом ту необходимость*, от которой страдало современное ему человечество. Это было равносильно объявлению себя философским банкротом. И вот это-то банкротство и возмущало Белинского. Ему досадно было, что он вслед за Гегелем мог в тогдашней Пруссии видеть «*совершеннейшее государство*».

Это совершеннейшее государство опиралось на эксплуатацию (посредством весьма старомодных приемов) большинства в пользу привилегированного меньшинства. Восстав против «абсолютной» философии Гегеля, Белинский прекрасно понял это. Он всецело перешел на сторону угнетенных. Но угнетенные представлялись ему не производителями, живущими при определенных общественных отношениях производства, а людьми вообще, угнетенной человеческой личностью. Поэтому он и протестует во имя личности [1]. «Пора, — восклицает он, — освободиться личности человеческой, и без того несчастной, от гнусных оков неразумной действительности, мнения черни и предания варварских времен» [2]. На этом основании иные не прочь были бы изобразить его чем-то вроде либерального индивидуалиста. Но это совершенно неосновательно. Белинский сам хорошо поясняет свое тогдашнее настроение. «Во мне развилась какая-то фанатическая [3] любовь к свободе и независимости человеческой личности, — говорит он, — которая возможна только при обществе, основанном на правде и доблести... Личность человеческая сделалась пунктом, на котором боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную» [4]. Это уж во всяком случае не либеральный индивидуализм. Ничего не имеет с ним общего и следующее категорическое заявление Белинского: «Я теперь в новой крайности, — это идея *социализма*, которая стала для меня идеей идей... альфою и омегою веры и знания... Она (для меня) поглотила и историю, и религию, и философию. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всех, с кем встречался я на пути жизни» (в письме к Боткину от 8 сентября 1841 года) [5].

Г-н Пыпин торопится уверить нас, что социализм Белинского был в сущности совершенно безобиден. Почтенный ученый в этом случае совершенно напрасно трудится: кто же не знает, что тогдашний социализм вообще не заключал в себе ничего практически опасного для тогдашнего общественного порядка? Но увлечение Белинского социализмом, не заключая в себе ничего страшного, является очень важным событием в его умственной жизни. И потому его надо не оставлять в тени, а осветить возможно более ярким светом.

VII

Почему Белинский от «абсолютной» идеалистической философии так быстро и решительно перешел к утопическому социализму? Чтобы объяснить этот переход, надо еще раз взглянуть на отношение нашего критика к Гегелю.

Уже тогда, когда Белинский проклинал свою статью о Бородине, как глупую и недостойную порядочного писателя, он продолжал считать началом своей духовной жизни время своего возвращения с Кавказа, т. е. время *полного увлечения гегелевой философией*. Это время кажется ему «*лучшим, по крайней мере, примечательнейшим временем*» его жизни. А статью о Бородине он считает глупой только ввиду ее выводов, а вовсе не ввиду основных ее положений. «Идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки о Бородинском сражении, — говорит он, — верна в своих основаниях» [1]. Он только не сумел как следует воспользоваться этими верными основаниями. «Должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото» [2]. Читатель не забыл, может быть, выписок, сделанных нами выше из чтений Гегеля по истории философии. Эти выписки показывают, что Гегель, поскольку он оставался верен своей диалектике, вполне признавал историческое право отрицания. Белинский, отвергая «абсолютные» выводы Гегеля, думал, что он совсем отказывается от его философии. На самом же деле он только переходил от Гегеля — глашатая «абсолютной истины» к Гегелю-диалектику. Несмотря на насмешки над философским колпаком Гегеля, он еще оставался чистейшим гегельянцем. Его первая статья о Петре Великом вся пропитана духом гегелевой философии. Во второй статье [3] преобладает тот же дух, хотя здесь Белинский пытается стать на другую точку зрения в своих рассуждениях о влиянии географической среды на духовные свойства отдельных народов, но эти довольно неудачные рассуждения нимало не изменяют общего характера его тогдашнего

миросозерцания, которое остается совершенно идеалистическим *. Идеалистами остаются и все его тогдашние единомышленники. Это, как кажется, не вполне уяснил себе его биограф. Г-н Пыпин говорит, что в «Письмах об изучении природы» Герцена (печатавшихся в «Отечественных Записках» 1843 г.) «задачи философии и естествознания были поставлены так, как лучшие умы ставят их и в настоящую минуту» **. Это большая ошибка. Г-на Пыпина, как видно, ввело в заблуждение решительное замечание автора «Писем»: «Гегель поставил мышление на той высоте, что нет возможности после него сделать шаг, не оставив совершенно за собой идеализма». Но это замечание нисколько не помешало Герцену остаться идеалистом чистейшей воды как в своих взглядах на природу (тут он совсем гегельянец), так и в своей исторической философии. Он думал, что «в материализме дальше Гоббса идти некуда». Материалистами в истории он называл таких людей, которым «вся всемирная история кажется делом личных выдумок и странного стечения случайностей» (!)***. До половины 1844 г. Герцен в своем «Дневнике» всюду высказывается как идеалист. Только в июле этого года он с похвалой говорит о материалистической статье Иордана в трехмесячнике Виганда. Но и это замечание вовсе еще не знаменует собою сколько-нибудь решительного поворота в его воззрениях [2].

Г-н Пыпин замечает также, что «последним философским интересом» Белинского был позитивизм О. Конта и Литтрэ, «как решительное отрицание метафизики». Очень жаль, что г. Пыпин не напечатал целиком того письма, в котором, по его словам, Белинский долго останавливается на позитивизме. Если судить по отрывку из этого письма, приводимому г. Пыпиным, то мнение нашего критика об О. Конте было неблагоприятно, как это признает и сам г. Пыпин: «Конт человек замечательный, — говорит Белинский, — но чтобы он был основателем новой философии — далеко кулику до Петрова дня! Для этого нужен гений, которого нет и признаков в Конте» [3]. Вот почему мы не думаем, что Белинский склонился бы к позитивизму, если бы смерть не унесла его так преждевременно в могилу. Если уж пошло на предположения, то мы позволим себе предположить, что со временем он сделался бы ревностным адептом того диалектического материализма, который во второй половине девятнадцатого века явился на смену отжившей свое время идеалистической философии: историческое развитие увлекшей его философской мысли направлялось как раз в эту сторону, и

* В этом отношении очень характерна статья, написанная по поводу речи профессора Никитенко о критике (С.-Петербург 1842 г.) [1].

** «Белинский» и т. д., т. I, стр. 228.

*** Интересно сравнить это с упреками, с разных сторон сыплющимися теперь на «экономических» материалистов.

недаром он с удовольствием читал «Deutsch-Französische Jahrbücher» *, в которых писали будущие основатели диалектического материализма. Если он ничего не имел против их взглядов в 1845 году, то почему восстал бы он против них впоследствии, когда они развились и получили прочное обоснование?

Впрочем, тут нужно заметить вот что: в пользу нашего предположения говорит логическая филиация философских идей. А против него можно сказать то, что Белинскому, страшно удаленному от центров западноевропейской умственной жизни и вечно заваленному спешной работой, трудно было бы не отстать от лучших умов Европы. Самый гениальный человек нуждается для своего развития в благоприятном влиянии со стороны окружающей его среды; у нас же эта среда была страшно неразвита во всех отношениях. Вот почему возможно, что Белинскому до конца жизни не удалось бы добраться до вполне определенного и стройного миросозерцания, к которому он так горячо и так постоянно стремился. Возможно также, что начавшееся во второй половине пятидесятых годов общественное возбуждение сделало бы из него вожака наших тогдашних просветителей. Как мы это увидим в следующей статье, в последние годы его жизни в его взглядах было немало элементов, которые сделали бы сравнительно нетрудным такой переход на вполне правомерную тогда в России просветительную точку зрения.

Однако довольно гипотез. Вернемся к фактам.

Белинскому нужно было развить идею отрицания. Г-н Пыпин, вслед за автором «Очерков гоголевского периода русской литературы», думает, что в деле этого развития ему значительную помощь оказал Герцен. Он, конечно, прав в том смысле, что беседы и споры с таким живым, умным и разносторонне образованным человеком, каким был Герцен, не могли остаться без влияния на взгляды Белинского. Но мы думаем, что встречи с Герценом, давая сильный толчок умственной деятельности Белинского, несмотря на это, мало способствовали развитию у него диалектического взгляда на общественные явления. Диалектика плохо далась Герцену [1]. Известно, что в «Contradictions économiques» Прудона он до конца жизни видел в высшей степени удачное применение диалектического метода к изучению общественной экономии. Он видел, что правильно понятая философия Гегеля не может быть (что бы ни говорил сам Гегель) философией застоя. Но если кто плохо понял у нас гегелево выражение о разумности всего действительного, то это был именно блестящий, но поверхностный Герцен. Он говорит в «Былом и Думах»: «Философская фраза, наделавшая всего больше вреда и на которой немецкие консерваторы стремились помирить

* [«Немецко-французский ежегодник»]

философию с политическим бытом Германии: «все действительное разумно», была иначе высказанное начало *достаточной причины* и соответственности логики и фактов» [1]. Но Гегель никогда не удовольствовался бы таким общим местом, как «начало достаточной причины». Философы XVIII века тоже признавали это начало, однако они были очень далеки от гегелева взгляда на историю, как на законосообразный процесс. Все дело в том, где и как данная теория общества ищет достаточных причин общественных явлений. Отчего пал старый порядок во Франции? Оттого ли, что очень красноречив был Мирабо? Или оттого, что бездарны были тогдашние французские охранители? Или оттого, что не удался побег королевской семьи? Указанное Герценом «начало» ручается только за то, что была какая-то причина падения старого порядка, но не дает никаких указаний относительно метода исследования этой причины. Вот этому-то горю и старалась помочь философия Гегеля. Рассматривая историческое развитие человечества как законосообразный процесс, она тем самым устраняла точку зрения *случайности* *. Да и *необходимость* понималась Гегелем совсем не в обычном смысле этого слова. Если мы говорим, например, что старый порядок во Франции пал вследствие случайной неудачи королевского побега, то мы признаем, что, раз не удался этот побег, падение старого порядка сделалось *необходимым*. Понимаемая таким вульгарным и поверхностным образом необходимость есть лишь обратная сторона случайности. У Гегеля она имела другое значение. Когда он говорил, что данное общественное явление необходимо, это значило, что оно подготовлено внутренним развитием той страны, в которой оно совершается... Да и это еще не все. По смыслу его философии всякое явление в процессе своего развития само из себя создает те силы, которые впоследствии его отрицают. В применении к общественной жизни это значит, что всякий данный общественный порядок сам создает те отрицательные элементы, которые разрушают его и заменяют новым порядком. Если вы поняли процесс нарождения этих элементов, то вы поняли также и процесс отмирания старого порядка. Когда Белинский говорил, что он «должен был развить идею отрицания», он хотел этим сказать, что ему следовало отметить [2] историческую неизбежность появления указанных элементов в каждом данном общественном порядке. Он очень ошибался в то время,

* Гегель говорил, правда, что во всем конечном есть элемент случайности (in allem Endlichen ist ein Element des zufälligen), но по смыслу его философии *случайность* встречается лишь в точке пересечения нескольких необходимых процессов. Поэтому принимаемое им (и совершенно правильное) понятие о случайности совсем не мешает научному объяснению явлений: чтобы понять данную *случайность*, надо уметь найти удовлетворительное объяснение *по крайней мере двух необходимых процессов*.

когда упускал из виду эту важную сторону задачи. Но указанное Герценом «начало достаточной причины» было вовсе не «достаточно» для исправления его логического промаха. В этом смысле Белинский был вполне предоставлен своим собственным силам.

Развить идею отрицания значило, между прочим, признать права «идеала», который в пылу увлечения Гегелем был принесен в жертву действительности. Но идеал, правомерный с новой точки зрения Белинского, не мог быть «*абстрактным идеалом*». Так как историческое отрицание действительности является результатом *ее собственного развития*, то правомерным *может быть признан только такой идеал, который опирается на это развитие*. *Такой* идеал не будет «оторван от географических и исторических условий развития», о нем нельзя сказать, что он «построен на воздухе». Он только выражает в мыслях и образах результаты того процесса развития, который *уже совершается в действительности*. И он *конкретен* ровно настолько, насколько конкретна эта развивающаяся действительность.

Из этого следует, что если Белинский в первой фазе своего развития жертвовал действительностью ради идеала, а во второй — идеалом ради действительности, то в третьей и последней фазе он стремился примирить идеал с действительностью посредством *идеи развития*, которая дала бы идеалу прочное основание и превратила бы его из «*абстрактного*» в *конкретный*.

Такова была теперь задача Белинского. Это была великая задача. Пока люди не умеют решать такие задачи, они не могут сознательно влиять на свое собственное и общественное развитие и потому остаются игрушкой случайности. Но чтобы поставить перед собою эту задачу, нужно было разорвать с *абстрактным* идеалом, поняв и прочувствовав его полнейшее бессилие. Другими словами: ему надо было пережить момент примирения с действительностью. Вот почему этот момент делает ему величайшую честь. И вот почему он сам впоследствии считал его началом своей духовной жизни.

Но иное дело — поставить перед собою известную задачу, а иное дело — решить ее. Когда между молодыми людьми, входившими в состав кружка Станкевича — Белинского, поднимались споры по поводу какого-нибудь трудного вопроса, они, побившись над ним, приходили иногда к такому заключению, что «это был бы в состоянии решить только Гегель». Именно так мог бы сказать себе Белинский теперь, когда ему пришлось применить диалектический метод к объяснению исторического развития России. Но и Гегель не оправдал бы его доверия. Диалектический идеализм правильно поставил великую задачу общественной науки девятнадцатого века: изучение обществен-

ного развития как законосообразного процесса, — но он не решил ее, хотя, правда, в значительной степени подготовил ее решение.

Изучить предмет — значит объяснить его развитие прежде всего теми силами, которые он сам из себя порождает. Так говорил Гегель. В своей философии истории он в *отдельных случаях* очень верно указывал двигательные силы исторического развития. Но в *общем* его идеализм сбивал его с правильного пути исследования. Если логическое развитие «идеи» есть основа всякого другого, в том числе и исторического развития, то история объясняется в последнем счете логическими свойствами «идеи», а не диалектическим развитием общественных отношений. И действительно, Гегель взывал к этим свойствам всякий раз, когда сталкивался с тем или с другим великим историческим вопросом. А это значило объяснять посредством абстракции совершенно конкретные явления. Ошибка идеализма в том и заключается, что он приписывает абстракциям творческую и двигательную силу. Вот почему произвольные логические построения так часто заменяют у идеалистов изучение действительно причинной связи событий. Правильная, истинно научная теория исторического развития человечества могла явиться только после того, как диалектический идеализм был сменен диалектическим материализмом. Белинский не дожил до этой новой эпохи. Правда, в его время было собрано немало разнообразных материалов для выработки правильного взгляда на историю. В апрельской книжке журнала «Новое Слово» за 1897 г. были приведены некоторые мнения В. П. Боткина относительно роли экономических интересов в историческом развитии человечества [1]. Нет ничего удивительного в том, что у Боткина были такие мнения. Прежде чем увлечься философией Гегеля, он был сен-симонистом; а у Сен-Симона вся новейшая история Европы объясняется борьбой экономических интересов *. Впоследствии Боткин мог немало заимствовать в этом отношении и у других социалистов-утопистов, например у Виктора Консидерана ** и даже у Луи Блана (собственно, из его «Histoire des dix ans» ***). Наконец, много могли ему дать и французские историки: Гизо, Минье, Токвилль. Трудно допустить, что Боткину

* См. особенно «Catéchisme politique des industriels» [«Катехизис промышленников»] [2], где этот взгляд изложен с особенной ясностью в применении к истории Франции. См. также письмо его к редактору «Journal Général de France» [«Всеобщей французской газеты»] от 12 мая 1818 г., где Сен-Симон говорит: «La loi qui constitue la propriété est la plus importante de toutes; c'est elle qui sert de base à l'édifice sociale». [«Закон, устанавливающий собственность, — самый важный из всех; именно на нем зиждется социальное здание».]

** См. особенно «Destinée sociales». [«Социальные судьбы».]

*** [«Истории десяти лет».] [3]

осталось неизвестным знаменитое сочинение «De la démocratie en Amérique» *, первый том которого вышел еще в 1836 году[1]. В этом сочинении зависимость общественного развития от экономических отношений (точнее, от отношений собственности) принимается за неоспоримую истину. По Токвиллю, раз даны отношения собственности, их «можно рассматривать как первую причину законов, обычаев и идей, определяющих собою деятельность народов». Даже то, что создано не этими отношениями, по крайней мере, изменяется сообразно с ними. Поэтому, чтобы понять законодательство и нравы данного народа, надо изучить господствующие у него отношения собственности **. Два последние тома этого первого сочинения Токвилля целиком посвящены исследованию того, каким образом существующие в Соединенных Штатах отношения собственности влияют на умственные и эстетические привычки и потребности американцев. Вследствие всего этого Боткин без большого труда мог прийти к тому убеждению, что духовное развитие людей определяется ходом общественного развития. Это его убеждение, наверно, было известно Белинскому. Оно и сказалось, например, в его взгляде на историческое значение поэзии Пушкина ***. Но оно не могло послужить ему надежной руководящей нитью при выработке им *конкретного идеала*.

Дело в том, что как Сен-Симон, Консидеран и другие социалисты-утописты, так и историки, видевшие в отношениях собственности важнейшую основу общественного здания, а в развитии этих отношений — главную причину общественного дви-

* [«О демократии в Америке»]

** Том I, стр. 74, изд. 1836 г.

*** И, разумеется, не только в этом взгляде. В статье «Петербург и Москва» Белинский, сравнивая между собою эти два города, старается определить представляемую каждым из них идею: «Петербург представляет собой идею, Москва — другую». Это, конечно, совершенно идеалистическая точка зрения, господствовавшая в миросозерцании наших мыслящих людей того времени. Но посреди идеалистических рассуждений Белинского вдруг поражает такая мысль: «Но с предшествовавшего царствования Москва мало-помалу начала делаться городом торговым, промышленным и мануфактурным. Она одевает всю Россию своими бумажнопрядильными (sic!) изделиями; ее отдаленные части, ее окрестности и ее уезд — все это усеяно фабриками и заводами, большими и малыми. И в этом отношении не Петербургу тягаться с нею, потому что самое положение ее почти в средине России назначило ей быть центром внутренней промышленности. И то ли будет она в этом отношении, когда железная дорога соединит ее с Петербургом и, как артерии от сердца, потянутся от нее шоссе в Ярославль, в Казань, в Воронеж, в Харьков, в Киев и Одессу» [2]... Тут высказывается предчувствие того, что с изменением экономической роли Москвы должна измениться и представляемая ею «идея». Это любопытный образчик вторжения материализма в миросозерцание, которое по основам остается еще совершенно идеалистическим.

жения, были все-таки *идеалистами*. Они понимали общественное значение экономики, но они не видели той коренной причины, от действия которой зависит экономический строй всякого данного общества. У них выходило, что такой причиной является частью благоприятный или неблагоприятный случай (например, выгодное географическое положение, завоевание и т. д.), а частью природа человека. Вот почему все они, защищая дорогие им общественные учреждения или планы таких учреждений, апеллировали главным образом к этой природе. Но апеллировать к человеческой природе — значит становиться на точку зрения *абстрактного идеала*, а не на точку зрения диалектического развития общественных отношений. В этом и заключается сущность *утопического взгляда* на общество. До появления исторической теории автора «Капитала» утопистами в большей или меньшей степени были все — не вполне беззаботные насчет теории — общественные деятели, от крайних левых до крайних правых. Понятно поэтому, что и Белинский, по окончании его перемирия с действительностью, должен был стать на утопическую точку зрения, вопреки своему сознательному стремлению к *конкретному идеалу*. Это стремление могло наложить свою печать лишь на некоторые отдельные его взгляды, соображения и приговоры.

VIII

«В Москве в одном разговоре с Грановским, при котором я присутствовал, — говорит Кавелин в своих воспоминаниях[1], — Белинский... выражал славянофильскую мысль, что Россия лучше сумеет, пожалуй, разрешить социальный вопрос и покончить с враждой капитала и собственности с трудом, чем Европа»*.

Это, действительно, чисто славянофильский взгляд, усвоенный потом нашими народниками и субъективистами. У Белинского, непримиримого врага славянофилов, он мог возникнуть только как результат увлечения утопическим социализмом.

Мы уже видели, что он в своем сочувствии к угнетенным смотрел на них не как на людей, живущих и трудящихся при определенных исторических условиях, а как на совокупность «личностей», несправедливо лишенных тех прав, которые естественно принадлежат человеческой личности.

С этой абстрактной точки зрения дальнейшее развитие общественных отношений должно было представляться зависящим не столько от их собственной внутренней логики, сколько от

* *Пыпин*, op. cit. [цит. соч.], т. II, p. 209. По словам Кавелина, этот разговор происходил через *несколько лет после* описанного им времени, которое относится к 1843 году.

личных свойств людей, так или иначе угнетенных этими отношениями. *Диалектика* должна была уступить место *утопии*.

С точки зрения свойств русской «личности» Белинский смотрел подчас и на будущие судьбы России. В статье «*Взгляд на русскую литературу 1846 года*» он говорит: «Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль»[1]. Какое же это слово? Он не хочет пускаться в мечтания и гадания на этот счет, «пуще всего боясь произвольных, имеющих только субъективное значение, выводов» [2]. (Отношение к субъективизму у него, как видим, осталось то же, какое было тогда, когда он писал статью о Бородинской годовщине).

Но ему все-таки кажется, что многосторонность, с какой русский человек понимает чуждые ему национальности, позволяет сделать некоторые предположения относительно его будущей культурной миссии. «Мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе все чуждое ему, — говорит он; — но смеем думать, что подобная мысль как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания» [3]. В письме к Боткину от 8 марта 1847 года он резко высказывается в том же смысле:

«Русская личность пока — эмбрион; но сколько широты и силы в натуре этого эмбриона, как душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость. Она боится их, не терпит их больше всего — и хорошо, по моему мнению, делает, довольствуясь пока ничем, вместо того чтобы закабалиться в какую-нибудь дрянную односторонность. А что мы всеобъемлющи потому, что нам нечего делать, — чем больше об этом думаю, тем больше сознаю и убеждаюсь, что это ложь... Не думай, чтобы я в этом вопросе был энтузиастом. Нет, я дошел до его решения (для себя) тяжким путем сомнения и отрицания» [4].

Подобное «решение» широко открывало двери славянофильскому взгляду на социальный вопрос в России. Известно, на чем основывался этот взгляд: на совершенно ошибочном понятии об историческом развитии русской общины [5]. Каково было это понятие у тогдашних передовых людей, наглядно показывает, между прочим, следующее замечание в «Дневнике» Герцена: «*Образец высшего развития славянской общины — черногорцы*». Но черногорская община есть *родовая* община, совсем непохожая на нашу *сельскую* общину, созданную государством ради лучшего обеспечения интересов фиска, уже гораздо позднее разложения у нас родового быта. Наша сельская община

ни в каком случае не могла «развиться» в направлении к черногорской *. Но наши тогдашние западники так же отвлеченно смотрели на «общину», как славянофилы. И если у них являлось по временам убеждение в том, что ей предстоит блестящее будущее, то оно было простым делом веры, результатом настоятельной нравственной потребности позабыться, хотя бы в вымыслах, от тяжелых впечатлений, получаемых от окружающей действительности. Герцен прямо говорит в своем «Дневнике»: «Чаадаев превосходно заметил однажды, что один из величайших характеров ** христианского воззрения есть поднятие надежды в добродетель и постановление ее с верою и любовью. Я с ним совершенно согласен. Эту сторону упования в горести, твердой надежды в по-видимому безвыходном положении должны по преимуществу осуществить мы» [1]. Почему же люди, подобные Герцену, чувствовали себя в безвыходном положении? Потому, что им не удалось выработать себе сколько-нибудь *конкретный идеал*, т. е. такой идеал, который подсказывался бы историческим развитием неприятной им действительности; а не доработавшись до такого идеала, они испытывали то же тяжелое сознание, которое пережил Белинский еще в эпоху своих юношеских увлечений *абстрактным* идеалом: они чувствовали себя совершенно бессильными. «Мы вне народных потребностей», — жалуется Герцен [2]. Он не сказал бы этого, если бы видел, что свойственная ему «идея отрицания» составляет результат внутреннего развития народной жизни. Тогда он не мог бы чувствовать себя вне народных потребностей. Совершенно подобно Герцену, Белинский восклицает: «Мы несчастные анахореты новой Скифии; мы люди без отечества, — нет, хуже, чем без отечества, мы люди, которых отечество — призрак, и диво ли, что сами мы призраки, что наша дружба, наша любовь, наши стремления, наша деятельность призрак?» [3] Ввиду подобного настроения временная склонность к славянофильским фантазиям понятна даже и в человеке такого сильного логического ума, как Белинский.

Мы сказали: временная склонность. По всему видно, что у Белинского, в противоположность Герцену, она была не только временной, но и очень непродолжительной. Герцен недаром говорил о нем, что он «*не умеет чаять жизни будущего века*». То, что немцы называют jenseits ***, имело над ним мало власти [4]. Ему нужна была твердая почва действительности.

* О черногорской общине см. очень интересную работу г. *Поповича* «Recht und Gericht in Montenegro», Agram 1877 [«Право и суд в Монтенегро», Аграм 1877].

** Слово *характер* здесь как будто неуместно. Не опечатка ли это? Впрочем, смысл цитаты совершенно понятен.

*** [потусторонним]

Уже в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года», из которой мы выписали выше некоторые сомнительные гипотезы насчет будущей русской цивилизации, он, опровергая нападки славянофилов на реформы Петра, замечает: «Подобные события в жизни народа слишком велики, чтобы быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый может давать произвольное направление легким движением весла. Вместо того чтобы думать о невозможном и смешить всех самолюбивым вмешательством в исторические судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизменную действительность существующего, действовать на его основании, руководясь разумом и здравым смыслом, а не маниловскими фантазиями»[1]. В другом месте, признавая, что названная реформа имела некоторое неблагоприятное влияние на русский народный характер, он делает следующую важную оговорку: «Но нельзя остановиться на признании справедливости какого бы то ни было факта, а должно исследовать его причины, в надежде в самом зле найти и средства к выходу из него»[2]. Средств для борьбы с неблагоприятными последствиями петровской реформы надо искать в ней самой, в новых элементах, внесенных ею в русскую жизнь. Это вполне диалектический взгляд на вопрос, и поскольку Белинский держится его в споре с славянофилами, постольку его мысли чужды всякого утопического элемента, постольку они *конкретны*. Он и сам чувствует это, нанося мимоходом несколько ударов своему старому, неотвязчивому врагу — *абстрактному идеалу*. «Безусловный или абсолютный способ суждения, — говорит он, — есть самый легкий, но зато и самый надежный; теперь он называется абстрактным или отвлеченным» [3]. Главная причина всех ошибок славянофилов заключается, как он думает, «в том, что они произвольно упреждают время, процесс развития принимают за его результат, хотят видеть плод прежде цвета и, находя листы безвкусными, объявляют плод гнилым и предлагают огромный лес, разросшийся на необозримом пространстве, пересадить в другое место и приложить к нему другого рода уход. По их мнению, это не легко, но возможно» [4]. Эти строки заключают в себе такой глубокий и серьезный взгляд на общественную жизнь, что мы горячо рекомендуем их вниманию наших нынешних славянофилов, т. е., народников, субъективистов, г. Н.—она [5] и прочих «врагов капитализма». Кто усвоит себе этот взгляд, тот не станет, подобно г. Н.—ону, лезть к «обществу» с пресловутой задачей, которой оно не только решить, но даже и понять не в состоянии; он не будет также, подобно г. Михайловскому, думать, что идти «*по следам Петра*» — значит культивировать утопии; словом, он ни за что не помирится с «*абстрактным идеалом*».

За три месяца до своей смерти, 15 февраля 1848 года, Белинский, уже жестоко пораженный болезнью, продиктовал письмо к Анненкову в Париж, заключающее в себе интересные мнения, но только недавно начавшее привлекать к себе внимание мыслящих русских людей.

«Когда я в спорах с вами о буржуазии, — говорит он, — называл вас консерватором, я был глупец, а вы были умный человек *. Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной, и народ тут может по временам играть пассивно-вспомогательную роль. Когда я при моем верующем друге ** сказал, что для России нужен теперь Петр Великий, он напал на мою мысль, как на ересь, говоря, что сам народ должен все для себя сделать. Что за наивная аркадская мысль!.. Мой верующий друг доказывал мне еще, что избави-де бог Россию от буржуазии. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию... Странный я человек! Когда в мою голову забьется какая-нибудь мистическая нелепость, здравомыслящим людям редко удается выколотить ее из меня доказательствами: для этого мне непременно нужно сойтись с мистиками, пиетистами и фантазерами, помешанными на той же мысли, — тут я и назад. Верующий друг и славянофилы наши оказали мне большую услугу. Не удивляйтесь сближению: лучшие из славянофилов смотрят на народ совершенно так, как мой верующий друг, они высосали эти понятия из социалистов»... [2]

Это был один из итогов заграничной поездки Белинского. В то время в Париже очень сильно бился пульс общественной жизни, и социалисты различных школ приобрели значительное, хотя и непрочное, влияние на миросозерцание французской «интеллигенции». Проживало там тогда немало и русских, горячо интересовавшихся социальным вопросом, как это видно из воспоминаний Анненкова. Сильно возбужденные окружавшей их общественной средой, наши соотечественники, вероятно, должны были фантазировать на тему о будущей роли России в деле решения социального вопроса еще охотнее и сильнее, чем они это делали у себя дома. Столкнувшись с крайними мнениями этого рода, Белинский, благодаря свойственному ему сильному чутью теоретической истины, тотчас подметил их слабую сторону: полную отвлеченность, полное отсут-

* «В подлиннике более сильные выражения», — замечает г. Пыпин.

** По замечанию г. Пыпина, «так называл Белинский одного из своих парижских друзей» [1].

ствие сколько-нибудь разумной и сознательной связи с историческим ходом развития России. В старом гегельянце должна была опять заговорить давно знакомая ему и издавна мучившая его потребность связать идеалы с жизнью, добиться от диалектики объяснения нашей действительности. И вот он ставит будущую судьбу России в зависимость от ее экономического развития: внутренний процесс гражданского развития России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию. При этом для него неясны исторические условия такого превращения. По его словам, России нужен новый Петр. Он не видит, что экономических последствий реформы Петра Первого вполне достаточно для развития у нас капитализма. Неясно ему также и историческое отношение буржуазии к «народу» в Западной Европе. Народ представляется ему осужденным на «пассивно-вспомогательную роль». Это, конечно, ошибка. Но ведь в сущности и социалисты-утописты отводили народу совершенно пассивную роль; разница только в том, что, согласно их взглядов, народ должен был играть «пассивно-вспомогательную роль» не в процессе дальнейшего развития уже существующего экономического порядка, а в деле социальной реформы, в которой почин и руководящая роль должны принадлежать благомыслящей и благородной интеллигенции, т. е. в сущности детям той же буржуазии. Отношение Белинского к социалистам довольно презрительное; он и их, по-видимому, готов третировать как пиетистов и мистиков. И он в значительной степени прав: в их взглядах в самом деле было много совершенно фантастического и ненаучного, а главная их ошибка, как и ошибка славянофилов (по вышеприведенному замечанию Белинского), была та, что они видели в зле только зло, не замечая другой его стороны, радикально изменяющей коренные основы общества *. Белинский неудачно поправляет эту ошибку, осуждая «народ» на вечно пассивную роль, но что он прекрасно видит ее, это доказывается именно тем, что он превозносит значение буржуазии, т. е. капитализма. В его глазах капитализм представляет теперь идею развития, не нашедшую себе достаточного места в учениях социалистов.

Это отношение к утопистам заставляет невольно вспомнить о пренебрежительном отношении Белинского к «маленьким великим людям», которых он так сильно бичевал в эпоху своего примирительного настроения. «Маленькие великие люди» воз-

* Впрочем, отрицательное отношение к социалистам явилось у Белинского еще до поездки за границу. Литтрэ нравится ему, между прочим, тем, что не принадлежит к ним. (Письмо к Боткину от 29 янв. 1847 года) [1].

мущали его тем, что, смотря на общественную жизнь с рационалистической точки зрения, они даже не подозревали существования свойственной этой жизни внутренней диалектики. Белинский относится к утопистам гораздо мягче, хотя и называет их мистиками. Он понимает, что ими в их увлечениях руководит не прихоть или тщеславие, а стремление к общественному благу, между тем как «маленькие великие люди» казались ему именно тщеславными фразерами. Но его недовольство утопистами вызывается тою же самою причиною, которою обусловливалась некогда и его ненависть к «маленьким великим людям»: *абстрактным характером их идеала.*

И. С. Тургенев назвал Белинского *центральной фигурой.* Мы назвали бы его так же, хотя и в другом смысле. По-нашему, Белинский является центральной фигурой во всем ходе развития русской общественной мысли. Он ставит себе, а следовательно, и другим, ту великую задачу, не решив которой мы никогда не знали бы, каким путем идет цивилизованное человечество к своему счастью и к победе разума над слепой, стихийной силой необходимости; мы навсегда остались бы в бесплодной области «маниловских» фантазий, в области идеала, «оторванного от географических и исторических условий, построенного на воздухе». Более или менее верное решение этой задачи должно служить критерием для оценки всего дальнейшего развития наших общественных понятий. Он говорил о своих единомышленниках: «Наше поколение — израильтяне, блуждающие по степи и которым не суждено узреть обетованной земли. И все наши вожди — Моисеи, а не Навины» [1].

Он был именно нашим Моисеем, который если не избавил, то всеми силами старался избавить себя и своих ближних по духу от египетского ига *абстрактного* идеала. Это колоссальная, неоцененная заслуга. И вот почему давно уже следовало просмотреть историю его умственного развития и его литературной деятельности с точки зрения *конкретных* взглядов наших дней. Чем внимательнее изучаем мы эту историю, тем глубже проникаемся убеждением, что Белинский был самой замечательной философской организацией, когда-либо выступавшей в нашей литературе.

Нас упрекнут, может быть, в том, что мы до сих пор не коснулись собственно литературных взглядов Белинского. Но эти взгляды всегда тесно связаны со всем его философским миросозерцанием, и нам нужно было предварительно ознакомиться хоть с некоторыми наиболее важными сторонами этого миросозерцания. Теперь, когда они нам уже знакомы, мы можем перейти к рассмотрению руководящих принципов собственно

критической деятельности Белинского. Это мы и сделаем в следующей статье [1], где сопоставим эти принципы с литературными теориями, господствовавшими у нас в течение нашего просветительного периода. А уяснив себе взгляды наших *просветителей,* мы очень легко поймем роль и значение наших *усыпителей*, т. е. тех «социологов» различных толков, которые явились со своими отвлеченными «формулами прогресса» в то время, когда, по разным причинам, прекратилась литературная деятельность почти всех просветителей. В этой статье мы надеемся окончательно решить старый, но очень интересный вопрос о том, почему *маленькие люди кажутся большими, когда великие сходят со сцены.*

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

(Речь, произнесенная весной 1898 года по случаю пятидесятилетия со дня смерти Белинского, на русских собраниях в Женеве, Цюрихе и Берне)

Прежде чем говорить о значении Виссариона Григорьевича Белинского в истории нашего умственного развития, я позволю себе несколько оживить в нашей памяти образ этого замечательного человека.

Характеризуя сам себя, он говорит, что страстность составляет преобладающий элемент его души.

«Эта страстность есть источник моих мук и радостей, — прибавляет он,—а так как судьба отказала мне слишком во многом, то я и не умею отдаваться наполовину тому немногому, в чем она мне не отказала. Для меня и дружба к мужчине есть страсть, и я бывал ревнив в этой страсти» [1].

Эта же основная черта характера Белинского сказывается, разумеется, и во всех его общественных симпатиях и антипатиях. Она проявляется в его статьях, несмотря на то, что усердная рука цензора неумолимо и неуклонно стирала с них краски; она прорвалась бурным потоком в его знаменитом, негодующем письме к Гоголю; она придает неотразимую прелесть вообще всей его переписке; наконец, она же определяет собою его отношение к своим противникам. Он всегда был страстным полемистом.

«У нас нападают иногда на полемику, особенно на журнальную, — говорит он в своей знаменитой первой статье «Литературные мечтания». — Это очень естественно. Люди, хладнокровные к умственной жизни, могут ли понять, как можно предпочитать истину приличиям и из любви к ней навлекать на себя ненависть и гонение? О, им никогда не постичь, что̀ за блаженство, что̀ за сладострастие души сказать какому-нибудь гению в отставке без мундира, что он смешон и жалок своими детскими претензиями на великость, растолковать ему, что он не себе, а крикуну-журналисту обязан своею литературною

значительностью; сказать какому-нибудь ветерану, что он пользуется своим авторитетом на кредит, по старым воспоминаниям или по старой привычке; доказать какому-нибудь литературному учителю, что он близорук, что он отстал от века и что ему надо переучиваться с азбуки; сказать какому-нибудь выходцу бог весть откуда, какому-нибудь пройдохе и Видоку (намек на Булгарина. — *Г. П.*), какому-нибудь литературному торгашу, что он оскорбляет собою и эту словесность, которою занимается, и этих добрых людей, кредитом которых пользуется, что он надругался и над святостью истины, и над святостью знания, заклеймить его имя позором отвержения, сорвать с него маску, хотя бы она была и баронская (намек на Сенковского — «барона Брамбеуса». — *Г. П.*), и показать его свету во всей его наготе!.. Говорю вам, во всем этом есть блаженство неизъяснимое, сладострастие безграничное» [1].

В 1842 году, т. е. когда Белинский был уже далеко не юношей, он в одном из писем к Боткину так благодарит его за вести о славянофилах:

«Спасибо тебе за вести о славянофилах... Если не ошибаюсь в себе и в своем чувстве, ненависть этих господ радует меня, я смакую ее, как боги амброзию, как Боткин (мой друг) всякую сладкую дрянь; я был бы рад их мщению... Я буду постоянно бесить их, выводить из терпения, дразнить. Бой мелочной, но все же бой; война с лягушками, но все же не мир с баранами»[2].

В другом письме, написанном около того же времени, он признается:

«Чувствую теперь вполне и живо, что я рожден для печатных битв и что мое призвание, жизнь, счастье, воздух, пища — *полемика*» [3].

То же чувствовали — и, вероятно, еще более живо — его немалочисленные друзья и его бесчисленные враги. Вот что говорит о нем в своих воспоминаниях Панаев:

«Для того, чтобы иметь о Б. полное понятие, видеть его во всем блеске, надобно было навести разговор на те общественные предметы и вопросы, которые живо его затрагивали, и раздражить его противоречием; затронутый, он вдруг вырастал, слова его лились потоком, вся фигура его дышала внутренней энергией и силой, голос по временам задыхался, все мускулы лица приходили в напряжение... Он нападал на своего противника с силой человека, власть имеющего, мимоходом играл им, как соломинкой, издевался, ставил его в комическое положение и между тем продолжал развивать свою мысль с энергией поразительной. В такие минуты этот обыкновенно застенчивый, робкий и неловкий человек был неузнаваем» [4].

Почти буквально то же самое читаем мы в «*Былом и Думах*» Герцена:

«В этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура!.. Да, это был сильный боец! Он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он нехорошо говорил, но, когда он чувствовал себя уязвленным, когда касалось до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла; бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем он говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты!» [1]

Нечего и говорить, что врагам Белинского, т. е. тем, над которыми он издевался, которых он ставил в смешное положение и которыми он играл, как соломинкой, та же самая страстность его характера представлялась очень неприятной чертой. Его называли литературным *бульдогом* [2] и упрекали в нелюбви ко всему русскому: припомните известные стихи, в которых автор говорит, обращаясь к Белинскому:

Нет, твой подвиг не похвален,
Он России не привет;
Карамзин тобой ужален,
Ломоносов не поэт... и т. д. [3]

Но вы, надеюсь, не удивитесь, господа, если я скажу, что этот «бульдог», этот страстный и страшный полемист был чрезвычайно добродушен. Герой его юношеской драмы, Дмитрий Калинин, говорит о себе:

«Ты не можешь себе представить, с каким чувством я всегда смотрел на несчастного. Если при мне рассказывали о несправедливостях, гонениях, жестокостях сильных над слабыми, о злоупотреблении властей, то ад бунтовал в груди моей!» [4].

Калинин выражает здесь то, что во всех подобных случаях происходило в душе самого Белинского. Заговорив об этом предмете, я не могу устоять перед искушением прочитать вам отрывок из его письма (от 8 сентября 1841 года) к тому же Боткину:

«Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда бо̀льшая часть и не подозревает его возможности? Прочь же от меня блаженство, если оно — достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими! Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взгляде на толпу и ее представителей... Подавши грош нищей, я бегу от нее, как будто сделавши худое дело и как будто не желая услышать шелеста собственных шагов своих. И это

жизнь: сидеть на улицах в лохмотьях, с идиотским выражением на лице, набирать днем несколько грошей, а вечером пропить их в кабаке, — и люди это видят, и никому до этого нет дела!.. И это общество, на разумных началах существующее, явление действительности!.. И после этого имеет ли право *человек* забываться в искусстве, в знании!»[1].

Это как раз та черта, которая получила выдающееся развитие у наших передовых людей шестидесятых годов и которая легла в основу их отрицательного отношения к искусству, так плохо понятого и так нелепо истолкованного русскими охранителями того времени и русскими декадентами наших дней. Для передовых людей шестидесятых годов вопрос об искусстве был прежде всего нравственным вопросом; они спрашивали себя: имеем ли *мы* право наслаждаться искусством в то время, когда большинство наших ближних лишено не только этого наслаждения, но и возможности удовлетворить самые элементарные, но зато и самые насущные, самые неотложные нужды. А их обвиняли в безнравственности, в грубости чувств, в узкости понятий и даже чуть ли не в равнодушии к интересам тех самых бедняков, ради которых они отказывались и от наслаждения искусством, и от прочих жизненных благ.

Только что приведенный мною отрывок из письма Белинского к Боткину с поразительной яркостью обнаруживает полную неосновательность этих обвинений.

Впрочем, для меня важно здесь не то, что эти обвинения неосновательны, а именно то, что Белинский в последнюю эпоху своей жизни относился к искусству совершенно так, как относились к нему впоследствии Чернышевский, Добролюбов и другие передовые люди 60-х гг. Наше общественное движение этих годов, равно как и движение следующего десятилетия, было, в своем крайнем проявлении, движением того общественного слоя, которому присвоено у нас меткое название разночинцев. По своему происхождению Белинский принадлежал к этому слою. Он был едва ли не первым и, без всякого сомнения, самым ярким литературным выразителем прогрессивных стремлений мыслящих разночинцев. Он бился над теми самыми вопросами, над которыми впоследствии бились они; он мучился теми самыми муками, которыми суждено было мучиться им, и — гениальный разночинец — он в общих чертах уже указал тот путь, который выведет способную к развитию часть наших разночинцев на путь плодотворной общественной деятельности. В этом и заключается великое общественное значение литературной деятельности Белинского *.

* Этим же объясняется и то восторженное уважение, с которым относились к нему передовые разночинцы шестидесятых и семидесятых годов. Для характеристики этого отношения я приведу два примера. В своих

В статье «*Великое сердце*», первые главы которой напечатаны в мартовской книжке «*Русского Богатства*» [2] и о которой мне еще придется говорить сегодня, г. Венгеров называет покойного Василия Боткина *источником духовного возбуждения Белинского*. В некоторых отношениях это название справедливо. Но было бы очень интересно выяснить, существовала ли и в какой мере существовала в отношении Боткина к искусству та черта, которую мы только что видели в отношении Белинского к этому предмету *. Я сильно сомневаюсь в том, что она может быть указана; во всяком случае несомненно, что ни у кого из западников сороковых годов она не достигала такого развития, как у Белинского. В этом отношении он подошел к нашим просветителям шестидесятых годов ближе, чем кто бы то ни было из его современников.

И не в одном только этом отношении. Тот же г. Венгеров в той же цитированной мною статье «*Великое сердце*» говорит:

«Ведь самые-то настоящие великие люди те, которые не сами по себе, а отражают великие эпохи. Второстепенно было бы

«Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский, переходя к оценке деятельности Белинского, выражается так: «Если у каждого из нас есть предметы столь близкие и дорогие сердцу, что, говоря о них, он старается наложить на себя холодность и спокойствие, старается избежать выражений, в которых бы слышалась его слишком сильная любовь, наперед уверенный, что, при соблюдении всей возможной для него холодности, речь его будет очень горяча, если, говорим мы, у каждого из нас есть такие дорогие сердцу предметы, то критика гоголевского периода (т. е. критика Белинского. — *Г. П.*) занимает между ними одно из первых мест... Потому-то мы будем говорить о критике гоголевского периода как можно холоднее: есть такая степень уважения и сочувствия, когда всякие похвалы отвергаются как нечто, не выражающее всей полноты чувств» [1].

Другой пример еще знаменательнее. В 1856 г. А. И. Левитов, тогда еще молодой студент медико-хирургической академии, был выслан административным порядком сначала в Вологду, а потом в Шенкурск. Положение его там было, само собою разумеется, тяжелое и в материальном, и в нравственном смысле. Переписывавшиеся с ним друзья старались, как умели, поддержать его бодрость. В апреле 1859 г. один из них, некто Фиделин, советуя ему продолжать начатые литературные работы, писал: «Вспомни о Белинском и ободрись... Читай, читай, доставай книги... Теперь много выходит книг, и книги все хорошие; опять напоминаю тебе Белинского. Мне хотелось бы даже послать тебе что-нибудь, да признаться... впрочем, нечего признаваться, — как достану рубль сер., то непременно обещаю тебе выслать первую часть сочинений Белинского. (См. стр. LXVI—LXVII статьи Ф. Д. Нефедова «Александр Иванович Левитов», приложенной к первому тому собрания соч. А. И. Левитова, изд. К. Т. Солдатенкова). Так велико было значение Белинского для разночинцев этого поколения.

* Само собою разумеется, что я говорю о сороковых годах, а не о том времени, когда Боткин дружил с Фетом и натравливал цензуру на сотрудников «Современника».

значение Белинского, если бы он отражал одного Станкевича, одного Боткина, одного Бакунина, одного Грановского, одного Герцена. Но если он одновременно, и притом по отношению к большинству из них с бесконечно большею силою и блеском, отражал и Станкевича, и Боткина, и Бакунина, и Грановского, и Герцена, то это уже значит, что он является центральным пунктом знаменитейшей эпохи, выразителем самого замечательного момента русской культуры, давшей ту плеяду великих писателей, которые поставили Россию на один уровень с великими литературными державами человечества» [1].

Это и так, и очень не так. Белинский, бесспорно, «*отражал*» и Станкевича, и Боткина, и Бакунина, и Грановского, и Герцена, и еще очень многих других передовых людей своего времени, т. е., иначе сказать, он, бесспорно, отражал то, что было у него общего со всеми этими людьми вместе взятыми и с каждым из них в отдельности. Но это не мешало ему «*отражать*», прежде всего и ярче всего, самого себя как определенную индивидуальность, со всеми своими индивидуальными чертами. И говоря о значении Белинского в истории нашего умственного развития, можно и должно было бы, я полагаю, спросить себя: *не имели ли общего исторического значения его индивидуальные черты, его личные особенности?* Только при такой постановке вопроса и можно выяснить себе во всей ее полноте историческую роль великого человека.

Взглянем же на эти особенности.

По своему образу мыслей Белинский в кружке наших западников сороковых годов представлял *крайнюю левую*. Герцен недаром называет его в своем «дневнике» *фанатиком, человеком экстремы* [2]. Страстный боец, «жид», ненавидевший «филистимлян», он, например, никак не мог простить Герцену его полудружеских связей с московскими славянофилами [3]. Когда Герцен вступал с ним в объяснения по этому поводу, Белинский находил, что от его объяснений «попахивает умеренностью и благоразумием житейским, т. е. началом падения и гниения»*. О другом своем приятеле, Грановском, он отзывался с большой похвалой, но, прибавлял он, одно в нем худо — модерация! [4] В свою очередь Грановский еще сильнее, чем Герцен, поражался «крайностями» Белинского.

«Между Белинским и Грановским была великая дружба, — говорит в своих воспоминаниях Кавелин, — но я думаю, что непосредственной симпатии между ними не было, да и не могло быть. Это были две натуры совершенно противоположные... О Белинском Грановский говорил всегда с большим уважением, с большой любовью, но прибавлял, что он страшно увлекается

* См. *Пыпин*, Белинский, его жизнь и переписка, т. II, стр. 180.

и впадает в крайности. Если бы эти натуры не сплочали в теснейший союз внешние обстоятельства, благородство общих стремлений, личная безукоризненность и сумасшедший гнет мысли, науки, литературы сверху, — Белинский и Грановский наверное разошлись бы, как Грановский впоследствии разошелся с Герценом» *[1].

Из книги г. Пыпина «Белинский, его жизнь и переписка» мы узнаем, что между Грановским и Белинским часто велись споры о французской революции и что Грановский не соглашался с мнением Белинского «о Р.», т. е. о Робеспьере [2]. Это совершенно понятно, и это лишний раз подтверждает ту мысль Кавелина, что при других общественных условиях эти люди далеко разошлись бы между собою.

Г-ну Венгерову, да и не одному г. Венгерову, хотелось бы смягчить многие «крайности» в характере и особенно во взглядах Белинского, сделать его, как говорят немцы, — salonfähig **. Так, например, известно, что, разорвав до известной степени с философией Гегеля, которой он так сильно увлекался прежде, Белинский перешел к *социализму*.

«Ты знаешь мою натуру, — писал он Боткину, — она вечно в крайностях... Я теперь в новой крайности, — это идея *социализма*, которая стала для меня идеею идей... альфой и омегой веры и знания... она для меня поглотила и историю, и религию, и философию. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всех, с кем я встречался на пути жизни» [3].

Г-н Венгеров, очевидно, имеет в виду это обстоятельство [4], когда говорит в своей статье:

«Самою лучшею характеристикою миросозерцания кружка Белинского и Герцена было бы назвать их «социалистами». Но я боюсь этого названия, позднее приобревшего иной оттенок, воинственный. Я же, напротив того, сейчас собираюсь показать, что «социализм» в позднейшем смысле, агрессивном, был чужд людям 40-х годов. Белинский в одном письме называет себя «социалистом», но только в смысле человека, интересующегося по преимуществу «социальными», т. е. общественными, вопросами. Да будет мне позволено поэтому называть наших западников 40-х годов не «социалистами», а «общественниками», и тогда под эту кличку подойдут и Герцен, и Белинский, и безусловно мирные писатели — Григорович, Тургенев, Достоевский, Салтыков, Некрасов и др.» [5].

Г-н Венгеров, как видно, плохо выяснил себе характер Белинского, который в своих увлечениях был всегда именно «*агрессивен*».

---

* Там же, т. II, стр. 230.

** [благопристойным.]

«Я начинаю любить человечество маратовски, — говорит он о себе: — чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную» [1]...

Сопоставьте с этой *маратовской* любовью к человечеству его упомянутое мною выше пристрастие к Робеспьеру, и вы согласитесь, господа, что социализм Белинского далеко не чужд был очень агрессивных элементов.

Но «*Русскому Богатству*» не хочется согласиться с этим, и вот оно, в лице г. Венгерова, употребляет все усилия для того, чтобы стереть яркие краски с образа нашего великого писателя. Для этого г. Венгеров прибегает, между прочим, к свидетельству Щедрина.

Щедрин писал когда-то:

«Из Франции Сен-Симона, Кабэ, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занда лилась в нас вера в человечество; оттуда воссияла уверенность, что золотой век не позади, а впереди нас» [2].

По этому поводу г. Венгеров замечает:

«В этом важном историческом свидетельстве драгоценны не только факты, но и общий тон. Речь как будто идет о политико-экономических теориях, но на самом деле воспоминания расшевелили в суровом старике только память сердца, тут не «борьба классов», а *человечество,* не политическая экономия, а *вера*, и эта вера воспринята не сухо логически, потому что факты и цифры неотразимы, — она воссияла...» и т. д. [3]

Итак, тут не борьба классов, а человечество; тут не политическая экономия, а вера. Оставим в стороне, как неуместный здесь, вопрос о том, как относился к «политической экономии» сам Щедрин. Но полезно будет выяснить, точно ли «борьба классов» не играла никакой роли в социализме Белинского.

Чтобы ответить себе на этот вопрос, достаточно прочитать статью его о романе Эженя Сю «Парижские тайны». В этой статье Белинский сожалеет о том, что парижский рабочий народ взялся за оружие в июле 1830 года, тогда как борьба буржуазии с королевской властью была не его делом, не делом народа:

«В слепом и безумном самоотвержении народ не щадил себя, сражаясь за нарушение прав, которые нисколько не делали его счастливее и, следовательно, так же мало касались его, как и вопрос о здоровье китайского богдыхана».

Затем Белинский оспаривает буржуазное понятие о равенстве:

«Французский пролетарий перед законом равен с самым богатым собственником и капиталистом, тот и другой судится одинаковым судом и по вине наказывается одинаковым наказанием; но беда в том, что от этого равенства пролетарию ничуть не легче. Вечный работник собственника и капиталиста, пролетарий весь в его руках, весь его раб, ибо тот дает ему работу

и произвольно назначает за нее плату. Этой платы бедному рабочему не всегда станет на дневную пищу и на лохмотья для него самого и для его семейства, а богатый собственник с этой платы берет 99 процентов... Хорошо равенство!»

Наконец, Белинский бичует бессердечие и жадность буржуазии и указывает на страдания парижского народа.

«Бедствия народа в Париже выше всякой меры превосходят самые смелые выдумки фантазии, — восклицает он. — Но искры добра еще не погасли во Франции, — они только под пеплом и ждут благоприятного ветра, который превратил бы их в яркое и чистое пламя. Народ — дитя, но это дитя растет и обещает сделаться мужем, полным силы и разума... Он еще слаб, но он один хранит в себе огонь национальной жизни и свежий энтузиазм убеждения, погасший в слоях образованного общества»... и т. д. [1]

Я спрашиваю вас, господа, какой вид имеет здесь *«вера в человечество»?* Она вполне и без остатка покрывается *верой в народ*, понятие о котором в свою очередь совершенно покрывается понятием о *рабочем классе*. Интересы и даже нравственность рабочих противопоставляются интересам и нравственности буржуазии. Это ли не точка зрения борьбы классов? Это ли не та *«узкость»*, в которой обвиняют нынешних социалистов люди, неспособные додуматься до определенных понятий и считающие *широкими* такие общественные взгляды, которые в действительности *просто неясны, и только неясны?*

Спешу, однако, сделать оговорку. Никто из нынешних социалистов не согласится с Белинским в том, что вопрос о политических правах так же мало касается истинных интересов народа, как и вопрос о здоровье китайского богдыхана. Это ошибка. Без политических прав невозможно широкое развитие рабочего движения, и вот почему там, где их нет, рабочие всеми силами должны стремиться к их завоеванию. Вот почему и у нас, в России, первым крупным шагом рабочего движения должно быть завоевание политической свободы. Белинскому неясна была связь экономических интересов рабочего класса с его политическими правами. В этом состояла слабая сторона *его* социалистических взглядов, как и *всего тогдашнего, так называемого теперь утопического социализма*. Но это не мешало ему стоять на точке зрения борьбы классов или, как выражается г. Венгеров, *политической экономии* и приурочивать свою веру в человечество исключительно к вере *в рабочий класс*. Ввиду этого все попытки сделать его salonfähig приходится признать совершенно неосновательными.

Раз коснувшись вопроса о борьбе классов, я не могу оставить его, не постаравшись разрушить некоторую ассоциацию идей, до сих пор коренящуюся довольно прочно не только в умах

французских и немецких филистеров, но, к сожалению, также и в умах многих русских людей, считающих себя «*передовыми*». Я имею в виду предрассудок против классовой борьбы. Говорят: зачем же защищать интересы одного только рабочего класса? Это узко. Надо защищать интересы всего человечества. Но говорить так — значит играть словами. Я спрошу людей, занимающихся этой игрой, как чем-то очень серьезным: о каком «*человечестве*» говорите вы? Если о трудящемся человечестве, если о тех, которые, трудясь сами, не сидят ни на чьей шее, то их интересы, говоря вообще, совпадают с интересами рабочего класса. А если вы говорите о тех, которые не могут существовать, не эксплуатируя чужого труда [1], подобно тому как паразит не может жить, не высасывая чужих соков, то я позволю себе усомниться в том, чтобы [2] люди, стремящиеся к добру и истине, могли принимать к сердцу интересы *этого* будто бы человечества. Французская революция прошлого века была делом огромной важности для всего цивилизованного мира, хотя в то же самое время она была фактом *сословной борьбы* — именно фактом борьбы третьего сословия против дворянства и духовенства. Что такое было третье сословие? «Toute la nation moins les privilégiés» *, отвечали тогдашние французские революционеры. Это было справедливое определение, и вы согласитесь, господа, что, защищая интересы всей нации *минус «привилегированные»*, эти революционеры совсем не грешили «узкостью». Но ведь совершенно такой же ответ могут дать и нынешние социалисты. Что такое интересы рабочего класса? Это интересы всех тех, кто не живет эксплуатацией чужого труда. Это опять вся нация, или, точнее, *все нации* moins les privilégiés, минус эксплуататоры. Интересы эксплуататоров — отрицательная величина; вычесть их из общих интересов всего народа — значит прибавить к его интересам нечто положительное. Кто объявляет войну войне, тот стремится к миру; кто объявляет войну экономической эксплуатации, тот становится на точку зрения интересов рабочего класса, но *тем самым защищает интересы всего человечества*. Мне очень жаль, что г. Венгерову незнакома эта бесспорнейшая истина, так резко и так ясно обнаружившаяся в результате общественного движения нашего века.

Но вернемся к Белинскому.

Герцен рассказывает в «*Былом и Думах*», что комендант Петропавловской крепости Скобелев, встречаясь с знаменитым критиком на Невском проспекте, шутя говорил ему: «Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат; так для вас и берегу» [3]. Эта милая шутка тюремщика хорошо рисует взгляд

* [«Вся нация минус привилегированные»]

на Белинского наших тогдашних *«правящих сфер»*. Его считали крайне опасным человеком. Всем вам, конечно, известен эпизод, увековеченный на картине Наумова: «Белинский перед смертью». Вот как он случился. Уже в феврале 1848 года тогдашний начальник знаменитого третьего отделения Дуббельт звал к себе Белинского для объяснений. Тот был уже очень болен и не мог выходить из дому. На время его оставили в покое; но 27 марта к нему на квартиру явился жандарм с новым приглашением. Появление этого жандарма и изображено Наумовым. Один из друзей Белинского так рассказывает о впечатлении, произведенном этим визитом.

«Белинский, не встававший уже с кресла, задыхающимся от волнения и от слабости голосом просил меня... отыскать бывшего его учителя Попова... (служившего тогда в 3-м отд. — *Г. П.*) и узнать, для чего его требуют. Приехав к Попову, я объяснил ему о тяжкой болезни Белинского, приковавшей его к креслу, и спросил, чего от него желают. Попов вспомнил с нежностью о детских годах Белинского, выразил участие к его болезненному состоянию, просил меня успокоить больного и объяснить ему, что он вызывался не по какому-нибудь частному делу или обвинению, но как один из замечательных деятелей на поприще русской литературы, — единственно для того, чтобы лично познакомиться с начальником ведомства (где служил Попов), *хозяином* русской литературы» [1].

В день похорон Белинского к немногим друзьям, провожавшим на Волково кладбище его тело, присоединилось — как говорит в своих воспоминаниях Панаев — «три или четыре неизвестных, вдруг откуда-то взявшихся. Они остались на кладбище до самого конца погребения и следили за всем с величайшим любопытством, хотя следить было совершенно нечего» [2]. А когда у друзей Белинского явилась мысль разыграть в лотерею — в пользу его оставшегося без средств семейства — его библиотеку и когда один из них вступил по этому поводу в переговоры с упомянутым уже выше Поповым, то произошло вот что:

«Услышав о смерти Белинского, Попов выразил сожаление о столь преждевременной кончине замечательного критика, но лишь только ему сказано было о лотерее, он весь изменился в лице и ответил в самом раздраженном тоне отказом. Его слова имели тот смысл, что для него имя Белинского было равнозначительно имени государственного преступника...» [3]

Белинский никогда не сделал ничего *преступного* даже с точки зрения наших законов, объявляющих преступными такие действия, которые везде на Западе считаются не только позволительными, но и вполне обыкновенными. И тем не менее, смотря на Белинского, как на государственного преступника, третье отделение лишний раз обнаружило свое тонкое чутье

ищейки. Ему Белинский действительно должен был казаться преступником. Вы помните, господа, о *«маратовской»* любви Виссариона Григорьевича к человечеству; вы помните об его пристрастии к Робеспьеру. Теперь я прибавлю, что, крайне нервный и искренний, он не мог и не хотел скрывать свои убеждения. Приведу из воспоминаний Герцена два случая, чрезвычайно характерных в этом отношении:

«Раз приходит он обедать к одному литератору на Страстной неделе, подают постные блюда. «Давно ли, — спрашивает он, — вы сделались так богомольны?» — «Мы едим, — отвечает литератор, — постное просто-напросто для людей». — «*Для людей?* — спросил Белинский и побледнел. — Для людей? — повторил он и бросил свое место. — Где ваши люди? Я им скажу, что они обмануты, всякий открытый порок лучше и человечественнее этого презрения к слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество. И вы думаете, что вы свободные люди? На одну вас доску со всеми царями, попами и плантаторами. Прощайте, я не ем постного для поучения, у меня нет *людей*!» [1]

А вот второй случай:

Раз на вечеринке у того самого литератора, который постился для своих «людей», один магистр Петербургского университета, по словам Герцена, ослабивший свои способности философией и филологией, долго рассуждал на тему об умеренности и аккуратности и, коснувшись знаменитого «философического письма» Чаадаева, заявил, что автор этого письма недостоин уважения. Присутствовавший на вечеринке Герцен, который был лично знаком с Чаадаевым, стал возражать магистру, объясняя ему, как несправедлив его отзыв о человеке, смело высказавшем свое мнение и пострадавшем за него. Магистр отвечал, указывая на необходимость уважать разные «основы». Спор затягивался...

«Вдруг мою речь подкосил Белинский... — рассказывает Герцен; — он подошел ко мне уже бледный, как полотно, и, ударив меня по плечу, сказал: «Вот они высказались — инквизиторы, цензоры, на веревочке мысль водить»... и пошел, и пошел. С грозным вдохновением говорил он, приправляя серьезные слова убийственными колкостями. «Что за обидчивость такая: палками бьют, не обижаемся, в Сибирь посылают, не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь, не смей говорить; речь — дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, — не обижаются словами?»

— В образованных странах, — сказал с неподражаемым самодовольством магистр, — есть тюрьмы, в которые запирают

безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают.

Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту; скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:

— А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным.

Сказавши это, он бросился на кресло изнеможенный и замолчал. При слове «гильотина» хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза. Магистр был уничтожен...» [1].

Таков был «неистовый Виссарион». Войдите в положение Дуббельта, господа, и скажите, разве он не обязан был, «по долгу службы и присяги», видеть в нем государственного преступника?

Но мы не служим в третьем отделении, мы не клялись быть верными жандармами его петербургского величества, и нам позволительно смотреть на дело с другой стороны. В наших глазах «преступный» образ мыслей «неистового Виссариона» является одним из многих его прав на нашу любовь и наше уважение. Мы любим Белинского, между прочим, и за то, что, в глазах Дуббельта, он был, и не мог не быть, *преступником* [2]. Только смерть спасла Белинского от очень основательного знакомства с третьим отделением [3]. Представляя себе сомнительное удовольствие этого знакомства, мы с тем бóльшим чувством повторим вслед за Некрасовым:

Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель, перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени.

Перехожу к другой части своего чтения. Напомнив вам, как *чувствовал* Белинский, я хочу теперь напомнить, как *думал* он и что составляло главный предмет его дум в течение его сознательной жизни.

Тот же Некрасов говорит, обращаясь к нему:

В те дни, как все коснело на Руси,
Дремля и раболепствуя позорно,
Твой ум кипел — и новые стези
Прокладывал, работая упорно [4].

Насколько справедливы слова поэта о «новых стезях», проложенных Белинским?

Что наша литературная критика вышла на новую стезю именно благодаря Белинскому, это знают даже те, которые ценят в нем главным образом *«великое сердце»*. И уже на основании того, что он сделал для литературной критики, можно с полным правом сказать, что в словах Некрасова нет никакого

преувеличения. Но живой и сильный ум Белинского стремился проложить новые «стези» не только в литературной критике. Его упорная работа была направлена также и на социально-политическую область. И его попытка найти новый путь в этой области заслуживает даже большего внимания, чем сделанное им собственно в литературе.

Эта попытка тесно связана с его увлечением гегелевской философией, смысл которого нам и надо выяснить в настоящее время.

Чтобы понять этот смысл, необходимо прежде всего представить себе ту эпоху, к которой относятся юношеские годы Белинского. Ему было около пятнадцати лет, когда произошло известное восстание декабристов. Оно вызвало очень много толков по всей России и, разумеется, произвело сильное впечатление на пылкого, чрезвычайно даровитого и рано развившегося юношу. После 14-го декабря еще более усилилась та реакция, которая была сильна уже в конце царствования Александра I.

«Нравственный уровень общества пал, — говорит Герцен, — развитие было прервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни. Остальные, испуганные, слабые, потерянные, были мелки, пусты; дрянь александровского поколения заняла первое место» [1].

Легко представить себе нравственное состояние людей, сохранивших лучшие предания предшествовавшей эпохи и вдруг увидевших себя совершенно бессильными в борьбе за свои идеалы.

«Ужасны были первые годы, последовавшие за 1825, — говорит Герцен в другом своем сочинении. — Нужно было около десяти лет для того, чтобы опомниться от этого порабощения и преследования» *.

Что испытывал юноша Белинский в продолжение этого тяжелого десятилетия? Как ни мало у нас данных для подробного ответа на этот вопрос, но у нас имеется, однако, его собственное свидетельство, имеющее ту огромную цену, которую имеет все, что говорил о себе этот безусловно правдивый человек. По его словам, в юности он был полон героических стремлений, горячо ненавидел существовавший общественный строй и в *то же время мучительно сознавал себя нулем* [3]. Из подобного настроения могло быть только два выхода: во-первых, совершенный индифферентизм, полное забвение всяких идеальных стремлений; во-вторых, страстное искание в политической литературе, в науке или в философии объяснения тяжелого настоящего и указания на лучшее будущее. Белинский и его товарищи засели за философию.

* «Du développement des idées révolutionnaires en Russie», Paris 1851, p. 97. [«О развитии революционных идей в России», Париж 1851, стр. 97.] [2]

В соседней с нами Германии безраздельно господствовала тогда идеалистическая философия Гегеля. Когда Белинский ознакомился с нею, она всецело захватила его и наложила свою глубокую печать на весь дальнейший ход его умственного развития.

Почему так сильно было ее влияние на него?

По той же самой причине, по которой она подчиняла себе самые свежие и самые энергичные умы тогдашней Германии, а отчасти и всей Западной Европы. Потому что она была фокусом, в котором сосредоточились все результаты предшествующей работы философской мысли и из которого выходили лучи, освещавшие путь умственного и нравственного развития цивилизованного мира. Мои слова могут показаться вам преувеличением; поэтому я спешу назвать имена Штрауса, Бруно Бауэра, Фейербаха, Лассаля, Энгельса и Маркса. Все эти люди обладали выдающимся, а некоторые из них и прямо гениальным умом; все они сделали чрезвычайно много для умственного развития нашего века, и ни один из них не отказался бы признать, что Гегелю обязан он был как своим могучим методом исследования, так и целым рядом плодотворнейших мыслей. Чтобы вы могли судить о том, как относились к этому великомумыслителю гениальные люди, прошедшие через его школу, но впоследствии покинувшие его точку зрения, я рекомендую вам небольшую книгу Энгельса о Фейербахе, появившуюся в восьмидесятых годах по-немецки и вышедшую по-русски в Женеве.

Само собою разумеется, что я не могу указать вам сегодня все, хотя бы только наиболее замечательные, стороны гегелевского миросозерцания. Для этого у меня не хватило бы времени. Я надеюсь, однако, что мне удастся оттенить важнейшую из них. По крайней мере, я попытаюсь сделать это.

В истории умственного развития человечества, как и в истории *всякого* развития, последующая фаза всегда тесно связана с предыдущей, и вместе с тем всякая последующая фаза не только *отличается* от предыдущей, но во многих отношениях прямо *противоположна ей*. Это общее правило, которое нужно помнить при изучении всякого процесса развития. И это общее правило блестяще оправдывается при изучении преобладающего течения философской мысли в первой половине девятнадцатого века сравнительно с ее главнейшим течением во второй половине предыдущего столетия.

В философии восемнадцатого века, за немногими и не очень важными исключениями, отсутствовала точка зрения развития. Этот коренной недостаток замечается как во взгляде философов того времени на природу, так и в их взгляде на историю человечества. Исторический процесс есть процесс развития, и потому, казалось бы, на историю невозможно смотреть иначе,

как с *эволюционной* точки зрения. Однако философы XVIII столетия смотрели на нее иначе, да и теперь еще далеко не каждый из нас отделался от воззрения XVIII столетия.

Для философов XVIII века главной пружиной исторического движения было развитие и распространение знаний, просвещения, des lumières, как говорили они. Конечно, никому не придет в голову оспаривать относительную правомерность этого взгляда. И в настоящее время немецкие социал-демократы поют в своей марсельезе:

Der Feind, den wir am tiefsten hassen,
Der uns umlagert, schwarz und dicht,
Das ist der Unverstand der Massen,
Der von des Geistes Schwert durchbricht *.

Всякому прогрессивному общественному деятелю всегда приходилось считаться на практике с *неразвитостью массы*. Но при теоретическом изучении предмета можно и должно спросить себя: не обусловливается ли само накопление знаний и распространение просвещения некоторыми, глубже лежащими причинами? Другими словами: при теоретическом изучении предмета можно и должно задаться вопросом о том, нельзя ли и на самое накопление знаний и распространение просвещения смотреть, как на *процесс развития, подчиненный известным законам*, которые можно открыть и определить подобно тому, как изучают и определяют законы природы? Если *можно*, то умственное развитие человечества способно стать предметом научного исследования; если *нельзя*, то о научном изучении этого развития нечего и говорить, потому что *нет науки там, где нет законосообразности явлений*.

Рассуждая формально, каждый философ XVIII века, конечно, согласился бы с тем, что явления умственной жизни народов, как и всякие другие явления, имеют свои причины и потому могут быть изучаемы с точки зрения их законосообразности. Некоторые из них, как например Гельвеций, делали даже чрезвычайно интересные попытки подобного изучения. Но в огромном большинстве случаев они продолжали смотреть на умственное развитие человечества, как на последнюю причину исторического движения, и потому можно сказать, что при исследовании этого движения их научный анализ останавливался там, где ему нужно было начинаться. Вот почему у *просветителей восемнадцатого века не было научной философии истории*.

До поры до времени — например, в эпоху издания знаменитой энциклопедии — на это обстоятельство можно было не

* [Враг ненавистнейший для нас,
Что нам со всех сторон грозит,
Он — в несознательности масс,
Но духа меч его сразит.
Перев. *С. И. Хмельницкого*]

обращать внимания. Главная историческая миссия просветителей XVIII века заключалась в умственной борьбе с устарелыми взглядами, завещанными временем расцвета абсолютной монархии и полного и бесспорного господства дворянства и духовенства. В этой умственной борьбе естественно и даже очень полезно было смотреть на *ход идей*, как на последнюю и самую глубокую причину *хода вещей* в человеческих обществах. Но вот разразилась гроза великой революции; события пошли одни за другими с головокружительной быстротой и с неумолимой силой могучих явлений природы. Общественное настроение изменялось очень часто, очень решительно и совершенно неожиданно; ход общественной жизни и мысли не только, по-видимому, не оправдывал светлых надежд и отрадных предсказаний философов, но прямо насмехался над ними. Тогда стало очевидно для многих, что ход идей не определяет собою хода вещей, а, напротив, сам определяется этим последним. И вот философы [1] времен реставрации стараются открыть законосообразность в ходе умственного развития человечества *; историки рассматривают мысли людей как продукт их социальных отношений, и все исследователи общественной жизни все более и более переходят на *точку зрения развития*.

Этот переход нашел свое главное выражение в философской системе Гегеля. Точка зрения Гегеля есть *точка зрения развития;* это составляет самую важную сторону его философии; и именно благодаря этой своей стороне его философия приобрела такое могучее и такое плодотворное влияние на весь ход умственного развития девятнадцатого века.

Учение о развитии рассматривает явления с их преходящей стороны. Оно указывает причины, вызвавшие их *возникновение*, и оно же открывает те причины, которые обусловили или должны обусловить со временем их *исчезновение*. Старый революционер, рассматривавший с этой точки зрения, положим, факт возвращения во Францию тех самых Бурбонов, владычеству которых был, казалось бы, нанесен окончательный удар низложением и смертью Людовика XVI, должен был чувствовать значительное облегчение при мысли о том, что сама реакция, сменившая во Франции могучий революционный порыв, есть лишь преходящее явление, прочное лишь до тех пор, пока существуют вызвавшие его временные причины. Открыв эти причины, такой революционер приобретал возможность содействовать

* Именно в это время Сен-Симон пытается установить свой закон трех фазисов (теологического, метафизического и позитивного), связываемый обыкновенно, и очень неосновательно, с именем Огюста Конта. В настоящее время на этот «закон» можно смотреть, как на один из лучших примеров невыработанности тогдашних понятий о законосообразности в историческом развитии.

их *устранению*, т. е., следовательно, новому торжеству дела прогресса. Точка зрения развития, оказавшая такие важные услуги науке, явилась, кроме того, как бы нарочно придуманной для нравственного поддержания и ободрения всех прогрессивных новаторов, силы которых вначале всегда бывают очень незначительны. Герцен был совершенно прав, когда сказал, что философия Гегеля есть *настоящая алгебра революции* [1].

Но эта алгебра революции, это могучее орудие революционного мышления было гораздо более сложно, чем простое орудие отрицания, употреблявшееся в прошлом веке, и потому его действие на молодые умы того времени должно было оказаться также несравненно сложнее. Мышление XVIII века прекрасно характеризуется формулой: да — да, нет — нет, что сверх того, то от лукавого. Оно знало лишь одно отношение к данному явлению: оно могло только раз навсегда осудить его или раз навсегда признать его правомерность. Так, например, на вопрос о том, хорошо или нет господство духовенства, философ XVIII века мог дать только один ответ: *оно очень вредно*. Исторические причины возникновения этого господства совершенно уходили из его поля зрения. Не так представилось дело, например, Сен-Симону, который смотрел на духовенство уже с точки зрения *исторического развития этого сословия*. Отрицая правомерность его господства в настоящее время, Сен-Симон указывал на его исторические заслуги, и, становясь в этом случае в противоречие с философами XVIII века, он невольно преувеличивал важность этих заслуг, — обстоятельство, которое в свою очередь оставило заметный след как на его собственных взглядах, так и на воззрениях его учеников.

Повторяю, отрицательные доктрины нашего столетия гораздо более сложны, чем отрицательные доктрины прошлого века. Люди XIX века в своем отрицании обнаруживают гораздо больше умственной требовательности, чем современники Дидро и Вольтера. Известный немецкий писатель и революционер Арнольд Руге рассказывает, что в первые дни его студенчества ему пришлось присутствовать на лекции, не помню уже какого профессора, говорившего о религии. Профессор обнаружил очень свободное к ней отношение; «но именно это подействовало на меня довольно неприятно, — говорит Руге, — не потому, чтобы я сам был тогда верующим человеком, а потому, что меня не удовлетворяла поверхностная манера отрицания, свойственная XVIII веку» *. Руге, впоследствии сделавшийся революционером, был в то же время горячим приверженцем гегелевской философии.

---

* Цитирую на память, но за смысл ручаюсь.

Прибавлю, кроме того, что сам Гегель — по причинам, рассмотрение которых завело бы нас слишком далеко, — нередко истолковывал свою алгебру революции в консервативном смысле и опирался на свое знаменитое положение «Was wirklich ist, das ist vernünftig» * для осуждения оппозиционных течений своего времени.

Как же повлияла и как должна была повлиять на Белинского указанная мною самая важная сторона гегелевской философии?

Мы уже знаем, что он, несмотря на свою молодость, инстинктивно чувствовал поверхностность, недостаточную обоснованность своего отрицания; что он, по собственным его словам, сознавал себя «*нулем*», несмотря на весь пыл своего «*абстрактного*» героизма [1]. Тот, чье отрицание основано на твердой конкретной почве, нулем себя чувствовать не будет, хотя бы он и знал, что осуществление его идеала есть вещь очень далекого будущего. Изучение гегелевой философии с ее историческим взглядом на все явления [2] должно было привести Белинского к *ясному сознанию* того, что прежде он только *чувствовал* с болью в сердце: он окончательно убедился в совершенной необоснованности своего отрицания. Как натура страстная и порывистая, он, отрицая свое прежнее отрицание, необходимо должен был дойти до крайности и осудить всякое отрицание вообще. Иначе сказать, он неизбежно должен был из пылкого отрицателя стать не менее пылким охранителем. Это новое настроение должно было поддерживаться в нем воспоминанием о тех нравственных страданиях, которые он пережил в пору своего, как он стал выражаться теперь, *абстрактного* героизма: инстинкт нравственного самосохранения должен был подсказать ему, что возврат к отрицательной точке зрения непременно означал бы также и возврат к прежним нравственным мукам. И вот Белинский делается усердным комментатором положения: все действительное разумно, отождествляя понятие: *действительное* с понятием: *существующее*.

Оспаривая этот новый взгляд Белинского, Герцен однажды сказал ему, думая поразить его своим ультиматумом: «знаете ли вы, что с вашей точки зрения вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать?».

— Без всякого сомнения, — смело отвечал Белинский [3].

Если бы Герцен понимал тогда, какой психологический процесс совершался в голове его собеседника, то он мог бы с точностью предвидеть утвердительный ответ Белинского. В своем увлечении философией Гегеля Белинский должен был начать

* [«Что действительно, то разумно»]

именно с оправдания самодержавия, крепостного права и прочих подобных им гнусностей, так как эти гнусности, конечно, особенно сильно мучили его в предыдущую фазу его умственного развития.

Нужно ли говорить вам, господа, что это увлечение консерватизмом было непродолжительно. Вы все прекрасно знаете это; вы помните то ставшее знаменитым место из письма Белинского к Боткину, где он, возвещая о своем возвращении к отрицанию, с горькой шуткой восклицает:

«Благодарю покорно, Егор Федорыч (шуточное имя Гегеля в кружке Белинского. — *Г. П.*), кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что, если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и проч. и проч., иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою...» и т. д. *.

Со времени так называемого разрыва с Гегелем начался тот последний фазис развития Белинского, в котором он является таким решительным революционером. Я уже указал на некоторые черты, характеризующие этот период его развития. Теперь я укажу на некоторые другие.

У нас принято думать, что, «раскланявшись с философским *колпаком*» Гегеля, Белинский совсем оставил его *философию*. Это большая ошибка. На самом деле он отвернулся лишь от консервативной ее стороны, вполне усвоив ее теперь в ее более глубоком значении, т. е. как «*алгебру революции*». Резко осуждая теперь свою статью о Бородинской годовщине, он говорит, однако (и это забывают обыкновенно наши более или менее «передовые» легальные писатели):

«Конечно, идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки о Бородинском сражении, верна в своих основаниях, но должно было развить и идею отрицания как исторического права, не менее первого священного, и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото, — а если этого нельзя было писать, то долг *чести* требовал, чтобы уже и ничего не писать» [2].

Значит, идея, лежавшая в основании этой статьи, была верна. Какая же это идея? Это все та же основная идея всей философии Гегеля: *идея законосообразного развития*. Но как же было с этой точки зрения развить идею отрицания применительно к русским общественным отношениям? Нужно было показать, что тот общественный и политический порядок, кото-

* *Пыпин*, там же, II, стр. 105 [1].

рый так тяготил Белинского и его единомышленников, не мог быть вечен, что он имеет лишь временное, преходящее значение и что последующее историческое движение непременно должно его смести с лица русской земли, как смело оно, скажем, порядки удельно-вечевого периода. Сделать это — значило выработать цельную и стройную философию русской истории. Это невозможно было без помощи западноевропейской мысли, так как русская жизнь была еще слишком неразвита. Но западноевропейская мысль сама находилась тогда, т. е. в сороковых годах нашего столетия, в переходном состоянии. Абсолютный идеализм Гегеля сам оказался не в силах открыть наиболее отдаленные, глубже всех других лежащие *причины* исторического движения; он сделал лишь отдельные, правда, в высшей степени замечательные, указания и намеки на эти причины *. А не выяснив их во всей их полноте, нельзя было уяснить себе и *смысл* исторического движения, т. е., следовательно, нельзя было построить свои ожидания от будущего на прочной, реальной почве. Правда, в то время, о котором у нас идет теперь речь, идеализм Гегеля уступал уже место материализму Фейербаха; но этот материализм был совсем несостоятелен в деле объяснения общественно-исторического процесса [2]. В этом отношении Фейербах был подчас гораздо бо́льшим идеалистом, чем сам Гегель. Поэтому Белинский не мог опереться на материализм Фейербаха для систематического развития своей идеи отрицания. Он до глубины души ненавидел тогдашнюю русскую *«действительность»*, но он не знал и не мог знать, откуда придет ее крушение, и он глубоко страдал от этого незнания; его вера в лучшее будущее по временам сильно колебалась.

«Увы, друг мой, — пишет он Боткину, — без общества нет ни дружбы, ни любви, ни духовных интересов, а есть только порывания ко всему этому, порывания неровные, бессильные, без достижения, болезненные, недействительные. Вся наша жизнь, наши отношения служат лучшим доказательством этой горькой истины... Человечество есть абстрактная почва для развития души индивидуума, а мы все выросли из этой абстрактной почвы, мы — несчастные Анахарсисы новой Скифии [3]. Оттого мы зеваем, толчемся, суетимся, всем интересуемся, ни к чему не прилепляясь, все пожираем, ничем не насыщаясь» **.

В другом письме он говорит:

«Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельности нет жизни. Источник интересов, целей и деятельности — субстанция общественной жизни. Ясно ли,

* Интересующимся этим вопросом я позволяю себе указать на мою статью: «Zu Hegel's sechzigstem Todestag» [«К шестидесятой годовщине смерти Гегеля»] в ноябрьском номере «Neue Zeit» за 1891 г. [1]

** *Пыпин*, II, стр. 114—115 [4].

логически ли, верно ли? Мы люди без отечества — нет, хуже, чем без отечества: мы люди, которых отечество — призрак, и диво ли, что сами мы — призраки, что наша дружба, наша любовь, наши стремления, наша деятельность — призрак?» *.

Я очень прошу вас, господа, обратить внимание на эту черту психологии Белинского: она очень поучительна потому, что дает ценный материал для решения вопросов, подобных тем, о которых так много и так страстно спорили в России не далее как полтора-два года тому назад [2]. Раскланявшись с «колпаком» Гегеля, Белинский вернулся к отрицанию русской «действительности». Но ему не удалось теоретически обосновать свое отрицание, «*развить его идею*», т. е. найти в самой нашей общественной жизни такие силы, которые в своем дальнейшем развитии непременно должны привести к уничтожению нынешних ее безобразий. Поэтому у него явилось мучительное сознание своей *беспочвенности*. Россия стала казаться ему «*призраком*» в том смысле, что он не видел в ней здоровых элементов, способных к дальнейшему здоровому развитию. А так как он мыслил слишком ясно и прошел слишком хорошую школу для того, чтобы ему возможно было обманывать и убаюкивать себя фантастическими рассуждениями на тему *о роли личности в истории*, то он с обычной своей последовательностью объявил, что и «*сами мы*», т. е. люди отрицания, — «*призраки*». Ввиду этого ему оставалось только сожалеть о том умственном развитии, благодаря которому он уже не мог отказаться от отрицания.

«Действительность разбудила нас и открыла нам глаза, но для чего?.. Лучше бы она закрыла нам их навсегда, чтобы тревожные стремления жадного жизни сердца утолить сном ничтожества...

Но третий ключ — холодный ключ забвенья —
Он слаще всех жар сердца утолит... **[3]

И это настроение Белинского вовсе не было исключительным: его испытывали все его единомышленники и даже лучшие из его противников, т. е. наиболее образованные и чуткие славянофилы. Чрезвычайно резко сказывается оно в «Дневнике» Герцена:

«Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования... — с отчаянием восклицает он там. — Поймут ли они, отчего мы лентяи, отчего мы ищем всяких наслаждений, пьем вино... и проч.?.. Отчего в минуту восторга не забываем тоски?.. О, пусть они остановятся с мыслью и с грустью перед камнями, под которыми мы уснем, мы заслужили их грусть! Была ли такая эпоха для какой-либо

* *Пыпин*, II, стр. 122—123 [1].
** *Пыпин*, II, стр. 124.

страны? Рим в последние века существования, и то нет... Там были святые воспоминания, было прошедшее, наконец, оскорбленный состоянием родины мог успокоиться на лоне юной религии, являвшейся во всей чистоте и поэзии. Нас убивают пустота и беспорядок в прошедшем, как в настоящем — отсутствие всяких общих интересов...» * [1].

Несколько далее тот же Герцен пишет:

«Сегодня я читал какую-то статью о «Мертвых душах» в «Отеч. Зап.»; там были приложены отрывки... Между прочим, русский пейзаж (зимняя и летняя дорога); перечитывание этих строк задушило меня какой-то безысходной грустью, эта степь Русь так живо представилась мне, современный вопрос так болезненно повторялся, что я готов был рыдать. Долог сон, тяжел. За что мы проснулись, — спать бы себе, спать, как все около!..»[2].

Не видя в окружающей действительности ни одного здорового, способного к развитию (и, следовательно, к *отрицанию*) элемента, Белинский начинает ожесточаться даже против тех, положению которых он всегда так страстно сочувствовал и за которых он, разумеется, готов был отдать последнюю каплю своей крови: я говорю о *крестьянах и о русском народе вообще*. После смерти Кольцова он пишет в письме к Боткину:

«Смерть Кольцова тебя поразила. Что делать? На меня такие вещи иначе действуют; я похож на солдата в разгаре битвы — пал друг и брат, — ничего, с богом — дело обыкновенное. Оттого-то, верно, потеря сильнее действует на меня тогда, как я привыкну к ней, нежели в первую минуту. Об отце Кольцова думать нечего: такой случай мог бы вооружить перо энергическим, громоносным негодованием где-нибудь, а не у нас. Да и чем виноват этот отец, что он — мужик? И что он сделал особенного? Воля твоя, а я не могу питать враждебности против волка, медведя или бешеной собаки, хотя бы кто из них растерзал чудо гения или чудо красоты, так же как не могу питать враждебности к паровозу, раздавившему на пути своем человека. Поэтому-то Христос, видно, и молился за палачей своих, говоря: не ведят бо, что творят. Я не могу молиться ни за волков, ни за медведей, ни за бешеных собак, ни за русских купцов и мужиков, ни за русских судей и квартальных; но не могу питать к тому или иному личной ненависти» **.

Эта психологическая невозможность уважать народ ввиду его азиатской отсталости рядом с горячей любовью к тому же

* На эту печальную сторону в истории развития нашей интеллигенции следует обратить большое внимание тем, которые до сих пор предаются у нас разглагольствованиям о роли личности в истории, забывая, что роль эта сама определяется в последнем счете «субстанцией общественной жизни».

** *Пыпин*, II, стр. 157 [3].

самому народу и невозможностью найти нравственный покой ввиду его страданий — составляет, несомненно, самую трагическую черту в положении наших тогдашних западников. Она наложила свою печать на то, что можно назвать их *практической политикой*, и очень сильно повлияла на развитие идей в последующем поколении. Она заслуживает особого рассмотрения, но здесь я могу говорить о ней лишь постольку, поскольку она определила собою дальнейший ход умственного развития Белинского.

Мы уже знаем, что, вернувшись к отрицанию действительности, он увлекся социализмом, внеся в это увлечение свою обычную страстность. Но это горячее увлечение продолжалось лишь несколько лет. Во второй половине сороковых годов он относится к социализму очень скептически и даже совсем «*раскланивается*» с ним. В письме к Боткину от 6 февраля 1847 года он с похвалой отзывается о Литтрэ, который нравится ему «именно потому, что он не принадлежит ни к ворам-умникам «Journal des Débats» и «Revue des deux Mondes» *, ни к социалистам», о которых он теперь говорит, что они выродились из фантазий гениального Руссо. В том же письме есть замечательный отзыв о Луи Блане:

«Кстати в «Gazette de France» ** я прочел отрывок из первого тома «История революции» Луи Блана. Это его суждение о Вольтере! Святители, да это Шевырев! Все, что говорит Луи Блан в порицание Вольтера, справедливо, да глупо то, что он не судит о нем, а осуждает его, и притом как нашего современника, как сотрудника «Journal des Débats». Луи Блан — историк современных событий; но за прошедшее, сделавшееся историей, ему, кажется, не следовало бы браться» [1].

В письме к Анненкову (от 15 февраля 1848 года) он выражается насчет Луи Блана еще сильнее:

«Читаю теперь романы Вольтера и ежеминутно мысленно плюю в рожу дураку, ослу и скоту Луи Блану...» *** [2].

Заметьте, господа: когда Белинский писал цитированную мною выше статью о «Парижских тайнах» Эженя Сю, он стоял на точке зрения Луи Блана, к которому питал тогда величайшее уважение. Теперь Луи Блан в своем отзыве о Вольтере кажется ему похожим на Шевырева. Почему же это? Ведь Белинский признает, что этот отзыв верен «*сам по себе*»? Да, верен, но *в нем недостает исторической перспективы*. Неуменье стать твердой ногой на историческую точку зрения составляло Ахиллесову

* Т. е. к ограниченным сторонникам и защитникам существующего буржуазного порядка. [«Журнал прений» и «Обозрение двух миров»].

** [«Журнале Франции»]

*** Опять за то отрицательное отношение к Вольтеру, которое высказано было Луи Бланом в его «Истории французской революции».

пяту тогдашнего социализма, который, именно ввиду этого недостатка, называют теперь *утопическим*. Белинскому, до конца жизни оставшемуся гегельянцем, должен был броситься и действительно бросился в глаза этот недостаток тогдашнего социализма, и этим объясняются все раздражительные выходки его против социалистов в письмах, относящихся к последним годам его жизни. Его раздражение против утопического социализма, стоявшего на почве *абстрактного* отрицания существующего порядка вещей, вырастало тем сильнее, чем болезненнее сознавал он необходимость найти *конкретную*, *действительную* почву для своего отрицания *действительности* или, в противном случае, признать «*призраками*» даже и тех немногих русских людей, которые были у нас представителями отрицательного направления. Так как утопический социализм не дал ему материала для такого обоснования отрицательной идеи, то он, «раскланиваясь» с социализмом, начинает внимательнее присматриваться к *исторической роли буржуазии*. В уже цитированном мною выше письме к Анненкову от 15 февраля 1848 г. мы встречаем следующее, в высшей степени важное место:

«Мой верующий друг * и наши славянофилы сильно помогли мне сбросить с себя мистическое верование в народ. Где и когда народ освободил себя? Всегда и все делалось через личности. Когда я в спорах с вами о буржуазии называл вас консерватором, я был осел в квадрате, а вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной, а народ тут может по временам играть пассивно-вспомогательную роль. Когда я при моем верующем друге сказал, что для России теперь нужен новый Петр Великий, он напал на мою мысль, как на ересь, говоря, что сам народ должен все для себя сделать. Что за наивная, аркадская мысль! После этого отчего же не предположить, что живущие в русских лесах волки соединятся в благоустроенное государство, заведут у себя сперва абсолютную монархию, потом конституционную и, наконец, перейдут в республику? Пий IX в два года доказал, что̀ значит великий человек для своей земли. Мой верующий друг доказывал мне еще, что избави-де бог Россию от буржуазии. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию. Польша лучше всего показала, как крепко государство, лишенное буржуазии с правами. Странный я человек! Когда в мою голову забьется какая-нибудь мистическая нелепость, здравомыслящим людям редко удается выколотить ее из меня доказательствами: для

---

* Неизвестно, кого здесь имеет в виду Белинский, но возможно, что Бакунина.

этого мне непременно нужно сойтись с мистиками, пиэтистами и фантазерами, помешанными на той же мысли, — тут я и назад. Верующий друг и славянофилы оказали мне большую услугу. Не удивляйтесь сближению: лучшие из славянофилов смотрят на народ совершенно так, как мой верующий друг; они высосали эти понятия из социалистов и в статьях своих цитируют Жорж Занда и Луи Блана. Но довольно об этом!..» *.

Очень может быть, что этот отрывок показался вам слишком длинным; но я не мог не привести его во всей полноте, потому что основательное знакомство с ним необходимо для всякого, кто хочет дать себе отчет в социально-политических взглядах Белинского, как они сложились в самые последние годы его жизни. В нашей литературе уже обращено было внимание на этот отрывок, но там он подал повод к весьма забавному недоразумению. Г-н Мякотин решил, что если, по мнению Белинского, все делалось через личности, то его точка зрения была точкой зрения современных наших субъективистов [2]. Это большая наивность. В самом деле, каких «*личностей*» желал Белинский для России? «Для России теперь нужен новый Петр Великий», — говорит он. Иначе сказать: России нужен царь, одушевленный ненавистью к нашей «действительности». Это очень характерно для тогдашних взглядов Белинского. Не открыв в народе никаких прогрессивных элементов и не питая ни малейшей надежды на то, что протест против нашей печальной действительности выйдет из народной среды, Белинский поневоле повернул свои взоры к царскому трону. Современный ему представитель царизма, император Николай I, был туп, зол, враждебен всякому движению народа вперед. На него надежда была плоха. Но Петр I не был ни туп, ни враждебен прогрессу; он вызвал Московскую Русь из ее многовековой дремоты. Поэтому нам надо желать появления в России нового Петра Великого. В последние годы своей жизни Белинский не раз высказывал ту мысль, что развитие России совершалось *сверху вниз, а не снизу вверх*, т. е. что все прогрессивное являлось у нас *по почину правительства, а не по почину народа* **. Ту же мысль высказывает он и в письме к Анненкову. Этот взгляд имел огромное влияние на дальнейшее развитие передовой русской мысли. Революционным разночинцам 60-х и 70-х годов, вступившим в революционную борьбу с правительством, уже невозможно было думать, что осуществление их идеалов придет «*сверху*»; они могли стать и остаться революционерами, лишь питая твердое убеждение в том, что существующий порядок вещей будет разрушен «*снизу*», т. е. народной революцией. Потому-то они так охотно и заим-

* «Анненков и его друзья», стр. 610—612 [1].

** См., например, его статью «Петербург и Москва», напечатанную в сборнике «Физиология Петербурга», вышедшем в 1845 г. [3]

ствовали у славянофилов их идеализацию русского народа вообще и некоторых сторон правовой и экономической жизни народа в частности *. Но что этот взгляд Белинского не имеет ничего общего с «субъективной социологией», достаточно показывает его происхождение. Подумайте: откуда он взялся у нашего критика? Он явился у него как результат стремления обосновать свою идею отрицания на *действительной* (конкретной) почве: не найдя в народе залога самостоятельного прогрессивного движения, Белинский вынужден был скрепя сердце сознаться, что наше развитие идет не снизу вверх, а сверху вниз, и стал утешать себя надеждой на то, что, может быть, и сам Николай Павлович сделает, наконец, что-нибудь для устранения главного зла тогдашней России — *крепостного права*. Когда в конце 1847 г. пошли слухи о том, что Николай в самом деле собирается отменить его, Белинский с радостью подхватил этот слух и с радостью сообщил о нем своим друзьям, бывшим тогда за границей. В то же время он опасался, как бы наши прогрессисты не запугали правительство резкими проявлениями своей враждебности к нему. Такие люди стали казаться Белинскому вредными, так как они «раздражают правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где ровно ничего нет, и вызывают меры, крутые и гибельные для литературы и просвещения» [1]. На этом основании он несочувственно отнесся к Шевченку, сосланному тогда на Кавказ солдатом [2]. Такой взгляд может, конечно, показаться очень странным со стороны тогдашнего Белинского, автора известного письма к Гоголю. Но всякий, кто поймет происхождение этого взгляда, должен будет признать, что у Белинского он явился как результат стремления связать свое отрицание с существовавшим в тогдашней России соотношением общественных сил, а не как следствие «субъективного» взгляда на историю. Притом даже сам Петр Великий, по тогдашнему мнению Белинского, должен был бы в своей деятельности подчиниться требованиям и законам прежде всего *экономической* действительности: «Внутренний процесс гражданского развития начнется в России не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в бур-

* Например, общины. Известный славянофил Ю. Самарин писал в «Москвитянине» 1847 г. (под псевдонимом М... З... К...): «Общинное начало составляет основу, грунт всей русской истории, прошлой, настоящей и будущей; семена и корни всего, возносящегося на поверхности, зарыты в его плодотворной глубине». Это главная мысль нашего народничества. Далее Самарин говорит, что западный мир выражает теперь требование *общины* (он разумеет социалистическое движение), что это требование *совпадает «с нашей субстанцией»* (курсив мой), что «в оправдание формулы мы приносим быт» и что, наконец, в этом точка соприкосновения нашей истории с западной. Это и до сих пор составляет все содержание народнической полемики против некоторых «сторонников капитализма».

жуазию» [1]. Если это субъективизм, то непонятно, почему так боятся капитализма *нынешние* русские субъективисты. Г-ну Мякотину следовало бы выяснить себе и нам это интересное обстоятельство.

Пойдем дальше. Белинский говорит, что славянофилы смотрят на народ совершенно так, как смотрят на него социалисты. Это совершенно справедливо; надо только помнить, что он говорит о социалистах-утопистах. Во взгляде славянофилов на народ не было места *элементу развития*. Даже более: И. С. Аксаков с умилением распространялся на тему *о спасительной неподвижности русского народа*. Та же спасительная неподвижность умиляла и его единомышленников, принадлежавших к более раннему периоду. В воззрениях социалистов того времени элемент развития тоже не играл почти никакой роли. В существовании и развитии капитализма они видели одно только зло, не замечая его революционной стороны. Идеализируя народ, они идеализировали не ту *способность развития*, которая заключается в нем благодаря его общественно-экономическому положению, а весь тот характер, который он имеет в настоящее время и в котором не может не быть некоторых несимпатичных черт, унаследованных от прошлого. Раз открыв Ахиллесову пяту утопического социализма и став в противоречие с ним, Белинский с обычной своей резкостью указывает на слабые стороны народного характера. В буржуазии же он видит представительницу исторического движения. Переводя этот взгляд его на нынешний наш язык, мы скажем, что Белинский лучше тогдашних социалистов-утопистов понял историческую роль капитализма в Западной Европе и предугадал огромную важность его в деле устранения *нашего* старого «патриархального быта жизни». Правда, сознав эту роль и эту важность, он тут же вдался в другую крайность, отказав в способности к исторической самодеятельности не только *русскому крепостному крестьянину, но и французскому пролетарию* [2]. Это большая ошибка. Но она совершенно ничтожна в сравнении с тою истиной, которая заключалась в новом его взгляде.

Отрицая утопический социализм, мысль Белинского работала в том же самом направлении, в каком уже начала тогда работать *революционная мысль Запада*.

Философия Гегеля сменилась философией Фейербаха. Философия Фейербаха уступила место революционному научному социализму Маркса и Энгельса. *Этот* социализм был ответом на все теоретические запросы Белинского. Он обосновал *идею отрицания* на ходе исторического развития общественной жизни современных цивилизованных обществ и понес эту впервые незыблемо обоснованную идею в ряды международного пролетариата. Движение этого пролетариата стало, по выражению

Энгельса, наследником немецкой классической философии [1]. Вследствие этого и «народ» перестал быть жалкой, суеверной и инертной массой. Затронутый социалистической пропагандой пролетариат есть самая живая, самая мыслящая часть современных цивилизованных обществ. И не только в Зап. Европе совершается это перерождение народа. На наших глазах происходит пробуждение и развитие классового самосознания и в *русском* рабочем классе. Это явление, важность которого трудно было бы преувеличить, создает новые шансы успеха для всех тех, кто искренно ненавидит существующий порядок вещей и кто готов с ним бороться. Теперь *идея отрицания* обоснована у нас самим ходом общественного развития. Теперь наше отечество *уже не призрак*, равно как *не призраки* и те, которые стремятся завоевать для него лучшее будущее. Теперь только жалкий декадент мог бы спросить себя: «зачем мы проснулись?» [2]. Но декаденты и не задаются подобными вопросами.

Если бы Белинский дожил до нашего времени, то он отдохнул бы, наконец, душою. Он уже не называл бы себя *Анахарсисом новой Греции* [3]. Нет, с обычной своей страстностью, своими вдохновенными словами приветствовал бы он начинающееся пробуждение русского пролетариата и, умирая, искренно позавидовал бы тем счастливцам, которые доживут до дня его победы.

Пора кончать, а я еще не говорил о литературно-критической деятельности Белинского. Впрочем, я имел право не говорить о ней, так как ее смысл и значение хоть отчасти выяснены в нашей легальной литературе *. Здесь же мне хотелось указать

* Впрочем, я постараюсь характеризовать ее здесь в немногих словах. Наши просветители шестидесятых годов — Чернышевский, Добролюбов и др. — смотрели на Белинского, как на своего учителя в деле литературной критики. Они были совершенно правы, и я уже сказал, что Белинский во многих отношениях был их предшественником. Но из их поля зрения совершенно уходила другая сторона литературно-критической деятельности Белинского, именно — его стремление освободить критические приговоры и суждения от личных вкусов и симпатий критика и поставить их на *объективную, научную* почву. Это стремление было резко выражено им уже в статье о Бородинской годовщине. «Мы думаем и убеждены, — говорит он там, — что уже проходит в нашей литературе время безотчетных возгласов с «ахами» и восклицательными знаками и точками для выражения глубоких идей без всякого смысла; что проходит время великих истин, с диктаторской важностью изрекаемых и ни на чем не основывающихся, ничем не подтверждающихся, кроме личного мнения и произвольных понятий мнимого мыслителя. Публика начинает требовать не мнений, а мысли... Мнение опирается на случайном убеждении случайной личности, до которой никому нет дела и которая сама по себе очень неважная вещь; мысль опирается на самой себе, на собственном внутреннем развитии из самой себя, по законам логики» [4]. Тут Белинский еще обеими ногами стоит на почве гегелевского идеализма. Но впоследствии, например в некоторых статьях своих о Пушкине, он, по крайней мере местами, покидает идеалистическую почву и судит о нашем великом поэте, *рассматривая его как представителя лучшей, образованнейшей части нашего*

на то, что составляло самый главный предмет, святая святых всей его умственной работы, начиная с того времени, когда он впервые сбросил с себя иго «*абстрактного героизма*», и кончая последними днями его многострадальной жизни. Этот главнейший предмет его умственной работы есть *отрицание абстрактного, утопического идеала, стремление развить идею отрицания, опираясь на закономерное развитие самой общественной жизни*. С этой стороны еще никто не смотрел на Белинского, а она в настоящее время важнее для нас, чем все остальные. Ведь у нас до сих пор еще не кончилась борьба людей, старающихся обосновать свое отрицание на конкретной почве, с представителями и защитниками *абстрактных идеалов*, этими Дон-Кихотами наших дней.

дворянства. Такая критика непохожа на критику шестидесятых годов и совсем уже не имеет ничего общего с «субъективной» критикой наших дней. Это зачаток научной критики, опирающейся на материалистическое понимание истории. Само собою разумеется, что история литературных взглядов Белинского теснейшим образом связана с общей историей его философских воззрений. Здесь не место, однако, выяснять эту связь [1].

ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ

(1811—1848)[1]

[1909]

I

Жизнь Виссариона Григорьевича Белинского не богата внешними событиями. По своему происхождению он был настоящим «разночинцем». Его отец служил лекарем сначала в Балтийском флоте, а потом, на своей родине, в городе Чембаре. Виссарион Григорьевич родился в 1811 г. (до сих пор не выяснено, в феврале или в мае) в Свеаборге, где стоял тогда флотский экипаж, в котором служил его отец. Детские и отроческие годы его протекли в Чембаре и в Пензе. Они оставили в его душе мало отрадных впечатлений. Его отец запивал, а его мать была, по-видимому, довольно ограниченной, сварливой женщиной. Материальное положение семьи всегда было очень стесненным. Но у отца Белинского были также несомненные достоинства. По своему образованию он резко выделялся из окружавшей его среды чиновников, с которыми у него были постоянные неприятности. Его родственник, Д. П. Иванов, думает, что его рассказы о чиновничьих плутнях сильно действовали на маленького Виссариона. Кроме прелестей чиновничьего быта, Белинский рано мог наблюдать также и темные стороны барства. Мы можем с уверенностью сказать, что ужасы крепостного права оставили глубокий след в его душе. Учился он сначала в Чембарском уездном училище, потом в Пензенской гимназии, куда он определился летом 1825 г.; наконец, в Московском университете, студентом которого он стал осенью 1829 г. Но школьное преподавание, как низшее и среднее, так и высшее, было тогда очень неудовлетворительно, и если Белинский тем не менее обладал немалыми знаниями, по крайней мере литературными, то этим он обязан был прежде всего самому себе и еще некоторым счастливым жизненным встречам. Бывший учитель Пензенской гимназии Попов писал о нем: «В гимназии он учился не

столько в классах, сколько из книг и разговоров. Так было и в университете. Все познания его сложились из русских журналов, не старее двадцатых годов, и из русских же книг. Недостающее же в том пополнилось тем, что он слышал в беседах с друзьями. Верно, что в Москве умный Станкевич имел сильное влияние на своих товарищей. Думаю, что для Белинского он был полезнее университета. Сделавшись литератором, Белинский постоянно находился между небольшим кружком людей если не глубоко ученых, то таких, в кругу которых обращались все современные, живые и любопытные сведения. Эти люди, большею частью молодые, кипели жаждой познаний, добра и чести. Почти все они, зная иностранные языки, читали столько же иностранные, сколько и русские книги и журналы... В этой-то школе Белинский оказал огромные успехи» [1].

С этим вполне согласны свидетельства кн. В. Ф. Одоевского: «У нас Белинскому учиться было негде, — говорит он, — рутинизм наших университетов не мог удовлетворить его логического в высшей степени ума; пошлость большей части наших профессоров порождала в нем лишь презрение; нелепые преследования — неизвестно за что — развили в нем желчь, которая примешалась в его своебытное философское развитие и довела его бесстрашную силлогистику до самых крайних пределов» [2].

Оставляя в стороне вопрос о «желчной» силлогистике, прибавим, что Белинский был избавлен от удовольствия до конца насладиться «рутинизмом наших университетов»: в сентябре 1832 г. он был исключен из университета за «неспособность». На самом деле причиной его исключения была написанная им трагедия «Дмитрий Калинин», один из героев которой обращался к «Отцу человеков» с дерзостным запросом насчет «змиев, крокодилов и тигров, питающихся костями и мясом своих ближних» [3] (речь шла о крепостном праве). В цензурном комитете заседали в то время университетские профессора, тотчас же взявшие молодого автора, как говорится, на замечание. Трагедия была представлена в цензуру в 1831 г., а в половине 1832 г. уже состоялось его исключение. Сам Белинский определял причину исключения так: «Отчасти собственные промахи и нерадение, а более всего долговременная болезнь и подлость одного толстого превосходительства. Ныне времена мудреные и тяжелые: подобные происшествия очень не редки...» [4]

Бедность преследовала Белинского всю жизнь. Она окончательно подломила его всегда слабое здоровье и свела его в безвременную могилу. Она же подшутила над ним еще более злую шутку, осудив его на тяжелую борьбу за жизнь и тем лишив его возможности систематически пополнять пробелы своего образования. Это последнее обстоятельство поставило его в не совсем правильные отношения к членам того кружка,

о котором говорит Попов в цитате, сделанной нами выше, и который имел решительное влияние на ход его умственного развития [1]. Этот кружок — знаменитый кружок Станкевича, где со времени отъезда этого последнего осенью 1837 г. за границу играл чрезвычайно видную роль М. А. Бакунин, — состоял по большей части из людей, обеспеченных в материальном отношении и с детства хорошо владевших иностранными языками. Белинский, читавший по-французски, но не знавший ни английского, ни немецкого языка, по необходимости должен был стать по отношению к своим друзьям в неудобное положение человека, пользующегося их посредством для своего ознакомления с иностранными литературными и философскими источниками. Нам кажется, что историки нашей литературы до сих пор не обратили на невыгодность этого положения всего того внимания, какого оно заслуживает. Мы кратко характеризуем его, сказав, что оно иногда ставило Белинского в положение ученика таких людей, которые далеко уступали ему по своей умственной силе.

Это замечание во всяком случае относится к М. А. Бакунину, который после Станкевича излагал Белинскому философию Гегеля, и еще более к Каткову, при помощи которого наш критик знакомился с гегелевой эстетикой. Что касается Н. В. Станкевича, то мы не решимся утверждать, что Белинский превосходил его силой ума. Сам Белинский был, по видимому, расположен смотреть на него снизу вверх. Однако это ровно ничего не доказывает. Белинский знал себе цену, но, чуждый ревнивого себялюбия, он идеализировал своих друзей и преувеличивал их достоинства *. Н. В. Станкевич был, несомненно, человеком очень выдающегося ума, но он во всяком случае не имел ни малейшего основания относиться к Белинскому, по свидетельству И. С. Тургенева, несколько насмешливо. Такая насмешливость, которую, впрочем, сам Тургенев называет дружественной, понятна лишь как скрытое под приятельской шуткой неодобрение тех «крайностей», которыми Белинский так сильно поражал всех своих друзей, не исключая и А. И. Герцена. Прозвище «неистовый Виссарион» он получил именно от Станкевича. Но тут кстати будет припомнить слова Гегеля: без страсти не делается ничего великого. «Неистовый» характер Белинского сделал то, что наш критик заглянул в проклятые вопросы того времени так глубоко, как это никогда не удавалось сделать Станкевичу.

Замечательно, что Белинский был едва ли не единственным разночинцем в своем кружке. Известно, что и впоследствии,

* В одном из своих писем к Боткину он говорил полушутя о Каткове: «Не забудь, что мы с К. соперники по ремеслу, а я по моей натуре способен всегда видеть в сопернике бог знает что, а в себе меньше, чем ничего» [2]. Здесь под шуткой скрывалась неоспоримая истина.

в 60-х и 70-х годах, разночинец относился к «проклятым вопросам» далеко не так сдержанно, как просвещенные представители дворянского сословия. «Неистовство» Белинского как бы прообразовало собой будущие литературные «неистовства» Чернышевского, Добролюбова и их последователей. Недаром люди «шестидесятых» годов так горячо почитали Белинского...

После исключения из университета Белинский, претерпев жестокую бедность, нашел у Надеждина постоянную литературную работу. Сначала он занимался переводами, но уже в сентябре 1834 г. он дебютировал на страницах «Молвы» в качестве литературного критика знаменитой статьей «Литературные мечтания» (элегия в прозе). С этих пор он не переставал писать сперва у Надеждина, т. е. в «Молве» и «Телескопе» (1834—1836 гг.), потом в «Московском Наблюдателе» (1838—1839 гг.), в «Отечественных Записках» (1839—1846 гг.) и, наконец, в «Современнике» (1846—1848 гг.). На некоторое время литературная деятельность его была прервана (1836—1838 гг.) лишь «по независящим обстоятельствам»: вследствие запрещения «Телескопа» осенью 1836 г.*

Летом 1843 г. Белинский сблизился в Москве с классной дамой одного из московских институтов, в том же году ставшей его женой. Характер его отношений к жене до сих пор выяснен очень мало. Пыпин кратко говорит о них: «Он (Белинский. — *Г. П.*) внес в эти отношения все увлечение, какое отличало его характер: он был исполнен ожиданий, — должно было кончиться одиночество, подавлявшее его среди трудной внешней деятельности; он ждал целого переворота в своей жизни...

У домашнего очага началась для него новая жизнь, с ее особыми интересами и тревогами, которые могли быть только его личной заботой... Белинский продолжал много работать и даже работал больше прежнего» [1].

Наружность Белинского так описывается Тургеневым: «Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, со впалою грудью и понурой головою. Одна лопатка заметно выдавалась больше другой. Всякого, даже не медика, немедленно поражали в нем

---

* Добавим, что Белинский напечатал одно стихотворение в «Листке» 1831 г., написал в 1839 г. пятиактную драму «Пятидесятилетний дядюшка или странная болезнь»; поместил несколько статей в «Литературных прибавлениях» к «Русскому Инвалиду» за тот же год и одну статью (об А. Д. Кантемире) в «Литературной Газете» (№№ 6, 7 и 8) за 1845 г. Далее, он в том же году написал статью «Москва и Петербург» для I части Сборника «Физиология Петербурга», а в 1846 г. в «Петербургском Сборнике» появилась его статья «Мысли и заметки о русской литературе». Тогда же им написана статья об А. В. Кольцове, напечатанная при собрании стихотворений этого последнего, и выпущена брошюра: «Николай Алексеевич Полевой».

все главные признаки чахотки... Притом же (в последние годы) он почти постоянно кашлял. Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькие частые зубы; густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хотя и низкий лоб. Я не видывал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. Голос у Белинского был слаб, с хрипотою, но приятен; говорил он с особенными ударениями и придыханиями, «упорствуя, волнуясь и спеша» (стих г. Некрасова). Смеялся он от души, как ребенок. Он любил расхаживать по комнате, постукивая пальцами красивых и маленьких рук по табакерке с русским табаком. Кто видел его только на улице, когда в теплом картузе, старой енотовой шубенке и стоптанных калошах он торопливой и неровной походкой пробирался вдоль стен и с пугливой суровостью, свойственной нервическим людям, озирался вокруг, тот не мог составить себе верного о нем понятия... Между чужими людьми, на улице, Белинский легко робел и терялся. Дома он носил обыкновенно серый сюртук на вате и держался вообще очень опрятно...» [1]

К этому надо прибавить, что, по словам Тургенева, известный литографический портрет Белинского дает неверное понятие об его наружности.

II

Бедная внешними событиями жизнь Белинского ознаменовалась настоящими бурями в умственной области. Значение этих бурь до сих пор неясно многим и многим из его почитателей. Почитателей смущал и смущает тот период умственного развития Белинского, в течение которого он считал себя обязанным смиряться перед тогдашней русской действительностью. Этот период ставится обыкновенно в вину Гегелю и чаще всего характеризуется словами: «ошибка», «промах», «недоразумение» и т. п. На самом же деле этот период является самым ярким свидетельством в пользу колоссальной силы ума Белинского и как нельзя лучше подтверждает слова кн. Одоевского, сказавшего: «Белинский был одной из высших философских организаций, какие я когда-либо встречал в жизни» [2].

Чтобы убедиться в этом, надо предварительно выяснить себе историческое значение гегелевой философии, знакомство с

которой составило такую важную эпоху в умственной жизни Белинского.

Французские просветители XVIII века твердо верили в силу разума и не менее твердо были убеждены в том, что «мнения правят миром», т. е. что ход развития идей определяет собою ход общественного развития. Потрясающие события конца XVIII и начала XIX столетия подорвали веру в силу «разума», и люди, наиболее вдумчивые, стали приходить к тому убеждению, что ход развития идей не определяет собой хода общественного развития, а, наоборот, сам определяется им. Тогда началась новая фаза в истории общественной науки; вернее сказать, тогда впервые явилась возможность прочного обоснования этой науки. Эпоха реставрации характеризуется упорным стремлением открыть *законосообразность* в ходе исторического развития вообще и умственного развития человечества в частности (напомним знаменитый «закон трех фазисов» Сен-Симона — Огюста Конта). Наиболее выдающиеся историки этой эпохи рассматривают взгляды людей как продукт их общественных отношений, и все исследователи общественной жизни и литературы один за другим переходят *на точку зрения развития*. И этот процесс перехода мы можем наблюдать не только во Франции, где он был вызван вышеуказанным ходом исторических событий, но также и в Германии, внимательно следившей за этими событиями и до известной степени участвовавшей в них. Немецкая идеалистическая философия в лице Шеллинга и Гегеля была философией эволюционной по преимуществу.

Необходимо заметить, однако, что в немецкой идеалистической философии, особенно у Гегеля, учение о развитии приняло *диалектический характер*. Диалектика есть тоже учение о развитии; но она всегда была чужда односторонности, свойственной тому вульгарному учению об эволюции, которое после падения теории катастроф Кювье господствовало в среде естествоиспытателей XIX века, а от естествоиспытателей перешло также и к людям, занимавшимся *общественными* вопросами. Гегель решительно восстал против знаменитого положения: «природа не делает скачков». Он говорил, что люди, отстаивающие это положение, видят лишь один из моментов процесса развития. В действительности *количественные изменения*, постепенно накопляясь, переходят, наконец, в *качественные*, и эти переходы совершаются посредством *скачков*. Известно, что в настоящее время в биологии распространяется теория так называемого скачкообразного развития. Гегель сказал бы, что она подкрепляет одно из основных положений его диалектики. И он был бы прав.

Мы не имеем возможности вдаваться здесь в подробные рассуждения на эту тему. Нам достаточно отметить, что гегелево,

т. е. *диалектическое*, учение о развитии умело отвести надлежащее место не только «скачкам» (изменения качества), но и подготовляющему их процессу постепенного изменения (изменения количества). Ввиду этого нельзя не признать, что прав был Герцен, назвавший философию Гегеля алгеброй революции. Гегель говорил, что «всемирный дух» никогда не стоит на одном месте. «Он постоянно идет вперед, потому что движение вперед составляет его природу». Мы видим отсюда, что последователи Гегеля не имели никаких логических оснований для того, чтобы поддаваться указанному выше разочарованию в силе разума. Напротив, гегелева философия была как будто нарочно придумана для того, чтобы сбросить с мыслящих людей тяжесть этого разочарования. Вот почему она приобрела такое огромное влияние на германскую, да и не только на германскую, молодежь того времени.

Но те люди, которые в своем стремлении вперед опирались на философию Гегеля, уже не могли довольствоваться в своей борьбе с устарелыми взглядами апелляцией к какому-нибудь отвлеченному принципу, например к принципу вечной справедливости и т. п. Нет, такая апелляция достойна была только «метафизиков». Передовой человек, усвоивший себе дух диалектической философии Гегеля, должен был прежде всего убедиться в том, что его «субъективные» стремления лишь выражают собою «глубокую внутреннюю работу», совершаемую в обществе движением «всемирного духа». Не подкрепляемые этой работой, субъективные стремления признавались произвольными, «призрачными» и заранее осужденными на неудачу.

Ошибались те, которые считали выражением консерватизма знаменитые слова Гегеля: «что разумно, то действительно, и что действительно, то разумно»[1]. Тут было недоразумение, вызванное незнакомством с терминологией Гегеля. По Гегелю, далеко не все существующее было действительным. Он говорил: «Die Wirklichkeit steht höher als die Existenz» (действительность выше существования)[2]. Случайное существование не есть действительное существование. Действительно только то, что необходимо. А необходимо в последнем счете именно только вечное движение вперед «всемирного духа». Своей «кротовой» работой «всемирный дух» подрывает существующий порядок; превращает его в форму, лишенную всякого «действительного» содержания, и делает необходимым появление нового порядка, роковым образом сталкивающегося со старым.

Не все ученики Гегеля хорошо поняли этот диалектический характер его философии. Да и сам он под старость нередко изменял этому характеру в своем отношении к общественно-политическим вопросам. Его философия была не только диалектической системой. Она хотела также быть *системой абсолют-*

ной истины. И эта претензия составляла *элемент консерватизма* в философии Гегеля. По его учению, всякая философия есть идеальное выражение своего времени. Если мыслитель нашел абсолютную истину, то это значит, что он жил в такое время, которому соответствовал «*абсолютный*», т. е. *совершенный,* общественный порядок. А так как «*абсолютная*» истина не может устареть; так как *совершенный* общественный порядок не может оказаться *несовершенным*, то отсюда следует, что стремление изменить этот порядок является бунтом против «всемирного духа». Конечно, и в «абсолютном» порядке могут быть сделаны частные улучшения; но в общем и целом он должен остаться таким же непоколебимым, как непоколебима выражаемая им «абсолютная» истина.

В молодости Гегель сочувствовал Великой французской революции; но с летами любовь к свободе у него все ослабевала, а склонность жить в мире с существующим порядком вещей все усиливалась. Особенно сильно сказалась она в его «Philosophie des Rechts» *. Это сочинение изобилует гениальнейшими мыслями. И в то же время оно поражает очевидными усилиями автора примирить свою философию с прусским консерватизмом. Особенно поучительно в этом отношении предисловие, в котором знаменитое положение: «*что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно*» — получает уж совсем не то истолкование, какое давалось ему в «Логике». В предисловии выходит, что человек, понявший действительность и открывший скрытый в ней разум, не восстает против нее, а мирится с нею и радуется на нее. Такой человек не отказывается от своей субъективной свободы; но субъективная свобода проявляется у него не в разладе с существующим, а в согласии с ним. Вообще разлад с существующим, разногласие между разумом познающим и разумом, воплотившимся в действительности, вызывается лишь неполным пониманием этой действительности, лишь промахами отвлеченной мысли. Полузнание возбуждает людей против окружающей действительности, истинное же знание мирится с нею. Так рассуждает Гегель в названном предисловии. Просим читателя заметить, что выражение «*примирение с действительностью*» (Die Versöhnung mit der Wirklichkeit) употребляется здесь самим Гегелем [1].

III

Из этого видно, что неправы были те друзья Белинского, которые, подобно Грановскому и Станкевичу, утверждали, что к примирению с действительностью его толкнуло плохое

* [«Философии права».]

понимание Гегеля. Плохое понимание тут, конечно, было; но Белинский повинен в нем не больше, нежели сам Гегель, — тот Гегель, который провозглашал «*абсолютное*» значение своей философии, забывая основную мысль своей *диалектики: все течет, все изменяется.* Очень возможно, что если бы Белинский владел немецким языком и имел достаточно времени для систематического изучения гегелевой философии, то он гораздо скорее и легче понял бы ее истинный, т. е. диалектический, характер. Очень возможно, а для нас даже несомненно, что не обладавший диалектическим умом Бакунин своим влиянием помешал ему понять, что Гегель изменил своей собственной философии, провозгласив ее системой абсолютной истины. Но все-таки необходимо помнить, что «примирение» Белинского с действительностью не противоречило, по крайней мере, тому Гегелю, с которым мы имеем дело в «Philosophie des Rechts» *. Это слишком склонны забывать те, которые презрительно пожимают плечами по поводу «ошибки» Белинского: эта ошибка была сделана *вслед за Гегелем.*

Но почему же все-таки мог сделать эту ошибку, хотя бы и вслед за Гегелем, молодой Белинский, составивший себе на основании своего детского и юношеского опыта совсем не отрадное впечатление о нашей русской «действительности»? Чтобы ответить себе на этот вопрос, надо ознакомиться с тем настроением, в котором находился Белинский в период, непосредственно предшествовавший его увлечению Гегелем. Он сам говорил впоследствии, что ранние произведения Шиллера «Разбойники», «Фиеско», «Коварство и любовь» внушили ему «дикую вражду к общественным порядкам во имя абстрактного идеала общества, оторванного от географических и исторических условий развития, построенного на воздухе» [1]. В том же направлении повлиял на него и «Дон-Карлос». «Дон-Карлос, — говорил он, — бросил меня в абстрактный героизм, вне которого я все презирал... и в котором я очень хорошо, несмотря на свой неестественный и напряженный восторг, сознавал себя — нулем» [2]. Это признание Белинского в высшей степени важно для истории его умственного развития. И всего важнее в нем то, что характеризуемое им настроение, сопровождавшееся сознанием своего бессилия, не могло быть личной особенностью молодого Белинского: он, конечно, не один сознавал себя тогда «*нулем*». Все те мыслящие русские люди, которые не расположены были восторгаться существовавшим порядком вещей, должны были сознавать себя совершенно бессильными. Эпоха, к которой относятся юношеские годы Белинского, была очень тяжелой эпохой. Герцен говорит об этой эпохе: «Нравственный

* [«Философии права».]

уровень общества пал, развитие было прервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни. Остальные, испуганные, слабые, потерянные, были мелки, пусты; дрянь александровского поколения заняла первое место» [1]. Как видим, общественное настроение того времени было именно таково, что человек, не чуждый освободительных идей, должен был сознавать свое бессилие и «чувствовать себя нулем». Нечего и говорить о том, насколько мучительно такое чувство. Белинскому, как кажется, иногда удавалось преодолеть его и настроить себя на оптимистический лад. В своих «Литературных мечтаниях» он, высказав ту мысль, что Россия нуждается пока не в литературе, а в просвещении, утверждал, что наше правительство одушевлено самыми лучшими намерениями по этой части. И, зная Белинского, мы можем с полной уверенностью сказать, что когда он утверждал это, он совсем не кривил душою. Но легко понять и то, что его вера в просветительные намерения тогдашнего правительства не могла быть постоянной, а должна была по временам уступать место самому полному скептицизму: ведь должен же был он видеть, что каждый новый день приносил с собой новые факты, показывавшие полную неосновательность его веры. Да и не могли успехи просвещения удовлетворить юношу, проникнутого «абстрактным героизмом». Такому юноше нужны были несравненно более «героические» перспективы, а их-то и не открывала русская общественная жизнь. И вот почему мимолетный оптимизм Белинского должен был снова и снова сменяться в его душе тем отмеченным выше настроением, в котором он «мучительно сознавал себя нулем». От этого настроения необходимо было отделаться, из этого положения нужно было найти выход. И Белинский неутомимо искал его.

На время он нашел его с помощью Бакунина в философии Фихте. «Я уцепился за фихтиянский взгляд, — говорил он потом, — с энергиею, с фанатизмом» [2]. Это очень характерно и в то же время вполне естественно. По собственному выражению Белинского, в его глазах всегда двоилась жизнь идеальная и жизнь действительная. Ухватившись за философию Фихте, он почувствовал себя исцеленным от этой двойственности. Он убедил себя в том, что «идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная... а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота» [3].

Утвердившись на этой точке зрения, Белинский стал тем сильнее враждовать с «так называемой действительной жизнью» во имя идеала. В этом своем периоде, который мы назовем первым периодом его философского развития, первым актом его умственной драмы, он с полным и нескрываемым сочувствием относился к французской революции. Но спрашивается: могло ли быть прочным то нравственное спокойствие, которое

он приобрел ценой игнорирования действительности? Ясно, что не могло.

Он объявил действительную жизнь «призраком». Но, должно быть, и призраки не похожи один на другой. Даже современная Белинскому французская действительность очень сильно отличалась от русской, а что касается прошлого, то ведь революция, которой так сильно сочувствовал он теперь, была в свое время фактом «действительной жизни» Франции. И Белинскому достаточно было спросить себя: «почему не знает таких фактов история России?» — чтобы немедленно столкнуться с более общим и более глубоким вопросом: почему «действительная жизнь» одной страны или одного времени не похожа на действительную жизнь другой страны и другого времени? А этот вопрос отнюдь не разрешался «фихтиянским» игнорированием «действительной жизни». Ответить на него мог бы только тот, кто понял бы законы развития «действительной жизни», т. е. решил бы ту задачу, которую, как мы уже знаем, усердно старалась решить общественная наука XIX века.

В одном из своих писем, относящихся уже к следующему периоду его развития, Белинский говорил: «Я ненавижу мысль как отвлечение. Но разве может она приобретаться, не будучи отвлеченной?.. Я понимаю всю нелепость подобного предположения, но моя природа враждебна мышлению» [1]. Само собою разумеется, что он клеветал на себя, называя свою природу враждебной мышлению. Это доказывается многими из его писем и многими из тех блестящих страниц, на которых он излагал теорию литературы. Но несомненно то, что Белинский не терпел произвольных операций с отвлеченными понятиями; он всегда стремился обосновать ход своих идей на объективном ходе вещей. И вот эта-то черта его умственной физиономии — черта, благодаря которой ему, между прочим, удалось так много сделать для литературной критики, — должна была скоро и сильно отравить ту радость, которую он испытал, повернувшись во имя «идеала» спиной к «действительности». Впоследствии он называл свой фихтеанский период периодом распадения. Этим словом он обозначал то состояние неудовлетворенности, которое он испытал в туманной области оторванного от «действительности» «идеала». И эта неудовлетворенность привела его к разрыву с философией Фихте.

По недостатку данных, история этого разрыва до сих пор остается несколько неясной. Однако мы не можем сомневаться в том, что уже во второй половине 1837 г. Белинский находился под влиянием Гегеля и заключил мир с той самой «действительностью», с которой он так сильно «враждовал» прежде. В письме от 7 августа этого года он, советуя одному своему другу заниматься философией, прибавляет: «Только в ней ты найдешь

ответы на вопросы души твоей, только она даст мир и гармонию душе твоей и подарит тебя таким счастьем, какого толпа и не подозревает и какого внешняя жизнь не может ни дать тебе, ни отнять у тебя» [1]. Но ведь система Фихте тоже была философией. Почему же она не дала «мира и гармонии» душе Белинского? И почему он нашел их в системе Гегеля? Это объясняют нам другие строки письма, в которых Белинский «пуще всего» предупреждает своего друга от *увлечения политикой*, которая в России будто бы не имеет никакого смысла. «Для России назначена совсем другая судьба, нежели для Франции, — говорит он, — где политическое направление и наук, и искусства, и характера жителей имеет свой смысл, свою законность и свою хорошую сторону» [2]. Этот отрывок отчасти открывает перед нами тот путь, которым Белинский пришел от пренебрежения «действительностью» во имя «идеала» к «примирению» с этой «действительностью». Дело было в том, что, как мы уже знаем, «идеал» возбудил в Белинском горячее увлечение некоторыми страницами действительной истории Франции, а это увлечение, вероятно, заставило его провести параллель между историей Франции, с одной стороны, и историей России — с другой. Параллель эта подсказывала чрезвычайно безотрадный для мыслящего русского человека вывод, от которого можно было отмахнуться только полным отрицанием политики, будто бы не имеющей в России ни малейшего смысла. А так как подобное отрицание чрезвычайно сильно подкреплялось Гегелем второй манеры — Гегелем, написавшим предисловие к «Philosophie des Rechts» *, — то Белинский и ухватился за Гегеля всеми силами своей страстной души **.

Мы видели, что в эпоху своего «фихтиянства» Белинский мучился, сознавая, что его абстрактный идеал не находит никакого приложения к жизни. Увлекшись Гегелем, он повернулся спиной к «идеалу», который не способен был привести ни к чему, кроме бесплодной «вражды» с «действительностью». «Не суйся в дела, которые до тебя не касаются, — восклицал он теперь, — но будь верен своему делу, а твое дело — любовь к истине... К чорту политику, да здравствует наука!» [4]

На какие же вопросы должна была ответить «неистовому Виссариону» наука, ради которой он покидал политику? Это видно из следующих строк его письма к Станкевичу:

---

* [«Философии права».]

** Не так давно в нашей литературе высказан был тот взгляд, что «примирение» Белинского с «действительностью» объясняется «особенностями его личной истории». Но главная особенность «личной истории» Белинского в том и заключалась, что у него были такие теоретические запросы, для удовлетворения которых больше всего могла дать тогда философия Гегеля. Все другие особенности его жизни только подкрепляли собою эти глубокие запросы [3].

«Приезжаю в Москву с Кавказа, приезжает Бакунин... Летом просмотрел он философию религии и права Гегеля. Новый мир нам открылся. Сила есть право, и право есть сила. — Нет, не могу описать тебе, с каким чувством услышал я эти слова — это было освобождение. Я понял идею падения царств, законность завоевателей. Я понял, что нет дикой материальной силы, нет владычества штыка и меча, нет произвола, нет случайности, — и кончилась моя опека над родом человеческим, и значение моего отечества предстало мне в новом виде...» [1]

Вопросы, на которые должна была ответить Белинскому наука, были теми же самыми вопросами, за разрешением которых он прежде обращался к «политике». В них нет никакого «отвлечения»; это конкретные вопросы общественного развития: чем объясняется «падение царств»? Законны ли завоевания? На чем основывается владычество штыка и меча? Наконец — и это самый важный и самый глубокий вопрос, — неужели история человечества есть царство простой случайности? Тогдашняя радикальная политика и тогдашний социализм умели давать лишь отвлеченные ответы на эти конкретные вопросы: они осуждали известные, несимпатичные им исторические события — например, завоевание одного народа другим, — но не объясняли их. Социализм еще не вышел тогда из своей утопической фазы. Наоборот, философия Гегеля дорожила только конкретными ответами на конкретные исторические вопросы. И она уже отчасти давала такие ответы, опираясь на историю. А в истории сила далеко не всегда противоречит праву. Известен ответ Сийеса защитникам старого порядка, утверждавшим, что права французского дворянства опирались на завоевания: «Только-то? Мы в свою очередь станем завоевателями!» И третье сословие в самом деле «завоевало» себе новое положение в обществе. Всякий тот, кто не ослеплен аристократическим предрассудком, согласится, что «*сила*» этого сословия подкрепляла собою «*право*», а не отрицала его. Выходит, что вульгарное противопоставление права силе не выдерживает критики, так как сохраняет свой смысл лишь при особенных общественных положениях, с своей стороны объясняемых ходом исторического развития. Эта мысль, выраженная у Белинского словами: «сила есть право, и право есть сила», показалась ему целым откровением. Она в самом деле имеет колоссальное теоретическое значение, а в его глазах приобретала, кроме того, и огромную нравственную ценность [2]: она утешала его, обещая осмыслить донельзя некрасивую русскую действительность. Поэтому он и увлекся ею, положив ее в основу своей знаменитой статьи о Бородинской битве («Отечественные Записки» 1839 г., кн. XII).

Пафосом этой статьи является борьба с тем отвлеченным взглядом на историю, согласно которому историческое движение

обусловливается понятиями людей. «Начиная от времен, о которых мы знаем только из истории, до нашего времени, — говорит Белинский, — не было и нет ни одного народа, составившегося и образовавшегося по взаимному сознательному условию известного числа людей, изъявивших желание войти в его состав, или по мысли одного какого-нибудь, хотя бы и гениального, человека» [1]. Любопытно, что Белинский берет в пример именно вопрос о происхождении монархии. По его словам, либеральные говоруны объясняют это происхождение испорченностью людей, которые, убедившись в своей неспособности к самоуправлению, подчинились воле одного лица, ими же облеченного властью. Но такое объяснение кажется ему нелепым. Он говорит: «Все, что не имеет причины в самом себе и является из какого-то чуждого ему «вне», а не «изнутри» самого себя, — все такое лишено разумности, а следовательно и характера священности. Коренные государственные постановления священны потому, что они суть основные идеи не какого-нибудь известного народа, но каждого народа, и еще потому, что они, перешедши в явления, ставши фактом, диалектически развивались в историческом движении, так что самые их изменения суть моменты их же собственной идеи. И потому коренные постановления не бывают законом, изреченным от человека, но являются, так сказать, «довременно» и только выговариваются и сознаются человеком»[2].

Несмотря на некоторую неловкость в употреблении философских терминов, эти строки заслуживают величайшего внимания. Белинский искал критерия разумности общественных явлений. В чем же он нашел его? Во внутренней необходимости: разумно только явление, имеющее «причину в самом себе». Наоборот, неразумны все те явления, которые возникают в силу какого-нибудь чуждого им «вне», т. е. не вызываются внутренней логикой предыдущего общественного развития. «Разумны», а потому и «священны» такие общественные учреждения, которые «диалектически развиваются в историческом движении». На это можно возразить, что чуждое данному явлению «вне» само имеет свою достаточную причину и потому должно быть признано одним из звеньев *другого* необходимого процесса. Так называемые *случайности,* на которые, очевидно, намекает здесь Белинский, имеют место лишь в точке пересечения двух или нескольких необходимых процессов. Пример. Появление испанцев в Перу должно быть признано случайностью с точки зрения логики внутреннего развития государства инков; но оно вызвано было стремлением европейцев к открытию новых стран, а это стремление вовсе не случайно с точки зрения внутреннего развития европейского общества. Но подобное возражение только дополняет мысль Белинского и нимало не подрывает ее. Выражая эту мысль, он показал себя способным подняться на

высоту самых важных и самых трудных задач социологии. С тех пор как была высказана им эта мысль, общественная наука не сделала решительно ни одного завоевания, которое не подтверждало бы ее правильности.

Далее. Конечно, не верно то, что коренные общественные «постановления» являются, так сказать, «довременно». Утверждать это мог только сторонник абсолютного идеализма, по учению которого логические формы жизни предшествуют самой жизни. Но это вопрос другой, не подлежащий здесь нашему рассмотрению. Что касается Белинского, то он и здесь высказывал положение, совершенно верное в *социологическом смысле*. В переводе на наш нынешний язык оно означает, что общественные учреждения возникают не потому, что кто-то захотел установить именно эти, а не другие учреждения [1], а потому, что они отвечают известным общественным потребностям, возникшим в процессе исторического развития и определившим собою то волевое движение, которое побуждает «общественного человека» к созданию данных учреждений. Усвоить себе эту истину — значит навсегда *распроститься с утопизмом*.

Говорят обыкновенно, что в период своего «примирения с действительностью» Белинский жертвовал личностью во имя «общего». Мы скоро увидим, что он и сам готов был делать себе подобный упрек. Но этот упрек основывается на недоразумении.

«Человек есть частное и случайное по своей личности, — говорит Белинский в той же статье, — и необходимое по духу, выражением которого служит его личность. Отсюда выходит двойственность его положения и его стремлений; его борьба между своим «я» и тем, что̀ находится вне его «я», составляет его «не-я»... Чтоб быть действительным человеком, а не призраком, он должен быть *частным выражением общего* или *конечным проявлением бесконечного*. Вследствие этого он должен отрешиться от своей субъективной личности, признав ее ложью и призраком, должен смириться перед мировым, общим, признав только его истиною и действительностью. Но как это *мировое* или *общее* находится не в нем, а в объективном мире, он должен сродниться, слиться с ним, чтобы после, усвоив объективный мир в свою субъективную собственность, стать снова субъективною личностию, но уже действительною, уже выражающею собой не случайную частность, а общее, мировое, — словом, стать духом во плоти» [2].

Белинский «жертвует» *только* такой личностью, «частные» и «случайные» стремления которой *противоречат* «мировому или общему». Но ошибочно было бы думать, что, по его мнению, подобное противоречие неизбежно. Личность может явиться частным выражением общего, т. е. выразить своими стремлениями великие задачи своего времени. Такая личность назы-

вается у Белинского «действительным человеком» и «духом во плоти». И он никогда не имел ни малейшего желания «жертвовать» подобной личностью. Наоборот, на ее стороне были самые горячие его симпатии.

Но то правда, что «действительный человек» или «дух во плоти» должен был, по тогдашнему мнению Белинского, «смириться» перед окружающей его действительностью, признав ее необходимым выражением «мирового или общего». В статье «Менцель, критик Гёте» он пишет: «Разум не создает действительности, а сознает ее, предварительно взяв за аксиому, что все, что̀ есть, все то и необходимо, и законно, и разумно. Он не говорит, что такой-то народ хорош, а все другие, непохожие на него, дурны, что такая-то эпоха в истории народа или человека хороша, а такая-то дурна, но для него все народы и все эпохи равно велики и важны, как выражения абсолютной идеи, диалектически в них развивающейся. Для него возникновение и падение царств и народов не случайно, а внутренно-необходимо, и самая эпоха римского разврата есть не предмет осуждения, а предмет исследования» [1]. Тут сразу бросается в глаза два крупных промаха против *диалектики* Гегеля. Во-первых, необходимо, т. е. действительно, далеко не все то, что есть. Мы уже знаем, что, по Гегелю, «действительное» выше просто существующего. Во-вторых, делая предметом своего исследования «римский разврат», верный ученик Гегеля отнюдь не должен был «смириться» перед ним. Он должен был, напротив, осудить его именно потому, что он является продуктом разложения старой, *отживающей* действительности. Эти две ошибки весьма характерны для тогдашнего настроения и образа мыслей Белинского. Но после сказанного нами выше о двойственном характере гегелевой философии едва ли нужно повторять, что Белинский сделал эти две ошибки не вследствие непонимания Гегеля, а вследствие слишком последовательного усвоения той стороны его философии, которая выразилась в предисловии к «Philosophie des Rechts» *.

«Смирившись» перед действительностью, Белинский в течение некоторого времени чувствует твердую почву под ногами и испытывает давно уже неиспытанное им нравственное спокойствие. Он говорит, что действительность ввела его в действительность и что теперь им все довольны и он всеми доволен. Как известно, он даже определился на службу в Межевой институт и наслаждался открывшейся перед ним практической деятельностью. Но это отрадное настроение было непродолжительно. В октябре 1839 г., т. е., *значит, еще до напечатания статьи о Бородинской битве,* Белинский испытывал, по его собствен-

* [«Философии права».]

ному признанию, тяжелые нравственные мучения. «Для меня никто не существовал, — говорит он, — ибо я сам был мертв» [1]. Это новое «распадение», вероятно, было вызвано отчасти тем, что нелегко было отказаться ему от старого, хотя и «абстрактного», но все-таки свободолюбивого идеала. Панаев и Герцен рассказали в своих воспоминаниях, какие волнующие, полные потрясающего драматизма разговоры пришлось вести Белинскому со своими друзьями после «примирения с действительностью». Обнаружился [2] в этом тяжелом настроении также и недостаток личного счастья. Однако все это сравнительно легко перенес бы Белинский, если бы философия Гегеля, в том виде, в каком он усвоил ее тогда, могла в самом деле разрешить мучившие его вопросы. Главная беда была в том, что она не могла разрешить их. В письме к Боткину, оконченному в первых числах февраля 1840 г., Белинский восклицает: «Смешно и досадно; любовь Ромео и Юлии есть общее, а потребность любви или любовь читателя есть частное и призрачное. Жизнь в книгах, а в жизни — ничто...» [3]. Почему ж «в жизни — ничто»? Когда же Гегель говорил это? Никогда! Но если задача мыслящего человека сводится к познанию и созерцанию «действительности», то ему не остается ничего, кроме «жизни в книгах». «Абсолютные» выводы Гегеля не могли удовлетворить Белинского, и его неудовлетворенность ими снова вернула его к тому «распадению», от которого он надеялся избавиться, «смирившись» перед действительностью.

Белинский надеялся, что философия укажет ему путь к человеческому счастью. А философия Гегеля — повторяем и просим заметить: в том виде, в каком она была усвоена тогда Белинским, — утверждала, что «абсолютная» цель исторического движения уже достигнута и что, следовательно, дальнейшие разговоры о человеческом счастье являются праздной болтовней. Белинский сгоряча способен был смириться и перед этим утверждением; однако оно слишком противоречило его природе, чтоб он долго мог оставлять его без протеста. Из его переписки видно, что именно с этой стороны он подходил к разрыву с «философским колпаком Егора Федоровича». В письме к Боткину от 13 июня 1840 г. он сообщает, что «совершенно помирился с французами», которых он, как мы знаем, превозносил в эпоху своего фихтеанства и против которых он гремел в медовый месяц своего увлечения Гегелем. «Их всемирно-историческое значение велико, — говорит он. — Они не понимают абсолютного и конкретного, но живут и действуют в их сфере» [4]. И рядом с этим примирением с французами идет отвращение от *русской*, еще недавно столь любезной Белинскому действительности. В том же письме мы читаем: «Любовь моя к родному, к русскому, стала грустнее: это уже не прекраснодушный энтузиазм, но

страдальческое чувство. Все субстанциальное в нашем народе велико, необъятно, но определение гнусно, грязно, подло» [1]. Как же можно «смиряться» перед подобной действительностью? И Белинский уже не смиряется перед нею. В письме от 4 октября 1840 г. * он восклицает: «Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусною действительностию! Да здравствует великий Шиллер, благородный адвокат человечества, яркая звезда спасения, эманципатор общества от кровавых предрассудков предания! Да здравствует разум, да скроется тьма! как восклицал великий Пушкин. Для меня теперь *человеческая личность* выше истории, выше общества, выше человечества. Это мысль и дума века! Боже мой, страшно подумать, что̀ со мною было — горячка или помешательство ума, — я словно выздоравливающий» [2].

IV

Письма Белинского, относящиеся ко времени этого нового и последнего разрыва с действительностью, производят такое сильное впечатление своим страстным и симпатичным тоном, что под его влиянием читатели нередко упускают из виду теоретическую сторону дела. Так, и до сих пор еще многие убеждены, что, отбросив далеко от себя «философский колпак Егора Федоровича», Белинский совершенно расстался с философией Гегеля. Но это совсем не так.

Уже после своего восстания против «колпака» Белинский, проклиная свои статьи о Бородине и о Менцеле, продолжал считать началом своей духовной жизни то время, когда он увлекался Гегелем. Он называет это время «лучшим, по крайней мере, примечательнейшим временем» своей жизни. Да и статью о Бородинской битве он осуждает не безусловно. Он говорит: «Идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки «Очерки Бородинского сражения», верна в своих основаниях». Но он признает теперь, что не сумел воспользоваться, как следовало, этой в основе верной идеей: «Должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного, и без которого человечество превратилось бы в стоячее и вонючее болото» [3]. Развить идею отрицания значило открыть, каким образом данная действительность процессом своего собственного развития приводится к своему отрицанию. Как ни гениален был Белинский, он не мог открыть это по той простой причине, что он совсем не обладал необходимыми для этого данными: их еще не было налицо в слишком нераз-

* К тому же Боткину. Предупреждаем читателя, что все письма, которые мы будем цитировать, не называя адресата, писаны были Белинским именно к этому своему московскому другу.

витой тогда русской жизни. Да и на Западе лучшие передовые умы — в лице так называемого левого крыла гегелевой школы, а потом, и гораздо более, в лице Маркса и Энгельса — только еще намечали тот путь, который должен был привести к пониманию процесса внутреннего развития нынешнего общества. Поэтому Белинский, восстав против «колпака», стал «развивать идею отрицания» не путем диалектического анализа действительности, а путем апелляции к отвлеченному понятию *человеческой личности*. «Пора, — писал он теперь, конечно, в одном из своих писем, так как цензура не позволила бы говорить это в статьях, — освободиться личности человеческой, и без того несчастной, от гнусных оков неразумной действительности, мнения черни и предания варварских времен» [1]. По своему обыкновению, он весь отдался овладевшей им новой мысли. «Личность человеческая, — пишет он, — сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество по-маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную» [2]. Под влиянием этой любви к человечеству, которая, конечно, никогда его не покидала, но только приняла теперь новый вид, «неистовый Виссарион» скоро пришел к социализму. В письме от 8 сентября 1841 г. мы читаем: «Я теперь в новой крайности — это идея *социализма,* которая стала для меня идеею идей... альфою и омегою веры и знания... Она (для меня) поглотила и историю, и религию, и философию. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всех, с кем встречался я на пути жизни»... [3]

Можно было бы думать, что хоть эта новая идея принесла с собою Белинскому столь давно им желанное нравственное успокоение. Увы! В том же самом письме слышатся следующие мрачные ноты: «Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельности нет жизни. Источник интересов, целей и деятельности — субстанция общественной жизни... Мы люди без отечества — нет, хуже, чем без отечества: мы люди, которых отечество — призрак, и диво ли, что сами мы — призраки?» [4]

Откуда же брались теперь эти мрачные ноты? Белинского не удовлетворяла *отвлеченная идея* социализма. Он недаром не любил отвлеченностей и недаром прошел превосходную школу гегелевой логики. Он не мог забыть того, что «субстанция общественной жизни» служит источником интересов, целей и деятельности. Что понимает он под «субстанцией общественной жизни»? Нечто иное, как *совокупность общественных отношений*. И когда он говорит, что эта «субстанция» порождает стремления и деятельность человека, это у него значит, что он считает серьезными и плодотворными *только такие* стремления и *только такую* деятельность, которые опираются на объективный ход

общественного развития. «Субстанция» русской жизни враждебна прогрессивным стремлениям и прогрессивной деятельности. Поэтому русские сторонники прогресса оказываются «призраками».

Слово призраки нам уже хорошо знакомо. Мы слышали его от Белинского еще в эпоху его увлечения Фихте. Тогда этим словом он обозначал действительность. Во втором периоде своего развития, т. е. «смирившись» перед действительностью, он объявил призраком идеал, вступающий в противоречие с ней. В третьем акте своей умственной драмы он снова восстал против действительности, но люди, отрицающие действительность во имя идеала, по-прежнему представляются ему призраками. Разница только в том, что прежде, находясь под влиянием знаменитого «колпака», он *ненавидел* эти «призраки», а теперь, отшвырнув от себя колпак, он сочувствует им от всей души и считает самого себя одним из них. Оказывается, стало быть, что восстание против действительности не вполне «примирило» его с идеалом. В чем же дело?

Белинский признает нравственную правомерность идеала, но не умеет связать его с «субстанцией» русской действительности. Поэтому его идеал опять оказывается абстрактным и потому бессильным. «Действительность разбудила нас и открыла нам глаза, — говорит Белинский в том же письме, — но для чего?.. Лучше бы закрыла она нам их навсегда, чтобы тревожные стремления жадного к жизни сердца утолить сном ничтожества...» [1]

Не встречая в тогдашней России ни одного объективного начала, способного привести в своем развитии к отрицанию «гнусной действительности», Белинский начал ожесточаться даже против народа, которому он, разумеется, от всей души сочувствовал. В письме к Боткину, по поводу смерти Кольцова, немало пострадавшего от деспотизма своего отца, Белинский спрашивает: «Да и чем виноват этот отец, что он мужик? И что он сделал особенного?.. Я не могу молиться ни за волков, ни за медведей, ни за бешеных собак, ни за русских купцов и мужиков, ни за русских судей и квартальных; но и не могу питать к тому или другому из них личной ненависти» [2]*.

---

* Подобные выходки его против «мужиков» подали повод к появлению в нашей литературе того мнения, согласно которому в 40-х годах Белинский был в кружке западников представителем чуть ли не антидемократического — или, по крайней мере, равнодушного к тяжелому положению народа — направления, между тем как Грановский и Герцен представляли собою народолюбивые тенденции этого кружка (см. ст. г. *Ч. Ветринского,* Т. Н. Грановский. — Западники и славянофилы в 1844—1845 гг.) [3]. Мы, наоборот, очень склонны думать, что, крайний во всех своих чувствах, Белинский и глубиной симпатии к угнетенному народу превосходил остальных членов западнического кружка.

Мы опять видим Белинского в состоянии «распадения», не перестававшего мучить его чуть ли не с самого начала его сознательной жизни. Стараясь вылечиться от этой болезни, он утешает себя надеждой на широкое развитие «русской личности» в будущем. «Русская личность пока — эмбрион, — писал он Боткину в марте 1847 г., — но столько широты и силы в натуре этого эмбриона, как душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость... Не думай, чтобы я в этом вопросе был энтузиастом. Нет, я дошел до его решения (для себя) тяжким путем сомнения и отрицания» [1]. Это решение являлось для него также некоторым ручательством за будущее всего русского народа. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» он говорит: «Мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе все чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания...» [2]

V

Это был тот же самый путь отрадных догадок и пророчеств. по которому так далеко ушли славянофилы и народники, Кавелин говорит, что однажды ему пришлось присутствовать при разговоре, в котором Белинский выражал ту славянофильскую мысль, что Россия лучше Запада сумеет разрешить исторический спор труда с капиталом. Утопический социализм, к которому склонился Белинский, расставшись с «колпаком» Гегеля, давал обильную пищу подобным мечтаниям. Но Белинский самым характером своего диалектического ума был застрахован от полного и продолжительного увлечения ими. В цитированной нами статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» он, защищая реформу Петра от славянофильских нападок, замечает: «Подобные события в жизни народа слишком велики, чтобы быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый может давать произвольное направление легким движением весла. Вместо того чтобы думать о невозможном и смешить всех на свой счет самолюбивым вмешательством в исторические судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизменимую действительность существующего, действовать на его основании, руководясь разумом и здравым смыслом, а не маниловскими фантазиями» [3]. В другом месте он, не закрывая глаз на отрицательные стороны петровских реформ, оговаривается: «Но нельзя остановиться на признании спра-

ведливости какого бы то ни было факта, а должно исследовать его причины, в надежде в самом зле найти и средства к выходу из него» [1]. Он утверждает, что средство для борьбы с неблагоприятными последствиями петровских реформ надо искать в самих этих реформах, т. е. в тех новых элементах, которые были внесены ими в русскую жизнь. Это вполне правильный взгляд на вопрос, и, высказывая его, Белинский опять поднимался на ту теоретическую высоту, которой он достигал, ставя перед собой — в статье о Бородинской битве — задачу объяснения действительности ходом создавшего ее исторического движения. И, пока он держался на этой высоте, он очень хорошо видел несостоятельность «абстрактного идеала» и недостатки отвлеченного метода мышления. Он говорил: «Безусловный или абсолютный способ суждения есть самый легкий, но зато и самый ненадежный; теперь он называется абстрактным или отвлеченным» [2]. Ошибка славянофилов, с которыми он вел такую жестокую войну в то время, была, в его глазах, прежде всего *методологической ошибкой:* «Они произвольно упреждают время, процесс развития принимают за его результат, хотят видеть плод прежде цвета и, находя листы безвкусными, объявляют плод гнилым и предлагают огромный лес, разросшийся на необозримом пространстве, пересадить в другое место и приложить к нему другого рода уход. По их мнению, это не легко, но возможно» [3]. Это поразительно меткое критическое замечание дает нам возможность составить себе понятие о том, как должен был бы Белинский отнестись к народникам, целиком повторявшим методологическую ошибку славянофилов.

Во всяком случае несомненно, что в конце своей жизни он совершенно отрицательно относился к социалистам-утопистам, о которых он говорил тогда, что они выродились из фантазий гениального Руссо. Луи Блан, которого он ставил когда-то очень высоко, сравнивается им теперь с Шевыревым [4]*. Надо заметить, что взгляд Луи Блана на Вольтера был, по мнению Белинского, верен сам по себе, но он в конец искажался тем, что в нем отсутствовала историческая перспектива. Мысль Белинского с особенной энергией сосредоточивается теперь над выработкой той исторической перспективы, которая помогла бы ему прочно обосновать свои надежды на будущее. Это очень хорошо видно из его письма к Анненкову от 15 февраля 1848 г. Письмо это до такой степени важно для истории его умственного развития, что мы считаем необходимым привести из него длинный отрывок:

---

* За его несправедливо отрицательное отношение к Вольтеру. По поводу того же отношения Белинский в письме к Анненкову от 15 февраля 1848 г. выражается весьма энергично: «Читаю теперь романы Вольтера и ежеминутно плюю в рожу дураку, ослу и скоту Луи Блану» [5].

«Из Руссо, — говорит Белинский, — я только читал его «Исповедь» и, судя по ней, да и по причине религиозного обожания ослов, возымел сильное омерзение к этому господину... Но что за благородная личность Вольтера! Какая горячая симпатия ко всему человеческому, разумному, к бедствию простого народа! Что он сделал для человечества! Правда, он иногда называет народ vile populace *, но за то, что народ невежественен, суеверен, изувер, кровожаден, любит пытки и казни. Кстати: мой верующий друг и наши славянофилы сильно помогли мне сбросить с себя мистическое верование в народ. Где и когда народ освободил себя? Всегда и все делалось через личности. Когда я в спорах с вами о буржуазии называл вас консерватором, я был осел в квадрате, а вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной, а народ тут может по временам играть пассивно-вспомогательную роль. Когда я при моем верующем друге сказал, что для России теперь нужен новый Петр Великий, он напал на мою мысль, как на ересь, говоря, что сам народ должен все для себя сделать. Что за наивная, аркадская мысль!.. После этого отчего же не предположить, что живущие в русских лесах волки соединятся в благоустроенное государство, заведут у себя сперва абсолютную монархию, потом конституционную и, наконец, перейдут в республику? Пий IX в два года доказал, что значит великий человек для своей земли. Мой верующий друг доказывал мне еще, что избави-де бог Россию от буржуазии. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию. Польша лучше всего доказала, как крепко государство, лишенное буржуазии с правами» [1].

Кажется, как будто Белинский продолжает стоять на отвлеченной точке зрения человеческой личности. Это, по-видимому, подтверждается словами: «всегда и все делалось через личности», и тем убеждением, что для России нужен новый Петр Великий. Но зачем же, собственно, он нужен? Только затем, чтобы дать новый толчок *экономическому развитию России*. И в этом заключается главнейшая особенность новой теории Белинского. *Будущее развитие России ставится теперь им в зависимость от ее экономического развития:* для гражданского развития России необходимо превращение дворянства в буржуазию. Мы видим теперь, что для развития России в капиталистическом направлении достаточно было экономических последствий той реформы, которая была сделана историческим Петром. Но это не уменьшает в наших глазах проницательности

* [черные]

Белинского; мы все-таки должны признать, что он совершенно правильно определил, где может быть найдена разгадка будущей судьбы России как культурной страны *.

Неверно было и то, что народу, т. е., собственно, пролетариату, навсегда суждено оставаться пассивным орудием буржуазии [2]. Этот взгляд Белинского был неверен по отношению к Западной Европе; неверен он был и по отношению к России [3]. Неизбежность развития капитализма в нашей стране не только не осуждала рабочий класс [4] на пассивность, но впервые отводила место — и притом чрезвычайно широкое место — для его исторической самодеятельности. Однако и тут ошибка Белинского не так велика, как представляется с первого взгляда. Ее тоже следует рассматривать в исторической перспективе. Ведь социалисты-утописты, которых Белинский сравнивает теперь со славянофилами, тоже отводили «народу» совершенно пассивную роль в своих построениях: они тоже надеялись только на высшие классы. Лишь научный социализм правильно определил то участие, которое суждено принять «народу» в прогрессивном развитии современного общества. Белинский не дожил до той поры, когда научный социализм окончательно сложился в стройную теорию. Но его гениальная мысль, уже вскоре после выступления его на литературное поприще, поставила перед ним такие теоретические задачи, правильное решение которых прямым путем вело к научному социализму. Именно потому у него и не могло быть продолжительного мира с «абстрактным идеалом». Он говорил: «Все наши вожди Моисеи, а не Навины» [5]. И его самого можно назвать Моисеем, стремившимся вывести себя и своих единомышленников из бесплодной пустыни «абстрактного идеала».

VI

Переходя к литературным взглядам Белинского, мы прежде всего заметим, что немецкая философия имела на них такое же решающее влияние, как и на его общественные взгляды. Очень заблуждались те историки нашей литературы, которые находили, что увлечение Белинского Гегелем вредно повлияло на развитие его эстетических понятий. На самом деле все эти понятия именно сильными своими сторонами всецело корени-

* В своем «Дневнике» Герцен писал 17 мая 1844 г., что Белинский смотрит с отчаянием на славянский мир, не понимая его [1]. Теперь приходится сказать, что Белинский гораздо вернее Герцена определил социологические условия, необходимые для дальнейшего развития России в частности и славян вообще.

лись в немецкой философии, и, в частности, в философской системе Гегеля.

Влияние немецкой философии на развитие нашей литературной критики начало сказываться еще раньше появления Белинского. Так, его непосредственный предшественник в критической области, Надеждин, справедливо считается проводником в нашу литературу эстетических взглядов Шеллинга. Да и раньше Надеждина были у нас писатели, сознававшие, что именно в немецкой философии следует искать указаний для выработки правильного взгляда на состояние и задачи русской литературы. Скончавшийся в марте 1827 г. Д. Веневитинов в своей заметке «Несколько мыслей в план журнала» говорил: «Итак, философия и применение оной ко всем эпохам наук и искусств — вот предметы, заслуживающие особенное наше внимание, предметы тем более необходимые для России, что она еще нуждается в твердом основании изящных наук и найдет сие основание, сей залог своей самобытности и, следственно, своей нравственной свободы в литературе, в одной философии, которая заставит ее развить свои силы и образовать систему мышления» [1]. Та же заметка объясняет нам, почему тяготели к немецкой философии мыслящие люди того времени. Перед Веневитиновым стояло два вопроса: «Какими силами двигается она (Россия. — *Г. П.*) к цели просвещения? Какой степени достигла она в сравнении с другими народами на сем поприще, общем для всех?» [2] Русская литература не отвечала на эти вопросы, и, по замечанию Веневитинова, «беспечная толпа наших литераторов» даже не подозревала их важности. Немецкая философия, конечно, тоже не занималась этими вопросами, поскольку они относились специально к России. Но она давала метод, обещавший привести к их решению. Держась точки зрения развития, она смотрела на литературу каждого данного народа, как на выражение его «духа», в свою очередь являющегося одной из ступеней в развитии абсолюта. Поэтому выработать правильный взгляд на литературу данного народа значило прийти к пониманию его «духа», т. е. исторической роли. Отсюда видно, что литературные взгляды людей, усвоивших себе немецкую философию, должны были находиться в самой тесной связи с их философски-историческими, а следовательно и публицистическими, взглядами. И неудивительно, что Белинский, обладавший, как мы видели, чутьем гениального социолога, оказался в то же время и самым глубокомысленным из наших критиков.

Влияние немецкой философии заметно уже на первой его статье «Литературные мечтания», написанной значительно раньше его увлечения Гегелем. «Каждый народ, — говорит он там,— вследствие непреложного закона провидения, должен выражать

своею жизнью одну какую-нибудь сторону жизни целого человечества; в противном случае этот народ не живет, а только прозябает, и его существование ни к чему не служит» [1]. Сообразно с этим и литература каждого данного народа — если только она действительно заслуживает названия литературы — представляет собой, по мнению Белинского, «собрание такого рода художественно-словесных произведений, которые суть плод свободного вдохновения и дружных (хотя и неусловленных) усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих и воспроизводящих в своих изящных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнию которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений» [2]. Русская литература еще не является выражением внутренней жизни русского народа. В ней было известное число талантов и известное число художественных произведений. Но исключения, как бы блестящи они ни были, только подтверждают собой общее правило. Наша литература была подражанием западным литературам. Потому Белинский говорит и «повторяет это с восторгом, с наслаждением», что у нас нет литературы. Он считает своею нравственною обязанностью настойчиво доказывать это. «Благородная нищета, — восклицает он, — лучше мечтательного богатства! Придет время — просвещение разольется в России широким потоком, умственная физиономия народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будут на все свои произведения налагать печать русского духа. Но теперь нам нужно ученье! ученье! ученье!» [3]

Когда же у нас будет литература? Она будет тогда, когда у нас образуется общество, в котором выразится физиономия «могучего русского народа». Это не только литературная программа, а также программа желательного общественного развития. Понятно поэтому, что решение вопроса о нашей литературе сознательно связывается Белинским с вопросом о ходе нашего общественного развития со времен Петра Великого. Таким образом, уже в первой своей статье Белинский старается найти для своих литературных суждений философски-историческое, или, как мы сказали бы теперь, социологическое, основание.

Если литература служит выражением народной жизни, то первое требование, которое может быть к ней предъявлено критикой, состоит в правдивости. Отсюда видно, как благодетельно было влияние немецкой философии на развитие нашей критики. Немецкая философия подготовила критику к правильной оценке того реализма, который так блестяще расцвел в на-

шей литературе с появлением Гоголя. Известно, с каким восторгом приветствовал Гоголя Белинский. В замечательной статье «О русской повести и о повестях Гоголя», появившейся в 1835 г. в «Телескопе», Белинский так характеризует достоинство этих повестей: «*Совершенная истина жизни* (в повестях Гоголя) тесно соединяется с простотою вымысла. Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее; он рад выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает нимало и ее безобразия. В том и другом случае он верен жизни до последней степени. Она у него настоящий портрет, в котором все схвачено с удивительным сходством, начиная от экспрессии оригинала до веснушек лица его» [1]. Но жизнь чрезвычайно разнообразна в своих проявлениях, и нельзя требовать от всех художников одинакового к ней отношения: один подходит к ней с одной стороны, другой — с другой. «Если Ган Исландец, — говорит Белинский, — может существовать в природе, то я, право, не понимаю, чем он хуже какого-нибудь Карла Моора или даже маркиза Позы? Я люблю Карла Моора, как человека, обожаю Позу, как героя, и ненавижу Гана Исландца, как чудовище; но как создания фантазии, как частные явления общей жизни они для меня все равно прекрасны» [2]. В этих строках, опять взятых нами из «Литературных мечтаний», полезно отметить отношение Белинского к Шиллеру; он «любит» его Карла Моора и «обожает» маркиза Позу. Считал ли он тогда «Разбойников» и «Дона-Карлоса» верным изображением жизни? Не совсем. Но он относил их, как и «почти все драмы Шиллера», к числу таких произведений, «которых предмет есть жизнь действительная, но в которых эта жизнь как бы пересоздается и преображается или вследствие какой-нибудь любимой, задушевной мысли, или одностороннего, хотя и могучего, таланта, или, наконец, от избытка пылкости, не дающей автору глубже и основательнее вникнуть в жизнь и постичь ее так, как она есть, во всей ее полноте» [3]. Несколькими строками ниже Белинский замечает, что хотя Карл Моор говорит много, однако в его словах нет и тени фразеологии: «Дело в том, что здесь говорит не персонаж, а автор, что в целом этом создании нет истины жизни, но есть истина чувства; нет действительности, нет драмы, но есть бездна поэзии; ложны положения, неестественны ситуации, но верно чувство, но глубока мысль» [4]. Это место очень важно. Высказанный в нем Белинским взгляд на *эстетические достоинства драм* Шиллера остался у нашего критика неизменным до конца его жизни. И если тем не менее коренным образом изменялось его отношение *к самому* Шиллеру, то это объясняется переменами в публицистических, а не в эстетических взглядах Белинского. Мы сейчас увидим, как отра-

зилась эта перемена на его критической деятельности, а теперь напомним читателю, что в статьях, цитируемых нами теперь, мы имеем дело еще с тем Белинским, который не только не мирился с окружавшей его действительностью, но презирал ее и в этом своем отрицательном настроении приближался к тому периоду своей жизни, когда, увлекшись философией Фихте, он объявил идеал действительностью, а действительность — призраком. В этом отношении чрезвычайно характерно окончание его статьи «Ничто о ничем или отчет издателя «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы». Мы там читаем: «Литература есть народное самосознание, и там, где нет этого самосознания, там литература есть или скороспелый плод, или средство к жизни, ремесло известного класса людей. Если и в такой литературе есть прекрасные изящные создания, то они суть исключительные, а не положительные явления, а для исключений нет правила...» [1]

С точки зрения человека, придающего огромное значение идеалу, не может казаться достойной уважения такая действительность, которая в своем развитии еще не привела народ к самосознанию. И для такого человека естественно — при известных привычках ума — объявить *такую* действительность призраком. Но объявить призраком неприятную действительность еще не значит покончить с ней. Где путь, ведущий народ к самосознанию? Мы уже знаем, что в эту эпоху Белинский видел такой путь в просвещении. Нам известно также, что в статье «Литературные мечтания» он высказал уверенность в том, что русское правительство очень серьезно озабочено интересами просвещения. Но он, разумеется, не мог думать, что служители идеала имеют право успокоиться на своей вере в просветительные намерения правительства. Нет, эти люди с своей стороны должны работать на пользу просвещения. Особенно много могут сделать в этом случае литературные критики. По тогдашнему мнению Белинского, критика должна поставить себе у нас главным образом просветительную задачу. «У нас, — писал он в статье «О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя» (1836), — принесет пользу критика высшая, трансцендентальная: она необходима; но она у нас должна являться многоречивою, говорливою, повторяющею самое себя, толковитою. Ее целью должен быть не столько успех науки, сколько успех образованности. Наша критика должна быть гувернером общества и на простом языке говорить высокие истины. В своих началах она должна быть немецкою, в своем способе изложения — французскою. Немецкая теория и французский способ изложения — вот единственный способ сделать ее и глубокою и общедоступною» [2],

Подобно французским просветителям XVIII века, Белинский держался тогда того убеждения, что «мнения правят миром». Увлечение субъективным идеализмом Фихте было бы особенно благоприятно для яркого литературного выражения субъективного взгляда на историю. Но внешние обстоятельства сложились так, что именно в эпоху этого увлечения Белинский вынужден был прервать свою литературную деятельность. В октябре 1836 г. «Телескоп», выходивший в этом году вместе с «Молвой», был запрещен за напечатание знаменитого первого «Философического письма» Чаадаева, и Белинскому представился прекрасный случай проверить основательность своей надежды на просветительные намерения правительства. Тогда он, должно быть, с особенной силой почувствовал себя и себе подобных служителей идеала «нулями». Тяжесть его положения увеличивалась еще тем, что закрытие «Телескопа» лишило его почти всяких средств к существованию. Но бедность, пережитая им в то время, не остановила энергичной работы его мысли. Как уже сказано выше, в 1837 г. начинается его увлечение Гегелем, и когда весной 1838 года он вновь выступает литературным критиком на страницах «Московского Наблюдателя», на некоторое весьма, впрочем, непродолжительное время попавшего в руки его друзей, он говорит уже как человек, презрительно повернувшийся спиной к абстрактному идеалу и примирившийся с действительностью.

В критической статье, написанной по поводу 2-го издания сочинений Фонвизина и 5-го издания сочинений Загоскина, Белинский вслед за Ретшером определяет задачи философской критики художественных произведений. «Художественное произведение, — говорит он там, — есть органическое выражение конкретной мысли в конкретной форме. Конкретная идея есть полная, все свои стороны обнимающая, вполне себе равная и вполне себя выражающая, истинная и абсолютная идея, — и только конкретная идея может воплотиться в конкретную, художественную форму. Мысль в художественном произведении должна быть конкретно слита с формою, т. е. составлять с ней одно, теряться, исчезать в ней, проникать ее всю» [1]. Сообразно с этим философская критика художественного произведения должна прежде всего определить идею, воплотившуюся в нем. Затем она должна убедиться в том, что идея, вдохновившая собою художника, проникает все части разбираемого произведения. В истинно художественном произведении нет ничего лишнего; все его части составляют одно неразрывное целое, и даже те из них, которые, по-видимому, чужды основной его идее, служат для более полного ее выражения. Для примера Белинский приводит «Отелло», в котором «только главное лицо выражает идею ревности, а все прочие заняты

совершенно другими интересами и страстями; но, несмотря на то, основная идея драмы есть *идея ревности,* и *все* лица драмы, каждое имея свое особное значение, служат к выражению основной идеи» [1].

Полное понимание художественного произведения возможно только через посредство философской критики, обязанность которой заключается в том, чтобы найти в частном и конечном проявление общего и бесконечного. Но историческая критика должна также уметь определить историческое значение данного произведения искусства. Есть немало таких произведений, которые не имеют большой цены в художественном смысле, но очень важны как материал для истории искусства. С исторической точки зрения рассматривает Белинский многие явления русской литературы. Кантемир, Сумароков, Херасков, Богданович, Фонвизин, Капнист и прочие важны в глазах Белинского как «моменты развития общественности» в России.

С той же точки зрения приобретает свое относительное достоинство и французская критика. Белинский упрекает ее в том, что она не признает законов изящного и не обращает внимания на художественные достоинства произведения, ограничиваясь отысканием в нем «момента гражданского и политического». Недоволен Белинский и тем, что французская критика слишком много занимается личностью писателя и внешними обстоятельствами его жизни. По его словам, для понимания трагедий Эсхила и Софокла нам вовсе не нужно знать, что делалось при этих писателях в Греции. В художественных произведениях французская критика ничего не объясняет; но она имеет свою цену там, где речь идет о произведениях, обладающих не художественным, а историческим значением: таковы, например, сочинения Вольтера.

VII

В этих замечаниях Белинского о французской критике немало верного, но еще больше в них ошибочного. Упрек, направляемый им против французской критики, применим, например, к Сент-Беву, который в своих литературных характеристиках в самом деле слишком увлекался частными подробностями жизни писателей, не обращая надлежащего внимания на общий характер той исторической среды, в которой они жили и действовали. Но Белинский был совершенно неправ, говоря, что для понимания греческой трагедии нет нужды знать историю Греции, а достаточно выяснить себе роль греческого народа в абсолютной жизни человечества. В этой его ошибке сказалась слабая сторона немецкого идеализма, объясняв-

шего историческое движение человечества законами развития «идеи» и смотревшего на историю, как на прикладную логику. Впрочем, в лице Гегеля абсолютный идеализм не всегда закрывал глаза на конкретные причины внутреннего развития человеческих обществ. В эту эпоху своей жизни Белинский гораздо больше Гегеля злоупотреблял априорными логическими построениями и пренебрегал фактами. Да оно и понятно. Мы уже знаем, что тогда он увлекался Гегелем не как диалектиком, а как провозвестником абсолютной истины. С точки зрения такой истины он и смотрел тогда на литературу. «Задача истинной критики, — говорит он в своем разборе «Очерков русской литературы» Н. Полевого, — отыскать в созданиях поэта общее, а не частное, человеческое, а не людское; вечное, а не временное; необходимое, а не случайное и определить на основании общего, т. е. идеи, цену, достоинство, место и важность поэта» [1]. Но если критике нет дела до временного, то это значит, что она вообще может игнорировать историю. Тут Белинский опять заходил несравненно дальше своего учителя Гегеля. Он писал о Вольтере: «Вольтер в своем сатанинском могуществе, под знаменем конечного рассудка, бунтовал против вечного разума, ярясь на свое бессилие постичь рассудком постижимое только разумом, который есть в то же время и любовь, и благодать, и откровение» [2]. С этим не мешает сопоставить следующий отзыв Гегеля о французском освободительном движении XVIII века — движении, в котором Вольтер играл, как известно, весьма выдающуюся роль: «Это был величественный восход солнца, — говорил Гегель. — Все мыслящие существа радостно приветствовали наступление новой эпохи. Торжественное настроение господствовало над этим временем, и весь мир проникся энтузиазмом духа, как будто совершилось впервые его примирение с божеством» [3]. Это совсем не похоже на то, что говорит Белинский. Но это было написано Гегелем-диалектиком, а не Гегелем — провозвестником абсолютной истины. Гегель — провозвестник абсолютной истины вовсе не склонен был «радостно приветствовать» приближение революционных событий. А ведь в эпоху своего «примирения с действительностью» наш критик шел именно за этим Гегелем.

Мы уже сказали, что, отбросив от себя «философский колпак» Гегеля, Белинский — вопреки почти общепринятому мнению об этом эпизоде его жизни — остался на точке зрения гегелевой философии. Разница была лишь в том, что прежде он увлекался «абсолютными» выводами Гегеля, а теперь стал применять его диалектический метод. Это особенно заметно на развитии его литературных взглядов: они изменились преимущественно в том смысле, что в них проник элемент диалектики.

Вот пример. Помирившись с действительностью, Белинский утверждал, что критика должна найти то «общее» и «необходимое», которое заключается в художественном произведении. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 г.», т. е. уже в самом конце своей деятельности [1], Белинский писал: «Поэт должен выражать не частное и случайное, но общее и необходимое» [2]. Нельзя не видеть, что это в сущности один и тот же взгляд. Но в этот взгляд проник элемент диалектики и произвел в нем чрезвычайно важные изменения. Теперь Белинский уже не противопоставляет «общего» «временному» и не отождествляет «временного» со «случайным». Теперь у него выходит, что «общее» развивается во времени, придавая временным явлениям их исторический смысл и их существенное содержание. «Временное» «необходимо» именно потому, что необходимо развитие «общего». «Случайно» только то, что не имеет никакого значения для хода этого развития. Так смотрит теперь Белинский. И при внимательном чтении тех его сочинений, которые относятся ко времени, последовавшему за восстанием его против «философского колпака», нетрудно видеть, что именно указанной нами переменой в основных его философских взглядах, т. е. проникновением в них диалектического элемента, обусловливаются самые важные из перемен, совершившихся в его литературных взглядах.

Покинув «абсолютную» точку зрения, Белинский стал иначе, нежели прежде, смотреть на историческое развитие искусства. Уже в замечательной статье о Державине, относящейся к 1843 г., он писал: «Нет идей, которые и оставались бы идеями; но всякая идея осуществляется как факт — как предмет или как действие. Осуществление идеи в факте имеет свои непреложные законы, из которых главнейший — *последовательность* и *постепенность*. Ничто не является вдруг, ничто не рождается готовым, но все, имеющее идею своим исходным пунктом, развивается по моментам, движется диалектически, из низшей ступени переходя на высшую. Этот непреложный закон мы видим и в природе, и в человеке, и в человечестве. Природа явилась не вдруг, готовая, но имела свои дни или свои моменты творения... Тот же закон существует и для искусства» [3]. Так как содержанием искусства служит та же вечная идея, которая своим диалектическим развитием определяет все историческое движение человечества, то понятно, что развитие искусства тесно связано со всем развитием общественной жизни. Великий поэт только потому и велик, что является органом и выразителем своего времени и своего общества. «Чтоб разгадать загадку мрачной поэзии такого необъятно колоссального поэта, как Байрон, — говорит Белинский, — должно сперва разгадать тайну эпохи, им выраженной, а для этого должно факелом

философии осветить исторический лабиринт событий, по которому шло человечество к своему великому назначению — быть олицетворением вечного разума, и должно определить философски градус широты и долготы того места пути, на котором застал поэт человечество в его историческом движении. Без того все ссылки на события, весь анализ нравов и отношений общества к поэту и поэта к обществу и к самому себе ровно ничего не объяснят» [1].

Теперь Белинский готов, кроме того, считаться также с влиянием географической среды — не в переносном, а в прямом смысле этих слов [2], — хотя, впрочем, эта сторона предмета слишком мало разработана в его сочинениях.

В эпоху своего увлечения абстрактным идеалом Белинский, как мы знаем, «любил» героев Шиллера. «Смирившись» перед действительностью, он писал, что первые произведения Шиллера, т. е. те самые, героев которых прежде так «любил» Белинский, решительно безнравственны в отношении к абсолютной истине и высшей нравственности. Шиллер в них «хотел осуществить вечные истины и осуществил свои личные и ограниченные убеждения, от которых потом сам отказался. Так как он в них задал себе задачу и назначил цель вне искусства, то из них и вышли поэтические недоноски и уроды, явления совершенно ничтожные в области искусства» [3]. После своего восстания против Гегеля Белинский называет Шиллера благородным адвокатом человечества, яркой звездой спасения и т. д. Кажется, нельзя измениться резче в своих отношениях к писателю. Но это только так кажется.

Почему Белинский опять превозносит теперь Шиллера? Потому, что он увлекается теперь идеей «личности», которая для него «выше истории, выше общества, выше человечества». Он не запрещает теперь мыслящей личности восставать против действительности; наоборот, он восхищается ее протестом против «кровавых предрассудков предания». Вместе с этим изменяются и его суждения о писателях, поэтически выражающих стремления личности, борющейся с общественными предрассудками. В этом и заключается вся тайна перемены в его отношении к Шиллеру. Белинский не называет теперь его драм безнравственными, он даже очень хвалит их, но хвалит с особенной точки зрения. Он называет шиллеровские драмы великими вековыми созданиями, тут же прибавляя, однако, что их не должно смешивать с настоящей драмой нового мира. Это значит, что они плохи как драмы и хороши лишь как лирические произведения. Вот почему Белинский и замечает: «Надо быть слишком великим лириком, чтобы свободно ходить на котурне шиллеровской драмы: простой талант, взобравшийся на ее котурн, непременно падает с него прямо в грязь. Вот

отчего все подражатели Шиллера так приторны, пошлы и несносны» [1].

Иначе сказать, на драмы Шиллера, *как на таковые,* Белинский всегда смотрел одними и теми же глазами. Изменялось только его отношение к свойственному этим драмам *субъективному элементу.* В эпоху своего «примирения» с действительностью Белинский сводил роль субъекта к созерцанию объективного разума этой действительности; все, что выходило за пределы этой созерцательной роли, осуждалось им как промах незрелого субъективного «мнения». А в эпоху своего *восстания* против действительности он не мог не сочувствовать тем «личностям», которые, подобно ему, боролись с рутиной. В третьем периоде своей жизни он сочувствовал тому, что резко осуждалось им во втором ее периоде и что нередко вдохновляло его в первом ее периоде. Но на литературные его суждения эти перемены влияли мало, а если и влияли, то разве лишь в смысле углубления этих суждений. Говоря это, мы имеем в виду особенно второй период его развития. Вот, например, в высшей степени важно следующее место в его статье об «Очерках Бородинского сражения»: «Мы думаем и убеждены, что уже проходит в нашей литературе время безотчетных возгласов с «ахами» и восклицательными знаками и точками для выражения глубоких идей без всякого смысла; что проходит уже время великих истин, с диктаторскою важностию изрекаемых и ни на чем не основывающихся, ничем не подтверждающихся, кроме личного мнения и произвольных понятий мнимого мыслителя... Вопрос не в том, *как кажется,* а в том, *как есть* в самом деле, и этот вопрос может решаться не *мнением,* а *мыслию.* Мнение опирается на случайном убеждении случайной личности, до которой никому нет дела и которая сама по себе — очень неважная вещь; мысль опирается на самой себе, на собственном внутреннем развитии из самой себя, по законам логики» [2].

Противопоставлять то, что есть на самом деле, тому, что только кажется, — значит отвергать приговоры, постановляемые во имя отвлеченных понятий, и стремиться обосновать свои суждения помощью анализа объективной действительности. Нечего и говорить, что от подобного стремления Белинский как литературный критик ровно ничего не терял, а очень много выигрывал.

Один из наших историков литературы высказал ту мысль, что в эпоху своего «примирения» с действительностью Белинский отвергал всю «субъективную лирику». Но всякая лирика субъективна. А между тем Белинский никогда не отвергал лирики Гёте или Кольцова.

VIII

Постараемся в немногих словах формулировать эстетический кодекс нашего критика.

Первый закон этого кодекса гласит, что поэт должен показывать, а не доказывать, мыслить образами, а не силлогизмами. Этот закон вытекает из того определения поэзии, согласно которому она есть непосредственное созерцание истины или мышление в образах.

Но если предмет поэзии есть истина, то правдивость составляет первое условие художественного творчества, а красота заключается в истине и простоте. Поэт должен изображать жизнь, как она есть, не прикрашивая ее и не искажая. Это второй закон художественного кодекса Белинского.

По смыслу его третьего закона, идея, лежащая в основе художественного произведения, должна быть конкретной идеей, охватывающей весь предмет, а не какую-либо его сторону.

В силу четвертого закона форма художественного произведения должна соответствовать его идее, а идея — форме.

Наконец, единству мысли должно соответствовать единство формы. Это значит, что все части художественного произведения должны составлять одно гармоническое целое. Это пятый и, если не ошибаемся, последний основной закон эстетического кодекса Белинского.

Против этого кодекса трудно возразить что-либо по существу. Как не признать, что форма художественного произведения должна соответствовать его идее или что поэт мыслит образами, а не силлогизмами? Но этот кодекс не помешал Белинскому осудить французскую «классическую» трагедию, а это осуждение было несомненной ошибкой. Еще в статье о сочинениях Державина (1843 г.) Белинский писал: «Задача истинной эстетики состоит не в том, чтоб решить, *чем должно быть искусство, а в том, что такое искусство*. Другими словами: эстетика не должна рассуждать об искусстве, как о чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале, который может осуществиться только по ее теории; нет, она должна рассматривать искусство как предмет, который существовал давно прежде ее и существованию которого она сама обязана своим существованием» [1]. Это как нельзя более справедливо. Но, обдумывая свой эстетический кодекс, Белинский не всегда помнил золотое правило, высказанное им в только что приведенных нами строках. В его литературных суждениях давала иногда чувствовать себя некоторая априорность, сказывавшаяся именно во взгляде на искусство, как на какой-то идеал, который может осуществиться только по данной теории. Чтобы понять происхождение этого недостатка, надо помнить, что, вырабатывая свой

кодекс, Белинский стоял на точке зрения немецкой *идеалистической* эстетики, которая, как и вся вообще немецкая идеалистическая философия, при всех огромных достоинствах своих страдала именно априорностью. Если мыслитель смотрит на историю вообще, а стало быть, и на историю искусства в частности, как на прикладную логику, то очень естественно, что у него нередко является искушение строить a priori * такие положения, которые могли бы быть правомерны лишь в качестве выводов из фактов. Белинскому, как и Гегелю, случалось поддаваться такому искушению.

К этому надо прибавить, что по причинам, которые мы не можем рассматривать здесь, немецкие эстетики еще со времен Лессинга вели более или менее решительную борьбу с французским классицизмом и что эта борьба обусловливала собою некоторую односторонность в их взгляде на французскую классическую литературу. Эта односторонность отчасти заразила собой и Белинского, литературные взгляды которого сложились под преобладающим влиянием немецкой философской эстетики.

Но это частности. В общем необходимо признать, что, именно опираясь на свой кодекс, Белинский мог оказать русской литературе огромные услуги, отбросив, по выражению А. Н. Пыпина, старый романтический хлам и проложив путь для утверждения реализма гоголевской школы. Ко всему этому надо прибавить, что и сам Белинский не всегда одинаково интерпретировал свой эстетический кодекс.

Вот пример. Идея художественного произведения должна охватывать предмет со всех сторон. Что это значит? В «примирительную» эпоху это значило у Белинского то, что поэтическое произведение должно изображать «разумность» окружающей поэта действительности. Если ж оно приводит нас к той мысли, что действительность не совсем разумна, то это показывает, что в нем изображена только одна сторона предмета. Такое истолкование указанного эстетического закона узко и неправильно. Идея ревности не охватывает всех отношений, существующих между мужчиной и женщиной в цивилизованном обществе. Такой конкретной идеи, которая со всех сторон охватывала бы то или другое отношение между людьми, не может быть: жизнь слишком сложна для этого. Белинский понял это, покинув свою абсолютную точку зрения, и потому он стал восхищаться, например, Жорж Занд, произведения которой прежде казались ему односторонними [1].

Перемены в общественных взглядах Белинского сильнее всего должны были отражаться, конечно, на его понятии о роли

---

* [независимо от опыта, до опыта]

искусства в общественной жизни. Во втором периоде Белинский утверждал, что искусство само себе служит целью. В последнем периоде — в этом отношении последний его период сближается с первым, отличаясь от него гораздо более ярким оттенком одной и той же мысли, — он оспаривает так называемую теорию чистого искусства, доказывая, что мысль об искусстве, отрешенном от жизни, есть мысль отвлеченная и мечтательная, которая могла родиться только у народа, чуждого живой общественной деятельности. Однако и теперь он не перестает твердить, что искусство прежде всего есть искусство, т. е. «воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир» [1]. Разница лишь в том, что прежде — во втором периоде — он смотрел на обязанность художника с абсолютной точки зрения, а теперь он смотрит на нее с точки зрения диалектической и потому понимает, что воспроизводящий действительность художник сам находится под ее влиянием. «Личность Шекспира, — говорит он, — просвечивает сквозь его творения, хотя и кажется, что он так же равнодушен к изображаемому им миру, как и судьба, спасающая или губящая его героев. В романах Вальтер-Скотта невозможно не увидеть в авторе человека, более замечательного талантом, нежели сознательно-широким пониманием жизни, тори, консерватора и аристократа по убеждению и привычкам. Личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, вне всяких влияний извне... Дух народа и времени на него не могут действовать менее, чем на других» [2]. Прежде Белинскому нравилась мысль известного стихотворения Пушкина «Чернь», теперь он возмущается ею. «Кто поэт для себя и про себя, презирая толпу, — говорит он в своей пятой статье о Пушкине, — тот рискует быть единственным читателем своих произведений» [3]. Не нравилась теперь Белинскому и мысль пушкинского «Поэта». Поэт должен быть чист не только тогда, когда Аполлон потребует его к своей священной жертве, но и всегда, в течение всей своей жизни. Отрицательное отношение к теории искусства для искусства представляет собой самое крепкое из тех звеньев, которые связывали критику Белинского с критикой 60-х и 70-х годов. На нем следует остановиться.

Белинский не всегда был справедлив в своем отношении к Пушкину. Он думал, что у Пушкина слово «чернь» означает народную массу, но так ли это? В статьях и письмах самого Белинского нередко встречаются нападки на чернь и на толпу. Можно ли было на этом основании упрекнуть его в презрении к народу? В «Ответе анониму» Пушкин восклицает:

Смешон, участия кто требует у света.
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра...

«Свет» не «народ», не совокупность бедняков, «живущих трудами рук своих».

Мысль стихотворения «Поэт» тоже вряд ли была правильно понята Белинским. Пушкин не дает в нем поэтам разрешения быть пошляками до тех пор, пока Аполлон не потребует их к жертве. Он только говорит, что даже зараженный пошлостью человек способен возрождаться под влиянием вдохновения. Эта мысль выражена в «Египетских ночах»; это верная и глубокая мысль.

Вообще возражения Белинского сторонникам чистого искусства мало убедительны [1]. Он нередко запутывался в собственных доводах. Чем же объясняются эти промахи гениального ума?

Восставши против Гегеля, Белинский перешел на точку зрения человеческой личности. Но понятие личности — отвлеченное понятие. Мы уже знаем, что грудь Белинского плохо дышала в атмосфере отвлеченности и что он до конца своей жизни стремился доработаться до конкретного миросозерцания. Это стремление чрезвычайно благотворно отразилось как на общественных, так и на литературных его взглядах. Но он не всегда был верен ему; недовольство «гнусной рассейской действительностью» приводило его иногда к таким суждениям, в основе которых лежали только те или другие отвлеченные понятия. Такие суждения были всегда благородны *с нравственной* стороны, но часто неудовлетворительны — *с теоретической*. К их числу принадлежат и вышеуказанные суждения Белинского о Пушкине; Пушкин такой поэт, для понимания которого необходимо покинуть отвлеченную точку зрения.

Но это в конце концов были только отдельные промахи. В общем и целом даже статьи о Пушкине — и даже в особенности эти замечательные статьи — показывают, в какой сильной степени удалось ему в последнем периоде своей жизни разрешить ту задачу, которую он ставил перед литературной критикой еще в статье о Бородинской годовщине: руководствоваться не тем, что кажется, а тем, что есть на самом деле, не мнением, а мыслью.

Но когда он стал приближаться к решению этой задачи, то обнаружилось, что она имеет не тот вид, в каком она ему представлялась прежде. Прежде он думал, что мысль опирается на самое себя, на собственное внутреннее развитие из самой себя, по законам «логики». И в этом убеждении, заимствованном у Гегеля, он оставался ещё долго после того, как восстал против действительности. Но к концу своей жизни он совсем расстался с идеализмом Гегеля и стал склоняться к материализму Фейербаха *. А по учению материализма сознание развивается

* Это особенно заметно в его статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.», где он излагает некоторые основные положения фейербаховой

не из самого себя: его развитие обусловливается бытием. Правда, эта истина не была приложена Фейербахом к объяснению истории вообще и истории идеологий в частности. Но этот пробел фейербаховского материализма отчасти пополнялся в том, что касается искусства, самим Гегелем, который в своей «Эстетике», несмотря на свою идеалистическую склонность к априорным построениям, все-таки довольно часто прибегал к чисто материалистическому объяснению развития искусства развитием общественных отношений. К тому же Белинский сам умел делать надлежащие выводы из раз найденных посылок. Как уже отмечено выше, в своем последнем периоде он ставил развитие искусства в причинную связь с «общим характером эпохи», т. е. с характером свойственного этой эпохе общественного движения. Конечно, он выражался тут довольно неопределенно, и эта неопределенность свидетельствовала о неясности его относящихся сюда взглядов. Но неясность взглядов объясняется их неразработанностью, а разработанными взгляды эти и не могли быть в то время. Важно было уже то, что мысль Белинского и здесь умела определить надлежащее направление, а также то, что даже свой неразработанный взгляд Белинский применял иногда в своих критических статьях поистине блестящим образом.

философии. Так, например, он пишет: «Вы, конечно, очень уважаете в человеке ум? — Прекрасно! — так останавливайтесь же в благоговейном изумлении перед этой массой мозга, где происходят все умственные отправления, откуда по всему организму распространяются, через позвоночный хребет, нити нерв, которые суть органы ощущений и чувств и которые исполнены каких-то до того тонких жидкостей, что они ускользают от материяльного наблюдения и не даются умозрению. Иначе вы будете удивляться в человеке следствию мимо причины или — что еще хуже — сочините свои небывалые в природе причины и удовлетворитесь ими. Психология, не опирающаяся на физиологию, так же несостоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии. Современная наука не удовольствовалась и этим: химическим анализом хочет она проникнуть в таинственную лабораторию природы, а наблюдением над эмбрионом (зародышем) проследить *физический* процесс *нравственного* развития». И далее: «Ум без плоти, без физиономии, ум, не действующий на кровь и не принимающий на себя ее действия, есть логическая мечта, мертвый абстракт. Ум — это человек в теле, или, лучше сказать, человек через тело, — словом, *личность*» [1]. Нельзя не узнать здесь основных положений философии Фейербаха, хотя видно, что новая — *материалистическая* — система понятий еще не вполне усвоена Белинским и потому он выражается иногда довольно неточно. В литературном обзоре следующего года, написанном, можно сказать, накануне смерти, Белинский, говоря о задачах нашей литературы, опять высказывает взгляды, свидетельствующие о влиянии на него Фейербаха. Но смерть не дала вполне упрочиться этому новому влиянию. Полным и последовательным представителем взглядов Фейербаха явился в нашей литературе горячий поклонник Белинского — Н. Г. Чернышевский [2].

IX

Это показывают, между прочим, те же статьи о Пушкине, слабые стороны которых были указаны нами выше. По словам Белинского, Пушкин принадлежал к той школе искусства, пора которой миновала не только в Европе, но даже и в России. История опередила Пушкина, лишив значительную часть его произведений того животрепещущего интереса, который возбуждается тревожным вопросом настоящего времени. Белинский смотрел на Пушкина, как на поэта дворянского сословия. «Везде, — говорил он, — вы видите в нем человека, душой и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности, но принцип класса для него вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так похоже на одобрение и на любование... Это было причиной, что в «Онегине» многое устарело теперь. Но без этого, может быть, и не вышло бы из «Онегина» такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого определенного факта для отрицания мысли, в самом же этом обществе так быстро развивающейся» [1].

Объясняя поэзию Пушкина общественным положением России и историческим состоянием того сословия, к которому принадлежал наш великий поэт, Белинский далеко опережал нашу передовую критику 60-х и 70-х годов, главный недостаток которой состоял в том, что она смотрела на литературные явления исключительно с публицистической, а не с социологической точки зрения. В статьях Белинского, написанных в последние годы его деятельности, заключается целая программа, которая до сих пор еще не выполнена нашей литературной критикой и которая только тогда будет выполнена ею, когда она сумеет целиком стать на социологическую точку зрения. Это опять свидетельствует о гениальной силе его мысли.

Не мешает отметить здесь еще одно обстоятельство, насколько мы знаем, до сих пор упускаемое из виду историками нашей литературы. В последние годы своей жизни Белинский настойчиво проповедует «исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов» [2]. (Обзор литературы за 1847 г.) А между тем очень хорошо известно, что в то время он решительно воевал с «рассейской» действительностью (достаточно указать на его знаменитое письмо к Гоголю). Это кажущееся противоречие объясняется тем — *и только тем*, — что теперь он в своих критических статьях держится *уже не гегелева, а фейербахова понятия о действительности.*

Это понятие отлично от понятия Гегеля о том же предмете: по Фейербаху, действительность есть то, что составляет *истинную сущность предмета, не искажаемую фантазией.* И если Белинский приветствует появление «*натуральной школы*», то именно потому, что она была, по его выражению, *не риторической, а естественной.* После Белинского уже понятие о действительности отстаивал Чернышевский [1].

Мы не останавливаемся на драме Белинского «Пятидесятилетний дядюшка». О ней можно сказать одно: она показывает, что, одаренный гениальной способностью «мыслить силлогизмами», Белинский был слаб в «мышлении образами». Еще менее внимания заслуживает юношеское стихотворение нашего автора «Русская быль», напечатанное в «Листке» 27 мая 1831 г. О своих стихотворных попытках сам Белинский отзывался впоследствии очень юмористически.

Резюмируем. Белинский взялся за работу литературного критика, находясь под сильным влиянием немецкой философии. В эпоху своего «примирения» с действительностью, совершившегося под влиянием той же философии, он задался целью найти объективные основы для критики художественных произведений и поставить эти основы в связь с логическим развитием абсолютной идеи. Эти искомые объективные основы он нашел в некоторых законах изящного, формулированных нами выше под именем эстетического кодекса Белинского. В этих законах очень много верного, а то, что в них неверно — т. е., лучше сказать, односторонне, — объясняется точкой зрения идеализма, которой он держался по примеру своего учителя в философии, Гегеля. В последние годы своей жизни он расстался с идеализмом, сблизился с материализмом Фейербаха и видел последнюю инстанцию для критики уже не в развитии абсолютной идеи, а в развитии общественных классов и классовых отношений. От этого нового и в высшей степени плодотворного направления, тождественного с тем направлением, в котором развивалась философская мысль современной ему передовой Германии, критика Белинского отклонялась только в тех случаях, когда он покидал точку зрения диалектической философии и становился на точку зрения пропагандиста отвлеченных «просветительных» идей (Standpunkt des Aufklärers, как сказал бы немец). Такие отклонения, неизбежные при тогдашних условиях, сделали его родоначальником русских «просветителей», какими были наши передовые критики 60-х и 70-х годов.

Надо прибавить, что материализм Фейербаха не только не препятствовал таким отклонениям, но чрезвычайно способствовал им: в своих *исторических и общественных* взглядах *материалист* Фейербах — подобно французским материалистам

XVIII века — оставался *идеалистом*. Вот почему самый выдающийся из наших «просветителей» 60-х годов, Н. Г. Чернышевский, твердо держался фейербахова материализма, не переставая в то же время смотреть на общественную жизнь с идеалистической точки зрения [1].

Три первые акта умственной драмы Белинского можно озаглавить так: 1) абстрактный идеал и фихтеанство; 2) примирение с «действительностью» под влиянием «абсолютных» выводов гегелевой философии; 3) восстание против «действительности» и переход частью на отвлеченную точку зрения «личности», частью на конкретную точку зрения гегелевой *диалектики*.

Четвертый акт этой драмы начался полным разрывом с *идеализмом* и переходом на *материалистическую* точку зрения Фейербаха [2]. Но рука смерти опустила занавес после первых же сцен этого акта.

Белинский говорил о себе, что он рожден не литературным критиком, а политическим памфлетистом. На самом деле он был рожден философом и социологом, обладавшим при этом всеми данными, необходимыми для того, чтобы стать превосходным критиком и блестящим публицистом. Как велик был его талант памфлетиста, показывает его знаменитое письмо к Гоголю. Мы предполагаем его известным читателю и потому не станем делать из него выписки; вместо этого мы приведем несколько строк из его напечатанной в «Современнике» 1847 г. статьи о той же книге, появление которой подало повод Белинскому написать Гоголю свое письмо. Заканчивая эту статью, Белинский говорит: «Мы вывели из этой книги такое следствие, что горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если, недовольный своею дорогою, он ринется в чуждый ему путь! На этом новом пути ожидает его неминуемое падение, после которого не всегда бывает возможно возвращение на прежнюю дорогу» [3].

Эти строки напоминают то его положение, входящее в состав его эстетического кодекса, что художник мыслит не силлогизмами, а образами, положение, из которого следует, что гениальный художник может быть подчас очень слабым мыслителем.

Всегда слабый здоровьем и в последние годы своей жизни страдавший чахоткой, Белинский скончался в Петербурге 26 мая 1848 года, в 6-м часу утра.

На кладбище — всякий знает теперь, что он похоронен на Волковом кладбище, — его проводили только немногие друзья. Но к этим друзьям, по свидетельству Панаева, присоединились три или четыре неизвестных, вдруг откуда-то взяв-

шихся. Они оставались на кладбище до самого конца погребения и наблюдали за всем происходившим с величайшим вниманием.

Это появление «неизвестных» станет понятным, если мы вспомним, что только смерть спасла Белинского от знакомства с Дуббельтом, тогдашним начальником «III отделения». Известна картина Наумова «Белинский перед смертью». В ней изображен действительный случай, имевший место 27 марта, когда на квартиру умиравшего критика явился жандарм с приглашением от Дуббельта.

Когда у друзей Белинского явилась мысль разыграть в лотерею его библиотеку, чтобы прийти на помощь его жене и дочери, оставшимся без всяких средств, то это было запрещено названным «отделением».

Крайне нервный и искренний, Белинский не скрывал своих убеждений ни тогда, когда мирился с «рассейской действительностью», ни тогда, когда восставал против нее. Укажем два случая, очень хорошо его характеризующих. Первый случай относится к эпохе «примирения» и рассказан Панаевым. Когда Белинский прочитал ему рукопись своей статьи о Бородинской годовщине, Панаев похвалил статью, но хотел поставить ему на вид, какое впечатление она произведет на читателя. Белинский перебил его: «Я знаю, знаю что, — не договаривайте; меня назовут льстецом, подлецом, скажут, что я кувыркаюсь перед властями... Пусть их. Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убеждения, что бы обо мне ни думали»... «Клянусь вам, что меня нельзя подкупить ничем!.. Мне легче умереть с голода, — я и без того рискую этак умереть каждый день (и он улыбнулся при этом с горькой иронией), чем потоптать свое человеческое достоинство, унизить себя перед кем бы то ни было или продать себя...» [1]

Другой случай рассказан Герценом и относится к последнему периоду жизни Белинского.

Дело было на вечеринке у одного литератора. Речь шла о «Философическом письме» Чаадаева, причем один магистр находил, что Чаадаев потерпел по заслугам. Присутствовавший на вечеринке Герцен возражал магистру. Но спор тянулся довольно вяло до тех пор, пока в него не вмешался Белинский, резко и решительно ставший на сторону Чаадаева. Замечательнее всего был конец спора.

«—В образованных странах, — сказал с неподражаемым самодовольством магистр, — есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают. — Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту; скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом: — А в еще более

образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным. — Сказавши это, он бросился в кресло изнеможенный и замолчал. При слове «гильотина» хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза. Магистр был уничтожен...» [1]

Таков был «неистовый Виссарион».

«Что бы ни случилось с русской литературой, как бы пышно ни развилась она, — писал Н. А. Добролюбов в 4-й книжке «Современника» за 1859 г., — Белинский всегда будет ее гордостью, ее славой, ее украшением. До сих пор его влияние ясно чувствуется на всем, что только появляется у нас прекрасного и благородного; до сих пор каждый из лучших наших литературных деятелей сознается, что значительной частью своего развития обязан, непосредственно или посредственно, Белинскому... В литературных кружках... едва ли найдется пять-шесть грязных и пошлых личностей, которые осмелятся без уважения произнести его имя. Во всех концах России есть люди, исполненные энтузиазма к этому гениальному человеку, и, конечно, это лучшие люди России!..» [2]

Эти строки показывают нам, как относились к Белинскому наиболее передовые деятели нашей литературы 60-х годов. Но мы не решились бы сказать, что они заключают в себе совершенно правильную оценку значения Белинского. В них кое-что недостает. При всем своем энтузиазме в отношении к Белинскому, Чернышевский, Добролюбов и их единомышленники не были в состоянии оценить во всей ее полноте роль Белинского в истории нашей общественной мысли. Им мешала в этом случае отсталость современных им общественных отношений России. Только тогда, когда развитие этих отношений значительно подвинулось вперед; только тогда, когда сама жизнь свела на конкретную, т. е. экономическую, почву великий спор между славянофилами и западниками о том, по какой исторической дороге суждено идти нашему отечеству, — только тогда явилась, наконец, возможность дать всестороннюю оценку литературной деятельности Белинского. Только тогда стало ясно, что Белинский был не только в высшей степени благородным человеком, великим критиком художественных произведений и в высшей степени чутким публицистом, но также обнаружил изумительную проницательность в постановке — если не в решении — самых глубоких и самых важных вопросов нашего общественного развития. А когда стало ясным это обстоятельство, тогда само собой выяснилось и то, что уже недостаточно сказать о Белинском: «до сих пор влияние его литературной деятельности чувствуется на всем, что только появляется у нас прекрасного и благородного»; тогда стало очевидно, что к этому необходимо прибавить, что *и до*

сих пор каждый новый шаг вперед, делаемый нашей общественной мыслью, является новым вкладом для решения тех основных вопросов общественного развития, наличность которых открыл Белинский чутьем гениального социолога, но которые не могли быть решены им вследствие крайней отсталости современной ему российской «действительности». Только при этой необходимой поправке становится полной и всесторонней сделанная Добролюбовым оценка литературной деятельности Белинского.

О БЕЛИНСКОМ*

[1910]

«Кто не мыслитель по натуре,
тот о мысли и не хлопочет».
Белинский

I

Нам до сих пор плохо известна история умственного развития выдающихся деятелей нашей литературы и общественной жизни. А хуже всего мы знаем ход умственного развития «людей сороковых годов», тех людей, о которых у нас так много писали и спорили. Почему это так? Я думаю, что это в значительной степени объясняется вот чем.

«Люди сороковых годов» очень много занимались немецкой идеалистической философией. Философия эта наложила глубочайшую печать на все их миросозерцание, поэтому с нею непременно должен хорошо ознакомиться всякий тот, кто хочет понять, каким образом складывались философские, литературные и даже общественные взгляды «людей сороковых годов». Но именно этому-то условию и не удовлетворяло большинство русских исследователей в течение последних трех десятилетий прошлого века; известно, что начиная с семидесятых годов немецкая идеалистическая философия обреталась у нас не в авантаже. И если ни один исследователь не мог обойти тот факт, что «люди сороковых годов» страстно увлекались Фихте, Шеллингом и в особенности Гегелем, то это их увлечение «метафизикой» рассматривалось и изображалось по большей части как слабость, к которой нужно, разумеется, *отнестись со снисхождением, но которой* нельзя одобрить ни в каком случае. Выходило похоже на то, как во времена оны бесы искушали святых отшельников. Человек слаб, а враг силен. Отшельник поддавался иногда искушению, но он не был бы святым, если

* Статья эта написана была мною в ожидании столетнего юбилея Белинского, но С. А. Венгеров документально доказал, что Белинский родился не в 1810, а в 1811 г.[1] Юбилей следовало бы отложить до будущего года; не знаю, сделают ли это. Во всяком случае, думаю, что вопросы, затронутые в этой статье, имеют интерес и независимо от юбилея.

бы его возвышенная нравственная природа не выручала его из опасности. В конце концов бес оказывался посрамленным, а отшельник решительно возвращался на стезю добродетели. То же происходило и с «людьми сороковых годов». Бес немецкого любомудрия забирал над ними по временам большую силу, но все, или почти все, они, к чести своей, кончили смелым восстанием против злого духа идеализма и торжественным переходом на «реалистическую» почву. С этих пор, собственно, и начиналась та пора их умственной жизни, которая достойна серьезного внимания и горячего сочувствия; ее предыдущая эпоха — эпоха бесовского наваждения — служит преимущественно для назидания молодых людей на тему о том, что метафизикой увлекаться не следует. Взять хотя Белинского. Кто не знает поучительной повести о том, как Гегель толкнул его на примирение с действительностью? И кто из передовых людей семидесятых, восьмидесятых и девяностых годов не восхищался отрадным эпилогом печальной повести: ироническим поклоном «неистового Виссариона» по адресу «философского колпака Егора Федорыча». Непримиримые, хотя, к сожалению, слишком плохо осведомленные, противники Гегеля были убеждены, что, иронически раскланявшись с «колпаком», Белинский вышел из-под влияния великого немецкого идеалиста. На тех, которые утверждали, что насмешка над «колпаком» отнюдь не знаменовала собою прекращения этого влияния, а только свидетельствовала о том, что Белинский стал иначе понимать философию Гегеля, лучше усвоив себе ее диалектическую сторону, смотрели, как на чудаков, склонных к смешным и вредным парадоксам.

Теперь обстоятельства изменились в том смысле, что теперь уже никто не пренебрегает или, по крайней мере, никто не решается открыто пренебрегать немецкой философией. Но и в настоящее время слишком мало изучают те эпохи развития немецкой философской мысли, которые связаны с именами Шеллинга, Гегеля и Фейербаха. Поэтому и в настоящее время у нас еще отсутствуют предварительные условия, совершенно необходимые для правильного понимания того, как совершалось умственное развитие Белинского, Герцена и других знаменитых западников «сороковых годов». Да и не только западников. Чтобы хорошенько понять русское славянофильство, тоже не мешает получше ознакомиться с тем, чему учили почти забытые теперь у нас Шеллинг, Гегель, Фейербах.

Известное сочинение А. Н. Пыпина «Белинский, его жизнь и переписка» до сих пор остается, конечно, весьма почтенным исследованием. Составленное на основании переписки Белинского, оно заключает в себе драгоценнейший и единственный в своем роде материал для биографии великого русского кри-

тика. Но едва ли можно сказать, что А. Н. Пыпин удачно решил свою задачу там, где у него заходила речь о философском развитии Белинского.

Он говорит: «Внутреннее развитие человека трудно делится на определенные периоды; трудно указывать их и в настоящей биографии, потому что хотя она и представляет, в сравнительно короткое время, чрезвычайно непохожие настроения, но они сменяются одно другим с постепенностью, с колебаниями, минутными возвратами прежнего, и можно указывать только более резкие пункты, каких достигало то или другое настроение. В этом общем смысле полное развитие личного характера и деятельности Белинского можно полагать с той поры (конец 1842 и начало 1843 г.), когда он окончательно освободился от идеалистического романтизма и в его взглядах начинает господствовать критическое отношение к действительности, историческая и общественная точка зрения. Это была пора мужества, слишком кратковременная, но богатая результатами...» (глава VIII) [1].

Совершенно верно то, что настроения, пережитые Белинским, сменялись одно другим постепенно, с колебаниями и минутными возвратами прежнего. Но все, что следует за этим, грешит слишком большою неопределенностью. Во-первых, «критическое отношение к действительности» еще не характеризует собою миросозерцания данного человека. Идеалистическое миросозерцание прямо противоположно материалистическому, а между тем критическое отношение к данной действительности возможно как со стороны идеалиста, так и со стороны материалиста. Во-вторых, «историческая и общественная точка зрения» тоже не определяет собою миросозерцания: ее одинаково может держаться как идеалист, так и материалист. В-третьих, краткий период времени, с конца 1842 г. до смерти Белинского (26 мая 1848 г.), не может считаться однообразным в смысле философского «настроения». В начале этого периода Белинский продолжает тяготеть к идеализму Гегеля, в конце его он обеими ногами стоит на точке зрения фейербахова материализма. Этот переход его от идеализма к материализму до сих пор очень плохо выяснен; но, как мы сейчас увидим это, без его понимания невозможно понимание даже чисто литературных взглядов Белинского. Постараемся же выяснить его, насколько это возможно при малом количестве относящихся к этому предмету данных.

II

А данных в самом деле немного, во всяком случае гораздо меньше, чем по отношению к предыдущему периоду — эпохе «примирения» с действительностью и восстания против нее,

Дело в том, что самый ценный материал для истории умственного развития Белинского заключается, конечно, в его письмах к друзьям: над его статьями всегда тяготел дамоклов меч цензуры *.

Но, как указывает А. Н. Пыпин, начиная с 24 мая 1843 г. и до начала 1846 г. весьма редки такие письма Белинского, которые могли бы послужить материалом для нашего исследования. Поневоле приходится обращаться главным образом к статьям, заранее зная, что мы далеко не найдем в них всего того, что́ наш автор хотел бы и мог бы высказать в то время.

К 1842 г. относится очень интересная для нас статья о сочинениях Е. Баратынского. Статья эта написана значительно позже того, как Белинский раскланялся с «философским колпаком Егора Федорыча». И, однако, мы встречаем в ней взгляд на философию, как на «науку развития в мышлении довременных и бесплотных идей» **. Это — бесспорное и чистое гегельянство. Высказав этот взгляд, Белинский тут же говорит об истории, как о «науке осуществления в фактах, в действительности, развития этих довременных идей — таинственных и первосущных матерей всего сущего, всего рождающегося и умирающего, и, несмотря на то, вечно живущего!..» Это опять неоспоримое и самое чистое гегельянство. Что же это значит? Выходит как будто, что, раскланявшись с гегелевским «философским колпаком», Белинский опять схватился за него, как за вместилище всякой философской мудрости. Можно сказать, пожалуй, — да так, вероятно, и сказал бы А. Н. Пыпин, — что тут мы имеем дело с временным «колебанием», с «минутным возвратом прежнего». Но это было бы неосновательно. «Колебания» и «возврат» представляются гораздо более продолжительными, чем это кажется на первый взгляд. Так, в статье о сочинениях Державина, относящейся уже к 1843 г., мы находим тот же чисто гегелевский взгляд на идеи и на «исходный пункт» всякого развития, и в той же статье наш критик соглашается — хотя, впрочем, и не без оговорки — с теми «умозрительными судиями изящного», которые полагают, «что предмет искусства не временное и относительное, а вечное и безусловное» ***. Это опять гегелизм, который как нельзя более явственно сказывается, кроме того, в рассуждениях Белинского о ходе развития искусства в древ-

* В письме к Боткину от 6 февраля 1843 г. он говорит: «Писать ничего и ни о чем со дня на день становится невозможнее и невозможнее. Об искусстве ври, что хочешь, а о деле, т. е. о нравах и нравственности, хоть и не трать труда и времени. Из статьи моей в первом № «О. З.» вырезан целый лист печатный — все лучшее, а я этою статьею очень дорожил, ибо она проста и по идее и по изложению» [1]. Речь идет здесь о статье «Русская литература в 1842 году».

** Сочинения Белинского, изд. IV, ч. VI, стр. 302 [2].

*** Сочинения, ч. VII, стр. 60—63 [3].

них восточных государствах и в античной Греции. Чем же объясняется прочность этого возврата к тому самому «колпаку», который был, как нас уверяют, окончательно отброшен в сторону еще в 1840 г.? *

Ответа надо искать в том же самом письме (к Боткину от 1 марта 1841 г.), в котором провозглашается знаменитый разрыв с «философским колпаком». Белинский говорит там: «Я давно уже подозревал, что философия Гегеля только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов никуда не годится» **. Эти строки написаны Белинским по поводу присланного ему Боткиным отрывка из журнала Арнольда Руге и Эхтермейера «Hallische Jahrbücher» ***, служившего органом *левых гегельянцев*. Белинский говорит, что названный отрывок очень его порадовал «и даже как будто воскресил и укрепил на минуту». «Спасибо тебе за него, сто раз спасибо» [2], — прибавляет он. Это показывает, что в ту самую минуту, когда Белинский отбрасывает от себя философский колпак Гегеля, он очень сочувствовал левой стороне гегелевой школы. И это необходимо заметить тем более, что это подтверждается и другими данными. Важнее всех других данных является, конечно, отношение Белинского к теоретической основе его так много нашумевшей и столь примирительной статьи «О Бородинской годовщине»: «Конечно, идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки «Очерки Бородинского сражения», верна в своих основаниях, но должно было бы развить и идею отрицания»... [3] Из этих его слов видно, почему именно возмущала его теперь абсолютность выводов гегелевой философии: она делала невозможным развитие «идеи отрицания». Левые гегельянцы потому и вызывали горячее сочувствие со стороны Белинского, что они отказались от абсолютных выводов гегелевой философии и принялись развивать «идею отрицания». Но эта идея не только не чужда гегелевой философии, а, напротив, составляет душу знаменитого диалектического метода Гегеля. Сам Гегель умел с поразительным красноречием выяснять значение диалектики как могучего орудия «отрицания» (см., например, первую, посвященную логике, часть его «Энциклопедии») [4].

Следовательно, восставая против «колпака» во имя «идеи отрицания», Белинский совсем не переставал быть гегельянцем:

* «Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусною действительностию! Да здравствует великий Шиллер, благородный адвокат человечества, яркая звезда спасения!» и т. д. (В письме к Боткину от 4 октября 1840 г.) [1].

** *А. Н. Пыпин,* Белинский, его жизнь и переписка, гл. VII. Автор замечает в выноске, что им смягчено «более резкое» выражение Белинского об абсолютности результатов гегелевской философии.

*** [«Галлеский ежегодник»]

он только противопоставлял одну сторону гегелевой философии другой ее стороне. А так как диалектическая сторона этой философии несравненно важнее той ее стороны, которая характеризуется абсолютностью выводов, то оказывается, что настоящим-то гегельянцем Белинский стал именно тогда и только тогда, когда поссорился с «философским колпаком Егора Федорыча». Этот неизбежный вывод, как видите, довольно значительно противоречит наиболее распространенному представлению о ходе умственного развития нашего автора.

III

В подтверждение только что сказанного я сошлюсь еще на следующий факт. Белинскому очень нравилась статья Боткина «Германская литература в 1843 г.». Но уже в самом начале этой статьи Боткин так характеризует философскую систему Гегеля:

«Система его в основных чертах была окончена еще до 1810 г.; взгляд Гегеля на современность заключился 1820 г. Политические его мнения, его понятие о государстве, за образец которого взял он Англию, носят на себе очень ясную печать времени восстановления. Отсюда можно объяснить и то, почему для него представлялись в смутном виде последующие события в Европе. Но необычайная верность и крепость ума Гегеля видна именно в том, что система его слагалась независимо от его личных мнений, так что лучшая критика выводимых им результатов есть поверка их его же методом. И в этих-то результатах часто видно влияние его личных мнений. Его философия религии и философия права получили бы иной вид, если бы он развил их из чистой мысли, не включая в нее положительных элементов, лежавших в цивилизации его времени; ибо отсюда именно вытекают противоречия и неверные выводы, заключающиеся в его философии религии и философии права. Принципы в них всегда независимы, свободны и истинны, — заключения и выводы часто близоруки. В этом обстоятельстве лежала причина разделения школы на правую и левую. Одна часть учеников обратилась к принципам и отвергла выводы, если они не вытекали из принципов; они же внесли в диалектический метод его все жизненные вопросы времени. Эта школа названа была левою школою. Правая осталась при одних выводах, нисколько не думая о принципах их» *.

* Эта интересная статья В. П. Боткина вошла во II том его сочинений (С.-Петербург 1891); цитированное мною место находится на стр. 257—258.

Боткин сочувствует «левой школе» именно за то, что она «внесла» в диалектику Гегеля «все жизненные вопросы времени». Это выражение, разумеется, неправильно. Надо было сказать, что левые гегельянцы *воспользовались диалектическим методом Гегеля* для решения названных вопросов. Но дело не в выражении, а в мысли; а мысль здесь та же, какую мы встретили и у Белинского: заслуга «левой школы» состоит в том, что она восстала против абсолютных выводов Гегеля (раскланялась с «философским колпаком») и выдвинула на первый план диалектическую сторону его системы, т. е. принялась развивать «идею отрицания».

Прибавлю еще, что Белинский примирился с Бакуниным, с которым он был в ссоре в течение довольно продолжительного времени, услыхав, что тот вошел в ряды левых гегельянцев. Он находил, что направление, принятое тогда Бакуниным, должно «привести его ко всяческому возрождению...» (Письмо от 7 ноября 1842 г.) [1]

IV

Итак, еще раз: восстание против «колпака» совсем не равносильно было восстанию против Гегеля. Оно означало только переход нашего критика от «правой» школы к левой, усвоение диалектического характера гегелевской системы и отказ от ее абсолютных выводов. Это ясно видно в тех статьях, которые я цитировал выше для подтверждения того, что, даже отбросив в сторону «колпак», Белинский продолжал держаться гегелевского идеализма.

В статье о сочинениях Баратынского Белинский доказывает, что искусство без мысли «то же самое, что человек без души, — труп», и что теперь все поэты, даже великие, должны быть вместе и мыслителями. «Наука, живая, современная наука, — заключает он, — сделалась теперь пестуном искусства, и без нее — немощно вдохновенье, бессилен талант!..» *

В эпоху своего увлечения абсолютными выводами гегелевой философии наш критик рассуждал иначе. Тогда он нападал на Шиллера и превозносил Гёте, а теперь — т. е., собственно, несколько раньше: в январе 1841 г., — он писал Боткину: «Признаться ли тебе в грехе...: о Шиллере не могу и думать, не задыхаясь, а к Гёте начинаю чувствовать род ненависти, и, ей-богу, у меня рука не подымется против Менцеля, хотя сей муж и по-прежнему остается в глазах моих идиотом» [3].

Шиллер был теперь дорог Белинскому тем, что в его сочинениях выражалась идея отрицания.

* Сочинения, ч. VI, стр. 304 и 324 [2].

В статье о сочинениях Державина новая, *диалектическая* точка зрения Белинского ярко выразилась в следующих строках:

«Ничто не является вдруг, ничто не рождается готовым, но все, имеющее идею своим исходным пунктом, развивается по моментам, движется диалектически, из низшей ступени переходя на высшую. Этот непреложный закон мы видим и в природе, и в человеке, и в человечестве. Природа явилась не вдруг, готовая, но имела свои дни или свои моменты творения. Царство ископаемое предшествовало в ней царству прозябаемому, прозябаемое — животному. Каждая былинка проходит через несколько фазисов развития, — и стебель, лист, цвет, зерно суть не то что иное, как непреложно-последовательные моменты в жизни растения. Человек проходит через физические моменты младенчества, отрочества, юношества, возмужалости и старости, которым соответствуют нравственные моменты, выражающиеся в глубине, объеме и характере его сознания. Тот же закон существует и для обществ и для человечества» *.

Отсюда следует, что искусство тоже подчинено закону диалектического развития. Белинский категорически признает это: «Тот же закон существует и для искусства». Но если это так, то ясно, что Белинский не мог теперь согласиться с теми «умозрительными судиями изящного», которые хотели видеть в искусстве совершенно отдельный мир, существующий независимо от других сфер сознания и от истории. Правда, он и теперь признавал, как мы видели выше, что предмет искусства не временное и относительное, а вечное и безусловное. Но он думал теперь, что искусство отнюдь не унижает себя, если подчиняется временным историческим влияниям. Он доказывал, что вечное выражается во времени, безусловное ограничивается формой проявления, бесконечное делается доступным созерцанию в конечном. А раз придя к этому выводу, вполне согласному с истинным, т. е. с диалектическим, характером гегелевой философии, он тотчас же увидел, что абсолютная точка зрения несогласима со взглядом на искусство, как на явление, подчиненное, как и все существующее, закону развития.

«Если эстетика возьмет за основание одни идеи и их диалектическое развитие, оставив в стороне верования и историю, — говорит он, — то по ней выйдет, может быть, что произведения греческого искусства прекрасны, а индийского и египетского не имеют ничего общего с творчеством и суть порождения невежества и дикости; готическая архитектура — воплощенное безвкусие; французская литература хороша, а немецкая —

* Сочинения, ч. VII, стр. 60 [1].

вздор, или наоборот, смотря по тому, от какого начала отправится эстетика» *.

Тут уместны будут некоторые пояснения. В изложении Белинского выходит, что даже эстетика, держащаяся абсолютной точки зрения, должна была бы иметь дело с диалектическим развитием идей. Поэтому у читателя может возникнуть вопрос: где же тут непримиримость абсолютной точки зрения с диалектикой? Но дело в том, что эстетика, которая предполагается здесь у Белинского, имела бы дело с диалектическим развитием идей вне времени и пространства, т. е. в области совершенно отвлеченного мышления. А такое развитие, не имеющее ничего общего с действительным развитием идей, в процессе исторического развития человечества непременно привело бы к абсолютным выводам, т. е. — *в данном случае* — к абсолютным эстетическим критериям. Белинский и сам провозглашал подобные критерии в эпоху своего увлечения абсолютным «колпаком». Мало того: можно даже сказать, что он до конца своей жизни испытывал на себе некоторое влияние этих критериев. Но если он не всегда последовательно применял в некоторых своих отдельных литературных суждениях усвоенный им теперь диалектический метод, то он совершенно безошибочно формулировал ту задачу, которая возникает перед эстетикой, покидающей абсолютную точку зрения и переходящей на точку зрения диалектики.

Он писал: «Задача истинной эстетики состоит не в том, чтобы решить, чем должно быть искусство, а в том, что́ такое искусство. Другими словами: эстетика не должна рассуждать об искусстве, как о чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале, который может осуществиться только по ее теории: нет, она должна рассматривать искусство как предмет, который существовал давно прежде ее и существованию которого она сама обязана своим существованием» **.

Это безусловно верная мысль. Ее впоследствии, почти теми же самыми словами, выразил Ипполит Тэн в своих «Чтениях об искусстве». Вот его слова:

«Новый метод, которому я стараюсь следовать и который начинает входить во все нравственные науки, заключается в том, чтобы смотреть на человеческие произведения, и, в частности, на произведения художественные, как на факты и явления, которых должно обозначить характеристические черты и отыскать причины — и более ничего. Наука, понимаемая таким образом, не осуждает и не прощает, она только указывает и объясняет. Она не говорит вам: «Презирайте голландское искусство — оно слишком грубо; восхищайтесь лишь итальян-

* Там же, стр. 64 [1].

** Там же, та же стр.

ским искусством». Равным образом, не скажет она вам: «Презирайте готическое искусство — оно болезненно; восхищайтесь лишь греческим». Она предоставляет каждому полную свободу следовать собственным своим симпатиям, предпочитать то, что согласно с его темпераментом, и изучать с более глубоким вниманием то, что более соответствует развитию его духа. Что касается до нее самой, то она относится сочувственно ко всем формам искусства и ко всем школам, даже к тем, которые кажутся наиболее противоположными: их она считает различными проявлениями человеческого духа» *.

Так необходимо должно представляться дело до тех пор, пока мы остаемся в чисто научной области: эстетика, наука не дает нам таких теоретических оснований, опираясь на которые мы должны были бы сказать, что греческое искусство заслуживает нашего восхищения, а готическое — осуждения, или наоборот. Разумеется, дело тотчас же складывается иначе, как только мы выходим из области эстетики. Художественные произведения суть такие явления и факты, которые порождаются общественными отношениями людей. С изменением общественных отношений изменяются и эстетические вкусы людей, а значит — и произведения художников. Человек данной общественной эпохи всегда будет предпочитать такие художественные произведения, в которых выражаются вкусы этой эпохи. В обществе, разделенном на классы, вкусы, свойственные данной эпохе, часто очень неодинаковы, в зависимости от положения составляющих его классов. А так как всякий данный художественный критик сам представляет собою продукт окружающей его общественной среды, то и его эстетические суждения всегда будут определяться свойствами этой среды. Поэтому он никогда не будет в состоянии избежать предпочтения одной школе в литературе или в искусстве другой, ей противоположной. Все это так, но все это нимало не опровергает ни Белинского, ни Тэна. Все это, наоборот, показывает, что они были совершенно правы, отвергая абсолютизм художественных критериев. Научная эстетика становится невозможной всюду, где признаются такие критерии.

V

Я вынужден был бы повторяться, если бы захотел рассматривать здесь литературные взгляды Белинского **. Ограничусь

* «Чтения об искусстве». Перевод А. Н. Чудинова. Спб. 1904, стр. 11.

** Они рассмотрены мною в статьях: «В. Г. Белинский» (в «Истории русской литературы XIX века». Изд. под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского) и «Литературные взгляды Белинского», помещен. в моем сборнике: «За двадцать лет». К ним я отсылаю читателя [1].

предметом, которого я не коснулся в моих прежних статьях: отношением Белинского к народной поэзии.

Даже лица, в высшей степени расположенные к нашему великому критику, изображают это отношение не вполне точно. Так, например, А. Н. Пыпин говорит, что уже вскоре после смерти Белинского с разных сторон начала обнаруживаться неполнота его взглядов. И прежде всего почтенный исследователь утверждает, что Белинский оставил без внимания всю старую, допетровскую литературу и народную поэзию, о которой он упоминал лишь редко и случайно. По словам А. Н. Пыпина, «допетровская народная старина была только первобытной бессознательной эпохой, потерявшей для нас интерес с тех пор, как началась эпоха действительного просвещения и возникла правильная литература; народная поэзия была детским лепетом в сравнении с художественным сознанием правильной искусственной литературы» *.

Это и так, да не так. Справедливо то, что в глазах Белинского допетровская народная старина была бессознательной эпохой или, точнее, что в течение этой эпохи только изредка вспыхивали, по его мнению, слабые проблески сознания. Справедливо и то, что Белинский считал народную поэзию детским лепетом в сравнении с художественным сознанием «искусственной» литературы. Но едва ли верно то, что наш критик касался народной поэзии только случайно. Можно ли назвать случайным ряд статей, напечатанных им в «Отечественных Записках» 1841 г. и посвященных именно народной поэзии? Этот ряд статей занимает 247 стр. в т. V сочинений Белинского[1].

Как видим, этот будто бы «случайный» ряд статей вышел довольно-таки длинным. Притом же Белинский впоследствии дополнил его первоначальный текст с целью перепечатания в задуманной им критической истории русской литературы. Отсюда видно, что его интерес к народной поэзии не исчез и впоследствии.

Разумеется, нельзя оспаривать того, что наш критик слишком далеко зашел в своей реакции против романтического увлечения народной поэзией. Но нужно помнить и то, что он ставил низко не всякую народную поэзию; греческая народная поэзия ценилась им чрезвычайно высоко. Если же он отнесся почти пренебрежительно к поэзии русского народа, то на это есть своя причина, заслуживающая величайшего внимания и свидетельствующая о замечательной силе ума и об огромной глубине умственных запросов Белинского.

На этом очень стоит остановиться. А. Н. Пыпин продолжает: «Во-вторых, из-за художественного интереса литературы

* «История русской литературы», т. I, стр. 20.

Белинский не усматривал ее величайшего интереса историко-культурного» *.

Это опять не так. Белинский категорически говорит, ссылаясь на русские народные песни, что народная поэзия «лучше самой истории свидетельствует о внутреннем быте народа, может служить меркою его гражданственности... зеркалом его духа» **.

Это прямо противоположно тому, что говорит А. Н. Пыпин. В чем же тут дело?

В том, что взгляд Белинского не ограничивался «художественным интересом» народной литературы, а, наоборот, старался проникнуть в ее *содержание*. А содержание это представлялось ему, и притом не только у русского народа, но у всех славянских племен, очень бедным. По его словам, естественная поэзия всех этих племен богата чувствами и выражением, но «бедна содержанием, чужда элементов общего» ***. Оттого он и в самом деле мало, даже слишком мало, дорожил ею. Это понятно.

Но чем же объяснял он бедность содержания славянской народной поэзии? Ставя этот вопрос, мы касаемся одной из самых интересных сторон миросозерцания Белинского.

Он полагал, что содержание народной *поэзии* определяется содержанием народной *жизни*. Там, где бедна содержанием народная поэзия, бедна им и народная жизнь. Если наше «Слово о полку Игореве» не идет ни в какое сравнение не только с Илиадою, но даже и со средневековыми поэмами Запада, то — вследствие того, что русская народная жизнь XII века была несравненно беднее содержанием, нежели жизнь древней Греции и европейского Запада в соответствующие эпохи развития народной словесности. Для подтверждения этой своей мысли Белинский проводит параллель между жизнью средневековой Западной Европы и русской общественной жизнью XII столетия.

«Какая разница! — восклицает он. — В феодализме заключалась идея; удельная система, по-видимому, была случайностью, порождением естественных, патриархальных понятий о праве наследства. Феодализм вышел из системы завоевания; целый народ двигался на завоевание другого народа; покорив его, основывался, делался оседлым на завоеванной земле. Так как у завоевателя личную силу давало не рождение, а храбрость и заслуга, то избранный главою войска брал себе часть завоеванной земли, а все остальные делил на участки между своими сподвижниками. Отсюда произошли бесчисленные след-

* «История русской литературы», т. I, стр. 20.
** Сочинения, ч. V, стр. 64 [1].
*** Там же, стр. 65 [2].

ствия, без сознания которых не может быть объяснена даже современная нам история Европы» *.

Параллель эта не безупречна в теоретическом отношении. Нельзя рассматривать целую политическую систему как результат случайности; да и сам Белинский считает нашу удельную систему порождением «естественных, патриархальных понятий о праве наследства». Система, порожденная «*естественными*» понятиями данного народа, очевидно, не случайна. Но это мимоходом. Главное здесь то, что наш автор считает невозможным объяснить «даже современную нам историю Европы», не приняв в соображение факта завоевания, положившего начало западноевропейскому феодализму.

Завоевание привело к тому, что в западноевропейском обществе образовался класс «патронов», с одной стороны, и класс «вассалов», свободных воинов, — с другой. И оба эти класса стояли над народом в собственном смысле этого слова сделавшимся рабом завоевателей. Этим вызвана была непрерывная борьба классовая, наложившая глубокую печать на всю общественную жизнь Запада.

VI

«Право аристократии сперва было не чем иным, — говорит Белинский, — как правом сословия, справедливо гордившимся высокостию своих чувств, благородным образом мыслей и не без основания почитавшим себя вправе с презрением смотреть на низкую чернь, как на предназначенную от природы для низких нужд жизни. Возникновение городов и среднего сословия было первым шагом к изменению этих отношений. Еще прежде завязалась борьба между государями и феодалами, борьба, бывшая не случайностию, а естественным результатом положения дел и необходимая для сформирования государства в единое политическое тело. Монархизм нашел себе естественного союзника в городах, города — в монархизме, и оба они стали грудью против рыцарства, до тех пор пока рыцарство, переродившееся в аристократию или вельможество, снова не явилось естественным союзником монархизма, и только в другом виде, но все прежним врагом и среднего сословия и народа» **.

Вот эта-то «*идея*», вернее — этот факт завоевания, борьбы классов в западноевропейском обществе и породил богатое содержание западноевропейской общественной жизни. «Из этого положения, — говорит Белинский, — возникала борьба (**мы** видели, что это была борьба классов или, если хотите,

* Сочинения, ч. V, стр. 83—84 [1].
** Там же, стр. 85 [2].

сословий. — *Г. П.*), результатом которой было разумное развитие» *.

Разумное же развитие общественной жизни внесло богатое содержание в народную словесность и, в частности,в народную поэзию.

А что мы видим в древней Руси? В ней мы не встречаем, по выражению Белинского, «ни тени» того, что происходило на Западе.

«Удельная система была точь-в-точь то же самое, что помещичья система: отец-помещик, умирая, разделяет поровну своих крестьян между своими сыновьями. В России не было завоевания, и потому одинокий элемент народной жизни, не сшибаясь в борьбе с другим элементом, лишен был возможности развития... В междоусобиях князей нет никакой идеи, потому что их причина — не племенные различия, не борьба разнородных элементов, а просто личные несогласия. Народ тут не играл никакой роли, не принимал никакого участия. Черниговцы дрались с киевлянами не по племенной ненависти, а по приказанию князей. В повести Пушкина «Дубровский» превосходно выражена удельная борьба в раздоре крестьян Троекурова и Дубровского: бары поссорились, а слуги начали драться, вытаптывать поля, бить скот и поджигать избы» [2].

Соображения эти не могут быть приняты без весьма существенных оговорок. Во-первых, в удельную эпоху население различных областей относилось к своим князьям совсем не так, как относилась впоследствии к помещикам их «крещеная собственность». Черниговцы, киевляне и т. д. крайне редко обнаруживали желание драться по одному только приказанию князей. Взаимное соперничество различных областей русской земли объясняется более глубокими причинами. Тут очень часто приходится признавать именно «борьбу разнородных элементов». Но несомненно, что разнородность элементов, приводившая ко взаимной борьбе различных русских областей, не имела того прогрессивного значения, какое свойственно было разнородности, обусловившей собою борьбу классов в западноевропейском обществе. Взаимная борьба классов всегда, или почти всегда, — т. е. за исключением тех случаев, когда она остается безысходной вследствие равенства борющихся между собою общественных сил, — гораздо больше способствует прогрессу общественных отношений, нежели взаимная борьба государств или областей. Так что Белинский и здесь не совсем неправ. Во-вторых, завоевание само по себе еще не определяет тех социальных последствий, которые из него выходят. В разных странах и в разные времена оно приводит к совершенно

* Сочинения, ч. V, стр. 84 [1].

различным последствиям. Все дело тут в том, на какой ступени экономического развития стоят завоеватели и на какой — завоеванные. Притом же феодализм установился в Западной Европе значительно позже того времени, когда совершилось завоевание галло-римского мира германцами, поэтому неправильно целиком относить его на счет завоевания. Но в то время, когда складывались взгляды Белинского, соображение это крайне редко приходило в голову даже историкам-специалистам: известно, какое огромное значение приписывали завоеванию Огюстэн Тьерри, Минье, Гизо и другие выдающиеся французские историки. Наконец, в настоящее время в русской исторической и социологической литературе начинает все больше и больше распространяться тот взгляд, что Россия тоже не миновала процесса феодализации. При таком взгляде может показаться, что сделанное Белинским противоположение Запада России лишается всякого основания. Однако не надо забывать, что названный процесс, будучи одинаковым по своему существу, в разных странах совершался с различной степенью интенсивности и при различных исторических условиях, вследствие чего приводил к весьма неодинаковым экономическим и политическим результатам. Для примера укажу на древний Египет. Феодализм и в нем имел место. Но экономические и политические последствия египетского феодализма были совсем не похожи на экономические и политические последствия феодализма западноевропейского. А раз это так, то вполне позволительно спросить себя, где же именно, на Востоке или на Западе, встречаем мы такие общественные результаты процесса феодализации, которые были наиболее благоприятны для прогрессивного развития общества или, чтобы выразиться подобно Белинскому, для «разумного развития». А на этот счет никакое сомнение невозможно: Восток, включая сюда и Россию, далеко уступал в этом отношении Западу. Выходит, что и здесь Белинский ошибался совсем не так сильно, как это может показаться на первый взгляд. В своей истинной сущности мнение его совершенно справедливо: на Западе было несравненно больше благоприятных условий для «разумного развития», нежели в нашем отечестве; отсюда разница в содержании народной поэзии: сравнительное богатство его у народов Запада и сравнительная бедность его у русского народа.

VII

Гегель говорил: «Der Widerspruch ist das Fortleitende» (противоречие ведет вперед); Белинский применил эту глубокую мысль Гегеля к вопросу о социально-политическом и литературном развитии народов, придав ей несколько иную формулировку;

он объявил, что разумное развитие есть результат борьбы, вызываемой разнородностью социального состава. Утверждая это, — напомню: *после* разрыва с «колпаком», — он оставался верным и чрезвычайно последовательным учеником Гегеля. Но какого Гегеля? Не того, который выдавал свою философию за абсолютную систему, а того, который на своих лекциях красноречиво распространялся о непобедимой силе диалектики, зовущей к своему суду все существующее на земле и неумолимо осуждающей на исчезновение все отжившее, все утратившее свой исторический смысл. Вот почему в уже знакомой нам статье о сочинениях Баратынского, в той самой статье, в которой Белинский высказывается еще чистокровным идеалистом, верящим в существование «довременных и бесплотных идей», он относится к действительности совсем не так, как относился к ней в то время, когда писал свои статьи «О Бородинской годовщине» и о «Менцеле» *.

«Действительность? — спрашивает он. — Но что такое действительность, если не осуществление вечных законов разума? Всякая другая действительность — временное затмение света разума, болезненный витальный процесс, — а разве может быть вечное затмение солнца, разве солнце не является после затмения в большем блеске и большей лучезарности?.. Надо уметь отличать разумную действительность, которая одна действительна, от неразумной действительности, которая призрачна и преходяща» **.

Прежде он говорил: все действительное — разумно; теперь он говорит: действительно только то, что разумно; все остальное — призрак. Прежде он был верен Гегелю — творцу абсолютной системы; теперь он верен Гегелю-диалектику. *В сознании того, что не все существующее действительно, и состоит главнейшее теоретическое приобретение Белинского, выразившееся в его разрыве с «колпаком».* Теперь он такой же идеалист, каким был прежде, но теперь его идеализм насквозь пропитан духом диалектики. И в том, что он оставался идеалистом, заключается причина его главнейших теоретических ошибок того времени; а то, что его идеализм был насквозь пропитан духом диалектики, дало ему возможность бросить яркий луч света на те общественные условия, которыми определяется духовное и общественное развитие человечества, — короче: в диалектическом идеализме коренятся как слабые, так и сильные стороны тогдашнего миросозерцания Белинского.

Остановимся прежде на сильных сторонах.

* Об этом времени его развития см. в моей уже указанной выше статье: «В. Г. Белинский», а также в статье: «Белинский и разумная действительность» в сборнике «За двадцать лет» [1].

** Сочинения, ч. VI, стр. 310 [2].

Ю. М. Стеклов нашел в сочинениях Чернышевского взгляд на борьбу классов, как на главнейшую пружину общественного развития Запада, и решил, что знаменитый автор «Примечаний к Миллю» был очень близок к точке зрения Маркса. Я показал, что это была большая ошибка, потому что такого же взгляда на историческое значение борьбы классов держался и М. П. Погодин, чрезвычайно далекий от научного социализма *. Теперь мне опять нужно обратиться к той статье московского историка, на которую я сослался, возражая Ю. М. Стеклову.

Читатель помнит, может быть, что статья эта называлась «Параллель русской истории с историей западных европейских государств, относительно начала» и появилась в 1-й книжке «Москвитянина» за 1845 г. Говоря о Западе, М. П. Погодин высказал мнение, весьма близкое к тому, которое несколькими годами прежде высказано было Белинским в статьях о русской народной поэзии. Он писал:

«Завоевание, разделение, феодализм, города с средним сословием, ненависть, борьба, освобождение городов — это первая трагедия европейской трилогии».

«Единодержавие, аристократия, борьба среднего сословия, революция — это вторая».

«Уложения, борьба низших классов... будущее в руце божией».

Обращаясь к русской истории, М. П. Погодин опять говорил почти слово в слово то же, что Белинский.

«С первого взгляда мы примечаем, что у нас, в начале ее (русской истории. — *Г. П.*) нет решительно ни одного (явления. — *Г. П.*), по крайней мере в том виде: нет ни разделения, ни феодализма, ни убежищных городов, ни среднего сословия, ни рабства, ни ненависти, ни гордости, ни борьбы...» **.

Статья представителя «официальной народности» вызвала неудовольствие в лагере чистокровных славянофилов; на нее отвечал П. В. Киреевский статьей: «О древней русской истории», напечатанной в 3-й книжке «Москвитянина» за тот же год. Но возражения, сделанные П. Киреевским Погодину, не затрагивают основной мысли этого последнего. П. Киреевский принимает ее целиком. Он говорит: «Главное отличие древней России от Западной Европы Вы полагаете в том, что на Западе государства основались на *завоевании*, которого *у нас не было*.— Это истина несомненная» ***. Он упрекал Погодина лишь

* См. мою статью «Еще о Чернышевском», напечатанную в апрельской книжке «Современного Мира» за 1910 г. [1]

** Когда я возражал Ю. М. Стеклову, у меня еще не было под рукой статьи М. П. Погодина и я цитировал ее по выпискам из нее у Барсукова. Теперь она у меня есть. Строки, цитированные мною здесь, находятся на стр. 3—4 научного отдела 1-й книжки «Москвитянина» за 1845 г.

*** «Москвитянин», 1845 г., № 3, стр. 12, отд. «Науки».

в не совсем последовательном отношении к этой главной мысли, да еще в том, что тот сделал несколько весьма непочтительных отзывов о состоянии образованности и о свойствах русского народного духа в эпоху первых князей. Это разногласие по второстепенным вопросам не имеет для нас здесь ни малейшего значения. Нам важно то, что, подобно Белинскому и Погодину, П. Киреевский — конечно, со всеми остальными славянофилами * — видел в отсутствии у нас завоевания и обусловленной им борьбы классов главное отличие русской истории от западноевропейской. Получается нечто весьма парадоксальное: по коренному вопросу о ходе нашей истории, сравнительно с историей Запада, Белинский нимало не расходился со своими непримиримейшими противниками, на которых он так охотно нападал не только в статьях своих, но и в письмах **. Где же начинались их разногласия?

Прежде чем ответить на этот вопрос, я считаю полезным напомнить читателю следующее сравнение «Отечественных Записок» (тогдашнего органа Белинского) с «Маяком» (органом мракобеса Бурачка), сделанное другим Киреевским — Иваном.

В «Обозрении современного состояния словесности» этот тишайший славянофил ехидно пишет:

««Отечественные Записки» стремятся отгадать и присвоить себе то воззрение на вещи, которое, по их мнению, составляет новейшее выражение европейского просвещения, и потому, часто меняя свой образ мыслей, они постоянно остаются верными одной заботе: выражать собою самую модную мысль, самое новое чувство из литературы западной.

«Маяк», напротив того, замечает только ту сторону западного просвещения, которая кажется ему вредною или безнравствен-

* А. С. Хомяков писал в 1845 г.: «Иные начала — Западной Европы, иные — наши. Там все возникло на римской почве, затопленной нашествием германских дружин; там все возникло из завоевания и из вековой борьбы, незаметной, но беспрестанной, между победителем и побежденным... Иное дело — Россия». («Письмо в Петербург». «Москвитянин», 1845 г., № 2, отдел «Словесность», стр. 77).

** Во время своего путешествия по южной России Белинский говорит в письме к своим московским друзьям из Одессы: «В Калуге столкнулся я с И. А. (очевидно, Иван Аксаков.— *Г. П.*). Славный юноша! Славянофил — а так хорош, как будто никогда не был славянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами действительно могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но истина впереди всего!» [1] Однако ересь, как видно, не пустила глубоких корней в его сердце. В письме из Симферополя Белинский выражается значительно резче: «...Въехавши в крымские степи, мы увидели три новые для нас нации: крымских баранов, крымских верблюдов и крымских татар. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разные колена одного племени: так много общего в их физиономии. Если они говорят и не одним языком, то тем не менее хорошо понимают друг друга. А смотрят решительно славянофилами» [2].

ною, и, чтобы вернее избежать с ней сочувствия, отвергает все просвещение европейское вполне, не входя в сомнительные разбирательства. Оттого один хвалит, что другой бранит; один восхищается тем, что в другом возбуждает негодование; даже одни и те же выражения, которые в словаре одного журнала означают высшую степень достоинства, например, *европеизм, последний момент развития, человеческая премудрость* и пр., на языке другого имеют смысл крайнего порицания. Оттого, не читая одного журнала, можно знать его мнения из другого, понимая только все слова его в обратном смысле» («Москвитянин», 1845 г., № 3. Отд. «Критика», стр. 21).

Ехидство заключается здесь в том, что, по словам И. Киреевского, «Отечественные Записки», т. е. опять-таки Белинский, стремятся лишь подхватить и высказать самую модную на Западе мысль. Кто знает искренность и глубину мысли Белинского, тому понятно, что возражать на это не стоит. Да и сравнение названного органа с «Маяком» не могло иметь никакого серьезного значения. Но если мы противопоставим мнения Белинского не мнениям «Маяка», а мнениям «Москвитянина» даже той короткой эпохи, когда он находился в руках правоверных славянофилов, то нам придется повторить, за некоторыми исключениями, как раз то, что говорится в сделанной мною выписке из статьи И. Киреевского.

Белинский хвалил то, что бранили славянофилы; он восхищался тем, что в них возбуждало негодование; даже одни и те же выражения, которые в словаре Белинского означали высшую степень достоинства, например *европеизм, последний момент развития, раздвоение, разнородность элементов, их борьба* и проч., на языке славянофилов имели смысл крайнего порицания. Оттого, не читая «Москвитянина», можно было знать его мнение из «Отечественных Записок», понимая только все слова их в обратном смысле. Правда, для этого нужно было хорошо овладеть гегелевой философией.

Как замечено мною выше, Белинский, уже в 1841 г. объявивший классовую борьбу началом разумного развития, был вполне верен духу Гегеля-диалектика, охотно повторявшего: «Противоречие ведет вперед!» Потому-то выражения: взаимная борьба разнородных элементов и т. п. — в самом деле занимали в словаре нашего критика весьма почетное место, и по той же самой причине выражения эти приобретали у славянофилов смысл крайнего порицания.

И это несмотря на полное согласие в том, что касалось факта завоевания на Западе и отсутствия завоевания в России. Белинский соглашался со славянофилами в том, что завоевание послужило исходным пунктом всего общественного и духовного развития Западной Европы. Но между тем как славяно-

филы считали ход этого развития чем-то вроде печальной ошибки или непоправимого несчастия, Белинский признавал его разумным и видел в нем источник духовного богатства. И точно так же он соглашался со славянофилами в том, что Россия завоевания не знала. Но между тем как славянофилы видели в этом отсутствии некий драгоценный подарок судьбы, Белинский находил в нем причину нашей духовной бедности. На него клеветали, когда говорили, что он с презрением смотрел на русский народ. Он утверждал, что «из памятников русской народной поэзии можно доказать великий и могучий дух народа» и что «вся наша народная поэзия есть живое свидетельство бесконечной силы духа» *. Но в русской истории он не видел той борьбы, которая на Западе не прекращалась, по его словам, ни на минуту **, и этим объяснял неразвитость бесконечно сильного духа русского народа. При отсутствии внутренних причин развития оставалось апеллировать к внешним. Отсюда горячее сочувствие нашего автора к реформе Петра Великого: русскому народному духу надлежало «быть возбужденному извне» ***. Отсюда же понятно, по его собственному замечанию, и то, «почему величайший и по преимуществу национальный русский поэт Пушкин воспитал свою музу не на материнском лоне народной поэзии, а на европейской почве, был приготовлен не «Словом о полку Игоревом», не сказочными поэмами Кирши Данилова, не простонародными песнями, а Ломоносовым, Державиным, Фонвизиным, Богдановичем, Крыловым, Озеровым, Карамзиным, Дмитриевым, Жуковским и Батюшковым — писателями и поэтами подражательными и нисколько не национальными, за исключением одного Крылова, которого басни, будучи национальными, все-таки не суть вполне самобытное явление, ибо их образцы найдены Крыловым не в народной поэзии, а у француза Лафонтена» ****.

Противоречие ведет вперед. И когда его нет во внутренней жизни, поневоле приходится заимствовать извне движущую силу общественного прогресса.

VIII

В эпоху самых жестоких схваток своих со славянофилами Белинский был диалектиком до конца ногтей, тогда как в их миросозерцании диалектический элемент совершенно отсутствовал. Гегель назвал бы их метафизиками чистейшей воды.

---

* Сочинения, ч. V, стр. 64 [1].

** Там же, стр. 84 [2].

*** Там же, стр. 64 [3].

**** Там же, стр. 65 [4].

Возьмем хоть А. С. Хомякова. В своем цитированном выше «Письме в Петербург» он, характеризуя последствия завоевания на Западе, говорит: «Беспрестанная война беспрестанно усыплялась временными договорами, и из этого вечного колебанья возникла жизнь вполне условная, — жизнь контракта или договора, подчиненная законам логического и, так сказать, вещественного расчета. Правильная алгебраическая формула была действительно тем идеалом, к которому бессознательно стремилась вся жизнь европейских народов». Западноевропейские конституции были, между прочим, теми формулами, которые выразили собою, по мнению славянофилов, соотношение разнородных элементов, ведших беспрерывную взаимную борьбу в западноевропейском обществе. Борьба, подчинившая всю жизнь «законам логического и, так сказать, вещественного расчета», наложила свое клеймо и на духовный облик западного человека. Духовная жизнь Запада характеризуется преобладанием рассудочности. У нас не так. В России «не было ни борьбы, ни завоевания, ни вечной войны, ни вечных договоров; она не есть созданье условия, но произведение органического живого развития: она не построена, а выросла» *. Поэтому она нуждается не в конституции — это договор между монархом и народом, — а в любовном единении царя с «землей». И по той же причине настоящий русский человек не грешит рассудочностью: его мышление отличается той завидной и спасительной цельностью, благодаря которой знание отлично уживается с верой и которая обеспечивает нас от всяких общественных потрясений. И. Киреевский говорит то же самое: «Почти ни в одном из народов Европы государственность не произошла из спокойного развития национальной жизни и национального самосознания, где господствующие религиозные и общественные понятия людей, воплощаясь в бытовых отношениях, естественно вырастают и крепнут и связываются в одно общее единомыслие, правильно отражающееся в стройной цельности общественного организма. Напротив, общественный быт Европы, по какой-то странной исторической случайности, почти везде возник насильственно, из борьбы на смерть двух враждебных племен, из угнетения завоевателей, из противодействия завоеванных и, наконец, из тех случайных условий, которыми наружно кончались споры враждующих несоразмерных сил» **.

Наоборот, Россия совершенно не знала ни возникшей из насилия государственности, ни пропитанной рассудочностью образованности. Русский ум, лежащий в основе русского быта, сложился и воспитался под руководством отцов православной

* «Москвитянин», 1845, № 2, отд. «Словесность», стр. 77.

** В статье: «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России». Полное собр. сочин., М. 1861, т. II, стр. 240.

церкви. Обширная русская земля издавна была покрыта множеством монастырей, служивших источником просвещения. «Из них, — говорит Киреевский, — единообразно и единосмысленно разливался свет сознания и науки во все отдельные племена и княжества. Ибо не только духовные понятия народа из них исходили, но и все его понятия нравственные, общежительные и юридические, переходя через их образовательное влияние, опять от них возвращались в общественное сознание, приняв одно, общее направление. Безразлично составляясь изо всех классов народа, из высших и низших ступеней общества, духовенство в свою очередь во все классы и ступени распространяло свою высшую образованность, почерпая ее прямо из первых источников, из самого центра современного просвещения, который тогда находился в Царьграде, Сирии и на Святой Горе» *.

Славянофильство Хомякова, Киреевских, К. Аксакова и других, весьма существенно отличающееся от «славянофильства» времен Александра I, было философией русской истории, созданной идеологами помещичьего сословия под сильнейшим влиянием факта классовой борьбы на Западе **. История умственного развития Белинского была историей гениального русского разночинца, инстинктивно стремившегося, по крайней мере духовно, примкнуть к тому великому социальному движению, в котором выразилась тогда свойственная западному обществу непрерывная борьба классов. Белинского увлекало то, что пугало славянофилов. И. Киреевский писал: «Начавшись насилием, государства европейские должны были развиваться переворотами»***. «Неистовый Виссарион» и в этом согласился бы с И. Киреевским. Но, раскланявшись с «философским колпаком Егора Федорыча», он уже умел ценить великое всемирное значение европейских переворотов. Недаром он помирился с Бакуниным за статью, в которой тот доказывал, что «страсть к разрушению есть созидательная страсть». И недаром наши охранители чуяли в нем «потрясателя основ» даже тогда, когда он говорил о чисто литературных вопросах. Охранители часто бывают одарены превосходным чутьем.

IX

Теперь взглянем на те слабые стороны, которые свойственны были миросозерцанию Белинского в рассматриваемый период.

* Там же, стр. 259—260.

** Это будет подробно показано на страницах «Совр. Мира» в приготовляемой мною теперь статье: «Славянофилы и западники» [1].

*** Там же, стр. 249.

Если *сильные* стороны этого миросозерцания объясняются тем, что оно было насквозь проникнуто *диалектическим* духом, то его *слабые* стороны коренятся в том обстоятельстве, что диалектика Белинского была, подобно диалектике Гегеля, *идеалистической* диалектикой.

Вопреки тем критикам и историкам литературы, которые полагают, что Белинский до конца жизни предпочитал смотреть на литературу не с исторической, а с художественной точки зрения, я еще раз напомню, что на самом деле у него со времени его перехода на диалектическую точку зрения преобладал исторический взгляд на поэзию. Он прямо говорит еще в 1841 г.: «Поэзия всякого народа находится в тесном соотношении с его историею; в поэзии и в истории равным образом заключается таинственная психея народа, и потому его история может объясняться поэзиею, а поэзия — историею» *. И как будто для того, чтобы не оставалось никакого сомнения в том, какая история имеется им в виду, он прибавляет: «Мы разумеем здесь внутреннюю историю народа, которою объясняются внешние и случайные события в его жизни» **. Но чем же объясняется сама эта внутренняя история? Народным миросозерцанием. «Источник внутренней истории народа, — говорит Белинский, — заключается в его «миросозерцании», или его непосредственном взгляде на мир и тайну бытия» ***. Это, конечно, уже чистейший идеализм. В другом месте, хотя и около того же времени, Белинский выражается еще яснее:

«Литература есть сознание народа: в ней, как в зеркале, отражается его дух и жизнь; в ней, как в факте, видно назначение народа, место, занимаемое им в великом семействе человеческого рода, момент всемирно-исторического развития человеческого духа, который он выражает своим существованием. Источником литературы народа может быть не какое-нибудь внешнее побуждение или внешний толчок, но только миросозерцание народа. Миросозерцание всякого народа есть зерно, сущность (субстанция) его духа, тот инстинктивный внутренний взгляд на мир, с которым он родится, как с непосредственным откровением истины, и который есть его сила, жизнь и значение, — та призма с одним или несколькими первосущными цветами радуги, сквозь которую он созерцает тайну бытия всего сущего. Миросозерцание есть источник и основа литературы... Определить миросозерцание народа — задача великая, труд гигантский, достойный усилий величайших гениев,

* Сочинения, ч. V, стр. 62 [1].
** Там же [2].
*** Там же, стр. 63 [3].

представителей современного философского знания; это значит — исчерпать всю жизнь народа, о котором идет речь...» *.

Что миросозерцание всякого данного народа есть источник и основа его литературы, это, разумеется, неоспоримо. Но вопрос в том, обусловливается ли жизнь народа его миросозерцанием или же, наоборот, миросозерцание народа создается условиями его жизни. Белинский решает этот коренной вопрос в идеалистическом смысле. Он называет миросозерцание народа «непосредственным откровением истины». Это совсем неудивительно, если принять в соображение, что еще в 1842 г. вся природа — «весь мир, вся жизнь» — представлялась нашему автору воплощением бескровных и бесплотных понятий **. Но насколько вяжется идеалистический взгляд Белинского на «субстанцию народного духа» с теми его соображениями о внутренней истории западноевропейского общества, которые так ясно показали нам, что духовное богатство западноевропейских народов определяется богатым содержанием их общественной жизни («*разумной* борьбой», обусловленной *фактом* завоевания)? И, конечно, одно с другим тут совсем не вяжется. Указание на характерную для западноевропейского общества классовую борьбу есть один из тех зародышей материалистического объяснения истории, который мы встречаем как в статьях самого Белинского, так и во многих сочинениях его учителя, Гегеля. Этот зародыш остался — да при тогдашних условиях и не мог не остаться — неразвитым. И потому ясный и последовательный взгляд Белинского на внутреннюю историю западноевропейского общества дополняется неясным и непоследовательным взглядом на внутреннее развитие России.

Источником богатого духовного развития Запада послужила взаимная борьба общественных классов. В России этого источника не было. Поэтому ей пришлось обратиться к Западу. Так думает Белинский. Но, не говоря уже о том, что крайне странно было бы объяснять отсутствие этого драгоценного источника ссылкой на то, что русский народ «родился» с другим «непосредственным откровением истины», не похожим на «непосредственное откровение», выпавшее на долю западных народов, надо принять во внимание, кроме того, следующее.

Чтобы обогатить себя заимствованием западного духовного богатства, Россия, очевидно, должна была перенести на свою собственную почву ту причину, которой это богатство обязано было своим возникновением и ростом. А так как причиной этой служила взаимная борьба общественных классов, то выходит, что реформа Петра могла бы обогатить «субстанцию

* Сочинения, ч. IV, стр. 210 [1].

** Разбор «Речи о критике» *Никитенко,* Сочинения, ч. VI, стр. 203 [2].

нашего народного духа» только в том случае, если бы привела к возникновению у нас таких общественных условий, в результате которых появляется эта благотворная «разумная борьба». В настоящее время ученики Маркса в этом и видят значение реформы Петра Великого. Они думают, что она сильно ускорила разложение наших старых экономических отношений и этим постепенно направила наше экономическое развитие в ту же самую сторону, в которую давно уже направилось экономическое развитие Запада. Так ли смотрел на реформу Петра Белинский? Нет. В самом конце своей жизни, когда он совсем расстался с идеализмом Гегеля и усвоил себе материализм Фейербаха, он, правда, высказал ту мысль, что очень хорошо было бы, если бы у нас развилась буржуазия, т. е. если бы наш экономический строй уподобился западноевропейскому. Но эта мысль совсем не получила у него надлежащего развития. В высшей степени замечательно, что тот самый (и притом в полном смысле слова гениальный) человек, который уже в 1841 г. так хорошо понял роль классовой борьбы во внутренней истории западноевропейского общества, мог в 1847 г. (в письме к Боткину от 8 марта) приурочивать все свои соображения о будущем русского народа к свойствам «русской личности». «Русская личность, — писал Белинский, — пока — эмбрион, но сколько широты и силы в натуре этого эмбриона, как душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость. Она боится их, не терпит их больше всего — и хорошо, по моему мнению, делает, довольствуясь пока ничем, вместо того чтобы закабалиться в какую-нибудь дрянную односторонность» *. А. Н. Пыпин говорит, что на основании подобных отзывов Белинского некоторые его друзья видели в нем только склонность «почти к славянофильскому идеализму». Тут неуместно *почти:* уповать на свойства русской личности — это *совсем* то же самое, что апеллировать к свойствам русского народного духа, к которым так часто и так охотно апеллировали славянофилы [2]. Но ведь славянофилы тоже держались исторического идеализма, у них миросозерцание народа тоже являлось основной пружиной всего его исторического... я сказал бы, движения, если бы движение, для которого находилось местечко в исторических взглядах славянофилов, не было, как две капли воды, похоже на неподвижность.

X

Но в данном случае Белинский сближался не только со славянофилами; он сближался, например, с Фонвизиным, хотя

* *А. Н. Пыпин,* Белинский, его жизнь и переписка, гл. IX [1].

ни в одной из своих статей он не указал на ту сторону взглядов автора «Недоросля», которую я здесь имею в виду.

В письме к Я. И. Булгакову из Монпелье от 25 января (5 февраля) 1778 г. Фонвизин говорит:

«Не скучаю вам описанием нашего вояжа, скажу только, что он доказал мне истину пословицы: *славны бубны за горами*. Право, умные люди везде редки. Если здесь прежде нас жить начали, то, по крайней мере, мы, начиная жить, можем дать себе такую форму, какую хотим, и избегнуть тех неудобств и зол, которые здесь вкоренились. Nous commençons et ils finissent *. Я думаю, что тот, кто родится, посчастливее того, кто умирает» **.

Насколько я знаю, это самая ранняя из наших «формул прогресса», основывающихся на историческом идеализме и сводящихся к тому отрадному убеждению, что «мы» можем дать себе любую «форму». Столь много шумевшая у нас впоследствии субъективная «формула прогресса» есть та же самая формула, но только с заменой алгебраических букв определенными арифметическими величинами: община, народная форма производства и проч. И ту же самую «формулу» встречаем мы mutatis mutandis *** у Чаадаева, поскольку он в самом деле занимался подобными выкладками, у Герцена и у Чернышевского. В каждой разновидности этой основной формулы «мы» означает не народную массу, а ту часть населения, которая предполагается руководительницей народа. Вот что говорит, например, Белинский об исторической роли Петра Великого: «Русская поэзия, как и русская жизнь... до Петра Великого была только телом, но телом, полным избытка органической жизни, крепким, здоровым, могучим, великим, вполне способным, вполне достойным быть сосудом необъятно великой души, — но телом, лишенным этой души и только ожидающим, ищущим ее... Петр вдунул в него душу живу — и замирает дух при мысли о необъятно великой судьбе, ожидающей народ Петра...» ****. В «формуле» Герцена роль тела играл тот же народ с его общинным бытом, а роль Петра — образованное дворянство, преимущественно среднее и мелкое, которому рекомендовалось проникнуться социалистическим идеалом. У субъективистов дворянство заменялось разночинцами и т. д. Дело не в этих видоизменениях, а в том, что в каждом из них двигателем исторического развития является не народ, а кто-то, расположенный к народу и выбирающий за него ту или другую «форму».

* [Мы начинаем, а они кончают.]

** Сочинения, письма и пр., изд. под редакцией Ефремова, стр. 272—273[1].

*** [Изменив то, что подлежит изменению]

**** Сочинения, ч. V, стр. 159[2].

Чтобы вернуться к Белинскому, прибавлю, что его идеалистический взгляд на возможный ход русского общественного развития ставил его в противоречие с самим собою. Посмотрите, например, как он иронизирует над попытками создания национальной малорусской литературы. «Что же касается до малороссиян, то смешно и думать, чтоб из их, впрочем прекрасной, народной поэзии могло теперь что-нибудь развиться: из нее не только ничего не может развиться, но и сама она остановилась еще со времен Петра Великого; двинуть ее возможно тогда только, когда лучшая, благороднейшая часть малороссийского населения оставит французскую кадриль и снова примется плясать трепака и гопака, фрак и сюртук переменит на жупан и свитку, выбреет голову, отпустит оселедец — словом, из состояния цивилизации, образованности и человечности (приобретением которых Малороссия обязана соединению с Россией) снова обратится к прежнему варварству и невежеству» *.

Белинский решительно никогда не был склонен смотреть на народ сквозь очки дворянских предрассудков. Но здесь у него благороднейшею и лучшей частью малороссийского населения оказывается дворянство, носящее фрак и сюртук и танцующее французскую кадриль.

Шесть лет спустя Белинский, возражая славянофилам, упрекавшим наше образованное меньшинство в измене народным преданиям, писал: «Разделение народа на противоположные, враждебные будто бы друг другу большинство и меньшинство, может быть, и справедливо со стороны логики, но решительно ложно со стороны здравого смысла. Меньшинство всегда выражает собою большинство, в хорошем или в дурном смысле. Еще страннее приписать большинству народа только дурные качества, а меньшинству — одни хорошие. Хороша была бы французская нация, если бы о ней стали судить по развратному дворянству времен Людовика XV! Этот пример указывает, что меньшинство скорее может выражать собою более дурные, нежели хорошие стороны национальности народа, потому что оно живет искусственною жизнью, когда противополагает себя большинству как что-то отдельное от него и чуждое ему. Это мы видим и в современной нам Франции, в лице bourgeoisie ** — господствующего теперь в ней сословия» ***.

Разделение народа на противоположные и враждебные друг другу большинство и меньшинство отнюдь не ложно со стороны здравого смысла: оно есть необходимое предварительное условие того процесса классовой борьбы, с помощью которого Белинский так удачно объяснял нам духовное развитие Запада.

* Там же, стр. 65—66 [1].

** [буржуазии]

*** Сочинения, ч. XI, стр. 44—45 [2].

А почему меньшинство всегда «выражает собой» большинство? Разве завоеватели «выражали собою» завоеванных? Разве аристократия «выражала собой» третье сословие? Белинский сам признает, что нет, замечая: «хороша была бы французская нация, если бы о ней стали судить по развратному дворянству Людовика XV». И он же утверждает, что современная ему французская буржуазия должна быть рассматриваема как выражение дурных сторон народного французского характера. Но ведь это значит, что названное выше разделение народа вполне правильно. Откуда же эта шаткость, столь необычная в суждениях нашего гениального писателя? Белинскому не удается согласовать свой взгляд на развитие Запада со своим взглядом на развитие России. А не удается потому, что взгляды эти, как я уже сказал, несогласимы между собою: первый представляет собою один из важнейших элементов материалистического объяснения истории, второй насквозь пропитан идеализмом *.

XI

Я попрошу читателя обратить внимание на следующие выписки.

В 1844 г. Белинский, разбирая переведенные В. Строевым «Парижские тайны» Эжена Сю, следующим образом характеризовал внутреннее состояние тогдашней Франции:

Аристократия пала окончательно. Мещанство твердою ногою стало на ее место, наследовав ее преимущества, а пролетарий, помогавший мещанам в борьбе с аристократией, оказался совершенно ни при чем. «Вечный работник собственника и капиталиста, пролетарий весь в его руках, весь его раб, ибо тот дает ему работу и произвольно назначает за нее плату» **. Сытая буржуазия все более и более развращается. Но искры добра еще не погасли во Франции; ее положение совсем не безысходно. Ее спасет народ. «В народе уже быстро развивается образование, и он уже имеет своих поэтов, которые указывают

* Продолжая свои возражения славянофилам, Белинский говорит: «Следовательно, источник всякого прогресса, всякого движения вперед заключается не в двойственности народов, а в человеческой натуре, так же как в ней заключается и источник уклонений от истины, коснения и неподвижности» (Сочинения, ч. XI, стр. 46) [1]. Тут как будто происходит полная перемена позиции. В изложении Белинского оказывается, что славянофилы апеллируют к «двойственности», т. е. ко взаимной борьбе разнородных элементов, как к источнику всякого прогресса, между тем как он отворачивается от этого источника, апеллируя к человеческой натуре. Дальше этого противоречие с самим собою, коренившееся в идеалистическом взгляде на историю, идти не могло.

** Сочинения, ч. IX, стр. 14 [2].

ему его будущее, деля его страдания и не отделяясь от него ни одеждою, ни образом жизни. Он еще слаб, но он один хранит в себе огонь национальной жизни и свежий энтузиазм убеждения, погасший в слоях «образованного» общества. Но и теперь еще у него есть истинные друзья: это — люди, которые слили с его судьбою свои обеты и надежды и которые добровольно отреклись от всякого участия на рынке власти и денег. Многие из них, пользуясь европейскою известностью как люди ученые и литераторы, имея все средства стоять на первом плане конституционного рынка, живут и трудятся в добровольной и честной бедности. Их добросовестный и энергический голос страшен продавцам, покупщикам и аукционерам администрации, — и этот голос, возвышаясь за бедный, обманутый народ, раздается в ушах административных антрепренеров, как звук трубы судной» *. Тут правильно указывается отношение «бедного народа» к его друзьям, тогдашним социалистам-утопистам. Социалисты возвышали за народ свой голос, а сам он был пока еще «слаб». Но Белинский видит, что народ слаб именно только пока, до поры до времени: «Народ — дитя; но это дитя растет и обещает сделаться мужем, полным силы и разума» **. Иначе сказать, Францию спасет народ, сознание которого быстро развивается под отрезвляющим влиянием французских социально-политических отношений.

А у нас? В статье «Мысли и заметки о русской литературе», появившейся в «Петербургском сборнике» 1846 г., наш автор довольно подробно рассматривает положение России. По его мнению, нам нельзя пожаловаться на судьбу, так как наука у нас укореняется, хотя еще и не укоренилась, а образование пустило уже глубокий корень: «Лист его мелок и редок, ствол не высок и не толст, но корень уже так глубок, что его не вырвать никакой буре, никакому потоку, никакой силе» ***. Успехами образования мы обязаны главным образом нашей литературе. Ее роль в России была огромна и даже — прибавлю я от себя — несколько неожиданна. Она не только создала нравы нашего общества, но «положила начало внутреннему сближению сословий, образовала род общественного мнения и произвела нечто вроде особенного класса в обществе, который от обыкновенного *среднего сословия* отличается тем, что состоит не из купечества и мещанства только, но из людей всех сословий, сблизившихся между собою через образование, которое у нас исключительно сосредоточивается на любви к литературе» ****.

---

* Сочинения, ч. IX, стр. 16 [1].
** Там же, стр. 15 [2].
*** Сочинения, ч. XII, стр. 242 [3].
**** Там же, стр. 243 [4].

Во Франции двигательной пружиной прогресса служит борьба классов, а у нас — литература, ведущая к внутреннему сближению сословий. Во Франции борьба классов ведет к развитию сознания народа; у нас влияние литературы ведет к возникновению особенного класса, состоящего из людей всех сословий. Несколько ниже Белинский говорит, что различие литературного образования перешло у нас в жизнь «и разделило людей на различно действующие, мыслящие и убежденные поколения, которых живые споры и полемические отношения, выходя из принципов, а не из материяльных интересов, являют собою признаки возникающей и развивающейся в обществе духовной жизни» *.

На Западе — борьба классов; у нас — борьба принципов. На Западе — социализм; у нас — смена поколений. Читатель видит, что эти два взгляда в самом деле несогласимы между собою.

Гениальный Белинский чувствовал, что дело тут обстоит неладно, что это противоречие должно быть разрешено. Он восклицал: «Теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию. Польша лучше всего доказала, как крепко государство, лишенное буржуазии с правами» [2]. Но то, что чувствовал гениальный Белинский, долго еще оставалось недоступным сознанию русских демократов. Они (народники и субъективисты) долго еще твердили: «Избави нас бог от капитализма». Жизнь решила, однако, что Белинский был прав. Истолкователями ее приговора явились русские марксисты.

Еще два слова. Как ни велика и как ни благотворна, по убеждению Белинского, роль просвещения и литературы в России, но ведь не они распоряжаются ее судьбами. А Петры Великие редки. Практика николаевского режима очень не жаловала к тому же ни литературы, ни просвещения. Где же было искать выхода? Увы! — его приходилось искать в добрых намерениях того же правительства.

В начале 1848 г., т. е. уже после того, как им было написано его знаменитое письмо к Гоголю, полное такого страстного революционного протеста, Белинский в письме к одному из своих живших в Париже друзей очень резко отзывался о людях, которые своими нетерпеливыми выходками «раздражают правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где ровно ничего нет, и вызывают меры, крутые и гибельные для литературы и просвещения» [3]. Речь шла об известном деле Шевченко. А. Н. Пыпин замечает, что Белинский

* Там же, стр. 245 [1].

был о нем очень плохо осведомлен. Это, без сомнения, так и есть. Но общая мысль Белинского все-таки остается: не надо раздражать правительство, потому что иначе оно примет меры, гибельные для просвещения и литературы. Но николаевское правительство так легко раздражалось, что мысль эта оставалась неосуществимой, вследствие чего литературе и просвещению ни на минуту не переставали угрожать гибельные меры. Белинский не мог не сознавать этого и потому не мог не видеть, что его надежды на лучшее будущее покоятся на весьма шатком основании. Но найти для них другое основание он не мог. В этом отношении он очень походил на великих французских просветителей XVIII столетия, которые, согласно своим историческим взглядам, тоже уповали преимущественно на рост образования, но тоже не могли не видеть, что образованию постоянно грозили препятствия со стороны тогдашних абсолютных монархов. Поэтому они тоже старались не раздражать этих монархов, по крайней мере тех, которые были от них подальше (Пруссия и Россия) и которые делали вид, что сочувствуют их учению. Вера в хорошие намерения этих более или менее отдаленных монархов была у них в сущности совсем невелика; но они все-таки ублажали их, находя, что лучше что-нибудь, чем ничего. Как я уже показал в своей книге о «Монистическом взгляде на историю», исторический идеализм в своей наиболее распространенной разновидности — т. е. субъективный исторический идеализм — открывает перед своими последователями далеко не такие отрадные, а главное, далеко не такие устойчивые перспективы, как это думают его защитники. Совсем не вдаваясь в преувеличения, позволительно утверждать, что только люди, придерживающиеся исторического материализма, могут быть вполне и сознательно последовательными политиками *.

Просветитель приурочивает все свои надежды к успехам образования, которому, однако, постоянно угрожают «крутые и гибельные» меры со стороны власть имеющих обскурантов. Неудивительно, что наиболее нетерпеливые из просветителей покидают на время точку зрения *субъективного* исторического идеализма и апеллируют к *объективной* логике вещей, стараясь найти в народной жизни такие элементы, самая наличность которых обеспечивает будущее торжество разума. В истории нашей общественной мысли роль таких элементов сыграли некоторые архаические формы нашего народного быта, и

* Не догадывающийся об этом профессор А. И. Незеленов совсем напрасно и очень неумно относит на счет нравственной непорядочности великих французских просветителей их политическую непоследовательность, коренящуюся в их историческом идеализме. (См. его книги: «Литературные направления в екатерининскую эпоху» и «Н. И. Новиков».)

прежде всего — сельская община. Сочувствие к ней заметно уже у петрашевцев. Ханыков восклицает: «Отечество мое, где твое общинное устройство, где ты, народная вольница, великий государь — Новгород?» *. Я уже напоминал читателю о том, какое большое место отведено было впоследствии общине в воззрениях народников и субъективистов à la Михайловский. Но, может быть, не все помнят теперь, что сам Н. Михайловский не раз принимался доказывать правительству, что «социальный вопрос», имеющий на Западе *революционное* значение, является у нас *консервативным* вопросом. В этом сказалась уже известная нам и совершенно неизбежная непоследовательность политической мысли, опирающейся на исторический идеализм.

XII

В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» Белинский, споря со славянофилами, говорит, что «нельзя остановиться на признании справедливости какого бы то ни было факта, а должно исследовать его причины, в надежде в самом зле найти и средства к выходу из него» **. Это чисто диалектический взгляд, вполне достойный гениального ученика великого Гегеля. Несколько ниже он другими словами выражает тот же самый взгляд.

Указав на то, что в настоящее время многие из русских отправляются за границу «решительными европейцами», а возвращаются домой сами не зная кем и именно потому желают сделаться русскими, он спрашивает: «Что́ же все это означает? Неужели славянофилы правы, и реформа Петра Великого только лишила нас народности и сделала междоумками? И неужели они правы, говоря, что нам надо воротиться к общественному устройству и нравам времен не то баснословного Гостомысла, не то царя Алексея Михайловича (насчет этого сами господа славянофилы еще не условились между собою)?» *** Само собою разумеется, что он этого не думает. «Нет, это означает совсем другое, а именно то, что Россия вполне исчерпала, изжила эпоху преобразования, что реформа совершила в ней свое дело, сделала для нее все, что могла и должна была сделать, и что настало для России время развиваться самобытно, из самой себя» ****.

---

* «Политические процессы николаевской эпохи. — Декабристы. — Тайные общества. — Процессы Колесникова, бр. Критских и Раевских». Изд. В. М. Саблина, Москва 1907, стр. 22.

** Сочинения, ч. XI, стр. 25 [1].

*** Там же, стр. 26 и 27 [2].

**** Там же, стр. 27 [3].

Здесь слово «самобытно» употребляется в том диалектическом смысле, согласно которому «результата всякого явления надо, — как выражается Белинский * в другом месте, — искать в самом этом явлении». И против этого опять решительно ничего нельзя возразить. Но о каком явлении идет речь у Белинского? О развитии России. Это развитие должно совершиться само из себя, т. е. собственными силами. Опять правильно. Но вот вопрос: каковы движущие силы общественного развития? Мы уже знаем, что на Западе самой главной из этих сил являлась, по мнению Белинского, борьба классов. Она обусловила собою развитие духа западноевропейских народов. Бытие определило собою сознание. А в России? Белинский повторяет здесь, что «Россию нечего сравнивать со старыми государствами Европы, которых история шла диаметрально противоположно нашей» **. Допустим. Но ведь есть же какая-нибудь сила, толкающая вперед *нашу* общественную жизнь? Этой силой оказывается у Белинского сила русской национальности, т. е. русского народного духа ***. Это в самом деле прямо противоположно тому, что было на Западе: там бытие определило собою сознание; здесь — сознание определяет или, по крайней мере, должно определить со временем бытие. Но нам уже известно, что, согласно мнению Белинского, русский народный дух нуждается для своего развития во внешнем толчке и что необходимый для него внешний толчок должен прийти с Запада. Где же тот передаточный механизм, с помощью которого Запад толкнет Россию? Роль этого механизма в прошлом сыграло правительство (прежде всего и преимущественно Петр Великий), а теперь играет и в будущем будет играть, как думает Белинский, тот общественный слой, который называется у него «средним классом», который мы зовем теперь интеллигенцией.

Взгляд на интеллигенцию, как на главную движущую силу общественного развития, есть чисто просветительский взгляд, опирающийся на коренное положение исторического идеализма: миром правит мнение. Я не имею ни малейшего намерения критиковать здесь этот взгляд, но я считаю нужным рассмотреть, в каком направлении изменялись приемы мысли Белинского под его влиянием [4].

Диалектический взгляд на борьбу классов, как на богатый источник духовного развития Западной Европы, требовал как своего естественного дополнения диалектических же соображений о том, каким путем дальнейшее течение классовой борьбы определит собою дальнейшее направление западноевро-

* Сочинения, ч. IX, стр. 253 [1].
** Там же, ч. XI, стр. 29 [2].
*** Там же, стр. 30—31 [3].

пейской мысли. Требование это и на Западе выполнено было далеко не сразу. Его исполнил только научный социализм Маркса — Энгельса. Но совершенно неоспоримо то, что оно естественно вытекало из вышеуказанного чисто материалистического взгляда на борьбу классов, как на глубочайшую причину всего исторического движения западноевропейского общества. А как формулировать то главное требование, которое логически вытекало из субъективно-идеалистического взгляда Белинского на развитие России?

Если интеллигенция («средний класс») служит главным двигателем русского общественного развития, то ясно, что нужно прежде всего позаботиться о том, чтобы эта носительница просвещения сама была просвещена как можно лучше. А ее просвещение будет тем выше, чем правильнее станут ее понятия о социальной и личной жизни людей. Значит, первой задачей литературы должна быть признана выработка правильных понятий в среде интеллигенции. К этому и стремится Белинский в последние годы своей литературной деятельности. В одной из прежних моих статей я назвал его родоначальником наших просветителей, сыгравших такую выдающуюся роль в продолжение шестидесятых годов. Он и в самом деле был таковым.

XIII

Уже в 1841 г. Белинский писал: «Для России наступает время сознания. Несмотря на холодность и равнодушие, в которых мы, русские, не без причины упрекаем себя, у нас уже не довольствуются общими местами и истертыми понятиями, но хотят лучше ложно и ошибочно судить, нежели повторять готовые и на веру или по лености и апатии принятые суждения» *. Достойно замечания, что как пример для пояснения своей мысли Белинский берет вопрос об отношении к Пушкину. Многие, сомневаясь в справедливости давно высказанных суждений о Пушкине, начинают сомневаться в его поэтическом величии. По мнению Белинского, «это явление отрадно: оно выражает потребность самостоятельной мыслительности, потребность истины, которая прежде и выше всего, даже самого Пушкина. Amicus Plato, sed magis amica veritas **, — премудрое изречение!» *** Поневоле вспоминаешь Д. И. Писарева с его громкой статьей «Пушкин и Белинский». Известно, что многие из тех, которые считали себя поклонниками Белинского,

* Сочинения, ч. IV, стр. 373—374 [1].
** [Платон друг, но истина еще больший друг] [2]
*** Там же, стр. 374 [3].

страшно вознегодовали на Писарева. Следует думать, что Белинский постарался бы охладить их негодование.

Он отнюдь не согласен с людьми, отрицающими великость Пушкина как поэта, но он и не сердится на них.

«Мы думаем диаметрально противоположно с такими людьми; но если их мнение выходит не из каких-нибудь внешних и предосудительных причин, мы готовы с ними спорить ради истины и уверены, что только через такие споры явится истина и войдет в общее сознание — сделается общим убеждением. Тем более мы далеки от того, чтобы смотреть на таких людей, как на раскольников, на исказителей истины, оскорбляющих память великого поэта и чувство национальной гордости. Скажем более, мы понимаем, что могут быть и такие отрицатели гения Пушкина, которые в тысячу раз достойнее уважения многих безусловных почитателей славы великого поэта, повторяющих чужие слова. Явление таких отрицателей обнаруживает не холодность общества к истине, но скорее рождающуюся любовь к ней, ибо безусловное признание чего-нибудь без рассуждения, без поверки разумом, скорее, чем сомнение и отрицание, есть признак апатического равнодушия общества к делу истины. Нет, явление таких отрицателей в молодом обществе есть признак рождающейся мыслительной жизни» *.

Можно подумать, что Белинский уже в то время предвидел появление Писарева с его статьей против Пушкина и заранее старался найти смягчающие обстоятельства для этого enfant terrible ** нашего просветительства.

Но еще интереснее вот что. В письме к Боткину от 8 сентября 1841 г. наш автор, отдавая должное очень большим, по его мнению, художественным достоинствам одной из повестей Кудрявцева ***, прибавляет, что все-таки повесть эта ему не понравилась. «Начинаю бояться за себя — у меня рождается какая-то враждебность против объективных созданий искусства» [2]. А. Н. Пыпин называет это «базаровской чертой в сороковых годах». Полезно будет заметить, что эта «базаровская», т. е. чисто просветительская, черта появилась в воззрениях Белинского в то время, когда они больше всего подчинялись влиянию гегелевой диалектики. И по мере того как он сосредоточивал свое внимание на литературной борьбе с «гнусной российской действительностью», она становилась все глубже и все заметнее. Да иначе и быть не могло. По мере того как внимание Белинского переходило от теории к практике, вопросы западноевропейской жизни все более и более вытеснялись из его поля зрения

* Там же, стр. 374—375 [1].

** [буквально: ужасного ребенка]

*** А. Н. Пыпин полагает, что речь шла о повести Кудрявцева «Цветок», напечатанной в книжке IX «Отечественных Записок» за 1841 г.

вопросами «рассейской действительности». А мы уже видели, что при анализе этой последней ему изменял (благодаря страшной неразвитости наших общественных отношений) диалектический метод, и он переходил на точку зрения субъективного исторического идеализма, т. е. именно на точку зрения просветителя.

Кто не помнит статей Добролюбова о русской литературе второй половины XVIII века и особенно о сатире этой эпохи? Кто не помнит, в чем и почему обвинял он тогдашних сатириков? Нетрудно убедиться в том, что статьи эти написаны под сильнейшим влиянием Белинского и местами являются как бы дальнейшим развитием мыслей, мимоходом высказанных родоначальником наших просветителей. Вот пример.

В статье «Русская литература в 1843 г.» Белинский говорит: «Прежде сатира смело разгуливала между народом середи белого дня и даже не заботилась об инкогнито, но прямо и открыто называлась своим собственным именем, т. е. сатирою, — и никто не сердился на нее, никто даже не замечал ее гримас и кривляний. Отчего это? Оттого, что никто не узнавал себя в ней; оттого, что она нападала на пороки общие, которых всякий имеет полное право не принять на свой счет; оттого, что она была книгою, печатною бумагою, невинным школьным упражнением по классу риторики...» *

В статье «Русская сатира екатерининского времени» Добролюбов доказывает, что сатира эта была «обличением, спором для спора, остроумием для остроумия» и что «до настоящего дела было отсюда чрезвычайно далеко, не только в выражении, но и в мысли сатириков» **.

Не правда ли, оба автора развивают одну и ту же мысль, но только у одного она высказывается в своем общем виде, а у другого прилагается к определенному времени?

Дальше Белинский утверждает, что человек, живущий в обществе, зависит от него и в своем образе мыслей и в своих поступках. Сатирики прежнего времени не понимали этого, и «вот почему эти добрые сатирики брали человека, не обращая внимания на его воспитание, на его отношение к обществу, и тормошили на досуге это созданное их воображением чучело» ***. А Добролюбов? Он пишет:

«Большая часть общественных явлений не может быть изменена просто волею частных лиц; нужно изменить обстановку, дать другие начала для общей деятельности и тогда уже обличать тех, которые не сумеют воспользоваться выгодами нового устройства. Наши сатирики отчасти не хотели понять этого,

* Сочинения, ч. VIII, стр. 62 [1].

** *Н. А. Добролюбов*, Сочинения, изд. 2-е, т. I, стр. 121 [2].

*** Сочинения, ч. VIII, стр. 64 [3].

а отчасти и понимали, да не могли выразить. Они нападали на необразованность, взяточничество и ханжество, отсутствие законности, спесь и жестокость в обращении с низшими, подлость пред высшими и пр. Но весьма редко в этих обличениях проглядывала мысль, что все эти частные явления суть не что иное, как неизбежные следствия ненормальности всего общественного устройства. Большею частию нападали на взяточника так, как будто бы все зло взяточничества зависело единственно от личной наклонности таких-то к обдиранию просителей» *.

Здесь Добролюбов опять только прилагает к эпохе Екатерины более общую мысль, высказанную Белинским о «добрых сатириках» доброго старого времени.

Сам Чернышевский иногда как будто лишь развивает или применяет к новым случаям соображения Белинского. Вот поразительный пример, которого, насколько я знаю, еще не отметили историки нашей литературы. Возражая «господам защитникам старины», обвинявшим Петра Великого в том, что он лишил Россию возможности постепенно дорасти до цивилизации путем собственного развития, Белинский спрашивает:

«Могла ли Россия начинать с начала, когда перед ее глазами был уже конец? Неужели ей нужно было начать, например, военное искусство с той точки, с которой оно началось в Европе во времена феодализма, когда в нее стреляли из пушек и мортир, а нестройную толпу ее могли поражать стройные ряды, вооруженные штыками, повертывавшиеся по команде одного человека? Смешная мысль! Если же Россия должна была изучать военное искусство в том состоянии, в каком было оно в Европе XVII века, то должна была учиться и математике, и фортификации, и артиллерийскому, и инженерному искусству, и навигации; следственно, могла ли она приниматься за геометрию не прежде, как арифметика и алгебра уже укоренятся в ней и их изучение окажет полные и равные успехи во всех сословиях народа?» **

Те же самые доводы послужили Чернышевскому — в его статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения» — для доказательства той мысли, что отсталые народы могут и должны миновать известные фазы экономического развития.

XIV

Впрочем, я не утверждаю, что Чернышевский сознательно повторял в этом случае доводы Белинского. Дело в том, что

* *Н. А. Добролюбов*, Сочинения, ч. I, стр. 119—120 [1].
** Сочинения, ч. IV, стр. 392 [2].

в указанной статье Чернышевский применил, хотя и не безукоризненно, тот диалектический метод Гегеля, которым так часто пользовался Белинский. Оба они прошли через гегелеву школу, хотя на взглядах Белинского школа эта оставила более глубокий след, нежели на взглядах Чернышевского. А от Гегеля тот и другой перешел к Фейербаху, причем тут приходится отметить обратное отношение: в школе Фейербаха Чернышевский оставался дольше, нежели Белинский. Неудивительно, во всяком случае, что в сочинениях этого последнего мы не раз встречаем такие мысли, которые потом подробно развивались Чернышевским. Мысли эти могли быть взяты из одного общего источника. Но все-таки сходство их в высшей степени замечательно, и странно, что даже А. Н. Пыпин не заметил всей его поразительной полноты.

Вот еще пример. Белинский устанавливает как «общий закон», что «где жизнь, там и поэзия» *. Одним из основных положений Чернышевского в его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» служит та мысль, что «прекрасное есть жизнь». Но Чернышевский в своей эстетике опирался, как известно, на философию Фейербаха, между тем как Белинский едва ли был знаком с Фейербахом в то время, когда он формулировал свой общий закон. Вероятно, он вывел его из эстетики Гегеля, в которой вообще очень много зародышей материалистического взгляда на искусство. И все-таки несомненно, что Чернышевский, развивая указанное выше положение свое, имел право считать себя близким по духу «критику гоголевского периода». Критик этот, в самом деле, был очень близок к нему, а равно и ко всем просветителям шестидесятых годов там, где он, покидая точку зрения диалектики, сам переходил на просветительскую точку зрения.

Последний пример. В одной из своих, поистине великолепных, статей о Пушкине Белинский разбирает, между прочим, знаменитый ответ Татьяны Онегину. Его поражают слова:

Я вас люблю (к чему лукавить?).
Но я другому отдана
И буду век ему верна.

Он восклицает: «Последние стихи удивительны, — подлинно, «конец венчает дело»! Этот ответ мог бы пойти в пример классического «высокого» (sublime) наравне с ответом Медеи: moi!** и старого Горация: qu'il mourût! *** Вот истинная гордость женской добродетели! «Но я другому отдана», — именно *отдана*, а не *отдалась!* Вечная верность *кому* и в *чем?* Верность

* Сочинения, ч. V, стр. 83 [1].
** [Я!]
*** [пусть он умрет!]

таким отношениям, которые составляют профанацию чувства и чистоты женственности, потому что некоторые отношения, не освящаемые любовью, в высшей степени безнравственны... Но у нас как-то все это клеится вместе: поэзия — и жизнь, любовь — и брак по расчету, жизнь сердцем — и строгое исполнение внешних обязанностей, внутренно ежечасно нарушаемых... Правда, женщина поступает безнравственно, принадлежа вдруг двум мужчинам, одного любя, а другого обманывая; против этой истины не может быть никакого спора...» и т. д.*).

Просветители шестидесятых годов очень охотно развивали эти мысли. Роман «Что делать?» был, можно сказать, их более или менее художественной иллюстрацией. Конечно, и эти мысли могли быть почерпнуты просветителями названной эпохи не только у Белинского: они громко и ярко выражались в западной, особенно французской, литературе сороковых годов. Но и тут сочувствие к одним и тем же мыслям должно было еще более укреплять симпатию просветителей шестидесятых годов к великому «критику гоголевского периода русской литературы».

XV

В одной из предыдущих глав я показал, что Белинский одновременно держался диалектического взгляда — там, где дело касалось общественного развития Западной Европы, и просветительского взгляда — в тех случаях, когда у него заходила речь о развитии России. И я прибавил, что это одновременное существование у него двух, один другому противоречащих, взглядов объясняется несравненно бо́льшим развитием западных общественных отношений сравнительно с русскими. Теперь нужно дополнить это объяснение.

Чем больше приближался Белинский к концу своей литературной карьеры, тем больше изменялось в его миросозерцании взаимное отношение двух указанных взглядов. Если прежде — в годы, непосредственно следовавшие за разрывом с «философским колпаком Егора Федорыча», — Белинский был гораздо более диалектиком, нежели просветителем, то в позднейшие годы своей жизни он был гораздо более просветителем, нежели диалектиком [2]. Только благодаря этому обстоятельству он и мог стать родоначальником наших просветителей.

Но чем же объясняется это весьма странное на первый взгляд обстоятельство?

Оно объясняется тем, что Белинский окончательно покинул идеализм и сделался материалистом.

* Сочинения, ч. VIII, стр. 601 [1].

Это опять звучит довольно странно: разве же материализм исключает диалектику?

И да, и нет: все зависит от того, о каком именно материализме мы говорим. Материализм Маркса — Энгельса насквозь пропитан диалектикой, а в материализме французских просветителей XVIII века диалектический элемент был совсем ничтожен. Слаб он был, хотя и не до такой степени, как у французских просветителей и в материалистической философии Фейербаха, а между тем именно этой философией и увлекся Белинский, расставшись с абсолютным идеализмом Гегеля.

В статье «В. Г. Белинский» [1] я сделал выписки, показывающие, до какой степени тождественны были некоторые, и притом основные, взгляды нашего критика со взглядами Фейербаха. Теперь я подойду к тому же вопросу с другой стороны.

П. В. Анненков свидетельствует: «Можно сказать, что нигде книга Фейербаха (очевидно, его «Сущность христианства». — *Г. П.*) не произвела такого потрясающего впечатления, как в нашем «западном» круге, нигде так быстро не упраздняла остатки всех прежних, предшествовавших ей созерцаний». У него же мы находим другое свидетельство: «Для Белинского, собственно, был сделан в Петербурге одним из приятелей перевод нескольких глав и важнейших мест из книги Фейербаха — и он мог, так сказать, осязательно познакомиться с процессом критики, опрокидывавшей его старые мистические и философские идолы. Нужно ли прибавлять, что Белинский был поражен и оглушен до того, что оставался совершенно нем перед нею и утерял способность предъявлять какие-либо вопросы от себя, чем всегда так отличался» *. Это крайне интересно. Но, во-первых, как же можно было совершенно позабыть о хронологии и даже не намекнуть, когда именно переводили для Белинского отрывки из Фейербаха, а во-вторых, как понимать то, что Белинский онемел перед философией Фейербаха и «утерял способность предъявлять какие-либо вопросы от себя»? Это что-то странно. Можно допустить, что Белинский, прежде твердо державшийся идеализма, был ошеломлен сделанной Фейербахом материалистической критикой идеалистического учения. Но это, наверно, продолжалось недолго: Белинский, наверно, скоро овладел философией Фейербаха, а когда он овладел ею, тогда исчезла и его немота, если в самом деле была немота, и его неспособность «предъявлять какие-либо вопросы от себя», если такая неспособность в самом деле имела место. Как прежде Белинский подходил к вопросам литературы, опираясь в последнем счете на философский идеализм Гегеля, так теперь он стал подходить к ним, опираясь на философский ма-

* «Литературные воспоминания». С.-Петербург 1909, стр. 284 [2].

териализм Фейербаха. Только и всего. Но этого достаточно для исключения как «немоты», так и «неспособности». Попробуем собственными силами хоть немного разобраться в хронологии.

В письме к Белинскому от 10—23 марта 1842 г. Боткин говорит: «Конец средних веков и начало нового времени есть, собственно, XVIII век. Во Франции совершилось отрицание средних веков в сфере общественности; в Байроне явилось оно в поэзии, — теперь является в сфере религии в лице Штрауса, Фейербаха и Бруно Бауэра» [1]. В том же письме Боткин довольно подробно излагает взгляд Фейербаха на религию: «В религии человек чувствует себя *зависящим:* он вне самого себя не свободен, подвержен авторитету, предан власти, которая утвердительно полагает себя не как его собственная власть, но как сверхъестественная, сверхчеловеческая» [2]. Отсюда ясно видно, что в начале 1842 г. Белинский был осведомлен не только о Фейербахе, но и о Бруно Бауэре, и замечательно, что в том же самом письме Боткин, так не любивший впоследствии просветителей, сам высказывается как горячий просветитель. Он пишет: «Новые люди с новыми идеями о браке, религии, государстве — фундаментальных основах человеческого общества — прибывают с каждым днем; новый дух, как крот, невидимо бегает под землею и копает ее — чудный рудокоп. Das Alte stürzt — es ändert sich die Zeit, — und neues Leben steigt aus den Ruinen» *. Вместе с тем уже в сочинениях Белинского, относящихся к 1843 году, попадаются выражения и целые страницы, заставляющие предполагать, что он уже тогда испытывал на себе некоторое влияние Фейербаха.

Так, например, в той самой статье о Державине, в которой он признает идею исходным пунктом явлений, т. е. высказывается как чистокровный гегельянец, мы встречаем неодобрительное замечание об идеалистах, которые в своей односторонности «за душою не замечают организма», и о материалистах, которые с не меньшей односторонностью «за массою тела не могут провидеть душу» **. Наш автор категорически утверждает: «Очевидно, что как эмпиризм, так и идеализм (отвлеченный) суть односторонности, равно чуждые истине; истина же состоит в свободном примирении обеих этих крайностей» ***. Эти строки можно, пожалуй, признать написанными под влиянием Фейербаха, который, будучи самым несомненным материалистом, любил тогда представлять свою философию как синтез материализма с идеализмом, устраняющий односторонности,

* [Старое рушится — времена меняются, — и из руин встает новая жизнь.] [3]

** Сочинения, ч. VII, стр. 67 [4].

*** Там же, стр. 68 [5].

свойственные каждому из них *. Я не хочу ручаться за это, потому что в приведенных строках есть подозрительная оговорка насчет «отвлеченного» идеализма. Если Белинский не одобрял только «отвлеченного» идеализма, то он с удобством мог тогда продолжать держаться точки зрения Гегеля, который «отвлеченного» идеализма тоже не жаловал. Но уже в 1844 г., в статье о сочинениях кн. В. Ф. Одоевского, он с полным убеждением говорит, что «теперь даже философия Гегеля относится в Германии к учениям, уже совершившим свой круг» **. В следующем году он повторяет ту же мысль в небольшой рецензии на книгу А. Татаринова «Руководство к познанию теоретической материальной философии» (СПБ. 1844 г.). Но и здесь мысль эта выражена, к сожалению, без достаточной для нашей цели ясности. Речь идет у него о «левой стороне гегелизма», которая «отложилась от Гегеля». Боясь ввести в заблуждение читателя, Белинский оговаривается: «Если мы сказали, что левая сторона гегелизма отложилась от своего учителя, это не значит, чтоб она отвергла его великие заслуги в сфере философии и признала его учение пустым и бесплодным явлением. Нет, это значит только, что она хочет идти дальше и, при всем ее уважении к великому философу, авторитет духа человеческого ставит выше духа авторитета Гегеля»***. Относит ли Белинский к числу левых гегельянцев также и Фейербаха? Если да, то вопрос решен: эти строки показывают, что в то время Белинский уже не придерживался гегелева идеализма. Но сам Фейербах гегельянцем себя не признавал, справедливо полагая, что основа его философии прямо противоположна основе гегелевой системы. В то же время на левом крыле гегелевой школы было много идеалистов, на счет которых можно отнести, без очень большой натяжки, сочувственный отзыв Белинского. Определеннее высказывается наш автор в статье «Общее значение слова «литература»». Тут, повторив то уже хорошо знакомое нам положение, что литература всякого данного народа выражает его миросозерцание, а его миросозерцание определяется его натурой, его темпераментом,

* См. особенно его «Nachgelassene Aphorismen» [«Посмертные афоризмы»] во втором томе известной книги *К. Грюна*: Ludwig Feuerbachs Briefwechsel und Nachlass. Leipzig 1874. [Переписка и литературное наследие Людвига Фейербаха. Лейпциг 1874]. См. также: «Wider den Dualismus von Leib und Seele, Fleisch und Geist»... «Wahrheit ist weder der Materialismus noch der Idealismus, weder die Physiologie noch die Psychologie; Wahrheit ist nur die *Antropologie*... u. s. w...». (Ludwig Feuerbachs Sämtliche Werke. Zweites Band. Leipzig 1846, S. 362.) [«Против дуализма тела и души, плоти и духа»... «Истина не есть ни материализм, ни идеализм, ни физиология, ни психология; истина — только *антропология*... и т. д...». (*Людвиг Фейербах*, Сочинения, том второй, Лейпциг 1846, стр. 362.)] [1]

** Сочинения, ч. IX, стр. 63 [2].

*** Сочинения, ч. X, стр. 11 [3].

его характером — словом, его субстанцией, он замечает, что невозможно объяснить, почему у одного народа одна субстанция, а у другого — другая. «Правда, — говорит он, — на образование субстанции народа имеют большее или меньшее влияние географические, климатические и исторические обстоятельства; но тем не менее очевидно, что первая и главная причина субстанции всякого народа, как и всякого человека, есть физиологическая, составляющая непроницаемую тайну непосредственно-творящей природы» *. Говорить, что главная причина «субстанции» как отдельного человека, так и целого народа есть причина *физиологическая*, — значит утверждать нечто вполне материалистическое и прямо противоположное тому, что природа есть не более как воплощение идеи. А нам уже известно, что Белинский высказывал эту чисто идеалистическую мысль не далее как в 1842 г., разбирая «Речь о критике» А. Никитенко. Мне очень жаль, что в имеющемся у меня собрании сочинений Белинского не указано, хотя бы предположительно, к какому году относится «не бывшая в печати» статья: «Общее значение слова «литература»». Я думаю, что не ошибусь, отнеся ее к 1842 г. [2] Но, кажется, она дополнялась и переделывалась впоследствии; если она вышла из-под пера Белинского в окончательной отделке прежде разбора «Речи о критике» Никитенко, то этот разбор знаменует собою временный возврат Белинского от Фейербаха к Гегелю. Но вернее будет предположить, что она была написана после него и что именно в период времени, отделяющий одно от другого эти два произведения, совершился переход Белинского от гегелева идеализма к фейербахову материализму. Во всяком случае, в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» Белинский высказывается как убежденный последователь Фейербаха.

XVI

Не имея возможности по недостатку места всесторонне рассмотреть здесь влияние Фейербаха на Белинского, я ограничусь до сих пор еще очень плохо разработанным вопросом о том, в каком направлении изменился под этим влиянием взгляд Белинского на действительность, первоначально заимствованный им у Гегеля.

Ходячая легенда гласит, что было время, когда злой Гегель толкнул доброго Белинского к примирению с действительностью, а потом, господу споспешествующу, «неистовый Виссарион» возненавидел гегелевский «колпак» и восстал против действительности. Оно отчасти так и есть: Белинский, точно, восстал против действительности. Но восстание восстанию рознь.

* Сочинения, ч. XII, стр. 427 [1].

Белинский восставал против действительности совсем не так, как восставали против нее, например, романтики, которых особенно сильно честил он именно в то время, когда сам воевал с действительностью.

Романтики поворачивались спиною к действительности во имя идеала. Белинский сам поступал так во время своего «фихтеанства»; но с тех пор, как он усвоил себе философию Гегеля,— а он и впоследствии считал, что именно с этих пор началась его духовная жизнь, — он стал думать, что поворачиваться спиною к действительности — значит обращаться в пустой и жалкий призрак. Он стал требовать от мыслителя и художника в высшей степени внимательного отношения к ней. Не останавливаясь здесь на том времени, когда внимательное отношение к действительности было в его глазах равносильно примирению с ней, я укажу на ту эпоху, когда о примирении уже не было и речи.

В статье «Русская литература в 1840 году» он характеризует комедию «Ревизор» — нет надобности напоминать о том, что он ставил ее чрезвычайно высоко, — как произведение, «ужасающее своею верностию действительности». В той же статье он провозглашает: «Всему свое время: мы уже пережили период самообольщения, младенческих и юношеских восторгов; нам уже нужны не мечты, а действительность; для нас уже медный грош дороже миллионов рублей, вычеканенных из воздуха, — словом, для нас настало время сознания» *. Год спустя он пишет: «*Действительность* — вот лозунг и последнее слово современного мира! Действительность в фактах, в знании, в убеждениях чувства, в заключениях ума, — во всем и везде действительность есть первое и последнее слово нашего века» **. Еще через год он так характеризует последний период нашей литературы: «Последний период русской литературы, период прозаический, резко отличается от романтического какою-то мужественною зрелостию. Если хотите, он не богат числом произведений, но зато все, что явилось в нем посредственного и обыкновенного, все это или не пользовалось никаким успехом, или имело только успех мгновенный; а все то немногое, что выходило из ряда обыкновенного, ознаменовано печатью зрелой и мужественной силы, — осталось навсегда и в своем торжественном, победоносном ходе, постепенно приобретая влияние, прорезывало на почве литературы и общества глубокие следы. Сближение с жизнию, с действительностию есть прямая причина мужественной зрелости последнего периода нашей литературы» ***. И тут же он развивает свой взгляд на идеал. Прежде под этим словом разумели что-то

* Сочинения, ч. IV, стр. 197 [1].
** Сочинения, ч. VI, стр. 195 [2].
*** Сочинения, ч. VII, стр. 30 [3].

вроде: не любо — не слушай, а лгать не мешай. Теперь под ним понимают не ложь, не преувеличение, «а факт действительности, такой, как он есть». Но изображая факт, как он есть, художник не ограничивается простым его копированием, а озаряет его светом общего значения. Поэтому в изображении истинного художника факт более верен самому себе, нежели в фотографическом снимке. «Так, на портрете, сделанном великим живописцем, человек более похож на самого себя, чем даже на свое отражение в дагерротипе, ибо великий живописец резкими чертами вывел наружу все, что таится внутри того человека и что, может быть, составляет тайну для самого этого человека» *.

Кто хочет бороться с действительностью, тому нужно не уходить от нее в область идеала, как это делали романтики, а внимательно изучить ее для того, чтобы опереться на нее в борьбе с нею. Когда человек борется с природой за существование, он не поворачивается к ней спиною, а подчиняет ее себе, пользуясь своим знанием ее же законов. И чем обширнее это знание, тем больше его власть над нею. Так думает Белинский. Это чисто гегелевский взгляд на действительность. И можно было бы предположить, что в своем отношении к действительности Белинский уже до конца остался верен Гегелю — конечно, Гегелю как диалектику, а не Гегелю как величайшему из представителей абсолютных стремлений в философии. Но это не так.

В своем «Взгляде на русскую литературу 1846 г.» он говорит: «Присмотритесь, прислушайтесь: о чем больше всего толкуют наши журналы? — о народности, о действительности. На что больше всего нападают они? — на романтизм, мечтательность, отвлеченность. О некоторых из этих предметов много было толков и прежде, да не тот они имели смысл, не то значение. Понятие о «действительности» совершенно новое» **.

Если припомнить, что увлечение Белинского Гегелем началось уже в конце тридцатых годов, то покажется необъяснимым, каким образом мог он назвать понятие о действительности совершенно новым: для него понятие это, очевидно, давно уже не было новым, а так как он не переставал развивать его в своих статьях, то едва ли было оно в 1847 г. совершенно новым и для читателей. Дело объясняется, как я думаю, тем, что, говоря о совершенно новом понятии о действительности, Белинский имеет в виду не то понятие о ней, которого он придерживался, стоя на точке зрения Гегеля. «Совершенно новое понятие» о действительности означает теперь под его пером фейербахово понятие о ней.

* Там же, стр. 31 [1].
** Сочинения, ч. XI, стр. 33 [2].

В 1842 г. Фейербах писал в своих «Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie» *: «Философия есть изучение того, *что есть.* Думать о вещах и сущностях, познавать их *такими, каковы они суть* — в этом величайший закон, величайшая задача философии» **.

Примените этот взгляд на задачу философии к литературе, и у вас получится: величайшая задача художественного творчества состоит в том, чтобы изображать явления *такими, каковы они суть*, т. е. как можно больше *сближаться с действительностью.*

Фейербах продолжает: «То, что есть, *кажется поверхностным*, будучи изображено так, как оно есть, т. е. в своей истине; то, что есть, *кажется глубоким*, будучи изображено не так, как оно есть, т. е. *ложно, превратно*» ***.

Читая это, можно подумать, что читаешь одну из блестящих страниц, посвященных Белинским защите натуральной школы.

Но это не все. В противность идеалистам, с недоверием относившимся к свидетельству наших внешних чувств, Фейербах утверждал, что если бы наши представления о предметах опирались на это свидетельство, то они были бы совершенно истинны. Но они искажаются нашей фантазией. По мнению Фейербаха, первоначально люди видят вещи не такими, каковы они на самом деле, а такими, «какими они кажутся им, проходя через призму вымысла». Только в новейшее время, — замечает Фейербах, — человечество начинает возвращаться к *чувственному*, т. е. *неискаженному, объективному* созерцанию чувственного, т. е. действительного ****. Задача философии и вообще науки состоит не в том, чтобы отворачиваться от чувственных, т. е. действительных, вещей, а в том, чтобы идти к ним, изгоняя фантастический элемент из наших представлений. Чтобы показать, как близок взгляд Белинского на задачу литературы к этому взгляду Фейербаха на задачу философии, я напомню читателю отзыв нашего критика на романы Жорж Занд: «Isidore», «Le Meunier d'Angibault» и «Le Péché de Monsieur Antoine» *****. Отзыв этот встречается в последнем, написанном Белинским годовом обзоре русской литературы. Белинский в это время без всяких оговорок признавал автора названных романов гениальным поэтом. Но, собственно, этими романами он недоволен: они хороши только в частностях, а в целом — слабы; они вышли неудачны оттого, «что автор существующую действительность хотел заменить утопиею и вслед-

---

* [«Предварительных тезисах к реформе философии»]

** Werke, II, 254 [1].

*** Там же, та же стр. [2]

**** Там же, стр. 331—332 [3].

***** [«Изидора», «Мельник из Анжибо»... «Грех господина Антуана».]

ствие этого заставил искусство изображать мир, существующий только в его воображении. Таким образом вместе с характерами возможными, с лицами, всем знакомыми, он вывел характеры фантастические, лица небывалые, и роман у него смешался со сказкою, натуральное заслонилось неестественным, поэзия смешалась с риторикою» *.

Мы видим, стало быть: совершенно новое понятие Белинского о действительности есть понятие о ней Фейербаха.

XVII

Здесь мне могут сделать следующее по внешности весьма серьезное возражение. Мне скажут, пожалуй, что и в эстетике Гегеля не было места для риторики и фантастики, так как предмет поэзии был, по Гегелю, тот же, что и предмет философии: действительность. И Белинский не имел надобности переходить от Гегеля к Фейербаху, чтобы увидеть в верном изображении действительности единственную задачу, достойную искусства.

Возражение это представляется тем более основательным, что, как я сам показал это выше, Белинский от начала своей «духовной жизни» и до ее конца не переставал настоятельно требовать от художника верного изображения действительности. И все-таки это еще ничего не доказывает. Сейчас увидим почему.

В последние годы своей литературной деятельности Белинский, так резко осуждавший всякую фантастику, не довольствовался, однако, — по крайней мере, в поэзии — верным изображением действительности. Он думал, что «эта верность есть первое требование, первая задача поэзии», что о поэтическом таланте автора должно судить прежде всего, основываясь на том, до какой степени удовлетворил он этому требованию, решил эту задачу. Но затем выступает другое требование: «В картинах поэта должна быть мысль, производимое ими впечатление должно действовать на ум читателя, должно давать то или другое направление его взгляду на известные стороны жизни» **. Это второе требование соответствует у Фейербаха требованию от философии борьбы с фантастическими представлениями людей во имя действительности, во имя «того, что есть». Оно имеет совершенно «*просветительский*» характер. Так понял его и Чернышевский. В своих «Очерках гоголевского периода русской литературы» он говорит, что новое понятие о действительности определилось и вошло в науку только очень недавно, только с «того времени, как объяснены были современными нам мыслителями темные намеки трансценденталь-

* Сочинения, ч. XI, стр. 357—358 [1].
** Там же, стр. 372 [2].

ной философии» *. Это значит, что понятие это определено было именно Фейербахом.

Фейербахово понятие о действительности выросло из гегелева понятия о ней. Но у Фейербаха гегелево понятие изменилось в двух отношениях.

Когда Гегель говорит о «разумности» явлений, то имеет в виду, собственно, закономерность их развития. Великая заслуга его философии в том и заключалась, что она рассматривала все явления в процессе их развития, т. е. смотрела на них с точки зрения диалектики. Но Гегель был идеалист. Смотря на явления через идеалистическую призму, он видел в них что-то вроде прикладной логики: движение явления обусловливалось у него в последнем счете движением абсолютной идеи. Фейербах разбил идеалистическую призму Гегеля; он взглянул на явления трезвыми глазами материалиста. Это было огромным шагом вперед. Но, занятый борьбой с гегелевым идеализмом, Фейербах обратил слишком мало внимания на его диалектический характер. От этого его собственная философия приобрела очень заметный просветительный оттенок. Это было недостатком. Но этот недостаток особенно предрасполагал к ней людей, склонных к просветительской точке зрения. К их числу принадлежал (отчасти) Белинский и (всецело) Чернышевский.

Диалектик рассматривает стремления и вкусы людей как продукт диалектического хода общественного развития. Если он признает данные стремления не «призрачными», а «действительными», то это значит у него, что в них правильно выражается этот ход развития, сообщающий им свою ничем несокрушимую силу. Просветитель подходит к вопросу совершенно с другой стороны. У него не бытие определяет собою сознание и не объективные отношения служат критерием субъективных стремлений, а наоборот: субъект произносит свой приговор над объективными явлениями с точки зрения своего рассудка. Диалектическая эстетика есть эстетика, рассматривающая искусство вообще и поэзию в частности лишь как одну из сторон многостороннего процесса общественного развития; просветительская эстетика требует от искусства приговоров о явлениях жизни. Белинский был диалектиком, когда говорил: «Задача истинной эстетики состоит не в том, чтоб решить, чем должно быть искусство, а в том, что̀ такое искусство» **. Он был просветителем, когда, требуя от искусства верного изображения действительности, прибавлял, кроме того, что искусство *должно* давать известное направление взгляду читателя на известные стороны жизни.

* Сочинения Н. Г. Чернышевского (изд. М. Н. Чернышевского), т. II, стр. 205 [1].

** См. выше.

Для последовательного просветителя верность изображения действительности имеет служебное значение, как для практического врача — верность диагноза: практическому врачу верный диагноз нужен для того, чтобы знать, как лечить больного, просветителю верное изображение действительности важно потому, что оно указывает ему, в чем именно заключаются ее недостатки, подлежащие устранению во имя разума.

Белинский сам говорит: «Высочайший и священнейший интерес общества есть его собственное благосостояние, равно простертое на каждого из его членов. Путь к этому благосостоянию — сознание, а сознанию искусство может способствовать не меньше науки. Тут и наука и искусство равно необходимы, и ни наука не может заменить искусства, ни искусство—науки» *.

Это, без сомнения, справедливо: искусство в самом деле очень сильно способствует развитию общественного сознания. Но ясно, что эта справедливая мысль Белинского излагалась им в такой перспективе, которая сообщала ей яркую просветительскую окраску. Белинский вводил тут категорию должного, и оставалось сделать еще только один шаг, чтобы взглянуть на литературу, как на орудие распространения в обществе определенной системы просветительных понятий. Шаг этот и был сделан, как известно, людьми шестидесятых годов.

Наоборот, говоря, что «эстетика не должна рассуждать об искусстве, как о чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале, который может осуществиться только по ее теории», что «она должна рассматривать искусство как предмет, который существовал давно прежде ее и существованию которого она сама обязана своим существованием» **, говоря это, — т. е. предписывая эстетической науке: «ты должна совершенно устранить категорию должного», — Белинский стоял на точке зрения диалектики и был как нельзя более далек от просветительского взгляда на искусство и на теорию искусства. Здесь он говорит языком науки, а не языком публицистики.

Я вовсе не разбираю, что̀ лучше: я тоже отвергаю здесь категорию должного. Все хорошо в свое время и на своем месте. Но я нахожу, что одно совсем не похоже на другое и может быть смешано с ним только при отсутствии ясности в понятиях. И я прибавляю: если просветительский взгляд Белинского на задачи искусства получил у нас широкое распространение в эпоху 60-х годов, то великая научная задача, поставленная им эстетике, еще далеко не решена теперь в своем полном объеме и может получить решение только в более или менее отдаленном будущем.

---

* Сочинения, ч. XI, стр. 364 [1].

** См. выше.

XVIII

Цитированный уже выше П. В. Анненков говорит, что «моральная подкладка всех мыслей и сочинений Белинского была именно той силой, которая собирала вокруг него пламенных друзей и поклонников». Он думает также, что очерк моральной проповеди Белинского, «длившейся всю жизнь его, был бы и настоящей его биографией» *.

Что молодые друзья и поклонники Белинского ценили главным образом моральную подкладку его проповеди, — это не только возможно, но вполне вероятно. Только поверив в этом случае П. В. Анненкову, мы поймем, почему большинство людей, писавших свои воспоминания о нем, — и в том числе сам Анненков, — обнаруживают так мало истинного понимания совершавшейся в его голове колоссальной умственной работы. Но если молодым друзьям и поклонникам Белинского была доступна главным образом его моральная проповедь, то из этого еще не следует, что настоящая его биография могла бы быть сведена к очерку его моральной проповеди. Нет, мы только тогда поймем жизнь Белинского, когда потрудимся вдуматься в те важнейшие теоретические вопросы, которые постоянно привлекали к себе внимание этого гениального человека. А к этому труду мы до сих пор не весьма склонны.

Но что всего удивительнее, так это то, что даже моральная проповедь Белинского не вполне удовлетворительно понималась, как видно, его молодыми друзьями и поклонниками. Примером опять может служить тот же П. В. Анненков.

В его очерке «Замечательное десятилетие» описывается спор, происходивший летом 1845 года в кружке западников на тему об отношении к народу. Некоторые члены кружка обвиняли Белинского в том, что он позволял себе презрительные выходки по народному адресу, а Грановский заявил: «Во взгляде на русскую национальность и по многим другим литературным и нравственным вопросам я сочувствую гораздо более славянофилам, чем Белинскому, «Отеч. Запискам» и «западникам»» **.

П. В. Анненков не находит ни слова в защиту Белинского. Его симпатии клонятся в этом случае на сторону Грановского. И его рассказ о названном споре часто смущал тех, которым хотелось выяснить себе воззрения Белинского и других западников. Г-н Ч. Ветринский почти дословно повторяет этот рассказ ***. Так же поступают и многие другие.

---

* «Литературные воспоминания», стр. 216 [1].

** Там же, стр. 275 [2].

*** «Грановский и его время», стр. 272—273 [3].

Скажу больше. Даже А. Н. Пыпин составил себе — правда, не на основании рассказа П. В. Анненкова — неправильное представление о том, как относился Белинский к народу.

В письме к Боткину от 9 декабря 1842 г. Белинский с обычной своей резкостью говорит: «Я не могу молиться ни за волков, ни за медведей, ни за бешеных собак, ни за русских купцов и мужиков, ни за русских судей и квартальных; но и не могу питать к тому или другому из них личной ненависти» [1].

А. Н. Пыпин старается найти обстоятельства, смягчающие вину Белинского: «Смысл его слов ясен по их применению, — говорит он; — но должно отметить, как черту времени, что слово и понятие «народ» еще не имели тогда своего нынешнего употребления, в каком они становятся выражением целого направления (и за которым часто желает прятаться даже обскурантное лицемерие). В кругу Белинского и его друзей... еще не выработалось этого отвлеченного представления» [2].

А. Н. Пыпин как будто не видит, что резкое выражение Белинского по адресу «русских мужиков» в действительности направлено лишь против тех черт народного характера, «за которыми часто желает прятаться даже обскурантное лицемерие» и в которых Белинский винил не народ, а его угнетателей. Припомним другое письмо того же Белинского, напечатанное в книге того же А. Н. Пыпина, от 8 сентября того же 1842 г. В этом письме Белинский сообщает: «Я теперь в новой крайности, — это идея *социализма*, которая стала для меня идеею идей, альфою и омегою веры и знания...» [3]

Ни современного научного социализма, ни утопического социализма сороковых годов, кажется, нельзя упрекнуть в презрительном взгляде на народ.

В том же письме «неистовый Виссарион» восклицает: «Социальность... вот девиз мой... Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что *я* понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству, моими ближними по Христу, но кто — мне чужие и враги по своему невежеству?.. Подавши грош солдату, я чуть не плачу; подавши грош нищей, я бегу от нее, как будто сделавши худое дело и как будто не желая услышать шелеста собственных шагов своих. И это жизнь...» [4] и т. д.

И такому человеку находили нужным внушать любовь к народу! Напрасный труд: это было то же самое, что возить воду в море.

Можете ли вы, читатель, вообразить Белинского владельцем крепостных душ? Я не могу. А вот у Грановского была «кре-

щеная собственность». В письме к своей кузине — 4 февраля 1846 г., т. е. несколько месяцев после изображенного Анненковым спора, — он говорит, что думал продать свое имение, но не решается: «Оно может понадобиться мне. Мое теперешнее положение довольно хорошо, но всего менее прочно. Мне посчастливилось иметь много врагов... и т. д.» — вопрос рассматривается с точки зрения собственника, а отнюдь не с точки зрения «собственности» *.

Славянофилы тоже не упускали случая прочитать Белинскому наставление насчет любви к народу. Но они тоже спокойно владели своими крепостными душами. Некоторые из них — например, откупщик А. И. Кошелев — вспоминали, правда, что «рабство есть грех», но и этот взгляд не был, как видно, общепринятым в славянофильском кружке. Тот же А. И. Кошелев писал И. В. Киреевскому от 27 октября 1852 г.: «Не понимаю, любезный друг Киреевский, как тебя, христианина, не терзает мысль иметь у себя людей в крепости. В последнее мое пребывание в Москве ты даже надо мною смеялся, считая эту мысль во мне едва ли не мономанией» **.

А. С. Хомяков в свою очередь находил, что рабство — грех, а между тем в журнале Кошелева есть следующая интересная отметка: «17 марта 1851 г. В четверг 15-го и в пятницу 16-го провели мы вечера — первый у Хомякова, а второй — у кн. Черкасского, и единственный разговор был — уничтожение крепостного права. Главный предмет спора: я требовал между нами безусловного запрещения продажи и покупки людей, Хомяков отстаивал покупку для переселения из малоземельных в многоземельные губернии, кн. Черкасский — *для отдачи в рекруты* за оброчные имения, т. е. не он покупает и получает от того выгоды, но крестьяне под его именем. При этом Черкасский сказал, что он того мнения, что цель освящает средства» ***.

Грех-то, оно, конечно, грех; да ведь что ж поделаешь? Пост придет, покаемся.

Мне в голову не приходит бросать каменья в людей сороковых годов, и тем меньше в тогдашних западников, но я все-таки закончу свою статью, как я ее начал: нам до сих пор плохо известна история умственного и — прибавлю теперь — нравственного развития выдающихся деятелей нашей литературы и общественной жизни...

---

* Не имея под рукою переписки Грановского, я цитирую по книге *Ч. Ветринского*, Грановский и т. д. Цитированное письмо находится на стр. 277—278.

** «Биография А. И. Кошелева», т. II, стр. 83 [1].

*** Там же, стр. 85.

III

[РАБОТЫ
О А. И. ГЕРЦЕНЕ]

А. И. ГЕРЦЕН И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО

[1911]

I

В № 94 «Колокола» (от 15 марта 1861 г.) А. И. Герцен, глубоко волнуясь в ожидании манифеста, возвестившего упразднение крепостного права, выразил пожелание, чтобы его «помянул кто-нибудь в день великого народного воскресения» [1]. И он, конечно, вполне заслуживал такого поминания. Ему принадлежит одно из самых первых мест между теми нашими писателями, которые подготовляли общественное мнение России к «великой реформе». Поэтому уместно будет вспомнить о нем теперь, в тот год, когда исполнилось 50 лет со времени отмены крепостного бесправия.

Жизнь А. И. Герцена резко разделяется на две части. Он родился в Москве 25 марта 1812 года и до 1847 года жил в России, частью как «свободный» обыватель, а частью в качестве ссыльного и поднадзорного грешника. Но 31 января 1847 г. он переехал в Таурогене русскую границу и с тех пор уже не возвращался на родину. Сообразно с этим делением его жизни и я разделю свое изложение на две части. В первой я покажу, как относился он к крепостному праву в бытность свою на родине, а во второй — рассмотрю, как боролся он с ним, вооруженный своим могучим литературным талантом и пользуясь английской свободой печати в бытность свою за границей.

В то время, к которому относится пребывание Герцена в России, борьба передовых русских писателей с крепостным правом была страшно затруднена крайнею строгостью цензуры. Чтобы характеризовать с этой стороны то время, достаточно напомнить известную сцену, разыгравшуюся в конце 1842 года в московском цензурном комитете при докладе цензора Снегирева о «Мертвых душах» Гоголя. Председатель комитета, помощник попечителя Московского учебного округа, двоюродный брат

Герцена, Д. П. Голохвастов, о котором довольно часто упоминается в «Былом и Думах», заявил, как только услышал название книги: «Нет, я этого никогда не позволю: душа бывает бессмертна, мертвой души не может быть; автор вооружается против бессмертия!»

Когда докладчик объяснил, что под мертвыми душами понимаются души тех умерших крестьян, которые продолжают числиться в ревизских списках, председатель еще больше переполошился: «Нет, — закричал он, дружно поддержанный всем почтенным собранием, — этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи *ничего* не было, а стояло только одно слово: ревизская душа; уж этого нельзя позволить: это значит — против крепостного права!» [1]

Касаться крепостного права было еще строже запрещено, чем касаться вопроса о бессмертии души. Оно и неудивительно. Крепостное право считалось тогда одной из важнейших основ общественного порядка. При таком положении дел передовые писатели могли восставать против крепостного права только в художественных произведениях, поскольку они изображали темные стороны тогдашнего крестьянского быта. Но и тут цензура смотрела, что называется, в оба. Вот почему, говоря о том времени, когда Герцен жил в России, уместнее будет обратить главное внимание не столько на борьбу его с крепостным правом, сколько на те влияния, благодаря которым он склонился к этой борьбе.

А. И. Герцен был незаконным сыном богатого и родовитого русского барина Ивана Алексеевича Яковлева. Его незаконное происхождение создавало для него некоторые, и, пожалуй, даже немалые, неудобства в жизни. Очень вероятно, что разговоры старших об его «ложном положении» немало содействовали пробуждению критической мысли в голове ребенка. По словам самого Герцена, разговоры эти вселили в него то убеждение, что он зависит от своего родителя меньше, чем зависят от своих отцов законные дети. «Эта самобытность, которую я сам себе выдумал, мне нравилась» [2], — признается он. Однако И. А. Яковлев много заботился о судьбе своего незаконного сына, и несомненно, что при своих обширных связях он мог обеспечить ему завидное местечко среди тех, которые пользовались всеми *выгодами* крепостного порядка. Что же сделало из А. И. Герцена врага этого порядка? Что укрепило любовь к свободе в душе впечатлительного ребенка?

Он принадлежал к тому поколению русских людей, на которых глубоко повлияло событие, вообще имевшее огромное значение в истории внутреннего развития России. Я говорю о неудавшемся восстании 14 декабря 1825 г. В «Былом и Думах» Герцена есть интересное место, очень ясно показывающее, как

подействовали на него вести о петербургском восстании и о ближайших последствиях.

«Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился все больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души» *.

От кого же мог ждать пробудившийся ребенок поддержки своим свободолюбивым стремлениям? Кто мог ответить ему на те вопросы, которые вызваны были в нем «картечью и победами, тюрьмами и цепями»? Ответили его учителя — «русский» и «французский».

Прежде всего мальчик обратился к «русскому» учителю И. Е. Протопопову. Того глубоко тронули его признания, и, уходя домой с урока, он обнял мальчика со словами: «Дай бог, чтобы эти чувства созрели в вас и укрепились». После этого он стал носить ему запрещенные стихотворения: «Думы» Рылеева, «Кинжал» и «Оды на свободу» Пушкина. Герцен замечает в «Былом и Думах»: «Я их переписывал тайком... (а *теперь* печатаю явно!)» ** [2].

Потом пришла очередь «французского» учителя: должно быть, «русский» не все объяснил.

Герцен случайно открыл в подвальной библиотеке своего отца какую-то историю французской революции. Написанная роялистом и крайне пристрастная, она вызвала к себе недоверчивое отношение со стороны своего юного читателя, но вместе с тем она породила в нем желание потолковать с каким-нибудь компетентным лицом о выдающихся событиях великой эпохи. Наиболее компетентным показался ему на этот раз «французский» учитель. Герцен так передает свою беседу с ним.

«— Зачем, — спросил я его середь урока, — казнили Людовика XVI? — Старик посмотрел на меня, опуская одну седую бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрало, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал: — Parce qu'il a été traître à la patrie» ***.

По справедливому замечанию Герцена, такой решительный ответ стоил всяких сюбжонктивов [4]. Он окончательно убедил юного свободолюбца в том, что французского короля казнили недаром.

---

* Сочинения (женевское изд.), т. VI, стр. 66 [1].

** Т. е. в Вольной русской типографии в Лондоне.

*** Т. е. потому, что он изменил своему отечеству [3].

Юмористическая подробность. Старый террорист прежде не любил Герцена, считая его пустым шалуном за то, что тот дурно готовил уроки. Он нередко говаривал: «Из вас ничего не выйдет». Однако после разговора о казни Людовика XVI гнев сменился милостью. Он с тою же важностью, не улыбаясь, оканчивал урок, но уже снисходительно говорил: «Я, право, думал, что из вас ничего не выйдет, но ваши благородные чувства спасут вас» * [1].

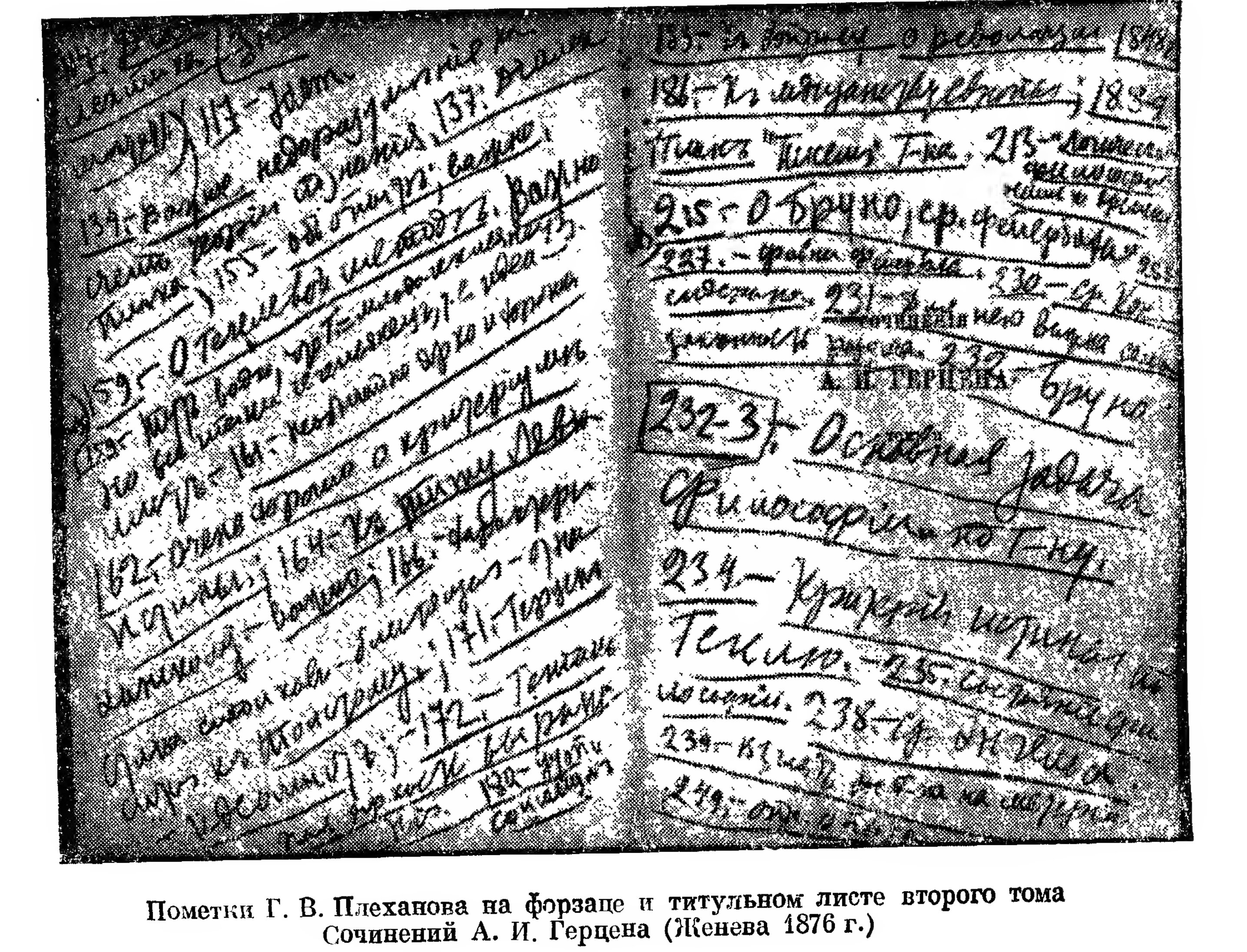
II

Почему люди, имеющие возможность пользоваться известной привилегией, восстают иногда против ее существования? Как объясняется это несомненное явление? И не опровергает ли оно собою той материалистической теории, согласно которой стремления всякого данного общественного класса (или сословия) определяются в последнем счете его интересами?

Маркс и Энгельс говорят в знаменитом «Манифесте», что в тот исторический момент, когда борьба классов, в своем данном виде, приближается к развязке, процесс разложения охватывает весь господствующий класс, вследствие чего от него отделяются некоторые его элементы, переходя на сторону угнетенного класса, борющегося за свое освобождение. В доказательство авторы «Манифеста» указывают на то, что некогда часть дворянства перешла на сторону буржуазии, а в наши дни некоторые элементы буржуазии переходят на сторону пролетариата. Они правы. Если мы примем во внимание указываемые ими неоспоримые исторические факты, то дело представится нам в таком виде.

Стремления различных общественных классов определяются их положением, т. е., значит, *их интересами*. Но так как классовые положения, а следовательно, и классовые интересы различны, то различны и обусловленные ими стремления. Когда

* В России конца XVIII и начала XIX века находилось много французских эмигрантов. Между ними были защитники старого порядка и были революционеры; как те, так и другие оставили след в ходе развития своих русских воспитанников. Так, например, биограф А. И. Кошелева говорит, что мать наших известных славянофилов Киреевских была воспитанницей французской эмигрантки графини Доррер, которая отличалась, по его словам, вполне аристократическими привычками и характером. Он замечает, что это обстоятельство имело большое влияние на ее умственный и нравственный строй (Биография А. И. Кошелева, т. I, кн. II, Москва 1889, стр. 3). Мы имеем право думать, что обстоятельство это через посредство Авдотьи Петровны не осталось без влияния также на умственный и нравственный склад ее сыновей, Ивана и Петра Киреевских, отличавшихся большим консерватизмом. Ср. также *В. Лясковского*, Братья Киреевские, жизнь и труды их. СПБ 1899.



Пометки Г. В. Плеханова на форзаце и титульном листе второго тома Сочинений А. И. Герцена (Женева 1876 г.)

человек, принадлежащий к *господствующему* классу, переходит на сторону класса *угнетенного*, тогда он доказывает этим не то, что он освободился от *всякого вообще классового влияния*, а только то, что он вышел из-под влияния *одного* класса и попал под влияние *другого*. Стало быть, его пример не опровергает исторического материализма, а только предостерегает от его узкого и одностороннего понимания.

В чем же заключается задача всякой серьезной биографии такого общественного деятеля, который, принадлежа по своему происхождению к угнетателям, перешел на сторону угнетенных? В том, чтобы обнаружить обстоятельства, вырвавшие его из-под влияния угнетателей и возбудившие в нем сочувствие к угнетенным. Признаюсь, я дорого дал бы за такую биографию, например, аристократического аббата Сийеса, которая выяснила бы мне, какими именно путями проникло до него влияние третьего сословия, впоследствии заставившее его написать знаменитые слова: «Что такое третье сословие? — Ничто! Чем оно должно быть? — Всем!» К сожалению, до сих пор биографы довольно невнимательно изучали такие обстоятельства.

Что касается А. И. Герцена, то мы кое-что уже знаем о том, под каким влиянием развивалась его любовь к свободе. Нам уже известно, какую часть этих влияний следует отнести на долю его учителей. Теперь мы рассмотрим то влияние, которое шло, по его выражению, из передней, т. е. от крепостной прислуги.

Что русская «крещеная собственность» (его же выражение) не оставалась без того или другого более или менее полезного и разностороннего влияния на «благородное сословие», это нетрудно признать a priori *, и это подтверждается целым рядом общеизвестных фактов. Кто не знает, например, что Пушкин учился русскому языку у своей крепостной нянюшки, знаменитой теперь Арины Родионовны?

Другой пример. Автор «Жизни за царя» и «Руслана», М. И. Глинка, рассказывает, что в детстве он часто слышал в доме своих родителей русские народные песни. «Эти грустно-нежные, но вполне доступные для меня звуки мне чрезвычайно нравились, — говорит он, — и, может быть, эти песни, слышанные мною в ребячестве, были первою причиной того, что впоследствии я стал преимущественно разрабатывать народную русскую музыку» **.

Чтобы не плодить примеров, я ограничусь еще одним только указанием на выразительное и убедительное свидетельство П. Д. Боборыкина. В небольшой статье, посвященной

* [без доказательств]

** Цит. в «Истории музыкального развития России» *М. М. Иванова*, СПБ 1910, т. I, стр. 270—271.

«крепостным развивателям» и напечатанной в IV томе юбилейного издания «Великая реформа», он говорит:

«Теперь, по прошествии пятидесяти лет моего писательства, я, вспоминая моих «развивателей», чувствую к ним нелицемерную признательность. От кого же я узнал столько о жизни, и старой и той, когда я стал более сознательно относиться ко всему окружающему, как не от них? И то, что я видел в них самих и что они мне рассказывали в течение целого десятка лет, и их язык, и их житейский опыт, и очень тонкая наблюдательность, и любовь к природе и животным, и народное миросозерцание, склад их понятий, верований, правил, вся поэзия *быта,* где реальная правда так сливается с народной фантазией, — все это их дар, их наследство!» *

Тут перед нами яркий пример весьма разностороннего влияния крепостных людей на своего будущего барина. Правда, тут еще ничего не сказано о том, как влияли на Боборыкина его «крепостные развиватели» в смысле отношения к дворянским привилегиям. Но дальше Боборыкин говорит и об этом: «Они, мои крепостные развиватели, привлекая ребенка тем, что они собою представляли, чем занимались, что умели, о чем рассказывали, воздержали его от черствости и гордыни *сословного* чувства» **.

На Герцена «крепостные развиватели» тоже влияли в смысле разрушения в нем сословного предрассудка. Вообще, вспоминая об этих своих «развивателях», Герцен решительно оспаривает дворянский предрассудок, согласно которому крепостная прислуга могла только развращать барских детей. «Напротив, — говорит он, — она, эта передняя, с ранних лет развила во мне непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Бывало, когда я еще был ребенком, Вера Артамоновна, желая меня сильно обидеть за какую-нибудь шалость, говаривала мне: «Дайте срок, вырастете, такой же барин будете, как другие». Меня это ужасно оскорбляло. Старушка может быть довольна — *таким, как другие,* по крайней мере, я не сделался» ***.

Приводимое здесь Герценом пророчество его нянюшки чрезвычайно характерно. Крепостная прислуга по горькому опыту знала, что иное дело — психология *«барского дитяти»,* а иное дело — психология *взрослого барина.* Барином человек не родится, а становится. Чтобы он научился ограничивать свое поле зрения интересами эксплуататоров, нужно немало времени. Ребенку не так легко дается эта наука. «Барское дитя» первоначально просто общественное животное — Zoon politicon, —

* Указ. соч., стр. 84—85.
** Там же, стр. 85.
*** Сочинения, т. VI, стр. 49 [1].

как выражается Аристотель. В качестве такового оно способно сочувствовать всем своим ближним, независимо от их общественного положения. Лишь постепенно, переставая быть «дитятей», оно научается смотреть с разных точек зрения на слугу и на барина; а когда оно научается этому, когда в его сердце укрепляются сословные предрассудки, оно, по выражению Веры Артамоновны, становится таким же барином, как другие. Но в исключительные эпохи — недалекие от момента крушения данного порядка — известная часть юных кандидатов на роль эксплуататоров не подчиняется этому общему правилу. Она состоит, разумеется, из наиболее отзывчивых индивидуумов *. Герцен принадлежал к их числу, и по этой причине не сбылось по отношению к нему мрачное, на горьком опыте основанное, пророчество его няни Веры Артамоновны.

III

По-видимому, И. А. Яковлев не был очень жесток в обращении со своими крепостными. Это положительно признает А. И. Герцен в «Былом и Думах», и это же подтверждает М. К. Рейхель в своих воспоминаниях. Мы узнаем от нее, что И. А. крестьян своих «не тиранил», а если кому-нибудь из его слуг случалось провиниться, то он читал ему длиннейшие нотации, но не ругался при этом, а главное, не подвергал виновного телесному наказанию **.

И все-таки впечатлительный ребенок мог рано заметить много чрезвычайно тяжелого в подневольном положении барских слуг. Его глубоко поражало, например, отчаяние тех молодых людей, которых отдавали в солдаты.

«На меня сильно действовали эти страшные сцены... Являлись два полицейские солдата по зову помещика; они воровски, невзначай, врасплох брали назначенного человека; староста обыкновенно тут объявлял, что барин с вечера приказал представить его в присутствие, и человек сквозь слезы куражился,

* Прилагательное *«отзывчивые»* я употребляю здесь для обозначения способности *сочувствовать страданиям окружающих.* Способность эта не всегда бывает значительно развита даже у очень даровитых личностей. Так, например, И. А. Гончаров вряд ли обладал ею в значительной степени. По крайней мере, из его очерка «Слуги» совсем не видно, чтобы он когда-нибудь проникался таким горячим сочувствием к «передней», какое заметно в воспоминаниях Герцена.

** «Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель и письма к ней А. И. Герцена», Москва 1909, стр. 15[1]. Ср. Сочинения Герцена, т. VI, стр. 41. Герцен говорит, в противность М. К. Рейхель, что телесные наказания практиковались и его отцом, но они «были до того необыкновенны, что об них вся дворня говорила целые месяцы; сверх того, они были вызываемы значительными проступками» [2].

женщины плакали, все давали подарки, и я отдавал все, что мог, т. е. какой-нибудь двугривенный, шейный платок» *.

Вспоминает Герцен еще о том, как его отец приказал обрить бороду одному из своих старост. Это своеобразное «наказание на теле» страшно огорчило несчастного старосту: «он плакал навзрыд, кланялся в землю и просил положить на него, сверх оброка, сто целковых штрафу, но помиловать от бесчестия» **.

Еще более сильное впечатление должны были произвести на него рассказанные в «Былом и Думах» история повара, составлявшего «крещеную собственность» его дяди («Сенатора»), а также смерть *крепостного* медика Толочанова.

«Сенатору» удалось отдать своего повара в учение знаменитому царскому повару-французу. Усвоив его науку, он служил в английском клубе, разбогател и пожелал выкупиться на волю. «Сенатор» не согласился продать ему свободу, сказав, что отпустит его даром после своей смерти. Это так подействовало на бедного артиста кулинарного искусства, что он сделался горьким пьяницей. Герцен, имевший случай близко видеть этого погибшего человека, пишет:

«Я тут разглядел, какая сосредоточенная ненависть и злоба против господ лежат на сердце у крепостного человека: он говорил со скрипом зубов и с мимикой, которая особенно в поваре могла быть опасна. При мне он не боялся давать волю языку; он меня любил и, часто фамильярно трепля меня по плечу, говорил: «добрая ветвь испорченного древа». — После смерти «Сенатора» мой отец дал ему тотчас отпускную; это было поздно и значило сбыть его с рук, он так и пропал» ***.

Судьба крепостного врача была, если это возможно, еще более трагична. Он принадлежал тому же «Сенатору». Барин выхлопотал ему позволение ходить на лекции Медико-хирургической академии. Герцен говорит, что по окончании своих занятий в академии крепостной врач «лечил кой-как»; однако признает, что у него были способности и что он выучил латинский и немецкий языки. Впоследствии Толочанов женился на дочери какого-то офицера, умолчав перед нею о своем подневольном положении. Когда печальная истина открылась, жена пришла в ужас и бежала от него с другим. Бедняк отравился. Это было 31 декабря 1821 года. Одиннадцатилетний Герцен слышал стоны Толочанова и его крики: «жжет! жжет! огонь!» Когда кто-то посоветовал умиравшему послать за священником, он отказался, объявив, что не верит в загробную жизнь. Он умер в 12-м часу ночи со словами: «Вот и Новый год, поздравляю вас!»

* Сочинения, т. VI, стр. 41 [1].
** Там же, стр. 41—42 [2].
*** Там же, стр. 47 [3].

Все эти страшные подробности, как видно, тогда же дошли до сведения юного Герцена. Пусть он сам расскажет, как подействовала на него эта ужасная история.

«Утром я бросился в небольшой флигель, служивший баней, туда снесли Толочанова; тело лежало на столе в том виде, как он умер, во фраке, без галстука, с раскрытой грудью; черты его были страшно искажены и уже почернели. Это было первое мертвое тело, которое я видел; близкий к обмороку, я вышел вон. И игрушки, и картинки, подаренные мне на Новый год, не тешили меня; почернелый Толочанов носился перед глазами, и я слышал его «жжет — огонь!»» *

Именно после рассказа о смерти Толочанова Герцен и замечает («в заключение»), что на него передняя не имела никакого дурного влияния, а, наоборот, развила в нем с детства непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Только что приведенные мною примеры ясно показывают, думается мне, откуда именно взялась эта ненависть. Ее заронили в душу отзывчивого ребенка те люди, которые сами жестоко страдали от произвола и рабства, и, вызывая в его душе это благородное чувство, они давали ничем незаменимый толчок его дальнейшему нравственному развитию.

Заметьте при этом, что Герцен отнюдь не был склонен к идеализации передней. Он говорит, что приучать дворовых детей к «службе» значило приучать их к праздности, лени, лганью и к употреблению сивухи **. И, однако, он признает, как мы видели, что именно крепостной передней обязан своей ненавистью ко всякому угнетению человека человеком. Как же это так? Да очень просто.

Приучая человека к употреблению сивухи, к праздности и лганью, передняя не приучала его — по крайней мере, в то время, к которому относятся детство и отрочество Герцена, — мириться со своим угнетенным положением ***. А это значит, что ответ, который она давала на вопрос о взаимных отношениях людей, был неизмеримо выше в нравственном отношении, нежели тот, который можно было получить в барском кабинете или в гостиной. Только те молодые ветви испорченного древа, которые не забывали ответа, даваемого крепостной передней, — только они и могли сделаться прогрессивными работниками в тогдашней России.

* Там же, стр. 48—49 [1].

** Там же, стр. 42 [2].

*** Иногда бывает не так. Путешественники сообщают, что в некоторых местностях Африки рабы свысока смотрят на наемника, считая свое положение более почетным. Так всегда бывает на тех ступенях общественного развития, когда рабство вполне соответствует, как «организация труда», состоянию общественных производительных сил. В эпоху Герцена такого соответствия у нас уже не было.

История нашей литературы очень мало рассматривалась до сих пор с точки зрения *общественной психологии*. А эта последняя в свою очередь очень мало изучалась с точки зрения *взаимных отношений и взаимного влияния общественных классов*. Но то немногое, что мы знаем об этом предмете, вполне подтверждает сказанное мною о роли крепостной передней в деле нравственного развития тех представителей «отрицательного» направления нашей общественной мысли, которые происходили из дворянской среды.

Укажу на Лермонтова. Г-н Нестор Котляревский говорит: «В деревне Лермонтов провел тринадцать лет — не только свое детство, но и отрочество. Крестьянский быт был у него перед глазами, и он, как рассказывают, жил в довольно тесном общении с простым людом» *.

Не это ли тесное общение забросило в его душу *первые* семена того «отрицательного» настроения, которое впоследствии так своеобразно развилось — вернее было бы сказать: так своеобразно *недоразвилось* — в ней?

Я считаю это весьма и весьма вероятным.

Но как бы там ни было по отношению к Лермонтову, что касается Герцена — никакое сомнение невозможно **. Он сам говорит, как мы уже знаем, что ненависть к рабству и к произволу была внушена ему крепостной прислугой. А если это так, то ясно, что общение с этой прислугой впервые сделало его способным понимать проповедь свободы, что оно впервые сделало его восприимчивым к таким влияниям, как влияние 14 декабря, запрещенных стихотворений Рылеева и Пушкина или, наконец, террористической проповеди «французского» учителя: ведь он, конечно, раньше пришел в «общение», скажем, со своей нянюшкой Верой Артамоновной, чем услышал о 14-м декабря или стал брать уроки у французского террориста из Меца, monsieur Бушо. А это значит, что, вызывая в нем ненависть ко всякому рабству и произволу, крепостная прислуга, сама того нимало не подозревая, очень сильно содействовала его последующему политическому развитию.

IV

«Мне одиночество в кругу зверей вредно» [1], — писал Герцен в своем дневнике 10 июня 1842 г. Такое одиночество вредно всякому. Неизвестно, какой вид приняла бы в душе Герцена

* *Н. Котляревский,* Лермонтов, СПБ 1909, стр. 18.

** Ч. Ветринский замечает, что вследствие незаконного происхождения Герцена прислуга смотрела на него, как на полубарчонка («Герцен», СПБ 1908, стр. 7). В самом деле, вполне возможно, что его происхождение способствовало его сближению с крепостной прислугой.

ненависть к рабству и произволу, впервые посеянная в нем крепостной прислугой, если бы ему суждено было остаться одиноким со своими свободолюбивыми стремлениями. Может быть, он, подобно Лермонтову, который тоже далеко не чужд был свободолюбивых стремлений в своей юности, но которому, как видно, выпал на долю тяжелый жребий нравственного одиночества, — может быть, он не пошел бы дальше гордого, но бесплодного презрения к «пошлой толпе».

Чтобы пояснить мою мысль, я приведу пример, заимствуя его у того же Герцена. По его словам, он, будучи переполнен своим «бушотовским терроризмом», вздумал однажды доказать одному из своих ровесников справедливость казни Людовика XVI. «Все так, но ведь он был помазанник божий», — возразил его слушатель. «Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его и ни разу потом не просился к ним» *. Это понятно. Но представьте себе, что все те ровесники, которым юный Герцен вздумал бы излагать свои крайние взгляды, оказались бы похожими на этого слушателя, что произошло бы отсюда? Он стал бы на каждого из них смотреть с сожалением; он разлюбил бы их всех и, хотя, может быть, не перестал бы встречаться с ними, но уж, наверно, не пытался бы более открывать перед ними свою душу. Другими словами, он сделался бы *замкнутым,* т. е. именно таким, каким до конца жизни оставался Лермонтов. Но это не все. Смотря на своих сверстников с презрением, он приучился бы видеть в себе избранника, не оцененного и не понятого «толпою», т. е. опять-таки то, что видел в себе Лермонтов. Да и это еще не все. Свободолюбивые стремления впечатлительного юноши, не найдя себе отклика в окружающей среде, вызвали бы в нем мрачный взгляд на будущее. Кто не помнит знаменитого стихотворения Лермонтова: «Дума»?

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно;
Меж тем, под бременем познанья и сомнений
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом [2].

Если для Герцена, Белинского и других людей 40-х годов жизнь не превратилась в ровный путь без цели; если они избежали лермонтовского разочарования, то это в значительной степени надо отнести на счет тех счастливых случайностей,

* Сочинения, т. VI, стр. 90 [1].

которые избавили их от «одиночества среди зверей» *. Их спасло сочувствие, встреченное ими в кружках единомышленников. Я не стану распространяться о том значении, которое имела в отроческой жизни Герцена дружба его с Н. П. Огаревым. Напомню только знаменитую клятву, произнесенную молодыми друзьями во время прогулки на Воробьевых горах.

«Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас; постояли мы, постояли, оперлись друг на друга, и вдруг, обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу» **.

Сцена эта своей романтической внешностью способна вызвать у иного читателя улыбку. Но если принять во внимание, что с этого дня Воробьевы горы стали для обоих ее участников как бы местом паломничества, куда они ходили по нескольку раз в год, «и всегда одни», то сделается ясным, что она оставила глубокий след в их душе.

Герцен говорит: «Ничто в свете не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес» ***. Это, бесспорно, так. Но можно прибавить: ничто в свете не охраняет так возбужденный в отроке общечеловеческий интерес, как возможность разделить его.

В университете вокруг Герцена и Огарева быстро образовался товарищеский кружок — знаменитый в истории нашего умственного развития кружок Герцена и Огарева. К нему при-

* Что Лермонтов в своей ранней юности имел много свободолюбивых стремлений, в этом теперь невозможно сомневаться. Г-н Н. Котляревский говорит: «В его юношеских тетрадях немало заметок и стихов, в которых он касается политических событий своего времени. Суждения его о них самые либеральные, для тех годов даже очень смелые. Есть резкая выходка против «тирана» Аракчеева («Новгород», 1830), весьма непочтительная сатира по адресу королей («Пир Асмодея», 1830) и малопонятное предсказание для России какого-то черного года, чуть ли не возвращения пугачевщины («Предсказание», 1830), — пусть все это незрело и непродуманно, но очевидно, что мысль Лермонтова начинала работать в этом направлении очень рано, и некоторые его позднейшие стихотворения, заподозренные в либерализме, были, как видим, не капризом, а плодом уже долгого раздумья. Есть в юношеских тетрадях поэта также два стихотворения, посвященные июльской революции, оба восторженные и полные радикального духа, хотя слабые по выполнению. Есть одно стихотворение, очень умное и красивое, — привет какому-то певцу, который был изгнан из страны родной, но, очевидно, не за любовь свою к Музам» (цит. соч., стр. 47—48). Все это довольно знаменательно; но политические стремления Лермонтова остались неразвитыми, а впоследствии, по-видимому, совсем заглохли. В его поэзии преобладает нота индивидуального протеста гордой и независимой личности против пошлой общественной среды.

** Сочинения, т. VI, стр. 93 [1].

*** Там же, стр. 91 [2].

надлежали Н. И. Сазонов, Н. М. Сатин, В. Пассек, Н. Х. Кетчер, Маслов, Лахтин, Носков и известный впоследствии как астроном А. Н. Савич.

Учащаяся молодежь, окружавшая Герцена, была, как он выражается, прекрасная. Она живо интересовалась вопросами науки и в то же время не закрывала глаз на окружавшую ее общественную жизнь. Герцен замечает, что это «сочувствие с общественной жизнью» необыкновенно поднимало гражданскую нравственность студентов. «Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки *запрещенных* стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся, но и те молчали» *.

Для понимания взгляда Герцена на Россию, сложившегося впоследствии, но тесно связанного, разумеется, с воспоминаниями юности, полезно будет здесь же отметить следующее обстоятельство.

По его словам, общественные различия не имели никакого влияния на взаимные отношения в среде тогдашнего студенчества. Студент, который вздумал бы хвастаться знатностью своего происхождения или своим богатством, был бы, как выражается наш автор, «отлучен от «воды и огня», замучен товарищами». И все-таки это была преимущественно *дворянская* молодежь. Медицинское отделение, на котором преобладали немцы и семинаристы, держалось в стороне от всего остального студенческого мира. «Немцы, — говорит Герцен, — держали себя несколько в стороне и были очень пропитаны западно-мещанским духом. Все воспитание несчастных семинаристов, все их понятия были совсем иные, чем у нас, — мы говорили разными языками; они, выросшие под гнетом монашеского деспотизма, забитые своей риторикой и теологией, завидовали нашей развязности; мы — досадовали на их христианское смирение» **.

Не касаясь немцев, вспомним, что в 60-х годах студенты из семинаристов не только не обнаруживали «христианского смирения», но составляли, можно сказать, передовой отряд учащейся молодежи. Студент-разночинец частью опередил тогда студента-дворянина, частью подчинил его своему влиянию. Это изменение в удельном весе разночинного общественного элемента нашло свое выражение в истории наших общественных идей. Когда наши народники 70-х годов утверждали, что интеллигенция организует наиболее отзывчивые элементы крестьянства

* Сочинения, т. VI, стр. 138 [1].
** Там же, стр. 127 [2].

и возьмется вместе с ними за осуществление идеалов «Земли и Воли», они имели в виду *интеллигентов-разночинцев*. А когда Герцен в начале 50-х годов говорил, что наша интеллигенция принесет народу последние (социалистические) выводы западноевропейской мысли, он подразумевал *дворянскую интеллигенцию*. Так, например, в своем сочинении «Du développement des idées révolutionnaires en Russie» (Paris 1851, p. 84) * он прямо говорит, что «работа революционной мысли совершалась у нас не в правительстве и не в народе, а в мелком и среднем дворянстве». То же повторяет он и в некоторых других случаях.

Ниже я подробнее рассмотрю эту сторону его взглядов, а теперь мне хотелось только отметить, до какой степени история умственного развития его подтверждает правильность того материалистического положения, что не бытие определяется мышлением, а мышление — бытием.

V

Кружок Герцена — Огарева был «*политическим*» кружком в противоположность не менее знаменитому кружку Станкевича, отличавшемуся *философским* направлением [2]. «Философы» довольно высокомерно посматривали на «политиков», подозревая их в отсутствии основательности **. Тем не менее, к «философам» столько же, сколько и к «политикам», применимо то замечание Герцена, что тогдашняя учащаяся молодежь, интересуясь вопросами теории, не отворачивалась от вопросов жизни. От К. С. Аксакова, который был одним из членов кружка Станкевича, мы узнаем, что в кружке этом «выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир», и притом — заметьте это — «воззрение большей частью отрицательное» ***. Если это было так между «философами», то тем полнее должно было господствовать отрицательное воззрение между «политиками».

* [«О развитии революционных идей в России», Париж 1851, стр. 84] [1].

** Герцен рассказывает: «До ссылки между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондёрами и французами, мы их — сентименталистами и немцами. Первый человек, признанный нами и ими, который дружески подал обоим руки и снял своей теплой любовью к обоим, своей примиряющей натурой последние следы взаимного непонимания, был Грановский» (Сочинения, т. VII, Заграничное изд., стр. 120) [3].

*** *К. С. Аксаков,* Воспоминания студенчества 1832—1835 годов. СПБ 1911, стр. 17.

«Политики» были неутомимыми пропагандистами. Герцен говорит: «Там, где открывалась возможность обращать, проповедовать, там мы были со всем сердцем и помышлением, неотступно, безотвязно, не щадя ни времени, ни труда, ни кокетства даже»...

Что же, собственно, проповедовали они? За ответом на этот вопрос я опять предпочитаю обратиться прямо к Герцену.

«Что мы, собственно, проповедовали, трудно сказать. Идеи были смутны: мы проповедовали французскую революцию, потом проповедовали сен-симонизм и ту же революцию; мы проповедовали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедовали ненависть ко всякому насилию, ко всякому произволу».

Знакомясь с учением Сен-Симона, наша передовая молодежь впервые знакомилась тогда с западноевропейским социализмом. Герцен говорит, что сен-симонизм лег в основу его убеждений, он даже употребляет более широкое выражение: «в основу *наших* убеждений», — «и неизменно остался в существенном» *. Тут он опять совершенно прав. Он в самом деле до конца жизни остался социалистом. Кто позабудет об этом, тот не поймет и публицистической деятельности Герцена в эпоху уничтожения крепостного права. И до конца жизни Герцен повторял в своем социализме ту ошибку, которая свойственна была не только учению Сен-Симона, но и всему вообще утопическому социализму. Я имею в виду *неуменье этого социализма свести концы с концами в своем понимании связи между бытием и сознанием, экономикой и политикой.* Читатель подумает, пожалуй, что я хочу сказать парадокс, если я прибавлю, что этой слабой стороной взглядов Герцена-*социалиста* до известной степени объясняется *широта* того влияния, которое имел «Колокол» в первые годы своего существования. Но это в самом деле так. Ниже я разъясню, в чем тут дело **. А теперь замечу пока вот что.

Одной из самых коренных и самых плодотворных мыслей в системе Сен-Симона является та мысль, что «dans tout pays la loi fondamentale est celle qui établit la propriété et les dispositions pour la faire respecter» ***. Будучи правильно

* Сочинения, т. VII, стр. 197 [1].

** См. об этом также в моей статье «Герцен-эмигрант», напечатанной в 13-м выпуске «Истории русской литературы XIX века», выходящей под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского в изд. т-ва «Мир», стр. 150 [2].

*** Не имея под руками Сен-Симона, цитирую по *P. Louis*, Histoire du socialisme français. Paris 1901, p. 66 [*П. Луи*, История французского социализма. Париж 1901, стр. 66], т. е. «в каждой стране основной закон есть тот, который устанавливает собственность и принимает меры, нужные для ее охраны».

понята, эта чрезвычайно важная мысль подсказывает тот вывод, что правовые отношения и политический строй всякой данной страны определяются ее экономикой. Это — чисто материалистическая мысль. Сен-Симон не только дошел до этой мысли, но положил ее в основу многих весьма глубоких своих соображений о ходе развития европейской цивилизации в течение нового и новейшего времени. Он доказывал, что производство есть цель общественного союза, а вследствие этого во главе такого союза всегда будут находиться люди, руководящие производством. До XV века важнейшей отраслью производительной деятельности были земледельческие работы, которыми руководило дворянство. Поэтому в руках дворянства сосредоточивалась политическая власть. Но мало-помалу, по мере развития промышленности, возник и выступил в роли значительной исторической силы новый общественный класс — промышленники, в собственном смысле этого слова. Класс этот вступил в борьбу с дворянством и постепенно отнял у него почти все его экономические позиции. Ища себе союзников в этой борьбе, он соединился с королевской властью, и этим обстоятельством объясняется весь дальнейший ход развития французской монархии вплоть до Людовика XIV, в лице которого королевская власть отвернулась от промышленного класса и сделалась союзницей дворянства. Сен-Симон считал это большой политической ошибкой и неустанно убеждал Бурбонов в том, что им следует как можно скорее поправить свой промах, т. е. разорвать вредный — как для них самих, так и для всей Франции — союз с аристократией и перейти на сторону «промышленного класса».

Излишне говорить, что Бурбоны остались глухи к его совету. Но не мешает отметить характерную для Сен-Симона, равно как и для всех других социалистов-утопистов, теоретическую ошибку. Она заключается в том, что, пока речь идет о *прошлом*, Сен-Симон рассматривает политическую власть — а следовательно, и деятельность ее представителей в течение каждого данного исторического периода — как *следствие*, необходимо вытекающее из своей *причины*, т. е. из экономических отношений данного времени. А когда речь заходит о *настоящем* и о *будущем*, тот же самый писатель рассматривает ту же самую власть как независимую общественную силу, которая может по своему благоусмотрению сделаться выразительницей интересов любого общественного класса. По отношению к прошлому Сен-Симон — материалист; по отношению к настоящему и будущему он — чистокровный идеалист. Материализму он обязан своими глубокими философско-историческими рассуждениями, из которых так много заимствовали Огюстэн Тьерри и Огюст Конт, а на счет идеализма должна быть отнесена его полити-

ческая программа, не раз изменявшаяся в частностях, но всегда сохранявшая наивно-утопический характер.

Ввиду всего этого приобретают особенно поучительное значение приведенные мною выше слова А. И. Герцена о том, что сен-симонизм лег в основу его убеждений и «неизменно остался в существенном». Мы скоро увидим, что в своей роли публициста Герцен повторял ошибку Сен-Симона и других социалистов-утопистов: он тоже возлагал слишком много надежд на благоусмотрение представителей политической власти; он тоже забывал в этой своей роли, что пределы возможного для всякого данного правительства определяются характером тех экономических отношений, из которых оно вырастает.

В известном смысле он даже более склонен был к этой ошибке, нежели западноевропейские социалисты-утописты. По крайней мере, в его теоретических взглядах было меньше препятствий для нее.

Дело тут вот в чем.

В западноевропейской литературе Сен-Симон со своими учениками был далеко не единственным носителем того взгляда, что ход внутреннего развития европейского общества определился борьбой «промышленного класса» с аристократией. Уже в эпоху реставрации взгляд этот был усвоен всеми выдающимися французскими историками, а от них перешел и к русским писателям. Но эти последние весьма своеобразно видоизменили или, если хотите, дополнили его. Они признали, что западноевропейское общество действительно создано было борьбою классов, но полагали в то же время, что такая борьба не играла ровно никакой роли во внутреннем развитии России. Эта двойственная и противоречивая философия истории с наибольшим усердием разрабатывалась М. П. Погодиным и славянофилами, собственно так называемыми, однако ее отнюдь не отвергали и западники. Ее держался Белинский; ее же держался и Герцен. Каждый из этих двух блестящих писателей, так горячо споривших со славянофилами и так едко смеявшихся над ними, готов был повторить вместе с Погодиным, что Россия не Запад и что русское общество создавалось не взаимной борьбой классов, а — по крайней мере, со времен Петра — цивилизующим влиянием правительства *. Всякий понимает,

* См. об этом подробнее в моей статье «М. П. Погодин и борьба классов» («Совр. Мир», 1911 г., март и апрель) [1]. Наши западники видели в процессе исторического движения России нечто противоположное ходу социального развития на Западе. Чаще всего противоположность обосновывалась ими ссылкой на отсутствие у нас борьбы классов; впоследствии они очень сочувственно встретили мысль Кавелина о родовом характере русской истории, противоположном личному характеру истории западной. Белинский называл эту мысль гениальной («Белинский, его жизнь и переписка», изд. 1876 г., т. II, стр. 248).

что такая философия русской истории необходимо должна была предрасполагать Герцена к огромному преувеличению тех возможностей, которые стояли тогда перед верховной властью в деле уничтожения крепостного права, а также, конечно, и в деле других реформ.

Мы остановились бы с полнейшим недоумением перед некоторыми относящимися сюда, теперь почти невероятными, упованиями Герцена-*публициста,* если бы от нашего внимания ускользнули эти слабые стороны Герцена-*теоретика.*

С *практической* стороны имела большую важность для Герцена и его кружка еще та мысль Сен-Симона, что все «общественные учреждения должны иметь целью нравственное, умственное и физическое усовершенствование сословия самого многочисленного и бедного».

Впоследствии, говоря о системе Сен-Симона, Н. П. Огарев изображал эту мысль как главнейший практический вывод из учения знаменитого французского социалиста *. И всякий, кто знаком с литературной деятельностью Герцена и Огарева, согласится, что мысль эта решительно никогда не упускалась ими из виду.

VI

Однако не будем забегать вперед. В ночь с 19 на 20 июля 1834 года [2] Герцен был арестован, а в апреле следующего года он был отправлен в ссылку. С этих пор начинается первый ссыльный период в жизни Герцена, продолжавшийся до марта 1840 г. Второй ссыльный период его начался в июле 1841 года, когда он явился в Новгород и поселился на берегу Волхова, «против самого того кургана, откуда вольтерианцы XII столетия бросили в реку чудотворную статую Перуна» **. Посмотрим же,

* См. в «Колоколе» (223) статью *Огарева:* «Частные письма об общих вопросах». Письмо IV. — В этой чрезвычайно интересной статье Огарев называет главной мыслью системы Сен-Симона то положение, что будущее есть функция прошедшего, и утверждает, что эта «простая мысль... *не может не привести* (курсив мой. — *Г. П.*) к необходимости общественного пересоздания, в котором сословия имущих тунеядцев... и сословие неимущих работников должны слиться в одну общую людскую производящую силу...» Надо сознаться, что это «*не может не привести*» не имеет достаточного логического основания. То положение, что будущее есть функция прошедшего, применимо ко всем эпохам общественного развития, а между тем лишь в XIX веке возникло стремление к организации работников «в одну общую производящую силу», о которой говорится здесь у Огарева [1].

** Сочинения, т. VII, стр. 195. В разговоре с тогдашним шефом жандармов Бенкендорфом Герцен перед своей второй ссылкой заметил: «В 1835 г. я был сослан по делу праздника, на котором вовсе не был! Теперь

как повлияла на него провинциальная жизнь в смысле отношения его к крепостному праву.

Время своей первой ссылки Герцен провел в Перми, Вятке и Владимире-на-Клязьме. В течение владимирского периода его внимание очень сильно было занято большим личным делом: его отношениями к Наталье Александровне Захарьиной, на которой он женился 10 мая 1838 года. В начале этого же года (5 января) он писал ей в Москву: «Теперь я весь твой: нет людей, а эти мне не нужны. Я всем друзьям сказал — прощайте. Так, как сказал мечтам о славе, о поприще, о деятельности — прощайте. Вся моя жизнь в тебе. Кончено. Я искал великого и нашел в тебе; я искал святого, идейного — и нашел в тебе. Итак, прощай весь мир» *. Потом, после женитьбы, исключительность такого настроения ослабела. В «Былом и Думах» Герцен пишет: «Грудь наша не была замкнута счастьем, а, напротив, была больше, чем когда-либо, раскрыта всем интересам; мы много жили тогда и во все стороны, думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви; мы сверяли наши думы и мечты и с удивлением видели, как бесконечно шло наше сочувствие, как во всех тончайших, пропадающих изгибах и разветвлениях чувств и мыслей, вкусов и антипатий все было родное, созвучное» **. Но уже самые эти строки показывают, что главное его внимание все-таки сосредоточивалось тогда на его личных чувствах и отношениях. Неудивительно, что описание этих отношений и чувств почти целиком занимает собою те главы «Былого и Дум», которые повествуют о жизни Герцена во Владимире-на-Клязьме. Что касается Перми, в которой он оставался, впрочем, совсем недолго, и Вятки, то в них отсутствует помещичий элемент, а потому они мало знали крепостное право. Во время своей ссыльной жизни в том краю Герцен сталкивался главным образом с проявлением *бюрократического* произвола. В «Былом и Думах» мы встречаем несравненное изображение этого произвола, конечно

я наказываюсь за слух, о котором говорил весь город. Странная судьба!» (Там же, стр. 179) [1]. Действительно — странная! В первый раз Герцен и Огарев были привлечены по делу о празднике, на котором пелись запрещенные песни. Праздник пришелся в день именин старика Яковлева, и как Герцен, так и Огарев провели этот день в его доме. Во второй раз Герцена сослали за то, что он в письме к своему отцу сообщил слух об убийстве в Петербурге будочником одного обывателя. Письмо, разумеется, было вскрыто. На вопрос, каким образом Герцен и Огарев могли быть привлечены к делу, в котором не принимали участия, П. В. Анненков отвечает: «Это объясняется растяжимостью политических процессов и свойством их захватывать, ради полноты, сферы и идеи, лежащие по соседству» («Литературные воспоминания», СПБ 1909, стр. 73). Глубокая, но горькая истина!

* *Ветринский*, Герцен, стр. 74.

** Сочинения, т. VII, стр. 89—90 [2].

больше всего давившего собою то сословие, часть которого изнывала под гнетом помещичьей власти, т. е. крестьянство. Напомню читателю хотя бы рассказ Герцена о «картофельном бунте» крестьян, отказавшихся засевать свои поля (по предписанию начальства) мерзлым картофелем. Дело дошло до картечи; крестьяне рассыпались по лесам; казаки выгоняли их оттуда, как диких зверей, и отводили в Козьмодемьянск на следствие...

«...Ну, и следствие пошло обычным русским чередом: мужиков секли при допросах, секли в наказание, секли для примера, секли из денег, и целую толпу сослали в Сибирь...»*

Заслуживает большого внимания также полный юмора рассказ о том, как исправник Девлет-Килдеев, «правоверный магометанин», насильственно обращал язычников-черемисов в православие. По словам Герцена, равноапостольный татарин получил в награду за труды Владимирский крест, к немалому смущению своих татарских единоверцев. Герцен прибавляет:

«Я потом читал в журнале министерства внутренних дел об этом блестящем обращении черемисов. В статье было упомянуто ревностное содействие Девлет-Килдеева. По несчастию, забыли прибавить, что усердие к церкви было тем более бескорыстно у него, чем тверже он верил в исламизм» **.

Так как ссыльный Герцен по высочайшему повелению был определен на государственную службу, то ему волей-неволей пришлось близко ознакомиться с проявлениями бюрократической заботливости о народном благосостоянии. Он рассказывает, что перед окончанием его вятской жизни департамент государственных имуществ воровал до такой степени, что над ним была назначена следственная комиссия, разославшая ревизоров по губерниям. Вятский губернатор Корнилов должен был назначить от себя двух чиновников при этой ревизии, и одним из них оказался Герцен. «Чего не пришлось мне тут прочесть — и печального, и смешного, и гадкого! Самые заголовки дел поражали меня удивлением. — «Дело о потере *неизвестно* куда дома волостного правления и о изгрызении плана оного мышами». — «Дело о потере *двадцати двух* казенных оброчных статей», т. е. верст пятнадцати земли. — «Дело о перечислении крестьянского мальчика Василия в женский пол» ***. Это последнее дело возникло оттого, что священник, быв под хмельком, окрестил девочку мальчиком, назвав ее по ошибке вместо Василисы Василием. Ее отец обратился к подлежащему начальству с просьбой разрешить его недоумение о том, должна ли будет девочка впоследствии платить подушную подать и

* Сочинения, т. VI, стр. 331 [1].
** Там же, стр. 325 [2].
*** Сочинения, т. VI, стр. 325 [3].

отбывать рекрутскую повинность. Герцен не знал, чем кончилось это курьезное дело, длившееся целые годы, но подозревал, что «чуть ли девочку не оставили в подозрении мужского пола». По этому поводу он вспоминает, как при императоре Павле один полковник по ошибке записал умершим больного офицера. Больной был по высочайшему повелению исключен из списков, но на беду свою выздоровел и подал просьбу о своем перечислении в список живых. Павел решил: «Так как о г. офицере состоялся высочайший приказ, то в просьбе ему отказать». Герцен не без основания находит, что это еще лучше Василисы-Василия.

Вряд ли нужно говорить, что не весьма отрадны были те выводы, к которым приходил Герцен благодаря своим наблюдениям над жизнью в провинции. Ради точности приведу, впрочем, то замечание, которое он делает в «Былом и Думах» по поводу обращения магометанином язычников в христианскую веру. Он думает, что это обращение — тип всех реформ, предпринимаемых нашей бюрократией: «фасад, декорация, blague*, ложь, пышный отчет, кто-нибудь крадет и кого-нибудь секут»**.

Другими словами, выходило, что понятие «крепостное право» значительно шире понятия «крепостная зависимость крестьян от помещиков». Это, конечно, известно было Герцену и раньше. Но то, что раньше опиралось на более или менее отвлеченные соображения, теперь приобретало всю убедительность непосредственного наблюдения.

Во время своей второй ссылки Герцен служил советником губернского правления и стоял во главе его второго отделения. В этом своем качестве он заведовал делами: о лицах, находившихся под полицейским надзором, о раскольниках и о злоупотреблениях помещичьей властью. Так как он сам был под надзором, то ему приходилось заведовать делом *о самом себе*. «Нелепее, глупее ничего нельзя себе представить; я уверен, что три четверти людей, которые прочтут это, не поверят, а между тем это сущая правда» ***. Как это легко понять, поднадзорный Герцен не доставлял больших хлопот чиновнику-Герцену. Что касается дел о раскольниках, то наш советник, просмотрев их, оставил в покое, так как их, по его соображениям, лучше было не поднимать в интересах преследуемых. Но зато тем энергичнее налег он на дела о злоупотреблениях помещичьей властью.

«В передних и девичьих, в селах и полицейских застенках схоронены целые мартирологи страшных злодейств; воспоминание

* [блажь]

** Там же, стр. 323 [1].

*** Сочинения, т. VII, стр. 199 [2].

об них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую, беспощадную месть, которую *предупредить легко,* а остановить вряд возможно ли будет» *.

Герцен делал, что мог, для защиты несчастных крепостных. Он с удовольствием рассказывает, например, как ему удалось отдать под суд отставного морского офицера Струговщикова, долго и безнаказанно позволявшего себе в своем имении «всевозможные неистовства». Проигравший дело морской офицер пришел в ярость и обещался избить его. Но, как догадывается Герцен, вследствие непривычки к сухопутным кампаниям оставил эту угрозу неисполненной.

Впрочем, подобные радости были не часты и не продолжительны. Служба становилась все менее и менее выносимой для ссыльного советника новгородского губернского правления. И не столько вследствие своей подневольности, сколько вследствие того, что, превращая его в одно из звеньев бюрократической машины, она возлагала на него нравственную ответственность перед своей совестью за зло, причиняемое народу этой машиной. Последней каплей, переполнившей чашу, был следующий случай.

Новгородский помещик Мусин-Пушкин ссылал в Сибирь на поселение своего крестьянина с женой. У этой четы был десятилетний сын, которого помещик оставлял у себя. Однажды, явившись в правление, Герцен застал там ссылаемую крестьянку, пришедшую хлопотать за сына. Она бросилась перед ним на колени и со слезами просила заступиться за нее. Пока она рассказывала ему, в чем дело, вошел губернатор, которому он и передал ее просьбу. Губернатор объявил, что по закону дети старше десяти лет остаются, в случае ссылки родителей, у помещика. Бедная мать, не понимавшая бесчеловечного закона, продолжала плакать, цепляясь за ноги неумолимого начальника губернии. Это надоело ему, и он крикнул, грубо оттолкнув ее от себя: «Да что ты за дура такая, ведь по-русски тебе говорю, что я ничего не могу сделать, что же ты пристаешь!» После этого он твердым шагом пошел к своему делу.

«И я пошел... с меня было довольно... Разве эта женщина не приняла меня *за одного из них?* Пора кончить комедию.

— Вы нездоровы? — спросил меня советник Хлопин, переведенный из Сибири за какие-то грехи. — Болен, — отвечал я, встал, раскланялся и уехал. В тот же день написал я рапорт о моей болезни, и с тех пор нога моя не была в губернском правлении» **.

---

* Сочинения, т. VII, стр. 208 [1].
** Там же, стр. 213 [2].

VII

3 апреля 1842 года Герцен «за болезнью» подал просьбу об отставке. Отставка была ему дана и даже с чином надворного советника; но в то же время Бенкендорф довел до сведения губернатора, что Герцену запрещается выезд из Новгорода. Только в июле того же года ему разрешено было переселиться в Москву, но без права въезда в Петербург.

Ссыльная одиссея кончилась, Герцен опять был на «свободе». Он стремился действовать. Единственным возможным для него тогда в России родом деятельности была литература. Уже в 1843 г. появились в «Отечественных Записках» его известные статьи: «Дилетантизм в науке», затем — не говоря о более мелких статьях и об остроумной полемике с «Москвитянином» — последовали «Письма об изучении природы», роман «Кто виноват?», повесть «Доктор Крупов», «Письма из Avenue Marigny» и повесть «Сорока-воровка». Некоторые из этих произведений вышли в свет, когда он уже был за границей, а некоторые («Письма из Avenue Marigny») * и написаны были им на чужбине; но все они относятся к тому же периоду его деятельности, который непосредственно предшествовал его решению не возвращаться в Россию. Почти все они очень важны для истории развития русской общественной мысли **. К сожалению, я могу здесь коснуться, да и то в немногих словах, лишь того, что относится в них к крепостному праву.

Как уже сказано выше, вопрос этот при тогдашних цензурных условиях был отчасти доступен только для беллетристов. Поэтому и у меня пойдет речь только о беллетристических сочинениях Герцена ***.

---

* [«Письма из Авеню Мариньи»]

** Для этой истории имеет особенную важность второе «Письмо об изучении природы», где Герцен, следуя Гегелю, развивает ту замечательную мысль, что «доказать» предмет — значит раскрыть его необходимость и что мысль предмета не есть исключительно личное достояние мыслящего: не он вдумал ее в действительность, она им только сознана; она предсуществовала как скрытый разум в непосредственном бытии предмета». О том, какую роль играла эта мысль в истории собственных взглядов Герцена, см. вышеназванную статью мою о Герцене, стр. 141 того же вып. «Истории русской литературы» [1].

*** Герцена упрекали за темноту его философских статей. Шутливо оправдываясь от этого упрека, он говорил: «Виссарион Григорьевич гораздо больше любит наши сказочки, чем наши трактаты, да он и прав. В трактатах мы беспрестанно переодеваемся от надзора и раскланиваемся любезно с каждым будочником, а в сказке ходим гордо и никого знать не хотим, потому что в кармане плакатный билет имеем: чинить ей пропуски, давать ночлеги и кормежные» (*П. В. Анненков,* Литературные воспоминания, стр. 288—289) [2]. Однако и переодевания не всегда помогали его трактатам избавляться от надзора. Он говорит (в письме к Киреевскому),

Герцен как беллетрист находился, что и понятно, под сильнейшим влиянием Гоголя. Г-н А. Веселовский очень верно говорит, что его роман «Кто виноват?» в своих описательных приемах и в своей юмористической расценке людей и быта так же был связан с «Мертвыми душами», как впоследствии связаны были с ними «Губернские очерки» Щедрина *. Но между тем как Гоголь видит в крепостном праве что-то вроде неизменного и даже благодетельного закона природы (см. его «Выбранные места из переписки с друзьями»), Герцен ненавидит это право всем сердцем и всем помышлением. Это существенное различие в отношении к тому учреждению, которое служило тогда основой всей помещичьей жизни, резко сказывается в творчестве обоих этих писателей. Гениально осмеивая своих Собакевичей, Коробочек, Ноздревых и Маниловых, Гоголь изображает — по крайней мере, хотел бы изобразить — свойственные им недостатки и пороки вне причинной их связи с крепостным бытом. Совсем не то видим мы у Герцена. Чрезвычайно много уступая Гоголю в силе художественного творчества, он обнаруживает несравненно бо̀льшую проницательность мысли. Внимательно прочитавши роман «Кто виноват?», вы ясно видите, что именно на почве крепостного права выросли так едко осмеянные автором понятия и привычки генеральской семьи Негровых; и не менее ясно видите вы, что то же право отравило молодые годы жизни генеральской «воспитанницы» Любоньки. Герцен знает, что за каждым движением его пера глядит внимательный и зоркий враг — цензура. Он выражается осторожно. Но сдержанное осторожностью негодование его делает его насмешку еще более тонкой, а потому еще более язвительной. Напомню хоть деревенские занятия генерала Негрова. Поселившись в своей деревне, его превосходительство «бранил всякий день приказчика и старосту, ездил за зайцами и ходил с ружьем. Не привыкнув решительно ни к какого рода делам, он не мог сообразить, что надобно делать, занимался мелочами и был доволен. Приказчик и староста были с своей стороны довольны барином; о крестьянах не знаю: они молчали. Месяца через два в окнах господского дома показалось прекрасное женское личико, сначала с заплаканными, а потом просто с прелестными голубыми глазками» **.

Прелестные голубые глазки принадлежали дочери крепостного крестьянина Емельки Барбаша. Для полноты картины остается только прибавить, что наш сельский хозяин недолго предается и этим утомительным занятиям: «Он уверил себя,

---

что, боясь цензуры, не решился излагать философские взгляды Спинозы: «Такой, право, был жид, хоть брось».

* *А. Веселовский*, Герцен-писатель. Очерк. Москва 1909, стр. 47.

** Сочинения, т. III, стр. 18—19 [1].

что исправил все недостатки по хозяйству и, что еще важнее, дал такое прочное направление ему, что оно и без него идти может, и снова собрался ехать в Москву» *. Но здесь юмор еще берет верх над негодованием. К тому же подобные ноты встречаются нередко и у Гоголя. А в истории крепостной гувернантки Софьи Немчиновой, ставшей впоследствии женою помещика Бельтова и матерью одного из главных героев романа «Кто виноват?» — Владимира Бельтова, юмор уступает место жгучему негодованию, которое и находит свое выражение в письме Софьи к своему преследователю. Вообще Герцена, как видно, сильно занимала трагическая судьба людей, принадлежавших к крепостной интеллигенции. Одной из представительниц этой разновидности является героиня повести «Сорока-воровка», талантливая актриса, погибающая жертвой ухаживаний графа Скалинского **. Белинский находил, что повесть эта отзывает анекдотом, хоть написана мастерски и производит глубокое впечатление. Но в ней рассказано истинное происшествие, и сам собою возникает вопрос: какого приговора заслуживает тот порядок, при котором возможны анекдоты, подобные сообщенному Герценом?

Еще более темную картину крепостного быта дает повесть «Долг прежде всего», первая часть которой была послана Герценом в Петербург из-за границы в начале 1848 г. Он говорит, что в герое этой повести Анатолии Столыгине ему хотелось представить человека, полного сил, энергии и способностей, но ведущего пустую, ложную и тягостную жизнь вследствие постоянного противоречия между его стремлениями и его долгом. На это намерение автора (повесть осталась неоконченной) указывает и ее название: «Долг прежде всего». Сообщаемый Герценом план повести показывает, что долг, требования которого отравили жизнь героя, представлял собою не что иное, как совокупность требований, предъявлявшихся крепостным — в широком смысле этого слова — порядком к своим привилегированным защитникам. Таким образом, повесть эта расширяет вопрос о крепостном праве до размеров политического вопроса. Цензура не позволила ее печатать, и она появилась за границей в сборнике «Прерванные рассказы» (1854 г.). Герцен объясняет строгость цензуры по отношению к его повести тем, что тогда был сильнейший припадок цензурной болезни:

«Сверх обыкновенной гражданской цензуры, была в то время учреждена другая — военная, составленная из генерал-адъютантов, генерал-лейтенантов, генерал-интендантов, инже-

* Там же, стр. 19[1].

** Повесть эта появилась в февральской книжке «Современника» за 1848 г., т. е. уже во время пребывания Герцена за границей.

неров, артиллеристов, начальников штаба, свиты его величества офицеров, плац- и бау-адъютантов, одного татарского князя и двух православных монахов под председательством морского министра» *.

Эта остроумная характеристика знаменитого цензурного сверхкомитета вряд ли справедлива в своем качестве объяснения того, почему не могла появиться повесть «Долг прежде всего». Совершенно достаточно было обыкновенной цензуры, чтобы запретить ее. Белинский, характеризуя Герцена как беллетриста, чрезвычайно тонко заметил, что «он изображает преступления, не подлежащие ведомству законов и понимаемые большинством как действия разумные и нравственные» **. Но совершенно естественно, что повесть, изображавшая как преступление то, что представлялось вполне законным и справедливым с точки зрения тогдашнего порядка, сама должна была представляться преступной служителям этого порядка. Повесть «Долг прежде всего» особенно грешила этим грехом. А потому и не увидела света в России.

VIII

9 октября 1843 года Герцен вписал в свой дневник следующие строки: «...Нам, славянам, предстоит молчание или слово вне отечества, как сказал Мицкевич» ***.

В том же «Дневнике», под 24—25 января следующего года, стоит: «Террор. Какая-то страшная туча собирается над головами людей, вышедших из толпы. Страшно подумать: люди, совершенно невинные, не имеющие ни практической прямой цели, не принадлежащие ни к какой ассоциации, могут быть уничтожены, раздавлены, казнены за какой-то образ мыслей... Противники мысли об экспатриации советуют ехать по-добру-по-здорову» [4].

Отсюда видно, что мысль об экспатриации, т. е. о переселении за границу, стала приходить Герцену, по крайней мере, с конца 1843 года. В продолжение нескольких лет «экспатриация» рассматривается им лишь как неприятная возможность. Даже отправляясь за границу в январе 1847 года, он остается чуждым намерения сделать эту возможность действительностью. Однако уже 2 года спустя у него созревает решение остаться за границей. Первая глава его так много нашумевшей книги «С того берега» носит знаменательное название: «Прощайте» ****.

* Сочинения, т. IV, стр. 69 [1].

** Сочинения В. Белинского, ч. XI, Москва 1884, стр. 390 [2].

*** Сочинения, т. I, стр. 140 [3].

**** Глава эта помечена 1 марта 1849 г.

Обращаясь в ней к своим друзьям в России, он говорит: «Наша разлука продолжится еще долго — может всегда. Теперь я не хочу возвратиться, потом, не знаю, будет ли это возможно» [1]. Потом — и весьма скоро — это оказалось невозможным. Осенью 1850 года через своего консула в Ницце русское правительство потребовало его немедленного приезда на родину, заранее ставя на вид, что ни в каком случае не согласится на отсрочку. Ввиду такого нетерпения он с своей стороны убедился, что ехать домой ему ни в каком случае не следует. Так сделался он эмигрантом. Впоследствии он говорил, что предпочел бы ссылку в Сибирь положению эмигранта. Но в Сибири над ним тяготела бы та же всероссийская цензура, а жизнь за границей обеспечивала ему свободу слова. И это существенно меняет положение дела.

В только что цитированной мною главе книги «С того берега» он писал: «Я остаюсь здесь не только потому, что мне противно, переезжая через границу, снова надеть колодки, но для того, чтобы работать. Жить сложа руки можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме *нашего* дела... Я здесь полезнее, я здесь — бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель» [2].

Таким образом, когда ему пришлось выбирать между молчанием и словом вне отечества, он выбрал свободное слово.

Если принять во внимание, что Белинский был тогда уже в могиле, то надо признать, что не было человека, который лучше Герцена годился бы для роли «свободного органа» передовых русских людей. И Герцен, как известно, блестяще выполнил эту роль.

Нам предстоит теперь ознакомиться с тем, как боролся он с крепостным правом, живя за границей. Но для полного понимания этой его деятельности не мешает подвести окончательный итог его взгляду на русский народ. После всего сказанного выше едва ли нужно доказывать, что все его симпатии были именно на стороне народа. Впрочем, вот весьма убедительная выписка из его дневника (от 9 июля 1844 года):

«Чего недостает ему (т. е. народу. — *Г. П.*), чтоб выйти из жалкой апатии? Ум блестит в глазах; вообще на десять мужиков, наверное, восемь не глупы и пятеро положительно умны, сметливы и знающие люди; их много клевещут с нравственной стороны, они лукавы и готовы мошенничать, но это тогда, когда становятся в противоположность нам. Иначе не может быть, мы явно и законно грабим их, сила не одинакая...» *

Эта выписка явилась бы ненужным повторением того, что уже известно читателю, если бы в ней не обнаруживалась новая

* Сочинения, т. I, стр. 211 [3].

сторона взгляда нашего автора на крестьянство. Он от всей души сочувствует крестьянину, он верит в его умственные и нравственные качества, но он считает его находящимся в состоянии жалкой апатии. *Эта* сторона взгляда Герцена многое объясняет собою в его последующей заграничной литературной деятельности. На нее необходимо было обратить здесь внимание. Очень ошибся бы тот, кто предположил бы, что относящиеся сюда слова только что приведенной выписки выражают собою мимоходный, случайный оттенок взгляда Герцена. В этом оттенке нет ничего случайного, мимоходного. В апреле того же года он, рассказав в своем дневнике о возмущении крестьян одной волости Тамбовской губернии, прибавляет: «Все мужики этой волости — молокане, перед ними шла девушка, певшая псалмы. Итак, из раскольничьих скитов вырываются такие звуки, среди общей немоты крестьян» *.

Звуки, о которых говорит здесь Герцен, т. е. крестьянские волнения, не ограничивались тогда средой сектантов. Но при неоспоримой немоте нашей печати они оставались неизвестными даже передовым людям той эпохи. Само собою разумеется, что волнения вроде того, о котором говорит Герцен в своем дневнике, еще отнюдь не свидетельствуют о способности крестьян к социально-политической самодеятельности. Впоследствии наши народники, «бунтари» 70-х годов, совершили крупную ошибку, приурочив свои упования к такого рода волнениям. Жизнь очень скоро «разочаровала» их с этой стороны. Но как бы там ни было, а для характеристики взглядов Герцена и его тогдашних единомышленников немаловажно то обстоятельство, что крестьянство казалось им более «немым» и апатичным даже, чем оно было на самом деле. Иначе сказать, *Герцен и его единомышленники при всем своем сочувствии к народу признавали и должны были признавать его пока еще совершенно неспособным к деятельной защите своих интересов.* Оставалось уповать на будущее. И Герцен много уповал на него.

Интересно, что «Мертвые души» Гоголя понравились Герцену тем, что они, по его мнению, представляли собою хотя и горький, но не безнадежный упрек России. По его словам, Гоголь видит удалую, полную силы национальность там, где взгляд его проникает сквозь туман навозных испарений.

«Грустно в мире Чичикова, так как грустно нам в самом деле; и там и тут одно утешение в вере и уповании на будущее. Но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование ins Blaue **, а имеет реалистическую основу, кровь как-то хорошо обращается у русского в груди. Я часто смотрю

* Там же, стр. 193 [1].
** [ввысь]

из окна на бурлаков, особенно в праздничный день, когда, подгулявши, с бубнами и пеньем, они едут на лодке: крик, свист, шум. Немцу во сне не пригрезится такого гулянья; и потом, в бурю — какая дерзость, смелость: летит себе, а что будет, то будет. Взглянул бы на тебя, дитя, — юношею, но мне не дождаться; благословлю же тебя хоть из могилы» *.

Эта вера в будущее русского народа далеко не всегда предохраняла его от тяжелого настроения, порою недалекого от отчаяния. В его дневнике, под 21 апреля 1843 года, мы читаем:

«Наше состояние безвыходно, потому что ложно, потому что историческая логика указывает, что мы вне народных потребностей, и наше дело — отчаянное страдание» **.

Однако в общем у него преобладает светлый взгляд на будущее России ***. И этот взгляд поддерживается верой в будущее западноевропейского мира. «И как подумаешь, — пишет он, — что едва 75 лет прошло, как Европа спала в унижении, едва пробуждаемая благовестом водворителей нового мира, и взглянешь на современное ее состояние, далекое от достижения, но, тем не менее, развитое потребностию, невольно благоговейный трепет уважения к человечеству обнимает душу. Велика французская революция; она первая возвестила миру, удивленным народам и царям, что мир новый родился и старому нет места» ****.

Мы сейчас увидим, что скоро у него установился почти безнадежный взгляд на Западную Европу. Тогда тем нужнее стала ему вера в Россию. Но и тогда он нигде не обнаруживал надежды на крестьянскую самодеятельность. А что касается исключительно занимающего нас периода до отъезда его за границу, то его недоверие к народной самодеятельности прекрасно выражается в следующем месте его дневника:

«Кто-нибудь должен проснуться — или правительство, или народ. О первом так же трудно поверить, как о другом...»

Эти строки были написаны 24 декабря 1843 г. А 24 марта 1844 г. Герцен утверждает: «Доселе с народом можно говорить только через священное писание». Запомним это.

---

* Сочинения, т. I, стр. 18 [1].

** Там же, стр. 98 [2].

*** Эта вера в будущее составляет у него даже что-то вроде категорического императива. Он рассуждает так: «Чаадаев превосходно заметил однажды, что один из величайших характеров христианского воззрения есть понятие (здесь, вероятно, опечатка: «поднятие». — *Г. П.*) [3] надежды в добродетель и постановление ее с верой и любовью. Я с ним совершенно согласен. Эту сторону упования в горести, твердой надежды в повидимому безвыходном положении должны по преимуществу осуществить мы. Вера в будущее своего народа есть одно из условий одействотворения будущего» (т. I, стр. 179) [4].

**** «Дневник», 27 июля 1843 г. Сочинения, т. I, стр. 130—131 [5].

IX

За границей Герцен пережил революционное движение 1848—1849 гг. и, как утверждают обыкновенно, разочаровался вследствие неудачного исхода этого движения. Тут есть некоторая неточность, которую надо поправить.

В «Колоколе», от 1 июля 1867 года, Герцен спрашивает Бакунина: «Помнишь наши долгие разговоры перед февральской революцией, в которых я, как прозектор, указывал рост смерти западного «старика», а ты с надеждой и упованием — рост едва обличившейся жизни славянского недоросля. Я и в него не очень верил, *а верил в одну Россию и ее социальные зачатки*».

Как видите, в своем отношении к Западной Европе Герцен, тот самый Герцен, у которого вера в Россию поддерживалась верою в силу общечеловеческого прогресса, был очень похож на разочарованного еще *«перед февральской революцией»*. Стало быть, нельзя сказать, что Герцен разочаровался *только* под влиянием неудачного исхода этой революции. Напротив, вполне позволительно предположить, что ее неудачный исход не привел бы его к разочарованию, если бы он не был в значительной степени разочарован еще до нее *.

Как бы там ни было, несомненно то, что когда Герцен решился остаться надолго в Западной Европе, он был глубоко разочарован в ней. Так как это его разочарование определило собою дальнейшее развитие его взглядов, то на нем необходимо остановиться.

Когда Герцен, еще «перед февральской революцией», в своих разговорах с Бакуниным «указывал на рост смерти западного старика», он, несомненно, повторял с более или менее существенными оговорками ту славянофильскую мысль, что «Запад» уже изжил самого себя. А когда впоследствии эта мысль утвердилась в нем благодаря неудачному опыту февральской революции, она приняла у него следующий вид.

Роль теперешней Европы совершенно кончена. С 1848 г. разложение ее растет с каждым шагом. Спасти Запад от разложения способен только работник. Но «работник может быть побежден, а если он будет побежден, то разложение старой Европы сделается неизбежным». Иногда Герцен начинал думать, что «работник» *уже* и окончательно побежден и что, стало быть, разложение Западной Европы *уже* неотвратимо; иногда, наоборот, у него воскресала более или менее сильная надежда на то, что дело «работника» на Западе еще не совсем проиграно, и тогда он опять начинал верить в возможность его

* См. об этом статью «Герцен-эмигрант» в 13-м вып. «Истории русской литературы XIX в.», изд. тов. «Мир», под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского [1].

прогрессивного развития. Эта надежда оживилась со времени возникновения Международного Товарищества Рабочих. Если бы Герцену суждено было видеть дальнейшие успехи западноевропейского рабочего движения, то вполне возможно, что он совсем отказался бы от своего мрачного взгляда на внутреннее состояние Европы. К сожалению, преждевременная смерть — он умер, как известно, 21 января 1870 г. — устранила эту возможность. Поэтому те наши современники, которые даже в нынешней Европе не видят ничего, кроме «мещанства» («слона-то я и не приметил»!), имеют некоторое кажущееся право ссылаться на Герцена. В сущности настроение этих... скептиков не имеет ровно ничего общего с настроением Герцена. Он думал, что только торжество рабочего движения могло бы спасти Запад от овладевшего им мещанства. А наши нынешние скептики считают одним из самых ярких проявлений мещанства именно современное рабочее движение. Ясно, что они — далеко не родня Герцену; ясно, что они всуе приемлют его знаменитое имя.

Но оставим их. Мы видим, что, рассуждая о возможной судьбе Запада, Герцен становится на точку зрения *борьбы классов: победит рабочий класс* — Западная Европа воскреснет к новой жизни; *не победит* — она окончательно разложится. Эта попытка определить дальнейший ход внутреннего развития данного общества, становясь на точку зрения происходящей в нем борьбы классов, сближает здесь Герцена с последователями современного научного социализма. Но не следует преувеличивать это сближение. Герцен только скрепя сердце приурочивает к борьбе классов свои упования на будущее торжество социализма в Западной Европе. Разрешение «социального вопроса» путем классовой борьбы представлялось ему самым худшим средством его разрешения. Утопический характер того социализма, которого, говоря вообще, держался наш великий публицист, едва ли не больше всего сказался в его отвращении от классовой борьбы *. События 1848—1849 гг. разочаровали его главным образом потому, что явились выражением классовой борьбы в западноевропейском обществе. Поскольку борьба эта являлась более или менее надежным средством разрешения великого вопроса об отношении труда к капиталу, она производила на него впечатление горькой насмешки над силой того самого разума, последним словом которого он считал западноевропейский социализм. Требованиям разума соответствовал, по его взгляду, лишь такой ход решения «социального вопроса», при котором почин общественного

* Ниже будет указано, что Герцен уже чувствовал, однако, некоторые слабые стороны утопического социализма и что это не осталось без влияния на его мнение о западном «старике».

преобразования взяли бы на себя просвещенные и беспристрастные представители господствующего класса. Изо всех уроков, данных ему западноевропейской жизнью, самым тяжелым для него был тот, который гласил, что образованные представители господствующего класса на Западе отнюдь не хотят — да и не могут хотеть — браться за осуществление социалистического идеала. Вот почему его уверенность в том, что судьба западноевропейского общества зависит от победы (или поражения) рабочего класса, вполне уживалась у него с весьма безотрадным взглядом на западноевропейскую жизнь. Придя к этой уверенности, он продолжал оставаться разочарованным, во-первых, потому, что, как сказано выше, вообще видел в классовой борьбе самый неудовлетворительный способ решения общественных вопросов, а во-вторых, еще и потому, что шансы победы пролетариата казались ему до крайности незначительными *.

Можно, пожалуй, сказать, что он и в этом отношении остался сен-симонистом. В самом деле, 29 ноября 1831 г. сен-симонистский (тогда) «Globe» писал: «Les classes inférieures ne peuvent s'élever qu'autant que les classes supérieures leur tendent la main. C'est de ces dernières que doit venir l'initiative» (Низшие классы могут подняться лишь в той мере, в какой им помогут сделать это высшие классы. От этих последних должен исходить почин). Так думал, как видно, и Герцен. Но так же думали и все социалисты-утописты. Поэтому нельзя сказать, что в данном случае он был особенно близок к сен-симонистам. Но этим нисколько не ослабляется правильность того положения, что разочарование Герцена в Западной Европе вызвано было нежеланием высших классов западноевропейского общества взять на себя почин общественного преобразования.

Герцен очень любил сравнивать отношение европейского Запада к социализму с отношением Римской империи к христианству. Рим выработал христианский идеал, но не мог осу-

* Вот его собственные слова: «Пока дело шло о политических правах, все образованное стояло со стороны движения; дошедши до социального вопроса, сделалось новое расщепление. Несколько человек остались верными логике и движению, но масса образованных отступила и очутилась — при своих оппозиционных замашках — с консервативной стороны. Народ, за которого прежний революционер становился ходатаем, снова пал на руки попам или вовсе остался беспомощным в потемках низменных сфер жизни; адвокаты его, скрывавшие за собою его детскую неразвитость, расступились, и мы увидали несколько пророков на горе, а внизу — спящую тяжелым сном народную массу. Идти вперед боялись, идти назад было невозможно, вера в прошедшее была утрачена; надо было выжидать, ладить, удерживать нужное и ненужное, отстаивать приобретенное, отталкивать новое. Такому положению дел простой деспотизм империи, т. е. самодержавной полиции, естественнее конституционной монархии» («Письма к путешественнику». Письмо VI. «Колокол» № 203) [1].

ществить его: это сделали другие народы. Герцену казалось вероятным, что, выработав социалистический идеал, Западная Европа не в состоянии будет воплотить его в жизнь и что к его осуществлению призвана именно Россия. Не мешает заметить, что французские социалисты того времени вообще находили очень много сходства в положении современного им европейского общества с положением Рима в эпоху появления христианства *. Герцен лишь дополнил это сравнение такой гипотезой, которая могла прийти в голову только русскому. Интересно, что сама терминология Герцена часто представляет собою лишь видоизмененную терминологию современных ему французских социалистов. Так, например, его известный ответ Мишле озаглавлен: «Старый мир и Россия». Это приводит на память вышедшую несколькими годами раньше только что указанную мною книгу Консидерана: «Социализм перед старым миром или живой перед мертвыми». Разница лишь в том, что у Консидерана старым миром назывался мир защитников старого общественного порядка, а у Герцена этим именем обозначается весь европейский Запад.

X

Чем сильнее было разочарование Герцена в Западной Европе, тем большее нравственное значение приобретала для него вера в Россию. Прежде вера эта сама поддерживалась, как мы знаем, верою в революционные силы Запада. Теперь вера в Запад пропала, зато тем сильнее стала вера в Россию. Это кажется парадоксом: как могла укрепиться вера в Россию после разрушения той основы, на которую она когда-то опиралась? Недоумение разрешается только что указанными мною особенностями социалистических взглядов Герцена.

Я сказал, что, по основному практическому смыслу этих взглядов, требованиям разума соответствовал лишь такой ход решения социального вопроса, при котором почин общественного преобразования взяли бы на себя просвещенные представители господствующего класса. На Западе представители этого класса показали себя во время революции 1848—1849 гг. совсем не на высоте призвания. А в России они как будто готовы были подняться на эту высоту. Я уже цитировал то место из брошюры Герцена «Du développement des idées révolutionnaires en Russie» **, где говорится, что работа революционной

* См., например, *Виктора Консидерана*, Le socialisme devant le vieux monde ou le vivant devant les morts, Paris 1848, p. 25. [«Социализм перед старым миром или живой перед мертвыми». Париж 1848, стр. 25.]

** [«О развитии революционных идей в России»]

мысли совершалась у нас не в правительстве и не в народе, а в мелком и среднем дворянстве. То же повторял Герцен и в других случаях. Так, в речи, произнесенной в Лондоне 27 февраля 1854 г. в международном собрании, чествовавшем память февральской революции [1], он следующим образом характеризует современную ему Россию: «Там вы встретите два зародыша движения: один — сверху, другой — снизу. Один — преимущественно отрицающий, разлагающий, разъедающий — рассыпается в малых кружках, но готов составить большой, деятельный заговор. Другой — более положительный, хранящий в себе почки будущего образования — находится в состоянии дремоты и бездействия. Я говорю о молодом дворянстве и о сельской общине, которая представляет основную ячейку всей ткани общественной, животворящее начало славянского государства» [2].

Тут рядом с «деятельным» молодым дворянством, будто бы готовым взяться за решение той задачи, от которой отвернулся господствующий класс западноевропейских стран, указывается другой общественный фактор, при всей своей пассивности составляющий, по мнению Герцена, чрезвычайно счастливую особенность России: общинное владение землей. Существование общины в огромной степени облегчит деятельному молодому дворянству его прогрессивную реформаторскую работу. Таким образом, Россия осуществит тот социалистический идеал, до которого Запад доработался в своем развитии, но которого он не мог воплотить в жизнь.

Этот ход рассуждений показывает нам, каким образом автор книги «С того берега» мог укрепить свою веру в Россию несмотря на то, что рушилась его вера в Западную Европу. И он же делает понятными все главные отличительные черты его последующей публицистической деятельности.

Поселившись в Лондоне, он завел типографию — первую действительно вольную, т. е. свободную от цензуры, русскую типографию — и тотчас принялся за проповедь крестьянского освобождения. Борьба против крепостного права стала его важнейшей целью. Но к кому обратился он со своей проповедью? Прежде всего к дворянству. В брошюре «Юрьев день! Юрьев день!» он писал, обращаясь к этому сословию:

«Мы — рабы, потому что мы господа. Мы — слуги, потому что мы помещики... Мы — крепостные, потому что держим в неволе наших братий, равных нам по рождению, по крови, по языку. Нет свободы для нас, пока проклятие крепостного состояния тяготит над нами... С Юрьева дня начнется новая жизнь России. С Юрьева дня начнется наше освобождение» [3].

В настоящее время может показаться странным, что, начиная борьбу за *уничтожение* крепостного права, Герцен прежде

всего обратился к тому сословию, которое было наиболее заинтересовано в его *сохранении*. Всего естественнее было бы обратиться к тому сословию, которое больше всех других страдало от крепостничества, т. е. к крестьянству. Но Герцен был по-своему совершенно последователен. Обратиться к крестьянству мог только тот, кто рассчитывал на его способность к политической деятельности. А Герцен совсем на нее не рассчитывал. В его представлении о вероятном развитии России в направлении к социализму крестьянству отводилась пассивная роль, между тем как «молодому дворянству» принадлежала деятельная роль начинателя. Что же касается вопроса о том, не противоречит ли выставленная Герценом программа освобождения крестьян сословным интересам дворянства, то он разрешался надеждой на способность передовой части этого сословия подняться выше этих интересов. И так смотрел не один Герцен. С ним был безусловно согласен его друг Н. П. Огарев.

Во 2-й книге «Полярной Звезды» (1856 г.) напечатана очень интересная статья Огарева — который подписывался тогда: «Р. Ч.», — озаглавленная: «Русские вопросы». В ней автор спрашивает, между прочим, кого могло бы взять правительство себе в помощники, предпринимая дело освобождения крепостных людей, и отвечает так:

«Народ плохо может высказать понятие, находящееся у него скорее в степени инстинкта, чутья, а не ясной мысли.

Большие баре? Люди, у которых по пяти, по двадцати, по тридцати, по полутораста тысяч душ... Но это — люди, никогда не соприкасавшиеся с народом и его потребностями, никогда не мыслившие, привыкшие только тратить огромные с неба валившиеся суммы, не стесняясь ни на волос в самых необузданных капризах. Нет, это плохие советники!..

Мелкопоместное дворянство? Но это — люди, лишенные воспитания, люди, выжимающие из мужика все здоровые соки... Плохие советники!..

Купечество? Но это — каста, которая рада своей замкнутости и считает себя пауком, а все остальное — мухами и которая, следственно, мерит благоденствие государства своею прибылью, достигаемую всеми путями неправды. Плохие советники!

Чиновники?.. Но это — члены одной огромной организации повсеместного грабежа, где оконечности пользуются копейками и постепенно к центрам скопляются рубли. Плохие советники!.. Да и попробуйте затронуть их циркулярчики, увидите, что значит бюрократическое самолюбьице. Плохие советники!

Остается тот отдел дворянства средней руки, который, с одной стороны, образовался в высших учебных заведениях и привык мыслить, а с другой стороны, жил в деревнях и знает

народ и его потребности и между тем не продавал своей совести за места по службе. Да, юному правительству * следует обратиться к образованным русским людям не по мере долговременности их службы, а по мере их независимости от службы, не по мере значительности, а по мере незначительности их чина» **.

Вся эта аргументация как нельзя более характерна для тогдашних взглядов Огарева и Герцена. Но, по мнению каждого из них, освобождение крестьян должно было явиться лишь первым крупным шагом на пути социалистического развития России. Поэтому, призывая правительство и дворянство к уничтожению крепостного права, Огарев и Герцен старательно оттеняли экономическую самобытность России.

«Нам нечего заимствовать у мещанской Европы, — пишет Герцен. — Мы — не мещане, мы — мужики» ***. И эта мысль — основная мысль всего русского народничества — подробно обосновывается Герценом в той же статье.

«Мы бедны городами и богаты селами. Все усилия создать у нас городское мещанство в западном смысле приводили до сих пор к тощим и нелепым последствиям. Настоящие горожане наши — одни чиновники; купечество ближе к крестьянам, нежели к ним. Помещики, естественно, более сельские жители, нежели городские. Итак, город у нас почти одно правительство, Россия государственная, а село — вся Россия, Россия народная.

Нашу особенность, самобытность составляет деревня с своей общинной самозаконностью, с мирской сходкой, с выборными, с отсутствием личной поземельной собственности, с разделом полей по числу тягол. Сельская община наша пережила ту эпоху тяжелого государственного роста, в которой обыкновенно общины гибнут, и уцелела в двойных целях (очевидно: цепях. — *Г. П.*), сохранилась под ударами помещичьей палки и чиновничьего грабежа» ****.

Мысль об экономической самобытности России, дающей нам возможность миновать «мещанскую» дорогу западноевропейского развития, до такой степени занимала Герцена, что он нашел нужным высказать ее даже в одном из своих многочисленных писем к императору Александру II. Я имею в виду письмо по поводу известной книги барона Корфа о восшествии на престол императора Николая I. Сказав в нем, что нам даром достаются истины и результаты, до которых западные народы

* Т. е. правительству императора Александра II.

** Стр. 274—275. Цитирую по 2-му изданию [1].

*** «Полярная Звезда», кн. 2-я, на 1856 г., изд. 2-е. Статья, подписанная «И—р», под заглавием: «Вперед! Вперед!», стр. VII и VIII [2].

**** Там же, стр. VIII [3].

доработались посредством междоусобий и тяжелых утрат, он прибавляет:

«На своей больничной койке Европа, как бы исповедуясь или завещая последнюю тайну, скорбно и поздно приобретенную, указывает, как единый путь спасения, именно на те элементы, которые сильно и глубоко лежат в народном характере и притом не одной петровской России, а всей русской России. Поэтому мы думаем, что у нас развитие пойдет иным путем» *.

XI

Первым условием, необходимым для выступления России на иной путь экономического развития, Герцен и Огарев считали освобождение крестьян с землею. Такая мера предупредит появление в России пролетариата и избавит ее от всех тех страданий и смут, которые последовали за его появлением на Западе.

«...О моя Россия! — восклицает Огарев в цитированной мною уже статье «Русские вопросы». — Дорого бы я дал, чтобы ты была избавлена от всех страданий западного развития — бесплодных кровопролитий, раздробления собственности, нищенства, пролетариата, формально-законных и человечески-несправедливых судов, притеснений, позорного мещанского тиранства, лицемерия — и развивалась бы ты мирно, путем вечно юной реформы» [2].

Огарев думает, что если крестьян освободят без земли, то дворянство «вместо роли образованного класса в государстве разыграет роль западного мещанства», и тогда у нас начнутся смуты, «которых жестокость будет страшная» **. Опасение этих смут, как видно, занимало большое место в соображениях Огарева и Герцена о русских вопросах. В № 3 «Колокола» (1 сентября 1857 г.), в статье «Правительственные распоряжения», Огарев писал:

«Настоящее правительство, кажется, поняло, что элементов европейской революции в России нет, что ему с этой стороны бояться нечего; но что Россия, изнуренная государственным правительством, поддержанным полицейским насилием, требует возрождения; что если правительство не станет во главе

* «Колокол», № 4 [1].

** Если Герцен и Огарев боялись, что русское дворянство вместо «роли образованного класса в государстве» возьмет на себя роль западного мещанства, то Белинский незадолго до своей смерти пришел к прямо противоположному убеждению: «Теперь ясно видно, — писал он в письме к Анненкову от 15 февраля 1848 г., — что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не раньше, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию...» [3]

этого возрождения, то оно может наткнуться на иную революцию, совсем не европейскую, а дикую революцию, враждебную образованности; что крестьянская революция в России тем возможней, что войско будет за нее; что нет ни одного государства, где бы войско, несмотря на долговременность службы, было так дружно с народом, как у нас».

Не следует думать, будто «Колокол», в лице Огарева, только на предмет запугивания правительства изображал возможную крестьянскую революцию в России в виде революции дикой и враждебной образованности. Правда, ему, вероятно, не чуждо было желание запугать. Но, судя по тогдашнему образу мыслей Герцена и Огарева, приходится предположить, что желание это выразилось в указанной статье лишь в очень незначительном преувеличении шансов крестьянской революции («крестьянская революция тем возможней, что...» и т. д.); а изображение этой революции в виде дикого, стихийного явления вполне соответствовало, надо думать, убеждению издателей «Колокола».

Мы видели выше, что Герцен отнюдь не был принципиальным сторонником классовой борьбы. Если он утверждал, что на Западе мещанство может быть побеждено *только* рабочей революцией, то в этом его убеждении выражалось его разочарование в Западной Европе. А кроме того, он думал, что и на Западе рабочая революция может оказаться неизбежной лишь вследствие неразвитости народных масс. На этот счет не оставляет никакого сомнения следующее место в статье Герцена «Еще вариация на старую тему»:

«Вопрос о будущности Европы я не считаю окончательно решенным; но добросовестно, с покорностью перед истиной и скорее с предрассудками в пользу Запада, чем против него, изучая его десятый год не в теориях и книгах, а в клубах и на площади, в средоточии всей политической и социальной жизни его, я должен сказать, *что ни близкого, ни хорошего выхода не вижу*. Стоит взглянуть, с одной стороны, на горячечное, одностороннее развитие промышленности; на сосредоточение всех богатств, нравственных и вещественных, в руках меньшинства среднего состояния; на то, что оно захватило в руки церковь и правительство, машины и школы; что ему повинуются войска, что в его пользу судят судьи; и, с другой стороны, глядя на неразвитость масс, на незрелость и шаткость революционной партии, я не предвижу без страшнейшей, кровавой борьбы близкого падения мещанства и обновления старого государственного строя» *.

При всем своем разочаровании в Западной Европе Герцен не мог, однако, не видеть, что русская народная масса менее развита, нежели, например, французская или немецкая. Стало

* Сочинения, т. X. стр. 285 [1].

быть, русский народный взрыв должен был представляться ему еще менее «*хорошим выходом*», нежели народное восстание в той или другой западной стране. Наши народники 70-х годов смотрели на этот предмет совершенно иначе. Их совсем не огорчала борьба классов на Западе, а крестьянская революция, на подготовку которой они направляли все свои усилия, отнюдь не рисовалась их фантазии в виде «дикого, враждебного образованности» народного движения. В этом они очень разошлись с Герценом и Огаревым. Но это все-таки частность, хотя и очень важная *с тактической* точки зрения. Что же касается основных *теоретических* взглядов — например, взгляда на вопрос об экономической самобытности России и о том пути развития, по которому ей надлежит идти, — то народники 70-х годов целиком заимствовали их, хотя и не вполне сознательно, у Герцена и Огарева. Поэтому мы имеем полное право сказать, что уже в первых своих произведениях, напечатанных в «Вольной лондонской типографии», Герцен и Огарев выступили как родоначальники русского народничества. В этом качестве родоначальников русского народничества они предприняли свой публицистический поход против крепостного права.

Вся литература «русского социализма» 70-х и 80-х годов явилась лишь повторением тех теоретических взглядов, проповедь которых начата была еще накануне крестьянского освобождения Герценом, Огаревым и их единомышленниками *. До какой степени это так, видно, например, из следующего.

Известно, что наши самобытные «социологи» 70-х годов много потрудились над выработкой «формулы прогресса». Но и тут все их выводы предупреждены были кружком Герцена и Огарева. В статье «Место России на всемирной выставке» Н. Сазонов, отвечая на вопрос, «в чем состоит просвещение истинно человеческое», писал:

* О социалистической литературе 60-х годов это можно сказать лишь в той мере, в какой она не подчинялась влиянию Чернышевского, во многом расходившегося с Герценом [1]. Известно, что он даже полемизировал с издателем «Колокола» по вопросу об отношении России к Западу. См. его статью «О причинах падения Рима». В свою очередь Герцен считал Чернышевского сторонником «чисто-западного социализма», служившего, как он думал, «дополнением русскому социализму». Он говорил, что среда Чернышевского «была городская, университетская, среда развитой скорби, сознательного недовольства и негодования; она состояла исключительно из работников умственного движения, из пролетариата и интеллигенции». Напротив, русским социализмом был в глазах Герцена «тот социализм, который идет от земли и крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, от общинного владения и общинного управления, — и идет вместе с рабочей артелью навстречу той экономической *справедливости*, к которой стремится социализм вообще и которую подтверждает наука» («Колокол», № 233—234) [2]. Излишне прибавлять, что представителями этого социализма Герцен считал себя и Огарева.

«Развитие личности посредством и для отношений более и более разнообразных, более и более сложных к другим людям и к целому миру. Чем эти отношения обширнее и вместе с тем сознательнее, правильнее, тем личность чувствует себя возвышеннее, определеннее, тем более достигает истинной свободы, т. е. сознательного и ревностного исполнения непреложных законов природы» *.

Вспомните «формулу прогресса» покойного Ник. Михайловского[1] и сопоставьте ее с тем, что говорит здесь Н. Сазонов; вы увидите, что разница заключается лишь в названии, так как один называет *прогрессом* именно то, что у другого называется *просвещением*. А по содержанию своему «прогресс» Ник. Михайловского явился лишь новым изданием «просвещения» Н. Сазонова. Обращаю на это внимание глубокомысленного г. Иванова-Разумника. Н. Сазонов находил, что в «настоящий момент своего развития западноевропейское человечество» идет по такой дороге, которая совершенно противоположна пути истинного просвещения. Россия была, по его мнению, гораздо ближе к этому пути. Если она отстала от Запада в промышленном отношении, то «потому только, что промышленность теперь в эпохе буржуазной, а в России буржуазии нет». Это тоже чисто народническое рассуждение **.

Западники — и между ними И. С. Тургенев — упрекали Герцена в том, что его воззрение на Россию сближало его со славянофилами. «Упреки эти сами собою свидетельствуют, — возражал он им, — что усобица ваша с московскими староверами не улеглась; это жаль». Борьба со славянофилами потеряла интерес и смысл после смерти императора Николая. Герцен с ужасом отвергает некоторые практические стремления славянофилов: «от них веет застенком, рваными ноздрями, епитимией, покаянием, Соловецким монастырем». Тем не менее он признает: «я никогда не отрицал, — говорит он, — что у славян есть верное сознание *живой души* в народе». Притом он находил, что обычные доводы западников против славянофилов совершенно выдохлись. Нельзя сбить славянофилов с их позиции примером Запада, «когда достаточно одного номера любой газеты, чтобы увидеть страшную болезнь, от которой ломится Европа». Западники любят европейские идеи. Герцен тоже любит их, так как «это идеи всей истории» и так как «без них мы впали бы в азиатский квиетизм, в африканскую тупость». Только эти идеи помогут России войти во владение достающимся ей историческим наследством. «Но, — говорит Герцен, обращаясь к западникам, — вам не хочется знать, что теперешняя жизнь

* «Полярная Звезда», 2-я кн., 2-е изд., стр. 228.

** Н. Сазонов кое в чем расходился с Герценом. Но у них, как видим, был совершенно одинаковый взгляд на отношение России к Западу.

в Европе не сообразна с ее идеями. Вам становится страшно за них; идеи, не находящие себе осуществления дома, кажутся вам нигде не осуществляемыми». Этого страха Герцен не разделяет. Анализируя русский народный быт, он находит в общине залог осуществимости социальных идей, выработанных на Западе *. Он сходится со славянофилами только во взгляде на Запад и на значение русской общины. Зато с этой стороны он подходит к ним совсем близко. Сознание этой близости выразилось в его собственных словах, с которыми он через несколько лет после изложенного здесь спора с западниками обратился к одному из своих противников со славянофильской стороны.

«Год тому назад ** я встретил на пароходе между Неаполем и Ливорно русского, который читал сочинения Хомякова в новом издании. Когда он стал дремать, я попросил у него книгу и прочел довольно много. Переводя с апокалиптического языка на наш обыкновенный и освещая дневным светом то, что у Хомякова освещено паникадилом, я ясно видел, как во многом мы одинаким образом поняли западный вопрос, несмотря на разные объяснения и выводы» ***.

Огарев, занимавшийся в «Полярной Звезде», а особенно в «Колоколе» разработкой частных вопросов «русского социализма», шел в направлении к славянофильству еще дальше, нежели Герцен. Он говорил:

«Совершенно несогласный ни с какой религией, а следственно, и с их (т. е. со славянофильским. — *Г. П.*) преображенным православием я, или лучше — мы, тем не менее искренно, откровенно оставляем за ними название пророков русского гражданского развития» ****.

Огарев находит зародыш славянофильства уже у декабристов. При этом он указывает на стихотворение А. Одоевского: «Славянское дело». В этом стихотворении есть, пожалуй, некоторый привкус панславизма. Однако на славянофильство, собственно так называемое, в нем нет и намека *****.

---

* См. ст.: «Еще вариация на старую тему». Статья эта, подписанная 3 февраля 1857 г., перепечатана в женевском изд. соч. Герцена, т. X, стр. 281—297 [1].

** Герцен писал это в октябре 1864 г.

*** «Колокол», № 191: «Письма к противнику» [2].

**** См. его интересную статью «Кавказские воды», в 6-й кн. «Полярной Звезды» на 1861 г., стр. 353 [3].

***** В стихотворении говорится, что

Старшая дева в семействе славяна
Всех превзошла величием стана

и что она должна спешить в поле с меньшими сестрами, ведя за собой их хоровод и дружно сплетая руки с руками. Старшая дева — это, конечно, Россия. Но отсюда до славянофильства еще очень далеко. Прибавлю еще, что у Герцена мы встречаем признания вроде следующего: «Труды

Много лет спустя И. Аксаков называл наше народничество непоследовательным славянофильством. Так как родоначальниками народничества были Герцен и Огарев, то И. Аксаков не отказался бы, вероятно, распространить свою оценку и на их учение. И надо признать, что в известном смысле он был бы совершенно прав.

XII

Первые заграничные издания Герцена не встретили никакого сочувствия в России *. Положим, часть помещиков уже понимала, что при экономических отношениях, сложившихся к половине XIX века, крепостное право перестало быть необходимым условием материального благосостояния дворянства. Это подтверждается, между прочим, любопытным свидетельством министра внутренних дел Перовского.

В своей записке об уничтожении крепостного права, поданной императору Николаю еще в 1845 г., Перовский говорил, что крестьянский вопрос сделался «одним из довольно обыкновенных предметов откровенной беседы в образованных состояниях...» **. По свидетельству того же министра, «состояния» эти не обнаруживали страха при мысли об отмене крепостного права.

«Время и новые отношения, — говорит он, — вовсе изменили взгляд *образованных* помещиков на крепостное право: они, конечно, опасаются последствий свободы, *зная необузданность народа, вышедшего однажды в каком-либо отношении из своего обычного положения и из пределов повиновения;* но владельцы ныне уже вовсе не боятся утраты своего достояния от дарования людям свободы. Помещики сами начинают понимать, что крестьяне тяготят их и что было бы желательно изменить эти обоюдоневыгодные отношения» ***. Перовский очень метко указывает, что к такому взгляду привели помещиков повысившиеся цены земли и удачные опыты применения наемного сельскохозяйственного труда в губерниях Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской и некоторых других. Но он замечает, что хотя бо̀льшая половина нашего дворянства не опасается утраты своего достояния от уничтожения крепостного права,

---

славянофилов подготовили материал для понимания — им принадлежит честь и слава почина» (в статье: «Repetitio est mater studiorum» [«Повторение — мать учения»], «Колокол», № 107) [1].

* «Мы должны были умолкнуть в начале 1854 г.»,—говорит он в статье «К нашим», — «Полярная Звезда», кн. I, изд. 2-е, стр. 230 [2].

** *В. И. Семевский*, Крестьянский вопрос в России и т. д., т. II, стр. 135—136.

*** Там же, стр. 138.

однако она *«страшится последствий переворота, коих всякий благоразумный человек, знающий народ и его понятия и наклонности, должен опасаться»* *.

При таком настроении дворянства трудно было ожидать, чтобы оно откликнулось на призыв эмигранта, сочинения которого ввозились в Россию — поскольку ввозились — как запрещенный товар. Но свидетельство Перовского относится к 1845 г., а в то время, когда появились первые заграничные издания Герцена, настроение дворянства стало еще более консервативным. Испуганное обострением классовой борьбы на Западе, выразившимся в революции 1848—1849 гг., наше «общество» хотело одного: тишины и порядка. Даже И. Киреевский писал в апреле 1848 г. М. П. Погодину, что «мы можем предъявить правительству только два требования: во-первых, чтобы оно не вмешивало нас в бесполезную войну; во-вторых, чтобы оно не возмущало народ ложными слухами о свободе и не вводило никаких новых законов, покуда не утишатся дела на Западе» **.

Это было именно то время, когда общество, по выражению цензора Никитенко, быстро погружалось в варварство. И этот упадок общественного настроения не остался без влияния даже на ближайших друзей Герцена. Они отнеслись несочувственно к его плану заграничных изданий. Осенью 1853 г. в Лондон приехал старый его приятель, известный артист М. С. Щепкин. Он уговаривал изгнанника прекратить свою, как сказали бы теперь, подпольную деятельность. «Какая может быть польза от вашего печатания? — говорил он ему. — Вы сгубите бездну народа, сгубите ваших друзей. Я стал бы на свои старые колени перед тобой, стал бы просить тебя остановиться, пока есть время» [1]. Герцен не пожелал покинуть подполье, но ему, вероятно, довольно долго пришлось бы ждать сочувственного отклика с родины, если бы не Крымская война. Смерть Николая I и падение Севастополя расшевелили общественное мнение в России и сообщили Герцену новые надежды. Тогда-то он и приступил к изданию «Полярной Звезды» и потом «Колокола».

В первой же книжке «Полярной Звезды» Герцен обратился к новому царю с открытым письмом, заключавшим в себе целую программу реформ.

«Государь, — писал он, — дайте свободу русскому слову. Уму нашему тесно, мысль наша отравляет нашу грудь от недостатка простора, она стонет в цензурных колодках. Дайте нам вольную речь... нам есть что сказать миру и своим.

---

* Там же, та же стр.

** Соч. И. В. Киреевского, Москва 1911, т. II, стр. 249.

Дайте землю крестьянам. Она и так им принадлежит. Смойте с России позорное пятно крепостного состояния, залечите синие рубцы на спине наших братий — эти страшные следы презрения к человеку.

... Торопитесь! Спасите крестьянина от будущих злодейств, спасите его от крови, которую он должен будет пролить...

... Я стыжусь, как малым мы готовы довольствоваться; мы хотим вещей, в справедливости которых вы так же мало сомневаетесь, как и все.

На первый случай нам и этого довольно...»[1]

После всего сказанного мною выше, надеюсь, вполне понятно, почему освобождение крестьян с землею явилось средоточием программы Герцена. Но если это требование характерно для «*социальных*» взглядов нашего великого публициста, то обращение к новому императору не менее характерно для его *политического* образа мыслей.

Коснувшись студенческих годов Герцена и его увлечения Сен-Симоном, я заметил, что он впоследствии повторил в своей публицистической деятельности ошибку Сен-Симона, состоявшую в неясном понимании причинной связи между «экономикой» и «политикой». Я тогда же прибавил, что ошибка эта была свойственна не одному Сен-Симону, а всем социалистам-утопистам. Теперь пора дополнить это тем указанием, что она в высшей степени свойственна была, между прочим, Прудону, сильное влияние которого испытал на себе Герцен[2] в первые годы пребывания своего за границей.

Великий русский публицист с похвалой говорит о Прудоне: «Политика, в смысле старого либерализма и конституционной республики, стоит у него на втором плане, как что-то полупрошедшее, уходящее. В политических вопросах он равнодушен, готов делать уступки, потому что не приписывает особой важности формам, которые, по его мнению, не существенны»[3].

Герцен в эпоху расцвета своей публицистической деятельности тоже смотрел на политику, как на что-то полупрошедшее, полууходящее. Этим объясняется его обращение к правительству. Он делал «огромные» уступки именно потому, что политические формы и в его глазах не имели существенного значения.

Только этим и может быть объяснен, например, такой факт, что в той же самой книжке «Полярной Звезды», в которой появилось письмо Герцена к императору Александру II, напечатана статья А. Таландье: «Нет социализма без республики». Герцен, справедливо считавший себя неисправимым социалистом, по всей вероятности, разделял в теории этот взгляд Таландье, но не считал нужным руководиться им *на практике* в то время, когда для России открывалась, по его мнению, возможность сделать первые крупные шаги по пути к социализму. Это могло

бы показаться странным, если бы мы не знали, что он, подобно Прудону, был к политическим вопросам «равнодушен» и готов был делать уступки, «потому что не приписывал особой важности формам, которые, по его мнению, не существенны».

XIII

Еще раз: это ошибка. «Политика» — вовсе не второстепенное дело. Всякая данная политическая власть вырастает на почве данных классовых отношений, сводящихся в последнем счете к отношениям собственности. Природою классовых отношений, существующих в данное время в данной стране, определяется природа существующей в ней политической власти. А природа этой власти в свою очередь определяет собою то, что может быть ею сделано по части общественного преобразования. Нельзя было ожидать, что политическая власть, исторически сложившаяся и окрепшая как выразительница интересов дворянского сословия, возьмется за реформы, несогласимые с существенными интересами того же сословия. А издатели «Колокола» именно этого ждали и требовали от тогдашней русской власти. Тем самым они готовили себе целый ряд жестоких разочарований. Разочарования пришли очень скоро. Но пока что — и это очень интересный факт! — ошибка Герцена послужила ему на пользу в том смысле, что она расширила круг его влияния.

В августе 1857 г. К. Д. Кавелин, еще не знавший, что 1 июня того же года вышел первый номер «Колокола», писал Герцену, советуя ему приступить к изданию боевого органа. «Но, — прибавлял он, — орган должен быть непременно умеренный, который через это получил бы возможность входить во все интересы, служить органом для всех мнений. Политический вопрос мало занимает наше общество, как это ни покажется тебе странным. Но административные, социальные, церковные — очень много. В управлении хаос, нелепость, бессмыслица достигли до Геркулесовых столбов, а хлестать их примерами негде» [1]. Русское общество мало занималось «политическим вопросом» по своей политической неразвитости, а Герцен отводил ему второстепенное значение, потому что смотрел на него с точки зрения Прудона.

Разные причины привели к одинаковым следствиям: «Колокол» поставил на передний план «административные и социальные» вопросы, наиболее интересовавшие русских читателей того времени. Впоследствии оказалось, что неисправимый социалист Герцен не мог решать эти вопросы в том смысле, в каком хотелось решить их большинству его временных поклонников.

И тогда эти временные поклонники отвернулись от «Колокола». Но сначала их увлекла умеренность герценовой программы. А. М. Унковский говорит в своих воспоминаниях [1], что в Твери в течение 2—3 лет у большинства дворян совершенно переменился весь образ мыслей под влиянием «Колокола». Можно подумать, что под влиянием «Колокола» тверские дворяне перестали быть дворянами. В действительности это было, конечно, не так. Мы знаем, что даже знаменитые тверские либералы очень недурно отстаивали свои дворянские интересы *. Но до поры до времени они не замечали, что при всей умеренности своей программы Герцен смотрел на «административные и социальные» вопросы совсем не их глазами. Не замечал этого и Герцен.

Когда Александр II заявил в своей московской речи [2], что лучше освободить крестьян сверху, нежели ждать, пока они начнут освобождать себя снизу, Герцен откликнулся на эти его слова (в № 2 «Колокола», от 1 августа 1857 г.) передовой статьей «Революция в России». «Мы не только накануне переворота, но мы вошли в него, — писал он. — Необходимость и общественное мнение увлекли правительство в новую фазу развития, перемен, прогресса. Общество и правительство натолкнулись на вопросы, которые вдруг получили права гражданства, стали неотлагаемы. Эта возбужденность мысли, это беспокойство ее и стремление вновь разрешить главные задачи государственной жизни, подвергнуть разбору исторические формы, в которых она движется, — составляют необходимую почву всякого коренного переворота» [3].

Герцен предвидел то возражение, что коренные общественные перевороты представляют собою результат взаимной борьбы общественных сил, т. е. такого состояния общества, острых признаков которого не было заметно в тогдашней России. На это он отвечает, что в России издавна все шло не так, как на Западе, не снизу, а сверху: единственный коренной переворот, пережитый ею, был совершен *царем* Петром I. «Мы так привыкли, — продолжает он, — с 1789 г., что все перевороты делаются взрывами, восстаниями, что каждая уступка вырывается силой, что

* Так, тот же А. М. Унковский в своей записке по крестьянскому делу, поданной Александру II в декабре 1857 г., утверждал, «что ценность всякого населенного имения, состоящего на крепостном праве, заключается не в одной земле, но и в людях, за которых помещик должен быть так же вознагражден, как и за землю, тем более что в некоторых местностях земля без людей не имеет никакой ценности». Унковский находил только, что выкуп за крестьянские души должен быть уплачен не одними этими душами, а «всеми сословиями государства». А. М. Унковский был одним из самых либеральных дворян того времени (его записка перепечатана в восторженной, по обыкновению, книге *Гр. Джаншиева*, А. М. Унковский и освобождение крестьян, М. 1894, стр. 58—71).

каждый шаг вперед берется с боя, что невольно ищем, когда речь идет о перевороте: площадь, баррикады, кровь, топор палача. Без сомнения, восстание, открытая борьба, — одно из самых могущественных средств революции, но отнюдь не единственное» [1]. Герцен заявляет от имени редакции «Колокола», что она от души предпочитает «путь мирного человеческого развития пути развития кровавого...» *

На известный рескрипт Назимову от 20 ноября 1857 г. [2] «Колокол» (№ 7) ответил статьей «Освобождение крестьян», в которой говорится:

«Мы хотели следить за всеми подробностями правительственных распоряжений за прошлый год, но подробности исчезают пред великими событиями, которые совершаются в отечестве, и вместо преследования мелких частностей мы начинаем 1858 г. приветствием Александру II за начало освобождения от крепостного состояния. Мы убеждены, что он неравнодушно примет это горячее приветствие людей, которым не нужно его бояться, которые для себя лично ничего от него не ждут и ничего не просят, приветствие свободных людей русских — царю, уничтожающему рабство. Мы счастливы, что можем этим начать новый год: да будет он действительно новой эрой для России».

Статья эта принадлежит не Герцену, а Огареву, но это и здесь все равно, так как, повторяю, Герцен держался совершенно таких же взглядов, что лучше всего видно из знаменитой статьи «Через три года», напечатанной в № 9 «Колокола», от 15 февраля 1858 г. Герцен обращается в ней к Александру II со словами: «*Ты победил, Галилеянин!* И нам легко это сказать потому, что у нас в нашей борьбе не замешано ни самолюбие, ни личность. Мы боролись из-за дела; кто это сделал, тому и честь» [3]. Далее в статье говорится, что с тех пор, как Александр II всенародно показал себя сторонником освобождения крестьян, его имя принадлежит истории и что этого шага его не забудут грядущие поколения. По мнению Герцена, Александр II столько же явился наследником 14 декабря, как и Николая. Статья заканчивается теми же словами, какими и начинается: «*Ты победил, Галилеянин!*»

Не мешает здесь же напомнить следующий эпизод с подписью Огарева. До № 9 «Колокола» он подписывал свои статьи буквами

* Его слова о том, что восстание является одним из самых могущественных средств революции, как бы противоречат тому, что сказано мною выше об его отношении к классовой борьбе. Но, во-первых, «одно из самых могучих» еще не значит «одно из самых лучших». Во-вторых, в революции 1848—1849 гг. Герцена смущало не то обстоятельство, что революция эта была насильственною, а то, что эта насильственная революция была выражением классовой борьбы, приведшей к расхождению между «образованным классом», с одной стороны, и пролетариатом — с другой. В революции 1789 г. он такого расхождения не видел.

Р. Ч.[1], но в № 9 он заявил, что ему больно прятаться от Александра II под псевдонимом и что поэтому впредь его статьи будут подписаны его настоящим и полным именем *. Дальше этого умиление идти не могло.

XIV

Уже в то время такое умиление разделялось, как видно, не всеми. Но неоспоримо, что его разделяли очень и очень многие и что к числу разделявших его принадлежал насмешливый Н. Г. Чернышевский. По поводу тех же шагов нового правительства он писал:

«Блистательные подвиги времен Петра Великого и колоссальная личность самого Петра покоряют наше воображение; неоспоримо громадно и существенное величие совершенного им дела. Мы не знаем, каких внешних событий свидетелями поставит нас будущность. Но уже одно только дело уничтожения крепостного права благословляет времена Александра II славою, высочайшею в мире. Благословение, обещанное миротворцам и кротким, увенчивает Александра II счастием... одному начать и совершить освобождение своих подданных» **.

Если Герцен, обращаясь к Александру II, повторял слова, приписываемые Юлиану Отступнику, то Чернышевский взял эпиграфом своей статьи слова псалмопевца: «Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помаза тя бог твой».

Чернышевский скоро стал отзываться о ходе крестьянской реформы совсем иначе. «Колокол» Герцена уже в конце 1858 г. тоже начал издавать звуки, совсем не соответствующие только что изображенному мною радужному настроению. В № 25 (от 1 октября 1858 г.) в письме к редактору мы читаем: «Напрасно сохранять еще веру в Александра. Как ни тяжело сознаться в своей ошибке, но полно ребячиться, теперь не до того». Редакция снабдила это письмо примечанием, в котором благодарила автора за его письмо. Однако еще в № 60, от 1 января 1860 г., Герцен, признаваясь, что вступает в новое десятилетие не с такой твердой надеждой, с какой он встретил «эпоху возрождения» России, обращается к императору с настоятельным призывом.

* Это было в феврале 1858 г. А в апреле 1859 г. Огарев на правительственное приглашение вернуться в Россию отвечал в письме к императору: «Я возвращусь, когда в России будет властвовать Ваша освобождающая воля, а не произвол сановников своекорыстных, неправосудных и бездарных, застилающих от Вас правду и живую жизнь народа».

** Сочинения Н. Г. Чернышевского, СПБ 1906, т. IV, стр. 54. Статья «О новых условиях сельского быта»[2].

«Государь, — восклицает он, — проснитесь! Новый год пробил нового десятилетия, которое, может, будет носить ваше имя; но ведь нельзя же одной и той же рукой ярко и светло записывать свое имя в истории как освободитель крестьян и подписывать нелепые повеления против свободной речи и против молодости — юношей. Вас обманывают, вы сами обманываетесь — это святки, все наряженные. Велите снять маски и посмотрите хорошенько, кто друзья России и кто любит только свою частную выгоду. Вам это потому вдвое важнее, что *еще* друзья России *могут быть* и вашими. Велите же скорее снять маски...» и т. д. [1]

В номере 95, от 1 апреля следующего года, в статье «Манифест» новое и еще более сочувственное обращение к Александру, которого автор статьи приветствует именем Освободителя: «Освобождение крестьян только *началось* с провозглашения манифеста. Не отдых, не торжество ждет государя, а упорный труд; не отдых, не воля ждет народ, а новый, страшный искус. Скорее, скорее *второй* шаг!» [2]

В августе 1862 г. Герцен, оправдываясь от упрека в том, что он потерял всякую веру в насильственные перевороты, доказывает, что у нас всего можно ожидать от государственной власти.

«Императорская власть у нас — *только власть*, т. е. сила, устройство, *обзаведение;* содержания в ней нет, обязанностей на ней не лежит, она может сделаться татарским ханатом и французским комитетом общественного спасения, — разве Пугачев не был императором Петром III?» * Ввиду таких неограниченных возможностей передовые общественные деятели России обязаны употребить все усилия для того, чтобы направить правительство на надлежащий путь. «Но для того, чтоб власть царская стала властью народной, ей надобно понять, что волна, которая ее подмывает и хочет поднять, — в самом деле волна морская, что ее нельзя ни остановить, ни сослать в Сибирь, что прилив начался и что несколько раньше, несколько позже, а ей придется сделать выбор между кормилом народной державы и илом морского дна. Свидетельствуйте об этом всеми свидетельствами, кричите ей об этом денно и нощно... Пусть она выскажется — и только после ее ответа вы узнаете, чтó говорить народу и к чему его звать» [3].

Только убеждением Герцена в том, что в России перед верховной властью лежат неограниченные практические возможности, объясняются постоянные его обращения к ней даже по таким

* В одном из своих «Писем к путешественнику» («Колокол», № 203) Герцен говорит, что у нас императорская власть есть нечто чисто внешнее. Это вполне соответствует указанной мною неясности его взглядов на политику.

поводам, которые не имели никакого отношения к общественно-политическим вопросам *. В мае 1865 г. («Колокол» № 197) он обратился с открытым письмом к Александру II по случаю смерти цесаревича Николая.

«В жизни людской есть минуты, — говорил он там, — грозно торжественные: в них человек пробуждается от ежедневной суеты, становится во весь рост, стряхает пыль — и обновляется. Верующий — молитвой, неверующий — мыслью. Минуты эти редки и невозвратимы. Горе, кто их пропускает рассеянно и бесследно! Вы в такой минуте, государь, — ловите ее. Остановитесь под всею тяжестью удара с Вашей свежей раной на груди и подумайте, только без сената и синода, без министров и штаба, подумайте о пройденном — о том, где Вы и куда идете» [1]. Однако подобные обращения постепенно становились все реже и реже. Крестьянская реформа совершалась далеко не так, как этого хотелось издателям «Колокола». Уже в июне 1861 г. они заявляют, что такого уродливого хода дела они не ожидали. И тогда же Огарев начинает доказывать, что реформа 19 февраля не освободила крестьян, а создала новое крепостное право. Около того же времени редакция «Колокола» дает новое и гораздо более радикальное выражение своим требованиям. Она

* Кстати, современная общественная наука вовсе не признает только что указанных неограниченных возможностей. Но ошибку Герцена повторил не далее как в начале 80-х годов Н. К. Михайловский. Это видно из статьи *Н. Я. Николадзе* «Освобождение Н. Г. Чернышевского», напечатанной в сентябрьской книжке «Былого» за 1906 г. Когда Н. Я. Николадзе выразил Михайловскому свое удивление по поводу того, что представляемые им люди не выдвинули (в том случае, который описывается в статье) политических требований, т. е. «конституции», тот ответил ему, «что теперь настроение партии менее приподнятое, и она уверилась, что политические формы приведут к упрочению во власти не народолюбцев, а только буржуазии, что составит не прогресс, а регресс» (стр. 255—256). Если так могли рассуждать «русские социалисты» в 80-х годах, то можно ли удивляться тому, что писал Герцен в конце 50-х. Он был далеко не первым социалистом, обращавшимся к верховной власти. Социалисты утопического периода, смотревшие на политику сверху вниз и не стеснявшиеся в своих политических приемах, очень любили подобные обращения. Для примера я уже указывал на Сен-Симона. Не приводя других примеров, укажу на самый главный. Книга *Прудона* «La révolution sociale démontrée par le coup d'état du 2 Décembre» [«Социальная революция, продемонстрированная государственным переворотом 2 декабря»], написанная сейчас же после декабрьского переворота, представляет собою поучительную попытку обращения правительства Наполеона III на путь социальной революции. К чести Герцена надо сказать, что насчет этого правительства у него никогда не было никаких иллюзий. Но все-таки можно думать, что попытка не осталась без влияния на тактику нашего великого публициста. Прудон говорил, что социалистам все равно, кто бы ни сделал социальную революцию: Луи-Наполеон, потомок Карла X, потомок Луи-Филиппа или, наконец, еще кто-нибудь другой (см. 5-е изд. названной книги, стр. 12—13). Герцен согласился с такой постановкой вопроса, хотя и не вполне.

формулирует их в часто повторявшихся потом словах «земля и воля». С этим новым девизом она обращается уже не к правительству, а к тому слою, который стали впоследствии называть у нас революционной интеллигенцией, т. е., точнее, к образованным разночинцам.

Вообще надежда на образованных разночинцев росла у Герцена и Огарева в той самой мере, в какой падала их надежда на правительство и на дворянство. Но прежде, нежели говорить об этом, надо подробнее рассмотреть, каков был взгляд редакции «Колокола» на освобождение крестьян с землею и как изменялся он под влиянием событий.

XV

Читатель помнит, что, говоря в первом своем письме к императору Александру II о необходимости освободить крестьян с землею, Герцен тут же прибавлял: «она и так им принадлежит». Но это не значит, что он требовал утверждения за ними права собственности на землю без вознаграждения помещиков. Напротив, уже в «Полярной Звезде» на 1856 г. Огарев в цитированной мною выше статье «Русские вопросы» говорил о *выкупе* крестьянской земли. «Вознаграждение помещиков посредством банковых или иных операций можно же придумать, — замечал он, — заставить над этим вопросом потрудиться свежих образованных людей» [1]. Таких-то людей и надо было искать, по его тогдашнему мнению, в среднем дворянстве. В № 14 «Колокола» он же поместил статью «Еще об освобождении крестьян», в которой категорически заявлял, что «освободить крестьян с землею так, чтобы интерес помещика не пострадал, можно только посредством выкупа» [2].

Основываясь на трудах Кеппена и Тенгоборского, Огарев делал расчет, согласно которому у нас было:

Всей помещичьей земли	106.228.520	дес.
Из них неудобной	25.190.270	»
Итого удобной	81.038.250	дес.

Число крепостных ревизских душ, заложенных в кредитных учреждениях	5.945.533
Свободных от залога	5.124.528
Итого	11.070.061

У крестьян в пользовании помещичьей земли удобной и под селениями всего	33.000.000	дес.
Затем, у помещиков в своем пользовании удобной земли	48.038.250	»
Неудобной	25.190.270	» [3]

На основании этого расчета Огарев заключал, что «выкупить надо 33.000.000 дес. (sic!) с их населением». За это дело должен был взяться Опекунский Совет. По установившейся практике, этот последний выдавал помещикам под залог их имений по 70 руб. серебром на душу, причем вся земля имения поступала в залог. Согласно проекту Огарева, Опекунский Совет должен был выдавать по 70 руб. серебром за душу, «при том количестве земли, которую крестьяне в сию минуту de facto * владеют, т. е. на которой живут и которую обрабатывают для себя» [1]. Не имея денег, Опекунский Совет выдал бы помещикам векселя на себя, а сам взыскивал бы с крестьян по 70 руб. серебром с души в течение 37 лет, взимая по 5% ссуды и по 1% в год капитала. Таким образом вся выкупная операция была бы закончена в течение 37 лет. Считая по 70 руб. серебром на 11.000.000 душ, Совет должен был выдать помещикам векселями на себя 770.000.000 р. серебром.

Этот проект Огарева, конечно одобренный Герценом, вызвал интересную полемику на страницах «Колокола». В № 18 появилось «Возражение на статью «Колокола»». «Et tu quoque, Brute! ** — писал неизвестный автор [2]. — Как! И «Колокол» требует, чтобы русский мужик выкупил свои человеческие права с клочком пóтом и кровью орошенной им и его предками земли. Et tu quoque, Brute! Но скажите, ради бога, как, почему, за что крестьянин должен нести бремя выкупа, как бы он маловажен ни был?»

Неизвестный автор выдвигает против идеи выкупа то соображение, что у нас не было завоевания, а следовательно, и феодализма. Если М. П. Погодину случилось прочесть этот № «Колокола», то он, надо думать, очень удивился, встретившись с такой своеобразной утилизацией своей философии русской истории [3].

Неизвестный автор совершенно справедливо находил, что при предстоявшем освобождении крестьян надо было всячески стараться облегчать переход их в вольное состояние.

Но подать, взимаемая с них за освобождение, затруднила бы переход их в это состояние, и уже по одному этому ее следовало бы отвергнуть. Но он не ограничился этим соображением. Он указывал на то, что, по проекту Огарева, выкупная сумма должна была уплачиваться в продолжение 37 лет. «В каком же положении, — спрашивал он, — должен оставаться крестьянин во все это время? Останется ли он прикрепленным к земле до тех пор, пока весь выкуп его совершится? Одним словом, будет ли он вольным человеком в продолжение сих 37 лет?»

* [фактически]
** [«И ты, Брут»]

Проекту Огарева автор противопоставлял свой собственный. Он заключался в том, чтобы из всей земли каждого селения, за исключением лесов, отделить третью часть и *безвозмездно* предоставить ее сельской общине. Часть эта ни в каком случае не должна превышать 3-х десятин на тягло. Автор хорошо понимал, что такой надел очень невелик, но утешал себя и читателя тем соображением, что самая ограниченность надела имеет свою относительную выгоду. «Во-первых, она лишает помещика, по возможности, самой меньшей части земли; и, во-вторых, обеспечивая более или менее, по крайней мере, прокормление крестьян, их насущный хлеб..., она указывает им на необходимость искать дальнейших средств существования в найме земли помещичьей». Эта несколько неожиданная аргументация показывает, что, отстаивая интересы крестьян, неизвестный автор возражения помнил и об интересах помещиков.

Отвечая на изложенное здесь возражение, Огарев прежде всего заявлял, что внутренно он совершенно согласен на безвозмездное наделение крестьян землею. Такой проект благороден, и трудно не сочувствовать ему. Беда лишь в том, что он неосуществим.

«Большинство помещиков не согласится не только на безвозмездное наделение землею, но едва согласится на выкуп: оно слишком завязло в любви не к одному землевладению, но и к рабовладению. Значительное меньшинство тотчас согласится на выкуп; но на безвозмездное наделение землею согласятся разве только несколько отдельных личностей» [1].

Впрочем, Огарев не хочет защищать и свой проект, так как хорошо сознает его недостатки. Единственное, что он отстаивает в нем, «это — мысль о выкупе крестьян с землею посредством финансовой меры. Она у нас развивается, и на ее основании растет будущность нашей крестьянской общины» *.

Эти доводы Огарева не убедили неизвестного автора. В №№ 40—41 «Колокола» он напечатал новое возражение Огареву. Тут он соглашался дать помещикам около 300.000.000 рублей серебром в виде вознаграждения за землю, но и это «не без колебания», так как у России было, по его словам, много других потребностей, совершенно не удовлетворенных **. Но редакция «Колокола» твердо держалась идеи выкупа. В приложении к № 44 своего издания она поместила новый проект освобождения помещичьих крестьян.

Он состоит из двух частей. В первой говорится о том, *что* нужно сделать; во второй — о том, *как* это сделать.

* «Колокол» № 38, 15 марта 1859 г. [2]

** Надо заметить, впрочем, что он и прежде соглашался дать 30 или 40 миллионов рубл. сер. на вспомоществование мелкопоместным помещикам.

Первая часть по-своему так замечательна, что должна быть воспроизведена здесь целиком:

«1) Сохранить общинное владение землей и все общинное устройство при освобождении помещичьих крестьян.

2) Освободить помещичьих крестьян с землею целыми общинами, но не отдельными лицами или семействами.

3) Произвести полное освобождение разом, без всякого переходного состояния.

4) Предоставить во владение общины то самое количество земли, которым она пользовалась по сие время.

5) Произвести освобождение одновременно и в один день по всей России.

6) Произвести освобождение полное, т. е. чтобы освобождением прервать всякие обязательные отношения крестьян к помещику и поставить освобожденных крестьян в те же условия, в каких находятся крестьяне государственные.

7) Строго сохранить при освобождении интересы помещиков и крестьян.

8) Чтобы удовлетворить всем вышеозначенным условиям, освобождение может быть произведено только выкупом.

9) Должны быть выкуплены как земля, так и крепостное право».

Параграфы 2—6 этой части проекта, несомненно, заключают в себе такие требования, которые были шире огромного большинства предложений, делавшихся представителями помещичьего сословия и правительственной власти. Так, осуществление п. 4 предупредило бы появление знаменитых впоследствии «отрезков»; при осуществлении п. 6 освобождаемых крестьян миновала бы горькая чаша «временнообязанного состояния» и т. д. Но следующие пункты этого проекта показывают, что и его составители умели заботиться о помещичьих интересах. После того, как п. 7 напомнил о необходимости строго охранять при освобождении интересы как крестьян, так и помещиков, следующий параграф заявляет, что интересы обеих сторон могут быть соблюдены только при условии выкупа. А § 9 прибавляет, что выкупу подлежит не только земля, но и «крепостное право», т. е. право на *крещеную собственность*, как сказал бы Герцен. Это последнее, весьма достойное замечания требование поясняется в проекте следующим соображением:

«В противном случае интересы помещиков пострадали бы сильно. Необходимость выкупа крепостного права бросается в глаза в имениях малоземельных, промышленных и имеющих много дворовых людей».

Вторая часть проекта начинается повторением того требования, согласно которому в распоряжение освобождаемых крестьян должна поступить вся земля, находящаяся в их фак-

тическом пользовании (против «отрезков»). Все последующие параграфы посвящены указаниям на то, как именно должна осуществиться идея выкупа. Авторы проекта предлагают правительству учредить оценочные комитеты в уездах, губерниях и столице (центральный оценочный комитет). Все эти комитеты должны были «получать направление» от существовавшего тогда верховного комитета. Интересен желательный авторам состав губернских и уездных комитетов: они должны составляться наполовину из лиц, назначаемых правительством, и наполовину из выборных от дворянства. О крестьянах нет ни слова. Самое название этих комитетов («оценочные») показывает, что задачей их была оценка земель, отводимых под надел крестьянам. По разрешении этой задачи верховный комитет должен был выдать помещикам облигации на сумму, определенную оценкой, за вычетом из нее долга, лежавшего на заложенных имениях. Для погашения облигаций освобождаемые крестьяне должны были платить особый ежегодный налог. В более подробное рассмотрение этой части проекта входить теперь совершенно излишне. Замечу только — и попрошу читателя запомнить — еще тот параграф (10-й), который гласит, что тягость, налагаемая на освобождаемых крестьян ежегодным сбором для погашения облигаций, «может быть немедленно же умерена увеличением налога на крестьян государственных, на гильдейские повинности [1] и на земли, остающиеся в собственность помещиков».

XVI

Печатая этот проект, редакция «Колокола» снабдила его следующим примечанием:

«Мы полагаем возможным и крайне необходимым представить в сокращенном виде все, что литература сказала об этом вопросе верного, неоспоримого и практического».

Однако не все в нем казалось ей верным и неоспоримым. В следующем же № «Колокола» Огарев, высказываясь в общем *за проект,* счел нужным сделать по его поводу весьма существенную оговорку.

Он утверждал, что комитеты, составленные наполовину из помещиков и наполовину из чиновников, непременно будут тянуть помещичью руку. Правда, сам Огарев думал, как мы знаем, что «народ плохо может высказать понятие, находящееся у него скорее в степени инстинкта, чутья, а не ясной мысли» (см. выше). Но все-таки ему казалась совершенно неверной та мысль, что предмет, подлежавший ведению оценочных комитетов, был выше уровня крестьянского понимания. «Крестьяне

легко поймут в чем дело», — возражал он совершенно справедливо. Для исправления относившегося сюда места проекта Огарев требовал:

1) чтобы заседания оценочных комитетов были гласными;

2) чтобы входившие в комитеты члены от правительства имели университетское образование;

3) чтобы «возражения со стороны общин имели законную силу, были бы обнародованы в печати и чтобы члены комитетов за невнимание к возражениям и мнениям общин подвергались строгой ответственности».

Для окончательного же разбирательства спорных вопросов, после утверждения освободительного акта, он предлагал учредить особые третейские суды, куда представители назначались бы поровну от обеих сторон. При этом он требовал уголовной ответственности лиц, уличенных в застращивании «судей не из дворянского сословия».

Таким образом, редакция «Колокола» твердо держалась идеи государственного выкупа. Ее очень удивляло робкое отношение правительства к этой идее. «Мы не понимаем, — говорила она,— страха правительства перед обязательным выкупом. Кого оно боится?» *

Некоторые корреспонденты «Колокола» доказывали, что обязательный выкуп земли в пользу освобождаемых крестьян будет выгоден только для помещиков. Редакция, в лице Огарева, отвечала, что если это будет так, то «тем лучше: мужик независтлив, он спокойно предоставит эти выгоды помещику, лишь бы отделаться от него» **.

Тот же автор, который восставал против обязательного выкупа, высказывался и против общинного владения землей. Возражая ему в указанном № «Колокола», Огарев говорил, между прочим, что видит в общине не идеал, а факт, и «этот факт способен к своеобразному развитию, которое, если ему не помешают, может быть гораздо лучше (чем западный «факт». — *Г. П.*), потому что имеет более данных для мирного общественного устройства, признавая право каждого на пользование землею» и т. д. [2]

Это замечание, брошенное в данном случае совершенно мимоходом, дает новый и очень ценный материал для выяснения тогдашних политических взглядов Огарева, а стало быть, и Герцена, который нас здесь особенно интересует. Я уже говорил, что Герцен смотрел на классовую борьбу, как на самое худшее средство разрешения социального вопроса, и что, кроме того, он вполне искренно предпочитал мирный путь развития

* «Колокол», № 51. В конце передовой статьи.

** См. №№ 57—58 «Колокола» [1].

революционному. Этот его взгляд, вполне разделявшийся, как видно, и Огаревым, необходимо иметь в виду всякий раз, когда заходит речь об отношении Герцена к тогдашнему правительству, с одной стороны, и к тогдашним революционерам — с другой. Мы знаем, что постоянные обращения Герцена к императору одобрялись не всеми сторонниками освободительного движения. С течением времени они стали вызывать в передовых кругах все более и более сильный ропот. В № 64 «Колокола» (1 марта 1860 г.) напечатано, за подписью «Русский Человек» [1], письмо из провинции, резко порицавшее Герцена, который был, по мнению автора письма, «смущен голосом либералов-бар» и заговорил благосклонно о таких явлениях, о которых можно говорить только с ненавистью. Автор напоминал Герцену по поводу некоторых его преувеличенных надежд, «что то, что дается, то легко и отнимается». В заключение он категорически заявлял: «Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет!»

Редакция «Колокола» не могла согласиться с этим. Герцен отвечал «Русскому Человеку», что к топору она звать не будет до тех пор, пока у нее останется хоть какая-нибудь надежда на мирную развязку.

«Чем глубже, чем дальше мы всматриваемся в западный мир, чем подробнее вникаем в явления, нас окружающие... — пояснил он свою мысль, — тем больше растет у нас *отвращение от кровавых переворотов*». По его мнению, такие перевороты бывают иногда необходимы как роковое последствие роковых ошибок. Иногда они являются также делом мести или племенной ненависти. Но у нас такие стихии отсутствуют, и «в этом отношении наше положение беспримерно».

Сопоставив подобные заявления Герцена с несомненной умеренностью его аграрной программы, приходится признать, что нужен был поистине «уродливый», с его точки зрения, «ход дела» для ослабления его надежды на мирное решение величайшего из всех тогдашних русских общественных вопросов. И нельзя не признать также, что наши охранители делали все от них возможное для ее ослабления. Например, когда умер Ростовцев, стоявший во главе дела крестьянского освобождения, на его место был назначен известный крепостник Панин. Как мог ответить Герцен на его назначение? Он ответил следующей полной негодования заметкой в «Колоколе» от 15 марта 1860 г. *:

«Невероятная новость о назначении *Панина* на место *Ростовцева* подтвердилась. Глава самой дикой, самой тупой реакции поставлен главою освобождения крестьян. С глубокой горестью

* Она окружена траурной рамкой подобно некрологам: эта рамка как бы возвещала смерть некоторых упований Герцена.

узнали мы об этом. Но горевать недостаточно, наше время слишком бойко. Это вызов, это дерзость, это обдуманное оскорбление общественного мнения и уступка плантаторской партии. Тон царствования изменился, с ним должны измениться и все отношения. Члены Редакционных комиссий, если им дорого их дело, если им дорога память, которую они оставят в истории, если они хотят, чтобы им отпустили их бюрократические страстишки и детскую привязанность к розгам, должны тотчас подать в отставку. Меньшинство дворянства должно сомкнуться и взять в свои руки дело освобождения крестьян. Ошибаться нечего, длинная фигура Панина может служить шестом со шляпой, чтобы пугать, но она слишком *узка*, чтобы застить собою черты Николая второго» [1].

Читая эти резкие строки, вполне позволительно было подумать, что и у нас не совсем отсутствуют такие «стихии», которые способны значительно обострить борьбу противоположных общественных стремлений. К такому же выводу можно было прийти, прочитав в № 76 «Колокола» статью: «Узаконение государственного разбоя» *, направленную против появившегося тогда в сферах проекта выкупа государственными крестьянами своих земель. И к нему, действительно, приходили читатели «Колокола». Но издатели его не хотели расстаться со своими прежними надеждами и горячо приветствовали каждый такой шаг правительства, который, по их мнению, хоть отчасти соответствовал их надеждам. С этой стороны чрезвычайно интересна и поучительна передовая статья «Манифест» в № 95 «Колокола» (от 1 апреля 1861 г.).

«*Первый шаг сделан!* — восклицает в ней Герцен, — говорят, что он труднее прочих: будем ждать *второго* — с упованием, хотели бы ждать его с полной уверенностью; но все делается так шатко, так половинно и тяжело!..

...Александр II сделал много, очень много; его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников. Он боролся во имя человеческих прав, во имя сострадания против хищной толпы закоснелых негодяев — и сломил их! Этого ему ни народ русский, ни всемирная история не забудут. Из дали нашей ссылки мы приветствуем его именем, редко встречавшимся с самодер-

* Мы видели, что, согласно проекту, напечатанному в № 44 «Колокола» (часть II, § 10), «тягость», налагаемая на освобождаемых крестьян для уплаты выкупа за землю, могла быть «умерена» увеличением налога на крестьян государственных. Редакция «Колокола» ничего не возражала против этого. Следовательно, можно предположить, что мысль о выкупе земель государственных крестьян возмущала ее преимущественно тем, что ее осуществление устранило бы возможность переложить на государственных крестьян часть «тягот», возлагавшихся на крестьян помещичьих.

жавием, не возбуждая горькой улыбки, — мы приветствуем его именем *освободителя!*

«Но горе, если он остановится, если усталая рука его опустится» [1].

В следующем № «Колокола» Огарев в свою очередь писал: «Сегодня мы из глубины души говорим Александру II: благословен грядый во имя свободы! А потом — потом посмотрим, что будет».

XVII

Это «что будет» очень скоро выяснилось для наших лондонских публицистов. В № 101 «Колокола» появилась 15 июня 1861 г. — т. е. ровно через 2 месяца после статьи Огарева, цитированной мною в конце предыдущей главы, — статья того же автора «Разбор нового крепостного права, обнародованного 19 февраля 1861 г. в Положениях о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» [2]. В ней доказывалось, что: 1) старое крепостное право заменено новым; 2) вообще крепостное право не отменено; 3) народ... обманут.

«Освобождение крестьян, — писал Огарев, — является как историческая необходимость. Но правительство ниже своей задачи, оно не стало во главе; тем не менее нить пойдет развиваться помимо его и вопреки ему. Оно выпустило из рук живую струю, и ему не на кого пенять, как на самого себя».

Вполне понятно после этого, что в следующем же номере «Колокола» (1 июля 1861 г.) на вопрос, что нужно народу [3], дается ответ, звучащий революционным призывом: очень просто — народу нужна земля и воля. При этом доказывается, что земля принадлежит именно народу, так как он «спокон веков *на самом деле* владел землей, *на самом деле* лил на землю *пот и кровь,* а приказные *на бумаге чернилами* отписывали эту землю помещикам и в... казну» [4].

Но и тут еще не отвергается идея выкупа. Автор статьи говорит, что хотя помещики 300 лет владели неправо землею, «однако народ их обижать не хочет» [5]. Дальше мы встречаем новый проект выкупа крестьянской земли, которым предполагается уплата помещикам в продолжение 37 лет целого миллиарда руб. серебром *. Автор думает, что можно помириться с идеей такого выкупа, «лишь бы народу осталась вся земля, которую он теперь на себя пашет, на которой живет» и т. д.

Эта статья является чем-то вроде новой попытки «Колокола» убедить дворянство в необходимости правильного, по мнению Герцена и Огарева, решения крестьянского вопроса. Подобной

* В прежнем проекте говорилось лишь о 770 миллионах.

же попыткой надо признать и статью в № 115, озаглавленную: «Что нужно помещикам?» Если на вопрос, что нужно крестьянам, редакция отвечала — «земля и воля», то, спрашивая себя, что нужно их бывшим владельцам, она говорила, что им нужны здравый смысл и деньги.

«Здравый смысл для того, чтобы не спорить и не расходиться с народом, иначе народ их побьет, и правительство их прижмет. Деньги — для того, чтобы при здравом смысле жить и работать наймом. Теперь еще есть время одуматься, позже будет поздно».

Статья, из которой я беру эти строки, не подписана; но у меня нет решительно никакого основания предполагать, что Герцен в чем-нибудь не одобрял ее содержания. Поэтому я ее принимаю за выражение, *между прочим,* и его взгляда на тогдашнее положение дел. А приняв ее за такое выражение, я могу сказать, что в декабре 1861 г. публицистическая мысль нашего великого писателя возвращалась к той самой точке, от которой она отправилась при самом начале его заграничной пропаганды.

В первой брошюре, отпечатанной на его вольном станке, Герцен обращался к дворянству, восклицая: «Юрьев день! Юрьев день!» Это было еще в царствование Николая I, когда Герцен не питал никаких надежд на добрую волю правительства. Потом, когда началось царствование Александра II, Герцен стал обращаться уже не к дворянству, а к правительству, которому он доказывал, что ему нечего бояться дворянства. Далее наступило такое время, когда он утратил или почти утратил веру в правительство. Тогда он опять обратился к дворянству, убеждая его в том, что ему ничего не нужно, кроме здравого смысла и денег. Насчет денег благородному сословию, разумеется, легко было с ним согласиться. На этот счет оно легко соглашается всегда и со всеми. Но по части требований здравого смысла сговориться было несравненно труднее. И по мере того, как Герцен убеждался, что здравый смысл дворянства не похож на здравый смысл редакции «Колокола», он все больше и больше отворачивался от «*барина*» и все чаще и чаще обращался к *разночинцу*.

В брошюре «Юрьев день! Юрьев день!» Герцен указывал дворянам на политическую свободу, как на цену, которой история заплатит им за отказ от крепостного права («мы — рабы, потому что мы господа... С Юрьева дня начнется наше освобождение»). Обращаясь снова к дворянству в начале 60-х годов, Герцен опять выдвигает вопрос о политической свободе. Но — это крайне важно — он рассматривает его уже не с дворянской, а с общенародной («всесословной») точки зрения. Передовая статья № 102, которая объявляет, что народу нужна земля и воля и что земля может быть приобретена им посредством уплаты дворянству миллиарда рублей, ставит еще и такое требование:

«Надо, чтобы подати и повинности определял бы и раскладывал промеж себя сам народ через своих выборных... Доверенные от народа не дадут народа в обиду, не позволят брать с народа лишних денег» [1].

Однако из всех подобных заявлений «Колокола» хорошо видно, что для его издателей «политика» по-прежнему остается делом «второстепенным». Герцен и Огарев не торопились разбирать политические вопросы. Выставив в июле 1861 г. только что отмеченное мною требование насчет «определения податей и повинностей» народными выборными, «Колокол» только через два года рассматривает вопрос: способна ли Россия к представительному правлению и какие элементы в ней представимы? * Эти вопросы разрешаются в № 166 (20 июня 1863 г.).

Там говорится, что Россия способна к представительному правлению: «*Самодержавие дольше держаться не может*, а другого выхода нет, как представительное правление. Другого выхода в России, как и в целом человечестве, не придумаешь» [2]. Но сословные интересы, по мнению автора (того же Огарева), у нас непредставимы: «В России представимы волостные, городские, племенные и местные или областные интересы *бессословно*» [3]. Исходя из этого убеждения, автор в № 164 счел нужным противопоставить конституцию земскому собору.

«Конституция, — разъясняет он там, — может быть дана сословная. Она может быть дана как готовый устав, которому приказано повиноваться».

Наоборот, «земский собор, как съезд выборных от всего земства, необходимо основан на бессословности выборов и собирается не для исполнения данного, приказного устава, а для устройства земли русской по потребностям земства, для узаконения прав владения, выборной администрации и суда, областного распределения и *учреждения формы правительства*».

Таким образом, земский собор в представлении издателей «Колокола» являлся учредительным собранием, созываемым не только для выработки русской конституции, но, между прочим, и «для узаконения прав владения». Можно ли было ждать, что здравый смысл и нужда в деньгах заставят наше дворянство поддерживать такие требования? Едва ли. Здравый смысл дворянского сословия непременно должен был придавать неопределенным словам «*узаконение прав владения*» более точный смысл оспаривания дворянских прав на землю крестьянскими депутатами предлагаемого земского собора. А подобное оспаривание никак не могло прийтись по вкусу даже либеральному

* См. статью Огарева «Конституция и земский собор» («Расчистка некоторых вопросов») в № 164, 1 июня 1863 г.

А. М. Унковскому. Вот почему популярность «Колокола» стала быстро падать в дворянской (и на дворянский лад настроенной) среде. В одном из своих писем к Герцену И. С. Тургенев объяснял упадок популярности «Колокола» тем, что в нем стал хозяйничать Огарев [1]. Но чем же был плох этот последний? Нечего говорить, по своему литературному таланту он был много и много ниже Герцена. Но его статьи были совсем не так плохи в литературном отношении, чтобы отпугивать читателей своей тяжеловесностью. Стало быть, надо искать другого объяснения. И за ним не нужно далеко ходить.

Яркий лирический талант Герцена делал из него несравненного обличителя. Поэтому всякий раз, когда представлялся случай для обличения бюрократии — читатель поверит, надеюсь, что и тогда таких случаев представлялось очень много, — или той части дворянства, которая упорно защищала свои старые привилегии, за перо приходилось браться именно Герцену. Если вам угодно заменить здесь — в силу почтенной литературной традиции — слово «перо» словом «бич», то я скажу, что по свойствам своего таланта Герцену приходилось в «Колоколе» заниматься преимущественно бичеванием. Он и сам хорошо сознавал *бичующее* свойство своего таланта. Недаром он, начиная свою пропаганду за границей, радостно вызывал на бой все отсталые элементы русского общества. Он заранее хорошо знал, что им плохо придется от его бича. Но, занятый делом бичевания, он имел время только для того, чтобы формулировать в общих чертах основные положения своей программы. Развивать их в подробностях приходилось другим и прежде всего, разумеется, его ближайшему единомышленнику Огареву. Мне случалось иногда слышать то мнение, что Огарев глубже Герцена смотрел на общественно-политические вопросы своего времени. Это не так. Герцен был во всех отношениях даровитее Огарева. Когда он обращал свое внимание на какой-нибудь теоретический или практический вопрос, он освещал его не только ярче, но и гораздо глубже. В социально-политической теории, по наследству перешедшей от издателей «Колокола» к народникам, все более или менее глубокое и новое принадлежит не Огареву, а Герцену. Но отдельные положения этой теории чаще развивал Огарев, нежели Герцен, который, как сказано, был занят обличением и бичеванием. Это вызвало двойной оптический обман. Во-первых, некоторые стали считать Огарева писателем более глубоким, нежели Герцен; во-вторых, те, которым неприятно было относить на счет Герцена несимпатичные им общественные взгляды редакции «Колокола», стали целиком приписывать их Огареву, занимавшемуся их подробным изложением. Так поступил И. С. Тургенев, чем и объясняется приведенный мною отзыв его об Огареве, как о причине упадка

популярности «Колокола». Французы недаром говорят: ce sont les enfants des autres qui gâtent les nôtres *.

На самом деле между Герценом и Огаревым было в то время разделение труда, а не различие во взглядах. Ввиду этого я и позволил, да и дальше часто буду позволять себе делать ссылки на Огарева в работе, посвященной собственно Герцену. Такие ссылки необходимы для объяснения взглядов этого последнего.

XVIII

В № 134 «Колокола» (22 мая 1864 г.), в статье «Куда и откуда», мы читаем: «Уничтожьте становых, исправников, окружных, суды казенные, но оставьте дворянству огромную долю земельной собственности — и у вас заведется управление помещичье, суды помещичьи, хотя бы крестьянство и владело долей земли и было бы освобождено от барщины» [1].

Такая постановка вопроса, сводившая коренную задачу будущего земского собора к уменьшению размеров помещичьего землевладения, могла встретить сочувствие лишь со стороны тех дворян, которые совершенно покидали свою сословную — в данном случае точнее было бы сказать: классовую, т. е. землевладельческую, — точку зрения и переходили на точку зрения крестьянства. Редакция «Колокола» чувствовала это, теперь и она уже безусловно одобряла радикальное решение аграрного вопроса. В № 131 была напечатана чрезвычайно интересная статья «Голос за народ (Письма помещика). Письмо первое». Автор этой статьи, несомненно, принадлежал к числу тех помещиков, которые окончательно переходили в лагерь передовых разночинцев. Он стоял за передачу народу всей той земли, которой он владел, и за *обработку земледельческими артелями* земли, остававшейся за помещиками. Статья оканчивалась словами: «Лично я употреблю весь труд мой на то, чтобы доказать фактом, какая это сила — *земледельческая артель*. Мое последнее слово: за народ и в народ».

Редакция «Колокола», в лице Огарева, чрезвычайно сочувственно отнеслась к этой статье помещика-народника и со своей стороны дала понять, что теперь она отказывается от уступок, делавшихся ею когда-то дворянам в интересах мирного хода дела. Огарев рассуждал теперь так:

«Если уж помещикам из общей земской подати назначается вознаграждение за то, что земля от них отходит к крестьянам, если в оброчных имениях, где помещичьей запашки и без того

---

* [чужие дети портят наших.]

не было, вся земля отходит к крестьянам, — то не следует помещикам и в барщинных имениях оставлять особой земли. Они получают вознаграждение — чего же больше? Хотят иметь пай в мирской земле, по тягловому расчету, наравне с крестьянами, пускай остаются в общине такими же крестьянами, как и все. Земля чтоб вся осталась за миром и помещик таким же мирским пайщиком, как и другие. Только тогда бывшие помещичьи крестьяне сравняются землями с бывшими казенными, и будет единое земство и единая земская земля».

Без всякого преувеличения можно утверждать, что здесь Огарев высказывает ту идею «*черного передела*», которая потом нашла свое выражение в революционной литературе начала 80-х годов и которая, в известном смысле, действительно была народной идеей. Но само собою разумеется, что эта народная, т. е., точнее, крестьянская, идея не смогла ужиться со здравым смыслом более или менее крупных землевладельцев, как бы либерально ни была настроена некоторая их часть. И. С. Тургенев отнюдь не был реакционером. А между тем новая программа «Колокола» приводила его в самое искреннее негодование.

«Главное наше несогласие с О. и Г..., — пояснял он в одном из своих писем, — состоит именно в том, что они, презирая и чуть не топча в грязь образованный класс в России, предполагают революционные или реформаторские начала *в народе;* на деле это — совсем наоборот. Революция в истинном и живом значении этого слова — я бы мог прибавить: в самом широком значении этого слова — существует *только* в меньшинстве образованного класса, — и этого достаточно для ее торжества, если мы только самих себя истреблять не будем» *.

Тут заблуждения перемешаны с истиной на чрезвычайно поучительный лад. Нам очень хорошо известно теперь, что Герцен и Огарев отнюдь не склонны были презирать образованное дворянство, а тем менее топтать его в грязь. Напомню речь, произнесенную Герценом в международном собрании, состоявшемся 27 февраля 1854 г. [1] в память февральской революции. В этой речи он называет молодое дворянство одним из двух «зародышей» будущего русского движения. Напомню также, как Огарев советовал правительству призвать к себе на помощь в только что начинавшемся тогда деле крестьянского освобождения «тот отдел дворянства средней руки, который, с одной стороны, образовался в высших учебных заведениях и привык мыслить, а с другой стороны, жил в деревнях и знал народ и его потреб-

* «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену» (и некоторым другим лицам. — *Г. П.*). Загр. изд., стр. 153.

ности». И. С. Тургенев очень ошибался, приписывая Герцену и Огареву презрение к образованному классу.

Но в то же время он был, со своей точки зрения, совершенно прав. «Образованный класс» не мог не открыть презрительного к нему отношения в новой программе Герцена и Огарева. В чем же тут дело? Вот в чем.

Читатель помнит, может быть, ту французскую комедию, в которой отец, прочитав приготовленный для его дочери и написанный под ее диктовку проект брачного контракта, восклицает: «но тут говорится только о моей смерти!» (mais dans tout cela il ne s'agit que de ma mort!) Совершенно то же мог воскликнуть «образованный класс», ознакомившись с новой программой «Колокола»: в ней в самом деле шла речь только об его смерти. Ну, а кто желает смерти данному классу, тот, конечно, не питает к нему, *как таковому,* ни малейшего уважения. И это очень хорошо схватил И. С. Тургенев. Принять новую программу Герцена и Огарева могли только такие представители образованного класса, которые готовы были отказаться от всех своих классовых привилегий. А И. С. Тургенев принадлежал к той несравненно более многочисленной и влиятельной его части, которая вовсе не расположена была отказываться от них. Люди, подобные ему, очень сочувствовали Герцену и Огареву, пока те ограничивались нападками на *сословные* привилегии дворянства, к числу которых принадлежало тогда и *крепостное право*. Но они пришли в замешательство, как только увидели, что Герцен и Огарев начинают нападать на *классовую* привилегию дворянства, т. е. на их право поземельной собственности. Тут расхождение было неизбежно, и происходило оно совсем не оттого, что Огарев стал будто бы распоряжаться в «Колоколе», а оттого, что он совершенно так же, как и Герцен, в самом деле был *неисправимым* социалистом (понимая слово «социализм» в утопическом его смысле), тогда как между людьми, рукоплескавшими «Колоколу» в первые годы его существования, преобладали либералы.

К этому надо прибавить сочувствие Герцена и Огарева очень усиливавшемуся тогда польскому движению [1]. Либералы и в этом вопросе не могли не разойтись с «неисправимыми социалистами». Падение популярности «Колокола» не могло не огорчать Герцена. Однако для него самого не ясны были вызывавшие его причины.

В № 135 «Колокола» (1 июня 1862 г.) он поместил заметку: «Москва нам не сочувствует» с ироническим эпиграфом «Прости, Москва, приют родимый!» [2] В ней он действительно прощался с Москвой; но его прощание с ней показывает, как силен был когда-то утопический элемент в его представлении о дворянском «зародыше» русского социализма.

Заметка начинается выпиской из письма, полученного редакцией «Колокола» от своего московского корреспондента. «Москва *вам не сочувствует,* напротив, — писал корреспондент, — мы все здесь, к какой бы партии ни принадлежали, люди *исторические,* и радикализма мы переварить не можем. Не думайте, чтоб я говорил про один какой-либо кружок. Нет, я говорю о всех, исключая, разумеется, небольшой части молодежи. У нас уважают искренность ваших убеждений, пользу от большей части сообщаемых вами известий и о вас говорят не иначе, как с любовью, но на этом и останавливается сочувствие».

Герцен отвечает на это сообщение целым рядом едких сарказмов по адресу Москвы. Но едкие сарказмы только прикрывают собою его разочарование, которое сейчас же и вырывается наружу в горькой тираде:

«Как же она изменилась с тридцатых, сороковых годов... с тех времен, когда Белинский начинал свое литературное поприще, Грановский открывал свой курс!..

Все, что впоследствии развилось и вышло наружу, все, около чего теперь группируются мнения и лица, — все зародилось в эту темную московскую ночь, за свечкой бедного студента, за товарищескою беседой на четвертом этаже, за дружеским спором юношей да отроков. Там из неопределенной мглы стремлений, из горести и упования отделились мало-помалу, как два волчьих глаза, две световые точки, два фонаря локомотива, растущие на всем лету, бросая длинные лучи света: один — на пройденный путь, другой — на путь предстоящий. В Москве была умственная инициатива того времени, в ней подняты все жизненные вопросы, и в ней на разрешение их тратилось сердце и ум, весь досуг, все существование. В Москве развились Белинский и Хомяков. В Москве кафедра Грановского выросла в трибуну общественного протеста».

К началу 60-х годов Москва, без сомнения, очень изменилась сравнительно с тем, чем была, когда Герцен учился в ее университете или когда он по возвращении из ссылки сражался с Хомяковым на вечерах у Елагиной [1]. Однако в жизни Москвы никогда не было такого периода, в течение которого ее так называемое общество смотрело бы на вопросы русской жизни глазами университетских кружков. И если в начале 60-х годов общество это разошлось с наиболее передовыми писателями того времени в своей оценке крестьянской реформы и польского движения, то это было как нельзя более естественно. Объяснять такое расхождение тем, что настроение общества теперь изменилось, значило иметь неверное представление о том, как оно было настроено в продолжение 30-х или 40-х годов. В только что приведенных мною строках Герцена видно именно такое невер-

ное представление. Из того, что сказано в этих строках, выходит, как будто дворянская Москва доброго старого времени пренебрегала своими существенными экономическими интересами и готова была идти, пожалуй, даже за Белинским; а к началу 60-х годов до такой степени изменилась, что вспомнила об этих интересах, вследствие чего и отказалась поддерживать новые аграрные требования «Колокола». На самом деле «Москва» — да и, конечно, не одна «Москва» — не хотела поддерживать эти требования по той вполне достаточной причине, что воплощение их в жизнь свело бы на нет все крупное землевладение.

Герцен и Огарев надеялись, что образованное дворянское меньшинство возьмет на себя почин реформ, необходимых для развития крестьянской общины в социалистическом направлении. Они думали, что благодаря образованию оно поднимется выше своих классовых интересов. На деле оказалось, что подняться выше этих интересов способны были только отдельные личности. Остальная масса дворянства или упорно поддерживала свои *сословные* привилегии, или же, в лучшем случае, в лице более передовой своей части отказываясь от этих привилегий, никак не хотела расстаться с экономическими преимуществами своего *классового* положения, т. е. пожертвовать своими землевладельческими правами. Этого, конечно, и надо было ожидать. Скажу больше. Перейдя от теории к практике, т. е. от выработки своей схемы будущего социального развития России к проповеди крестьянского освобождения с землею, Герцен и Огарев сами немедленно же почувствовали, что, обращаясь к дворянству, надо щадить, по крайней мере, его землевладельческие интересы. Именно потому они и стояли за *выкуп* — и, как мы видели, далеко не безвыгодный для дворянства выкуп — земель, находившихся во владении крестьян. Но в то же время у них, так сказать, на границе сознания продолжала жить вера в образованное дворянское меньшинство. И чем яснее становилась полная неспособность дворянства принести свои интересы в жертву освободительному движению, чем больше издатели «Колокола» отворачивались от него, тем более они склонны были упрекать его за то, что его поведение не соответствует тем надеждам, которые они возложили на него, противополагая Россию Западу и мечтая о будущем расцвете русского социализма. Это кажется странным. Но в истории утопического социализма мы нередко наталкиваемся на подобные странности. Утопические социалисты вообще ждали и требовали от имущих классов гораздо больше, нежели они могли дать, и тем самым готовили себе много разочарований. Происходило это, конечно, не от *презрения* к имущим классам, а от излишней их *идеализации*.

XIX

В мае 1862 г. Огарев писал: «Надо той доле дворянства, которая заодно с народом, крепко соединяться между собою и с крестьянами» *.

Тут по-прежнему автор обращается к дворянству. Но он делает это, как будто уступая старой, укоренившейся у него привычке. Объявив, что если дворяне хотят иметь свой пай в мирской земле, то они должны сравняться с другими крестьянами **, Огарев не мог, разумеется, думать, что между дворянами найдется много сторонников такой аграрной программы. Впрочем, редакция «Колокола» уже ясно видела тогда, что читающая публика в своем огромном большинстве не за нее. В номере от 1 января 1864 г. Герцен на вопрос, много ли у него сторонников в России, отвечал:

«*Нет, не много,* по крайней мере, сколько мы знаем, особенно с тех пор, как слабые, шаткие, мелкие, робкие ушли, — одни от испуга, другие по глупости; оставшиеся тем меньше заметны, что они должны молчать под тройным надзором — явной, тайной и литературной полиции» [1].

Однако он не смущался малочисленностью своих единомышленников — он верил в силу идеи. Он писал:

«Много веры, много преданности, много *истины* надобно, а число голов придет. Это не рекрутство и не подушный сбор. В пещерах слабые числом христиане росли в силу, в подземных ходах сплачивались они в те несокрушимые общины *святых безумцев,* с которыми не могли совладать ни дикое варварство одного мира, ни маститая цивилизация другого» [2].

Другими словами это можно было выразить так: «хотя в настоящее время единомышленников у нас очень мало, но впоследствии их будет очень много». Ввиду этого естественно возникает вопрос: из какой же общественной среды должны были, по мнению редакции «Колокола», выйти ее многочисленные будущие единомышленники?

Надежда на «молодое дворянство» оправдалась лишь в самой ничтожной степени. Крестьянству схема Герцена и Огарева продолжала отводить пассивную роль предмета просвещенного воздействия со стороны образованного меньшинства. Оставалось обратиться к *разночинцам.*

В октябре 1864 г. Огарев в письме «К одному из многих» довольно подробно говорит о разночинцах.

«Они представляют или то меньшинство дворянства, которое отказалось от своего сословия, или то разночинство, которое

---

* «Колокол», № 134.

** Это место его статьи мною приведено выше.

вовсе не пошло в чиновничество или находится в нем с отвращением. Они не могут иначе выдвинуться вперед, как не по теории, а по жизни соединяясь в свои артели и опираясь не на города, а на народ, который им представляет (? — *Г. П.*) основание своего элемента земства, всюду живучего и неискоренимого»[1].

Мы видим здесь, что редакция «Колокола», в самом деле, обращалась теперь лишь к той ничтожной части дворянства, которая способна была покинуть точку зрения классового интереса. Само собою разумеется, что *такой* части дворянства охотно отводит место в своих рядах и нынешний сознательный пролетариат. Но, если теоретическим представителям нынешнего сознательного пролетариата приходится подчас перечислять те общественные классы, сословия или слои, отдельные члены которых могли перейти на сторону рабочих, то в своем перечне они отводят дворянству едва ли не самое последнее место. А когда Огарев заговорил о составных элементах слоя разночинцев, он прежде всего указал на меньшинство дворянства. Это в значительной степени объясняется тем, что в тогдашней России было все-таки больше дворян, покидавших свою классовую точку зрения, нежели можно встретить в нынешних капиталистических странах. А кроме того, тут опять надо принять во внимание старую привычку, коренившуюся в старых, дорогих воспоминаниях.

Говоря о студенческих годах Герцена, я уже отметил, что в тогдашних передовых кружках участвовала по преимуществу *дворянская* молодежь. И я привел его собственное свидетельство, согласно которому семинаристы были отсталыми элементами студенчества. Правда, то время воспитало такого разночинца, как В. Г. Белинский. Но В. Г. Белинский был лишь многознаменательным исключением из общего правила. Его появление указывало на то, что будет *после,* а не на то, что было *тогда*. В высшей степени замечательно, что в первое время своей литературной деятельности Белинский сам весьма недоверчиво относился к разночинцам. Вот как он отзывается о них в своей знаменитой статье «Литературные мечтания»:

«Это сословие наиболее обмануло надежды Петра Великого: грамоте оно всегда училось на железные гроши, свою русскую смышленость и сметливость обратило на предосудительное ремесло — толковать указы; выучившись кланяться и подходить к ручке дам, не разучилось своими благородными руками исполнять неблагородные экзекуции» *.

Такое предубеждение против разночинцев вызвано было их предшествовавшей чиновничьей ролью в истории развития русской «гражданственности». Оно рассеялось только в 60-х годах,

* Сочинения, т. I, изд. Павленкова, СПБ 1896, стр. 23[2].

когда передовые представители этого общественного слоя явились во главе освободительного движения. Но и тогда оно рассеялось не сразу, а потому редакция «Колокола», даже обращаясь к разночинцам, видела в них прежде всего молодых дворян, окончательно разорвавших с своим «благородным» сословием.

Огарев отводит разночинцам «роль умственной, следственно, движущей силы в государстве» *. Это, как видите, та же самая роль, которая прежде отводилась им и Герценом «молодому дворянству». Стало быть, и по их тогдашнему мнению, учащаяся молодежь по-прежнему должна была играть значительную роль. Больше того. Прежде, когда Герцен верил в правительство, он видел в молодых и образованных идеологах лучших исполнителей начинаемых сверху реформ. Редакция «Колокола» прямо говорила это в лице Огарева. Теперь, когда вера в правительство исчезла, Герцен и Огарев ждали почина именно от образованных идеологов. Таким образом, учащаяся молодежь приобретала в их глазах еще большее значение. Неудивительно, что по поводу студенческих «беспорядков» Герцен написал в № 110 «Колокола» статью: «Исполин просыпается!» [2] Понятно и то, что студентам, исключенным из высших учебных заведений за «беспорядки», он советует идти в народ.

«В народ! К народу! — вот ваше место, изгнанники науки; покажите... что из вас выйдут не *подьячие,* а воины... народа русского» [3].

Вместе с этим «Колокол» (в № 105) советует заводить тайные типографии. Одним словом, в «Колоколе» того времени мы встречаем почти все те практические указания, которые давала учащейся молодежи народническая (революционная) печать 70-х годов.

В марте 1863 г., сообщив о возникновении в России общества «Земля и Воля» [4], редакция «Колокола» прибавляет:

«Земля и воля! родные слова для нас, с ними выступили и мы некогда, в зимнюю николаевскую ночь, и ими огласили зорю настоящего дня. «Земля и воля» было в основе каждой статьи нашей; «Земля и воля» на нашем заграничном знамени и в каждом листе, вышедшем из лондонского станка» [5]. Редакция «Колокола» имела полное право написать это. Девиз «Земля и воля», в самом деле, лежал в основе каждой статьи ее. И потому, что он лежал в основе каждой статьи ее, Герцен и Огарев должны быть признаны родоначальниками русского народничества. С другой стороны, по этой же причине они непременно должны были разойтись с теми либеральными элементами русского общества, которые первоначально рукоплескали «Полярной

* «Колокол», № 190 [1].

Звезде» и «Колоколу». Я уже сказал, что, вопреки мнению И. С. Тургенева, Герцен был таким же народником, как и Огарев. В настоящее время нужно иметь до крайности поверхностный взгляд на Герцена, чтобы писать, например, такие строки: «Получившее в «Колоколе», наконец, перевес руководящее значение Огарева (прокламации которого в духе общинного социализма, конечно, до народа не доходили) отдаляло от «Колокола» часть его сторонников» *. Сторонников отдаляло то весьма простое и едва ли не общеизвестное теперь обстоятельство, что они, эти сторонники, добивались только уничтожения крепостного права да некоторых «административных» и «религиозных» реформ (вспомните письмо Кавелина); между тем как Герцен в самом освобождении крестьян видел лишь первый шаг на пути к социализму.

Говорят также, будто перемене «Колокола» много содействовал М. А. Бакунин, появившийся в Лондоне в начале 1862 г. Но уже в 1861 г. в статьях «Колокола» все чаще и чаще слышатся резкие народнические ноты. Правда, Герцен рассказывает, что, приехав в Лондон, Бакунин принялся немедленно «*революционировать «Колокол»*»**. Но чего хотел он от этого издания?

«*Мало было* пропаганды; надобно было неминуемо приложение, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близких и дальних людей, надобны были «посвященные и полупосвященные братья», организация в крае, — славянская организация, польская организация. Б. находил нас умеренными, не умеющими пользоваться тогдашним положением, недостаточно любящими решительные средства» ***.

Из этого показания Герцена явствует прежде всего, что разногласия между Бакуниным и редакцией «Колокола» имели, как сказали бы мы теперь, тактический, а не принципиальный характер. Из него видно также, что Бакунин одинаково нападал на обоих редакторов «Колокола». Вполне возможно, что Огарев делал Бакунину больше уступок на практике, нежели Герцен. Его уступки могли видоизменить кое-что и в поведении Герцена. Я вполне готов согласиться, что не следовало уступать Бакунину. Но каковы бы ни были ошибки, вызванные неуместною уступчивостью, они ограничивались практической областью и не могли иметь никакого влияния на теоретические взгляды Герцена. Известно, что с 15 июня 1862 г. при «Колоколе» стал выходить листок «Общее Вече» [2], предназначенный для раскольников. Некоторые видят в этой «затее» одно из проявлений вредного влияния Бакунина на редакцию «Колокола». Г-н Ветринский говорит:

* *Ч. Ветринский,* Герцен, СПБ 1908 г., стр. 363.

** Курсив его.

*** Сборник посмертных статей, стр. 200 [1].

«В этом была не только ошибочная мысль, будто старообрядчество может явиться само по себе революционною силою, но было ложно и положение, занятое редакцией. Умалчивая о своих в действительности безрелигиозных верованиях, редакция, как раньше Энгельсон в «Видениях Кондратия», становилась на точку зрения людей, верующих в священное писание и в предание, и в них искала опоры своим убеждениям — политическим и социальным» *.

Оно, конечно, так: заговорив языком верующих людей, неверующая редакция поставила себя в ложное положение. Справедливо и то, что старообрядчество не могло явиться революционной силой. Но ведь энгельсоновы «Видения св. Кондратия» появились в то время, когда только что начиналась издательская деятельность Герцена и когда не было в Лондоне ни Бакунина, ни даже Огарева. Значит, ошибка издания этих «Видений» должна быть отнесена на счет самого Герцена. И эта ошибка очень просто объясняется, во-первых, тем, что ему претила роль цензора, а во-вторых, — и это, может быть, важнее — отсутствием у него убеждения в способности народа понять серьезную политическую речь. Заканчивая восьмую главу, я просил читателя запомнить слова, стоящие в дневнике Герцена под 24 марта 1844 года: «Доселе с народом можно говорить только через священное писание» [1]. Читатель видит теперь, что слова эти в самом деле не мешало запомнить и что, стало быть, напрасно позабыл о них г. Ветринский.

XX

Г-н Ветринский приводит, между прочим, следующие строки из письма Герцена к Огареву от 29 апреля 1863 г.:

«Мы представляем, и в этом я глубоко убежден, деятельный фермент русского движения, и во всех внутренних вопросах нами сообщаемое движение одинаково. Веря в нашу силу, я не верю, что можно произвести роды в шесть месяцев беременности. А мне кажется, что Россия — в этом шестом месяце. Я увлекаюсь скорее тебя и скорее трезвею. Дай мне не готовую силу, а дай ощупать *живой зародыш*. Конечно, живой зародыш носится в общем состоянии, носится в гении народа, в направлении литературы, в реформах и пр. Но где он в такой степени сложился и обособился, как... ты находишь в «Земле и Воле»? Я того не вижу... Не думал ли ты о том, что после всего, что было с Крымской войны, в самом деле России нужнее всего опомниться, и для этого ей нужна покойная, глубокая, истинная

* *Ч. Ветринский*, Герцен, стр. 364.

проповедь? Ты на нее способен. Проповедь может сделать агитацию, но не есть агитация. Вот почему я возражал иногда на твои агитационные статьи» *.

Г-н Ветринский не замечает, что эти строки опровергают его взгляд. В них нет ни слова о принципиальных разногласиях между Герценом и Огаревым. Герцен признает, что ему приходилось иногда возражать против статей Огарева. Но от него же мы узнаем, что предмет спора сводился к вопросу: что́ нужнее в данное время — пропаганда или агитация? О том, каково могло бы быть содержание пропаганды, речи не было по той простой причине, что здесь, в области общих социально-политических воззрений, не существовало никаких разногласий между Герценом и Огаревым. А пропаганды этих общих социально-политических воззрений — т. е. главным образом того взгляда, что освобождение крестьян с землею должно явиться первым звеном в цепи социалистических мер, необходимых для правильного развития России, — было совершенно достаточно для отпугивания либеральных поклонников Герцена.

«Во всех внутренних вопросах нами сообщаемое движение одинаково» [2], — говорит Герцен. Уж эти слова ясно показывают, что принципиальных разногласий между ним и Огаревым не было. Но если два человека хотят сообщить данному предмету «одинаковое движение», то отсюда еще не следует, что они совершенно согласны между собою по вопросу о том, какова будет *скорость* движения, сообщаемого ими. Тут между ними вполне возможно разногласие, причиняемое тем, что обыкновенно называется темпераментом. Один больше другого склонен к увлечению; один верит безраздельно, между тем как вера другого ослабляется подчас сомнением. Все это бывает сплошь да рядом, и все это мы видим в интересующем нас случае. Герцен говорил: Россия находится в шестом месяце беременности; Огареву же временами казалось, что беременность близится к своему естественному концу и что скоро начнутся роды. В своем «Ответе на ответ Великоруссу» он даже предсказывает, когда произойдет народный взрыв: по его мнению, «вероятность падает на шестой год» **. Можно с полной уверенностью утверждать, что Герцену подобная «вероятность» никогда не представлялась сколько-нибудь значительной. Однако и здесь не надо ничего преувеличивать. При всей своей склонности к увлечениям Огарев никогда не доходил до проповеди «вспышкопускательства», которое впоследствии, как известно, легло в основу тактики Бакунина и к которому он всегда был сильно расположен. Для

---

* *Ч. Ветринский,* Герцен, стр. 362—363 [1].

** После освобождения крестьян. Цитируемая статья Огарева появилась в № 108 «Колокола» от 1 ноября 1861 г. [3]

характеристики тактических взглядов Огарева я сошлюсь на его статью «Грехи и безумия» в № 17 «Общего Веча» (от 1 июня 1863 г.).

«Мы не хотим беспорядочного взрыва и ненужно пролитой крови, — говорит он там; — мы хотим, чтобы народ собирался, собирался и собрался бы в крепкий и разумный строй и чтоб его восстание сплошным строем имело целью созвать земский собор для укрепления за народом земли, для учреждения в России народного выборного суда и управления, для обнародования свободы веры и упрочения общественного порядка, уважающего совесть и волю человеческую».

При наличности таких оговорок Герцену нетрудно было столковаться с Огаревым, несмотря на разногласия между ними насчет «месяца беременности».

Гораздо важнее другая сторона дела, совершенно упущенная из виду г. Ветринским.

Герцен и Огарев увлекались некогда философией Гегеля, и каждый из них был многим обязан ей в развитии своего миросозерцания. Но едва ли я ошибусь, сказав, что Герцен с бо́льшим успехом, нежели Огарев, прошел через школу великого немецкого идеалиста. Правда, он тоже усвоил в ней далеко не все то, что усвоили такие люди, как Фейербах, Маркс или Энгельс. Он недостаточно оценил диалектическую сторону гегелевой философии *. Но по всему видно, что он обратил на нее гораздо большее внимание, нежели Огарев. Это сказалось и на его отношении к тогдашнему социализму. Чтобы твердо поверить в будущее торжество социализма, ему недостаточно было убеждения в том, что социализм представляет собою прекрасный идеал хороших людей. Ему надо было выяснить себе тот ход общественного развития, который привел к возникновению этого прекрасного идеала и который ручался бы за его осуществление. Эта его теоретическая потребность не вполне сознавалась им самим **. Однако ее наличность оставила глубокий след на всех его рассуждениях о социализме вообще и в частности о шансах социализма на западе Европы. Если он еще до февральской революции толковал с Бакуниным о вероятной смерти западного «старика», то его скептицизм вызван был в этом случае, между прочим, тем, что западноевропейский социалистический идеал представлялся ему лишь привлекательной теорией, не имевшей серьезной опоры в логике общественной

---

* Ему принадлежит характеристика философии Гегеля как «алгебры революции». Это прекрасная характеристика. Но он же считал Прудона прекрасным диалектиком. Это показывает, что ему не ясна была глубочайшая сущность диалектического метода Гегеля [1].

** Если бы он вполне сознавал ее, то он поставил бы перед собою ту же теоретическую задачу, которую разрешил впоследствии Маркс.

жизни *. И если он, с другой стороны, стал смотреть на Россию, как на страну, призванную к осуществлению западноевропейского социалистического идеала, то это произошло по той причине, что русская община показалась ему способной сыграть историческую роль объективной основы социализма, отсутствовавшей, по его мнению, на Западе.

Но само собою разумеется, что русская община могла сыграть эту роль основы — или, как выражался Герцен, «зародыша» — социализма только при известных социально-политических условиях, нужных для ее дальнейшего развития (как его понимал наш автор). Отсутствие таких условий грозило «зародышу» смертью. Герцен чувствовал это, и вот почему он с особенной энергией отстаивал идею освобождения крестьян с землею. Но, когда крестьянская реформа получила такое направление, которое «Колокол» назвал уродливым, тогда нельзя было не видеть, что условия дальнейшего развития зародыша становились весьма неблагоприятными. А этим создавался совершенно достаточный логический повод для возникновения вопроса о том, суждено ли вообще выжить «зародышу». Всем известно, что вопросом этим много занималась русская литература со времени появления в ней марксизма. Но есть основание думать, что тот же самый вопрос возникал и у Герцена.

Осенью 1863 г. наш автор говорил в «Письме из Неаполя»: «Глядя на то, как здесь, при отсутствии сильной буржуазии, столичная чернь остается лаццарони [2], поневоле приходит в голову, что народ, по тяжелому закону selection **, только и поднимается через буржуазию к более развитой жизни».

Та же самая мысль пришла в голову Белинскому еще в начале 1848 г. Но, глубоко презирая западное «мещанство», Герцен не мог решить его в таком же отрадном смысле, в каком решил его Белинский. К выводу о том, что современным цивилизованным народам необходимо пройти через буржуазию, его приводят следующие пессимистические рассуждения:

«Может, буржуазия вообще — *предел* исторического развития; к ней возвращается забежавшее, в нее поднимается отставшее, в ней народы успокаиваются от метания во все стороны, от национального роста, от героических подвигов и юношеских идеалов, в ее уютных антресолях людям привольно жить».

Тут буржуазная фаза развития изображается не как переход к новой высшей фазе (в этом смысле понимал ее Белинский) [3], а как остановка движения, как предел, дальше которого цивилизованному человечеству не суждено идти.

---

* Подробнее об этом см. в моей статье «Герцен-эмигрант» [1].

** [отбора]

Неудивительно, что Герцену нелегко было поверить в существование такого предела. Но он не напрасно учился логике у Гегеля: он понимал, что логика общественной жизни не справляется с тем, что́ приятно и что́ не приятно идеологам. «...Мало ли у нас таких скорбей? — говорит он, — разве алхимики не скорбели о прозе технологии, и мало ли по каким идеалам мы тоскуем» *.

Это соображение почти буквально повторяет собою ту мысль, которая легла в основу книги «С того берега». Вся эта книга есть не более как длинный ряд ярких и прочувствованных доказательств того положения, что иное дело — наша тоска по идеалу, а иное дело — объективная необходимость его осуществления.

XXI

Заметьте, что теоретические положения, с которыми оперирует здесь Герцен, имеют общий характер. Речь идет не о какой-нибудь отдельной стране и даже не о какой-нибудь отдельной части света. Нет, вид неаполитанских лаццарони «поневоле» заставляет Герцена предположить, что есть «тяжелый закон» подбора (selection), в силу которого народы «только через буржуазию» могут подняться на более высокую ступень развития. Ни о каких исключениях из этого печального общего правила у него при формулировке закона не упоминается.

Но если это так, если такой общий закон в самом деле существует, то ему, очевидно, должна будет подчиниться и Россия. А в таком случае теряет всякий смысл сделанное Герценом не столь утешительное для него противопоставление России Западу. У нашего автора не хватает силы принять этот вывод. Он отклоняет его с помощью краткой, но весьма знаменательной оговорки. Он дает своему закону новую формулировку, признавая вероятным, что все реки истории теряются в болотах мещанства. Но тут он неожиданно прибавляет: по крайней мере, западные. Оговорка эта не имеет никакого основания в предыдущих его рассуждениях. Больше того: она *противоречит* им. Но ею спасается от разрушения не раз высказанная Герценом в других местах надежда на то, что Россия никогда не будет мещанской, и потому она кажется ему убедительной.

Вместе с указанной надеждой эта небольшая оговорка спасала также и всю программу «Колокола». Не будь ее, Герцену надо было бы выработать совершенно другую программу или окончательно стать пессимистом. Но уже то обстоятельство, что он избегал пессимизма лишь с помощью подобных оговорок,

* «С континента», Письмо из Неаполя, — «Колокол», № 173 [1].

дает повод думать, что его взгляд на Россию, как на счастливое исключение из общего исторического правила, не всегда был свободен от известной примеси скептицизма. Огарев был счастливее в этом отношении: он вряд ли сомневался. Номер «Колокола», непосредственно предшествовавший тому, в котором Герцен напечатал свое письмо из Неаполя, содержит характерное стихотворение Огарева: «Сим победиши!» В нем выражается непоколебимая вера его автора в счастливое будущее русского социализма:

... И верю, верю я в исход
И в наше светлое спасенье,
В земле владеющий народ
И в молодое поколенье.
И верю я — невдалеке
Грядет, грядет иная доля,
И крепко держится в руке
Одна хоругвь — Земля и Воля! *

Если бы историческое значение писателей определялось силою их веры в те или другие идеи, то надо было бы сказать, что Огарев больше, нежели Герцен, имеет право называться родоначальником русского народничества. Но народничество имеет свою теорию, и для выработки этой теории Герцен сделал гораздо больше, чем Огарев [2].

Повторяю, Огарев занимался преимущественно частными вопросами. Но зато, работая над такими вопросами, он нередко удивительным образом предвосхищал те решения, к которым приходили народники 70-х годов. Вот один из многих ярких примеров. Мысль о необходимости пропаганды среди раскольников, осуществленная Огаревым с помощью «Общего Веча», сделалась общепризнанной лет 15 спустя у русских революционеров. Огарев, доказывавший необходимость отмены поземельной собственности с помощью ссылок на пророка Даниила **, предвосхищает появление Александра Михайлова и других народников, пытавшихся внушить свои взгляды раскольникам Спасова или Федосеева согласия посредством ссылок на «старые книги» ***.

---

* «Колокол» от 1 ноября 1863 г. [1]

** См. «Письмо к верующим всех старообрядческих и иных согласий и сынам господствующей церкви» в № «Общего Веча» от 15 июня 1862 г.

*** В своих «Частных письмах об общих вопросах» Огарев, развивая ту мысль, что средневековый Запад чужд был «понятия народного владения вещью», говорит, что только в Италии городское население доходило кое-где до «понятия народной воли» («Колокол» № 216, второе письмо) [3]. Это выражение заставляет вспомнить о знаменитой впоследствии русской партии — «Народной Воле». Я очень хорошо знаю, что партия эта приняла свое название вовсе не под влиянием статей Огарева. Но

Кто не знает, что между Герценом и молодыми революционерами, уезжавшими в 60-х годах за границу, происходило много неприятных столкновений? [1] Главный упрек их против него сводился к *его отсталости*. До какой степени он был неоснователен, явствует из того простого соображения, что молодежь, восстававшая против Герцена, нередко жила его же идеями и — замечательная вещь! — усваивала их все больше и больше по мере того, как расширялось движение, совершавшееся под знаменем «русского социализма».

По части тактики существовали действительные разногласия, но и они сводились главным образом к определению «месяца беременности». Хотя Герцен сознательно предпочитал мирный ход развития революционному, но и он не стал бы возражать против деятельности акушеров, если бы в самом деле наступило время родов.

Не нравилось молодым революционерам и то, что Герцен очень не одобрял тактики покушений, *террора*, как стали говорить впоследствии. Но это частность, на которой нет надобности останавливаться. Уместнее будет заметить, что, восставая против Герцена, революционная молодежь только усилила ошибку, закравшуюся в его собственную философию русской истории.

По этой философии, наше развитие в направлении к социализму будет результатом взаимодействия двух «зародышей»: крестьянской общины и кружков образованной (дворянской, позже — разночинской) молодежи. При этом кружкам образованной молодежи всецело отводилась *деятельная* роль. Они должны были вывести другой «зародыш» из его дремоты и сообщить ему тот толчок, с которого началось бы его дальнейшее развитие. Но, раз было признано, что от кружков образованной молодежи зависит выведение другого «зародыша» (общины) на путь исторического развития, то вполне естественным казалось признать, что от них же зависит и сообщение ходу этого развития большей или меньшей скорости. Герцен говорил: «Существование общины ручается за осуществимость у нас социалистического идеала. Поэтому — в народ для социалистической пропаганды». А ссорившаяся с ним и величавшая его отсталым революционная молодежь говорила: «Тяжелое положение крестьянина-общинника вызывает в нем недовольство, которое ручается за скорую осуществимость наших революционных стремлений. Поэтому — в народ для революционной агитации». Молодежь ошибалась, так как недовольство крестья-

---

интересно, что она обозначила теми же самыми словами, что и Огарев, политическое понятие демократии. Партия «Народной Воли» была, как знает читатель, видоизменением русского народничества.

нина-общинника своим тяжелым положением еще не делало из него революционера. Но ведь неправ был и Герцен, так как на самом деле наша община вовсе не была зародышем социализма. В логическом отношении ошибка молодежи была совершенно подобна той, которую сделал Герцен, вырабатывая свою философию русской истории. Она являлась ее дополнением и, можно сказать, вызывалась ею.

Я сказал, что идеи Герцена все более и более укреплялись в русской революционной среде по мере того, как расширялось и упрочивалось движение, происходившее под знаменем «русского социализма». Эпохой расцвета этого социализма были именно 70-е годы. В эпоху же издания «Колокола» влияние Герцена и Огарева на революционную молодежь ослаблялось влиянием на нее Чернышевского. Мы уже знаем, что издатели названной газеты смотрели на этого последнего как на *западника,* социализм которого имел в виду исключительно города. Шумный успех пропаганды Чернышевского не мог не вызывать в них некоторых опасений. Вот как выражаются они Огаревым:

«Я боюсь встретить в наших социалистах выставление вперед исключительно городского образованного пролетариата и приведение его в центр всех социальных стремлений, в особого рода сословие, при чем можно только достигнуть до ассоциации, не имеющей вещественной опоры, и до невозможной борьбы со всеми направлениями других, сильно поставленных городских сословий. И это в то время, когда на Руси существует историческое основание сельского строя, стоящего на общественном владении почвы, — строя, к которому должен примыкать образованный городской пролетариат, образованное меньшинство!» *.

Заметьте, что Огарев здесь говорит исключительно о «городском образованном пролетариате». Так называлась тогда (и еще долго после) интеллигенция. Огарев совершенно прав, утверждая, что «образованное меньшинство» должно выйти из узких пределов своих кружков и слиться с народом. Но для него народ — это исключительно крестьянство. Ему даже в голову не приходит, что «образованное меньшинство» могло и должно было встретиться в городах с промышленным пролетариатом. Для промышленного пролетариата просто-напросто нет места в его рассуждениях. Народники 70-х годов уже не могли забывать, что в городах существуют рабочие в собственном смысле этого слова. Но для них городские рабочие были не более как крестьянами, испорченными «трактирной цивилизацией». Тут они опять ошибались в ту самую сторону, в какую ошибались издатели «Колокола».

---

* 3-е «Письмо об общих вопросах», «Колокол» № 220 [1].

Однако пора кончать. После всего сказанного читатель, я надеюсь, не отвергнет следующих выводов:

1) Своим сочувствием народному горю Герцен был обязан влиянию на него многострадальной крепостной «передней».

2) Герцену хотелось, чтобы освобождение крестьян явилось первым шагом на пути социалистического развития России.

3) Определяя желательный путь этого развития, он выступил родоначальником народничества.

4) Этого было совершенно достаточно для того, чтобы ему постепенно перестали сочувствовать те либеральные элементы русского общества, которые сначала горячо приветствовали появление «Полярной Звезды» и «Колокола».

5) Между Герценом и Огаревым отнюдь не было существенных разногласий во взгляде на крестьянскую реформу и на русский социализм.

6) Разошедшаяся с Герценом революционная молодежь в значительной степени и очень долго жила его идеями и тем больше подчинялась их влиянию, чем гуще окрашивалось в народнический цвет ее движение.

7) В своих *тактических* суждениях, приводивших ее к разрыву с Герценом, революционная молодежь делала *логическую* ошибку, совершенно подобную той, благодаря которой у него составился взгляд на Россию, как на страну, могущую прийти к осуществлению социалистического идеала самобытным путем, непохожим на путь западноевропейского общественного развития.

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А. И. ГЕРЦЕНА

(К столетию со дня его рождения)
[1912 г.]

Всякий знает теперь, что А. И. Герцен был человеком очень широко образованным и что в круг его умственных интересов входила, между прочим, и философия. Но до сих пор остается невыясненным, *как именно* развивались его философские взгляды и в *каком направлении* совершалось их развитие. Я полагаю, что полезно сделать это. Попробую.

I

В годы юности А. И. Герцен не занимался *философией:* его больше привлекала к себе *политика* [1]. Но, вернувшись в Москву из своей первой ссылки, он убедился, что ему необходимо составить себе основательный запас философских знаний. Это было то — в теоретическом отношении чрезвычайно замечательное — время, когда В. Г. Белинский и его ближайшие единомышленники проповедовали примирение с тогдашней «российской действительностью» на том основании, что «все действительное разумно» *. В своем качестве «политика» Герцен не мог не восстать против такого вывода, «и отчаянный бой закипел между нами», говорит он в «Былом и Думах» [3]. Но его политические доводы не производили никакого впечатления на противников, обеими ногами стоявших на почве гегелевой философии. Поэтому он и нашел нужным запастись философским оружием.

---

* О значении этой эпохи в истории развития взглядов Белинского см. в моей статье: «Белинский и разумная действительность» в сборнике «За двадцать лет» [2].

«Середь этой междоусобицы, — продолжал он, — я увидел необходимость ex ipso fonte bibere * и серьезно занялся Гегелем. Я думаю даже, что человек, не *переживший* «Феноменологии» Гегеля и «Противоречий общественной экономии» Прудона, не перешедший через этот горн и этот закал, — не полон, не современен» [1].

Заметьте, что здесь у него Прудон поставлен на одну доску с Гегелем. Это как нельзя более характерно для его философских взглядов. Можно сказать, не боясь упрека в преувеличении, что этим сопоставлением указывается тот предел, дальше которого не пошел наш в высшей степени даровитый и чрезвычайно блестящий автор в понимании Гегеля [2]. Даже больше. Мы имеем право прибавить, что если бы Герцену удалось перейти этот предел, то ему, вероятно, не пришлось бы переживать ту тяжелую душевную драму, которая дает себя чувствовать на каждой странице его знаменитой книги «С того берега». Но чтобы такие утверждения не показались читателю голословными, следует внимательно подвести итог всему тому, что *нашел* Герцен у Гегеля и что он *заимствовал* у него.

Обратимся к его дневнику. Здесь мы встречаем, например, такие места: «Читал Гегелеву философию природы. («Encyclopädie», II Th.) ** Везде гигант, многое едва набросано, очеркнуто, но ширина и объем колоссален (т. е., должно быть, колоссальны? — *Г. П.*). Какой огромный шаг в освобождении от абстрактных сил, в введении в свои рамы категории величины, которой подавляли все земное, и какой перевес качеству, конкреции. Он освобождает в полном развитии человека от его материального определения, от его теллурической *** жизни адекватностию его формы понятию (чем беднее его развитие, тем более он зависит от природы). Дух вечен, материя — всегдашняя форма его инобытия. Лишь только форма способна, лишь только она может выразить дух, она и выражает его» ****.

Или: «Нет ничего смешнее, что до сих пор немцы, а за ними и всякая всячина, считают Гегеля сухим логиком, костяным диалектиком вроде Вольфа *****, в то время как каждое из его сочинений проникнуто мощной поэзией, в то время как он, увлекаемый (часто против воли) своим гением, облекает спекулятивнейшие мысли в образы поразительности, меткости удивительной. И что за сила раскрытия всякой оболочки мыслью,

---

* [испить из самого источника]

** [«Энциклопедия», ч. II.]

*** [земной]

**** Сочинения А. И. Герцена, женевское издание, т. I, стр. 193 [3].

***** Собственно говоря, Вольф никогда не был *диалектиком*, а разве *логиком*. Логика, в обычном значении этого слова, относится к диалектике, как низшая математика к высшей.

что за молниеносный взгляд, который всюду проникает и все видит, куда ни обернул бы взор» *.

Такие места показывают, во-первых, что Герцен был как нельзя более далек от того пренебрежительного отношения к Гегелю, которым грешили у нас впоследствии многие и многие более или менее свободомыслящие люди. Но эта сторона дела нам, пожалуй, достаточно известна уже по сделанной выше выписке из «Былого и Дум». Полезнее будет остановиться на другой его стороне, т. е. на изложении Герценом основной теоремы гегелевой философии: «Дух вечен, материя — всегдашняя форма его инобытия». Герцен ничем не выражает своего критического отношения к этой теореме, а он нисколько не стеснялся критиковать даже и «гиганта» Гегеля, когда бывал с ним не согласен. Что же это показывает? То, что еще в апреле 1844 г.** Герцен сам стоял на точке зрения гегелева идеализма или, по крайней мере, еще не формулировал даже для самого себя своих сомнений в нем [2]. На такое же заключение толкают нас и следующие его строки, находящиеся очень близко от тех, которые нас теперь интересуют.

«Конечно, Гегель в отношении естествоведения дал более огромную раму, нежели выполнил, но coup de grâce *** естественным наукам в их настоящем положении окончательно нанесен. Признают ли ученые это или нет, все равно, тупое Vornehmthuerei des Ignorierens **** ничего не значит. Гегель ясно развил требование естественной науки и ясно показал всю жалкую путаницу физики и химии, не отрицая, разумеется, частных заслуг. Им сделан первый опыт понять жизнь природы в ее диалектическом развитии от вещества, самоопределяющегося в планетном отношении, до индивидуализации в известном теле, до субъективности, не вводя никакой агенции *****, кроме логического движения понятия. Шеллинг предупредил его, но Шеллинг не удовлетворил наукообразности» ******.

То обстоятельство, что Гегель пытался объяснить диалектическое развитие жизни природы, не прибегая к другой «агенции», кроме логического движения понятия, составляет самую слабую сторону его натурфилософии, которая вполне объясняет большинство остальных промахов, сделанных им в этой области. Теперь это едва ли нуждается в пояснениях, так как теперь даже идеалистически настроенные естествоиспытатели — таких, к сожалению, и сейчас немало — решительно не находят

* Сочинения, т. I, стр. 234—235 [1].

** Изложение гегелева взгляда на природу, как на инобытие духа, относится в «Дневнике» Герцена к 14 апреля названного года.

*** [смертельный удар]

**** [высокомерное игнорирование]

***** [действующей причины]

****** Сочинения, т. I, стр. 194. Заметка от 19 апреля 1844 г. [3]

возможным объяснять мировой процесс логическим движением понятия и не видят в таком объяснении ровно ничего «наукообразного». Герцен не только не отмечает этого основного промаха Гегеля, а как будто видит в нем, наоборот, большую научную заслугу. Это могло произойти единственно потому, что сам он оставался *идеалистом,* т. е. по той причине, что ему самому ссылка на такую «агенцию», как логическое движение понятия, представлялась удовлетворительным объяснением естественно-исторического процесса. Правда, уже 20 июня [1] того же года он занес в свой дневник строки, содержание которых как будто резко противоречит только что сказанному мною. Они посвящены статье Иордана об отношении всеобщей науки к философии [2]. Статья эта появилась в вигандовом «Трехмесячнике» и, очевидно, произвела на Герцена сильное впечатление. Он называет ее весьма замечательной и так передает ее главную мысль:

«Критика, снявшая религию, стоя на философской почве, должна идти далее и обратиться против самой философии. Философское воззрение есть последнее теологическое воззрение, подчиняющее во всем природу духу, полагающее мышление за prius *, не уничтожающее, в сущности, противоположность мышления и бытия своим тождеством. Дух, мысль — результаты материи и истории. Полагая началом чистое мышление, философия впадает в абстракции, восполняемые невозможностью держаться в них; конкретное представление беспрерывно присуще; нам мучительно и тоскливо в сфере абстракции — и срываемся беспрерывно в другую. Философия хочет быть отдельной наукой, наукой мышления» **. Затем в дневнике следует немецкий текст, в самом деле заслуживающий величайшего внимания и потому переводимый мною здесь целиком: «И потому (т. е. потому, что философия хочет быть наукой мышления) она хочет быть в то же самое время наукой мира, так как законы мышления те же, что и мировые законы. Это прежде всего нужно поставить в обратном порядке: мышление есть не что иное, как мир, поскольку он познает самого себя, мышление есть мир, в лице человека становящийся ясным самому себе». После этого Герцен продолжает уже по-русски: «А потому нельзя наукой мышления начинать и из нее выводить природу. Философия — не отдельная наука, на место ее должно быть соединение всех ныне разрозненных наук» ***.

---

* [первоначальное]

** Сочинения, т. I, стр. 208—209 [3].

*** Статья Вильгельма Иордана была напечатана в первом томе вигандова «Трехмесячника» («Wigand's Vierteljahrsschrift»). Том этот вышел в *мае* 1844 г., а в июне того же года он был прочитан Герценом. Отсюда видно, как внимательно следил тогда наш автор за философской литературой Германии.

Первая страница автографа «Философские взгляды А. И. Герцена»

Если мы предположим, что Герцен вполне согласен с Иорданом *, то неизбежно должны будем также признать, что он уже расстался с идеализмом: взгляд Иордана прямо противоположен взгляду Гегеля **, и нельзя одновременно признавать, что дух и мысль суть результаты материи и истории, и считать логическое понятие главной «агенцией» мирового процесса. Но, приняв указанное предположение, мы должны будем также допустить, что переход Герцена от одного из этих двух взглядов к другому совершился именно в промежуток времени от 14 апреля до 20 июня 1844 г.; если бы он произошел *раньше*, то осталось бы совершенно непонятным уже знакомое нам сочувственное и чуждое всякой критики отношение нашего автора к основному тезису идеалистической натурфилософии Гегеля. Конечно, это допущение, рассматриваемое само по себе, не заключает в себе ничего невозможного: почему бы Герцену не расстаться с абсолютным идеализмом именно весною 1844 года? Но существуют данные, несогласимые с этим допущением.

II

Во-первых, в том же *дневнике и после указанного времени* продолжают встречаться места, свидетельствующие о большом сочувствии Герцена идеализму. 9 августа того же года он, излагая — заметьте, по Фейербаху! — учение Лейбница, ставит этому последнему в большую заслугу его близость к *«понятию»:* «монада есть уже в некотором смысле понятие» ***. Какое же понятие? То, о котором говорит логика Гегеля. Ясно, что подобная похвала могла выйти только из-под пера такого человека, который сам далеко еще не вышел из-под влияния гегелизма. А вот нечто, пожалуй, еще более убедительное. В конце того же месяца Герцен, читая розенкранцеву биографию Гегеля [3], отмечает одно место в *первоначальном* наброске гегелевой натурфилософии и так рассуждает по его поводу: «В тогдашнем опыте философии природы находится замечательное место о строении земного шара; расчленение оного... принимал он (т. е. Гегель. — *Г. П.*) за результат безусловного прошед-

---

* Сочинения, т. I, стр. 209 [1].

** Вильгельм Иордан стоял на точке зрения Фейербаха. Некоторые называли его даже вернейшим учеником этого последнего в философии (ср. статью *Фр. Шмидта*, Die deutsche Philosophie in ihrer Entwickelung zum Sozialismus в «Deutsches Bürgerbuch für 1846» Zweiter Jahrgang, S. 71. [Немецкая философия в своем развитии к социализму в «Немецкой гражданской книге» за 1846 год. 2-й год изд., стр. 71.]).

*** Сочинения, т. I, стр. 223 [2].

шего, которого они (т. е. продукты расчленения земного шара.— *Г. П.*) немым представителем и остались, они теперь равнодушно стоят рядом, потерявши отношение свое, пораженные будто параличом. Мысль чрезвычайно важная; отсюда нельзя ли ждать когда-нибудь отгадки, для чего и как явилось вещество планеты простыми телами; что побудило сочетаться в известные горнокаменные породы, не был ли это опыт жить всею планетой так, как растения, опыт жить всей поверхностию?» * Нечего и говорить, что подобные вопросы («загадки») могли возникнуть только в идеалистически настроенной голове.

Во-вторых, знаменитые «Письма об изучении природы», наивно принимаемые некоторыми историками нашей литературы за нечто вроде «реалистического» манифеста Герцена, неоспоримо доказывают, что автор их находился под сильным влиянием идеализма — и именно гегелева идеализма. Конечно, и в них мы находим строки и даже целые страницы, полные «реалистического» — сохраним пока этот термин — содержания. Например: «Гегель хотел природу и историю, как *прикладную логику*, — а не логику, как отвлеченную разумность природы и истории. Вот причина, почему эмпирическая наука осталась так же хладнокровно-глуха к энциклопедии Гегеля, как и к диссертациям Шеллинга»**. Здесь мы имеем перед собою тот самый упрек, который много времени спустя делал Гегелю материалист Энгельс. А вот еще: «Без сомнения, Гегель поставил мышление на такой высоте, что нет возможности после него сделать шаг, не оставив совершенно за собой идеализма» ***. Это звучит тоже совсем реалистично. Не менее «реалистичны» и следующие строки: «Идеализм всегда имел в себе нечто невыносимо дерзкое: человек, уверившийся в том, что природа — вздор, что все временное не заслуживает его внимания, делается горд, беспощаден в своей односторонности и совершенно недоступен истине. Идеализм высокомерно думал, что ему стоит сказать какую-нибудь презрительную фразу об эмпирии — и она рассеется, как прах; вышние натуры метафизиков ошиблись» и т. д. ****. Прочитав это место, всякий скажет: «автор «Писем об изучении природы» был решительным противником идеализма; его точка зрения была противоположна идеалистической». Но это будет ошибка или, как любил выражаться наш автор, *не вся* истина. И далеко не вся! То, что сказано в последнем из приведенных отрывков об идеализме, *направляется, собственно, против субъективного идеализма*. А мы знаем из

* Сочинения, т. I, стр. 229 [1].

** Сочинения, т. II, стр. 72. Курсив в подлиннике [2].

*** Там же, стр. 72 [3].

**** Там же, стр. 41 [4].

истории философии, что можно выступить его противником, отнюдь не покидая идеалистической почвы: это достаточно подтверждается примером того же Гегеля и Шеллинга, отвергавших *субъективный* идеализм Фихте. Замечание о том, что после Гегеля нет возможности сделать шаг вперед в философии природы, не покидая идеалистической почвы, как будто направляется уже не только против *субъективного* идеализма, а также и против *абсолютно* идеалистической философии Гегеля. Однако в «Письмах об изучении природы» это замечание сопровождается следующей знаменательной оговоркой: «Но шаг этот не сделан, и эмпиризм хладнокровно ждет его; зато, если дождется, посмотрите, какая новая жизнь разольется по всем отвлеченным сферам человеческого ведения»! * Вы видите: тот шаг, который должен вывести мысль естествоиспытателей из ограниченности эмпиризма, *еще не сделан*, по мнению Герцена. Это мнение было не верно: в лице Фейербаха западная философия уже *покинула тогда идеалистическую почву*. Однако, верное или нет, оно, во всяком случае, не могло не определить собою собственную теоретическую задачу автора «Писем»: если необходимый для науки шаг еще не был сделан, то Герцен сам должен был попытаться его сделать. И вот тут-то возникает вопрос: удалось ли ему это? Всякий, кто знаком с тогдашним состоянием философии, ответит, что нет, если только даст себе приятный труд внимательно прочитать «Письма об изучении природы».

Герцен идет в них ощупью. Время от времени ему случается поставить ногу на твердую «реалистическую» почву; но чаще всего он ставит ее на ту самую почву идеализма, которую он находит нужным покинуть. И в конце концов даже совершенно верные замечания его против идеалистов приобретают уже отмеченный мною гораздо более узкий смысл критических выпадов против сторонников субъективного идеализма. Когда Герценом направляется по адресу Гегеля вполне справедливое обвинение во взгляде на природу и на историю, как на прикладную логику, тогда представляется несомненным, что наш автор совершенно ясно видит, в чем состоит первородный грех абсолютного идеализма. Но такое представление не выдерживает встречи с рассуждениями вроде следующего: «Органический процесс неминуемо должен развить в животном кровеносную систему, нервную и проч. по родовому, пожалуй, предсуществующему и осуществляющемуся понятию» **. Эта мысль, возвращая нас к «понятию», представляет собою шаг не за пределы гегелева идеализма, а, так сказать, в самую его сердцевину. А та-

* Сочинения, т. II, стр. 72—73 [1].
** Сочинения, там же, стр. 275 [2].

кими мыслями изобилуют «Письма об изучении природы». Всякий раз, когда их автор принимается за критику *материализма*, он рассуждает, как убежденный *идеалист* [1]. Вот несколько примеров.

Критикуя материализм Эпикура, Герцен говорит о «верховном начале, царящем над физическим многоразличием» *; ограниченность материалистического воззрения в том, по его словам, и заключается, что оно не признает существования такого начала. Но признать его существование — значит обеими ногами утвердиться на идеалистической почве. Таким образом, материалисты грешили, по Герцену, тем, что отвергали идеалистический взгляд на «физическое многоразличие», т. е. на материальный мир. Ему и в голову здесь не приходит, что, признав существование «начала, царящего над физическим многоразличием», можно, нимало не изменяя себе, *взглянуть на природу, как на прикладную логику*. Далее. Французских материалистов XVIII в. Герцен упрекает в том, что они не понимали единства бытия и мышления. «У них бытие и мышление или распадаются, или действуют друг на друга внешним образом, — говорит он. — *Природа помимо мышления — часть, а не целое;* мышление так же естественно, как протяжение, так же степень развития, как механизм, химизм, органика — только высшая. Этой простой мысли не могли понять материалисты; они думали, что природа без человека полна, замкнута и довлеет себе, что человек какой-то посторонний» **. Этот упрек тем более странен, что Герцен, как видно, читал «Système de la nature» *** Гольбаха и должен был бы помнить, с какой настойчивостью проводится там мысль об единстве бытия и мышления. Ни сам Гольбах и ни один из остальных членов материалистического кружка, выразившего свои взгляды в «Системе природы», никогда не думал смотреть на человека, как на что-то *постороннее* природе, и никогда не отрицал, что природа «помимо мышления — т. е., выражаясь точнее, вообще, помимо так называемых психических явлений — представляет собою не целое, а только часть». Одно из главных возражений, выдвигавшихся французскими материалистами против спиритуалистов, именно в том и состояло, что нельзя смотреть на «дух», как на особое начало, противостоящее природе и царящее над нею. В глазах материалистов материя отнюдь не была тем мертвым телом, каким объявил ее Декарт. Почему же Герцен приписал им ошибку, которой они никогда не делали? Тут было очевидное недоразумение. Но как же оно возникло?

---

* Сочинения, т. II, стр. 171 [2].
** Там же, стр. 282 [3].
*** [«Систему природы»]

III

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вдуматься в следующие слова нашего автора: «Шеллинг застал борьбу разных взглядов на разум и на природу в ее высшем и крайнем выражении, когда, с одной стороны, «не-я» пало под ударами Фихте и власть разума провозгласилась в каких-то бесконечных пространствах холода и пустоты; с другой — французы отрицали все нечувственное и, как черепословы, стремились истолковать мысль бугорками и углублениями, а не бугорки мыслию, и он первый высказал, хотя не вполне, высокое единство, о котором мы говорили» (т. е. единство бытия и мышления. — *Г. П.*) *.

С этим полезно сопоставить еще вот какое соображение Герцена: «Крайность реализма выразили энциклопедисты; они так же действительно, так же верно, так же полно представляют свою сторону духа человеческого, как идеалисты свою; и так же, как они, обусловлены временем, после которого и те и другие должны потерять свои исключительные притязания и соединиться в одно стройное понимание истины. К этому примирению, повторяем, стремился Шеллинг и все последователи его; ему-то обширные основания воздвигнул Гегель — остальное доделает время» [2].

Это как нельзя более характерно для тогдашних философских взглядов Герцена. Он справедливо считал важнейшим вопросом философии вопрос об отношении мышления к бытию, субъекта к объекту. Всякую данную философскую систему он оценивал прежде всего применительно к этому вопросу. Иначе, разумеется, и не мог поступать человек, прошедший через школу такого последовательного мониста, такого непримиримого врага всякого дуализма, каким был Гегель. В учении Гегеля, как впрочем и в учении Шеллинга, единство мышления и бытия является одновременно основой и венцом всех прочих философских построений. И надо признать, что в этом заключалось огромное преимущество их философии в сравнении, например, с дуалистической философией Канта. Как же, однако, понимали единство бытия и мышления великие монисты Шеллинг и Гегель? Нетрудно догадаться, что они понимали его в *идеалистическом* смысле: иначе они не были бы *идеалистами*. Но в том-то и дело, что их понимание было неправильно, как это показал еще Фейербах.

По словам Фейербаха, идеалистическая философия, нашедшая крайнее свое выражение в Шеллинге и Гегеле, устранила противоречие между бытием и мышлением, продолжая оставаться внутри его, т. е. в сущности совсем не устранила. Это

* Сочинения, т. II, стр. 284—285 [1].

значит вот что: у Гегеля мышление и есть бытие, так как у него в последнем счете нет ничего, кроме мышления; сама природа есть не более как инобытие духа: чтобы сотворить природу, абсолютная идея противополагает себя самой себе. По Гегелю, «мышление — субъект, бытие — предикат», говорит Фейербах, выражая то же самое тогдашним философским языком [1]. Но если это правда, если у Гегеля мышление и есть бытие, то нечего и искать единства между мышлением и бытием: *оно дано заранее*. Выходит, что Гегель не разрешил антиномии между бытием и мышлением, а только устранил один из двух ее составных элементов: бытие, материю, природу. Фейербах прибавлял — и опять совершенно справедливо, — что если, по учению Гегеля, природа создается тем, что идея противополагает себя самой себе, то это есть лишь перевод на язык спекулятивной философии теологического учения о создании материи духовным существом природы — богом.

Так смотрел Фейербах. А как смотрел Герцен? Он — мы это видели — думал, что Шеллинг «первый высказал, хотя и не вполне, высокое единство» бытия и мышления и что Гегель воздвигнул этому единству «обширные основания». Правда, кое-что в решении вопроса Шеллингом — Гегелем казалось и ему неудовлетворительным. Но это кое-что было в его глазах не очень значительно: он утверждал, что недоделанное великими немецкими идеалистами будет доделано временем *. В этом-то и состояла коренная философская ошибка автора «Писем об изучении природы». Герцен говорил в них, что после Гегеля идти вперед — значит выйти из области идеализма, и это было совершенно справедливо. Но когда он сам пытался сделать такой шаг вперед, он брал за точку исхода предложенное Гегелем идеалистическое решение антиномии между мышлением и бытием. Поэтому его критика идеализма осталась не более как критикой *субъективного* идеализма, имевшего тогда очень мало значения [3]. Это хорошо видно из того, что говорится им о роли Шеллинга: явившись в самый разгар войны между Фихте, с одной стороны, и «французами» (т. е. французскими материа-

* Несколько ниже Герцен говорит: «Гегель понимал действительное отношение бытия к мышлению; но понимать не значит вполне отречься от старого... Никто из рожденных в плену египетском не вошел в обетованную землю... Гегель своим гением, мощью своей мысли подавлял египетский элемент, и он остался у него больше дурною привычкою; Шеллинг же был подавлен им» (Соч., т. II, стр. 73) [2]. Итак, по существу Гегель был прав и только дурно выражался по старой идеалистической привычке. Эту дурную привычку и должно, как видно, устранить время. Другими словами, это значит, что абсолютный идеализм *правильно* определял отношение мышления к бытию. О Шеллинге Герцен выражается здесь менее одобрительно, но не надо забывать, что Шеллинг уже выступил тогда со своей реакционной «философией откровения».

листами) — с другой, Шеллинг первый, по словам Герцена, высказал, хотя и не с полной ясностью, мысль об единстве бытия и мышления. После этого неудивительно, что наш автор продолжал смотреть на материализм глазами великих немецких идеалистов. Он читал «Систему природы», но читал ее, запасшись предварительно ошибочным взглядом на материализм, а потому и нашел в этой книге то, чего в ней не было, и вовсе не обратил должного внимания на то, что̀ в ней было.

Интересно, что Герцен уже знал Фейербаха в то время, когда писал свои «Письма об изучении природы»: его познакомил с этим мыслителем Огарев, навестивший его в новгородской ссылке и захвативший с собою знаменитую книгу «Das Wesen des Christenthums» *. Книга эта привела в восторг новгородского ссыльного. «Прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости, — говорит он. — Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказания, мы — свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать истину в мифы!» ** Однако, увлекшись Фейербахом, Герцен еще далеко не усвоил себе, как мы видели, его отрицательного взгляда на гегелево учение об единстве мышления и бытия. А потому он остался несравненно более близким к идеализму, нежели к Фейербаху; лишь по временам, лишь в некоторых страницах «Дневника» и «Писем об изучении природы», лишь в тех случаях, когда он сочувственно цитирует такие статьи, в которых мысль и дух объявляются результатами материи и истории, прорывается у него взгляд, родственный материалистическому взгляду Фейербаха. Но это только исключения, подтверждающие собою общее правило. А общее правило то, что Герцен продолжает держаться идеализма.

Впрочем, тут надо сделать довольно длинную оговорку. Сущность материалистического взгляда Фейербаха сводится к той — прекрасно знакомой всем марксистам — мысли, что не бытие определяется мышлением, а мышление — бытием. Бытие определяется самим собою; оно имеет основу в самом себе. Поэтому Фейербах, в противоположность Гегелю, утверждал, что бытие есть предмет, а мышление — свойство предмета ***. Мыслит не отвлеченное существо, не то «я», которым занимается идеалистическая философия. Думает мое тело; мое тело и есть мое «я». Но это «я» есть «я» только для меня; для другого оно не «я», а «ты». Таким образом, ошибаются идеалисты, принимая за точку исхода «я». Точкой исхода должно быть одновременно «я» и «ты». Это представляется парадоксом:

* [«Сущность христианства».]

** Сочинения, т. VII, стр. 133 [1].

*** На тогдашнем философском языке это звучало так: «бытие — субъект, мышление — предикат».

кажется, будто Фейербах требует принятие за *точку* исхода *двух точек*. Но это только так кажется: на самом деле Фейербах принимает за точку исхода *одно* положение, гласящее, что «я» *есть не только субъект, но в то же время и объект* (субъект для себя, объект для другого). Это и есть материалистическое учение об единстве мышления и бытия, субъекта и объекта, духа и материи. «Что для меня, или субъективно, есть чисто духовный, нематериальный, нечувственный акт, то само по себе, объективно, есть акт материальный, чувственный», — говорит Фейербах [1].

Вдумайтесь в это, и вы непременно согласитесь с Фейербахом. А согласившись с ним, вы сами увидите, до какой степени слабы те идеалистические возражения, с которыми выступал Герцен в «Письмах об изучении природы». Он утверждал, что материализм отрицает все «нечувственное». Но вы сами слышали сейчас от Фейербаха, что «нечувственное» есть лишь другая сторона «чувственного» и что устранять один из элементов антиномии между бытием и мышлением — значит не решать ее, а уклоняться от ее решения. Герцен принял здоровую голову за больную, а больную за здоровую. Это было большое недоразумение, на которое опиралась значительная часть его критики материализма. Он рассуждал так: «Разумеется, что опыт возбуждает сознание, но также разумеется, что возбужденное сознание вовсе не им произведено, что опыт — одно условие, толчок, такой толчок, который никак не может отвечать за последствия, потому что они не в его власти, потому что сознание не tabula rasa, a actus purus *, деятельность, не внешняя предмету, а совсем напротив — внутреннейшая внутренность его, так как вообще мысль и предмет составляют не два разные предмета, а два момента чего-то единого» **.

В этих последних словах, направленных не против материализма, а против философского дуализма, виден *монист*. Но та мысль, что опыт служит сознанию таким толчком, который не отвечает за свои последствия, так как сознание есть actus purus, а не tabula rasa, еще раз обнаруживает идеалистическую природу того монизма, которого держался Герцен, когда писал «Письма об изучении природы».

Если опыт не отвечает за свои собственные последствия, то это значит, что человеческий рассудок предписывает природе ее законы, как учил некогда Кант. Но и этот взгляд опровергнут тем же Фейербахом.

«Книга природы, — превосходно говорил он, — вовсе не есть дикий хаос беспорядочно набросанных одна на другую букв,

* [Чистая доска... чистая деятельность]
** Сочинения, т. II, стр. 277 [2].

хаос, в который рассудок впервые вносил бы взаимную связь и порядок, субъективно и произвольно сочетая буквы в осмысленные предложения. Нет, рассудок различает и сочетает вещи на основании признаков, данных ему внешними чувствами; мы разделяем то, что разделено в природе, и связываем то, что связано в ней; мы подчиняем вещи одну другой, как основу и следствие, как причину и действие, потому что таково их фактическое, чувственное, действительное, предметное взаимоотношение» *.

Только при таком взгляде на вопрос об отношении бытия к мышлению получают смысл те строки сочувственно цитируемой Герценом статьи Иордана, где говорится, что «дух, мысль — результаты материи и истории» и что мышление вообще есть не что иное, как «мир, поскольку он познает самого себя» (см. выше) **. Принимая мышление за actus purus ***, определяющий собою «последствия опыта», Герцен должен был бы объявить эти строки бессмысленными.

То замечание Герцена, что не опыт «производит» сознание, равносильно, если я не ошибаюсь, тому соображению, что движение, к которому сводится в последнем счете всякий опыт, *не переходит в мысль*, или, иначе, *что мысль не есть движение вещества*. На этом едва ли нужно останавливаться после всего сказанного выше. Разумеется, мысль *не есть* материальный акт, если она есть *другая сторона* такого акта. Только не уяснив себе материалистического учения, можно понимать его в смысле *отождествления* движения с мыслью. В глазах последовательных материалистов это было бы равнозначительно тому *отождествлению мышления и бытия*, которое ставится ими в вину идеализму. *Их единство* бытия и мышления вовсе не есть *тождество* ****.

Герцен выдвигает против материализма еще и такие доводы, которые не имеют прямого отношения к только что рассмотренному вопросу. Я разберу их потом. Тогда читатель согласится, надеюсь, что и эти доводы, — иногда весьма неожиданные, — основываются на недоразумении.

---

* Сочинения, т. II, стр. 322—323 [1]. Энгельс очень остроумно замечал впоследствии, что если наш рассудок произвольно отнесет к разряду млекопитающих платяную щетку, то от этого у нее не вырастут молочные железы.

** Иордан, как видно, держался фейербахова решения названного вопроса: он говорил, что, полагая мышление за prius [первичное], философия не уничтожает противоположности мышления и бытия.

*** [чистую деятельность]

**** Поэтому же неосновательно и то мнение, заимствованное Герценом у Гегеля, что мышление есть «так же степень развития, как механизм, химизм, органика» (см. выше). Мышление вовсе не есть *надорганическое* явление: оно есть *функция организма*, стоящего на известной высоте развития.

IV

Мне скажут, пожалуй, что, критикуя материализм, наш автор имел в виду вовсе не учение Фейербаха, а материализм *прежнего времени*, до французского материализма XVIII в. включительно, и что нынешние историки философии даже не признают Фейербаха материалистом. На это я отвечу, что Герцен считал свои возражения против материализма прежнего времени неопровержимыми для всякого вообще материализма и что к тому же в интересующей нас здесь области теоретическая позиция прежнего материализма — начиная, по крайней мере, с Гоббса — ничем *существенным* не отличается от позиции Фейербаха. Отсюда видно, как следует относиться к толкам о том, что Фейербах вовсе не был материалистом. Они основаны не на том, что *было*, а на том, что *должно было быть*, по мнению некоторых идеологов буржуазии, сделавшейся на старости лет весьма консервативной, чопорной и богомольной. Эти идеологи держатся удобного для них, но смешного и жалкого правила не признавать материалистом ни одного серьезного мыслителя, каково бы ни было его учение. Когда-то, споря со мною в «Neue Zeit», Конрад Шмидт отказался признать материалистами даже Ламеттри, Гольбаха и Гельвеция [1]. По поводу таких возражений можно заметить только то, что человек обязан «знать меру» даже и тогда, когда почему-нибудь намеревается поставить себя в смешное положение.

Считая излишним повторять здесь сказанное мною в разных других местах о материализме Фейербаха, напомню читателю только следующий факт.

Когда вышла книга Молешотта «Lehre der Nahrungsmittel» *, Фейербах не только радостно приветствовал ее, но объявил, что в ней решаются труднейшие вопросы философии и что она заключает в себе истинные «основы философии будущего» **. Может быть, и Молешотта напрасно причисляют к материалистам?

Нет, зачем говорить пустое! Энгельс был совершенно прав, замечая: «Ход развития Фейербаха есть превращение гегельянца... в материалиста» ***. Но всякое развитие имеет свои фазы. Сам Фейербах признавал впоследствии, что точка зрения его книги «Сущность христианства» не была его окончательной

* Переведенная по-русски под названием «Учение о пище», она сыграла также некоторую роль в истории нашего умственного развития [2].

** Так называлось одно из главнейших философских произведений Фейербаха. См. «Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlass, dargestellt von Karl Grün» [«Переписка и литературное наследство Людвига Фейербаха, собранные Карлом Грюном»], том II, стр. 81 [3].

*** Материалистом считали его и наши славянофилы, например Хомяков.

точкой зрения и до известной степени грешила идеализмом *. Герцен тоже развивался в направлении от гегельянства к материализму. Но его «Письма об изучении природы» несравненно дальше от последовательного материалистического учения, нежели фейербахова «Сущность христианства». Если бы меня спросили, какой именно фазе развития Фейербаха соответствует философский взгляд, выраженный Герценом в «Письмах об изучении природы», у меня явилось бы сильное искушение ответить: той, к которой относится фейербахова статья «Kritik des Idealismus» **, посвященная разбору книги Ф. Дорфгута «Kritik des Idealismus und Materialien zur Grundlegung eines apodiktischen Real-Rationalismus» *** и написанная в 1838 году. В этой статье Фейербах восстает, между прочим, против мысли о том, что мышление есть лишь предикат бытия, т. е. против той самой мысли, которая впоследствии легла в основу его собственной философии. Я думаю, что автор «Писем об изучении природы» нашел бы совершенно правильными соображения, высказанные Фейербахом в названной статье *против* этой мысли ****.

Теперь понятно и то, что Герцен мог, как мы видели, одобрять не подлежащий никакому сомнению крайний идеализм Лейбница, *находясь под впечатлением одного из исследований Фейербаха:* дело в том, что фейербаховы исследования по истории философии принадлежат *доматериалистическому периоду* его теоретического развития *****.

Но достойно замечания вот что. Как мы уже видели, по Фейербаху, гегелево решение антиномии между мышлением и бытием представляет собою лишь перевод на философский язык теологического учения о сотворении природы богом. Автор «Писем об изучении природы» решительно восставал против этого учения. Известно, что его дружба с Грановским надорвалась как раз по

* Вероятно, этим ее недостатком объясняется то обстоятельство, что г. А. Луначарский находит возможным противопоставлять теперь высказанный в этой книге взгляд на религию взгляду на нее «Энгельса и Плеханова». Гг. А. Луначарский и Богданов готовы рукоплескать каждому промаху всякого мыслителя, если этот промах сближает его с идеализмом.

** [«Критика идеализма»]

*** [«Критика идеализма и материалы к основоположению аподиктического реаль-рационализма»]

**** Статья против Дорфгута находится во втором томе полного собрания сочинений Фейербаха, стр. 131—145 (издание 1904 года). Прошу запомнить: я вовсе не говорю, что Фейербах впоследствии *во всем согласился с Дорфгутом.* Этого не было. Я только утверждаю, что указанная в тексте мысль, отвергавшаяся им в споре с Дорфгутом, была всецело признана им со временем. Этого довольно.

***** См. в его сочинениях (т. II, стр. 406) его собственное признание на этот счет [1].

той причине, что тот никак не хотел расстаться с многовековым теологическим положением [1]. Но восставая против него в одном его виде — в теологическом одеянии, — Герцен отстаивал [его] (в своих «Письмах»), поскольку он был одет в философский костюм *. Это была несомненная непоследовательность, которой чужды были такие люди 60-х годов, как Чернышевский и Добролюбов **. Герцен, по-видимому, и сам впоследствии отделался от нее. Но, поскольку она дала себя почувствовать в таких значительных его сочинениях, как «Письма об изучении природы», она вряд ли ускользнула от внимания наиболее образованных в философском отношении «шестидесятников». Чернышевский и Добролюбов также были убежденными последователями Фейербаха. Но тот Фейербах, за которым шли они, был Фейербах последней стадии развития, Фейербах, написавший «Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie», «Grundsätze der Philosophie der Zukunft», «Wider den Dualismus von Leib und Seele» *** и чрезвычайно характерное предисловие к первому полному изданию своих сочинений. Ввиду этого «шестидесятники» могли не без основания полагать, что они лучше знали Фейербаха и были вернее ему, нежели передовые люди 40-х годов ****. Позволительно предположить, что это убеждение обнаружилось в ироническом восклицании, посылаемом Добролюбовым по адресу Берсенева: «Вот любопытно бы послушать, что он о Фейербахе-то говорит!» [3] Если это предположение — которому, вероятно, суждено остаться не более как предположением — правильно, то «весьма хорошему русскому дворянину» Берсеневу пришлось пострадать здесь не только за себя, а чуть не за целое поколение.

Ниже я укажу на позднейшие произведения Герцена, в которых он как будто совсем разрывал с идеализмом. Теперь же я могу пока ограничиться повторением того, что не может быть и речи о приурочении этого разрыва к весне 1844 года: в ту пору он, как мы видели, еще держался за идеалистическое решение вопроса об отношении мышления к бытию.

---

* Многие немецкие читатели и почитатели Фейербаха, восхищаясь его «Сущностью христианства», тоже не давали себе ясного отчета в его основных философских взглядах. Это было замечено еще в 40-х годах прошлого века. Ср. вышеуказанную статью *Фр. Шмидта,* Deutsches Bürgerbuch [Немецкая гражданская книга], т. II, стр. 65. Не мешает заметить, однако, что от этого недостатка не свободен и сам Фр. Шмидт.

** О Чернышевском и его отношении к Фейербаху см. в моей книге «Н. Г. Чернышевский» и в статье «Эстетическая теория Чернышевского» в моем сборнике «За двадцать лет» [2].

*** [«Предварительные тезисы к реформе философии», «Основные положения философии будущего», «Против дуализма тела и души»]

**** Если судить по «Очеркам гоголевского периода русской литературы», то надо думать, что в таком случае делалось, по крайней мере, одно лестное исключение — для В. Г. Белинского.

У нас так привыкли считать Герцена «реалистом», не вкладывая, однако, в термин «реализм» сколько-нибудь определенного теоретического содержания, что многим может показаться странным сказанное мною об его идеализме. Но этот идеализм есть факт, от которого нельзя отговориться и который необходимо было отметить в интересах истории русской общественной мысли. Пожалуй, иной читатель огорчится, услыхав об идеализме автора «Писем об изучении природы»; такому читателю я расскажу в утешение вот какое происшествие.

В первую свою встречу с Энгельсом я заговорил с ним, между прочим, о Лассале, которого он, разумеется, очень хорошо знал. Характеризуя его философские взгляды, Энгельс сказал мне: «Представьте себе, что он до конца жизни верил в предсуществование гегелевых категорий (Präexistenz der Hegelschen Kategorien)!». Этому без труда поверит всякий, знакомый, например, с таким сочинением Лассаля, как «System der erworbenen Rechte» *. В миросозерцании Лассаля были свои слабые стороны. Но дело в том, что в «Письмах об изучении природы» Герцен критикует материализм именно как человек, верящий — по крайней мере, по временам — в Präexistenz der Hegelschen Kategorien. Прошу читателя припомнить, что говорит наш автор о «предсуществующем понятии», осуществляющемся в органическом процессе. Еще выразительнее в этом отношении его похвала Гегелю за попытку объяснить диалектический процесс природы, «не вводя никакой другой агенции, кроме логического движения понятия».

V

До недавнего времени был очень распространен тот взгляд, что если Белинский увлекался некогда «философским колпаком» Гегеля, то Герцен счастливо избежал этой ошибки молодости и, стоя на «реалистической» точке зрения, никогда не имел к «колпаку» никакого положительного отношения. Мы видим теперь, до какой степени это ошибочно. Герцену тоже суждено было долго носить «философский колпак» Гегеля. И архинелепо сожалеть об этом, так как это было для него не бедой, а огромным счастьем. Наш блестящий автор остался бы, по его собственному выражению, «не полон, не современен», если бы не попал в «закаляющий горн» гегелевой логики. В обычном представлении о ходе его умственного развития справедливо только то, что философия Гегеля никогда не приводила его — в противоположность с Белинским — к примирению с российской действительностью. Это различие произошло преимущественно по двум

* [«Система приобретенных прав».]

причинам: во-первых, по обстоятельствам времени; во-вторых, потому что склад ума Герцена не был похож на склад ума Белинского.

Герцен, в юности принадлежавший к «политикам», начал знакомиться с философией Гегеля несколькими годами позже, нежели Белинский [1]. Это было очень важно в такое время, когда каждый новый год приносил с собою много новых побед левому крылу гегелевой школы и много новых поражений ее правому крылу. Эти победы и эти поражения не оставались неизвестными в России. Сам Герцен весьма образно свидетельствует о том, как внимательно следили в Москве за немецкой философской литературой. «Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней» *. Он шутливо прибавляет, что все Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Ватке, Шаллеры, Розенкранцы и даже сам Арнольд Руге расплакались бы от умиления, услыхав, «какие побоища и ратования возбудили они в Москве между Маросейкой и Моховой, как их читали и как их *покупали*» **. Но читали и покупали не только Отто, Маргейнеке и Михелетов, а также и представителей левого крыла. Одного из них — Арнольда Руге — называет сам Герцен; к Руге надо прибавить Бруно Бауэра, Штирнера, уже упомянутого выше Иордана и многих других. Из дневника Герцена видно, например, что ему хорошо известно было волнение, вызванное в передовых германских кругах карой, постигшей Бруно Бауэра, у которого за его смелые богословские исследования начальство отняло licentia docendi ***. Не остался неизвестным ему и орган левых гегельянцев «Deutsche Jahrbücher» ****. Об этих последних мы встречаем в «Дневнике» такую заметку: «Ими философия германская выступает из аудитории в жизнь, становится социальна, революционна, получает плоть и, следовательно, прямое действие в мире событий. Тут видны, ясны большие шаги в политическом воспитании, и немцы делаются почти свободны от обвинений, обыкновенно налагаемых на них... Одна из статей оканчивается прямо: надобно решиться и однажды навсегда: «Христианство и Монархия или Философия и Республика!» И вот Германия lancée (бросилась.— *Г. П.*) в эмансипацию политическую» и т. д. *****.

* Сочинения, т. VII, стр. 121 [2]. Мы видели, как быстро дошел до него самого «Трехмесячник» Виганда.

** Там же, стр. 122 [3]. Курсив в подлиннике.

*** [диплом доцента.]

**** [«Немецкие ежегодники».]

***** Сочинения, т. I, стр. 30—31 [4]. «Трехмесячник» Отто Виганда тоже был органом левого крыла гегелевой школы.

Когда получаешь подобные впечатления от истолкователей данной философской системы, невозможно понять ее в смысле примирения с действительностью, — совсем наоборот *.

Учение Гегеля было подробно и последовательно разработанной системой абсолютного идеализма. Абсолютный идеализм выдавал себя за философское откровение абсолютной истины. А так как, по Гегелю, истина познается людьми лишь после того, как она воплощается в жизнь («сова Минервы вылетает лишь в сумерках»), то мыслитель, считавший себя обладателем целой системы абсолютной истины, непременно должен был считать современные ему общественно-политические учреждения весьма близкими к совершенству. «Абсолютные» претензии Гегеля подсказывали ему консервативные выводы. И кто мирился с этими претензиями, тому приходилось принимать и эти выводы. Так делал в течение некоторого времени Белинский. Но в учении Гегеля была еще другая сторона — *сторона диалектики*. Диалектический взгляд на мир, превосходно высказавшийся еще в словах Гераклита Темного: «все течет, все изменяется», исключает всякий консерватизм и заранее мирится с поступательным движением общества, разумеется, поскольку не изменяет себе. Борьба левых гегельянцев с правыми означала собою восстание людей, ценивших в учении Гегеля преимущественно его диалектическую сторону, против людей, склонявшихся к философскому абсолютизму. Герцен ясно сознавал это. Он писал: «Подвиг Гегеля состоит именно в том, что он науку так воплотил в методу, что стоит понять его методу, чтоб почти вовсе забыть его личность» **. В статье «Буддизм в науке» он едко насмехается над формалистами, которым «удивительно, о чем люди хлопочут, когда все объяснено, сознано и человечество достигло *абсолютной* *** формы бытия, — что доказано ясно тем, что современная философия есть абсолютная философия, а наука всегда является тождественною эпохе, но как ее результат, т. е. по совершении в бытии. Для них такое доказательство неопровержимо» ****. Опасаясь, что читатель усомнится в существовании подобных «формалистов», он ссылается на забытого

* Тогдашняя передовая немецкая интеллигенция — по крайней мере, в лице так называемых истинных (или философских) социалистов — справлялась с «разумностью действительности» довольно своеобразно. У Гегеля слова: «*все действительное разумно*» дополнялись словами: «*все разумное действительно*». Немецкие социалисты «истинного» направления говорили: так как наши стремления *разумны*, то они непременно будут *действительны*, т. е. *осуществятся*. Таким образом, у них учение Гегеля приводило к примирению не с действительностью, а с утопизмом. Впрочем, нет указания на то, что Герцен был знаком с этим социализмом до поездки за границу.

** Сочинения, т. II, стр. 159 [1].

*** Курсив в подлиннике.

**** Сочинения, т. I, стр. 373 [2].

теперь гегельянца Байергоффера, написавшего «абсолютную» книгу «Die Idee und Geschichte der Philosophie» *. Он нимало не скрывает своего глубокого сочувствия сторонникам диалектического миропонимания.

По его словам, они вернее Гегелю, нежели он сам; они «из его начал смело идут против его непоследовательности — с твердым сознанием, что идут *за него, а не против него*» **. Сам Гегель выходит в его обрисовке философом, понявшим глубоко революционный характер своего диалектического идеализма, но убоявшимся его. У него выходит, что этим страхом, который испытывал Гегель перед революционным характером своей собственной философии, объясняется даже тот общеизвестный факт, что Гегель писал из рук вон тяжело.

«Гегель, несмотря на всю мощь и величие своего гения, был тоже человек; он испытал панический страх просто выговориться в эпоху, выражавшуюся ломаным языком, так как боялся идти до последнего следствия своих начал; у него недостало геройства последовательности, самоотвержения в принятии истины во всю ширину ее и чего бы она ни стоила. Величайшие люди останавливались перед очевидным результатом своих начал; иные, испугавшись, шли вспять и, вместо того чтобы искать ясности, затемняли себя. Гегель видел, что многим из общепринятого надобно пожертвовать: ему жаль было разить; но, с другой стороны, он не мог не высказать того, что был призван высказать» ***. Отсюда — невероятно тяжелый язык Гегеля.

Подобный же взгляд на Гегеля встречаем мы в «Былом и Думах». Там сказано: «Гегель во время своего профессората в Берлине — долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом — намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно» ****.

Это мнение о «намеренном взвинчивании» Гегелем своей философии над земным уровнем не выдерживает критики. Его ошибочность доказана всем последующим развитием передовой мысли Запада. На самом деле революционное содержание гегелевой философии не было понято во всей своей полноте и во всех своих возможных выводах не только самим Гегелем, но даже и левыми гегельянцами. Такое понимание встречается

* [«Идея и история философии»]
** Сочинения, т. II, стр. 159 [1].
*** Сочинения, т. I, стр. 349—350 [2].
**** Сочинения, т. VII, стр. 124—125 [3].

только у Маркса и Энгельса, которые, пройдя после школы Гегеля школу Фейербаха, поставили диалектику *«на ноги»*, т. е. превратили ее из *идеалистической*, какой она оставалась у Гегеля и у левых гегельянцев, включительно до Бруно Бауэра, в *материалистическую*. Но, как бы там ни было, достойно внимания то, что Герцен и в этом случае был очень близок к левым гегельянцам Германии. В известной книге Бруно Бауэра «Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel, den Atheisten und Antichristen» * великий немецкий идеалист тоже изображается как человек, ясно сознающий те революционные «следствия», которые вытекают из его «начал». Не менее достойно внимания и то, что Бруно Бауэр, изображая Гегеля крайним революционером в области мысли, сам оставался идеалистом. Материалист Фейербах даже полемизировал с ним вследствие этого в своих «Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie» **.

VI

Выше я заметил, что ношение «философского колпака» Гегеля было не бедой, а большим счастием для Герцена, так как оно закалило его ум. Если бы теперь возможно было какое-нибудь сомнение на этот счет, то я мог бы указать на те же «Письма об изучении природы». Я обнаружил основную теоретическую ошибку их автора. Ошибку эту, по-видимому, с полным правом могут отнести на счет Гегеля: она заключалась в том, что Герцен плохо понял материалистическое учение об единстве мышления и бытия. Но дело тут было, собственно, в идеализме, а не в том особенном виде, который был придан идеализму Гегелем. И когда я говорю, что влияние Гегеля закалило ум Герцена, то я имею в виду не идеалистическую, а диалектическую сторону его философии. Насколько благоприятно было влияние на Герцена этой стороны, легко поймет всякий, кто доставит себе удовольствие перечитать «Письма об изучении природы». Письма эти, несмотря на указанную выше слабую их сторону, должны быть признаны очень большой теоретической и литературной заслугой Герцена. Подумайте только! Наш автор стремился в них проложить путь для сближения философии с естествознанием в то самое время, когда, например, Ю. Ф. Самарин хлопотал — подобно тому, как хлопочет теперь, скажем, г. Базаров, — о соединении

* [«Трубный глас страшного суда над Гегелем, атеистом и антихристом»]

** [Предварительных тезисах к реформе философии.]

философии с религией [1] *. Весьма понятно, что для сближения философии Гегеля с религией нужно было сосредоточивать свое внимание главным образом на «абсолютной» стороне гегелизма, и не менее понятно, что для сближения философии с естествознанием нужно было опираться преимущественно на диалектику. В «Письмах об изучении природы» есть поистине блестящие страницы, излагающие диалектический взгляд на мировой процесс. Я не имею никакой возможности воспроизводить здесь эти страницы: их слишком много; но я не могу устоять перед искушением выписать из них некоторые наиболее характерные отрывки.

«Бытие, — говорит Герцен, сочувственно излагая Гераклита, — живо движением; с одной стороны, жизнь есть не что иное, как движение беспрерывное, не останавливающееся, деятельная борьба и, если хотите, деятельное примирение бытия с небытием, и чем упорнее, злее эта борьба, тем ближе они друг к другу, тем выше жизнь, развиваемая ими; борьба эта вечно у конца и вечно у начала, — беспрерывное взаимодействие, из которого они выйти не могут» **.

Не подумайте, что Герцен ограничивается повторением и некоторым расширением общей мысли «темного» эфесского философа о том, что «все течет, все изменяется». Нет, он умеет пользоваться этой общей мыслью, применять ее к отдельным явлениям природы. Вот его замечания об организме.

«Животный организм представляет постоянную борьбу с смертью, которая всякий раз восторжествует; но торжество это опять в пользу определенного бытия, а не небытия. Многоначальные ткани, из которых составлено живое тело, беспрестанно разлагаются на двуначальные (т. е. на неорудные, минеральные) и беспрестанно вновь образуются; голод возобновляет требования свои, потому что беспрерывно утрачивается материал; дыхание поддерживает жизнь и сожигает организм; организм беспрерывно вырабатывает сожигаемое. Не кормите животное —у него кровь и мозг сгорят... Чем более развита жизнь, чем в высшую сферу перешла она, тем отчаяннее борьба бытия и небытия, тем ближе они друг к другу» ***.

А вот еще: «Большинство нашего времени (я разумею сознающих себя грамотеями) так отвыкло или так не привыкло к определениям мысли, что оно, только бессознательно упо-

* Проповедуя сближение естествознания с философией, Герцен иногда говорил почти буквально то самое, что Фейербах (см., например, что сказано об этом предмете у Фейербаха в его «Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie». [«Предварительных тезисах к реформе философии»]. Сочин., т. II, стр. 244) [2]. Однако и этой мысли Герцен придает в общем идеалистический оттенок, а у Фейербаха она материалистична.

** Сочинения, т. II, стр. 114 [3].

*** Там же, стр. 114—115 [4].

требляя их, не возмущается. Нас не удивляет, например, что человек в физиологическом отношении неделимое, целость, атом, а в анатомическом — многочисленная куча самых разнообразных частей; что тело наше — вместе и наше *я* и наше другое; никого не удивляет процесс возникновения, беспрерывно совершающийся около нас, эта глухая борьба бытия с небытием, без которой было бы одно безразличие; никого не удивляет эта вечность мимолетного, которою мы окружены. Назовите то, что добрые люди видят и чувствуют ежедневно, словами, — они не поймут вас и никогда не узнают в ваших словах близких знакомых» *.

Последний отрывок: «Практически мы именно гераклитовски (т. е. диалектически. — *Г. П.*) смотрим на вещи; только во всеобщей сфере мышления не можем понять того, что делаем. Не спокон ли века сознавали люди, что не мертвая косность сущего предмета, не его тождество с собою — полная истина его? Во всем живом, например, разве мы видим что-нибудь, кроме процесса вечного преображения, живущего, по-видимому, в одной перемене? Кости — самое твердое бытие организма, а мы их даже живыми не считаем» **.

Под впечатлением всех этих отрывков легко можно подумать, что они написаны не в начале 40-х годов, а во второй половине 70-х, и притом не Герценом, а Энгельсом ***. До такой степени мысли первого похожи на мысли второго. А это поразительное сходство показывает, что ум Герцена работал в том самом направлении, в каком работал ум Энгельса, а стало быть, и Маркса. Недаром Герцен проходил ту же школу Гегеля, через которую прошли почти одновременно с ним основатели научного социализма. Разница лишь в том — и это, конечно, весьма существенная разница, — что диалектика Герцена оставалась идеалистической, а диалектика Энгельса — Маркса была уже материалистической. Что я не несправедлив к Герцену, это, кажется, ясно после всего сказанного выше. Однако, на всякий случай, вот еще одно весьма убедительное доказательство.

Изложив с величайшим сочувствием диалектический взгляд Гераклита на вселенную, наш автор считает себя обязанным указать слабую сторону этого взгляда. «Мало того, что он

* Сочинения, т. II, стр. 137 [1].

** Там же, стр. 117 [2]. В январе 1845 г. Герцен с увлечением читает историю химии Дюма и делает по ее поводу следующее интересное замечание: «Без химии нет физиологии, нет, следовательно, и естественных наук. Естественные науки доселе имели чрезвычайно шаткую основу, потому что они занимались одной морфологией, а не тем, *что* изменяется в ней» (Сочинения, т. I, стр. 264) [3].

*** См. полемику Энгельса с Дюрингом, вышедшую по-русски под названием «Философия. Политическая экономия. Социализм (Анти-Дюринг)», стр. 15 и след. [4]

(Гераклит. — *Г. П.*) понял природу процессом: он понял ее самодеятельным процессом. Однако из этого движения ничего не исторгается, нет единства, которое ставилось бы временным кружением и обличалось бы результатом его и его началом. Начало движения у Гераклита — роковая, тягостная необходимость, выдерживающая себя в многоразличии, неизвестно для чего вытесняющая себя как неотразимая сила, как событие, но не как свободная, сознательная цель. Цели движению вообще Гераклит не дал; его движение конкретнее элеатического бытия, но оно абстрактно; оно громко требует цели, постоянного» *.

Это критическое замечание написано под влиянием Гегеля, как можно убедиться, прочитав страницу, посвященную критике Гераклита в гегелевых «Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie» **. Но тот факт, что Герцен был в этом случае согласен с Гегелем, обнаруживает идеалистический характер его взгляда на диалектику: только идеалист может говорить о «*цели*» вечного и мирового движения.

Вопреки своему идеалистическому характеру, диалектическая философия Гегеля благотворно повлияла на Герцена также и в том отношении, что он считал необходимым «освободить» естествознание от «абстрактных сил». Естествознание, действительно, освободилось от них впоследствии, когда возникло и распространилось учение о превращении энергии ***.

Энгельсов «Анти-Дюринг» еще и тем напоминает «Письма об изучении природы», что настойчиво твердит естествоиспытателям, как полезно было бы для них диалектически взглянуть на природу. «К сожалению, — замечает Энгельс, — до сих пор можно по пальцам пересчитать естествоиспытателей, мыслящих диалектически; вследствие этого происходят постоянные противоречия между данными опыта и принятым методом мышле-

* Сочинения, т. II, стр. 118—119 [1].

** [«Лекциях по истории философии».]

*** Герцен говорит: «Без всякого сомнения, математика ушла несравненно дальше в мышлении против физики; одна теория бесконечно малых доказывает это» (Сочинения, т. II, стр. 56 [2]). В другом месте он подробно развивает этот взгляд. Он хвалит математику за то, что она рассталась с рассудочным *то или другое*. «Что такое дифференциал? — бесконечно малая величина; стало быть, или он имеет величину, и в таком случае это величина конечная, или не имеет никакой величины: в таком случае он нуль. Но Лейбниц и Ньютон постигли шире и приняли сосуществование бытия и небытия, начальное движение возникновения, перелив от ничего к чему-нибудь. Результаты теории бесконечно малых известны. Далее, математика не испугалась ни отрицательных величин, ни несоизмеримости, ни бесконечно великого, ни мнимых корней. А разумеется, все это падает в прах перед узеньким рассудочным «то или другое» (Сочинения, т. I, стр. 294—295, примеч. [3]). Это чисто диалектический, заимствованный, к тому же, у Гегеля взгляд на математику.

ния, которыми и объясняется безграничная путаница, господствующая в настоящее время в теоретическом естествознании и приводящая в отчаяние как учителей, так и учеников, как писателей, так и читателей» *.

Энгельс повторяет здесь — разумеется, нимало не подозревая этого, — жалобы, с которыми мы встречаемся чуть не на каждой странице «Писем об изучении природы».

Гг. натуралисты до сих пор не являют большой склонности к усвоению диалектического взгляда на природу, хотя химические открытия последних лет лишний раз показали, что, как говорил Энгельс, в природе все происходит диалектически. В этом надо винить нынешний идеализм, влиянию которого подвергаются, между прочим, и естествоиспытатели и который, в противоположность с идеализмом Гегеля, совершенно не умеет обращаться с оружием диалектики.

Герцен упрекал естествоиспытателей еще в том, что они «никак не хотят разобрать отношение знания к предмету, мышления к бытию». Естествоиспытатели, по его словам, «до того боятся систематики учения, что даже материализма не хотят *как учения;* им бы хотелось относиться к своему предмету совершенно эмпирически, страдательно, наблюдая его; само собою разумеется, что для мыслящего существа это так же невозможно, как организму принимать пищу, не претворяя ее» **. Это, как говорится, не в бровь, а в глаз. Естествоиспытатели до сих пор не хотят дать себе труд разобрать отношение бытия к мышлению. Поэтому философствующие естествоиспытатели обнаруживают обыкновенно детскую беспомощность всякий раз, когда заговаривают об этом важном предмете. Для примера можно указать на Оствальда, учение которого об энергии опирается на чисто идеалистическую гносеологию; на Маха, который воскрешает Берклея, и даже на Геккеля, который иногда вдруг ни с того ни с сего обрушивается на материализм, составляющий единственно истинное содержание его монистической теории [3]. И все эти естествоиспытатели, невольно грешащие идеализмом, наивно убеждены в том, что их взгляды, как небо от земли, далеки от него. Оно и понятно: когда ученый игнорирует какой-нибудь важный вопрос теории, то он поневоле и без собственного ведома усваивает устарелое, несостоятельное решение этого вопроса. Но что касается Герцена, то он сам неправильно решал антиномию мышления и бытия, следуя Гегелю. Поэтому упрек, посылаемый им естествоиспытателям, совершенно правильный по своему существу, принимал у него

* «Философия. Политич. экономия. Социализм», изд. г. Яковенко, стр. 16 [1].

** Сочинения, т. II, стр. 40 [2].

смысл обвинения их в том, что они предпочитают крайний эмпиризм абсолютному идеализму. Формулированное таким образом обвинение это представляется, как видим, не очень страшным.

VII

26 октября 1843 года Герцен под влиянием одного разговора с И. В. Киреевским [1] внес в свой дневник, между прочим, следующие строки: «История, как движение человечества к освобождению и себяпознанию, к сознательному деянию, для них не существует, их взгляд на историю приближается к взгляду скептицизма и материализма с противоположной стороны. Вся жизнь человечества — болезненное, абнормальное явление. В этом есть сумасшедшая консеквенция» *.

В «Письмах об изучении природы» он, оспаривая то мнение, что не стоит изучать историю философии, так как она представляет собою собрание противоречащих одна другой философских систем, говорит: «Нет. У кого глаза так слабы, что за наружной формой явления они не могут разглядеть просвечивающее внутреннее содержание, не могут разглядеть за видимым многообразием невидимое единство, тому, что ни говори, история науки будет казаться сбродом мнений разных мудрецов, рассуждающих каждый на свой салтык о разных поучительных и наставительных предметах и имевших скверную привычку непременно противоречить учителю и браниться с предшественниками: это атомизм, материализм в истории; с этой точки зрения не одно развитие науки, а вся всемирная история кажется делом личных выдумок и странного сплетения случайностей — взгляд антирелигиозный, принадлежавший некоторым из скептиков и недоученной толпе» **.

Современному читателю, конечно, странно слышать тот упрек славянофилам, что их взгляд на историю приближается к материалистическому. Подобный упрек невозможен в наше время, которое в известном смысле можно назвать временем исторического материализма. Но Герцену этот материализм был совершенно неизвестен, да и к тому же он был еще плохо разработан в рассматриваемую здесь эпоху развития нашего автора. Герцен не предчувствовал, что одним из важнейших теоретических приобретений его времени будет обоснование материалистического взгляда на историю. Он полагал, что в «материализме далее Гоббса идти некуда, разве броситься

* Сочинения, т. I, стр. 140—141 [2].
** Сочинения, т. II, стр. 91 [3].

в скептицизм» *. На «Левиафана» Гоббса он, разумеется, не мог смотреть, как на удовлетворительную попытку объяснить исторический ход общественного развития [2]. Не могли удовлетворить его и взгляды французских материалистов XVIII века. Гольбах говаривал, что историческая судьба данного народа иногда на целые века определяется данным движением данного атома в голове данного тирана. *Подобный* исторический материализм, в самом деле, чрезвычайно близок к полному скептицизму. Он равносилен решительному признанию невозможности научного объяснения исторического процесса. Герцен прав, говоря, что с этой точки зрения «вся всемирная история кажется делом личных выдумок и странного сплетения случайностей», что она представляет собою «болезненно-абнормальное явление». А ему, как ученику Гегеля, хотелось понять историю именно «как движение человечества к освобождению и себяпознанию, к сознательному деянию». Он писал: «История мышления — продолжение истории природы: ни человечества, ни природы нельзя понять мимо исторического развития. Различие этих историй состоит в том, что природа ничего не помнит, что для нее былого нет, а человек носит в себе все былое свое: оттого человек представляет не только себя как частного, но и как родового. История связует природу с логикой: без нее они распадаются» **. Это значит, что он стремился и на историю взглянуть с диалектической точки зрения. При этом в своем качестве левого гегельянца он делал диалектику духовным рычагом революционного движения. «Философия Гегеля — алгебра революции, — говорил он: — она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя» ***.

Это сказано чрезвычайно хорошо и ярко. К сожалению, в этом чрезвычайно хорошем и ярком выражении истины заключена лишь одна часть ее. Философия Гегеля есть алгебра революции, потому что она «необыкновенно освобождает человека». Это так. Но о каком освобождении идет здесь речь? Об *идейном* освобождении человека. Стало быть, философия Гегеля есть алгебра революции, потому что она необыкновенно содействует выработке революционных идей. Но с точки зрения Гегеля, о методе которого говорит здесь Герцен, идеи далеко не представляют собой главной пружины исторического движения:

* Сочинения, т. II, стр. 292 [1]. Кстати. Скептицизм Юма изображается у Герцена как reductio ad absurdum [доведение до абсурда] материализма. На самом деле он представляет собою шаг назад: возврат от материализма к идеализму. Философия Юма отчасти возродилась в наше время в учении Маха, поскольку можно приписывать Маху какое-нибудь выдержанное философское учение.

** Сочинения, т. II, стр. 82 [3].

*** Сочинения, т. VII, стр. 128 [4].

«сова Минервы вылетает только в сумерки». Мы видели выше, что, говоря о гегелевой натурфилософии, Герцен одобрял великого немецкого идеалиста за его апелляцию к логическому движению понятия, как к единственной «агенции». Гегель и в своей философии истории не переставал апеллировать к логическому движению понятия как к высшей инстанции. Спрашивается: одобрял ли Герцен такую апелляцию в деле объяснения исторического процесса? На этот вопрос приходится ответить отрицательно. Я согласен, что, отвечая на него отрицательно, необходимо оговориться, но все-таки я не вижу возможности дать положительный ответ.

Необходимая здесь оговорка заключается в следующем. Держась гегелева взгляда на отношение мышления к бытию, т. е. оставаясь идеалистом в основном вопросе всякой философии, Герцен не мог не высказываться подчас как «абсолютный» идеалист и в своей философии истории. Вот наглядный пример. В «Письмах об изучении природы» он предупреждает читателя: «В сущности, все равно, рассказать ли логический процесс самопознания или исторический. Мы изберем последний. Строгий, светлый, примиренный с собою шаг логики менее сочувствующ с нами» *. Под историческим процессом самопознания он понимает здесь историческое развитие философии. У него выходит, стало быть, что все равно, рассказывать ли логический процесс самопознания, т. е. излагать ли *логику,* или же описывать и объяснять историческое движение философской мысли. Это неоспоримо с точки зрения Гегеля, у которого развитие философии, как и всякое другое развитие, определяется в конце концов логическим развитием абсолютной идеи. Высказывая эту неоспоримую с точки зрения Гегеля мысль, Герцен выступает правоверным гегельянцем, сторонником абсолютного идеализма. Но нам уже известно, что в другом месте он высказывал недовольство Гегелем за его взгляд на природу и на историю, как на прикладную логику. Значит, Герцен чувствовал несостоятельность того взгляда, в силу которого только и могло быть «все равно» и т. д. И, действительно, в своих исторических рассуждениях он очень редко прибегает к «логическому движению понятия» как наиболее глубокой «агенции»; чаще всего в них обнаруживается тот очень распространенный также и между левыми гегельянцами Германии взгляд, согласно которому ход истории определяется ходом идейного развития человечества. Этот взгляд и предрасположил Герцена к пониманию диалектики как алгебры революции.

Французские материалисты, исторические взгляды которых пугали Герцена, были в этом случае очень близки к нему.

---

* Сочинения, т. II, стр. 83 [1].

Рассуждения Гольбаха о шальном атоме, способном на долгое время определить ход человеческой истории, являлись крайностью, до которой очень редко доходили французские материалисты. Чаще всего люди этого направления утверждали: «C'est l'opinion qui gouverne le monde» — миром правит мнение. Это тот же исторический идеализм, к которому пришли впоследствии левые гегельянцы, и между ними Герцен. Если мы сравним его с философией истории Гегеля, то увидим, что он отличается гораздо меньшею глубиною. Гегель охотно повторял слова Анаксагора: «Миром правит νοῦς» (разум). Но он прибавлял при этом, что разум есть и в движении небесных светил, однако те не сознают этого. Понятие разумности было равносильно у него с понятием закопосообразности. И когда речь заходила у него об историческом движении человечества, он хорошо сознавал, что развитие «мнения» далеко не представляет собою самой глубокой его причины. Это сознание и отражалось у него ссылкой на логическое движение понятия (чтобы повторить здесь то его выражение, которое употребил Герцен). Конечно, сама по себе ссылка эта ничего не объясняла: она только напоминала о неудовлетворительности того объяснения, которое состоит в указании на «мнение». В своей «философии истории» Гегель нередко поступал так: сославшись на движение понятия — или, что все равно, на развитие абсолютной идеи, — он, как будто чувствуя бессилие этой бесплотной «агенции», неожиданно обращался к реальным общественным отношениям, ища в них разгадки данного исторического явления. Так, например, по поводу падения древней Греции он высказал много возвышенных соображений о развитии всемирного духа, а потом вдруг обратился к экономике и объявил, что Лакедемон пал вследствие неравенства имуществ [1]. Таким образом, в его «Философии истории» против его воли получалось нечто прямо противоположное тому, что он любил повторять в своих общих философских рассуждениях. Он говаривал: идеализм показывает себя как истина материализма. А в его «Философии истории» выходило, что, наоборот, материализм есть истина идеализма, или — если мы захотим выразиться точнее, — что только материализм кое-что разъясняет там, где идеализм показывает себя простой «словесностью» *. Подобные обращения к экономике, довольно частые у Гегеля, вносили материалистический элемент не только в «Философию истории», но также — что весьма замечательно — и в его эстетику. Главный недостаток исторических взглядов писателей, собравшихся на левом фланге его школы, а в том числе и Герцена, заключался именно

* См. об этом мою статью «К 60-летию со дня смерти Гегеля» в моем сборнике «Критика наших критиков» [2].

в том, что, сосредоточив свое исключительное внимание на развитии «мнения», писатели эти не заметили колоссальной плодотворности этих материалистических грехопадений Гегеля и выступали в истории чистыми идеалистами. Это было, несомненно, шагом назад в области теории. Но с ним мирились все левые последователи Гегеля, за исключением Маркса и Энгельса *. Правда, у наиболее даровитых из них оставалось в глубине их «теоретической совести» более или менее смутное сознание неправомерности такого мира. Мы увидим, как мучило впоследствии Герцена это сознание. Но полной ясности оно и у него никогда не достигло: в этом и состояла пережитая им неподдельная и глубокая теоретическая мука.

VIII

Что Герцен смотрел на развитие «мнения», как на главную пружину исторического развития, это можно доказать очень многими выписками из его дневника, а также из его «Писем об изучении природы» и из статей: «Дилетантизм в науке» и «Буддизм в науке». Ограничусь, по своему обыкновению, несколькими такими, которые представляются мне наиболее убедительными.

О древнем Востоке он говорит: «Восточный человек не понимал своего достоинства: оттого он был или в прахе валяющийся раб, или необузданный деспот» **. Вряд ли нужно разъяснять, что только с идеалистической точки зрения незаметна научная неудовлетворительность подобного *«оттого»*.

О германцах он рассуждал так: «Германец с первого появления является с характером, несравненно более освобожденным от всего непосредственного, от почвы, от поколения, даже от семьи; личность — вот идея, которую он вносит в мир, и, исчерпав все необъятное содержание своей мысли, он, будто окан-

* Один из самых видных представителей так называемого философского социализма в Германии, Мозес Гесс, находившийся под сильнейшим влиянием Фейербаха, обвинял того последнего в том, что он стоит на точке зрения абсолютного материализма (см. его статью: «Beachtenswerthe Schriften für die neuesten Bestrebungen» в «Deutsches Bürgerbuch» für 1845 [«Сочинения достойные внимания для новейших стремлений» в «Немецкой гражданской книге» за 1845 год], стр. 98). Это чрезвычайно интересно и характерно: философский социализм опирался на материалиста Фейербаха, но отвергал его материализм, поскольку не находил в материализме желанной теоретической опоры для своих утопических стремлений. По этой же причине материализм отвергался у нас субъективистами (Н. Михайловским и другими), а теперь отвергается махистами (Луначарским и Богдановым). Все, отвергавшие материализм по *этой* причине, находили, что он не оставляет надлежащего места для самодеятельности личности.

** Сочинения, т. II, стр. 96 [1].

чивая свое призвание, как завещание будущему, оставляет Déclaration des droits de l'homme *... В германцах с первого шага ясна идея, которую они внесут в мир» **.

Наконец, вот еще более замечательная мысль, сыгравшая не малую роль в истории русского общественного движения. По словам Герцена, «История человечества есть продолжение истории природы» ***, но «в природе идея существует телесно, бессознательно, подчиненная закону необходимости и влечениям темным, не снятым свободным разумением» ****, между тем как в истории начинается сознание; а «где начинается сознание, там начинается нравственная свобода; каждая личность одействоряет *по-своему* призвание, оставляя печать своей индивидуальности на событиях» *****.

Если философия Гегеля была, как говорил Герцен, *алгеброй революции*, то эта мысль Герцена о свободе личностей, действующих в истории «*по-своему*», может быть названа алгеброй исторического идеализма в его применении к философии практического действия, иначе — *алгеброй утопизма*. Измените тут терминологию, и вы получите главную мысль «Исторических писем» П. Л. Лаврова, который учил, что история делается критически мыслящими личностями, «*по-своему*» перерабатывающими культуру. Теоретическая ошибка, лежащая в основе этой алгебраической формулы утопизма, уже знакома нам в другой своей разновидности. Как помнит, может быть, читатель, Герцен, опровергая материалистическую теорию познания, доказывал, что деятельность рассудка есть actus purus ******, что поэтому опыт, возбуждая действие сознания, не определяет собою последствий этого возбуждения. Фейербах опровергал такой взгляд — разумеется, не Герценом высказанный впервые — указанием на независимую от человеческого рассудка закономерность явлений природы. Но совершенно такое же указание должно быть сделано и по отношению к истории. Если *книга природы* отнюдь не есть дикий хаос беспорядочно набросанных одна на другую букв, то ведь *и книга общественной жизни* не имеет ничего общего с подобным хаосом. Если мы разделяем то, что разделено в *природе*, и связываем то, что в ней связано, то ведь и в *общественной жизни* мы не можем по своему произволу установлять взаимную связь событий. Если мы, изучая *природу*, подчиняем вещи одну другой как причину и следствие, только потому, что таково их действительное, фактическое

* [Декларация прав человека...]
** Сочинения, т. I, стр. 175 [1].
*** Там же, стр. 380 [2].
**** Там же, стр. 377 [3].
***** Там же, стр. 380. Подчеркнуто в подлиннике [4].
****** [чистая деятельность]

соотношение, то ведь единственно поэтому мы имеем право говорить о причинах и последствиях общественных явлений. А раз это так, то всякая данная историческая личность «одействоряет *по-своему* призвание» лишь в той мере, в какой ее «нравственно свободная работа» опирается на закономерный ход общественного развития и выражает его собою. Герцен хвалил Гегеля за то, что он «освобождает в полном развитии человека от его материального определения» [1], другими словами, за то, что, по Гегелю, чем беднее развитие человека, тем более он зависит от природы. Эта похвала занесена в его дневник 14 апреля 1844 г., статья же («Буддизм в науке»), в которой говорится о личности, свободно «одействоряющей призвание», помечена 23 марта 1843 г., т. е. окончена более чем за двенадцать месяцев до того. Вполне позволительно думать, что похвала не чужда была связи с разбираемым местом статьи. Вероятно, Герцен потому и одобрил в дневнике мысль Гегеля, что она показалась ему новым подтверждением его собственной мысли об отношении естественной законосообразности к нравственной свободе. Но противопоставления закономерности свободе были вообще не в духе гегелевой философии. Гегель сказал: «Die Freiheit ist dies: nichts zu wollen, als sich» * (свобода состоит в том, чтобы не желать ничего, кроме себя). И это было поистине гениальное определение; однако оно нисколько не исключало закономерности в процессе *возникновения* желаний. Наоборот, оно непременно предполагало ее, так как и желание не возникает же без причины. К тому же еще Шеллинг показал, что если бы не существовало необходимости — т. е. закономерности, — то невозможна была бы и свобода **. Наконец, Герцен как будто упустил здесь из виду, что понятие *закономерности* не исчерпывается понятием *закономерности явления природы*, так как есть еще *закономерность исторического процесса*. Но эта ошибка сделана им — или, может быть, надо сказать: эта неясность мысли была допущена им у себя здесь — именно потому, что исторический идеализм, на почве которого он стоял вместе со всем левым крылом гегелевой школы ***, сосредоточивал свое внимание на развитии идеи, т. е. на *сознательной* деятельности общественного человека, а она представляется свободной деятельностью, не подчиненной закону необходимости. В этой области только научный анализ устраняет ту абстракцию, в силу кото-

---

* Hegel's Werke, 12-er Band, S. 98 [2].

** Это едва ли не самая гениальная мысль его [3].

*** Я уже заметил выше, что в данном случае я не причисляю сюда Маркса и Энгельса. Да и ошибочно было бы поступать так, потому что их взгляды вышли далеко за пределы левого гегельянства: основатели научного социализма сами нередко *противопоставляли* себя левым гегельянцам.

рой человек сознает себя как причину, не сознавая себя следствием *.

Заканчивая свою статью «Буддизм в науке», Герцен говорит: «Августин на развалинах древнего мира возвестил высокую мысль о веси господней, к построению которой идет человечество, и указал вдали торжественную субботу успокоения. Это было поэтико-религиозное начало философии истории; оно, очевидно, лежало в христианстве, но долго не понимали его; не более как век тому назад человечество подумало и в самом деле стало спрашивать отчета в своей жизни, провидя, что оно не даром идет и что биография его имеет глубокий и единый всесвязывающий смысл. Этим совершеннолетним вопросом оно указало, что воспитание оканчивается **. Наука взялась отвечать на него; едва она высказала ответ, явилась у людей потребность выхода из науки — второй признак совершеннолетия. Но для того, чтобы своими руками растворить двери, наука должна совершить во всей полноте свое призвание; пока хоть одна твердая точка остается непокоренною самопознанием, внешнее будет противодействовать... Из врат храма науки человечество выйдет с гордым и поднятым челом, вдохновенное сознанием: omnia sua secum portans *** — на творческое создание воли божией» ****.

Все это в высшей степени характерно для *тогдашнего* Герцена, и все это вполне согласно с духом исторического идеализма. Я, конечно, не стану поднимать вопрос о том, лежало ли в христианстве какое-нибудь начало философии *земной* истории: ясно, что, утверждая это, Герцен платил дань тем мистическим увлечениям, которым он поддался во время своей первой ссылки. Но посмотрите, с какой поры начинается, по его мнению, совершеннолетие человечества: как раз с того XVIII века, который с непоколебимым убеждением повторял: «миром правит мнение». Наука выясняет совершеннолетнему человечеству смысл его собственной биографии. Когда все будет ясно с этой стороны, тогда противодействие «внешнего будет побеждено, и человечество

* Недаром Шеллинг говорил в своем вышеназванном сочинении, что *бессознательное* и есть необходимость в ее противоположности свободе [1].

** Т. е. воспитание рода человеческого. Герцен несколько выше приводит в своей статье это выражение Лессинга.

*** [все свое неся с собой]

**** Сочинения, т. I, стр. 382—383 [2]. Употребленный здесь Герценом термин «самопознание» заставляет вспомнить любимое выражение Бруно Бауэра: Selbstbewusstsein (самосознание) и едва ли не доказывает лишний раз, что сочинения Бауэра были знакомы Герцену. Отличие Бауэра от Фейербаха в том и состояло, что он оставался идеалистом в то время, как Фейербах перешел на почву материализма. Впрочем, в исторической области сам Фейербах оставался идеалистом.

гордо примется за устройство царства божия на земле». Это исторический идеализм в его самом крайнем выражении: все последующее развитие общества целиком приурочивается здесь к покорению знанием «твердых точек» бессознательности; план «божьей веси» будет выработан людьми науки. Именно так смотрели просветители XVIII в.; они только выражались немного иначе: та роль, которую схема Герцена отводит *науке*, принадлежала у них *философии*. Следует помнить, однако, что под наукой Герцен разумел именно философию — конечно, не ту, которой увлекался XVIII век, — но все-таки философию *.

«Твердые точки», подлежащие покорению наукой, — это различные предрассудки, унаследованные человечеством от времени его малолетства и несовершеннолетия. Чем меньше таких «точек», тем легче построить «весь божию». Просветителям XVIII века казалось иногда, что освободительная заповедь их философии с гораздо меньшим трудом будет осуществлена в «новых странах», только недавно выступивших на путь европейской цивилизации. Герцен согласен с ними. В дневнике (29 октября 1844 г.) он потому осуждает заведение у нас майоратов [1], что этим путем теряют «те выгоды, которые мы имели перед Европой, те выгоды, о которых Бентам писал к императору Александру I, когда он воцарился, что ему легче, нежели какому-нибудь (другому. — *Г. П.*) монарху, дать дельные законы, потому что предрассудки римско-феодальные не мешают» **.

Такой взгляд на наши «выгоды» перед Европой высказывался и раньше Герцена: его защищал еще пессимист Чаадаев, а впоследствии он сохранился у нас до Н. К. Михайловского включительно.

Исторический идеализм вообще сильно преувеличивал роль личностей в истории, особенно личностей, располагавших политической властью. Но роль эта должна была принимать в их представлении совсем уже беспредельные размеры, когда речь заходила о «новых странах», чуждых «римско-феодальных предрассудков» и потому считавшихся — как мы только что видели — более доступными сознательному воздействию со стороны своих властителей. Это мы видим и у Герцена. «Патология и характеристика Екатерины, Павла и Александра —

---

* Прибавлю, что так как на той же идеалистической точке зрения стоял и немецкий философский идеализм 40-х годов, то можно предположить, что, говоря о построении наукой «веси божьей», Герцен находился не столько под влиянием французских просветителей XVIII века, сколько под влиянием современного ему немецкого утопического социализма.

** Сочинения, т. I, стр. 276 [2].

единственный ключ к пониманию русской истории нового времени», — говорит он в дневнике (5 марта 1844 г.) *. С этим вряд ли согласится теперь даже наименее склонный к историческому материализму русский историк.

IX

Как будет построена совершеннолетним и просвещенным человечеством «весь божия»? В своей статье наш автор отказывается отвечать на этот вопрос.

«*Как* именно принадлежит будущему, — говорит он. — Мы можем предузнавать будущее, потому что мы — посылки, на которых оснуется его силлогизм, но только общим, отвлеченным образом» **. Но в статье нет даже и «общих, отвлеченных» указаний на то, что, собственно, «предузнавал» он в будущем. «Когда настанет время, молния событий раздерет тучи, сожжет препятствия, и будущее, как Паллада, родится в полном вооружении»; — вот все, что решается сказать Герцен. Оно и понятно: тогдашняя цензура не отличалась кротостью. В дневнике он выражается несравненно откровеннее, и там мы увидим, что его сочувствие принадлежало социализму. Усердно изучая Гегеля и левых гегельянцев, он с не меньшим усердием следил за социалистической литературой. Его знакомство с ней даже предшествовало знакомству его с литературой философии: он увлекался Сен-Симоном еще в годы своего студенчества. Но в то время, к которому принадлежит дневник (1842—1844 гг.), он больше читал фурьеристов, особенно В. Консидерана, Луи Блана и Прудона. В феврале 1843 г. он так формулировал для себя общую задачу будущей социальной реформы: «Общественное управление собственностями и капиталами, артельное житье, организация работ и возмездий (т. е., конечно, вознаграждений за работы. — *Г. П.*) и право собственности, поставленное на иных началах. Не совершенное уничтожение личной собственности, а такая инвеститура обществом, которая государству дает право общих направлений» ***. Эта программа ближе к сен-симонизму, как он выразился в трудах учеников Сен-Симона; но Герцен тут же замечает, что «фурьеризм, конечно, всех глубже раскрыл вопрос о социализме» ****. Впрочем, и это вовсе

* Сочинения, т. I, стр. 180 [1]. Это гораздо более идеалистический взгляд, нежели та мысль Гоголя (в его лекции о средних веках), согласно которой «вся средняя история есть история папы» [2]. Под папой Гоголь все-таки понимает не отдельного человека, а *целое учреждение*.

** Там же, стр. 383 [3].

*** Сочинения, т. I, стр. 83 [4].

**** Там же [5].

не свидетельствует о безусловном увлечении фурьеризмом. В другом месте дневника мы читаем у него, что, «без всякого сомнения, у сен-симонистов и у фурьеристов высказаны величайшие пророчества, *но чего-то* недостает» *. Фурьеризм вызывает в нем критическое отношение своей «убийственной прозаичностью», а в сен-симонизме ученики погубили, по его словам, учителя. Очевидно, что, говоря это, Герцен имел в виду странности Анфантена и его ближайших единомышленников [2]. Однако моя задача заключается здесь в изложении и критике философских, а не социалистических взглядов Герцена. Поэтому я могу ограничиться тем замечанием, что в 40-х годах Герцен продолжал стоять на точке зрения *утопического социализма*, и прямо перейти к оценке того влияния, какое имел *Гегель* на его отношение к социалистической теории.

В «Письмах об изучении природы» он делает следующее неожиданное и в то же время весьма замечательное сближение современных ему социалистов с неоплатониками: «У неоплатоников — почти как у нынешних мечтателей-социалистов — пробиваются великие слова: примирение, обновление... но они остаются отвлеченными, неудобопонятными... неоплатонизм был для ученых, для немногих» **. Всмотримся в это сопоставление сначала со стороны той похвалы, которая в нем содержится.

Социалисты — названные мечтателями, вероятно, для успокоения цензуры — произносят великие слова: «обновление» и «примирение». Эта похвала социалистам не раз повторяется Герценом и в других местах. Это показывает, что он смотрел на их дело прежде всего как на дело примирения. И он был прав в том смысле, что они сами так смотрели на свое дело. Они, как огня, боялись классовой борьбы, и их программы рассчитаны были на водворение мира между различными общественными классами ***. Одной из причин позднейшего разочарования Герцена в Западной Европе послужило то обстоятельство, что события 1848—1849 гг. вместо мирного решения социального вопроса ознаменовались кровавой борьбой между пролетариатом и буржуазией во Франции, т. е. в самой передовой стране того времени (по крайней мере, на материке Европы) ****, и это совсем неудивительно со стороны исторического идеалиста. Если построение «веси божьей» замедляется теперь только тем, что наука осветила пока еще не все «твердые точки», и если

* Там же, стр. 187. Курсив в подлиннике [1].

** Сочинения, т. II, стр. 180 [3].

*** Исключения есть, но они совсем не характерны для утопического социализма того времени [4].

**** Подробнее см. об этом в моей статье «А. И. Герцен и крепостное право» в ноябрьской книжке «Современного Мира» за прошлый год [5].

совершеннолетнее человечество ждет лишь окончания этого теоретического дела, чтобы торжественно приняться за практическое дело общественной реформы, то ясно, что почин и главное руководство в этом последнем должно принадлежать тем классам или слоям, которые ярче других освещаются светом науки. Народная масса — даже западноевропейская — представлялась Герцену почти совершенно неспособной понимать научные выводы: «Доселе с народом можно говорить только через священное писание», — замечает он в своем дневнике *. И в этом выразилось у него не мимолетное настроение, а твердое убеждение. Приехав в Париж в 1847 г. и убедившись в том, что французская буржуазия, даже в лице своей интеллигенции, не намерена браться за общественную реформу, он начал задумываться о том, что произошло бы, если бы за нее пришлось взяться одному пролетариату. И вот заключение, к которому он пришел на этот счет:

«Надежда у буржуазии одна — невежество масс. Надежда большая, но ненависть и зависть, месть и долгое страдание образуют быстрее, нежели думают. Может, массы долго не поймут, чем помочь своей беде, но они поймут, чем вырвать из рук несправедливые права, не для того, чтоб воспользоваться, а чтоб разбить их, не для того, чтоб обогатиться, а чтоб пустить других по миру» **.

При таком взгляде на *психологию* классовой борьбы и на ее *возможный исход* ничего другого не оставалось, как стремиться к *примирению*. Но примирение примирению рознь. Примирение не всегда исключает борьбу; напротив, очень часто оно предполагает ее как свое необходимое условие. Логика Гегеля, имевшая такое большое влияние на Герцена, не знает другого пути для примирения (в высшем единстве) противоречащих один другому элементов данного понятия, кроме их непримиримой взаимной борьбы. Сам Гегель умел смотреть на классовую борьбу, как на выражение «принципа жизненности» (Princip der Lebendigkeit), который, вызывая общественное возбуждение, им же и питается ***. Поэтому Герцен, отвергая классовую борьбу вслед за французскими социалистами-утопистами, *изменял диалектическому методу своего учителя*. Разумеется, он сам не замечает своей непоследовательности. Но непоследовательность была налицо и мстила за себя, внося скептический элемент в отношение Герцена к социализму и чувство неудовлетворенности в его сердце.

---

* 24 марта 1844 г.; Сочинения, т. I, стр. 187 [1].

** «Письма из Франции и Италии», — Сочинения, т. IV, стр. 192 [2].

*** См. его глубокое замечание о внутренней борьбе в средневековых городах «Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte» [«Лекции по философии истории»], изд. Эд. Гансом, стр. 393—394 [3].

Герцен верит в социализм. И тот же Герцен вписывает в свой дневник, например, такие признания: «Читаю IV том L. Blanc *. Как подл и отвратителен Лудвиг-Филипп и его правительство в истории с герцогиней Беррийской... Вообще, историю этого времени читать грустно, все так мелко, пошло... Разумеется, прорываются громадные деяния и громадные характеры, но это исключение. Таков книгопродавец и типограф Бот в первых днях июльской революции, отдельные сцены в истории Cloitre de St.-Mery **, Rodde, идущий продавать афишку, рыцарь-демократ Ар. Карель, итальянец Бонаротти, старец карбонаризма, великая, святая личность и огненная натура Маццини, и... и вся бесполезность их усилий. Это опять отбрасывает во все ужасы скептицизма» (21 декабря 1843 г.) ***. Это именно та неудовлетворенность, на которую я намекнул выше, и происходила она именно из указанного мною источника: человек, прошедший через школу Гегеля, непременно должен был предъявить к социалистической идее более глубокие требования, нежели те, которые обнаруживаются в приведенных рассуждениях Герцена.

X

В «Письмах об изучении природы» мы читаем: «Дело науки — возведение всего сущего в мысль. Мышление стремится понять, усвоить вне-сущий предмет и с первого приступа начинает отрицать то, что его делает внешним, другим, противоположным мысли, т. е. отрицает непосредственность предмета, обобщает его и имеет уже с ним дело, как с всеобщим: таким оно старается его понять. Понять предмет — значит раскрыть необходимость его содержания, оправдать его бытие, его развитие» ****.

Несколько ниже там же говорится: «ибо доказательство только и состоит в раскрытии необходимости предмета».

Герцен и здесь рассуждает как идеалист. Но здесь его идеализм не тот, который выразился в убеждении, что миром правит мнение. Напротив, здесь мы имеем дело с тем идеализмом Гегеля, который, как уже сказано выше, не уживался с этим убеждением. Если доказать предмет — значит раскрыть его необходимость, то «доказать» социализм — значит понять его как необходимый продукт общественного развития. Но что значит понять его как такой продукт? Значит ли это показать

* [Л. Блана.] Т. е. четвертый том его «Histoire de dix ans». [«Истории десяти лет».]

** [монастыря Сен-Мери]

*** Сочинения, т. I, стр. 155—156 [1].

**** Сочинения, т. II, стр. 77 [2].

его соответствие с нашими собственными стремлениями, симпатиями и антипатиями? Нет! Наши собственные стремления, симпатии и антипатии могут оказаться в действительности принадлежностью небольшой горсти людей, лишенных всякого серьезного влияния на ход событий. Герцен прекрасно понимал это. «Наше состояние безвыходно, — писал он однажды, — потому что ложно, потому что историческая логика указывает, что мы вне народных потребностей, и наше дело отчаянное страдание» *. А что если историческая логика укажет, что и социализм вне народных потребностей Запада? Тогда, очевидно, и на долю западноевропейских социалистов останется одно отчаянное страдание. Когда Герцен признавался в своем дневнике, что самоотверженные усилия революционеров и социалистов Западной Европы представляются ему бесполезными, он, несомненно, был недалек от подобного взгляда на дело **. Но не подлежит сомнению, что такой взгляд в самом деле должен был «отбрасывать во все ужасы скептицизма». Чтобы раз навсегда отогнать от себя эти ужасы, необходимо было обнаружить теоретическую несостоятельность этого взгляда. Но как? Для этого был только один путь, и он указан мною выше. Герцен только в том случае мог вполне убедить себя, что социализм не лежит вне народных потребностей Запада, если бы ему удалось обнаружить *объективную необходимость социальной «реформы»*. А как можно было сделать это? Тут тоже был только один путь: надо было покинуть точку зрения исторического идеализма. Стоя на ней, Герцен утверждал: «Мы можем предузнавать будущее, потому что мы — посылки, на которых обоснуется его силлогизм». Покинув же эту точку зрения, он должен был сказать: «Мы можем предузнавать будущее, потому что видим те его посылки, которые уже находятся в действительности настоящего времени». Таким образом, все дело свелось бы для него к анализу этой действительности с целью обнаружения этих объективных посылок. Но от этого коренным образом

* «Дневник» от 21 апр. 1843 г. — Сочинения, т. I, стр. 98 [1].

** Интересная подробность: отвергая классовую борьбу, Герцен вовсе не был тогда против революционного способа действий. Это происходило вследствие весьма распространенного идеалистического взгляда, согласно которому великие революционные движения представляют собою не взаимную борьбу двух классов, а борьбу свободы с деспотизмом, справедливости с несправедливостью, истины с заблуждением и т. п. Великая французская революция пользовалась глубочайшими симпатиями Герцена до самого конца его жизни. Для него, как видно, остался неясным ее классовый характер, несмотря на то, что был очень недурно выяснен еще французскими историками времен реставрации — например, Огюстэном Тьерри, одной из работ которого Герцен посвятил даже особую статью («Рассказы о временах Меровингов» во II т. женевского издания сочинений) [2].

изменилось бы и его отношение к программе будущих общественных реформ. В качестве исторического идеалиста он считал возможным *придумать* план этих реформ: «общественное управление собственностями и капиталами, артельное житье» и т. д. Критерием для оценки этого плана служил его субъективный взгляд на свободу личности, права государства и проч. При отказе от исторического идеализма немедленно бросилась бы в глаза полная неудовлетворительность такого критерия. Тогда пришлось бы анализировать исторические условия возникновения данного вида собственности и те новые общественные явления, благодаря которым этот вид мало-помалу, в свою очередь, оказывается «вне народных потребностей». И то же самое Герцену пришлось бы сделать по отношению ко всем другим пунктам своей социалистической программы. Он сам говорил это — правда, сам того не сознавая, — когда занимался *«алгеброй» мышления*. Он писал: «Само собою разумеется, что мысль предмета не есть исключительное личное достояние мыслящего; не он вдумал ее в действительность, она им только сознана; она предсуществовала как скрытый разум в непосредственном бытии предмета» *. Достаточно было от *«алгебры»* мышления перейти к *арифметике* общественного порядка, чтобы увидеть, в чем заключалось то необходимое и достаточное условие, которому должна была удовлетворять социалистическая программа: она должна была явиться не как «личное достояние» того или другого общественного реформатора — Сен-Симона, Фурье, Пьера Леру, Кабэ или Прудона, — а как обнаружение того «скрытого разума», который заключается «в непосредственном бытии предмета», в данном характере общественных отношений и в данном направлении их развития. То правда, что если бы программа Герцена удовлетворила этому условию, он сделался бы основателем научного социализма. Правда и то, что диалектический метод мог быть успешно применен к изучению закономерного хода общественного развития лишь после того, как сам он подвергся коренному превращению, т. е. когда идеалистическая диалектика Гегеля уступила место материалистической диалектике Маркса — Энгельса.

А пока что людям, испытавшим на себе влияние диалектики, которое весьма значительно повышало их умственную требовательность, — и вообще имевшим глубокие теоретические интересы, — предстояло вплотную подходить к задаче колоссальной важности, остававшейся неразрешенной для них за недостатком данных. Мучительность этой драмы нимало не ослаблялась тем, что завязка ее совершалась в области теории: лучшие «люди сороковых годов» умели связывать самые глубо-

* Сочинения, т. II, стр. 78[1].

кие вопросы теории с самыми жгучими вопросами общественной жизни.

Те, которые укоризненно качают головой в сторону Белинского за его временную слабость к «философскому колпаку» Гегеля, чаще всего питают то утешительное для них убеждение, что, по крайней мере, Герцен легко справился с «вражьей силой» колпака. Это утешительное убеждение в корне ошибочно; но надо признать, что сам Герцен отчасти, хотя и невольно, способствовал его выработке.

XI

В «Былом и Думах» он говорит: «Философская фраза, наделавшая всего больше вреда и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии: «все действительное разумно», была иначе высказанное начало *достаточной причины* и соответственности логики и фактов. Дурно понятая фраза Гегеля сделалась в философии тем, чем некогда были слова христианского жирондиста Павла: «Нет власти, как от бога». Но если все власти от бога и если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана. Формально принятые, эти две сентенции — чистая тавтология»*.

Наш блестящий автор выражается здесь несколько небрежно, и может показаться, что он делает логическую ошибку. В самом деле, из того, что *всякая власть* от бога, еще не следует, что от бога же *всякая борьба* против данной власти. То же и с общественным порядком. Но рассуждение Герцена необходимо понимать в том гораздо более широком смысле, что если *все существующее* разумно, то разумна, между прочим, и всякая данная борьба со всякой данной властью и со всяким данным общественным порядком. Понятое таким образом, оно, конечно, верно. Гегеля, в самом деле, ошибочно понимали те, которые, опираясь на его слова: «все действительное разумно», отстаивали разумность всего существующего. У него понятие *действительного* далеко-далеко не покрывалось понятием *существующего*. Но неправильно понимал его и Герцен, называя его тезис «иначе высказанным началом достаточной причины» [2]. Это начало несравненно беднее содержанием, нежели этот тезис. Все существующее имеет свою достаточную причину. Но не всякая причина «*достаточна*» для того, чтобы явление, обязанное ей своим существованием, было *действительным*. «Старый порядок» существовал во Франции вплоть до революции. И само собой разумеется, что была достаточная причина для его существования, скажем, в апреле

* Сочинения, т. VII, стр. 126 [1].

1789 года. Но тогда он уже не был *действительным*, он сделался «*призрачным*», так как уже прошло его время. Действительным было тогда именно направлявшееся *против него общественное движение*, потому что оно выражало собой глубочайшую общественную потребность тогдашней Франции *. По Гегелю, всякий данный общественный порядок сам порождает в *процессе своего развития* те силы, которые в конце концов разрушают его и вызывают появление на его развалинах нового порядка. Действительно, а следовательно и разумно, только то отрицание этого порядка, которое опирается на эти силы или, вернее сказать, является сознательным выражением их бессознательного исторического действия. Белинский почувствовал это своим гениальным чутьем, ознакомившись с философией Гегеля. Его «примирение с действительностью» означало лишь то, что он отрицает всякое отрицание, не опирающееся на закономерный ход общественного развития. Если он отверг «абстрактный идеал», то лишь потому, что не сумел «развить идею отрицания», т. е. найти для нее объективную основу. Он обнаружил при этом гораздо более глубокий взгляд на учение Гегеля о разумности всего действительного, нежели Герцен, приравнявший это учение к «началу достаточной причины».

Как это часто бывает, одна ошибка повела за собой другую. Только объявив «философскую фразу» великого мыслителя новой формулировкой той старой мысли, что нет действия без причины, Герцен мог поставить на одну доску с Гегелем автора «системы экономических противоречий». Маркс показал в своей книге «Нищета философии», что метод Прудона не имел ничего общего с методом Гегеля. Возвращаться к этому предмету нет ни малейшей надобности. Но читатель должен помнить вот что. Критикуя капиталистический порядок, Прудон рассуждал как идеалист чистейшей воды: задача общественного реформатора сводилась им к сохранению хороших сторон нынешнего способа производства и к удалению дурных. Он и не подозревал, что в ходе экономического развития есть своя внутренняя («имманентная», как сказал бы Гегель и как говорил Маркс) логика, обусловливающая собою и дурные, и хорошие стороны создаваемого ею общественного порядка, и что данная программа общественного переустройства только тогда не утопична, когда за ее осуществление ручается эта объективная логика. Прудон повторил тут ошибку, делаемую всеми последовательными сторонниками исторического идеализма **. Но к их числу

* Поэтому Гегель говорил о Великой французской революции с истинным энтузиазмом [1]. Прибавлю еще, что иное дело — начало достаточной причины, а иное дело — соответствие логики с фактом.

** Интересно, что философию Гегеля излагали ему немецкий утопист Карл Грюн и русский утопист Михаил Бакунин.

принадлежал, как мы знаем, и Герцен. И, поскольку он принадлежал к их числу, он сам упускал из виду необходимость опираться на объективную логику исторического движения. Вот почему он и не заметил, что метод Прудона был совершенно несовместим с методом Гегеля. Но по той же самой причине не заметил он и глубокой разницы между «началом достаточной причины» и учением Гегеля о разумности всего действительного.

Из всего этого — скажу еще раз — следует, что в «Былом и Думах» Герцен проявил *менее глубокое* понимание гегелева метода, нежели то, которое было проявлено Белинским в эпоху своего мучительного примирения с российской действительностью. Это обстоятельство и подкупает обыкновенно господ, только по наслышке знающих о «философском колпаке Егора Федорыча» [1]. Оно-то и дает им приятный для них повод думать, что «колпак» не имел вредного влияния на Герцена. Но я был бы несправедлив к автору «Писем об изучении природы», если бы не постарался показать, что такая похвала заслужена была им в значительно меньшей степени, чем это думают. Надеюсь, что это отчасти уже выполнено мною. Но есть одна сторона вопроса, на которую я до сих пор почти только намекал и которую теперь надо разобрать полностью.

В начале статьи я сказал, что сделанное Герценом неудачное сопоставление Прудона с Гегелем обозначает собою предел, дальше которого не пошел он в понимании своего учителя философии. Теперь нужно прибавить, что раньше им была сделана чрезвычайно интересная попытка перейти этот предел и что эта философская попытка — вообще говоря, не увенчавшаяся успехом, — оставила свой след на его общественных взглядах. Мало заметный в течение первой половины 40-х годов, этот след становится заметным в конце второй их половины, в сочинениях, написанных под впечатлением неудачного исхода февральской революции.

В богатой теоретическим содержанием статье «Буддизм в науке» Герцен приводит «чрезвычайно глубокомысленные» слова Гегеля: «Понять *то, что есть*, — задача философии, ибо *то, что есть*, — разум» *. Эти слова Гегеля выражают хорошо знакомую нам мысль о разумности всего действительного. Но здесь Герцен еще не отождествляет этой мысли с началом достаточной причины, как он сделал это потом в «Былом и Думах». Наоборот, здесь он истолковывает ее в совершенно правильном смысле *внутренней* закономерности исторического процесса, т. е. в том самом смысле, в каком понял ее в конце 30-х годов Белинский. Конечно, между Герценом и Белинским

* Сочинения, т. I, стр. 364 [2].

была в этом случае та — уже отмеченная выше — разница, что они сделали из этой мысли прямо противоположные выводы: один умозаключил от нее — по крайней мере, на время — к неизбежному торжеству прогрессивных стремлений, а другой отверг — правда, тоже лишь на время — эти стремления как чисто субъективные. Но я уже ставил читателю на вид, что в то время, когда Герцен принялся изучать философию Гегеля, гораздо легче было понять ее в диалектическом — а стало быть, и в прогрессивном — смысле, нежели в «абсолютном» смысле консерватизма. Да и темперамент Герцена заставлял его интересоваться больше вытекающими из данного учения *практическими* выводами, нежели его основными *теоретическими* посылками. Белинский, несомненно, был более «философской организацией», нежели Герцен. Замечу мимоходом, что именно этому обстоятельству обязан был «неистовый Виссарион» той неуклонной последовательностью своей в практических выводах, которая даже вовсе не робкого Герцена заставляла называть его фанатиком и «человеком экстремы» [1]: глубочайший интерес к теории есть едва ли не самое важное из всех условий, способных обеспечить последовательность «практического разума». Но, как бы там, однако, ни было, факт тот, что и Герцен не всегда отождествлял учение о разумности действительного с началом достаточной причины. Он склонился к подобному отождествлению только тогда, когда занятия философией отошли для него в область прошедшего и когда между ним и Гегелем стал целый ряд потрясающих событий 1848—1849 гг., которые надолго лишили его необходимой для теоретических занятий ясности духа. А пока он еще не пережил этих страшных годов, ему чаще вспоминались заветы Гегеля, и тогда он — замечательная черта, неожиданно сближающая его с автором статьи о Бородинской годовщине [2], — начинал сомневаться в социализме, как в идеале, не имеющем под собой *объективной* основы, т. е. тогда он сам отвергал абстрактный идеал.

XII

Это всего нагляднее показывает глава «Перед грозой» в книге «С того берега». Глава эта помечена 31 декабря 1847 г., — значит, ее содержание никак не может быть объяснено разочарованием, причиненным революционными неудачами. В ней, действительно, сквозит сильное разочарование, но только совсем не то, о котором любят распространяться биографы Герцена. Нужно лишь небольшое внимание, чтобы убедиться в этом.

Статья представляет собою разговор двух русских, одинаково интересующихся жгучими вопросами западноевропей-

ского развития, но неодинаково относящихся к тем их решениям, которые предлагались тогдашним утопическим социализмом. Один из собеседников, высказывающий настроение самого автора, говорит между прочим: «*Нет причины думать, что новый мир будет строиться по нашему плану...*» *

Другими словами: закономерный ход исторического развития не дает нам никакого ручательства за будущее осуществление социалистического идеала. Теперь вспомните то утверждение автора «Писем об изучении природы», что «доказательство только и состоит в раскрытии внутренней необходимости предмета», и скажите сами, как смотрел Герцен на передовой идеал европейского Запада *еще в конце 1847 года*. Двух мнений тут быть не может: если нет причины думать, что новый мир будет строиться по нашему плану, то это значит, что мы не видим его внутренней необходимости, а не видя внутренней необходимости предмета, мы не умеем доказать его. Итак, социализм есть нечто недоказанное, субъективное, не опирающееся на объективную логику общественной жизни. Это «лейтмотив», проходящий через всю главу «Перед грозой» и показывающий, до чего ошибочно понималось обыкновенно влияние *грозы* на Герцена. Собеседник, устами которого говорит наш автор, настойчиво повторяет: «Наша цивилизация — лучший цвет современной жизни; кто же поступится своим развитием? Но какое же это имеет отношение к осуществлению наших идеалов, где лежит необходимость, чтобы будущее разыгрывало нами придуманную программу?» **

Сказать, что социализм не «*доказан*» как «*необходимое*» будущее, следствие общественного развития; признать, что социалисты «вдумали» свою мысль в действительность, а не открыли ее там, — это для человека, вкусившего от плода диалектики, равносильно было признанию теоретической несостоятельности социалистического идеала. А признание такой его несостоятельности неизбежно вело к разочарованию в нем. Цитируемая мною здесь глава книги «С того берега» изобилует доказательствами такого разочарования. Сравнивая положение своих единомышленников с положением деятелей времен великой революции, собеседник-Герцен, делает, например, такое замечание: «Свидетели всего бывшего, мы не можем иметь надежды наших предшественников. Глубже изучивши революционные вопросы, мы требуем теперь и больше и шире того, что они требовали, а их-то требования остались тою же неприлагаемостью, как были. С одной стороны, вы видите логическую последовательность мысли, ее успех; с другой — полное бес-

* Сочинения, т. V, стр. 25. Курсив мой. — *Г. П.* [1]
** Сочинения, т. V, стр. 26 [2].

силие ее над миром глухим, немым, бессильным схватить мысль спасения так, как она высказывается ему — потому ли, что она дурно высказывается, или потому, что имеет только теоретическое, книжное значение, как, например, римская философия, не выходившая никогда из небольшого круга образованных людей» *.

На вопрос другого участника спора: «Кто же прав, мысль ли теоретическая, которая также развилась и сложилась исторически, но сознательно, или же факт современного мира, отвергающий эту мысль?» — собеседник-Герцен дает чрезвычайно характерный ответ: «Оба совершенно правы. Вся эта запутанность выходит из того, что жизнь имеет свою эмбриогению, не совпадающую с диалектикой чистого разума» **.

Это вводит нас в теоретический центр вопроса. Под диалектикой чистого разума Герцен разумеет здесь логику субъективной мысли, которая, по его мнению, находится в непримиримом противоречии с эмбриогенией общественной жизни. От этого и происходит вся путаница. Но в каком же смысле права субъективная мысль? Очевидно, она могла быть права только в смысле соответствия своих выводов со своими собственными посылками, т. е. в смысле формальной последовательности. О том, что она права в смысле соответствия своего закономерному ходу общественного развития, тут не может быть и речи: Герцен категорически заявляет, что между эмбриогенией общественной жизни и чистым разумом — т. е. социалистической мыслью — лежит целая пропасть. А это значит, что субъективная мысль не права с точки зрения диалектики Гегеля, продиктовавшей «Письма об изучении природы». Вот эта-то диалектика и вызвала разочарование Герцена в западноевропейском социализме. В «Письмах из Франции и Италии» — письмо IV, помеченное 15 сентября 1847 г., — Герцен так характеризует положение тогдашних социалистических школ:

«Попытки нового хозяйственного устройства одна за другой выходили на свет и разбивались о чугунную крепость привычек, предрассудков, фактических стародавностей, фантастических преданий. Они были сами по себе полны желанием общего блага, полны любви и веры, полны нравственности и преданности, но не знали, как навести мосты из всеобщности в действительную жизнь, из стремления в приложение» ***.

Это все то же требование «доказательства» социализма путем обнаружения его объективной необходимости. Это требование, так сильно мучившее тогда Герцена, уже самым существова-

* Там же, стр. 29—30 [1].
** Там же, стр. 30 [2].
*** Сочинения, т. IV, стр. 189 [3].

нием своим показывает, как несостоятельно было сделанное им впоследствии отождествление начала достаточной причины с учением о разумности действительного. Раз существовала социалистическая мысль, ясно, что для этого имелась достаточная причина (на это даже прямо указывает другой участник разговора «Перед грозой»). Но беда была в том, что эта *достаточная* причина оказывалась *недостаточной* для наведения мостов «из стремления в приложение, из всеобщности в действительную жизнь». Говорят, что первые «Письма из Франции и Италии» произвели тяжелое впечатление в тогдашних передовых русских кружках [1]. Некоторые либеральные историки русской общественной мысли объясняли это тем, что Герцен нападал в этих письмах на французскую буржуазную *конституцию*... А это казалось неуместным на страницах передового журнала, выходившего в пределах неограниченной российской монархии. Но вряд ли такое объяснение удовлетворительно. Во всяком случае, довольствоваться им невозможно. Необходимо также помнить, что тогдашние передовые русские кружки очень сильно увлекались утопическим социализмом и что разочарование в нем Герцена должно было подействовать на многих его читателей, как ушат холодной воды. Герцен писал, например: «Настоящим положением Франции все недовольны, кроме записной буржуазии, да и та боится вперед заглядывать. Чем недовольны, знают многие, чем поправить и как — почти никто; ни даже социалисты, люди дальнего идеала, едва виднеющегося в будущем» *. Не таких сообщений могли ожидать от него люди, с восторгом читавшие сочинения «Петра Рыжего» (Pierre Leroux) и других социалистов [3].

Но оставим это. Исторический идеалист, утверждающий, что мнение правит миром, тем самым говорит, что сознание определяет собою бытие. А человек, утверждающий, что «доказать» предмет — значит обнаружить его объективную необходимость и что мысль должна быть не «*вдумана*» в действительность, а *открыта* в ней, тем самым говорит, наоборот, что мышление определяется бытием. Мы уже знаем, что Герцен в теоретической философии удовольствовался тем идеалистическим решением вопроса об отношении мышления к бытию, которое предложено было Шеллингом и Гегелем. Мы видели также, что в своей философии истории Герцен, подобно немецким левым гегельянцам, держался исторического идеализма. Теперь мы видим, что исторический идеализм оказался совершенно неспособным справиться с задачей научного обоснования социалистического идеала и что Герцен болезненно почувствовал эту его несостоятельность. Мне остается прибавить теперь лишь очень немного.

* Сочинения, т. IV, стр. 182 [2].

XIII

Во-первых. События 1848—1849 гг. *не причинили* собою разочарования Герцена в европейском Западе, *а только усилили* его, принеся с собою множество неотразимых, как казалось Герцену, доказательств, что социалистическая мысль находится в противоречии с эмбриогенией общественной жизни. Книга «С того берега», так плохо понятая и в России и за границей, была воплем человека, к ужасу своему вполне убедившегося в том, что противоречие это неразрешимо.

Во-вторых. Задача, над которой бился в этом случае Герцен и которую значительно раньше его пытался решить Белинский своим примирением с действительностью, не переставала добиваться своего решения от передовых людей России и в последующее время. Она стояла перед ними, как сфинкс, со словами: «*Реши меня, или я пожру твой социализм*».

В-третьих. Болезненно почувствовав несостоятельность исторического идеализма в деле выяснения вопроса о связи мышления с бытием в истории человечества, Герцен естественно, хотя, должно быть, и не вполне сознательно, обратился в сторону исторического материализма. Его убеждение в том, что общинная Россия осуществит идеал социализма, выработанный индивидуалистическим Западом, представляло собою своеобразную попытку решить ту самую задачу, которую не сумела, по его мнению, решить западноевропейская мысль: русская община сыграла в его полуславянофильской теории роль страстно искомого им «моста из всеобщности в действительную жизнь, из стремления в приложение». Его апелляция к общине была полупризнанием того, что не мышление определяет собою бытие, а бытие определяет собою мышление. Это полупризнание было очень замечательно, поскольку оно шло от человека, стоявшего когда-то на почве исторического идеализма, и чрезвычайно характерно для Герцена, как для бывшего ученика Гегеля. В нем еще раз обнаружилась плодотворность влияния гегелевой диалектики на умы передовых русских людей 40-х годов *. Но так как полупризнание осталось полупризнанием, оно привело и могло привести лишь к утопическому решению рокового вопроса.

В-четвертых. Последующие статьи Герцена, отводившие такое широкое место публицистике, уже не касались тех «первых

* Полуславянофильская теория Герцена при всей своей ошибочности все-таки была значительно выше в теоретическом отношении, нежели тот абстрактный идеалистический взгляд на ход человеческого прогресса, которого Герцен держался прежде и который впоследствии возродился у нас в «формуле» П. Л. Лаврова: «Культура перерабатывается критической мыслью» [1].

вопросов» философии, которыми занимались «Письма об изучении природы», а в значительной степени также статьи «Дилетантизм в науке» и «Буддизм в науке». Поэтому они заключают в себе мало данных для суждения о дальнейшем ходе развития философских взглядов Герцена. Едва ли не наиболее характерна в этом отношении напечатанная в 8-й книжке «Полярной Звезды» остроумная статья «Aphorismata *. По поводу психиатрической теории д-ра Крупова. Сочинение прозектора и адъюнкт-профессора Тита Левиафанского» [1]. Эта философская шутка интересна именно тем, что речь ведет в ней «prosector et anatomiae professor adj.» **, т. е. натуралист, и что, написанная для натуралиста Шиффа, она очень понравилась не только ему, но и другому натуралисту, Карлу Фохту. Можно думать, что к тому времени, когда она была написана, т. е. ко второй половине 60-х годов, Герцен уже не довольствовался идеалистическим ответом Гегеля и Шеллинга на вопрос об отношении мышления к бытию. Он тогда, наверно, уже хорошо знал и вполне разделял взгляд на этот вопрос материалиста Фейербаха. Но «Aphorismata Тита Левиафанского» дают основания предполагать, что Герцен истолковывал этот взгляд — по крайней мере, по временам — в смысле того материализма, который Маркс назвал естественнонаучным в узком смысле этого слова. Замечательно, что склонность к такому материализму обнаруживается Герценом уже в цитированной выше главе книги «С того берега» («Перед грозой»), т. е. в том сочинении, в котором он так скорбно выразил свое разочарование в историческом идеализме. Вот весьма поучительный отрывок:

«Каждая эпоха, каждое поколение, каждая жизнь имели, имеют свою полноту, по дороге развиваются новые требования, испытания, новые средства, одни способности усовершаются на счет других, наконец, самое вещество мозга улучшается... что вы улыбаетесь?.. да, да, церебрин улучшается. Как все естественное становится вам ребром, удивляет вас, идеалистов, точно так некогда рыцари удивлялись, что вилланы хотят тоже человеческих прав. Когда Гёте был в Италии, он сравнивал череп древнего быка с черепом наших быков и нашел, что у нашего кость тоньше, а вместилище больших полушарий мозга пространнее; древний бык был, очевидно, сильнее нашего, а наш развился в отношении к мозгу в своем мирном подчинении человеку. За что же вы считаете человека менее способным к развитию, нежели быка? Этот родовой рост не цель, как вы полагаете, а свойство преемственно продолжающегося существования поколений» ***.

* [Афоризмы]
** [прозектор и адъюнкт-профессор анатомии]
*** Сочинения, т. V, стр. 36—37 [1].

Улучшение вещества головного мозга является одним из условий, благоприятствующих прогрессу. Это, конечно, чисто материалистическое убеждение. Но *каким образом* содействует прогрессу улучшенный церебрин? Он должен, как видно, способствовать появлению у людей более правильных взглядов на свои взаимные отношения, а следовательно, и усовершенствованию общественного строя. Стало быть, он непосредственно ведет к улучшению того самого «мнения», которое «правит миром». Материализм немедленно переходит, таким образом, в идеализм. В этом и заключается коренной недостаток «естественнонаучного» материализма. Этим же объясняется и то, что люди, более или менее последовательно держащиеся исторического идеализма, нередко очень легко мирятся с материализмом этого рода *. Когда «естественнонаучный» материализм немедленно возвращает к историческому идеализму человека, переставшего удовлетворяться идеалистическими рассуждениями, тогда этот человек должен чувствовать себя в довольно беспомощном положении **. Именно в таком положении чувствовал себя, вероятно, Герцен в то время, к которому относятся «Aphorismata Тита Левиафанского». В этой остроумной философской шутке чрезвычайно много горечи. «Не в уме сила и

* В своей книге «Н. Г. Чернышевский» [1] я показал, что наш знаменитый просветитель, вообще говоря, склонявшийся к историческому идеализму, по временам делался в своих исторических рассуждениях убежденным последователем «естественнонаучного» материализма. Там же я показал, что он был верным учеником Фейербаха. Здесь я прибавлю, что *немецкие* последователи Фейербаха, тоже бывшие идеалистами в своей философии истории, тоже не отвергали подчас естественнонаучного материализма. В интересной статье «Feuerbach und die Socialisten» [«Фейербах и социалисты»] Карл Грюн доказывает, между прочим, что теперь философия должна не только стать на место религии, но целиком превратиться в науку практики, первой задачей которой является переустройство общественных отношений. При этом он опасается, однако, как бы его не поняли в том смысле, что теперь можно пренебрегать «антропологией и физиологией». Поэтому он оговаривается, что эти две зеленые ветви засохшего дерева философии должны войти в науку практики, которая станет «наукой *обобществления, объединения*» (Wissenschaft der Vergesellschaftung, der Vereinigung, подчеркнуто в подлиннике). (См. «Deutsches Bürgerbuch» für 1845, hrg. von H. Puttman, Darmstadt [«Немецкая гражданская книга» за 1845 г., изд. Пютмана, Дармштадт] 1845, стр. 66. Научный социализм опирается преимущественно на экономию. Попытки опереться на физиологию встречаются в русском утопическом социализме до Михайловского включительно.

** Как известно, сам Фейербах, временами указывавший на ограниченность «естественнонаучного» материализма, временами как будто готов был удовольствоваться им. В цитированной выше статье о книге Молешотта «Учение о пище» он категорически утверждает: «Der Mensch ist, was er isst (человек есть то, что он ест)». Это «естественнонаучный» материализм чистейшей воды. И против такого материализма ничего не возразил бы сам Тит Левиафанский.

слава истории, да и не в счастии, как поет старинная песня, а в *безумии*», — таков основной афоризм ученого прозектора и адъюнкт-профессора. «Кто настроил величественные храмы и воздвиг целые леса мрамора и порфира для славы божией? Кто одержал все победы, которыми гордятся века? Кто надевал лавровые венки на свирепых, окровавленных бойцов, стоявших на грудах трупов? Кто отводил руку народа от сохи, дал ему вместо нее меч и сделал его из пахаря земли пахарем смерти, убийцей по ремеслу, победителем и завоевателем, без которых не было бы ни Ассирии, ни Пруссии (привычка к цензуре постоянно заставляет меня умалчивать о любезном отечестве)?.. Кто?.. Будто разум?..» * Нечего и говорить, что, по мнению Тита Левиафанского, дело тут не в разуме, а в безумии. Невольно вспоминаешь при этом замечание, сделанное некогда Герценом по поводу исторических взглядов славянофилов: «тут есть сумасшедшая консеквенция».

Герцена называли иногда русским Вольтером. Это правильно разве только в том смысле, что Герцен был, подобно Вольтеру, очень остроумен. Отношение Герцена к проклятым вопросам своего времени очень мало походило на отношение фернейского патриарха к важнейшим задачам XVIII столетия. Вообще человек, испытавший на себе глубокое влияние Гегеля, не мог довольствоваться вольтеровским способом мышления. Вернее было бы сказать, что некоторыми своими сочинениями, например «Записками д-ра Крупова» и «Афоризмами Тита Левиафанского», Герцен напоминает автора «Похвалы глупости», Эразма Роттердамского. Но Эразму Роттердамскому гораздо легче было смеяться над историческими блужданиями человечества, нежели Герцену: он не стремился к построению на земле «веси господней». Остроумный смех Герцена, автора «Афоризмов», был в полном смысле этого слова смехом сквозь слезы.

Герцен упрекал когда-то славянофилов «в скептицизме и материализме» за то, что они не умели взглянуть на историю, как на «движение человечества к освобождению». Теперь он сам, устами Тита Левиафанского, решительно отвергает подобный взгляд на исторический процесс.

Адъюнкт-профессор анатомии хочет, чтобы и впредь безумие, хранящее и утешающее человеческий род, сопровождало его, пока он не будет истреблен каким-нибудь геологическим переворотом. «И пусть, — говорит он, — перед его торжественным шествием несется, как и прежде, то лучезарное, то в облаках, то полное, то с ущербом *светило разума*, пребывающее,

* Сочинения, т. X, стр. 415 [1].

как луна, все в том же расстоянии от земного шара, как бы он ни торопился *.

Это несколько странно: откуда взялось у нашего прозектора «светило разума»? Сам Герцен сообщает, что Карл Фохт, шутя, требовал ответа Левиафанскому, «обвиняя его в скрытом деизме на том основании, что он своего бога спрятал в фонаре, которого нет». Фохт был совершенно прав. Но Герцен побоялся, что его шутка надоест читателю, и потому не решился вступить в спор с Титом. А жаль! Было бы очень интересно знать, что, собственно, возразил бы он ему насчет «фонаря». Мне сдается, что «светило разума», всегда остающееся на одинаковом расстоянии от земного шара, было символом тех отвлеченных идеалов, от которых нет моста к земной действительности. Читатель помнит, что на непримиримое противоречие между этой действительностью и этими идеалами Герцен указывал еще «перед грозой», т. е. в 1847 г. (см. выше). Теперь мы видим, что оно не перестало мучить его в 1867 г., т. е. 20 лет спустя. Вызванное им тяжелое сомнение не покидало его — как горе-злосчастие доброго молодца в известной песне — от начала до конца его общественной деятельности на свободной почве Запада. Оно наложило свою глубокую печать на некоторые из самых лучших его произведений. Эти произведения, между прочим, потому и нравятся многим буржуазным сверхчеловекам и просто либеральным филистерам, что в них слышится нота, скептическая по отношению к социализму. Но придет время, когда историки социализма выяснят, наконец, истинный смысл этого мучительного сомнения. Они отведут нашему блестящему автору одно из самых видных мест в ряду тех писателей первой половины XIX века, которые, всем сердцем сочувствуя социализму, более или менее ясно сознавали шаткость его *утопической* основы и делали — оставшиеся безуспешными, но все-таки в высшей степени замечательные — попытки поставить его на прочный фундамент науки **.

---

* Там же, стр. 415—416 [1].

** Теоретическая драма Герцена заключалась в том, что он, чувствуя несостоятельность исторического идеализма, не мог сделаться историческим материалистом. Это вполне очевидно и чрезвычайно поучительно. Теперь пора кстати объяснить, что̀ надо понимать под его термином «реализм». Крайним «реализмом» назывался у него материализм. Ясно поэтому, что слово «реализм», не сопровождаемое эпитетом «крайний», обозначало в его «Письмах об изучении природы» недостаточно определившуюся позицию *между* материализмом и идеализмом. Но, как уж сказано, нападая на идеализм, Герцен имел в виду, собственно, субъективный идеализм. Абсолютный идеализм продолжал удовлетворять его своим решением антиномии между мышлением и бытием. Этого не понимают люди, одновременно ухитряющиеся хвалить Герцена за его склонность к «реализму» и порицать Гегеля за его «метафизику».

XIV

Что передовые русские люди 40-х годов не могли сделаться основателями научного социализма, это в достаточной мере объясняется экономической отсталостью России и их неполным знакомством с экономикой Запада. Но что эти люди дошли до сознания неудовлетворительности утопического социализма, это свидетельствует об их выдающейся даровитости. Конечно, тут чрезвычайно много значила школа Гегеля, через которую они имели великое счастие пройти. Но очень многие немецкие социалисты тоже испытали на себе благотворное влияние Гегеля; однако между ними только Маркс и Энгельс поняли, каким образом социализм из утопии может сделаться наукой. Все остальные гегельянцы (и фейербахианцы), увлекавшиеся социализмом, вполне довольствовались его утопической основой. Вот почему мы с полным правом можем считать наших Белинского и Герцена людьми несравненно более даровитыми, нежели Грюн, Гесс, Земмиг, Фр. Шмидт и другие философские социалисты Германии.

Каков человек, такова и его философия, — говаривал Фихте. Эти его слова вполне применимы к Герцену. Его философия была философией человека *деятельного* по преимуществу. Интересно следить по его дневнику за тем впечатлением, которое производило на него чтение великих философов. Их теоретические заслуги определяются им не всегда безошибочно и, пожалуй, слишком бегло, но зато он всегда безошибочно и подробно отмечает то, что можно назвать *деятельной* стороной их теорий. Возьмем для примера Спинозу. Отзывы о нем в дневнике не показывают, чтобы Герцену удалось выяснить себе ту сторону спинозизма, за которую Фейербах называл Спинозу «Моисеем новейших свободных мыслителей и материалистов». Но нельзя без огромного удовольствия читать у Герцена хотя бы вот эти строки об авторе «Этики»: «Не говоря о целом учении его, замечу, какие молнии гения беспрестанно прорываются у него, например: Homo liber de nulla re minus quam de morte cogitat et eius sapientia non mortis, sed vitae meditatio est...» (свободный человек меньше всего думает о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, но о жизни) *. Эту мысль Спинозы вряд ли нашли бы гениальной нынешние наши религиозные искатели, вроде г. Мережковского, думающего гораздо больше о смерти, нежели о жизни. Но в том-то и дело, что ни к одному из них не применено название homo liber ** и что Фихте прав: каков человек, такова и его философия.

---

* Сочинения, т. I, стр. 136—137 [1].

** [свободный человек]

Много лет спустя в своем «Колоколе» 1864 г. Герцен напечатал ряд статей, озаглавленных «Письма к противнику» и содержащих в себе ответы на упреки, письменно и устно сделанные ему Ю. Ф. Самариным [1]. Эти ответы тоже не понравились бы жвачным «искателям», вроде г. Мережковского, любящим пережевывать старые теологические доводы. Герцен писал, между прочим: «Вы находите, например, непоследовательным, что человек, не верующий в будущую жизнь, вступается за настоящую жизнь ближнего. А мне кажется, что *только он* и может дорожить *временной* жизнию своей и чужой; он знает, что лучше этой жизни для существующего человека ничего не будет, и сочувствует каждому в его самохранении. С теологической точки зрения смерть представляется совсем не такой бедой; религиозным людям была нужна заповедь «не убий», чтобы они не принялись людей спасать от греховного тела; смерть, собственно, одолжает человека, ускоряя его вечную жизнь. Грех убийства состоит вовсе не в акте плотоумерщвления, а в самовольном повышении пациентов в высший класс» *.

Это место, интересное во многих отношениях, едва ли не более всего интересно тем, что по своему содержанию оно близко к рассуждению Фейербаха о несовместимости — разумеется, в последовательно мыслящей голове — «идеализма или спиритуализма» с приверженностью к политической свободе. «Спиритуалист, — говорил Фейербах, — довольствуется духовной свободой... Для спиритуалиста политическая свобода есть материализм в области политики. К действительной свободе принадлежит — материальная, телесная... Спиритуалист довольствуется свободой в *мысли*». Герцен, наверно, не читал именно этого рассуждения Фейербаха: оно было напечатано только после смерти немецкого материалиста в его изданном Карлом Грюном литературном «Наследстве» **. Но мысль, высказываемая здесь Фейербахом, до такой степени согласна со всем его — *окончательным* — образом мыслей, что близость к ней довода, выдвинутого Герценом против Самарина, лишний раз доказывает хорошее знакомство издателя «Колокола» с автором «Основ философии будущего». Фейербах, без сомнения, признал бы вполне правильным то соображение Герцена, что человек, верующий в загробное существование, не имеет повода слишком горячо отстаивать земную жизнь своего ближнего.

Дальше следует чрезвычайно характерное место, могущее послужить новым аргументом в пользу сказанного выше о том,

* См. «Первое письмо к противнику», «Колокол» от 15 ноября 1864 г., перепечатано в сборнике: «Колокол», «Избр. статьи А. И. Герцена». Женева 1887 г. [2] С предисловием... нынешнего редактора «Московских Ведомостей» Л. Тихомирова.

** Сочинения, т. II, стр. 328 [3].

что учение Герцена о нравственности содержит в себе всю *истину* толстовской теории непротивления злу насилием. Это место длинновато: но читатель, конечно, не посетует на меня за то, что я продлю предстоящее ему удовольствие непосредственной беседы с Герценом.

Благочестивый Ю. Ф. Самарин наивно спрашивал Герцена, какими нравственными наказаниями думает он заменить телесные и не телесные ли наказания — тюрьма, ссылка и проч. Тот отвечал на это, что он не князь Черкасский и не считает нужным придумывать детские или старческие, светские или духовные розги и их эквиваленты [1]. Самарин напоминает ему человека, который спросил бы, чем думают заменить холеру люди, стремящиеся к ее уничтожению. По его справедливому мнению, такой вопрос неразрешим.

«Розги и тюрьмы, грабеж судом выработанного и насильственная работа виновного,—говорит он,—все это *телесные* наказания и могут быть только заменены иным общественным устройством.

Материалист Оуэн не искал ни преступников, ни наказаний, ни уравнений между кандалами и побоями, а думал, как найти такие условия жизни, которые не наводили бы людей на преступления. Он начал с воспитания; испуганные безнаказанностью детей, пиетисты закрыли его школу.

Фурье попытался самые страсти, причиняющие в своем необузданном и, вместе с тем, стесненном состоянии все преступные взрывы и отклонения, направить на пользу общества — в нем заметили одну смешную сторону...

Целые страны существуют без телесных наказаний, а у нас еще ведут контраверзу о том: сечь или не сечь? Если сечь — чем сечь? Если не сечь — сажать ли на цепь или в клетку?.. Что лучше, розга или клетка?..

«Уничтожение наказаний невозможно», скажете вы с точки зрения религии, которая сделала себе специальностью все прощать, все прощать. Может быть; но ведь из этого не следует, что наказания надо было выдавать за правду, а не за то, что они есть — за печальную необходимость, за несчастное последствие. О самих вменениях хлопотать нечего, они найдутся. Пока будет судейское ремесло, пока останется кровавый кодекс общественной мести и средневековое невежество масс, хирург правосудия, палач, не умрет без работы» *.

Все это, поистине, превосходно. Герцен, как видно, очень хорошо знал те мысли современных ему социалистов, которые относились к вопросу о наказаниях. И он, разумеется, не поверил бы, если бы ему сказали, что в недалеком будущем весь цивилизованный мир станет рукоплескать, как Колумбу, не-

* Цитир. сб. «Колокол», стр. 517 [2].

коему пророку, который оденет эти мысли в мистический костюм и, прибавив к ним консервативный орнамент, уничтожающий всю их внутреннюю красоту, возвестит их как свое великое открытие. Он подумал бы, что человек, предсказывающий ему появление подобного пророка, или насмехается над ним, своим слушателем, или клевещет на цивилизованный мир... [1]

Пойдем дальше. Я уже сказал, что Герцен ошибался, признавая верным гегелево учение об единстве мышления и бытия. Но трудно было бы не признать, что он был совершенно прав, с восторгом цитируя размышления Гегеля о смертной казни. Что поражает нас в ней? В ответ на этот вопрос Герцен приводит длинные немецкие цитаты из Гегеля. Я переведу из них наиболее замечательные строки: «Нам бросается в глаза беззащитный человек, которого выводят связанным и окруженным многочисленной стражей, сопровождаемого гнусными помощниками палача, а также взывающими к нему и читающими молитвы духовными лицами, которым внимает преступник, чтобы заглушить в себе сознание переживаемого момента. Отталкивающее впечатление, производимое зрелищем беззащитного человека, предаваемого смерти превосходным числом людей, к тому же вооруженных, только потому не вызывает негодования в зрителях, что для них свят приговор закона. И хотя палачи служат правосудию, но это обстоятельство все-таки не может уничтожить того впечатления, под влиянием которого люди считают гнусным и клеймят позором ремесло или звание этих людей, способных всенародно и хладнокровно убить беззащитного человека, исполняющих свою службу, подобно слепым орудиям или диким зверям, которым некогда отдавали на растерзание преступников» *.

А вот — опять переведенное мною — другое место, выписанное Герценом из того же Гегеля. «Кто слишком пренебрегает конечным, тот никогда не достигает ничего действительного, но остается в абстракции и погружается в самого себя (Encycl., t. I, § 92)» **. Это стоит целого трактата, который давно пора бы написать для назидания тех буржуазных сверхчеловеков, которые никак не могут помириться теперь с элементом «конечного» (именуемого ими мещанским) в великом освободительном движении нашего времени.

Наконец, еще одно место из известного обращения Гегеля к своим слушателям в 1818 г.: «Мужественное отношение к жизни, вера в силу духа есть первое условие философских занятий; человек должен уважать самого себя и считать себя достойным самого высшего. Скрытая сущность вселенной не имеет в себе такой силы, которая могла бы сопротивляться мужеству

* Сочинения, т. I, стр. 60—61 [2].

** [«Энциклопедия...», ч. I, § 92]. Там же, стр. 213 [3].

познания; она должна открыться перед ним, обнаружить свою глубину и предоставить свои богатства в его пользование» *. Когда встречаешь такие отрывки из Гегеля у того или другого человека 40-х годов, тогда начинаешь понимать, какое возвышающее и облагораживающее влияние оказывал на них тот «философский колпак Егора Федорыча», на который они имели право нападать, потому что умели также глубоко ценить его, и над которым наши «субъективные» невежды насмехались впоследствии единственно по своей философской малограмотности.

8 января 1845 г. Герцен писал в своем дневнике: «Наказание — совершенная нелепость в развитом государстве, и в будущем будут удивляться, как правительство вступало в соревнование с каждым злодеем и делало такую же мерзость над ним, какую он сделал, с тем различием, что он был более или менее вынужден обстоятельствами, а правительство так, без всякой нужды. Казни — это абсолютные преступления, поэзия преступлений. Но где же истинное, непогрешающее мерило того, что хорошо, и того, что дурно для человека? В самом понятии человека, развивающегося в истории, в историческом моменте, в среде, в которой он вырос. Хорошо все то, что развивает слитно-родовое и индивидуальное значение человека; дурно, если индивидуальное, феноменальное совершенно поглощает общечеловеческое; дурно, если тело совершенно задавит дух, но наказывать (scilicet **, в развитом государстве) и за это нельзя; такие люди будут презираемы, а дело положительных законодательств, чтобы эти отрицательные люди не могли положительно вредить, как безумные, как дураки, как животные» ***. Эти строки написаны под очевидным влиянием Гегеля, а также, конечно, социалистических писателей. Нетрудно видеть, что они заключают в себе все то золото, которое можно найти в так называемом учении Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилием. Находясь под влиянием Гегеля и социалистов, Герцен отвергает насилие как средство исправления общественных нравов, совершенно не касаясь здесь, однако, вопроса о насилии, как о средстве устранения препятствий, затрудняющих улучшение общественных отношений, а с ними и общественной нравственности. Читатели, знакомые с моей статьей «А. И. Герцен и крепостное право», помнят, может быть, разговор отрока-Герцена со своим французским учителем Бушо из Меца [3]. Уже судя по одному тому, как передает Герцен этот свой разговор, можно с уверенностью утверждать, что он понимал великий исторический смысл положительного решения указанного вопроса.

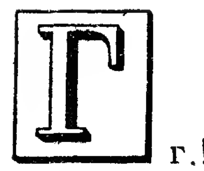
* Там же, стр. 209 [1].

** [разумеется]

*** Там же, стр. 261 [2].

РЕЧЬ НА МОГИЛЕ А. И. ГЕРЦЕНА В НИЦЦЕ

7 апреля 1912 г.



г.!

Гейне говорит, что история литературы есть обширная покойницкая, в которую каждый из нас идет отыскивать дорогих ему мертвецов. «И когда, — продолжает он, — между множеством незначительных трупов я вижу там Лессинга или Гердера с их благородными лицами, в моей груди начинает сильно колотиться сердце» [1].

Теперь, по случаю столетия со дня рождения А. И. Герцена, вся свободомыслящая и свободолюбивая Россия — да, как видите, и не одна Россия — идет в ту покойницкую, на двери которой написано: «*История русской общественной мысли*»; и когда она видит там благородный образ нашего великого писателя, в ее груди, конечно, тоже сильно колотится сердце.

Свободолюбивая и свободомыслящая Россия чрезвычайно многим обязана А. И. Герцену. Достоевский когда-то назвал его gentilhomme russe et citoyen du monde *[2]. В это название Достоевский вложил не малую долю иронии. Но ирония эта совершенно не заслужена Герценом. Я готов, пожалуй, согласиться, что свободомыслящий человек может отчасти сознавать себя виноватым, принадлежа к российскому дворянству. Ведь это оно делало нашу петербургскую историю после Петра I, когда царей было не слишком много, а более цариц, ту историю, которая имела такое печальное сходство с кровавой трагикомедией в неприличном доме; ведь это оно, увидя себя вынужденным освободить своих крепостных крестьян, наградило их за долгую службу ничтожными наделами, на которых они могли только бедствовать, нищенствовать, голодать и выро-

---

* [русским дворянином и гражданином мира.]

ждаться; наконец, ведь это оно и до сих пор распоряжается в России, как в завоеванной стране. Повторяю: можно, пожалуй, чувствовать себя виноватым, принадлежа к этому доблестному сословию, но следует указать и обстоятельства, весьма значительно смягчающие подобную вину: человек не по собственному выбору родится дворянином, мещанином или крестьянином. Да и не в том дело, *кем* он *родится;* дело в том, *что он делает, как он ведет себя в сознательную пору своей жизни.* То правда, что человеку, принадлежащему к числу так или иначе привилегированных, несравненно труднее, чем непривилегированному, встать на правильную точку зрения; но тем больше чести для тех, которым это удается. А на вопрос, удалось ли это А. И. Герцену, отвечает вся его жизнь. Его роль в деле освобождения крестьян показывает, что он был на стороне эксплуатируемых, а не на стороне эксплуататоров. Достоевский думал, что Герцен сделался citoyen du monde вследствие разрыва своего с русским народом. Но Герцен никогда не разрывал ни с народом, ни с Россией. Тот, кто разорвал со своим народом, не дорожит его интересами. А Герцен горячо дорожил интересами русского народа. Он не лгал, когда писал о себе, что с детских лет бесконечно любил наши села и деревни. И он был русским до конца ногтей. Но любовь к родине не осталась у него на степени темного зоологического инстинкта, как известно, способного проявляться подчас зверским образом; она была возведена им на степень осмысленной человеческой привязанности. И в той самой мере, в какой она возвышалась у него на эту степень, он становился всемирным гражданином. Как он понимал осмысленную любовь к родине, видно из его отношения к польскому восстанию 1863 года. Вы все знаете: его называли изменником; его упрекали в том, что, оказывая нравственную поддержку польским повстанцам, он оскорбляет чувства своего собственного народа; от него отвернулось огромнейшее большинство его недавних поклонников. Он тяжело страдал от этого, но продолжал твердо стоять на своем. Из-под его пера вышел ряд статей: «Vivat Polonia», «Mater Dolorosa», «Resurrexit» [1] и др., полных глубочайшего негодования против жестоких усмирителей Польши. Он не верил «патриотическим» рассказам о том, что весь русский народ одобряет усмирителей. «Нет, нет и нет, — восклицал он в своем «Колоколе», — проклятое дело вытравливания целого народа из народных семей не есть наше общенародное русское дело!». Русский народ, т. е. по-тогдашнему, собственно, крестьянин, слишком занят был, по словам Герцена, вопросами своего освобождения и своего земельного устройства, чтобы заботиться о подавлении Польши. Но если бы он и в самом деле потребовал ее подавления, если бы он тоже заразился полицейской чумой высших

сословий, то и тогда Герцен не перестал бы сочувствовать польским повстанцам. «Мы не рабы нашей любви к родине, — писал он, — как не рабы ни в чем». Свободный человек не может признать такой зависимости от своего края, которая заставила бы его участвовать в деле, противном его совести. Так говорил он.

Это поистине золотые слова. Каждый из нас должен как можно чаще вспоминать их теперь, зайдет ли речь о жестоких и постыдных еврейских погромах, или о нарушении финляндской конституции, или о запрещении украинским детям учиться по-малорусски, или вообще о каком бы то ни было угнетении какого бы то ни было народа, какого бы то ни было племени, входящего в состав населения нашего государства!

О Герцене говорили: он готов отдать *Польше* земли, издавна бывшие и сознававшие себя *Русью*. Но, во-первых, неужели уместно было поднимать спор о границах будущей Речи Посполитой в то время, когда полицейски-бюрократическая Россия держала Польшу за горло и, поставив ей колено на грудь, готова была задушить ее? Во-вторых, точка зрения Герцена в этом вопросе *была точкой зрения автономии национальностей, их свободного самоопределения*. Он спрашивал: «Отчего бы нам с Польшей, с Украйной, с Финляндией не жить, как вольный с вольными, как равный с равными? Отчего же всех мы должны забирать себе в крепостное право? Чем мы лучше их?». Это теперь — точка зрения всего передового человечества, это — точка зрения рабочего Интернационала.

Вот в каком смысле А. И. Герцен был гражданином мира. И за то, что он был *таким* гражданином мира, надо не смеяться над ним, а рукоплескать ему.

Когда славянофил И. С. Аксаков, повторив в своем органе распространенные против Герцена гнусные клеветы, посоветовал ему покаяться [1], тот отвечал:

«Нет, Иван Сергеевич, не блудными сынами, не поседевшими Магдалинами с понурой головой воротимся мы, если воротимся, а свободными людьми, требующими не оправдания, не прощения, а признания дела всей их жизни» [2].

Он имел полное нравственное право написать эти гордые слова. И все мы, вспоминая теперь Герцена по случаю столетия со дня его рождения, чтим его память не словами оправдания, снисхождения или прощения, а словами, заключающими в себе полное, безусловное признание всей его жизни.

Гг.! Герцену не суждено было вернуться на родину. И если бы он дожил даже до нынешнего дня, то, может быть, ему и теперь пришлось бы скитаться в изгнании. Дело веков поправлять нелегко. Но не будем унывать. «Живуча русская жизнь!» — сказал он однажды в своем «Колоколе». Он и тут был прав.

Г. В. Плеханов I

Речь на могиле А. И. Герцена в Ницце.

(7 апреля 1912 г.)

М. г.

Гейне говорит, что история литературы есть обширная мертвецкая, в которую каждый из нас идет отыскивать дорогих ему мертвецов. „И когда — проникаю я — между многочисленными надгробными камнями, в виду такой могилы, как могила Герцена [illegible], в моей груди начинает сильно колотиться сердце."

~~[illegible]~~ Теперь, когда исполнилось сто лет со дня рождения А. И. Герцена, вся свободомыслящая и свободолюбивая ~~[illegible]~~ живая Россия, — вся [illegible], и не одна Россия — чтит в нем [illegible] на заре которой начинало „ис-

Первая страница автографа «Речь на могиле Герцена в Ницце»

Действительно, живуча! Не убьют ее Пуришкевичи и Крупенские, Гермогены и Распутины! Россия идет вперед, несмотря ни на что. Она еще не сбросила своего ярма. Это ярмо продолжает глубоко ранить ее плечи. Но теперь идея свободы глубоко проникла, наконец, в народ, чего еще не было в эпоху А. И. Герцена. Много ли людей сочувствовало ему в 1863 году, когда он мужественно встал на защиту Польши? Одна горсть. Народ в самом деле не думал о Польше. Это в лучшем случае. А в худшем — темные дети русского народа тоже готовы были кричать: «Распни ее! Бей поляков!» А теперь? Ноябрьская стачка 1905 года провозглашена была, между прочим, потому, что правительство ввело в Польше военное положение. Русский пролетариат доказал этим свое уменье сознательно отнестись к судьбе польского народа. «Но контрреволюция победила пролетариат с его требованием свободного самоопределения народностей», — скажут мне. Я отвечу вопросом: «Надолго ли?» Еще Гегель говорил, что бывают эпохи, когда дух всемирной истории — когда историческое движение, скажем мы нынешним языком — скрывается под землю и роет там, подобно кроту, подрывая основу существующего порядка. Настает благоприятная минута — и отживший порядок рушится, и тогда все мы видим, как хорошо работал крот, и тогда все мы кричим ему, как Гамлет тени своего отца: «Крот, ты хорошо роешь!». Поверьте, что русский крот очень недурно роет. Наконец, мы теперь не одни. В начале 60-х годов западноевропейские народы только еще начинали стряхивать с себя маразм, овладевший ими после бурных событий 1848—1849 гг. А теперь даже персы требуют свободы, теперь даже долго неподвижный Китай пришел в движение и провозгласил республику. О Западе же нечего и распространяться. Рабочий Интернационал вырос здесь в могучую армию. Польшу подавила военная сила. Рабочий Интернационал — непримиримый враг милитаризма. В 1848 году немецкие реакционеры распевали:

Gegen Demokraten
Helfen nur Soldaten! *

К сожалению, это было так: против демократов помогли солдаты. Но теперь мы можем пропеть:

Gegen Soldaten
Helfen Sozialdemokraten! **

---

* [Против демократов
Помогут только солдаты!]

** [Против солдат
Помогут социал-демократы!]

Рабочее движение передовых стран служит теперь самым надежным обеспечением международного мира.

Вообще наше время очень благоприятно для дела свободы в том смысле, что оно с каждым днем значительно увеличивает шансы ее окончательной победы. Если бы Герцен жил теперь, он, конечно, не разочаровался бы в Западной Европе.

Он много страдал от своего разочарования в ней. Но и после этого разочарования он не утратил веры в Россию. Нынешний день оживит и нашу веру в лучшее будущее нашей многострадальной страны. Каждый из нас уйдет с его могилы, бодро повторяя его бодрые слова: «Живуча русская жизнь!» и сознавая себя нравственно обязанным быть таким *гражданином мира*, каким был в свое время наш незабвенный А. И. Герцен [1].

IV.

[РЕЦЕНЗИИ]

П. Я. ЧААДАЕВ

М. Гершензон, П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление. С.-Петербург, 1908.

Это интересная книга. Она дает даже больше, чем обещает; в ней заключается не только очерк жизни и «мышления» П. Я. Чаадаева, но также — в приложениях — его «Философические письма», «Апология сумасшедшего», три письма к А. И. Тургеневу, письмо к Сиркуру и, наконец, «Письмо к неизвестному» [1]. И все это, вместе взятое, — и очерк г. М. Гершензона, и приложения — проливает много света на замечательную личность П. Я. Чаадаева. Книгу г. Гершензона *должен* прочитать всякий, кого интересует историческое развитие русской общественной мысли.

Но прочитать дельную книгу еще не значит во всем согласиться с ее автором. Что касается нас, то наша оценка взглядов П. Я. Чаадаева во многом расходится с тою, которая дана г. Гершензоном. И нам хочется здесь же высказать, в чем именно мы расходимся с этим последним.

Г-н М. Гершензон говорит, что по разным причинам имя Чаадаева стало достоянием легенды: «Он, решительно осуждавший все то, чем наиболее дорожила в себе наша передовая интеллигенция, — ее исключительно позитивное направление и политическое революционерство, — был зачислен в синодик русского либерализма, как один из славнейших деятелей нашего освободительного движения» (стр. III). Это «недоразумение» началось еще при жизни П. Я. Чаадаева, который, по замечанию г. Гершензона, был слишком тщеславен, чтобы отклонять незаслуженные лавры, и в то же время достаточно умен, чтобы понимать им цену. На самом деле Чаадаев был не политиком, а мистиком. Таково заключение, к которому приходит в своей книге г. Гершензон,

Но если это так, то как же возникла и чем поддерживалась разрушаемая нашим автором легенда? Каким образом могло так долго существовать недоразумение, которое г. Гершензон называет чудовищным?

Ответы, даваемые г. Гершензоном на эти вопросы, кажутся нам совершенно неудовлетворительными. Он говорит: «Здесь сказалась смутная догадка о большей, чем политическая, — о вечной истине, о той внутренней свободе, для которой внешняя и, значит, политическая свобода, правда, только подножье, но столь же естественно-необходимое, как воздух для жизни. Нет лозунга более освободительного — даже политически, — чем призыв: sursum corda [1]. В этом смысле Чаадаев, немолчно твердивший о высших задачах духа, создавший одно из глубочайших исторических обобщений, до которых додумался человек, достоин памяти потомства» (стр. III—IV).

Остановимся пока на этом. Во-первых, что значит: «исключительно позитивное направление»? То ли это направление, которое чуждо всякого религиозного элемента? Если — да, то придется сказать, что, например, довольно многие из декабристов совсем не принадлежали к этому направлению. Но разве же следует из этого, что ошибочно было бы относить этих декабристов к числу деятелей нашего освободительного движения? Далее. Все ли деятели нашего освободительного движения отличались «политическим революционерством»? Нет, конечно, не все! Между ними были люди, стремившиеся к политической свободе, но в то же время чуждавшиеся «революционерства», и точно так же между ними были люди, весьма склонные к «революционерству», но чуждавшиеся «*политики*» [2]. Стало быть, и тут определение, даваемое г. Гершензоном, оказывается слишком *узким*, т. е. *неправильным*. Пойдем еще дальше. Призыв: «sursum corda» на более знакомом русскому читателю древнеславянском языке выражается словами: «*горѐ имамы сердца*»! И вот мы спрашиваем: действительно ли этот призыв имеет освободительный характер «даже политически»? Нам сдается, что — нет. Указываемый г. Гершензоном призыв слишком неопределенен для того, чтобы можно было вложить в него «даже политическое» содержание. Все дело в том, на какой манер люди «имеют горе сердца». Человек может иметь «сердце горе» и быть убежденным противником политической, да и всякой другой свободы. Г-н Гершензон скажет, пожалуй, что такой человек еще не знает, что такое, собственно, есть настоящее «*sursum corda*». Но в том-то и дело, что нам, простым смертным, не озаренным никакой сверхъестественной благодатью, и невозможно узнать это с достоверностью. Те «вечные истины», к разряду которых принадлежит «истина», упоминаемая г. Гершензоном, вообще очень спорные «истины». И недостаточно

«немолчно твердить о высших задачах духа», чтобы стать «достойным памяти потомства». Тут нужно нечто иное. И уж во всяком случае у Чаадаева есть другие и гораздо более серьезные заслуги перед нашим освободительным движением, кроме его мистических увлечений. Если, например, Герцен до конца своей жизни [1] относился с большим сочувствием к Чаадаеву, то это происходило, конечно, не потому, что Чаадаев был мистиком.

Описав впечатление, произведенное на Герцена первым — единственным, пользующимся известностью, — «Философическим письмом» Чаадаева, сам г. Гершензон замечает: «Очевидно, настроение автора совпадало с настроением читателя, и читатель даже не заподозрил, что настроение автора обусловлено совсем иными причинами, нежели его собственное. Герцен говорит: «Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь» [2], да, но Герцен, не справившись, кто и в кого стреляет, мгновенно решил, что это союзник и что выстрел направлен в общего врага. А общего только и было, что настроение, боль и упрек» (стр. 142).

Стало быть, *настроение*-то было все-таки *общее?* Если так, то понятно и впечатление, произведенное автором на читателя. Ведь так всегда и бывает: читатели сочувствуют тем авторам, настроение которых соответствует их настроению. И никакого «чудовищного недоразумения» тут нет. Правда, настроение, свойственное в данном случае и автору, и читателю, вызывалось у каждого из них, по словам г. Гершензона, совершенно различными причинами. Но так ли это? Не ошибается ли здесь г. Гершензон? По-нашему — очень ошибается. В самом деле, интересующее нас настроение вызвано было не чем иным, как *отрицательным отношением к тогдашней российской действительности*. И это отношение было свойственно Чаадаеву в такой же мере, как и Герцену. И именно потому сочувствие Герцена Чаадаеву было не «мгновенным», а постоянным. Вопреки мнению г. Гершензона, у них обоих был *общий враг*, в которого каждый из них «*стрелял*» по мере своих сил и способностей. И когда один делал меткий выстрел, другой не мог не радоваться, не мог не рукоплескать ему. Так и поступил Герцен, прочитав «Философическое письмо». Где же здесь «чудовищное недоразумение»?

Когда Герцен лично познакомился впоследствии с Чаадаевым [3], он, разумеется, увидел, что имеет дело с мистиком. Но это не помешало ему считать себя его единомышленником в том, что касалось тогдашней нашей действительности. И таково же было, вероятно, отношение к Чаадаеву других современных ему участников освободительного движения: несмотря на его мистицизм, они видят достаточное основание считать его человеком одного с ними лагеря.

Г-н Гершензон говорит в другом месте своей книги: «Письма Чаадаева за последние пятнадцать лет его жизни показывают его нам всецело поглощенным борьбою с славянофильством. Он говорит о нем всегда, по всякому поводу и совсем без повода, во всех тонах, от трагического и кончая шутливым. Пишет ли он Шеллингу, — его выспренняя речь подчас сбивается на жалостное повествование об этом «умственном кризисе», об этом «пагубном учении» русских националистов. По поводу шевыревского курса истории русской литературы он пишет Сиркуру пространное письмо, где тонко отточенным сарказмом препарирует всю нелепость славянофильского учения, как студент-медик мускулатуру руки. Нет надобности цитировать эти письма: в них нет ничего существенно нового; Чаадаев скорбит о национальном самообмане, высмеивает *ретроспективную утопию* славянофилов, их пренебрежительное отношение к Западной Европе и проч... Однако главной мишенью его нападок были не исторические ошибки и не реакционные вожделения славянофилов, его ужасала больше всего та атмосфера национального самодовольства, в которую они погрузили общество. Он, любивший в России только ее будущее, т. е. ее возможный прогресс, не мог без боли смотреть на эту духовную сытость, в корне враждебную всякому прогрессивному движению и искажавшую народный характер. Это настроение умов кажется ему смертельной болезнью, грозящей подкосить всю будущность русского народа, и он не устает следить за ее проявлениями, за ее гибельным действием на все общество в целом и на отдельных членов его» (стр. 176—177).

Чего же вам еще, г. Гершензон? Ведь вы же сами очень убедительно доказываете, что вы неправы, т. е. что между Чаадаевым и передовыми людьми того времени было очень много общего во взглядах. Чаадаев, по вашим собственным словам, был убежденным *западником* и *прогрессистом*. Этого совершенно достаточно.

Мало сказать, что Чаадаев был западником. Надо прибавить к этому, что он явился в своем первом «Философическом письме» едва ли не самым ярким выразителем той страшной боли, какую вызывала в наших западниках наша печальная действительность и наша мрачная история. Первое «Философическое письмо» его есть в своем роде высокохудожественное произведение, значение которого до сих пор еще не оценено во всей его полноте. О нем без малейшего преувеличения можно сказать, что оно написано кровью сердца. Спора нет: мистическая или — как вернее будет сказать в данном случае — теологическая точка зрения автора дает себя чувствовать и в этом письме. Главной причиной, породившей наше мрачное прошлое и наше не менее мрачное настоящее, является в гла-

зах Чаадаева тот факт, что христианство пришло к нам из Византии.

«Повинуясь нашей злой судьбе, — говорит он, — мы обратились к жалкой, презираемой всеми Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания. Волею одного честолюбца (т. е. патриарха Фотия. — *Г. П.*) эта семья народов только что была отторгнута от всемирного братства, и мы восприняли, следовательно, идею, искаженную человеческою страстью. В Европе все одушевлял тогда животворный принцип единства. Все исходило из него и все сводилось к нему... Непричастные этому чудотворному началу, мы сделались жертвою завоевания» [1].

Большинство деятелей нашего освободительного движения отказалось бы признать религию самым главным «фактором» исторического развития человечества. Но что из этого? Уже строки, непосредственно следующие за только что приведенными, опять напомнили бы и этому большинству о близком родстве его воззрения с воззрениями Чаадаева. В самом деле, «Письмо» продолжает: «Когда же мы свергли чужеземное иго, только наша оторванность от общей семьи мешала нам воспользоваться идеями, возникшими за это время у наших западных братьев, мы подпали еще более жестокому рабству, освященному притом фактом нашего освобождения» [2]. Славянофилы никогда не согласились бы назвать порядок, господствовавший в Московской Руси, рабством еще более жестоким, нежели монгольское иго. Читая «Философическое письмо», тогдашний западник не мог [не] увидеть в его авторе своего единомышленника по вопросу, который был тогда очередным для русской интеллигенции: по вопросу о том, как следует смотреть на отношение России к Западу. «Письмо» категорически отвечало на этот очередной вопрос: наша оторванность от Запада является для нас источником всех самых горьких наших бед. «Весь мир перестраивался заново, — жалуется Чаадаев, — а у нас ничего не создалось; мы по-прежнему прозябали, забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода совершались помимо нас» [3]. Справедливость этого должен был признать всякий западник, совершенно независимо от того, как смотрел он на роль религии в культурном развитии человечества. Известно замечание одной светской французской дамы насчет книги Гельвеция «*De l'Esprit*» *. В этой книге Гельвеций, по словам этой дамы, «a dit le secret de tout le monde» **. Светская дама ничего не поняла в книге знаменитого материалиста. Но о первом «Философическом письме»

* [«Об уме»]
** [«Открыл секрет, известный всему миру».]

можно с полным правом и уже без малейшего недоразумения сказать, что в нем Чаадаев громко, ясно и высокохудожественно «высказал секрет всех западников» [1]. Чаадаев явился их общим выразителем, лирическим поэтом западничества. Потому он и привлек к себе их общие симпатии, между тем как славянофилы увидели в его «Письме» нечто глубоко преступное. Недаром Языков сожалел впоследствии, обращаясь к нему:

Почтенных предков сын ослушный,
Всего чужого гордый раб!
Ты все свое презрел и выдал,
И ты еще не сокрушен... [2]

По поводу этих грозных виршей Языкова г. Гершензон замечает: «Легко понять, как нелепо должно было казаться это обвинение человеку, писавшему, что любовь к отечеству прекрасная вещь, но есть нечто еще более высокое, именно — любовь к истине» (стр. 174). Это замечание кажется нам тоже не вполне удачным. В этом случае совсем нельзя противопоставлять любовь к отечеству любви к истине. Нельзя по той простой причине, что «Письмо» — как и все вообще западничество Чаадаева — пропитано самой очевидной и самой горячей любовью к родной стране. «Письмо» было написано человеком, к которому всецело могут быть отнесены слова Некрасова:

Видел, имеющий очи,
И за отчизну болел [3].

Чаадаев в своей «Апологии сумасшедшего» так характеризует свое отношение к родине: «Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа; но верно и то, что патриотическое чувство, одушевляющее меня, не совсем похоже на то, чьи крики нарушили мое спокойное существование и снова выбросили в океан людских треволнений мою ладью, приставшую было у подножья креста. Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с замкнутыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его» [4]. Как видите, любовь к истине не противопоставляется Чаадаевым любви к родине, а изображается как элемент, определяющий и направляющий эту любовь; что же касается слов: «я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его», то они заставляют вспомнить Н. Г. Чернышевского, который в своих «Очерках гоголевского периода русской литературы» говорит, что русский дол-

жен быть патриотом в том смысле, в каком был им Петр Великий [1]. Уже из этого отношения к Петру Великому видно, как много было в общественных взглядах Чаадаева точек соприкосновения со взглядами самых передовых из наших западников. Наконец, сам же г. Гершензон приводит справедливое замечание кн. Вяземского о том, что «письмо Чаадаева — не что иное в сущности своей, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин» [2], т. е., — поясняет г. Гершензон, — «основанной на трех уваровских началах» [3] (стр. 143). Откуда же взял после этого наш автор свое «чудовищное недоразумение»? Это прямо непонятно!

Мы ни на минуту не забываем того, что в том же своем «Письме» Чаадаев высказывает отрицательное отношение к политической попытке декабристов. По его словам, эта попытка была «громадным несчастьем, отбросившим нас на полвека назад» [4]. Однако такой взгляд на нее доказывает только то, что он не был политическим революционером. Мы уже сказали выше, что политическими революционерами не были многие из участников нашего освободительного движения; значит, отношение Чаадаева к названной попытке — равно как и его отношение к революционному движению 1830 г. — еще не подтверждает мысли г. Гершензона. Кроме того, надо помнить, что в своем первом письме Чаадаев выступал лирическим поэтом русского западничества, а о поэтах Фосколо верно сказал, что даже когда они учат терпению, они растравляют раны сердца, потому что сильно потрясают его [5]. Осуждая «политическое революционерство», Чаадаев в известном смысле «учил терпению». Но, даже «уча терпению», он страшно потрясал сердца людей, стремившихся завоевать для своей страны лучшее будущее. И они не переставали видеть в нем своего единомышленника, причем и сам Чаадаев вряд ли *только «по тщеславию»* не пытался разубедить их на этот счет.

Кара, постигшая Чаадаева, явилась как бы новым доводом в пользу того взгляда на Россию, который выражен был в «Философическом письме». Герцен сказал где-то — кажется, в «Былом и Думах», — что, конечно, и на Западе существовал деспотизм, но все-таки там никому не приходило в голову высечь Спинозу или отдать в солдаты Лессинга [6]. У нас же непременно сделали бы и то, и другое. У нас сделали — если это можно — еще лучше: у нас объявили сумасшедшим человека, позволившего себе резко разойтись с официальным взглядом на Россию. И это жестокое издевательство сделало из Чаадаева мученика западнической идеи. Он явился жертвой нашего — *идейного* — освободительного движения, и потому естественно, что его имя было записано в то, что г. Гершензон называет нашим *синодиком*.

Довлеет дневи злоба его! В настоящее время действительно только по недоразумению можно было бы отнести человека, проповедующего мистицизм, к числу участников освободительного движения. В настоящее время мистик, даже искренне сочувствующий свободе и готовый ради нее на «активные выступления», принес бы ее делу гораздо больше вреда, нежели пользы. В настоящее время истинный, т. е. последовательный, т. е. *неполовинчатый*, служитель прогресса должен прежде всего очистить свое миросозерцание от всех пережитков устарелых миросозерцаний; в противном случае *неясность* его *идей* непременно приведет его к *непоследовательности в действиях*. А в эпоху Чаадаева, — когда дифференциация нашего «общества», а следовательно и дифференциация в области нашей общественной мысли, очень далека была от той ступени, которой она достигла теперь [1], — жизнь ёще не требовала от передовых людей такой строгой последовательности в мыслях, и потому тогда даже мистики могли, подобно Чаадаеву, служить свою службу освободительному движению. Довлеет дневи злоба его!

Да и то сказать: преобладающей чертой в миросозерцании Чаадаева является не мистицизм, а именно очень повышенная требовательность по отношению к окружающей его действительности. Г-ну Гершензону дело представляется иначе, но тот же г. Гершензон опять дает в своей интересной книге материал, показывающий, что он, г. Гершензон, сильно ошибается.

В самом деле, когда совершилось «обращение» Чаадаева? По сведениям, сообщаемым г. Гершензоном, выходит, что «около 1820 года» (стр. 34). Хорошо. А каковы были раньше того взгляды Чаадаева? Г-н Гершензон говорит, что раньше того «центральным пунктом его мировоззрения был общественный интерес» и что «единственным достойным приложением сил для патриота он считал то самое, в чем видели свой долг декабристы» (стр. 17). И на той же странице г. Гершензон приводит, из письма Чаадаева к своему брату, отрывок, показывающий, что это было в самом деле так. В этом отрывке речь идет об испанской революции; Чаадаев пишет (25 мая 1820 года): «Еще одна большая новость — этой новостью полон весь мир: испанская революция кончена; король принужден подписать конституционный акт 1812 г. Целый народ восстал, в три месяца разыгрывается до конца революция — и ни капли крови пролитой, никакой резни, ни потрясений, ни излишеств, вообще ничего, что могло бы осквернить это прекрасное дело, — что ты об этом скажешь? Вот разительный аргумент в деле революций, осуществленный на практике!» [2] Так писать мог только человек, всем сердцем сочувствовавший революционному движению. Теперь спрашивается: что же, собственно, привело

Чаадаева к мистицизму? На этот вопрос г. Гершензон отвечает очень неопределенно, да едва ли и есть какая-нибудь возможность дать на него определенный ответ. Известно только то, что уже после своего «обращения» Чаадаев по чьему-то совету прочитал сочинения Штиллинга и что эти сочинения «вызвали в нем тяжелый душевный кризис» (стр. 34) [1]. Но вот что достойно замечания. «За эти два года, — говорит г. Гершензон, — от выхода в отставку до отъезда за границу, Чаадаев чувствовал себя совсем больным... Чаадаев, по-видимому, от природы страдал крайней нервной раздражительностью, а под влиянием болезни и нравственных страданий, обусловленных отставкою и другими, вероятно, чисто духовными причинами, в нем развилась такая мнительность и такая неустойчивость настроений, которые делали его настоящим мучеником» (стр. 35). В письме к брату из Лондона от ноября 1823 г. сам Чаадаев так характеризует свое болезненное состояние: «Мое нервическое расположение — говорю это краснея — всякую мысль превращает в ощущение до такой степени, что вместо слов у меня каждый раз вырывается либо смех, либо слезы, либо жест» [2]. В другом письме (от апреля 1824 г.) он пишет: «Признаюсь, — хотя я знаю, что ты не очень веришь признаниям, — нервность моего воображения делает то, что я часто обманываюсь насчет собственных ощущений и принимаюсь смешно оплакивать свое состояние» (та же стр.) [3]. Приводимые г. Гершензоном выписки из дневника Чаадаева производят до последней степени тяжелое впечатление; кажется, что это записки человека, пораженного полным психическим расстройством (см. стр. 39—43). И такое состояние продолжается у Чаадаева очень долго. Даже по возвращении из-за границы он остается «одиноким, угрюмым нелюдимом», которому «грозит помешательство и маразм» (стр. 60). По словам г. Гершензона, опирающимся на свидетельство Д. Давыдова, Чаадаев впоследствии признавался гр. Строганову, что писал свое «Философическое письмо» во время сумасшествия, «в припадках которого он посягал на собственную жизнь» (стр. 60). Конечно, *мы* берем это свидетельство cum grano salis *, но все-таки мы не можем не принять его в соображение; сопоставленное с другими данными, оно убеждает нас, что *увлечение мистицизмом было у Чаадаева плодом нервной болезни*, вызванной отчасти, может быть, органическим предрасположением, а главное — тяжелыми впечатлениями, полученными от окружавшей его среды. И, говоря о среде, мы имеем в виду *не только нашу русскую действительность*, заставившую впоследствии молодого Герцена спрашивать себя в своем «Дневнике»: *«зачем мы проснулись?* [4]» Нет, в то время, к которому

* [с оговоркой]

относится заграничное путешествие Чаадаева, на Западе свободолюбивым людям жилось тоже очень не сладко: это было самое глухое время реакции, наступившей в Западной Европе после того, как улеглась буря Великой французской революции. Кинэ говорит, что все великие итальянские писатели начала девятнадцатого века проникнуты пессимизмом. Но ведь так было не в одной Италии; достаточно вспомнить Байрона. Правда, на Западе свободолюбивые люди, говоря вообще, не легко поддавались влиянию мистицизма: там мистика была преимущественно достоянием реакционеров. Но это объясняется тем, что, благодаря большой развитости западноевропейских общественных отношений, там всегда замечается гораздо больше соответствия между *общественными стремлениями* мыслящих людей и *теоретическими основами их миросозерцания.* Кто упускает из вида это обстоятельство, тот никогда не поймет, каким образом, например, в настоящее время довольно многие из наших «*марксистов*» (гм! гм!) могут увлекаться кантианством, эмпириомонизмом и другими философскими системами, выражающими собою более или менее *либеральное* — или более или менее *консервативное*, говорите как хотите — настроение нынешней западноевропейской *буржуазии.* Но об этом распространяться здесь неуместно. Факт тот, что Чаадаев и на Западе не мог тогда найти прочного успокоения для своей больной души. А он не мог не искать его; и чем старательнее он его искал, тем беззащитнее он становился по отношению к мистицизму. Мистицизм был для него тем же, чем, к сожалению, до сих пор служит водка многим и многим «российским» людям: средством, ведущим к забвению. Но водка не устраняет тех причин, которые вызывают нравственные страдания пьющего. Подобно этому и мистицизм не мог дать Чаадаеву то удовлетворение, которое могло быть найдено им *только в общественной деятельности.* И именно потому, что мистицизм не мог удовлетворить стремление Чаадаева к общественной деятельности, это стремление придало весьма своеобразный оттенок его мистицизму.

Общественный интерес нередко выступает на первый план даже в религиозных рассуждениях Чаадаева. В своем первом «Философическом письме» он говорит: «В христианском мире все необходимо должно способствовать — и действительно способствует — установлению совершенного строя на земле; иначе не оправдалось бы слово господа, что он пребудет в церкви своей до окончания века» [1]. Это как нельзя более характерно для чаадаевского мистицизма. Сравните этот мистицизм хотя бы с религиозным миросозерцанием гр. Толстого, и вы увидите, что само по себе увлечение религией еще не определяет настроения человека. У Чаадаева мистицизм оправдывает заботу об «установлении совершенного строя на земле», а у Толстого

религия твердит: «царство божие внутри вас», и поворачивается спиною ко всем общественным стремлениям своего времени. А ведь Толстой тоже «горѐ имеет сердце». Мистицизм Чаадаева совсем не похож на религиозность Толстого. Это, надеемся, не откажется признать и г. Гершензон, называющий мистицизм Чаадаева *социальным* мистицизмом. Нам кажется, что вернее было бы назвать его *мистицизмом на почве неудовлетворенного стремления внести осмысленность в окружающую жизнь.*

Но если *таков* был этот мистицизм, то вполне ясно, что автора «Философических писем» не только можно, но и должно было причислять к деятелям нашего освободительного движения.

Это как будто признает в конце концов и сам г. Гершензон; но, во-первых, он признает это с недопустимыми оговорками; а во-вторых, он не замечает, что это коренным образом противоречит его же мысли о том, что деятели нашего освободительного движения лишь по чудовищному недоразумению считали Чаадаева своим. Он говорит: «При том направлении, которое приняли мысли Чаадаева с начала 20-х годов, общественные интересы, конечно, должны были отойти для него на второй план; но заглохнуть совсем они не могли. Вся психика Чаадаева коренилась в почве александровского времени и до его зрелых лет питалась теми самыми соками, которые взрастили деятелей 14 декабря. Люди его поколения, его друзья и сверстники, знали одну страсть, имели одну жизненную цель — общественность, и, мы видели, таков был в петербургский период своей жизни и Чаадаев [1]. Он остается таким всю жизнь, и все, что он сделает, будет иметь своим объектом не личность, а общество. Не замерло в нем гражданское чувство и тогда, когда он весь отдался религиозному исканию: этому порукой его продолжительное сожительство за границей с Н. И. Тургеневым, типичным однодумом освободительного движения» (стр. 61). Прекрасно! Но ведь если человек, что бы он ни делал, всегда имеет в виду общество, то можно ли сказать, что общественные интересы отошли для него на второй план? По здравому рассуждению, — нет. И сам же г. Гершензон спешит сообщить факт, решающий этот спорный вопрос в самом определенном смысле, так сказать, не давая ни малейшего повода для кассации. Вот этот факт. Свербеев рассказывает, что, встретившись с ним во время своих заграничных странствований, т. е. во время самого сильного своего увлечения мистицизмом, Чаадаев так отзывался о тогдашнем нашем положении: «Он не скрывал в своих резких выходках глубочайшего презрения ко всему нашему прошедшему и настоящему и решительно отчаивался в будущем. Он обзывал Аракчеева злодеем, высших властей, военных и гражданских, — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, все остальное — коснеющим и пресмыкаю-

щимся в рабстве» [1] (стр. 61). Человек, у которого общественные интересы отошли бы на второй план, так говорить не стал бы. Нет, тут, даже в передаче другого лица, слышится горячее чувство человека, интересующегося *прежде всего* общественными вопросами. Это как раз то чувство, которое нашло себе исход в первом «Философическом письме» и которое сделало это письмо похожим на грозную обличительную проповедь революционера *.

Г-н Гершензон спрашивает себя, «время ли теперь напоминать русскому обществу о Чаадаеве?», и отвечает: «Я думаю — да, — и больше, чем когда-нибудь». С своей стороны, мы думаем, что теперь действительно очень не мешает напомнить читающей публике о Чаадаеве. Но соображения, выдвигаемые по вопросу об этом г. Гершензоном, кажутся нам — признаемся — весьма неудачными. Он пишет: «Всей совокупностью своих мыслей он (т. е. Чаадаев. — *Г. П.*) говорит нам, что политическая жизнь народов, стремясь к своим временным и материальным целям, в действительности только осуществляет частично вечную нравственную идею, т. е. что всякое общественное дело по существу своему не менее религиозно, нежели жаркая молитва верующего. Он говорит нам о социальной жизни: войдите, и здесь бог; но он прибавляет: помните же, что здесь бог и что вы служите ему» (стр. IV). Эти соображения свидетельствуют более о трогательной религиозности г. Гершензона, нежели об ясном понимании им роли религиозного «фактора» в истории человечества. Напомнить о Чаадаеве полезно теперь не потому, что будто бы «и здесь бог» и т. п., а потому, что мы переживаем теперь период крушения некоторых преувеличенных общественных ожиданий, а такие периоды всегда очень благоприятствуют распространению мистицизма. И есть некоторое основание думать, что мистическое настроение сильно распространяется [5] теперь в среде русской интеллигенции: недаром же наши «охотники до споров модных» начи-

---

* *Примечание из сб. «От обороны к нападению».* — К сожалению, это чувство не всегда шло у Чаадаева рука об руку с мужеством. В письме к гр. А. Ф. Орлову он самым постыдным образом и даже без достаточного внешнего повода отрекся от Герцена, сочувственно отозвавшегося о нем в своей брошюре «Du développement des idées révolutionnaires en Russie» [«О развитии революционных идей в России»] (1855) [2]. Чаадаев уверял Орлова, что он, Чаадаев, не может остаться равнодушным, «когда наглый беглец (sic), гнусным образом искажая истину», приписывает ему «свои собственные чувства» и кидает на его имя «свой собственный позор» (см. это письмо у М. Жихарева, «Петр Яковлевич Чаадаев», «Вестник Европы» 1871, сентябрь, стр. 50) [3]. Это удивительное письмо написано в том же 1851 г., в котором тот же Чаадаев написал тому же Герцену за границу очень дружеское письмо [4]. Когда М. Жихарев упрекнул Чаадаева в «ненужной гадости», тот возразил: «Mon cher, on tient à sa peau» [«Дорогой мой, всякий бережет свою шкуру»] (там же, стр. 51). Жалкое оправдание!

нают — хотя пока еще и с довольно невинным видом — придумывать новые, а вернее сказать, разогревать старые религии (см. религиозное откровение пророка А. Луначарского в «Образовании»)[1]. Пример Чаадаева хорош тем, что он показывает полнейшую несостоятельность мистицизма как средства решения пока еще не решенных жизнью общественных задач. С этой стороны жизнь и «мышление» Чаадаева особенно поучительны. Жаль только, что эта сторона не получила в книге г.Гершензона достаточного освещения.

Попробуем сами осветить ее.

Первое «Философическое письмо» Чаадаева проникнуто самым полным пессимизмом насчет исторической судьбы России. «Где наши мудрецы, — спрашивает он там, — наши мыслители? Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь мыслит? А ведь стоя между двумя главными частями мира, Востоком и Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы должны были бы соединять в себе оба великих начала духовной природы: воображение и рассудок, и совмещать в нашей цивилизации историю всего земного шара. Но не такова роль, определенная нам провидением. Больше того, оно как бы совсем не было озабочено нашей судьбой. Исключив нас из своего благодетельного действия на человеческий разум, оно всецело предоставило нас самим себе, отказалось как бы то ни было вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить. Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от прогресса, мы исказили»[2].

Дальше этого некуда идти в смысле пессимизма, и неудивительно, что Чаадаев приходит к такому заключению: «В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу. Мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять; ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке»[3]. Как ни безотраден этот вывод, но если бы под влиянием мистицизма общественные интересы в самом деле отошли у Чаадаева на второй план, то он подчинился бы воле провидения, не пожелавшего «озаботиться» нашей судьбою. Гагарин, нашедший успокоение в католицизме, вряд ли много задумывался о будущей судьбе России. Но в том-то и дело, что общественные интересы продолжали стоять у Чаадаева на первом плане и что поэтому он не мог помириться с «беззаботностью» провидения на наш счет. И вот он снова и

снова возвращается мыслью к нашему прошлому, пока, наконец, не открывает в нем такой черты, которая сулит нам очень отрадное будущее. И — странно сказать! — этой чертой оказывается та самая изолированность России, которая прежде представлялась Чаадаеву самой главной причиной бесплодности нашей истории и наиболее убедительным доводом в пользу той мысли, что провидение не сочло нужным подумать о нас.

Впервые новый взгляд Чаадаева на будущее России был высказан в книге Ястребцова «*О системе наук, приличных в наше время детям, назначаемых к образованнейшему классу*». Книга эта вышла в 1833 г. вторым изданием, и в ней, по словам самого Чаадаева, страницы, посвященные возможной будущности России, написаны под его диктовку. Г-н Гершензон так передает содержание этих страниц:

«Культура, представляя собою плод коллективной работы всех предшествующих поколений, достается каждому пришельцу даром. Поэтому счастлив народ, родившийся поздно: он наследует все сокровища, накопленные человечеством; он без труда и страданий приобретает средства материального благосостояния, средства умственного и даже нравственного развития, добытые ценою бесчисленных ошибок и жертв, и даже самые заблуждения прошедших времен могут служить ему полезными уроками. Таково положение России: она во многих отношениях молода по сравнению с Европой и, подобно Северной Америке, может даром наследовать богатства европейской культуры... Но в наследстве, которое досталось России, истина смешана с заблуждением. Его нельзя принять без разбора; необходимо отделить плевелы от истинного добра и воспользоваться только последним. И здесь-то главное основание нашей патриотической надежды: великая выгода России не только в том, что она может присвоить себе плоды чужих трудов, но в том, что она может заимствовать с полной свободой выбора, что ничто не мешает ей, приняв доброе, отвергнуть дурное. Народы с богатым прошлым лишены этой свободы, ибо прошедшая жизнь народа глубоко влияет на все его существование» (стр. 150—151).

В таком духе высказывается Чаадаев в письме к А. И. Тургеневу от 1832 г. «Пройдет немного времени, — говорит он там, — и, я уверен, великие идеи, раз настигнув нас, найдут у нас более удобную почву для своего осуществления и воплощения в людях, чем где-либо, потому что не встретят ни закоренелых предрассудков, ни старых привычек, ни упорной рутины, которые противостали бы им» [1].

Наконец, та же самая мысль почти буквально повторяется и в «Апологии сумасшедшего», написанной в 1837 г. Впрочем, там Чаадаев несколько определеннее выражает то, чего он ждет

от России. «У меня есть глубокое убеждение, — прибавляет он там, — что мы призваны решить бо́льшую часть проблем социального порядка, завершить бо́льшую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество» [1].

Если читатель припомнит совсем еще недавние рассуждения наших народников и субъективистов о возможном экономическом будущем России, то он увидит, что в них было очень мало нового: та же уверенность в том, что Россия имеет «полную свободу выбора»; то же убеждение в том, что «полная свобода выбора» является плодом нашей отсталости; наконец, те же ссылки на Петра Великого, будто бы показавшего нам своим примером, что у нас в самом деле есть эта свобода выбора. Таким образом получается нечто совсем неожиданное: Чаадаев оказывается родоначальником нашего народничества и нашего субъективизма. Г-н Гершензон так и говорит: «Мысль Чаадаева просочилась через Герцена в народничество, через Соловьева — в современное движение христианской общественности. О прямом заимствовании не может быть речи ни там, ни здесь, но преемственно оба эти движения во всяком случае восходят к учению Чаадаева» (стр. 170).

Но если это так, то при чем же здесь та «идея имманентного действия духа божия в истории человечества», которая составляет, по замечанию г. Гершензона, «самую сердцевину учения Чаадаева» (стр. 144)? Ведь ни у Герцена, ни у народников, ни у Н. Михайловского и его единомышленников такой идеи не было и в помине, а между тем они пришли к одинаковому выводу с Чаадаевым. Не ясно ли, что дело вовсе не в «идее имманентного действия духа божия», а в чем-то другом, общем Чаадаеву со многими русскими «интеллигентами», совершенно не разделявшими его мистических взглядов? В чем же другом? Да просто-напросто в приемах мысли «интеллигента», неспособного помириться с окружающей его действительностью, стремящегося в корне переделать эту действительность и... и еще не имеющего никакого понятия о том, что *в развитии этой действительности есть своя собственная, объективная логика, не только не зависящая от субъективной логики интеллигенции, но, в последнем счете, определяющая собою даже требования этой субъективной логики как с их сильной, так и с их слабой стороны.*

Новый взгляд Чаадаева на возможное будущее России был выработан с помощью тех самых приемов мышления, которые свойственны были *всем утопическим реформаторам.* Утопические реформаторы исходили обыкновенно из того молчаливого предположения, что каждая данная страна сама и сознательно определяет в каждое данное время дальнейший ход своего развития.

Кто находит правильным это положение, представляющее собою лишь разновидность *идеалистического объяснения истории,* согласно которому «мнения правят миром», — кто признает это положение правильным, тот весьма естественно умозаключает, что всякая данная отсталая страна имеет полную возможность воспользоваться «уроком» более передовых стран и, минуя более или менее ухабистую дорогу их внутреннего развития, может несколькими могучими прыжками перескочить в самое завидное будущее. А ведь думать так и значит считать изолированность данной страны и вообще ее отсталость вернейшим законом ее будущего прогресса *.

---

* *Примечание из сб. «От обороны к нападению».* — Тут нужно, однако, оговориться. Свое место в истории русской общественной мысли Чаадаев занимает *как автор первого «Философического письма», а не как автор «Апологии сумасшедшего» и не как мыслитель, имевший более или менее сильное влияние на Ястребцова,* написавшего исследование «О системе наук, приличных в наше время детям» и т. д. М. Жихарев, хорошо знавший Чаадаева, утверждает, что этот последний сделал в своей «Апологии» уступки, «которых он не должен был сделать с своей точки зрения и в правду которых он сам не верил» (там же, стр. 37). Об отношении Чаадаева к Ястребцову он ничего не говорит. На этих отношениях много останавливается г. Гершензон (см. стр. 149 и след. его книги). Этот последний указывает на то, что «когда позднее над Чаадаевым разразилась гроза из-за *«Философического письма»,* он, чтобы оправдать себя, послал Строганову книгу Ястребцова», прося его прочитать отмеченные им страницы, писанные под его диктовку. Но отношение Чаадаева к Ястребцову еще очень плохо выяснено. Письмо же к Строганову [1] могло *под влиянием страха* (Жихарев свидетельствует, что Чаадаев тогда очень растерялся) изобразить это отношение в неверном свете. Притом же письмо это, указывающее на выгоды нашего изолированного положения, на которые Чаадаев будто бы смотрел теперь как на «основание нашего дальнейшего успеха», непременно должно быть сопоставлено с письмом Чаадаева к княгине С. С. Мещерской от 15 октября 1836 г. [2] (письмо к Строганову помечено 8 ноября того же года). Чаадаев писал к Мещерской *уже по выходе* «Философического письма», *но еще до* последовавшей за ним катастрофы. И замечательно, что *в нем нет речи ни о какой перемене во взглядах Чаадаева на Россию.* Г-ну Гершензону следовало обратить на это большое внимание. Точно так же и в письме к И. Д. Якушкину Чаадаев, описывая историю, вызванную появлением его «Философического письма», о перемене своих взглядов не говорит ни слова (см. «Вестник Европы», 1874 г., кн. 7, ст. «Неизданные рукописи Чаадаева») [3]. В письме к Шеллингу от 20 мая 1842 г. Чаадаев осмеивает «ретроспективную утопию» славянофилов, согласно которой мы, «предупреждая ход человечества, уже осуществили среди самих себя заносчивые теории», т. е. собственно западноевропейского социализма [4]. В письме к гр. Сиркуру от 15 января 1845 г. он повторяет те же насмешки [5]. Вот почему *мы думаем,* что *еще подлежит пересмотру тот вывод, к которому пришел г. Гершензон* и на основании которого ведется дальнейшее рассуждение в нашей статье. Новые исследования покажут, пожалуй, что Чаадаев никогда не держался серьезно мысли о «выгодах нашего изолированного положения» [6]. Прибавим, что если теперь мы говорим об этом вопросе с сомнением, предоставляя окончательно решить его будущим исследователям, то прежде — до появления книги г. Гершензона—мы вслед за Герценом считали, что взгляд Чаадаева

Еще французские сен-симонисты находили, что Франция может избежать английского капитализма, воспользовавшись опытом Англии, истолкованным «новой философией», т. е. учением тех же сен-симонистов. Потом немецкие «истинные социалисты» стали уверять Германию, что ей вовсе не нужно следовать в этом отношении примеру «западных стран». Громче, дольше и настойчивее всех других распространялись на эту тему наши народники и субъективисты *. Само собою разумеется, что второстепенные и третьестепенные доводы, подкреплявшие это основное положение, изменялись сообразно экономическим и политическим особенностям той страны, где оно выдвигалось. Но само это основное положение оставалось по своему существу совершенно неизменным и было лишь переводом на язык политической экономии той общей историко-философской мысли, к которой пришел также и Чаадаев. Приходя к этой мысли, Чаадаев обнаруживал оригинальность разве только по сравнению с тогдашними русскими публицистами. На Западе же эта мысль вряд ли показалась бы кому-нибудь новой.

Но в высшей степени замечательно, что, высказывая эту свою мысль, Чаадаев — по крайней мере, с формальной стороны, т. е. в смысле приемов своего историко-философского мышления, — очень сближался с теми самыми славянофилами, учения которых он так не любил и борьба с которыми наполнила собою, как мы уже знаем, последний период его жизни. Когда славянофилы благословляли нашу «спасительную неподвижность», они рассуждали совершенно так же, как рассуждал Чаадаев. Более того: надо признать, что в чаяниях Чаадаева было еще больше элементов утопий, нежели в рассуждениях славянофилов, как ни дико рассуждали подчас эти последние.

Дело в том, что у славянофилов уже было более или менее смутное сознание того, что различные стороны общественной жизни связаны между собой такою связью, которая не может быть нарушена по усмотрению интеллигенции. Чаадаев — совершенно так же, как потом народники и субъективисты, — не подозревал существования такой связи или же позабывал о ней, задумываясь о будущем России. Вот почему славянофилы были нередко совершенно правы в своей критике запад-

---

на Россию всегда оставался прямой и полной противоположностью взгляда на нее славянофилов и народников. И мы печатно высказывались в этом смысле [1].

* В интересах справедливости прибавим, что и Н. Г. Чернышевский не раз повторял, что «хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит», желая сказать этим, что «хорошо отсталым народам, имеющим возможность воспользоваться опытом передовых».

ничества, как оно проявилось в утопиях Чаадаева, народников и субъективистов.

И. С. Аксаков, смешивая народников с либералами, писал, что в нашей либеральной печати «народ существует только одною своею, именно экономическою стороною... все же остальные стороны его бытия... все это им или ненавистно, или глубоко антипатично и презирается ими» *. Это было действительно так или почти так. Наши западники — пока они оставались на только что указанной нами утопической точке зрения — в самом деле произвольно брали в своих рассуждениях отдельные стороны народной жизни, наивно воображая, что данная, почему-либо симпатичная им, сторона может быть избавлена от влияния других сторон и направлена по пути «нормального» развития. Вся трудность заключалась только в том, чтобы придумать для передовой интеллигенции хорошую программу действий. Прав был И. С. Аксаков и тогда, когда утверждал, что «сходство некоторых учений, занесенных с Запада, с бытовыми воззрениями русского народа» — он имел в виду русскую общину, с одной стороны, и «коммуну» и «фаланстер» — с другой, — есть чисто внешнее сходство [2]. Наконец, был он прав и тогда, когда указывал нашим «либералам», что симпатичная им *экономическая* сторона нашей народной жизни, т. е. опять-таки поземельная община, органически связана с нашим политическим строем. Аргументируя так, он покидал область утопии, из которой никак не могли тогда выбраться наши социалисты народнического и «субъективного» направлений.

Славянофилы раньше западников почувствовали необходимость апелляции к внутренней, объективной логике нашего общественного развития. Но эта апелляция привела их туда, куда совсем не стремились попасть, по крайней мере, *первоучители* славянофильства.

В августе 1862 г. И. С. Аксаков писал в своем «Дне»: «Мы желали бы, чтобы все, непосредственно содействующее нашему *материальному* благосостоянию, было главным, если не исключительным, предметом законодательных забот и стремлений, с одновременным предоставлением простора деятельности мысли и головы».

В такой программе утопична была только вот эта надежда на «предоставление простора деятельности мысли и головы». Что же касается ее *экономической* стороны, то идеал И. С. Аксакова был, можно сказать, *действительностью следующего дня*. Под заботами о материальном благосостоянии славянофильский публицист понимал главным образом развитие железнодорожной сети, открытие новых рынков для промышленно-

* См. Сочинения И. С. Аксакова, том II, стр. 621[1].

сти, покровительственный тариф и т. д. Выдвигая такую программу, наше славянофильство само толкало Россию на тот путь капиталистического развития, на который гораздо раньше нас выступил «гнилой» Запад и который не мог не привести к отрицанию нашей, столь дорогой славянофилам, «самобытности». Обезнародьте народ, писал тот же Аксаков, и тогда западничество будет иметь у нас свой смысл. Но капитализм именно это и делал. Он разрушал нашу старую самобытность и тем подготовлял почву для появления у нас таких западнических течений, которые для своего существования уже не нуждаются в утопизме. И. С. Аксаков считал, что западноевропейский социализм является логическим выводом из западноевропейской истории. На Западе социализм был, по его мнению, у себя дома; социалисты — детища всей современной цивилизации, а «в Азии делать им нечего» *. Это было тоже неоспоримо. Поскольку Россия оставалась «Азией» в экономическом отношении, постольку одни утописты могли задумываться об осуществлении в ней передовых идеалов Запада. Но выдвинутая И. С. Аксаковым программа устраняла «*Азию*» и тем самым вырывала почву из-под ног славянофильства.

Вот как зла была ирония истории нашего внутреннего развития!. *Славянофильство расчищало почву для торжества чуждого утопий западничества, выставляя программу, сближавшую нас в экономическом отношении с «гнилым» Западом!*

В то время, когда со славянофилами воевал Чаадаев, до этого было, правда, еще весьма далеко. Славянофильство вовсе еще не было заражено *капиталистическими* тенденциями, а западничество всех оттенков обеими ногами стояло еще на почве *утопии*. Только Белинский сделал попытку выработать себе *научный* взгляд на происхождение и свойства нашей действительности; только Белинский сознавал, что *отрицание* «гнусной рассейской действительности» должно основываться на *логике ее собственного внутреннего развития*. Но его попытка была осуждена на неудачу вследствие полного недостатка данных для правильного решения этого чрезвычайно важного вопроса **. Тем не менее мы сочли полезным отметить здесь указанную иронию жизни, чтобы напомнить, как мало считалась эта жизнь с тем, что хотелось «*свободно выбрать*» тем или другим группам нашей интеллигенции. У жизни была своя, *объективная* логика. И если на ее, подчас иронические, выводы вообще крайне слабо повлияла субъективная логика «интеллигентских» групп, то уже совсем равно нулю было влияние на

* «Русь» от 15 марта 1883 г. Статья, из которой мы делаем свои выписки, перепечатана во втором томе сочинений И. С. Аксакова [1].

** Об этом см. в нашей статье «Белинский и разумная действительность» в нашем сборнике «За двадцать лет» [Сочинения, т. X] [2].

нее того элемента во взглядах Чаадаева, который характеризуется у г. Гершензона словами: «и здесь бог». Мистицизм послужил Чаадаеву наркотическим средством, отчасти уменьшавшим его нравственные муки, ослаблявшим — на время! — симптомы его столь знакомой российскому интеллигенту нравственной болезни *безнадежности в борьбе с общественным злом*. Но он не пролил ни одного, решительно ни единого луча на тот путь, который может привести к устранению зла. Да и не способен был пролить! По самой своей природе он мог только затруднить открытие этого пути, отвлекая внимание увлеченного им высокодаровитого человека в сторону, прямо противоположную той, в которую следовало обернуться. Западничество восторжествует у нас — а отчасти *уже торжествует malgré tout!* * — не под знаком *мистицизма*, а под знаком *материализма*.

В заключение — еще одно маленькое замечание г. Гершензону. Он очень ошибается, как ошибся некогда и Пыпин, считая «Письма об изучении природы» [1] Герцена *материалистическим* сочинением (стр. 187). Loin de là! ** И чтобы г. Гершензон мог убедиться в том, что это действительно так, мы рекомендуем ему взять второй том заграничного издания сочинений Герцена — этот том содержит в себе, между прочим, «Письма об изучении природы» — и прочитать в нем страницы 259, 260, 282 и 292 [2]: он увидит, что Герцен не был материалистом в ту пору, когда писал — *по Гегелю!* — названные «письма». В том же самом г. Гершензон может убедиться и другим путем: перечитавши «Дневник» Герцена, напечатанный в *первом* томе того же издания. Из «Дневника» видно, что в 1844 г., приступая к своим «письмам», Герцен еще колебался между идеализмом и материализмом, *причем был ближе к первому, нежели ко второму*. О природе он так говорит там: «В природе идея существует телесно, бессознательно, подчиненная закону необходимости и влечениям темным, не снятым свободным разумением» (стр. 377). Пусть сам г. Гершензон судит, материализм ли это***[3].

Пора нам, наконец, получше ознакомиться с образом мыслей и с историей умственного развития наших замечательных людей.

---

* [несмотря на все]

** [Далеко от этого]

*** Благодаря неясности своей точки зрения, Герцен в «Письмах об изучении природы» говорит крайне неясно об отношении мышления к бытию и этой своей неясностью заставляет вспоминать Иос. Дицгена, в философии которого решительно недостает ясного понимания этого предмета.

О КНИГЕ М. ГЕРШЕНЗОНА «ИСТОРИЯ МОЛОДОЙ РОССИИ»

«История Молодой России». Москва, 1908.

«Каждый русский должен знать историю русской общественной мысли»,— говорит г. М. Гершензон. Это как нельзя более справедливо. И мы не можем не поблагодарить г. М. Гершензона за то, что он усердно разрабатывает эту историю. Только жаль, что г. М. Гершензон держится такой точки зрения, которая подчас сильно мешает ему обнаружить внутреннюю связь изучаемых им явлений.

До какой степени вредит ему его точка зрения, показывает его характеристика личности А. Н. Раевского в очерке «М. Ф. Орлов» *. Г-н М. Гершензон не любит А. Н. Раевского. Почему же именно? «Раевский, — говорит он, — был, конечно, очень умен» (стр. 40). Но у него был непростительный в глазах г. М. Гершензона недостаток: он не способен был чувствовать «силу и красоту иррационального в мире», и это обстоятельство привело к тому, что его сильный ум не принес тех плодов, которые он мог бы принести при другом отношении к «иррациональному». Г-н М. Гершензон пишет: «Но ум, лишенный способности чувствовать силу и красоту иррационального в мире, — плоский и скудный ум, и таков, при всей своей остроте, был ум Раевского. Высшие сферы человеческого духа были для него закрыты» (стр. 41). В доказательство наш автор ссылается на Вигеля, который говорит по поводу отношений Раевского к Пушкину: «Поэзия была ему дело вовсе чуждое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство» (там же). Как ни странна мне эта ссылка на Вигеля, которого вряд ли можно считать компетентным судьею в «поэзии» и в «нежных чувствах», однако я готов допустить, что поэтическое чувство было у Раевского мало развито. И я, разумеется, готов признать, что это большой недостаток. Однако этот неоспоримо большой недостаток не так уже сильно портил дело, как это хочется утверждать г. М. Гершензону. Вот, например, мы узнаем от того же г. М. Гершензона следующий чрезвычайно интересный факт, заимствованный им из записок Лорера. Во время

* Эта книга г. М. Гершензона представляет собою ряд очерков: 1) «М. Ф. Орлов»; 2) «В. С. Печерин»; 3) «Н. В. Станкевич»; 4) «Т. Н. Грановский»; 5) «И. П. Галахов»; 6) «Н. П. Огарев».

следствия по делу 14 декабря Николай сказал Александру Раевскому: «Я знаю, что вы не принадлежите к тайному обществу; но, имея родных и знакомых там, вы все знали и не уведомили правительство; где же ваша присяга?» На это А. Раевский смело отвечал: «Государь! честь дороже присяги, нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись еще» [1] (стр. 49). Я смею думать, что «высшие сферы человеческого духа» не совсем закрыты для человека, способного чувствовать таким образом. Но, может быть, г. М. Гершензон возразит мне, что *честь — недостаточно «нежное» чувство*. Тогда я напомню ему о жизни А. Раевского в своем полтавском имении Болтышке, куда он был выслан по высочайшему повелению из Одессы за свои отношения к гр. Воронцовой. Там он прожил три года. «За это время, — говорит нам г. М. Гершензон, — Болтышку посетила холера, и он сделал все возможное, чтобы облегчить бедствие, не жалея трудов и нимало не думая о себе» (стр. 74). По этому поводу, как мы опять узнаем от того же г. М. Гершензона, один из знакомых А. Раевского заметил, что хотя Пушкин называл его демоном [2], но крепостные люди в Болтышке звали его ангелом (там же). Что же думает об этом наш автор? А он думает вот что: «Самоотвержение, выказанное им (А. Раевским. — *Г. П.*) при этом, могло быть обусловлено не столько альтруизмом, сколько известным складом характера» (там же). Каким же именно *«складом»?* Очевидно, *складом в сторону самоотвержения, альтруизма*. Но если это так, то я, право, не знаю, в чем же тут разница. Скажу вот что. В обществе, разделенном на классы, лучшим и самым надежным критерием для оценки нравственного «склада» всякого человека из *«высшего»* класса может и должно служить его отношение к людям из *«низшего»* класса, *особенно же к тем людям, которые находятся в непосредственной зависимости от него* или, как в данном случае, даже составляют его «крещеную собственность» [3]. Когда *«собственность»* этого рода называет своего *собственника* «ангелом» — конечно, если тут нет лицемерия, чего мы не можем предположить в данном случае, — то для этого человека настежь открыты «высшие сферы человеческого духа». Это очевидно, и именно оттого, что это очевидно, ясно, что г. М. Гершензон опровергает самого себя, как это, впрочем, нередко случается с ним и в его книге о Чаадаеве [4]. У г. М. Гершензона *факты* сплошь да рядом ведут упорную войну с теми *выводами*, которые он из них делает. И в этом виновата именно его точка зрения, виновато именно его своеобразное пристрастие к «иррациональному», закутанное в довольно густой туман чего-то, сильно смахивающего на мистицизм. И очень досадно, что он держится этой странной точки зрения: он талантливый рассказчик,

Я потому останавливаюсь на этом, что у нас теперь вообще начинают сильно пошаливать с «иррациональным». Г-ну М. Гершензону, как человеку, занимающемуся историей русской общественной мысли, было бы полезно догадаться, что под флагом «иррационального» у нас проводится теперь в литературу много такого теоретического снадобья, которое предназначается совсем не для того, чтобы облегчить читателям доступ в «высшие сферы человеческого духа», а, — наоборот! — для того, чтобы помочь им повернуться к этим «сферам» спиною. «Иррациональное» — это тот окольный путь, которым идет некоторая часть нашей интеллигенции к исполнению своей исторической миссии: выработать идеологию современного русского буржуа, инстинктом чувствующего несогласимость своих классовых интересов с самыми передовыми и уж, несомненно, самыми высшими стремлениями настоящего времени *. Хороший *рассказчик,* г. М. Гершензон обнаруживает порядочную таки слабость всякий раз, когда ему приходится оперировать с *понятиями,* когда ему случается высказать ту или другую *общую мысль.* Вот интересный пример:

«Движение, овладевшее лучшей частью московской молодежи с середины 1830 годов, — говорит он, — не было одним из тех частных раскрытий идеала, какими являются все дальнейшие наши общественные движения, по преимуществу политические; в том и заключается его великая особенность, что оно имело своим предметом весь идеал в целом, точнее, не какое-нибудь его приложение, а самую его субстанцию. Эти юноши мечтали не о частных улучшениях нравственного или политического свойства, а о восстановлении в человеке его божественной природы вообще. Словами своих немецких учителей они говорили, что во вселенной царит разум, который только в человеке может достигать самосознания, и что, следовательно, высший долг человека заключается в том, чтобы сознательно жить по тем же законам, как и вселенная. В этих стремлениях человеку, по справедливому выражению современника (Анненкова), открывался *«новый мир»*» (стр. 207). Очень хорошо! Но что значит «божественная природа человека»? Человек есть человек, и я не облегчаю, а затрудняю себе понимание его природы, если я объявляю ее божественной. Далее. Если во вселенной царит *разум* и если этот разум достигает в человеке *самосознания, то понимание* вселенной вполне доступно человеческому «разуму» *(хотя и не «рассудку»),* и для *«иррационального»* не остается места ни в природе, ни в общественной жизни.

---

* *Примечание из сб. «От обороны к нападению».* — Это было писано весною 1908 года. А в следующем году г. Гершензон своей статьей «Творческое самосознание», напечатанной в пресловутых «Вехах», показал, что он сам готов принять деятельное участие в выработке названной в тексте идеологии. Мое замечание оказалось основательным.

А мы уже знаем, благодаря г. Гершензону, что человек, лишенный способности чувствовать «силу и красоту иррационального в мире», не может проникнуть в высшие сферы человеческого духа. Выходит, что и для московской мыслящей молодежи тридцатых годов эти высшие сферы должны были оставаться недоступными. Но, с другой стороны, из слов того же г. М. Гершензона несомненно выходит, что эта молодежь проникла в них более, чем какая-нибудь другая. Как же понимать это? Как тут связать концы с концами? Я не знаю, да, пока что, я думаю, что не знает и г. Гершензон.

Еще пример. Говоря об увлечении Герцена и Огарева естественными науками в 1843—46 гг., г. Гершензон замечает: «В конечном итоге их занимала больше всего социальная жизнь, следовательно, история, и вот оба они одновременно приходят к сознанию, что история должна быть основана на антропологии, антропология, в свою очередь, на физиологии, физиология — на химии; в начале 1845 г. Огарев, сообщая Герцену о курсе антропологии, открытом в Париже Огюстом Контом, и о занятиях Боткина и Фролова естественными науками, с торжеством указывал на то, что всюду возникает интерес к антропологии, науке о конкретном человеке. Это было действительно освобождение от всякой предвзятой точки зрения, — как от спиритуализма, так и от материализма. Они нашли выход из двойственности логики и природы: вещество — такая же абстракция вниз, как логика абстракция вверх; в конкретной действительности нет, собственно, ни того, ни другого, а есть процесс» (стр. 226). Это опять весьма неясно и даже больше: это прямо неточно.

На самом деле развитие Герцена и Огарева было развитием от Гегеля к Фейербаху, т. е. *от идеализма к материализму*, в противоположность г. Булгакову, развивавшемуся, как известно, от исторического материализма до Оптиной пустыни [1]. Совершенно справедливо то, что *они не всегда сознавали* это направление своего развития. Совершенно справедливо также и то, что, находясь в процессе этого развития от Гегеля к Фейербаху, они иногда запутывались в своих собственных философских идеях, не сумели внести в них надлежащую стройность и потому могли *казаться себе и другим* одинаково далекими как от *идеализма* (этот термин уместнее здесь, нежели употребляемый г. Гершензоном термин: *спиритуализм*), так и от *материализма*. Но ведь это вовсе не выход, а *только неуменье найти таковой*. В самом деле, что это значит, что в конкретной действительности нет ни логики, ни вещества, а есть одно их взаимодействие, есть процесс? Ведь ясно же, как божий день, что взаимодействие между *А* и *Б* предполагает существование *как А, так* и *Б*. И раз мы признали это их *взаимодействие*, то

мы тем самым признали и *их существование*. Значит, мы уже не имеем никакого права утверждать, что *их «собственно нет»*. Совсем напротив: из наших собственных слов выходит, что *они собственно суть*. Кроме того, раз мы признали *взаимодействие между «логикой»* и *«веществом»*, мы закрыли себе всякий выход из *дуализма*, согласно которому человек состоит из *души и тела*, причем между этими его составными частями существует взаимодействие. *Монизм* состоит вовсе не в том, в чем его как будто ищет г. Гершензон. *Идеалистический* монизм смотрит на *материю* («вещество»), как на *«инобытие* духа»; *материалистический* монизм считает мысль *свойством материи* (когда Вольтер говорил: «я — тело, и я мыслю», этот деист высказывал совершенно материалистическую мысль). Можно склоняться к *идеализму;* можно склоняться к *материализму*. Но выбирать между ними необходимо, ибо *третьего нет!*

Что значат эти слова, так часто повторяемые теперь дилетантами философии: *вещество есть абстракция?* Всякое *понятие есть абстракция*, и если я имею *понятие о веществе*, то вещество, *как мое понятие*, несомненно, есть тоже абстракция. Но вопрос совсем не в этом. Вопрос в том, *есть ли за пределами моего «я» что-либо, соответствующее этой «абстракции»*. Главным отличительным признаком всякой данной философии *и является тот ответ, который она дает на этот вопрос*. А г. Гершензон позабывает обо всем этом и только повторяет: вещество — абстракция; логика — абстракция. Слова! Слова! Слова!

«Каждый русский должен знать историю русской общественной мысли». Высказав эту мысль, г. Гершензон высказал самую неоспоримую истину. Но он и не подозревает, как трудно русскому наших дней исполнить указанную обязанность. Тридцатые и сороковые годы являются у нас фокусом, в котором сходятся и из которого расходятся все течения русской общественной мысли. Понимание этой эпохи безусловно необходимо. А чтобы понять ее, столь же безусловно необходимо понять философские системы, оказавшие наиболее сильное влияние на мыслящих русских людей того времени, т. е. *системы Гегеля и Фейербаха*. А у нас как нельзя более основательно не знают теперь *ни той, ни другой*. Что же из этого получается? Ясно — что. История русской общественной мысли остается непонятой в самых главных своих, самых глубоких течениях. И это, вероятно, долго так будет, потому у нашей пишущей братии что-то совсем незаметно никакого стремления хорошенько изучить Гегеля и Фейербаха. Наши историки русской общественной мысли довольствуются тем, что повторяют об этих мыслителях ходячие отзывы, избитые общие места. Оттого и выходит, что, при всем таланте некоторых из них, им до сих пор не удается попасть «в самую жилу», как выражается дьякон у Г. И. Успенского [1].

Г-н М. Гершензон принадлежит, как я уже сказал, к числу талантливых исследователей в области истории нашей общественной мысли. Некоторые очерки, входящие в состав его *«Молодой России»*, читаются с захватывающим интересом, особенно очерк *«В. С. Печерин»*, от которого трудно оторваться. Конечно, интерес, вызываемый в читателях этим очерком, в значительной степени объясняется высокодраматическим характером его предмета. Но немало значит и свойственное г. М. Гершензону живое, увлекательное изложение. И при всем том очевидно, что до «самой жилы» истории нашей общественной жизни наш автор никогда не проникнет. Очень уж он беспомощен по части философии! Смешно сказать, а грешно утаить: г. Гершензон пресерьезно относит г. П. Струве к числу русских *«мыслителей»*. Это показывает, как плохо разбирается он в мыслителях вообще. И только потому, что он вообще плохо разбирается в них, он мог написать уже приведенные мною выше строки о том, что философское увлечение, охватившее московскую молодежь 30-х годов, имело своим предметом не какое-нибудь принижение идеала, а «самую его субстанцию». Еще Герцен очень хорошо понимал — и очень недурно объяснил в своей брошюре о развитии революционных идей в России [1], — что тогдашние философские увлечения мыслящей молодежи вызваны были исканием тех средств, которые помогли бы ей справиться с окружавшей ее безобразной действительностью. С этой — единственно правильной — точки зрения становятся понятными и все дальнейшие наши умственные движения и увлечения. Но г. Гершензону она, должно быть, кажется недостаточно возвышенной. Он предпочитает толковать о «субстанции идеала», о «божественной природе человека» и тому подобных туманностях («субстанция идеала» — это «иррационально», но только не в смысле, столь любезном г. Гершензону). В этих туманностях очень легко просмотреть *«самую субстанцию» дела,* и я готов держать пари, что если г. Гершензон возьмется когда-нибудь за Белинского и захочет понять «субстанцию» его спора со славянофилами, то до «субстанции» он так и не доберется.

И все-таки я скажу: читайте, читайте «Историю Молодой России» г. М. Гершензона! Она дает много ценного *фактического материала* для понимания нашего умственного развития. А что касается этого последнего, то г. М. Гершензон трижды прав: «каждый русский должен знать историю русской общественной мысли», хотя и трудно — ох, как трудно! — нынешнему российскому «интеллигенту», сбиваемому с толка всевозможными модными «иррациональностями», выполнить эту обязанность. Поистине, легче верблюду войти в игольное ушко. Но все-таки надо стараться!

О КНИГЕ М. ГЕРШЕНЗОНА «ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ»

«Исторические записки (о русском обществе)». Москва 1910 [1].

Книга эта составлена из статей, которые раньше были напечатаны в журналах: «Вестник Европы» (1908 г.) и «Русская Мысль» (1909 г.), а также в столь нашумевшем сборнике «Вехи» [2]. Некоторые из этих статей являются здесь в исправленном и дополненном виде. В целом получается произведение, заслуживающее очень серьезного внимания.

Г-н М. Гершензон принадлежит к числу писателей, чрезвычайно усердно занимающихся теперь делом приспособления тех взглядов, которые свойственны известной части нашей «более или менее передовой» интеллигенции, к нынешнему положению нашей более или менее сознательной буржуазии. Положение это, конечно, нельзя назвать господствующим; у нас все еще господствует по-прежнему бюрократия, очень ревниво оберегающая свои безграничные права. Но буржуазия далеко подвинулась, вернее сказать, *была подвинута обстоятельствами,* — в направлении к господству; и всякий чувствует, что если нашему отечеству не суждено превратиться в страну полного застоя, то буржуазия подвинется еще дальше и, войдя в сделку с дворянством, все более и более пропитывающимся буржуазным духом, положит предел господству бюрократии. Но известно, что во всякой, хотя бы немного цивилизованной, стране господствующий класс должен иметь своих идеологов. Та группа писателей, к которой принадлежит г. М. Гершензон, очень хорошо понимает это и с лихорадочной поспешностью готовится к роли идеологов русской буржуазии. Правда, роль эту она изучает не со вчерашнего дня. Подготовка к ней началась еще в то время, когда некоторые — т. е., собственно, очень многие — из наших марксистов взялись за «критику Маркса». Уже тогда людям, «имеющим очи, чтобы видеть», весьма заметен был бур-

жуазный характер умственного перелома, пережитого в то время некоторой частью нашей интеллигенции, увлекшейся перед этим — правда, не очень надолго — учением Маркса [1]. Но тогда была не та пора! Тогда возможны были такие «мечтания», которые представляются теперь совершенно «бессмысленными» [2] огромнейшему большинству кандидатов на должность буржуазных идеологов. Поэтому хотя кандидаты эти и тогда стремились «назад» («назад к Лассалю», «назад к Канту» и т. п.), но вряд ли кто-нибудь из них предвидел, как страшно далеко «назад» унесут их последующие события. Если прежде некоторые из них могли звать нас «*назад к Лассалю*», то теперь им приходится приглашать образованных русских людей *назад к славянофилам*. Ну, а известно, что от Лассаля до славянофилов — скажем: до А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, Ю. Ф. Самарина — дистанция огромного размера. И само собою разумеется, что эту дистанцию огромного размера нельзя было пройти без лихорадочной поспешности.

Г-н М. Гершензон именно и зовет нас назад к славянофилам. Но, конечно, очень ошибся бы тот, кто подумал бы, что, зовя нас назад к славянофилам, г. М. Гершензон усиливается воскресить славянофильское учение. Нет, взятое в своем целом, учение это слишком устарело для нашей эпохи, а г. М. Гершензон слишком современный человек для того, чтобы надевать славянофильскую мурмолку. Он заимствует у славянофилов не их практическую программу, не их философию русской истории, не их приверженность к православию, а то, что он называет *ядром* их учения (стр. 139). Он говорит:

«В глазах нашей либеральной интеллигенции, от Белинского до наших дней, славянофильство характеризуется двумя чертами: фанатической приверженностью к православию и узким консерватизмом политическим. Между тем обе эти черты были в славянофильстве случайными, потому что православие не вытекало из его метафизики с логической необходимостью, а его политический консерватизм был в значительной степени обусловлен страстностью борьбы, тем настроением, когда, по выражению Гегеля, и $2 \times 2 = 4$ кажется в устах противника и неверным, и безнравственным. *Консерватизм был присущ самой идее славянофильства лишь в той мере, в какой он являлся стремлением отстоять нравственную законность традиции против посягательств отвлеченного* ума» (стр. 139; подчеркнуто у г. М. Гершензона).

Вы видите: г. М. Гершензон не одобряет «узкого консерватизма политического», но в то же время он признает «нравственную законность традиции», на которую посягает отвлеченный ум. Это очень хорошо, это именно то, что нужно теперь для нашей буржуазии: не слишком вправо (там бюрократия и

черная сотня) и не слишком влево (там «беззаконники», совсем отрицающие «нравственную законность традиции»). Известно, что в состав нашей буржуазии входят не одни только лица православного вероисповедания. Поэтому исключительная приверженность славянофилов к православию является теперь устарелой, и г. Гершензон отвергает ее без малейшего колебания. Точно так же известно, что наша буржуазия не будет в состоянии сделаться вполне господствующим классом до тех пор, пока она не приобретет новых политических прав. Поэтому г. Гершензон не менее решительно отрицает и политический консерватизм славянофилов. Он вообще не любит крайностей. То, что защищает он в своих «Исторических записках», есть старая, но вечно новая juste milieu, «золотая середина», середка на половинке. Будущий историк нашей общественной мысли не оставит, конечно, без внимания того обстоятельства, что у нас теперь к «золотой середине» особенно сильно тяготеют те, которые кстати и некстати распространяются о своей ненависти к «мещанству». Но это мимоходом. Здесь я хочу указать на то, что при наличности «традиции», свойственной нашей интеллигенции, отстаивание золотой середины есть дело весьма трудное и хлопотливое. Недаром же г. Гершензон уверяет своего читателя, что «история нашей публицистики, начиная после Белинского, в смысле жизненного разумения — сплошной кошмар» (стр. 168). На защиту «золотой середины» приходится выдвигать у нас тяжелую метафизическую артиллерию. Это смутно чувствовали еще наши критики Маркса, звавшие нас «назад к Канту» и вообще пятившиеся «от марксизма к идеализму». Но Кант и западные идеалисты оказались все-таки недостаточно надежными. И вот г. С. Булгаков «возвратился сознательно к вере детских дней, вере в распятого бога и его евангелие, как к полной, высочайшей и глубочайшей истине о человеке и его жизни» (см. его статью: «Интеллигенция и религия», «Русская Мысль», 1908 г., март), а г. Гершензон вспомнил о славянофилах и даже о «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя.

По мнению г. Гершензона, вся сущность знаменитого спора между славянофилами и западниками состоит в том, что между тем как программа славянофилов гласила: «внутреннее устроение личности», программа западников сводилась «*к усовершенствованию общественных форм*» (стр. 137, курсив г. Гершензона).

Место не позволяет нам долго останавливаться на той характеристике этих двух программ, которую дает наш автор. Мы вынуждены ограничиться очень немногим. Г-н Гершензон убежден в том, что нормально мыслящий человек не может обойтись без религии. Славянофилы потому и дороги ему, что они

давно высказали подобное же убеждение. «Внутреннее устроение личности» должно совершаться именно под знаком религии: «Задача каждого человека в отдельности сводится к тому, чтобы правильно устроить свой собственный дух, т. е. сознать до конца свой нравственный долг как свое космическое или религиозное назначение и сосредоточить все свои душевные силы на его исполнении; общественное же призвание человека заключается в том, чтобы и лично помогать другим людям в устроении их духа и совместно с другими содействовать такому устроению общего быта, при котором эта основная, индивидуальная цель достигалась бы всеми членами общества возможно легче» (стр. 135—136). Отсюда следует, по словам г. Гершензона, что религиозно мыслящий человек вовсе не отрицает значения общественной деятельности и общественных преобразований: «но он строго подчиняет общество личности и улучшения в социальном или политическом строе обусловливает задачами индивидуального духовного совершенствования» (стр. 136). Иначе обстоит дело с «убежденным западником или рационалистом».

«Он не видит в мире никакой целесообразности: для него единственный закон, царящий в мире, есть закон механической причинности, и тому же закону он подчиняет историческую жизнь человечества. Он верит в бесконечный рост логического сознания в человеке, строго подчиненный закону причинности. Таким образом, он на первый план выдвигает в личности — сознание, в истории — общественный строй как совокупность данных, причинно-обусловливающих успехи личного сознания. Отсюда вытекают все частности этой программы. Нравственный мир личности оставляется совершенно в стороне, как сфера безусловно зависимая; воздействовать на него непосредственно в себе или в других нет никакого смысла, да и невозможно, так как он строится по железному закону причинности; вся душевная жизнь человека есть механический продукт внешних условий. Следовательно, поднять жизнь на высшую ступень можно только одним способом — путем изменения общественных условий, в которых живет личность, т. е. путем такой перестройки общества, которая диктуется логическим разумом. Это значит, что единственной законной обязанностью человека признается общественная деятельность, при полном невнимании к устроению собственного духа, и что предметом этой деятельности объявляется опять-таки не нравственная сфера общежития, а его сознательно установляемые формы» (стр. 136—137).

Это противоположение религиозного миросозерцания «рационалистическому» и составляет главную мысль книги г. М. Гершензона. Всякий мало-мальски понимающий дело человек видит, что противопоставление это совершенно лишено сколько-

нибудь серьезного основания. В самом деле, достаточно прочитать хотя бы роман Чернышевского «Что делать?», заключающий в себе целый кодекс самой передовой и самой последовательной «западнической» морали 60-х годов, чтобы видеть, как сильно и как неудачно клевещет на «западников» г. М. Гершензон, обвиняющий их в полном невнимании к устроению собственного духа. Действующие лица этого романа — т. е., конечно, его положительные типы — не только не были невнимательны к вопросам, касающимся устроения собственного духа, т. е. к вопросам личной нравственности, но, напротив, занимались ими с величайшим вниманием. Люди типа Лопухова, Кирсанова и Веры Павловны интересовались вопросами этого рода гораздо больше, нежели современные им передовые люди Западной Европы. Мы уже не говорим о людях типа Рахметова!

Далее. Г-н М. Гершензон, кажется, не лишен некоторого философского образования. Поэтому до последней степени странно встретить у него ту мысль, что если нравственный мир человека «строится по железному закону причинности», то нет ни смысла, ни возможности «воздействовать» на него в том или другом направлении. Ведь «воздействие» само может быть подчинено этому железному закону. Да и возможно ли, мыслимо ли такое воздействие, которое не было бы подчинено ему? На этот вопрос решительным *отрицанием* отвечает вся классическая немецкая — заметьте, читатель: *идеалистическая, а вовсе не материалистическая* — философия. Но г. Гершензон, как видно, склонен решать его в положительном смысле. Откуда эта разница? Это тоже очень важный вопрос. Мы не можем браться за его решение в этой беглой заметке. Ограничимся указанием одного несомненного исторического факта: французская идеалистическая философия времени реставрации — т. е. той эпохи, когда с лихорадочной поспешностью совершалось приспособление взглядов французской интеллигенции к изменившемуся вследствие революции положению французской буржуазии, — решала вопрос об отношении свободы к необходимости приблизительно в том же положительном смысле, в каком решает его г. Гершензон. Эта аналогия как нельзя более замечательна с точки зрения социолога.

Наконец, нужно быть лишенным всякого понятия об истории развития новейших социальных идей, чтобы вообразить, будто «западники» (рационалисты тож) выдвигали на первый план «в истории» общественный строй по той причине, что грешили полным невниманием к вопросам об устроении собственного и чужого духа. Во-первых, этому противоречит сам же г. Гершензон, утверждающий, что западники смотрели на общественный строй, как на «совокупность данных, причинно-

обусловливающих успехи личного сознания»: ведь «личное сознание» тоже относится, если не ошибаемся, к области «духа». Во-вторых, «общественный строй» рассматривался и рассматривается западниками как «совокупность данных, причинно-обусловливающих успехи»... не только «личного сознания», но также и нравственности. Маркс — самый гениальный из всех «западников» и рационалистов XIX века — писал еще в своей полемике с Бруно Бауэром: «Если человек не свободен в материалистическом смысле этого слова, т. е. его свобода заключается не в отрицательной способности избегать тех или других поступков, а в положительной возможности проявления своих личных свойств, то надо, стало быть, не карать отдельных лиц за их преступления, а уничтожить противообщественные источники преступлений и отвести в обществе свободное место для деятельности каждого человека. Если человеческий характер создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать эти обстоятельства достойными человека» [1]. В том же самом смысле высказывались и русские западники и рационалисты, например Чернышевский [2], Добролюбов и их единомышленники. Но г. Гершензон делает вид, что он ничего этого не знает. *Ему необходимо* теперь петь старую песню о «грубом» материализме наших «западников и рационалистов».

После всего сказанного почти бесполезно отмечать то обстоятельство, что когда г. Гершензон определяет со своей точки зрения «задачу каждого человека в отдельности», равно как и общественное призвание человека, тогда его мысль становится бессодержательной вследствие своей крайней расплывчатости: «сознать до конца свой нравственный долг» и «сосредоточить все свои душевные силы на его исполнении» может, конечно, человек не только славянофильского лагеря; и точно так же, как мы только что видели, ничто не мешает «западникам» переделывать общественный строй именно ради «устроения духа». Вся разница между «славянофилами» и «западниками» сводится, стало быть, к тому, что первые смотрят на свою деятельность с точки зрения религии, а вторые — с точки зрения разума. И решительно не видно, почему мы должны предпочесть точку зрения первых точке зрения вторых.

Впрочем, погодите. В другом месте это виднее. На стр. 144 своей книги г. М. Гершензон, высказав то совсем не доказанное им положение, что в мире нет силы, более революционной, нежели религиозная идея, многозначительно прибавляет: «и хотя религиозная мысль, как я указал выше, склонна бережно относиться к традиции, ценя в ней закономерный итог массовых душевных переживаний, да и по существу не придает важности внешним перестройкам, но она неминуемо становится в оппозицию и к существующему политическому строю, поскольку

этот строй прямо и непосредственно стесняет духовную свободу личности».

Это и есть des Pudels Kern [1]: «религиозная» идея г. Гершензона стоит в оппозиции к существующему политическому строю, но в то же время она бережно относится к традиции и — что, конечно, главное! — «по существу не придает важности внешним переменам». Такая «идея» не станет шалить социализмом. Словом, это как раз та идея, которая нужна нынешней буржуазии. Это — идея juste milieu, золотой середины, середки на половинке. И эту идею преподносят нам на постном масле, подымая очи к небу [2].

О КНИГЕ В. Я. БОГУЧАРСКОГО «А. И. ГЕРЦЕН»

«Александр Иванович Герцен». Издание кружка имени Александра Ивановича Герцена. С.-Петербург 1912 г.

Недавно исполнившееся столетие со дня рождения А. И. Герцена [1] вызвало меньше исследований о нем, чем можно было ожидать, судя по значению этого выдающегося человека в истории русской общественной мысли и русского общественного развития. Да и то, что появилось, далеко не всегда может быть признано удовлетворительным. Так, работа г. Богучарского, название которой мною выписано, совсем неудачна. Тот, кто захотел бы составить себе понятие о Герцене, полагаясь на выводы и указания г. Богучарского, попал бы — надо прямо сказать это! — впросак. В его голове составился бы образ, очень мало похожий на действительного Герцена.

Вот, например, г. Богучарский повествует:

«Некоторые писатели видят в факте принятия Герценом сенсимонистской доктрины нечто как бы уже вполне определившее его миросозерцание, — на Руси появился исповедник социалистического учения, конечно, утопической фазы его развития, но тем не менее *социалист.* Это совершенно неверно» (стр. 32—33).

На самом деле это, наоборот, совершенно верно. Вспомним, что говорит на этот счет сам Герцен.

В «Былом и Думах» он вспоминает: «Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном» *.

Это очень похоже на то, что говорят о нем «некоторые писатели» и что г. Богучарский объявляет совершенно неверным.

В другом месте тот же А. И. Герцен пишет: «Социалист я не со вчерашнего дня. Тридцать лет тому назад я высочайше

* Сочинения А. И. Герцена, женевское издание, т. VI, стр. 197 [2].

утвержден Николаем Павловичем в звании социалиста — cela commence à compter *. Через двадцать лет я напомнил об этом его сыну в письме, которое вы знаете, и через десять других говорю вам, что я решительно не вижу выхода из всеобщего импасса образованного мира, кроме старческого обмирания или социального переворота — крутого или идущего исподволь, нарастающего из жизни народной или вносимого в нее теоретической мыслью — все равно» **.

Это опять, как две капли воды, похоже на то, что говорят о Герцене «некоторые писатели» и что не нравится г. Богучарскому. Как же это так? Может быть, сам А. И. Герцен принадлежит к числу «некоторых писателей», распространяющих «совершенно неверные» сведения о Герцене? Невозможного тут нет. Бывает, что люди вообще, и писатели в частности, составляют себе совершенно неверное мнение о ходе своего собственного умственного развития или умышленно говорят о нем неправду. Но г. Богучарский не заподозрит, конечно, Герцена во лжи. Значит, остается предположить, что он приписывает Герцену совершенно неверный взгляд на свою собственную духовную историю. На каком же основании? А вот послушайте.

«Герцен не только начала, но и всех тридцатых годов — страстно *ищущий* Герцен, а не Герцен, на чем-нибудь окончательно остановившийся. Это его не только не умаляет, а, напротив, еще больше возвышает, придает еще более глубины его и без того глубокой душе» (стр. 33). Вот и все то основание, на которое опирается утверждение г. Богучарского. Далее идут несколько строк, в которых повторяется другими словами тот же самый будто бы довод, а потом г. Богучарский неожиданно приглашает читателя «возвратиться к событиям внешней жизни Герцена» (та же стр.). Таким образом, вся его аргументация сводится к тому, что Герцен очень много выиграл бы в глазах г. Богучарского, если бы в продолжение тридцатых годов был не социалистом — хотя бы и «утопической фазы развития», — а просто «страстно ищущим Герценом». Это, как видите, не вполне убедительно.

Впрочем, погодите, на стр. 37 своей книги наш автор выставляет еще один довод. Вот он. Речь идет о встрече Герцена перед его арестом с Н. А. Захарьиной, впоследствии сделавшейся его женой. Пылкий юноша с негодованием говорил молодой девушке об аресте Огарева, а та старалась обратить его мысли к богу. Приведя эту беседу, г. Богучарский говорит: «Вот и весь разговор, который, будь Герцен *в то время* [2] уже

* [а это что-нибудь да значит.]

** «Письма к противнику» (т. е. к Ю. Ф. Самарину. — *Г. П.*). Письмо первое (15 ноября 1864 г.). См. «Колокол», избранные статьи А. И. Герцена, изданные под редакцией г. Л. Тихомирова, стр. 513 [1].

тем, чем его нередко изображают (г. Богучарскому следовало сказать: *чем изображает он сам себя. — Г. П.*), вряд ли бы оставил в душе «сен-симониста» сильный след. Между тем это было именно так. В чем же лежат тому причины? Да в том именно, что Герцен был в это время человеком с далеко еще не сложившимися взглядами. В нем многое бурлило и клокотало, но очень немногое окончательно отстоялось и установилось».

Странно! Разговор с Н. А. Захарьиной оставил в душе Герцена сильный след *только* потому, что в нем тогда очень немногое установилось и отстоялось. Если бы он был сен-симонистом, то след оказался бы гораздо более слабым. Почему же? Разве разговор о боге не мог произвести впечатление на сен-симониста? Известно ли г. Богучарскому, что все вообще сен-симонисты были религиозны, а многие из них доходили даже до сильной религиозной экзальтации? Кроме того, разговор с Н. А. Захарьиной должен был сильно подействовать на Герцена главным образом потому, что она напомнила ему о необходимости самоотвержения и прибавила, что надо уметь идти вразрез с минутными увлечениями прихотливой толпы. Такого разговора не мог забыть юноша, ожидавший ареста, а в дополнение к аресту целого ряда нападок со стороны более близких к его семье «благонамеренных» старцев и стариц разного возраста: «огорчил родителей, испортил себе карьеру» и проч. и проч. У нас нет ровнехонько никакого основания думать, что молодой сен-симонист оказался бы в подобном положении менее впечатлительным, нежели юноша, в котором «очень немногое окончательно отстоялось и установилось». Кто не знает, как впечатлительны были, например, французские сен-симонисты? Замечательно, что именно те из них, взгляды которых были наиболее «отстоявшимися и установившимися», отличались наибольшею впечатлительностью.

Словом, попытка г. Богучарского опровергнуть правильность того, что сообщает Герцен о ходе своего духовного развития, должна быть признана совсем неосновательной.

Дальше. Герцен сообщает, как известно, что во все эпохи его жизни и при самых различных обстоятельствах чтение Евангелия низводило мир и кротость на его душу. По этому поводу наш автор говорит, что «сущность христианства» (запомните это, читатель) имела огромное влияние на Пушкина, Толстого и Достоевского. Он даже приводит отрывок из того стихотворения Пушкина, в котором сообщается, когда и почему «внемлет арфе серафима в священном ужасе поэт». За этим отрывком идет следующее соображение г. Богучарского: «Нечто подобное происходило и в душе величайшего русского публициста: расставшись потом окончательно со всякими не только «догматами», но и с существом прежней веры, Герцен тем не

менее унес нечто от нее и на «тот берег», унес не в разуме, а в том самом, что, говоря его собственными словами, «проводило его через всю жизнь»» (стр. 39—40).

Это умилительно. Но не совсем ясно. Герцен расстался «потом» с *существом* прежней веры. Так сообщает г. Богучарский. И это правильно. Но какой же веры? Очевидно — *христианской*. Какая разница между *«существом»* христианства и его *«сущностью»?* Опять очевидно, что *никакой:* это одно и то же. А если это одно и то же, то выходит, что даже после того, как Герцен расстался с *«сущностью* христианства», она продолжала влиять на него *подобно тому*, как влияла некогда на Пушкина, а потом на Достоевского и на Толстого, т. е. на таких писателей, которые *и не расставались с нею.*

Это странно.

Странно и то, что умиленный г. Богучарский не заметил странности. Тем более странно, что Герцен с восторгом прочитал *«потом»* — во время своей новгородской ссылки — знаменитую книгу Фейербаха «Сущность христианства» и тогда же примкнул к числу людей, у которых *со словами «сущность христианства» связывалось весьма определенное представление. Сущность христианства*, говорил Фейербах, есть *сущность сердца.* Христианин приписывает своему богу те свойства, которые принадлежат его собственному сердцу. Он *отчуждает* их, перенося их на вымышленное существо. Но для того, чтобы возможно было такое перенесение, человеческий разум должен спать. «Сон есть ключ к тайнам религии», — прибавлял Фейербах. Усвоив себе такое отношение к «сущности христианства», Герцен, разумеется, не мог «потом», т. е. когда пробудился его разум, находиться под ее влиянием. Совершенно напротив, *он относился к ней отрицательно.* Он писал Самарину: «Мы на нашей почве — очень реальной, стоим очень реально: почва обыкновенно бывает под ногами; у вас есть другая над головою; вы богаче нас, но, может, поэтому земные предметы вам представляются обратными» *. Изображение земных предметов в обратном виде есть сущность всякой религии, между прочим и христианства. Отказываясь признавать наличность *над* человеческой головой *«другой» почвы,* Герцен тем самым становился *недоступным для влияния* на него «сущности христианства». И в этом он *не уподоблялся* Пушкину, Достоевскому, Толстому и другим веровавшим писателям, *а отличался от них.* Это тем более необходимо было отметить, что теперь через нашу литературу проходит мистическая струя, вносящая огромную и крайне вредную путаницу в умы читателей: доказательство — многочисленные «религиозные иска-

* Сборник «Колокол», стр. 518 [1].

ния» наших дней. Так всегда бывает в эпоху реакции: теряя реальную почву под ногами, добрые, но слабые люди стараются утешить себя верой в существование «другой» почвы над их головами. Г-н Богучарский обязан был оттенить, что примирительное впечатление, выносимое Герценом из чтения Евангелия, не имело ровно ничего общего, например, с тем «священным ужасом», который вызывали в душе Пушкина мистические звуки мистической «арфы серафима». Этой обязанности правдивого и трезвого повествователя он, как мы с крайним сожалением видим, не исполнил; наоборот.

Недостаток места не позволяет мне указать все чрезвычайно многочисленные и весьма печальные промахи г. Богучарского. Я вынужден ограничиться немногими примерами. К только что приведенным присоединю еще один, далеко не маловажный.

Г-н Богучарский пишет, что, живя в Ницце, Герцен упорно работал над вопросом о том, где лежат объективные ручательства за будущее осуществление социалистических идеалов. Вывод, к которому привела его эта работа, состоял по отношению к Западной Европе в том, что в ней социалистический строй, может быть, установится, а может быть, и нет. Но и в том, и в другом случае она не перестанет быть мещанской. Это была, как уверяет г. Богучарский, центральная мысль Герцена. Он считал европейского рабочего будущим мещанином. «Что это значит? — глубокомысленно спрашивает г. Богучарский. — Это значит, что в идее «социализм» Герцен видел две проблемы: экономическую, сводящуюся к обобществлению орудий производства, и другую, духовную в самом высоком смысле этого слова, — проблему свободной личности» (стр. 118—119).

По своему обыкновению г. Богучарский ничем не подтверждает и этого своего «значит». А это значит, что и это «значит» совершенно голословно. Разберемся в нем хоть немного. И опять послушаем самого Герцена.

«Вопрос о будущности Европы я не считаю окончательно решенным, — говорит он, — но... я должен сказать, что *ни близкого, ни хорошего выхода не вижу*... Я не предвижу без страшнейшей кровавой борьбы близкого падения мещанства и обновления старого государственного строя» *.

«Что это значит»? — спрошу я в свою очередь. Кажется, вот что: *Герцен не считал торжества мещанства обеспеченным во всяком случае*. Вовсе нет! Он признавал, что *оно может пасть*. Но он считал кровавую борьбу пролетариата с буржуазией *необходимым условием такого падения*, а это условие казалось ему слишком тяжелым, да к тому же еще и слишком далеким. Потому — *но только потому* — он и говорил, что ни

* Сочинения, т. X, стр. 285. Курсив Герцена [1].

близкого, ни хорошего выхода из современного положения, *при котором господствует мещанство*, он не видит. Это совсем не то, что открыл в нем глубокомысленный и умиленный г. Богучарский.

А вот еще несколько строк, не замеченных г. Богучарским: «Вопросы наши так поставлены, что они могут быть разрешены общими социально-государственными мерами без *насильственных потрясений»* *.

А это «что значит»? Вера Герцена в Россию в весьма значительной степени опиралась на его твердое убеждение в том, что наши русские вопросы *могут быть решены без «потрясений»;* «потрясения» слишком пугали его как человека, воспитанного в школе утопического социализма. *Вот что это значит.* А это является новым доказательством того, что знаменитое разочарование Герцена в Западной Европе совсем не понято нынешними нашими либеральными мудрецами вроде г. Богучарского.

Если, по мнению Герцена, кровавая победа пролетариата над буржуазией привела бы *к падению мещанства*, то ясно, что *дуализм*, приписанный ему г. Богучарским, — *с одной стороны,* экономический вопрос, а *с другой*, вопрос человеческой свободы — не существовал в действительности, а если и существовал, то вовсе не при тех логических предпосылках, которыми обставлен он в разбираемой мною книге. Герцен чувствовал неудовлетворительность утопической основы тогдашних социалистических упований, он искал научной основы для социализма. Его собственный образ мыслей был в этом отношении *переходным.* Тут у Герцена заметны колебания. *Поскольку* он оставался социалистом-*утопистом*, *постольку* он в самом деле способен был, *подобно г. Богучарскому*, отделять вопрос экономический от вопроса человеческой свободы. Но зато, *поскольку* он приближался к точке зрения научного социализма — а он приближался к ней именно тогда, когда искал объективных ручательств за будущее осуществление социализма, — *постольку* подобное разделение двух неразделимых вопросов становилось для него логически и психологически невозможным. Тогда он становился *монистом*, между прочим и в социализме. И это значительно облегчалось для него тем, что он сначала прошел прекрасную школу мониста Гегеля, а потом тоже очень хорошую школу мониста Фейербаха. Но ничего этого не признает — потому что не знает и не хочет знать — г. Богучарский.

В заключение — большой курьез. Г-н Богучарский не находит достаточно сильных слов для превознесения А. И. Герцена, и он, конечно, прав в том смысле, что Герцен заслуживает

* Сочинения, т. X, стр. 292 [1].

больших похвал; но Герцен был родоначальником русского народничества. Это признает г. Богучарский, который в то же самое время относится к народничеству совершенно отрицательно. В своей книге «Из истории политической борьбы 70-х и 80-х годов XIX века» (Москва 1912 г.) он третирует его как чисто «интеллигентское» и абсолютно оторванное от жизни движение. «В высокой степени безобидное и мечтательное, романтическое и утопическое, — говорит г. Богучарский в названной книге, — оно в своем революционизме непременно сошло бы само собою на нет, если бы не привычка русских правящих сфер пугаться проявления в стране буквально всякого шороха» (стр. 2). Если верить г. Богучарскому, то окажется, что чрезвычайно высоко превозносимый им Герцен был идеологом чрезвычайно жалкого движения. Как не воскликнуть: «Бедный Герцен!» К счастью, г. Богучарский совершенно неправ в своей оценке революционного народничества, которое он ставит даже гораздо ниже современного ему русского либерализма. Так что слово «бедный» должно быть отнесено не к Герцену, а именно к г. Богучарскому.

ПРИМЕЧАНИЯ

*

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем издании в квадратные скобки заключены переводы иностранных текстов, заголовки и др., не принадлежащие перу Г. В. Плеханова.

[РАБОТЫ О Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ]

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ [1890 г.]
ВВЕДЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЯ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ «Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ» [1894 г.]

В 1890—1892 гг. Плеханов опубликовал свой труд «Н. Г. Чернышевский» в виде статей, помещенных в четырех номерах русского журнала «Социал-демократ», выходившего в Лондоне, а затем в Женеве. В настоящем издании печатается первая статья, помещенная в № 1 «Социал-демократа» (1890), освещающая главным образом мировоззрение Н. Г. Чернышевского.

Незадолго до опубликования этого труда, в связи со смертью Чернышевского, Каутский предложил П. Б. Аксельроду в сотрудничестве с Плехановым написать брошюру о Чернышевском для «Международной библиотеки», выпускавшейся издательством Дитца. Плеханов ответил предложением перевести для «Neue Zeit» свою работу из «Социал-демократа». С небольшими пропусками она появилась в «Neue Zeit», Jg. VIII, 1890, № 8, S. 353—376 и № 9, S. 404—442. Вскоре после этого Каутский предложил Плеханову издать книгу о Чернышевском на немецком языке, включив в нее работу, публикация которой в «Социал-демократе» должна была закончиться в 1892 г. Дав согласие, Плеханов написал для этой немецкой книги специальное введение (в русском автографе оно названо «Глава I», см. фото на стр. 65 настоящего тома), посвятив его общей характеристике политического и экономического положения России 50—60-х годов, и несколько дополнений, поясняющих и развивающих некоторые положения, непонятные немецкому читателю. Немецкая книга, озаглавленная «N. G. Tschernischewsky. Eine literar-historische Studie» («Н. Г. Чернышевский. Литературно-историческое исследование») и вышедшая в издательстве Дитца в Штутгарте в 1894 г., представляла собой перевод и частично изложение статей, напечатанных в четырех книжках «Социал-демократа». Ее появление вызвало интерес у Энгельса, который писал Плеханову 21 мая 1894 г.: «Заранее благодарю Вас за экземпляр Вашего Чернышевского, жду его с нетерпением» («Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», Госполитиздат, 1951, стр. 327).

В пятом томе Сочинений Плеханова введение дано в переводе с немецкого издания 1894 г., тогда как в Доме Плеханова сохранился русский оригинал этого введения; таким образом в Сочинениях Г. В. Плеханова введение дается в переводе с перевода. К тому же редактор Сочинений Г. В. Плеханова ничего не говорит о существовании дополнений к немецкой книге и не публикует их. Между тем дополнения эти не только имеются в немецкой книге, но сохранились и на русском языке в Плехановском архиве. Обе эти рукописи, опубликованные посмертно в «Литературном наследии Г. В. Плеханова», сб. I, стр. 86—114, печатаются в Настоящем издании.

Перевод введения, данный в Сочинениях, значительно отличается от плехановского автографа. Это объясняется отчасти неточностью самого перевода на немецкий язык, сделанного Кричевским, о чем Каутский говорит в письмах к Плеханову, добавляя при этом: «Впрочем, насколько бы ни был перевод хуже оригинала, все же немецкое издание явится ценным вкладом в нашу литературу» («Группа «Освобождение труда»», сб. V, стр. 212). Что касается дополнений, то как в немецкой книге, так и в русском тексте, они являются естественным продолжением отдельных мест, к которым относятся, но конец дополнений, совпадая с последующим немецким изложением статьи, в большинстве случаев не совпадает с русским оригиналом из «Социал-демократа». Поэтому пришлось отказаться от включения дополнений в статью и дать их после текста как самостоятельную публикацию.

Введение и дополнения к немецкой книге «Н. Г. Чернышевский» написаны Плехановым в 1892—1893 гг. К несколько более раннему времени относится еще одна статья о Чернышевском, написанная Плехановым для польского социалистического журнала «Побудка» («Сигнал») и опубликованная с частично сохранившейся рукописи в «Литературном наследии Г. В. Плеханова», сб. I, стр. 114—127. Отвечая журналу на его письмо, не сохранившееся в архиве, Плеханов писал: «Это как раз та работа, которая занимает меня в настоящее время. Я уже написал большую статью о великом нашем просветителе... для русского «Социал-демократа». Она переводится на немецкий язык для известного, конечно, вам revue «Neue Zeit»» (там же, стр. 241). Из рукописи статьи видно, что поляков интересовали два вопроса: 1) значение Чернышевского в истории русского социализма и 2) его отношение к польскому вопросу. Этим темам и посвящена статья, в значительной части повторяющая публикуемую в Настоящем издании статью из первого номера «Социал-демократа».

В 1897 г. статьи Плеханова о Чернышевском из «Социал-демократа» были переведены Г. Бакаловым на болгарский язык и вышли в Варне отдельным изданием.

К несколько более позднему времени относится сохранившаяся в архиве рукопись реферата, написанного Плехановым, по-видимому, к десятилетней годовщине со дня смерти Чернышевского — в 1899 г. Этот реферат, или, вернее, конспект реферата, опубликованный посмертно в «Литературном наследии Г. В. Плеханова», сб. VI, стр. 186—196, заключает в себе сжатое изложение первой статьи из «Социал-демократа» с цитатами и ссылками на нее. Мысли, развиваемые в реферате, те же, что и в статье. Можно отметить, пожалуй, некоторое отличие в формулировке, характеризующей материализм Чернышевского. В статье было сказано: «Материализм Чернышевского заметен гораздо больше в его «антропологических», чем в его исторических воззрениях». В реферате же говорится: «Его матер[иализм] проявляется больше в его антропологич[еских] и эстетич[еских] воззрениях» (там же, стр. 190).

В 1908 г. Плеханов снова берется за работу над своей любимой темой, на этот раз готовя к печати большую книгу «Н. Г. Чернышевский» (1909) (см. вводное примечание на стр. 807—808 настоящего тома).

В настоящем томе статья 1890 г. из первой книги «Социал-демократа» печатается по тексту последнего, сверенному с частично сохранившейся рукописью; введение и дополнения к немецкому изданию книги 1894 г. печатаются по плехановским автографам.

Придерживаясь, как правило, хронологического принципа расположения материалов, редакция сочла целесообразным сделать некоторые отступления при публикации работ о Чернышевском. Написанное в 1894 г. введение к немецкой книге помещено раньше статьи 1890 г. из «Социал-демократа» потому, что оно дает общую характеристику социально-политической обстановки, в которой протекала литературно-общественная деятельность великого писателя и революционера, и, естественно, должно предшествовать статье, освещающей его мировоззрение, как оно и предшествует ей в немецкой книге.

В публикациях как этой, так и других работ Плеханова о Чернышевском, цитаты из сочинений Чернышевского, приводимые Плехановым по «Современнику» и первым изданиям произведений Чернышевского, печатаются, как правило, в том виде, в каком они были даны у Плеханова в его рукописях и прижизненных изданиях его работ о Чернышевском. Описки, опечатки в цитатах из Чернышевского исправлены в тексте без оговорок. Расхождения в тексте цитат из произведений Чернышевского между печатаемыми в настоящем издании работами Плеханова и Полным собранием сочинений Н. Г. Чернышевского в пятнадцати томах (1939—1953) в большинстве случаев не оговорены в примечаниях, но отмечены словом «см.» перед ссылкой на соответствующее место этого последнего издания. В тех случаях, когда цитаты из произведений Чернышевского, приведенные Плехановым по старым изданиям, неточно передают смысл положений, высказываний Чернышевского и исправлены в новых изданиях сочинений Чернышевского, исправления в цитатах заключены в угловые 〈 〉 скобки.

К стр. 54

[1] Записка А. П. Заблоцкого-Десятовского «О крепостном состоянии в России» опубликована в приложении к его большому труду «Граф П. Д. Киселев и его время» (т. IV), Спб. 1882.

К стр. 56

[1] По докладу министра народного просвещения Ширинского-Шихматова, в 1850 г. в университетах было упразднено преподавание философии, чтение же лекций по логике и психологии было возложено на профессоров богословия (Сборник постановлений по Министерству народного просвещения, т. II, отд. 2, Спб. 1864, стр. 1043).

К стр. 57

[1] Имеется в виду «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», датированное 1 января 1864 г.

К стр. 59

[1] В письме Тургенева, адресованном NN для передачи Герцену, речь идет о подаче Александру II адреса о созыве Земского Собора (см. «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», Genève 1892, стр. 153).

К стр. 61

[1] См. *Бомарше*, Безумный день, или Женитьба Фигаро, действие V, явление III (Избранные произведения, Гослитиздат, 1954, стр. 454).

[2] Статья П. Б. Аксельрода «Das politische Erwachen der russischen Arbeiter und ihre Maifeier von 1891. Zum internationalen Arbeiterfeiertag» («Политическое пробуждение русских рабочих и их майский праздник 1891 г. К международному рабочему празднику») напечатана в «Neue Zeit», Jg. X, Bd. II, 1892, № 28—30.

К стр. 62

[1] Из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России».

К стр. 63

[1] Дальше в тексте в угловые скобки заключена цитата из второго примечания Плеханова к работе Энгельса «Людвиг Фейербах...» (см. Настоящее издание, т. I, стр. 456—457). В рукописи вместо этих страниц имеется указание переводчику Кричевскому о включении их в текст.

К стр. 64

[1] Подробней об этом Плеханов говорит в статье «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля» (см. Настоящее издание, т. I, стр. 422—450).

К стр. 67

[1] Выражение Белинского, употребленное им в письме к В. П. Боткину от 1 марта 1841 г. (см. *В. Г. Белинский*, Избранные письма, т. 2, Гослитиздат, 1955, стр. 141).

[2] Таких взглядов держались революционные народники семидесятых годов — «лавристы», полагавшие, что крестьяне, как «прирожденные социалисты», должны легко воспринять проповедь социалистических идей, и потому занимавшиеся мирной пропагандой социализма, и «бунтари-бакунисты», считавшие, что социалистическую революцию можно вызвать только организацией бунтов в крестьянстве, которые затем перейдут в народное восстание.

[3] Речь идет о партии «Народная воля» и о последователях русского бланкиста Ткачева.

[4] Немецкий барон Гакстгаузен, совершивший поездку по России, в своей книге «Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России», вышедшей на русском языке в 1870 г., восхвалял деревенскую общину, видя в ней средство укрепления крепостничества. Реакционные выводы Гакстгаузена резко критиковали Маркс, Энгельс и Чернышевский.

К стр. 68

[1] См. *К. Маркс*, Тезисы о Фейербахе (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения, т. II, Госполитиздат, 1955, стр. 384).

[2] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения, т. II, стр. 361—362.

[3] Первый русский перевод книги Дарвина «Происхождение видов» появился в 1864 г., но и до этого идеи Дарвина были известны в России из лекций проф. С. С. Куторги (1860 г.) и из статей в «Библиотеке для чтения» и в журнале «Время» 1861—1862 гг. (см. Библиографический очерк в книге: *Ч. Дарвин*, Происхождение видов, Сельхозгиз, М. — Л. 1937, стр. 573).

К стр. 69

[1] Старая барыня — Наталья Кирилловна Загряжская (см. *А. С. Пушкин*, Разговоры с Н. К. Загряжской, Полное собрание сочинений, т. 12, изд. АН СССР, 1949, стр. 174).

К стр. 70

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIV, Гослитиздат, 1949, стр. 456. Приводим конец цитаты по этому изданию: «... и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами».

[2] См. отклики на смерть Чернышевского в «Вестнике Европы», 1889, № 11, стр. 467—468, в «Русском богатстве», 1889, ноябрь, стр. 191—196,

в «Историческом вестнике», 1889, декабрь, стр. 644—651, в «Русской старине», 1889, ноябрь, стр. 499—502, в «Северном вестнике», 1889, № 11, на первой ненумерованной странице, обведенной траурной рамкой.

В «Русской мысли» некролога вообще нет.

К стр. 71

[1] *Ферула* — гнетущая опека, надзор.

[2] Речь идет о первой книжке непериодического журнала «Социал-демократ», издававшегося группой «Освобождение труда» за рубежом.

К стр. 72

[1] Ко времени написания настоящей статьи имелось только одно, вышедшее за границей издание сочинений Чернышевского — Первое полное издание, М. Элпидин и К°, т. 1—5, Vevey 1868—1870. Названное «полным», оно в действительности далеко не включало всех работ Чернышевского. Второй том этого издания подвергся преследованиям и за границей. На весь его тираж был наложен запрет, после снятия которого в 1870 г. часть тиража была выпущена с новым титульным листом. В 1879 г. вышел вторым изданием пятый том, включавший статьи по крестьянскому вопросу.

К стр. 73

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*. Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, 1947, стр. 135—136.

[2] Биографические сведения о Чернышевском содержатся в статье «Суд над Чернышевским», помещенной в виде введения в двух книгах Н. Г. Чернышевского, изданных в 1876 г. М. Элпидиным в Женеве: «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» и «Что делать?», изд. 2. В обеих книгах вводная статья занимает стр. V—XXVIII.

К стр. 74

[1] Чернышевский родился 12(24) июля 1828 г.

[2] Жена Чернышевского Ольга Сократовна Васильева не была сестрой Пыпина. В родстве с Пыпиным состоял сам Чернышевский, который был его двоюродным братом.

К стр. 75

[1] Из стихотворения «Царь Никита и сорок его дочерей» (*А. С. Пушкин*, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. 2, изд. АН СССР, 1956, стр. 138—139). Точный текст: «богомольной важной дуры, слишком чопорной цензуры».

[2] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 136.

[3] Там же, стр. 138.

К стр. 76

[1] Плеханов имел в виду небольшой круг друзей и единомышленников Белинского в 40-х годах, в числе которых были А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. А. Некрасов и др.

[2] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, Гослитиздат, 1951, стр. 118.

К стр. 77

[1] Плеханов недооценивает в данном случае то благотворное влияние передовой русской литературы, которое испытывал на себе Чернышевский в юношеские годы. Герцен, Белинский, передовые журналы сороковых годов — «Отечественные записки» и «Современник» — были тем первоначальным источником, откуда Чернышевский черпал свои знания и взгляды. Об этом свидетельствуют его «Дневники», в частности его

запись в одном из них, где он прямо говорит о журнале «Отечественные записки»: «...из этого источника я воспитывался».

[2] «*Мыслящие реалисты*» — шестидесятники, последователи Д. И. Писарева, противопоставлявшие занятиям спекулятивной идеалистической философией изучение естественных наук и действительной жизни. Термин «мыслящие реалисты» принадлежит Писареву.

К стр. 78

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, Гослитиздат, 1950, стр. 771—772.

[2] Там же, стр. 240.

К стр. 79

[1] См. высказывания Энгельса о том, что Руссо мыслил диалектически (*Ф. Энгельс*, Анти-Дюринг, гл. XIII, Госполитиздат, 1953, стр. 131—132).

К стр. 80

[1] Все цитаты, приведенные Плехановым, взяты из статьи Ф. Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения, т. II, Госполитиздат, 1955, стр. 121—122).

К стр. 82

[1] Плеханов здесь не цитирует, а передает смысл аналогичных высказываний мнимого доктора в комедиях Мольера «Лекарь поневоле» и «Летающий доктор».

[2] См. *Гегель*, Философия права, Соч., т. VII, Соцэкгиз, М., 1934, стр. 18.

К стр. 83

[1] Намек на мольеровского Журдена, не подозревавшего о существовании прозаической речи (см. *Мольер*, Мещанин во дворянстве — *Мольер*, Комедии, изд. «Искусство», 1953, стр. 415).

К стр. 84

[1] Плеханов называет «гениальным итальянцем» известного итальянского философа XVII—XVIII века Джамбаттисту Вико. Та же цитата приведена им в других статьях с указанием имени автора (см. Настоящее издание, т. I, стр. 439 и 648).

К стр. 86

[1] Энгельс писал о Моргане: «Ведь Морган в Америке по-своему вновь открыл материалистическое понимание истории, открытое Марксом сорок лет тому назад...» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения, т. II, Госполитиздат, 1955, стр. 160).

К стр. 87

[1] В этом утверждении Плеханова сказывается некоторая недооценка им роли и значения русской науки для мировой культуры. Трудами советских ученых доказано, что русские ученые, начиная с Ломоносова, занимают выдающееся место в истории мировой науки. Сочинения русских революционных демократов — Герцена, Белинского, Чернышевского — сыграли свою роль в развитии демократической мысли других народов, особенно в славянских странах. Гениальные русские писатели и поэты занимают в международной литературе почетное место,

К стр. 88

[1] Анализ Плехановым учения Гельвеция о нравственности см. в его работе «Очерки по истории материализма» (Настоящее издание, т. II, стр. 87 и след.).

К стр. 89

[1] Цитаты из статьи «Антропологический принцип в философии» (*Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 283, 284).

К стр. 91

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IX, Гослитиздат, 1949, стр. 516.

[2] См. там же, т. VII, стр. 223.

К стр. 92

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 223—224.

[2] См. там же, стр. 979—980. Текст цитаты несколько отличается от приведенного Плехановым: «Писатели этой школы были представителями стремлений биржевого или коммерческого сословия в обширном смысле слова: банкиров, оптовых торговцев, фабрикантов ... и явилась в науке другая школа, которую г. Бабст называет ... партиею утопистов».

К стр. 93

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 645—646.

К стр. 94

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 648.

[2] Представители рабовладельческой демократии древнего Рима, братья Гракхи, боролись против крупной землевладельческой аристократии за проведение аграрных законов в интересах крестьянства.

К стр. 95

[1] *Колонат* — форма зависимости сельского населения (колонов) Римской империи от крупных землевладельцев. Колоны — мелкие арендаторы — занимали среднее положение между свободными и рабами. Возникновение колоната было вызвано кризисом рабовладельческого хозяйства, переставшего приносить доходы из-за непроизводительности рабского труда.

[2] Эта книга Родбертуса вышла в Ярославле в 1880—1887 гг. См. вып. I. Адскриптиции, инквилины и колоны.

К стр. 96

[1] *Адскриптиции* — приписанные к тяглу римские и византийские крестьяне, по своему положению наиболее близкие к рабам.

К стр. 97

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 982.

К стр. 98

[1] См. *Ф. Энгельс*, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1953, стр. 153.

[2] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 981.

[3] Там же, стр. 982.

К стр. 99

[1] См. *К. Маркс*, К критике гегелевской философии права. Введение (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 1, Госполитиздат, 1955, стр. 416). Маркс говорит здесь о представителях так называемой «исторической школы права» — реакционного направления в германской юриспруденции конца XVIII — начала XIX века. Эта школа оправдывала всякое существующее положение вещей, будь то крепостничество или рабство, только на том основании, что всякий институт, ставший привычным, является законным.

[2] В последнем издании после этих слов напечатано: «не запутанный никакими побочными обстоятельствами».

К стр. 100

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 59—60, 61.

[2] Здесь, в оценке экономических исследований Чернышевского, Плеханов расходится с Марксом, который высоко ценил экономические труды Чернышевского. В письме к З. Мейеру от 21 января 1871 г. Маркс пишет, что специально изучал русский язык, чтобы прочесть книгу Флеровского и «познакомиться также с экономическими (превосходными) работами Чернышевского» (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные письма, Госполитиздат, 1953, стр. 256). Согласно воспоминаниям Германа Лопатина, Маркс не раз говорил ему, что «из всех современных экономистов Чернышевский представляет единственного действительно оригинального мыслителя... что его сочинения полны оригинальности, силы и глубины мысли» («Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», Госполитиздат, 1951, стр. 187—188, примечание).

К стр. 101

[1] См. *Ф. Энгельс*, Развитие социализма от утопии к науке (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения, т. II, стр. 123).

[2] Цитата из стихотворения Гёте «Vanitas! Vanitatum vanitas!» («Суета! Суета сует!»). На русском языке это стихотворение напечатано в «Избранных произведениях» Гёте, Гослитиздат, 1950, стр. 50, в неточном переводе. Перевод второй строки, приведенной Плехановым, там отсутствует.

[3] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. V, Гослитиздат, 1950, стр. 391.

К стр. 102

[1] Речь идет о московском философско-литературном кружке 30-х годов, известном в истории русской общественной мысли под названием кружка Станкевича. Н. В. Станкевич был руководителем этого кружка, но Белинский играл в нем весьма значительную роль. Для кружка характерно было увлечение немецкой идеалистической философией, особенно философией Гегеля. Кружок Станкевича имел большое значение в развитии русской философии, послужив в известной мере переходной ступенью от диалектического идеализма к философскому материализму Белинского и Герцена.

[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 207—208.

[3] *Марафонская битва* афинян с персами (490 г. до н. э.) закончилась победой афинян, предопределившей благоприятный исход для Греции второй греко-персидской войны и тем способствовавшей расцвету афинской демократии.

[4] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 208.

К стр. 103

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, Гослитиздат, 1949, стр. 264 и 265.

К стр. 105

[1] У Чернышевского далее следуют слова: «прекрасного в действительности».

[2] Все эти определения взяты Плехановым из диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (см. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 90—92).

К стр. 106

[1] См. *Гегель*, Соч., т. XIII, Соцэкгиз, 1940, стр. 39.

К стр. 107

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 10—11.

К стр. 108

[1] См. *Гегель*, Лекции по эстетике, Соч., т. XII, Соцэкгиз, 1938, стр. 172—173, и т. XIII, стр. 158—161.

[2] Статью Белинского о романе Эжена Сю «Парижские тайны» см. в Полном собрании сочинений, т. VIII, изд. АН СССР, 1955, стр. 167—186.

К стр. 111

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. V, Гослитиздат, 1950, стр. 216.

[2] Наставники дофина — наследника Людовика XIV — по приказанию короля коверкали издания классиков для чтения своего воспитанника, вырезая из них все «непристойные» места. Отсюда выражение: «для дофина».

[3] Речь идет об идейно-политических расхождениях различных течений революционного народничества 70-х годов. См. прим. 2 к стр. 67.

[4] В июньские дни 1848 г. произошла во Франции «первая великая гражданская война между пролетариатом и буржуазией» (*В. И. Ленин*, Соч., т. 29, стр. 283). Это было вооруженное восстание парижского пролетариата, проходившее под лозунгами: «Да здравствует демократическая и социальная республика!», «Долой эксплуатацию человека человеком!» Восстание, начавшееся 23 июня, закончилось 26 июня жестокой расправой с рабочими, получившей название «июньской бойни».

К стр. 112

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 98—99.

К стр. 113

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, т. IV, Гослитиздат, 1948, стр. 313. Цитата из статьи «Studien... (Исследования о внутренних отношениях народной жизни и в особенности сельских учреждениях России. Барона Августа Гакстгаузена)».

[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XVI, Гослитиздат, 1953, стр. 659—660.

К стр. 114

[1] Обе цитаты из той же статьи, стр. 661—662.

К стр. 115

[1] Роман «Что делать?» написан Чернышевским в 1862—1863 гг. в Петропавловской крепости. В Полном собрании его сочинений в пятнадцати томах он находится в XI томе.

[2] Здесь Плеханов преувеличивает роль Лассаля.

О деятельности Лассаля в области организации производительных ассоциаций Маркс писал в «Критике Готской программы»: «Вместо процесса революционного преобразования общества «социалистическая организация совокупного труда» «возникает» из «государственной помощи», оказываемой производительным товариществам, которые *«вызываются к жизни» государством*, а не рабочими. Это вполне достойно фантазии Лассаля...» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения, т. II, Госполитиздат, 1955, стр. 21).

Ленин пишет: «В Германии полвека тому назад рабочие шли еще за либеральным Шульце-Деличем и поддавались «национал-либеральным» (в то же время «королевски-прусским») оппортунистическим шатаниям Лассаля и Швейцера...» (Соч., т. 20, стр. 246).

К стр. 116

[1] Эта статья в отделе «Иностранная литература» не включена в последнее Полное собрание сочинений Чернышевского.

[2] См. «Современник», 1861, май, отд. 2, стр. 4.

К стр. 117

[1] Плеханов имеет здесь в виду либеральных народников, в особенности В. П. Воронцова (В. В.), посвятившего много работ прославлению русских кустарных промыслов и артелей.

К стр. 118

[1] Приведенные высказывания Чернышевского связаны с его взглядом на классовый характер буржуазного государства, которое всегда действует в интересах «господствующих сословий или кругов». «Опыт показал, что всеобщим избирательством дается власть обскурантам и реакционерам», — пишет он в статье «Июльская монархия» (Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 97). Отрицательные оценки всеобщего избирательного права Чернышевским надо понимать как предостережение против переоценки этого института, который, однако, он сам считал возможным использовать для политического просвещения трудящихся.

К стр. 119

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 238.

[2] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 4, Госполитиздат, 1955, стр. 434.

[3] «Нищета философии» Маркса вошла в четвертый том второго издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса.

К стр. 120

[1] Полное название книги Лассаля — «Господин Бастиа-Шульце Делич, Экономический Юлиан, или Капитал и Труд» (см. *Ф. Лассаль*, Соч., т. III, «Круг», 1925, стр. 33—201).

К стр. 121

[1] Плеханов имеет здесь в виду либеральных народников, наиболее значительным из которых был Н. К. Михайловский, пользовавшийся в свое время популярностью среди народнически настроенной интеллигенции. Народники, следовавшие ошибочному взгляду Герцена и Чернышевского на русское общинное землевладение и отступившие от революционного демократизма Чернышевского, неправильно считали себя «наследниками» Чернышевского.

[2] В своей книге «Афанасий Прокофьевич Щапов», вышедшей в Петербурге в 1883 г., Аристов так описывает встречу Щапова с Чернышев-

ским: «... целый вечер продолжался горячий спор между ними о коренных воззрениях на русскую историческую жизнь и современное состояние народов; Щапов узнал только при прощании, с кем он вел долгий и дельный спор» (стр. 91).

К стр. 123

[1] 1848 год — год смерти В. Г. Белинского.

К стр. 124

[1] См. прим. 1 к стр. 72.

[2] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. V, стр. 502.

К стр. 127

[1] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. V, стр. 360—361.

[2] Роман «Пролог пролога» написан Чернышевским в Сибири значительно позднее романа «Что делать?» Он писал его в каторжной тюрьме в 1867—1871 гг. В беседах с товарищами по заключению он нередко рассказывал, импровизировал или читал им отрывки из него. «Нужна была именно гениальность Чернышевского, — писал Ленин об этом романе, — чтобы тогда, в эпоху самого совершения крестьянской реформы (когда еще не была достаточно освещена она даже на Западе), понимать с такой ясностью ее основной буржуазный характер...» (Соч., т. 1, стр. 263).

[3] Помимо самого Чернышевского, изображенного в романе в лице его главного героя Волгина, прототипами почти всех персонажей романа были живые люди. Под именем Левицкого Чернышевский изобразил Н. А. Добролюбова, под именем Соколовского — польского революционера Сигизмунда Сераковского, под именем графа Чаплина — известного министра-крепостника Муравьева Вешателя, в образе Рязанцева — типичного представителя либерализма той эпохи К. Д. Кавелина, в образе Савелова — государственного деятеля Н. А. Милютина.

[4] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. XIII, Гослитиздат, 1949, стр. 187—188.

К стр. 128

[1] В последнем издании: «инициаторы».

[2] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 106.

[3] Объяснение этого противоречия заключается в том, что роман «Пролог пролога» был написан значительно позднее статей о выкупе.

[4] Чернышевский верил в возможность крестьянского восстания, и вся его деятельность была направлена к подготовке этого восстания. Об этом свидетельствует хотя бы написанная им прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». См. об этом прим. 3 к стр. 158.

К стр. 129

[1] *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 197. В противовес слащавому приукрашиванию народа славянофилами Чернышевский не скрывает и не идеализирует недостатков, выработавшихся в массах народа под тяжким гнетом крепостного строя. Вместе с тем он же отмечает, что «...русский мужик никому не уступит сообразительностью, изворотливостью, живостью и быстротой мысли» (Полное собрание сочинений, т. VII, Гослитиздат, 1950, стр. 876). Считая, что «рутина засасывает людей только в повседневности», Чернышевский верил, что в революционные эпохи от нее не остается и следа и что

народные массы в такие эпохи поднимаются на самоотверженную борьбу с существующим общественным порядком.

[2] *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 858—859.

К стр. 130

[1] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 877.

[2] Недовольство народных масс крестьянской реформой 1861 г., проведенной руками крепостников, способствовало росту революционных настроений среди интеллигенции. Помимо прокламации Чернышевского и воззваний герценовского «Колокола», появился ряд подпольных изданий и листовок, выпускавшихся отдельными революционными группами. Сюда относится прокламация «К молодому поколению», три выпуска революционного издания «Великорусс», прокламация «Молодая Россия». Из тайных революционных организаций того времени самой значительной была «Земля и воля», сложившаяся в 1862 г. при активном участии Чернышевского и его единомышленников.

[3] Ответом на грабительскую и куцую реформу 1861 г. были массовые крестьянские волнения, охватившие почти всю Россию. Наиболее ярким и значительным из крестьянских восстаний 1861 г. было восстание в селе Бездна Казанской губернии, длившееся целый месяц; оно было жестоко подавлено вооруженной силой.

К стр. 131

[1] Революционная волна, прокатившаяся в конце 50-х — начале 60-х годов XIX в. по всей Европе, нанесла удар реакционной политике подавления освободительных движений, проводившейся царской Россией, Австрией и Пруссией после революций 1848—1849 гг. Тем не менее правительство Александра II употребляло все способы для подавления революционного движения в Европе, вплоть до вооруженного вмешательства во внутреннюю борьбу, происходившую в ряде стран.

[2] *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. V, стр. 156—174.

[3] В этой статье Чернышевский бичует так называемых «лишних людей» типа героев тургеневского романа «Рудин», герценовской повести «Кто виноват?» и некрасовской поэмы «Саша».

К стр. 132

[1] *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. V, стр. 168—169.

[2] Там же, стр. 160.

К стр. 133

[1] *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. VIII, Гослитиздат, 1950, стр. 634.

[2] См. там же, стр. 636. В т. VIII Сочинений Чернышевского эта мысль сформулирована несколько иначе. В «Современнике», текстом которого пользовался Плеханов, сказано, что прусские либералы надеялись, что «сама водворится у них система истинно конституционного правления». То же и в рукописи статьи (см. об этом примечание в Полном собрании сочинений, т. VIII, стр. 690).

К стр. 134

[1] Лассаль говорит в этой статье: «*реальные соотношения сил*, существующие в каждом обществе, и являются той постоянно действующей силой, которая определяет собой все законы и все правовые учреждения данного общества...» (см. *Ф. Лассаль,* Избранные сочинения, Госиздат, 1920, стр. 115).

[2] Гражданская война между северными штатами и рабовладельческими южными штатами Северной Америки продолжалась четыре года (1861—1865) и закончилась победой Севера.

[3] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 643.

К стр. 135

[1] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 195.

[2] См. там же, стр. 196.

[3] *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. V, стр. 357.

К стр. 136

[1] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. III, стр. 147.

[2] Там же, стр. 88.

[3] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 722—723.

[4] *«Экономический указатель»* — еженедельный журнал, выходивший под редакцией И. В. Вернадского в Петербурге в 1857—1861 гг.

К стр. 137

[1] *«Письма без адреса»* опубликованы в Полном собрании сочинений Чернышевского, т. X, стр. 90—116.

К стр. 138

[1] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. III, стр. 208.

[2] Там же, т. VII, стр. 932.

К стр. 140

[1] *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 767.

К стр. 141

[1] Статья «Экономическая деятельность и законодательство» опубликована в пятом томе Полного собрания сочинений Чернышевского на стр. 576—626.

[2] *Катедер-социалисты* (от слова «кафедра») — буржуазные профессора, проповедовавшие теорию мирного врастания капитализма в социализм и отвлекавшие пролетариат от революционной борьбы. Группа катедер-социалистов в Германии в 80—90-х годах подготовляла почву для ревизионизма в социал-демократических партиях.

К стр. 142

[1] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. X, стр. 123. Исключительно скромный человек, Чернышевский объяснял это отношение Тургенева тем, что «Добролюбов умнее [его, Чернышевского] и взгляд на вещи у него яснее и тверже».

[2] Речь идет о статье Герцена «Лишние люди и желчевики», напечатанной в № 83 «Колокола» от 15 октября 1860 г., стр. 689—692 (см. *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. X, Пг. 1919, стр. 413—427).

[3] Инициатором и главным сотрудником «Свистка», выходившего в 1859—1863 гг., был Добролюбов, который писал там большей частью под псевдонимом Конрад Лилиеншвагер.

К стр. 143

[1] Катков был издателем реакционного «Русского вестника», Альбертини и Дудышкин — сотрудниками «Отечественных записок».

[2] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 719.

К стр. 144

[1] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 765.

[2] *«День»* — еженедельная славянофильская газета, издававшаяся И. С. Аксаковым в Москве в 1862—1865 гг.

[3] Статья «Народная бестолковость» опубликована в т. VII Полного собрания сочинений Чернышевского, стр. 828—848.

К стр. 145

[1] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. III, стр. 82.

[2] Московский кружок славянофилов сложился в конце тридцатых годов. В него входили самые видные представители славянофильства — И. В. и П. В. Киреевские, Ю. Ф. Самарин, И. С. и К. С. Аксаковы, А. И. Кошелев и др.

К стр. 146

[1] Цитата из программной статьи, помещенной в № 1 газеты «День».

К стр. 147

[1] Все приведенные цитаты взяты из статьи «Народная бестолковость» (см. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 837, 838).

[2] См. эту статью в т. X Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского, стр. 125—135.

К стр. 148

[1] *«Основа»* — ежемесячный общественно-политический украинский журнал, выходивший в Петербурге в 1861—1862 гг. Поддерживая ряд требований «Основы» в области развития украинской народной культуры, «Современник» не раз критиковал журнал за либерализм. Статья Чернышевского о первом номере «Основы» напечатана в Полном собрании сочинений, т. VII, стр. 934—948.

[2] См. там же, стр. 779—780.

[3] *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 538.

К стр. 149

[1] *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 780.

К стр. 150

[1] Чернышевский действительно был очень близок к польскому революционеру, сотруднику «Современника», Сераковскому, организовавшему в Петербурге подпольный революционный кружок, преимущественно из поляков — офицеров русской армии. В том же году кружок Сераковского органически влился в конспиративную польскую организацию в Петербурге, возглавляемую И. Огрызко — другим единомышленником Чернышевского и его доверенным лицом. Благодаря этим связям Чернышевский оказал большое влияние на многих польских революционеров — будущих руководителей восстания 1863 г. в Польше, Белоруссии и Литве Я. Домбровского, Гейденрейха, Звеждовского и др. Польские революционеры, близкие к Чернышевскому, создали революционную военную организацию в Царстве Польском, которая затем примкнула к тайной организации 60-х годов «Земля и воля».

[2] Статьи, из которой приведена Плехановым цитата, в Полном собрании сочинений Чернышевского нет. В «Современнике» она идет без подписи после статей о Бабсте и Дале, вошедших в VII том.

К стр. 151

[1] Все цитаты из той же статьи «Современника», стр. 442, 444 и 446.
[2] В рукописи: «царской волей».

К стр. 152

[1] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 827.
[2] Юдифь — библейская героиня, спасшая, согласно легенде, еврейский народ во время осады крепости Ветилуи войсками Навуходоносора, отрубив голову полководцу Олоферну, которого она увлекла своей красотой.
[3] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 923.

К стр. 153

[1] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. X, стр. 138.
[2] Там же, стр. 167.
[3] Осенью 1861 г., в связи с изданием царским правительством реакционных правил об университетах, произошли крупные студенческие «беспорядки» в ряде университетских городов.

К стр. 154

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 170, 172, 173.

К стр. 155

[1] Обе цитаты из той же статьи, стр. 169.
[2] Там же, стр. 175.

К стр. 156

[1] Разбору политико-экономических взглядов Чернышевского Плеханов посвятил не одну, а три статьи, которые были опубликованы во 2-й, 3-й и 4-й книжках женевского «Социал-демократа» (см. *Г. В. Плеханов,* Соч., т. VI).
[2] *Синкретизм* — разновидность эклектизма, соединение разнородных, противоречащих друг другу взглядов.
[3] В рукописи: «без критики».
[4] Отношение Чернышевского к Миллю носит не апологетический, а критический характер. Это подчеркнуто Марксом в послесловии ко второму изданию первого тома «Капитала»: «Отсюда тот плоский синкретизм, — пишет Маркс, — лучшим представителем которого является Джон Стюарт Милль. Это — банкротство «буржуазной» политической экономии, как мастерски выяснил уже в своих «Очерках из политической экономии (по Миллю)» великий русский ученый и критик Н. Чернышевский» (см. *К. Маркс,* Капитал, т. I, Госполитиздат, 1955, стр. 13).

К стр. 157

[1] Анонимный донос на Чернышевского опубликован в книге: *М. К. Лемке,* Политические процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевского, Спб. 1907, стр. 202—203.
[2] В действительности не Ветошкин, а Ветошников (см. указатель имен).

К стр. 158

[1] См. *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVIII, Пб. 1920, стр. 4. Примечание к статье, написанной в 1865 г.

[2] Согласно воспоминаниям Н. В. Шелгунова, Костомаров, оказавшийся потом предателем, сообщил ему о наличии в Москве тайной типографии, которую деятели «Современника» и решили использовать для печатания прокламаций (см. «Голос минувшего», 1918, № 4—6, стр. 65—68).

[3] Вопрос о непосредственном участии Чернышевского в создании нелегальных революционных организаций еще недостаточно исследован, хотя есть немало данных в пользу такого заключения. Советские ученые в своих работах доказывают, что Чернышевский в условиях революционной ситуации конца 50 — начала 60-х годов сгруппировал вокруг себя и редакции «Современника» революционно настроенных представителей интеллигенции, офицерства, студенчества и создал таким образом руководящее ядро революционно-демократического лагеря в России. Он идейно вдохновил и возглавил борьбу революционных кружков и групп, активизировал их деятельность, результатом чего явилось создание организации «Земля и воля» (1862—1864). Под руководством Чернышевского велась на страницах «Современника», «Военного сборника» в подцензурных условиях революционная пропаганда, был организован «Шахматный клуб», объединивший большое число передовых, революционно настроенных писателей (см. статью М. В. Нечкиной «Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации» в «Исторических записках», 1941, № 10, стр. 3—39).

К стр. 159

[1] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 456.

[2] Роман «Что делать?» закончен Чернышевским в апреле 1863, а не 1864 г.

К стр. 160

[1] Из стихотворения Некрасова «Песня Еремушке».

[2] Роман Жорж Занд «Лукреция Флориани» имеется в русском переводе в издании 1847 г.

К стр. 161

[1] Лопухов и Кирсанов — герои романа «Что делать?»

К стр. 162

[1] Слова Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума».

[2] См. эпиграф к настоящей статье и примечание к нему.

К стр. 163

[1] *Петрашевцы* — члены кружка передовой русской интеллигенции, созданного в Петербурге М. В. Буташевичем-Петрашевским в 1845—1849 гг. В кружке обсуждались проекты освобождения крестьян, свержения самодержавия, республиканской организации государства, революционных методов борьбы и пр. Идеология революционного ядра кружка петрашевцев формировалась под влиянием идей декабристов, Белинского, Герцена, а также прогрессивных идей утопического социализма Фурье и других западноевропейских мыслителей.

К стр. 164

[1] «Власть земли» — так озаглавлена серия рассказов Глеба Успенского.

[2] *Д. И. Писарев,* Избранные философские и общественно-политические статьи, Госполитиздат, 1949, стр. 640—695.

[3] Антонович оценивает в этой статье роман Тургенева «Отцы и дети» как клеветнический памфлет и пасквиль на молодое поколение (см. *М. А. Антонович,* Избранные статьи, Гослитиздат, 1938, стр. 141—202). В рукописи подстрочное примечание отсутствует.

К стр. 166

[1] Нарождавшийся тип революционера — это революционные народники 70-х годов, которые «шли в народ», порывая со своей средой, с семьей и жизненными удобствами.

[2] Указ о разрешении Чернышевскому переехать из Вилюйска в Астрахань датирован 15 июля 1883 г. Приехал он в Астрахань 27 октября того же года.

К стр. 167.

[1] Планы освобождения Чернышевского возникали время от времени в разных революционных кружках и у отдельных лиц. Самые отважные попытки этого рода связаны с именами Ипполита Мышкина и Германа Лопатина. Обе попытки окончились неудачей.

[2] Речь идет о статье Чернышевского «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь», опубликованной в 1888 г. в № IX «Русской мысли» (*Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. X, стр. 737—772). В этой статье Чернышевский выступает как сторонник трансформизма, т. е. эволюционной идеи развития, но критикует Дарвина за перенесение на живую природу теории борьбы за существование, заимствованной им из реакционного политико-экономического трактата Мальтуса.

Чернышевский приближался в этом к Энгельсу, который писал П. Л. Лаврову 12—17 ноября 1875 г.: «В учении Дарвина я согласен с *теорией развития,* дарвиновский же способ доказательства (борьба за существование, естественный отбор) считаю всего лишь первым, временным, несовершенным выражением только что открытого факта» (см. «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», Госполитиздат, 1951, стр. 212).

Позднее, в 1909 г., Плеханов сам отказался от своей резко отрицательной оценки статьи Чернышевского (см. Настоящее издание, т. IV, стр. 279 и сл.).

[3] См. статью «Н. Г. Чернышевский» в т. XVII Полного собрания сочинений и писем А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке, Пб. 1922, стр. 260—261.

К стр. 168

[1] В угловые скобки здесь и в дальнейшем включены те строки статьи Плеханова из № 1 «Социал-демократа», к которым относятся данные дополнения.

К стр. 169

[1] «Новые люди» — термин Чернышевского, обозначающий людей типа героев его романа «Что делать?» — Лопухова, Кирсанова, Рахметова, Веры Павловны.

[2] См. примечание 1 к стр. 142 настоящего тома.

[3] См. примечание 2 к стр. 142 настоящего тома.

К стр. 170

[1] Персифлировал — высмеивал, вышучивал.

[2] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс,* Избранные произведения, т. II, стр. 361, и *К. Маркс* и *Ф. Энгельс,* Избранные письма, Госполитиздат, 1953, стр. 152.

[3] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 240.

К стр. 171

[1] Полное собрание сочинений Ксенофонта в пяти частях, ч. II, Воспоминания о Сократе, Спб. 1887, стр. 67.

К стр. 172

[1] Этим восклицанием начинается и заканчивается статья Герцена «Через три года», опубликованная в «Колоколе» 15 февраля 1858 г. (см. *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. IX, Пб. 1919, стр. 126—128).

[2] Герцен после первых вестей о реформе 1861 г., не зная еще о ее грабительской сущности, устроил праздник по поводу освобождения крестьян. В приглашении на этот праздник говорилось: «Вольная русская типография в Лондоне и издатели «Колокола» празднуют вечером 10-го апреля начало освобождения крестьян... *Каждый русский,* какой бы партии он ни был, сочувствующий великому делу, будет принят братски» (*А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XI, Пг. 1919, стр. 65). За обедом Герцен произнес тост за Россию, ее преуспеяние и благоденствие, горячо встреченный собравшимися (там же, стр. 66, комментарий).

[3] Плеханов имеет в виду пятый том зарубежного издания сочинений Чернышевского (см. прим. 1 к стр. 72).

[4] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 313. В рукописи у Плеханова ошибочно написано «Землевладельческий».

К стр. 173

[1] Речь идет о статье Чернышевского «Критика философских предубеждений против общинного владения» (*Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. V, стр. 357—392).

К стр. 174

[1] *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. III, стр. 208.

[2] Эти мысли Чернышевский высказывает в предисловии к статье «Критика философских предубеждений против общинного владения» (см. т. V, стр. 358).

К стр. 175

[1] Прокламация «К молодому поколению», разоблачавшая грабительский характер крестьянской реформы и призывавшая к революционному восстанию против самодержавия, распространялась в России в сентябре 1861 г. Авторами ее были видные представители революционно-демократического движения 60-х годов писатель Н. В. Шелгунов и революционный поэт М. Л. Михайлов. Отпечатана она была в вольной типографии Герцена в Лондоне по просьбе М. Л. Михайлова. Герцен хотя и напечатал прокламацию, но не сочувствовал ей. «Мы заклинали его [Михайлова] не печатать своей прокламации», — писал он в № 14—15 «Колокола» от 1 декабря 1868 г. (см. *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XXI, Госиздат, 1923, стр. 206). Прокламация опубликована в книге *М. Лемке* «Политические процессы в России 1860-х гг.», Госиздат, 1923, стр. 62—80, и в книге: *Н. В. Шелгунов,* Воспоминания, Госиздат, 1923, стр. 287—302.

[2] Прокламация «К офицерам», датированная мартом 1862 г., призывала к сплочению в партии «не по сословиям, а по убеждениям». Опубликована в той же книге М. К. Лемке, стр. 548—550.

[3] Прокламация «Молодая Россия» была отпечатана в середине мая 1862 г. и широко распространялась в Петербурге, Москве и провинции. Автором ее был революционный демократ П. Г. Заичневский, находив-

шийся в то время под арестом в Москве. Прокламация опубликована в той же книге М. К. Лемке, стр. 508—518.

[4] Цитата из статьи Герцена «Журналисты и террористы» (см. Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XV, стр. 375).

[5] См. *Н. В. Шелгунов,* Воспоминания, Госиздат, 1923, стр. 137.

К стр. 176

[1] «*Русское слово*» — ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге в 1859—1866 гг. С 1860 г. редактором его был Г. Е. Благосветлов, который привлек в журнал в качестве сотрудников В. А. Зайцева, Н. В. Шелгунова, А. П. Щапова и др. С 1861 г. виднейшим публицистом и критиком, определявшим лицо журнала, был Д. И. Писарев.

[2] См. ответы Михайлова на допросах в книге М. Лемке «Политические процессы в России 1860-х гг.», Госиздат, 1923, стр. 87—107.

К стр. 177

[1] В отставку подали профессора К. Д. Кавелин, В. Д. Спасович, А. Н. Пыпин, М. М. Стасюлевич, Б. И. Утин. В то же время оставил университет и его ректор Плетнев (см. *Н. В. Шелгунов*, Воспоминания, стр. 132 и примечание на стр. 220).

[2] См. описание этой демонстрации в книге Н. В. Шелгунова «Воспоминания», на стр. 131.

К стр. 180

[1] См. примечание 2 к стр. 115.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ [1909 г.]

В 1908 г., очевидно в связи с предстоявшим в 1909 г. 20-летием со дня смерти Н. Г. Чернышевского, Плеханов вновь обратился к труду о Чернышевском. Новую свою книгу «Н. Г. Чернышевский» Плеханов значительно расширил и дополнил сравнительно с трудом, опубликованным в 1890—1892 гг. в «Социал-демократе», и с его изданием на немецком языке в 1894 г. В издание 1909 г. он включил в значительной степени заново написанные предисловие, введение и большой раздел «Философские, исторические и литературные взгляды Н. Г. Чернышевского», что составило первую часть книги. Вторая часть заключала в себе два отдела: «Политические взгляды Н. Г. Чернышевского» и «Политико-экономические взгляды Н. Г. Чернышевского». Первый отдел был написан заново, второй представлял собой перепечатку четырех статей из «Социал-демократа» с небольшими изменениями.

В декабре 1908 г. работа была передана издательству «Шиповник» *. Как видно из сохранившейся переписки с издательством, Плеханову аккуратно посылались гранки для корректуры. Предполагалось издать книгу весной 1909 г., но, руководствуясь коммерческими соображениями, издательство выпустило ее в свет лишь в октябре 1909 г., в дни, когда отмечалась двадцатая годовщина со дня смерти Н. Г. Чернышевского. В письме от 14 октября 1909 г. издательство сообщало Плеханову: «Ваша книга уже появилась... Хотя она продается всего лишь три дня, но для нас уже ясно, что успех ее необычайный. Ее ждали с большим нетерпением и встретили с большим интересом» (Архив Дома Плеханова).

---

* Издательство «Шиповник», буржуазно-коммерческое предприятие, существовало с 1906 по 1918 г. Наряду с философскими книгами различных представителей идеализма оно выпускало работы Маркса, Плеханова и некоторых других марксистов.

По-видимому, также из соображений коммерции издательство поставило на титульном листе книги дату 1910, надеясь, видимо, что это продлит срок, в течение которого книга будет считаться «новой», «не устаревшей». Это обстоятельство породило распространенное в литературе о Плеханове заблуждение, будто книга вышла в 1910 г.

Введение к книге «Н. Г. Чернышевский» в издании 1909 г., особенно в первой своей части, существенно отличается от статьи в № 1 «Социал-демократа». В нем Плеханов говорит об эволюции мировоззрения Чернышевского. Вторая половина введения в значительной степени перепечатана из статьи, помещенной в № 1 «Социал-демократа», без всяких изменений или с небольшими стилистическими поправками, но некоторые места переделаны. В заново написанных частях книги, излагавших философские, исторические, литературные и политические взгляды Чернышевского, и в поправках старого текста заметно сказались изменения в социально-политических взглядах Плеханова, его отступление с позиций революционного марксизма на позиции меньшевизма. Помещение в настоящем томе только первой части книги 1909 г. продиктовано тем соображением, что в ней изложены философские, исторические и литературные взгляды Чернышевского, т. е. то, что соответствует профилю настоящего издания. Статья «Эстетическая теория Н. Г. Чернышевского» входит в следующий, пятый том «Избранных философских произведений» Г. В. Плеханова.

В. И. Ленин внимательно читал книгу Плеханова «Н. Г. Чернышевский» в издании «Шиповника» и, сравнивая текст ее со статьями в «Социал-демократе», обратил внимание на существенные изменения во взглядах Плеханова на Чернышевского. Заметки Ленина на книгу Плеханова опубликованы в Ленинском сборнике XXV, стр. 206—244. 1 апреля 1911 г. была опубликована статья Ленина ««Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция», где дана оценка деятельности и мировоззрения Чернышевского. Эта статья представляет собой развитие замечаний Ленина, сделанных им при чтении книги Плеханова. Подчеркивая революционность Чернышевского, его беспощадную критику либерализма, Ленин писал: «...Чернышевский был не только социалистом-утопистом. Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей» (Соч., т. 17, стр. 97).

В архиве сохранилась полная рукопись книги, написанная рукой переписчика, с многочисленными поправками Плеханова. Текст, изданный «Шиповником», отличается от текста этой рукописи некоторыми стилистическими поправками. По всей вероятности, эти поправки и две-три вставки Плеханов внес в корректуру. В настоящем издании текст печатается по изданию «Шиповника», сверенному с рукописью. Исправления в рукописи и в печатном тексте «Шиповника» в большинстве случаев оговорены в примечаниях. В частности, все страницы введения, перенесенные из статьи 1890 г., сверены с текстом первого номера «Социал-демократа». Цитаты из работ Чернышевского, приводимые Плехановым, сверены с изданием, которым он пользовался (изд. М. Н. Чернышевского, 1906), и с последним собранием сочинений Чернышевского (Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, Гослитиздат, М. 1939—1953); в случаях расхождения их (цитат) с текстами последнего издания сочинений Чернышевского, перед ссылкой на него стоит слово «См.».

К стр. 183

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XV, Гослитиздат, 1950, стр. 152—153.

К стр. 184

[1] Статья Ф. В. Духовникова «Николай Гаврилович Чернышевский, его жизнь в Саратове» опубликована в «Русской старине», 1890, IX, стр. 531—564.

[2] Устный рассказ В. Д. Чеснокова приведен в статье Ф. В. Духовникова («Русская старина», 1890, IX, стр. 536—539).

[3] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. XIII, Гослитиздат, 1949, стр. 195.

К стр. 185

[1] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 196.

К стр. 186

[1] См. статью «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова» (*Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. X, Гослитиздат, 1951, стр. 18).

[2] Там же.

К стр. 187

[1] *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. X, стр. 17.

К стр. 188

[1] Статья «Характер человеческого знания» вошла в т. X Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского, стр. 720—736.

К стр. 189

[1] Цитата из семинарского сочинения Чернышевского «Обманывают ли нас чувственные органы?», написанного в 1845 г. На полях отметка преподавателя: «Очень хорошо» (см. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. XVI, Гослитиздат, 1953, стр. 375).

[2] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. I, Гослитиздат, 1939, стр. 562.

[3] См. там же. Текст цитаты несколько отличается от приведенного у Ляцкого: вместо слов «служба человечеству» — «содеянию блага человечеству»; слов «скажут о нем» совсем нет; вместо «именно» — «им».

К стр. 190

[1] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. XVI, стр. 382, 383.

[2] Опыт словаря к Ипатьевской летописи см. в Полном собрании сочинений, т. XVI, стр. 400—466.

[3] Рецензии на книги Гильфердинга и Нейкирха вошли в т. II Полного собрания сочинений Чернышевского, стр. 196—203 и 204—209. В примечании к этой публикации сказано, что номер «Отечественных записок» получил цензурное разрешение 1 июля 1853 г. и что эти рецензии являются «первыми работами Чернышевского для «Отечественных записок», дебютом его в «большой прессе»» (*Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. II, Гослитиздат, 1949, стр. 837).

В «Летописи жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского», Гослитиздат, 1953, под рубрикой 1 июля 1853 г. приведены эти рецензии с аннотацией: «Этими двумя рецензиями открывается деятельность Ч[ернышевского] в русской журналистике» (стр. 86).

К стр. 191

[1] См. *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. II, стр. 345. В примечании к этой рецензии, появившейся в № 6 «Отечественных записок» за 1854 г. и относящейся к седьмому тому «Справочного энциклопе-

дического словаря» Старчевского, редакция так поясняет приведенные Плехановым слова Чернышевского: «Упоминаемая здесь анонимная рецензия в «Отечественных записках» не принадлежала Чернышевскому... «Мы представили...», «остаемся при своем прежнем мнении...» — выражения, связывающие данную рецензию с прежней, но не свидетельствующие, однако, что автором обеих рецензий является одно и то же лицо» (стр. 846).

В рецензии на третий том «Справочного словаря», вышедшего позднее седьмого, Чернышевский снова упоминает о рецензии 1847 г., но говорит о ней уже иначе: «...после того, как разбор первого тома «Справочного словаря», помещенный в свое время в нашем журнале («Отеч. зап.», 1847 г. № 8), обнаружил огромность перепечаток...» (т. II, стр. 358).

[2] В «Летописи жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского» под 1847 и 1848 гг. эти факты не упоминаются. Говорится только неоднократно, что он читал «Journal des Debats».

К стр. 192.

[1] Статья о ««Бригадире» Фонвизина» написана Чернышевским в мае 1850 г. В Полном собрании сочинений она напечатана в т. II, в приложении, в двух редакциях, стр. 792—815.

К стр. 193.

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 793.

[2] *Н. А. Добролюбов*, Собрание сочинений в трех томах, т. 2, Гослитиздат, 1952, стр. 316—398.

[3] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 796—797.

К стр. 195

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 118.

[2] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 800—801.

[3] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 5—221.

К стр. 196

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 811.

[2] Там же, стр. 121.

[3] Первое упоминание о чтении Фейербаха («Сущность христианства») относится к 25 февраля 1849 г., когда Чернышевский был на третьем курсе университета (см. «Дневник», *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 248).

К стр. 197

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 388—399.

[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, 1947, стр. 136—137.

К стр. 198

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 138.

К стр. 199

[1] Речь идет о предисловии к книге «Н. Г. Чернышевский», вышедшей в издании «Шиповника» в 1909 г.

К стр. 200

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 245.

К стр. 201

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 483—484.

К стр. 202

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 243—244.

[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 548.

[3] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 244.

К стр. 203

[1] Приведенной выше цитате из «Пролога», как и этому утверждению Плеханова, противоречат высказывания Чернышевского в его письмах и «Дневнике», относящиеся к этому времени. Так, в 1852 г. он говорил своей невесте: «У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость... Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгою...» (*Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 418).

О скачка́х и революционных потрясениях он писал в «Дневнике» еще 20 января 1850 г.: «... мирное, тихое развитие невозможно. Пусть будут со мною конвульсии, — я знаю, что без конвульсий нет никогда ни одного шага вперед в истории... Глупо думать, что человечество может идти прямо и ровно, когда это до сих пор никогда не бывало» (*Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 357).

[2] Строки из стихотворения-пародии на речь прокурора Желиховского, примерно так характеризовавшего революционных народников, фигурировавших на процессе 193-х. Стихотворение опубликовано в журнале «Красный Архив», 1929, № 3 (34), стр. 229—230.

[3] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 492.

[4] Неразобранное слово: «требования».

К стр. 204

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 494.

[2] См. там же.

[3] Там же, стр. 484.

К стр. 205

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 242.

К стр. 206

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 297—298.

К стр. 208

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. V, Гослитиздат, 1950, стр. 502.

К стр. 209

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 103.

[2] Там же, стр. 239.

К стр. 210

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 357.

[2] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 147,

К стр. 212

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 123.

К стр. 213

[1] Дружеские отношения Кавелина с Герценом нарушились в 1862 г. после опубликования в Берлине записки Кавелина «Дворянство и освобождение крестьян», в которой он развивал свои более чем умеренные либеральные взгляды (см. «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», Genève 1892, стр. 49 и сл.).

К стр. 214

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 719.

К стр. 215

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 765.

[2] В настоящее время факт принадлежности Чернышевскому прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» не вызывает никаких сомнений. Плеханов, как и Лемке, не располагал еще достоверными материалами для разрешения этого вопроса. Прокламация включена в последнее издание сочинений Чернышевского (*Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 517—524).

К стр. 216

[1] Личный состав «Комитета», издававшего в 1861 г. нелегальные прокламации «Великорусс», в точности не установлен. Предполагают, что в него входили последователи Чернышевского Владимир и Николай Обручевы, из которых первый был сотрудником «Современника». Об участии Чернышевского в составлении этих прокламаций исследователи не упоминают, и ни одна из них не включена в Полное собрание сочинений Чернышевского в пятнадцати томах.

[2] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 779—780.

К стр. 217

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 538.

[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 780.

К стр. 218

[1] См. прим. 2 к стр. 150.

К стр. 221

[1] *В. Г. Короленко*, Собрание сочинений в десяти томах, т. 8, Гослитиздат, 1955, стр. 62.

К стр. 222

[1] В 1885 г. Чернышевским была написана статья «Характер человеческого знания», опубликованная в № 63 и 64 «Русских ведомостей» от 6 и 7 марта за подписью «Андреев», в 1888 г. — статья «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь», опубликованная в «Русской мысли», № IX (обе статьи вошли в т. X Полного собрания сочинений).

[2] Роман Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», воплотивший основные принципы его мировоззрения, был написан им в возрасте 49 лет. Известный роман Годвина «Калеб Вильямс» написан им в возрасте 38 лет. Имеется русский перевод этого романа, вышедший в 1949 г.

К стр. 223

[1] ***Н. Г. Чернышевский***, Полное собрание сочинений, т. XIV, Гослитиздат, 1949, стр. 501.

К стр. 224

[1] См. *Вольтер*, Философские повести, Гослитиздат, М. 1953.
[2] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 528—529, 533.

К стр. 228

[1] В работе Плеханова «Н. Г. Чернышевский», напечатанной в 1890 г. в «Социал-демократе», сказано: «В каждом из выдающихся русских революционеров была огромная доля рахметовщины» (см. настоящий том, стр. 166). В новом издании слово «революционеры» заменено словами «новые люди» и «социалисты 60—70-х годов». Эта замена отмечена В. И. Лениным, который сделал замечание на полях:

«NB ср. с С[оциал] -Д[емократом] № 1» и

«—«Рев[олю]ц[ионе]ра» в С[оциал]-Д[емократе] (№ 1, с. 173)».

К словам «выдающихся наших социалистов 60-х—70-х годов» Ленин сделал на полях замечание: «русских рев[олюционе]ров», к слову «немалая» — «огромная» (С [оциал]-Д[емократ] № 1, с. 174).

См. «Ленинский сборник» XXV, стр. 214.

[2] См. *В. Г. Короленко*, Собрание сочинений, т. 8, стр. 64.

К стр. 229

[1] См. *В. Г. Короленко*, Собрание сочинений, т. 8, стр. 65.

К стр. 230

[1] В рукописи: «первая часть которого».
[2] В издании «Шиповника» ошибочно стояло: «1899 года».
[3] В рукописи: «на собственное свидетельство Чернышевского».
[4] См. *Н. Г.Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 771.
[5] Там же, стр. 771—772.

К стр. 231

[1] Статья Плеханова «Эстетическая теория Н. Г. Чернышевского» (см. *Г. В. Плеханов*, Сочинения, т. VI, стр. 245—289, а также т. V Настоящего издания).

К стр. 232

[1] Как свидетельствуют записи самого Чернышевского в «Дневнике», он познакомился с «Сущностью христианства» Фейербаха в феврале 1849 г. Так, 4 марта 1849 г., вспоминая о дне 25 февраля, Чернышевский записал: «В 7 час. к Ханыкову, который дал Feuerbach's Das Wesen des Christenthums. Когда я брал и шел домой, у меня было несколько раздумья, что̀ выйдет из этой книги, когда я ее прочитаю...» (*Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 248).

[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 120—121.

[3] Там же, т. II, стр. 121.

[4] «Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart» Ф. Ланге, вышедшая в 1865 г., являлась попыткой критики основных представителей материализма с позиций неокантианства. Книга была переведена на русский язык. (Имеются издания 1881—1883 и 1899—1900 гг.)

К стр. 233

[1] См. *Л. Фейербах*, Избранные философские произведения, т. I, Госполитиздат, 1955, стр. 202.

[2] См. там же, стр. 517.

К стр. 234

[1] См. *Л. Фейербах*, Избранные философские произведения, т. I, стр. 224.

К стр. 235

[1] См. *Г. В. Плеханов*, Соч., т. VI, стр. 245—289, и Настоящее издание, т. III, стр. 124—146.

[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 293.

[3] Там же, стр. 294.

К стр. 236

[1] См. Настоящее издание, т. III, стр. 133—137.

[2] Краткая формула, употребленная Плехановым, не вполне точно характеризует философские взгляды Аристотеля. Основная черта философии Аристотеля — колебание между материализмом и идеализмом, но у него, как отмечал Ленин, «нет сомнений в реальности внешнего мира» («Философские тетради», Госполитиздат, 1947, стр. 305). Ленин указывал также, что критика Аристотелем идеализма Платона есть критика «*идеализма вообще*» (там же, стр. 264).

К стр. 239

[1] Речь идет о вульгарном материализме, представителями которого были Бюхнер, Фогт, Молешотт и др.

[2] См. *Л. Фейербах*, Избранные философские произведения, т. I, стр. 213—214.

[3] См. Настоящее издание, т. III, стр. 133.

К стр. 241

[1] В рукописи: «...мы ограничимся тем замечанием».

[2] Перечисляемые Чернышевским факты обучения животных получили научное материалистическое объяснение в учении И. П. Павлова об условных рефлексах. Павлов показал, что говорить в подобных случаях об умственном развитии животных неправомерно. Интеллектуальные действия животных имеют примитивный характер, не занимают главенствующего положения в их поведении, не закрепляются в их опыте. Главными формами приспособления к окружающей среде у животных остаются инстинкты и навыки.

К стр. 242

[1] См. примечание 2 к стр. 167 настоящего тома.

К стр. 244

[1] Книга «Новый взгляд на общество...» была единственным произведением Оуэна, вышедшим в русском переводе в дореволюционное время под названием «Образование человеческого характера». Она выпускалась неоднократно: в издании И. И. Билибина в 1865 и 1881 гг. (Петербург) и в 1893 г. (Москва), а также в 1909 г. в «Вестнике знания» под редакцией В. В. Битнера.

К стр. 247

[1] См. *Л. Фейербах*, Избранные философские произведения, т. I, стр. 268.

К стр. 249

[1] В замечаниях на книгу Плеханова В. И. Ленин, подчеркнув слова «Его расстояние [речь идет о способности к ощущению и мышлению. — *Ред.*] от так называемых физических качеств живого организма безмерно велико», написал на полях: «не безмерно (хотя мы еще не знаем этой «меры»)» (Ленинский сборник XXV, стр. 216).

К стр. 250

[1] Предвосхищение основания — логическая ошибка, заключающаяся в том, что доказательство выводят из основания, которое само нуждается в доказательстве.

[2] В рукописи: «некоторые неясности».

К стр. 251

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 245.

К стр. 253

[1] В замечаниях на книгу Плеханова В. И. Ленин написал на полях против этой фразы: «не логическая, а гносеологическая». (Ленинский сборник, XXV, стр. 217).

[2] Речь идет о книге «Animal intelligence» (в русск. перев.: «Ум животных», СПБ 1883) известного английского биолога и физиолога, последователя Дарвина—Джорджа Джона Роменса (1848—1894) (английское имя Romanes Плеханов транскрибирует как Романес вместо Роменс).

К стр. 254

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 725.

[2] *С. Г.* — Сильвестр Гогоцкий — русский философ-идеалист, составивший 4-томный «Философский лексикон» (1857—1873).

К стр. 255

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 769—770.

[2] *Сагунт* — торговый город в древней Испании, находившийся под покровительством Рима. В 219 г. до н. э. Сагунт восемь месяцев героически оборонялся от напавшего на него войска карфагенского полководца Ганнибала. По свидетельству римского историка Аппиана, во время решительного сражения сагунтинцы предпочли все погибнуть с оружием в руках, чем сдаться. «Их жены, видя со стен конец своих мужей, одни бросались с крыш домов, другие накидывали на себя петли, а некоторые, убив предварительно своих детей, сами пронзали себя мечами». Нападение на Сагунт послужило поводом ко второй Пунической войне Рима с Карфагеном.

К стр. 256

[1] По преданию, в VI в. до н. э. в Риме разыгралась кровавая драма, послужившая причиной изгнания царского рода Тарквиниев. Сын царя Секст Тарквиний под видом гостя проник в дом знатной римлянки Лукреции, жены Коллатина; пользуясь тем, что муж и отец ее были на войне, он ночью, с обнаженным мечом в руке, явился к ней в спальню и овладел ею. Обесчещенная Лукреция, вызвав мужа и отца, рассказала им о случившемся и, выхватив спрятанный под одеждой нож, вонзила его себе в сердце.

[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 284.

К стр. 257

[1] См. Настоящее издание, т. II, стр. 33—194.

К стр. 258

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 288.
[2] В рукописи Плеханова: «нежели к Дарвину».

К стр. 260

[1] В рукописи: «...но только выражал свою мысль очень своеобразно, вследствие некоторой неправильности своих логических посылок».
[2] В рукописи: «...в знаменитом романе».
[3] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XI, Гослитиздат, 1939, стр. 101.
[4] Там же, стр. 94.

К стр. 261

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 95.
[2] Там же, стр. 127.

К стр. 262

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 699.
[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 118.
[3] Там же, стр. 178.

К стр. 263

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 279.
[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 78.
[3] Там же, стр. 164.

К стр. 264

[1] В рукописи: «...мы не можем устоять перед искушением отчасти воспроизвести одну из них».

К стр. 265

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 71.
[2] В рукописи: «В своей во многих отношениях замечательной работе о Лессинге»...
[3] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 190.
[4] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 138.

К стр. 266

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 202.

К стр. 267

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 103—104.
[2] Так в оригинале.
[3] В рукописи: «...до сих пор должно быть признано совершенно правильным».
[4] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 205—206.
[5] *Ф. Энгельс*, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. II, Госполитиздат, 1955, стр. 341—349).

К стр. 268

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 207—208.

К стр. 269

[1] См. статью «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля» в Настоящем издании, т. I, стр. 422—450.

К стр. 270

[1] В рукописи: «...все-таки не сосредоточил своего внимания на его главном преимуществе».

[2] В рукописи: «...у Маркса».

К стр. 271

[1] Строки из стихотворения Гёте «Vanitas! Vanitatum vanitas!» («Суета! Суета сует!»). См. примечание 2 к стр. 101 в настоящем томе.

[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 391.

[3] Данный абзац, кончая словами «...общественной науки», в рукописи отсутствует и вставлен Плехановым, по-видимому, при правке корректуры.

[4] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 277.

К стр. 272

[1] В рукописи глава шестая называется «Характер человеческого знания».

[2] В рукописи фраза кончается на слове «...препятствиях».

[3] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 720—736, т. II, стр. 119—126.

К стр. 275

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 223—224.

[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 745, 743.

К стр. 276

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 125. Анализу этого замечательного, по определению Ленина, рассуждения Чернышевского посвящено Добавление к § 1 гл. IV ленинского труда «Материализм и эмпириокритицизм», где показано, «с какой стороны подходил Н. Г. Чернышевский к критике кантианства» (*В. И. Ленин*, Соч., т. 14, стр. 344—346).

К стр. 277

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 731.

[2] Там же.

К стр. 279

[1] *Гегель*, Энциклопедия философских наук. Часть I (Сочинения, т. I, М.—Л. 1930, стр. 136).

[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 737—772.

[3] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 239 (примечание).

К стр. 280

[1] Об отношении Чернышевского к Дарвину см. примечание 2 к стр. 167.

[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 737.

К стр. 281

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 768.

[2] Там же, стр. 758—759.

[3] Там же, стр. 769.

К стр. 282

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 772.

[2] Там же, стр. 744.

[3] Там же, стр. 765.
[4] В рукописи: «...именно ее отсутствием».

К стр. 283

[1] См. примечание к стр. 117 в Настоящем издании, т. III.

К стр. 284

[1] См. *Ч. Дарвин*, Происхождение видов. Гл. III. Борьба за существование, Сельхозиздат, М. 1952, стр. 131.

К стр. 285

[1] Имеется в виду социальный дарвинизм — реакционное течение буржуазной социологии, использовавшее мальтузианские ошибки Ч. Дарвина. Сущность социального дарвинизма заключается в перенесении в область общественных явлений законов природы, в частности так называемого закона борьбы за существование, действующего в известных пределах в животном и растительном мире.

К стр. 286

[1] *Ф. Энгельс*, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1953, стр. 65.
[2] *Ч. Дарвин*, Происхождение человека и половой отбор. Гл. XXI. Общий обзор и заключение (Соч., т. 5, изд. АН СССР, М. 1953, стр. 655—656).
[3] *Манчестерство*, или *фритредерство* — направление буржуазной экономической мысли первой половины XIX в. Манчестерцы являлись сторонниками свободной торговли и невмешательства государства в экономическую жизнь, что выражало их стремление к свободе капиталистического предпринимательства и усилению эксплуатации рабочих.

К стр. 287

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 123.

К стр. 288

[1] См. статью «Два типа современных философов» в кн.: *М. А. Антонович*, Избранные философские сочинения, Госполитиздат, М. 1945, стр. 18—91.
[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 760.
[3] «Проницательный читатель» — иронический эпитет, многократно употребляемый в романе Чернышевского «Что делать?» и обозначающий реакционного читателя, которого характеризуют лицемерие, пошлость, тупоумие и непомерные претензии на глубокомыслие.
[4] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 761.

К стр. 290

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 357.

К стр. 291

[1] Имеются в виду книги Гизо: «История цивилизации в Европе» (есть русский перевод, последнее издание — 1905) и «История цивилизации во Франции» (русский перевод 1877—1881).
[2] Слова «как будто» в рукописи отсутствуют.
[3] См. Настоящее издание, т. I, стр. 522—534.

К стр. 292

[1] В рукописи: «...сочувственная ссылка».

К стр. 293

[1] У Чернышевского: «всех возможных».
[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 736.
[3] См. *К. Маркс*, Наемный труд и капитал (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. I, Госполитиздат, 1955, стр. 63).
[4] В рукописи: «Были, вероятно...»

К стр. 295

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 572—573.
[2] Там же, стр. 573 и 736.

К стр. 296

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 978—979.

К стр. 297

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 979—980.
[2] Там же, стр. 981.

К стр. 298

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 980.
[2] Там же.
[3] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 516.

К стр. 300

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 236—237.
[2] Там же, стр. 243.
[3] Там же, стр. 244.

К стр. 301

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Манифест Коммунистической партии (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. I, стр. 36).
[2] См. там же.

К стр. 303

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 645—646.
[2] Речь идет об известном высказывании римского историка Плиния Старшего (в 7-й главе XVIII книги «Естественной истории»), характеризующем рост крупных земельных владений в Италии в I в. н. э. в период кризиса Римской империи. Чернышевский приводит слова Плиния в статье «Капитал и труд» (*Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 21).
[3] Намек на «формулу прогресса» Михайловского, выдвинутую им в статье «Что такое прогресс?» См. примечание 1 к стр. 638.

К стр. 304

[1] В рукописи слово «еще» пропущено.
[2] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 648.

К стр. 305

[1] См. *Э. Мейер*, Экономическое развитие древнего мира, изд. «Прибой», Пг. 1923, стр. 75; ср. также стр. 77—94.
[2] Ссылка на Родбертуса и Петрушевского в рукописи отсутствует и, видимо, добавлена Плехановым в корректуре.

К стр. 306

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 646—647.

[2] Там же, стр. 648.

К стр. 307

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 657.

[2] Данное примечание имеется только в издании «Шиповника», в рукописи оно отсутствует.

[3] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 663—664.

К стр. 309

[1] В рукописи: «...в основе этих рассуждений лежала все-таки совершенно верная, хотя, по-видимому, далеко не вполне продуманная Герценом мысль...»

[2] В рукописи: «...по-видимому, не достигла у него полной ясности». Следующие затем слова «далеко не была продумана до конца» добавлены в издании «Шиповника». Подстрочное примечание к этой фразе также отсутствует в рукописи.

К стр. 310

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 657.

[2] *Ф. Шиллер*, Торжество победителей (Избранные произведения, Гослитиздат, 1954, стр. 38).

[3] В рукописи: «... являются в изображении Чернышевского».

[4] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 659.

К стр. 311

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 661.

[2] См. настоящий том, стр. 279 и сл.

К стр. 312

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 475—480.

[2] В рукописи: «...серьезного разбора».

[3] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 476.

[4] Там же, стр. 477.

К стр. 313

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 478.

К стр. 314

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 478.

К стр. 317

[1] *К. Маркс*, Рецензия на книгу Гизо «Почему удалась английская революция?» (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 7, 1956, стр. 218—223).

К стр. 318

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 7, 1956, стр. 221—222.

[2] См. *К. Маркс*, Капитал, т. I, Госполитиздат, 1955, стр. 184.

К стр. 319

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 429—440.

[2] *Троглодиты* (от греч. τρωγλοδύτης — живущий в норе или пещере) — в древности общее название народов, стоящих на низкой ступени культурного развития, не умеющих строить жилища.

Лестригоны — в греческой мифологии кровожадные великаны. Одиссей в поэме Гомера «Одиссея» во время своих странствий с трудом спасся от лестригонов.

К стр. 320

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 429—430.

[2] Там же, стр. 430.

К стр. 321

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 433.

К стр. 322

[1] В рукописи: «... роковым образом приведет».

[2] В рукописи: «...тут не нужно упускать из виду».

К стр. 327

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 70—71.

К стр. 328

[1] См. Настоящее издание, т. II, стр. 300—334.

К стр. 329

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 910.

К стр. 330

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 911.

[2] Там же, стр. 915—916.

[3] См. *К. Маркс*, Общий устав международного товарищества рабочих (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. I, Госполитиздат, 1955, стр. 344).

К стр 331

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 917.

[2] *Номады* — кочевники.

[3] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 919.

К стр. 333

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 879.

[2] *К. Маркс*, Тезисы о Фейербахе (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. II, стр. 383). В новом переводе: «Фейербах хочет иметь дело с чувственными объектами, действительно отличными от мысленных объектов...»

[3] В замечаниях на книгу Плеханова В. И. Ленин подчеркнул слова: «Подобно своему учителю, Чернышевский тоже сосредоточивает свое внимание почти исключительно на «теоретической» деятельности человечества...» — и написал на полях: «Таков же недостаток книги Пл[е]—х[ано]ва о Черн[ышевск]ом» (Ленинский сборник, XXV, стр. 221).

К стр. 334

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 962.

К стр. 335

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 970.
[2] Там же, стр. 962 и сл.
[3] В рукописи: «...на почву».
[4] См. *Ч. Дарвин*, Происхождение человека и половой отбор. Гл. II. О способе развития человека из какой-то низшей формы (Соч., т. 5, стр. 174—175).
[5] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 924—925.

К стр. 336

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 924.
[2] Там же.

К стр. 337

[1] В рукописи это примечание отсутствует.

К стр. 338

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 287.

К стр. 339

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 5.

К стр. 340

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 6—7.
[2] Там же, стр. 7.

К стр. 341

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 191—192 (примечание).

К стр. 343

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 266.
[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 9.
[3] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 265.

К стр. 344

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 268—269.
[2] Там же, стр. 271.
[3] Там же.

К стр. 346

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 267.

К стр. 347

[1] Слово «совсем» отсутствует в рукописи.

К стр. 349

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 237—238.
[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 10.

К стр. 350

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 92.
[2] *Г. В. Плеханов*, Соч., т. X, стр. 178 и сл.

К стр. 351

[1] Статья «Еще об искусстве у первобытных народов» составила Письмо третье из серии «Письма без адреса» (см. *Г. В. Плеханов*, Соч., т. XIV, стр. 53—73).

К стр. 352

[1] *Г. В. Плеханов*, Соч., т. VI, стр. 245—289, а также т. V Настоящего издания.

К стр. 354

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 10—11.
[2] В рукописи: «...мы встречаемся с различными литературными взглядами и с различными эстетическими понятиями людей».
[3] Стихи из баллады В. А. Жуковского «Алина и Альсим». Первая строка несколько изменена. У Жуковского: «Мила для взора живость цвета...» *(В. А. Жуковский*, Сочинения, Гослитиздат, 1954, стр. 134).

К стр. 355

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 11.
[2] *Гегель*, Лекции по эстетике. Кн. первая, Сочинения, т. XII, стр. 172—173. Кн. вторая, Сочинения, т. XIII, стр. 158—161.

К стр. 356

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 276.
[2] Там же.

К стр. 357

[1] *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. II, стр. 278.

К стр. 359

[1] *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. II, стр. 278.
[2] См. *Гёте*, Годы учения Вильгельма Мейстера. Собрание сочинений, т. VII, Гослитиздат, 1935.

К стр. 360

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 283—284.

К стр. 361

[1] Слово «успехов» в издании «Шиповника» пропущено, видимо, по ошибке.
[2] *Г. В. Плеханов*, Эстетическая теория Н. Г. Чернышевского (Соч., т. VI, стр. 245; см. также т. V Настоящего издания).
[3] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 576.
[4] Там же.

К стр. 363

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VIII, 1955, стр. 82.
[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, 1956, стр. 7—50.
[3] Там же, стр. 7. В рукописи, в сноске, имеется цитата из Белинского, которую мы не приводим.
[4] Там же, стр. 294—295.

К стр. 364

[1] См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 23.
[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 227.

К стр. 365

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 227.
[2] Там же, стр. 229.

К стр. 368

[1] См. *Г. В. Плеханов*, Литературные взгляды Белинского (Соч., т. X, стр. 303—304; см. также т. V Настоящего издания).

К стр. 370

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 506—507.

К стр. 371

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 168—169.
[2] Там же, стр. 160.

К стр. 372

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 168.

К стр. 373

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 172.
[2] Там же, стр. 171.
[3] Там же, стр. 173.
[4] См. там же, стр. 174.

К стр. 374

[1] В рукописи: «Но когда возникал вопрос о том, в какой мере...»

К стр. 377

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 858—859.
[2] Там же, стр. 859.
[3] Там же, стр. 862.
[4] Там же, стр. 875. В последнем издании сочинений Чернышевского исправлено по рукописи: «Французские поселяне заслужили всесветную репутацию [тем, что их тупою силою были задушены все зародыши стремлений к лучшему, являвшиеся в последнее время во Франции]».

К стр. 378

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 875.
[2] Там же.

К стр. 380

[1] В рукописи: «не соглашался».
[2] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 876—877.
[3] Там же, стр. 863.

К стр. 381

[1] Как недавно установлено, статья «Стихотворения Плещеева» была включена М. Н. Чернышевским в собрание сочинений своего отца ошибочно. Автором статьи является М. Л. Михайлов Ошибочно она включена и в последнее Полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского. См. об этом статью А. Ф. Захаркина «Новые материалы о поэте-революционере М. Л. Михай-

лове» («Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка», т. XII, вып. 5, М. 1953, стр. 434—435).

[2] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 960.

К стр. 382

[1] *А. Н. Плещеев*, Вперед! без страха и сомненья... Стихотворения, изд. «Советский писатель», Л. 1950, стр. 26.

К стр. 383

[1] *Д. И. Писарев*, Пушкин и Белинский. Сочинения в четырех томах, т. 3, Гослитиздат, 1956, стр. 364.

[2] Там же, стр. 366.

К стр. 384

[1] *Д. И. Писарев*, Сочинения в четырех томах, т. 3, стр. 420.

К стр. 385

[1] В рукописи: «...занимался исключительно борьбой».

К стр. 386

[1] См. *Д. И. Писарев*, Пушкин и Белинский. Сочинения в четырех томах, т. 3, стр. 377—378.

[2] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 863.

К стр. 387

[1] *Д. И. Писарев*, Сочинения в четырех томах, т. 1, Гослитиздат, 1955, стр. 110.

К стр. 388

[1] См. *Д. И. Писарев*, Сочинения в четырех томах, т. 3, стр. 368—369.

К стр. 389

[1] *Д. И. Писарев*, Сочинения в четырех томах, т. 3, стр. 370—371.

К стр. 392

[1] *Д. И. Писарев*, Сочинения в четырех томах, т. 2, стр. 359.

К стр. 393

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 239—240.

[2] Там же, стр. 240.

К стр. 394

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 422—423.

К стр. 395

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 425—426.

К стр. 396

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 429.

[2] Там же, стр. 431.

[3] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 508—510 и сл.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В СИБИРИ [1913 г.]

Статья «Чернышевский в Сибири» является последней из серии работ Плеханова о Чернышевском. Она написана в 1912 г. непосредственно по выходе в свет писем Чернышевского из каторжных тюрем и Вилюйской ссылки, опубликованных впервые Е. А. Ляцким и сыном Чернышевского Михаилом Николаевичем в 1912 г. Получив первый выпуск этой книги, Плеханов писал Ляцкому 30 мая 1912 г.: «Благодарю Вас за присылку мне книги «Чернышевский в Сибири». Эта книга производит поистине потрясающее впечатление» (архив Дома Плеханова). Написанная под живым впечатлением волнующих писем Н. Г. Чернышевского, статья Плеханова дорисовывает новыми штрихами духовный и интеллектуальный облик Чернышевского. Статья была опубликована в журнале «Современник», 1913, № 3, стр. 213—229. В Сочинения Г. В. Плеханова она вошла в шестой том. В Настоящем издании за основу принят текст «Современника». Рукописи этой статьи в архиве Дома Плеханова не обнаружено.

К стр. 399

[1] В августе 1866 г. Ольга Сократовна, жена Чернышевского, приезжала к нему в Кадаю с младшим сыном Михаилом. Она пробыла у него всего 4 дня, так как он сам уговорил ее как можно скорей уехать. Это было вызвано, очевидно, опасениями за ее судьбу, в связи с тем, что в это время строились планы освобождения Чернышевского и III отделение заподозрило ее в соучастии в этих планах (см. *В. Н. Шульгин*, Очерки жизни и творчества Н. Г. Чернышевского, Гослитиздат, 1956, стр. 145).

[2] В связи с опасениями за судьбу Ольги Сократовны находится и просьба к ней Чернышевского о выходе замуж «за кого-нибудь из благородных людей». Это был способ путем фиктивного брака и перемены фамилии обезопасить ее от полицейских преследований.

К стр. 400

[1] А. Н. Пыпин писал Чернышевскому: «...Я *делал и делаю* все, что в моих силах было для *О. С.* и для детей; — мне щемит сердце только за тебя, что ты мог смутиться новостями, что ты перестал мне верить. Будь ты здесь, нам довольно было бы пяти минут разговора, чтобы ты успокоился в этом отношении... Неужели мне и всем нам нужно уверять тебя, что ты нам дорог теперь, как всегда?.. Это одно, одна мысль о тебе, делала бы невозможным для нас другое отношение к О. С., чем какое должно быть... было проведено много тяжелых дней, — за себя, и за тебя и твоих, — я их не стану пересчитывать и делать из них доказательство моих слов» (Письмо Пыпина см. в кн.: «Чернышевский в Сибири. Переписка с родными», вып. I, Спб. 1912, стр. 110—118).

[2] Все приведенные выше цитаты взяты из письма к Пыпину от 8 марта 1875 г. (см. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIV, Гослитиздат, 1949, стр. 588—595).

[3] Из письма к А. Н. Пыпину от 28 марта 1875 г. (см. там же, стр. 600).

[4] См. там же, стр. 594.

К стр. 401

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 603.

[2] См. там же, стр. 688. Такие уверения очень часто повторяются в письмах Чернышевского к Ольге Сократовне.

К стр. 402

[1] Все приведенные выше цитаты из письма к О. С. Чернышевской от 17 мая 1872 г. см. в т. XIV, стр. 517—519.

[2] *Н. А. Некрасов*, Полное собрание сочинений и писем, т. III, Гослитиздат, 1949, стр. 39—40.

[3] В цитированном выше письме от 28 марта 1875 г. (см. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 601).

[4] Обе цитаты см. в Полном собрании сочинений Н. Г. Чернышевского, т. XV, Гослитиздат, 1950, стр. 81 и 82.

К стр. 403

[1] В одном из писем к С. М. Степняку-Кравчинскому в конце 1888 г. Плеханов предлагал ему написать совместно книгу, в которой они изложили бы мартиролог русской литературы «...начиная с Новикова и Радищева (предварительно в нескольких словах упомянувши о Крижаниче и Посошкове)». «Мы рассказали [бы], — продолжает он, — о лицемерном либерализме Екатерины II, о неистовствах павловской цензуры, о ссылке Пушкина, Лермонтова, об аресте Тургенева за похвальную статью о Гоголе, о ссылке Грибоедова, об отдаче в солдаты Полежаева, о преследованиях Костомарова, Шевченко, Достоевского, М. Михайлова, Чернышевского, о том, что лишь смерть спасла Белинского от «квартиры у Дубельта»» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI, Соцэкгиз, 1938, стр. 388).

[2] Плеханов имеет в виду свою книгу «Н. Г. Чернышевский», вышедшую в 1909 г. в издании «Шиповника».

К стр. 404

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XV, стр. 23.

К стр. 405

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 651—652.

[2] Чернышевский в ряде писем возвращается к вопросу о Дарвине. Резко критикуя его теорию «борьбы за существование», он вместе с тем признает, что «Дарвин, конечно, человек гениальный» (т. XIV, стр. 540), отдает «справедливость учености и благородству характера Дарвина» (т. XV, стр. 687).

На вопрос своего сына Александра: «неужели он противник дарвинизма?», он отвечает: «Дело в том, что я старик. Я сформировал свой образ мыслей о ботанической и зоологической истории по книгам XVIII века и главным образом по Ламарку. Дарвинизм для меня — не новость своими справедливыми сторонами. Но Дарвин, учившись по Кювье, не знал Ламарка (человек скромный, он сам сознается в том), и толчок к обдумыванию начавшей мелькать перед его умом истины он получил, по несчастному для науки случаю, от Мальтуса... Гадость мальтусианизма и перешла в учение Дарвина...» (там же, т. XIV, стр. 643).

[3] Плеханов имеет в виду приверженцев так называемого «социального дарвинизма». См. примечание к стр. 285.

К стр. 406

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 650.

[2] См. там же, стр. 667.

К стр. 407

[1] Плеханов имеет в виду точку зрения Ю. М. Стеклова, развитую им в книге «Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность (1828—1889 гг.)», вышедшей в 1909 г., согласно которой Чернышевский не был социалистом-утопистом, но по своим историческим взглядам приближался к системе исторического материализма. Плеханов критиковал эти положения Стеклова в рецензии на его книгу, напечатанной под заглавием «Еще о Чернышевском» в апрельской книге «Современного мира» за 1910 г. (Соч., т. VI, стр. 346—370).

[2] Список присланных Чернышевскому книг, среди которых имеется «Капитал» Маркса, напечатан в комментарии к его письму от 30 сентября 1872 г. (см. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 843—844).

К стр. 408

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XV, стр. 34, 35.

[2] Речь идет о книге М. Антонова «Н. Г. Чернышевский. Социально-философский этюд», М. 1910. В пятом разделе седьмой главы, озаглавленном «Каутский и Плеханов об учении Чернышевского», Антонов пишет: «Критика г. Бельтова основана.., на такой грубой ошибке, за которую гимназисты младших классов получают единицы» (стр. 252).

К стр. 409

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XV, стр. 70.

К стр. 410

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XV, стр. 27.

[2] См. там же, стр. 20.

К стр. 411

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XV, стр. 21.

[2] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 676—677.

[3] О законе естествоиспытателя Карла Эрнста Бэра Чернышевский говорит в том же письме на стр. 677.

К стр. 412.

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 678.

[2] Плеханов излагает здесь мысли Чернышевского, развитые им в одном из приложений к переводу истории Вебера, написанных уже после возвращения его из ссылки. Этот раздел приложения носит заглавие: «Общий характер элементов, производящих прогресс» (см. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. X, Гослитиздат, 1951, стр. 907—928).

К стр. 413

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 644—645.

[2] См. *К. Маркс*, Учредительный манифест Международного товарищества рабочих (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения, т. I, Госполитиздат, 1955, стр. 343).

К стр. 414

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XV, стр. 87—88.

[2] В статье «Похороны Н. А. Некрасова», написанной в 1917 г., Плеханов подробно рассказывает о демонстрации землевольцев, пришедших на кладбище с револьверами и венком «От социалистов». Некрасов, певец гражданской скорби, был ближе, чем Пушкин, этой революционной молодежи, среди которой находился и Плеханов, выступивший с речью на могиле. «Я начал свою речь, — пишет Плеханов, — тем замечанием, что Некрасов не ограничился воспеванием ножек Терпсихоры, а ввел в свою поэзию гражданские мотивы. Намек был совершенно ясен. Я, в свою очередь, имел в виду Пушкина. И само собой разумеется, что я был кругом неправ перед ним... Но таково было наше тогдашнее настроение» (см. «Литературное наследие», сб. VI, стр. 237).

См. воспоминание об этом эпизоде в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского (Полное собрание сочинений, т. XII, Госиздат, 1929, стр 348—349).

[РАБОТЫ О В. Г. БЕЛИНСКОМ] *

БЕЛИНСКИЙ И РАЗУМНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ [1897]

Статья «Белинский и разумная действительность» была написана Плехановым в 1897 г. В архиве сохранилось письмо Н. А. Герд Плеханову от 30 мая 1897 г., в котором она сообщает, что статья переписана и высылается (в журнал «Новое слово»). Под псевдонимом «Н. Каменский» статья была напечатана в легальном журнале «Новое слово» (1897 г., № 10, отд. 2, стр. 1—28, и № 11, отд. 2, стр 1—22) в качестве статьи второй из серии «Судьбы русской критики». В дальнейшем она перепечатывалась с незначительными стилистическими изменениями, сделанными Плехановым, в трех изданиях сборника «За двадцать лет» (1905, 1906 и 1908 гг.). Она вошла также в сборники статей Г. В. Плеханова «Литература и критика», изд. «Новая Москва», 1922, и «В. Г. Белинский», Гиз, М.—Пг. 1923.

В Настоящем издании статья печатается по тексту Сочинений (т. X, стр. 201—252), сверенному с последним прижизненным изданием: *Бельтов (Г. В. Плеханов)*, За двадцать лет. Сборник статей. Спб. 1908, стр. 164—213), а также с черновым автографом 1897 г., хранящимся в архиве Дома Плеханова и содержащим неполный оригинал статьи.

К стр. 417

[1] *Байрон*, Избранные произведения, Гослитиздат, М. 1953, стр. 388.

[2] *И. С. Тургенев*, Собрание сочинений в двенадцати томах, т. 10, Гослитиздат, М. 1956, стр. 280.

[3] *А. Л. Волынский*, Русские критики. Литературные очерки. Спб. 1896. Плеханов подверг критике эту книгу в специальной статье (см. *Г. В. Плеханов*, Соч., т. X, стр. 165—197).

К стр. 419

[1] См. Сочинения В. Г. Белинского в четырех томах, изд. Ф. Павленкова, Спб. 1896. Статья Н. К. Михайловского помещена в четвертом томе, стр. I—XLVI. Приведенное место см. на стр. XXXI.

К стр. 422

[1] См. *Байрон*, Избранные произведения, стр. 227—228.

К стр. 424

[1] *Сен-Симон*, Избранные сочинения, т. I, изд. АН СССР, М.—Л. 1948, стр. 166—167 (примечание).

[2] *Шеллинг*, Система трансцендентального идеализма, Соцэкгиз, Л. 1936; см., напр., стр. 344 и др.

К стр. 425

[1] См. *Ф. Энгельс*, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1953, стр. 24.

[2] См. *Гегель*, Соч., т. XI. Лекции по истории философии, кн. третья, Соцэкгиз, М.—Л. 1935, стр. 513—514.

---

* В архиве Дома Плеханова сохранились неполные автографы, подготовительные материалы, варианты и черновики статей Плеханова о Белинском. Большая часть из них опубликована в шестом сборнике «Литературного наследия Г. В. Плеханова» (М. 1938). Среди подготовительных материалов — разбор сочинений В. Г. Белинского по четырехтомному изданию Павленкова (Спб. 1896), разборы книг А. Н. Пыпина «Белинский, его жизнь и переписка» (Спб. 1876), А. Л. Волынского «Русские критики» (1896), статьи Д. И. Писарева «Пушкин и Белинский» (*Писарев*, Соч., т. V, Спб. 1894), а также заметки на полях, планы и т. п.

К стр. 426

[1] *А. И. Герцен*, Былое и думы (см. Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, изд. АН СССР, 1956, стр. 23). Здесь и в дальнейшем Плеханов слова Герцена «алгебра революции» заменял, видимо из цензурных соображений, словами «алгебра прогресса».

[2] См. *Гегель*, Соч., т. X, Лекции по истории философии, кн. вторая, Партиздат, М. 1932, стр. 85.

[3] В Сочинениях и в сборнике «За двадцать лет» (1908) пропущено слово «не». В рукописи это место не сохранилось.

К стр. 427

[1] Слово «абсолютная» восстановлено по рукописи.

К стр. 428

[1] В рукописи: «указанные Руге недостатки».

К стр. 429

[1] См. *Гегель*, Соч., т. VII, Соцэкгиз, М.—Л. 1934, стр. 5—19.

[2] *Сен-Симон*, Труд о всемирном тяготении (*Сен-Симон*, Избранные сочинения, т. I, стр. 241).

[3] В рукописи: «юридических».

К стр. 431

[1] Приведенные слова произносит Дмитрий Калинин, герой одноименной «драматической повести» В. Г. Белинского (см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. I, изд. АН СССР, М. 1953, стр. 498—499).

[2] Говоря о влияниях, сказавшихся на Белинском в этот период, нельзя, конечно, ограничиться Шиллером. Идеи французского просвещения, антикрепостнические революционные идеи Радищева и декабристов отчетливо проявились в драматической повести «Дмитрий Калинин» (см. *М. Поляков*, Белинский в Москве, «Московский рабочий», 1948, стр. 56 и сл.; *В. С. Нечаева*, В. Г. Белинский, изд. АН СССР, 1949, гл. XVI—XVIII; «Великий русский мыслитель В. Г. Белинский». Сборник статей. Под ред. З. В. Смирновой, Госполитиздат, 1948, стр. 56—65; «История русской литературы», т. VII, изд. АН СССР, 1955, стр. 39—40).

[3] См. Письмо В. Г. Белинского Н. В. Станкевичу от 29 сентября—8 октября 1839 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, изд. АН СССР, М. 1956, стр. 385).

К стр. 432

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 385—386.

[2] См. *А. И. Герцен*, О развитии революционных идей в России (Собрание сочинений в тридцати томах, т. VII, изд. АН СССР, 1956. В переводе с французского см. стр. 214—215).

[3] Приведенная А. Н. Пыпиным цитата из Надеждина начинается словами: «Наша словесность».

[4] *А. Н. Пыпин*, Белинский, его жизнь и переписка, т. I—II, Спб. 1876.

К стр. 433

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 102.

[2] *М. Б.* — Михаил Бакунин. Деревня Бакуниных — «Прямухино».

[3] См. Письмо Белинского Бакунину от 14 августа 1838 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 271).

[4] См. Письмо Белинского М. А. Бакунину от 16 августа 1837 г. (там же, стр. 175).

К стр. 434

[1] См. Письмо Белинского М. А. Бакунину от 12 октября 1838 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 320).

[2] См. В. Г. Белинский — М. А. Бакунину, 16 августа 1837 г. (там же, стр. 175).

К стр. 435

[1] Белинский — М. А. Бакунину, 20 июня 1838 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 245).

[2] *И. С. Тургенев*, Литературные и житейские воспоминания. Гл. II. Воспоминания о Белинском (Собрание сочинений, т. 10, 1956, стр. 280).

[3] «Из бумаг князя В. Ф. Одоевского», см. «Русский архив», 1874, кн. 1, стр. 339.

К стр. 436

[1] Строфа из стихотворения Генриха Гейне «Брось свои иносказанья...» из цикла «К Лазарю».

[2] Кавычки восстановлены по рукописи.

[3] Вагнер — персонаж из «Фауста» Гёте.

К стр. 437

[1] Из письма Д. П. Иванову (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 147—148).

[2] Там же, стр. 148.

[3] Там же.

К стр. 438

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 151—152.

[2] Там же, стр. 148.

[3] Там же.

[4] Там же, стр. 149.

К стр. 439

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 151.

[2] М. А. Бакунин.

[3] Белинский — Н. В. Станкевичу, 29 сентября — 8 октября 1839 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 386—387).

К стр. 440

[1] У Белинского: «самобытно».

[2] Белинский — М. А. Бакунину, 10 сентября 1838 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 282—283).

[3] Там же, стр. 284.

[4] У Белинского: «вглядываюсь я в эти пружины, в эти средства».

[5] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 284.

К стр. 441

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 292. У Плеханова в этой цитате ошибочно вместо «инстинктуальному» стояло «интеллектуальному».

[2] Имеется в виду рецензия В. Г. Белинского «Очерки Бородинского сражения (воспоминания о 1812 годе). Сочинение Ф. Глинки, автора «Писем русского офицера». Москва 1839».

[3] См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. III, 1953, стр. 328.

К стр. 442

[1] См. *В.Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 332—333.

[2] Ничего нет внутри, ничего нет снаружи;
Ибо то, что внутри, то и снаружи.
(См. Goethe's Werke, Berlin, Ausgabe Gustav Hempel, th. 2, S. 230).

[3] «Очерки Бородинского сражения» (см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 340).

К стр. 443

[1] *В. Г. Белинский*, Менцель, критик Гёте (см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 414).

[2] *В. Г. Белинский*, Горе от ума. Соч. А. С. Грибоедова. Второе издание (см. там же, стр. 438).

[3] *В. Г. Белинский*, Менцель, критик Гёте (там же, стр. 395).

К стр. 444

[1] Из рецензии «Краткая история Франции до Французской революции. Сочинение Мишле» (см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 470).

[2] В рукописи: «высказывая свои примирительные взгляды...»

[3] Имеется в виду письмо Т. Н. Грановского к Я. М. Неверову от 19 июля 1840 г., в котором говорилось, что Бакунин, восставший первым против статей Белинского о Бородинской битве, сам же внушил Белинскому мысль написать их (см. «Т. Н. Грановский и его переписка», т. I, М. 1897, стр. 108).

К стр. 446

[1] См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 327.

К стр. 448

[1] Из письма Белинского М. А. Бакунину от 26 февраля 1840 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 486).

[2] Там же, стр. 426.

К стр. 449

[1] Неточная цитата из письма Белинского Н. В. Станкевичу от 29 сентября — 8 октября 1839 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 386—387).

К стр. 450

[1] Из письма Белинского В. П. Боткину от 1 марта 1841 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, изд. АН СССР, 1956, стр. 22—23).

К стр. 451

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 22.

К стр. 452

[1] В издании 1908 г. этой фразы нет.

[2] Из письма В. П. Боткину от 30 декабря 1840 г.—22 января 1841 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 13).

[3] В Сочинениях Г. В. Плеханова и в Сборнике «За двадцать лет» здесь ошибочно стояло: «фантастическая». См. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, т. XII, стр. 51.

[4] Из письма к В. П. Боткину от 27—28 июня 1841 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 51—52).

[5] Там же, стр. 66.

К стр. 453

[1] Из письма к В. П. Боткину от 10—11 декабря 1840 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 576).

[2] Там же.

[3] Первую и вторую статьи о Петре Великом, написанные Белинским в начале 1841 г. по поводу второго издания труда И. И. Голикова и других сочинений, посвященных Петру I, см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, 1954, стр. 91—152.

К стр. 454

[1] «Речь о критике...» А. Никитенко. Статьи I, II, III (см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 267—334).

[2] См. настоящий том, примечание 2 к стр. 681.

[3] Из письма к В. П. Боткину от 17 февраля 1847 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 329).

К стр. 455

[1] Утверждение Плеханова о том, что «диалектика плохо далась Герцену», ошибочно. О понимании диалектики Герценом, в частности о трактовке им формулы «Все действительное разумно», и об отношении Герцена к Прудону см. Настоящее издание, т. IV, примечание 2 к стр. 721 и примечание 2 к стр. 642.

К стр. 456

[1] См. *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, 1956, стр. 22.

[2] В предыдущих изданиях ошибочно стояло «отменить».

К стр. 458

[1] В журнале «Новое слово» (1897, кн. 7) в статье П. Б. Струве «На разные темы. II. Г-н Чичерин и его обращение к прошлому», подписанной псевдонимом Novus, приведены высказывания В. П. Боткина, см. стр. 50 и сл.

[2] См. *Сен-Симон*, Избранные сочинения, т. II, изд. АН СССР, М.—Л. 1948, стр. 121—272.

[3] На русский язык переведена только часть этой работы: *Луи Блан*, Июльские дни 1830 г. (Из «Истории десяти лет»), Киев, кн-во «Правда», 1906.

К стр. 459

[1] Первые два тома сочинений Алексиса де Токвиля «О демократии в Америке» вышли в 1835—1840 гг. Есть русский перевод (М. 1897).

[2] См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VIII, изд. АН СССР, 1955, стр. 392—393.

К стр. 460

[1] *К. Д. Кавелин*, Воспоминания о В. Г. Белинском (1874) (см. Собрание сочинений К. Д. Кавелина, т. III, Спб. 1899, стр. 1081—1098). Цитируемое Плехановым место в несколько иной редакции см. на стр. 1091. См. также сборник «Белинский в воспоминаниях современников», Гослитиздат, 1948, стр. 91.

К стр. 461

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, изд. АН СССР, 1956, стр. 21.

[2] Там же.

[3] Там же, стр. 21—22.

[4] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 350.

[5] Оценка Плехановым приводимых им выше высказываний Белинского как славянофильских, субъективистских в своей сущности, несмотря на сделанные оговорки, неверна, так же как неверно утверждение, что взгляды критика на будущее России якобы основаны на «совершенно ошибочном понятии об историческом развитии русской общины».

В этих высказываниях Белинского нашла выражение его горячая любовь к России, к русскому народу, вера в его лучшее будущее. Истинный патриотизм Белинского связан с его революционным демократизмом и прямо противоположен «квасному патриотизму» славянофилов. Сам Плеханов не раз подчеркивает непримиримую враждебность Белинского к славянофилам. Однако он не отмечает, сколь естественна связь у Белинского между стремлением покончить с самодержавно-крепостническим строем и верой в развитие лучших качеств русского народа, русского человека. Ничего общего Белинский не имеет и с идеализацией русской крестьянской общины. В статье «Ответ «Москвитянину»» Белинский, например, писал: «И такие общины были совсем не у одних славянских племен, как уверяют гг. славянофилы, а были и у всех племен и народов в патриархальном состоянии, даже и у дикарей...» Взгляд на общину как на пережиток родовых отношений не оставляет места для упований на нее как на зародыш нового, лучшего социального строя.

К стр. 462

[1] Запись в «Дневнике» от 5 марта 1844 г. (см. *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 339).

[2] «Дневник», запись от 21 апреля 1843 г. (см. там же, стр. 278).

[3] См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 49 и 67. Вместо «анахореты» должно быть «анахарсисы». Скиф царского происхождения Анахарсис, вернувшись из путешествия по Греции времен Солона, пытался ввести в Скифии греческие формы культа и был убит за это.

[4] В письме к В. П. Боткину от 22 ноября 1839 г. Белинский писал: «...для меня нет выхода в Jenseits [потустороннем], в мистицизме и во всем том, что составляет выход для полубогатых натур и полупавших душ» (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 416).

К стр. 463

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 19.

[2] Там же, стр. 18.

[3] Там же, стр. 23.

[4] Там же, стр. 20.

[5] Псевдоним Н. Ф. Даниельсона.

К стр. 464

[1] Речь идет об М. А. Бакунине.

[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 468.

К стр. 465

[1] Эта ссылка Плеханова неточна. Письмо, которое имеет здесь в виду Плеханов, было написано Белинским Боткину 6 февраля 1847 г. Белинский писал: «Я без ума от Литтре именно потому, что он равно не принадлежит ни... подлецам и ворам-умникам «Journal des Débats» [«Журнал прений»] и «Revue des Deux Mondes» [«Обозрение двух миров»], ни... социалистам...» И далее Белинский резко отрицательно отзывается о Луи Блане, критикуя его «Историю десяти лет» (за отношение к Вольтеру). В таком же духе Белинский говорит о Луи Блане и в письме к П. В. Анненкову от 15 (27) февраля 1848 г. Плеханов не раз в своих работах о Белинском возвращается

к этим высказываниям последнего (см. «В. Г. Белинский. Речь...», «Виссарион Григорьевич Белинский», настоящий том, стр. 491—493, 519—521). В конспекте своей речи о Белинском Плеханов записал: «Недовольство *социализмом*. Письмо к Боткину от 6 февраля 1847 г. Литтре. Недостаток *утопического социализма*...» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI, 1938, стр. 134).

«Недовольство» Белинского, о котором говорил Плеханов, относится, конечно, не к социализму вообще, а, как правильно поясняет Плеханов, к утопизму, к абстрактному характеру идеала социалистов-утопистов, к отсутствию у них исторической точки зрения и т. п. К тому же Белинский имеет в виду прежде всего реформистов луиблановского типа, тех «социалистов различных школ», с которыми, как пишет Плеханов, Белинский столкнулся в Париже во время своей заграничной поездки.

К стр. 466

[1] Из письма В. П. Боткину от 13 июня 1840 г. (См. ***В. Г. Белинский***, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 528).

К стр. 467

[1] Имеется в виду статья «Литературные взгляды В. Г. Белинского» (см. *Г. В. Плеханов*, Соч., т. X, стр. 253—304), которая будет напечатана в т. V Настоящего издания.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

(Речь, произнесенная весной 1898 г. по случаю пятидесятилетия со дня смерти Белинского на русских собраниях в Женеве, Цюрихе и Берне)

Под таким заглавием речь была выпущена в виде отдельной брошюры в Женеве в феврале 1899 г. издательством «Союз русских социал-демократов». Месяц выхода брошюры установлен на основании опубликованной переписки Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода. В том же году речь была помещена в журнале «Работник» (1899, № 5—6, стр. 104—143) и переведена на болгарский язык.

В Настоящем издании печатается по тексту Сочинений Г. В. Плеханова (т. X, стр. 317—349), сверенному с первым женевским изданием, а также с хранящимся в архиве Дома Плеханова черновым автографом, содержащим неполный оригинал речи.

В «Литературном наследии Г. В. Плеханова», сб. VI, Соцэкгиз, М. 1938, опубликован отрывок первоначальной редакции, вариант начала и конспект речи.

К стр. 468

[1] Из письма к А. А., Н. А. и Т. А. Бакуниным от 8 марта 1843 г. (см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, изд. АН СССР, 1956, стр. 141).

К стр. 469

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. I, изд. АН СССР, 1953, стр. 70.

[2] Из письма к В. П. Боткину от 9—10 декабря 1842 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 124).

[3] Из письма к В. П. Боткину от 31 марта 1842 г. (там же, стр. 88).

[4] См. *И. И. Панаев*, Воспоминание о Белинском (*И. И. Панаев*, Литературные воспоминания, Гослитиздат, 1950, стр. 302).

К стр. 470

[1] См. *А. И. Герцен*, Былое и думы, ч. IV, гл. XXV (Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, изд. АН СССР, 1956, стр. 31).

[2] Панаев рассказывает, что Булгарин спросил у него, впервые увидев Белинского: «Так это бульдог-то, которого выписали из Москвы, чтобы травить нас?..

Я передал эти слова Белинскому. Это очень забавляло его...» (*И. И. Панаев*, Литературные воспоминания, стр. 293).

Об этом случае Белинский упоминает в письме к В. П. Боткину от 22 ноября 1839 г. (Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 420). Впоследствии Белинский подписал свой памфлет на Шевырева «Педант» псевдонимом «Петр Бульдогов» и в письмах к Боткину иногда сам так называл себя.

[3] Цитата из направленного против Белинского стихотворения М. А. Дмитриева «К безыменному критику», напечатанного в 1842 г. в «Москвитянине» № 10, стр. 281—284. В вышедшем в 1865 г. отдельном издании стихотворений Дмитриева эта строфа несколько изменена.

[4] См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 426.

К стр. 471

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 69—70.

К стр. 472

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, 1947, стр. 135—136.

[2] См. «Русское богатство», 1898, № 3, стр. 165.

К стр. 473

[1] См. «Русское богатство», 1898, № 3, стр. 152.

[2] См. *А. И. Герцен*, Дневник, 14 ноября 1842 г. (Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, 1954, стр. 242).

[3] Белинский писал Герцену: «Я жид по натуре и с филистимлянами за одним столом есть не могу... Грановский хочет знать, читал ли я его статью в «Москвитянине»? Нет, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания» (цит. по кн.: *А. Н. Пыпин*, Белинский, его жизнь и переписка, изд. 2, Спб. 1908, стр. 481). Письмо это значится как утраченное, под датой около 5 мая 1844 г., в Полном собрании сочинений В. Г. Белинского (т. XII, стр. 589). Упоминание о нем имеется в «Дневнике» Герцена от 17 мая 1844 г. (см. *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 354).

[4] Приведенные высказывания о Герцене и Грановском взяты из письма к В. П. Боткину от 6 февраля 1843 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 130 и 132). Модерация — от франц. modération, умеренность.

К стр. 474

[1] См. *К. Д. Кавелин*, Воспоминания о В. Г. Белинском (Собрание сочинений К. Д. Кавелина, т. 3, Спб. 1899, стр. 1097—1098).

[2] Грановский писал Белинскому: «Несмотря на наше разногласие о Р[обеспьере], почти во всем прочем я с тобой согласен» (см. *А. Н. Пыпин*, Белинский, его жизнь и переписка, Спб. 1908, стр. 410).

[3] Из письма к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г. (см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 66).

[4] В рукописи: «имеет в виду это место».

[5] См. «Русское богатство», 1898, № 3, стр. 182.

К стр. 475

[1] Из письма к В. П. Боткину от 27—28 июня 1841 г. (см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 52).

[2] Цитата из произведения Салтыкова-Щедрина «За рубежом» (см. Полное собрание сочинений, т. XIV, Гослитиздат, 1936, стр. 161). Этими строками Щедрин характеризует свои юношеские настроения сороковых годов.

[3] См. «Русское богатство», 1898, № 3, стр. 183.

К стр. 476

[1] Приведенные выше цитаты из статьи Белинского о романе Эжена Сю «Парижские тайны» см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VIII, изд. АН СССР, 1955, стр. 171, 171—172, 173.

К стр. 477

[1] В рукописи вместо «не эксплуатируя чужого труда» стоит: «не нарушая чужих интересов».

[2] Далее (конец фразы) в рукописи: «... дело «человечества» могло выиграть от защиты интересов эксплуататоров».

[3] См. *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, 1956, стр. 29.

К стр. 478

[1] Рассказ приведен в книге А. Н. Пыпина «Белинский, его жизнь и переписка», изд. 2, Спб. 1908, стр. 569. О том же эпизоде упоминается в ряде других источников (см. примечание 404 в книге И. И. Панаева «Литературные воспоминания», стр. 433). В связи с этим эпизодом находится и последнее, предсмертное письмо Белинского к М. М. Попову (Соч., т. XII, стр. 469).

[2] См. *И. И. Панаев*, Литературные воспоминания, стр. 314—315.

[3] См. *А. Н. Пыпин*, Белинский, его жизнь и переписка, 1908, стр. 571.

К стр. 479

[1] См. *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, стр. 32.

К стр. 480

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, стр. 33—34.

[2] Приводим вариант этого места из опубликованного посмертно конспекта речи Плеханова о Белинском: «Но именно за эту преступность мы и любим «неистового Виссариона»; именно за это мы питаем к нему чувство, которое выше и чище чувства сыновней любви, мы, государственные преступники не только по существу, но и формально, мы, изгнанники, сохранившие веру в свой народ и убежденные в том, что Россия достигнет, наконец, той цивилизации, о которой говорил Белинский» (см. «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI, стр. 131).

[3] Управляющий III отделением Дубельт, выразив сожаление о том, что смерть вырвала Белинского из рук жандармов, сказал: «Мы бы его сгноили в крепости» (см. «История русской литературы», т. VII, изд. АН СССР, 1955, стр. 56).

[4] Цитаты из поэмы Некрасова «Медвежья охота» (см. *Н. А. Некрасов*, Полное собрание сочинений и писем, т. II, Гослитиздат, 1948, стр. 279).

К стр. 481

[1] См. *А. И. Герцен*, Былое и думы, ч. IV (Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, стр. 38).

[2] См. *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VII, изд. АН СССР, 1956, стр. 214. Перевод в настоящем тексте, сделанный с

французского издания Плехановым, отличается от перевода, данного в VII томе.

[3] Белинский писал Станкевичу в письме от 29 сентября — 8 октября 1839 г.: «Его [Шиллера] «Дон-Карлос»... бросил меня в абстрактный героизм, вне которого я все презирал, все ненавидел... и в котором я очень хорошо, несмотря на свой неестественный и напряженный восторг, сознавал себя — пулем» (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, изд. АН СССР, 1956, стр. 385).

К стр. 484

[1] В рукописи «мыслители».

К стр. 485

[1] См. «Былое и думы», ч. IV (*А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, стр. 23).

К стр. 486

[1] В рукописи вместо слов: «абстрактного» героизма стоит «отрицания».

[2] В рукописи: «на все явления умственной жизни и на все общественные отношения».

[3] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, стр. 22.

К стр. 487

[1] Из письма к В. П. Боткину от 1 марта 1841 г. (см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 22—23).

[2] Из письма к В. П. Боткину от 10—11 декабря 1840 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 576).

К стр. 488

[1] См. Настоящее издание, т. I.

[2] В рукописи: «но этот материализм был не разработан в смысле объяснения общественно-исторического процесса».

[3] См. примечание 3 к стр. 462.

[4] Из письма к В. П. Боткину от 27—28 июня 1841 г. (см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 49).

К стр. 489

[1] Из письма В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 67).

[2] Плеханов имеет в виду споры между марксистами и либеральными народниками в 90-х годах.

[3] Из письма к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г. (см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 68). Цитата, приведенная Белинским, взята из стихотворения Пушкина «В степи мирской, печальной и безбрежной...» (Первоначальное заглавие «Три ключа»). По словам Некрасова, это было любимое стихотворение Белинского (см. «Литературное наследство», т. 49—50, 1946, стр. 169).

К стр. 490

[1] Запись в «Дневнике» от 11 сентября 1842 г. (см. *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 226—227).

[2] Запись от 10 апреля 1843 г. (там же, стр. 276).

[3] Из письма к В. П. Боткину от 9—10 декабря 1842 г. (см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 122—123).

К стр. 491

[1] См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 323.

[2] Там же, стр. 467.

К стр. 493

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 467—468. «Верующий друг» — М. А. Бакунин.

[2] В. Мякотин приводит эту цитату из письма Белинского к Анненкову в статье «Новые слова о старых деятелях», напечатанной в «Русском богатстве», 1897, № 11, отд. 2, стр. 112. В связи с этим он пишет: «По взгляду Белинского, историю делают личности, а не массы». Тем самым Мякотин без всяких на то оснований отождествляет взгляд Белинского со взглядами «субъективных социологов» на роль личности в истории.

[3] Статья «Петербург и Москва» вошла в VIII том Полного собрания сочинений В. Г. Белинского, стр. 385—413.

К стр. 494

[1] Из письма к П. В. Анненкову от 1—10 декабря 1847 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 440—441).

[2] Т. Г. Шевченко был арестован 5 апреля 1847 г. в связи с делом тайного «Кирилло-Мефодиевского общества» и отдан в солдаты с запрещением писать и рисовать. Резкий и несправедливый отзыв Белинского о Шевченко объясняется его неосведомленностью (см. Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 440).

К стр. 495

[1] Из письма к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 468).

[2] В статье «Столетие со дня рождения В. Г. Белинского», напечатанной в 1911 г. в журнале «Наш путь» № 18, Плеханов писал, что Белинский «... с восторгом приветствует начало борьбы пролетариата против капиталистического ига. Он видит в пролетариате, который он иногда называет также народом, самый передовой класс Франции». И дальше Плеханов приводит следующую цитату из статьи Белинского о романе Эжена Сю «Парижские тайны»: «В народе уже быстро развивается образование, — говорит наш критик, — и он уже имеет своих поэтов, которые указывают ему его будущее, деля его страдания и не отделяясь от него ни одеждою, ни образом жизни. Он еще слаб, но один хранит в себе огонь национальной жизни и свежий энтузиазм убеждения, погасший в слоях «образованного общества»» (см. «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI, Соцэкгиз, 1938, стр. 144—145).

Что касается «русского крепостного крестьянина», то, как показал В. И. Ленин, борьба крестьян против крепостного гнета была главным источником революционно-демократической идеологии Белинского (см. *В. И. Ленин*, Соч., т. 16, стр. 108; т. 20, стр. 223—224).

К стр. 496

[1] Заключительная фраза работы Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения, т. II, стр. 382).

[2] См. примечание 4 к стр. 755.

[3] Здесь ошибка, повторявшаяся во всех изданиях. Вместо «Анахарсисом новой Греции» нужно «Анахарсисом новой Скифии». См. цитату из письма Белинского к Боткину в наст. томе, стр. 488.

[4] Цитата из рецензии на книгу Ф. Глинки «Очерки Бородинского сражения (воспоминания о 1812 годе)» (см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. III, изд. АН СССР, 1953, стр. 355—356).

К стр. 497

[1] См. статью Плеханова «Литературные взгляды В. Г. Белинского» в т. V Настоящего издания.

ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ (1811—1848)
[1909]

В архиве Плеханова сохранилось несколько писем, в которых есть упоминание о статье «Виссарион Григорьевич Белинский». Из письма Д. Н. Овсянико-Куликовского Р. М. Плехановой от 29 августа 1908 г. и письма, полученного Р. М. Плехановой из издательства Т-ва «Мир» (от 30 августа 1908 г.), следует, что статья к этому времени была уже написана и, видимо, вскоре рукопись была отослана в издательство. Корректура статьи посылалась Плеханову (письмо Фитермана Г. В. Плеханову от 10 марта 1909 г.). Позднее Плеханов составил для своей статьи библиографию. 2 июня 1909 г. он пишет издательству «Мир»: «Согласно вашей просьбе посылаю Вам библиографию к моей статье о Белинском. Если вы найдете, что она слишком обширна, то предоставляю редакции сократить ее по своему усмотрению». В архиве Дома Плеханова имеется черновой автограф этой библиографии, которая с некоторыми изменениями была напечатана в том же томе «Истории русской литературы XIX века», что и статья (см. «История русской литературы XIX века», т. 2, изд. т-ва «Мир», М. 1909, стр. 227—269). Библиографию к разделу «В. Г. Белинский» см. на стр. 414—415. Статья печатается по тексту Сочинений Г. В. Плеханова (т. XXIII, стр. 121—167), сверенному с имеющейся в архиве рукописью, написанной неизвестной рукой, с поправками и дополнениями рукой Г. В. Плеханова, а также с указанным выше прижизненным изданием.

К стр. 498

1 У Плеханова в заголовке и в тексте этой статьи был ошибочно указан год рождения Белинского 1810. Об установлении даты рождения В. Г. Белинского (30 мая 1811 г.) см. в книге В. С. Нечаевой «В. Г. Белинский», изд. АН СССР, 1949, стр. 45—47.

К стр. 499

1 См. «Белинский в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1948, стр. 19.

2 «Из бумаг князя В. Ф. Одоевского» (см. «Русский архив», 1874, кн. I, стр. 341).

3 *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. I, изд. АН СССР, 1953, стр. 499.

4 Из письма к матери (М. И. Белинской) от 21 мая 1833 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 94—95).

К стр. 500

1 Новейшие исследования показали, что до кружка Станкевича большое значение в истории умственного развития Белинского имел период его участия в так называемом «Литературном обществе 11 нумера». См. об этом, а также о кружке Станкевича в книгах: *М. Поляков*, Белинский в Москве, «Московский рабочий», 1948; *В. С. Нечаева*, В. Г. Белинский, изд. АН СССР, 1954; «Великий русский мыслитель В. Г. Белинский», сборник статей под ред. З. В. Смирновой, Госполитиздат, 1948.

2 Из письма В. П. Боткину от 30 декабря 1840 г. — 22 января 1841 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, изд. АН СССР, 1956, стр. 11).

К стр. 501

1 *А. Н. Пыпин*, Белинский, его жизнь и переписка, Спб. 1908, стр. 448.

К стр. 502

[1] См. «Белинский в воспоминаниях современников», Гослитиздат, 1948, стр. 349.
[2] «Русский архив», 1874, кн. I, стр. 339.

К стр. 504

[1] См. *Гегель*, Соч., т. VII, М.—Л. 1934, стр. 15.
[2] См. *Гегель*, Соч., т. V, М. 1937, стр. 652.

К стр. 505

[1] См. *Гегель*, Соч., т. VII, стр. 16.

К стр. 506

[1] Из письма к Н. В. Станкевичу от 29 сентября — 8 октября 1839 г. (см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, изд. АН СССР, 1956, стр. 385).
[2] Там же.

К стр. 507

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, стр 38.
[2] Неточная цитата из письма М. А. Бакунину от 13—15 августа 1838 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, 1956, стр. 271).
[3] Из письма М. А. Бакунину от 16 августа 1837 г. (там же, стр. 175).

К стр. 508

[1] Из письма М. А. Бакунину от 20—21 июня 1838 г. (См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 245).

К стр. 509

[1] Из письма Д. П. Иванову от 7 августа 1837 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 147).
[2] Там же, стр. 148.
[3] В рукописи этого примечания нет.
[4] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 151.

К стр. 510

[1] Неточная цитата из письма Н. В. Станкевичу от 29 сентября — 8 октября 1839 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 386—387).
[2] В рукописи: «огромный нравственный смысл».

К стр. 511

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 328.
[2] Там же, стр. 332—333.

К стр. 512

[1] В рукописи: «... не потому, что люди хотят иметь именно эти, а не другие учреждения».
[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 340.

К стр. 513

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 414.

К стр. 514

[1] Из письма М. А. Бакунину от 26 февраля 1840 г. (См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 486).
[2] В рукописи: «сказался».

[3] Из письма В. П. Боткину от 16 декабря 1839 г. — 10 февраля 1840 г. (См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 426).
[4] Из письма В. П. Боткину от 13 июня 1840 г. (там же, стр. 529).

К стр. 515

[1] См. *В. Г. Белинский,* Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 529.
[2] Из письма В. П. Боткину от 4 октября 1840 г. (там же, стр. 556).
[3] Из письма В. П. Боткину от 10—11 декабря 1840 г. (См. там же, стр. 576).

К стр. 516

[1] Из письма В. П. Боткину от 30 декабря 1840 г. — 22 января 1841 г. (См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 13).
[2] Из письма В. П. Боткину от 27—28 июня 1841 г. (там же, стр. 52).
[3] Из письма В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г. (там же, стр. 66).
[4] Там же, стр. 67.

К стр. 517

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 68.
[2] Из письма В. П. Боткину от 9—10 декабря 1842 г. (там же, стр. 123).
[3] См. *Ч. Ветринский* (Вас. Е. Чешихин), Т. Н. Грановский и его время. Исторический очерк, изд. 2, 1905, стр. 262—277.

К стр. 518

[1] Из письма В. П. Боткину от 8 марта 1847 г. (*В. Г. Белинский,* Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 350).
[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 21—22.
[3] Там же, стр. 19.

К стр. 519

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 18.
[2] Там же, стр. 23.
[3] Там же, стр. 20.
[4] Об оценке Плехановым отношения Белинского к социалистам-утопистам см. в настоящем томе примечание 1-е к стр. 465, к статье «Белинский и разумная действительность».
[5] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 467.

К стр. 520

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 467—468.

К стр. 521

[1] См. *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, 1954, стр. 354.
[2] Вместо этой фразы в рукописи: «Неправ был Белинский и в своем взгляде на народ, как на пассивное орудие буржуазии». Это утверждение Плеханова неправильно: у Белинского, как свидетельствует его статья «Парижские тайны...», письма 1847—1848 гг. и другие работы, не было такого взгляда на роль народных масс в истории.
[3] См. примечание 2 к стр. 495.
[4] В рукописи: «Народ, т. е. рабочий класс».
[5] Из письма В. П. Боткину от 13 июня 1840 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 528).

К стр. 522

[1] *Д. В. Веневитинов*, Стихотворения, «Советский писатель», 1940, стр. 141.
[2] Там же, стр. 138.

К стр. 523

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. I, 1953, стр. 35.
[2] Там же, стр. 24.
[3] Там же, стр. 102.

К стр. 524

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 292—293.
[2] Там же, стр. 33.
[3] См. там же, стр. 269.
[4] Там же, стр. 269—270.

К стр. 525

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 50.
[2] Там же, стр. 125.

К стр. 526

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 560.

К стр. 527

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 561

К стр. 528

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 509.
[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 470.
[3] См. *Гегель*, Соч., т. VIII, Соцэкгиз, 1935, стр. 414.

К стр. 529

[1] В рукописи вместо слов «своей деятельности» стоит: «последнего периода своей жизни, начавшегося разрывом с Гегелем».
[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, 1956, стр. 306.
[3] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 582—583.

К стр. 530

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 586.
[2] Фразы «не в переносном, а в прямом смысле этих слов» в рукописи нет.
[3] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. III, 1953, стр. 417.

К стр. 531

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 694.
[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 355—356.

К стр. 532

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 585.

К стр. 533

[1] Дальше в рукописи зачеркнут абзац об отношении Белинского к Гоголю, произведения которого «*всегда одинаково* нравились Белинскому».

К стр. 534

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 305.
[2] Там же.
[3] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 345.

К стр. 535

[1] Плеханов неправ, делая вывод о «малоубедительности» возражений Белинского сторонникам чистого искусства. Хотя Белинский и не дал

того конкретно-исторического анализа взглядов сторонников теории «чистого искусства», который дает марксизм, его острая и глубоко аргументированная критика «чистого искусства» с позиций реалистической эстетики революционной демократии нанесла сторонникам «чистого искусства» сильный удар. Высказывания Белинского (в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» и др.), направленные против теории «искусства для искусства», сыграли большую роль в борьбе за передовое, идейное искусство и сохраняют свое значение и в наши дни.

К стр. 536

[1] См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 26—27.
[2] В рукописи этого подстрочного примечания нет.

К стр. 537

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 502.
[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 294.

К стр. 538

[1] В рукописи этого абзаца нет.

К стр. 539

[1] Этого абзаца в рукописи нет.
[2] В рукописи: «Четвертый акт этой драмы начался разрывом с *идеализмом* и переходом на *материалистическую* точку зрения».
[3] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 77.

К стр. 540

[1] Из «Литературных воспоминаний» И. И. Панаева (см. «Белинский в воспоминаниях современников», 1948, стр. 152).

К стр. 541

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, стр. 34.
[2] *Н. А. Добролюбов*, Полное собрание сочинений в шести томах, т. II, 1935, стр. 470.

О БЕЛИНСКОМ [1910]

Статья впервые напечатана в журнале «Современный мир», 1910, № 5, стр. 182—208, и № 6, стр. 123—147. С этой публикацией и сверен текст статьи из Сочинений Г. В. Плеханова (т. XXIII, стр. 168—222) для Настоящего издания. Написана статья была, по-видимому, в начале 1910 или в конце 1909 г. В архиве Дома Плеханова ни рукописи, ни каких-либо материалов, освещающих историю написания статьи, не обнаружено, если не считать письма Н. Иорданского Плеханову от 16 марта 1910 г., где он пишет: «Ждем Вашей статьи о Белинском».

К стр. 543

[1] См. примечание 1 к стр. 498.

К стр. 545

[1] *А. Н. Пыпин*, Белинский, его жизнь и переписка, изд. 2, Спб. 1908, стр. 427.

К стр. 546

[1] См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, 1956, стр. 128. «О. З.» — журнал «Отечественные записки».

[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VI, 1955, стр. 471.

[3] Там же, стр. 582—585.

К стр. 547

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 556.

[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, 1955, стр 22.

[3] Из письма к В. П. Боткину от 10—11 декабря 1840 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 576).

[4] См. *Гегель*, Соч., т. I, Госиздат, М.—Л. 1930.

К стр. 549

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 114.

[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 472—473 и 488.

[3] Из письма В. П. Боткину от 30 декабря 1840 г. — 22 января 1841 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 7).

К стр. 550

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 582—583.

К стр. 551

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 585. Имеется расхождение с тем изданием, по которому цитировал Плеханов. В новом издании: «готическая архитектура — воплощенное безвкусие и безобразие».

К стр. 552

[1] Статью «В. Г. Белинский» см. в настоящем томе, стр. 498—542; статья «Литературные взгляды Белинского» войдет в т. V Настоящего издания.

К стр. 553

[1] См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, 1954, стр. 289—450.

К стр. 554

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 329.

[2] Там же, стр. 330.

К стр. 555

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 345.

[2] Там же, стр. 346.

К стр. 556

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 346.

[2] Там же, стр. 346—347.

К стр. 558

[1] Статью «Белинский и разумная действительность» см. в настоящем томе, стр. 417—467.

[2] См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 477.

К стр. 559

[1] См. *Г. В. Плеханов*, Соч., т. VI.

К стр. 560

[1] Из письма к А. И. Герцену от 4 июля 1846 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 296—297).

[2] Из письма А. И. Герцену от 6 сентября 1846 г. (там же, стр. 316).

К стр. 562

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 329.

[2] Там же, стр. 346.

[3] Там же, стр. 329.

[4] Там же.

К стр. 564

[1] Статьи под таким заглавием Плеханов не опубликовал. Подготовительные материалы были, очевидно, использованы для статей: «М. П. Погодин и борьба классов», «И. В. Киреевский», «О книге Н. А. Бердяева «А. С. Хомяков»», опубликованных в журнале «Современный мир» в 1911—1912 гг. (Статьи эти вошли в Сочинения Г. В. Плеханова, см. т. XXIII, стр. 43—117.)

К стр. 565

[1] См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 328.

[2] Там же.

[3] Там же.

К стр. 566

[1] Из статьи «Русская литература в 1840 году» (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 418).

[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 274.

К стр. 567

[1] См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 350.

[2] См. настоящий том, примечание 5 к стр. 461.

К стр. 568

[1] См. «Сочинения, письма и избранные переводы Дениса Ивановича Фон-Визина». Ред. П. А. Ефремова. Спб. 1866.

[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 399.

К стр. 569

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 330.

[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 31.

К стр. 570

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 32.

[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 172.

К стр. 571

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 173.

[2] Там же.

[3] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 432.

[4] Там же.

К стр. 572

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. IX, стр. 434.

[2] Из письма к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г. (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, 1956, стр. 468).

[3] Из письма к П. В. Анненкову от 1—10 декабря 1847 г. (там же, стр. 440—441). Плеханов здесь ошибочно датирует это письмо 1848 годом.

К стр. 574

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 18.
[2] Там же, стр. 19.
[3] Там же.

К стр. 575

[1] См. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 444.
[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 20.
[3] См. там же, стр. 21—22.
[4] Было бы ошибкой считать, что Белинский видит в интеллигенции главную движущую силу общественного развития. Революционный демократизм Белинского, выражавший интересы и стремления крестьянства, приводил его к верным догадкам о роли народных масс в истории. Плеханов сам неоднократно приводит и высоко ценит высказывания Белинского, показывающие веру русского революционера во внутренние силы народа, в их развитие. Например, говоря о трудящихся массах Франции, Белинский утверждает: «Народ — дитя, но это дитя растет и обещает сделаться мужем, полным силы и разума... Он еще слаб, но он один хранит в себе огонь национальной жизни и свежий энтузиазм убеждения, погасший в слоях «образованного» общества» (*В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VIII, 1955, стр. 173).

К стр. 576

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 118.
[2] Первоисточник этого изречения — слова из диалога Платона «Федон»: «Следуя мне, меньше думай о Сократе, а больше об истине». Аристотель в «Никомаховой этике» провозгласил: «Хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине» (*Аристотель*, Этика, Спб. 1908, стр. 7). В литературную речь выражение «Платон мне друг, но истина дороже» вошло на латинском языке с XVII в.
[3] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 118.

К стр. 577

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 118—119.
[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 73.

К стр. 578

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 81—82.
[2] *Н. А. Добролюбов*, Полное собрание сочинений в шести томах, т. 2, Гослитиздат, 1935, стр. 139.
[3] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 83.

К стр. 579

[1] *Н. А. Добролюбов*, Полное собрание сочинений в шести томах, т. 2, стр. 138—139.
[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 140.

К стр. 580

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 345.

К стр. 581

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 501.
[2] Плеханов неправ, утверждая, что Белинский в последние годы жизни «был более просветителем, чем диалектиком». Мы встречаем и у самого Плеханова иной подход к этому вопросу. В одной из своих статей Плеханов говорил, что русские революционные мыслители завещали нам «несколько... попыток применения диалектического метода к решению

важнейших вопросов русской общественной жизни» (настоящее издание, т. I, стр. 173). В статье «Столетие со дня рождения В. Г. Белинского» Плеханов писал, что сторонники исторического материализма «видят в нашем великом критике одного из тех писателей, которые впервые начали применять некоторые основные положения исторического материализма к изучению истории литературы. Это огромная заслуга» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI, Соцэкгиз, 1938, стр. 143).

К стр. 582

[1] См. настоящий том, стр. 498—542.

[2] См. *П. В. Анненков*, Литературные воспоминания, Academia, Л. 1928, стр. 431.

К стр. 583

[1] См. *В. Г. Белинский*, Письма. Редакция и примечания Е. А. Ляцкого, т. II, Спб. 1914, стр. 418.

[2] Там же, стр. 420.

[3] Там же, стр. 418.

[4] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 587.

[5] Там же, стр. 588.

К стр. 584

[1] *Л. Фейербах*, Избранные философские произведения, т. I, Госполитиздат, 1955, стр. 224.

[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VIII, 1955, стр. 318.

[3] Там же, стр. 502.

К стр. 585

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 638.

[2] Первая редакция относится к 1842 г., вторая (основная) — к 1844 г. (см. там же, примечание на стр. 850).

К стр. 586

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 410.

[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 268.

[3] Там же, стр. 526.

К стр. 587

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 526—527.

[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 23.

К стр. 588

[1] См. *Л. Фейербах*, Избранные философские произведения, т. I, стр. 122.

[2] См. там же.

[3] См. там же, стр. 191—192 («Основные положения философии будущего», § 43).

К стр. 589

[1] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 307.

[2] Там же, стр. 317.

К стр. 590

[1] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, 1947, стр. 227.

К стр. 591

1 *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. X, стр. 311.

К стр. 592

1 См. *П. В. Анненков*, Литературные воспоминания, Academia, Л. 1928, стр. 271—272.

2 Там же, стр. 409.

3 *Ч. Ветринский* (Вас. Е. Чешихин), Т. Н. Грановский и его время, изд. 2, Спб. 1905.

К стр. 593

1 *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 123.

2 *А. Н. Пыпин*, Белинский, его жизнь и переписка, изд. 2, Спб. 1908, стр. 415.

3 Из письма к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г. (см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 66). В тексте это письмо ошибочно отнесено к 1842 г.

4 Там же, стр. 69.

К стр. 594

1 *Н. Колюпанов*, Биография Александра Ивановича Кошелева, т. II, М. 1892.

[РАБОТЫ О А. И. ГЕРЦЕНЕ]

А. И. ГЕРЦЕН И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО [1911]

Статья была написана в 1911 г., она образовалась из нескольких лекций о Герцене, которые Плеханов читал весной 1911 г. Сохранившиеся конспекты лекций («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI, Соцэкгиз, 1938, стр. 37—49), а также отрывки первоначальной редакции статьи (там же, стр. 29—37) позволяют проследить основные этапы работы Плеханова над статьей, предназначавшейся вначале для журнала «Вестник Европы». В архиве Дома Плеханова сохранились письма редактора этого журнала К. К. Арсеньева к Плеханову, написанные в связи с его намерением опубликовать статью «А. И. Герцен и крепостное право» (см. «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI, стр. 26).

Однако по причинам, точно неизвестным, Плеханов передал статью в журнал «Современный мир», где она и была напечатана в ноябрьской и декабрьской книжках за 1911 г.

Ноябрьский номер «Современного мира» Плеханов послал А. М. Горькому, которому он писал 21 декабря 1911 г.: «...Позвольте мне в свою очередь * послать Вам начало моей статьи о Герцене. Конец появится в декабрьской книжке «Современного мира». Вы увидите из нее, что меня очень интересуют вопросы социальной психологии. Не откажите написать, находите ли Вы, что есть кое-что верное в соображениях, высказанных мною. Ваш отзыв будет иметь для меня большое значение...» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI, стр. 399).

Статья Плеханова появилась незадолго до юбилейной даты столетия со дня рождения А. И. Герцена, которого чествовала, по словам В. И. Ленина, «вся либеральная Россия, заботливо обходя серьезные вопросы

* [Незадолго перед этим Горький прислал Плеханову свой роман «Матвей Кожемякин».]

социализма, тщательно скрывая, чем отличался *революционер* Герцен от либерала» (*В. И. Ленин*, Соч., т. 18, стр. 9).

Плеханов выступил в защиту Герцена. Своей статьей «Герцен и крепостное право» он много сделал для разоблачения лжи о «Герцене-либерале». «Теперь, — писал Плеханов, — когда в нашей литературе, не только в легальной, но отчасти и в нелегальной, — начинают весьма пренебрежительно отзываться о «подпольных» деятелях, не мешает напомнить, в интересах исторической истины, что одним из самых первых обитателей нашего литературного «подполья» был блестящий Герцен» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI, стр. 30).

При жизни Г. В. Плеханова статья больше не перепечатывалась; в Сочинения вошла в т. XXIII; в Настоящем издании печатается по тексту журнала «Современный мир», 1911, № 11 и 12.

К стр. 597

[1] См. *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XI, Пг. 1919, стр. 46.

К стр. 598

[1] Об «известной сцене», характеризующей отношение царской цензуры к «Мертвым душам», рассказал сам Н. В. Гоголь в письме к П. А. Плетневу от 7 января 1842 г., впервые опубликованном в 1866 г. (см. *Н. В. Гоголь*, Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, т. XII, М. 1952. Письма 1842—1845, стр. 28—29).

[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, изд. АН СССР, 1956, стр. 33.

К стр. 599

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, 1956, стр. 61.

[2] Там же, стр. 64. В Лондоне под редакцией Н. П. Огарева в 1860 г. вышли «Думы» Рылеева; стихотворение Пушкина «Кинжал» было напечатано в «Полярной звезде» в 1856 г. с предисловием Н. П. Огарева. В 1861 г. «Думы» Рылеева, а также стихотворения Пушкина «Кинжал» и «Ода на свободу» вошли в сборник «Русская потаенная литература XIX столетия», изданный в Лондоне Герценом и Огаревым.

[3] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, стр. 64.

[4] Сюбжонктив — сослагательное наклонение во франц. яз., служащее для выражения желательных и возможных действий.

К стр. 600

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, стр. 65.

К стр. 604

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, стр. 47.

К стр. 605

[1] См. «Герцен в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1956, стр. 77.

[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, стр. 41.

К стр. 606

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, 1956, стр. 41.

[2] Там же.

[3] Там же, стр. 45.

К стр. 607

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, стр. 46.
[2] См. там же, стр. 41.

К стр. 608

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, изд. АН СССР, 1954, стр. 213.

К стр. 609

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, стр. 79.
[2] *М. Ю. Лермонтов*, Сочинения в шести томах, т. II, изд. АН СССР, М.—Л. 1954, стр. 113.

К стр. 610

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, стр. 81.
[2] Там же, стр. 80.

К стр. 611

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, стр. 117.
[2] Там же, стр. 109.

К стр. 612

[1] *А. И. Герцен*, О развитии революционных идей в России, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VII, изд. АН СССР, 1956.
[2] Плеханов дает здесь не вполне правильную характеристику кружков Станкевича и Герцена. Кружок Станкевича также интересовался политическими вопросами, и для него характерно было, по словам Герцена, «глубокое отчуждение от официальной России», но политические настроения ряда его участников, просветительские по своему характеру, были умереннее, чем настроения кружка Герцена, где преобладали революционные и социалистические убеждения. Что касается философских, теоретических вопросов, то они занимали большое место в воззрениях участников обоих кружков.
[3] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, изд. АН СССР, 1956, стр. 17.

К стр. 613

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, 1956, стр. 162.
[2] См. *Г. В. Плеханов*, Соч., т. XXIII, стр. 435.

К стр. 615

[1] См. *Г. В. Плеханов*, Соч., т. XXIII, стр. 45—101.

К стр. 616

[1] Точное название статьи Н. П. Огарева: «Частные письма об общем вопросе» (см. *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, Госполитиздат, М. 1952, стр. 688—751).
[2] Дата ареста Герцена приведена неточно: А. И. Герцен был арестован в ночь с 20 на 21 июля 1834 г.

К стр. 617

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, 1956, стр. 63.
[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, стр. 378.

К стр. 618

[1] *А. И. Герцен,* Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, стр. 271.

[2] Там же, стр. 266.

[3] Там же, стр. 267.

К стр. 619

[1] *А. И. Герцен,* Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, стр. 265.

[2] *А. И. Герцен,* Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, 1956, стр. 79.

К стр. 620

[1] *А. И. Герцен,* Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, стр. 86.

[2] Там же, стр. 90.

К стр. 621

[1] См. *Г. В. Плеханов,* Соч., т. XXIII, стр. 425.

[2] См. «Герцен в воспоминаниях современников», стр. 155.

К стр. 622

[1] *А. И. Герцен,* Собрание сочинений в тридцати томах, изд. АН СССР, т. IV, М. 1955, стр. 16.

К стр. 623

[1] *А. И. Герцен,* Собрание сочинений в тридцати томах, т. IV, стр. 17.

К стр. 624

[1] *А. И. Герцен,* Собрание сочинений в тридцати томах, т. VI, изд. АН СССР, М. 1955, стр. 297.

[2] *В. Г. Белинский,* Полное собрание сочинений, т. X, изд. АН СССР, М. 1956, стр. 325.

[3] *А. И. Герцен,* Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 309.

[4] Там же, стр. 328.

К стр. 625

[1] *А. И. Герцен,* Собрание сочинений в тридцати томах, т. VI, стр. 12.

[2] Там же, стр. 16—17.

[3] *А. И. Герцен,* Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 363.

К стр. 626

[1] *А. И. Герцен,* Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 349.

К стр. 627

[1] *А. И. Герцен,* Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 214.

[2] Там же, стр. 278.

[3] Исправление Г. В. Плеханова правильное. В тексте «Дневника» стоит слово «поднятие».

[4] *А. И. Герцен,* Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 339.

[5] Там же, стр. 302.

К стр. 628

[1] См. *Г. В. Плеханов,* Соч., т. XXIII, стр. 414—445.

К стр. 630

[1] *А. И. Герцен,* Полное собрание сочинений и писем, т. XVIII, Пг. 1920, стр. 137.

К стр. 632

[1] Дата указана неточно. А. И. Герцен произнес эту речь 27 февраля 1855 г.

[2] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. VIII, стр. 145.

[3] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. VII, стр. 249.

К стр. 634

[1] *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, Госполитиздат, 1952, стр. 111.

[2] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. VIII, стр. 287.

[3] Там же.

К стр. 635

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. IX, стр. 33.

[2] Цитируемая статья Огарева — первая из серии «Русские вопросы» — была напечатана во второй книжке «Полярной звезды» в 1856 г. Текст цитаты приводится Плехановым не совсем точно (см. *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, Госполитиздат, 1952, стр. 108).

[3] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. XII, изд. АН СССР, 1956, стр. 468.

К стр. 636

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. VIII, стр. 488.

К стр. 637

[1] Плеханову не могли быть известны опубликованные в советский период документы и материалы, характеризующие конспиративную революционную деятельность Герцена и Огарева, их непосредственное участие в подготовлении и создании организации «Земля и воля», в подготовке народного восстания в России 60-х годов.

В 1920 г. М. К. Лемке в т. XVI Полного собрания сочинений и писем А. И. Герцена опубликовал отрывки из записной книжки Н. П. Огарева с пометками А. И. Герцена (стр. 93—95) и воспоминания А. А. Слепцова о роли Герцена и Огарева в создании «Земли и воли», об их близкой связи с соратниками Чернышевского (стр. 72—92).

В 1923 г. вышла книга: *М. К. Лемке*, Политические процессы в России 60-х гг. (по архивным материалам), Госиздат, М.—Пг. 1923, где в III разделе («Дело Чернышевского») были опубликованы письма Герцена и Огарева к Н. Н. Обручеву и Н. А. Серно-Соловьевичу, приложенные как вещественные доказательства к делу Н. Г. Чернышевского (стр. 186—191; 180—182).

Большое значение для научного исследования этого вопроса имеют материалы, опубликованные в «Литературном наследстве»: «Послание» («Литературное наследство», т. 41—42, изд. АН СССР, М. 1941, стр. 92—98), конспиративные документы, письма и т. д., обнаруженные в так называемых Пражской и Софийской коллекциях («Литературное наследство», т. 61, изд. АН СССР, М. 1953, стр. 494—522; т. 62, 1955, стр. 560—570, 625—690; т. 63, 1956, стр. 171—227 и др.). Этим материалам посвящены статьи М. В. Нечкиной в т. 61 «Литературного наследства».

Все эти материалы, содержащие новые данные, относящиеся к истории «Земли и воли», к подпольным связям революционной эмиграции с Россией и т. д., позволили советским исследователям (М. В. Нечкиной и др.) показать, что Герцен и Чернышевский боролись в одном революционно-демократическом лагере против самодержавно-крепостнического строя, а расхождения между ними касались главным образом вопросов тактики. Чернышевский и Добролюбов являлись более последователь-

ными демократами, чем Герцен и Огарев, и подвергали критике отступления Герцена к либерализму.

[2] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. XIX, стр. 127—128.

К стр. 638

[1] В «формуле прогресса», впервые высказанной Н. К. Михайловским в 1869 г. в работе «Что такое прогресс?», нашла свое выражение идеалистическая субъективистская теория общественного развития. «Формула» сводилась к тому, что историческое развитие необходимо оценивать с точки зрения известного идеала, которым является «развитая личность»; этой «развитой личности», т. е. интеллигенции, и принадлежит в конечном счете решающая роль в направлении и развитии исторического процесса.

К стр. 639

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. VIII, стр. 485—497.

[2] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVII, стр. 373—374.

[3] *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 409.

К стр. 640.

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XI, стр. 231.

[2] Плеханов цитирует не точно. В статье «К нашим» напечатано: «Общественное мнение, перед раздражением которого мы должны были на время умолкнуть, в начале 1854, совсем не то» (*А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. VIII, стр. 221—222).

К стр. 641

[1] См. «Михаил Семенович Щепкин, Записки. Письма. Современники о М. С. Щепкине», изд. «Искусство», М. 1952, стр. 280.

К стр. 642

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. VIII, стр. 161—162.

[2] В первый период своей эмиграции Герцен действительно сотрудничал с Прудоном, разделял некоторые его взгляды, в 1849 г. дал залог для продолжения издания прудоновского журнала «La voix du peuple». В этом журнале появился ряд статей А. И. Герцена, в том числе одна из глав его книги «С того берега». В дальнейшем же Герцен все более отрицательно относился к идеям Прудона, подвергая серьезной критике его путаные и во многом консервативные взгляды. Так, уже в начале 50-х годов Герцен указывает на «темные стороны этого огромного таланта», а в 1858 г. резко осуждает мистический дух книги Прудона «О справедливости в церкви и революции». «Прудон заключает свою книгу католической молитвой, положенной на социализм», — пишет Герцен и называет Прудона французским националистом (*А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. X, изд. АН СССР, 1956, стр. 201).

Особенно сильно обнаружилось расхождение между Герценом и Прудоном в начале 60-х годов по вопросу об отношении к Польше. Прудон смыкался в этом вопросе с самыми крайними российскими реакционерами — открытыми врагами Герцена.

[3] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. X, 1956, стр. 188.

К стр. 643

[1] «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», Genève 1892, стр. 5.

К стр. 644.

[1] Для характеристики взглядов А. М. Унковского, который, как и другие «тверские либералы», выражал интересы помещиков нечерноземных промышленных губерний, стремившихся перевести свое хозяйство на рельсы капиталистической экономики, интересно также письмо его к Александру II, написанное в 1860 г. из кратковременной ссылки (см. *М. Лемке*, Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПБ 1908, стр. 450—455).

[2] 30 марта 1856 г. Александр II произнес речь перед предводителями московского дворянства, в которой заявил о необходимости реформы. Речь эта отличалась крайней противоречивостью, так как в ней же царь говорил о нежелании освобождать крестьян: «Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам. Это несправедливо, — говорил царь... — Но чувство враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастью, существует... Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому притти... следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу» (см. «Голос минувшего», 1916, № 5—6, стр. 393).

[3] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. IX, Пг. 1919, стр. 1.

К стр. 645

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. IX, 1919, стр. 1.

[2] 20 ноября 1857 г. Александр II дал рескрипт виленскому генерал-губернатору Назимову, в котором разрешалось дворянству литовских губерний (Виленской, Ковенской и Гродненской) приступить к составлению проектов «об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян». Официальная программа правительства по крестьянскому вопросу, как она выразилась в рескрипте, заключалась в том, что крестьяне, получая личную свободу, оставались по-прежнему в полной экономической зависимости от помещиков. Дело подготовки реформы отдавалось целиком в руки дворянства. Опубликование рескрипта Назимову имело, однако, известное политическое значение, так как гласная постановка вопроса об отмене крепостного права способствовала оживлению идейно-политической борьбы вокруг предполагаемой реформы.

[3] См. *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. IX, 1919, стр. 126.

К стр. 646

[1] *Р. Ч.* (Русский Человек) — псевдоним Н. П. Огарева, которым он подписывал свои статьи, чтобы не раскрывать своего участия в герценовских изданиях. В 1858 г. Огарев был введен в заблуждение «освободительными» декларациями Александра II; в феврале 1858 г. он впервые подписался под своими статьями в «Колоколе» своим полным именем, объяснив это в письме Герцену следующим образом: «С тех пор как Александр II стал во главе великого русского дела — освобождения крестьян, мне больно прятаться от него под псевдонимом... прошу тебя печатать мои стихи и прозу с моим именем и заменить им буквы *Р. Ч.*, которых таинственность основывалась на недоверии к власти. Н. Огарев» (см. «Колокол» № 9, 15 февраля 1858 г., стр. 68). (См. также примечание к стр. 655).

[2] *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. V, Гослитиздат, 1950, стр. 70.

К стр. 647

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. X, 1919, стр. 194.

[2] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. XI, 1919, стр. 59.

[3] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. XV, 1920, стр. 374, 376.

Из статьи «Журналисты и террористы», помещенной в № 141 «Колокола» (15 августа 1862 г.).

К стр. 648

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. XVIII, 1920, стр. 96.

К стр. 649

[1] *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 108.

[2] Там же, стр. 275.

[3] Там же.

К стр. 650

[1] *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 277.

[2] «Неизвестным автором» был декабрист Н. И. Тургенев.

[3] Русский историк, сторонник реакционной официальной народности М. П. Погодин в своих трудах по истории Руси X—XIII вв. отстаивал реакционную норманистскую теорию происхождения русского государства, согласно которой оно образовалось якобы в результате призвания варягов.

К стр. 651

[1] *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 305.

[2] Там же, стр. 306.

К стр. 653

[1] Гильдейские повинности или гильдейский сбор — особый налог, взимавшийся с купцов, разделенных в России до 1863 г. на три гильдии в соответствии с размером принадлежащего им капитала.

К стр. 654

[1] *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 341.

[2] Там же, стр. 329.

К стр. 655

[1] Как указывалось в примечании 1 к стр. 646, псевдонимом Р[усский] Ч[еловек] в «Колоколе» до февраля 1858 г. подписывался Н. П. Огарев. Вместе с тем псевдонимом «Русский человек» подписывались в «Колоколе» некоторые письма из России. В настоящее время многие исследователи считают установленным, что под псевдонимом «Русский человек» в данном случае скрывался Чернышевский или кто-нибудь из его ближайших соратников.

К стр. 656

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. X, стр. 236—237.

К стр. 657

[1] ***А. И. Герцен***, Полное собрание сочинений и писем, т. XI, 1919, стр. 59.

[2] ***Н. П. Огарев***, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 468—526.

[3] Статья «Что нужно народу?», напечатанная в «Колоколе» № 102, 1 июля 1861 г., одновременно вышла отдельной листовкой. Написана она Огаревым при ближайшем участии Н. А. Серно-Соловьевича, Н. Н. Обручева, А. А. Слепцова — членов впоследствии возникшего в России тайного революционного общества «Земля и воля» (1862—1864 гг.). Статья «Что нужно народу?» позже была распространена среди членов «Земли и воли», рассматривавших ее как программный документ. См. ***А. И. Герцен***, Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVI, стр. 73 (примечания), и *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 843 (примечания Я. З. Черняка).

[4] *Н. П. Огарев*, там же, стр. 528.

[5] Там же, стр. 531.

К стр. 659

[1] *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 533—534.

[2] Там же, стр. 618.

[3] Там же, стр. 627.

К стр. 660

[1] В письме к Герцену от 3 декабря 1862 г. И. С. Тургенев писал: «*«Колокол» гораздо менее читается с тех пор, как в нем стал первенствовать Огарев*», эта фраза стала в России тем, что в Англии называется a truism [надоевшей истиной]. И это понятно: публике, читающей в России «Колокол», не до социализма: она нуждается в той критике, в той чисто политической агитации, от которой ты отступил, сам надломив свой меч. «Колокол», напечатавший... социалистические статьи Огарева, — уже не Герценовский, не прежний «Колокол», как его понимала и любила Россия» («Письма К. Д. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену», Genève 1892, стр. 176).

К стр. 661

[1] *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 569.

К стр. 662

[1] См. примечание 1 к стр. 632.

К стр. 663

[1] Герцен был тесно связан с демократической частью польской эмиграции и находился в дружеских отношениях с некоторыми виднейшими ее представителями. В период подготовки польского восстания 1863 г. Герцен вел переговоры с представителями польских революционных организаций, в результате которых было установлено дружественное сотрудничество русских и польских революционеров.

Широко известна высокая оценка, которую дал В. И. Ленин позиции Герцена по отношению к польскому восстанию 1863 г. «Когда вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за защиту Польши, когда все «образованное общество» отвернулось от «Колокола», Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. Герцен спас честь русской демократии» (*В. И. Ленин*, Соч., т. 18, стр. 13).

См. также книгу И. М. Белявской «А. И. Герцен и польское национально-освободительное движение 60-х годов XIX века», изд. Московского университета, М. 1954.

[2] См. *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. XV, стр. 183.

К стр. 664

[1] В доме А. П. Елагиной, матери славянофилов Киреевских, был известный в 40-х годах литературный салон. Там неоднократно происходили споры А. И. Герцена с вождем славянофилов А. С. Хомяковым, «которые касались преимущественно строя, духа и оснований немецкой философии». (См. «Герцен в воспоминаниях современников», Гослитиздат, 1956, стр. 137). Герцен сам рассказал об этих спорах в «Былом и думах». См. ч. IV, гл. XXX.

К стр. 666

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. XVII, стр. 3—4.

[2] Там же, стр. 4.

К стр. 667

[1] *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 676—677.

[2] *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. I, изд. АН СССР, М. 1953, стр. 41.

К стр. 668

[1] *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 671.

[2] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XI, стр. 258—261.

[3] Там же, стр. 260.

[4] Большую роль в возникновении и деятельности «Земли и воли», подпольной революционной организации в России (в начале 60-х годов), играли А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Об этом см. статью и публикацию М. В. Нечкиной в «Литературном наследстве», т. 61, изд. АН СССР, 1953, стр. 459—522; *Я. И. Линков*, Роль А. И. Герцена и Н. П. Огарева в создании и деятельности общества «Земля и воля», «Вопросы истории» № 3, 1954 г., стр. 114—130.

[5] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVI, стр. 108.

К стр. 669

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. XIV, стр. 428.

[2] «Общее Вече», приложение к «Колоколу» в виде листка, издавалось с 1862 по 1864 г. По мнению Герцена и Огарева, этот листок должен был стать революционным органом, рассчитанным на массового читателя, на представителей из народа. Широкого распространения «Общее Вече», однако, не получило. Н. П. Огарев и В. И. Кельсиев, ошибочно полагая, что старообрядцы, преследуемые царским правительством, представляют собой восприимчивую к революционной агитации среду, предназначили это издание для старообрядцев и сектантов. В своих проектах деятельности тайной революционной организации «Земля и воля» Герцен и Огарев надеялись, что старообрядцы, сектанты и т. п. пойдут вместе с «Землей и волей» против царизма.

К стр. 670

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, изд. АН СССР, стр. 345.

К стр. 671

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVI, стр. 232.

[2] Там же.

[3] *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 547.

К стр. 672

[1] См. настоящий том, примечание 2 к стр. 680.

К стр. 673

[1] См. *Г. В. Плеханов*, Соч., т. XXIII, стр. 414—445.

[2] *Лаццарони* — деклассированные, люмпен-пролетарские элементы населения Италии и некоторых других стран.

[3] Плеханов имеет в виду мысль, высказанную В. Г. Белинским в письме к Анненкову от 15 февраля 1848 г., процитированную в разделе XI настоящей статьи (см. выше, стр. 635, примечание 3).

К стр. 674

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVI, стр. 523.

К стр. 675

[1] *Н. П. Огарев*, Избранные произведения в двух томах, т. 1, Стихотворения, Гослитиздат, М. 1956, стр. 380—381.

[2] Истинная роль Н. П. Огарева в российском революционном движении и развитии русской общественной мысли, его активная роль в создании подпольной революционной организации в России в полной мере выяснилась после опубликования ранее неизвестных документов и материалов, в особенности так называемой Пражской коллекции («Литературное наследство», т. 41—42, М. 1941, и т. 61, М. 1953. См. статью и публикацию М. В. Нечкиной, стр. 459—523). Плеханову они не были известны, и потому он недооценивал роли Н. П. Огарева в русском революционном движении. Об исторической роли Огарева и его мировоззрении см. вступительную статью Н. Г. Тараканова «Мировоззрение Н. П. Огарева» в книге Н. П. Огарева «Избранные социально-политические и философские произведения», стр. 5—64; *М. В Яковлев*, Мировоззрение Огарева, изд. АН СССР, 1957.

[3] См. *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 700.

К стр. 676

[1] Характеристику взаимоотношений Герцена и «молодой эмиграции» см. в книге Я. Эльсберга «Герцен. Жизнь и творчество», Гослитиздат, М. 1956, стр. 502—516, в публикации Б. Козьмина в «Литературном наследстве», т. 61, М. 1953 (стр. 271—278).

К стр. 677

[1] *Н. П. Огарев*, Избранные социально-политические и философские произведения, т. I, стр. 715.

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А. И. ГЕРЦЕНА [1912]

Статья была написана к столетию со дня рождения Герцена, которое отмечалось в 1912 г., и впервые была напечатана в журнале «Современный мир», 1912, № 3, стр. 223—247, и № 4, стр. 145—177.

В архиве Дома Плеханова сохранились заметки и наброски Плеханова к статье, опубликованные в «Литературном наследии Г. В. Плеханова», сб. VI, Соцэкгиз, М. 1938, стр. 83—87. Там же, стр. 90—103, опубликованы заметки Плеханова на полях и обложках сочинений Герцена. При жизни Плеханова статья не перепечатывалась. В Сочинения Г. В. Плеханова вошла в т. XXIII; в Настоящем издании печатается по тексту журнала «Современный мир».

К стр. 679

[1] Говоря о том, что Герцен в юности не занимался философией, Плеханов ошибается. Ошибка его объясняется тем, что ему не были известны такие ранние философские работы Герцена, как «О месте человека в природе», «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника» и др. (см. *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. I, изд. АН СССР, 1954, стр. 13—25, 36—51). Эти произведения впервые были опубликованы в первом томе Полного собрания сочинений и писем А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке в 1915 г.

[2] См. настоящий том, стр. 417—467.

[3] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, изд. АН СССР, 1956, стр. 22.

К стр. 680

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, стр. 23.

[2] Плеханов неправ, заявляя, что Герцен не пошел дальше Прудона в понимании диалектики. Этому противоречат и оценки самого Плеханова, в которых он характеризует «Письма об изучении природы» как труд, в котором Герцен раскрывает диалектический характер явлений природы (см., например, настоящий том, стр. 707).

[3] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, изд. АН СССР, 1954, стр. 349.

К стр. 681

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II стр. 381.

[2] Утверждение Плеханова о том, что в апреле 1844 г. Герцен стоял на точке зрения идеализма, не соответствует действительности. Здесь сказалась ошибочная оценка Плехановым процесса философской эволюции Герцена, преувеличение роли тех положений Герцена, в которых употреблялась идеалистическая терминология, хотя в целом Герцен уже был материалистом.

Анализ «Писем об изучении природы», первое из которых было начато Герценом в июле 1844 г., как и соответствующих записей в «Дневнике», свидетельствует о том, что в 1844 г. Герцен материалистически решал основной вопрос философии. См. об этом во вступительной статье к настоящему тому.

[3] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 350. К сожалению, Плеханов оборвал на этом месте цитату и не дал верного истолкования слов Герцена о том, что Гегель сделал первый опыт понять жизнь природы, не вводя никакой действующей причины (агенции), кроме логического движения понятия.

Заслуга Гегеля, по мысли Герцена, состоит в том, что он, не впадая в мелочность, в путаницу, свойственную множеству ученых, задавленных фактическим материалом, не зная трудностей, переживаемых эмпиризмом, сумел понять природу как единство в ее диалектическом развитии; причем Гегель избежал трудностей этих именно потому, что не вводил «никакой агенции, кроме логического движения понятия». Таким образом, заслуга Гегеля, по мысли Герцена, вовсе не в его идеализме, а в диалектике. Правда, Герцен считал здесь, что диалектический метод может

быть выработан при помощи лишь чистого мышления, и в этом была его ошибка, но он не высказывался как идеалист. Наоборот, как раз в следующей фразе, на которой оборвана цитата, Герцен одобрительно оценивает отходы Гегеля от «среды абстракций»: «Сам Гегель не может... держаться беспрестанно в изреженной среде абстракций, и действительность жизненно, со всем огнем, врывается представлениями, фантазиями, поэтическими образами (за что Гегель заслуживает большую похвалу), но он верен и неумолимо строг в общем развитии» (*А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 350).

К стр. 682

[1] Цитируемая далее запись в «Дневнике» относится к 29 июня.

[2] Статья Вильгельма Иордана в первом номере философского журнала младогегельянцев «Wiegands Vierteljahrsschrift» («Трехмесячник Виганда») за 1844 г. называлась «Философия и всеобщая наука, вступление в критику философии вообще».

[3] См. *А. И. Герцен,* Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 361.

К стр. 685

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 361.

[2] Там же, стр. 372.

[3] Герцен читал книгу немецкого философа-идеалиста, ученика Гегеля Карла Розенкранца «Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Leben» («Жизнь Гегеля») (Берлин 1844).

К стр. 686

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 376—377.

[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, изд. АН СССР, 1954, стр. 120.

[3] Там же.

[4] Там же, стр. 97.

К стр. 687

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 120.

[2] Там же, стр. 296.

К стр. 688

[1] См. вступительную статью к настоящему тому, стр. 35—36.

[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 197.

[3] Там же, стр. 301.

К стр. 689

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 302—303.

[2] Там же, стр. 314—315.

К стр. 690

[1] См. *Л. Фейербах*, Избранные философские произведения, т. I, Госполитиздат, 1955, стр. 127.

[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 121.

[3] См. вступительную статью к настоящему тому, стр. 36.

К стр. 691

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, стр. 27. Согласно преданию, зафиксированному в дошедшем до нас древнегреческом романе «Жизнь Эзопа», баснописец Эзоп был рабом философа Ксанфа, жившего на острове Самос. Выражение Герцена: «Мы — свобод-

ные люди, а не рабы Ксанфа» означает, что мы освободились от навязанной нам необходимости пользоваться эзоповским иносказательным языком. Аналогичное выражение употребил Герцен в конце пятого письма из цикла «Письма из Франции и Италии», где дал характеристику первых писем этого же цикла: «В них вылилось местами, рядом с шуткой и вздором, негодование, горечь, которая поневоле переполняла душу, ирония, к которой мы столько же привыкли, как Езоп, раб Ксанфа, к аллегории» (*А. И. Герцен.* Собрание сочинений в тридцати томах, т. V, стр. 88).

К стр. 692

[1] См. *Л. Фейербах,* Избранные философские произведения, т. I, стр. 213—214.

[2] *А. И. Герцен,* Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 297.

К стр. 693

[1] Ссылка в тексте ошибочная. Надо: Feuerbach's Werke, II, S. 322—323. (См. *Л. Фейербах,* Критические замечания к «Основным положениям философии». Избранные философские произведения, т. I, стр. 271).

К стр. 694

[1] См. об этом статью Плеханова «Еще раз материализм» в Настоящем издании, т. II, стр. 442 и сл.

[2] «Учение о пище, общепонятно изложенное Я. Молешоттом», впервые на русском языке было издано в СПБ в 1863 г. Вскоре вышло еще два издания: М. 1865; СПБ 1868.

[3] Ссылка на непереведенные на русский язык заметки Фейербаха на книгу Молешотта «Учение о пище».

К стр. 695

[1] Плеханов ссылается на предисловие Фейербаха к первому изданию его сочинений. Предисловие на русский язык не переведено.

К стр. 696

[1] Теоретические расхождения Герцена с Грановским в 1846 г. объясняются прежде всего тем, что Грановский в это время сильно склонялся к идеализму, что противоречило материалистическим воззрениям, легшим в основу «Писем об изучении природы». Кроме того, к серьезным расхождениям с Герценом привела Грановского и его умеренная политическая позиция. Грановский, в отличие от Герцена, не был революционером, не стремился к борьбе; оставаясь просветителем, он не сумел подняться до революционного демократизма. Однако Грановский был противником деспотизма, сторонником политической свободы. Верность его передовым идеалам 40-х годов, которую он сохранил навсегда, позволила сохраниться и дружбе его с Герценом, с которым он переписывался до конца своей жизни.

[2] См. настоящий том, стр. 230—235 и Сочинения Г. В. Плеханова, т. VI, стр. 256—263.

[3] Берсенев — персонаж романа Тургенева «Накануне». В статье «Когда же придет настоящий день?», приводя некоторые из высказываний Берсенева, Добролюбов писал: «В этом пустопорожне-романтическом роде бо́льшая часть рассуждений Берсенева. А между тем в одном месте повести упоминается, что он рассуждал о Фейербахе: вот любопытно бы послушать, что он о Фейербахе-то говорит!..

Итак, Берсенев — весьма хороший русский дворянин, воспитанный в началах долга и пустившийся потом в ученость и философию...»(*Н. А. Добролюбов,* Собрание сочинений в трех томах, т. 3, Гослитиздат, 1952, стр. 46).

К стр. 698

[1] Герцен стал усиленно изучать философию Гегеля вскоре после возвращения из второй ссылки. Одной из причин, побудивших его к этому, были споры с Белинским, пережившим в результате неправильного истолкования Гегеля период «примирения с действительностью». Имея в виду Герцена, Чернышевский писал в «Очерках гоголевского периода русской литературы»: «Люди, спорившие с Белинским и его друзьями... увидели, что Гегеля можно победить только его собственным оружием, и принялись за глубокое изучение этого мыслителя. Они приступили к нему с силами ума совершенно зрелого, с проницательностью, изощренною привычкою к самостоятельному мышлению и богатым опытом жизни, наполненной всевозможными столкновениями, — с запасом твердых убеждений, данных жизнью и строгою наукою» (*Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, 1947, стр. 218).

[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, стр. 18.

[3] Там же, стр. 19.

[4] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 223—224.

К стр. 699

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 189.

[2] Там же, стр. 80.

К стр. 700

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 189.

[2] Там же, стр. 62.

[3] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, стр. 21.

К стр. 702.

[1] Известный впоследствии славянофил Ю. Ф. Самарин (1819—1876) в 40-х годах, в период всеобщего увлечения немецкой философией, пытался соединить ее с христианской религией. «Вне философии Гегеля православная церковь существовать не может», — утверждал он.

[2] См. *Л. Фейербах*. Избранные философские произведения, т. I, 1955, стр. 132.

[3] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 156.

[4] Там же.

К стр. 703

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 172.

[2] Там же, стр. 157—158.

[3] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 404.

[4] *Ф. Энгельс*, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1953, стр. 21 и сл.

К стр. 704

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 158—159.

[2] Там же, стр. 108.

[3] Там же, стр. 18—19, примечание.

К стр. 705

[1] *Ф. Энгельс*, Анти-Дюринг, стр. 23.

[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 96.

[3] В. Оствальд, немецкий естествоиспытатель, о котором Ленин говорил: «...Крупный химик и мелкий философ». Основные научные работы Оствальда посвящены теории электролитической диссоциации, учению о цветах и красках и другим вопросам физической химии. Оствальд выступил

и как автор реакционной, махистской «энергетической» теории, в основе которой лежит попытка мыслить движение без материи. Идеалистическая сущность этой теории была вскрыта В. И. Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм».

Геккель, блестящий защитник и популяризатор дарвинизма в Германии, много способствовавший развитию и пропаганде естественно-исторического материализма, отрекался в то же время от названия «материалист» и называл свое мировоззрение монизмом.

К стр. 706

[1] Во всех публикациях напечатано: И. В. Киреевский. На самом же деле Герцен записал впечатления от беседы с П. В. Киреевским (см. *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 309).

[2] Там же, стр. 310.

[3] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 135.

К стр. 707

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 309.

[2] Согласно учению Гоббса, государство возникло в результате взаимного согласия, договора людей, находившихся до этого в «естественном состоянии» «борьбы всех против всех». Беспредельный эгоизм и злоба, царившие между людьми, сменяются абсолютной и безусловной властью государства. Оно обладает безграничными правами по отношению к человеку. Оно поглощает отдельных людей и возвышается над ними. Поэтому Гоббс уподобляет государство мифическому библейскому чудовищу Левиафану. Отсюда — название одного из главных сочинений Гоббса, посвященного вопросам государственного и общественного устройства, — «Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского», вышедшего в свет в 1651 г. (последнее издание на русском языке, Соцэкгиз, М. 1936).

[3] *А. И. Герцен*, Письма об изучении природы. Письмо второе (Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 128—129).

[4] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, стр. 23.

К стр. 708

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 129.

К стр. 709

[1] См. *Гегель*, Соч., т. VIII, Соцэкгиз, М. — Л. 1935, стр. 246.

[2] См. Настоящее издание, т. I, стр. 422—450.

К стр. 710

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 142.

К стр. 711

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 336.

[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 85.

[3] Там же, стр. 84.

[4] Там же, стр. 86.

К стр. 712

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 349.

[2] Цитата из «Философии религии» Гегеля.

[3] *Шеллинг*, Система трансцендентального идеализма, Соцэкгиз, Л. 1936, стр. 355.

К стр. 713

[1] *Шеллинг*, Система трансцендентального идеализма, стр. 344.
[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 87.

К стр. 714

[1] *Майорат* — недвижимое имение, переходящее без отчуждения и раздела по наследству в порядке первородства (т. е. к старшему сыну наследодателя). В России дворяне с согласия царского правительства могли обращать свои крупные имения в так называемые заповедные имения. Они переходили по наследству по праву первородства, не могли делиться, на них нельзя было обращать взыскания и т. д.

[2] Приведенная Плехановым запись из «Дневника» сделана Герценом не в 1844, а в 1845 г. (см. *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 413).

К стр. 715

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 340.
[2] Материалы к лекциям Н. В. Гоголя по истории средних веков, читанным им в качестве адъюнкт-профессора кафедры всеобщей истории Петербургского университета, см. в кн.: *Н. В. Гоголь*, Полное собрание сочинений, т. IX, изд. АН СССР, 1952, стр. 94—144.
[3] *А. И. Герцен*, Дилетантизм в науке. Статья четвертая. Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 88.
[4] *А. И. Герцен*, Дневник. Запись 18 февраля 1843 г. Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 266.
[5] Там же, стр. 266—267.

К стр. 716

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 345.
[2] Ученики и последователи Сен-Симона Анфантен и Базар были провозглашены «верховными отцами» религиозной общины, образовавшейся из сен-симонистской школы. Анфантен сделался священником школы, освящая бракосочетания, совершая крестины, погребения и т. д.
[3] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 204.
[4] К этим исключениям относятся последователи Бабёфа и его единомышленников, в частности участники «Заговора равных». См. об этом в статьях Плеханова «Французский утопический социализм XIX века» и «Утопический социализм XIX века», Настоящее издание, т. III, стр. 564—566, 588.
[5] См. в настоящем томе, стр. 628—631.

К стр. 717

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 345.
[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. V, стр. 64.
[3] *Гегель*, Философия истории, Соч., т. VIII.

К стр. 718

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 321.

Герцен имеет в виду следующие события 30-х гг. XIX в. во Франции, подробно описанные в книге Луи Блана.

27 июля 1830 г., в первые дни июльской буржуазной революции, один из издателей газеты «Temps», выступавшей против правительства Карла X, Ж. Ж. Бод, не подчинился приказу правительственного комиссара о закрытии газеты. Его полемика с комиссаром, как пишет Л. Блан, «длившаяся несколько часов в присутствии огромного числа зрителей, получила действительное историческое значение, показывая народу пример неповиновения».

В июне 1832 г. в Париже разразилось республиканское восстание. Восставшие были загнаны в тупик улицы у монастыря Сен-Мери, где они героически защищались.

В 1833 г. редактор мелкобуржуазной демократической газеты «Le bon sens» («Здравый смысл») Род в ответ на конфискацию правительством оппозиционной брошюры объявил, что сам явится на площадь раздавать эту брошюру. В назначенное время он исполнил свое намерение, приветствуемый восторженными возгласами толпы в присутствии полиции, не посмевшей вмешаться.

[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 124.

К стр. 719

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 278.

[2] «Рассказы о временах меровингских» вошли в т. II Собрания сочинений А. И. Герцена в тридцати томах, стр. 7—32.

К стр. 720

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 125.

К стр. 721

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, стр. 22.

[2] Утверждая, что в главе из «Былого и дум», написанной в 1854 г., Герцен недостаточно глубоко разобрался в тезисе о разумности действительного, Плеханов не обращает должного внимания (хотя и упоминает об этом мельком) на тот факт, что в статьях «Дилетантизм в науке», написанных еще в 1842—1843 гг., Герцен в основном правильно понял этот тезис. Герцен выступал против буддистов в науке, которые «проповедовали примирение со всей темной стороной современной жизни, называя все случайное, ежедневное, отжившее, словом, все, что ни встретится на улице, *действительным* и, следственно, имеющим право на признание; так поняли они великую мысль, «что все действительное разумно»» (*А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 77).

Таким образом, Герцен приблизился к пониманию того, что «действительно» только то, что необходимо.

К стр. 722

[1] Плеханов, очевидно, имеет в виду следующий отзыв Гегеля о французской революции: «... Это был великолепный восход солнца. Все мыслящие существа праздновали эту эпоху. В то время господствовало возвышенное, трогательное чувство, мир был охвачен энтузиазмом...» (*Гегель*, Философия истории, Соч., т. VIII, Соцэкгиз, 1935, стр. 414).

К стр. 723

[1] «*Егор Федорыч*» — Гегель. Так называл Гегеля Белинский.

[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. III, стр. 74.

К стр. 724

[1] *Экстрема* — крайность.

[2] Статья «Бородинская годовщина», написанная Белинским в 1839 г., характеризовала его «примирение» с действительностью.

К стр. 725

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VI, стр. 25.

[2] Там же, стр. 26—27.

К стр. 726

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VI, стр. 29.

[2] Там же, стр. 29.

[3] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. V, стр. 62.

К стр. 727

[1] Замечание Плеханова о «тяжелом впечатлении», которое произвели «Письма из Франции и Италии» в передовых русских кружках, не вполне точно. «Письма из Франции и Италии» составлены из трех циклов. Четыре первых письма были напечатаны в «Современнике» за 1847 г. под названием «Письма из Avenue Marigny» («Письма из авеню Мариньи») и образовали первый цикл. В истории русской общественной мысли они сыграли весьма значительную роль. Они способствовали размежеванию буржуазно-дворянского либерализма, с одной стороны, и революционного демократизма, слитого с утопическим социализмом, — с другой. Белинский и его единомышленники выступили решительными защитниками Герцена. В. П. Боткин, Е. Ф. Корш и другие «западники», бывшие в то время друзьями Герцена, но явившиеся выразителями либерально-буржуазных настроений, встретили в штыки критические замечания Герцена об утвердившей свое господство буржуазии Запада. Отвечая на критику либерально настроенных, в письме, датированном 31 декабря 1847 г., Герцен заявил: «...Должен откровенно сказать, что я чувствую настолько в себе самобытности, что даже ваше суждение... не может меня потрясти, и я признаю за этими письмами кой-какие достоинства» (*А. И. Герцен*, Новые материалы. Труды Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, М. 1927, стр. 40).

[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. V, стр. 57.

[3] Имя Пьера Леру (1797—1871), известного французского социалиста-утописта, сторонника взглядов Сен-Симона, пользовалось популярностью среди русской революционной интеллигенции. Среди его почитателей были и Герцен и Белинский, называвшие его «Петром Рыжим». В дальнейшем, когда Леру создал собственную социальную теорию так называемого христианского социализма, Герцен отнесся к нему резко отрицательно.

К стр. 728

[1] С точки зрения субъективно-социологической теории Лаврова, изложенной в «Исторических письмах», различаются понятия «культура» и «цивилизация». Культура — совокупность форм общежития и психических элементов в жизни человеческих обществ. Цивилизация — это прогрессивная смена форм культуры, которая производится под воздействием мысли. Носителями мысли являются личности. И «задача прогресса», как она изложена в шестом письме, заключается в том, что «*культура* должна быть переработана мыслью» (*П. Л. Лавров*, Избранные сочинения на социально-политические темы в восьми томах, т. I, М. 1934, стр. 245).

К стр. 729

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XXI, М. — Пг. 1923, стр. 215—224.

[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VI, стр. 34—35.

К стр. 730

[1] См. настоящий том, стр. 290—338.

К стр. 731

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. XXI, стр. 223.

К стр. 732

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. XXI, стр. 223.

К стр. 733

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 306—307.

К стр. 734

[1] Славянофил Ю. Ф. Самарин в письмах к Герцену обвинял его в том, что он увлек молодое поколение на ложный путь, ставил ему в вину пропаганду материализма, атеизма и революционных воззрений. Герцен, до 60-х годов сотрудничавший в своих изданиях с такими славянофилами, как И. Аксаков и Ю. Самарин, позднее, в период открытых выступлений славянофилов на стороне правительства, пришел к необходимости окончательного разрыва с ними. И в 1864 г., после того как Самарин встретился с Герценом за границей и споры, происшедшие во время свидания, выявили их полное идейное и теоретическое расхождение, Герцен выступил с обращенными к Самарину «Письмами к противнику», в которых решительно защищал материализм и революционный демократизм.

[2] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVII, стр. 375.

[3] См. L. Feuerbach. Briefwechsel und Nachlass. 1850—1872. Dargestellt von K. Grün. Bd. II. Leipzig u. Heidelberg 1874, S. 328.

К стр. 735

[1] Политический деятель и публицист, близкий к славянофилам, князь В. А. Черкасский (1824—1878) в одной из статей, напечатанных в связи с подготовкой крестьянской реформы 1861 г., предлагал оставить за помещиками и после освобождения крестьян право подвергать их телесному наказанию до 18 розог. Статья вызвала резкий протест прогрессивной общественности того времени.

[2] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. XVII, стр. 376.

К стр. 736

[1] Намеченные здесь мысли, вызванные сопоставлением взглядов Герцена и Толстого на преступление и наказание, более полно развиты в лекции Плеханова «Толстой и Герцен» (см. «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI, стр. 2—20).

[2] См. *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 247.

[3] См. там же, стр. 365.

К стр. 737

[1] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 362.

[2] Там же, стр. 401—402. Запись сделана 6 января 1845 г., а не 8 января, как указано в статье и в женевском издании сочинений Герцена.

[3] См. настоящий том, стр. 599—600.

РЕЧЬ НА МОГИЛЕ А. И. ГЕРЦЕНА В НИЦЦЕ

7 апреля 1912 г.

Речь, произнесенная Плехановым на могиле Герцена в связи со столетием со дня его рождения, была опубликована в русской части журнала «Будущее» (L'avenir), выходившем на русском и французском языках в Париже (№ 27, 21 апреля 1912 г.). В Сочинения Плеханова речь вошла в т. XXIII, стр. 453—457. В архиве Плеханова сохранился полный автограф этой речи, с которого и производится печатание в настоящем издании.

К стр. 738

[1] Эти слова Гейне взяты Плехановым из его произведения «Романтическая школа» (см. *Генрих Гейне*, Полное собрание сочинений в двенадцати томах, т. VII, Academia, 1936, стр. 171).

[2] Достоевский так назвал Герцена в «Дневнике писателя за 1873 год», гл. 2. Старые люди (см. *Ф. М. Достоевский*, Полное собрание сочинений, т. XIX, «Просвещение», Пб., б. г., стр. 157).

К стр. 739

[1] Статьи «Vivat Polonia!» и «Mater dolorosa» опубликованы в т. XI Полного собрания сочинений и писем А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке, статья «Resurrexit!» — в т. XVI.

К стр. 740

[1] Письмо И. С. Аксакова, опубликованное в № 58 аксаковского органа «Москва» за 1867 г., приведено самим Герценом в Post-Scriptum'е к его письму к Аксакову от 10 марта 1867 г. и в его открытом письме «Ответ И. С. Аксакову» (см. следующее примечание).

Обвиняя Герцена в том, что он оказывал помощь польскому восстанию, Аксаков пишет: «Пусть в этом покается перед Россиею г. Герцен. Не может же он не понимать, что для покаяния в его прегрешениях перед Россией нет компромиссов.

И нам хотелось бы думать, что для него еще возможен нравственный возврат, потому что в искренность и чистосердечие его заблуждений мы не переставали верить» (см. *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем, т. XIX, Пб. 1922, стр. 269).

[2] Приведенная Плехановым цитата взята из «Ответа И. С. Аксакову» (см. там же, стр. 287).

В этом же ответе, датированном 6 апреля 1867 г. и опубликованном в № 240 «Колокола» от 1 мая, Герцен пишет: «*Каяться мне* не в чем, разве, в ином неумеренном или жестком слове; совсем напротив, *я зову* к покаянью, я жду кающихся. Мы звоним к исповеди, к пробуждению совести...

Какой грех против России лежит на моей душе?

С отрочества я отдал ей мою жизнь, для нее работал, как умел, всю молодость и двадцать лет на чужбине продолжал ту же работу» (там же, стр. 278—279).

К стр. 744

[1] Приводим отрывок начала одной из речей Плеханова о Герцене, сохранившийся в архиве Плеханова и опубликованный посмертно:

«Мне досталась задача оживить в Вашей памяти образ А. И. Герцена. Я не скрою от Вас, что очень польщен этим. Но вместе с тем я прошу Вас принять в соображение, что очень трудно решить эту лестную задачу. Герцен жил недолго: он родился в 1812 г., а в январе 1870 г. он уже скончался. Это не много, по крайней мере с западноевропейской точки зрения. Но когда окидываешь взором его недолгую жизнь, невольно вспоминаешь прекрасное двустишие Людвига Фейербаха:

Kurz ist das Leben fürwahr: doch kurz, wie das Distichon kurz ist,
Welches ew'gen Gehalt birgt in die flüchtige Form,

т. е. коротка жизнь, но коротка, как коротко двустишие, заключающее в себе вечное содержание. Только к таким людям, как Герцен, и применима эта мысль Фейербаха» (см. «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI, стр. 65—66).

[РЕЦЕНЗИИ]

[РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ М. О. ГЕРШЕНЗОНА]

Три публикуемые в настоящем томе рецензии на книги буржуазного историка русской культуры, литературоведа и публициста М. О. Гершензона относятся к серии статей Плеханова против контрреволюционной идеологии периода реакции после поражения первой русской революции. Политическая позиция Гершензона особенно отчетливо выявилась в его статье, помещенной в сборнике «Вехи», вышедшем в 1909 г. в Москве. Весь этот сборник, названный Лениным «Энциклопедией либерального ренегатства», знаменовал собой полный разрыв либеральной буржуазной интеллигенции с традициями русской революционной мысли, оплевывал русское освободительное движение, призывал пойти на службу реакции. С этой ренегатской политической позицией тесно связаны религиозно-мистические философские воззрения Гершензона.

Плеханов критиковал идеологические воззрения Гершензона. Выступая с рецензиями на его работы, он, с одной стороны, считал полезным подчеркнуть значение большого фактического архивного материала, использованного Гершензоном в его книгах, с другой — показать весь вред и реакционность поворота российской буржуазной интеллигенции к мистицизму.

Публикуемые статьи Плеханова появились первоначально в журнале «Современный мир»: «Чаадаев» — в № 1 за 1908 г., стр. 176—196; ««История Молодой России» М. И. Гершензона. Москва 1908» — в № 5 за тот же год, отд. 2, стр. 109—114; «М. Гершензон «Исторические записки (о русском обществе)».Москва 1910 г.»—в № 4 за 1910 г., отд. 2, стр. 140—144. Первые две статьи были перепечатаны в 1910 г. в плехановском сборнике «От обороны к нападению», причем Плеханов внес в журнальные статьи небольшие стилистические поправки. В архиве сохранился автограф статьи об «Исторических записках», а также относящиеся к ней заметки. В Сочинениях рецензии напечатаны в т. XXIII.

Печатание первых двух статей производится по тексту сборника «От обороны к нападению». Более или менее существенные разночтения с текстом журнальных статей оговорены в примечаниях. Последняя рецензия — на книгу «Исторические записки» — печатается по тексту журнальной статьи, сверенному с рукописью. Разночтения с рукописью оговорены в примечаниях, где помещена и неопубликованная заметка Плеханова на эту книгу Гершензона, сохранившаяся в архиве.

П. Я. ЧААДАЕВ [1908]

К стр. 747

¹ Из перечисленных публикаций в двухтомное издание «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева», вышедшее под ред. М. Гершензона в 1913—1914 гг., вошли «Философические письма», I—IV, на французском языке — т. I, стр. 74—142, в переводе — т. II, стр. 106—176, первое дано также в другом переводе на стр. 3—20; «Апология сумасшедшего» на французском языке — т. I, стр. 219—234, в переводе — т. II, стр. 215—231; два письма к А. И. Тургеневу — в т. I, стр. 208—217; письмо к гр. Сиркуру на французском языке — т. I, стр. 268—275, в переводе — т. II, стр. 257—264, и письмо к неизвестному на французском языке — т. I, стр. 276—278, в переводе — т. II, стр. 265—267.

Гершензон опубликовал всего четыре «Философических письма» Чаадаева. Остальные письма, входившие в эту серию, увидели свет в советское время в «Литературном наследстве» (т. 22—24, 1935, стр. 18—62). Наряду с новыми, неизвестными до тех пор письмами Чаадаева там опубликованы Д. И. Шаховским существенные дополнения и исправления текста ранее известных писем.

К стр. 748

[1] «Sursum corda» — буквально: «Вознесем сердца». Фраза из «Плача Иеремии», одной из библейских плачевных песен пророка Иеремии над развалинами Иерусалима, начинающейся словами: «Вознесем сердце наше и руки к богу, *сущему* на небесах!»

[2] Плеханов имеет в виду различные течения революционного народничества семидесятых годов.

К стр. 749

[1] Слов «до конца своей жизни» в «Современном мире» нет.

[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, 1956, стр. 139.

[3] Герцен познакомился с Чаадаевым в середине тридцатых годов в Москве, в доме декабриста М. Ф. Орлова.

К стр. 751

[1] См. «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева», т. II, М. 1914, стр. 118.

[2] Там же.

[3] Там же, стр. 119.

К стр. 752

[1] В «Современном мире»: «выразил то, что более или менее сильно чувствовали и более или менее отчетливо сознавали все люди западного лагеря».

[2] Из стихотворения «К Чаадаеву» (см. *Н. М. Языков*, Собрание стихотворений, «Советский писатель», 1948, стр. 276).

[3] Из стихотворения «Дедушка» (*Н. А. Некрасов*, Полное собрание сочинений и писем, т. III, Гослитиздат, 1949, стр. 15).

[4] См. «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева», т. II, стр. 226.

К стр. 753

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, 1947, стр. 136.

[2] См. Проект письма к министру народного просвещения графу Сергею Семеновичу Уварову с заметками А. С. Пушкина (Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского, т. II, Спб. 1879, стр. 221).

[3] Речь идет о трех «началах» идеологии «официальной народности»: «православие, самодержавие, народность». Эти реакционные «начала» были сформулированы и выдвинуты в начале 30-х годов XIX в. царским министром народного просвещения Уваровым в качестве программы воспитания учащейся молодежи.

[4] См. «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева», т. II, стр. 117.

[5] В одной из тетрадей Плеханова выписана та же фраза со ссылкой: «у Гервинуса в истории XIX столетия, т. I, стр. 324».

[6] Плеханов имеет в виду следующее место из «Былого и дум», приведенное им по памяти: «... Ни Спинозу, ни Лессинга не сажали в темную комнату, не ставили в угол; таких людей иногда преследуют и убивают, но не унижают мелочами; их посылают на эшафот, но не в рабочий дом» (*А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. X, изд. АН СССР, 1956, стр. 195).

К стр. 754

[1] В «Современном мире»: «Когда так страшно узка, а отчасти и совсем недоступна для мыслящего человека была область практического действия».

[2] Цитата из письма к М. Я. Чаадаеву от 25 марта (не мая) (см. «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева», т. II, стр. 53).

К стр. 755

[1] Эти сведения взяты Гершензоном из дневника Чаадаева (рукопись дневника хранится в Государственной биб-ке СССР им. В. И. Ленина в Москве).

[2] См. «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева», т. II, стр. 65.

[3] Письмо от 1 апреля (там же, стр. 70).

[4] Запись Герцена в «Дневнике» от 10 апреля 1843 г., сделанная после чтения отрывков из «Мертвых душ»: «...Русь так живо представилась мне, современный вопрос так болезненно повторялся, что я готов был рыдать. Долог сон, тяжел. За что мы рано проснулись — спать бы себе, как все около. — Довольно!» (*А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, изд. АН СССР, 1954, стр. 276).

К стр. 756

[1] См. «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева», т. II, стр. 119.

К стр. 757

[1] Находясь в Петербурге, в начале 20-х годов, Чаадаев сблизился с декабристами, в особенности с И. Д. Якушкиным, и вступил в тайное декабристское общество «Союз благоденствия». К этому периоду его жизни относится знаменитое стихотворение Пушкина «К Чаадаеву», проникнутое революционным пафосом. Восстание декабристов 1825 г. застало Чаадаева за границей.

К стр. 758

[1] См. «Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1799—1826)», т. II, М. 1899, стр. 237.

[2] См. *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VII, изд. АН СССР, 1956, стр. 133—263. Произведение Герцена «О развитии революционных идей в России» впервые появилось в виде журнальных статей на немецком языке в 1851 г. и в том же году отдельным изданием на французском языке. Чаадаеву и его первому «Философическому письму» посвящены в этой книге три блестящие страницы, в которых Герцен, не одобряя мистицизма Чаадаева, говорит о появлении этого письма, как о значительном событии. «То был вызов, признак пробуждения; письмо разбило лед после 14 декабря. Наконец пришел человек с душой, переполненной скорбью; он нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что за десять лет накопилось горького в сердце образованного русского» (стр. 221).

[3] См. «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева», т. I, стр. 299.

[4] Чаадаев писал Герцену 26 июля 1851 г.: «Слышу, что вы обо мне помните и меня любите. Спасибо вам. Часто думаю также о вас, душевно и умственно сожалея, что события мира разлучили нас с вами может быть навсегда... Благодарю вас за известные строки...» (там же, стр. 299).

[5] В «Современном мире»: «начинает распространяться».

К стр. 759

[1] Речь идет о статьях А. В. Луначарского, вышедших в 1908—1911 гг. отдельным изданием под заглавием «Религия и социализм», ч. 1—2.

[2] «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева», т. II, стр. 116—117.

[3] Там же, стр. 117.

К стр. 760

[1] Письмо к А. И. Тургеневу от 20 апреля 1832 г. не вошло в «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева». См. цитату в разбираемой книге Гершензона, стр. 298.

К стр. 761

[1] См. «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева», т. II, стр. 227.

К стр. 762

[1] «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева», т. I, стр. 194—196.

[2] Там же, стр. 192—193. В этом письме Чаадаев пишет: «Говорят, что шум идет большой; я этому нисколько не удивляюсь... Как бы то ни было, если то, что я сказал, правда, оно останется; если нет, незачем ему оставаться».

[3] В письме к И. Д. Якушкину от 19 октября 1837 г. Чаадаев говорит: «Я, впрочем, льщу себя надеждой, что оно [«Философическое письмо»] не совсем осталось без плода для тех, к кому оно попало законной добычей, потому что, если я не ошибаюсь, в нем заключались вещи, годные для их личного вразумления» (там же, стр. 206).

[4] В письме к Шеллингу («Сочинения и письма П. Я. Чаадаева», т. II, стр. 239—241) Чаадаев называет «причудливыми» славянофильские фантазии об «исключительности» России и ее противопоставлении Западу, «*о нашем* предназначении в мире, *о наших* грядущих судьбах».

[5] В письме к Сиркуру Чаадаев, иронизируя над славянофилами, пишет: «...пусть вас не слишком удивит, если как-нибудь на днях вы вдруг узнаете, что в ту эпоху, когда вы были погружены в средневековый мрак, мы гигантскими шагами шли по пути всяческого прогресса...» И дальше: «...какое пагубное обстоятельство остановило нас в нашем триумфальном шествии через пространство столетий... вторжение западных идей... Итак, мы должны вернуться назад... Если вы, спустя несколько лет, навестите нас, вы будете иметь полную возможность налюбоваться плодами нашего попятного развития...» (там же, т. II, стр. 247—248).

[6] Как приведенные Плехановым письма Чаадаева, так и его высказывания в неизвестных Плеханову «Философических письмах», опубликованных в «Литературном наследстве», опровергают концепцию Гершензона. Чаадаев не мог солидаризироваться с славянофилами и считать крепостническую отсталость России залогом ее прогресса. Во втором «Философическом письме» он страстно нападает на крепостное право и православную церковь, которая «... не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой» («Литературное наследство», т. 22—24, стр. 23).

К стр. 763

[1] См. статью Плеханова «Пессимизм как отражение экономической действительности», написанную в 1895 г. (Соч., т. X, стр. 135—162).

К стр. 764

[1] Цитата из газеты «Русь» от 18 сентября 1882 г., № 38, стр. 3.

[2] См. статью «О лженародности в литературе 60-х годов» из газеты «День» от 1 декабря 1862 г. (*И. С. Аксаков*, Полное собрание сочинений, т. II, Спб. 1891, стр. 84).

К стр. 765

[1] См. *И. С. Аксаков*, Полное собрание сочинений, т. II, Спб. 1891, стр. 698—699.

[2] См. эту статью в настоящем томе.

К стр. 766

[1] «Письма об изучении природы» входят в т. III Собрания сочинений в тридцати томах А. И. Герцена.

[2] Ссылки на страницы относятся к женевскому изданию 1876 г. В новом издании см. этот текст в т. III, стр. 265—266, 301, 308—309.

[3] Об ошибочности этой оценки Плехановым «Писем об изучении природы» Герцена см. настоящий том, примечание 2 к стр. 681.

О КНИГЕ М. ГЕРШЕНЗОНА «ИСТОРИЯ МОЛОДОЙ РОССИИ» [1908]

К стр. 768

[1] См. «Записки декабриста Н. И. Лорера», Соцэкгиз, 1931, стр. 202.

[2] Известное стихотворение Пушкина «Демон», написанное в 1823 г., принято относить к Александру Раевскому. Между тем Пушкин писал сам от третьего лица в 1825 г.: «О стихотворении «Демон». Думаю, что критик ошибся. Многие того же мнения, иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. Кажется, они неправы, по крайней мере вижу я в «Демоне» цель иную, более нравственную» (см. *А. С. Пушкин*, Полное собрание сочинений, т. VII, изд. АН СССР, 1949, стр. 36—37).

[3] «Крещеная собственность» — выражение Герцена, которое он употреблял, говоря о крепостных крестьянах. Этими словами озаглавлена и одна из его статей о крепостном праве.

[4] Книга М. Гершензона «П. Я. Чаадаев» вышла в 1908 г. (см. рецензию на нее Плеханова в настоящем томе).

К стр. 770

[1] Плеханов имел в виду переход бывшего «легального марксиста» Булгакова к религиозному мракобесию. Позднее, находясь в белой эмиграции, Булгаков принял священнический сан.

К стр. 771

[1] В рассказе Глеба Успенского «Неизлечимый», из серии «Новые времена, новые заботы», дьякон, борющийся со своей страстью к алкоголю, просит доктора дать ему лекарство, которое «вступило бы в корень, в самую жилу».

К стр. 772

[1] Эта работа Герцена, написанная для иностранцев, вошла в т. VII Собрания сочинений в тридцати томах.

О КНИГЕ М. ГЕРШЕНЗОНА «ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ» [1910]

К стр. 773

[1] Книга Гершензона «Исторические записки» посвящена анализу идеологии славянофилов и их спорам с так называемыми западниками.

[2] «Вехи» (см. вводное примечание к рецензиям на книги Гершензона в настоящем томе, стр. 870).

К стр. 774

[1] Речь идет о «легальных марксистах» второй половины девяностых годов — Струве, Бердяеве, Булгакове и др.

[2] «Бессмысленные мечтанья» — выражение Николая II, употребленное им 17 января 1895 г. в речи перед депутатами от земств и городов в ответ на их надежды на конституцию.

К стр. 778

[1] Цитата из написанной Марксом шестой главы «Святого семейства» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 2, 1955, стр. 145—146).

[2] Аналогичные высказывания Чернышевского см. в настоящем томе, стр. 88.

К стр. 779

[1] Восклицание Фауста при первом появлении Мефистофеля, вышедшего из пуделя: «Так вот кто в пуделе сидел!»

[2] Дополняем публикацию сохранившимися в архиве Плеханова его заметками, относящимися к той же статье:

«К рецензии (кн. Гершензона).

Для общественной науки весь вопрос в том, приводится ли непосредственная пружина — воля и чувства людей — в движение сама собою или же эта *непосредственная* пружина должна быть *опосредствована* какой-нибудь другой причиной. Энгельс: откуда берется содержание воли и почему воля направляется именно в ту, а не в другую сторону?

Мы: Под социальными условиями надо понимать взаимные отношения людей в обществе, ими определяются в последнем счете воля и чувства людей — эта *непосредственная* причина общественного развития».

О КНИГЕ В. Я. БОГУЧАРСКОГО «А. И. ГЕРЦЕН» [1912]

Рецензия Плеханова на книгу Богучарского была опубликована в журнале «Современный мир», 1912, № 6, стр. 327—331, в разделе «Критика и библиография». В Сочинениях Плеханова статья находится в т. XXIII. В основу настоящей публикации положен текст «Современного мира».

К стр. 780

[1] У Плеханова ошибочно: «со дня смерти А. И. Герцена».

[2] *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VIII, изд. АН СССР, 1956, стр. 162.

К стр. 781

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVII, Пб. 1922, стр. 372.

[2] Курсив Плеханова.

К стр. 783

[1] *А. И. Герцен*, Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVII, стр. 377.

К стр. 784

[1] Цитата из статьи «Еще вариация на старую тему» (см. *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. XII, изд. АН СССР, 1957, стр. 426).

К стр. 785

[1] Цитата из статьи «Еще вариация на старую тему» (см. *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. XII, стр. 432).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аблесимов, Александр Онисимович (1742—1783) — русский писатель, автор басен, комических опер и т. д. — 393.

Августин, Аврелий (354—430) — христианский богослов и философ-мистик. — 713.

Авенариус, Рихард (1843—1896)— немецкий философ-идеалист. — 276.

Аксаков, Иван Сергеевич (1823—1886) — русский писатель и публицист, славянофил. — 144, 146, 213, 495, 560, 640, 740, 764—765.

Аксаков, Константин Сергеевич (1817—1860) — публицист, историк и писатель, славянофил. — 564, 612.

Аксельрод, Павел Борисович (1850—1928) — член группы «Освобождение труда», позднее меньшевик. — 61.

Александр I — русский император (1801—1825). — 152, 481, 564, 714.

Александр II — русский император (1855—1881) — 47, 53, 56—58, 69, 166, 171, 176, 220, 634, 642, 644—646, 648—649, 656—657.

Александр III — русский император (1881—1894). — 47.

Алексей Михайлович — русский царь (1645—1676). — 574.

Альбертини, Николай Викентьевич (1826—1890)—публицист, сотрудник «Отечественных записок». — 143.

Анаксагор (ок. 500—428 до н. э.)— древнегреческий философ-материалист. — 709.

Анахарсис (VI в. до н. э.) — сын скифского царя. — 488, 496.

Анненков, Павел Васильевич (1812—1887) — русский критик и мемуарист, либерал.— 379, 464, 491—493, 519, 582, 592—594, 617, 621, 635, 769.

Аннибал (Ганнибал) (ок. 247—183 до н. э.) — карфагенский полководец. — 255.

Антонов М. (ум. в начале XX в.)— критик, автор книги и ряда статей о Н. Г. Чернышевском. — 408.

Антонович, Максим Алексеевич (1835 — 1918) — сотрудник «Современника», философ-материалист и литературный критик. — 164, 209, 288.

Анфантен, Бартелеми Проспер (1796—1864) — французский социалист-утопист, последователь Сен-Симона. — 716.

Аракчеев, Алексей Андреевич (1769—1834) — военный министр при Павле I и Александре I, крайний реакционер. — 610, 757.

Ариосто, Лодовико (1474—1533)— итальянский поэт Позднего Возрождения, автор поэмы «Неистовый Роланд». — 197, 340.
Аристов, Николай Яковлевич (1834—1882) — русский историк, последователь Щапова.— 121.
Аристоксен (354 до н. э. — ?) — греческий музыкальный теоретик, ученик Аристотеля. — 237.
Аристотель (384—322 до н. э). — 103, 159, 235—237, 254, 266, 271, 342—344, 346, 355—357, 359, 605.

Б. — см. Бакунин М. А.
Базаров В. (псевдоним Владимира Александровича Руднева) (р. 1874) — социал-демократ, махист, впоследствии меньшевик. — 246, 701.
Байергоффер (Байрхоффер), Карл Теодор (1812—1888) — немецкий философ, правый гегельянец. — 700.
Байрон, Джордж Ноэл Гордон (1788—1824). — 359—360, 417, 420, 422, 435, 529, 583, 756.
Бакунин, Михаил Александрович (1814—1876) — русский общественный деятель, народник и идеолог анархизма, был исключен из I Интернационала. — 433, 439, 444—445, 473, 492, 500, 510, 549, 564, 628, 669—670, 672, 722.
Баратынский, Евгений Абрамович (1800—1844) — русский поэт. — 546, 549, 558.
Барсуков, Николай Платонович (1838—1906) — русский буржуазный археограф, библиограф и историк России. — 559.
Бастиа, Фредерик (1801—1850) — французский вульгарный экономист. — 120, 140.
Баттё, Шарль (1713—1780)— французский теоретик искусства, философ и педагог. — 356.
Батюшков, Константин Николаевич (1787—1855) — русский поэт. — 562.
Бауэр, Бруно (1809—1882) — немецкий философ-младогегельянец. — 78, 229—230, 482, 583, 698, 701, 713, 778.
Бебель, Август (1840—1913) — один из вождей германской социал-демократии и II Интернационала. — 122.
Белинский, Виссарион Григорьевич (1811—1848). — 62, 69, 73—74, 76—77, 98, 102—103, 108—109, 123, 129, 135—136, 142, 148, 169, 181, 194—195, 206, 210, 212, 225, 265, 269—271, 340—341, 346—348, 350, 356, 361—364, 366—368, 383—386, 388—390, 417—420, 422, 431—482, 486—503, 505—594, 609, 615, 623—625, 635, 664—665, 667, 673, 679, 696—699, 721—724, 728, 733, 765, 772, 774—775.
Бенкендорф, Александр Христофорович (1783—1844) — шеф жандармов и начальник III отделения, один из реакционнейших деятелей при Николае I. — 616, 621.
Бентам, Иеремия (1748—1832) — английский буржуазный правовед-моралист, проповедник утилитаризма. — 91, 714.
Бер (Бэр), Карл Максимович (1792—1876) — русский академик, ученый — натуралист, основатель эмбриологии — 292, 325—326, 411—412.
Бергсон, Анри (1859—1941) — французский буржуазный философ-идеалист, основатель интуитивизма. — 276.
Берклей (Беркли), Джордж (1684—1753).—705.
Берман, Яков Александрович (1868—1933) — социал-демократ, махист, впоследствии советский ученый, профессор права. — 246, 277.
Беррийская Мария Каролина (1798—1870)—герцогиня.—718.
Бирюков, Павел Иванович (1860—1931) — биограф Л. Н. Толстого, «толстовец». — 395.

Блан, Луи (1811—1882) — французский социалист - утопист, историк, деятель революции 1848 г., скатившийся на позиции соглашательства с буржуазией. — 180, 301, 458, 475, 491, 519, 715, 718.
Бланки, Луи Огюст (1805—1881)— французский революционер, утопист-коммунист. — 301.
Боборыкин, Петр Дмитриевич (1836—1921) — русский писатель. — 603—604.
Богданов (псевдоним Малиновского), Александр Александрович (1873—1928) — социал-демократ, ревизионист, в философии махист. — 277, 695, 710.
Богданович, Ипполит Федорович (1743—1803) — русский поэт. — 527, 562.
Богучарский, Василий Яковлевич (наст. фам. Яковлев) (1861—1915) — либерально-буржуазный политический деятель и историк народнического движения. — 780 —786.
Бокль, Генри Томас (1821—1862) — английский либерально-буржуазный историк и социолог-позитивист.—93, 387, 391.
Бомарше, Пьер Огюстен Карон (1732—1799) — выдающийся французский драматург и писатель-сатирик. — 61.
Бот (Бод), Жан Жак (1792—1862) — французский публицист, в 1830 г. издатель оппозиционной Бурбонам газеты «Temps».—718.
Боткин, Василий Петрович (1811—1869) — русский либеральный публицист, критик. — 299, 448, 452, 458 —459, 461, 465, 469—474, 488, 490—491, 500, 514—515, 517—518, 546—549, 567, 577, 583, 593, 770.
Брамбеус — см. Сенковский.
Брут, Марк Юний (85—42 до н. э.) — один из руководителей заговора против Юлия Цезаря. — 650.
Буало, Николá (1636—1711) — французский поэт и теоретик классицизма. — 356—358.
Булгаков, Сергей Николаевич (1871—1927) — русский философ-идеалист, участник сборника «Вехи», позднее священник, белоэмигрант. — 770, 775.
Булгаков, Яков Иванович (1743—1809) — русский дипломат, литератор-переводчик. — 568.
Булгарин, Фаддей Венедиктович (1789—1859) — русский реакционный писатель и журналист, полицейский шпион и доносчик. — 212, 469.
Бонаротти (Буонарроти), Филипп (1761—1837) — французский революционер, коммунист-утопист, соратник Бабефа, участник «Заговора равных». — 718.
Бурачек, Степан Анисимович (1800—1876) — крайне реакционный писатель; корабельный инженер. — 560.
Бурбоны — королевская династия, правившая во Франции в 1589—1792, 1814—1815, 1815—1830 гг. — 484, 614.
Буржен, Юбер (р. 1874) — французский историк буржуазно-либерального направления, автор работ по истории социалистической мысли. —300.
Бушо — учитель А. И. Герцена в детские годы, упоминается в «Былом и думах». — 599, 608, 737.
Бэкон, Френсис (1561—1626) — 75, 197, 254.
Бюхнер, Людвиг (1824—1899) — немецкий физиолог, вульгарный материалист. — 68, 78, 230, 234, 387.

Валентинов Н. (псевдоним Николая Владиславовича Вольского) (р. 1879) — меньшевик, махист. — 277.
Вальтер Скотт — см. Скотт Вальтер.
Ван Остаде, Адриан (1610—1685) — голландский живописец и гравер. — 379.
Василий II Темный (1415—1462)— великий князь московский с 1425 г. — 164, 179, 227.

Васильева, Ольга Сократовна — см. Чернышевская О. С.
Васильчиков, Александр Илларионович (1818—1881) — дворянский земский деятель, экономист и публицист. — 409.
Ватке, Вильгельм (1806—1882) — немецкий философ-теолог. — 698.
Вебер, Георг (1808—1888) — немецкий историк, 12 томов его главного труда «Всеобщая история» переведены на русский язык Н. Г. Чернышевским.— 167, 222, 272, 328, 332, 338.
Венгеров, Семен Афанасьевич (1855—1920) — русский историк литературы и библиограф. — 472, 474—477, 543.
Веневитинов, Дмитрий Владимирович (1805—1827) — русский поэт, активный участник философского кружка «любомудров». — 522.
Вердер, Карл (1806—1893) — немецкий философ-гегельянец и поэт. — 698.
Вернадский, Иван Васильевич (1821—1884) — русский буржуазный экономист.—136,210.
Веселовский, Алексей Николаевич (1843—1918) — русский историк литературы, либерал.— 622.
Ветошников, Павел Александрович — знакомый Герцена, арестованный на границе с его письмами. — 157.
Ветринский — см. Чешихин.
Виганд, Отто (1795—1870) — немецкий издатель и книготорговец. — 454, 698.
Вигель, Филипп Филиппович (1786—1856) — чиновник, монархист, автор известных «Воспоминаний» (или «Записок»). — 767.
Волынский, Аким Львович (псевдоним Флексера) (1863—1926) — реакционный искусствовед и критик, декадент и проповедник теории «искусства для искусства». — 236—237, 246—249, 253—255, 264, 417—418, 420, 444, 450—451.
Вольский — см. Валентинов.
Вольтер, Франсуа Мари Аруэ (1694—1778). — 224, 387, 420—421, 444, 485, 491, 519—520, 527—528, 731, 771.
Вольф, Христиан (1679—1754)— немецкий ученый и философ-идеалист. — 680.
Воронцова, Елизавета Ксаверьевна (1792—1880) — жена генерал-губернатора Новороссии. — 768.
Вундт, Вильгельм Макс (1832—1920) — немецкий философ-идеалист, один из основателей экспериментальной психологии. — 351.
Вяземский, Петр Андреевич (1792—1878) — русский поэт, критик и журналист. — 753.

Гагарин, Иван Сергеевич, князь (1814—1882) — участник литературных кружков 30-х годов, перешедший в католичество и вступивший в орден иезуитов. — 759.
Гакстгаузен, Август (1792—1866) — прусский чиновник, автор работ об аграрных отношениях в Пруссии и России. — 67, 112, 172.
Галахов, Иван Павлович (1809—1849) — русский ученый, близкий к кружку Герцена—Огарева. — 767.
Галилей, Галилео (1564—1642).— 75, 197.
Ган, Иван Алексеевич — автор книги о быте мещан Саратовской губернии. — 138.
Гассенди, Пьер (1592—1655) — французский философ-материалист. — 254.
Гегель, Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831). — 62—64, 67—68, 77—78, 82, 86, 91, 99, 101—103, 106, 108, 122, 137—139, 170, 173—174, 196, 230—231, 233, 242, 247, 266—269, 271, 275, 278—279, 283, 286, 298, 311, 319, 347, 355, 360—363, 366—367, 383, 404—

405, 417—418, 424—431, 437, 439, 443—445, 448—458, 474, 482, 484—489, 495, 500, 502—506, 508—510, 513—515, 518, 521—522, 526, 528, 530, 533, 535—538, 543—545, 547—549, 557—558, 561—562, 566—567, 574, 580—582, 584—590, 621, 672, 680—682, 685—687, 689—691, 693, 697—705, 707—712, 716, 718, 720—724, 726—729, 731, 737, 743, 766, 770, 771, 774, 785.

Гейне, Генрих (1797—1856). — 738.

Геккель, Эрнст (1834—1919) — немецкий естествоиспытатель, дарвинист, представитель естественно-исторического материализма. — 705.

Гельвеций, Клод Адриан (1715—1771). — 88, 257, 335, 483, 694, 751.

Гераклит, Эфесский (ок. 530—470 до н. э.). — 120, 699, 703—704.

Гербель, Николай Васильевич (1827—1883) — русский поэт-переводчик, издатель сочинений европейских классиков.— 369.

Гердер, Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий писатель и философ - просветитель. — 738.

Гермоген (Георгий Ефремович Долганев) (1858—1918) — епископ, крайний черносотенец. — 743.

Герцен, Александр Иванович (1812—1870). — 59, 69, 142, 145, 157—158, 161, 167, 169, 172, 175, 196, 208—209, 212—213, 225, 307—309, 418, 420, 426, 432, 444, 454—457, 461—462, 469, 473—474, 477, 479, 481, 485—486, 489—490, 500, 504, 506, 514, 517, 521, 540, 568, 597—601, 603—613, 615—650, 652, 654—685, 687—699, 701—741, 743—744, 758, 761—762, 766, 770, 772, 780—786.

Гершензон, Михаил Осипович (1869—1925) — литературовед и публицист, мистик-идеалист, участник ренегатского сборника «Вехи». — 747—750, 752—755, 757—762, 766—779.

Гесс, Мозес (1812—1875) — немецкий мелкобуржуазный публицист, один из главных представителей «истинного социализма». — 710, 733.

Гете, Иоганн Вольфганг (1749—1832). — 160, 196—197, 224, 343, 359—360, 428, 442, 531, 549, 729.

Гизо, Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский буржуазный историк и государственный деятель. — 93—95, 291, 294, 303, 309—314, 316—319, 329, 338, 458, 557.

Гильдебранд, Бруно (1812—1878) — немецкий буржуазный экономист, представитель так называемой исторической школы в политической экономии. — 113.

Гильфердинг, Александр Феодорович (1831—1872) — русский славяновед, историк и собиратель русских былин. — 190—191.

Глейм, Иоганн-Вильгельм Людвиг (1719—1803) — немецкий поэт. — 265.

Глинка, Михаил Иванович (1804—1857) — великий русский композитор. — 603.

Глинка, Федор Николаевич (1786—1880) — русский поэт и писатель, автор «Очерков бородинского сражения». — 361, 453, 487, 515, 547.

Гоббс, Томас (1588—1679). — 91, 274, 454, 706—707.

Гоголь, Николай Васильевич (1809—1852). — 62, 73, 129, 340—343, 346, 363, 376, 468, 494, 524, 537, 539, 572, 597, 622—623, 626, 715, 775.

Гогоцкий, Сильвестр Сильвестрович (1813—1889) — русский философ-идеалист, составитель «Философского лексикона». — 254.

Годвин, Уильям (1756—1836) — английский мелкобуржуазный писатель, публицист и историк литературы, анархист. — 222.

Голохвастов, Дмитрий Павлович (1796—1849) — помощник попечителя Московского учеб-

ного округа, инициатор исключения В. Г. Белинского из университета. — 598.
Гольбах, Поль Анри (1723—1789). — 79—81, 251, 262, 404—405, 688, 694, 707, 709.
Гомер — легендарный эпический поэт Древней Греции. — 319, 359, 378.
Гончаров, Иван Александрович (1812—1891) — выдающийся русский писатель. — 605.
Гораций Флакк, Квинт (65—8 до н. э.) — римский поэт. — 356, 580.
Гракхи, Тиберий (163—132 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.), братья — политические деятели древнего Рима, представители рабовладельческой демократии. — 94, 105, 305.
Грановский, Тимофей Николаевич (1813—1855) — русский прогрессивный ученый-историк и общественный деятель. — 290—293, 317, 325—326, 418, 420, 444, 460, 473—474, 505, 517, 592—594, 612, 664, 695, 767.
Греч, Николай Иванович (1787—1867) — русский реакционный журналист и писатель. — 212.
Григорович, Дмитрий Васильевич (1822—1899) — выдающийся русский писатель. — 129, 376—377, 474.
Гримм, Якоб (1785—1863) и Вильгельм (1786—1859), братья — немецкие ученые-филологи, историки немецкой культуры и языка. — 294.
Грюн, Карл (1817—1887) — немецкий мелкобуржуазный публицист, сторонник «истинного социализма», издал литературное наследство Фейербаха. — 234, 584, 694, 722, 730, 733—734.
Гумбольдт, Александр (1769—1859) — крупный немецкий ученый-естествоиспытатель и путешественник. — 75, 197.

Давид, Жак Луи (1748—1825) — видный французский художник. — 350—351.
Давыдов, Денис Васильевич (1784—1839) — партизан Отечественной войны 1812 г., известный поэт. — 755.
Даниельсон, Николай Францевич (псевдоним Николай — он) (1844—1918) — русский литератор, один из идеологов народничества 80—90-х годов XIX в. — 463.
Данте, Алигьери (1265—1321). — 340.
Дарвин, Чарлз Роберт (1809—1882).—68, 167, 241—242, 253, 279—287, 335, 391, 404—405.
Девлет-Килдеев — исправник Уржумского уезда Вятской губернии, упоминается в «Былом и думах» Герцена. — 618.
Декарт, Рене (1596—1650). — 75, 197, 267, 688.
Делеклюз, Этьен Жан (1781—1863) — французский художник школы Давида и искусствовед. — 350.
Демокрит (ок. 460—370 до н. э.).— 250, 406.
Державин, Гаврила Романович (1743—1816)—русский поэт.— 383, 529, 532, 546, 550, 562, 583.
Джаншиев, Григорий Аветович (1851—1900) — публицист, ярый сторонник и апологет реформы 60-х годов. — 644.
Дидро, Дени (1713—1784). — 235, 253, 406, 485.
Дикеарх (р. ок. 350 до н. э.) — философ-перипатетик, ученик Аристотеля. — 237.
Дицген, Иосиф (1828—1888) — немецкий рабочий социал-демократ, философ — сторонник диалектического материализма. — 766.
Дмитриев, Иван Иванович (1760—1837) — русский поэт. —562.
Добролюбов, Николай Александрович (1836—1861). — 76, 123, 142, 167, 169—170, 186, 192—194, 200—201, 203, 206, 209, 369—370, 383, 387—388, 392—393, 471, 496, 501, 541, 578—579, 696, 778.
Достоевский, Федор Михайлович (1821—1881). — 414, 474, 738, 782—783.

Драгоманов, Михаил Петрович (1841—1895) — представитель украинского национал-либерализма, публицист и этнограф. — 213.
Дружинин, Александр Васильевич (1824—1864) — русский критик либерального направления, проповедник теории «искусство для искусства», беллетрист, автор популярной повести «Полинька Сакс». — 225.
Дубельт, Леонтий Васильевич (1792—1862) — управляющий III отделением и начальник корпуса жандармов. — 478, 480, 540.
Дудышкин, Степан Семенович (1820—1866) — журналист и литературный критик либерального направления. — 74, 78, 143—144, 214, 230, 254.
Духовников, Флегонт Васильевич (ум. в 1897) — автор статьи о Чернышевском. — 184.
Дюма, Жан Батист Андре (1800—1884) — французский химик. — 703.
Дюринг, Евгений (1833—1921) — немецкий мелкобуржуазный публицист, враг марксизма, подвергнут критике Энгельсом в книге «Анти-Дюринг».— 286, 703.

Екатерина II — русская императрица (1762—1796). —49—50, 579, 714.
Елагина, Авдотья Петровна (1789—1877) — мать И. В. и П. В. Киреевских, в ее доме был известный литературный салон 30—40-х годов. — 664.
Ефремов, Петр Александрович (1830—1907) — библиофил, библиограф и редактор изданий русских классиков. — 568.

Жеманов, Семен Яковлевич (1836—1903) — революционер 60-х годов, политический эмигрант. — 72.
Жихарев, Михаил Иванович (р. 1820) — племянник Чаадаева и его биограф. — 758, 762.
Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван) (1804—1876) — известная французская писательница. — 160—161, 195, 197, 224, 475, 493, 533, 588.
Жоффруа Сент-Илер, Этьен (1772—1844) — прогрессивный французский ученый-эволюционист, один из предшественников Ч. Дарвина. — 242, 282.
Жуковский, Василий Андреевич (1783—1852) — выдающийся русский поэт. — 562.
Жюно, Андош (1771—1813) — генерал наполеоновской армии. — 327.

Заблоцкий-Десятовский, Андрей Парфенович (1807—1881) — публицист, участвовал в подготовке реформы 19 февраля 1861 г. — 54.
Загоскин, Михаил Николаевич (1789—1852) — русский писатель. — 526.
Захарьина, Наталья Александровна (1817—1852) — жена А. И. Герцена. — 617, 781—782.
Земмиг, Фридрих Герман (1820—1897) — немецкий писатель, представитель «истинного социализма». — 733.
Златовратский, Николай Николаевич (1845—1911) — русский писатель-народник. — 375.

Ибервег, Фридрих (1826—1871) — немецкий буржуазный философ и психолог, автор «Очерка истории философии». — 237.
Иванов, Вячеслав Иванович (1866—1935) — поэт и теоретик символизма, член Петербургского религиозно-философского общества. — 246.

Иванов, Дмитрий Петрович (1812—1880-е годы) — родственник Белинского, автор воспоминаний о нем. — 498.
Иванов, Михаил Михайлович (1849—1927) — музыкальный рецензент и композитор. — 603.
Иванов-Разумник (псевдоним Разумника Васильевича Иванова) (р. 1878) — литературовед и историк мелкобуржуазно-эсеровского направления. — 378, 638.
Иннокентий III — римский папа (1198—1216), стремившийся к политической гегемонии Рима над всеми европейскими странами. — 313.
Иодль, Фридрих (1849—1914) — профессор философии в Праге и Вене, позитивист. — 404.
Иордан, Вильгельм (1819—1904)— немецкий буржуазный писатель и общественный деятель. — 454, 682, 685, 693, 698.
Искандер — см. Герцен А. И.

Кабэ, Этьен (1788—1856) — французский коммунист-утопист, автор «Путешествия в Икарию». — 475, 720.
Кавелин, Константин Дмитриевич (1818—1885) — русский историк и юрист, либерал. — 212—213, 460, 473—474, 518, 615, 643, 662, 669.
Калачев, Николай Васильевич (1819—1885) — русский издатель и редактор исторических и юридических литературных памятников. — 293.
Кант, Иммануил (1724—1804) — 91, 259—260, 270, 274, 276, 344, 351, 392, 404—405, 689, 692, 774—775.
Кантемир, Антиох Дмитриевич (1708—1744) — русский писатель-сатирик, философ-просветитель, дипломат. — 501, 527.
Капнист, Василий Васильевич (1757—1823) — русский драматург и поэт. — 527.
Каракозов, Дмитрий Владимирович (1840—1866) — член кружка «ишутинцев», совершивший в 1866 г. неудачное покушение на Александра II. — 166.
Каракозов, Петр Никифорович — саратовский священник. — 189, 197.
Карамзин, Николай Михайлович (1766—1826) — русский писатель и историк. — 342, 470, 562, 753.
Карл X — французский король (1824—1830), свергнутый революцией. — 111, 648.
Каррель, Арман (1800—1836) — французский буржуазный республиканец; один из руководителей оппозиционной Бурбонам газеты «Националь». — 718.
Катков, Михаил Никифорович (1818—1887) — русский публицист, перешедший от либерализма в лагерь монархической реакции. — 71, 143, 246, 439, 500.
Ке́ппен, Петр Иванович (1793—1864) — русский статистик, географ и этнограф. — 649.
Кетчер, Николай Христофорович (ок. 1806—1886) — врач и поэт-переводчик, участник кружков Герцена, впоследствии либерал. — 611.
Кинэ, Эдгар (1803—1875) — французский мелкобуржуазный политический деятель и историк. — 756.
Киреевский, Иван Васильевич (1806—1856) — русский публицист-славянофил, философ-мистик. — 560—561, 563—564, 594, 600, 621, 641, 774.
Киреевский, Петр Васильевич (1808—1856) — славянофил, собиратель русского фольклора. — 559—560, 564, 600, 621, 706.
Кирша Данилов — предполагаемый составитель первого сборника русских былин, записанных во второй половине XVIII в. — 562.
Кирьяков — бездарный генерал, участник обороны Севастополя в 1854 г. — 53.

Клиффорд, Уильям (1845—1889)— английский математик, в философии субъективный идеалист. — 276.
Колесников, Василий Павлович (1804—1862) — декабрист, участник Оренбургского кружка, автор известных «Записок». — 574.
Коллатин Люций Тарквиний (VI в. до н. э.) — римлянин, муж Лукреции. — 89, 256.
Кольцов, Алексей Васильевич (1809—1842) — выдающийся русский поэт.—490, 517, 531.
Консидеран, Виктор (1808—1893) — французский социалист-утопист, ученик и последователь Фурье. — 458—459, 631, 715.
Конт, Огюст (1798—1857) — французский буржуазный философ и социолог, один из основателей позитивизма. — 122, 228, 404—405, 454, 484, 503, 614, 770.
Корнель, Пьер (1606—1684) — драматург, один из основоположников французской классической трагедии.—197, 360.
Корнилов, Александр Алексеевич (1801—1856) — вятский губернатор, упоминается в «Былом и думах» Герцена. — 618.
Короленко, Владимир Галактионович (1853—1921) — выдающийся русский писатель и общественный деятель. — 220—221, 228—229.
Корф, Модест Андреевич (1800—1876) — государственный деятель николаевской России, автор книги «Восшествие на престол императора Николая I». — 152, 634.
Корф, Николай Иванович (1793—1869) — генерал артиллерии. — 53.
Костомаров, Всеволод Дмитриевич (1839 — конец 60-х годов) — писатель и переводчик, известный клеветническими и предательскими показаниями на процессе Чернышевского. — 158.
Костомаров, Николай Иванович (1817—1885) — историк и писатель, один из идеологов украинского буржуазного национализма. — 409.
Котляревский, Нестор Александрович (1863—1925) — русский историк литературы либерально-буржуазного направления. — 608, 610.
Кошелев, Александр Иванович (1806—1883) — русский дворянский публицист, славянофил. — 594, 600.
Краевский, Андрей Александрович (1810—1889) — русский публицист буржуазно-либерального направления, редактор-издатель «Отечественных записок». — 74, 191.
Критские, Василий, Петр и Михаил, братья — члены тайного общества последователей декабристов (1827 г.). — 574.
Крупенский, Павел Николаевич (р. 1863) — член II, III и IV Государственных дум, крайний националист и реакционер. — 743.
Крылов, Иван Андреевич (1769—1844). — 562.
Ксанф — легендарная личность, философ, рабом которого якобы был баснописец Эзоп. — 691.
Ксенофонт (ок. 430—355/4 до н. э.) — древнегреческий историк. — 171.
Кудрявцев, Петр Николаевич (1816—1858) — русский историк и писатель, ученик и друг Т. Н. Грановского.— 577.
Куторга, Михаил Семенович (1809—1886) — русский историк античной Греции, профессор Петербургского и Московского университетов. — 294.
Кушелев-Безбородко, Григорий Александрович (ум. 1876), писатель, издатель журнала «Русское слово». — 176.
Кэри, Генри (1793—1879) — американский экономист-протекционист, апологет капитализма. — 152.

Кювье, Жорж (1769—1832)—крупный французский естествоиспытатель, создатель так называемой «теории катастроф».— 75, 197, 275, 311, 503.

Лавров, Петр Лаврович (псевдоним Миртов) (1823—1900)— идеолог революционного народничества, представитель субъективной школы в социологии, автор «Исторических писем». — 200, 229—230, 246, 265, 287—289, 711, 728.

Ламарк, Жан Батист Пьер Антуан (1744—1829) — выдающийся французский естествоиспытатель. — 242, 282—283.

Ламеттри, Жюльен Офре (1709—1751) — французский философ-материалист и атеист. — 235, 253, 283, 694.

Ланге, Фридрих Альберт (1828—1875) — немецкий буржуазный философ-неокантианец.— 232—233.

Ланн, Жан (1769—1809) — маршал Франции, полководец наполеоновской армии. — 327.

Лассаль, Фердинанд (1825—1864) — представитель оппортунистического, антимарксистского течения в германском рабочем движении. — 115—116, 120, 122, 134, 179—180, 324, 482, 697, 774.

Лафонтен, Жан де (1621—1695) — французский писатель, автор знаменитых басен. — 562.

Лахтин, Алексей Кузьмич (1808—1838) — участник студенческого кружка А. И. Герцена в 30-х годах. — 611.

Лебле, Альфонс — автор книги «Matérialisme et Spiritualisme». — 237.

Левитов, Александр Иванович (1835—1877) — русский писатель демократического направления. — 472.

Левкипп (V в. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, основоположник античной атомистики. — 406.

Ле Дантек, Феликс Александр (1869—1917) — французский биолог. — 234.

Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1646—1716). — 75, 197, 408, 685, 704.

Лемке, Михаил Константинович (1872—1923) — историк русской литературы и революционного движения, собиратель ценных историко-литературных документов, редактор сочинений А. И. Герцена. — 191, 198—199, 215, 220, 222, 229, 307.

Леонтьев, Павел Михайлович (1822—1874) — профессор классической филологии, археолог, идеолог реакционной политики самодержавия в области культуры. — 294.

Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814—1841). — 394, 414, 608—610.

Леру, Пьер (1797—1871) — французский мелкобуржуазный публицист, социалист-утопист, христианский социалист. — 720, 727.

Лессинг, Готхольд Эфраим (1729—1781)—видный немецкий просветитель, критик, публицист, драматург. — 62, 195, 222, 265—266, 288, 326, 340, 343, 356—357, 359—360, 430, 533, 713, 738, 753.

Либих, Юстус (1803—1873)—крупный немецкий химик.—75, 197.

Либкнехт, Вильгельм (1826—1900)—один из вождей германской социал-демократии.— 122.

Ливий, Тит (59 до н. э. —17 н. э.)— римский историк. — 96.

Лизипп (Лисипп) (IV в. до н. э.) — древнегреческий скульптор. — 357.

Литтрэ, Эмиль (1801—1881) — французский философ-позитивист и политический деятель. — 237, 454, 465, 491.

Локк, Джон (1632—1704). — 91, 254, 274, 404—405.

Ломоносов, Михаил Васильевич (1711—1765). — 470, 562.

Лорер, Николай Иванович (1795—1873) — декабрист, автор воспоминаний о декабристах. — 767.

Лудвиг-Филипп (Людовик-Филипп) — французский король (1830—1848). — 718.
Луи, Поль (р. 1872) — французский прогрессивный историк, автор работ по истории рабочего движения Франции. — 613.
Лукреция (VI в. до н. э.) — по преданию, знатная римлянка, обесчещенная царским сыном Секстом Тарквинием и лишившая себя жизни. — 88, 256—257.
Луначарский, Анатолий Васильевич (1875—1933) — политический деятель, искусствовед и ученый, в эпоху реакции сторонник махизма и богоискатель, впоследствии большевик, нарком просвещения РСФСР. — 246, 695, 710, 759.
Льюис, Джордж Генри (1817—1878) — английский философ-позитивист и физиолог-дарвинист. — 387.
Людовик XV — французский король (1715—1774). — 328, 569—570.
Людовик XVI — французский король (1774—1792), казнен по приговору Конвента. — 328, 484, 599—600.
Людовик XVIII — французский король (1814—1824). — 111.
Лясковский, Валерий Николаевич — автор книг о славянофилах И. В. и П. В. Киреевских и А. С. Хомякове. — 600.
Ляцкий, Евгений Александрович (р. 1868) — литературовед и критик. — 181—182, 185, 188, 191, 398.

М. Б. — см. Бакунин М. А.
Мальтус, Томас Роберт (1766—1834) — английский реакционный буржуазный экономист. — 199, 280—281, 286, 408.
Маргейнеке, Филипп Конрад (1780—1846) — немецкий протестантский теолог и историк христианства, правый гегельянец. — 698.
Маркс, Карл (1818—1883). — 64, 67—68, 86—87, 98—99, 109, 116, 119—121, 170, 212, 244—245, 269—270, 275—276, 287, 293, 298, 301, 317—319, 322, 324, 326, 328, 330, 333, 367, 407, 482, 495, 516, 559, 567, 576, 582, 600, 672, 701, 703, 710, 712, 720, 729, 733, 773—775, 778.
Марлинский, Александр (псевдоним Александра Александровича Бестужева) (1797—1837) — русский писатель-декабрист. — 362.
Мармон, Огюст Фредерик Луи де (1774—1852) — маршал наполеоновской армии, перешедший в 1814 г. на сторону Бурбонов. — 327.
Маслов — участник студенческого кружка Герцена — Огарева. — 611.
Мах, Эрнст (1838—1916) — австрийский физик, философ-идеалист. — 276, 705, 707.
Маццини (Мадзини), Джузеппе (1805—1872) — итальянский демократ, активный деятель национально-освободительного движения. — 718.
Мейер, Эдуард (1855—1930) — немецкий буржуазный историк древнего мира, сторонник реакционной теории циклического развития общества. — 305.
Мендельсон, Моисей (1729—1786) — немецкий философ-идеалист, общественный деятель эпохи Просвещения. — 265.
Менцель, Вольфганг (1798—1873) — немецкий критик и писатель. — 418—419, 443, 515, 558.
Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1865—1941) — русский реакционный писатель-декадент. — 733—734.
Меринг, Франц (1846—1919) — выдающийся деятель германского рабочего движения, теоретик-марксист. — 356.
Мещерская, Софья Сергеевна (1775—1848) — писательница и переводчица. — 762.

Милль, Джон Стюарт (1806—1873) — английский буржуазный социолог-позитивист, логик и экономист. — 99—100, 155—156, 199, 240, 404—405, 408.
Милье, Жан Франсуа (1642—1679) — голландский художник-пейзажист. — 358.
Мильтон, Джон (1608—1674) — великий английский поэт и публицист, деятель буржуазной революции XVII в. — 91, 274.
Милютин, Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — видный русский военный и государственный деятель. — 56.
Минье, Франсуа Огюст Мари (1796—1884) — французский буржуазный историк либерального направления. — 458, 557.
Мирабо, Оноре Габриель Рикетти (1749—1791) — деятель французской буржуазной революции конца XVIII в. — 456.
Михайлов, Александр Дмитриевич (1855—1884)—русский революционер, народник.— 675.
Михайлов, Михаил Ларионович (1829—1865) — русский поэт и публицист, революционер-демократ. — 176, 209.
Михайловский, Николай Константинович (1842—1904) — русский социолог и публицист, лидер либерального народничества. — 229, 242, 266, 287, 301, 391, 419—420, 446, 463, 574, 638, 648, 710, 714, 730, 761.
Михелет, Карл Людвиг (1801—1893) — немецкий философ-идеалист, гегельянец, профессор Берлинского университета. — 698.
Мицкевич, Адам (1798—1855). — 624.
Мишле, Жюль (1798—1874) — французский мелкобуржуазный историк. — 631.
Молешотт, Якоб (1822—1893) — буржуазный ученый-физиолог, вульгарный материалист. — 68, 78, 230, 234, 387, 694, 730.
Мольер (Поклен), Жан Батист (1622—1673). — 196.
Монтескье, Шарль Луи (1689—1755) — французский просветитель, социолог и политический деятель. — 91, 274, 302, 306.
Морган, Льюис Генри (1818—1881) — американский ученый-этнограф, исследователь первобытного общества. — 86.
Муравьев, Михаил Николаевич (1796—1866) — государственный деятель царской России, крепостник, палач польского восстания 1863 г. — 166.
Мусин-Пушкин — новгородский помещик, упоминается в «Былом и думах» Герцена. — 620.
Мюрат, Иоахим (1771—1815) — маршал Франции, в 1810—1815 гг. неаполитанский король. — 327.
Мякотин, Венедикт Александрович (р. 1867) — русский историк, публицист, либеральный народник, впоследствии белоэмигрант. — 493, 495.

Н.—он — см. Даниельсон Н. Ф.
Надеждин, Николай Иванович (1804—1856) — русский литературный критик, историк и этнограф. — 123, 135—136, 206, 210, 341, 417—418, 432, 501, 522.
Назимов, Владимир Иванович (1802—1874) — государственный деятель царской России, генерал-губернатор литовских и белорусских губерний в 1855—1863 гг. — 645.
Наполеон I (Наполеон Бонапарт) — французский император (1804—1814 и 1815). — 275, 296, 327.
Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт) — французский император (1852—1870). — 50, 117, 648.
Наумов, Алексей Аввакумович (1840—1895) — русский художник. — 478, 540.
Неверов, Януарий Михайлович (1810—1893) — педагог, автор педагогических сочинений и воспоминаний. — 418.

Незеленов, Александр Ильич (1845—1896) — историк русской литературы. — 573.

Ней, Мишель (1769—1815) — маршал Франции, видный сподвижник Наполеона I. — 327.

Нейкирх, Иван Яковлевич (1803—1870) — филолог, профессор греческой словесности в Киевском университете. — 190—191.

Некрасов, Николай Алексеевич (1821—1878). — 122, 131, 168, 191, 206, 402, 413—414, 474, 480, 502, 752.

Нефедов, Филипп Диомидович (1838—1902) — русский писатель-народник. — 472.

Никитенко, Александр Васильевич (1805—1877) — русский литературный деятель либерального направления, критик, цензор. — 454, 566, 585.

Николадзе, Нико Яковлевич (1843—1928) — грузинский революционный демократ, публицист и литературный критик. — 648.

Николай I — русский император (1825—1855). — 47, 50, 53—56, 58, 62, 74, 177, 493—494, 638, 641, 768, 781.

Николай—он — см. Даниельсон Н. Ф.

Новиков, Николай Иванович (1744—1818) — выдающийся русский просветитель, общественный деятель, писатель.— 573.

Новицкий, Орест Маркович (1806—1884) — профессор философии Киевского университета, идеалист. — 319.

Носков, Михаил Павлович — участник студенческого кружка Герцена — Огарева. — 611.

Ньютон, Исаак (1642—1727).— 75, 169, 197, 704.

Овсянико-Куликовский, Дмитрий Николаевич (1853—1920) — русский литературовед и лингвист. — 552, 613, 628.

Огарев, Николай Платонович (1813—1877). — 307, 610, 612, 616—617, 633—637, 639—640, 645—646, 648—651, 653—655, 657, 659—663, 665—672, 675—678, 691, 767, 770, 781.

Одоевский, Александр Иванович (1802—1839) — русский поэт-декабрист. — 639.

Одоевский, Владимир Федорович (1804—1869) — русский писатель и музыковед. — 499, 502, 584.

Ожеро, Пьер Франсуа Шарль (1757—1816) — маршал Франции, сподвижник Наполеона I. — 327.

Озеров, Владислав Алекса́ндрович (1769—1816) — русский писатель, драматург. — 562.

Ольгерд (Альгирдас) — великий князь литовский (1345—1377). — 150, 218.

Омар, ибн-аль-Хаттаб — арабский халиф (634—644). — 443.

Ордынский, Борис Иванович (1823—1861) — профессор римской словесности, переводчик и комментатор сочинения Аристотеля «О поэзии». — 103, 342.

Орлов, Алексей Федорович (1786—1861) — военный и государственный деятель, дипломат, позднее шеф жандармов; брат декабриста М. Ф. Орлова. — 758.

Орлов Михаил Федорович (1788—1842) — генерал-майор, участник наполеоновских войн, декабрист. — 767.

Остаде — см. Ван-Остаде.

Оствальд, Вильгельм Фридрих (1853—1932) — известный немецкий физико-химик, философ-идеалист. — 705.

Островский, Александр Николаевич (1823—1886) — великий русский драматург. — 393.

Отто, Луиза (1819—1895) — немецкая писательница, представительница «истинного социализма». — 698.

Оуэн, Роберт (1771—1858). — 68, 109, 224, 244, 301, 321, 337, 735.

Павел I — русский император (1796—1801). — 619, 714.
Павленков, Флорентий Федорович (1839—1900) — русский прогрессивный книгоиздатель. — 419.
Панаев, Иван Иванович (1812—1862) — русский писатель и журналист; с 1847 г. один из редакторов-издателей журнала «Современник». — 122, 168, 206, 469, 478, 514, 539—540.
Панин, Виктор Никитич (1801—1874) — русский реакционный государственный деятель, член комитетов по подготовке отмены крепостного права. — 655—656.
Пассек, Вадим Васильевич (1808—1842) — этнограф и писатель, друг и товарищ Герцена, участник его студенческого кружка. — 611.
Перовский, Лев Алексеевич (1792—1856) — государственный деятель царской России, министр внутренних дел в 1841 — 1852 гг. — 640—641.
Пестель, Павел Иванович (1793—1826) — выдающийся деятель и идеолог декабристского движения. — 599.
Петр I — русский царь (1682—1721), император всероссийский (1721—1725). — 49—50, 53, 75, 198, 432, 438, 453, 463—465, 492—494, 518, 520, 523, 562, 566—569, 572, 574—575, 579, 644, 646, 667, 738, 761.
Петр III — русский император (1761—1762). — 647.
Петрушевский, Дмитрий Моисеевич (1863—1942) — русский историк, специалист по истории средних веков. — 305, 315.
Печерин, Владимир Сергеевич (1807—1885) — русский писатель, профессор Московского университета, ставший католиком и мистиком. — 767, 772.
Пий IX — папа римский (1846 — 1878). — 520.
Писарев, Дмитрий Иванович (1840—1868). — 164—166, 228, 342, 346, 348, 350, 361, 364, 383—392, 576—577.
Платон (427—347 до н. э.). — 266, 343—346, 350—351, 355—357, 576.
Плещеев, Алексей Николаевич (1825—1893) — русский поэт. — 381—382.
Плиний Старший, Гай Секунд (23—79) — римский ученый и писатель. — 357.
Плутарх (ок. 46—126) — древнегреческий писатель-моралист, автор жизнеописаний выдающихся греческих и римских деятелей. — 97.
Погодин, Михаил Петрович (1800—1875) — русский реакционный историк и публицист, идеолог дворянской монархии. — 136, 210, 559—560, 615, 641, 650.
Полевой, Николай Алексеевич (1796—1846) — русский писатель и историк, журналист буржуазного направления.— 123, 206, 501, 528.
Полибий (ок. 201—ок. 120 до н. э.) — древнегреческий историк. — 97.
Поликлет (V в. до н. э.) — великий древнегреческий скульптор и теоретик искусства. — 351.
Понтий Пилат — римский прокуратор (наместник) Иудеи в 26—36 г. н. э.; согласно евангельской легенде, утвердил смертный приговор Иисусу Христу. — 421.
Попов, Михаил Максимович (1801—1872) — гимназический учитель Белинского, с 30-х годов чиновник III отделения. — 478, 498, 500.
Пристли, Джозеф (1733—1804).— 249, 251.
Протасов, Михаил Семенович — дьякон, знакомый семьи Чернышевских. — 189.
Протопопов, Иван Евдокимович— домашний учитель А. И. Герцена с 1826 г. — 599.

Прудон, Пьер Жозеф (1809—1865)— французский мелкобуржуазный публицист, экономист и социолог, один из основоположников анархизма. — 69, 118—119, 170, 455, 642—643, 648, 672, 680, 715, 720, 722—723.

Пугачев, Емельян Иванович (ок. 1742—1775) — руководитель крупнейшего антифеодального восстания крестьян в России в XVIII в. — 50.

Пуришкевич, Владимир Митрофанович (1870—1920) — монархист, основатель черносотенных организаций. — 743.

Путятин, Евфимий Васильевич (1803—1883) — министр народного просвещения в 1861 г., проводивший реакционную политику, участник научных морских экспедиций. — 57, 176—177.

Пушкин, Александр Сергеевич (1799—1837). — 69, 75, 103, 340—343, 346, 349, 383, 392, 414, 459, 496, 515, 534—535, 537, 556, 562, 576—577, 580, 599, 603, 608, 767—768, 782—784.

Пыпин, Александр Николаевич (1833—1904) — либеральный историк русской литературы, двоюродный брат Н. Г. Чернышевского. —74, 129, 182—183, 222, 398—400, 402, 409,413—414, 432, 434, 451, 453—455, 460, 464, 473—474, 487—490, 501, 533, 544—547, 553—554, 567, 572, 577, 580, 593, 766.

Пыпина, Юлия Петровна (1837—1897) — жена А. Н. Пыпина. — 183.

Пэтти (Петти), Уильям (1623—1687) — английский экономист, основатель классической школы буржуазной политической экономии. — 85.

Раевский, Александр Николаевич (1795—1868) — сын генерала Н. Н. Раевского, близкий знакомый Пушкина. — 767, 768.

Раевский, Владимир Федосеевич (1795—1872) — русский поэт-декабрист, член Южного общества. — 574.

Разин, Степан Тимофеевич (ум. 1671) — донской казак, руководитель крупного антифеодального народного восстания в России во второй половине XVII в. — 50, 185.

Расин, Жан (1639—1699) — великий французский драматург. — 359—360.

Распутин, Григорий Ефимович (1872—1916) — аферист, имевший большое влияние при дворе Николая II. — 743.

Рафаэль Санти (1483—1520) — великий итальянский живописец и архитектор. — 364.

Рейхель, Мария Каспаровна (1823—1916) — воспитательница детей Герцена, его близкий друг. — 605.

Ретшер, Генрих Теодор (1803—1871) — немецкий искусствовед. — 526.

Рикардо, Давид (1772—1823) — английский ученый, классик буржуазной политической экономии. — 85, 97, 156, 199.

Робеспьер, Максимилиан (1758—1794) — крупнейший деятель французской буржуазной революции конца XVIII в., глава правительства якобинской диктатуры. — 474—475, 479.

Род (Rodde) — редактор французской мелкобуржуазной демократической газеты «Le bon sens» («Здравый смысл»), выходившей в 1832—1839 гг. — 718.

Родбертус-Ягецов, Карл Иоганн (1805—1875) — вульгарный экономист, идеолог реакционного прусского юнкерства. — 95, 156, 305.

Розенкранц, Карл (1805—1879)— немецкий философ-гегельянец и историк литературы. — 698.

Романес (Роменс), Джордж Джон (1848—1894) — английский натуралист, дарвинист. — 253.

Ромм, Шарль Жильбер (1750—1795) — деятель французской буржуазной революции конца XVIII в., якобинец, воспитатель сына известного мецената А. С. Строганова.— 69.
Ростовцев, Яков Иванович (1803—1860) — государственный деятель царской России, участвовавший в подготовке «крестьянской реформы» 1861 г.— 655.
Рошер, Вильгельм Георг Фридрих (1817—1894)— немецкий реакционный экономист, основатель так называемой исторической школы в политэкономии. — 92, 97—98, 103, 296—297, 304.
Руге, Арнольд (1802—1880) — немецкий радикальный публицист, младогегельянец, издававший вместе с Марксом журнал «Немецко-французский ежегодник»; в 60-х годах примкнул к Бисмарку.— 109, 428, 485, 547, 698.
Руссо, Жан Жак (1712—1778). — 79, 91, 222, 491, 519—520.
Рылеев, Кондратий Федорович (1795—1826) — русский поэт, один из руководителей декабристского движения. — 599, 608.

С. Г. — см. Гогоцкий.
Савич, Алексей Николаевич (1810—1883) — участник студенческого кружка Герцена — Огарева, впоследствии выдающийся астроном. — 611.
Сазонов, Николай Иванович (1815—1862) — участник студенческого кружка Герцена — Огарева, впоследствии эмигрант, публицист. — 611, 638.
Салтыков (Салтыков-Щедрин), Михаил Евграфович (1826—1889). — 136, 212, 258, 475, 622.
Самарин, Юрий Федорович (1819—1876) — русский публицист, славянофил. — 494, 701, 734—735, 774, 781, 783.
Сатин, Николай Михайлович (1814—1873) — поэт и переводчик, участник студенческого кружка Герцена. — 611.
Свербеев, Дмитрий Николаевич (1799—1876) — один из образованных русских дворян, автор известных мемуаров. — 757.
Свидригайло (Швитригайла) — великий князь литовский (1430—1432). — 150, 218.
Семевский, Василий Иванович (1848—1916) — русский историк, представитель народнического направления в русской историографии. — 640.
Сен-Жюст, Луи Антуан (1767—1794) — деятель французской буржуазной революции конца XVIII в., один из руководителей якобинцев, член Комитета общественного спасения. — 105.
Сенковский, Осип Иванович (псевдоним — барон Брамбеус) (1800—1858) — русский историк, реакционный писатель и журналист. — 123, 136, 206, 210, 469.
Сен-Симон, Анри Клод (1760—1825).—109, 301, 423, 429, 458—459, 475, 484—485, 503, 613—616, 642, 648, 715, 720.
Сен-Сир (Сэн-Сир), Гувион (1764—1830) — государственный деятель Франции, маршал наполеоновской армии. — 327.
Сент-Бёв, Шарль Огюстен (1804—1869) — французский литературовед и поэт. — 527.
Сент-Илер — см. Жоффруа Сент-Илер.
Сераковский, Зигмунт (1827—1863) — польский революционный демократ, руководитель восстания 1863 г. в Литве. — 149, 219.
Серно-Соловьевич, Николай Александрович (1834—1866) — революционер-демократ, один

из организаторов тайного революционного общества 60-х годов «Земля и воля». — 157.
Сеченов, Иван Михайлович (1829—1905) — великий естествоиспытатель, основоположник русской физиологической школы. — 286.
Сигизмунды — династия польских королей (1506—1632). — 150, 218.
Сийес (Сиейс), Эммануэль Жозеф (1748—1836) — деятель французской буржуазной революции конца XVIII в. — 449, 510.
Симон, Жюль (1814—1896) — французский буржуазный политический деятель, идеалист. — 274.
Сиркур, Адольф — французский публицист, корреспондент Чаадаева. — 747, 762.
Скабичевский, Александр Михайлович (1838—1910) — русский критик и историк литературы либерального направления.— 346—348, 350, 378—379, 387, 391, 393, 396—397.
Скобелев, Иван Никитич (1778—1849) — русский генерал и военный писатель, с 1839 г. комендант Петропавловской крепости. — 477.
Скотт, Вальтер (1771—1832) — выдающийся английский писатель. — 534.
Смит, Адам (1723—1790) — английский ученый, классик буржуазной политической экономии. — 85, 92, 97, 199, 296—297.
Снегирев, Иван Михайлович (1793—1868) — профессор Московского университета и цензор, собиратель памятников русской старины. — 597.
Сократ (469—399 до н. э.). — 257—258, 266, 320, 351, 361, 426, 430, 442—443.
Солдатенков, Козьма Терентьевич (1818—1901) — известный московский издатель. — 472.
Соловьев, Владимир Сергеевич (1853—1900) — русский реакционный философ-мистик. — 289, 761.
Солон (ок. 638—ок. 559 до н. э.) — афинский законодатель, причислен к «семи мудрецам». — 320.
Сонье, Шарль Жан — автор ряда работ о живописи. — 358.
Соути, Роберт (1774—1843) — английский поэт. — 369.
Софокл (ок. 497—406 до н. э.) — великий драматург древней Греции. — 106, 359, 527.
Спенсер, Герберт (1820—1903) — английский буржуазный философ-позитивист, представитель так называемой органической школы в социологии.— 351, 391, 404—405.
Сперанский, Михаил Михайлович (1772—1839) — русский государственный и политический деятель, автор проекта умеренных реформ с целью укрепления самодержавия. — 152.
Спиноза, Барух (Бенедикт) (1632—1677). — 235—236, 267, 360, 404, 622, 733, 753.
Срезневский, Измаил Иванович (1812—1880) — известный филолог-славист. — 190, 196.
Сталь-Гольштейн, Анна Луиза Жермена де (1766—1817) — французская писательница.— 421.
Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) — русский просветитель, руководитель московского философского кружка 30-х годов. — 102, 417—418, 420, 439, 444, 457, 473, 499 — 500, 505, 509, 767.
Старчевский, Адальберт Викентьевич (1818—1901) — журналист, знаток европейских и восточных языков, автор многочисленных справочных изданий и словарей. — 190.
Стасюлевич, Михаил Матвеевич (1826—1911) — буржуазный публицист и историк. — 309.

Стахевич, Сергей Григорьевич (1843—1918) — революционный народник, присужденный в 1864 г. к каторжным работам. — 215—216.
Стеклов, Юрий Михайлович (1873—1942) — литератор, автор книги о Чернышевском.— 407, 559.
Стратон из Лампсака (ум. ок. 270 до н. э.) — ученик Аристотеля, видный представитель перипатетической школы. — 237.
Страхов, Николай Николаевич (1828—1896) — русский публицист, критик, философ-идеалист, переводчик. — 233.
Строганов, Сергей Григорьевич (1794—1882) — русский государственный деятель и археолог, генерал-адъютант. — 755, 762.
Строев, Владимир Михайлович (1812—1862) — журналист и переводчик. — 570.
Струве, Петр Бернгардович (1870—1944) — буржуазный экономист, публицист и философ-неокантианец, в 90-х годах «легальный марксист», впоследствии кадет, белоэмигрант. — 246, 772.
Сульт, Никола̀ Жан (1769—1851) — французский государственный деятель, маршал наполеоновской армии.—327.
Сумароков, Александр Петрович (1717—1777) — русский писатель, представитель дворянского классицизма. — 527.
Сэй (Сей), Жан Батист (1767—1832) — французский экономист, родоначальник вульгарной политической экономии. — 298.
Сю, Эжен (1804—1857) — французский писатель. — 108, 475, 491, 570.

Таландье, Альфред (1822—1890) — французский политический деятель и публицист, участник революции 1848 г. — 642.
Тарквиний Секст (VI в. до н. э.) — по преданию, сын последнего (седьмого) царя в древнем Риме — Тарквиния Гордого, обесчестивший Лукрецию. — 88, 256.
Тассо, Торквато (1544—1595) — великий итальянский поэт эпохи Возрождения. — 340.
Теккерей, Уильям Мейкпис (1811—1863) — выдающийся английский писатель-реалист. — 343.
Тенгоборский, Людвиг Валерианович (1793—1857) — экономист, статистик и государственный деятель России. — 112—113, 649.
Теньер, Давид Младший (1610—1690) — фламандский художник. — 379.
Теренций, Публий (ок. 185—159 до н. э.) — римский комедиограф. — 358.
Тихомиров, Лев Александрович (1852—1923) — один из руководителей партии «Народная воля», впоследствии ренегат и монархист. — 734, 781.
Токвилль, Алексис (1805—1859) — французский историк и публицист буржуазно-либерального направления. — 458—459.
Толочанов — медик-самоучка крепостной родственников Герцена. — 606—607.
Толстой, Лев Николаевич (1828—1910). —204, 347—348, 360, 392, 394—396, 414, 737, 756—757, 782—783.
Торквемада, Томас (1420—1498) — крупнейший деятель инквизиции в Испании, выработал кодекс и процедуру инквизиционного суда. — 281, 285.
Трубецкая, Екатерина Ивановна (ум. 1854) — жена декабриста Сергея Петровича Трубецкого, последовавшая за ним в Сибирь. — 402.
Трубецкой, Евгений Николаевич (1863—1920) — русский философ-идеалист, пытавшийся сблизить философию с религией. — 246.

Тургенев, Александр Иванович (1785—1845) — государственный деятель и ученый-архивист. — 747, 760.
Тургенев, Иван Сергеевич (1818—1883). — 59, 61, 129, 131, 142, 169, 212—213, 364, 370, 372—373, 376—377, 417—418, 420, 435, 444, 466, 474, 500—502, 638, 662—663, 669.
Тургенев, Николай Иванович (1789—1871) — декабрист, прогрессивный ученый—экономист. — 757.
Тьерри, Огюстен (1795—1856) — французский историк, идеолог либеральной буржуазии. — 316, 557, 614, 719.
Тэн, Ипполит (1828—1893) — французский литературовед, искусствовед, философ и историк. — 551—552.

Унковский, Алексей Михайлович (1828—1893) — русский помещик-либерал, автор проекта освобождения крестьян с землей. — 644.
Уоллес, Альфред Рассел (1823—1913) — крупный английский натуралист, дарвинист. — 285.
Успенский, Глеб Иванович (1843—1902) — выдающийся русский писатель-демократ. — 117, 174, 771.
Успенский, Николай Васильевич (1837—1889) — русский писатель. — 129—130, 375—380, 386, 393.

Фаредэ (Фарадей), Майкл (1791—1867) — великий английский физик, создатель учения об электромагнитном поле. — 75, 197.
Федоров, Константин Михайлович — секретарь Чернышевского в последние годы его жизни в Саратове, автор книги о нем. — 184, 190, 196, 221—222.
Фейербах, Людвиг (1804—1872). — 68, 78—79, 86—87, 99, 101, 120, 170, 180, 196—197, 229—239, 243—245, 247—248, 250, 266—267, 270, 273, 276, 283, 287, 290, 298—299, 317, 321—322, 325, 333, 336, 352, 363, 365—368, 384—385, 387, 403—407, 409, 482, 488, 495, 535—536, 538—539, 544, 567, 580, 582—585, 588—590, 672, 685, 687, 689—692, 694, 701—702, 710—711, 713, 729—730, 733—734, 770, 783, 785.
Фет (Шеншин), Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — русский поэт. — 472.
Фидий (нач. V в. — ок. 432—431 до н. э.) — величайший древнегреческий скульптор. — 351.
Филипп II — испанский король (1556—1598). — 450—451, 487.
Филиппсон, Григорий Иванович (1809—1883) — царский генерал, в 1861—1862 гг. попечитель Петербургского учебного округа. — 57, 177.
Философов, Дмитрий Владимирович (р. 1872) — декадентский критик и публицист, мистик, белоэмигрант. — 246.
Фихте, Иоганн Готлиб (1762—1814). — 77, 91, 274—275, 404—405, 433, 437, 439, 507—509, 517, 525—526, 543, 687, 689, 733.
Фогт (Фохт), Карл (1817—1895) — немецкий естествоиспытатель, вульгарный материалист. — 68, 78, 230, 234, 387, 390, 729, 732.
Фонвизин, Денис Иванович (1744—1792). — 192, 195, 526—527, 562, 567—568.
Фосколо, Николо Уго (1778—1827) — итальянский поэт и писатель, участник борьбы за национальное освобождение Италии. — 753.
Фотий (1792—1838) — архимандрит, автор реакционных проектов в царствование Александра I. — 751.
Фохт — см. Фогт.
Фролов, Николай Григорьевич (1812—1855) — русский журналист, географ. — 770.
Фромантэн, Эжен (1820—1876) — французский живописец и писатель. — 358.

Фурье, Шарль (1772—1837). — 109, 163, 224—225, 227, 298, 300—301, 321, 475, 720, 735.

Ханыков, Александр Владимирович (1825—1853) — участник русского освободительного движения, петрашевец.— 574.
Херасков, Михаил Матвеевич (1733—1807) — русский писатель. — 527.
Хлопин, Василий Васильевич — советник новгородского губернского правления, упоминается в «Былом и думах» Герцена. — 620.
Хомяков, Алексей Степанович (1804—1860) — писатель, видный деятель славянофильства. — 560, 563—564, 594, 639, 664, 694, 774.

Целлер, Эдуард (1814—1908) — немецкий философ-идеалист и историк философии. — 237.
Цитович, Петр Павлович (1843—1913) — юрист, профессор, противник революционной демократии. — 204.

Чаадаев, Петр Яковлевич (1794—1856). — 432, 462, 479, 526, 540, 568, 627, 714, 747—766.
Черкасский, Владимир Александрович (1824—1878) — русский общественный деятель либерального направления, был близок к славянофилам. — 594, 735.
Чернышевская, Ольга Сократовна (урожд. Васильева) (1833—1918) — жена Н. Г. Чернышевского. — 70, 159, 201, 203, 220, 398—403.
Чернышевский, Александр Николаевич (1854—1915) — старший сын Н. Г. Чернышевского. — 399, 402, 409.
Чернышевский, Гавриил Иванович (1795—1861) — протоиерей, отец Н. Г. Чернышевского. — 74, 186—187, 205.
Чернышевский, Михаил Николаевич (1858—1924) — сын Н. Г. Чернышевского, издатель его сочинений. — 220, 398, 590.
Чернышевский, Николай Гаврилович (1828—1889). — 47, 58, 70—78, 86—95, 97—104, 106—112, 114—217, 219—232, 235—326, 328—352, 354—357, 359—361, 363—370, 372—374, 376—387, 389, 391—414, 471—472, 496, 501, 538—539, 541, 568, 579—580, 590, 637, 646, 648, 677, 696, 730, 752, 763, 777—778.
Чесноков, Василий Дмитриевич — товарищ детских лет Н. Г. Чернышевского, автор воспоминаний о Чернышевском. — 184.
Чешихин, Василий Евграфович (псевдоним Чешихин-Ветринский) (1866—1923) — русский либеральный историк литературы. — 213, 307—308, 517, 592, 594, 608, 617, 669—672.

Шаллер, Юлиус (1810—1868) — немецкий философ-гегельянец. — 698.
Шевченко, Тарас Григорьевич (1814—1861). — 494, 572.
Шевырев, Степан Петрович (1806—1864) — русский реакционный публицист и критик. — 123, 136, 206, 210, 491, 519.
Шекспир, Вильям (1564—1616).— 197, 320, 322—323, 359—360, 389, 534.
Шелгунов, Николай Васильевич (1824—1891) — видный русский публицист, революционный демократ. — 175.
Шеллинг, Фридрих Вильгельм (1775—1854). — 77, 91, 103, 230, 242, 247, 255, 274, 417—418, 424, 503, 522, 543—544, 681, 686—687, 689—691, 712—713, 727, 729, 750, 762.
Шиллер, Иоганн Фридрих (1759—1805). — 196, 310, 340, 343—344, 351, 359—360, 362, 369—370, 431, 506, 515, 524, 530—531, 547, 549.

Ширинский-Шихматов, Платон Александрович (1790—1853) — с 1850 г. министр народного просвещения, писатель. — 56.
Шифф, Мориц (1823—1896) — немецкий физиолог. — 729.
Шлоссер, Фридрих Кристоф (1776—1861) — немецкий историк, либерал. — 156.
Шмидт, Конрад (1863—1932) — немецкий экономист и философ-неокантианец, ревизионист. — 694.
Шовелэн — корреспондент Вольтера. — 420.
Шопенгауэр, Артур (1788—1860) — немецкий реакционный философ-идеалист. — 230.
Штиллинг, Иоганн Генрих (1740—1817) — немецкий писатель-мистик. — 755.
Штирнер, Макс (псевдоним Каспара Шмидта) (1806—1856)— немецкий философ-идеалист, младогегельянец, идеолог анархизма. — 78, 230, 698.
Штраус, Давид Фридрих (1808—1874) — немецкий философ, публицист, младогегельянец, позднее национал-либерал.— 482, 583.
Шувалов, Петр Андреевич (1827—1889) — реакционный государственный деятель, противник крестьянской реформы, шеф жандармов. — 166.
Шульце-Делич, Герман (1808—1883) — немецкий буржуазный экономист. Организатор кооперативных товариществ среди рабочих с целью отвлечения их от революционной борьбы. — 116, 120, 180.

Щапов, Афанасий Прокофьевич (1830—1876) — русский прогрессивный общественный деятель, историк. — 121—122.
Щедрин — см. Салтыков.
Щепкин, Михаил Семенович (1788—1863) — великий русский актер-демократ, видный представитель реализма в сценическом искусстве. — 641.
Щербатов, Григорий Алексеевич (1819—1881) — попечитель Петербургского учебного округа в 50-х годах. — 176—177.

Эвпомп (V в. до н. э.) — древнегреческий художник. — 357.
Эврипид (Еврипид) (ок. 480—406 до н. э.) — древнегреческий драматург. — 359.
Эккартсгаузен, Карл (1752—1803) — немецкий писатель, известный в России теософскими произведениями. — 188.
Элпидин, Михаил Константинович (1835—1908) — участник революционного движения 60-х годов, впоследствии агент охранки. —72.
Энгельс, Фридрих (1820—1895).— 64, 67—69, 79, 86—87, 97—98, 101, 109, 116, 119—121, 170, 267, 270, 276, 286—287, 298, 301, 317—319, 322, 324, 326, 425, 482, 495—496, 516, 576, 582, 600, 672, 686, 693—695, 697, 701, 703—705, 710, 712, 720, 733.
Энгельсон, Владимир Аристович (1821—1857) — русский публицист, связанный с петрашевцами, политический эмигрант. —670.
Эпикур (341—270 до н. э.).— 250, 688.
Эразм Роттердамский (1466—1536) — выдающийся гуманист эпохи Возрождения, автор сатиры «Похвала глупости». — 731.
Эсхил (525—456 до н. э.) — древнегреческий поэт-трагик. — 527.
Эхтермейер, Теодор (1805—1844) — младогегельянец. — 547.

Юдифь — библейская героиня, согласно легенде спасшая еврейский народ, отрубив голову полководцу Олоферну. — 152.
Юлиан Отступник — римский император (361—363), пытавшийся восстановить языческую религию. — 646.

Юм, Давид (1711—1776). —404—405, 707.

Юркевич, Памфил Данилович (1827—1874) — профессор Киевской духовной академии и Московского университета, философ-идеалист. — 246—249, 253—256, 264.

Юшкевич, Павел Соломонович (р. 1873) — меньшевик, махист, переводчик ряда философских произведений. — 246, 277.

Языков, Николай Михайлович (1803—1846) — русский поэт. — 752.

Яковенко, Валентин Иванович (р. 1859) — литератор, земский статистик и прогрессивный издатель. — 705.

Яковлев, Иван Алексеевич (1767—1846) — отец А. И. Герцена. — 598, 605, 617.

Якушкин, Иван Дмитриевич (1793—1857) — член Северного общества декабристов, философ-материалист. — 762.

Ястребцов, Иван Иванович (1776—?) — русский писатель, член Академии наук. — 760, 762.

СОДЕРЖАНИЕ

М. Иовчук. Г. В. ПЛЕХАНОВ И ЕГО ТРУДЫ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ (вступительная статья)... 5

I. [РАБОТЫ О Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ]

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. Введение [к немецкой книге 1894 г.] ... 47

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ [1890 г.] ... 70

[Дополнения для немецкого издания книги «Н. Г. Чернышевский» 1894 г.] ... 168

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ [1909 г.] ... 181

Введение [1909 г.] ... —

Часть первая. Философские, исторические и литературные взгляды Н. Г. Чернышевского ... 230

Отдел первый. Философские взгляды Н. Г. Чернышевского —

Глава первая. Чернышевский и Фейербах ... —

Глава вторая. «Антропологический принцип в философии» 235

Глава третья. Полемика с Юркевичем и другими ... 246

Глава четвертая. Учение о нравственности ... 255

Глава пятая. Чернышевский и диалектика ... 265

Глава шестая. Теория познания ... 272

Глава седьмая. Благотворность борьбы за жизнь ... 279

Отдел второй. Исторические взгляды Н. Г. Чернышевского ... 290

Глава первая. Историческая наука и естествознание ... —

Глава вторая. Материализм в исторических взглядах Чернышевского ... 294

Глава третья. Идеализм в исторических взглядах Чернышевского ... 299

Глава четвертая. Ход общественного развития ... 309

Глава пятая. Чернышевский и Маркс ... 317

Глава шестая. Последние исторические сочинения Чернышевского ... 328

Отдел третий. Литературные взгляды Н. Г. Чернышевского ... 339

Глава первая. Значение литературы и искусства ... —

Глава вторая. Белинский, Чернышевский и Писарев ... 361

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В СИБИРИ [1913] ... 398

II. [РАБОТЫ О В. Г. БЕЛИНСКОМ]

БЕЛИНСКИЙ И РАЗУМНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ [1897 г.] 417

В. Г. БЕЛИНСКИЙ. *(Речь, произнесенная весной 1898 года по случаю пятидесятилетия со дня смерти Белинского, на русских собраниях в Женеве, Цюрихе и Берне)* 468

ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ (1811—1848) [1909] 498

О БЕЛИНСКОМ [1910] 543

III. [РАБОТЫ ОБ А. И. ГЕРЦЕНЕ]

А. И. ГЕРЦЕН И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО [1911] 597

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А. И. ГЕРЦЕНА (*к столетию со дня его рождения*) [1912] 679

РЕЧЬ НА МОГИЛЕ А. И. ГЕРЦЕНА В НИЦЦЕ *7 апреля 1912 г.* 738

IV. [РЕЦЕНЗИИ]

П. Я. ЧААДАЕВ. *М. Гершензон, П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление. С.-Петербург, 1908* 747

О КНИГЕ М. ГЕРШЕНЗОНА «ИСТОРИЯ МОЛОДОЙ РОССИИ» *«История Молодой России». Москва, 1908* 767

О КНИГЕ М. ГЕРШЕНЗОНА «ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ» *«Исторические записки (о русском обществе)». Москва 1910.* 773

О КНИГЕ В. Я. БОГУЧАРСКОГО «А. И. ГЕРЦЕН» *«Александр Иванович Герцен». Издание кружка имени Александра Ивановича Герцена. С.-Петербург 1912 г.* 780

Примечания 787

Указатель имен 876

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Портрет Г. В. Плеханова 4

Титульный лист немецкого издания книги «Н. Г. Чернышевский» 51

Первая страница русского оригинала введения к немецкой книге «Н. Г. Чернышевский» 65

Пометки Г. В. Плеханова на форзаце и титульном листе второго тома Сочинений А. И. Герцена (Женева 1876 г.) 601

Первая страница автографа «Философские взгляды А. И. Герцена» 683

Первая страница автографа «Речь на могиле Герцена в Ницце» 741

Плеханов Георгий Валентинович
Избранные философские произведения
том IV

Редактор *В. Козерук*
Оформление художника *М. Чубасова*
Технический редактор *М. Пиотрович*
Сдано в набор 20 сентября 1957 г. Подписано в печать 18/II 1958 г.
Формат $60\times92\ ^1/_{16}$. Физ. печ. л. $56^1/_4$ +(1 вклейка)$^1/_8$. Условн. печ. л. $56^3/_8$.
Учетно-изд. л. 57,7. Тираж 75000 экз. Заказ № 888.
Цена 13 руб.
Издательство социально-экономической литературы.
Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.
Ленинградский Совет народного хозяйства.
Управление полиграфической промышленности. Типография № 1
«Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.